VISIT…

Annotation

В настоящем томе печатаются рассказ „Вечный муж“ (1870) — один из шедевров психологического искусства писателя — и роман „Подросток“ (1875) — второй (после „Бесов“) из романов Достоевского, работа над которыми была начата в качестве реализации зародившегося у него в конце 60-х годов замысла романического цикла „Атеизм“ (позднее получившего название „Житие Великого Грешника“).

http://rulitera.narod.ru

- Федор Михайлович Достоевский
  - Вечный муж
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
  - Подросток
    - Часть первая
      - Глава первая
      - Глава вторая
      - Глава третья
      - Глава четвертая

        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
    - Часть вторая
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
    - Часть третья
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
        - Глава одиннадцатая
        - Глава двенадцатая
        - Глава тринадцатая
  - Приложение
    - Подросток. Часть II, гл. IX
  - Примечания
    -
    - Вечный муж
    - Подросток
- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74

- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111

- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148

- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185

- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222

- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259

- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296

- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80

- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117

- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154

- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191

- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228

- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248

Федор Михайлович Достоевский
Собрание сочинений в пятнадцати томах
Том 8. Вечный муж. Подросток

Вечный муж
(Рассказ)

I
Вельчанинов

Пришло лето — и Вельчанинов, сверх ожидания, остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело — тяжба по имению — принимало предурной оборот. Еще три месяца тому назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный; но как-то вдруг всё изменилось. «Да и вообще всё стало изменяться к худшему!» — эту фразу Вельчанинов с злорадством и часто стал повторять про себя. Он употреблял адвоката ловкого, дорогого, известного и денег не жалел; но в нетерпении и от мнительности повадился заниматься делом и сам: читал и писал бумаги, которые сплошь браковал адвокат, бегал по присутственным местам, наводил справки и, вероятно, очень мешал всему; по крайней мере адвокат жаловался и гнал его на дачу. Но он даже и на дачу выехать не решился. Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы, — вот чем наслаждался он в Петербурге. Квартира его была где-то у Большого театра[*], недавно нанятая им, и тоже не удалась; «всё не удавалось!» Ипохондрия его росла с каждым днем; но к ипохондрии он уже был склонен давно.

Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта «старость» — как он сам выражался — пришла к нему «совсем почти неожиданно»; но он сам понимал, что состарелся скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет и что если уж и начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светло-рус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной, чуть не до половины груди, русой бороде; с первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся; но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски

нахальной самоуверенности, которой размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственною нежностью и обращал на него внимание женщин; да и теперь иной, взглянув на него, говорил: «Экой здоровенный, кровь с молоком!» И, однако ж, этот «здоровенный» был жестоко поражен ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет десять назад имели тоже много в себе победительного; это были такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни сходился. Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся легкими морщинками; в них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, которого не было прежде: оттенок грусти и боли, — какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, веселый и рассеянный всего еще года два тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло тщеславие: с его мнительностию и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже — напротив; но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было: стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде, — от причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых, от причин «более высших», чем до сих пор, — «если только можно так выразиться, если действительно есть причины высшие и низшие…» Это уже прибавлял он сам. Да, он дошел и до этого; он бился теперь с какими-то причинами *высшими*, о которых прежде и не задумался бы. В сознании своем и по совести он называл высшими все «причины», над которыми (к удивлению своему) никак не мог про себя засмеяться, — чего до сих пор еще не бывало, — про себя, разумеется; о, в обществе дело другое! Он превосходно знал, что сойдись только обстоятельства — и назавтра же он, вслух, несмотря

на все таинственные и благоговейные решения своей совести, преспокойно отречется от всех этих «высших причин» и сам, первый, подымет их на смех, разумеется не признаваясь ни в чем. И это было действительно так, несмотря на некоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеванную им в последнее время у обладавших им до сих пор «низших причин». Да и сколько раз сам он, вставая наутро с постели, начинал стыдиться своих мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу! (А он сплошь всё последнее время страдал бессонницей). Давно уже он заметил, что становится чрезвычайно мнителен во всем, и в важном и в мелочах, а потому и положил было доверять себе как можно меньше. Но выдавались, однако же, факты, которых уж никак нельзя было не признать действительно существующими. В последнее время, иногда по ночам, его мысли и ощущения почти совсем переменялись в сравнении с всегдашними и большею частию отнюдь не походили на те, которые выпадали ему на первую половину дня. Это его поразило — и он даже посоветовался с известным доктором, правда, человеком ему знакомым; разумеется, заговорил с ним шутя. Он получил в ответ, что факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время бессонницы, и вообще по ночам, есть факт всеобщий между людьми, «сильно мыслящими и сильно чувствующими», что убеждения всей жизни иногда внезапно менялись под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы; вдруг ни с того ни с сего самые роковые решения предпринимались; но что, конечно, всё до известной меры — и если, наконец, субъект уже слишком ощущает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то бесспорно это признак, что уже образовалась болезнь; а стало быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего изменить радикально образ жизни, изменить диету или даже предпринять путешествие. Полезно, конечно, слабительное.

Вельчанинов дальше слушать не стал; но болезнь была ему совершенно доказана.

«Итак, всё это только болезнь, всё это „высшее“ одна болезнь, и больше ничего!» — язвительно восклицал он иногда про себя. Очень уж ему не хотелось с этим согласиться.

Скоро, впрочем, и по утрам стало повторяться то же, что происходило в исключительные ночные часы, но только с большею

желчью, чем по ночам, со злостью вместо раскаяния, с насмешкой вместо умиления. В сущности, это были всё чаше и чаще приходившие ему на память, «внезапно и бог знает почему», иные происшествия из его прошедшей и давно прошедшей жизни, но приходившие каким-то особенным образом. Вельчанинов давно уже, например, жаловался на потерю памяти: он забывал лица знакомых людей, которые, при встречах, за это на него обижались*; книга, прочитанная им полгода назад, забывалась в этот срок иногда совершенно. И что же? — несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чем он очень беспокоился) — всё, что касалось давно прошедшего, всё, что по десяти, по пятнадцати лет бывало даже совсем забыто, — всё вдруг иногда приходило теперь на память, но с такою изумительною точностию впечатлений и подробностей, что как будто бы он вновь их переживал. Некоторые из припоминавшихся фактов были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудом, что они могли припомниться. Но это еще было не всё; да и у кого из широко поживших людей нет своего рода воспоминаний? Но дело в том, что всё это припоминавшееся возвращалось теперь как бы с заготовленной кем-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсем немыслимой точкой зрения на факт. Почему иные воспоминания казались ему теперь совсем преступлениями? И не в одних приговорах его ума было дело: своему мрачному, одиночному и больному уму он бы и не поверил; но доходило до проклятий и чуть ли не до слез, если и не наружных, так внутренних. Да он еще два года тому назад и не поверил бы, если б ему сказали, что он когда-нибудь заплачет! Сначала, впрочем, припоминалось больше не из чувствительного, а из язвительного: припоминались иные светские неудачи, унижения; вспоминалось о том, например, как его «оклеветал один интриган», вследствие чего, его перестали принимать в одном доме, — как, например, и даже не так давно, он был положительно и публично обижен, а на дуэль не вызвал, — как осадили его раз одной гфеостроумной эпиграммой в кругу самых хорошеньких женщин, а он не нашелся, что отвечать. Припомнились даже два-три неуплаченные долга, правда, пустяшные, но долги чести и таким людям, с которыми он перестал водиться и об которых уже говорил дурно. Мучило его тоже (но только в самые злые минуты) воспоминание о двух глупейшим образом промотанных состояниях, из которых каждое было значительное. Но скоро стало

припоминаться и из «высшего».

Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась ему забытая — и в высочайшей степени забытая им — фигура добренького одного старичка чиновника, седенького и смешного, оскорбленного им когда-то, давным-давно, публично и безнаказанно и единственно из одного фанфаронства: из-за того только, чтоб не пропал даром один смешной и удачный каламбур, доставивший ему славу и который потом повторяли. Факт был до того им забыт, что даже фамилии этого старичка он не мог припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключения в непостижимой ясности. Он ярко припомнил, что старик тогда заступался за дочь, жившую с ним вместе и засидевшуюся в девках и про которую в городе стали ходить какие-то слухи. Старичок стал было отвечать и сердиться, но вдруг заплакал навзрыд при всем обществе, что произвело даже некоторое впечатление. Кончили тем, что для смеха его напоили тогда шампанским и вдоволь насмеялись. И когда теперь припомнил «ни с того ни с сего» Вельчанинов о том, как старикашка рыдал и закрывался руками как ребенок, то ему вдруг показалось, что как будто он никогда и не забывал этого. И странно: ему всё это казалось тогда очень смешным; теперь же — напротив, и именно подробности, именно закрывание лица руками. Потом он припомнил, как, единственно для шутки, оклеветал одну прехорошенькую жену одного школьного учителя и клевета дошла до мужа. Вельчанинов скоро уехал из этого городка и не знал, чем тогда кончились следствия его клеветы, но теперь он стал вдруг воображать, чем кончились эти следствия, — и бог знает до чего бы дошло его воображение, если б вдруг не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминание об одной девушке, из простых мещанок, которая даже и не нравилась ему и которой, признаться, он и стыдился, но с которой, сам не зная для чего, прижил ребенка, да так и бросил ее вместе с ребенком, даже не простившись (правда, некогда было), когда уехал из Петербурга. Эту девушку он разыскивал потом целый год, но уже никак не мог отыскать. Впрочем, таких воспоминаний оказывались чуть не сотни — и так даже, что как будто каждое воспоминание тащило за собою десятки других. Мало-помалу стало страдать и его тщеславие.

Мы сказали уже, что тщеславие его выродилось в какое-то особенное. Это было справедливо. Минутами (редкими, впрочем) он доходил иногда до такого самозабвения, что не стыдился даже того, что

не имеет своего экипажа, что слоняется пешком по присутственным местам, что стал несколько небрежен в костюме, — и случись, что кто-нибудь из старых знакомых обмерил бы его насмешливым взглядом на улице или просто вздумал бы не узнать, то, право, у него достало бы настолько высокомерия, чтоб даже и не поморщиться. Серьезно не поморщиться, вправду, а не то что для одного виду. Разумеется, это бывало редко, это были только минуты самозабвения и раздражения, но все-таки тщеславие его стало мало-помалу удаляться от прежних поводов и сосредоточиваться около одного вопроса, беспрерывно приходившего ему на ум.

«Вот ведь, — начинал он думать иногда сатирически (а он всегда почти, думая о себе, начинал с сатирического), — вот ведь кто-то там заботится же об исправлении моей нравственности и посылает мне эти проклятые воспоминания и „слезы раскаяния“. Пусть, да ведь попусту! ведь всё стрельба холостыми зарядами! Ну не знаю ли я наверно, вернее чем наверно, что, несмотря на все эти слезные раскаяния и самоосуждения, во мне нет ни капельки самостоятельности, несмотря на все мои глупейшие сорок лет! Ведь случись завтра же такое же искушение, ну сойдись, например, опять обстоятельства так, что мне выгодно будет слух распустить, будто бы учительша от меня подарки принимала, — и я ведь наверное распущу, не дрогну, — и еще хуже, пакостнее, чем в первый раз, дело выйдет, потому что этот раз будет уже второй раз, а не первый. Ну оскорби меня опять, сейчас, этот князек, единственный сын у матери и которому я одиннадцать лет тому назад ногу отстрелил, — и я тотчас же его вызову и посажу опять на деревяшку. Ну не холостые ли, стало быть, заряды, и что в них толку! и для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться с собой прилично не умею!»

И хоть не повторялось опять факта с учительшей, хоть не сажал он никого на деревяшку, но одна мысль о том, что это непременно должно было бы повториться, если б сошлись обстоятельства, почти убивала его… иногда. Не всегда же в самом деле страдать воспоминаниями; можно отдохнуть и погулять-в антрактах.

Так Вельчанинов и делал: он готов был погулять в антрактах; но все-таки чем дальше, тем неприятнее становилось его житье в Петербурге. Подходит уж и июль. Мелькала в нем иногда решимость бросить всё и самую тяжбу и уехать куда-нибудь, не оглядываясь, как-

нибудь вдруг, нечаянно, хоть туда же в Крым например. Но через час, обыкновенно, он уже презирал свою мысль и смеялся над ней: «Эти скверные мысли ни на каком юге не прекратятся, если уж раз начались и если я хоть сколько-нибудь порядочный человек, а стало быть, нечего и бежать от них, да и незачем».

«Да и к чему бежать, — продолжал он философствовать с горя, — здесь так пыльно, так душно, в этом доме так всё запачкано; в этих присутствиях, по которым я слоняюсь, между всеми этими деловыми людьми — столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей заботы; во всем этом народе, оставшемся в городе, на всех этих лицах, мелькающих с утра до вечера, — так наивно и откровенно рассказано всё их себялюбие, всё их простодушное нахальство, вся трусливость их душонок, вся куриность их сердчишек, — что, право, тут рай ипохондрику, самым серьезным образом говоря! Всё откровенно, всё ясно, всё не считает даже нужным и прикрываться, как где-нибудь у наших барынь на дачах или на водах за границей; а стало быть, всё гораздо достойнее полнейшего уважения за одну только откровенность и простоту… Никуда не уеду! Лопну здесь, а никуда не уеду!..»

II
Господин с крепом на шляпе

Было третье июля. Духота и жар стояли нестерпимые. День для Вельчанинова выдался самый хлопотливый: всё утро пришлось ходить и разъезжать, а в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника, на его даче, где-то на Черной речке, и захватить его неожиданно дома. Часу в шестом Вельчанинов вошел наконец в один ресторан (весьма сомнительный, но французский) на Невском проспекте, у Полицейского моста[*], сел в своем обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед.

Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертвой, благоразумно им приносимой расстроенным своим обстоятельствам. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однако же, всё до последней крошки — и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел трое суток. «Это что-то болезненное», — бормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. Завозись теперь как-нибудь обедавший с ним рядом сосед или не пойми его с первого слова прислуживавший ему мальчишка — и он, так умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым, наверно бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю.

Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его: в это мгновение он — и бог знает каким процессом — вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней сряду, всё последнее время, бог знает как привязалась и бог знает почему не хотела никак отвязаться; теперь же он сразу всё разглядел и понял, как свои пять пальцев.

— Это всё эта шляпа! — пробормотал он как бы вдохновенный, — единственно одна только эта проклятая круглая шляпа, с этим мерзким

траурным крепом, *всему* причиною!

Он стал думать — и чем далее вдумывался, тем становился угрюмее и тем удивительнее становилось в его глазах «всё происшествие».

«Но… но какое же тут, однако, происшествие? — протестовал было он, не доверяя себе, — есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие?»

Всё дело состояло вот в чем: почти уже тому две недели (по-настоящему он не помнил, но, кажется, было две недели), как встретил он в первый раз, на улице, где-то на углу Подьяческой и Мещанской[*], одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного, прошел он скоро, но посмотрел на Вельчанинова как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере физиономия его показалась знакомою Вельчанинову. Он, очевидно, когда-то и где-то встречал ее. «А впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни — всех не упомнишь!» Пройдя шагов двадцать, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на всё первое впечатление. А впечатление, однако, осталось на целый день — и довольно оригинальное: в виде какой-то беспредметной, особенной злобы. Он теперь, через две недели, всё это припоминал ясно; припоминал тоже, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба, — и не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречей. Но господин сам поспешил о себе напомнить и на другой день опять столкнулся с Вельчаниновым на Невском проспекте и опять как-то странно посмотрел на него. Вельчанинов плюнул, но, плюнув, тотчас же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу беспредметное и бесцельное отвращение. «Да, я действительно его где-то встречал», — пробормотал он задумчиво, уже полчаса спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа; даже дурной сон какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его — один только давешний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз вспоминал его. Даже разозлился мимоходом, что «такая дрянь» смеет так долго ему вспоминаться; приписать же ему всё свое волнение, наверно, почел бы даже унизительным, если бы только мысль

об том пришла ему в голову. Два дня спустя опять встретились, в толпе, при выходе с одного невского парохода. В этот, третий, раз Вельчанинов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый и теснимый толпой; кажется, даже «осмелился» протянуть к нему руку; может быть, даже вскрикнул и окликнул его по имени. Последнего, впрочем, Вельчанинов не расслышал ясно, но… «кто же, однако, эта каналья и почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнаёт и если так ему хочется подойти?» — злобно подумал он, садясь на извозчика и отправляясь к Смольному монастырю*. Через полчаса он уже спорил и шумел с своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. «Уж не разливается ли желчь?» — мнительно спрашивал он себя, глядясь в зеркало.

Это была третья встреча. Потом дней пять сряду решительно «никто» не встречался, а об «каналье» и слух замер. А между тем нет-нет да и вспомнится господин с крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчанинов: «Что мне тошно по нем, что ли? Гм!.. А тоже, должно быть, у него много дела в Петербурге, — и по ком это у него креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его не узнаю. И зачем эти люди надевают креп? К ним как-то нейдет… Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узнаю…»

И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое из всех сил стараешься припомнить: знаешь его очень хорошо — и знаешь про то, что именно оно означает, около того ходишь; но вот никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним!

«Это было… Это было давно… и это было где-то… Тут было… тут было… — ну, да черт с ним совсем, что тут было и не было!.. — злобно вскричал он вдруг. — И стоит ли об эту каналью так пакоститься и унижаться!..»

Он рассердился ужасно; но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и «ужасно», — ему стало чрезвычайно неприятно: кто-то как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился:

«Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь… ни с того ни с сего… при одном воспоминании…» Он не докончил своей мысли.

А на другой день рассердился еще пуще, но в этот раз ему

показалось, что есть за что и что он совершенно прав; «дерзость была неслыханная»: дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин с крепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчанинов только что поймал на улице того самого статского советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно, потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчанинову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая с своей стороны встретиться с Вельчаниновым; обрадовавшись, что наконец-таки с ним столкнулся, Вельчанинов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы и выронил бы как-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко; но седой хитрец был тоже себе на уме, отсмеивался и отмалчивался, — и вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчанинова вдруг отличил на противуположном тротуаре улицы господина с крепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих; он следил за ними — это было очевидно — и, кажется, даже подсмеивался.

«Черт возьми! — взбесился Вельчанинов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого „нахала“, — черт возьми, шпионит он, что ли, за мной! Он, очевидно, следит за мной! Нанят, что ли, кем-нибудь и… и… и, ей-богу же, он подсмеивался! Я, ей-богу, исколочу его… Жаль только, что я хожу без палки! Я куплю палку! Я этого так не оставлю! Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой?» Наконец, — ровно три дня спустя после этой (четвертой) встречи, — мы застаем Вельчанинова в его ресторане, как мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и сам он, несмотря на всю гордость свою. Принужден же был он наконец догадаться, сопоставив все обстоятельства, что всей хандры его, всей этой *особенной* тоски его и всех его двухнедельных волнений — причиною был не кто иной, как этот самый траурный господин, «несмотря на всю его ничтожность».

«Пусть я ипохондрик, — думал Вельчанинов, — и, стало быть, из мухи готов слона сделать, но, однако же, легче ль мне оттого, что всё это, *может быть,* только одна фантазия? Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь

это… ведь это…»

Действительно, в этой сегодняшней (пятой) встрече, которая так взволновала Вельчанинова, слон явился совсем почти мухой: господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчанинова и не показывая, как прежде, вида, что его узнаёт, — а, напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтоб его самого не заметили. Вельчанинов оборотился и закричал ему во всё горло:

— Эй, вы! креп на шляпе! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?

Вопрос (и весь крик) был очень бестолков. Но Вельчанинов догадался об этом, уже прокричав. На крик этот — господин оборотился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся, хотел было что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости и вдруг — повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчанинов с удивлением смотрел ему вслед.

«А что? — подумал он, — что, если и в самом деле не он ко мне, а я, напротив, к нему пристаю, и вся штука в этом?»

Пообедав, он поскорее отправился на дачу к чиновнику. Чиновника не застал; ответили, что «с утра не возвращались, да вряд ли и возвратятся сегодня раньше третьего или четвертого часу ночи, потому что остались в городе у именинника». Уж это было до того «обидно», что, в первой ярости, Вельчанинов положил было отправиться к имениннику и даже в самом деле поехал; но, сообразив на пути, что заходит далеко, отпустил середи дороги извозчика и потащился к себе пешком, к Большому театру. Он чувствовал потребность моциона. Чтоб успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу; а чтоб заснуть, надо было по крайней мере хоть устать. Таким образом, он добрался к себе уже в половине одиннадцатого, ибо путь был очень не малый, — и действительно очень устал.

Нанятая им в марте месяце квартира его, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь сам перед собою, что «все это на походе» и что он «застрял» в Петербурге нечаянно, через эту «проклятую тяжбу», — эта квартира его была вовсе не так дурна и не неприлична как он сам отзывался об ней. Вход был действительно несколько темноват и «запачкан», из-под ворот; но самая квартира, во втором этаже, состояла из двух больших, светлых и высоких комнат, отделенных одна от другой темною переднею и выходивших, таким

образом, одна на улицу, другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор, прилегал сбоку небольшой кабинет, назначавшийся служить спальней; но у Вельчанинова валялись в нем в беспорядке книги и бумаги; спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержанная, и находились, кроме того, некоторые даже дорогие вещи — осколки прежнего благосостояния: фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бухарские ковры; уцелели даже две недурные картины; но всё было в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено, с тех пор как прислуживавшая ему девушка, Пелагея, уехала на побывку к своим родным в Новгород и оставила его одного. Этот странный факт одиночной и девичьей прислуги у холостого и светского человека, всё еще желавшего соблюдать джентльменство, заставлял почти краснеть Вельчанинова, хотя этой Пелагеей он был очень доволен. Эта девушка определилась к нему в ту минуту, как он занял эту квартиру весной, из знакомого семейного дома, отбывшего за границу, и завела у него порядок. Но с отъездом ее он уже другой женской прислуги нанять не решился; нанимать же лакея на короткий срок не стоило, да он и не любил лакеев. Таким образом и устроилось, что комнаты его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой он и ключ оставлял, выходя со двора, и которая ровно ничего не делала, деньги брала и, кажется, воровала. Но он уже на всё махнул рукой и даже был тем доволен, что дома остается теперь совершенно один. Но всё до известной меры — и нервы его решительно не соглашались иногда, в иные желчные минуты, выносить всю эту «пакость», и, возвращаясь к себе домой, он почти каждый раз с отвращением входил в свои комнаты.

Но в этот раз он едва дал себе время раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать и во что бы то ни стало «сию же минуту» заснуть. И странно, он вдруг заснул, только что голова успела дотронуться до подушки; этого не бывало с ним почти уже с месяц.

Он проспал около трех часов, но сном тревожным; ему снились какие-то странные сны, какие снятся в лихорадке. Дело шло об каком-то преступлении, которое он будто бы совершил и утаил и в котором обвиняли его в один голос беспрерывно входившие к нему откудова-то

люди. Толпа собралась ужасная, но люди всё еще не переставали входить, так что и дверь уже не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточился наконец на одном странном человеке, каком-то очень ему когда-то близком и знакомом, который уже умер, а теперь почему-то вдруг тоже вошел к нему. Всего мучительнее было то, что Вельчанинов не знал, что это за человек, позабыл его имя и никак не мог вспомнить; он знал только, что когда-то его очень любил. От этого человека как будто и все прочие вошедшие люди ждали самого главного слова: или обвинения, или оправдания Вельчанинова, и все были в нетерпении. Но он сидел неподвижно за столом, молчал и не хотел говорить. Шум не умолкал, раздражение усиливалось, и вдруг Вельчанинов, в бешенстве, ударил этого человека за то, что он не хотел говорить, и почувствовал от этого странное наслаждение. Сердце его замерло от ужаса и от страдания за свой поступок, но в этом-то замиранье и заключалось наслаждение. Совсем остервенясь, он ударил в другой и в третий раз, и в каком-то опьянении от ярости и от страху, дошедшем до помешательства, но заключавшем тоже в себе бесконечное наслаждение, он уже не считал своих ударов, но бил не останавливаясь. Он хотел всё, всё *это* разрушить. Вдруг что-то случилось; все страшно закричали и обратились, выжидая, к дверям, и в это мгновение раздались звонкие три удара в колокольчик, но с такой силой, как будто его хотели сорвать с дверей. Вельчанинов проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям; он был совершенно убежден, что удар в колокольчик — не сон и что действительно кто-то позвонил к нему сию минуту. «Было бы слишком неестественно, если бы такой ясный, такой действительный, осязательный звон приснился мне только во сне!»

Но, к удивлению его, и звон колокольчика оказался тоже сном. Он отворил дверь и вышел в сени, заглянул даже на лестницу — никого решительно не было. Колокольчик висел неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, он воротился в комнату. Зажигая свечу, он вспомнил, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замок и на крюк. Он и прежде, возвращаясь домой, часто забывал запирать дверь на ночь, не придавая делу особенной важности. Пелагея несколько раз за это ему выговаривала. Он воротился в переднюю запереть двери, еще раз отворил их и посмотрел в сенях и наложил только изнутри крючок, а ключ в дверях повернуть все-таки поленился. Часы ударили половину

третьего; стало быть, он спал три часа.

Сон до того взволновал его, что он уже не захотел лечь сию минуту опять и решил с полчаса походить по комнате — «время выкурить сигару». Наскоро одевшись, он подошел к окну, приподнял толстую штофную* гардину, а за ней белую стору. На улице уже совсем рассвело. Светлые летние петербургские ночи всегда производили в нем нервное раздражение и в последнее время только помогали его бессоннице, так что он, недели две назад, нарочно завел у себя на окнах эти толстые штофные гардины, не пропускавшие свету, когда их совсем опускали. Впустив свет и забыв на столе зажженную свечку, он стал расхаживать взад и вперед всё еще с каким-то тяжелым и больным чувством. Впечатление сна еще действовало. Серьезное страдание о том, что он мог поднять руку на этого человека и бить его, продолжалось.

— А ведь этого и человека-то нет и никогда не бывало, всё сон, чего же я ною?

С ожесточением, и как будто в этом совокуплялись все заботы его, он стал думать о том, что решительно становится болен, «больным человеком».

Ему всегда было тяжело сознаваться, что он стареет или хиреет, и со злости он в дурные минуты преувеличивал и то и другое, нарочно, чтоб подразнить себя.

— Старчество! совсем стареюсь, — бормотал он, прохаживаясь, — память теряю, привидения вижу, сны, звенят колокольчики… Черт возьми! я по опыту знаю, что такие сны всегда лихорадку во мне означали… Я убежден, что и вся эта «история» с этим крепом — тоже, может быть, сон. Решительно я вчера правду подумал: я, я к нему пристаю, а не он ко мне! Я поэму из него сочинил, а сам под стол от страху залез. И почему я его канальей зову? Человек, может быть, очень порядочный. Лицо, правда, неприятное, хотя ничего особенно некрасивого нет; одет, как и все. Взгляд только какой-то… Опять я за свое! я опять об нем!! и какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без этого… висельника? Между прочими вскакивавшими в его голову мыслями одна тоже больно уязвила его: он вдруг как бы убедился, что этот господин с крепом был когда-то с ним знаком по-приятельски и теперь, встречая его, над ним смеется, потому что знает какой-нибудь его прежний большой секрет и видит его теперь в таком

унизительном положении. Машинально подошел он к окну, чтоб отворить его и дохнуть ночным воздухом, и — и вдруг весь вздрогнул: ему показалось, что перед ним внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное.

Окна он еще не успел отворить, но поскорей скользнул за угол оконного откоса и притаился: на пустынном противуположном тротуаре он вдруг увидел, прямо перед домом, господина с крепом на шляпе. Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его, и любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался; приподнял руку и как будто приставил палец ко лбу. Наконец решился: бегло огляделся кругом и, на цыпочках, крадучись, стал поспешно переходить через улицу. Так и есть: он прошел в их ворота, в калитку (которая летом иной раз до трех часов не запиралась засовом). «Он ко мне идет», — быстро промелькнуло у Вельчанинова, и вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал он в переднюю к дверям и — затих перед ними, замер в ожидании, чуть-чуть наложив вздрагивавшую правую руку на заложенный им давеча дверной крюк и прислушиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на лестнице.

Сердце его до того билось, что он боялся прослушать, когда взойдет на цыпочках незнакомец. Факта он не понимал, но ощущал всё в какой-то удесятеренной полноте. Как будто давешний сон слился с действительностию. Вельчанинов от природы был смел. Он любил иногда доводить до какого-то щегольства свое бесстрашие в ожидании опасности — даже если на него и никто не глядел, а только любуясь сам собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешний ипохондрик и мнительный нытик преобразился совершенно; это был уже вовсе не тот человек. Нервный, неслышный смех порывался из его груди. Из-за затворенной двери он угадывал каждое движение незнакомца.

«А! вот он всходит, взошел, осматривается, прислушивается вниз на лестницу; чуть дышит, крадется… а! взялся за ручку, тянет, пробует! рассчитывал, что у меня не заперто! Значит, знал, что я иногда запереть забываю! Опять за ручку тянет; что ж он думает, что крючок соскочит? Расстаться жаль! Уйти жаль попусту?»

И действительно, всё так, наверно, и должно было происходить, как ему представлялось: кто-то действительно стоял за дверьми и тихо, неслышно пробовал замок и потягивал за ручку и, — «уж разумеется,

имел свою цель». Но у Вельчанинова уже было готово решение задачи, и он с каким-то восторгом выжидал мгновения, изловчался и примеривался: ему неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь и очутиться глаз на глаз с «страшилищем». «А что, дескать, вы здесь делаете, милостивый государь?»

Так и случилось; улучив мгновение, он вдруг снял крюк, толкнул дверь и — почти наткнулся на господина с крепом на шляпе.

III
Павел Павлович Трусоцкий

Тот как бы онемел на месте. Оба стояли друг против друга, на пороге, и оба неподвижно смотрели друг другу в глаза. Так прошло несколько мгновений, и вдруг — Вельчанинов узнал своего гостя!

В то же время и гость, видимо, догадался, что Вельчанинов совершенно узнал его: это блеснуло в его взгляде. В один миг всё лицо его как бы растаяло в сладчайшей улыбке.

— Я, наверное, имею удовольствие говорить с Алексеем Ивановичем? — почти пропел он нежнейшим и до комизма не подходящим к обстоятельствам голосом.

— Да неужели же вы Павел Павлович Трусоцкий? — выговорил наконец и Вельчанинов с озадаченным видом.

— Мы были с вами знакомы лет девять назад в Т., и — если только позволите мне припомнить — были знакомы дружески.

— Да-с… положим-с… но — теперь три часа, и вы целых десять минут пробовали, заперто у меня или нет…

Три часа! — вскрикнул гость, вынимая часы и даже горестно удивившись, — так точно: три! Извините, Алексей Иванович, я бы должен был, входя, сообразить; даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на днях, а теперь…

— Э, нет! уже если объясняться, так не угодно ли сию же минуту! — спохватился Вельчанинов. — Милости просим сюда, через порог; в комнаты-с. Вы ведь, конечно, сами в комнаты намеревались войти, а не для того только явились ночью, чтоб замки пробовать…

Он был и взволнован и вместе с тем как бы опешен и чувствовал, что не может сообразиться. Даже стыдно стало: ни тайны, ни опасности — ничего не оказалось из всей фантасмагории; явилась только глупая фигура какого-то Павла Павловича. Но, впрочем, ему совсем не верилось, что это так просто; он что-то смутно и со страхом предчувствовал. Усадив гостя в кресла, он нетерпеливо уселся на своей постели, на шаг от кресел, принагнулся, уперся ладонями в свои колени и раздражительно ждал, когда тот заговорит. Он жадно его разглядывал и припоминал. Но странно: тот молчал, совсем, кажется, и не понимая,

что немедленно «обязан» заговорить; напротив того, сам как бы выжидавшим чего-то взглядом смотрел на хозяина. Могло быть, что он просто робел, ощущая спервоначалу некоторую неловкость, как мышь в мышеловке; но Вельчанинов разозлился.

— Что ж вы! — вскричал он. — Ведь вы, я думаю, не фантазия и не сон! В мертвецы, что ли, вы играть пожаловали? Объяснитесь, батюшка!

Гость зашевелился, улыбнулся и начал осторожно: «Сколько я вижу, вас, прежде всего, даже поражает, что я пришел в такой час и — при особенных таких обстоятельствах-с… Так что, помня всё прежнее и то, как мы расстались-с, — мне даже теперь странно-с… А впрочем, я даже и не намерен был заходить-с, и если уж так вышло, то — нечаянно-с…»

— Как нечаянно! да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали!

— Ах, вы видели! — ну так вы, пожалуй, теперь больше моего про всё это знаете-с! Но я вас только раздражаю… Вот тут что-с: я приехал сюда уже недели с три, по своему делу… Я ведь Павел Павлович Трусоцкий, вы ведь меня сами признали-с. Дело мое в том, что я хлопочу о моем перемещении в другую губернию и в другую службу-с и на место с значительным повышением… Но, впрочем, всё это тоже не то-с!.. Главное, если хотите, в том, что я здесь слоняюсь вот уже третью неделю и, кажется, сам затягиваю мое дело нарочно, то есть о перемещении-то-с, и, право, если даже оно и выйдет, то я, чего доброго, и сам забуду, что оно вышло-с, и не выеду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель и как бы даже радуясь, что ее потерял — в моем настроении-с…

— В каком это настроении? — хмурился Вельчанинов.

Гость поднял на него глаза, поднял шляпу и уже с твердым достоинством указал на креп.

— Да — вот-с в каком настроении!

Вельчанинов тупо смотрел то на креп, то в лицо гостю. Вдруг румянец залил мгновенно его щеки, и он заволновался ужасно.

— Неужели Наталья Васильевна!

— Она-с! Наталья Васильевна! В нынешнем марте… Чахотка и почти вдруг-с, в какие-нибудь два-три месяца! И я остался — как вы видите!

Проговорив это, гость в сильном чувстве развел руки в обе стороны, держа в левой на отлете свою шляпу с крепом, и глубоко наклонил свою лысую голову, секунд по крайней мере на десять.

Этот вид и этот жест вдруг как бы освежили Вельчанинова; насмешливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губам, — но покамест на одно только мгновение: известие о смерти этой дамы (с которой он был так давно знаком и так давно уже успел позабыть ее) произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатление.

— Возможно ли это! — бормотал он первые попавшиеся на язык слова. — И почему же вы прямо не зашли и не объявили?

— Благодарю вас за участие, вижу и ценю его, несмотря…

— Несмотря?

— Несмотря на столько лет разлуки, вы отнеслись сейчас к моему горю, и даже ко мне, с таким совершенным участием, что я, разумеется, ощущаю благодарность. Вот это только я и хотел заявить-с. И не то чтобы я сомневался в друзьях моих, я и здесь, даже сейчас, могу отыскать самых искренних друзей-с (взять только одного Степана Михайловича Багаутова), но ведь нашему с вами, Алексей Иванович, знакомству (пожалуй, дружбе — ибо с признательностию вспоминаю) прошло девять лет-с, к нам вы не возвращались, писем обоюдно не было…

Гость пел, как по нотам, но всё время, пока изъяснялся, глядел в землю, хотя, конечно, всё видел и вверху. Но и хозяин уже успел немного сообразиться.

С некоторым весьма странным впечатлением, всё более и более усиливавшимся, прислушивался и приглядывался он к Павлу Павловичу, и вдруг, когда тот приостановился, — самые пестрые и неожиданные мысли неожиданно хлынули в его голову.

— Да отчего же я вас всё не узнавал до сих пор? — вскричал он оживляясь. — Ведь мы раз пять на улице сталкивались!

— Да; и я это помню; вы мне всё попадались-с, — раза два, даже, пожалуй, и три…

— То есть — это *вы* мне *всё* попадались, а не я вам!

Вельчанинов встал и вдруг громко и совсем неожиданно засмеялся. Павел Павлович приостановился, посмотрел внимательно, но тотчас же опять стал продолжать:

— А что вы меня не признали, то, во-первых, могли позабыть-с, и,

наконец, у меня даже оспа была в этот срок и оставила некоторые следы на лице.

— Оспа? Да ведь и в самом же деле у него оспа была! да как это вас…

— Угораздило? Мало ли чего не бывает, Алексей Иванович; нет-нет да и угораздит!

— Только все-таки это ужасно смешно. Ну, продолжайте, продолжайте, — друг дорогой!

— Я же хоть и встречал тоже вас-с…

— Стойте! Почему вы сказали сейчас «угораздило»? Я хотел гораздо вежливей выразиться. Ну, продолжайте, продолжайте!

Почему-то ему всё веселее и веселее становилось. Потрясающее впечатление совсем заменилось другим. Он быстрыми шагами ходил по комнате взад и вперед.

— Я же хоть и встречал тоже вас-с и даже, отправляясь сюда, в Петербург, намерен был непременно вас здесь поискать, но, повторяю, я теперь в таком настроении духа… и так умственно разбит с самого с марта месяца…

— Ах да! разбит с марта месяца… Постойте, вы не курите?

— Я ведь, вы знаете, при Наталье Васильевне…

— Ну да, ну да; а с марта-то месяца?

— Папиросочку разве.

— Вот папироска; закуривайте и — продолжайте! продолжайте, вы ужасно меня…

И закурив сигару, Вельчанинов быстро уселся опять на постель. Павел Павлович приостановился.

— Но в каком вы сами-то, однако же, волнении, здоровы ли вы-с?

— Э, к черту об моем здоровье! — обозлился вдруг Вельчанинов. — Продолжайте!

С своей стороны гость, смотря на волнение хозяина, становился довольнее и самоувереннее.

— Да что продолжать-то-с? — начал он опять. — Представьте вы себе, Алексей Иванович, во-первых, человека убитого, то есть не просто убитого, а, так сказать, радикально; человека, после двадцатилетнего супружества переменяющего жизнь и слоняющегося по пыльным улицам без соответственной цели, как бы в степи, чуть не в самозабвении, и в этом самозабвении находящего даже некоторое

упоение. Естественно после того, что я и встречу иной раз знакомого или даже истинного друга, да и обойду нарочно, чтоб не подходить к нему в такую минуту, самозабвения-то то есть. А в другую минуту — так всё припомнишь и так возжаждешь видеть хоть какого-нибудь свидетеля и соучастника того недавнего, но невозвратимого прошлого, и так забьется при этом сердце, что не только днем, но и ночью рискнешь броситься в объятия друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить в четвертом часу-с. Я вот только в часе ошибся, но не в дружбе; ибо в сию минуту слишком вознагражден-с. А насчет часу, право, думал, что лишь только двенадцатый, будучи в настроении. Пьешь собственную грусть и как бы упиваешься ею. И даже не грусть, а именно новосостояние-то это и бьет по мне…

— Как вы, однако же, выражаетесь! — как-то мрачно заметил Вельчанинов, ставший вдруг опять ужасно серьезным.

— Да-с, странно и выражаюсь-с…

— А вы… не шутите?

— Шучу! — воскликнул Павел Павлович в скорбном недоумении, — и в ту минуту, когда возвещаю…

— Ах, замолчите об этом, прошу вас!

Вельчанинов встал и опять зашагал по комнате.

Так и прошло минут пять. Гость тоже хотел было привстать, но Вельчанинов крикнул: «Сидите, сидите!» — и тот тотчас же послушно опустился в кресла.

— А как, однако же, вы переменились! — заговорил опять Вельчанинов, вдруг останавливаясь перед ним — точно как бы внезапно пораженный этой мыслию. — Ужасно переменились! Чрезвычайно! Совсем другой человек!

— Не мудрено-с: девять лет-с.

— Нет-нет-нет, не в годах дело! вы наружностию еще не бог знает как изменились; вы другим изменились!

— Тоже, может быть, девять лет-с.

— Или с марта месяца!

— Хе-хе, — лукаво усмехнулся Павел Павлович, — у вас игривая мысль какая-то… Но, если осмелюсь, — в чем же собственно изменение-то?

— Да чего тут! Прежде был такой солидный и приличный Павел Павлович, такой умник Павел Павлович, а теперь — совсем vaurien[1]

Павел Павлович!

Он был в той степени раздражения, в которой самые выдержанные люди начинают иногда говорить лишнее.

— Vaurien! вы находите? И уж больше не умник? Не умник? — с наслаждением хихикал Павел Павлович.

— Какой черт умник! Теперь, пожалуй, и совсем *умный*.

«Я нагл, а эта каналья еще наглее! И… и какая у него цель?» — всё думал Вельчанинов.

— Ах, дражайший, ах, бесценнейший Алексей Иванович! — заволновался вдруг чрезвычайно гость и заворочался в креслах. — Да ведь нам что? Ведь не в свете мы теперь, не в великосветском блистательном обществе! Мы — два бывшие искреннейшие и стариннейшие приятеля и, так сказать, в полнейшей искренности сошлись и вспоминаем обоюдно ту драгоценную связь, в которой покойница составляла такое драгоценнейшее звено нашей дружбы!

И он как бы до того увлекся восторгом своих чувств, что склонил опять, по-давешнему, голову, лицо же закрыл теперь шляпой. Вельчанинов с отвращением и с беспокойством приглядывался.

«А что, если это просто шут? — мелькнуло в его голове. — Но н-нет, н-нет! кажется, он не пьян, — впрочем, может быть, и пьян; красное лицо. Да хотя бы и пьян, — всё на одно выйдет. С чем он подъезжает? Чего хочется этой каналье?»

— Помните, помните, — выкрикивал Павел Павлович, помаленьку отнимая шляпу и как бы всё сильнее и сильнее увлекаясь воспоминаниями, — помните ли вы наши загородные поездки, наши вечера и вечеринки с танцами и невинными играми у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? А наши вечерние чтения втроем? А наше первое с вами знакомство, когда вы вошли ко мне утром, для справок по вашему делу, и стали даже кричать-с, и вдруг вышла Наталья Васильевна, и через десять минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома ровно на целый год-с — точь-в-точь как в «Провинциалке», пиесе господина Тургенева…

Вельчанинов медленно прохаживался, смотрел в землю, слушал с нетерпением и отвращением, но — сильно слушал.

— Мне и в голову не приходила «Провинциалка», — перебил он, несколько теряясь, — и никогда вы прежде не говорили таким пискливым голосом и таким… не своим слогом. К чему это?

— Я действительно прежде больше молчал-с, то есть был молчаливее-с, — поспешно подхватил Павел Павлович, — вы знаете, я прежде больше любил слушать, когда заговаривала покойница. Вы помните, как она разговаривала, с каким остроумием-с… А насчет «Провинциалки» и собственно насчет Ступендьева, — то вы и тут правы, потому что мы это сами потом, с бесценной покойницей в иные тихие минуты вспоминая о вас-с, когда вы уже уехали, — приравнивали к этой театральной пиесе нашу первую встречу… потому что ведь и в самом деле было похоже-с. А собственно уж насчет Ступендьева…

— Какого это Ступендьева, черт возьми! — закричал Вельчанинов и даже топнул ногой, совершенно уже смутившись при слове «Ступендьев», по поводу некоторого беспокойного воспоминания, замелькавшего в нем при этом слове.

— А Ступендьев — это роль-с, театральная роль, роль мужа в пиесе «Провинциалка», — пропищал сладчайшим голоском Павел Павлович, — но это уже относится к другому разряду дорогих и прекрасных наших воспоминаний, уже после вашего отъезда, когда Степан Михайлович Багаутов подарил нас своею дружбою, совершенно как вы-с, и уже на целых пять лет.

— Багаутов? Что такое? Какой Багаутов? — как вкопанный остановился вдруг Вельчанинов.

— Багаутов, Степан Михайлович, подаривший нас своею дружбою ровно через год после вас и… подобно вам-с.

— Ах, боже мой, ведь я же это знаю! — вскрикнул Вельчанинов, сообразив наконец. — Багаутов! да ведь он же служил у вас…

— Служил, служил! при губернаторе! Из Петербурга, самого высшего общества изящнейший молодой человек! — в решительном восторге выкрикивал Павел Павлович.

— Да-да-да! Что ж я! ведь и он тоже…

— И он тоже, и он тоже! — в том же восторге вторил Павел Павлович, подхватив неосторожное словцо хозяина, — и он тоже! И вот тут-то мы и играли «Провинциалку», на домашнем театре, у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича, — Степан Михайлович — графа, я — мужа, а покойница — провинциалку, — но только у меня отняли роль мужа по настоянию покойницы, так что я и не играл мужа, будто бы по неспособности-с…

— Да какой черт вы Ступендьев! Вы прежде всего Павел Павлович

Трусоцкий, а не Ступендьев! — грубо, не церемонясь и чуть не дрожа от раздражения, проговорил Вельчанинов. — Только позвольте: этот Багаутов здесь, в Петербурге; я сам его видел, весной видел! Что ж вы к нему-то тоже не идете?

— Каждый божий день захожу, вот уже три недели-с. Не принимают! Болен, не может принять! И представьте, из первейших источников узнал, что ведь и вправду чрезвычайно опасно болен! Этакой-то шестилетний друг! Ах, Алексей Иванович, говорю же вам и повторяю, что в таком настроении иногда провалиться сквозь землю желаешь, даже взаправду-с; а в другую минуту так бы, кажется, взял да и обнял, и именно кого-нибудь вот из прежних-то этих, так сказать, очевидцев и соучастников, и единственно для того только, чтоб заплакать, то есть совершенно больше ни для чего, как чтоб только заплакать!..

— Ну, однако же, довольно с вас на сегодня, ведь так? — резко проговорил Вельчанинов.

— Слишком, слишком довольно! — тотчас же поднялся с места Павел Павлович. — Четыре часа, и, главное, я вас так эгоистически потревожил…

— Слушайте же: я к вам сам зайду, непременно, и тогда уж надеюсь… Скажите мне прямо, откровенно скажите: вы не пьяны сегодня?

— Пьян? Ни в одном глазу…

— Не пили перед приходом или раньше?

— Знаете, Алексей Иванович, у вас совершенная лихорадка-с.

— Завтра же зайду, утром, до часу…

— И давно уже замечаю, что вы почти как в бреду с наслаждением перебивал и налегал на эту тему

Павел Павлович. — Мне так, право, совестно, что я моею неловкостию… но иду, иду! А вы лягте-ка и засните-ка!

— А что ж вы не сказали, где живете? — спохватился и закричал ему вдогонку Вельчанинов.

— А разве не сказал-с? в Покровской гостинице[*]…

— В какой еще Покровской гостинице?

— Да у самого Покрова, тут, в переулке-с, — вот забыл, в каком переулке, да и номер забыл, только близ самого Покрова…

— Отыщу!

— Милости просим дорогого гостя.

Он уже выходил на лестницу.

— Стойте! — крикнул опять Вельчанинов. — Вы не удерете?

— То есть как «удерете»? — вытаращил глаза Павел Павлович, поворачиваясь и улыбаясь с третьей ступеньки.

Вместо ответа Вельчанинов шумно захлопнул дверь, тщательно запер ее и насадил в петлю крюк. Воротясь в комнату, он плюнул, как бы чем-нибудь опоганившись.

Простояв минут пять неподвижно среди комнаты, он бросился на постель, совсем уже не раздеваясь, и в один миг заснул. Забытая свечка так и догорела до конца на столе.

IV
Жена, муж и любовник

Он спал очень крепко и проснулся ровно в половине десятого; мигом приподнялся, сел на постель и тотчас же начал думать о смерти «этой женщины».

Потрясающее вчерашнее впечатление при внезапном известии об этой смерти оставило в нем какое-то смятение и даже боль. Это смятение и боль были только заглушены в нем на время одной странной идеей вчера, при Павле Павловиче. Но теперь, при пробуждении, всё, что было девять лет назад, предстало вдруг перед ним с чрезвычайною яркостью.

Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену «этого Трусоцкого», он любил и был ее любовником, когда по своему делу (и тоже по поводу процесса об одном наследстве) он оставался в Т. целый год, — хотя собственно дело и не требовало такого долгого срока его присутствия; настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владели им, что он был как бы в рабстве у Натальи Васильевны и, наверно, решился бы тотчас на что-нибудь даже из самого чудовищного и бессмысленного, если б этого потребовал один только малейший каприз этой женщины. Ни прежде, ни потом никогда не было с ним ничего подобного. В конце года, когда разлука была уже неминуема, Вельчанинов был в таком отчаянии при приближении рокового срока, — в отчаянии, несмотря на то что разлука предполагалась на самое короткое время, — что предложил Наталье Васильевне похитить ее, увезти от мужа, бросить всё и уехать с ним за границу навсегда. Только насмешки и твердая настойчивость этой дамы (вполне одобрявшей этот проект вначале, но, вероятно, только от скуки или чтобы посмеяться) могли остановить его и понудить уехать одного. И что же? Не прошло еще двух месяцев после разлуки, как он в Петербурге уже задавал себе тот вопрос, который так и остался для него навсегда не разрешенным: любил ли в самом деле он эту женщину, или всё это было только одним «наваждением»? И вовсе не от легкомыслия или под влиянием начавшейся в нем новой страсти зародился в нем этот вопрос: в эти первые два месяца в Петербурге он был в каком-то

исступлении и вряд ли заметил хоть одну женщину, хотя тотчас же пристал к прежнему обществу и успел увидеть сотню женщин. Впрочем, он отлично хорошо знал, что очутись он тотчас опять в Т., то немедленно подпадет снова под всё гнетущее обаяние этой женщины, несмотря на все зародившиеся вопросы. Даже пять лет спустя он был в том же самом убеждении. Но пять лет спустя он уже признавался в этом себе с негодованием и даже об самой «женщине этой» вспоминал с ненавистью. Он стыдился своего т-ского года; он не мог понять даже возможности такой «глупой» страсти для него, Вельчанинова! Все воспоминания об этой страсти обратились для него в позор; он краснел до слез и мучился угрызениями. Правда, еще через несколько лет он уже несколько успел себя успокоить он постарался всё это забыть — и почти успел. И вот вдруг девять лет спустя, всё это так внезапно и странно воскресает перед ним опять после вчерашнего известия о смерти Натальи Васильевны.

Теперь, сидя на своей постели, с смутными мыслями, беспорядочно толпившимися в его голове, он чувствовал и сознавал ясно только одно, — что, несмотря на всё вчерашнее «потрясающее впечатление» при этом известии, он все-таки очень спокоен насчет того, что она умерла. «Неужели я о ней даже и не пожалею?» — спрашивал он себя. Правда, он уже не ощущал к ней теперь ненависти и мог беспристрастнее, справедливее судить о ней. По его мнению, уже давно, впрочем, сформировавшемуся в этот девятилетний срок разлуки, Наталья Васильевна принадлежала к числу самых обыкновенных провинциальных дам из «хорошего» провинциального общества, и — «кто знает, может, так оно и было, и только я один составил из нее такую фантазию?» Он, впрочем, всегда подозревал, что в этом мнении могла быть и ошибка; почувствовал это и теперь. Да и факты противоречили; этот Багаутов был несколько лет тоже с нею в связи и, кажется, тоже «под всем обаянием». Багаутов, действительно, был молодой человек из лучшего петербургского общества и, так как он «человек пустейший» (говорил об нем Вельчанинов), то, стало быть, мог сделать свою карьеру только в одном Петербурге. Но вот, однако же, он пренебрег Петербургом, то есть главнейшею своею выгодою, и потерял же пять лет в Т. единственно для этой женщины! Да и воротился наконец в Петербург, может, потому только, что и его тоже выбросили, как «старый, изношенный башмак». Значит, было же в этой

женщине что-то такое необыкновенное — дар привлечения, порабощения и владычества!

А между тем, казалось бы, она и средств не имела, чтобы привлекать и порабощать: «собой была даже и не так чтобы хороша; а может быть, и просто нехороша». Вельчанинов застал ее уже двадцати восьми лет. Не совсем красивое ее лицо могло иногда приятно оживляться, но глаза были нехороши: какая-то излишняя твердость была в ее взгляде. Она была очень худа. Умственное образование ее было слабое; ум был бесспорный и проницательный, но почти всегда односторонний. Манеры светской провинциальной дамы и при этом, правда, много такту; изящный вкус, но преимущественно в одном только уменье одеться. Характер решительный и владычествующий; примирения наполовину с нею быть не могло ни в чем: «или всё, или ничего». В делах затруднительных твердость и стойкость удивительные. Дар великодушия и почти всегда с ним же рядом — безмерная несправедливость. Спорить с этой барыней было невозможно: дважды два для нее никогда ничего не значили. Никогда ни в чем не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянные и бесчисленные измены ее мужу нисколько не тяготили ее совести. По сравнению самого Вельчанинова, она была как «хлыстовская богородица»[*], которая в высшей степени сама верует в то, что она и в самом деле богородица, — в высшей степени веровала и Наталья Васильевна в каждый из своих поступков. Любовнику она была верна — впрочем, только до тех пор, пока он не наскучил. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Тип был страстный, жестокий и чувственный. Она ненавидела разврат, осуждала его с неимоверным ожесточением и — сама была развратна. Никакие факты не могли бы никогда привести ее к сознанию в своем собственном разврате. «Она, наверно, *искренно* не знает об этом», — думал Вельчанинов об ней еще в Т. (Заметим мимоходом, сам участвуя в ее разврате). «Это одна из тех женщин, — думал он, — которые как будто для того и родятся, чтобы быть неверными женами. Эти женщины никогда не падают в девицах; закон природы их — непременно быть для этого замужем. Муж — первый любовник, но не иначе, как после венца. Никто ловче и легче их не выходит замуж. В первом любовнике всегда муж виноват. И всё происходит в высшей степени искренно; они до конца чувствуют себя в высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными».

Вельчанинов был убежден, что действительно существует такой тип таких женщин; но зато был убежден, что существует и соответственный этим женщинам тип мужей, которых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность таких мужей состоит в том, чтоб быть, так сказать, «вечными мужьями» или, лучше сказать, быть в жизни *только* мужьями и более уж ничем. «Такой человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в придаточное своей жены, даже и в том случае, если б у него случился и свой собственный, неоспоримый характер. Главный признак такого мужа — известное украшение. Не быть рогоносцем он не может, точно так же как не может солнце не светить; но он об этом не только никогда не знает, но даже и никогда не может узнать по самым законам природы». Вельчанинов глубоко верил, что существуют эти два типа и что Павел Павлович Трусоцкий в Т. был совершенным представителем одного из них. Вчерашний Павел Павлович, разумеется, был не тот Павел Павлович, который был ему известен в Т. Он нашел, что он до невероятности изменился, но Вельчанинов знал, что он и не мог не измениться и что всё было совершенно естественно; господин Трусоцкий мог быть всем тем, чем был прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть целого, выпущенная вдруг на волю, то есть что-то удивительное и ни на что не похожее.

Что же касается до т-ского Павла Павловича, то вот что упомнил о нем и припомнил теперь Вельчанинов:

«Конечно, Павел Павлович в Т. был только муж», и ничего более. Если, например, он был, сверх того, и чиновник, то единственно потому, что для него и служба обращалась, так сказать, в одну из обязанностей его супружества; он служил для жены и для ее светского положения в Т., хотя и сам по себе был весьма усердным чиновником. Ему было тогда тридцать пять лет и обладал он некоторым состоянием, даже и не совсем маленьким. На службе особенных способностей не выказывал, но не выказывал и неспособности. Водился со всем, что было высшего в губернии, и слыл на прекрасной ноге. Наталью Васильевну в Т. совершенно уважали; она, впрочем, и не очень это ценила, принимая как должное, но у себя умела всегда принять превосходно, причем Павел Павлович был так ею вышколен, что мог иметь облагороженные

манеры даже и при приеме самых высших губернских властей. Может быть (казалось Вельчанинову), у него был и ум; но так как Наталья Васильевна не очень любила, когда супруг ее много говорил, то ума и нельзя было очень заметить. Может быть, он имел много прирожденных хороших качеств, равно как и дурных. Но хорошие качества были как бы под чехлом, а дурные поползновения были заглушены почти окончательно. Вельчанинов помнил, например, что у господина Трусоцкого рождалось иногда поползновение посмеяться над своим ближним; но это было ему строго запрещено. Любил он тоже иногда что-нибудь рассказать; но и над этим наблюдалось: рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнее и покороче. Он склонен был к приятельскому кружку вне дома и даже — выпить с приятелем; но последнее даже в корень было истреблено. И при этом черта: взглянув снаружи, никто не мог бы сказать, что это муж под башмаком; Наталья Васильевна казалась совершенно послушною женой и даже, может быть, сама была в этом уверена. Могло быть, что Павел Павлович любил Наталью Васильевну без памяти; но заметить этого не мог никто, и даже было невозможно, вероятно, тоже по домашнему распоряжению самой Натальи Васильевны. Несколько раз в продолжение своей т-ской жизни спрашивал себя Вельчанинов: подозревает ли его этот муж хоть сколько-нибудь в связи с своей женой? Несколько раз он спрашивал об этом серьезно Наталью Васильевну и всегда получал в ответ, высказанный с некоторой досадой, что муж ничего не знает, и никогда ничего не может узнать, и что «всё, что есть, совсем не его дело». Еще черта с ее стороны: над Павлом Павловичем она никогда не смеялась и ни в чем не находила его ни смешным, ни очень дурным, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмелился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имея детей, она, естественно, должна была обратиться преимущественно в светскую женщину; но и свой дом был ей необходим. Светские удовольствия никогда не царили над нею вполне, и дома она очень любила заниматься хозяйством и рукодельями. Павел Павлович вспомнил вчера об их семейных чтениях в Т. по вечерам; это бывало: читал Вельчанинов, читал и Павел Павлович; к удивлению Вельчанинова, он очень хорошо умел читать вслух. Наталья Васильевна при этом что-нибудь вышивала и выслушивала чтение всегда спокойно и ровно. Читались романы Диккенса, что-нибудь из русских журналов, а

иногда что-нибудь и из «серьезного». Наталья Васильевна высоко ценила образованность Вельчанинова, но молчаливо, как дело поконченное и решенное, о котором уже нечего больше и говорить; вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, как совершенно к чему-то постороннему, хотя, может бы, и полезному; Павел же Павлович иногда с некоторым жаром.

Т-ская связь порвалась вдруг, достигнув со стороны Вельчанинова самого полного верха и даже почти безумия. Его просто и вдруг прогнали, хотя все устроилось, так что он уехал совершенно не ведая, что уже выброшен «как старый, негодный башмак». Тут в Т., месяца за полтора до его отбытия, появился один молоденький артиллерийский офицерик, только что выпущенный из корпуса и повадился ездить к Трусоцким; вместо троих очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась с ним как с мальчиком. Вельчанинову было решительно ничего невдомек, да и не до того ему было тогда, так как ему вдруг объявили о необходимости разлуки. Одною из сотни причин для непременного и скорейшего его отъезда, выставленных Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна; а потому и естественно, что ему надо непременно и сейчас же скрыться хоть месяца на три или на четыре, чтобы через девять месяцев мужу труднее было в чем-нибудь усумниться, если б и вышла потом какая-нибудь клевета. Аргумент был довольно натянутый. После бурного предложения Вельчанинова бежать в Париж или в Америку он уехал один в Петербург, «без сомнения, на одну только минутку», то есть не более как на три месяца, иначе он не уехал бы ни за что, несмотря ни на какие причины и аргументы. Ровно через два месяца он получил в Петербурге от Натальи Васильевны письмо с просьбою не приезжать никогда, потому что она уже любила другого; про беременность же свою уведомляла, что она ошиблась. Уведомление об ошибке было лишнее, ему всё уже было ясно: он вспомнил про офицерика. Тем дело и кончилось навсегда. Слышал как-то он потом, уже несколько лет спустя, что там очутился Багаутов и пробыл целые пять лет. Такую безмерную продолжительность связи он объяснил себе, между прочим, и тем, что Наталья Васильевна, верно, уже сильно постарела, а потому и сама стала привязчивее.

Он просидел на своей кровати почти час; наконец опомнился, позвонил Мавру с кофеем, выпил наскоро, оделся и ровно в

одиннадцать часов отправился к Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчет собственно Покровской гостиницы в нем сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатление. Между прочим, ему было даже несколько совестно за вчерашнее свое обращение с Павлом Павловичем, и это надо было теперь разрешить.

Всю вчерашнюю фантасмагорию с замком у дверей он объяснял случайностию, пьяным видом Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чем, но, в сущности, не совсем точно знал, зачем он идет теперь завязывать какие-то новые отношения с прежним мужем, тогда как всё так естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло; было тут какое-то особое впечатление, и вследствие этого впечатления его влекло…

V
Лиза

Павел Павлович «удирать» и не думал, да и бог знает для чего Вельчанинов ему сделал вчера этот вопрос; подлинно сам был в затмении. По первому спросу в мелочной лавочке у Покрова ему указали Покровскую гостиницу, в двух шагах в переулке. В гостинице объяснили, что господин Трусоцкий «стали» теперь тут же на дворе, во флигеле, в меблированных комнатах у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лестнице флигеля во второй этаж, где были эти комнаты, он вдруг услышал плач. Плакал как будто ребенок, лет семи-восьми; плач был тяжелый, слышались заглушаемые, но прорывающиеся рыдания, а вместе с ними топанье ногами и тоже как бы заглушаемые, но яростные окрики, какой-то сиплой фистулой, но уже взрослого человека. Этот взрослый человек, казалось, унимал ребенка и очень не желал, чтобы плач слышали, но шумел больше его. Окрики были безжалостные, а ребенок точно как бы умолял о прощении. Вступив в небольшой коридор, по обеим сторонам которого было по две двери, Вельчанинов встретил одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросил ее о Павле Павловиче. Она ткнула пальцем на дверь, из-за которой слышен был плач. Толстое и багровое лицо этой сорокалетней бабы было в некотором негодовании.

— Вишь, ведь потеха ему! — пробасила она вполголоса и прошла на лестницу. Вельчанинов хотел было постучаться, но раздумал и прямо отворил дверь к Павлу Павловичу. В небольшой комнате, грубо, но обильно меблированной простой крашеной мебелью, посредине стоял Павел Павлович, одетый лишь до половины, без сюртука и без жилета, и с раздраженным красным лицом унимал криком жестами, а может быть (показалось Вельчанинову) и пинками, маленькую девочку, лет восьми, одетую бедно хотя и барышней, в черном шерстяном коротеньком платьице. Она, казалось, была в настоящей истерике, истерически всхлипывала и тянулась руками к Павлу Павловичу, как бы желая охватить его, обнять его, умолить и упросить о чем-то. В одно мгновение все изменилось: увидев гостя, девочка вскрикнула и

стрельнула в соседнюю крошечную комнатку, а Павел Павлович, на мгновение озадаченный, тотчас же весь растаял в улыбке, точь-в-точь как вчера, когда Вельчанинов вдруг отворил дверь к нему на лестницу.

— Алексей Иванович! — вскричал он в решительном удивлении. — Никоим образом не мог ожидать… но вот сюда, сюда! Вот здесь, на диван, или сюда, в кресла, а я… — И он бросился одевать сюртук, забыв надеть жилет.

— Не церемоньтесь, оставайтесь в чем вы есть, — Вельчанинов уселся на стул.

— Нет, уж позвольте-с поцеремониться; вот я теперь и поприличнее. Да куда ж вы уселись в углу? Вот сюда, в кресла, к столу бы… Ну, не ожидал, не ожидал!

Он тоже уселся на краешке плетеного стула, но не рядом с «неожиданным» гостем, а поворотив стул углом, чтобы сесть более лицом к Вельчанинову.

— Почему ж не ожидали? Ведь я именно назначил вчера, что приду к вам в это время?

— Думал, что не придете-с; и как сообразил всё вчерашнее проснувшись, так решительно уж отчаялся вас увидеть, даже навсегда-с.

Вельчанинов меж тем осмотрелся кругом. Комната была в беспорядке, кровать не убрана, платье раскидано, на столе стаканы с выпитым кофеем, крошки хлеба и бутылка шампанского, до половины не допитая, без пробки и со стаканом подле. Он накосился взглядом в соседнюю комнату, но там всё было тихо; девочка притаилась и замерла.

— Неужто вы пьете это теперь? — указал Вельчанинов на шампанское.

— Остатки-с… — сконфузился Павел Павлович.

— Ну переменились же вы!

— Дурные привычки и вдруг-с. Право, с того срока; не лгу-с! Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексей Иванович, я теперь не пьян и не стану нести околесины, как вчера у вас-с, но верно вам говорю: всё с того срока-с! И скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что я вдруг так расшатаюсь, как вот теперь-с, покажи мне тогда меня самого в зеркале — не поверил бы!

— Стало быть, вы были же вчера пьяны?

— Был-с, — вполголоса признался Павел Павлович, конфузливо

опуская глаза, — и видите ли-с: не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-с: хмелю уж немного, а жестокость какая-то и безрассудство остаются, да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с. Тут-то я и накуролесить могу совсем даже глупо-с и обидеть лезу. Должно быть, себя очень странно вам представил вчера?

— Вы разве не помните?

— Как не помнить, всё помню-с…

— Видите, Павел Павлович, я совершенно так же подумал и объяснил себе, — примирительно сказал Вельчанинов, — сверх того, я сам вчера был с вами несколько раздражителен и… излишне нетерпелив, в чем сознаюсь охотно. Я не совсем иногда хорошо себя чувствую, и нечаянный приход ваш ночью…

— Да, ночью, ночью! — закачал головой Павел Павлович, как бы удивляясь и осуждая. — И как это меня натолкнуло! Ни за что бы я к вам не зашел, если б вы только сами не отворили-с; от дверей бы ушел-с. Я к вам, Алексей Иванович, с неделю тому назад заходил и вас не застал, но потом, может быть, и никогда не зашел бы в другой раз-с. Все-таки и я немножко горд тоже, Алексей Иванович, хоть и сознаю себя… в таком состоянии. Мы и на улице встречались, да всё думаю: а ну как не узнает, а ну как отвернется, девять лет не шутка, — и не решался подойти. А вчера с Петербургской стороны брел, да и час забыл-с. Всё от этого (он указал на бутылку), да от чувства-с. Глупо! очень-с! и будь человек не таков, как вы, — потому что ведь пришли же вы ко мне даже после вчерашнего, вспомня старое, — так я бы даже надежду потерял знакомство возобновить.

Вельчанинов слушал со вниманием. Человек этот говорил, кажется, искренно и с некоторым даже достоинством; а между тем он ничему не верил с самой той минуты, как вошел к нему.

— Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть, не один? Чья это девочка, которую я застал при вас давеча?

— Павел Павлович даже удивился и поднял брови, но ясно и приятно посмотрел на Вельчанинова.

— Как чья девочка? да ведь это Лиза! — проговорил он приветливо улыбаясь.

— Какая Лиза? — пробормотал Вельчанинов, и что-то вдруг как бы дрогнуло в нем. Впечатление было слишком внезапное. Давеча, войдя и

увидев Лизу, он хоть и подивился, но не ощутил в себе решительно никакого предчувствия, никакой особенной мысли.

— Да наша Лиза, дочь наша Лиза! — улыбался Павел Павлович.

— Как дочь? Да разве у вас с Натальей… с покойной Натальей Васильевной были дети? — недоверчиво и робко спросил Вельчанинов каким-то уж очень тихим голосом.

— Да как же-с? Ах, боже мой, да ведь и в самом деле от кого же вы могли знать? Что ж это я! это уже после вас нам бог даровал!

Павел Павлович привскочил даже со стула от некоторого волнения, впрочем тоже как бы приятного.

— Я ничего не слыхал, — сказал Вельчанинов и — побледнел.

— Действительно, действительно, от кого же вам было и узнать-с! — повторил Павел Павлович расслабленно-умиленным голосом. — Мы ведь и надежду с покойницей потеряли, сами ведь вы помните, и вдруг благословляет господь, и что со мной тогда было, — это ему только одному известно! ровно, кажется, через год после вас! или нет, не через год, далеко нет, постойте-с: вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в октябре или даже в ноябре выехали?

— Я уехал из Т. в начале сентября, двенадцатого сентября; я хорошо помню…

— Неужели в сентябре? гм… что ж это я? — очень удивился Павел Павлович. — Ну, так если так, то позвольте же: вы выехали сентября двенадцатого-с, а Лиза родилась мая восьмого, это, стало быть, сентябрь — октябрь — ноябрь — декабрь — январь — февраль — март— апрель, — через восемь месяцев с чем-то-с, вот-с! и если б вы только знали, как покойница…

— Покажите же мне… позовите же ее… — каким-то срывавшимся голосом пролепетал Вельчанинов.

— Непременное! — захлопотал Павел Павлович, тот час же прерывая то, что хотел сказать, как вовсе ненужное, — сейчас, сейчас вам представлю-с! — и торопливо отправился в комнату к Лизе.

Прошло, может быть, целых три или четыре минуты, в комнатке скоро и быстро шептались, и чуть-чуть послышались звуки голоса Лизы; «она просит, чтобы ее не выводили», — думал Вельчанинов. Наконец вышли.

— Вот-с, все конфузится, — сказал Павел Павлович, — стыдливая такая, гордая-с… и вся-то в покойницу!

Лиза вышла уже без слез, с опущенными глазами; отец вел ее за руку. Это была высоконькая, тоненькая и очень хорошенькая девочка. Она быстро подняла свои большие голубые глаза на гостя, с любопытством, но угрюмо посмотрела на него и тотчас же опять опустила глаза. Во взгляде ее была та детская важность, когда дети, оставшись одни с незнакомым, уйдут в угол и оттуда важно и недоверчиво поглядывают на нового, никогда еще и не бывшего гостя; но была, может быть, и другая, как бы уж и не детская мысль, — так показалось Вельчанинову. Отец подвел ее к нему вплоть.

— Вот этот дяденька мамашу знал прежде, друг наш был, ты не дичись, протяни руку-то.

Девочка слегка наклонилась и робко протянула руку.

— У нас Наталья Васильевна-с не хотела учить ее приседать в знак приветствия, а так на английский манер слегка наклониться и протянуть гостю руку, — прибавил он в объяснение Вельчанинову, пристально в него всматриваясь.

Вельчанинов знал, что он всматривается, но совсем уже не заботился скрывать свое волнение; он сидел на стуле не шевелясь, держал руку Лизы в своей руке и пристально вглядывался в ребенка. Но Лиза была чем-то очень озабочена и, забыв свою руку в руке гостя, не сводила глаз с отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что он говорил. Вельчанинов тотчас же признал эти большие голубые глаза, но всего более поразили его удивительная, необычайно нежная белизна ее лицами цвет волос; эти признаки были слишком для него значительны. Оклад лица и склад губ, напротив того, резко напоминал Наталью Васильевну. Павел Павлович между тем давно уже начал что-то рассказывать, казалось с чрезвычайным жаром и чувством, но Вельчанинов совсем не слыхал его. Он захватил только одну последнюю фразу:

— …так что вы, Алексей Иванович, даже и вообразить не можете нашей радости при этом даре господнем-с! Дли меня она всё составила своим появлением, так что если б и исчезло по воле божьей мое тихое счастье, — так вот, думаю, останется мне Лиза; вот что по крайней мере я твердо знал-с!

— А Наталья Васильевна? — спросил Вельчанинов.

— Наталья Васильевна? — покривился Павел Павлович — Ведь вы ее знаете, помните-с, она много высказывать не любила, но зато как

прощалась с нею на смертном одре… тут-то вот всё и высказалось-с! И вот я вам сказал сейчас «на смертном одре-с»; а меж тем вдруг, за день уже до смерти, волнуется, сердится, — говорит, что ее лекарствами залечить хотят, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслят, и как только вернется Кох (помните, штаб-лекарь-то наш, старичок), так она через две недели встанет с постели! Да куда, уже за пять только часов до отхода вспоминала, что через три недели непременно надо тетку, именинницу, посетить, в имении ее, Лизину крестную мать-с…

Вельчанинов вдруг поднялся со стула, всё еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочим, показалось, что в горячем взгляде девочки, устремленном на отца, было что-то укорительное.

— Она не больна? — как-то странно, торопливо спросил он.

— Кажется бы, нет-с, но… обстоятельства-то вот наши так здесь сошлись, — проговорил Павел Павлович с горестною заботливостью, — ребенок странный и без того-с нервный, после смерти матери больна была две недели, истерическая-с. Давеча ведь какой у нас плач был, как вы вошли-с, — слышишь, Лиза, слышишь? — а ведь из-за чего-с? Всё в том, что я ухожу и ее оставляю, значит, дескать, что уж и не люблю больше так, как ее при мамаше любил, — вот в чем обвиняет меня. И забредет же в голову такая фантазия такому еще ребенку-с которому бы только в игрушки играть. А здесь и поиграть-то ей не с кем.

— Так как же вы… вы здесь разве совсем только вдвоем?

— Совсем одинокие-с; служанка только разве прислужить придет, раз на дню.

— А уходите, ее одну так и оставляете?

А то как же-с? А вчера уходил, так даже запер ее, вот в той комнатке, из-за того у нас и слезы вышли сегодня. Да ведь что же было делать, посудите сами: третьего дня сошла она вниз без меня, а мальчик ей в голову камнем пустил. А то заплачет да и бросится у всех на дворе расспрашивать: куда я ушел? а ведь это нехорошо-с. Да и я-то хорош: уйду на час, а приду на другой день поутру, так и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка без меня отперла ей, слесаря призывала замок отворить, — даже срам-с, — подлинно сам себя извергом чувствую-с. Всё от затмения-с…

— Папаша! — робко и беспокойно проговорила девочка.

— Ну, вот и опять! опять ты за то же! что я давеча говорил?

— Я не буду, я не буду, — в страхе, торопливо складывая перед ним руки, повторила Лиза.

— Так не может продолжаться у вас, при такой обстановке, — нетерпеливо заговорил вдруг Вельчанинов голосом власть имеющего. — Ведь вы… ведь вы человек с состоянием же; как же вы так — во-первых, в этом флигеле и при такой обстановке?

— Во флигеле-то-с? да ведь через неделю, может, уже и уедем-с, а денег и без того много потратили, хотя бы и с состоянием-с…

— Ну, довольно, довольно, — прервал его Вельчанинов всё с более и более возраставшим нетерпением, как бы явно говоря: «Нечего говорить, всё знаю, что ты скажешь, и знаю, с каким намерением ты говоришь!» — Слушайте, я вам делаю предложение: вы сейчас сказали, что останетесь неделю, пожалуй, может, и две. У меня здесь есть один дом, то есть такое семейство, где я как в родном своем углу, — вот уже двадцать лет. Это семейство одних Погорельцевых. Погорельцев Александр Павлович, тайный советник; даже вам, пожалуй, пригодится по вашему делу. Они теперь на даче. У них богатейшая своя дача. Клавдия Петровна Погорельцева мне как сестра, как мать. У них восемь человек детей. Дайте я сейчас же свезу к ним Лизу… я для того, чтоб времени не терять. Они с радостью примут, на всё это время, обласкают, как родную дочь, как родную дочь!

Он был в ужасном нетерпении и не скрывал этого.

— Это как-то уж невозможно-с, — проговорил Павел Павлович, с ужимкою и хитро, как показалось Вельчанинову, засматривая ему в глаза.

— Почему? Почему невозможно?

— Да как же-с, отпустить так ребенка, и вдруг-с — положим с таким искренним благоприятелем, как вы, я не про то-с, но все-таки в дом незнакомый, и такого уж высшего общества-с, где я еще и не знаю, как примут.

— Да я же сказал вам, что я у них как родной, — почти в гневе закричал Вельчанинов. — Клавдия Петровна за счастье почтет по одному моему слову. Как бы мою дочь… да черт возьми, ведь вы сами же знаете, что вы только так, чтобы болтать… чего же уж тут говорить!

Он даже топнул ногой.

— Я к тому, что не странно ли очень уж будет-с? Все-таки надо бы и мне хоть раз-другой к ней наведаться, а то как же совсем без отца-то-

с? хе-хе… и в такой важный дом-с.

— Да это простейший дом, а вовсе не «важный»! — кричал Вельчанинов, — говорю вам, там детей много. Она там воскреснет, всё для этого… А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будет вам съездить поблагодарить; каждый день будем ездить, если хотите…

— Всё как-то-с…

— Вздор! Главное в том, что вы сами это знаете! Слушайте, заходите ко мне сегодня с вечера и ночуйте, пожалуй, а поутру пораньше и поедем, чтобы в двенадцать там быть.

— Благодетель вы мой! Даже и ночевать у вас… — с умилением согласился вдруг Павел Павлович, — подлинно благодеяние оказываете… а где ихняя дача-с?

— Дача их в Лесном.

— Только вот как же ее костюм-с? Потому-с в такой знатный дом, да еще на даче-с, сами знаете… Сердце отца-с!

— А какой ее костюм? Она в трауре. Разве может быть у ней другой костюм? Самый приличный, какой только можно вообразить! Только вот белье бы почище, косыночку… (Косыночка и выглядывавшее белье были действительно очень грязны).

— Сейчас же, непременно переодеться, — захлопотал Павел Павлович, — а прочее необходимое белье мы ей тоже сейчас соберем; оно у Марьи Сысоевны в стирке-с.

— Так велеть бы послать за коляской, — перебил Вельчанинов, — и скорей, если б возможно.

Но оказалось препятствие: Лиза решительно воспротивилась, всё время она со страхом прислушивалась, и если бы Вельчанинов, уговаривая Павла Павловича, имел время пристально к ней приглядеться, то увидел бы совершенное отчаяние на ее личике.

— Я не поеду, — сказала она твердо и тихо.

— Вот, вот видите-с, вся в мамашу!

— Я не в мамашу, я не в мамашу! — выкрикивала Лиза, в отчаянии ломая свои маленькие руки и как бы оправдываясь перед отцом в страшном упреке, что она в мамашу. — Папаша, папаша, если вы меня кинете…

Она вдруг накинулась на испугавшегося Вельчанинова.

— Если вы возьмете меня, так я…

Но она не успела ничего выговорить далее; Павел Павлович схватил ее за руку, чуть не за шиворот, и уже с нескрываемым озлоблением потащил ее в маленькую комнатку. Там опять несколько минут происходило шептанье, слышался заглушенный плач. Вельчанинов хотел было уже идти туда сам, но Павел Павлович вышел к нему и с искривленной улыбкой объявил, что сейчас она выйдет-с. Вельчанинов старался не глядеть на него и смотрел в сторону.

Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встретил он, входя давеча в коридор, и стала укладывать в хорошенький маленький сак, принадлежавший Лизе, принесенное для нее белье.

— Вы, что ли, батюшка, девочку-то отвезете? — обратилась она к Вельчанинову, — семейство, что ли, у вас? Хорошо, батюшка, сделаете: ребенок смирный, от содома избавите.

— Уж вы, Марья Сысоевна, — пробормотал было Павел Павлович.

— Что Марья Сысоевна! Меня и все так величают. Аль у тебя не содом? Прилично ли робеночку с понятием на такой срам смотреть? Коляску-то привели вам, батюшка, — до Лесного, что ли?

— Да, да.

— Ну и в добрый час!

Лиза вышла бледненькая, с потупленными глазками, и взяла сак. Ни одного взгляда в сторону Вельчанинова; она сдержала себя и не бросилась, как давеча, обнимать отца, даже при прощанье; видимо, даже не хотела поглядеть на него. Отец прилично поцеловал ее в головку и погладил; у ней закривилась при этом губка и задрожал подбородок, но глаз она на отца все-таки не подняла. Павел Павлович был как будто бледен, и руки у него дрожали — это ясно заметил Вельчанинов, хотя всеми силами старался не смотреть на него. Одного ему хотелось: поскорей уж уехать. «А там что ж, чем же я виноват? — думал он. — Так должно было быть». Сошли вниз, тут расцеловалась с Лизой Марья Сысоевна, и, только уже усевшись в коляску, Лиза подняла глаза на отца — и вдруг всплеснула руками и вскрикнула; еще миг, и она бы бросилась к нему из коляски, но лошади уже тронулись.

VI
Новая фантазия праздного человека

— Уж не дурно ли вам? — испугался Вельчанинов. — Я велю остановить, я велю вынести воды…

Она вскинула на него глазами и горячо, укорительно поглядела.

— Куда вы меня везете? — проговорила она резко и отрывисто.

— Это прекрасный дом, Лиза. Они теперь на прекрасной даче; там много детей, они вас там будут любить, они добрые… Не сердитесь на меня, Лиза, я вам добра хочу…

Странен бы показался он в эту минуту кому-нибудь из знавших его, если бы кто из них мог его видеть.

— Как вы, — как вы, — как вы… у, какие вы злые! — сказала Лиза, задыхаясь от подавляемых слез и засверкав на него озлобленными прекрасными глазами.

— Лиза, я…

— Вы злые, злые, злые! — Она ломала свои руки. Вельчанинов совсем потерялся.

Лиза, милая, если б вы знали, в какое отчаяние вы меня приводите!

Это правда, что он завтра приедет? Правда? — спросила она повелительно.

— Правда, правда! Я его сам привезу; я его возьму и привезу.

— Он обманет, — прошептала Лиза, опуская глаза в землю.

— Разве он вас не любит, Лиза?

— Не любит.

— Он вас обижал? Обижал?

Лиза мрачно посмотрела на него и промолчала. Она опять отвернулась от него и сидела, упорно потупившись. Он начал ее уговаривать, он говорил ей с жаром, он был сам в лихорадке. Лиза слушала недоверчиво, враждебно, но слушала. Внимание ее обрадовало его чрезвычайно: он даже стал объяснять ей, что такое пьющий человек. Он говорил, что сам ее любит и будет наблюдать за отцом. Лиза подняла наконец глаза и пристально на него поглядела. Он стал рассказывать, как он знал еще ее мамашу, и видел, что завлекает рассказами. Мало-помалу она начала понемногу отвечать на его

вопросы, — но осторожно и односложно, с упорством. На главные вопросы она все-таки ничего не ответила: она упорно молчала обо всем, что касалось прежних ее отношений к отцу. Говоря с нею, Вельчанинов взял ее ручку в свою, как давеча, и не выпускал ее; она не отнимала. Девочка, впрочем, не все молчала; она все-таки проговорилась в неясных ответах, что отца она больше любила, чем мамашу, потому что он всегда прежде ее больше любил, а мамаша прежде ее меньше любила; но что когда мамаша умирала, то очень ее целовала и плакала, когда все вышли из комнаты и они остались вдвоем… и что она теперь ее больше всех любит, больше всех, всех на свете, и каждую ночь больше всех любит ее. Но девочка была действительно гордая: спохватившись о том, что она проговорилась, она вдруг опять замкнулась и примолкла; даже с ненавистью взглянула на Вельчанинова, заставившего ее проговориться. Под конец пути истерическое состояние ее почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрела как дикарка, угрюмо, с мрачным, предрешенным упорством. Что же касается до того, что ее везут теперь в незнакомый дом, в котором она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покамест смущало. Мучило ее другое, это видел Вельчанинов; он угадывал, что ей стыдно *его,* что ей именно стыдно того, что отец так легко ее с ним отпустил, как будто бросил ее ему на руки.

«Она больна, — думал он, — может быть, очень; ее измучили… О пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его!» Он торопил кучера; он надеялся на дачу, на воздух, на сад, на детей, на новую, незнакомую ей жизнь, а там, потом… Но в том, что будет после, он уже не сомневался нисколько; там были полные, ясные надежды. Об одном только он знал совершенно: что никогда еще он не испытывал того, что ощущает теперь, и что это останется при нём на всю его жизнь! «Вот цель, вот жизнь!» — думал он восторженно.

Много мелькало в нем теперь мыслей, но он не останавливался на них и упорно избегал подробностей: без подробностей всё становилось ясно, все было нерушимо. Главный план его сложился сам собою: «Можно будет подействовать на этого мерзавца, — мечтал он, — соединенными силами, и он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу, хотя сначала только на время, на срок, и уедет один; а Лиза останется мне; вот и всё, чего же тут более? И… и, конечно, он сам этого желает; иначе зачем бы ему ее мучить». Наконец приехали. Дача

Погорельцевых была действительно прелестное местечко; встретила их прежде всех шумная ватага детей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчанинов уже слишком давно тут не был, и радость детей была неистовая: его любили. Постарше тотчас же закричали ему, прежде чем он вышел из коляски:

— А что процесс, что ваш процесс? — Это подхватили и самые маленькие и со смехом визжали вслед за старшими. Его здесь дразнили процессом. Но, увидев Лизу, тотчас же окружили ее и стали ее рассматривать с молчаливым и пристальным детским любопытством. Вышла Клавдия Петровна, а за нею ее муж. И она и муж ее тоже начали, с первого слова и смеясь, вопросом о процессе.

Клавдия Петровна была дама лет тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом. Муж ее был лет пятидесяти пяти, человек умный и хитрый, но добряк прежде всего. Их дом был в полном смысле «родной угол» для Вельчанинова, как сам он выражался. Но тут скрывалось еще особое обстоятельство: лет двадцать назад эта Клавдия Петровна чуть было не вышла замуж за Вельчанинова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь была первая, пылкая, смешная и прекрасная. Кончилось, однако же, тем, что она вышла за Погорельцева. Лет через пять опять встретились, и всё кончилось ясной и тихою дружбой. Осталась навсегда какая-то теплота в их отношениях, какой-то особенный свет, озарявший эти отношения. Тут всё было чисто и безупречно в воспоминаниях Вельчанинова и тем дороже для него, что, может быть, единственно только тут это и было. Здесь, в этой семье, он был прост, наивен, добр, нянчил детей, не ломался никогда, сознавался во всём и исповедовался во всём. Он клялся не раз Погорельцевым, что поживет еще немного в свете, а там переедет к ним совсем и станет жить с ними, уже не разлучаясь. Про себя он думал об этом намерении вовсе не шутя.

Он довольно подробно изложил им о Лизе всё, что было надо; но достаточно было одной его просьбы, безо всяких особенных изложений. Клавдия Петровна расцеловала «сиротку» и обещала сделать всё с своей стороны. Дети подхватили Лизу и увели играть в сад. Через полчаса живого разговора Вельчанинов встал и стал прощаться. Он был в таком нетерпении, что всем это стало заметно. Все удивились: не был три недели и теперь уезжает через полчаса. Он смеялся и клялся, что приедет завтра. Ему заметили, что он в слишком сильном волнении; он

вдруг взял за руки Клавдию Петровну и под предлогом, что забыл сказать что-то очень важное, отвел ее в другую комнату.

— Помните вы, что я вам говорил, — вам одной, и чего даже муж ваш не знает, — о т-ском годе моей жизни?

— Слишком помню; вы часто об этом говорили.

— Я не говорил, а я исповедовался, и вам одной, вам одной! Я никогда не называл вам фамилии этой женщины; она — Трусоцкая, жена этого Трусоцкого. Это она умерла, а Лиза, ее дочь, — моя дочь!

— Это наверно? Вы не ошибаетесь? — спросила Клавдия Петровна с некоторым волнением.

— Совершенно, совершенно не ошибаюсь! — восторженно проговорил Вельчанинов.

И он рассказал сколько мог вкратце, спеша и волнуясь ужасно, — всё. Клавдия Петровна и прежде знала это всё, но фамилии этой дамы не знала. Вельчанинову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь из знающих его встретит когда-нибудь m-me Трусоцкую и подумает, что *он* мог *так,* любить эту женщину, что даже Клавдии Петровне, единственному своему другу, он не посмел открыть до сих пор имени «этой женщины».

— И отец ничего не знает? — спросила та, выслушав рассказ.

— Н-нет, он знает… Это-то меня и мучит, что я еще не разглядел тут всего! — горячо продолжал Вельчанинов. — Он знает, знает; я это заметил сегодня и вчера. Но мне надо знать, сколько именно он тут знает? Я потому и спешу теперь. Сегодня вечером он придет. Недоумеваю, впрочем, откуда бы ему знать, — то есть *всё-то* знать? Про Багаутова он знает всё, в этом нет сомнения. Но про меня? Вы знаете, как в этом случае жены умеют заверить твоих мужей! Сойди сам ангел с небеси — муж и тому не поверит а поверит ей! Не качайте головой, не осуждайте меня, я сам себя осуждаю и осудил во всем давно, давно!.. Видите, давеча у него я до того был уверен, что он знает всё, что компрометировал перед ним себя сам. Верите ли: мне так стыдно и тяжело, что я его вчера так грубо встретил. (Я вам потом всё еще подробнее расскажу!) Он и зашел вчера ко мне из непобедимого злобного желания дать мне знать, что он знает свою обиду и что ему известен обидчик! Вот вся причина его глупого прихода в пьяном виде. Но это так естественно с его стороны! Он именно зашел укорить! Вообще я слишком горячо вел это давеча и вчера! Неосторожно, глупо!

Сам себя ему выдал! Зачем он в такую расстроенную минуту подъехал? Говорю же вам, что он даже Лизу мучил, мучил ребенка, и, наверно, тоже, чтоб укорить, чтоб зло сорвать хоть на ребенке! Да, он озлоблен, — как он ни ничтожен, но он озлоблен; очень даже. Само собою, это не более как шут, хотя прежде, ей-богу, он имел вид порядочного человека, насколько мог, но ведь это так естественно, что он пошел беспутничать! Тут, друг мой, по-христиански надо взглянуть! И знаете, милая, добрая моя, — я хочу к нему совсем перемениться: я хочу обласкать его. Это будет даже «доброе дело» с моей стороны. Потому что ведь все-таки я же перед ним виноват! Послушайте, знаете, я вам еще скажу: мне раз в Т. вдруг четыре тысячи рублей понадобились, и он мне выдал их в одну минуту, безо всякого документа, с искреннею радостью, что мог угодить, и ведь я же взял тогда, я ведь из рук его взял, я деньги брал от него, слышите, брал как у друга!

— Только будьте осторожнее, — с беспокойством заметила на всё это Клавдия Петровна, — и как вы восторженны, я, право, боюсь за вас! Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тут так много, так много еще неразрешенного! А главное, будьте теперь осмотрительнее; вам непременно надо быть осмотрительнее, когда вы в счастье или в таком восторге; вы слишком великодушны, когда вы в счастье, — прибавила она с улыбкою.

Все вышли провожать Вельчанинова; дети привели Лизу, с которой играли в саду. Они смотрели на нее теперь, казалось, еще с большим недоумением, чем давеча. Лиза задичилась совсем, когда Вельчанинов поцеловал её при всех, прощаясь, и с жаром повторил обещание приехать завтра с отцом. До последней минуты она молчала и на него не смотрела, но тут вдруг схватила его за рукав и потянула куда-то в сторону, устремив на него умоляющий взгляд; ей хотелось что-то сказать ему. Он тотчас отвел ее в другую комнату.

— Что такое, Лиза? — нежно и ободрительно спросил он, но она, всё еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше в угол; ей хотелось совсем от всех спрятаться.

— Что такое, Лиза, что такое?

Она молчала и не решалась; неподвижно глядела в его глаза своими голубыми глазами, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх.

— Он… повесится! — прошептала она как в бреду.

— Кто повесится? — спросил Вельчанинов в испуге.

— Он, он! Он ночью хотел на петле повеситься! — торопясь и задыхаясь говорила девочка. — Я сама видела! Он давеча хотел на петле повеситься, он мне говорил, говорил! Он и прежде хотел, всегда хотел… Я видела ночью…

— Не может быть! — прошептал Вельчанинов в недоумении. Она вдруг бросилась целовать ему руки; она плакала, едва переводя дыхание от рыданий, просила и умоляла его, но он ничего не мог понять из ее истерического лепета. И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот измученный взгляд замученного ребенка, в безумном страхе и с последней надеждой смотревший на него.

«И неужели, неужели она так его любит? — ревниво и завистливо думал он, с лихорадочным нетерпением возвращаясь в город. — Она давеча сама сказала, что мать больше любит… может быть, она его ненавидит, а вовсе не любит!..»

«И что такое „повесится“? Что такое она говорила? Ему, дураку, повеситься?.. Надо узнать; надо непременно узнать! Надо всё как можно скорее решить, — решить окончательно!».

VII
Муж и любовник целуются

Он ужасно спешил «узнать». «Давеча меня ошеломило; давеча некогда было соображать, — думал он, вспоминая первую встречу свою с Лизой, — ну а теперь — надо узнать». Чтобы поскорее узнать, он в нетерпении велел было прямо везти себя к Трусоцкому. но тотчас одумался: «Нет пусть лучше он сам ко мне придет, а я тем временем поскорее с этими проклятыми делами покончу».

За дела он принялся лихорадочно; но в этот раз сам почувствовал, что очень рассеян и что ему нельзя сегодня заниматься делами. В пять часов, когда уже он отправился обедать, вдруг, в первый раз, пришла ему в голову смешная мысль: что ведь и в самом деле он, может быть, только мешает дело делать, вмешиваясь сам в эту тяжбу, сам суетясь и толкаясь по присутственным местам и ловя своего адвоката, который стал от него прятаться. Он весело рассмеялся над своим предположением. «А ведь приди вчера мне в голову эта мысль, я бы ужасно огорчился», — прибавил он еще веселее. Несмотря на веселость, он становился всё рассеяннее и нетерпеливее: стал, наконец, задумчив; и хоть за многое цеплялась его беспокойная мысль, в целом ничего не выходило из того, что ему было нужно.

«Мне его нужно, этого человека! — решил он наконец. — Его надо разгадать, а уж потом и решать. Тут — дуэль!»

Воротясь домой в семь часов, он Павла Павловича у себя не застал и пришел от того в крайнее удивление, потом в гнев, потом даже в уныние; наконец, стал и бояться. «Бог знает, бог знает, чем это кончится!» — повторял он, то расхаживая по комнате, то протягиваясь на диване и всё смотря на часы. Наконец, уже около девяти часов, появился и Павел Павлович. «Если бы этот человек хитрил, то никогда бы лучше не подсидел меня, как теперь, — до того я в эту минуту расстроен», — подумал он, вдруг совершенно ободрившись и ужасно повеселев.

На бойкий и веселый вопрос: зачем долго не приходил, — Павел Павлович криво улыбнулся, развязно не по-вчерашнему, уселся и как-то небрежно отбросил на другой стул свою шляпу с крепом. Вельчанинов

тотчас заметил эту развязность и принял к сведенью.

Спокойно и без лишних слов, без давешнего волнения рассказал он, в виде отчета, как он отвез Лизу, как ее мило там приняли, как это ей будет полезно, и мало-помалу как бы совсем и забыв о Лизе, незаметно свел речь исключительно только на Погорельцевых, — то есть какие это милые люди, как он с ними давно знаком, какой хороший и даже влиятельный человек Погорельцев и тому подобное. Павел Павлович слушал рассеянно и изредка исподлобья с брюзгливой и плутоватой усмешкой поглядывал на рассказчика.

— Пылкий вы человек, — пробормотал он, как-то особенно скверно улыбаясь.

— Однако вы сегодня какой-то злой, — с досадой заметил Вельчанинов.

— А отчего же бы мне злым не быть-с, подобно всем другим? — вскинулся вдруг Павел Павлович, точно выскочил из-за угла; даже точно того только и ждал, чтобы выскочить.

— Полная ваша воля, — усмехнулся Вельчанинов, — я подумал, не случилось ли с вами чего?

— И случилось-с! — воскликнул тот, точно хвастаясь, что случилось.

— Что ж это такое?

Павел Павлович несколько подождал отвечать:

— Да вот-с всё наш Степан Михайлович чудасит… Багаутов, изящнейший петербургский молодой человек, высшего общества-с.

— Не приняли вас опять, что ли?

— Н-нет, именно в этот-то раз и приняли, в первый раз допустили-с, и черты созерцал… только уж у покойника!..

— Что-о-о! Багаутов умер? — ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивиться.

— Он-с! Неизменный и шестилетний друг! Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал! Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда о здоровье наведаться. Завтра вынос и погребение, уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака*, позумент золотой… от нервной горячки помер-с. Допустили, допустили, созерцал черты! Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что ж он со мной изволил теперь сотворить, истинный-то и шестилетний друг, — я вас спрашиваю? Я, может, единственно для него

одного и в Петербург ехал!

— Да за что же вы на него-то сердитесь, — засмеялся Вельчанинов, — ведь он не нарочно же умер!

— Да ведь я и сожалея говорю; друг-то драгоценный; ведь он вот что для меня значил-с.

И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение; насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах.

— Это что ж такое означало? — спросил он небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-с, — отрезал Павел Павлович, отнимая наконец свои пальцы от лба.

— То есть… ваши рога?

— Мои собственные, благоприобретенные! — ужасно скверно скривился опять Павел Павлович.

Оба помолчали.

— Храбрый вы, однако же, человек! — проговорил Вельчанинов.

— Это оттого, что я рога-то вам показал? Знаете ли что, Алексей Иванович, вы бы меня лучше чем-нибудь угостили! Ведь угощал же я вас в Т., целый год-с, каждый божий день-с… Пошлите-ка за бутылочкой, в горле пересохло.

— С удовольствием; вы бы давно сказали. Вам чего?

— Да что *вам,* говорите *нам;* вместе ведь выпьем, неужто нет? — с вызовом, но в то же время и с странным каким-то беспокойством засматривал ему в глаза Павел Павлович.

— Шампанского?

— А то чего же? До водки еще черед не дошел-с…

Вельчанинов неторопливо встал, позвонил вниз Мавру и распорядился.

— На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки, — ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович, — теперь вы, и один уж только вы, у меня и остались истинным другом-с! Нет Степана

Михайловича Багаутова! Это как у поэта:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Ферсит![*]

И при слове «Ферсит» он пальцем ткнул себе в грудь.

«Да ты, свинья, объяснился бы скорее, а намеков я не люблю», — думал про себя Вельчанинов. Злоба кипела в нем, и он давно уже едва себя сдерживал.

— Вы мне вот что скажите, — начал он досадливо, — если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича (он уже теперь не назвал его просто Багаутовым), то ведь вам же, кажется, радость, что обидчик ваш умер; чего ж вы злитесь?

— Какая же радость-с? Почему же радость?

— Я по вашим чувствам сужу.

— Хе-хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца: «Хорош враг мертвый, но еще лучше живой», хи-хи!

— Да вы живого-то лет пять, я думаю, каждый день видели, было время наглядеться, — злобно и нагло заметил Вельчанинов.

— А разве тогда… разве я тогда знал-с? — вскинулся вдруг Павел Павлович, опять точно из-за угла выскочил, даже как бы с какою-то радостью, что ему наконец сделали вопрос, которого он так давно ожидал. — За кого же вы меня, Алексей Иванович, стало быть, почитаете?

И во взгляде его блеснуло вдруг какое-то совершенно новое и неожиданное выражение, как бы преобразившее совсем в другой вид злобное и доселе только подло кривлявшееся его лицо.

— Так неужели же вы ничего не знали! — проговорил озадаченный Вельчанинов с самым внезапным удивлением.

— Так неужто же знал-с? Неужто знал! О, порода — Юпитеров наших! У вас человек всё равно, что собака, и вы всех по своей собственной натуришке судите! Вот вам-с! Проглотите-ка! — и он с бешенством стукнул по столу кулаком, но тотчас же сам испугался своего стука и уже поглядел боязливо.

Вельчанинов приосанился.

— Послушайте, Павел Павлович, мне решительно ведь всё равно, согласитесь сами, знали вы там или не знали? Если вы не знали, то это делает вам во всяком случае честь, хотя… впрочем, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своим конфидентом[*]?..

— Я не об вас… не сердитесь, не об вас… — бормотал Павел Павлович, смотря в землю.

Мавра вошла с шампанским.

— Вот и оно! — закричал Павел Павлович, видимо обрадовавшись исходу. — Стаканчиков, матушка, стаканчиков; чудесно! Больше ничего от вас, милая, не потребуется. И уж откупорено? Честь вам и слава, милое существо! Ну, отправляйтесь!

И, вновь ободрившись, он опять с дерзостью посмотрел на Вельчанинова.

— А признайтесь, — хихикнул он вдруг, — что вам ужасно всё это любопытно-с, а вовсе не «решительно все равно, как вы изволили выговорить, так что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту встал и ушел-с, ничего вам не объяснивши.

— Право, не огорчился бы.

«Ой, лжешь!» — говорила улыбка Павла Павловича.

— Ну-с приступим! — и он розлил вино в стаканы.

— Выпьем тост, — провозгласил он, поднимая стакан, — за здоровье в бозе почившего друга Степана Михайловича!

Он поднял стакан и выпил.

— Я такого тоста не стану пить, — поставил свой стакан Вельчанинов.

— Почему же? Тостик приятный.

— Вот что: вы, войдя теперь, пьяны не были?

— Пил немного. А что-с?

— Ничего особенного, но мне показалось, что вчера и особенно сегодня утром вы искренно сожалели о покойной Наталье Васильевне.

— А кто вам сказал, что я не искренно сожалею о ней и теперь? — тотчас же выскочил опять Павел Павлович, точно опять дернули его за пружинку.

— Я и не к тому; но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчет Степана Михайловича, а это — дело важное.

Павел Павлович хитро улыбнулся и подмигнул.

— А уж как бы вам хотелось узнать про то, как сам-то я узнал про

Степана Михайловича!

Вельчанинов покраснел:

— Повторяю вам опять, что мне всё равно. «А не вышвырнуть ли его сейчас вон, вместе с бутылкой?» — яростно подумал он и покраснел еще больше.

— Ничего-с! — как бы ободряя его, проговорил Павел Павлович и налил себе еще стакан.

— Я вам сейчас объясню, как я «всё» узнал-с, и тем удовлетворю ваши пламенные желания… потому что пламенный вы человек, Алексей Иванович, страшно пламенный человек-с! хе-хе! дайте только мне папиросочку, потому что я с марта месяца…

— Вот вам папироска.

— Развратился я с марта месяца, Алексей Иванович, и вот как всё это произошло-с, прислушайте-ка-с. Чахотка, как вы сами знаете, милейший друг, — фамильярничал он всё больше и больше, — есть болезнь любопытная-с. Сплошь да рядом чахоточный человек умирает, почти и не подозревая, что он завтра умрет-с. Говорю вам, что за пять еще часов Наталья Васильевна располагалась недели через две к своей тетеньке верст за сорок отправиться. Кроме того, вероятно, известна вам привычка, или, лучше: сказать, повадка, общая многим дамам, а может, и кавалерам-с: сохранять у себя старый хлам по части переписки любовной-с. Всего вернее бы в печь, не так ли-с? Нет, всякий-то лоскуточек бумажки у них в ящичках и в несессерах бережно сохраняется; даже поднумеровано по годам, по числам и по разрядам. Утешает это, что ли, уж очень — не знаю-с; а должно быть, для приятных воспоминаний. Располагаясь за пять часов до кончины ехать на праздник к тетеньке, Наталья Васильевна, естественно, и мысли о смерти не имела, даже до самого последнего часу-с, и всё Коха ждала. Так и случилось-с, что померла Наталья Васильевна, а ящичек черного дерева, с перламутровой инкрустацией и с серебром-с, остался у ней в бюро. И красивенький такой ящичек, с ключом-с, фамильный, от бабушки ей достался. Ну-с — в этом вот ящичке всё и открылось-с, то есть всё-с, безо всякого исключения, по дням и по годам, за всё двадцатилетие. А так как Степан Михайлович решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал, то его произведений в шкатулочке чуть не до сотни нумеров оказалось, — правда, что за пять лет-с. Иные нумера так с собственноручными

пометками Натальи Васильевны. Приятно супругу, как вы думаете-с?

Вельчанинов быстро сообразил и припомнил, что он никогда ни одного письма, ни одной записки не написал к Наталье Васильевне. А из Петербурга хотя и написал два письма, но на имя обоих супругов, как и было условлено. На последнее же письмо Натальи Васильевны, в котором ему предписывалась отставка, он и не отвечал.

Кончив рассказ, Павел Павлович молчал целую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь.

— Что же вы ничего мне не ответили на вопросик— то-с? — проговорил он наконец с явным мучением.

— На какой это вопросик?

— Да вот о приятных-то чувствах супруга-с, открывающего шкатулочку.

— Э какое мне дело! — желчно махнул рукой Вельчанинов встал и начал ходить по комнате.

— И бьюсь об заклад, вы теперь думаете: «Свинья же ты, что сам на рога свои указал», хе-хе! Брезгливейший человек… вы-с.

— Ничего я про это не думаю. Напротив, вы слишком раздражены смертью вашего оскорбителя и к тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всем этом не обыкновенного; слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважать вашу досаду; но…

— А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению-с?

— Это ваше дело.

— Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с?

— Черт возьми! — всё более и более не сдерживался Вельчанинов. — Я думал, что как всякий порядочный человек… в подобных случаях — не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, до смешных жалоб и гадких намеков, которыми сам себя еще больше марает, а действует явно, прямо, открыто, как порядочный человек!

— Хе-хе, да, может, я и не порядочный человек-с?

— Это опять-таки ваше дело… а, впрочем, на какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?

— Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку да и выпили вместе.

— Он бы с вами и пить не стал.

— Почему? Noblesse oblige?[2] Ведь вот пьете же вы со мной-с; чем

он вас лучше?

— Я с вами не пил.

— Почему же такая вдруг гордость-с?

Вельчанинов вдруг нервно и раздражительно расхохотался:

— Фу, черт! да вы решительно «хищный тип» какой-то, я думал, что вы только «вечный муж», и больше ничего!

— Это как же так «вечный муж», что такое? — насторожил вдруг уши Павел Павлович.

— Так, один тип мужей… долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вам; надоели вы мне!

— А хищно-то что ж? Вы сказали хищно?

— Я сказал, что вы «хищный тип», — в насмешку вам сказал.

— Какой такой «хищный тип-с»? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради бога-с, или ради Христа-с.

— Ну да довольно же, довольно! — ужасно вдруг опять рассердился и закричал Вельчанинов — пора вам, убирайтесь!

— Нет, не довольно-с! — вскочил и Павел Павлович, — даже хоть и надоел я вам, так и тут не довольно, потому что мы еще прежде должны с вами выпить и чокнуться! Выпьем, тогда я уйду-с, а теперь не довольно!

— Павел Павлович, можете вы сегодня убраться к черту или нет?

— Я могу убраться к черту-с, но сперва мы выпьем! Вы сказали, что не хотите пить именно *со мной;* ну, а *я хочу*, чтобы вы именно со мной-то и выпили!

Он уже не кривлялся более, он уже не подхихикивал. Всё в нем опять вдруг как бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигуре и всему тону еще сейчашнего Павла Павловича, что Вельчанинов был решительно озадачен.

— Эй, выпьем, Алексей Иванович, эй, не отказывайте! — продолжал Павел Павлович, схватив крепко его за руку и странно смотря ему в лицо. Очевидно, дело шло не об одной только выпивке.

— Да, пожалуй, — пробормотал тот, — где же… тут бурда…

— Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-с, но мы выпьем и чокнемся-с! Вот-с, извольте принять ваш стакан.

Они чокнулись и выпили.

— Ну, а коли так, коли так… ах! — Павел Павлович вдруг схватился за лоб рукой и несколько мгновений оставался в таком

положении. Вельчанинову померещилось, что он вот-вот да и выговорит сейчас самое *последнее* слово. Но Павел Павлович ничего ему не выговорил; он только посмотрел на него и тихо, во весь рот, улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой.

— Чего вы от меня хотите, пьяный вы человек! Дурачите вы меня! — неистово закричал Вельчанинов, затопав ногами.

— Не кричите, не кричите, зачем кричать? — торопливо замахал рукой Павел Павлович. — Не дурачу, не дурачу! Вы знаете ли, что вы теперь — вот чем для меня стали.

И вдруг он схватил его руку и поцеловал. Вельчанинов не успел опомниться.

— Вот вы мне теперь кто-с! А теперь — я ко всем чертям!

— Подождите, постоите! — закричал опомнившийся Вельчанинов. — Я забыл вам сказать…

Павел Павлович повернулся от дверей.

— Видите, — забормотал Вельчанинов чрезвычайно скоро, краснея и смотря совсем в сторону, — вам бы следовало завтра непременно быть у Погорельцевых, познакомиться и поблагодарить, — непременно…

— Непременно, непременно, уж как и не понять-с! — с чрезвычайною готовностью подхватил Павел Павлович, быстро махая рукой в знак того, что и напоминать бы не надо.

— И к тому же вас и Лиза очень ждет. Я обещал.

— Лиза, — вернулся вдруг опять Павел Павлович, — Лиза? Знаете ли вы, что такое была для меня Лиза-с, была и есть-с? Была и есть! — закричал он вдруг почти в исступлении, — но… Хе! Это после-с; всё будет после-с… а теперь — мне мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович, мне другое удовлетворение необходимо-с!..

Он положил на стул шляпу и, как давеча, задыхаясь немного, смотрел на него.

— Поцелуйте меня, Алексей Иванович, — предложил он вдруг.

— Вы пьяны? — закричал тот и отшатнулся.

— Пьян-с, а вы всё-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович, эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку!

Алексей Иванович несколько мгновений молчал, как будто от удару дубиной по лбу. Но вдруг он наклонился к бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцеловал его в губы, от которых очень пахло

вином. Он не совсем, впрочем, был уверен, что поцеловал его.

— Ну уж теперь, теперь… — опять в пьяном исступлении крикнул Павел Павлович, засверкав своими пьяными глазами, — теперь вот что-с: я тогда подумал — «неужто и этот? уж если этот, думаю, если уж и он тоже, так кому же после этого верить!»

Павел Павлович вдруг залился слезами.

— Так понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?!

И он выбежал с своей шляпой из комнаты. Вельчанинов опять простоял несколько минут на одном месте, как и после первого посещения Павла Павловича.

«Э, пьяный шут, и больше ничего!» — махнул он рукой.

«Решительно больше ничего!» — энергически подтвердил он, когда уже разделся и лег в постель.

VIII
Лиза больна

На другой день поутру, в ожидании Павла Павловича, обещавшего не запоздать, чтобы ехать к Погорельцевым, Вельчанинов ходил по комнате, прихлебывал свой кофе, курил и каждую минуту сознавался себе, что он похож на человека, проснувшегося утром и каждый миг вспоминающего о том, как он получил накануне пощечину. «Гм… он слишком понимает, в чем дело, и отмстит мне Лизой!» — думал он в страхе.

Милый образ бедного ребенка грустно мелькнул перед ним. Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через два часа, опять увидит *свою* Лизу. «Э, что тут говорить! — решил он с жаром, — теперь в этом вся жизнь и вся моя цель! Что там все эти пощечины и воспоминания!.. И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть… а теперь — всё другое, всё по-другому!»

Но, несмотря на свой восторг, он задумывался всё более и более.

«Он замучает меня Лизой, — это ясно! И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет, за *всё*. Гм… без сомнения, я не могу же позволить вчерашних выходок с его стороны, — покраснел он вдруг, — и… и вот, однако же, он не идет, а уж двенадцатый час!»

Он ждал долго, до половины первого, и тоска его возрастала всё более и более. Павел Павлович не являлся. Наконец давно уж шевелившаяся мысль о том, что тот не придет нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку по-вчерашнему, раздражила его вконец: «Он знает, что я от него завишу, и что будет теперь с Лизой! И как я явлюсь к ней без него!»

Наконец он не выдержал и ровно в час пополудни поскакал сам к Покрову. В номерах ему объявили, что Павел Павлович дома и не ночевал, а пришел лишь поутру в девятом часу, побыл всего четверть часика да и опять отправился. Вельчанинов стоял у двери Павла Павловичева номера, слушал говорившую ему служанку и машинально вертел ручку запертой двери и потягивал ее взад и вперед. Опомнившись, он плюнул, оставил замок и попросил сводить его к Марье Сысоевне. Но та, услыхав о нем, и сама охотно вышла.

Это была добрая баба, «баба с благородными чувствами», как выразился о ней Вельчанинов, когда передавал потом свой разговор с нею Клавдии Петровне. Расспросив коротко о том, как он отвез вчера «девочку», Марья Сысоевна тотчас же пустилась в рассказы о Павле Павловиче. По ее словам, не будь только робеночка, давно бы она его выжила. Его и из гостиницы сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну, не грех ли, с собой девку ночью привел, когда тут же робеночек с понятием! Кричит: «Это вот тебе будет мать, коли я того захочу!» Так верите ли, чего уж девка, а и та ему плюнула в харю. Кричит: «Ты, говорит, мне не дочь, а в…док».

— Что вы? — испугался Вельчанинов.

— Сама слышала. Оно хоть и пьяный человек, ровно как в бесчувствии, да всё же при ребенке не годится; хоть и малолеток, а всё умом про себя дойдет! Плачет девочка, совсем, вижу, замучилась. А намедни тут на дворе у нас грех вышел: комиссар, что ли, люди сказывали, номер в гостинице с вечера занял, а к утру и повесился. Сказывали, деньги прогулял. Народ сбежался, Павла-то Павловича самого дома нет, а робенок без призору ходит, гляжу, и она там в коридоре меж народом, да из-за других и выглядывает, чудно так на висельника-то глядит. Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь, — вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела — она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчик, что ли, а с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел — исщипал ее всю — потому он не то чтобы драться, а всё больше щипится, а потом нахлестался винища-то, пришел да и пужает ее: «Я, говорит, тоже повешусь, от тебя повешусь; вот на этом самом, говорит, шнурке, на сторе повешусь»; и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит— кричит, ручонками его обхватила: «Не буду, кричит, никогда не буду». Жалость!

Вельчанинов хотя и ожидал кой-чего очень странного, но эти рассказы его так поразили, что он даже и не поверил. Марья Сысоевна много еще рассказывала; был, например, один случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза из окна бы, может, выбросилась. Он вышел из номера сам точно пьяный. «Я убью его палкой, как собаку, по голове!» — мерещилось ему. И он долго повторял это про себя.

Он нанял коляску и отправился к Погорельцевым. Еще не выезжая из города, коляска принуждена была остановиться на перекрестке, у мостика через канаву, через который пробиралась большая похоронная

процессия. И с той и с другой стороны моста стеснилось несколько поджидавших экипажей; останавливался и народ. Похороны были богатые, и поезд провожавших карет был очень длинен, и вот в окошке одной из этих провожавших карет мелькнуло вдруг перед Вельчаниновым лицо Павла Павловича. Он не поверил бы, если бы Павел Павлович не выставился сам из окна и не закивал ему улыбаясь. По-видимому, он ужасно был рад, что узнал Вельчанинова; даже начал делать из кареты ручкой. Вельчанинов выскочил из коляски и, несмотря на тесноту, на городовых и на то что карета Павла Павловича въезжала уже на мост, подбежал к самому окошку. Павел Павлович сидел один.

— Что с вами, — закричал Вельчанинов, — зачем вы не пришли? как вы здесь?

— Долг отдаю-с, — не кричите, не кричите, — долг отдаю, — захихикал Павел Павлович, весело прищуриваясь, — бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича.

— Нелепость это всё, пьяный вы, безумный человек! — еще сильнее прокричал озадаченный было на миг Вельчанинов. — Выходите сейчас и садитесь со мной; сей час!

— Не могу-с, долг-с…

— Я вас вытащу! — вопил Вельчанинов.

— А я закричу-с! А я закричу-с! — всё так же весело подхихикивал Павел Павлович — точно с ним играют, — прячась, впрочем, в задний угол кареты.

— Берегись, берегись, задавят! — закричал городовой. Действительно, при спуске с моста чья-то посторонняя карета, прорвавшая поезд, наделала тревоги. Вельчанинов принужден был отскочить; другие экипажи и народ тотчас же оттеснили его далее. Он плюнул и пробрался к своей коляске.

Всё равно, такого и без того нельзя с собой везти!» — думал он с продолжавшимся тревожным изумлением.

Когда он передал Клавдии Петровне рассказ Марьи Сысоевны и странную встречу на похоронах, та сильно мялась: «Я за вас боюсь, — сказала она ему, — вы должны прервать с ним всякие отношения, и чем скорее, тем лучше».

— Шут он пьяный, и больше ничего! — запальчиво вскричал Вельчанинов, — стану я его бояться! И как я прерву отношения, когда тут Лиза. Вспомните про Лизу!

Между тем Лиза лежала больная; вчера вечером с нею началась лихорадка, и из города ждали одного известного доктора, за которым чем свет послали нарочного. Всё это окончательно расстроило Вельчанинова. Клавдия Петровна повела его к больной.

— Я вчера к ней очень присматривалась, — заметила она, остановившись перед комнатой Лизы, — это гордый и угрюмый ребенок; ей стыдно, что она у нас и что отец ее так бросил; вот в чем вся болезнь, по-моему.

— Как бросил? Почему вы думаете, что бросил?

— Уж одно то, как он отпустил ее сюда, совсем в незнакомый дом, и с человеком… тоже почти незнакомым или в таких отношениях…

— Да я ее сам взял, силой взял; я не нахожу…

— Ах, боже мой, это уж Лиза, ребенок, находит! По-моему, он просто никогда не приедет.

Увидев Вельчанинова одного, Лиза не изумилась; она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горевшую в жару головку к стене. Она ничего не отвечала на робкие утешения и на горячие обещания Вельчанинова завтра же наверно привезти ей отца. Выйдя от нее, он вдруг заплакал.

Доктор приехал только к вечеру. Осмотрев больную, он с первого слова всех напугал, заметив, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили, что больная заболела всего только вчера вечером, он сначала не поверил. «Всё зависит от того, как пройдет эта ночь», — решил он наконец и, сделав свои распоряжения, уехал, обещав прибыть завтра как можно раньше. Вельчанинов хотел было непременно остаться ночевать; но Клавдия Петровна сама упросила его еще раз «попробовать привезти сюда этого изверга».

— Еще раз? — в исступлении переговорил Вельчанинов. — Да я его теперь свяжу и в своих руках привезу!

Мысль связать и привезти Павла Павловича в руках овладела им вдруг до крайнего нетерпения. «Ничем, ничем не чувствую я теперь себя пред ним виноватым! — говорил он Клавдии Петровне, прощаясь с нею. — Отрекаюсь от всех моих вчерашних низких, плаксивых слов, которые здесь говорил!» — прибавил он в негодовании.

Лиза лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала; казалось, ей стало лучше. Когда Вельчанинов нагнулся осторожно к ее головке, чтобы, прощаясь, поцеловать хоть краешек ее платья, — она вдруг

открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала: «Увезите меня».

Это была тихая, скорбная просьба, безо всякого оттенка вчерашней раздражительности, но вместе с тем послышалось и что-то такое, как будто она и сама была вполне уверена, что просьбу ее ни за что не исполнят. Чуть только Вельчанинов, совсем в отчаянии, стал уверять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова более не проговорила, как будто и не слушала и не видела его.

Въехав в город, он прямо велел везти себя к Покрову. Было уже десять часов; Павла Павловича в номерах не было. Вельчанинов прождал его целые полчаса, расхаживая по коридору в болезненном нетерпении. Марья Сысоевна уверила его, наконец, что Павел Павлович вернется разве только к утру чем свет. «Ну так и я приеду чем свет», — решил Вельчанинов и вне себя отправился домой.

Но каково же было его изумление, когда он, еще не входя к себе, услышал от Мавры, что вчерашний гость уже с десятого часу его ожидает.

«И чай изволили у нас кушать, и за вином опять посылали, за тем самым, синюю бумажку выдали».

IX
Привидение

Павел Павлович расположился чрезвычайно комфортно. Он сидел на вчерашнем стуле, курил папироски и только что налил себе четвертый, последний стакан из бутылки. Чайник и стакан с недопитым чаем стояли же подле него на столе. Раскрасневшееся лицо его сияло благодушием. Он даже снял с себя фрак, по-летнему и сидел в жилете.

— Извините, вернейший друг! — вскричал он, завидев Вельчанинова и схватываясь с места, чтоб надеть фрак, — снял для пущего наслаждения минутой…

Вельчанинов грозно к нему приблизился.

— Вы не совершенно еще пьяны? Можно еще с вами поговорить?

Павел Павлович несколько оторопел.

— Нет, не совершенно… Помянул усопшего, но — не совершенно-с…

— Поймете вы меня?

— С тем и явился, чтобы вас понимать-с.

— Ну так я же вам прямо начинаю с того, что вы — негодяй! — закричал Вельчанинов сорвавшимся голосом.

— Если с этого начинаете-с, то чем кончите-с? — чуть-чуть протестовал было Павел Павлович, видимо сильно струсивший, но Вельчанинов кричал не слушая:

— Ваша дочь умирает, она больна; бросили вы ее или нет?

— Неужто уж умирает-с?

— Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна!

— Может, припадочки-с…

— Не говорите вздору! Она чрез-вы-чайно опасно больна! Вам следовало ехать уж из того одного…

— Чтоб возблагодарить-с, за гостеприимство возблагодарить! Слишком понимаю-с! Алексей Иванович, дорогой, совершенный, — ухватил он его вдруг за руку обеими своими руками и с пьяным чувством, чуть не со слезами, как бы испрашивая прощения, выкрикивал — Алексей Иванович, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчас пьяный в Неву — что ж из того-с, при настоящем

значении дел-с? А к господину Погорельцеву и всегда поспеем-с…

Вельчанинов спохватился и капельку сдержал себя.

— Вы пьяны, а потому я не понимаю, в каком смысле вы говорите, — заметил он строго, — я объясниться всегда с вами готов; даже рад поскорей… Я и ехал… Но прежде всего знайте, что я принимаю меры: вы сегодня должны у меня ночевать! Завтра утром я вас беру, и мы едем. Я вас не выпущу! — завопил он опять, — я вас скручу и в руках привезу!.. Удобен вам этот диван? — указал он ему, задыхаясь, на широкий и мягкий диван, стоявший напротив того дивана, на котором спал он сам, у другой стены.

— Помилуйте, да я и везде-с…

— Не везде, а на этом диване! Берите, вот вам простыня, одеяло, подушка (всё это Вельчанинов вытащил из шкафа и, торопясь, выбрасывал Павлу Павловичу, покорно подставившему руку) — стелите сейчас, сте-ли-те же!

Навьюченный Павел Павлович стоял среди комнаты как бы в нерешимости, с длинной, пьяной улыбкой на пьяном лице; но при вторичном грозном окрике Вельчанинова вдруг, со всех ног, бросился хлопотать, отставил стол я пыхтя стал расправлять и настилать простыню. Вельчанинов подошел ему помочь; он был отчасти доволен покорностию и испугом своего гостя.

— Допивайте ваш стакан и ложитесь, — скомандовал он опять; он чувствовал, что не мог не командовать, — это вы сами за вином распорядились послать?

— Сам-с, за вином… Я, Алексей Иванович, знал, что вы уже более не пошлете-с.

— Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтоб вы еще больше узнали. Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры: кривляний ваших больше не потерплю, пьяных вчерашних поцелуев не потерплю!

— Я ведь и сам, Алексей Иванович, понимаю, что это всего один только раз было возможно-с, — ухмыльнулся Павел Павлович.

Услышав ответ, Вельчанинов, шагавший по комнате, почти торжественно остановился вдруг перед Павлом Павловичем:

— Павел Павлович, говорите прямо! Вы умны, я опять сознаюсь в этом, но уверяю вас, что вы на ложной дороге! Говорите прямо, действуйте прямо, и, честное слово даю вам, — я отвечу на всё, что угодно!

Павел Павлович ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна уже так бесила Вельчанинова.

— Стойте! — закричал тот опять. — Не прикидывайтесь, я насквозь вас вижу! Повторяю: даю вам честное слово, что я готов вам ответить на *всё*, и вы получите всякое возможное удовлетворение, то есть всякое, даже и невозможное! О, как бы я желал, чтоб вы меня поняли!..

— Если уж вы так добры-с, — осторожно придвинулся к нему Павел Павлович, — то вот-с очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный тип-с!..

Вельчанинов плюнул и пустился опять, еще скорее, шагать по комнате.

— Нет-с Алексеи Иванович, вы не плюйтесь, потому я очень заинтересован и именно пришел проверить-с… У меня язык плохо вяжется, но вы простите-с. Я ведь об «хищном» этом типе и об «смирном-с» сам журнале читал, в отделении критики-с, — припомнил сегодня поутру… только забыл-с, а по правде, тогда и не понял-с. Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с, — что он, «хищный» был или «смирный-с»? Как причислить-с?

Вельчанинов всё еще молчал, не переставая шагать.

— Хищный тип это тот, — остановился он вдруг в ярости, — это тот человек, который скорей бы отравил в стакане Багаутова, когда стал бы с ним «шампанское пить» во имя приятной с ним встречи, как вы со мной вчера пили, — а не поехал бы его гроб на кладбище провожать, как вы давеча поехали, черт знает из каких ваших сокрытых, подпольных, гадких стремлений и марающих вас самих кривляний! Вас самих!

— Это точно, что не поехал бы-с, — подтвердил Павел Павлович, — только как уж вы, однако, на меня-то-с…

— Это не тот человек, — горячился и кричал Вельчанинов не слушая, — не тот, который напредставит сам себе бог знает чего, итоги справедливости и юстиции подведет, обиду свою как урок заучит, ноет, кривляется, ломается, на шее у людей виснет — и глядь — на то всё и время свое употребил! Правда, что вы хотели повеситься? Правда?

— В хмелю, может, сбредил что, — не помню-с. Нам, Алексей Иванович, как-то и неприлично уж яд-то подсыпать. Кроме того, что чиновник на хорошем счету, — У меня и капитал ведь найдется-с, а

может, к тому жениться опять захочу-с.

— Да и в каторгу сошлют.

— Ну да-с, и эта вот неприятность тоже-с, хотя нынче, в судах, много облегчающих обстоятельств подводят[*]. А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик преуморительный, давеча в карете вспомнил-с, хотел сообщить-с. Вот вы сказали сейчас: «У людей на шее виснет». Семена Петровича Ливцова, может, припомните-с, к нам в Т. при вас заезжал; ну, так брат его младший, тоже петербургский молодой человек считается, в В-ом при губернаторе служил и тоже блистал-с разными качествами-с. Поспорил он раз с Голубенко, полковником, в собрании, в присутствии дам и дамы его сердца, и счел себя оскорбленным, но обиду скушал и затаил; а Голубенко тем временем даму сердца его отбил и руку ей предложил. Что ж вы думаете? Этот Ливцов — даже искренно ведь в дружбу с Голубенкой вошел, совсем помирился, да мало того-с — в шафера к нему сам напросился, венец держал, а как приехали из-под венца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку да при всем-то благородном обществе и при губернаторе, сам во фраке и завитой-с, — как пырнет его в живот ножом — так Голубенко и покатился! Это собственный-то шафер, стыд-то какой-с! Да это еще что-с! Главное, что ножом-то пырнул да и бросился кругом: «Ах, что я сделал! Ах, что такое я сделал!» — слезы льются, трясется, всем на шею кидается, даже к дамам-с: «Ах, что я сделал! Ах, что, дескать, такое я теперь сделал!» — хе-хе-хе! уморил-с. Вот только разве жаль Голубенку; да и то выздоровел-с.

— Я не вижу, для чего вы мне рассказали, — строго нахмурился Вельчанинов.

— Да всё к тому же-с, что пырнул же ведь ножом-с, — захихикал Павел Павлович, — ведь уж видно, что не тип-с, а сопля-человек, когда уж самое приличие от страху забыл и к дамам на шею кидается в присутствии губернатора-с, — а ведь пырнул же-с, достиг своего! Вот я только про это-с.

— Убир-райтесь вы к черту, — завопил вдруг не своим голосом Вельчанинов, точно как бы что сорвалось в нем, — убир-райтесь с вашею подпольною дрянью, сам вы подпольная дрянь — пугать меня вздумал — мучитель ребенка, — низкий человек, — подлец, подлец, подлец! — выкрикивал он, себя не помня и задыхаясь на каждом слове.

Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочил; губы

его задрожали:

— Это меня-то вы, Алексей Иванович, подлецом называете, *вы-с* и *меня-с?*

Но Вельчанинов уже очнулся.

— Я готов извиниться, — ответил он, помолчав и в мрачном раздумье, — но в таком только случае, если вы сами и сейчас же захотите действовать прямо.

— А я бы и во всяком случае извинился на вашем месте, Алексей Иванович.

— Хорошо, пусть так, — помолчал еще немного Вельчанинов, — извиняюсь перед вами; но согласитесь сами, Павел Павлович, что после всего этого я уже ничем более не считаю себя перед вами обязанным, то есть я в отношении всего дела говорю, а не про один теперешний случай.

— Ничего-с, что считаться? — ухмыльнулся Павел Павлович, смотря, впрочем, в землю.

— А если так, то тем лучше, тем лучше! Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я все-таки вас не пущу…

— Да что ж вино-с… — немного как бы смутился Павел Павлович, однако подошел к столу и стал допивать свой давно уже налитый последний стакан. Может, он уже и много пил перед этим, так что теперь рука его дрожала, и он расплескал часть вина на пол, на рубашку и на жилет, но все-таки допил до дна, — точно как будто и не мог оставить невыпитым, и, почтительно поставив опорожненный стакан на стол, покорно пошел к своей постели раздеваться.

— А не лучше ли… не ночевать? — проговорил он вдруг с чего-то, уже сняв один сапог и держа его в руках.

— Нет, не лучше! — гневливо ответил Вельчанинов, неустанно шагавший по комнате, не взглядывая на него.

Тот разделся и лег. Чрез четверть часа улегся и Вельчанинов и потушил свечу.

Он засыпал беспокойно. Что-то, новое, еще более спутавшее *дело,* вдруг откудова-то появившееся, тревожило его теперь, и он чувствовал в то же время, что ему почему-то стыдно было этой тревоги. Он уже стал было забываться, но какой-то шорох вдруг его разбудил. Он тотчас же оглянулся на постель Павла Павловича. В комнате было темно (гардины были совсем спущены), но ему показалось, что Павел

Павлович не лежит, а привстал и сидит на постели.

— Чего вы? — окликнул Вельчанинов.

— Тень-с, — подождав немного, чуть слышно выговорил Павел Павлович.

— Что такое, какая тень?

— Там, в той комнате, в дверь, как бы тень видел-с.

— Чью тень? — спросил, помолчав немного, Вельчанинов.

— Натальи Васильевны-с.

Вельчанинов привстал на ковер и сам заглянул через переднюю, в ту комнату, двери в которую всегда стояли отперты. Там на окнах гардин не было, а были только сторы, и потому было гораздо светлее.

— В той комнате нет ничего, а вы пьяны, ложитесь! — сказал Вельчанинов, лег и завернулся в одеяло. Павел Павлович не сказал ни слова и улегся тоже.

— А прежде вы никогда не видали тени? — спросил вдруг Вельчанинов, минут уж десять спустя.

— Однажды как бы и видел-с, — слабо и тоже помедлив откликнулся Павел Павлович. Затем опять наступило молчание.

Вельчанинов не мог бы сказать наверно, спал ли он или нет, но прошло уже с час — и вдруг он опять обернулся: шорох ли какой его опять разбудил — он тоже не знал, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло над ним, белое, еще не доходя до него, но уже посредине комнаты. Он присел на постели и целую минуту всматривался.

— Это вы, Павел Павлович? — проговорил он ослабевшим голосом. Этот собственный голос его, раздавшийся вдруг в тишине и в темноте, показался ему как-то странным.

Ответа не последовало, но в том, что стоял кто-то, уже не было никакого сомнения.

— Это вы… Павел Павлович? — повторил он громче и даже так громко, что если б Павел Павлович спокойно спал на своей постели, то непременно бы проснулся и дал ответ.

Но ответа опять не последовало, зато показалось ему, что эта белая и чуть различаемая фигура еще ближе к нему придвинулась. Затем произошло нечто странное: что-то вдруг в нем как бы сорвалось, точь-в-точь как давеча, и он закричал из всех сил самым нелепым, бешеным голосом, задыхаясь чуть не на каждом слове:

— Если вы, пьяный шут, осмелитесь только подумать — что вы можете — меня испугать, — то я обернусь к стене, завернусь с головой и ни разу не обернусь во всю ночь, — чтобы тебе доказать, во что я ценю — хоть бы вы простояли до утра… шутом… и на вас плюю!

И он, яростно плюнув в сторону предполагаемого Павла Павловича, вдруг обернулся к стене, завернулся, как сказал, в одеяло и как бы замер в этом положении не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась ли тень или стояла на месте — он не мог узнать, но сердце его билось — билось — билось… Прошло по крайней мере полных минут пять; и вдруг, в двух шагах от него, раздался слабый, совсем жалобный голос Павла Павловича:

— Я Алексей Иванович, встал поискать… — (и он назвал один необходимейший домашний предмет) — я не нашел у себя-с… хотел потихоньку подле вас посмотреть-с, у постели-с.

— Что же вы молчали… когда я кричал? — прерывающимся голосом спросил Вельчанинов, переждав с полминуты.

— Испугался-с. Вы так закричали… я и испугался-с.

— Там в углу налево, к дверям, в шкапике, зажгите свечу…

— Да я и без свечки-с… — смиренно промолвил Павел Павлович, направляясь в угол, — вы уж простите, Алексей Иванович, что вас так потревожил-с… совсем вдруг так охмелел-с…

Но тот уже ничего не ответил. Он всё продолжал лежать лицом к стене и пролежал так всю ночь, ни разу не обернувшись. Уж хотелось ли ему так исполнить слово и показать презрение? Он сам не знал, что с ним делается; нервное расстройство его перешло, наконец, почти в бред, и он долго не засыпал. Проснувшись на другое утро, в десятом часу, он вдруг вскочил и присел на постели, точно его подтолкнули, — но Павла Павловича уже не было в комнате! Оставалась одна только пустая, неубранная постель, а сам он улизнул чем свет.

— Я так и знал! — хлопнул себя Вельчанинов ладонью по лбу.

X
На кладбище

Опасения доктора оправдались, и Лизе вдруг сделалось хуже, — так худо, как и не воображали накануне Вельчанинов и Клавдия Петровна. Вельчанинов поутру застал больную еще в памяти, хотя вся она горела в жару; он уверял потом, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою горячую ручку. Правда ли это было, или только он сам выдумал себе это невольно, в утешение, проверить ему было некогда; к ночи больная была уже без памяти, и так продолжалось во всё время болезни. На десятый день своего переезда на дачу она умерла.

Это было скорбное время для Вельчанинова; Погорельцевы даже боялись за него. Большую часть этих тяжелых дней он прожил у них. В самые последние дни болезни Лизы он по целым часам просиживал один, где-нибудь в углу, и, по-видимому, ни об чем не думал; Клавдия Петровна подходила его развлекать, но он отвечал мало, иногда видимо тяготясь с нею разговаривать. Клавдия Петровна даже не ожидала, что на него «всё это произведет такое впечатление». Всего больше развлекали его дети; он с ними даже иногда смеялся; но каждый почти час вставал со стула и на цыпочках шел взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнает. Надежды на выздоровление он не имел никакой, как и все, но от комнаты, в которой умирала Лиза, не отходил и обыкновенно сидел в комнате рядом.

Раза два, впрочем, и в эти дни он вдруг обнаруживал чрезвычайную деятельность: вдруг подымался, бросался в Петербург к докторам, приглашал самых известнейших и составлял консилиумы. Второй, последний консилиум был накануне смерти больной. Дня за три до этого Клавдия Петровна заговорила с Вельчаниновым настойчиво о необходимости отыскать где-нибудь наконец господина Трусоцкого: «в случае несчастия Лизу и похоронить без него нельзя было». Вельчанинов промямлил, что он ему напишет. Тогда старик Погорельцев объявил, что он сам разыщет его через полицию. Вельчанинов написал наконец уведомление в двух строчках и отвез его в Покровскую гостиницу. Павла Павловича по обыкновению не было дома, и он вручил письмо для передачи Марье Сысоевне.

Наконец, умерла Лиза, в прекрасный летний вечер, вместе с закатом солнца, и тут только как бы очнулся Вельчанинов. Когда мертвую убрали, нарядив ее в праздничное белое платьице одной из дочерей Клавдии Петровны, и положили в зале на столе, с цветами в сложенных ручках, — он подошел к Клавдии Петровне и, сверкая глазами, объявил ей, что он сейчас же привезет и «убийцу». Не слушая советов повременить до завтра, он немедленно отправился в город.

Он знал, где застать Павла Павловича; не за одними докторами отправлялся он в Петербург. Иногда в эти дни ему казалось, что привези он к умиравшей Лизе отца, и она, услыхав его голос, очнется; тогда он как отчаянный пускался его разыскивать. Павел Павлович квартировал прежнему в номерах, но в номерах и спрашивать было нечего: «по три дня не ночует и не приходит, — рапортовала Марья Сысоевна, — а придет невзначай пьяный, часу не пробудет и опять потащится; совсем растрепался». Попоной из Покровской гостиницы сообщил Вельчанинов между прочим, что Павел Павлович, еще прежде, посещал каких-то девиц на Вознесенском проспекте. Вельчанинов немедленно разыскал девиц. Задаренные и угощенные особы припомнили тотчас своего гостя, главное, по его шляпе с крепом, причем тут же его обругали, конечно, за то, что он к ним больше не ходил. Одна из них, Катя, взялась «во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что он от Машки Простаковой теперь не выходит, а денег у него и дна нет, а Машка эта — не Простакова, а Прохвостова, и в больнице лежала, и захоти только она, Катя, так сейчас же ее в Сибирь упрячет, всего одно слово скажет». Катя, однако же, не разыскала в тот раз, но зато крепко обещалась в другой. Вот на ее-то содействие и надеялся теперь Вельчанинов,

Прибыв в город уже в десять часов, он немедленно ее вытребовал, заплатив кому следовало за ее отсутствие, и отправился с нею на поиски. Он еще и сам не знал, что собственно он теперь сделает с Павлом Павловичем: убьет ли его за что-то или просто ищет его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содействия при погребении? На первый раз вышла неудача: оказалось, что Машка Прохвостова разодралась с Павлом Павловичем еще третьего дня и что какой-то казначей «Павлу Павловичу голову скамейкой прошиб». Одним словом, долго он не отыскивался, и наконец уже только в два часа пополуночи Вельчанинов, при выходе из одного указанного ему

заведения, вдруг и неожиданно сам на него натолкнулся.

Павла Павловича подводили к этому заведению две дамы совершенно пьяного; одна из дам придерживала его под руку, а сзади сопутствовал им один рослый и размашистый претендент, кричавший во всё горло и страшно грозивший Павлу Павловичу какими-то ужасами. Он кричал, между прочим, что тот его «эксплуатировал и отравил ему жизнь». Дело, кажется, шло о каких-то деньгах; Дамы очень трусили и спешили. Завидев Вельчанинова, Павел Павлович кинулся к нему с распростертыми руками и закричал, точно его резали:

— Братец родной, защити!

При виде атлетической фигуры Вельчанинова претендент мигом стушевался; торжествующий Павел Павлович простер ему вслед свой кулак и завопил в знак победы; тут Вельчанинов яростно схватил его за плечи и, сам не зная для чего, стал трясти обеими руками, так что у того зубы застучали. Павел Павлович тотчас же перестал кричать и с тупоумным пьяным испугом смотрел на своего истязателя. Вероятно не зная, что с ним делать далее, Вельчанинов крепко нагнул его и посадил на тротуарную тумбу.

— Лиза умерла! — проговорил он ему.

Павел Павлович, всё еще не спуская с него глаз, сидел на тумбе, поддерживаемый одною из дам. Он понял наконец, и лицо его как-то вдруг осунулось.

— Умерла… — как-то странно прошептал он. Усмехнулся ли он спьяна своею скверною длинною улыбкой, или у него скривилось что-то в лице, — Вельчанинов не мог разобрать, но мгновение спустя Павел Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься; крест, однако ж, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя он медленно привстал с тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошел своей дорогой далее, как бы в забытьи, — точно и не было тут Вельчанинова. Но тот ухватил его опять за плечо.

— Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет! — прокричал он задыхаясь.

Тот повернул к нему голову.

— Артиллерии… прапорщика… помните? — промямлил он тупо ворочавшимся языком.

— Что-о-о? — завопил Вельчанинов, болезненно вздрогнув.

— Вот тебе и отец! Ищи его… хоронить…

— Лжешь! — закричал Вельчанинов как потерянный. — Ты со злости… я так и знал, что ты это мне приготовишь!

Не помня себя, он занес свой страшный кулак над головою Павла Павловича. Еще мгновение — и он, может быть, убил бы его одним ударом; дамы взвизгнули и отлетели прочь, но Павел Павлович не смигнул даже глазом. Какое-то исступление самой зверской злобы исказило ему всё лицо.

— А знаешь ты, — произнес он гораздо тверже, почти как не пьяный, — нашу русскую……..? (И он проговорил невозможное в печати ругательство). Ну так и убирайся к ней! — Затем с силою рванулся из рук Вельчанинова оступился, и чуть не упал. Дамы подхватили его и в этот раз уже побежали, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчанинов не преследовал.

Назавтра, в час пополудни, на дачу Погорельцевых явился один весьма приличный чиновник средних лет, в вицмундире и вежливо вручил Клавдии Петровне адресованный на ее имя пакет от имени Павла Павловича Трусоцкого. В пакете заключалось письмо со вложением трехсот рублей и с необходимыми свидетельствами о Лизе. Павел Павлович писал коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Он весьма благодарил ее превосходительство Клавдию Петровну за ее добродетельное участие к сироте, за которое может ей воздать только один бог. Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельскую доброту души ее превосходительства. Триста же рублей назначались, как разъяснил он далее в письме, — на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнию. Если же бы и осталось что из этой суммы, то покорнейше и почтительнейше просит употребить их на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чиновник, доставивший письмо, не мог ничего более объяснить; даже оказалось из некоторых его слов, что он только по усиленной просьбе Павла Павловича взялся доставить лично пакет ее превосходительству. Погорельцев почти обиделся выражением «о расходах, причиненных болезнию», и определил, оставив пятьдесят рублей на погребение, — так как нельзя же было воспретить отцу хоронить свое дитя, — остальные двести пятьдесят рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому.

Клавдия Петровна решила окончательно возвратить не двести пятьдесят рублей, а расписку из кладбищенской Церкви в получении этих денег на вечное поминовение души усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потом Вельчанинову для вручения немедленно; он отослал ее по почте в номер.

После похорон он исчез с дачи. Целые две недели слонялся он по городу, безо всякой цели, один, и натыкался на людей в задумчивости. Иногда же по целым дням лежал, протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Погорельцевы много раз присылали звать его к себе; он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала его дома. То же случилось и с его адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжебное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной долею оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчанинова. Застав его наконец у себя, адвокат был удивлен чрезвычайною вялостью и равнодушием, с которыми он, еще недавно такой беспокойный клиент, его выслушал.

Настали самые жаркие июльские дни, но Вельчанинов забывал самое время. Его горе наболело в его душе, как созревший нарыв, и выяснялось ему поминутно в мучительно-сознательной мысли. Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее! Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том, — поминутно думал он об этом теперь, — чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на себе. «Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть! — задумывался он иногда в мрачном восторге. — Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее этой!» «Любовью Лизы, — мечтал он, — очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь; взамен меня, праздного, порочного и отжившего, — я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо, и за это существо всё было бы мне прощено, и всё бы я сам простил себе».

Все эти *сознательные* мысли представлялись ему всегда нераздельно с ярким, всегда близким и всегда поражавшим его душу воспоминанием об умершем ребенке. Он воссоздавал себе ее бледное

личико, припоминал каждое выражение его; он вспоминал ее и в гробу, в цветах, и прежде бесчувственную, в жару, с открытыми и неподвижными глазами. Он вспомнил вдруг, что, когда она лежала уже на столе, он заметил у ней один бог знает от чего почерневший в болезни пальчик; это так его поразило тогда, и так жалко ему стало этот бедный пальчик, что тут и вошло ему тогда в голову, в первый раз, отыскать сейчас же и убить Павла Павловича, — до того же времени он «был как бесчувственный». Гордость ли оскорбленная замучила это детское сердечко, три ли месяца страданий от отца, переменившего вдруг любовь на ненависть и оскорбившего ее позорным словом, смеявшегося над ее испугом и выбросившего ее, наконец, к чужим людям? Всё это он представлял себе беспрерывно и варьировал на тысячу ладов. «Знаете ли, что такое была для меня Лиза?» — припомнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и чувствовал, что это восклицание было уже не кривлянье, а правда и что тут была любовь. «Как же мог быть так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил, и вероятно ли это?» Но каждый раз он поскорее бросал этот вопрос и как бы отмахивался от него; что-то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и — нерешенное.

В один день, и почти сам не помня как, он забрел на кладбище, на котором похоронили Лизу, и отыскал ее могилку. Ни разу с самых похорон он не был на кладбище; ему всё казалось, что будет уже слишком много муки, и он не смел пойти. Но странно, когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче. Был ясный вечер, солнце закатывалось; кругом, около могил, росла сочная, зеленая трава; недалеко в шиповнике жужжала пчела; цветы и венки, оставленные на могилке Лизы после погребения детьми и Клавдией Петровной, лежали тут же, с облетевшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда в первый раз после долгого времени освежила ему сердце. «Как легко!» — подумал он, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо. Прилив какой-то чистой безмятежной веры во что-то наполнил ему душу. «Это Лиза послала мне, это она говорит со мной», — подумалось ему.*

Совсем уже смеркалось, когда он пошел с кладбища обратно домой. Не так далеко от кладбищенских ворот, по дороге, в низеньком деревянном домике, помещалось что-то вроде харчевни или распивочной; в отворенных окнах виднелись посетители, сидевшие за

столами. Ему вдруг показалось, что один из них, помещавшийся у самого окна, — Павел Павлович и что он тоже видит его и любопытно его высматривает из окошка. Он пошел далее и вскоре услышал, что его догоняют; за ним бежал и в самом деле Павел Павлович; должно быть, примирительное выражение в лице Вельчанинова привлекло и ободрило его, когда он наблюдал из окошка. Поравнявшись, он, робея, улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой; он даже и совсем не был пьян.

— Здравствуйте, — сказал он.

— Здравствуйте, — отвечал Вельчанинов.

XI
Павел Павлович женится

Ответив это «здравствуйте», он сам себе удивился. Ужасно странно показалось ему, что встречает теперь этого человека вовсе без злобы и что в его чувствах к нему в эту минуту что-то совсем другое и даже какой-то позыв к чему-то новому.

— Вечер какой приятный, — проговорил, засматривая ему в глаза, Павел Павлович.

— Вы еще не уехали, — промолвил Вельчанинов, как бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти.

— Затянулось у меня, но — место я получил-с, с повышением-с. Отъезжаю послезавтра наверно.

— Получили место? — на этот раз уже спросил он.

— Почему же бы и нет-с? — покривился вдруг Павел Павлович.

— Я только так сказал… — отговорился Вельчанинов и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича. К его удивлению, одежда, шляпа с крепом и весь вид г-на Трусоцкого были несравненно приличнее, чем две недели назад. «Зачем он сидел в этой распивочной?» — всё думалось ему.

— Я вам, Алексей Иванович, намеревался и про другую мою радость сообщить, — начал опять Павел Павлович.

— Радость?

— Я женюсь-с.

— Как?

— После скорби и радость-с, так всегда в жизни-с; я, Алексей Иванович, очень бы желал-с… но — не знаю, может, вы теперь спешите, потому что у вас такой вид-с…

— Да, я спешу и… да, я нездоров.

Ему ужасно вдруг захотелось отделаться; готовность к какому-то новому чувству вмиг исчезла.

— А я бы желал-с…

Павел Павлович не договорил, чего он желал; Вельчанинов промолчал.

— В таком случае уже после-с, если только повстречаемся…

— Да, да, после, после, — скороговоркой бормотал Вельчанинов, не глядя на него и не останавливаясь. Еще помолчали с минуту; Павел Павлович всё еще продолжал идти подле.

— В таком случае до свиданья-с, — вымолвил он наконец.

— До свиданья; желаю…

Вельчанинов воротился домой опять совсем расстроенный. Столкновение с «этим человеком» было ему не под силу. Ложась спать, он опять подумал: «Зачем он был у кладбища?»

На другой день поутру он решился наконец съездить к Погорельцевым, решился неохотно; ему слишком тяжело было теперь чье-нибудь участие, даже и от Погорельцевых. Но они так о нем беспокоились, что непременно надо было поехать. Ему вдруг представилось, что ему станет почему-то очень стыдно при первой с ними встрече. «Ехать или не ехать?» — думал он, спеша окончить завтрак, как вдруг, к чрезвычайному его изумлению, к нему вошел Павел Павлович.

Несмотря на вчерашнюю встречу, Вельчанинов и представить не мог, что этот человек когда-нибудь опять зайдет к нему, и был так озадачен, что глядел на него и не знал, что сказать. Но Павел Павлович распорядился сам, поздоровался и уселся на том же самом стуле, на котором сидел три недели назад в последнее свое посещение. Вельчанинову вдруг особенно ярко припомнилось то посещение. Беспокойно и с отвращением смотрел он на гостя.

— Удивляетесь-с? — начал Павел Павлович, угадавший взгляд Вельчанинова.

Вообще он казался гораздо развязнее, чем вчера, и в то же время проглядывало, что он и робел еще больше вчерашнего. Наружный вид его был особенно любопытен. Г-н Трусоцкий был не только прилично, но и франтовски одет — в легком летнем пиджаке, в светлых брюках в обтяжку, в светлом жилете; перчатки, золотой лорнет, для чего-то вдруг появившийся, белье — были безукоризненны; от него даже пахло духами. Во всей фигуре его было что-то и смешное и в то же время наводившее на какую-то странную и неприятную мысль.

— Конечно, Алексей Иванович, — продолжал он коробясь, — я вас удивил приходом-с, и — чувствую-с. Но между людьми, я так думаю-с, всегда сохраняется, — а по-моему, так и должно храниться-с, — нечто высшее, так ли-с? То есть высшее относительно всех условий и даже

самых неприятностей, могущих выйти… так ли-с?

— Павел Павлович, скажите всё поскорее и без церемоний, — нахмурился Вельчанинов.

— В двух словах-с, — заспешил Павел Павлович, — я женюсь и отправляюсь теперь к невесте, сейчас-с. Они тоже на даче-с. Я желал бы получить глубокую честь, чтобы осмелиться познакомить вас с этим домом-с, и пришел-с с необычайною просьбою (Павел Павлович покорно нагнул голову) просить вас, чтобы мне сопутствовать-с…

— Куда сопутствовать? — Вельчанинов вытаращил глаза.

— К ним-с, то есть на дачу-с. Простите, я как в лихорадке говорю и, может, спутал; но я так уж вашего отказа боюсь-с…

И он плачевно посмотрел на Вельчанинова.

— Вы хотите, чтобы я с вами ехал теперь к вашей невесте? — переговорил Вельчанинов, быстро его оглядывая и не веря ни ушам, ни глазам своим.

— Да-с, — ужасно оробел вдруг Павел Павлович. — Вы не рассердитесь, Алексей Иванович, тут не дерзость-с; я только покорнейше и необычайно прошу. Я помечтал, что, может быть, вы и не захотели бы при этом отказать…

— Во-первых, это вовсе невозможно, — беспокойно заворочался Вельчанинов.

— Это только мое чрезмерное желание и не более-с, — продолжал тот умолять, — я не скрою тоже, что есть тут причина-с. Но о причине этой хотел бы открыть лишь после-с, а теперь лишь необычайно прошу-с…

И он даже встал со стула от почтения.

— Но во всяком случае это невозможно же, согласитесь сами… — Вельчанинов тоже встал с места.

— Это очень возможно-с, Алексей Иванович, — я при этом вас располагал познакомить-с, так, как приятеля-с; а во-вторых, вы ведь и без того там знакомы-с; ведь это к Захлебинину, на дачу. Статский советник Захлебинин-с.

— Как так? — вскричал Вельчанинов. Это был тот самый статский советник, которого он с месяц назад всё искал и не заставал дома, действовавший, как оказалось, в пользу противной стороны в его тяжбе.

— Ну да, ну да, — улыбался Павел Павлович, как бы ободренный чрезвычайным удивлением Вельчанинова, — тот самый, вот еще

помните, когда вы тогда шли с ним и разговаривали, а я глядел на вас и стоял напротив; я тогда выжидал, чтобы к нему подойти после вас. Назад лет двадцать вместе даже служили-с, а тогда, когда подойти хотел после вас-с, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла, с неделю назад-с.

— Но послушайте, ведь это, кажется, весьма порядочное семейство? — наивно удивился Вельчанинов.

— Так почему же-с, если порядочное? — покривился Павел Павлович.

— Нет, разумеется, я не про то… но сколько я заметил, там бывши…

— Они помнят, они помнят-с, как вы были, — радостно подхватил Павел Павлович, — только вы семейства не могли тогда увидеть-с; а сам он помнит-с и вас уважает. Я им почтительно об вас говорил.

— Но как же, если вы только три месяца вдовеете?

— Да ведь не сейчас свадьба-то-с; свадьба через девять или через десять месяцев будет, так что ровно год траура и пройдет-с. Поверьте, что всё хорошо-с. Во-первых, Федосей Петрович меня даже с малолетства знает, знал покойную супругу мою, знает, как я жил, на каком счету-с, и, наконец, у меня есть состояние, а теперь вот и место с повышением получаю, — так это всё и на весу-с.

— Что ж, это дочь его?

— Я вам всё это расскажу в подробности-с, — приятно съежился Павел Павлович, — позвольте папиросочку закурю. К тому же вы сами сегодня увидите. Во-первых, такие дельцы, как Федосей Петрович, здесь, в Петербурге, иногда очень на службе ценятся, если успеют обратить внимание-с. Но ведь кроме жалованья и пуще того — прибавочных, наградных, дополнительных, столовых или там единовременных пособий-с — ничего ведь и нет-с, то есть основного-то-с, составляющего капитал. Живут хорошо, а скопить никак невозможно, если при семействе-с. Сообразите сами: восемь девиц у Федосея Петровича и один только сын малолеток. Умри он сейчас — останется ведь только пенсия жиденькая-с. А тут восемь девиц, — нет, вы только сообразите-с, сообразите-с: ведь это если каждой по башмакам, так и тут что составит! Из восьми девиц пять уж невест-с, старшей-то двадцать четыре года (прелестнейшая девица, сами увидите-с!), а шестой — пятнадцать лет, еще в гимназии учится. Ведь для пяти-

то старших девиц надо женихов приискать, что по возможности заблаговременнее делать следует, отцу-с надо, стало быть, вывозить-с, — чего же это стоит, я вас спрошу-с? И вдруг я появляюсь, еще первый жених у них в доме-с, и им известен заведомо, то есть в том смысле, что при действительном состоянии-с. Ну вот и всё-с.

Павел Павлович объяснял с упоением.

— Вы к старшей посватались?

— Н-нет-с, я… не к старшей; я вот к этой шестой посватался, вот которая еще продолжает учение в гимназии.

— Как? — невольно усмехнулся Вельчанинов. — Да ведь вы же говорите, ей пятнадцать лет!

— Пятнадцать-с теперь; но через девять месяцев ей будет шестнадцать, шестнадцать лет и три месяца, так почему же-с? А так как теперь всё это неприлично-с, то гласного покамест и нет ничего, а только с родителями… Поверьте, что всё хорошо-с!

— Стало быть, еще не решено?

— Нет, решено, всё решено-с. Поверьте, что всё хорошо-с.

— А она знает?

— То есть это только вид такой, для приличия, что будто и не говорят; а ведь как же не знать-с? — приятно прищурился Павел Павлович. — Что же, осчастливите, Алексей Иванович? — ужасно робко закончил он.

— Да зачем мне-то туда? Впрочем, — прибавил он торопливо, — так как я во всяком случае не поеду, то и не выставляйте мне никаких причин.

— Алексей Иванович…

— Да неужели же я с вами рядом сяду и поеду, подумайте!

Отвратительное и неприязненное ощущение возвратилось опять к нему после минутного развлечения болтовней Павла Павловича о невесте. Еще бы, кажется, минута, и од прогнал бы его вовсе. Он злился даже на себя за что-то.

— Сядьте, Алексей Иванович, сядьте рядом и не раскаетесь! — проникнутым голосом умолял Павел Павлович. — Нет-нет-нет! — замахал он руками, поймав нетерпеливый и решительный жест Вельчанинова. — Алексей Иванович, Алексей Иванович, подождите предрешать-с! Я вижу, что вы, может быть, превратно меня поняли: ведь я слишком хорошо понимаю, что ни вы мне, ни я вам — мы не

товарищи-с; я ведь не до того уж нелеп-с, чтобы уж этого не понять-с. И что теперешняя услуга, о которой прошу, ни к чему в дальнейшем вам не вменяется. Да и сам я послезавтра уеду совсем-с, совершенно-с; значит, как бы и не было ничего. Пусть этот день будет один только случай-с. Я к вам шел и надежду основал на благородстве особенных чувств вашего сердца, Алексей Иванович, — именно на тех самых чувствах, которые в последнее время могли быть в вашем сердце возбуждены-с… Ясно ведь, кажется, я говорю или еще нет-с?

Волнение Павла Павловича возросло до чрезвычайности. Вельчанинов странно глядел на него.

— Вы просите о какой-то услуге с моей стороны, — спросил он задумываясь, — и ужасно настаиваете, — это мне подозрительно; я хочу больше знать.

— Вся услуга лишь в том, что вы со мной поедете. А потом, когда приедем обратно, я всё разверну перед вами как на исповеди. Алексей Иванович, доверьтесь!

Но Вельчанинов всё еще отказывался, и тем упорнее, что ощущал в себе одну какую-то тяжелую, злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась в нем, с самого начала, как только Павел Павлович возвестил о невесте: простое ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влечение, но его тянуло — согласиться. И чем больше тянуло, тем более он оборонялся. Он сидел, облокотясь на руку, и раздумывал. Павел Павлович юлил около него и упрашивал.

— Хорошо, поеду, — согласился он вдруг беспокойно и почти тревожно, вставая с места. Павел Павлович обрадовался чрезмерно.

— Нет уж вы, Алексей Иванович, теперь приоденьтесь, — юлил он радостно вокруг одевавшегося Вельчанинова, — получше, по-вашему оденьтесь.

«И чего он сам туда лезет, странный человек?» — думал про себя Вельчанинов.

— А ведь я не одной этой услуги от вас, Алексей Иванович, ожидаю-с. Уж коли дали согласие, так уж будьте и руководителем-с.

— Например?

— Например, большой вопрос-с: креп-с? Что приличнее: снять или с крепом остаться?

— Как хотите.

— Нет, я вашего решения желаю-с, как бы вы поступили сами, то

есть если бы имели креп-с? Моя собственная мысль была, что если сохранить, так это на постоянство чувств-с укажет-с, а стало быть, лестно отрекомендует.

— Разумеется, снимите.

— Неужто уж и разумеется? — Павел Павлович задумался. — Нет, уж я бы лучше сохранил-с…

— Как хотите. «Однако он мне не доверяет, это хорошо», — подумал Вельчанинов.

Они вышли; Павел Павлович с довольством приглядывался к принарядившемуся Вельчанинову; даже как будто больше почтения и важности проявилось в его лице. Вельчанинов дивился на него и еще больше на себя самого. У ворот стояла поджидавшая их превосходная коляска.

— А у вас уже и коляска была готова? Стало быть, вы были уверены, что я поеду?

— Коляску я взял для себя-с, но почти уверен был, что вы согласитесь поехать, — ответил Павел Павлович с видом совершенно счастливого человека.

— Эй, Павел Павлович, — как-то раздражительно засмеялся Вельчанинов, когда уже уселись и тронулись, — не слишком ли вы во мне уверены?

— Но ведь не вам же, Алексей Иванович, не вам же сказать мне за это, что я дурак? — твердо и проникнутым голосом ответил Павел Павлович.

«А Лиза?» — подумал Вельчанинов и тотчас же бросил об этом думать, как бы испугавшись какого-то кощунства. И вдруг ему показалось, что он сам так мелок, так ничтожен в эту минуту; показалось, что мысль, его соблазнявшая, — такая маленькая, такая скверненькая мысль… и во что бы то ни стало захотелось ему опять всё бросить и хоть сейчас выйти из коляски, даже если б надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тот заговорил, и соблазн опять охватил его сердце.

— Алексей Иванович, знаете вы толк в драгоценных вещах-с?

— В каких драгоценных вещах?

— В бриллиантовых-с.

— Знаю.

— Я бы хотел подарочек свезти. Руководите: надо или нет?

— По-моему — не надо.

— А я так бы очень хотел-с, — заворочался Павел Павлович, — только вот что же бы купить-с? Весь ли прибор, то есть брошь, серьги, браслет, или одну только вещицу?

— Вы сколько хотите заплатить?

— Да уж рублей четыреста или пятьсот-с.

— Ух!

— Много, что ли? — встрепенулся Павел Павлович.

— Купите один браслет, во сто рублей.

Павел Павлович даже огорчился. Ему ужасно как хотелось заплатить дороже и купить «весь» прибор. Он настаивал. Заехали в магазин. Кончилось тем, однако же, что купили только один браслет и не тот, который хотелось Павлу Павловичу, а тот, на который указал Вельчанинов. Павлу Павловичу хотелось взять оба. Когда купец, запросивший сто семьдесят пять рублей за браслет, спустил за сто пятьдесят, — то ему стало даже досадно; он с приятностию заплатил бы и двести, если бы с него запросили, так уж хотелось ему заплатить подороже.

— Это ничего, что я так подарками спешу, — изливался он в упоении, когда опять поехали, — там ведь не высший свет, там просто-с. Невинность любит подарочки, — хитро и весело улыбнулся он. — Вы вот усмехнулись давеча, Алексей Иванович, на то, что пятнадцать лет; а ведь мне это-то и в голову стукнуло, — именно, что вот в гимназию ходит, с мешочком на руке, в котором тетрадки и перушки, хе-хе! Мешочек-то и пленил мои мысли! Я, собственно, для невинности, Алексей Иванович. Дело для меня не столько в красоте лица, сколько в этом-с. Хихикают там с подружкой в уголку, и как смеются, и боже мой! А чему-с: весь-то смех из того, что кошечка с комода на постельку соскочила и клубочком свернулась… Так тут ведь свежим яблочком пахнет-с![*] Аль снять уж креп?

— Как хотите.

— Сниму! — Он снял шляпу, сорвал креп и выбросил на дорогу. Вельчанинов видел, что лицо его засияло самой ясной надеждой, когда он надел опять шляпу на свою лысую голову.

«Да неужто он и в самом деле такой? — подумал он в настоящей уже злобе, — неужто тут нет никакой *штуки* в том, что он меня пригласил? Неужто и в самом деле на благородство мое

рассчитывает? — продолжал он, почти обидевшись последним предположением. — Что это, шут, дурак или „вечный муж“? Да невозможно же, наконец!..»

XII
У Захлебининых

Захлебинины были действительно «очень порядочное семейство», как выразился давеча Вельчанинов, а сам Захлебинин был весьма солидный чиновник и на виду. Правда была и всё то, что говорил Павел Павлович насчет их доходов: «Живут, кажется, хорошо, а умри человек, и ничего не останется».

Старик Захлебинин прекрасно и дружески встретил Вельчанинова и из прежнего «врага» совершенно обратился в приятеля.

— Поздравляю, так-то лучше, — заговорил он с первого слова, с приятным и осанистым видом, — я сам на мировой настаивал, а Петр Карлович (адвокат Вельчанинова) золотой на этот счет человек. Что ж? Тысяч шестьдесят получите и без хлопот, без проволочек, без ссор! А на три года могло затянуться дело!

Вельчанинов тотчас был представлен и m-me Захлебининой, весьма расплывшейся пожилой даме, с простоватым и усталым лицом. Стали выплывать и девицы, одна за другой или парами. Но что-то очень уж много явилось девиц; мало-помалу собралось их до десяти или до двенадцати, — Вельчанинов и сосчитать не мог; одни входили, другие выходили. Но в числе их было много дачных соседок-подружек. Дача Захлебининых — большой деревянный дом, в неизвестном, но причудливом вкусе, с разновременными пристройками — пользовалась большим садом; но в этот сад выходили еще три или четыре другие дачи с разных сторон, так что большой сад был общий, что, естественно, и способствовало сближению девиц с дачными соседками. Вельчанинов с первых же слов разговора заметил, что его уже здесь ожидали и что приезд его в качестве Павла Павловичева друга, желающего познакомиться, был чуть ли не торжественно возвещен. Зоркий и опытный в этих делах его взгляд скоро отличил тут даже нечто особенное: по слишком любезному приему родителей, по некоторому особенному виду девиц и их наряду (хотя, впрочем, день был праздничный) у него замелькало подозрение, что Павел Павлович схитрил и очень могло быть, что внушил здесь, не говоря, разумеется, прямых слов, нечто вроде предположения об нем как о скучающем

холостяке, «хорошего общества», с состоянием и который, очень и очень может быть, наконец вдруг решится «положить предел» и устроиться, — тем более что и наследство получил». Кажется, старшая m-lle Захлебинина, Катерина Федосеевна, именно та, которой было двадцать четыре года и о которой Павел Павлович выразился как о прелестной особе, была несколько настроена на этот тон. Она особенно выдавалась перед сестрами своим костюмом и какою-то оригинальною уборкою своих пышных волос. Сестры же и все другие девицы глядели так, как будто и им уже было твердо известно, что Вельчанинов знакомится «для Кати» и приехал ее «посмотреть». Их взгляды и некоторые даже словечки, промелькнувшие невзначай в продолжение дня, подтвердили ему потом эту догадку. Катерина Федосеевна была высокая, полная до роскоши блондинка, с чрезвычайно милым лицом, характера, очевидно, тихого и непредприимчивого, даже сонливого. «Странно, что такая засиделась, — невольно подумал Вельчанинов, с удовольствием к ней приглядываясь, — пусть без приданого и скоро совсем расплывется, но покамест на это столько любителей…» Все остальные сестры были тоже не совсем дурны собой, а между подружками мелькало несколько забавных и даже хорошеньких личик. Это стало его забавлять; а впрочем, он и вошел с особенными мыслями. Надежда Федосеевна, шестая, гимназистка и предполагаемая невеста Павла Павловича, заставила себя подождать. Вельчанинов ждал ее с нетерпением, чему сам дивился, и усмехался про себя. Наконец она показалась, и не без эффекта, в сопровождении одной бойкой и вострой подружки, Марьи Никитишны, брюнетки с смешным лицом и которой, как оказалось сейчас же, чрезвычайно боялся Павел Павлович. Эта Марья Никитишна, девушка лет уже двадцати трех, зубоскалка и даже умница, была гувернанткой маленьких детей в одном соседнем и знакомом семействе и давно уже считалась как родная у Захлебининых, а девицами ценилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Наде. С первого взгляда разглядел Вельчанинов, что девицы были все против Павла Павловича, даже и подружки, а во вторую минуту после выхода Нади он решил, что и она его *ненавидит.* Заметил тоже, что Павел Павлович совершенно этого не примечает или не хочет примечать. Бесспорно, Надя была лучше всех сестер — маленькая брюнетка, с видом дикарки и с смелостью нигилистки; вороватый бесенок с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя

часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, с зачинавшеюся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. Пятнадцать лет сказывались в каждом ее шаге, в каждом слове. Оказалось потом, что и действительно Павел Павлович увидал ее в первый раз с клеенчатым мешочком в руках; но теперь уже она его не носила.

Подарок браслета совершенно не удался и произвел впечатление даже неприятное. Павел Павлович, только лишь завидел вошедшую невесту, тотчас же подошел к ней ухмыляясь. Дарил он под предлогом «приятного удовольствия, ощущенного им в предыдущий раз по поводу спетого Надеждой Федосеевной приятного романса за фортепьянами…» Он сбился, не докончил и стоял как потерянный, протягивая и втыкая в руку Надежды Федосеевны футляр с браслетом, который та не хотела брать, и, покраснев от стыда и гнева, отводила свои руки назад. Дерзко оборотилась она к мамаше, на лице которой выражалось замешательство, и громко сказала:

— Я не хочу брать, maman!

— Возьми и поблагодари, — промолвил отец с покойною строгостью, но и он был тоже недоволен. — Лишнее, лишнее! — пробормотал он назидательно Павлу Павловичу. Надя, нечего делать, футляр взяла и, опустив глазки, присела, как приседают маленькие девочки, то есть вдруг бултыхнулась вниз и вдруг тотчас же привскочила, как на пружинке. Одна из сестер подошла посмотреть, и Надя передала ей футляр, еще и не раскрытый, тем показывая, что сама и глядеть не хочет. Браслет вынули, и он стал обходить всех из рук в руки; но все смотрели молча, а иные так и насмешливо. Одна только мамаша промямлила, что браслет очень мил. Павел Павлович готов был провалиться сквозь землю.

Выручил Вельчанинов.

Он вдруг громко и охотно заговорил, схватив первую попавшуюся мысль, и не прошло еще пяти минут, как он уже овладел вниманием всех бывших в гостиной. Он великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам, людей. Чрезвычайно натурально мог прикинуться он, когда надо, веселейшим и счастливейшим человеком. Очень ловко умел тоже вставить между

словами острое и задирающее словцо, веселый намек, смешной каламбур, но совершенно как бы невзначай, как бы и не замечая, — тогда как и острота, и каламбур, и самый-то разговор, может быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены и уже не раз употреблялись. Но в настоящую минуту к его искусству присоединилась и сама природа: он чувствовал, что настроен, что его что-то влечет; чувствовал в себе полнейшую и победительную уверенность, что через несколько минут все эти глаза будут обращены на него, все эти люди будут слушать только его одного, говорить только с ним, смеяться только тому, что он скажет. И действительно, вскоре послышался смех, мало-помалу в разговор ввязались и другие, — а он в совершенстве овладел умением затягивать в разговор и других, — раздавались уже по три и по четыре говорившие голоса разом. Скучное и усталое лицо госпожи Захлебининой озарилось почти радостью; то же было и с Катериной Федосеевной, которая слушала и смотрела как очарованная. Надя зорко вглядывалась в него исподлобья; заметно было, что она против него уже предубеждена. Это еще более подожгло Вельчанинова. «Злая» Марья Никитишна сумела-таки ввернуть в разговор одну довольно чувствительную колкость на его счет; она выдумала и утверждала, что будто бы Павел Павлович отрекомендовал его здесь вчера своим другом детства, и таким образом прибавляла к его годам, ясно намекнув на это, целых семь лет лишних. Но и злой Марье Никитишне он понравился. Павел Павлович решительно был озадачен. Он, конечно, имел понятие о средствах, которыми обладает его друг, и вначале даже был рад его успеху, сам подхихикивал и вмешивался в разговор; но почему-то он мало-помалу стал впадать как бы в раздумье, даже, наконец, в уныние, что ясно выражалось в его встревоженной физиономии.

— Ну, вы такой гость, которого и занимать не надо, — весело порешил наконец старик Захлебинин, вставая со стула, чтобы отправиться к себе наверх, где у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было несколько деловых бумаг для просмотру, — а ведь, представьте, я вас считал самым мрачным ипохондриком из всех молодых людей. Вот как ошибаешься!

В зале стоял рояль; Вельчанинов спросил, кто занимается музыкой, и вдруг обратился к Наде.

— А вы, кажется, поете?

— Кто вам сказал? — отрезала Надя.

— Павел Павлович говорил давеча.

— Неправда; я только на смех пою; у меня и голосу нет.

— Да и у меня голосу нет, а пою же.

— Так вы споете нам? Ну так и я вам спою, — сверкнула глазками Надя, — только не теперь, а после обеда. Я терпеть не могу музыки, — прибавила она, — надоели эти фортопьяны; у нас ведь с утра до ночи все играют и поют — одна Катя чего стоит.

Вельчанинов тотчас привязался к слову, и оказалось, что Катерина Федосеевна одна из всех серьезно занимается на фортепьяно. Он тотчас к ней обратился с просьбой сыграть. Всем, видимо, стало приятно, что он обратился к Кате, а maman так даже покраснела от удовольствия. Катерина Федосеевна встала улыбаясь, и пошла к роялю, и вдруг, себе неожиданно, тоже вся закраснелась, и ужасно ей вдруг стало стыдно, что вот она такая большая, и уже двадцати четырех лет, и такая полная, а краснеет как девочка, — и всё это было написано на ее лице, когда она садилась играть. Сыграла она что-то из Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и без выражения; но она оробела. Когда она кончила, Вельчанинов стал ужасно хвалить ей не ее, а Гайдна и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла, — и ей, видимо, стало так приятно, и она так благодарно и счастливо слушала похвалы не себе, а Гайдну, что Вельчанинов невольно посмотрел на нее и ласковее и внимательнее. «Э, да ты славная?» — засветилось в его взгляде — и все как бы разом поняли этот взгляд, а особенно сама Катерина Федосеевна.

— У вас славный сад, — обратился он вдруг ко всем, смотря на стеклянные двери балкона, — знаете, пойдемте-ка все в сад!

— Пойдемте, пойдемте! — раздались радостные взвизги, точно он угадал самое главное всеобщее желание.

В саду прогуляли до обеда. Госпожа Захлебинина, которой давно уже хотелось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всеми, но благоразумно осталась посидеть и отдохнуть на балконе, где тотчас и задремала. В саду взаимные отношения Вельчанинова и всех девиц стали еще дружественнее. Он заметил, что с соседних дач присоединилось два-три очень молодых человека; один был студент, а другой и просто гимназист. Эти тотчас же подскочили каждый к *своей* девице, и видно было, что и пришли для них; третий же «молодой человек», очень мрачный и взъерошенный двадцатилетний мальчик, в

огромных синих очках, стал торопливо и нахмуренно шептаться о чем-то с Марьей Никитишной и Надей. Он строго осматривал Вельчанинова и, казалось, считал себя обязанным относиться к нему с необыкновенным презрением. Некоторые девицы предлагали поскорее начать играть. На вопрос Вельчанинова, во что они играют, отвечали, что во все игры и в горелки, но что вечером будут играть в пословицы, то есть все садятся и один на время отходит; все же сидящие выбирают пословицу, например: «Тише едешь, дальше будешь», и когда того призовут, то каждый или каждая по порядку должны приготовить и сказать ему по одной фразе. Первый непременно говорит такую фразу, в которой есть слово «тише», второй — такую, в которой есть слово «едешь», и т. д. А тот должен непременно подхватить все эти словечки и по ним угадать пословицу.

— Это должно быть очень забавно, — заметил Вельчанинов.

— Ах нет, прескучно, — ответили два-три голоса разом.

— А то мы в театр тоже играем, — заметила Надя, обращаясь к нему. — Вот видите это толстое дерево, около которого скамьей обведено: там, за деревом, будто бы кулисы и там актеры сидят, ну там король, королева, принцесса, молодой человек — как кто захочет; каждый выходит, когда ему вздумается, и говорит, что на ум придет, ну что-нибудь и выходит.

— Да это славно! — похвалил еще раз Вельчанинов.

— Ах нет, прескучно! Сначала каждый раз весело выходит, а под конец каждый раз бестолково, потому что никто не умеет кончить; разве вот с вами будет занимательнее. А то мы думали про вас, что вы друг Павла Павловича, а выходит, что он просто нахвастал. Я очень рада, что вы приехали… по одному случаю, — весьма серьезно и внушительно посмотрела она на Вельчанинова и тотчас же отошла к Марье Никитишне.

— В пословицы вечером будут играть, — вдруг конфиденциально шепнула Вельчанинову одна подружка, которую он до сих пор едва даже заметил и ни слова еще с нею не выговорил, — вечером над Павлом Павловичем все станут смеяться, так и вы тоже.

— Ах, как хорошо, что вы приехали, а то у нас всё так скучно, — дружески проговорила ему другая подружка, которую он уже и совсем до сих пор не заметил, бог знает вдруг откуда явившаяся, рыженькая, с веснушками и с ужасно смешно разгоревшимся от ходьбы и от жару

лицом.

Беспокойство Павла Павловича возрастало всё более и более. В саду под конец Вельчанинов совершенно уже успел сойтись с Надей; она уже не выглядывала, как давеча, исподлобья и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнее, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку; она была счастлива ужасно, на Павла же Павловича продолжала не обращать ни малейшего внимания, как бы не замечая его. Вельчанинов убедился, что существует положительный заговор против Павла Павловича; Надя с толпой девушек отвлекала Вельчанинова в одну сторону, а другие подружки под разными предлогами заманивали Павла Павловича в другую; но тот вырывался и тотчас же опрометью прибегал прямо к ним, то есть к Вельчанинову и Наде, и вдруг вставлял свою лысую и беспокойно подслушивающую голову между ними. Под конец он уже даже и не стеснялся; наивность его жестов и движений была иногда удивительная. Не мог не обратить еще раз особенного внимания Вельчанинов и на Катерину Федосеевну; ей, конечно, уже стало ясно теперь, что он вовсе не для нее приехал, а слишком уже заинтересовался Надей; но лицо ее было так же мило и благодушно, как давеча. Она, казалось, уже тем одним была счастлива, что находится тоже подле них и слушает то, что говорит новый гость; сама же, бедненькая, никак не умела ловко вмешаться в разговор.

— А какая славная у вас сестрица Катерина Федосеевна! — сказал Вельчанинов вдруг потихоньку Наде.

— Катя-то! Да добрее разве может быть душа, как у ней? Наш общий ангел, я в нее влюблена, — отвечала та восторженно.

Настал наконец и обед в пять часов, и тоже очень заметно было, что обед устроен не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось два-три кушанья, очевидно прибавочные к обычному столу, довольно мудреные, а одно из них так и совсем какое-то странное, так что его и назвать никто бы не мог. Кроме обыкновенных столовых вин, появилась тоже, очевидно, придуманная для гостя бутылка токайского; под конец обеда для чего-то подали и шампанское. Старик Захлебинин, выпив лишнюю рюмку, был в самом благодушном настроении и готов был смеяться всему, что говорил Вельчанинов. Кончилось тем, что Павел Павлович наконец не выдержал: увлекшись соревнованием, он вдруг задумал тоже сказать какой-нибудь каламбур и сказал: на конце стола,

где он сидел подле m-me Захлебининой, послышался вдруг громкий смех обрадовавшихся девиц.

— Папаша, папаша! Павел Павлович тоже каламбур сказал, — кричали две средние Захлебинины в один голос, — он говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться…»

— А, и он каламбурит! Ну, какой же он сказал каламбур? — степенным голосом отозвался старик, покровительственно обращаясь к Павлу Павловичу и заранее улыбаясь ожидаемому каламбуру.

— Да вот же он и говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться».

— Д-да! Ну так что ж? — старик всё еще не понимал и еще добродушнее улыбался в ожидании.

— Ах, папаша, какой вы, не понимаете! Ну девицы и потом дивиться; девицы похоже на дивиться, девицы, на которых нужно дивиться…

— А-а-а! — озадаченно протянул старик. — Гм! Ну, — он в другой раз получше скажет! — и старик весело рассмеялся.

— Павел Павлович, нельзя же иметь все совершенства разом! — громко поддразнила Марья Никитишна. — Ах, боже мой, он костью подавился! — воскликнула она и вскочила со стула.

Поднялась даже суматоха, но Марье Никитишне только того и хотелось. Павел Павлович только захлебнулся вином, за которое он схватился, чтобы скрыть свой конфуз, но Марья Никитишна уверяла и клялась на все стороны, что это «рыбья кость, что она сама видела и что от этого умирают».

— Постукать по затылку! — крикнул кто-то.

— В самом деле и самое лучшее! — громко одобрил Захлебинин, но уже явились и охотницы: Марья Никитишна, рыженькая подружка (тоже приглашенная к обеду) и, наконец, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся, — все хотели стукать Павла Павловича по затылку. Выскочивший из-за стола Павел Павлович отвертывался и целую минуту должен был уверять, что он только поперхнулся вином и что кашель сейчас пройдет, — пока наконец-то догадались, что всё это — проказы Марьи Никитишны.

— Ну, однако, уж ты, забияка!.. — строго заметила m-me Захлебинина Марье Никитишне, — но тотчас не вы держала и расхохоталась так, как с нею редко случалось, что тоже произвело

своего рода эффект. После обеда все вышли на балкон пить кофе.

— И какие славные стоят дни! — благосклонно похвалил природу старик, с удовольствием смотря в сад, — только бы вот дождя… Ну, а я пойду отдохнуть. С богом, с богом, веселитесь! И ты веселись! — стукнул он, выходя, по плечу Павла Павловича.

Когда все опять сошли в сад, Павел Павлович вдруг подбежал к Вельчанинову и дернул его за рукав.

— На одну минутку-с, — прошептал он в нетерпении. Они вышли в боковую, уединенную дорожку сада.

— Нет, уж здесь извините-с, нет, уж здесь я не дам-с… — яростно захлебываясь, прошептал он, ухватив Вельчанинова за рукав.

— Что? Чего? — спрашивал Вельчанинов, сделав большие глаза. Павел Павлович молча смотрел на него, шевелил губами и яростно улыбнулся.

— Куда же вы? Где же вы тут? Всё уж готово! — послышались зовущие и нетерпеливые голоса девиц. Вельчанинов пожал плечами и воротился к обществу. Павел Павлович тоже бежал за ним.

— Бьюсь об заклад, что он у вас платка носового просил, — сказала Марья Никитишна, — прошлый раз он тоже забыл.

— Вечно забудет! — подхватила средняя Захлебинина.

— Платок забыл! Павел Павлович платок забыл! Maman, Павел Павлович опять платок носовой забыл, maman, у Павла Павловича опять насморк! — раздавались голоса.

— Так чего же он не скажет! Какой вы, Павел Павлович, щепетильный! — нараспев протянула m-me Захлебинина; — с насморком опасно шутить; я вам сейчас при шлю платок. И с чего у него всё насморк! — прибавила она уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой.

— У меня два платка-с и нет насморка-с! — прокричал ей вслед Павел Павлович, но та, видно, не разобрала, и через минуту, когда Павел Павлович трусил вслед за всеми и всё поближе к Наде и Вельчанинову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платок.

— Играть, играть, в пословицы играть! — кричали со всех сторон, точно и бог знает чего ждали от «пословиц».

Выбрали место и уселись на скамейках; досталось отгадывать Марье Никитишне; потребовали, чтоб она ушла как можно дальше и не

подслушивала; в отсутствие ее выбрали пословицу и роздали слова. Марья Никитишна воротилась и мигом отгадала. Пословица была: «Страшен сон, да милостив бог».

За Марьей Никитишной последовал взъерошенный молодой человек в синих очках. От него потребовали еще больше предосторожности, — чтоб он стал у беседки и оборотился лицом к забору. Мрачный молодой человек исполнял свою должность с презрением и даже как будто ощущал некоторое нравственное унижение. Когда его кликнули, он ничего не мог угадать, обошел всех и выслушал, что ему говорили по два раза, долго и мрачно соображал, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была: «За богом молитва, а за царем служба не пропадают!»

— И пословица-то мерзость! — с негодованием проворчал уязвленный юноша, ретируясь на свое место.

— Ах, как скучно! — послышались голоса.

Пошел Вельчанинов; его спрятали еще дальше всех; он тоже не угадал.

— Ах, как скучно! — послышалось еще больше голосов.

— Ну теперь я пойду, — сказала Надя.

— Нет, нет, теперь Павел Павлович пойдет, очередь Павлу Павловичу, — закричали все и оживились немножко.

Павла Павловича отвели к самому забору, в угол, и поставили туда лицом, а чтобы он не оглянулся, приставили за ним смотреть рыженькую. Павел Павлович, уже ободрившийся и почти снова развеселившийся, намерен был свято исполнить свой долг и стоял как пень, смотря на забор и не смея обернуться. Рыженькая сторожила его в двадцати шагах позади, ближе к обществу, у беседки, и о чем-то перемигивалась в волнении с девицами; видно было, что и все чего-то ожидали с некоторым даже беспокойством; что-то приготовлялось. Вдруг рыженькая замахала из-за беседки руками. Мигом все вскочили и бросились бежать куда-то сломя голову.

— Бегите, бегите и вы! — шептали Вельчанинову десять голосов чуть не в ужасе оттого, что он не бежит.

— Что такое? Что случилось? — спрашивал он, поспевая за всеми.

— Тише, не кричите! Пусть он там стоит и смотрит на забор, а мы все убежим. Вот и Настя бежит.

Рыженькая (Настя) бежала сломя голову, точно бог знает что

случилось, и махала руками. Прибежали наконец все за пруд, совсем на другой конец сада. Когда дошел сюда и Вельчанинов, то увидел, что Катерина Федосеевна сильно спорила со всеми девицами и особенно с Надей и с Марьей Никитишной.

— Катя, голубчик, не сердись! — целовала ее Надя.

— Ну хорошо, я мамаше не скажу, но сама уйду, потому что это очень нехорошо. Что он, бедный, должен там у забора почувствовать.

Она ушла — из жалости, но все остальные пребыли неумолимы и безжалостны по-прежнему. От Вельчанинова строго потребовали, чтобы и он, когда воротится Павел Павлович, не обращал на него внимания, как будто ничего и не случилось. «А мы все давайте играть в горелки!» — прокричала в упоении рыженькая.

Павел Павлович присоединился к обществу по крайней мере только через четверть часа. Две трети этого времени он, наверно, простоял у забора. Горелки были в полном ходу и удались отлично, — все кричали и веселились. Обезумев от ярости, Павел Павлович прямо подскочил к Вельчанинову и опять схватил его за рукав.

— На одну минуточку-с!

— О господи, что он всё с своими минуточками!

— Опять платок просит, — прокричали им вслед.

— Ну уж этот раз это вы-с; тут уж теперь вы-с, вы причиной-с!.. — Павел Павлович даже стучал зубами, выговаривая это.

Вельчанинов прервал его и мирно посоветовал ему быть веселее, а то его совсем задразнят: «Оттого вас и дразнят, что вы злитесь, когда всем весело». К его удивлению, слова и совет ужасно поразили Павла Павловича; он тотчас притих, до того даже, что воротился к обществу как виноватый и покорно принял участие в общих играх; затем его несколько времени не беспокоили и играли с ним, как со всеми, — и не прошло получасу, как он опять почти что развеселился. Во всех играх он ангажировал себе в пару, когда надо было, преимущественно изменницу рыженькую или одну из сестер Захлебининых. Но, к еще пущему своему удивлению, Вельчанинов заметил, что Павел Павлович ни разу почти не осмелился сам заговорить с Надей, хотя беспрерывно юлил подле или невдалеке от нее; по крайней мере свое положение не примечаемого и презираемого ею он принимал как бы так и должное, натуральное. Но под конец с ним все-таки опять сыграли штучку.

Игра была «прятаться». Спрятавшийся мог, впрочем, перебегать по

всему тому месту, где позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влезши в густой куст, вдруг вздумалось, перебегая, вскочить в дом. Раздались крики, его увидели; он по лестнице поспешно улизнул в антресоли, зная там одно местечко за комодом, где хотел притаиться. Но рыженькая взлетела вслед за ним, подкралась на цыпочках к двери и защелкнула ее на замок. Все тотчас, как давеча, перестали играть и опять убежали за пруд, на другой конец сада. Минут через десять Павел Павлович, почувствовав, что его никто не ищет, выглянул из окошка. Никого не было. Кричать он не смел, чтобы не разбудить родителей; горничной и служанке дано было строгое приказание не являться и не отзываться на зов Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Федосеевна, но она, возвратясь в свою комнатку и сев помечтать, неожиданно тоже заснула. Он просидел таким образом около часу. Наконец стали появляться, как бы невзначай, проходя, по две и по три девицы.

— Павел Павлович, что вы к нам нейдете? Ах, как там весело! Мы в театр играем. Алексей Иванович «молодого человека» представлял.

— Павел Павлович, что же вы нейдете, на вас нужно дивиться! — замечали проходившие другие девицы.

— Чему опять дивиться? — раздался вдруг голос m-me Захлебининой, только что проснувшейся и решив шейся наконец пройтись по саду и взглянуть на «детские» игры в ожидании чаю.

— Да вот Павел Павлович, — указали ей на окно, в которое выглядывало, искаженно улыбаясь, лицо, по бледневшее от злости, — лицо Павла Павловича.

— И охота человеку сидеть одному, когда всем так весело! — покачала головою мать семейства.

Тем временем Вельчанинов удостоился наконец получить от Нади объяснение ее давешних слов о том, что она «рада его приезду по одному случаю». Объяснение произошло в уединенной аллее. Марья Никитишна нарочно вызвала Вельчанинова, участвовавшего в каких-то играх и уже начинавшего сильно тосковать, и привела его в эту аллею, где и оставила его одного с Надей.

— Я совершенно убедилась, — затрещала она смелой и быстрой скороговоркой, — что вы вовсе не такой друг Павла Павловича, как он об вас нахвастал. Я рассчитала, что только вы один можете оказать мне одну чрезвычайно важную услугу; вот его давешний скверный

браслет, — вынула она футляр из кармашка, — я вас покорнейше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю с ним теперь во всю жизнь. Впрочем, можете сказать ему это от моего имени и прибавьте, чтоб он не смел вперед соваться с подарками. Об остальном я уже дам ему знать через других. Угодно вам сделать мне удовольствие, исполнить мое желание?

— Ах, ради бога, избавьте! — почти вскричал Вельчанинов, замахав руками.

— Как! Как избавьте? — неимоверно удивилась Надя его отказу и вытаращила на него глаза. Весь подготовленный тон ее порвался в один миг, и она чуть уж не плакала. Вельчанинов. рассмеялся.

— Я не то чтобы… я очень бы рад… но у меня с ним свои счеты…

— Я знала, что вы ему не друг и что он налгал! — пылко и скоро перебила его Надя. — Я никогда не выйду за него замуж, знайте это! Никогда! Я не понимаю даже, как он осмелился… Только вы все-таки должны передать ему его гадкий браслет, а то как же мне быть? Я непременно, непременно хочу, чтоб он сегодня же, в тот же день, получил обратно и гриб съел[*]. А если он нафискалит папаше, то увидит, как ему достанется.

Из-за куста вдруг и совсем неожиданно выскочил взъерошенный молодой человек в синих очках.

— Вы должны передать браслет, — неистово накинулся он на Вельчанинова, — уже во имя одних только прав женщины, если вы сами стоите на высоте вопроса…

Но он не успел докончить; Надя рванула его изо всей силы за рукав и оттащила от Вельчанинова.

— Господи, как вы глупы, Предпосылов! — закричала она. — Ступайте вон! Ступайте вон, ступайте вон и не смейте подслушивать, я вам приказала далеко стоять!.. — затопала она на него ножками, и когда уже тот улизнул опять в свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперек дорожки, как бы вне себя, взад и вперед, сверкая глазками и сложив перед собою обе руки ладошками.

— Вы не поверите, как они глупы! — остановилась

она вдруг перед Вельчаниновым. — Вам вот смешно, а мне-то каково!

— Это ведь не он, не *он?* — смеялся Вельчанинов.

— Разумеется, не *он*, и как только вы могли это подумать! —

улыбнулась и закраснелась Надя. — Это только его друг. Но каких он выбирает друзей, я не понимаю, они все там говорят, что это «будущий двигатель»[*], а я ничего не понимаю… Алексей Иванович, мне не к кому обратиться; последнее слово, отдадите вы или нет?

— Ну хорошо, отдам, давайте.

— Ах, вы милый, ах, вы добрый! — обрадовалась вдруг она, передавая ему футляр. — Я вам за это целый вечер петь буду, потому что я прекрасно пою, знайте это, а я давеча налгала, что музыки не люблю. Ах, кабы вы еще хоть разочек приехали, как бы я была рада, я бы вам всё, всё, всё рассказала, и много бы кроме того, потому что вы такой добрый, такой добрый, как — как Катя!

И действительно, когда воротились домой, к чаю, она ему спела два романса голосом совсем еще не обработанным и только что начинавшимся, но довольно приятным и с силой. Павел Павлович, когда все воротились из саду, солидно сидел с родителями за чайным столом, на котором уже кипел большой семейный самовар и расставлены были фамильные чайные чашки севрского фарфора. Вероятно, он рассуждал с стариками о весьма серьезных вещах, — так как послезавтра он уезжал на целые девять месяцев. На вошедших из сада, и преимущественно на Вельчанинова, он даже и не поглядел; очевидно было тоже, что он не «нафискалил» и что всё покамест было спокойно.

Но когда Надя стала петь, явился тотчас и он. Надя нарочно не ответила на один его прямой вопрос, но Павла Павловича это не смутило и не поколебало; он стал за спинкой ее стула, и весь вид его показывал, что это его место и что он его никому не уступит.

— Алексею Ивановичу петь, maman, Алексей Иванович хочет спеть! — закричали почти все девицы, теснясь к роялю, за который самоуверенно усаживался Вельчанинов, располагаясь сам себе аккомпанировать. Вышли и старики и Катерина Федосеевна, сидевшая с ними и разливавшая чай.

Вельчанинов выбрал один, почти никому теперь не известный романс Глинки:

Когда в час веселый откроешь ты губки
И мне заворкуешь нежнее голубки…

Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голосу у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был недурной. Этот романс Вельчанинову удалось слышать в первый раз лет двадцать перед этим, когда он был еще студентом, от самого Глинки, в доме одного приятеля покойного композитора, на литературно-артистической холостой вечеринке. Расходившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений, в том числе этот романс. У него тоже не оставалось тогда голосу, но Вельчанинов помнил чрезвычайное впечатление, произведенное тогда именно этим романсом. Какой-нибудь искусник, салонный певец, никогда бы не достиг такого эффекта. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом; именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере, — тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно — правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным: невозможно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и *простодушие* спасали всё. Вельчанинов помнил, что этот романс ему и самому когда-то удавался. Он почти усвоил манеру пения Глинки; но теперь с первого же звука, с первого стиха и настоящее вдохновение зажглось в его душе и дрогнуло в голосе. С каждым словом романса всё сильнее и смелее прорывалось и обнажалось чувство, в последних стихах послышались крики страсти, и когда он допел, сверкающим взглядом обращаясь к Наде, последние слова романса:

Теперь я смелее гляжу тебе в очи,
Уста приближаю и слушать нет мочи,

Хочу целовать, целовать, целовать![*]
Хочу целовать, целовать, целовать! —

то Надя вздрогнула почти от испуга, даже капельку отшатнулась назад; румянец залил ее щеки, и в то же мгновение как бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову в застыдившемся и почти оробевшем ее личике. Очарование, а в то же время и недоумение проглядывали и на лицах всех слушательниц; всем как бы казалось, что невозможно и стыдно так петь, а в то же время все эти личики и глазки горели и сверкали и как будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло перед Вельчаниновым лицо Катерины Федосеевны, сделавшееся чуть не прекрасным.

— Ну романс! — пробормотал несколько опешенный старик Захлебинин. — Но… не слишком ли сильно? Приятно, но сильно…

— Сильно… — отозвалась было и m-me Захлебинина, но Павел Павлович ей не дал докончить: он вдруг выскочил вперед и, как помешанный, забывшись до того, что сам своей рукой схватил за руку Надю и отвел ее от Вельчанинова, подскочил к нему и потерянно смотрел на него, шевеля трясущимися губами.

— На одну минутку-с, — едва выговорил он наконец.

Вельчанинов ясно видел, что еще минута, и этот господин может решиться на что-нибудь в десять раз еще нелепее; он взял его поскорее за руку и, не обращая внимания на всеобщее недоумение, вывел на балкон и даже сошел с ним несколько шагов в сад, в котором уже почти совсем стемнело.

— Понимаете ли, что вы должны сейчас же, сию же минуту со мною уехать! — проговорил Павел Павлович.

— Нет, не понимаю…

— Помните ли, — продолжал Павел Павлович своим исступленным шепотом, — помните, как вы потребовали от меня тогда, чтобы я сказал вам всё, *всё-с,* откровенно-с, «самое последнее слово…», помните ли-с? Ну, так пришло время сказать это слово-с… поедемте-с!

Вельчанинов подумал, взглянул еще раз на Павла Павловича и согласился уехать.

Внезапно возвещенный их отъезд взволновал родителей и возмутил всех девиц ужасно.

— Хотя бы по другой чашке чаю… — жалобно простонала m-me Захлебинина.

— Ну уж ты, чего взволновался? — с строгим и недовольным тоном обратился старик к ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу

Павловичу.

— Павел Павлович, зачем вы увозите Алексея Ивановича? — жалобно заворковали девицы, в то же время ожесточенно на него посматривая. Надя же так злобно на него поглядела, что он весь покривился, но — не сдался.

— А ведь и в самом деле Павел Павлович — спасибо ему — напомнил мне о чрезвычайно важном деле, которое я мог упустить, — смеялся Вельчанинов, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйке и девицам и как бы особенно перед всеми ими Катерине Федосеевне, что было опять всеми замечено.

— Мы вам благодарны за посещение и вам всегда рады, все, — веско заключил Захлебинин.

— Ах, мы так рады… — с чувством подхватила мать семейства.

— Приезжайте, Алексей Иванович! приезжайте! — слышались многочисленные голоса с балкона, когда он уже уселся с Павлом Павловичем в коляску; чуть ли не было одного голоска, проговорившего потише других: «Приезжайте, милый, милый Алексей Иванович!»

«Это рыженькая!» — подумал Вельчанинов.

XIII
На чьем краю больше

Он мог подумать о рыженькой, а между тем досада и раскаяние давно уже томили его душу. Да и во весь этот день, казалось бы так забавно проведенный, — тоска почти не оставляла его. Перед тем как петь романс, он уже не знал, куда от нее деваться; может, оттого и пропел с таким увлечением.

«И я мог так унизиться… оторваться от всего!» — начал было он упрекать себя, но поспешно прервал свои мысли. Да и унизительно показалось ему плакаться; гораздо приятнее было на кого-нибудь поскорей рассердиться.

— Дур-рак! — злобно прошептал он, накосившись на сидевшего с ним рядом в коляске и примолкшего Павла Павловича.

Павел Павлович упорно молчал, может быть сосредоточиваясь и приготовляясь. С нетерпеливым жестом снимал он иногда с себя шляпу и вытирал себе лоб платком.

— Потеет! — злобился Вельчанинов.

Однажды только Павел Павлович отнесся с вопросом к кучеру: «Будет гроза или нет?»

— И-и какая! Непременно будет; весь день парило. — Действительно, небо темнело и вспыхивали отдаленные молнии. В город въехали уже в половине одиннадцатого.

— Я ведь к вам-с, — предупредительно обратился Павел Павлович к Вельчанинову уже неподалеку от дома.

— Понимаю; но я вас уведомляю, что чувствую себя серьезно нездоровым…

— Не засижусь, не засижусь!

Когда стали входить в ворота, Павел Павлович забежал на минутку в дворницкую к Мавре.

— Чего вы туда забегали? — строго спросил Вельчанинов, когда тот догнал его и вошли в комнаты.

— Ничего-с, так-с… извозчик-с…

— Я вам пить не дам!

Ответа не последовало. Вельчанинов зажег свечи, а Павел

Павлович тотчас же уселся в кресло. Вельчанинов нахмуренно остановился перед ним.

— Я вам тоже обещал сказать и мое «последнее» слово, — начал он с внутренним, еще подавляемым раздражением, — вот оно, это слово: считаю по совести, что все дела между нами обоюдно покончены, так что нам не об чем даже и говорить; слышите — не об чем; а потому не лучше ли вам сейчас уйти, а я за вами дверь запру.

— Поквитаемтесь, Алексей Иванович! — проговорил Павел Павлович, но как-то особенно кротко смотря ему в глаза.

— По-кви-таемтесь? — удивился ужасно Вельчанинов. — Странное слово вы выговорили! В чем же «поквитаемтесь»? Ба! Да это уж не то ли ваше «последнее слово», которое вы мне давеча обещали… открыть?

— Оно самое-с.

— Не в чем нам более сквитываться, мы — давно сквитались! — гордо произнес Вельчанинов.

— Неужели вы так думаете-с? — проникнутым голосом проговорил Павел Павлович, как-то странно сложив перед собою руки, пальцы в пальцы, и держа их перед грудью. Вельчанинов не ответил ему и пошел шагать по комнате. «Лиза? Лиза?» — стонало в его сердце.

— А впрочем, чем же вы хотели сквитаться? — нахмуренно обратился он к нему после довольно продолжительного молчания. Тот всё это время провожал его по комнате глазами, держа перед собою по-прежнему сложенные руки.

— Не ездите туда более-с, — почти прошептал он умоляющим голосом и вдруг встал со стула.

— Как? Так вы только про это? — Вельчанинов злобно рассмеялся. — Однако ж дивили вы меня целый день сегодня! — начал было он ядовито, но вдруг всё лицо его изменилось: — Слушайте меня, — грустно и с глубоким откровенным чувством проговорил он, — я считаю, что никогда и ничем я не унижал себя так, как сегодня, — во-первых, согласившись ехать с вами, и потом — тем, что было там… Это было так мелочно, так жалко… я опоганил и оподлил себя, связавшись… и позабыв… Ну да что! — спохватился он вдруг, — слушайте: вы напали на меня сегодня невзначай, на раздраженного и больного… ну да нечего оправдываться! Туда я более не поеду и уверяю вас, что не имею никаких там интересов, — заключил он решительно.

— Неужели, неужели? — не скрывая своего радостного волнения, вскричал Павел Павлович. Вельчанинов с презрением посмотрел, на него и опять пошел расхаживать по комнате.

— Вы, кажется, во что бы то ни стало решились быть счастливым? — не утерпел он наконец не заметить.

— Да-с, — тихо и наивно подтвердил Павел Павлович. «Что мне в том, — думал Вельчанинов, — что он шут и зол только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидеть, — хотя бы он и не стоил того!»

— Я «вечный муж-с»! — проговорил Павел Павлович с приниженно-покорною усмешкой над самим собой. — Я это словечко давно уже знал от вас, Алексей Иванович, еще когда вы жили с нами там-с. Я много ваших слов тогда запомнил, в тот год. В прошлый раз, когда вы сказали здесь «вечный муж», я и сообразил-с.

Мавра вошла с бутылкой шампанского и с двумя стаканами.

— Простите, Алексей Иванович, вы знаете, что без этого я не могу-с. Не сочтите за дерзость; посмотрите как на постороннего и вас не стоящего-с…

— Да… — с отвращением позволил Вельчанинов, — но уверяю вас, что я чувствую себя нездоровым…

— Скоро, скоро, сейчас, в одну минуту! — захлопотал Павел Павлович. — Всего один только стаканчик, потому что горло…

Он с жадностию и залпом выпил стакан и сел, — чуть не с нежностью посматривая на Вельчанинова. Мавра ушла.

— Экая мерзость! — шептал Вельчанинов.

— Это только подружки-с, — бодро проговорил вдруг Павел Павлович, совершенно оживившись.

— Как! Что? Ах да, вы всё про то…

— Только подружки-с! И притом так еще молодо; из грациозности куражимся, вот-с! Даже прелестно. А там — там вы знаете: рабом ее стану; увидит почет, общество… совершенно перевоспитается-с.

«Однако ж ему надо браслет отдать!» — нахмурился Вельчанинов, ощупывая футляр в кармане своего пальто.

— Вы вот говорите-с, что вот я решился быть счастливым? Мне надо жениться, Алексей Иванович, — конфиденциально и почти трогательно продолжал Павел Павлович, — иначе что же из меня выйдет? Сами видите-с! — указал он на бутылку. — А это лишь одна сотая — качеств-с. Я совсем не могу без женитьбы-с и — без новой

веры-с; уверую и воскресну-с.

— Да мне-то для чего вы это сообщаете? — чуть не фыркнул со смеха Вельчанинов. Дико, впрочем, всё это казалось ему.

— Да скажите же мне наконец, — вскричал он, — для чего вы меня туда таскали? Я-то на что вам там надобился?

— Чтобы испытать-с… — как-то вдруг смутился Павел Павлович.

— Что испытать?

— Эффект-с… Я, вот видите ли, Алексей Иванович, всего только неделю как… там ищу-с (он конфузился всё более и более). Вчера встретил вас и подумал: «Я ведь никогда еще ее не видал в постороннем, так сказать, обществе-с, то есть мужском-с, кроме моего-с…» Глупая мысль-с, сам теперь чувствую; излишняя-с. Слишком уж захотелось-с, от скверного моего характера-с… — Он вдруг поднял голову и покраснел.

«Неужели он всю правду говорит?» — дивился Вельчанинов до столбняка.

— Ну и что ж? — спросил он.

Павел Павлович сладко и как-то хитро улыбнулся.

— Одно лишь прелестное детство-с! Всё подружки-с! Простите меня только за мое глупое поведение сегодня перед вами, Алексей Иванович; никогда не буду-с; да и более никогда этого не будет.

— Да и меня там не будет, — усмехнулся Вельчанинов.

— Я отчасти на этот счет и говорю-с.

Вельчанинов немножко покоробился.

— Однако ж ведь не один я на свете, — раздражительно заметил он.

Павел Павлович опять покраснел.

— Мне это грустно слышать, Алексей Иванович, и я так, поверьте, уважаю Надежду Федосеевну…

— Извините, извините, я ничего не хотел, — мне вот только странно немного, что вы так преувеличенно оценили мои средства… — и… так искренно на меня понадеялись…

— Именно потому и понадеялся-с, что это было после всего-с… что уже было-с.

— Стало быть, вы и теперь считаете меня, коли так, за благороднейшего человека? — остановился вдруг Вельчанинов. Он бы сам в другую минуту ужаснулся наивности своего внезапного вопроса.

— Всегда и считал-с, — опустил глаза Павел Павлович.

— Ну да, разумеется… я не про то, то есть не в том смысле, — я хотел только сказать, что, несмотря ни на какие… предубеждения…

— Да-с, несмотря и на предубеждения-с.

— А когда в Петербург ехали? — не мог уже сдержаться Вельчанинов, сам чувствуя всю чудовищность своего любопытства.

— И когда в Петербург ехал, за наиблагороднейшего человека считал вас-с. Я всегда уважал вас, Алексей Иванович, — Павел Павлович поднял глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядел на своего противника. Вельчанинов вдруг струсил: ему решительно не хотелось, чтобы что-нибудь случилось или чтобы что-нибудь перешло за черту, тем более что сам вызвал.

— Я вас любил, Алексей Иванович, — произнес Павел Павлович, как бы вдруг решившись, — и весь тот год в Т. любил-с. Вы не заметили-с, — продолжал он немного вздрагивавшим голосом, к решительному ужасу Вельчанинова, — я стоял слишком мелко в сравнении с вами-с, чтобы дать вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти девять лет я об вас запомнил-с, потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот. (Глаза Павла Павловича как-то особенно заблистали). Я многие ваши слова и изречения запомнил-с, ваши мысли-с. Я об вас как об пылком к доброму чувству и образованном человеке всегда вспоминал-с, высокообразованном-с и с мыслями-с. «Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с»* — вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с… а стало быть, и верил-с — несмотря ни на что-с… — Подбородок его вдруг затрясся. Вельчанинов был в совершенном испуге; этот неожиданный тон надо было прекратить во что бы ни стало.

— Довольно, пожалуйста, Павел Павлович, — пробормотал он, краснея и в раздраженном нетерпении, — и зачем, зачем, — вскричал он вдруг, — зачем привязываетесь вы к больному, раздраженному человеку, чуть не в бреду человеку, и тащите его в эту тьму… тогда как — всё призрак, и мираж, и ложь, и стыд, и неестественность, и — не в меру, — а это главное, это всего стыднее, что не в меру! И всё вздор: оба мы порочные, подпольные, гадкие люди… И хотите, хотите, я сейчас докажу вам, что вы меня не только не любите, а ненавидите, изо

всех сил, и что вы лжете, сами не зная того: вы взяли меня и повезли туда вовсе не для смешной этой цели, чтобы невесту испытать (придет же в голову!), — а просто увидели меня вчера и *озлились* и повезли меня, чтобы мне показать и сказать: «Видишь какая! Моя будет; ну-ка попробуй тут теперь!» Вы вызов мне сделали! Вы, может быть, сами не знали, а это было так, потому что вы всё это чувствовали… А без ненависти такого вызова сделать нельзя; стало быть, вы меня ненавидели! — Он бегал по комнате, выкрикивая это, и всего более мучило и обижало его унизительное сознание, что он сам до такой степени снисходит до Павла Павловича.

— Я помириться с вами желал, Алексей Иванович! — вдруг решительно произнес тот скорым шепотом, и подбородок его снова запрыгал. Неистовая ярость овладела Вельчаниновым, как будто никогда и никто еще не наносил ему подобной обиды!

— Говорю же вам еще раз, — завопил он, — что вы на больного и раздраженного человека… повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово, в бреду! Мы… да мы люди разных миров, поймите же это, и… и… между нами одна могила легла! — неистово прошептал он — и вдруг опомнился.

— А почем вы знаете, — исказилось вдруг и побледнело лицо Павла Павловича, — почем вы знаете, что значит эта могилка здесь… у меня-с! — вскричал он, подступая к Вельчанинову и с смешным, но ужасным жестом ударяя себя кулаком в сердце. — Я знаю эту здешнюю могилку-с, и мы оба по краям этой могилы стоим, только на моем краю больше, чем на вашем, больше-с… — шептал он как в бреду, всё продолжая себя бить в сердце, — больше-с, больше-с — больше-с… — Вдруг необыкновенный удар в дверной колокольчик заставил очнуться обоих. Позвонили так сильно, что, казалось, кто-то дал себе слово сорвать с первого удара звонок.

— Ко мне так не звонят, — в замешательстве проговорил Вельчанинов.

— Да ведь и не ко мне же-с, — робко прошептал Павел Павлович, тоже очнувшийся и мигом обратившийся в прежнего Павла Павловича. Вельчанинов нахмурился и пошел отворить дверь.

— Господин Вельчанинов, если не ошибаюсь? — послышался молодой, звонкий и необыкновенно самоуверенный голос из передней.

— Чего вам?

— Я имею точное сведение, — продолжал звонкий голос, — что некто Трусоцкий находится в настоящую мину ту у вас. Я должен непременно его сейчас видеть. — Вельчанинову, конечно, было бы приятно — сейчас же выпихнуть хорошим пинком этого самоуверенного господина на лестницу. Но он подумал, посторонился и пропустил его.

— Вот господин Трусоцкий, войдите…

XIV
Сашенька и Наденька

В комнату вошел очень молодой человек, лет девятнадцати, даже, может быть, и несколько менее, — так уж моложаво казалось его красивое, самоуверенно вздернутое лицо. Он был недурно одет, по крайней мере всё на нем хорошо сидело; ростом повыше среднего; черные, густые, разбитые космами волосы и большие, смелые, темные глаза — особенно выдавались в его физиономии. Только нос был немного широк и вздернут кверху; не будь этого, был бы совсем красавчик. Вошел он важно.

— Я, кажется, имею — случай — говорить с господином Трусоцким, — произнес он размеренно и с особенным удовольствием отмечая слово «случай», то есть тем давая знать, что никакой чести и никакого удовольствия в разговоре с господином Трусоцким для него быть не может.

Вельчанинов начинал понимать; кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. В лице его выразилось беспокойство; он, впрочем, себя поддержал.

— Не имея чести вас знать, — осанисто отвечал он, — полагаю, что не могу иметь с вами и никакого дела-с.

— Вы сперва выслушаете, а потом уже скажете ваше мнение, — самоуверенно и назидательно произнес молодой человек и, вынув черепаховый лорнет, висевший у него на шнурке, стал разглядывать в него бутылку шампанского, стоявшую на столе. Спокойно кончив осмотр бутылки, он сложил лорнет и, обращаясь снова к Павлу Павловичу, произнес:

— Александр Лобов.

— А что такое это Александр Лобов-с?

— Это я. Не слыхали?

— Нет-с.

— Впрочем, где же вам знать. Я с важным делом, собственно до вас касающимся; позвольте, однако ж, сесть, я устал…

— Садитесь, — пригласил Вельчанинов, — но молодой человек успел усесться еще и до приглашения. Несмотря на возраставшую боль

в груди, Вельчанинов интересовался этим маленьким нахалом. В хорошеньком, детском и румяном его личике померещилось ему какое-то отдаленное сходство с Надей.

— Садитесь и вы, — предложил юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежным кивком головы место напротив.

— Ничего-с, постою.

— Устанете. Вы, господин Вельчанинов, можете, пожалуй, и не уходить.

— Мне и некуда уходить, я у себя.

— Как хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моем объяснении с этим господином. Надежда Федосеевна довольно лестно вас мне отрекомендовала.

— Ба! Когда это она успела?

— Да сейчас после вас же, я ведь тоже оттуда. Вот что, господин Трусоцкий, — повернулся он к стоявшему Павлу Павловичу, — мы, то есть я и Надежда Федосеевна, — цедил он сквозь зубы, небрежно разваливаясь в креслах, — давно уже любим друг друга и дали друг другу слово. Вы теперь между нами помеха; я пришел вам предложить, чтобы вы очистили место. Угодно вам будет согласиться на мое предложение?

Павел Павлович даже покачнулся; он побледнел, но ехидная улыбка тотчас же выдавилась на его губах.

— Нет-с, нимало не угодно-с, — отрезал он лаконически.

— Вот как! — повернулся в креслах юноша, заломив нога за ногу.

— Даже не знаю, с кем и говорю-с, — прибавил Павел Павлович, — думаю даже, что не об чем нам и продолжать.

Высказав это, он тоже нашел нужным присесть.

— Я сказал, что устанете, — небрежно заметил юноша, — я имел сейчас случай известить вас, что мое имя Лобов и что я и Надежда Федосеевна, мы дали друг другу слово, — следовательно, вы не можете говорить, как сейчас сказали, что не знаете, с кем имеете дело; и не можете тоже думать, что нам не об чем с вами продолжать разговор: не говоря уже обо мне, — дело касается Надежды Федосеевны, к которой вы так нагло пристаете. А уж одно это составляет достаточную причину для объяснений.

Всё это он процедил сквозь зубы, как фат, чуть-чуть даже удостоивая выговаривать слова; даже опять вынул лорнет и на минутку

на что-то направил его, пока говорил.

— Позвольте, молодой человек… — раздражительно воскликнул было Павел Павлович, но «молодой человек» тотчас же осадил его.

— Во всякое другое время я, конечно бы, запретил вам называть меня «молодым человеком», но теперь, сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное перед вами преимущество и что вам и очень бы хотелось, например, сегодня, когда вы дарили ваш браслет, быть при этом хоть капельку помоложе.

— Ах ты пескарь! — прошептал Вельчанинов.

— Во всяком случае, милостивый государь, — с достоинством поправился Павел Павлович, — я все-таки не нахожу выставленных вами причин, — причин неприличных и весьма сомнительных, — достаточными, чтобы продолжать об них прение-с. Вижу, что всё это дело детское и пустое; завтра же справлюсь у почтеннейшего Федосея Семеновича, а теперь прошу вас уволить-с.

— Видите ли вы склад этого человека! — вскричал тотчас же, не выдержав тона, юноша, горячо обращаясь к Вельчанинову. — Мало того, что его оттуда гонят, выставляя ему язык, — он еще хочет завтра на нас доносить старику! Не доказываете ли вы этим, упрямый человек, что вы хотите взять девушку насильно, покупаете ее у выживших из ума людей, которые вследствие общественного варварства сохраняют над нею власть? Ведь уж достаточно, кажется, она показала вам, что вас презирает; ведь вам возвратили же ваш сегодняшний неприличный подарок, ваш браслет? Чего же вам больше?

— Никакого браслета никто мне не возвращал, да и не может этого быть, — вздрогнул Павел Павлович.

— Как не может? Разве господин Вельчанинов вам не передал?

«Ах, черт бы тебя взял!» — подумал Вельчанинов.

— Мне действительно, — проговорил он хмурясь, — Надежда Федосеевна поручила давеча передать вам, Павел Павлович, этот футляр. Я не брал, но она — просила… вот он… мне досадно…

Он вынул футляр и положил его в смущении перед оцепеневшим Павлом Павловичем.

— Почему же вы до сих пор не передали? — строго обратился молодой человек к Вельчанинову.

— Не успел, стало быть, — нахмурился тот.

— Это странно.

— Что-о-о?

— Уж по крайней мере странно, согласитесь сами. Впрочем, я согласен признать, что тут — недоразумение.

Вельчанинову ужасно захотелось сейчас же встать и выдрать мальчишку за уши, но он не мог удержаться и вдруг фыркнул на него от смеха; мальчик тотчас же и сам засмеялся. Не то было с Павлом Павловичем; если бы Вельчанинов мог заметить его ужасный взгляд на себе, когда он расхохотался над Лобовым, — то он понял бы, что этот человек в это мгновение переходит за одну роковую черту… Но Вельчанинов, хотя взгляда и не видал, но понял, что надо поддержать Павла Павловича.

— Послушайте, господин Лобов, — начал он дружественным тоном, — не входя в рассуждение о прочих причинах, которых я не хочу касаться, я бы заметил вам только то, что Павел Павлович все-таки приносит с собою, сватаясь к Надежде Федосеевне, — во-первых, полную о себе известность в этом почтенном семействе; во-вторых, от личное и почтенное свое положение; наконец, состояние, а следовательно, он естественно должен удивляться, смотря на такого соперника, как вы, — человека, может быть, и с большими достоинствами, но до того уже молодого, что вас он никак не может принять за соперника серьезного… а потому и прав, прося вас окончить.

— Что это такое значит «до того молодого»? Мне уж месяц, как минуло девятнадцать лет. По закону я давно могу жениться. Вот вам и всё.

— Но какой же отец решится отдать за вас свою дочь теперь — будь вы хоть размиллионер в будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества? Человек девятнадцати лет даже и за себя самого — отвечать не может, а вы решаетесь еще брать на совесть чужую будущность, то есть будущность такого же ребенка, как вы! Ведь это не совсем тоже благородно, как вы думаете? Я позволил себе высказать потому, что вы сами давеча обратились ко мне как к посреднику между вами и Павлом Павловичем.

— Ах да, кстати, ведь его зовут Павлом Павловичем! — заметил юноша. — Как же это мне всё мерещилось, что Васильем Петровичем? Вот что-с, — оборотился он к Вельчанинову, — вы меня не удивили нисколько; я знал, что вы все такие! Странно, однако ж, что об вас мне говорили как об человеке даже несколько новом. Впрочем, это всё

пустяки, а дело в том, что тут не только нет ничего неблагородного с моей стороны, как вы позволили себе выразиться, но даже совершенно напротив, что и надеюсь вам растолковать: мы, во-первых, дали друг другу слово, и, кроме того, я прямо ей обещался, при двух свидетелях, в том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развестись, то я тотчас же выдаю ей акт в моем прелюбодеянии, — и тем поддержу, стало быть, где следует, ее просьбу о разводе. Мало того: в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот акт, то, для ее обеспечения, в самый день нашей свадьбы, я выдам ей вексель в сто тысяч рублей на себя, так что в случае моего упорства насчет выдачи акта она сейчас же может передать мой вексель — и меня под сюркуп[*]! Таким образом всё обеспечено, и ничьей будущностью я не рискую. Ну-с, это, во-первых.

— Бьюсь об заклад, что это тот — как его — Предпосылов вам выдумал? — вскричал Вельчанинов.

— Хи-хи-хи! — ядовито захихикал Павел Павлович.

— Чего этот господин хихикает? Вы угадали, — это мысль Предпосылова; и согласитесь, что хитро. Нелепый закон совершенно парализован. Разумеется, я намерен любить ее всегда, а она ужасно хохочет, — но ведь все-таки ловко, и согласитесь, что уж благородно, что этак не всякий решится сделать?

— По-моему, не только не благородно, но даже гадко.

Молодой человек вскинул плечами.

— Опять-таки вы меня не удивляете, — заметил он после некоторого молчания, — всё это слишком давно перестало меня удивлять. Предпосылов, так тот прямо бы вам отрезал, что подобное ваше непонимание вещей самых естественных происходит от извращения самых обыкновенных чувств и понятий ваших — во-первых, долгою нелепою жизнию, а во-вторых, долгою праздностью. Впрочем, мы, может быть, еще не понимаем друг друга; мне все-таки об вас говорили хорошо… Лет пятьдесят вам, однако, уже есть?

— Перейдите, пожалуйста, к делу.

— Извините за нескромность и не досадуйте; я без намерения. Продолжаю: я вовсе не будущий размиллионер, как вы изволили выразиться (и что у вас за идея была!). Я весь тут, как видите, но зато в будущности моей я совершенно уверен. Героем и благодетелем ничьим

не буду, а себя и жену обеспечу. Конечно, у меня теперь ничего нет, я даже воспитывался в их доме, с самого детства…

— Как так?

— А так, что я сын одного отдаленного родственника жены этого Захлебинина, и когда все мои померли и оставили меня восьми лет, то старик меня взял к себе и потом отдал в гимназию. Этот человек даже добрый, если хотите знать…

— Я это знаю-с…

— Да; но слишком уж древняя голова. Впрочем, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышел из-под его опеки, желая сам заработывать жизнь и быть одному себе обязанным.

— А когда вы вышли? — полюбопытствовал Вельчанинов.

— Да уж месяца с четыре будет.

— А, ну так это всё теперь и понятно: друзья с детства! Что же, вы место имеете?

— Да, частное, в конторе одного нотариуса, на двадцати пяти в месяц. Конечно, только покамест, но когда я делал там предложение, то и того не имел. Я тогда служил на железной дороге, на десяти рублях, но всё это только покамест.

— А разве вы делали и предложение?

— Формальное предложение, и давно уже, недели с три.

— Ну и что ж?

— Старик очень рассмеялся, а потом очень рассердился, а ее так заперли наверху в антресолях. Но Надя геройски выдержала. Впрочем, вся неудача была оттого, что он еще прежде на меня зуб точил за то, что я в департаменте место бросил, куда он меня определил четыре месяца назад, еще до железной дороги. Он старик славный, я опять повторю, дома простой и веселый, но чуть в департаменте, вы и представить не можете! Это Юпитер какой-то сидит! Я, естественно, дал ему знать, что его манеры мне перестают нравиться, но тут главное всё вышло из-за помощника столоначальника: этот господин вздумал нажаловаться, что я будто бы ему «нагрубил», а я ему всего только и сказал, что он неразвит. Я бросил их всех и теперь у нотариуса.

— А в департаменте много получали?

— Э, сверхштатным! Старик же и давал на содержание, — я говорю вам, он добрый; но мы все-таки не уступим. Конечно, двадцать пять рублей не обеспечение, но я вскорости надеюсь принять участие в

управлении рас строенными имениями графа Завилейского, тогда прямо на три тысячи; не то в присяжные поверенные. Нынче людей ищут… Ба! какой гром, гроза будет, хорошо, что я до грозы успел; я ведь пешком оттуда, почти всё бежал.

— Но позвольте, когда же вы успели, коли так, пере говорить с Надеждой Федосеевной, — если к тому же вас и не принимают?

— Ах, да ведь через забор можно! рыженькую-то заметили давеча? — засмеялся он. — Ну вот и она тут хлопочет и Марья Никитишна; только змея эта Марья Никитишна!.. чего морщитесь? Не боитесь ли грому?

— Нет, я нездоров, очень нездоров… — Вельчанинов действительно, мучаясь от своей внезапной боли в груди, привстал с кресла и попробовал походить по комнате.

— Ах, так я вам, разумеется, мешаю, — не беспокойтесь, сейчас! — и юноша вскочил с места.

— Не мешаете, ничего, — поделикатничал Вельчанинов.

— Какое ничего, когда «у Кобыльникова живот болит», — помните у Щедрина?* Вы любите Щедрина?

— Да…

— И я тоже. Ну-с, Василий… ах да, бишь, Павел Павлович, кончимте-с! — почти смеясь, обратился он к Павлу Павловичу. — Формулирую для вашего понимания еще раз вопрос: согласны ли вы завтра же отказаться официально перед стариками и в моем присутствии от всяких претензий ваших насчет Надежды Федосеевны?

— Не согласен нимало-с, — с нетерпеливым и ожесточенным видом поднялся и Павел Павлович, — и к тому же еще раз прошу меня избавить-с… потому что всё это детство и глупости-с.

— Смотрите! — погрозил ему пальцем юноша с высокомерной улыбкой, — не ошибитесь в расчете! Знаете ли, к чему ведет подобная ошибка в расчете? А я так предупреждаю вас, что через девять месяцев, когда вы уже там израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь, — вы здесь сами от Надежды Федосеевны принуждены будете отказаться, а не откажетесь, — так вам же хуже будет; вот до чего вы дело доведете! Я вас должен предуведомить, что вы теперь как собака на сене, — извините, это только сравнение, — ни себе, ни другим. По гуманности повторяю: размыслите, принудьте себя хоть раз в жизни основательно размыслить.

— Прошу вас избавить меня от морали, — яростно вскричал Павел Павлович, — а насчет ваших скверных намеков я завтра же приму свои меры-с, строгие меры-с!

— Скверных намеков? Да вы про что ж это? Сами вы скверный, если это у вас в голове. Впрочем, я согласен подождать до завтра, но если… Ах, опять этот гром! До свиданья, очень рад знакомству, — кивнул он Вельчанинову и побежал, видимо спеша предупредить грозу и не попасть под дождь.

XV
Сквитались

— Видели-с? видели-с? — подскочил Павел Павлович к Вельчанинову, едва только вышел юноша.

— Да, не везет вам! — невзначай проговорился Вельчанинов. Он бы не сказал этих слов, если б не мучила и не злила его так эта возраставшая боль в груди. Павел Павлович вздрогнул, как от обжога.

— Ну-с, а вы-с — знать меня жалеючи браслета не возвращали — хе?

— Я не успел…

— От сердца жалеючи, как истинный друг истинного друга?

— Ну да, жалел, — озлобился Вельчанинов.

Он, однако же, рассказал ему вкратце о том, как получил давеча браслет обратно и как Надежда Федосеевна почти насильно заставила его принять участие…

— Понимаете, что я ни за что бы не взял; столько и без того неприятностей!

— Увлеклись и взялись! — прохихикал Павел Павлович.

— Глупо это с вашей стороны; впрочем, вас извинить надо. Сами ведь видели сейчас, что не я в деле главный, а другие!

— Все-таки увлеклись-с.

Павел Павлович сел и налил свой стакан.

— Вы полагаете, что я мальчишке-то уступлю-с? В бараний рог согну, вот что-с! Завтра же поеду и всё согну. Мы душок этот выкурим, из детской-то-с…

Он выпил почти залпом стакан и налил еще; вообще стал действовать с необычной до сих пор развязностью.

— Ишь, Наденька с Сашенькой, милые деточки, — хи-хи-хи!

Он не помнил себя от злобы. Раздался опять сильнейший удар грома; ослепительно сверкнула молния, и дождь пролился как из ведра. Павел Павлович встал и запер отворенное окно.

— Давеча он вас спрашивает: «Не боитесь ли грому» — хи-хи! Вельчанинов грому боится! У Кобыльникова — как это — у Кобыльникова… А про пятьдесят-то лет — а? Помните-с? — ехидничал

Павел Павлович.

— Вы, однако же, здесь расположились, — заметил Вельчанинов, едва выговаривая от боли слова, — я лягу… вы как хотите.

— Да и собаку в такую погоду не выгонят! — обидчиво подхватил Павел Павлович, впрочем почти радуясь, что имеет право обидеться.

— Ну да, сидите, пейте… хоть ночуйте! — промямлил Вельчанинов, протянулся на диване и слегка застонал.

— Ночевать-с? А вы — не побоитесь-с?

— Чего? — приподнял вдруг голову Вельчанинов.

— Ничего-с, так-с. В прошлый раз вы как бы испугались-с, али мне только померещилось…

— Вы глупы! — не выдержал Вельчанинов и злобно повернулся к стене.

— Ничего-с, — отозвался Павел Павлович.

Больной как-то вдруг заснул, через минуту как лег.

Всё неестественное напряжение его в этот день, и без того уже при сильном расстройстве здоровья за последнее время, как-то вдруг порвалось, и он обессилел, как ребенок. Но боль взяла-таки свое и победила усталость и сон; через час он проснулся и с страданием приподнялся с дивана. Гроза утихла; в комнате было накурено, бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на другом диване. Он лежал навзничь, головой на диванной подушке, совсем не раздетый и в сапогах. Его давешний лорнет, выскользнув из кармана, тянулся на снурке чуть не до полу. Шляпа валялась подле, на полу же. Вельчанинов угрюмо поглядел на него и не стал будить. Скрючившись и шагая по комнате, потому что лежать сил уже не было, он стонал и раздумывал о своей боли.

Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но посещали его очень редко, — через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скоплялось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавление. Непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда десяти часов сряду, боль доходила наконец до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала мерещиться смерть. В последний бывший с ним назад тому с год припадок, после десятичасовой и наконец унявшейся боли, он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двигать рукой, и

доктор позволил ему в целый день всего только несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размоченного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль от разных случайностей, но всегда при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходила; иногда случалось захватывать ее в самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и всё проходило разом; иногда же, как в последний припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов рвотного. Доктор признался потом, что был уверен в отраве. Теперь до утра еще было далеко, за доктором ему не хотелось посылать ночью; да и не любил он докторов. Наконец он не выдержал и стал громко стонать. Стоны разбудили Павла Павловича: он приподнялся на диване и некоторое время сидел, прислушиваясь со страхом и в недоумении следя глазами за Вельчаниновым, чуть не бегавшим по обеим комнатам. Выпитая бутылка, видно тоже не по-всегдашнему, сильно на него подействовала, и долго он не мог сообразиться; наконец понял и бросился к Вельчанинову; тот что-то промямлил ему в ответ.

— Это у вас от печени-с, я это знаю! — оживился вдруг ужасно Павел Павлович, — это у Петра Кузьмича у Полосухина-с точно так же бывало, от печени-с. Это припарками бы-с. Петр Кузьмич всегда припарками… Умереть ведь можно-с! Сбегаю-ка я к Мавре, — а?

— Не надо, не надо, — раздражительно отмахивался Вельчанинов, — ничего не надо.

Но Павел Павлович, бог знает почему, был почти вне себя, как будто дело шло о спасении родного сына. Он не слушался и изо всех сил настаивал на необходимости припарок и, сверх того, двух-трех чашек слабого чаю, выпитых вдруг, — «но не просто горячих-с, а кипятку-с!» — Он побежал-таки к Мавре, не дождавшись позволения, вместе с нею разложил в кухне, всегда стоявшей пустою, огонь, вздул самовар; тем временем успел и уложить больного, снял с него верхнее платье, укутал в одеяло и всего в каких-нибудь двадцать минут состряпал и чай и первую припарку.

— Это гретые тарелки-с, раскаленные-с! — говорил он чуть не в восторге, накладывая разгоряченную и обернутую в салфетку тарелку на больную грудь Вельчанинова. — Других припарок нет-с, и доставать долго-с, а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше будут-с; испытано на Петре Кузьмиче-с, собственными глазами и руками-с.

Умереть ведь можно-с. Пейте чай, глотайте, — нужды нет, что обожжетесь; жизнь дороже… щегольства-с…

Он затормошил совсем полусонную Мавру; тарелки переменялись каждые три-четыре минуты. После третьей тарелки и второй чашки чаю-кипятка, выпитого залпом, Вельчанинов вдруг почувствовал облегчение.

— А уж если раз пошатнули боль, то и слава богу-с, и добрый знак-с! — вскричал Павел Павлович и радостно побежал за новой тарелкой и за новым чаем.

— Только бы боль-то сломить! Боль-то бы нам только назад повернуть! — повторял он поминутно.

Через полчаса боль совсем ослабела, но больной был уже до того измучен, что, как ни умолял Павел Павлович, — не согласился выдержать «еще тарелочку-с»[*]. Глаза его смыкались от слабости.

— Спать, спать, — повторил он слабым голосом.

— И то! — согласился Павел Павлович.

— Вы ночуйте… который час?

— Скоро два, без четверти-с.

— Ночуйте.

— Ночую, ночую.

Через минуту больной опять кликнул Павла Павловича.

— Вы, вы, — пробормотал он, когда тот подбежал и наклонился над ним, — вы — лучше меня! Я понимаю всё, всё… благодарю.

— Спите, спите, — прошептал Павел Павлович и поскорей, на цыпочках, отправился к своему дивану.

Больной, засыпая, слышал еще, как Павел Павлович потихоньку стлал себе наскоро постель, снимал с себя платье и наконец, загасив свечи и чуть дыша, чтоб не зашуметь, протянулся на своем диване.

Без сомнения, Вельчанинов спал и заснул очень скоро после того, как потушили свечи; он ясно припомнил это потом. Но во всё время своего сна, до самой той минуты, когда он проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконец, приснилось ему, что с ним будто бы начинается бред наяву и что он никак не может разогнать толпящихся около него видений, несмотря на полное сознание, что это один только бред, а не действительность. Видения всё были знакомые; комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь в сени стояла отпертою;

люди входили толпами и теснились на лестнице. За столом, выставленным на средину комнаты, сидел один человек — точь-в-точь как тогда, в приснившемся ему с месяц назад таком же сне. Как и тогда, этот человек сидел, облокотясь на стол, и не хотел говорить; но теперь он был в круглой шляпе с крепом. «Как? неужели это был и тогда Павел Павлович?» — подумал Вельчанинов, — но, заглянув в лицо молчавшего человека, он убедился, что этот кто-то совсем другой. «Зачем же у него креп?» — недоумевал Вельчанинов. Шум, говор и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнее были озлоблены на Вельчанинова, чем тогда в том сне; они грозили ему руками и об чем-то изо всех сил кричали ему, но об чем именно — он никак не мог разобрать. «Да ведь это бред, ведь я знаю! — думалось ему, — я знаю, что я не мог заснуть и встал теперь, потому что не мог лежать от тоски!..» Но, однако же, крики, и люди, и жесты их, и всё — было так явственно, так действительно, что иногда его брало сомнение: «Неужели же это и в самом деле бред? Чего хотят от меня эти люди, боже мой! Но если б это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? ведь вот он спит же вот тут на диване?» Наконец, вдруг что-то случилось, опять как и тогда, в том сне; все устремились на лестницу и ужасно стеснились в дверях, потому что с лестницы валила в комнату новая толпа. Эти люди что-то с собой несли, что-то большое и тяжелое; слышно было, как тяжело отдавались шаги носильщиков по ступенькам лестницы и торопливо перекликались их запыхавшиеся голоса. В комнате все закричали: «Несут, несут!», все глаза засверкали и устремились на Вельчанинова; все, грозя и торжествуя, указывали ему на лестницу. Уже нисколько не сомневаясь более в том, что всё это не бред, а правда, он стал на цыпочки, чтоб разглядеть поскорее, через головы людей, что они такое несут? Сердце его билось — билось — билось, и вдруг — точь-в-точь, как тогда, в том сне, — раздались три сильнейшие удара в колокольчик. И опять-таки это был до того ясный, до того действительный до осязания звон, что, уж конечно, такой звон не мог присниться только во сне!.. Он закричал и проснулся.

Но он не бросился, как тогда, бежать к дверям. Какая мысль направила его первое движение и была ли у него в то мгновение хоть какая-нибудь мысль, — но как будто кто-то подсказал ему, что надо делать: он схватился с постели, бросился с простертыми вперед руками,

как бы обороняясь и останавливая нападение, прямо в ту сторону, где спал Павел Павлович. Руки его разом столкнулись с другими, уже распростертыми над ним руками, и он крепко схватил их; кто-то, стало быть, уже стоял над ним, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что из другой комнаты, в которой не было таких гардин, уже проходил слабый свет. Вдруг что-то ужасно больно обрезало ему ладонь и пальцы левой руки, и он мгновенно понял, что схватился за лезвие ножа или бритвы и крепко сжал его рукой… В тот же миг что-то веско и однозвучно шлепнулось на пол.

Вельчанинов был, может быть, втрое сильнее Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полных. Он скоро пригнул его к полу и вывернул ему назад руки, но для чего-то ему непременно захотелось связать эти вывернутые назад руки. Он стал искать ощупью, правой рукой, — придерживая раненой левой убийцу, — шнура с оконной занавески и долго не мог найти, но наконец захватил и сорвал с окна. Сам он удивлялся потом неестественной силе, которая для того потребовалась. Во все эти три минуты ни тот, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было их тяжелое дыхание и глухие звуки борьбы. Наконец, скрутив и связав Павлу Павловичу руки назад, Вельчанинов бросил его на полу, встал, отдернул с окна занавеску и приподнял стору. На уединенной улице было уже светло. Отворив окно, он простоял несколько мгновений, глубоко вдыхая воздух. Был уже пятый час в начале. Затворив окно, он неторопливо пошел к шкафу, достал чистое полотенце и туго-натуго обвил им свою левую руку, чтоб унять текущую из нее кровь. Под ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на ковре; он поднял ее, свернул, уложил в бритвенный ящик, забытый с утра на маленьком столике, подле самого дивана, на котором спал Павел Павлович, и запер ящик в бюро на ключ. И уже исполнив всё это, он подошел к Павлу Павловичу и стал его рассматривать.

Тем временем тот успел уже привстать с усилием с ковра и усесться в кресло. Он был не одет, в одном белье, даже без сапог. Рубашка его на спине и на рукавах была смочена кровью; но кровь была не его, а из порезанной руки Вельчанинова. Конечно, это был Павел Павлович, но почти можно было не узнать его в первую минуту, если б встретить такого нечаянно, — до того изменилась его физиономия. Он сидел, неловко выпрямляясь в креслах от связанных назад рук, с

исказившимся и измученным, позеленевшим лицом, и изредка вздрагивал. Пристально, но каким-то темным, как бы еще не различающим всего взглядом посмотрел он на Вельчанинова. Вдруг он тупо улыбнулся и, кивнув на графин с водой, стоявший на столе, проговорил коротким полушепотом:

— Водицы бы-с.

Вельчанинов налил ему и стал его поить из своих рук. Павел Павлович накинулся с жадностию на воду; глотнув раза три, он приподнял голову, очень пристально посмотрел в лицо стоявшему перед ним со стаканом в руке Вельчанинову, но не сказал ничего и принялся допивать. Напившись, он глубоко вздохнул. Вельчанинов взял свою подушку, захватил свое верхнее платье и отправился в другую комнату, заперев Павла Павловича в первой комнате на замок.

Давешняя его боль прошла совсем, но слабость он вновь ощутил чрезвычайную после теперешнего, мгновенного напряжения бог знает откуда пришедшей к нему силы. Он попытался было сообразить происшествие, но мысли его еще плохо вязались; толчок был слишком силен. Глаза его то смыкались, иногда даже минут на десять, то вдруг он вздрагивал, просыпался, вспоминал всё, приподнимал свою болевшую и обернутую в мокрое от крови полотенце руку и принимался жадно и лихорадочно думать. Он решил ясно только одно: что Павел Павлович действительно хотел его зарезать, но что, может быть, еще за четверть часа сам не знал, что зарежет. Бритвенный ящик, может, только с вечера скользнул мимо его глаз, не возбудив никакой при этом мысли, и остался лишь у него в памяти. (Бритвы же и всегда лежали в бюро, на замке, и только в вчерашнее утро Вельчанинов их вынул, чтоб подбрить лишние волосы около усов и бакенбард, что иногда делывал).

«Если б он давно уже намеревался меня убить, то наверно бы приготовил заранее нож или пистолет, а не рассчитывал бы на мои бритвы, которых никогда и не видал, до вчерашнего вечера», — придумалось ему между прочим.

Пробило наконец шесть часов утра. Вельчанинов очнулся, оделся и пошел к Павлу Павловичу. Отпирая двери, он не мог понять: для чего он запирал Павла Павловича и зачем не выпустил его тогда же из дому? К удивлению его, арестант был уже совсем одет; вероятно, нашел как-нибудь случай распутаться. Он сидел в креслах, но тотчас же встал, как вошел Вельчанинов. Шляпа была уже у него в руках. Тревожный взгляд

его, как бы спеша, проговорил:

«Не начинай говорить; нечего начинать; незачем говорить…»

— Ступайте! — сказал Вельчанинов. — Возьмите ваш футляр, — прибавил он ему вслед.

Павел Павлович воротился уже от дверей, захватил со стола футляр с браслетом, сунул его в карман и вышел на лестницу. Вельчанинов стоял в дверях, чтоб запереть за ним. Взгляды их в последний раз встретились; Павел Павлович вдруг приостановился, оба секунд с пять поглядели друг другу в глаза — точно колебались; наконец, Вельчанинов слабо махнул на него рукой.

— Ну ступайте! — сказал он вполголоса и запер дверь на замок.

XVI
Анализ

Чувство необычайной, огромной радости овладело им; что-то кончилось, развязалось; какая-то ужасная тоска отошла и рассеялась совсем. Так ему казалось. Пять недель продолжалась она. Он поднимал руку, смотрел на смоченное кровью полотенце и бормотал про себя: «Нет, уж теперь совершенно всё кончилось!» И во всё это утро, в первый раз в эти три недели, он почти и не подумал о Лизе, — как будто эта кровь из порезанных пальцев могла «поквитать» его даже и с этой тоской.

Он сознал ясно, что миновал страшную опасность. «Эти люди — думалось ему, — вот эти-то самые люди, которые еще за минуту не знают, зарежут они или нет, — уж как возьмут раз нож в свои дрожащие руки и как почувствуют первый брызг горячей крови на своих пальцах, то мало того что зарежут, — голову совсем отрежут „напрочь“, как выражаются каторжные. Это так».

Он не мог оставаться дома и вышел на улицу в убеждении, что необходимо сейчас что-то сделать или что непременно сейчас что-то с ним само собой сделается; он ходил по улицам и ждал. Ужасно захотелось ему с кем-нибудь встретиться, с кем-нибудь заговорить, хоть с незнакомым, и только это навело его наконец на мысль о докторе и о том, что руку надо бы перевязать как следует. Доктор, прежний его знакомый, осмотрев рану, с любопытством спросил: «Как это могло случиться?» Вельчанинов отшучивался, хохотал и чуть-чуть не рассказал всего, но удержался. Доктор принужден был пощупать ему пульс и, узнав о вчерашнем припадке ночью, уговорил его принять теперь же какого-то бывшего под рукой успокоительного лекарства. Насчет пореза он тоже его успокоил: «Особенно дурных последствий быть не может». Вельчанинов захохотал и стал уверять его, что уже оказались превосходные последствия. Неудержимое желание рассказать *всё* повторилось с ним в этот день еще раза два, — однажды даже с совсем незнакомым человеком, с которым сам он первый завел разговор в кондитерской. Он терпеть не мог до сих пор заводить разговоры с людьми незнакомыми в публичных местах.

Он заходил в магазины, купил газету, зашел к своему портному и заказал себе платье. Мысль посетить Погорельцевых продолжала быть ему неприятною, и он не думал о них, да и не мог он ехать на дачу: он как бы всё чего-то ожидал здесь в городе. Обедал с наслаждением, заговорил с слугой и с обедавшим соседом и выпил полбутылки вина. О возможности возвращения вчерашнего припадка он и не думал; он был убежден, что болезнь прошла совершенно в ту самую минуту, когда он, заснув вчера в таком бессилии, через полтора часа вскочил с постели и с такою силою бросил своего убийцу об пол. К вечеру, однако же, голова его стала кружиться и как будто что-то похожее на вчерашний бред во сне стало овладевать им мгновениями. Он воротился домой уже в сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя в нее. Страшно и жутко показалось ему в его квартире. Несколько раз прошелся он по ней и даже зашел в свою кухню, куда никогда почти не заходил. «Здесь они вчера грели тарелки», — подумалось ему. Двери он накрепко запер и раньше обыкновенного зажег свечи. Запирая двери, он вспомнил, что полчаса тому, проходя мимо дворницкой, он вызвал Мавру и спросил ее: «Не заходил ли без него Павел Павлович?» — точно и в самом деле тот мог зайти.

Запершись тщательно, он отпер бюро, вынул ящик с бритвами и развернул «вчерашнюю» бритву, чтоб посмотреть на нее. На белом костяном черенке остались чутошные следы крови. Он положил бритву опять в ящик и опять запер его в бюро. Ему хотелось спать; он чувствовал, что необходимо сейчас же лечь, — иначе он назавтра никуда не будет годиться. Завтрашний день представлялся ему почему-то как роковой и «окончательный» день. Но всё те же мысли, которые его и на улице, весь день, ни на мгновение не покидали, толпились и стучали в его больной голове и теперь, неустанно и неотразимо, и он всё думал — думал — думал, и долго еще ему не пришлось заснуть…

«Если уж решено, что он встал меня резать *нечаянно,* — всё думал и думал он, — то вспадала ли ему эта мысль на ум хоть раз прежде, хотя бы только в виде мечты в злобную минуту?»

Он решил вопрос странно, — тем, что Павел Павлович хотел его убить, но что мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце на ум. Короче: «Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. Это бессмысленно, но это так, — думал Вельчанинов. — Не места искать и не для Багаутова он приехал сюда — хотя и искал здесь

места, и забегал к Багаутову, и взбесился, когда тот помер; Багаутова он презирал как щепку. Он для меня сюда поехал, и приехал с Лизой…»

«А ожидал ли я сам, что он… зарежет меня?» Он решил, что да, ожидал, именно с той самой минуты, как увидел его в карете, за гробом Багаутова, «я чего-то как бы стал ожидать… но, разумеется, не этого, разумеется, не того, что зарежет!..»

«И неужели, неужели правда была всё то, — восклицал он опять, вдруг подымая голову с подушки и раскрывая глаза, — всё то, что этот… сумасшедший натолковал мне вчера о своей ко мне любви, когда задрожал у него подбородок и он стукал в грудь кулаком?

Совершенная правда! — решал он, неустанно углубляясь и анализируя. — Этот Квазимодо[*] из Т. слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет *ничего* не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои „изречения“ запомнил, — господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: „поквитаемтесь“? Да, *со злобы* любил, эта любовь самая сильная…

А ведь могло быть, а ведь было наверно так, что я произвел на него колоссальное впечатление в Т., именно колоссальное и „отрадное“, и именно с таким Шиллером в образе Квазимодо и могло это произойти! Он преувеличил меня во сто раз, потому что я слишком уж поразил его в его философском уединении… Любопытно бы знать, чем именно поразил? Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимоды любят эстетику, ух любят! Перчаток слишком достаточно для иной благороднейшей души, да еще из „вечных мужей“. Остальное они сами дополнят раз в тысячу и подерутся даже за вас, если вы того захотите. Средства-то обольщения мои как высоко он ставит! Может быть, именно средства обольщения и поразили его всего более. А крик-то его тогда: «Если уж и этот, так в кого же после этого верить!» После этакого крика зверем сделаешься!..

Гм! Он приехал сюда, чтоб „обняться со мной и заплакать“, как он сам подлейшим образом выразился, то есть он ехал, чтоб зарезать меня, а думал, что едет „обняться и заплакать“… Он и Лизу привез. А что: если б я с ним заплакал, он, может, и в самом бы деле простил меня, потому что ужасно ему хотелось простить!.. Всё это обратилось при первом столкновении в пьяное ломание и в карикатуру и в гадкое бабье

вытье об обиде. (Рога-то, рога-то над лбом себе сделал!) Для того и пьяный приходил, чтоб хоть ломаясь, да высказать; непьяный он бы не смог… А любил-таки поломаться, ух любил! Ух как был рад, когда заставил поцеловаться с собой! Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет? Вышло, конечно, что всего лучше и то и другое, вместе. Самое естественное решение! Да-с, природа не любит уродов и добивает их „естественными решеньями“. Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами: я это по собственному опыту знаю, Павел Павлович! Природа для урода не нежная мать, а мачеха. Природа родит урода, да вместо того чтоб пожалеть его, его ж и казнит, — да и дельно. Объятия и слезы всепрощения даже и порядочным людям в наш век даром с рук не сходят, а не то что уж таким, как мы с вами, Павел Павлович!

Да, он был достаточно глуп, чтоб повезти меня и к невесте, — господи! Невеста! Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о „воскресении в новую жизнь“ — посредством невинности мадемуазель Захлебининой! Но вы не виноваты, Павел Павлович, не виноваты: вы урод, а потому и всё у вас должно быть уродливо — и мечты и надежды ваши. Но хоть и урод, а усумнился же в мечте, почему и потребовалась высокая санкция Вельчанинова, с благоговением уважаемого. Надо было одобрение Вельчанинова, подтверждение от него, что мечта не мечта, а настоящая вещь. Он меня из благоговейного уважения ко мне повез и в благородство чувств моих веруя, — веруя, может быть, что мы там под кустом обнимемся и заплачем, неподалеку от невинности. Да! должен же был, обязан же был, наконец, этот „вечный муж“ хоть когда-нибудь да наказать себя за всё окончательно, и чтоб наказать себя, он и схватился за бритву, — правда, нечаянно, но все-таки схватился! „Все-таки пырнул же ножом, все-таки ведь кончил же тем, что пырнул, в присутствии губернатора!“ А кстати, была ли у него хоть какая-нибудь мысль в этом роде, когда он мне рассказывал свой анекдот про шафера? А было ли в самом деле что-нибудь тогда ночью, когда он вставал с постели и стоял среди комнаты? Гм. Нет, он *в шутку* тогда стоял. Он встал за своим делом, а как увидел, что я его струсил, он и не отвечал мне десять минут, потому что очень уж приятно было ему, что я струсил его… Тут-то, может быть, ему и в самом деле что-нибудь в первый раз померещилось, когда он стоял тогда в темноте…

А все-таки не забудь я вчера на столе эти бритвы — ничего бы, пожалуй, и не было. Так ли? Так ли? Ведь избегал же он меня прежде, ведь не ходил же ко мне по две недели; ведь прятался же он от меня, меня *жалеючи*! Ведь выбрал же вначале Багаутова, а не меня! Ведь вскочил *же* ночью тарелки греть, думая сделать диверсию — от ножа к умилению!.. И себя и меня спасти хотел — гретыми тарелками!..»

И долго еще работала в этом роде больная голова этого бывшего «светского человека», пересыпая из пустого в порожнее, пока он успокоился. Он проснулся на другой день с тою же больною головою, но с совершенно *новым* и уже совершенно неожиданным ужасом.

Этот новый ужас происходил от непременного убеждения, в нем неожиданно укрепившегося, в том, что он, Вельчанинов (и светский человек), сегодня же сам, своей волей, кончит всё тем, что пойдет к Павлу Павловичу, — зачем? для чего? — ничего он этого не знал и с отвращением знать не хотел, а знал только то, что зачем-то потащится.

Сумасшествие это — иначе он и назвать не мог — развилось, однако же, до того, что получило, насколько можно, разумный вид и довольно законный предлог: ему еще как бы грезилось, что Павел Павлович воротится в свой номер, запрется накрепко и — повесится, как тот казначей, про которого рассказывала Марья Сысоевна. Эта вчерашняя мечта перешла в нем мало-помалу в бессмысленное, но неотразимое убеждение. «Зачем этому дураку вешаться?» — перебивал он себя поминутно. Ему вспоминались давнишние слова Лизы… «А впрочем, я на его месте, может, и повесился бы…» — придумалось ему один раз.

Кончилось тем, что он, вместо того чтоб идти обедать, направился-таки к Павлу Павловичу. «Я только у Марьи Сысоевны спрошу», — решил он. Но, еще не успев выйти на улицу, он вдруг остановился под воротами.

— Неужели ж, неужели ж, — вскрикнул он, побагровев от стыда, — неужели ж я плетусь туда, чтоб «обняться и заплакать»? Неужели только этой бессмысленной мерзости недоставало ко всему сраму?

Но от «бессмысленной мерзости» спасло его провидение всех порядочных и приличных людей. Только что он вышел на улицу, с ним вдруг столкнулся Александр Лобов. Юноша был впопыхах и в волнении.

— А я к вам! Приятель-то ваш, Павел Павлович, каково?

— Повесился? — дико пробормотал Вельчанинов.

— Кто повесился? Зачем? — вытаращил глаза Лобов.

— Ничего… я так; продолжайте!

— Фу, черт, какой, однако же, у вас смешной оборот мыслей! Совсем-таки не повесился (почему повесился?). Напротив — уехал. Я только что сейчас его в вагон посадил и отправил. Фу, как он пьет, я вам скажу! Мы три бутылки выпили, Предпосылов тоже, — но как он пьет, как он пьет! Песни пел в вагоне, об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел. А подлец он, как вы думаете, — а?

Молодой человек был действительно хмелен; раскрасневшееся лицо, блиставшие глаза и плохо слушавшийся язык сильно об этом свидетельствовали. Вельчанинов захохотал во всё горло:

— Так они кончили-таки, наконец, брудершафтом! — ха-ха! Обнялись и заплакали! Ах вы, Шиллеры-поэты!

— Не ругайтесь, пожалуйста. Знаете, он *там* совсем отказался. Вчера там был и сегодня был. Нафискалил ужасно. Надю заперли, — сидит в антресолях. Крик, слезы, но мы не уступим! Но как он пьет, я вам скажу, как он пьет! И знаете, какой он моветон[*], то есть не моветон, а как это?.. И всё про вас вспоминал, но какое сравнение с вами! Вы все-таки порядочный человек и в самом деле принадлежали когда-то к высшему обществу и только теперь принуждены уклониться, — по бедности, что ли… Черт знает, я его плохо разобрал.

— А, так это он вам в таких выражениях про меня рассказывал?

— Он, он, не сердитесь. Быть гражданином — лучше высшего общества. Я к тому, что в наш век в России не знаешь, кого уважать[*]. Согласитесь, что это сильная болезнь века, когда не знаешь, кого уважать, — не правда ли?

— Правда, правда, что ж он?

— Он? Кто? Ах, да! Почему он всё говорил «пятидесятилетний, *но* промотавшийся Вельчанинов»? почему «но промотавшийся», а не «*и* промотавшийся»! Смеется, тысячу раз повторил. В вагон сел, песню запел и заплакал — просто отвратительно; так даже жалко, — спьяну. Ах, не люблю дураков! Нищим пустился деньги раскидывать, за упокой души Лизаветы — жена, что ль, его?

— Дочь.

— Что это у вас рука?

— Порезал.

— Ничего, пройдет. Знаете, черт с ним, хорошо, что уехал, но бьюсь об заклад, что он там, куда приедет, тотчас же опять женится, — не правда ли?

— Да ведь и вы хотите жениться?

— Я? Я другое дело, — какой вы, право! Если вы пятидесятилетний, так уж он, наверно, шестидесятилетний; тут нужна логика, батюшка! И знаете, прежде, давно уже, я был чистый славянофил по убеждениям, но теперь мы ждем зари с запада… Ну, до свидания; хорошо, что столкнулся с вами не заходя; не зайду, не просите, некогда!..

И он бросился было бежать.

— Ах, да что ж я, — воротился он вдруг, — ведь он меня с письмом к вам прислал! Вот письмо. Зачем вы не пришли провожать?

Вельчанинов воротился домой и распечатал адресованный на его имя конверт.

В конверте ни одной строчки не было от Павла Павловича, но находилось какое-то другое письмо. Вельчанинов узнал эту руку. Письмо было старое, на пожелтевшей от времени бумаге, с выцветшими чернилами, писанное лет десять назад к нему в Петербург, два месяца спустя после того, как он выехал тогда из Т. Но письмо это не пошло к нему; вместо него он получил тогда другое; это ясно было по смыслу пожелтевшего письма. В этом письме Наталья Васильевна, прощаясь с ним навеки — точно так же как и в полученном тогда письме — и признаваясь ему, что любит другого, не скрывала, однако же, о своей беременности. Напротив, в утешение ему сулила, что она найдет случай передать ему будущего ребенка, уверяла, что отныне у них другие обязанности, что дружба их теперь навеки закреплена, — одним словом, логики было мало, но цель была всё та же: чтоб он избавил ее от любви своей. Она даже позволяла ему заехать в Т. через год — взглянуть на дитя. Бог знает почему она раздумала и выслала другое письмо вместо этого.

Вельчанинов, читая, был бледен, но представил себе и Павла Павловича, нашедшего это письмо и читавшего его в первый раз перед раскрытым фамильным ящичком черного дерева с перламутровой инкрустацией.

«Должно быть, тоже побледнел, как мертвец, — подумал он,

заметив свое лицо нечаянно в зеркале, — должно быть, читал, и закрывал глаза, и вдруг опять открывал в надежде, что письмо обратится в простую белую бумагу… Наверно, раза три повторил опыт!..»

XVII
Вечный муж

Прошло почти ровно два года после описанного нами приключения. Мы встречаем господина Вельчанинова в один прекрасный летний день в вагоне одной из вновь открывшихся наших железных дорог.* Он ехал в Одессу, чтоб повидаться, для развлечения, с одним приятелем, а вместе с тем и по другому, тоже довольно приятному обстоятельству; через этого приятеля он надеялся уладить себе встречу с одною из чрезвычайно интересных женщин, с которою ему давно уже желалось познакомиться. Не вдаваясь в подробности, ограничимся лишь замечанием, что он сильно переродился, или, лучше сказать, исправился, в эти последние два года. От прежней ипохондрии почти и следов не осталось. От разных «вспоминаний» и тревог — последствий болезни, — начавших было осаждать его два года назад в Петербурге, во время неудававшегося процесса, — уцелел в нем лишь некоторый потаенный стыд от сознания бывшего малодушия. Его вознаграждала отчасти уверенность, что этого уже больше не будет и что об этом никто и никогда не узнает. Правда, он тогда бросил общество, стал даже плохо одеваться, куда-то от всех спрятался, — и это, конечно, было *всеми* замечено. Но он так скоро явился с повинною, а вместе с тем и с таким вновь возрожденным и самоуверенным видом, что «все» тотчас же ему простили его минутное отпадение; даже те из них, с которыми он перестал было кланяться, первые же и узнали его и протянули ему руку, и притом без всяких докучных вопросов, — как будто он всё время был где-то далеко в отлучке по своим домашним делам, до которых никому из них нет дела, и только что сейчас воротился. Причиною всех этих выгодных и здравых перемен к лучшему был, разумеется, выигранный процесс. Вельчанинову досталось всего шестьдесят тысяч рублей, — дело бесспорно невеликое, но для него очень важное: во-первых, он тотчас же почувствовал себя опять на твердой почве, — стало быть, утолился нравственно; он знал теперь уже наверно, что этих последних денег своих не промотает «как дурак», как промотал свои первые два состояния, и что ему хватит на всю жизнь. «Как бы там ни трещало у них общественное здание и что

бы они там ни трубили, — думал он иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невероятному, совершающемуся кругом него и по всей России, — во что бы там ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будет хоть этот тонкий и вкусный обед, за который я теперь сажусь, а стало быть, я ко всему приготовлен». Эта нежная до сладострастия мысль мало-помалу овладевала им совершенно и произвела в нем переворот даже физический, не говоря уже о нравственном: он смотрел теперь совсем другим человеком в сравнении с тем «хомяком», которого мы описывали за два года назад и с которым уже начинали случаться такие неприличные истории, — смотрел весело, ясно, важно. Даже злокачественные морщинки, начинавшие скопляться около его глаз и на лбу, почти разгладились; даже цвет его лица изменился, — он стал белее, румянее. В настоящую минуту он сидел на комфортном месте в вагоне первого класса, и в уме его наклевывалась одна милая мысль: на следующей станции предстояло разветвление пути, и шла новая дорога вправо. «Если б бросить, на минутку, прямую дорогу и увлечься вправо, то не более как через две станции можно бы было посетить еще одну знакомую даму, только что возвратившуюся из-за границы и находящуюся теперь в приятном для него, но весьма скучном для нее уездном уединении; а стало быть, являлась возможность употребить время не менее интересно, чем и в Одессе, тем более что и там не уйдет…» Но он всё еще колебался и не решался окончательно; он «ждал толчка». Между тем станция приближалась; толчок тоже не замедлил.

На этой станции поезд останавливался на сорок минут и предлагался обед пассажирам. У самого входа в залу для пассажиров первого и второго классов столпилось, как водится, множество нетерпеливой и торопившейся публики и, — может быть, тоже как водится, — произошел скандал. Одна дама, вышедшая из вагона второго класса и замечательно хорошенькая, но что-то уж слишком пышно разодетая для путешественницы, почти тащила обеими руками за собою улана, очень молоденького и красивого офицерика, который вырывался у нее из рук. Молоденький офицерик был сильно хмелен, а дама, по всей вероятности его старшая родственница, не отпускала его от себя, должно быть из опасения, что он прямо так и бросится к буфету с напитками. Между тем с уланом, в тесноте, столкнулся купчик, тоже закутивший, и даже до безобразия. Этот купчик застрял на станции

второй уже день, пил и сыпал деньгами, окруженный разным товариществом, и всё не успевал попасть в поезд, чтоб отправиться далее. Вышла ссора, офицер кричал, купчик бранился, дама была в отчаянии и, увлекая улана от ссоры, восклицала ему умоляющим голосом: «Митенька! Митенька!» Купчику показалось это слишком уже скандальным; правда, и все смеялись, но купчик обиделся уже более за оскорбленную, как показалось ему почему-то, нравственность.

— Вишь, «Митенька!» — произнес он укорительно, передразнив тоненький голосок барыни. — И в публике уже не стыдятся!

И подойдя качаясь к бросившейся на первый стул даме, успевшей усадить рядом с собой и улана, он презрительно осмотрел обоих и протянул нараспев:

— Шлюха ты, шлюха, хвост отшлепала!

Дама взвизгнула и жалостно осматривалась, ожидая избавления. Ей и стыдно-то было, и боялась-то она, а к довершению всего офицер сорвался со стула и, завопив, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назад на стул. Хохот кругом усиливался, а помочь никто и не думал; но помог Вельчанинов: он вдруг схватил купчика за шиворот и, повернув, оттолкнул его шагов на пять от испуганной женщины. Тем скандал и кончился; купчик был сильно опешен и толчком и внушительной фигурой Вельчанинова; его тотчас же увели товарищи. Осанистая физиономия изящно одетого барина возымела внушительное влияние и на насмешников: смех прекратился. Дама, краснея и чуть не со слезами, начала изливаться в уверениях о своей благодарности. Улан бормотал: «Балдарю, балдарю!» — и хотел было протянуть Вельчанинову руку, но вместо того вдруг вздумал улечься на стульях и протянулся на них с ногами.

— Митенька! — укоризненно простонала дама, всплеснув руками.

Вельчанинов был доволен и приключением и его обстановкой. Дама интересовала его; это была, как видно, богатенькая провинциалочка, хотя и пышно, но безвкусно одетая и с манерами несколько смешными, — именно соединяла в себе всё, гарантирующее успех столичному фату при известных целях на женщину. Завязался разговор; дама горячо рассказывала и жаловалась на своего мужа, который «вдруг из вагона куда-то скрылся, и от этого всё и произошло, потому что он вечно, когда надо тут быть, куда-то и скроется…»

— По надобности… — пробормотал улан.

— Ах, Митенька! — всплеснула опять она руками.

«Ну достанется же мужу!» — подумал Вельчанинов.

— Как его зовут? я пойду и отыщу его, — предложил он.

— Пал Палыч, — отозвался улан.

— Вашего супруга зовут Павлом Павловичем? — с любопытством спросил Вельчанинов, и вдруг знакомая ему лысая голова просунулась между ним и дамой. В одно мгновение представился ему сад у Захлебининых, невинные игры и докучливая лысая голова, беспрерывно просовывавшаяся между ним и Надеждой Федосеевной.

— Вот вы, наконец! — истерически вскричала супруга.

Это был сам Павел Павлович; в удивлении и страхе глядел он на Вельчанинова, оторопев перед ним, как перед привидением. Столбняк его был таков, что некоторое время он, по-видимому, не понимал ничего из того, что толковала ему раздражительной и быстрой скороговоркой оскорбленная супруга. Наконец, он вздрогнул и сообразил разом весь свой ужас: и свою вину, и о Митеньке, и об том, что этот «мсьё» — дама почему-то так назвала Вельчанинова — «был для нас ангелом-хранителем и спасителем, а вы — вы вечно уйдете, когда вам надо тут быть…»

Вельчанинов вдруг захохотал.

— Да ведь мы с ним друзья, друзья с детства! — восклицал он удивленной даме, фамильярно и покровительственно обхватив правой рукой плечи улыбавшегося бледной улыбкой Павла Павловича. — Не говорил он вам об Вельчанинове?

— Нет, никогда не говорил, — оторопела несколько супруга.

— Так представьте же меня, вероломный друг, вашей супруге!

— Это, Липочка, действительно господин Вельчанинов-с, вот-с… — начал было и постыдно оборвался Павел Павлович. Супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него глазами, очевидно за «Липочку».

— И представьте, и не уведомил, что женился, и на свадьбу не позвал, но вы, Олимпиада…

— Семеновна, — подсказал Павел Павлович.

— Семеновна! — отозвался вдруг заснувший было улан.

— Вы уж простите его, Олимпиада Семеновна, для меня, ради встречи друзей… Он — добрый муж!

И Вельчанинов дружески хлопнул Павла Павловича по плечу.

— Я, душенька, я только на минутку… отстал… — начал было

оправдываться Павел Павлович.

— И бросили жену на позор! — тотчас же подхватила Липочка. — Когда надо, вас нет, где не надо — вы тут…

— Где не надо — тут, где не надо… где не надо… — поддакивал улан.

Липочка почти задыхалась от волнения; она и сама знала, что это нехорошо при Вельчанинове, и краснела, но не могла совладать.

— Где не надо, вы слишком уж осторожны, слишком осторожны! — вырвалось у ней.

— Под кроватью… любовников ищет… под кроватью — где не надо… где не надо… — уже разгорячился вдруг и Митенька.

Но с Митенькой уже нечего было делать. Всё кончилось, впрочем, приятно; последовало полное знакомство. Павла Павловича услали за кофеем и за бульоном. Олимпиада Семеновна объяснила Вельчанинову, что они едут теперь из О., где служит ее муж, на два месяца в их деревню, что это недалеко, от этой станции всего сорок верст, что у них там прекрасный дом и сад, что к ним приедут гости, что у них есть и соседи, и если б Алексей Иванович был так добр и захотел их посетить «в их уединении», то она бы встретила его «как ангела-хранителя», потому что она не может вспомнить без ужасу, что бы было, если б… и так далее, и так далее, — одним словом, «как ангела-хранителя…»

— И спасителя, и спасителя, — с жаром настаивал улан.

Вельчанинов вежливо поблагодарил и ответил, что он всегда готов, что он совершенно праздный и незанятой человек и что приглашение Олимпиады Семеновны ему слишком лестно. Затем тотчас же завел веселенький разговор, в который удачно вставил два или три комплимента. Липочка покраснела от удовольствия и, только что воротился Павел Павлович, восторженно объявила ему, что Алексей Иванович так добр, что принял ее приглашение прогостить у них в деревне весь месяц и обещался приехать через неделю. Павел Павлович улыбнулся потерянно и промолчал. Олимпиада Семеновна вскинула на него плечиками и возвела глаза к небу. Наконец, расстались: еще раз благодарность, опять «ангел-хранитель», опять «Митенька», и Павел Павлович увел наконец усаживать супругу и улана в вагон. Вельчанинов закурил сигару и стал прохаживаться по галерее перед воксалом; он знал, что Павел Павлович сейчас опять прибежит к нему поговорить до звонка. Так и случилось. Павел Павлович немедленно

явился перед ним с тревожным вопросом в глазах и во всей физиономии. Вельчанинов засмеялся: «дружески» взял его за локоть и, притянув к ближайшей скамейке, сел и усадил его с собою рядом. Сам он молчал; ему хотелось, чтоб заговорил Павел Павлович первый.

— Так вы к нам-с? — пролепетал тот, совершенно откровенно приступая к делу.

— Так я и знал! Не переменился нисколько! — расхохотался Вельчанинов. — Ну неужели же вы, — хлопнул он его опять по плечу, — неужели же вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я в самом деле могу к вам приехать в гости, да еще на месяц — ха-ха!

Павел Павлович весь так и встрепенулся.

— Так вы — не приедете-с! — вскричал он, нисколько не скрывая своей радости.

— Не приеду, не приеду! — самодовольно смеялся Вельчанинов. Впрочем, он и сам не понимал, почему ему так уж особенно смешно, но чем дальше, тем ему становилось смешнее.

— Неужели… неужели вы в самом деле говорите-с? — И, сказав это, Павел Павлович даже привскочил с места, в трепетном ожидании.

— Да, уж сказал, что не приеду, — ну чудак же вы человек!

— Как же мне… если так-с, как же сказать-то Олимпиаде Семеновне, когда вы через неделю не пожалуете, а она будет ждать-с?

— Экая трудность! Скажите, что я ногу сломал или в этом роде.

— Не поверят-с, — жалостным голоском протянул Павел Павлович.

— И вам достанется? — всё смеялся Вельчанинов. — Но я замечаю, мой бедный друг, что вы-таки трепещете перед вашей прекрасной супругой, — а?

Павел Павлович попробовал улыбнуться, но не вышло. Что Вельчанинов отказывался приехать — это, конечно, было хорошо, но что он фамильярничает насчет супруги — это было уже дурно. Павел Павлович покоробился; Вельчанинов это заметил. Между тем прозвонил уже второй звонок; в отдалении послышался тонкий голосок из вагона, тревожно вызывавший Павла Павловича. Тот засуетился на месте, но не побежал на призыв, видимо ожидая еще чего-то от Вельчанинова, — конечно, еще раз заверения, что он к ним не приедет.

— Как бывшая фамилия вашей супруги? — осведомился Вельчанинов, как бы не замечая совсем тревоги Павла Павловича.

— У нашего благочинного[*] взял-с, — ответил тот, в смятении посматривая на вагоны и прислушиваясь.

— А, понимаю, за красоту.

Павел Павлович опять покоробился.

— А кто же у вас этот Митенька?

— А это так-с; дальний наш родственник один, то есть мой-с, сын двоюродной моей сестры, покойницы-с, Голубчиков-с, за непорядки разжаловали, а теперь опять произведен; мы его и экипировали… Несчастный молодой человек-с…

«Ну так-так, всё в порядке; полная обстановка!» — подумал Вельчанинов.

— Павел Павлович! — раздался опять отдаленный призыв из вагона и уже с слишком раздражительной ноткой в голосе.

— Пал Палыч! — послышался другой, сиплый, голос. Павел Павлович опять засуетился и заметался, но Вельчанинов крепко прихватил его за локоть и остановил.

— А хотите, я сейчас пойду и расскажу вашей супруге, как вы меня зарезать хотели, — а?

— Что вы, что вы-с! — испугался ужасно Павел Павлович. — Да боже вас сохрани-с.

— Павел Павлович! Павел Павлович! — послышались опять голоса.

— Ну уж ступайте! — выпустил его наконец Вельчанинов, продолжая благодушно смеяться.

— Так не приедете-с? — чуть не в отчаянии в последний раз шептал Павел Павлович и даже руки сложил перед ним, как в старину, ладошками.

— Да клянусь же вам, не приеду! Бегите, беда ведь будет!

И он размашисто протянул ему руку, — протянул и вздрогнул: Павел Павлович не взял руки, даже отдернул свою.

Раздался третий звонок.

В одно мгновение произошло что-то странное с обоими; оба точно преобразились. Что-то как бы дрогнуло и вдруг порвалось в Вельчанинове, еще только за минуту так смеявшемся. Он крепко и яростно схватил Павла Павловича за плечо.

— Уж если я, *я* протягиваю вам вот эту руку, — показал он ему ладонь своей левой руки, на которой явственно остался крупный шрам

от пореза, — так уж вы-то могли бы взять ее! — прошептал он дрожавшими и побледневшими губами.

Павел Павлович тоже побледнел, и у него тоже губы дрогнули. Какие-то конвульсии вдруг пробежали по лицу его.

— А Лиза-то-с? — пролепетал он быстрым шепотом, — и вдруг запрыгали его губы, щеки и подбородок, и слезы хлынули из глаз. Вельчанинов стоял перед ним как столб.

— Павел Павлович! Павел Павлович! — вопили из вагона, точно там кого резали, — и вдруг раздался свисток.

Павел Павлович очнулся, всплеснул руками и бросился бежать сломя голову; поезд уже тронулся, но он как-то успел уцепиться и вскочил-таки в свой вагон на лету. Вельчанинов остался на станции и только к вечеру отправился в дорогу, дождавшись нового поезда и по прежнему пути. Вправо, к уездной знакомке, он не поехал, — слишком уж был не в духе. И как жалел потом!

Подросток
(Роман)

Часть первая

Глава первая

I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвалы читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово всё, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но всё это в сторону. Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, — может быть, даже и ко всякому делу.

II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил…

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошл: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

III

Я — кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой — Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я — законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою всё мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам

своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки…[*]

Приехал он тогда в деревню «бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителишка, гувернер, инспектор, поп — все, кто угодно, спроси мою фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

— Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

— Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузящийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую

бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

— Как твоя фамилия?

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий.

— А, просто! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

— Нет, я — сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

— Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей — впрочем, он один и был — нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

— Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный… а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель наверно уже вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унизительно.

IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это — Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мрачен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неправоспособен, как крепостной, подозвав Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик[*] или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде,

так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», — по собственному удивительному его выражению, — вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни: тут уже его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и всё, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Всё это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про всё это с самым непринужденным и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что всё вышло *так*. Верю, что так, и русское словцо это: *так* — прелестно; но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой

человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытною стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, — он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так*, только что прочел «Антона Горемыку» и «Полиньку Сакс»[*] — две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антона Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, — и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал[*]. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому

что, повторяю, про этого «Антона Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла mademoiselle Сапожкова (по-моему, выиграла). Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно: что мать моя была одна такая особа из *незащищенных*, которую не то что полюбишь, — напротив, вовсе нет, — а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что? — это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься… «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Всё это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней, тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо *с беды.* (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать). Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена mademoiselle Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версилов, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от

развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версилов, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам (он как-то раз расходился), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней поломойки, несмотря на всё свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версилов, — это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого — и прогрессисты и ретрограды) — не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь — это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь — это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и, сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что *перед ним виноваты,* не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров[*], а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почем знать, может быть, она полюбила до смерти… фасон его платья,

парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! Итак, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель — это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она — она в то время лежала где-то в забытьи, в своей дворовой клетушке…

VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечение тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя — болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, — так по крайней мере мне сказали: она быстро

стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по нескольку лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения — и всё. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и всё высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»… «Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поимянно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «его высокородия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это — смешная глупость. Всего глупее то,

что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что всё семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помехою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.

VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль — то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и всё поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует,

через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение «идеи» к делу еще на четыре года; я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот миг успел поразить меня), Версилов, в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие), вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, — этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно, мне, между прочим, понравилось в его письмеце (одна маленькая страничка малого формата), что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться, — словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению, а между тем это-то и было худо с его стороны в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет, — рассуждал я, — во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от *главного,* то тотчас же с ними порву, брошу всё и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее, как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось. «Я буду не один, — продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, — никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я

прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге (ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться), — эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне. Что отец — это бы еще ничего, и нежностей я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы взасос (если можно так о мечте выразиться). Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою всё мое будущее, все расчеты мои на жизнь, — и это случилось само собою, это шло вместе с ростом.

Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца пред выездом (стало быть, когда и помину не было о Петербурге), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих! Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне — предуведомляю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версилов мог думать (если только удостоивал обо мне думать), что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который (теперь уж я знаю это наверно) он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать — похоже на бред или облако.

VIII

Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимолетом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою (последнюю я увидел в первый раз в жизни), при тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве, но всё же не предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версилов не жил с моею матерью на одной квартире, а всегда нанимал ей особенную: конечно, делал это из подлейших ихних «приличий». Но тут все жили вместе, в одном деревянном флигеле, в переулке, в Семеновском полку[*]. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери, таинственно от Версилова, мои таинственные шестьдесят рублей. Именно *таинственные* потому, что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по пяти рублей в месяц, в продолжение двух лет; копление же началось с первого дня моей «идеи», а потому Версилов не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версилов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версилова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего.

А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах, и я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, — не говоря уже о том, что всё еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версилова с князьями Сокольскими, и Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в семьдесят, а может и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версилов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство! Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели.

Но Версилов и не ходил ни к кому, хотя иногда уходил на весь день. Уже с лишком год назад, как он *выгнан* из общества. История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненною, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или не виновен Версилов — вот что для меня было важно, вот для чего я приехал! Отвернулись от него все, между прочим и все влиятельные знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и — что хуже всего в глазах «света» — скандальном поступке, будто бы совершенном им с лишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же слишком гласно, именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его (законные), сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых и старого князя Сокольского (бывшего друга Версилова). Впрочем, приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, — до того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом — вот что меня волновало! Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свои силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!

А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей. Даже и не удерживался. Прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями ни

за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непроницаем; но сам я не унизился бы до просьб о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал что делать. Короче, со мной он обращался как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того я сам перестал говорить серьезно и ждал; даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину; в этом была моя последняя надежда. Во всяком случае приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать мне жаль было, но… «или он, или я» — вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен; а пока я ходил на службу.

Глава вторая

I

В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалованье за первый месяц моей петербургской службы на моем «частном» месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же — значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчаньем защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду), с которыми Версилов вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не

менее старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать их старшего в роде — одного молодого офицера. Версилов еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом, странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его, не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались; бесчестный поступок, в котором обвиняли Версилова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрез ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал «молодого человека» к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версилову, так сказать первый шаг к нему, а Версилов *позволил.* Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая наверно бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версилову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи всё еще продолжает питать уважение к Версилову, то, стало быть, нелепы или по крайней мере двусмысленны и распущенные толки о подлости Версилова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении: поступая, я именно надеялся всё это проверить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась бог знает откуда, по чьему-то поручению, всякий раз когда надо было меня где-нибудь устроивать, — при поступлении ли в пансионишко Тушара или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устроивала, одним словом, всё мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика; при этом всё время шипела на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет

бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, с птичьим востреньким носиком и птичьими вострыми глазками. Версилову она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и главное — решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением; в его семействе тоже; эти гордые дети Версилова тоже; у Фанариотовых тоже, — а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому, шипеть на меня; с тех пор продолжали ссориться каждый день; но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял.

Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его «тешить», и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок; он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версилов уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версилова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним (хоть я и не заметил), что после припадка в нем развилась какая-то особенная наклонность поскорее

жениться и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали в свете и, кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое; он был вдовцом уже двадцать лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой он несомненно боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; кроме того, множество разных его питомцев и им облагодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была, сверх того, одна странность, с самого молоду, не знаю только, смешная или нет: выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду — или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Всё это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве народили еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы, везде он должен был крестить, всё это являлось поздравлять с именинами, и всё это ему было чрезвычайно приятно.

Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнездилось одно тяжелое убеждение — и этого никак нельзя было не заметить, — что все-де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому; это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его всё еще подозревают помешанным, видимо его мучила; даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему; даже рад был, если приводилось его иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтоб признание это могло

положить тень на мое достоинство.

Большая часть его денег находилась в обороте. Он, уже после болезни, вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел, и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось: по крайней мере все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо[*]; я это слишком понимаю. В доме, внизу, было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счеты и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанию самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг.

Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевшую в сердце, а главное — мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам — от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.

II

Спрашивать денег — прегадкая история, даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой. Служил я на пятидесяти рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать; определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него: у кого здесь спрашивают жалованье? Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека (он меня не любил):

— А вы получаете жалованье?

Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит;

— За что же это-с?

Но он только сухо ответил, что «ничего не знает», и уткнулся в свою разлинованную книгу, в которую с каких-то бумажек вставлял какие-то счеты.

Ему, впрочем, небезызвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно четыре дня просидел над работой, которую он же мне и передал: переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава «мыслей» князя, которые он готовился подать в комитет акционеров. Надо было всё это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен; не знаю только, подал ли бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю.

Просить жалованья мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забилось сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение: в это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версиловым. Наконец я написал это имя! Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней говорить, и буду ли; но мне представлялось (может быть, и на достаточных основаниях), что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок; было ужасно любопытно, а главное, противно, — целых три впечатления. Я помню весь тот день наизусть!

О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно: проговорилась при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслушивал: просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг, при известии о приезде этой женщины, так взволновалась

мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот срок, как он трусит ее приезда. Он даже, дня три тому назад, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет таска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он — совсем баба; но потом должен был перезаключить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его — по-видимому, трусливым и поддающимся — почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версилов объяснил потом подробнее. Упоминаю теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить: избегал особенно я, а он в свою очередь избегал говорить о Версилове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших.

Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что, в сущности, обо всем на свете, но всё о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос: «Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, — и премилый вышел бы товарищ». Удивлялся я тоже не раз и его лицу: оно было на вид чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые седые вьющиеся волосы, открытые глаза; да и весь он был сухощав, хорошего роста; но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое, так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версилову, который с любопытством меня выслушал; кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее время.

Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах — о боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный

киот с лампадкой. Но вдруг на него находило — и он вдруг начинал сомневаться в бытии божием и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень завлекались оба и всегда искренно. Вообще все эти разговоры, даже и теперь, вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я, по нелюбви моей к разговорам на эту тему, не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался.

Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настроении игривом, а вчера оставил отчего-то в чрезвычайной грусти. Между тем мне надо было непременно окончить сегодня же обжалованье — до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно *прервут* (недаром же билось сердце), — и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его, изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.

III

— …Я не люблю женщин за то, что они грубы, за то, что они неловки, за то, что они несамостоятельны, и за то, что носят неприличный костюм! — бессвязно заключил я мою длинную тираду.

— Голубчик, пощади! — вскричал он, ужасно разве селившись, что еще пуще обозлило меня.

Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских приемах, со мной бог знает что можно сделать, и я всегда проклинаю в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Всё это от невыдержки и оттого, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится, но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилетнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь

предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде: «Пусть я неловок, но — прощайте!» Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора.

— Я вовсе не для веселости вашей говорю, — почти закричал я не него, — я просто высказываю убеждение.

— Но как же это женщины грубы и одеты неприлично? Это ново.

— Грубы. Подите в театр, подите на гулянье. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся, он вправо и я вправо. Женщина, то есть дама, — я об дамах говорю — так и прет на вас прямо, даже не замечая вас, точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить, как созданью слабейшему, но почему тут право, почему она так уверена, что я это обязан, — вот что оскорбительно! Я всегда плевался встречаясь. И после того кричат, что они принижены, и требуют равенства; какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песку!

— Песку!

— Да; потому что они неприлично одеты; это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях; зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам; открыто![*] Я ведь не могу не заметить, и юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик, тоже заметит; это подло. Пусть любуются старые развратники и бегут высуня язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в рот она вам пять фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! Я всегда плевался, вслух плевался и бранился.

Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнею характерностью, но мысли эти и теперь мои.

— И сходило с рук? — полюбопытствовал князь.

— Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побранился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то двумя, обе с хвостами, на

бульваре, — разумеется, не сквернными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен.

— Так и выразился?

— Конечно. Во-первых, она попирает условия общества, а во-вторых, пылит; а бульвар для всех: я иду, другой идет, третий, Федор, Иван, всё равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть; это тоже высказал, но намеком.

— Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю: они могли стащить тебя к мировому?

— Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в двадцати шагах до самого их дома, затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал.

— Неужто?

— Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они протащили меня версты три с лишком, по жаре, до институтов, вошли в деревянный одноэтажный дом, — я должен сознаться, весьма приличный, — а в окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и эстампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса. Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой; судя по виду, спал, и его нарочно разбудили; не то что в халате, а так, в чем-то очень домашнем; стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня, я — на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел.

— Друг мой, это что-то шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, с лица твоего прыщет здоровьем и — такое, можно сказать, отвращение от, женщин! Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления? Мне, mon cher,[3] еще

одиннадцатилетнему, гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в Летнем саду на статуи.

— Вам ужасно хочется, чтоб я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел вам донести. Незачем; я и сам еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение.

— Серьезно? Но, cher enfant,[4] от красивой свежей женщины яблоком пахнет, какое ж тут омерзение!

— У меня был в прежнем пансионишке, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт.* Он всё меня бил, потому что был больше чем тремя годами старше, а я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию*, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и *аббат* Риго стал его ужасно прижимать к своей груди, с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался, не для одних сапог; он всё мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать — вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на всё плюет, и что всё, что они говорят про причастие, — вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в

упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама… Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я всё это и увидел… про что вам говорил… Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготе; поверьте, была красавица.

По мере как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное.

— Mon pauvre enfant![5]Я всегда был убежден, что в твоем детстве было очень много несчастных дней.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Но ты был один, ты сам говорил мне, и хоть бы этот Lambert; ты это так очертил: эта канарейка, эта конфирмация со слезами на груди и потом, через какой-нибудь год, он о своей матери с аббатом… O mon cher, этот детский вопрос в наше время просто страшен: покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, — то точно ангелы божии или прелестные птички; а потом… а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем!

— Какой вы, князь, расслабленный! И точно у вас у самих дети. Ведь у вас нет детей и никогда не будет.

— Tiens![6]— мгновенно изменилось всё лицо его, — как раз Александра Петровна, — третьего дня, хе-хе! — Александра Петровна Синицкая, — ты, кажется, ее должен был здесь встретить недели три тому, — представь, она третьего дня вдруг мне, на мое веселое замечание, что если я теперь женюсь, то по крайней мере могу быть спокоен, что не будет детей, — вдруг она мне и даже с этакою злостью: «Напротив, у вас-то и будут, у таких-то, как вы, и бывают *непременно*, с первого даже года пойдут, увидите». Хе-хе! И все почему-то вообразили, что я вдруг женюсь; но хоть и злобно сказано, а согласись — остроумно.

— Остроумно, да обидно.

— Ну, cher enfant, не от всякого можно обидеться. Я ценю больше всего в людях остроумие, которое видимо исчезает, а что там Александра Петровна скажет — разве может считаться?

— Как, как вы сказали? — привязался я, — не от всякого можно… именно так! Не всякий стоит, чтобы на него обращать внимание, — превосходное правило. Именно я в нем нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилые вещи.

Он так весь и просиял.

— N'est-ce pas?[7] Cher enfant, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще. Eh, mais… C'est moi qui connaît les femmes![8] Поверь, жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это — вечное искание, кому бы подчиниться… так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе — без единого исключения.

— Совершенно верно, великолепно! — вскричал я в восхищении. В другое время мы бы тотчас же пустились в философские размышления на эту тему, на целый час, но вдруг меня как будто что-то укусило, и я весь покраснел. Мне представилось, что я, похвалами его бонмо, подлещаюсь к нему перед деньгами и что он непременно это подумает, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь об этом.

— Князь, я вас покорнейше прошу выдать мне сейчас же должные мне вами пятьдесят рублей за этот месяц, — выпалил я залпом и раздражительно до грубости.

Помню (так как я помню всё это утро до мелочи), что между нами произошла тогда прегадкая, по своей реальной правде, сцена. Он меня сперва не понял, долго смотрел и не понимал, про какие это деньги я говорю. Естественно, что он и не воображал, что я получаю жалованье, — да и за что? Правда, он стал уверять потом, что забыл, и, когда догадался, мигом стал вынимать пятьдесят рублей, но заторопился и даже закраснелся. Видя, в чем дело, я встал и резко заявил, что не могу теперь принять деньги, что мне сообщили о жалованье, очевидно, ошибочно или обманом, чтоб я не отказался от места, и что я слишком теперь понимаю, что мне не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и стал уверять, что я ужасно много служил, что я буду еще больше служить и что пятьдесят рублей так ничтожно, что он мне, напротив, еще прибавит, потому что он обязан, и что он сам рядился с Татьяной Павловной, но

«непростительно всё позабыл». Я вспыхнул и окончательно объявил, что мне низко получать жалованье за скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, что я не потешать его нанялся, а заниматься делом, а когда дела нет, то надо покончить и т. д., и т. д. Я и представить не мог, чтобы можно было так испугаться, как он, после этих слов моих. Разумеется, покончили тем, что я перестал возражать, а он всучил-таки мне пятьдесят рублей: до сих пор вспоминаю с краской в лице, что их принял! На свете всегда подлостью оканчивается, и, что хуже всего, он тогда сумел-таки почти доказать мне, что я заслужил неоспоримо, а я имел глупость поверить, и притом как-то решительно невозможно было не взять.

— Cher, cher enfant! — восклицал он, целуя меня и обнимая (признаюсь, я сам было заплакал черт знает с чего, хоть мигом воздержался, и даже теперь, как пишу, у меня краска в лице), — милый друг, ты мне теперь как родной; ты мне в этот месяц стал как кусок моего собственного сердца! В «свете» только «свет» и больше ничего; Катерина Николаевна (дочь его) блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижает… Ну, а эти девочки (elles sont charmantes)[9] и их матери, которые приезжают в именины, — так ведь они только свою канву привозят, а сами ничего не умеют сказать. У меня на шестьдесят подушек их канвы накоплено, всё собаки да олени. Я их очень люблю, но с тобой я почти как с родным — и не сыном, а братом, и особенно люблю, когда ты возражаешь; ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться…

— Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадется, а последние два года совсем ничего не читал и не буду читать.

— Почему не будешь?

— У меня другие цели.

— Cher… жаль, если в конце жизни скажешь себе, как и я: je sais tout, mais je ne sais rien de bon.[10] Я решительно не знаю, для чего я жил на свете! Но… я тебе столько обязан… и я даже хотел…

Он как-то вдруг оборвал, раскис и задумался. После потрясений (а потрясения с ним могли случаться поминутно, бог знает с чего) он обыкновенно на некоторое время как бы терял здравость рассудка и переставал управлять собой; впрочем, скоро и поправлялся, так что всё это было не вредно. Мы просидели с минуту. Нижняя губа его, очень

полная, совсем отвисла… Всего более удивило меня, что он вдруг упомянул про свою дочь, да еще с такою откровенностью. Конечно, я приписал расстройству.

— Cher enfant, ты ведь не сердишься за то, что я тебе *ты* говорю, не правда ли? — вырвалось у него вдруг.

— Нисколько. Признаюсь, сначала, с первых разов, я был несколько обижен и хотел вам самим сказать *ты*, но увидал, что глупо, потому что не для того же, чтоб унизить меня, вы мне *ты* говорите?

Он уже не слушал и забыл свой вопрос.

— Ну, что *отец?* — поднял он вдруг на меня задумчивый взгляд.

Я так и вздрогнул. Во-первых, он Версилова обозначил моим *отцом*, чего бы он себе никогда со мной не позволил, а во-вторых заговорил о Версилове, чего никогда не случалось.

— Сидит без денег и хандрит, — ответил я кратко, но сам сгорая от любопытства.

— Да, насчет денег. У него сегодня в окружном суде решается их дело, и я жду князя Сережу, с чем-то он придет. Обещался прямо из суда ко мне. Вся их судьба; тут шестьдесят или восемьдесят тысяч. Конечно, я всегда желал добра и Андрею Петровичу (то есть Версилову), и, кажется, он останется победителем, а князья ни при чем. Закон!

— Сегодня в суде? — воскликнул я, пораженный.

Мысль, что Версилов даже и это пренебрег мне сообщить, чрезвычайно поразила меня. «Стало быть, не сказал и матери, может, никому, — представилось мне тотчас же, — вот характер!»

— А разве князь Сокольский в Петербурге? — поразила меня вдруг другая мысль.

— Со вчерашнего дня. Прямо из Берлина, нарочно к этому дню.

Тоже чрезвычайно важное для меня известие. «И он придет сегодня сюда, этот человек, который дал *ему* пощечину!»

— Ну и что ж, — изменилось вдруг всё лицо князя, — проповедует бога по-прежнему, и, и… пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам? Хе-хе! Тут и теперь презабавный наклевывается один анекдот… Хе-хе!

— Кто проповедует? Кто по девочкам?

— Андрей Петрович! Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? — то есть почти так. Пугал и

очищал: «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти это и требовал. Mais quelle idée![11] Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил Страшным судом пугать, меня из всех.

— Ничего этого я не заметил, вот уж месяц с ним живу, — отвечал я, вслушиваясь с нетерпеньем. Мне ужасно было досадно, что он не оправился и мямлил так бессвязно.

— Это он только не говорит теперь, а поверь, что так. Человек остроумный, бесспорно, и глубокоученый; но правильный ли это ум? Это всё после трех лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс… и всех потрясал… Cher enfant, j'aime le bon Dieu…[12] Я верую, верую сколько могу, но — я решительно вышел тогда из себя. Положим, что я употребил прием легкомысленный, но я это сделал нарочно, в досаде, — и к тому же сущность моего возражения была так же серьезна, как была и с начала мира: «Если высшее существо, — говорю ему, — есть, и существует *персонально*, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению, в виде жидкости, что ли (потому что это еще труднее понять), — то где же он живет?» Друг мой, c'était bête,[13] без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. Un domicile[14] — это важное дело. Ужасно рассердился. Он там в католичество перешел.

— Об этой идее я тоже слышал. Наверно, вздор.

— Уверяю тебя всем, что есть свято. Вглядись в него… Впрочем, ты говоришь, что он изменился. Ну а в то время как он нас всех тогда измучил! Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. Он у нас отчета в поведении требовал, клянусь тебе! Мощи! En voilà une autre![15] Ну, пусть там монах или пустынник, — а тут человек ходит во фраке, ну, и там всё… и вдруг его мощи! Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус. Я там ничего не говорю: конечно, всё это святыня и всё может случиться… К тому же всё это de l'inconnu,[16] но светскому человеку даже и неприлично. Если бы как-нибудь случилось со мной, или там мне предложили, то, клянусь, я бы отклонил. Ну я, вдруг, сегодня обедаю в клубе и вдруг потом — *являюсь*! Да я насмешу! Всё это я ему тогда же и изложил… Он вериги носил.

Я покраснел от гнева.

— Вы сами видели вериги?

— Я сам не видал, но…

— Так объявляю же вам, что всё это — ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов, то есть одного врага, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг и есть — это ваша дочь!

Князь вспыхнул в свою очередь.

— Mon cher, я прошу тебя и настаиваю, чтоб отныне никогда впредь при мне не упоминать рядом с этой гнус ной историей имя моей дочери.

Я приподнялся. Он был вне себя; подбородок его дрожал.

— Cette histoire infâme!..[17] Я ей не верил, я не хотел никогда верить, но… мне говорят: верь, верь, я…

Тут вдруг вошел лакей и возвестил визит; я опустился опять на мой стул.

IV

Вошли две дамы, обе девицы, одна — падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или что-то в этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которая (замечу для будущего) и сама была с деньгами; вторая — Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у Фанариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее, тоже мельком, уже имел в Москве стычку (очень может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит). Эта Анна Андреевна была с детства своего особенною фавориткой князя (знакомство Версилова с князем началось ужасно давно). Я был так смущен только что происшедшим, что, при входе их, даже не встал, хотя князь встал им навстречу; а потом подумал, что уж стыдно вставать, и остался на месте. Главное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня три минуты назад, и всё еще не знал: уходить мне или нет. Но старик мой уже всё забыл совсем, по своему обыкновению, и весь приятно оживился при виде девиц. Он даже, с быстро переменившейся физиономией и как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскоро пред самым их входом:

— Вглядись в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее… потом

расскажу…

Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем).*

Впрочем, и всё, что описывал до сих пор, по-видимому с такой ненужной подробностью, — всё это ведет в будущее и там понадобится. В своем месте всё отзовется; избежать не умел; а если скучно, то прошу не читать.

Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухощава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версиловым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версиловой или жестом, и приготовился; обидел же меня ее брат в Москве, с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Всё, что предполагал или делал князь, во всей этой куче его родных и «ожидающих» тотчас же возбуждало интерес и являлось событием, — тем более его внезапное пристрастие ко мне. Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха. Но для Версиловой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по канве.

И вот, против всех ожиданий, Версилова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрела на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкой поклонилась. Правда, она только что

вошла и поклонилась как вошедшая, но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И, помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение.

— А это… а это — мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Дол… — пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась, а я всё сижу, — и вдруг осекся: может, сконфузился, что меня с ней знакомит (то есть, в сущности, брата с сестрой). Подушка тоже мне поклонилась; но я вдруг преглупо вскипел и вскочил с места: прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной; всё от самолюбия.

— Извините, князь, я — не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович, — резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту!

— Mais… tiens![18]— вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу.

— Где вы учились? — раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос прямо подошедшей ко мне подушки

— В Москве-с, в гимназии.

— А! Я слышала. Что, там хорошо учат?

— Очень хорошо.

Я всё стоял, а говорил точно солдат на рапорте.

Вопросы этой девицы, бесспорно, были ненаходчивы, но, однако ж, она таки нашлась, чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептыванье ему на ухо Версиловой, — видимо, не обо мне. Но вопрос: зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и всё прочее? Вместе с тем невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так: тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно, точно ей хотелось, чтоб и я ее тоже очень заметил как можно больше. Всё это я уже после сообразил и — не ошибся.

— Как, разве сегодня? — вскричал вдруг князь, срываясь с места.

— Так вы не знали? — удивилась Версилова. — Olympe! князь не знал, что Катерина Николаевна сего дня будет. Мы к ней и ехали, мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехались у крыльца: она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам, а сама сейчас придет… Да вот и она!

Отворилась боковая дверь и — *та женщина появилась*!

Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя; я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета и после этих трех минут спросили меня: «Какая она?» — я бы ничего не ответил, потому что всё у меня заволоклось.

Я только помню из этих трех минут какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой и которая вдруг быстро стала глядеть — так-таки прямо только что вошла — на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно показав на меня, пробормотал что-то, с маленьким каким-то смехом, про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется стуча зубами:

— С тех пор я… мне теперь свои дела… Я иду.

И я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь; все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он «просто струсил».

Да нужды нет!

Глава третья

I

Именно нужды не было: высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за всё. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, — это всё равно, — с моей стороны? Заметьте, она уж и ехала с тем, чтоб меня поскорей оскорбить, еще никогда не видав: в глазах ее я был «подсыльный от Версилова», а она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версилов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет,

посредством одного документа; подозревала по крайней мере это. Тут была дуэль на смерть. И вот — оскорблен я не был! Оскорбление было, но я его не почувствовал! Куда! я даже был рад; приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. «Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит? Миленькая мушка! Мне кажется, жертву любят; по крайней мере можно любить. Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня, что вы так надменны и величественны: были бы вы посмирнее, не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую; если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевком, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы — моя жертва, *моя*, а не *его*. Как обаятельна эта мысль! Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был стомиллионный богач, я бы, кажется, находил удовольствие именно ходить в самом стареньком платье и чтоб меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего на бедность, толкали и презирали меня: с меня было бы довольно одного сознания».

Вот как бы я перевел тогдашние мысли и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее: на деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих; дай-то бог!

Может, я очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, — всегда глубже, а на словах — смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко; а я стараюсь писать всю правду: это ужасно трудно!

II

В это девятнадцатое число я сделал еще один «шаг».

В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в два года мои шестьдесят рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше; но уже несколько дней назад я положил, в день

получения жалованья, сделать «пробу», о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес — объявление «судебного пристава при С.-Петербургском мировом съезде» и проч., и проч. о том, что «девятнадцатого сего сентября, в двенадцать часов утра, Казанской части, такого-то участка и т. д., и т. д., в доме № такой-то, будет продаваться движимое имущество г-жи Лебрехт» и что «опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи» и т. д., и т. д.

Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже третий год как я не беру извозчиков такое дал слово (иначе не скопил бы шестидесяти рублей). Я никогда не ходил на аукционы, я еще не *позволял* себе этого; и хоть теперешний «шаг» мой был только *примерный,* но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в «скорлупе» и далеко еще не был свободен; но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы — так только, чтоб посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький, глупенький аукцион, а для меня — то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку. Вот мои тогдашние чувства.

Прибыв на место, я прошел в углубление двора обозначенного в объявлении дома и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших, невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до тридцати; из них наполовину торгующихся, а другие, по виду их, были или любопытные, или любители, или подосланные от Лебрехт; были и купцы, и жиды, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых «чисто». Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя: там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал — должно быть, из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которой, естественно, в это время было очень стыдно. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин

судебный пристав, при знаке, и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине; как вошел — протеснился к самому столу. Продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть.

Я глядел и тотчас же стал думать: что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Всё это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить: «захочу поставлю, захочу уйду — моя воля». Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает — ощущение не без приятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете: протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти против воли, как будто вашу руку направляет другой; наконец вы решились и ставите — тут уж ощущение совсем иное, огромное. Я не про аукцион пишу, я только про себя пишу: у кого же другого может биться сердце на аукционе?

Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который ошибкою, не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять; даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи: после подсвечников явились серьги, после серег шитая сафьянная подушка, за нею шкатулка, — должно быть, для разнообразия или соображаясь с требованиями торгующихся. Я не выстоял и десяти минут, подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался: предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец в руках пристава очутился альбом.

«Домашний альбом, в красном сафьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками — цена два рубля!»

Я подступил: вещь на вид изящная, но в костяной резьбе, в одном месте, был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали; конкурентов не было. Я бы мог отстегнуть застежки и вынуть альбом из футляра, чтоб осмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой: «дескать, всё равно».

— Два рубля пять копеек, — сказал я, опять, кажется, стуча зубами.

Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил

альбом и ушел в угол комнаты; там вынул его из футляра и лихорадочно, наскоро, стал разглядывать: не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире — альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями; были стишки:

Я в путь далекий отправляюсь,
С Москвой надолго расстаюсь,
Надолго с милыми прощаюсь
И в Крым на почтовых несусь.

(Уцелели-таки в моей памяти!) Я решил, что «провалился»; если кому чего не надо, так именно этого.

«Ничего, — решил я, — первую карту непременно проигрывают; даже примета хорошая».

Мне решительно было весело.

— Ах, опоздал; у вас? Вы приобрели? — вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал.

— Я опоздал. Ах, как жаль! За сколько?

— Два рубля пять копеек.

— Ах, как жаль! а вы бы не уступили?

— Выйдемте, — шепнул я ему, замирая. Мы вышли на лестницу.

— Я уступлю вам за десять рублей, — сказал я, чувствуя холод в спине.

— Десять рублей! Помилуйте, что вы!

— Как хотите.

Он смотрел на меня во все глаза; я был одет хорошо, совсем не похож был на жида или перекупщика.

— Помилосердуйте, да ведь это — дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому?

— Вы же покупаете.

— Да ведь я по особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий

я только один и есть! Помилуйте, что вы!

— Я бы должен был спросить двадцать пять рублей; но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только десять для верности. Не спущу ни копейки.

Я повернулся и пошел.

— Да возьмите четыре рубля, — нагнал он меня уже на дворе, — ну, пять.

Я молчал и шагал.

— Нате, берите! — Он вынул десять рублей, я отдал альбом.

— А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять — а?

— Почему нечестно? Рынок!

— Какой тут рынок? (Он сердился).

— Где спрос, там и рынок; не спроси вы, — за сорок копеек не продал бы.

Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, — хохотал не то что от восторга, а сам не знаю отчего, немного задыхался.

— Слушайте, — пробормотал я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его, — слушайте: когда Джемс Ротшильд, покойник, парижский, вот что тысячу семьсот миллионов франков оставил (он кивнул головой), еще в молодости, когда случайно узнал, за несколько часов раньше всех, об убийстве герцога Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой штукой, в один миг, нажил несколько миллионов[*],— вот как люди делают!

— Так вы Ротшильд, что ли? — крикнул он мне с негодованием, как дураку.

Я быстро вышел из дому. Один шаг — и семь рублей девяносто пять копеек нажил! Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моею мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко… Впрочем, нечего чувства описывать. Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать — и так и шел не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть, посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета; швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухаршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю; она села; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил

даме, приподняв шляпу. (Шляпа — цилиндр, я был одет, как молодой человек, недурно). Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне: «Mercі, мсье». Карета загремела. Я поцеловал десятирублевую.

III

Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях я с ним не был; но в Петербурге его отыскал; он мог (по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит) тотчас же сообщить мне адрес одного Крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильно. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать. Идти надо было на Петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал.

Зверева (ему тоже было лет девятнадцать) я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях; тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное.

— Куда-то едет опять, — прибавил Ефим.

Так как видеть Крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах, где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил и что он прошел

к Дергачеву.

— Да пойдем к Дергачеву, что ты всё отнекиваешься; трусишь?

Действительно, Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с прескверной улыбкой на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился; это тоже было в двух шагах[*]. Дорогой я спросил

Ефима, всё ли еще он держит намерение бежать в Америку?*

— Может, и подожду еще, — ответил он с легким смехом.

Я его не так любил, даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным, слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом даже выше меня, но принять его можно было не иначе как за семнадцатилетнего. Говорить с ним было не о чем.

— Да что ж там? неужто всегда толпа? — справился я для основательности.

— Да чего ты всё трусишь? — опять засмеялся он.

— Убирайся к черту, — рассердился я.

— Вовсе не толпа. Приходят только знакомые, и уж все свои, будь покоен.

— Да черт ли мне за дело, свои или не свои! Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены?

— Я тебя привел, и довольно. О тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить.

— Слушай, будет там Васин?

— Не знаю.

— Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина; только что войдем, слышишь?

Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался.

Дергачев жил в маленьком флигеле, на дворе деревянного дома одной купчихи, но зато флигель занимал весь. Всего было чистых три комнаты. Во всех четырех окнах были спущены шторы.* Это был техник и имел в Петербурге занятие*; я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется.

Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса; кажется, горячо спорили и кто-то кричал: «Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!»*[19]

Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с товарищами был на ты, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так чтоб никто не мог обо мне ничего заключить; главное — не спорить.

В комнате, даже слишком небольшой, было человек семь, а с

дамами человек десять. Дергачеву было двадцать пять лет, и он был женат.* У жены была сестра и еще родственница; они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но с горевшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться.

— Садитесь, здесь все свои.

— Сделайте одолжение, — прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая, и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила а ушла теперь кормить ребенка*. Но в комнате оставались еще две дамы — одна очень небольшого роста, лет двадцати, в черном платьице и тоже не из дурных, а другая лет тридцати*, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали.

Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только, кроме меня, Крафт и Васин; их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел с ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду: никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. Двадцати шести лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое; что-то во всем нем было такое тихое. А между тем спросите, — я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица, на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости. Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог; это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после события.

— Очень рад, что вы пришли, — сказал Крафт. — У меня есть одно письмо, до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне.

Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой*; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая беспрерывная осторожность; хоть он больше молчал, но очевидно управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое,

но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое; предчувствовалось мало сообщительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачевского, глубже, — умнее всех в комнате; впрочем, может быть, я теперь всё преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи: одного высокого смуглого человека, с черными бакенами, много говорившего, лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того[*], и еще молодого парня моих лет, в русской поддевке, — лицо со складкой, молчаливое, из прислушивающихся. Он и оказался потом из крестьян.[*]

— Нет, это не так надо ставить, — начал, очевидно возобновляя давешний спор, учитель с черными бакенами, горячившийся больше всех, — про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств…

— Подожди, Тихомиров[*],— громко перебил Дергачев, — вошедшие не понимают. Это, видите ли, — вдруг обратился он ко мне одному (и признаюсь, если он имел намерение обэкзаменовать во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны; я тотчас это почувствовал и приготовился), — это, видите ли, вот господин Крафт, довольно уже нам всем известный и характером и солидностью убеждений. Он, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма не обыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный…

— Третьестепенный, — крикнул кто-то.

— …второстепенный, которому предназначено послу жить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества.[*] Ввиду этого, может быть и справедливого, своего вывода господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и…

— Позволь, Дергачев, это не так надо ставить, — опять подхватил с нетерпением Тихомиров (Дергачев тотчас же уступил). — Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею (которую я бы принял преспокойно a priori), ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена. Из всего выходит вопрос, который

Крафт понимать не может, и вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен. Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике, как единичный случай, или есть свойство, которое может нормально повторяться в других; это интересно в видах уже общего дела. Про Россию я Крафту поверю и даже скажу, что, пожалуй, и рад; если б эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патриотического предрассудка…

— Я не из патриотизма, — сказал Крафт как бы с какой-то натугой. Все эти дебаты были, кажется, ему неприятны.

— Патриотизм или нет, это можно оставить в стороне, — промолвил Васин, очень молчавший.

— Но чем, скажите, вывод Крафта мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу? — кричал учитель (он один только кричал, все остальные говорили тихо). — Пусть Россия осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной России. И, кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?

— К тому же немец, — послышался опять голос.

— Я — русский, — сказал Крафт.

— Это — вопрос, не относящийся прямо к делу, — за метил Дергачев перебившему.

— Выйдите из узкости вашей идеи, — не слушал ничего Тихомиров. — Если Россия только материал для более благородных племен, то почему же ей и не послужить таким материалом? Это — роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего, — для будущего еще неизвестного народа, но который составится из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь; народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по две тысячи лет; не всё ли тут равно: две тысячи или двести лет? Римляне не прожили и полутора тысяч лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я

представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать![*] Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь. Дела так много, что недостанет жизни, если внимательно оглянуться.

— Надо жить по закону природы и правды[*],— проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась.

Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем с сильною искренностью:

— Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?

— Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того только, что Россия — предназначенная второстепенность; если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма…

— Э! — тихо махнул рукой Крафт, — я ведь сказал вам, что тут не патриотизм.

— Тут, очевидно, недоумение, — ввязался вдруг Васин. — Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает всё существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

— Ошибка! — завопил спорщик, — логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

— Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, — ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи.

— Это именно так, как вы сказали! — обратился я вдруг к нему,

разбивая лед и начиная вдруг говорить. — Именно надо вместо чувства вставить другое, чтоб заменить. В Москве, четыре года назад, один генерал… Видите, господа, я его не знал, но… Может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважения… И притом самый факт мог явиться неразумным, но… Впрочем, у него, видите ли, умер ребенок, то есть, в сущности, две девочки, обе одна за другой, в скарлатине… Что ж, он вдруг так был убит, что всё грустил, так грустил, что ходит и на него глядеть нельзя, — и кончил тем, что умер, почти после полгода. Что он от этого умер, то это факт! Чем, стало быть, можно было его воскресить? Ответ: равносильным чувством! Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их — вот и всё, то есть в этом роде. Он и умер. А между тем можно бы было представить ему прекрасные выводы: что жизнь скоропостижна, что все смертны, представить из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей… Он был в отставке…

Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом.

— Это совсем не то, — проговорил кто-то.

— Приведенный вами факт хоть и неоднороден с данным случаем, но всё же похож и поясняет дело, — обратился ко мне Васин.

IV

Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет «идеи-чувства», а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил оттого, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они (то есть они или другие в этом роде — это всё равно) — диалектики и, пожалуй, разобьют «мою идею». Я твердо был уверен в себе, что им идею мою не выдам и не скажу; но они (то есть опять-таки они или вроде них) могли мне сами сказать что-нибудь, отчего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее. В «моей идее» были вопросы, мною не разрешенные, но я не хотел, чтоб кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу «идеи», которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокоивает меня в высшем смысле. В

самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про «идею-чувство»! Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее равносильным прекрасным; не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение, хотя бы насильно, что бы там они ни сказали. А что они могли дать мне взамен? И потому я бы мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее. Придя в восхищение от Васина, я почувствовал стыд, а себя — недостойным ребенком!

Тут и еще вышел стыд. Не гаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание «прыгнуть на шею». Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того (словом, свинство), я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало, после всякого такого позора, лишь то, что все-таки «идея» при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть, и идею брошу; а потому берег и хранил ее и трепетал болтовни. И вот, у Дергачева, с первого почти столкновения не выдержал: ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно; вышел позор. Воспоминание скверное! Нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь это думаю; на сорок лет вперед говорю. Моя идея — угол.

V

Только что Васин меня похвалил, мне вдруг нестерпимо захотелось говорить.

— По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства… если по убеждению… с тем, чтоб уж никто его не укорял за них, — обратился я к Васину. Хоть я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился.

— Бу-удто-с? — тотчас же подхватил и протянул с иронией тот самый голос, который перебивал Дергачева и крикнул Крафту, что он

немец.

Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне.

— Мое убеждение, что я никого не смею судить, — дрожал я, уже зная, что полечу.

— Зачем же так секретно?* — раздался опять голос ничтожества.

— У всякого своя идея, — смотрел я в упор на учителя, который, напротив, молчал и рассматривал меня с улыбкой.

— У вас? — крикнуло ничтожество.

— Долго рассказывать… А отчасти моя идея именно в том, чтоб оставили меня в покое. Пока у меня есть два рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть (не беспокойтесь, я знаю возражения) и ничего не делать, — даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода, то есть моя собственная-с, на первом плане, а дальше знать ничего не хочу.

Ошибка в том, что я рассердился.

— То есть проповедуете спокойствие сытой коровы?

— Пусть. От коровы не оскорбляются. Я никому ничего не должен, я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов* за то, чтоб меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству, и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники; но только я хочу, чтобы с меня этого никто *не смел требовать*, заставлять меня, как господина Крафта; моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству да сгорать слезами умиления — это только мода. Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое в свою очередь истлеет без всякого следа и воспоминания (время тут ничего не значит), когда Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней*, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить! Вот ваше учение! Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если всё продолжается одну минуту.

— Б-ба! — крикнул голос.

Я выпалил всё это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что

лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю как сквозь решето, бессвязно и через десять мыслей в одиннадцатую, но я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно! Я три года готовился! Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а все слушали. Я всё продолжал обращаться к учителю:

— Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» Видите ли-с, есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с: у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду; а когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства! Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос: «Почему он непременно должен быть благородным?» И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, — никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги?* Да черт мне в них, и до будущего, когда я один только раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексе, — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет-с, если так, то я самым преневежливым образом буду жить для себя, а там хоть бы все провалились!

— Превосходное желание!

— Впрочем, я всегда готов вместе.

— Еще лучше! (Это всё тот голос).

Остальные все продолжали молчать, все глядели и меня

разглядывали; но мало-помалу с разных концов комнаты началось хихиканье, еще тихое, но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными бакенами тоже ухмылялся; он в упор смотрел на меня и слушал.

— Господа, — дрожал я весь, — я мою идею вам не скажу ни за что, но я вас, напротив, с вашей же точки спрошу, — не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые! Скажите, — и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь, — скажите: чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться! У вас будет казарма, общие квартиры, stricte nécessaire,[20] атеизм и общие жены без детей — вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за всё за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность! Позвольте-с: у меня там жену уведут; уймете ли вы мою личность, чтоб я не размозжил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею; но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с; постыдитесь!

— А вы по женской части — специалист? — раздался с злорадством голос ничтожества.

Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тузить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый… да, впрочем, черт бы взял его наружность!

— Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины, — отрезал я, в первый раз к нему повертываясь.

— Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее, ввиду дам!

Но все вдруг густо зашевелились; все стали разбирать шляпы и хотели идти, — конечно, не из-за меня, а им пришло время; но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил.

— Позвольте, однако, узнать вашу фамилию, вы всё смотрели на меня? — ступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой.

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара

Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина господина Версилова. Не беспокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завыли как телята от умиления!

Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания.

— Пойдемте, — толкнул меня Крафт.

Я подошел к Дергачеву, изо всех сил сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы.

— Извините, что вас всё обижал Кудрюмов (это рыжеватый), — сказал мне Дергачев.

Я пошел за Крафтом. Я ничего не стыдился.

VI

Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним — бесконечная разница.

Продолжая «ничего не стыдиться», я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от Крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом, точно ничего не случилось, спросил:

— Вы, кажется, изволите знать моего отца, то есть я хочу сказать Версилова?

— Я, собственно, не знаком, — тотчас ответил Васин (и без малейшей той обидной утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с тотчас же осрамившимся), — но я несколько его знаю; встречался и слушал его.

— Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы — вы! Как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне нужно. Именно как *вы* бы думали, собственно *ваше* мнение необходимо.

— Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, — но отчету никому не отдающий.

— Это верно, это очень верно, это — очень гордый человек! Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его

католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете…

Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами, и так зря, в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия!

— Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно, — по-прежнему спокойно и ровно ответил он.

— Ничуть! это про него неправду! Неужели вы думаете, что он может верить в бога?

— Это — очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность — найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу.

— Послушайте, это, должно быть, ужасно верно! — вскричал я опять. — Только я бы желал понять…

— Тут причина ясная: они выбирают бога, чтоб не преклоняться перед людьми, — разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие — вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилова я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера. И вообще он меня заинтересовал.

— Васин! — вскричал я, — вы меня радуете! Я не уму вашему удивляюсь, я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, — как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось! Васин улыбнулся.

— Вы уж слишком меня хвалите, а случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали.

— Я три года молчал, я три года говорить готовился… Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупее меня вести себя невозможно, но подлецом!

— Подлецом?

— Да, несомненно! Скажите, не презираете вы меня втайне за то, что я сказал, что я незаконнорожденный Версилова… и похвалился, что сын дворового?

— Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз; вам еще пятьдесят лет впереди.

— О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов — это вешаться на шею; я сейчас это им сказал, и вот я и вам вешаюсь! Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту!

Васин опять улыбнулся.

— Приходите ко мне, если захотите, — сказал он. — Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие.

— Я заключил об вас давеча, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны.

— Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года, в Луге… Крафт остановился и, кажется, вас ждет; ему поворачивать.

Я крепко пожал руку Васина и добежал до Крафта, который всё шел впереди, пока я говорил с Васиным. Мы молча дошли до его квартиры; я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одною из сильнейших черт была деликатность.

Глава четвертая

I

Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову (за вознаграждение от него) в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть многое известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, — и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже «поручено» передать мне

нечто. Я уже ждал его целый месяц.

Он жил в маленькой квартире, в две комнаты, совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран, вещи валялись на стульях, а на столе, перед диваном, разложены были: саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и проч. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе; он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность (а потом слишком всё припомнил), но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу. А между тем неспособность моя к серьезному делу очевидно обозначалась, ввиду того, что случилось у Дергачева.

— Крафт, вы к ним и еще пойдете? — вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул.

— Простите их! — сказал вдруг Крафт.

Мне, конечно, показалось, что это насмешка; но, взглянув пристально, я увидал в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало, как это он так серьезно попросил меня их «простить». Он поставил стул и сел подле меня.

— Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий и больше ничего, — начал я, — но не прошу прощения.

— Да и совсем не у кого, — проговорил он тихо и серьезно. Он всё время говорил тихо и очень медленно.

— Пусть я буду виноват перед собой… Я люблю быть виновным перед собой… Крафт, простите, что я у вас вру. Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить.

— Они не глупее других и не умнее; они — помешанные, как все.

— Разве все — помешанные? — повернулся я к нему с невольным любопытством.

— Из людей получше теперь все — помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность… Впрочем, это всё не стоит.

Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе.

— Неужели и Васин с ними? В Васине — ум, в Васине — нравственная идея! — вскричал я.

— Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было.

— Прежде не было?

— Лучше оставим это, — проговорил он с явным утомлением.

Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я стал входить в его тон.

— Нынешнее время, — начал он сам, помолчав мину ты две и всё смотря куда-то в воздух, — нынешнее время — это время золотой средины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею.

Он опять оборвал и помолчал немного; я слушал.

— Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготовляют ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало…

— Позвольте, Крафт, вы сказали: «Заботятся о том, что будет через тысячу лет». Ну а ваше отчаяние… про участь России… разве это не в том же роде забота?

— Это… это — самый насущный вопрос, который только есть! — раздражительно проговорил он и быстро встал с места.

— Ах да! Я и забыл! — сказал он вдруг совсем не тем голосом, с недоумением смотря на меня, — я вас зазвал по делу и между тем… Ради бога, извините.

Он точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился; взял из портфеля, лежавшего на столе, письмо и подал мне.

— Вот что я имею вам передать. Это — документ, имеющий

некоторую важность, — начал он со вниманием и с самым деловым видом.

Меня, еще долго спустя, поражала потом, при воспоминании, эта способность его (в такие для него часы!) с таким сердечным вниманием отнестись к чужому делу, так спокойно и твердо рассказать его.

— Это письмо того самого Столбеева, по смерти которого из-за завещания его возникло дело Версилова с князьями Сокольскими. Дело это теперь решается в суде и решится, наверно, в пользу Версилова, за него закон. Между тем в письме этом, частном, писанном два года назад, завещатель сам излагает настоящую свою волю или, вернее, желание, излагает скорее в пользу князей, чем Версилова. По крайней мере те пункты, на которые опираются князья Сокольские, оспаривая завещание, получают сильную поддержку в этом письме. Противники Версилова много бы дали за этот документ, не имеющий, впрочем, решительного юридического значения. Алексей Никанорович (Андроников), занимавшийся делом Версилова, сохранял это письмо у себя и, незадолго до своей смерти, передал его мне с поручением «приберечь» — может быть, боялся за свои бумаги, предчувствуя смерть. Не желаю судить теперь о намерениях Алексея Никаноровича в этом случае и признаюсь, по смерти его я находился в некоторой тягостной нерешимости, что мне делать с этим документом, особенно ввиду близкого решения этого дела в суде. Но Марья Ивановна, которой Алексей Никанорович, кажется, очень много поверял при жизни, вывела меня из затруднения: она написала мне, три недели назад, решительно, чтоб я передал документ именно вам, и что это, *кажется* (ее выражение), совпадало бы и с волей Андроникова. Итак, вот документ, и я очень рад, что могу его наконец передать.

— Послушайте, — сказал я, озадаченный такою неожиданною новостью, — что же я буду теперь с этим письмом делать? Как мне поступить?

— Это уж в вашей воле.

— Невозможно, я ужасно несвободен, согласитесь сами! Версилов так ждал этого наследства… и, знаете, он погибнет без этой помощи — и вдруг существует такой документ!

— Он существует только здесь, в комнате!

— Неужели так? — посмотрел я на него внимательно.

— Если вы в этом случае сами не находите, как поступить, то что

же я могу вам присоветовать?

— Но передать князю Сокольскому я тоже не могу: я убью все надежды Версилова и, кроме того, выйду перед ним изменником… С другой стороны, передав Версилову, я ввергну невинных в нищету, а Версилова все-таки ставлю в безвыходное положение: или отказаться от наследства, или стать вором.

— Вы слишком преувеличиваете значение дела.

— Скажите одно: имеет этот документ характер решительный, окончательный?

— Нет, не имеет. Я небольшой юрист. Адвокат противной стороны, разумеется, знал бы, как этим документом воспользоваться, и извлек бы из него всю пользу; но Алексей Никанорович находил положительно, что это письмо, будучи предъявлено, не имело бы большого юридического значения, так что дело Версилова могло бы быть все-таки выиграно. Скорее же этот документ представляет, так сказать, дело совести…

— Да вот это-то и важнее всего, — перебил я, — именно потому-то Версилов и будет в безвыходном положении.

— Он, однако, может уничтожить документ и тогда, напротив, избавит себя уже от всякой опасности.

— Имеете вы особые основания так полагать о нем, Крафт? Вот что я хочу знать: для того-то я и у вас!

— Я думаю, что всякий на его месте так бы поступил.

— И вы сами так поступили бы?

— Я не получаю наследства и потому про себя не знаю.

— Ну, хорошо, — сказал я, сунув письмо в карман. — Это дело пока теперь кончено. Крафт, послушайте. Марья Ивановна, которая, уверяю вас, многое мне открыла, сказала мне, что вы, и только один вы, могли бы передать истину о случившемся в Эмсе, полтора года назад, у Версилова с Ахмаковыми. Я вас ждал, как солнца, которое всё у меня осветит. Вы не знаете моего положения, Крафт. Умоляю вас сказать мне всю правду. Я именно хочу знать, какой *он* человек, а теперь — теперь больше, чем когда-нибудь это надо!

— Я удивляюсь, как Марья Ивановна вам не передала всего сама; она могла обо всем слышать от покойного Андроникова и, разумеется, слышала и знает, может быть, больше меня.

— Андроников сам в этом деле путался, так именно говорит Марья

Ивановна. Этого дела, кажется, никто не может распутать. Тут черт ногу переломит! Я же знаю, что вы тогда сами были в Эмсе…

— Я всего не застал, но что знаю, пожалуй, расскажу охотно; только удовлетворю ли вас?

II

Не привожу дословного рассказа, а приведу лишь вкратце сущность.

Полтора года назад Версилов, став через старого князя Сокольского другом дома Ахмаковых (все тогда находились за границей, в Эмсе)[*], произвел сильное впечатление, во-первых, на самого Ахмакова, генерала и еще нестарого человека, но проигравшего всё богатое приданое своей жены, Катерины Николаевны, в три года супружества в карты и от невоздержной жизни уже имевшего удар. Он от него очнулся и поправлялся за границей, а в Эмсе проживал для своей дочери, от первого своего брака. Это была болезненная девушка, лет семнадцати, страдавшая расстройством груди и, говорят, чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности.[*] Приданого у ней не было; надеялись, по обыкновению, на старого князя. Катерина Николавна была, говорят, доброй мачехой. Но девушка почему-то особенно привязалась к Версилову. Он проповедовал тогда «что-то страстное», по выражению Крафта, какую-то новую жизнь, «был в религиозном настроении высшего смысла» — по странному, а может быть, и насмешливому выражению Андроникова, которое мне было передано. Но замечательно, что его скоро все невзлюбили. Генерал даже боялся его; Крафт совершенно не отрицает слуха, что Версилов успел утвердить в уме больного мужа, что Катерина Николавна неравнодушна к молодому князю Сокольскому (отлучившемуся тогда из Эмса в Париж). Сделал же это не прямо, а, «по обыкновению своему», наветами, наведениями и всякими извилинами, «на что он великий мастер», выразился Крафт. Вообще же скажу, что Крафт считал его, и желал считать, скорее плутом и врожденным интриганом, чем человеком, действительно проникнутым чем-то высшим или хоть оригинальным. Я же знал и помимо Крафта, что Версилов, имев сперва чрезвычайное влияние на Катерину Николавну, мало-помалу дошел с нею до разрыва. В чем тут

состояла вся эта игра, я и от Крафта не мог добиться, но о взаимной ненависти, возникшей между обоими после их дружбы, все подтверждали. Затем произошло одно странное обстоятельство: болезненная падчерица Катерины Николавны, по-видимому, влюбилась в Версилова, или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю; но известно, что Версилов одно время все почти дни проводил около этой девушки. Кончилось тем, что девица объявила вдруг отцу, что желает за Версилова замуж. Что это случилось действительно, это все подтверждают — и Крафт, и Андроников, и Марья Ивановна, и даже однажды проговорилась об этом при мне Татьяна Павловна. Утверждали тоже, что Версилов не только сам желал, но даже и настаивал на браке с девушкой и что соглашение этих двух неоднородных существ, старого с малым, было обоюдное. Но отца эта мысль испугала; он, по мере отвращения от Катерины Николавны, которую прежде очень любил, стал чуть не боготворить свою дочь, особенно после удара. Но самой ожесточенной противницей возможности такого брака явилась сама Катерина Николавна. Произошло чрезвычайно много каких-то секретных, чрезвычайно неприятных семейных столкновений, споров, огорчений, одним словом, всяких гадостей. Отец начал наконец подаваться, видя упорство влюбленной и «фанатизированной» Версиловым дочери — выражение Крафта. Но Катерина Николавна продолжала восставать с неумолимой ненавистью. И вот здесь-то и начинается путаница, которую никто не понимает. Вот, однако, прямая догадка Крафта на основании данных, но все-таки лишь догадка.

Версилов будто бы успел внушить *по-своему*, тонко и неотразимо, молодой особе, что Катерина Николавна оттого не соглашается, что влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснилась уже ему, и теперь готова сжечь его за то, что он полюбил другую; одним словом, что-то в этом роде. Сквернее всего тут то, что он будто бы «намекнул» об этом и отцу, мужу «неверной» жены, объясняя, что князь был только развлечением. Разумеется, в семействе начался целый ад. По иным вариантам, Катерина Николавна ужасно любила свою падчерицу и теперь, как оклеветанная перед нею, была в отчаянии, не говоря уже об отношениях к больному мужу. И что же, рядом с этим существует другой вариант, которому, к печали моей, вполне верил и Крафт и которому я и сам верил (обо всем этом я уже

слышал). Утверждали (Андроников, говорят, слышал от самой Катерины Николаевы), что, напротив, Версилов, прежде еще, то есть до начала чувств молодой девицы, предлагал свою любовь Катерине Николавне; что та, бывшая его другом, даже экзальтированная им некоторое время, но постоянно ему не верившая и противоречившая, встретила это объяснение Версилова с чрезвычайною ненавистью и ядовито осмеяла его. Выгнала же его формально от себя за то, что тот предложил ей прямо стать его женой ввиду близкого предполагаемого второго удара мужа. Таким образом, Катерина Николавна должна была почувствовать особенную ненависть к Версилову, когда увидела потом, что он так открыто ищет уже руки ее падчерицы. Марья Ивановна, передавая всё это мне в Москве, верила и тому и другому варианту, то есть всему вместе: она именно утверждала, что всё это могло произойти совместно, что это вроде la haine dans l'amour,[21] оскорбленной любовной гордости с обеих сторон и т. д., и т. д., одним словом, что-то вроде какой-то тончайшей романической путаницы, недостойной всякого серьезного и здравомыслящего человека и, вдобавок, с подлостью. Но Марья Ивановна была и сама нашпигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер. В результате выставлялась очевидная подлость Версилова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое, тем более что кончилось действительно трагически: бедная воспламененная девушка отравилась, говорят, фосфорными спичками; впрочем, я даже и теперь не знаю, верен ли этот последний слух; по крайней мере его всеми силами постарались замять. Девица была больна всего две недели и умерла. Спички остались, таким образом, под сомнением, но Крафт и им твердо верил. Затем умер вскорости и отец девицы, говорят, от горести, которая и вызвала второй удар, однако не раньше как через три месяца. Но после похорон девицы молодой князь Сокольский, возвратившийся из Парижа в Эмс, дал Версилову пощечину публично в саду и тот не ответил вызовом; напротив, на другой же день явился на променаде как ни в чем не бывало. Тут-то все от него и отвернулись, в Петербурге тоже. Версилов хоть и продолжал некоторое знакомство, но совсем в другом кругу. Из светского его знакомства все его обвинили, хотя, впрочем, мало кто знал обо всех подробностях; знали только нечто о романической смерти молодой особы и о пощечине. По возможности полные сведения имели только два-три лица; более всех знал покойный Андроников, имея уже

давно деловые сношения с Ахматовыми и особенно с Катериной Николавной по одному случаю. Но он хранил все эти секреты даже от семейства своего, а открыл лишь нечто Крафту и Марье Ивановне, да и то вследствие необходимости.

— Главное, тут теперь один документ, — заключил Крафт, — которого чрезвычайно боится госпожа Ахмакова.

И вот что он сообщил и об этом.

Катерина Николавна имела неосторожность, когда старый князь, отец ее, за границей стал уже выздоравливать от своего припадка, написать Андроникову в большом секрете (Катерина Николавна доверяла ему вполне) чрезвычайно компрометирующее письмо. В то время в выздоравливавшем князе действительно, говорят, обнаружилась склонность тратить и чуть не бросать свои деньги на ветер: за границей он стал покупать совершенно ненужные, но ценные вещи, картины, вазы; дарить и жертвовать на бог знает что большими кушами, даже на разные тамошние учреждения; у одного русского светского мота чуть не купил за огромную сумму, заглазно, разоренное и обремененное тяжбами имение; наконец, действительно будто бы начал мечтать о браке. И вот, ввиду всего этого, Катерина Николавна, не отходившая от отца во время его болезни, и послала Андроникову, как юристу и «старому другу», запрос: «Возможно ли будет, по законам, объявить князя в опеке или вроде неправоспособного; а если так, то как удобнее это сделать без скандала, чтоб никто не мог обвинить и чтобы пощадить при этом чувства отца и т. д., и т. д.». Андроников, говорят, тогда же вразумил ее и отсоветовал; а впоследствии, когда князь выздоровел совсем, то и нельзя уже было воротиться к этой идее; но письмо у Андроникова осталось. И вот он умирает; Катерина Николавна тотчас вспомнила про письмо: если бы оно обнаружилось в бумагах покойного и попало в руки старого князя, то тот несомненно прогнал бы ее навсегда, лишил наследства и не дал бы ей ни копейки при жизни. Мысль, что родная дочь не верит в его ум и даже хотела объявить его сумасшедшим, обратила бы этого агнца в зверя. Она же, овдовев, осталась, по милости игрока мужа, без всяких средств и на одного только отца и рассчитывала: она вполне надеялась получить от него новое приданое, столь же богатое, как и первое!

Крафт об участи этого письма знал очень мало, но заметил, что Андроников «никогда не рвал нужных бумаг» и, кроме того, был

человек хоть и широкого ума, но и «широкой совести». (Я даже подивился тогда такой чрезвычайной самостоятельности взгляда Крафта, столь любившего и уважавшего Андроникова). Но Крафт имел все-таки уверенность, что компрометирующий документ будто бы попался в руки Версилова через близость того со вдовой и с дочерьми Андроникова; уже известно было, что они тотчас же и обязательно предоставили Версилову все бумаги, оставшиеся после покойного. Знал он тоже, что и Катерине Николавне уже известно, что письмо у Версилова и что она этого-то и боится, думая, что Версилов тотчас пойдет с письмом к старому князю; что, возвратясь из-за границы, она уже искала письмо в Петербурге, была у Андрониковых и теперь продолжает искать; так как все-таки у нее оставалась надежда, что письмо, может быть, не у Версилова, и, в заключение, что она и в Москву ездила единственно с этою же целью и умоляла там Марью Ивановну поискать в тех бумагах, которые сохранялись у ней. О существовании Марьи Ивановны и об ее отношениях к покойному Андроникову она проведала весьма недавно, уже возвратись в Петербург.

— Вы думаете, она не нашла у Марьи Ивановны? — спросил я, имея свою мысль.

— Если Марья Ивановна не открыла ничего даже вам, то, может быть, у ней и нет ничего.

— Значит, вы полагаете, что документ у Версилова?

— Вероятнее всего, что да. Впрочем, не знаю, всё может быть, — промолвил он с видимым утомлением.

Я перестал расспрашивать, да и к чему? Всё главное для меня прояснилось, несмотря на всю эту недостойную путаницу; всё, чего я боялся, — подтвердилось.

— Всё это как сон и бред, — сказал я в глубокой грусти и взялся за шляпу.

— Вам очень дорог этот человек? — спросил Крафт с видимым и большим участием, которое я прочел на его лице в ту минуту.

— Я так и предчувствовал, — сказал я, — что от вас все-таки не узнаю вполне. Остается одна надежда на Ахмакову. На нее-то я и надеялся. Может быть, пойду к ней, а может быть, нет.

Крафт посмотрел с некоторым недоумением.

— Прощайте, Крафт! Зачем лезть к людям, которые вас не хотят?

Не лучше ли всё порвать, — а?

— А потом куда? — спросил он как-то сурово и смотря в землю.

— К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе!

— В Америку?

— В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся «моя идея», Крафт! — сказал я восторженно.

Он как-то любопытно посмотрел на меня.

— А у вас есть это место: «к себе»?

— Есть. До свиданья, Крафт; благодарю вас и жалею, что вас утрудил! Я бы, на вашем месте, когда у самого такая Россия в голове, всех бы к черту отправлял: убирайтесь, интригуйте, грызитесь про себя — мне какое дело!

— Посидите еще, — сказал он вдруг, уже проводив меня до входной двери.

Я немного удивился, воротился и опять сел. Крафт сел напротив. Мы обменялись какими-то улыбками, всё это я как теперь вижу. Очень помню, что мне было как-то Удивительно на него.

— Мне в вас нравится, Крафт, то, что бы — такой вежливый человек, — сказал я вдруг.

— Да?

— Я потому, что сам редко умею быть вежливым, хоть и хочу уметь… А что ж, может, и лучше, что оскорбляют люди: по крайней мере избавляют от несчастия любить их.

— Какой вы час во дню больше любите? — спросил он, очевидно меня не слушая.

— Час? Не знаю. Я закат не люблю.

— Да? — произнес он с каким-то особенным любопытством, но тотчас опять задумался.

— Вы куда-то опять уезжаете?

— Да… уезжаю.

— Скоро?

— Скоро.

— Неужели, чтоб доехать до Вильно, револьвер нужен? — спросил я вовсе без малейшей задней мысли: и мысли даже не было! Так спросил, потому что мелькнул револьвер, а я тяготился, о чем говорить.

Он обернулся и посмотрел на револьвер пристально.

— Нет, это я так, по привычке.

— Если б у меня был револьвер, я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Я, может быть, и не верю в эпидемию самоубийств, но если торчит вот это перед глазами — право, есть минуты, что и соблазнит.

— Не говорите об этом, — сказал он и вдруг встал со стула.

— Я не про себя, — прибавил я, тоже вставая, — я не употреблю. Мне хоть три жизни дайте — мне и тех будет мало.

— Живите больше, — как бы вырвалось у него.*

Он рассеянно улыбнулся и, странно, прямо пошел в переднюю, точно выводя меня сам, разумеется не замечая, что делает.

— Желаю вам всякой удачи, Крафт, — сказал я, уже выходя на лестницу.

— Это пожалуй, — твердо отвечал он.

— До свиданья!

— И это пожалуй.

Я помню его последний на меня взгляд.

III

Итак, вот человек, по котором столько лет билось мое сердце! И чего я ждал от Крафта, каких это новых сообщений?

Выйдя от Крафта, я сильно захотел есть; наступал уже вечер, а я не обедал. Я вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир, с тем чтоб истратить копеек двадцать и не более двадцати пяти — более я бы тогда ни за что себе не позволил. Я взял себе супу и, помню, съев его, сел глядеть в окно; в комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый. В соседней биллиардной шумели, но я сидел и сильно думал. Закат солнца (почему Крафт удивился, что я не люблю заката?) навел на меня какие-то новые и неожиданные ощущения совсем не к месту. Мне всё мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза, которые вот уже весь месяц так робко ко мне приглядывались. В последнее время я дома очень грубил, ей преимущественно; желал грубить Версилову, но, не смея ему, по подлому обычаю моему, мучил ее. Даже совсем запугал: часто она

таким умоляющим взглядом смотрела на меня при входе Андрея Петровича, боясь с моей стороны какой-нибудь выходки… Очень странно было то, что я теперь, в трактире, в первый раз сообразил, что Версилов мне говорит *ты*, а она — *вы*. Удивлялся я тому и прежде, и не в ее пользу, а тут как-то особенно сообразил — и всё странные мысли, одна за другой, текли в голову. Я долго просидел на месте, до самых полных сумерек. Думал и об сестре…

Минута для меня роковая. Во что бы ни стало надо было решиться! Неужели я не способен решиться? Что трудного в том, чтоб порвать, если к тому же и сами не хотят меня? Мать и сестра? Но их-то я ни в каком случае не оставлю — как бы ни обернулось дело.

Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг, еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встреться он мне тогда — мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверно, были бы иные, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул.

Но ведь оказывается, что этот человек — лишь мечта моя, мечта с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии. Я приехал к человеку чистому, а не к этому. И к чему я влюбился в него, раз навсегда, в ту маленькую минутку, как увидел его когда-то, бывши ребенком? Это «навсегда» должно исчезнуть. Я когда-нибудь, если место найдется, опишу эту первую встречу нашу: это пустейший анекдот, из которого ровно ничего не выходит. Но у меня вышла целая пирамида. Я начал эту пирамиду еще под детским одеялом, когда, засыпая, мог плакать и мечтать — о чем? — сам не знаю. О том, что меня оставили? О том, что меня мучат? Но мучили меня лишь немножко, всего только два года, в пансионе Тушара, в который он меня тогда сунул и уехал навсегда. Потом меня никто не мучил; даже напротив, я сам гордо смотрел на товарищей. Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства! Ничего нет омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но наставительно завывать: «Вот, дескать, как поступили с нами!» Я бы сек этих сирот. Никто-то не поймет из этой гнусной казенщины, что в десять раз ему благороднее смолчать, а не

выть и не *удостаивать* жаловаться. А коли начал удостоивать, то так тебе, сыну любви, и надо. Вот моя мысль!

Но не то смешно, когда я мечтал прежде «под одеялом», а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв мои гласные цели. Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов. Тот документ, о котором говорил Крафт, то письмо этой женщины к Андроникову, которого так боится она, которое может сокрушить ее участь и ввергнуть ее в нищету и которое она предполагает у Версилова, — это письмо было не у Версилова, а у меня, зашито в моем боковом кармане! Я сам и зашивал, и никто во всем мире еще не знал об этом. То, что романическая Марья Ивановна, у которой документ находился «на сохранении», нашла нужным передать его мне, и никому иному, то были лишь ее взгляд и ее воля, и объяснять это я не обязан; может быть, когда-нибудь к слову и расскажу; но столь неожиданно вооруженный, я не мог не соблазниться желанием явиться в Петербург. Конечно, я полагал помочь этому человеку не иначе как втайне, не выставляясь и не горячась, не ожидая ни похвал, ни объятий его. И никогда, никогда бы я не *удостоил* попрекнуть его чем-нибудь! Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал? Да я даже, может быть, вовсе и не любил его! Его оригинальный ум, его любопытный характер, какие-то там его интриги и приключения и то, что была при нем моя мать, — всё это, казалось, уже не могло бы остановить меня; довольно было и того, что моя фантастическая кукла разбита и что я, может быть, уже не могу любить его больше. Итак, что же останавливало меня, на чем я завяз? — вот вопрос. В итоге выходило, что глуп только я, а более никто.

Но, требуя честности от других, буду честен и сам я должен сознаться, что зашитый в кармане документ возбуждал во мне не одно только страстное желание лететь на помощь Версилову. Теперь для меня это уж слишком ясно, хоть я и тогда уже краснел от мысли. Мне мерещилась женщина, гордое существо высшего света, с которою я встречусь лицом к лицу; она будет презирать меня, смеяться надо мной, как над мышью, даже и не подозревая, что я властелин судьбы ее. Эта мысль пьянила меня еще в Москве, и особенно в вагоне, когда я сюда ехал; я признался уже в этом выше. Да, я ненавидел эту женщину, но уже любил ее как мою жертву, и всё это правда, всё было действительно. Но уж это было такое детство, которого я даже и от

такого, как я, не ожидал. Я описываю тогдашние мои чувства, то есть то, что мне шло в голову тогда, когда я сидел в трактире под соловьем и когда порешил в тот же вечер разорвать с ними неминуемо. Мысль о давешней встрече с этой женщиной залила вдруг тогда краской стыда мое лицо. Позорная встреча! Позорное и глупенькое впечатленьице и — главное — сильнее всего доказавшее мою неспособность к делу! Оно доказывало лишь то, думал я тогда, что я не в силах устоять даже и пред глупейшими приманками, тогда как сам же сказал сейчас Крафту, что у меня есть «свое место», есть свое дело и что если б у меня было три жизни, то и тогда бы мне было их мало. Я гордо сказал это. То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, — это еще можно было бы чем-нибудь извинить; но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц, из стороны в сторону и затягиваюсь уже в каждые пустяки, в том, конечно, одна моя глупость. На какой ляд дернуло меня идти к Дергачеву и выскочить с моими глупостями, давно зная за собой, что ничего не сумею рассказать умно и толково и что мне всего выгоднее молчать? И какой-нибудь Васин вразумляет меня тем, что у меня еще «пятьдесят лет жизни впереди и, стало быть, тужить не о чем». Возражение его прекрасно, я согласен, и делает честь его бесспорному уму; прекрасно уже тем, что самое простое, а самое простое понимается всегда лишь под конец, когда уж перепробовано всё, что мудреней или глупей; но я знал это возражение и сам, раньше Васина; эту мысль я прочувствовал с лишком три года назад; даже мало того, в ней-то и заключается отчасти «моя идея». Вот что я думал тогда в трактире.

Гадко мне было, когда, усталый и от ходьбы и от мысли, добрался я вечером, часу уже в восьмом, в Семеновский полк. Совсем уже стемнело, и погода переменилась; было сухо, но подымался скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спину, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц простонародья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и промыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной-то, может быть, общей, всесоединяющей мысли в этой толпе! Крафт прав: все врознь. Мне встретился маленький мальчик, такой маленький, что странно, как он мог в такой час очутиться один на улице; он, кажется, потерял дорогу; одна баба остановилась было на минуту его выслушать, но ничего не поняла, развела руками и пошла дальше, оставив его одного в темноте. Я подошел было, но он с чего-то вдруг меня испугался и побежал

дальше.* Подходя к дому, я решил, что я к Васину никогда не пойду. Когда я всходил на лестницу, мне ужасно захотелось застать наших дома одних, без Версилова, чтоб успеть сказать до его прихода что-нибудь доброе матери или милой моей сестре, которой я в целый месяц не сказал почти ни одного особенного слова. Так и случилось, что его не было дома…

IV

А кстати: выводя в «Записках» это «новое лицо» на сцену (то есть я говорю про Версилова), приведу вкратце его формулярный список, ничего, впрочем, не означающий. Я это, чтобы было понятнее читателю и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем течении рассказа.

Он учился в университете, но поступил в гвардию, в кавалерийский полк. Женился на Фанариотовой и вышел в отставку. Ездил за границу и, воротясь, жил в Москве в светских удовольствиях. По смерти жены прибыл в деревню; тут эпизод с моей матерью. Потом долго жил где-то на юге. В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал* и всё время в деле не был. По окончании войны, выйдя в отставку, ездил за границу, и даже с моею матерью, которую, впрочем, оставил в Кенигсберге. Бедная рассказывала иногда с каким-то ужасом и качая головой, как она прожила тогда целые полгода, одна-одинешенька, с маленькой дочерью, не зная языка, точно в лесу, а под конец и без денег. Тогда приехала за нею Татьяна Павловна и отвезла ее назад, куда-то в Нижегородскую губернию. Потом Версилов вступил в мировые посредники первого призыва* и, говорят, прекрасно исполнял свое дело; но вскоре кинул его и в Петербурге стал заниматься ведением разных частных гражданских исков. Андроников всегда высоко ставил его способности, очень уважал его и говорил лишь, что не понимает его характера. Потом Версилов и это бросил и опять уехал за границу, и уже на долгий срок, на несколько лет. Затем начались особенно близкие связи с стариком князем Сокольским. Во всё это время денежные средства его изменялись раза два-три радикально: то совсем впадал в нищету, то опять вдруг богател и подымался.

А впрочем, теперь, доведя мои записки именно до этого пункта, я

решаюсь рассказать и «мою идею». Опишу ее в словах, в первый раз с ее зарождения. Я решаюсь, так сказать, открыть ее читателю, и тоже для ясности дальнейшего изложения. Да и не только читатель, а и сам я, сочинитель, начинаю путаться в трудности объяснять шаги мои, не объяснив, что вело и наталкивало меня на них. Этою «фигурою умолчания» я, от неуменья моего, впал опять в те «красоты» романистов, которые сам осмеял выше. Входя в дверь моего петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями, я нахожу это предисловие необходимым. Но не «красоты» соблазнили меня умолчать до сих пор, а и сущность дела, то есть трудность дела; даже теперь, когда уже прошло всё прошедшее, я ощущаю непреодолимую трудность рассказать эту «мысль». Кроме того, я, без сомнения, должен изложить ее в ее тогдашней форме, то есть как она сложилась и мыслилась у меня тогда, а не теперь, *а* это уже новая трудность. Рассказывать иные вещи почти невозможно. Именно те идеи, которые всех проще, всех яснее, — именно те-то и трудно понять. Если б Колумб перед открытием Америки стал рассказывать свою идею другим, я убежден, что его бы ужасно долго не поняли. Да и не понимали же. Говоря это, я вовсе не думаю равнять себя с Колумбом, и если кто выведет это, тому будет стыдно и больше ничего.

Глава пятая

I

Моя идея — это стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности.

Я повторяю: моя идея — это стать Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а именно как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели — об этом будет после. Сперва лишь докажу, что достижение моей цели обеспечено математически.

Дело очень простое, вся тайна в двух словах: *упорство* и *непрерывность*.

— Слышали, — скажут мне, — не новость. Всякий фатер[*] в

Германии повторяет это своим детям, а между тем ваш Ротшильд (то есть покойный Джемс Ротшильд, парижский, я о нем говорю) был всего только один, а фатеров мильоны.

Я ответил бы:

— Вы уверяете, что слышали, а между тем вы ничего не слышали. Правда, в одном и вы справедливы: если я сказал, что это дело «очень простое», то забыл прибавить, что и самое трудное. Все религии и все нравственности в мире сводятся на одно: «Надо любить добродетель и убегать пороков». Чего бы, кажется, проще? Ну-тка, сделайте-ка что-нибудь добродетельное и убегите хоть одного из ваших пороков, попробуйте-ка, — а? Так и тут.

Вот почему бесчисленные ваши фатеры в течение бесчисленных веков могут повторять эти удивительные два слова, составляющие весь секрет, а между тем Ротшильд остается один. Значит: то, да не то, и фатеры совсем не ту мысль повторяют.

Про упорство и непрерывность, без сомнения, слышали и они; но для достижения моей цели нужны не фатерское упорство и не фатерская непрерывность.

Уж одно слово, что он фатер, — я не об немцах одних говорю, — что у него семейство, он живет как и все, расходы как и у всех, обязанности как и у всех, — тут Ротшильдом не сделаешься, а станешь только умеренным человеком. Я же слишком ясно понимаю, что, став Ротшильдом или даже только пожелав им стать, но не по-фатерски, а серьезно, — я уже тем самым разом выхожу из общества.

Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из пароходов, умер один нищий, ходивший в отрепье, просивший милостыню, всем там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в его рубище до трех тысяч кредитными билетами. На днях я опять читал про одного нищего, из благородных, ходившего по трактирам и протягивавшего там руку. Его арестовали и нашли при нем до пяти тысяч рублей. Отсюда прямо два вывода: первый — *упорство* в накоплении, даже копеечными суммами, впоследствии дает громадные результаты (время тут ничего не значит), и второй — что самая нехитрая форма наживания, но лишь *непрерывная*, обеспечена в успехе математически.

Между тем есть, может быть, и очень довольно людей почтенных, умных и воздержных, но у которых (как ни бьются они) нет ни трех, ни

пяти тысяч и которым, однако, ужасно бы хотелось иметь их. Почему это так? Ответ ясный: потому что ни один из них, несмотря на всё их хотенье, все-таки не до такой степени *хочет*, чтобы, например, если уж никак нельзя иначе нажить, то стать даже и нищим; и не до такой степени упорен, чтобы, даже и став нищим, не растратить первых же полученных копеек на лишний кусок себе или своему семейству. Между тем при этом способе накопления, то есть при нищенстве, нужно питаться, чтобы скопить такие деньги, хлебом с солью и более ничем; по крайней мере я так понимаю. Так, наверно, делали и вышеозначенные двое нищих, то есть ели один хлеб, а жили чуть не под открытым небом. Сомнения нет, что намерения стать Ротшильдом у них не было: это были лишь Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их виде, не более; но и при сознательном наживании уже в совершенно другой форме, но с целью стать Ротшильдом, — потребуется не меньше хотения и силы воли, чем у этих двух нищих. Фатер такой силы не окажет. На свете силы многоразличны, силы воли и хотения особенно. Есть температура кипения воды и есть температура красного каления железа.

Тут тот же монастырь, те же подвиги схимничества. Тут чувство, а не идея. Для чего? Зачем? Нравственно ли это и не уродливо ли ходить в дерюге и есть черный хлеб всю жизнь, таская на себе такие деньжища? Эти вопросы потом, а теперь только о возможности достижения цели.

Когда я выдумал «мою идею» (а в красном-то каленье она и состоит), я стал себя пробовать: способен ли я на монастырь и на схимничество? С этою целью я целый первый месяц ел только один хлеб с водой. Черного хлеба выходило не более двух с половиною фунтов ежедневно. Чтобы исполнить это, я должен был обманывать умного Николая Семеновича и желавшую мне добра Марью Ивановну. Я настоял на том, к ее огорчению и к некоторому недоумению деликатнейшего Николая Семеновича, чтобы обед приносили в мою комнату. Там я просто истреблял его: суп выливал в окно в крапиву или в одно другое место, говядину — или кидал в окно собаке, или, завернув в бумагу, клал в карман и выносил потом вон, ну и всё прочее. Так как хлеба к обеду подавали гораздо менее двух с половиной фунтов, то потихоньку хлеб прикупал от себя. Я этот месяц выдержал, может быть только несколько расстроил желудок; но с следующего месяца я

прибавил к хлебу суп, а утром и вечером по стакану чаю — и, уверяю вас, так провел год в совершенном здоровье и довольстве, а нравственно — в упоении и в непрерывном тайном восхищении. Я не только не жалел о кушаньях, но был в восторге. По окончании года, убедившись, что я в состоянии выдержать какой угодно пост, я стал есть, как и они, и перешел обедать с ними вместе. Не удовлетворившись этой пробой, я сделал и вторую: на карманные расходы мои, кроме содержания, уплачиваемого Николаю Семеновичу, мне полагалось ежемесячно по пяти рублей. Я положил из них тратить лишь половину. Это было очень трудное испытание, но через два с лишком года, при приезде в Петербург, у меня в кармане, кроме других денег, было семьдесят рублей, накопленных единственно из этого сбережения. Результат двух этих опытов был для меня громадный: я узнал положительно, что могу настолько хотеть, что достигну моей цели, а в этом, повторяю, вся «моя идея»; дальнейшее — всё пустяки.

II

Однако рассмотрим и пустяки.

Я описал мои два опыта; в Петербурге, как известно уже, я сделал третий — сходил на аукцион и, за один удар, взял семь рублей девяносто пять копеек барыша. Конечно, это был не настоящий опыт, а так лишь — игра, утеха: захотелось выкрасть минутку из будущего и попытать, как это я буду ходить и действовать. Вообще же настоящий приступ к делу у меня был отложен, еще с самого начала, в Москве, до тех пор пока я буду совершенно свободен; я слишком понимал, что мне надо было хотя бы, например, сперва кончить с гимназией. (Университетом, как уже известно, я пожертвовал). Бесспорно, я ехал в Петербург с затаенным гневом: только что я сдал гимназию и стал в первый раз свободным, я вдруг увидел, что дела Версилова вновь отвлекут меня от начала дела на неизвестный срок! Но хоть и с гневом, а я все-таки ехал совершенно спокойный за цель мою.

Правда, я не знал практики; но я три года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал тысячу раз, как я приступлю: я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц наших (я выбрал для начала наши столицы, и именно Петербург,

которому, по некоторому расчету, отдал преимущество); итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров и имею затаенных в кармане сто рублей для первоначального оборотного капитала. Без ста рублей начинать невозможно, так как на слишком уже долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме ста рублей у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна. Уединение — главное: я ужасно не любил до самой последней минуты никаких сношений и ассоциаций с людьми; говоря вообще, начать «идею» я непременно положил один, это sine qua.[22] Люди мне тяжелы, и я был бы неспокоен духом, а беспокойство вредило бы цели. Да и вообще до сих пор, во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, — у меня всегда выходило очень умно; чуть же на деле — всегда очень глупо. И признаюсь в этом с негодованием и искренно, я всегда выдавал себя сам словами и торопился, а потому и решился сократить людей. В выигрыше — независимость, спокойствие духа, ясность цели.

Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более пятнадцати копеек на еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно; я положил, например, иногда по два дня сряду есть один хлеб с солью, но с тем чтобы на третий день истратить сбережения, сделанные в два дня; мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья, чем вечный ровный пост на минимуме в пятнадцать копеек. Затем, для житья моего мне нужен был угол, угол буквально, единственно чтобы выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. Жить я положил на улице, и за нужду я готов был ночевать в ночлежных приютах, где, сверх ночлега, дают кусок хлеба и стакан чаю. О, я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтобы их у меня в угле или в приюте не украли; и не подглядели бы даже, ручаюсь! «У меня-то украдут? Да я сам боюсь, у кого б не украсть», — слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца*. Конечно, я к себе из него применяю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намерен. Мало того, еще в Москве, может быть с самого первого дня «идеи», порешил, что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не буду: на это есть жиды да те из русских, у кого ни ума, ни характера. Заклад и процент — дело ординарности.

Что касается до одежи, то я положил иметь два костюма: расхожий

и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго; я два с половиной года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет: чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щеткой сколь возможно чаще, раз по пяти и шести в день. Щетки сукно не боится, говорю достоверно, а боится пыли и сору. Пыль — это те же камни, если смотреть в микроскоп, а щетка, как ни тверда, всё та же почти шерсть. Равномерно выучился я и сапоги носить: тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь набок. Выучиться этому можно в две недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся, в среднем выводе, на треть времени дольше. Опыт двух лет.

Затем начиналась уже самая деятельность.

Я шел из такого соображения: у меня сто рублей. В Петербурге же столько аукционов, распродаж, мелких лавочек на Толкучем и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь за столько-то, не продать ее несколько дороже. За альбом я взял семь рублей девяносто пять копеек барыша на два рубля пять копеек затраченного капитала. Этот огромный барыш взят был без риску: я по глазам видел, что покупщик не отступится. Разумеется, я слишком понимаю, что это только случай; но ведь таких-то случаев я и ищу, для того-то и порешил жить на улице. Ну пусть эти случаи даже слишком редки; всё равно, главным правилом будет у меня — не рисковать ничем, и второе — непременно в день хоть сколько-нибудь нажить сверх минимума, истраченного на мое содержание, для того чтобы ни единого дня не прерывалось накопление.

Мне скажут: всё это мечты, вы не знаете улицы, и вас с первого шага надуют. Но я имею волю и характер, а уличная наука есть наука, как и всякая, она дается упорству, вниманию и способностям. В гимназии я до самого седьмого класса был из первых, я был очень хорош в математике. Ну можно ли до такой кумирной степени превозносить опыт и уличную науку, чтобы непременно предсказывать неудачу! Это всегда только те говорят, которые никогда никакого опыта ни в чем не делали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовом. «Один расшиб нос, так непременно и другой расшибет его». Нет, не расшибу. У меня характер, и при внимании я всему выучусь. Ну есть ли возможность представить себе, что при беспрерывном упорстве, при беспрерывной зоркости взгляда и беспрерывном обдумывании и

расчете, при беспредельной деятельности и беготне, вы не дойдете наконец до знания, как ежедневно нажить лишний двугривенный? Главное, я порешил никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным. Там, дальше, уже нажив тысячу и другую, я бы, конечно, и невольно вышел из факторства[*] и уличного перекупства. Мне, конечно, слишком мало еще известны биржа, акции, банкирское дело и все прочее. Но, взамен того, мне известно как пять моих пальцев, что все эти биржи и банкирства я узнаю и изучу в свое время, как никто другой, и что наука эта явится совершенно просто, потому только, что до этого дойдет дело. Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая премудрость! Был бы только характер; уменье, ловкость, знание придут сами собою. Только бы не переставалось «хотеть».

Главное, не рисковать, а это именно возможно только лишь при характере. Еще недавно была, при мне уже, в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции, те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему, за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться: дескать, подождали бы, в десять бы раз больше взяли. Так-с, но моя премия вернее уже тем, что в кармане, а ваша-то еще летает. Скажут, что этак много не наживешь; извините, тут-то и ваша ошибка, ошибка всех этих наших Кокоревых, Поляковых, Губониных[*]. Узнайте истину: непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в сто на сто процентов!

Незадолго до французской революции явился в Париже некто Лоу[*] и затеял один, в принципе гениальный, проект (который потом на деле ужасно лопнул). Весь Париж взволновался; акции Лоу покупались нарасхват, до давки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа как из мешка; но и дома наконец недостало: публика толпилась на улице — всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, графини, маркизы, публичные женщины — всё сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой; чины, предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя — всё стопталось в одной грязи; всем жертвовали (даже женщины), чтобы добыть несколько акций. Подписка перешла наконец на улицу, но негде было писать. Тут одному горбуну предложили

уступить на время свой горб, в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился — можно представить, за какую цену! Некоторое время спустя (очень малое) всё обанкрутилось, всё лопнуло, вся идея полетела к черту, и акции потеряли всякую цену. Кто ж выиграл? Один горбун, именно потому, что брал не акции, а наличные луидоры. Ну-с, я вот и есть тот самый горбун! У меня достало же силы не есть и из копеек скопить семьдесят два рубля; достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки, всех охватившей, удержаться и предпочесть верные деньги большим. Я мелочен лишь в мелочах, но в великом — нет. На малое терпение у меня часто недоставало характера, даже и после зарождения «идеи», а на большое — всегда достанет. Когда мне мать подавала утром, перед тем как мне идти на службу, простылый кофей, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и на воде.

Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, — было бы неестественно. Неестественно тоже при беспрерывном и ровном накоплении, при беспрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержности, экономии, при энергии, всё возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщиком. Чем нажил нищий свои деньги, как не фанатизмом характера и упорством? Неужели я хуже нищего? «А наконец, пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь, всё равно — я иду. Иду потому, что так хочу». Вот что я говорил еще в Москве.

Мне скажут, что тут нет никакой «идеи» и ровнешенько ничего нового. А я скажу, и уже в последний раз, что тут бесчисленно много идеи и бесконечно много нового.

О, я ведь предчувствовал, как тривиальны будут все возражения и как тривиален буду я сам, излагая «идею»: ну что я высказал? Сотой доли не высказал; я чувствую, что вышло мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе моих лет.

III

Остаются ответы на «зачем» и «почему», «нравственно или нет» и пр., и пр., на это я обещал ответить.

Мне грустно, что разочарую читателя сразу, грустно, да и весело.

Пусть знают, что ровно никакого-таки чувства «мести» нет в целях моей «идеи», ничего байроновско-го — ни проклятия, ни жалоб сиротства, ни слез незаконнорожденности, ничего, ничего. Одним словом, романтическая дама, если бы ей попались мои записки, тотчас повесила бы нос. Вся цель моей «идеи» — уединение.

— Но уединения можно достигнуть вовсе не топорщась стать Ротшильдом. К чему тут Ротшильд?

— А к тому, что кроме уединения мне нужно и могущество.

Сделаю предисловие: читатель, может быть, ужаснется откровенности моей исповеди и простодушно спросит себя: как это не краснел сочинитель? Отвечу, я пишу не для издания; читателя же, вероятно, буду иметь разве через десять лет, когда всё уже до такой степени обозначится, пройдет и докажется, что краснеть уж нечего будет. А потому, если я иногда обращаюсь в записках к читателю, то это только прием. Мой читатель — лицо фантастическое.

Нет, не незаконнорожденность, которою так дразнили меня у Тушара, не детские грустные годы, не месть и не право протеста явились началом моей «идеи»; вина всему — один мой характер. С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому, в чистые минуты мои, что я никак не могу всего высказать даже близким людям, то есть и мог бы, да не хочу, почему-то удерживаюсь; что я недоверчив, угрюм и несообщителен. Опять-таки, я давно уже заметил в себе черту, чуть не с детства, что слишком часто обвиняю, слишком наклонен к обвинению других; но за этой наклонностью весьма часто немедленно следовала другая мысль, слишком уже для меня тяжелая: «Не я ли сам виноват вместо них?» И как часто я обвинял себя напрасно! Чтоб не разрешать подобных вопросов, я, естественно, искал уединения. К тому же и не находил ничего в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного, оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения.

Да, я сумрачен, я беспрерывно закрываюсь. Я часто желаю выйти из общества. Я, может быть, и буду делать добро людям, но часто не вижу ни малейшей причины им делать добро. И совсем люди не так прекрасны, чтоб о них так заботиться. Зачем они не подходят прямо и откровенно и к чему я непременно сам и первый обязан к ним лезть? —

вот о чем я себя спрашивал. Я существо благодарное и доказал это уже сотнею дурачеств. Я мигом бы отвечал откровенному откровенностью и тотчас же стал бы любить его. Так я и делал; но все они тотчас же меня надували и с насмешкой от меня закрывались. Самый открытый из всех был Ламберт, очень бивший меня в детстве; но и тот — лишь открытый подлец и разбойник; да и тут открытость его лишь из глупости. Вот мои мысли, когда я приехал в Петербург.

Выйдя тогда от Дергачева (к которому бог знает зачем меня сунуло), я подошел к Васину и, в порыве восторженности, расхвалил его. И что же? В тот же вечер я уже почувствовал, что гораздо меньше люблю его. Почему? Именно потому, что, расхвалив его, я тем самым принизил перед ним себя. Между тем, казалось бы, обратно: человек настолько справедливый и великодушный, что воздает другому, даже в ущерб себе, такой человек чуть ли не выше, по собственному достоинству, всякого. И что же — я это понимал, а все-таки меньше любил Васина, даже очень меньше любил, я нарочно беру пример, уже известный читателю. Даже про Крафта вспоминал с горьким и кислым чувством за то, что тот меня вывел сам в переднюю, и так было вплоть до другого дня, когда уже всё совершенно про Крафта разъяснилось и сердиться нельзя было. С самых низших классов гимназии, чуть кто-нибудь из товарищей опережал меня или в науках, или в острых ответах, или в физической силе, я тотчас же переставал с ним водиться и говорить. Не то чтоб я его ненавидел или желал ему неудачи; просто отвертывался, потому что таков мой характер.

Да, я жаждал могущества всю мою жизнь, могущества и уединения. Я мечтал о том даже в таких еще летах, когда уж решительно всякий засмеялся бы мне в глаза, если б разобрал, что у меня под черепом. Вот почему я так полюбил тайну. Да, я мечтал изо всех сил и до того, что мне некогда было разговаривать; из этого вывели, что я нелюдим, а из рассеянности моей делали еще сквернее выводы на мой счет, но розовые щеки мои доказывали противное.

Особенно счастлив я был, когда, ложась спать и закрываясь одеялом, начинал уже один, в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них звука, пересоздавать жизнь на иной лад. Самая яростная мечтательность сопровождала меня вплоть до открытия «идеи», когда все мечты из глупых разом стали разумными и из мечтательной формы романа перешли в рассудочную форму

действительности.

Всё слилось в одну цель. Они, впрочем, и прежде были не так уж очень глупы, хотя их была тьма тем и тысяча тысяч. Но были любимые… Впрочем, не приводить же их здесь.*

Могущество! Я убежден, что очень многим стало бы очень смешно, если б узнали, что такая «дрянь» бьет на могущество. Но я еще более изумлю: может быть, с самых первых мечтаний моих, то есть чуть ли не с самого детства, я иначе не мог вообразить себя как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни. Прибавлю странное признание: может быть, это продолжается еще до сих пор. При этом замечу, что я прощения не прошу.

В том-то и «идея» моя, в том-то и сила ее, что деньги — это единственный путь, который приводит на *первое место* даже ничтожество. Я, может быть, и не ничтожество, но я, например, знаю, по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, — кто будет справляться с лицом моим и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне с своими красотами? Я даже уверен, что они сами, совершенно искренно, станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и умен. Но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек в восемь пядей во лбу — и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут подле меня! Я, может быть, остроумен; но вот подле меня Талейран, Пирон* — и я затемнен, а чуть я Ротшильд — где Пирон, да может быть, где и Талейран? Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства. Всё это я решил еще в Москве.

Вы в этой мысли увидите, конечно, одно нахальство, насилие, торжество ничтожества над талантами. Согласен, что мысль эта дерзка (а потому сладостна). Но пусть, пусть: вы думаете, я желал тогда могущества, чтоб непременно давить, мстить? В том-то и дело, что так непременно поступила бы ординарность. Мало того, я уверен, что тысячи талантов и умников, столь возвышающихся, если б вдруг навалить на них ротшильдские миллионы, тут же не выдержали бы и поступили бы как самая пошлая ординарность и давили бы пуще всех. Моя идея не та. Я денег не боюсь; они меня не придавят и давить не

заставят.

Мне не нужно денег, или, лучше, мне не деньги нужны; даже и не могущество; мне нужно лишь то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества: это уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода! Я начертал наконец это великое слово… Да, уединенное сознание силы — обаятельно и прекрасно. У меня сила, и я спокоен. Громы в руках Юпитера, и что ж: он спокоен; часто ли слышно, что он загремит? Дураку покажется, что он спит. А посади на место Юпитера какого-нибудь литератора или дуру деревенскую бабу — грому-то, грому-то что будет!

Будь только у меня могущество, рассуждал я, мне и не понадобится оно вовсе; уверяю, что сам, по своей воле, займу везде последнее место. Будь я Ротшильд, я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком. Какое мне дело, что меня толкают на улице, что я принужден перебегать впрыпрыжку по грязи, чтоб меня не раздавили извозчики. Сознание, что это я сам Ротшильд, даже веселило бы меня в ту минуту. Я знаю, что у меня может быть обед, как ни у кого, и первый в свете повар, с меня довольно, что я это знаю. Я съем кусок хлеба и ветчины и буду сыт моим сознанием. Я даже теперь так думаю.

Не я буду лезть в аристократию, а она полезет ко мне, не я буду гоняться за женщинами, а они набегут как вода, предлагая мне всё, что может предложить женщина. «Пошлые» прибегут за деньгами, а умных привлечет любопытство к странному, гордому, закрытому и ко всему равнодушному существу. Я буду ласков и с теми и с другими и, может быть, дам им денег, но сам от них ничего не возьму. Любопытство рождает страсть, может быть, я и внушу страсть. Они уйдут ни с чем, уверяю вас, только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

> …с меня довольно
> Сего сознанья.*

Странно то, что этой картинкой (впрочем, верной) я прельщался еще семнадцати лет.

Давить и мучить я никого не хочу и не буду; но я знаю, что если б

захотел погубить такого-то человека, врага моего, то никто бы мне в том не воспрепятствовал, а все бы подслужились; и опять довольно. Никому бы я даже не отомстил. Я всегда удивлялся, как мог согласиться Джемс Ротшильд стать бароном![*] Зачем, для чего, когда он и без того всех выше на свете? «О, пусть обижает меня этот нахал генерал, на станции, где мы оба ждем лошадей; если б знал он, кто я, он побежал бы сам их запрягать и выскочил бы сажать меня в скромный мой тарантас! Писали, что один заграничный граф или барон на одной венской железной дороге надевал одному тамошнему банкиру, при публике, на ноги туфли, а тот был так ординарен, что допустил это.[*] О, пусть, пусть эта страшная красавица (именно страшная, есть такие!) — эта дочь этой пышной и знатной аристократки, случайно встретясь со мной на пароходе или где-нибудь, косится и, вздернув нос, с презрением удивляется, как смел попасть в первое место, с нею рядом, этот скромный и плюгавый человечек с книжкой или с газетой в руках? Но если б только знала она, кто сидит подле нее! И она узнает — узнает и сядет подле меня сама, покорная, робкая, ласковая, ища моего взгляда, радостная от моей улыбки…» Я нарочно вставляю эти ранние картинки, чтоб ярче выразить мысль; но картинки бледны и, может быть, тривиальны. Одна действительность всё оправдывает.

Скажут, глупо так жить: зачем не иметь отеля, открытого дома, не собирать общества, не иметь влияния, не жениться? Но чем же станет тогда Ротшильд? Он станет как все. Вся прелесть «идеи» исчезнет, вся нравственная сила ее. Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и теперь.

«Но ваш идеал слишком низок, — скажут с презрением, — деньги, богатство! То ли дело общественная польза, гуманные подвиги?»

Но почем кто знает, как бы я употребил мое богатство? Чем безнравственно и чем низко то, что из множества жидовских, вредных и грязных рук эти миллионы стекутся в руки трезвого и твердого схимника, зорко всматривающегося в мир? Вообще, все эти мечты о будущем, все эти гадания — всё это теперь еще как роман, и я, может быть, напрасно записываю; пускай бы оставалось под черепом; знаю тоже, что этих строк, может быть, никто не прочтет; но если б кто и прочел, то поверил ли бы он, что, может быть, я бы и не вынес ротшильдских миллионов? Не потому, чтоб придавили они меня, а

совсем в другом смысле, в обратном. В мечтах моих я уже не раз схватывал тот момент в будущем, когда сознание мое будет слишком удовлетворено, а могущества покажется слишком мало. Тогда — не от скуки и не от бесцельной тоски, а оттого, что безбрежно пожелаю большего, — я отдам все мои миллионы людям; пусть общество распределит там всё мое богатство, — а я — я вновь смешаюсь с ничтожеством! Может быть, даже обращусь в того нищего, который умер на пароходе, с тою разницею, что в рубище моем не найдут ничего зашитого. Одно сознание о том, что в руках моих были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, кормило бы меня в моей пустыне.* Я и теперь готов так же мыслить. Да, моя «идея» — это та крепость, в которую я всегда и во всяком случае могу скрыться от всех людей, хотя бы и нищим, умершим на пароходе. Вот моя поэма! И знайте, что мне именно нужна моя порочная воля *вся,* — единственно чтоб доказать *самому себе*, что я в силах от нее отказаться.

Без сомнения, возразят, что это уж поэзия и что никогда я не выпущу миллионов, если они попадутся, и не обращусь в саратовского нищего. Может быть, и не выпущу; я начертал лишь идеал моей мысли. Но прибавлю уже серьезно: если б я дошел, в накоплении богатства, до такой цифры, как у Ротшильда, то действительно могло бы кончиться тем, что я бросил бы их обществу. (Впрочем, раньше ротшильдской цифры трудно бы было это исполнить). И не половину бы отдал, потому что тогда вышла бы одна пошлость: я стал бы только вдвое беднее и больше ничего; но именно всё, всё до копейки, потому что, став нищим, я вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда! Если этого не поймут, то я не виноват; разъяснять не буду!

«Факирство, поэзия ничтожества и бессилия! — решат люди, — торжество бесталанности и средины». Да, сознаюсь, что отчасти торжество и бесталанности и средины, но вряд ли бессилия. Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я — бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились. Сознаюсь, я доводил эту фантазию до таких окраин, что похеривал даже самое образование. Мне казалось, что красивее будет, если человек этот будет даже грязно необразованным. Эта, уже

утрированная, мечта повлияла даже тогда на мой успех в седьмом классе гимназии; я перестал учиться именно из фанатизма: без образования будто прибавлялось красоты к идеалу. Теперь я изменил убеждение в этом пункте; образование не помешает.

Господа, неужели независимость мысли, хотя бы и самая малая, столь тяжела для вас? Блажен, кто имеет идеал красоты, хотя бы даже ошибочный! Но в свой я верую. Я только не так изложил его, неумело, азбучно. Через десять лет, конечно, изложил бы лучше. А это сберегу на память.

IV

Я кончил «идею». Если описал пошло, поверхностно — виноват я, а не «идея». Я уже предупредил, что простейшие идеи понимаются всех труднее; теперь прибавлю, что и излагаются труднее, тем более что я описывал «идею» еще в прежнем виде. Есть и обратный закон для идей: идеи пошлые, скорые — понимаются необыкновенно быстро, и непременно толпой, непременно всей улицей; мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но — лишь в день своего появления. Дешевое не прочно. Быстрое понимание — лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка* стала вмиг гениальною, а сам Бисмарк — гением; но именно подозрительна эта быстрота: я жду Бисмарка через десять лет, и увидим тогда, что останется от его идеи, а может быть, и от самого господина канцлера. Эту в высшей степени постороннюю и не подходящую к делу заметку я вставляю, конечно, не для сравнения, а тоже для памяти. (Разъяснение для слишком уж грубого читателя).

А теперь расскажу два анекдота, чтобы тем покончить с «идеей» совсем и так, чтоб она ничем уж не мешала в рассказе.

Летом, в июле, за два месяца до поездки в Петербург и когда я уже стал совершенно свободен, Марья Ивановна попросила меня съездить в Троицкий посад к одной старой поселившейся там девице с одним поручением — весьма неинтересным, чтобы упоминать о нем в подробности. Возвращаясь в тот же день, я заметил в вагоне одного плюгавенького молодого человека*, недурно, но нечисто одетого, угреватого, из грязновато-смуглых брюнетов. Он отличался тем, что на каждой станции я полустанции непременно выходил и пил водку. Под

конец пути образовался около него веселый кружок весьма дрянной, впрочем, компании. Особенно восхищался один купец, тоже немного пьяный, способностью молодого человека пить беспрерывно, оставаясь трезвым. Очень доволен был и еще один молодой парень, ужасно глупый и ужасно много говоривший, одетый по-немецки и от которого весьма скверно пахло, — лакей, как я узнал после; этот с пившим молодым человеком даже подружился и при каждой остановке поезда поднимал его приглашением: «Теперь пора водку пить» — и оба выходили обнявшись. Пивший молодой человек почти совсем не говорил ни слова, а собеседников около него усаживалось всё больше и больше; он только всех слушал, беспрерывно ухмылялся с слюнявым хихиканьем и, от времени до времени, но всегда неожиданно, производил какой-то звук, вроде «тюр-люр-лю!», причем как-то очень карикатурно подносил палец к своему носу. Это-то и веселило и купца, и лакея, и всех, и они чрезвычайно громко и развязно смеялись. Понять нельзя, чему иногда смеются люди. Подошел и я — и не понимаю, почему мне этот молодой человек тоже как бы понравился; может быть, слишком ярким нарушением общепринятых и оказенившихся приличий, — словом, я не разглядел дурака; однако с ним сошелся тогда же на *ты* и, выходя из вагона, узнал от него, что он вечером, часу в девятом, придет на Тверской бульвар. Оказался он бывшим студентом. Я пришел на бульвар, и вот какой штуке он меня научил: мы ходили с ним вдвоем по всем бульварам и чуть попозже замечали идущую женщину из порядочных, но так, что кругом близко не было публики, как тотчас же приставали к ней.[*] Не говоря с ней ни слова, мы помещались, он по одну сторону, а я по другую, и с самым спокойным видом, как будто совсем не замечая ее, начинали между собой самый неблагопристойный разговор. Мы называли предметы их собственными именами, с самым безмятежным видом и как будто так следует, и пускались в такие тонкости, объясняя разные скверности и свинства, что самое грязное воображение самого грязного развратника того бы не выдумало. (Я, конечно, все эти знания приобрел еще в школах, даже еще до гимназии, но лишь слова, а не дело). Женщина очень пугалась, быстро торопилась уйти, но мы тоже учащали шаги и — продолжали свое. Жертве, конечно, ничего нельзя было сделать, не кричать же ей: свидетелей нет, да и странно как-то жаловаться. В этих забавах прошло дней восемь; не понимаю, как могло это мне понравиться; да и не

нравилось же, а так. Мне сперва казалось это оригинальным, как бы выходившим из обыденных казенных условий; к тому же я терпеть не мог женщин. Я сообщил раз студенту, что Жан-Жак Руссо признается в своей «Исповеди», что он, уже юношей, любил потихоньку из-за угла выставлять, обнажив их, обыкновенно закрываемые части тела и поджидал в таком виде проходивших женщин[*]. Студент ответил мне своим «тюр-люр-лю». Я заметил, что он был страшно невежествен и удивительно мало чем интересовался. Никакой затаенной идеи, которую я ожидал в нем найти. Вместо оригинальности я нашел лишь подавляющее однообразие. Я не любил его всё больше и больше. Наконец всё кончилось совсем неожиданно: мы пристали раз, уже совсем в темноте, к одной быстро и робко проходившей по бульвару девушке, очень молоденькой, может быть только лет шестнадцати или еще меньше, очень чисто и скромно одетой, может быть живущей трудом своим и возвращавшейся домой с занятий, к старушке матери, бедной вдове с детьми; впрочем, нечего впадать в чувствительность. Девочка некоторое время слушала и спешила-спешила, наклонив голову и закрывшись вуалем, боясь и трепеща, но вдруг остановилась, откинула вуаль с своего очень недурного, сколько помню, но худенького лица и с сверкающими глазами крикнула нам:

— Ах, какие вы подлецы!

Может быть, тут и заплакала бы, но произошло другое: размахнулась и своею маленькой тощей рукой влепила студенту такую пощечину, которой ловче, может быть, никогда не было дано. Так и хлястнуло! Он было выбранился и бросился, но я удержал, и девочка успела убежать. Оставшись, мы тотчас поссорились: я высказал всё, что у меня за всё время на него накипело; высказал ему, что он лишь жалкая бездарность и ординарность и что в нем никогда не было ни малейшего признака идеи. Он выбранил меня… (я раз объяснил ему насчет моей незаконнорожденности), затем мы расплевались, и с тех пор я его не видал. В тот вечер я очень досадовал, на другой день не так много, на третий совсем забыл. И что ж, хоть и вспоминалась мне иногда потом эта девочка, но лишь случайно и мельком. Только по приезде в Петербург, недели две спустя, я вдруг вспомнил о всей этой сцене, — вспомнил, и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слезы стыда потекли по щекам моим. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять *сначала* не мог, как можно было так низко и

позорно тогда упасть и, главное — забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только теперь я осмыслил, в чем дело: виною была «идея». Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят, — как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню, и всё, что случается, проходит лишь вскользь, мимо главного. Даже впечатления принимаются неправильно. И кроме того, главное в том, что имеешь всегда отговорку. Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру: «Э, у меня „идея“, а то всё мелочи» — вот что я как бы говорил себе. Меня самого оскорбляли, и больно, — я уходил оскорбленный и потом вдруг говорил себе: «Э, я низок, а все-таки у меня „идея“, и они не знают об этом». «Идея» утешала в позоре и ничтожестве; но и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею; она, так сказать, всё облегчала, но и всё заволакивала передо мной; но такое неясное понимание случаев и вещей, конечно, может вредить даже и самой «идее», не говоря о прочем.

Теперь другой анекдот.

Марья Ивановна, первого апреля прошлого года, была именинница. Ввечеру пришло несколько гостей, очень немного. Вдруг входит запыхавшись Аграфена и объявляет, что в сенях, перед кухней, пищит подкинутый младенец и что она не знает, как быть. Известие всех взволновало, все пошли и увидели лукошко, а в лукошке — трех— или четырехнедельную пищавшую девочку. Я взял лукошко и внес в кухню и тотчас нашел сложенную записку: «Милые благодетели, окажите доброжелательную помощь окрещенной девочке Арине; а мы с ней за вас будем завсегда воссылать к престолу слезы наши, и поздравляем вас с днем тезоименитства; неизвестные вам люди». Тут Николай Семенович, столь мною уважаемый, очень огорчил меня: он сделал очень серьезную мину и решил отослать девочку немедленно в воспитательный дом. Мне очень стало грустно. Они жили очень экономно, но не имели детей, и Николай Семенович был всегда этому рад. Я бережно вынул из лукошка Ариночку и приподнял ее за плечики; из лукошка пахло каким-то кислым и острым запахом, какой бывает от долго не мытого грудного ребеночка. Поспорив с Николаем Семеновичем, я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет. Тот стал возражать с некоторою строгостью, несмотря на всю свою мягкость, и хоть кончил шуткой, но намерение насчет воспитательного

оставил во всей силе. Однако сделалось по-моему: на том же дворе, но в другом флигеле, жил очень бедный столяр, человек уже пожилой и пивший; но у жены его, очень еще не старой и очень здоровой бабы, только что помер грудной ребеночек и, главное, единственный, родившийся после восьми лет бесплодного брака, тоже девочка и, по странному счастью, тоже Ариночка. Я говорю, по счастью, потому что когда мы спорили в кухне, эта баба, услыхав о случае, прибежала поглядеть, а когда узнала, что это Ариночка, — умилилась. Молоко еще у ней не прошло, она открыла грудь и приложила к груди ребенка. Я припал к ней и стал просить, чтоб унесла к себе, а что я буду платить ежемесячно. Она боялась, позволит ли муж, но взяла на ночь. Наутро муж позволил за восемь рублей в месяц, и я тут же отсчитал ему за первый месяц вперед; тот тотчас же пропил деньги. Николай Семенович, всё еще странно улыбаясь, согласился поручиться за меня столяру, что деньги, по восьми рублей ежемесячно, будут вноситься мною неуклонно. Я было стал отдавать Николаю Семеновичу, чтоб обеспечить его, мои шестьдесят рублей на руки, но он не взял; впрочем, он знал, что у меня есть деньги, и верил мне. Этою деликатностью его наша минутная ссора была изглажена. Марья Ивановна ничего не говорила, но удивлялась, как я беру такую заботу. Я особенно оценил их деликатность в том, что они оба не позволили себе ни малейшей шутки надо мною, а стали, напротив, относиться к делу так же серьезно, как и следовало. Я каждый день бегал к Дарье Родивоновне, раза по три, а через неделю подарил ей лично, в руку, потихоньку от мужа, еще три рубля. На другие три рубля я завел одеяльце и пеленки. Но через десять дней Риночка вдруг заболела. Я тотчас привез доктора, он что-то прописал, и мы провозились всю ночь, мучая крошку его скверным лекарством, а на другой день он объявил, что уже поздно, и на просьбы мои — а впрочем, кажется, на укоры — произнес с благородною уклончивостью: «Я не бог». Язычок, губки и весь рот у девочки покрылись какой-то мелкой белой сыпью, и она к вечеру же умерла, упирая в меня свои большие черные глазки, как будто она уже понимала. Не понимаю, как не пришло мне на мысль снять с нее, с мертвенькой, фотографию. Ну, поверят ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер, чего прежде никогда не позволял себе, и Марья Ивановна принуждена была утешать меня — и опять-таки совершенно без насмешки ни с ее, ни с его стороны. Столяр же сделал и гробик;

Марья Ивановна отделала его рюшем и положила хорошенькую подушечку, а я купил цветов и обсыпал ребеночка: так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверят ли, до сих пор не могу позабыть. Немного, однако, спустя всё это почти внезапное происшествие заставило меня даже очень задуматься. Конечно, Риночка обошлась недорого — со всем: с гробиком, с погребением, с доктором, с цветами и с платой Дарье Родивоновне — тридцать рублей. Эти деньги, отъезжая в Петербург, я наверстал на присланных мне на выезд Версиловым сорока рублях и продажею кой-каких вещиц перед отъездом, так что весь мой «капитал» остался неприкосновенным. «Но, — подумал я, — если я буду так сбиваться в сторону, то недалеко уеду». В истории с студентом выходило, что «идея» может увлечь до неясности впечатлений и отвлечь от текущей действительности. Из истории с Риночкой выходило обратное, что никакая «идея» не в силах увлечь (по крайней мере меня) до того, чтоб я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи». Оба вывода были тем не менее верны.

Глава шестая

I

Надежды мои не сбылись вполне — я не застал их одних: хоть Версилова и не было, но у матери сидела Татьяна Павловна — все-таки чужой человек. Половина великодушного расположения разом с меня соскочила. Удивительно, как я скор и перевертлив в подобных случаях; песчинки или волоска достаточно, чтобы разогнать хорошее и заменить дурным. Дурные же впечатления мои, к моему сожалению, не так скоро изгоняются, хоть я и не злопамятен. Когда я вошел, мне мелькнуло, что мать тотчас же и быстро прервала нить своего разговора с Татьяной Павловной, кажется весьма оживленного. Сестра воротилась с работы передо мной лишь за минуту и еще не выходила из своей каморки.

Квартира эта состояла из трех комнат. Та, в которой все, по обыкновению, сидели, серединная комната, или гостиная, была у нас довольно большая и почти приличная. В ней всё же были мягкие

красные диваны, очень, впрочем, истертые (Версилов не терпел чехлов), кой-какие ковры, несколько столов и ненужных столиков. Затем, направо, находилась комната Версилова, тесная и узкая, в одно окно; в ней стоял жалкий письменный стол, на котором валялось несколько неупотребляемых книг и забытых бумаг, а перед столом не менее жалкое мягкое кресло, со сломанной и поднявшейся вверх углом пружиной, от которой часто стонал Версилов и бранился. В этом же кабинете, на мягком и тоже истасканном диване, стлали ему и спать; он ненавидел этот свой кабинет и, кажется, ничего в нем не делал, а предпочитал сидеть праздно в гостиной по целым часам. Налево из гостиной была точно такая же комнатка, в ней спали мать и сестра. В гостиную входили из коридора, который оканчивался входом в кухню, где жила кухарка Лукерья, и когда стряпала, то чадила пригорелым маслом на всю квартиру немилосердно. Бывали минуты, когда Версилов громко проклинал свою жизнь и участь из-за этого кухонного чада, и в этом одном я ему вполне сочувствовал; я тоже ненавижу эти запахи, хотя они и не проникали ко мне: я жил вверху в светелке, под крышей, куда подымался по чрезвычайно крутой и скрипучей лесенке. Там у меня было достопримечательного — полукруглое окно, ужасно низкий потолок, клеенчатый диван, на котором Лукерья к ночи постилала мне простыню и клала подушку, а прочей мебели лишь два предмета — простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул.

Впрочем, все-таки у нас сохранялись остатки некоторого, когда-то бывшего комфорта; в гостиной, например, имелась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стене висела превосходная большая гравюра дрезденской Мадонны[*] и тут же напротив, на другой стене, дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот флорентийского собора[*]. В этой же комнате в углу висел большой киот с старинными фамильными образами, из которых на одном (всех святых) была большая выволоченная серебряная риза, та самая, которую хотели закладывать, а на другом (на образе божьей матери) — риза бархатная, вышитая жемчугом. Перед образами висела лампадка, зажигавшаяся под каждый праздник. Версилов к образам, в смысле их значения, был очевидно равнодушен и только морщился иногда, видимо сдерживая себя, от отраженного от золоченой ризы света лампадки, слегка жалуясь, что это вредит его зрению, но всё же не мешал матери зажигать.

Я обыкновенно входил молча и угрюмо, смотря куда-нибудь в угол, а иногда входя не здоровался. Возвращался же всегда ранее этого раза, и мне подавали обедать наверх. Войдя теперь, я вдруг сказал: «Здравствуйте, мама», чего никогда прежде не делывал, хотя как-то все-таки, от стыдливости, не мог и в этот раз заставить себя посмотреть на нее, и уселся в противоположном конце комнаты. Я очень устал, но о том не думал.

— Этот неуч всё так же у вас продолжает входить невежей, как и прежде, — прошипела на меня Татьяна Павловна; ругательные слова она и прежде себе позволяла, и это вошло уже между мною и ею в обычай.

— Здравствуй… — ответила мать, как бы тотчас же потерявшись оттого, что я с ней поздоровался.

— Кушать давно готово, — прибавила она, почти сконфузившись, — суп только бы не простыл, а котлетки я сейчас велю… — Она было стала поспешно вставать, чтоб идти на кухню, и в первый раз, может быть, в целый месяц мне вдруг стало стыдно, что она слишком уж проворно вскакивает для моих услуг, тогда как до сих пор сам же я того требовал.

— Покорно благодарю, мама, я уж обедал. Если не помешаю, я здесь отдохну.

— Ах… что ж… отчего же, посиди…

— Не беспокойтесь, мама, я грубить Андрею Петровичу больше не стану, — отрезал я разом…

— Ах, господи, какое с его стороны великодушие! — крикнула Татьяна Павловна. — Голубчик Соня, — да не ужели ты всё продолжаешь говорить ему *вы?* Да кто он такой, чтоб ему такие почести, да еще от родной своей матери! Посмотри, ведь ты вся законфузилась перед ним, срам!

— Мне самому очень было бы приятно, если б вы, мама, говорили мне *ты.*

— Ах… Ну и хорошо, ну и буду, — заторопилась мать, — я— я ведь не всегда же… ну, с этих пор знать и буду.

Она вся покраснела. Решительно ее лицо бывало иногда чрезвычайно привлекательно… Лицо у ней было простодушное, но вовсе не простоватое, немного бледное, малокровное. Щеки ее были очень худы, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скопляться

морщинки, но около глаз их еще не было, и глаза, довольно большие и открытые, сияли всегда тихим и спокойным светом, который меня привлек к ней с самого первого дня. Любил я тоже, что в лице ее вовсе не было ничего такого грустного или ущемленного; напротив, выражение его было бы даже веселое, если б она не тревожилась так часто, совсем иногда попусту, пугаясь и схватываясь с места иногда совсем из-за ничего или вслушиваясь испуганно в чей-нибудь новый разговор, пока не уверялась, что всё по-прежнему хорошо. Всё хорошо — именно значило у ней, коли «всё по-прежнему». Только бы не изменялось, только бы нового чего не произошло, хотя бы даже счастливого!.. Можно было подумать, что ее в детстве как-нибудь испугали. Кроме глаз ее нравился мне овал ее продолговатого лица, и, кажется, если б только на капельку были менее широки ее скулы, то не только в молодости, но даже и теперь она могла бы назваться красивою. Теперь же ей было не более тридцати девяти, но в темно-русых волосах ее уже сильно проскакивали сединки.

Татьяна Павловна взглянула на нее с решительным негодованием.

— Этакому-то бутузу! И так перед ним дрожать! Смешная ты, Софья; сердишь ты меня, вот что!

— Ах, Татьяна Павловна, зачем бы вам так с ним теперь! Да вы шутите, может, а? — прибавила мать, приметив что-то вроде улыбки на лице Татьяны Павловны. Татьяны Павловнину брань и впрямь иногда нельзя было принять за серьезное, но улыбнулась она (если только улыбнулась), конечно, лишь на мать, потому что ужасно любила ее доброту и уж без сомнения заметила, как в ту минуту она была счастлива моею покорностью.

— Я, конечно, не могу не почувствовать, если вы сами бросаетесь на людей, Татьяна Павловна, и именно тогда, когда я, войдя, сказал «здравствуйте, мама», чего прежде никогда не делал, — нашел я наконец нужным ей заметить.

— Представьте себе, — вскипела она тотчас же, — он считает это за подвиг? На коленках, что ли, стоять перед тобой, что ты раз в жизни вежливость оказал? Да и это ли вежливость! Что ты в угол-то смотришь, входя? Разве я не знаю, как ты перед нею рвешь и мечешь! Мог бы и мне сказать «здравствуй», я пеленала тебя, я твоя крестная мать.

Разумеется, я пренебрег отвечать. В ту минуту как раз вошла сестра, и я поскорее обратился к ней:

— Лиза, я сегодня видел Васина, и он у меня про тебя спросил. Ты знакома?

— Да, в Луге, прошлого года, — совершенно просто ответила она, садясь подле и ласково на меня посмотрев. Не знаю почему, мне казалось, что она так и вспыхнет, когда я ей расскажу про Васина. Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не в отца волосами; но глаза, овал лица были почти как у матери. Нос очень прямой, небольшой и правильный; впрочем, и еще особенность — мелкие веснушки в лице, чего совсем у матери не было. Версиловского было очень немного, разве тонкость стана, не малый рост и что-то такое прелестное в походке. Со мной же ни малейшего сходства; два противоположных полюса.

— Я их месяца три знала, — прибавила Лиза.

— Это ты про Васина говоришь *их,* Лиза? Надо сказать *его,* а не *их.* Извини, сестра, что я поправляю, но мне горько, что воспитанием твоим, кажется, совсем пренебрегли.

— А при матери низко об этом замечать, с твоей стороны, — так и вспыхнула Татьяна Павловна, — и врешь ты, вовсе не пренебрегли.

— Ничего я и не говорю про мать, — резко вступился я, — знайте, мама, что я смотрю на Лизу как на вторую вас; вы сделали из нее такую же прелесть по доброте и характеру, какою, наверно, были вы сами, и есть теперь, до сих пор, и будете вечно… Я лишь про наружный лоск, про все эти светские глупости, впрочем необходимые. Я только о том негодую, что Версилов, услышав, что ты про Васина выговариваешь *их, а* не *его,* наверно, не поправил бы тебя вовсе — до того он высокомерен и равнодушен с нами. Вот что меня бесит!

— Сам-то медвежонок, а туда же лоску учит. Не смейте, сударь, впредь при матери говорить: «Версилов», равно и в моем присутствии, — не стерплю! — засверкала Татьяна Павловна.

— Мама, я сегодня жалованье получил, пятьдесят рублей, возьмите, пожалуйста, вот!

Я подошел и подал ей деньги; она тотчас же затревожилась.

— Ах, не знаю, как взять-то! — проговорила она, как бы боясь дотронуться до денег.

Я не понял.

— Помилуйте, мама, если вы обе считаете меня в семье как сына и брата, то…

— Ах, виновата я перед тобою, Аркадий; призналась бы тебе кое в чем, да боюсь тебя уж очень…

Сказала она это с робкою и заискивающею улыбкой; я опять не понял и перебил:

— Кстати, известно вам, мама, что сегодня в суде решилось дело Андрея Петровича с Сокольскими?

— Ах, известно! — воскликнула она, от страху сложив перед собою ладошками руки (ее жест).

— Сегодня? — так и вздрогнула вся Татьяна Павловна, — да быть же того не может, он бы сказал. Он тебе сказал? — повернулась она к матери.

— Ах, нет, что сегодня, про то не сказал. Да я всю неделю так боюсь. Хоть бы проиграть, я бы помолилась, только бы с плеч долой, да опять по-прежнему.

— Так не сказал же и вам, мама! — воскликнул я. — Каков человечек! Вот образец его равнодушия и высокомерия; что я говорил сейчас?

— Решилось-то чем, чем решилось-то? Да кто тебе сказал? — кидалась Татьяна Павловна. — Да говори же!

— Да вот и сам он! Может, расскажет, — возвестил я, заслышав его шаги в коридоре, и поскорей уселся около Лизы.

— Брат, ради бога, пощади маму, будь терпелив с Андреем Петровичем… — прошептала мне сестра.

— Буду, буду, я с тем и воротился, — пожал я ей руку.

Лиза очень недоверчиво на меня посмотрела и права была.

II

Он вошел очень довольный собой, так довольный, что и нужным не нашел скрыть свое расположение. Да и вообще он привык перед нами, в последнее время, раскрываться без малейшей церемонии, и не только в своем дурном, но даже в смешном, чего уж всякий боится; между тем вполне сознавал, что мы до последней черточки всё поймем. В последний год он, по замечанию Татьяны Павловны, очень опустился в костюме: одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда, он готов был носить белье по два дня, что даже огорчало

мать; это у них считалось за жертву, и вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подвиг. Шляпы он всегда носил мягкие, широкополые, черные; когда он снял в дверях шляпу — целый пук его густейших, но с сильной проседью волос так и прянул на его голове. Я любил смотреть на его волосы, когда он снимал шляпу.

— Здравствуйте; все в сборе; даже и он в том числе? Слышал его голос еще из передней; меня бранил, кажется?

Один из признаков его веселого расположения — это когда он принимался надо мною острить. Я не отвечал, разумеется. Вошла Лукерья с целым кульком каких-то покупок и положила на стол.

— Победа, Татьяна Павловна; в суде выиграно, а апеллировать, конечно, князья не решатся. Дело за мною! Тотчас же нашел занять тысячу рублей. Софья, положи работу, не труди глаза. Лиза, с работы?

— Да, папа, — с ласковым видом ответила Лиза; она звала его отцом; я этому ни за что не хотел подчиниться.

— Устала?

— Устала.

— Оставь работу, завтра не ходи; и совсем брось.

— Папа, мне так хуже.

— Прошу тебя… Я ужасно не люблю, когда женщины работают, Татьяна Павловна.

— Как же без работы-то? Да чтобы женщина не работала!..

— Знаю, знаю, всё это прекрасно и верно, и я заранее согласен; но — я, главное, про рукоделья. Представьте себе, во мне это, кажется, одно из болезненных или, лучше, неправильных впечатлений детства. В смутных воспоминаниях моего пяти-шестилетнего детства я всего чаще припоминаю — с отвращением, конечно — около круглого стола конклав умных женщин, строгих и суровых, ножницы, материю, выкройки и модную картинку. Все судят и рядят, важно и медленно покачивая головами, примеривая и рассчитывая и готовясь кроить. Все эти ласковые лица, которые меня так любят, — вдруг стали неприступны; зашали я, и меня тотчас же унесут. Даже бедная няня моя, придерживая меня рукой и не отвечая на мои крики и теребенья, загляделась и заслушалась точно райской птицы. Вот эту-то строгость умных лиц и важность перед начатием кройки — мне почему-то мучительно даже и теперь представить. Татьяна Павловна, вы ужасно любите кроить! Как это ни аристократично, но я все-таки больше

люблю женщину совсем не работающую. Не прими на свой счет, Софья… Да где тебе! Женщина и без того великая власть. Это, впрочем, и ты знаешь, Соня. Как ваше мнение, Аркадий Макарович, наверно, восстаете?

— Нет, ничего, — ответил я. — Особенно хорошо выражение, что женщина — великая власть, хотя не понимаю, зачем вы связали это с работой? А что не работать нельзя, когда денег нет, — сами знаете.

— Но теперь довольно, — обратился он к матушке, которая так вся и сияла (когда он обратился ко мне, она вся вздрогнула), — по крайней мере хоть первое время чтоб я не видал рукоделий, для меня прошу. Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверно, немножко социалист; ну, так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность — это из трудящегося вечно народа!

— Отдых, может быть, а не праздность.

— Нет, именно праздность, полное ничегонеделание; в том идеал! Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа; он был человек довольно развитой и мог обобщать. Он всю жизнь свою, каждый день может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, так сказать, доводя идеал до абсолюта — до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. Так и было вплоть, пока не сломался совсем на работе; починить нельзя было; умер в больнице. Я серьезно иногда готов заключить, что о наслаждениях труда выдумали праздные люди, разумеется из добродетельных. Это одна из «женевских идей» конца прошлого столетия.* Татьяна Павловна, третьего дня я вырезал из газеты одно объявление, вот оно (он вынул клочок из жилетного кармана), — это из числа тех бесконечных «студентов», знающих классические языки и математику и готовых в отъезд, на чердак и всюду. Вот слушайте: «Учительница подготовляет во все учебные заведения (слышите, во все) и дает уроки арифметики»*,— одна лишь строчка, но классическая! Подготовляет в учебные заведения — так уж конечно и из арифметики? Нет, у ней об арифметике особенно. Это — это уже чистый голод, это уже последняя степень нужды. Трогательна тут именно эта неумелость: очевидно, никогда себя не готовила в учительницы, да вряд ли чему и в состоянии учить. Но ведь хоть топись, тащит последний рубль в газету и печатает, что подготовляет во все учебные заведения и, сверх того, дает уроки арифметики. Per tutto mondo e in altri siti.[23]

— Ах, Андрей Петрович, ей бы помочь! Где она живет? — воскликнула Татьяна Павловна.

— Э, много таких! — Он сунул адрес в карман. — В этом кульке всё гостинцы — тебе, Лиза, и вам, Татьяна Павловна; Софья и я, мы не любим сладкого. Пожалуй, и тебе, молодой человек. Я сам всё взял у Елисеева и у Балле.* Слишком долго «голодом сидели», как говорит Лукерья. (NB. Никогда никто не сидел у нас голодом). Тут виноград, конфеты, дюшесы и клубничный пирог; даже взял превосходной наливки; орехов тоже. Любопытно, что я до сих пор с самого детства люблю орехи, Татьяна Павловна, и, знаете, самые простые. Лиза в меня; она тоже, как белочка, любит щелкать орешки. Но ничего нет прелестнее, Татьяна Павловна, как иногда невзначай, между детских воспоминаний, воображать себя мгновениями в лесу, в кустарнике, когда сам рвешь орехи… Дни уже почти осенние, но ясные, иногда так свежо, затаишься в глуши, забредешь в лес, пахнет листьями… Я вижу что-то симпатическое в вашем взгляде, Аркадий Макарович?

— Первые годы детства моего прошли тоже в деревне.

— Как, да ведь ты, кажется, в Москве проживал… если не ошибаюсь.

— Он у Андрониковых тогда жил в Москве, когда вы тогда приехали; а до тех пор проживал у покойной вашей тетушки, Варвары Степановны, в деревне, — подхватила Татьяна Павловна.

— Софья, вот деньги, припрячь. На днях обещали пять тысяч дать.

— Стало быть, уж никакой надежды князьям? — спросила Татьяна Павловна.

— Совершенно никакой, Татьяна Павловна.

— Я всегда сочувствовала вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома; но хоть князья мне и чужие, а мне, ей-богу, их жаль. Не осердитесь, Андрей Петрович.

— Я не намерен делиться, Татьяна Павловна.

— Конечно, вы знаете мою мысль, Андрей Петрович, они бы прекратили иск, если б вы предложили поделить пополам в самом начале; теперь, конечно, поздно. Впрочем, не смею судить… Я ведь потому, что покойник, наверно, не обошел бы их в своем завещании.

— Не то что обошел бы, а наверно бы всё им оставил, а обошел бы только одного меня, если бы сумел дело сделать и как следует завещание написать; но теперь за меня закон — и кончено. Делиться я

не могу и не хочу, Татьяна Павловна, и делу конец.

Он произнес это даже с озлоблением, что редко позволял себе. Татьяна Павловна притихла. Мать как-то грустно потупила глаза: Версилов знал, что она одобряет мнение Татьяны Павловны.

«Тут эмская пощечина!» — подумал я про себя. Документ, доставленный Крафтом и бывший у меня в кармане, имел бы печальную участь, если бы попался к нему в руки. Я вдруг почувствовал, что всё это сидит еще у меня на шее; эта мысль, в связи со всем прочим, конечно, подействовала на меня раздражительно.

— Аркадий, я желал бы, чтоб ты оделся получше, мой друг; ты одет недурно, но, ввиду дальнейшего, я мог бы тебе отрекомендовать хорошего одного француза, предобросовестного и со вкусом.

— Я вас попрошу никогда не делать мне подобных предложений, — рванул я вдруг.

— Что так?

— Я, конечно, не нахожу унизительного, но мы вовсе не в таком соглашении, а, напротив, даже в разногласии, потому что я на днях, завтра, оставляю ходить к князю, не видя там ни малейшей службы…

— Да в том, что ты ходишь, что ты сидишь с ним, — служба!

— Такие мысли унизительны.

— Не понимаю; а впрочем, если ты столь щекотлив, то не бери с него денег, а только ходи. Ты его огорчишь ужасно; он уж к тебе прилип, будь уверен… Впрочем, как хочешь…

Ему, очевидно, было неприятно.

— Вы говорите, не проси денег, а по вашей же милости я сделал сегодня подлость: вы меня не предуведомили, а я стребовал с него сегодня жалованье за месяц.

— Так ты уже распорядился; а я, признаюсь, думал, что ты не станешь просить; какие же вы, однако, все теперь ловкие! Нынче нет молодежи, Татьяна Павловна.

Он ужасно злился; я тоже рассердился ужасно.

— Мне надо же было разделаться с вами… это вы меня заставили, — я не знаю теперь, как быть.

— Кстати, Софи, отдай немедленно Аркадию его шестьдесят рублей; а ты, мой друг, не сердись за торопливость расчета. Я по лицу твоему угадываю, что у тебя в голове какое-то предприятие и что ты нуждаешься… в оборотном капитале… или вроде того.

— Я не знаю, что выражает мое лицо, но я никак не ожидал от мамы, что она расскажет вам про эти деньги, тогда как я так просил ее, — поглядел я на мать, засверкав глазами. Не могу выразить, как я был обижен.

— Аркаша, голубчик, прости, ради бога, не могла я никак, чтобы не сказать…

— Друг мой, не претендуй, что она мне открыла твои секреты, — обратился он ко мне, — к тому же она с добрым намерением — просто матери захотелось похвалиться чувствами сына. Но поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист. Все секреты твои на твоем честном лице написаны. У него «своя идея», Татьяна Павловна, я вам говорил.

— Оставим мое честное лицо, — продолжал я рвать, — я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа, — и удивлялся вашей способности проницать. Ну да, у меня есть «своя идея». То, что вы так выразились, конечно случайность, но я не боюсь признаться: у меня есть «идея». Не боюсь и не стыжусь.

— Главное, не стыдись.

— А все-таки вам никогда не открою.

— То есть не удостоишь открыть. Не надо, мой друг, я и так знаю сущность твоей идеи; во всяком случае, это:

Я в пустыню удаляюсь[*]…

Татьяна Павловна! Моя мысль — что он хочет… стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам с вами назначит великодушно пенсион, — мне-то, может быть, и не назначит, — но, во всяком случае, только мы его и видели. Он у нас как месяц молодой — чуть покажется, тут и закатится.

Я содрогнулся внутри себя. Конечно, всё это была случайность: он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда; но как он мог так верно определить мои чувства: порвать с ними и удалиться? Он всё предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта. Что злился он ужасно, в том не было никакого сомнения.

— Мама! простите мою вспышку, тем более что от Андрея Петровича и без того невозможно укрыться, — за смеялся я притворно и

стараясь хоть на миг перебить всё в шутку.

— Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся. Трудно представить, сколько этим каждый человек выигрывает, даже в наружности. Я серьезнейшим образом говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой вид, будто у него на уме что-то столь уж важное, что он даже сам пристыжен сим обстоятельством.

— Я серьезно попросил бы вас быть скромнее, Андрей Петрович.

— Ты прав, мой друг; но надо же высказать раз навсегда, чтобы уж потом до всего этого не дотрогиваться. Ты приехал к нам из Москвы с тем, чтобы тотчас же взбунтоваться, — вот пока что нам известно о целях твоего прибытия. О том, что приехал с тем, чтоб нас удивить чем-то, — об этом я, разумеется, не упоминаю. Затем, ты весь месяц у нас и на нас фыркаешь, — между тем ты человек, очевидно, умный и в этом качестве мог бы предо ставить такое фырканье тем, которым нечем уж больше отмстить людям за свое ничтожество. Ты всегда закрываешься, тогда как честный вид твой и красные щеки прямо свидетельствуют, что ты мог бы смотреть всем в глаза с полною невинностью. Он — ипохондрик, Татьяна Павловна; не понимаю, с чего они все теперь ипохондрики?

— Если вы не знали, где я даже рос, — как же вам знать, с чего человек ипохондрик?

— Вот она разгадка: ты обиделся, что я мог забыть, где ты рос!

— Совсем нет, не приписывайте мне глупостей. Мама, Андрей Петрович сейчас похвалил меня за то, что я засмеялся; давайте же смеяться — что так сидеть! Хоти те, я вам про себя анекдоты стану рассказывать? Тем более что Андрей Петрович совсем ничего не знает из моих приключений.

У меня накипело. Я знал, что более мы уж никогда не будем сидеть, как теперь, вместе и что, выйдя из этого дома, я уж не войду в него никогда, — а потому, накануне всего этого, и не мог утерпеть. Он сам вызвал меня на такой финал.

— Это, конечно, премило, если только в самом деле будет смешно, — заметил он, проницательно в меня вглядываясь, — ты немного огрубел, мой друг, там, где ты рос, а впрочем, все-таки ты довольно еще приличен. Он очень мил сегодня, Татьяна Павловна, и вы прекрасно сделали, что развязали наконец этот кулек.

Но Татьяна Павловна хмурилась; она даже не обернулась на его

слова и продолжала развязывать кулек и на поданные тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидела в совершенном недоумении, конечно понимая и предчувствуя, что у нас выходит неладно. Сестра еще раз меня тронула за локоть.

III

— Я просто вам всем хочу рассказать, — начал я с самым развязнейшим видом, — о том, как один отец в первый раз встретился с своим милым сыном; это именно случилось «там, где ты рос»…

— Друг мой, а это будет… не скучно? Ты знаешь: tous les genres…[*] [24]

— Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете. Я именно хочу, чтоб все смеялись.

— Да услышит же тебя бог, мой милый. Я знаю, что ты всех нас любишь и… не захочешь расстроить наш вечер, — промямлил он как-то выделанно, небрежно.

— Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю?

— Да, отчасти и по лицу.

— Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна, лучше смеяться! Лучше смеяться!

Она вдруг быстро ко мне повернулась и пронзительно с полминуты в меня всматривалась.

— Смотри ты! — погрозила она мне пальцем, но так серьезно, что это вовсе не могло уже относиться к моей глупой шутке, а было предостережением в чем-то другом: «Не вздумал ли уж начинать?»

— Андрей Петрович, так неужели вы не помните, как мы с вами встретились, в первый раз в жизни?

— Ей-богу, забыл, мой друг, и от души виноват. Я помню лишь, что это было как-то очень давно и происходило где-то…

— Мама, а не помните ли вы, как вы были в деревне, где я рос, кажется, до шести— или семилетнего моего возраста, и, главное, были ли вы в этой деревне в самом деле когда-нибудь, или мне только как во сне мерещится, что я вас в первый раз там увидел? Я вас давно уже хотел об этом спросить, да откладывал; теперь время пришло.

— Как же, Аркашенька, как же! да, я там у Варвары Степановны три раза гостила; в первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был, во второй — когда тебе четвертый годок пошел, а потом — когда тебе шесть годков минуло.

— Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить.

Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня:

— Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?

— Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь, и, кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Я всю эту деревню как во сне теперь вижу, я даже свою няньку забыл. Эту Варвару Степановну запомнил капельку потому только, что у ней вечно были подвязаны зубы. Помню еще около дома огромные деревья, липы кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку, а вас, мама, помню ясно только в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу; это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно…

— Господи! Это всё так и было, — сплеснула мать руками, — и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!»

— Ваше лицо, или что-то от него, выражение, до того у меня осталось в памяти, что лет пять спустя, в Москве, я тотчас признал вас, хоть мне и никто не сказал тогда, что вы моя мать. А когда я с Андреем Петровичем в первый раз встретился, то взяли меня от Андрониковых; у них я вплоть до того тихо и весело прозябал лет пять сряду. Их казенную квартиру до мелочи помню, и всех этих дам и девиц, которые теперь все так здесь постарели, и полный дом, и самого Андроникова, как он всю провизию, птиц, судаков и поросят, сам из города в кульках привозил, а за столом, вместо супруги, которая всё чванилась, нам суп разливал, и всегда мы всем столом над этим смеялись, и он первый. Там меня барышни по-французски научили, но больше всего я любил басни Крылова, заучил их множество наизусть и каждый день декламировал по басне Андроникову, прямо входя к нему в его крошечный кабинет, занят он был или нет. Ну вот, из-за басни же и с вами познакомился, Андрей Петрович… Я вижу, вы начинаете припоминать.

— Кое-что припоминаю, мой милый, именно ты что-то мне тогда рассказал… басню или из «Горе от ума», кажется? Какая же у тебя память, однако!

— Память! Еще бы! Я только это одно всю жизнь и помнил.

— Хорошо, хорошо, мой милый, ты меня даже оживляешь.

Он даже улыбнулся, тотчас же за ним стали улыбаться и мать и сестра. Доверчивость возвращалась; но Татьяна Павловна, расставив на столе гостинцы и усевшись в углу, продолжала проницать меня дурным взглядом.

— Случилось так, — продолжал я, — что вдруг, в одно прекрасное утро, явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фанариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила; сама же в то время была за границей. Я всё носил курточки; тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павлов на хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей; я же всё ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала. Вот таким-то образом я на другое утро, часов в десять, бродя по квартире, зашел вдруг, совсем невзначай, к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что привезли, но лишь мельком, на лестнице. Вы сходили с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать; в Москву вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватали и вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павловной, вы протянули только: а! и даже не остановились.

— Он с особенною любовью описывает, — заметил Версилов, обращаясь к Татьяне Павловне; та отвернулась и не ответила.

— Я как сейчас вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, уж простите эту откровенность; впрочем, вам и тогда было уже лет тридцать семь, но я на вас даже загляделся: какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глянцевитым блеском, без малейшей сединки; усы и бакены ювелирской отделки — иначе не умею выразиться; лицо матово-бледное, не такое болезненно бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую

я имел честь давеча видеть; горящие и темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел; я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе, цвета сольферино*, по великолепной рубашке с алансонскими кружевами*, стояли перед зеркалом с тетрадью в руке и выработывали, декламируя, последний монолог Чацкого и особенно последний крик:

Карету мне, карету!

— Ах, боже мой, — вскрикнул Версилов, — ведь он и вправду! Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнию Жилейко, сыграть Чацкого у Александры Петровны Витовтовой, на домашней сцене!

— Неужто вы забыли? — засмеялась Татьяна Павловна.

— Он мне напомнил! И признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшей минутой всей жизни моей! Мы все еще тогда были так молоды… и все тогда с таким жаром ждали… Я тогда в Москве неожиданно встретил столько… Но, продолжай, мой милый: ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил…

— Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал: «Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!» Вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете: «Да разве ты уже знаешь Чацкого?» — а сами сели на диван и принялись за кофей в самом прелестном расположении духа, — так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андроникова все очень много читают, а барышни знают много стихов наизусть, а из «Горе от ума» так промеж себя разыгрывают сцены, и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе, вслух, «Записки охотника», а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы и велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел «Разборчивую невесту»:

Невеста-девушка смышляла жениха.*

— Именно, именно, ну теперь я всё припомнил, — вскричал опять Версилов, — но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно: ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти девять лет.

Тут уж все, и сама Татьяна Павловна, рассмеялись. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и тою же монетою «отплатил» мне за колкое мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились; да и сказано было прекрасно.

— По мере как я читал, вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня, позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Павловну, которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Павловне я вновь начал «Невесту-девушку» и кончил блистательно, даже Татьяна Павловна улыбнулась, а вы, Андрей Петрович, вы крикнули даже «браво!» и заметили с жаром, что прочти я «Стрекозу и Муравья», так еще неудивительно, что толковый мальчик, в мои лета, прочтет толково, но что эту басню:

Невеста-девушка смышляла жениха,
Тут нет еще греха…

«Вы послушайте, как он выговаривает: „Тут нет еще греха“!» Одним словом, вы были в восхищении. Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски, и она мигом нахмурилась и стала вам возражать, даже очень горячилась; но так как невозможно же противоречить Андрею Петровичу, если он вдруг чего захочет, то Татьяна Павловна и увела меня поспешно к себе: там вымыли мне вновь лицо, руки, переменили белье, напомадили, даже завили мне волосы. Потом к вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, так даже, что я не ожидал, и повезла меня с собой в карете. Я попал в театр в первый раз в жизни, в любительский спектакль у Витовтовой; свечи, люстры, дамы, военные, генералы, девицы, занавес, ряды стульев — ничего подобного я до сих пор не видывал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подле. Были, разумеется, и дети, как я, но я уже ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представления. Когда вы вышли, Андрей

Петрович, я был в восторге, в восторге до слез, — почему, из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга зачем? — вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать! Я с замиранием следил за комедией; в ней я, конечно, понимал только то, что *она ему* изменила, что над ним смеются глупые и недостойные пальца на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он — велик, велик! Конечно, и подготовка у Андроникова способствовала пониманию, но — и ваша игра, Андрей Петрович! Я в первый раз видел сцену! В разъезде же, когда Чацкий крикнул: «Карету мне, карету!» (а крикнули вы удивительно), я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал и изо всей силы закричал «браво!». Живо помню, как в этот самый миг, точно булавка, вонзился в меня сзади, «пониже поясницы», разъяренный щипок Татьяны Павловны, но я и внимания не обратил! Разумеется, тотчас после «Горе от ума» Татьяна Павловна увезла меня домой: «Не танцевать же тебе оставаться, через тебя только я сама не остаюсь», — шипели вы мне, Татьяна Павловна, всю дорогу в карете. Всю ночь я был в бреду, а на другой день, в десять часов, уже стоял у кабинета, но кабинет был притворен: у вас сидели люди, и вы с ними занимались делами; потом вдруг укатили на весь день до глубокой ночи — так я вас и не увидел! Что такое хотелось мне тогда сказать вам — забыл конечно, и тогда не знал, но я пламенно желал вас увидеть как можно скорей. А назавтра поутру, еще с восьми часов, вы изволили отправиться в Серпухов: вы тогда только что продали ваше тульское имение, для расплаты с кредиторами, но все-таки у вас оставался в руках аппетитный куш, вот почему вы и в Москву тогда пожаловали, в которую не могли до того времени заглянуть, боясь кредиторов; и вот один только этот серпуховский грубиян, один из всех кредиторов, не соглашался взять половину долга вместо всего. Татьяна Павловна на вопросы мои даже и не отвечала: «Нечего тебе, а вот послезавтра отвезу тебя в пансион; приготовься, тетради свои возьми, книжки приведи в порядок, да приучайся сам в сундучке укладывать, не белоручкой расти вам, сударь», да то-то, да это-то, уж барабанили же вы мне, Татьяна Павловна, в эти три дня! Тем и кончилось, что свезли меня в пансион, к Тушару, в вас влюбленного и невинного, Андрей Петрович, и пусть, кажется, глупейший случай, то есть вся-то встреча наша, а, верите ли, я

ведь к вам потом, через полгода, от Тушара бежать хотел!

— Ты прекрасно рассказал и всё мне так живо напомнил, — отчеканил Версилов, — но, главное, поражает меня в рассказе твоем богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих например. Не говоря уже о некоторой неприличности этих подробностей, не понимаю, как даже ты их мог достать?

— Подробности? Как достал? Да повторяю же, я только и делал, что доставал о вас подробности, все эти девять лет.

— Странное признание и странное препровождение времени!

Он повернулся, полулежа в креслах, и даже слегка зевнул, — нарочно или нет, не знаю.

— Что же, продолжать о том, как я хотел бежать к вам от Тушара?

— Запретите ему, Андрей Петрович, уймите его и выгоните вон, — рванула Татьяна Павловна.

— Нельзя, Татьяна Павловна, — внушительно ответил ей Версилов, — Аркадий, очевидно, что-то замыслил, и, стало быть, надо ему непременно дать кончить. Ну и пусть его! Расскажет, и с плеч долой, а для него в том и главное, чтоб с плеч долой спустить. Начинай, мой милый, твою новую историю, то есть я так только говорю: новую; не беспокойся, я знаю конец ее.

IV

— Бежал я, то есть хотел к вам бежать, очень просто. Татьяна Павловна, помните ли, как недели две спустя после моего водворения Тушар написал к вам письмо, — нет? А мне потом и письмо Марья Ивановна показывала, оно тоже в бумагах покойного Андроникова очутилось. Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег, и с «достоинством» объявил вам в письме своем, что в заведении его воспитываются князья и сенаторские дети и что он считает ниже своего заведения держать воспитанника с таким происхождением, как я, если ему не дадут прибавки.

— Mon cher, ты бы мог…

— О, ничего, ничего, — перебил я, — я только немножко про Тушара. Вы ему ответили уже из уезда, Татьяна Павловна, через две недели, и резко отказали. Я припоминаю, как он, весь багровый, вошел

тогда в нашу классную. Это был очень маленький и очень плотненький французик, лет сорока пяти и действительно парижского происхождения, разумеется из сапожников, но уже с незапамятных времен служивший в Москве на штатном месте, преподавателем французского языка, имевший даже чины, которыми чрезвычайно гордился, — человек глубоко необразованный. А нас, воспитанников, было у него всего человек шесть; из них действительно какой-то племянник московского сенатора, и все мы у него жили совершенно на семейном положении, более под присмотром его супруги, очень манерной дамы, дочери какого-то русского чиновника. Я в эти две недели ужасно важничал перед товарищами, хвастался моим синим сюртуком и папенькой моим Андреем Петровичем, и вопросы их: почему же я Долгорукий, а не Версилов, — совершенно не смущали меня именно потому, что я сам не знал почему.

— Андрей Петрович! — крикнула Татьяна Павловна почти угрожающим голосом. Напротив, матушка, не отрываясь, следила за мною, и ей видимо хотелось, чтобы я продолжал.

— Се[25] Тушар… действительно я припоминаю теперь, что он такой маленький и вертлявый, — процедил Версилов, — но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны…

— Се Тушар вошел с письмом в руке, подошел к нашему большому дубовому столу, за которым мы все шестеро что-то зубрили, крепко схватил меня за плечо, поднял со стула и велел захватить мои тетрадки. «Твое место не здесь, а там», — указал он мне крошечную комнатку налево из передней, где стоял простой стол, плетеный стул и клеенчатый диван — точь-в-точь как теперь у меня наверху в светелке. Я перешел с удивлением и очень оробев: никогда еще со мной грубо не обходились. Через полчаса, когда Тушар вышел из классной, я стал переглядываться с товарищами и пересмеиваться; конечно, они надо мною смеялись, но я о том не догадывался и думал, что мы смеемся оттого, что нам весело. Тут как раз налетел Тушар, схватил меня за вихор и давай таскать. «Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого происхождения и всё равно что лакей!» И он пребольно ударил меня по моей пухлой румяной щеке. Ему это тотчас же понравилось, и он ударил меня во второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я был страшно удивлен. Целый час я сидел, закрывшись руками, и плакал-плакал. Произошло что-то такое, чего я ни за что не

понимал. Не понимаю, как человек не злой, как Тушар, иностранец, и даже столь радовавшийся освобождению русских крестьян, мог бить такого глупого ребенка, как я. Впрочем, я был только удивлен, а не оскорблен; я еще не умел оскорбляться. Мне казалось, что я что-то сшалил, но когда я исправлюсь, то меня простят и мы опять станем вдруг все веселы, пойдем играть на дворе и заживем как нельзя лучше.

— Друг мой, если б я только знал… — протянул Версилов с небрежной улыбкой несколько утомленного человека, — каков, однако, негодяй этот Тушар! Впрочем, я всё еще не теряю надежды, что ты как-нибудь соберешься с силами и всё это нам наконец простишь и мы опять заживем как нельзя лучше.

Он решительно зевнул.

— Да я и не обвиняю, совсем нет, и, поверьте, не жалуюсь на Тушара! — прокричал я, несколько сбитый с толку, — да и бил он меня каких-нибудь месяца два. Я, помню, всё хотел его чем-то обезоружить, бросался целовать его руки и целовал их и всё плакал-плакал. Товарищи смеялись надо мною и презирали меня, потому что Тушар стал употреблять меня иногда как прислугу, приказывал подавать себе платье, когда одевался. Тут мое лакейство пригодилось мне инстинктивно: я старался изо всех сил угодить и нисколько не оскорблялся, потому что ничего еще я этого не понимал, и удивляюсь даже до сей поры тому, что был так еще тогда глуп, что не мог понять, как я всем им неровня. Правда, товарищи много мне и тогда уже объяснили, школа была хорошая. Тушар кончил тем, что полюбил более пинать меня коленком сзади, чем бить по лицу; а через полгода так даже стал меня иногда и ласкать; только нет-нет, а в месяц раз, наверно, побьет, для напоминания, чтоб не забывался. С детьми тоже скоро меня посадили вместе и пускали играть, но ни разу, в целые два с половиной года, Тушар не забыл различия в социальном положении нашем, и хоть не очень, а всё же употреблял меня для услуг постоянно, я именно думаю, чтоб мне напомнить.

Бежал же я, то есть хотел было бежать, уже месяцев пять спустя после этих первых двух месяцев. И вообще я всю жизнь бывал туг на решение. Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас начинал мечтать об вас, Андрей Петрович, только об вас одном; совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились. Главное, я всё страстно мечтал, что вы вдруг войдете, я к вам

брошусь и вы меня выведете из этого места и увезете к себе, в тот кабинет, и опять мы поедем в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся — вот в чем было главное! Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмешки и презрение мальчишек; один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать сапоги; он бранил меня самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мне мое происхождение, к утехе всех слушателей. Когда же являлся наконец сам Тушар, в душе моей начиналось что-то невыносимое. Я чувствовал, что мне здесь никогда не простят, — о, я уже начинал помаленьку понимать, что именно не простят и чем именно я провинился! И вот я наконец положил бежать. Я мечтал об этом ужасно целых два месяца, наконец решился; тогда был сентябрь. Я выждал, когда все товарищи разъехались в субботу на воскресенье, а между тем потихоньку тщательно связал себе узелок самых необходимых вещиц; денег у меня было два рубля. Я хотел выждать, когда смеркнется: «Там спущусь по лестнице, — думал я, — и выйду, а потом и пойду» Куда? Я знал, что Андроников уже переведен в Петербург, и решил, что я отыщу дом Фанариотовой на Арбате; «ночь где-нибудь прохожу или просижу, а утром расспрошу кого-нибудь на дворе дома: где теперь Андрей Петрович и если не в Москве, то в каком городе или государстве? Наверно, скажут. Я уйду, а потом в другом месте где-нибудь и у кого-нибудь спрошу: в какую заставу идти, если в такой-то город, ну и выйду, и пойду, и пойду. Всё буду идти; ночевать буду где-нибудь под кустами, а есть буду один только хлеб, а хлеба на два рубля мне очень надолго хватит». В субботу, однако, никак не удалось бежать; пришлось ожидать до завтра, до воскресенья, и, как нарочно, Тушар с женой куда-то в воскресенье уехали; остались во всем доме только я да Агафья. Я ждал ночи с страшной тоской, помню, сидел в нашей зале у окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. Тушар жил в захолустье, и из окон видна была застава: уж не та ли? — мерещилось мне. Солнце закатывалось такое красное, небо было такое холодное, и острый ветер, точь-в-точь как сегодня, подымал песок. Стемнело наконец совсем; я стал перед образом и начал молиться, только скоро-скоро, я торопился; захватил узелок и на цыпочках пошел с скрипучей нашей лестницы, ужасно боясь, чтобы не услыхала меня из кухни Агафья. Дверь была на ключе, я отворил, и вдруг — темная-темная ночь зачернела передо мной, как бесконечная

опасная неизвестность, а ветер так и рванул с меня фуражку. Я было вышел; на той стороне тротуара раздался сиплый, пьяный рев ругавшегося прохожего; я постоял, поглядел и тихо вернулся, тихо прошел наверх, тихо разделся, сложил узелок и лег ничком, без слез и без мыслей, и вот с этой-то самой минуты я и стал мыслить, Андрей Петрович! Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок, и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие!

— А вот с этой-то самой минуты я тебя теперь навек раскусила! — вскочила вдруг с места Татьяна Павловна, и так даже неожиданно, что я совсем и не приготовился, — Да ты, мало того, что тогда был лакеем, ты и теперь лакей, лакейская душа у тебя! Да чего бы стоило Андрею Петровичу тебя в сапожники отдать? Даже благодеяние бы тебе оказал, ремеслу бы обучил! Кто бы с него больше для тебя спросил аль потребовал? Отец твой, Макар Иваныч, не то что просил, а почти требовал, чтоб вас, детей его, из низших сословий не выводить. Нет, ты не ценишь, что он тебя до университета довел и что чрез него ты права получил.* Мальчишки, вишь, его дразнили, так он поклялся отмстить человечеству… Сволочь ты этакая!

Признаюсь, я был поражен этой выходкой. Я встал и некоторое время смотрел, не зная, что сказать.

— А ведь действительно, Татьяна Павловна сказала мне новое, — твердо обернулся я наконец к Версилову, — ведь действительно я настолько лакей, что никак не могу удовлетвориться только тем, что Версилов не отдал меня в сапожники; даже «права» не умилили меня, а подавай, дескать, мне всего Версилова, подавай мне отца… вот чего потребовал — как же не лакей? Мама, у меня на совести уже восемь лет, как вы приходили ко мне одна к Тушару посетить меня и как я вас тогда принял, но теперь некогда об этом, Татьяна Павловна не даст рассказать. До завтра, мама, может, с вами-то еще увидимся. Татьяна Павловна! Ну что, если я опять-таки до такой степени лакей, что никак не могу даже того допустить, чтоб от живой жены можно было жениться еще на жене? А ведь это чуть-чуть было не случилось в Эмсе с Андреем Петровичем! Мама, если не захотите оставаться с мужем, который завтра женится на другой, то вспомните, что у вас есть сын, который обещается быть навеки почтительным сыном, вспомните и пойдемте, но только с тем, что «или он, или я», — хотите? Я не сейчас

ведь ответа прошу: я ведь знаю, что на такие вопросы нельзя давать ответа тотчас же…

Но я не мог докончить, во-первых, потому, что разгорячился и растерялся. Мать вся побледнела, и как будто голос ее пресекся: не могла выговорить ни слова. Татьяна Павловна говорила что-то очень громко и много, так что я даже разобрать не мог, и раза два пихнула меня в плечо кулаком. Я только запомнил, что она прокричала, что мои слова «напускные, в мелкой душе взлелеянные, пальцем вывороченные». Версилов сидел неподвижно и очень серьезный, не улыбался. Я пошел к себе наверх. Последний взгляд, проводивший меня из комнаты, был укорительный взгляд сестры; она строго качала мне вслед головой.

Глава седьмая

I

Я описываю все эти сцены, не щадя себя, чтобы всё ясно припомнить и восстановить впечатление. Взойдя к себе наверх, я совершенно не знал, надобно ли мне стыдиться или торжествовать, как исполнившему свой долг. Если б я был капельку опытнее, я бы догадался, что малейшее сомнение в таком деле надо толковать к худшему. Но меня сбивало с толку другое обстоятельство: не понимаю, чему я был рад, но я был ужасно рад, несмотря на то что сомневался и явно сознавал, что внизу срезался. Даже то, что Татьяна Павловна так злобно меня обругала, — мне было только смешно и забавно, а вовсе не злобило меня. Вероятно, всё это потому, что я все-таки порвал цепь и в первый раз чувствовал себя на свободе.

Я чувствовал тоже, что испортил свое положение: еще больше мраку оказывалось в том, как мне теперь поступить с письмом о наследстве. Теперь решительно примут, что я хочу мстить Версилову. Но я еще внизу положил, во время всех этих дебатов, подвергнуть дело о письме про наследство решению третейскому и обратиться, как к судье, к Васину, а если не удастся к Васину, то еще к одному лицу, я уже знал к какому. Однажды, для этого только раза, схожу к Васину, думал я про себя, а там — там исчезну для всех надолго, на несколько

месяцев, а для Васина даже особенно исчезну; только с матерью и с сестрой, может, буду видеться изредка. Всё это было беспорядочно; я чувствовал, что что-то сделал, да не так, и — и был доволен; повторяю, все-таки был чему-то рад.

Лечь спать я положил было раньше, предвидя завтра большую ходьбу. Кроме найма квартиры и переезда, я принял некоторые решения, которые так или этак положил выполнить. Но вечеру не удалось кончиться без курьезов, и Версилов сумел-таки чрезвычайно удивить меня. В светелку мою он решительно никогда не заходил, и вдруг, я еще часу не был у себя, как услышал его шаги на лесенке: он звал меня, чтоб я ему посветил. Я вынес свечку и, протянув вниз руку, которую он схватил, помог ему дотащиться наверх.

— Merci, друг, я сюда еще ни разу не вползал, даже когда нанимал квартиру. Я предчувствовал, что это такое, но все-таки не предполагал такой конуры, — стал он посредине моей светелки, с любопытством озираясь кругом. — Но это гроб, совершенный гроб!

Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба, и я даже подивился, как он верно с одного слова определил. Каморка была узкая и длинная; с высоты плеча моего, не более, начинался угол стены и крыши, конец которой я мог достать ладонью. Версилов, в первую минуту, бессознательно держал себя сгорбившись, боясь задеть головой о потолок, однако не задел и кончил тем, что довольно спокойно уселся на моем диване, на котором была уже постлана моя постель. Что до меня, я не садился и смотрел на него в глубочайшем удивлении.

— Мать рассказывает, что не знала, брать ли с тебя деньги, которые ты давеча ей предложил за месячное твое содержание. Ввиду этакого гроба не только не брать, а, напротив, вычет с нас в твою пользу следует сделать! Я здесь никогда не был и… вообразить не могу, что здесь можно жить.

— Я привык. А вот что вижу вас у себя, то никак не могу к тому привыкнуть после всего, что вышло внизу.

— О да, ты был значительно груб внизу, но… я тоже имею свои особые цели, которые и объясню тебе, хотя, впрочем, в приходе моем нет ничего необыкновенного; даже то, что внизу произошло, — тоже всё в совершенном порядке вещей; но разъясни мне вот что, ради Христа: там, внизу, то, что ты рассказывал и к чему так торжественно нас готовил и приступал, неужто это всё, что ты намерен был открыть

или сообщить, и ничего больше у тебя не было?

— Всё. То есть положим, что всё.

— Маловато, друг мой; признаться, я, судя по твоему приступу и как ты нас звал смеяться, одним словом, видя, как тебе хотелось рассказывать, — я ждал большего.

— Да вам-то не всё ли равно?

— Да я, собственно, из чувства меры: не стоило такого треску, и нарушена была мера. Целый месяц молчал, собирался, и вдруг — ничего!

— Я хотел долго рассказывать, но стыжусь, что и это рассказал. Не всё можно рассказать словами, иное лучше никогда не рассказывать. Я же вот довольно сказал, да ведь вы же не поняли.

— А! и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова! Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным; дурак всегда доволен тем, что сказал, и к тому же всегда выскажет больше, чем нужно; про запас они любят.

— Как я внизу, например; я тоже высказал больше, чем нужно: я потребовал «всего Версилова» — это гораздо больше, чем нужно; мне Версилова вовсе не нужно.

— Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся, а так как раскаяться значит у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты и не хочешь в другой раз на мне промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл и к тому же туго выносишь критику. Но садись, ради бога, я тебе кое-что пришел сообщить; благодарю, вот так. Из того, что ты сказал матери внизу, уходя, слишком ясно, что нам, во всяком даже случае, лучше разъехаться. Я пришел с тем, чтоб уговорить тебя сделать это по возможности мягче и без скандала, чтоб не огорчить и не испугать твою мать еще больше. Даже то, что я пошел сюда сам, уже ее ободрило: она как-то верует, что мы еще успеем примириться, ну и что всё пойдет по-прежнему. Я думаю, если б мы с тобой, здесь теперь, раз или два погромче рассмеялись, то поселили бы восторг в их робких сердцах. Пусть это и простые сердца, но они любящие, искренно и простодушно, почему же не полелеять их при случае? Ну, вот это раз. Второе: почему бы нам непременно расставаться с жаждой мести, с скрежетом зубов, с клятвами и так далее? Безо всякого сомнения, нам вешаться друг другу на шею совсем ни к чему, но можно расстаться, так сказать, взаимно

уважая друг друга, не правда ли, а?

— Всё это — вздор! Обещаю, что съеду без скандалу — и довольно. Это вы для матери хлопочете? А мне так кажется, что спокойствие матери вам тут решительно всё равно, и вы только так говорите.

— Ты не веришь?

— Вы говорите со мной решительно как с ребенком!

— Друг мой, я готов за это тысячу раз просить у тебя прощения, ну и там за всё, что ты на мне насчитываешь, за все эти годы твоего детства и так далее, но, cher enfant, что же из этого выйдет? Ты так умен, что не захочешь сам очутиться в таком глупом положении. Я уже и не говорю о том, что даже до сей поры не совсем понимаю характер твоих упреков: в самом деле, в чем ты, собственно, меня обвиняешь? В том, что родился не Версиловым? Или нет? Ба! ты смеешься презрительно и махаешь руками, стало быть, нет?

— Поверьте, нет. Поверьте, не нахожу никакой чести называться Версиловым.

— О чести оставим; к тому же твой ответ непременно должен быть демократичен; но если так, то за что же ты обвиняешь меня?

— Татьяна Павловна сказала сейчас всё, что мне надо было узнать и чего я никак не мог понять до нее: это то, что не отдали же вы меня в сапожники, следственно, я еще должен быть благодарен. Понять не могу, отчего я неблагодарен, даже и теперь, даже когда меня вразумили. Уж не ваша ли кровь гордая говорит, Андрей Петрович?

— Вероятно, нет. И, кроме того, согласись, что все твои выходки внизу, вместо того чтоб падать на меня, как и предназначались тобою, тиранили и терзали одну ее. Между тем, кажется, не тебе бы ее судить. Да и чем она перед тобой виновата? Разъясни мне тоже, кстати, друг мой: ты для чего это и с какою бы целью распространял и в школе, и в гимназии, и во всю жизнь свою, и даже первому встречному, как я слышал, о своей незаконнорожденности? Я слышал, что ты делал это с какою-то особенною охотою. А между тем всё это вздор и гнусная клевета: ты законнорожденный, Долгорукий, сын Макара Иваныча Долгорукого, человека почтенного и замечательного умом и характером. Если же ты получил высшее образование, то действительно благодаря бывшему помещику твоему Версилову, но что же из этого выходит? Главное, провозглашая о своей незаконнорожденности, что

само собою уже клевета, ты тем самым разоблачал тайну твоей матери и, из какой-то ложной гордости, тащил свою мать на суд перед первою встречною грязью. Друг мой, это очень неблагородно, тем более что твоя мать ни в чем не виновна лично: это характер чистейший, а если она не Версилова, то единственно потому, что до сих пор замужем.

— Довольно, я с вами совершенно согласен и настолько верю в ваш ум, что вполне надеюсь, вы перестанете слишком уж долго распекать меня. Вы так любите меру; а между тем есть мера всему, даже и внезапной любви вашей к моей матери. Лучше вот что: если вы решились ко мне зайти и у меня просидеть четверть часа или полчаса (я всё еще не знаю для чего, ну, положим, для спокойствия матери) — и, сверх того, с такой охотой со мной говорите, несмотря на то что произошло внизу, то расскажите уж мне лучше про моего отца — вот про этого Макара Иванова, странника. Я именно от вас бы хотел услыхать о нем; я спросить вас давно намеревался. Расставаясь, и, может быть, надолго, я бы очень хотел от вас же получить ответ и еще на вопрос: неужели в целые эти двадцать лет вы не могли подействовать на предрассудки моей матери, а теперь так даже и сестры, настолько, чтоб рассеять своим цивилизующим влиянием первоначальный мрак окружавшей ее среды? О, я не про чистоту ее говорю! Она и без того всегда была бесконечно выше вас нравственно, извините, но… это лишь бесконечно высший мертвец. Живет лишь один Версилов, а всё остальное кругом него и всё с ним связанное прозябает под тем непременным условием, чтоб иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками. Но ведь была же и она когда-то живая? Ведь вы что-нибудь полюбили же в ней? Ведь была же и она когда-то женщиной?

— Друг мой, если хочешь, никогда не была, — ответил он мне, тотчас же скривившись в ту первоначальную, тогдашнюю со мной манеру, столь мне памятную и которая так бесила меня: то есть, по-видимому, он само искреннее простодушие, а смотришь — всё в нем одна лишь глубочайшая насмешка, так что я иной раз никак не мог разобрать его лица, — никогда не была! Русская женщина — женщиной никогда не бывает.

— Полька, француженка бывает? Или итальянка, страстная итальянка, вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде Версилова?

— Ну, мог ли я ожидать, что встречу славянофила? — рассмеялся Версилов.

Я припоминаю слово в слово рассказ его; он стал говорить с большой даже охотой и с видимым удовольствием. Мне слишком ясно было, что он пришел ко мне вовсе не для болтовни и совсем не для того, чтоб успокоить мать, а наверно имея другие цели.

II

— Мы все наши двадцать лет, с твоею матерью, совершенно прожили молча, — начал он свою болтовню (в высшей степени выделанно и ненатурально), — и всё, что было у нас, так и произошло молча. Главным характером всего двадцатилетия связи нашей было — безмолвие. Я думаю, мы даже ни разу не поссорились. Правда, я часто отлучался и оставлял ее одну, но кончалось тем, что всегда приезжал обратно. Nous revenons toujours[*],[26] и это уж такое основное свойство мужчин; у них это от великодушия. Если бы дело брака зависело от одних женщин — ни одного бы брака не уцелело. Смирение, безответность, приниженность и в то же время твердость, сила, настоящая сила — вот характер твоей матери. Заметь, что это лучшая из всех женщин, каких я встречал на свете. А что в ней сила есть — это я засвидетельствую: видал же я, как эта сила ее питала. Там, где касается, я не скажу убеждений — правильных убеждений тут быть не может, — но того, что считается у них убеждением, а стало быть, по-ихнему, и святым, там просто хоть на муки. Ну, а сам можешь заключить: похож ли я на мучителя? Вот почему я и предпочел почти во всем замолчать, а не потому только, что это легче, и, признаюсь, не раскаиваюсь. Таким образом, всё обошлось само собою широко и гуманно, так что я себе даже никакой хвалы не приписываю. Скажу кстати, в скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда не верила в мою гуманность, а потому всегда трепетала; но, трепеща, в то же время не поддалась ни на какую культуру. Они как-то это умеют, а мы тут чего-то не понимаем, и вообще они умеют лучше нашего обделывать свои дела. Они могут продолжать жить по-своему в самых ненатуральных для них положениях и в самых не ихних положениях оставаться совершенно самими собой. Мы так не умеем.

— Кто они? Я вас немного не понимаю.

— Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал эту великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически. Но, чтобы обратиться к нашему, то замечу про мать твою, что она ведь не всё молчит; твоя мать иногда и скажет, но скажет так, что ты прямо увидишь, что только время потерял говоривши, хотя бы даже пять лет перед тем постепенно ее приготовлял. К тому же возражения самые неожиданные. Опять таки заметь, что я совсем не называю ее дурой; напротив, тут своего рода ум, и даже презамечательный ум; впрочем, ты уму-то, может быть, не поверишь…

— Почему нет? Я вот только не верю тому, что вы сами-то в ее ум верите в самом деле, и не притворяясь.

— Да? Ты меня считаешь таким хамелеоном? Друг мой, я тебе немного слишком позволяю… как балованному сыну… но пусть уже на этот раз так и останется.

— Расскажите мне про моего отца, если можете, правду.

— Насчет Макара Ивановича? Макар Иванович — это, как ты уже знаешь, дворовый человек, так сказать, пожелавший некоторой славы…

— Об заклад побьюсь, что вы ему в эту минуту в чем-нибудь завидуете!

— Напротив, мой друг, напротив, и если хочешь, то очень рад, что вижу тебя в таком замысловатом расположении духа; клянусь, что я именно теперь в настроении в высшей степени покаянном, и именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз может быть, бессильно жалею обо всем, двадцать лет тому назад происшедшем. К тому же, видит бог, что всё это произошло в высшей степени нечаянно… ну а потом, сколько было в силах моих, и гуманно; по крайней мере сколько я тогда представлял себе подвиг гуманности. О, мы тогда все кипели ревностью делать добро, служить гражданским целям, высшей идее; осуждали чины, родовые права наши, деревни и даже ломбард[*], по крайней мере некоторые из нас… Клянусь тебе. Нас было немного, но мы говорили хорошо и, уверяю тебя, даже поступали иногда хорошо.

— Это когда вы на плече-то рыдали?

— Друг мой, я с тобой согласен во всем вперед; кстати, ты о плече слышал от меня же, а стало быть, в сию минуту употребляешь во зло мое же простодушие и мою же доверчивость; но согласись, что это плечо, право, было не так дурно, как оно кажется с первого взгляда,

особенно для того времени; мы ведь только тогда начинали. Я, конечно, ломался, но я ведь тогда еще не знал, что ломаюсь. Разве ты, например, никогда не ломаешься в практических случаях?

— Я сейчас внизу немного расчувствовался, и мне очень стало стыдно, взойдя сюда, при мысли, что вы подумаете, что я ломался. Это правда, что в иных случаях хоть и искренно чувствуешь, но иногда представляешься; внизу же, теперь, клянусь, всё было натурально.

— Именно это и есть; ты преудачно определил в одном слове: «хоть и искренно чувствуешь, но все-таки представляешься»; ну, вот так точно и было со мной: я хоть и представлялся, но рыдал совершенно искренно. Не спорю, что Макар Иванович мог бы принять это плечо за усиление насмешки, если бы был остроумнее; но его честность помешала тогда его прозорливости. Не знаю только, жалел он меня тогда или нет; помнится, мне того тогда очень хотелось.

— Знаете, — прервал я его, — вы вот и теперь, говоря это, насмехаетесь. И вообще, всё время, пока вы говорили со мной, весь этот месяц, вы насмехались. Зачем вы всегда это делали, когда говорили со мной?

— Ты думаешь? — ответил он кротко, — ты очень мнителен; впрочем, если я и засмеюсь, то не над тобой, или, по крайней мере, не над тобой одним, будь покоен. Но я теперь не смеюсь, а тогда — одним словом, я сделал тогда всё, что мог, и, поверь, не в свою пользу. Мы, то есть прекрасные люди, в противоположность народу, совсем не умели тогда действовать в свою пользу: напротив, всегда себе пакостили сколько возможно, и я подозреваю, что это-то и считалось у нас тогда какой-то «высшей и нашей же пользой», разумеется в высшем смысле. Теперешнее поколение людей передовых несравненно нас загребистее. Я тогда, еще до греха, объяснил Макару Ивановичу всё с необыкновенною прямотой. Я теперь согласен, что многое из того не надо было объяснять вовсе, тем более с такой прямотой: не говоря уже о гуманности, было бы даже вежливее; но поди удержи себя, когда, растанцевавшись, захочется сделать хорошенькое па? А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле, я этого во всю жизнь не мог разрешить.[*] Впрочем, это слишком глубокая тема для поверхностного разговора нашего, но клянусь тебе, что я теперь иногда умираю от стыда, вспоминая. Я тогда предложил ему три тысячи рублей, и, помню, он всё молчал, а только я говорил. Представь себе,

мне вообразилось, что он меня боится, то есть моего крепостного права, и, помню, я всеми силами старался его ободрить; я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания, и даже со всевозможною критикой. В виде гарантии я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то есть трех тысяч, вольной (ему и жене, разумеется) и вояжа на все четыре стороны (без жены, разумеется), — то пусть скажет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих, кажется теми же тремя тысячами, и уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а я сам от них уеду на три года в Италию, один-одинехонек. Mon ami, я бы не взял с собой в Италию mademoiselle Сапожкову, будь уверен: я был чрезвычайно чист в те минуты. И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, что я так и сделаю, как говорю; но он продолжал молчать, и только когда я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел, даже с некоторою бесцеремонностью, уверяю тебя, которая даже меня тогда удивила. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще они, когда ничего не говорят — всего хуже, а это был мрачный характер, и, признаюсь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужасно даже боялся: в этой среде есть характеры, и ужасно много, которые заключают в себе, так сказать, олицетворение непорядочности, а этого боишься пуще побоев. Sic.[27] И как я рисковал, как рисковал! Ну что, если б он закричал на весь двор, завыл, сей уездный Урия, — ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом*, и что бы я сумел тогда сделать? Вот потому-то я и пустил прежде всего три тысячи, это было инстинктивно, но я, к счастью, ошибся: этот Макар Иванович был нечто совсем другое…

— Скажите, грех был? Вы сказали сейчас, что позвали мужа еще до греха?

— То есть, видишь ли, это как разуметь…

— Значит, был. Вы сказали сейчас, что вы в нем ошиблись, что это было нечто другое; что же другое?

— А что именно, я и до сих пор не знаю. Но что-то другое, и, знаешь, даже весьма порядочное; заключаю потому, что мне под конец стало втрое при нем совестнее. Он на другой же день согласился на вояж, без всяких слов, разумеется не забыв ни одной из предложенных мною наград.

— Деньги взял?

— Еще как! И знаешь, мой друг, в этом пункте даже совсем удивил меня. Трех тысяч у меня тогда в кармане, разумеется, не случилось, но я достал семьсот рублей и вручил ему их на первый случай, и что же? Он две тысячи триста остальных стребовал же с меня, в виде заемного письма, для верности, на имя одного купца. Потом, через два года, он по этому письму стребовал с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня опять удивил, тем более что буквально пошел сбирать на построение божьего храма[*], и с тех пор вот уже двадцать лет скитается. Не понимаю, зачем страннику столько собственных денег… деньги такая светская вещь… Я, конечно, предлагал их в ту минуту искренно и, так сказать, с первым пылом, но потом, по прошествии столь многих минут, я, естественно, мог одуматься… и рассчитывал, что он по крайней мере меня пощадит… или, так сказать, *нас* пощадит, нас с нею, подождет хоть по крайней мере. Однако даже не подождал…

(Сделаю здесь необходимое нотабене: если бы случилось, что мать пережила господина Версилова, то осталась бы буквально без гроша на старости лет, когда б не эти три тысячи Макара Ивановича, давно уже удвоенные процентами и которые он оставил ей все целиком, до последнего рубля, в прошлом году, по духовному завещанию. Он предугадал Версилова даже в то еще время).

— Вы раз говорили, что Макар Иванович приходил к вам несколько раз на побывку и всегда останавливался на квартире у матушки?

— Да, мой друг, и я, признаюсь, сперва ужасно боялся этих посещений. Во весь этот срок, в двадцать лет, он приходил всего раз шесть или семь, и в первые разы я, если бывал дома, прятался. Даже не понимал сначала, что это значит и зачем он является? Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатление. Это уже в третье или четвертое его посещение, именно в ту эпоху, когда я поступал в мировые посредники и когда, разумеется, изо всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал даже чрезвычайно много нового. Кроме того, встретил в нем именно то, чего никак не ожидал встретить: какое-то благодушие, ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость. Ни малейшего намека на *то* (tu comprends?)[28] и в высшей степени уменье

говорить дело, и говорить превосходно, то есть без глупого ихнего дворового глубокомыслия, которого я, признаюсь тебе, несмотря на весь мой демократизм, терпеть не могу, и без всех этих напряженных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на сцене «настоящие русские люди». При этом чрезвычайно мало о религии, если только не заговоришь сам, и премилые даже рассказы в своем роде о монастырях и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. А главное — почтительность, эта скромная почтительность, именно та почтительность, которая необходима для высшего равенства, мало того, без которой, по-моему, не достигнешь и первенства. Тут именно, через отсутствие малейшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении, каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении — чрезвычайно редка на свете, по крайней мере столь же редка, как и истинное собственное достоинство… Ты сам увидишь, коль поживешь. Но всего более поразило меня впоследствии, и именно впоследствии, а не вначале (прибавил Версилов) — то, что этот Макар чрезвычайно осанист собою и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. Правда, стар, но

Смуглолиц, высок и прям[*],

прост и важен; я даже подивился моей бедной Софье, как это она могла *тогда* предпочесть меня; тогда ему было пятьдесят, но все же он был такой молодец, а я перед ним такой вертун. Впрочем, помню, он уже и тогда был непозволительно сед, стало быть, таким же седым на ней и женился… Вот разве это повлияло.

У этого Версилова была подлейшая замашка из высшего тона: сказав (когда нельзя было иначе) несколько преумных и прекрасных вещей, вдруг кончить нарочно какою-нибудь глупостью, вроде этой догадки про седину Макара Ивановича и про влияние ее на мать. Это он делал нарочно и, вероятно, сам не зная зачем, по глупейшей светской привычке. Слышать его — кажется, говорит очень серьезно, а между тем про себя кривляется или смеется.

III

Не понимаю, почему вдруг тогда на меня нашло страшное озлобление. Вообще, я с большим неудовольствием вспоминаю о некоторых моих выходках в те минуты; я вдруг встал со стула.

— Знаете что, — сказал я, — вы говорите, что пришли, главное, с тем, чтобы мать подумала, что мы помирились. Времени прошло довольно, чтоб ей подумать; не угодно ли вам оставить меня одного?

Он слегка покраснел и встал с места:

— Милый мой, ты чрезвычайно со мной бесцеремонен. Впрочем, до свиданья; насильно мил не будешь. Я позволю себе только один вопрос: ты действительно хочешь оставить князя?

— Ага! Я так и знал, что у вас особые цели…

— То есть ты подозреваешь, что я пришел склонять тебя остаться у князя, имея в том свои выгоды. Но, друг мой, уж не думаешь ли ты, что я из Москвы тебя выписал, имея в виду какую-нибудь свою выгоду? О, как ты мнителен! Я, напротив, желая тебе же во всем добра. И даже вот теперь, когда так поправились и мои средства, я бы желал, чтобы ты, хоть иногда, позволял мне с матерью помогать тебе.

— Я вас не люблю, Версилов.

— И даже «Версилов». Кстати, я очень сожалею, что не мог передать тебе этого имени, ибо в сущности только в этом и состоит вся вина моя, если уж есть вина, не правда ли? Но, опять-таки, не мог же я жениться на замужней, сам рассуди.

— Вот почему, вероятно, и хотели жениться на не замужней?

Легкая судорога прошла по лицу его.

— Это ты про Эмс. Слушай, Аркадий, ты внизу позволил себе эту же выходку, указывая на меня пальцем, при матери. Знай же, что именно тут ты наиболее промахнулся. Из истории с покойной Лидией Ахмаковой ты не знаешь ровно ничего. Не знаешь и того, насколько в этой истории сама твоя мать участвовала, да, несмотря на то что ее там со мною не было; и если я когда видел добрую женщину, то тогда, смотря на мать твою. Но довольно; это всё пока еще тайна, а ты — ты говоришь неизвестно что и с чужого голоса.

— Князь именно сегодня говорил, что вы любитель неоперившихся девочек.

— Это князь говорил?

— Да, слушайте, хотите, я вам скажу в точности, для чего вы теперь ко мне приходили? Я всё это время сидел и спрашивал себя: в

чем тайна этого визита и наконец, кажется, теперь догадался.

Он было уже выходил, но остановился и повернул ко мне голову в ожидании.

— Давеча я проговорился мельком, что письмо Тушара к Татьяне Павловне, попавшее в бумаги Андроникова, очутилось, по смерти его, в Москве у Марьи Ивановны. Я видел, как у вас что-то вдруг дернулось в лице, и только теперь догадался, когда у вас еще раз, сейчас, что-то опять дернулось точно так *же* в лице: вам пришло тогда, внизу, на мысль, что если одно письмо Андроникова уже очутилось у Марьи Ивановны, то почему же и другому не очутиться? А после Андроникова могли остаться преважные письма, а? Не правда ли?

— И я, придя к тебе, хотел заставить тебя о чем-нибудь проболтаться?

— Сами знаете.

Он очень побледнел.

— Это ты не сам собою догадался; тут влияние женщины; и сколько уже ненависти в словах твоих — в грубой догадке твоей!

— Женщины? А я эту женщину как раз видел сего дня! Вы, может быть, именно чтоб шпионить за ней, и хотите меня оставить у князя?

— Однако вижу, что ты чрезвычайно далеко уйдешь по новой своей дороге. Уж не это ли «твоя идея»? Продолжай, мой друг, ты имеешь несомненные способности по сыскной части. Дан талант, так надо усовершенствовать.

Он приостановился перевести дыхание.

— Берегитесь, Версилов, не делайте меня врагом вашим!

— Друг мой, последние свои мысли в таких случаях никто не высказывает, а бережет про себя. А затем, посвети мне, прошу тебя. Ты хоть мне и враг, но не до такой же, вероятно, степени, чтоб пожелать мне сломать себе шею. Tiens, mon ami,[29] вообрази, — продолжал он спускаясь, — а ведь я весь этот месяц принимал тебя за добряка. Ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай, кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало: это у тебя на лице написано; ну, а такие большею частью добряки. И вот как же я ошибся!

IV

Не могу выразить, как сжалось у меня сердце, когда я остался один: точно я отрезал живьем собственный кусок мяса! Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел его — так усиленно и нарочно, — я бы не мог теперь рассказать, конечно и тогда тоже. И как он побледнел! И что же: эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и самой глубокой горести, а не злости и не обиды. Мне всегда казалось, что бывали минуты, когда он очень любил меня. Почему, почему не верить мне теперь этому, тем более что уже так многое совершенно объяснено теперь?

А разозлился я вдруг и выгнал его действительно, может быть, и от внезапной догадки, что он пришел ко мне, надеясь узнать: не осталось ли у Марьи Ивановны еще писем Андроникова? Что он должен был искать этих писем и ищет их — это я знал. Но кто знает, может быть тогда, именно в ту минуту, я ужасно ошибся! И кто знает, может быть, я же, этою же самой ошибкой, и навел его впоследствии на мысль о Марье Ивановне и о возможности у ней писем?

И наконец, опять странность: опять он повторял слово в слово мою мысль (о трех жизнях), которую я высказал давеча Крафту, главное моими же словами. Совпадение слов опять-таки случай, но все-таки как же знает он сущность моей природы: какой взгляд, какая угадка! Но, если так понимает одно, зачем же совсем не понимает другого? И неужели он не ломался, а и в самом деле не в состоянии был догадаться, что мне не дворянство версиловское нужно было, что не рождения моего я не могу ему простить, а что мне самого Версилова всю жизнь надо было, всего человека, отца, и что эта мысль вошла уже в кровь мою? Неужели же такой тонкий человек настолько туп и груб? А если нет, то зачем же он меня бесит, зачем притворяется?

Глава восьмая

I

Наутро я постарался встать как можно раньше. Обыкновенно у нас поднимались около восьми часов, то есть я, мать и сестра; Версилов нежился до половины десятого. Аккуратно в половине девятого мать приносила мне кофей. Но на этот раз я, не дождавшись кофею, улизнул

из дому ровно в восемь часов. У меня еще с вечера составился общий план действий на весь этот день. В этом плане, несмотря на страстную решимость немедленно приступить к выполнению, я уже чувствовал, было чрезвычайно много нетвердого и неопределенного в самых важных пунктах; вот почему почти всю ночь я был как в полусне, точно бредил, видел ужасно много снов и почти ни разу не заснул как следует. Несмотря на то, поднялся бодрее и свежее, чем когда-нибудь. С матерью же я особенно не хотел повстречаться. Я не мог заговорить с нею иначе как на известную тему и боялся отвлечь себя от предпринятых целей каким-нибудь новым и неожиданным впечатлением.

Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее сообщителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил.

Я опять направлялся на Петербургскую. Так как мне в двенадцатом часу непременно надо было быть обратно на Фонтанке у Васина (которого чаще всего можно было застать дома в двенадцать часов), то и спешил я не останавливаясь, несмотря на чрезвычайный позыв выпить где-нибудь кофею. К тому же и Ефима Зверева надо было захватить дома непременно; я шел опять к нему и впрямь чуть-чуть было не опоздал; он допивал свой кофей и готовился выходить.

— Чего тебя так часто носит? — встретил он меня, не вставая с места.

— А вот я тебе сейчас объясню.

Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные,

только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы» (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!)[*], мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город[*], подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»[*] Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что всё это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это всё грезится, — и всё вдруг исчезнет». Но я увлекся.

Скажу заранее: есть замыслы и мечты в каждой жизни до того, казалось бы, эксцентрические, что их с первого взгляда можно безошибочно принять за сумасшествие. С одною из таких фантазий и пришел я в это утро к Звереву, — к Звереву, потому что никого другого не имел в Петербурге, к кому бы на этот раз мог обратиться. А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким предложением к последнему. Когда я уселся напротив него, то мне даже самому показалось, что я, олицетворенный бред и горячка, уселся напротив олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей стороне была идея и верное чувство, на его — один лишь практический вывод: что так никогда не делается. Короче, я объяснил ему кратко и ясно, что, кроме него, у меня в Петербурге нет решительно никого, кого бы я мог послать, ввиду чрезвычайного дела чести, вместо секунданта; что он старый товарищ и отказаться поэтому даже не имеет и права, а что вызвать я желаю гвардии поручика князя Сокольского за то, что, год с лишком назад, он, в Эмсе, дал отцу моему,

Версилову, пощечину. Замечу при этом, что Ефим даже очень подробно знал все мои семейные обстоятельства, отношения мои к Версилову и почти всё, что я сам знал из истории Версилова; я же ему в разное время и сообщил, кроме, разумеется, некоторых секретов. Он сидел и слушал, по обыкновению своему нахохлившись, как воробей в клетке, молчаливый и серьезный, одутловатый, с своими взъерошенными белыми волосами. Неподвижная насмешливая улыбка не сходила с губ его. Улыбка эта была тем сквернее, что была совершенно не умышленная, а невольная; видно было, что он действительно и воистину считал себя в эту минуту гораздо выше меня и умом и характером. Я подозревал тоже, что он к тому же презирает меня за вчерашнюю сцену у Дергачева; это так и должно было быть: Ефим — толпа, Ефим — улица, а та всегда поклоняется только успеху.

— А Версилов про это не знает? — спросил он.

— Разумеется, нет.

— Так какое же ты право имеешь вмешиваться в дела его? Это во-первых. А во-вторых, что ты этим хочешь доказать?

Я знал возражения и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во-первых, нахалу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь, и в нашем сословии, а во-вторых, будет пристыжен Версилов и вынесет урок. А в-третьих, и главное, если даже Версилов был и прав, по каким-нибудь там своим убеждениям, не вызвав князя и решившись снести пощечину, то по крайней мере он увидит, что есть существо, до того сильно способное чувствовать его обиду, что принимает ее как за свою, и готовое положить за интересы его даже жизнь свою… несмотря на то что с ним расстается навеки…

— Постой, не кричи, тетка не любит. Скажи ты мне, ведь с этим самым князем Сокольским Версилов тягается о наследстве? В таком случае это будет уже совершенно новый и оригинальный способ выигрывать тяжбы — убивая противников на дуэли.

Я объяснил ему en toutes lettres,[30] что он просто глуп и нахал и что если насмешливая улыбка его разрастается всё больше и больше, то это доказывает только его самодовольство и ординарность, что не может же он предположить, что соображения о тяжбе не было и в моей голове, да еще с самого начала, а удостоило посетить только его многодумную голову. Затем я изложил ему, что тяжба уже выиграна, к тому же ведется не с князем Сокольским, а с князьями Сокольскими, так что

если убит один князь, то остаются другие, но что, без сомнения, надо будет отдалить вызов на срок апелляции (хотя князья апеллировать и не будут), но единственно для приличия. По миновании же срока и последует дуэль; что я с тем и пришел теперь, что дуэль не сейчас, но что мне надо было заручиться, потому что секунданта нет, я ни с кем не знаком, так по крайней мере к тому времени чтоб успеть найти, если он, Ефим, откажется. Вот для чего, дескать, я

пришел.

— Ну, тогда и приходи говорить, а то ишь прет попусту десять верст.

Он встал и взялся за фуражку.

— А тогда пойдешь?

— Нет, не пойду, разумеется.

— Почему?

— Да уж по тому одному не пойду, что согласись я теперь, что тогда пойду, так ты весь этот срок апелляции таскаться начнешь ко мне каждый день. А главное, всё это вздор, вот и всё. И стану я из-за тебя мою карьеру ломать? И вдруг князь меня спросит: «Вас кто прислал?» — «Долгорукий». — «А какое дело Долгорукому до Версилова?» Так я должен ему твою родословную объяснять, что ли? Да ведь он расхохочется!

— Так ты ему в рожу дай!

— Ну, это сказки.

— Боишься? Ты такой высокий; ты был сильнее всех в гимназии.

— Боюсь, конечно боюсь. Да князь уж потому драться не станет, что дерутся с ровней.

— Я тоже джентльмен по развитию, я имею права, я ровня… напротив, это он неровня.

— Нет, ты маленький.

— Как маленький?

— Так маленький; мы оба маленькие, а он большой.

— Дурак ты! да я уж год, по закону, жениться могу.

— Ну и. женись, а все-таки ш<-->дик: ты еще растешь!

Я, конечно, понял, что он вздумал надо мною насмехаться. Без сомнения, весь этот глупый анекдот можно было и не рассказывать и даже лучше, если б он умер в неизвестности; к тому же он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя и имел довольно серьезные

последствия.

Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу его вполне. Разглядев, что Ефим надо мной насмехается, я позволил себе толкнуть его в плечо правой рукой, или, лучше сказать, правым кулаком. Тогда он взял меня за плечи, обернул лицом в поле и — доказал мне на деле, что он действительно сильнее всех у нас в гимназии.

II

Читатель, конечно, подумает, что я был в ужаснейшем расположении, выйдя от Ефима, и, однако, ошибется. Я слишком понял, что вышел случай школьнический, гимназический, а серьезность дела остается вся целиком. Кофею я напился уже на Васильевском острове, нарочно миновав вчерашний мой трактир на Петербургской; и трактир этот, и соловей стали для меня вдвое ненавистнее. Странное свойство: я способен ненавидеть места и предметы, точно как будто людей. Зато есть у меня в Петербурге и несколько мест счастливых, то есть таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, — и что же, я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уже совсем один и несчастлив, зайти погрустить и припомнить. За кофеем я отдал вполне справедливость Ефиму и здравому смыслу его. Да, он был практичнее меня, но вряд ли реальнее. Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп.[*] Но, отдавая справедливость Ефиму (который, вероятно, в ту минуту думал, что я иду по улице и ругаюсь), — я все-таки ничего не уступил из убеждений, как не уступлю до сих пор. Видал я таких, что из-за первого ведра холодной воды не только отступаются от поступков своих, но даже от идеи, и сами начинают смеяться над тем, что, всего час тому, считали священным; о, как у них это легко делается! Пусть Ефим, даже и в сущности дела, был правее меня, а я глупее всего глупого и лишь ломался, но всё же в самой глубине дела лежала такая точка, стоя на которой, был прав и я, что-то такое было и у меня справедливого и, главное, чего они никогда не могли понять.

У Васина, на Фонтанке у Семеновского моста[*], очутился я почти ровно в двенадцать часов, но его не застал дома. Занятия свои он имел

на Васильевском, домой же являлся в строго определенные часы, между прочим почти всегда в двенадцатом. Так как, кроме того, был какой-то праздник, то я и предполагал, что застану его наверно; не застав, расположился ждать, несмотря на то что являлся к нему в первый раз.

Я рассуждал так: дело с письмом о наследстве есть дело совести, и я, выбирая Васина в судьи, тем самым выказываю ему всю глубину моего уважения, что, уж конечно, должно было ему польстить. Разумеется, я и взаправду был озабочен этим письмом и действительно убежден в необходимости третейского решения; но подозреваю, однако, что и тогда уже мог бы вывернуться из затруднения без всякой посторонней помощи. И главное, сам знал про это; именно: стоило только отдать письмо самому Версилову из рук в руки, а что он там захочет, пусть так и делает: вот решение. Ставить же самого себя высшим судьей и решителем в деле такого сорта было даже совсем неправильно. Устраняя себя передачею письма из рук в руки, и именно молча, я уж тем самым тотчас бы выиграл, поставив себя в высшее над Версиловым положение, ибо, отказавшись, насколько это касается меня, от всех выгод по наследству (потому что мне, как сыну Версилова, уж конечно, что-нибудь перепало бы из этих денег, не сейчас, так потом), я сохранил бы за собою навеки высший нравственный взгляд на будущий поступок Версилова. Упрекнуть же меня за то, что я погубил князей, опять-таки никто бы не мог, потому что документ не имел решающего юридического значения. Всё это я обдумал и совершенно уяснил себе, сидя в пустой комнате Васина, и мне даже вдруг пришло в голову, что пришел я к Васину, столь жаждая от него совета, как поступить, — единственно с тою целью, чтобы он увидал при этом, какой я сам благороднейший и бескорыстнейший человек, а стало быть, чтоб и отмстить ему тем самым за вчерашнее мое перед ним принижение.

Сознав всё это, я ощутил большую досаду; тем не менее не ушел, а остался, хоть и наверно знал, что досада моя каждые пять минут будет только нарастать.

Прежде всего мне стала ужасно не нравиться комната Васина. «Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер» — право, можно бы так сказать. Васин жил в меблированной комнате от жильцов, очевидно бедных и тем промышлявших, имевших постояльцев и кроме него. Знакомы мне эти узкие, чуть-чуть заставленные мебелью комнатки и, однако же, с претензией на комфортабельный вид; тут непременно

мягкий диван с Толкучего рынка, который опасно двигать, рукомойник и ширмами огороженная железная кровать. Васин был, очевидно, лучшим и благонадежнейшим жильцом; такой самый лучший жилец непременно бывает один у хозяйки, и за это ему особенно угождают: у него убирают и подметают тщательнее, вешают над диваном какую-нибудь литографию, под стол подстилают чахоточный коврик. Люди, любящие эту затхлую чистоту, а главное, угодливую почтительность хозяек, — сами подозрительны. Я был убежден, что звание лучшего жильца льстило самому Васину. Не знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бумаги, чернилица — всё было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяйки-немки и ее горничной. Книг было довольно, и не то что газет и журналов, а настоящих книг, — и он, очевидно, их читал и, вероятно, садился читать или принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом. Не знаю, но я больше люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере из занятий не делается священнодействия. Наверно, этот Васин чрезвычайно вежлив с посетителем, но, наверно, каждый жест его говорит посетителю: «Вот я посижу с тобою часика полтора, а потом, когда ты уйдешь, займусь уже делом». Наверно, с ним можно завести чрезвычайно интересный разговор и услышать новое, но — «мы вот теперь с тобою поговорим, и я тебя очень заинтересую, а когда ты уйдешь, я примусь уже за самое интересное»… И однако же, я все-таки не уходил, а сидел. В том же, что совсем не нуждаюсь в его совете, я уже окончательно убедился.

Я сидел уже с час и больше, и сидел у окна на одном из двух приставленных к окну плетеных стульев. Бесило меня и то, что уходило время, а мне до вечера надо было еще сыскать квартиру. Я было хотел взять какую-нибудь книгу от скуки, но не взял: при одной мысли развлечь себя стало вдвое противнее. Больше часу как продолжалась чрезвычайная тишина, и вот вдруг, где-то очень близко, за дверью, которую заслонял диван, я невольно и постепенно стал различать всё больше и больше разраставшийся шепот. Говорили два голоса, очевидно женские, это слышно было, но расслышать слов совсем нельзя было; и, однако, я от скуки как-то стал вникать. Ясно было, что говорили одушевленно и страстно и что дело шло не о выкройках: о чем-то сговаривались, или спорили, или один голос убеждал и просил, а

другой не слушался и возражал. Должно быть, какие-нибудь другие жильцы. Скоро мне наскучило и ухо привыкло, так что я хоть и продолжал слушать, но механически, а иногда и совсем забывая, что слушаю, как вдруг произошло что-то чрезвычайное, точно как бы кто-то соскочил со стула обеими ногами или вдруг вскочил с места и затопал; затем раздался стон и вдруг крик, даже и не крик, а визг, животный, озлобленный и которому уже всё равно, услышат чужие или нет. Я бросился к двери и отворил; разом со мной отворилась и другая дверь в конце коридора, хозяйкина, как узнал я после, откуда выглянули две любопытные головы. Крик, однако, тотчас затих, как вдруг отворилась дверь рядом с моею, от соседок, и одна молодая, как показалось мне, женщина быстро вырвалась и побежала вниз по лестнице. Другая же, пожилая женщина, хотела было удержать ее, но не смогла, и только простонала ей вслед:

— Оля, Оля, куда? ох!

Но, разглядев две наши отворенные двери, проворно притворила свою, оставив щелку и из нее прислушиваясь на лестницу до тех пор, пока не замолкли совсем шаги убежавшей вниз Оли. Я вернулся к моему окну. Всё затихло. Случай пустой, а может быть, и смешной, и я перестал об нем думать.

Примерно четверть часа спустя раздался в коридоре, у самой двери Васина, громкий и развязный мужской голос. Кто-то схватился за ручку двери и приотворил ее настолько, что можно было разглядеть в коридоре какого-то высокого ростом мужчину, очевидно тоже и меня увидавшего и даже меня уже рассматривавшего, но не входившего еще в комнату, а продолжавшего, через весь коридор и держась за ручку, разговаривать с хозяйкой. Хозяйка перекликалась с ним тоненьким и веселеньким голоском, и уж по голосу слышалось, что посетитель ей давно знаком, уважаем ею и ценим, и как солидный гость и как веселый господин. Веселый господин кричал и острил, но дело шло только о том, что Васина нет дома, что он всё никак не может застать его, что это ему на роду написано и что он опять, как тогда, подождет, и всё это, без сомнения, казалось верхом остроумия хозяйке. Наконец гость вошел, размахнув дверь на весь отлет.

Это был хорошо одетый господин, очевидно у лучшего портного, как говорится, «по-барски», а между тем всего менее в нем имелось барского, и, кажется, несмотря на значительное желание иметь. Он был

не то что развязен, а как-то натурально нахален, то есть все-таки менее обидно, чем нахал, выработавший себя перед зеркалом. Волосы его, темно-русые с легкою проседью, черные брови, большая борода и большие глаза не только не способствовали его характерности, но именно как бы придавали ему что-то общее, на всех похожее. Этакий человек и смеется и готов смеяться, но вам почему-то с ним никогда не весело. Со смешливого он быстро переходит на важный вид, с важного на игривый или подмигивающий, но всё это как-то раскидчиво и беспричинно… Впрочем, нечего вперед описывать. Этого господина я потом узнал гораздо больше и ближе, а потому поневоле представляю его теперь уже более зазнамо, чем тогда, когда он отворил дверь и вошел в комнату. Однако и теперь затруднился бы сказать о нем что-нибудь точное и определяющее, потому что в этих людях главное — именно их незаконченность, раскидчивость и неопределенность.

Он еще не успел и сесть, как мне вдруг померещилось, что это, должно быть, отчим Васина, некий господин Стебельков, о котором я уже что-то слышал, но до того мельком, что никак бы не мог сказать, что именно: помнил только, что что-то нехорошее. Я знал, что Васин долго был сиротой под его началом, но что давно уже вышел из-под его влияния, что и цели и интересы их различны и что живут они совсем розно во всех отношениях. Запомнилось мне тоже, что у этого Стебелькова был некоторый капитал и что он какой-то даже спекулянт и вертун; одним словом, я уже, может быть, и знал про него что-нибудь подробнее, но забыл. Он обмерил меня взглядом, не поклонившись впрочем, поставил свою шляпу-цилиндр на стол перед диваном, стол властно отодвинул ногой и не то что сел, а прямо развалился на диван, на котором я не посмел сесть, так что тот затрещал, свесил ноги и, высоко подняв правый носок своего лакированного сапога, стал им любоваться. Конечно, тотчас же обернулся ко мне и опять обмерил меня своими большими, несколько неподвижными глазами.

— Не застаю! — слегка кивнул он мне головой.

Я промолчал.

— Неаккуратен! Свои взгляды на дело. С Петербургской?

— То есть вы пришли с Петербургской? — переспросил я его.

— Нет, это я вас спрашиваю.

— Я… я пришел с Петербургской, только почему вы узнали?

— Почему? Гм. — Он подмигнул, но не удостоил разъяснить.

— То есть я не живу на Петербургской, но я был теперь на Петербургской и оттуда пришел сюда.

Он продолжал молча улыбаться какою-то значительною улыбкою, которая мне ужасно как не нравилась. В этом подмигивании было что-то глупое.

— У господина Дергачева? — проговорил он наконец.

— Что у Дергачева? — открыл я глаза.

Он победоносно смотрел на меня.

— Я и незнаком.

— Гм.

— Как хотите, — ответил я.

Он мне становился противен.

— Гм, да-с. Нет-с, позвольте; вы покупаете в лавке вещь, в другой лавке рядом другой покупатель покупает другую вещь, какую бы вы думали? Деньги-с, у купца, который именуется ростовщиком-с… потому что деньги есть тоже вещь, а ростовщик есть тоже купец… Вы следите?

— Пожалуй, слежу.

— Проходит третий покупатель и, показывая на одну из лавок, говорит: «Это основательно», а показывая на другую из лавок, говорит: «Это неосновательно». Что могу я заключить о сем покупателе?

— Почем я знаю.

— Нет-с, позвольте. Я к примеру; хорошим примером человек живет. Я иду по Невскому и замечаю, что по другой стороне улицы, по тротуару, идет господин, которого характер я желал бы определить. Мы доходим, по разным сторонам, вплоть до поворота в Морскую, и именно там, где английский магазин, мы замечаем третьего прохожего, только что раздавленного лошадью. Теперь вникните: проходит четвертый господин и желает определить характер всех нас троих, вместе с раздавленным, в смысле практичности и основательности… Вы следите?

— Извините, с большим трудом.

— Хорошо-с; так я и думал. Я переменю тему. Я на водах в Германии, на минеральных водах, как и бывал неоднократно, на каких — это всё равно. Хожу по водам и вижу англичан. С англичанином, как вы знаете, знакомство завязать трудно; но вот через два месяца, кончив срок лечения, мы все в области гор, всходим компанией, с

остроконечными палками, на гору, ту или другую, всё равно. На повороте, то есть на этапе, и именно там, где монахи водку шартрез делают, — это заметьте, — я встречаю туземца, стоящего уединенно, смотрящего молча. Я желаю заключить о его основательности: как вы думаете, мог бы я обратиться за заключением к толпе англичан, с которыми шествую, единственно потому только, что не сумел заговорить с ними на водах?

— Почем я знаю. Извините, мне очень трудно следить за вами.

— Трудно?

— Да, вы меня утомляете.

— Гм. — Он подмигнул и сделал рукой какой-то жест, вероятно долженствовавший обозначать что-то очень торжествующее и победоносное; затем весьма солидно и спокойно вынул из кармана газету, очевидно только что купленную, развернул и стал читать в последней странице, по-видимому оставив меня в совершенном покое. Минут пять он не глядел на меня.

— Бресто-граевские-то ведь не шлепнулись, а?[*] Ведь пошли, ведь идут! Многих знаю, которые тут же шлепнулись.

Он от всей души поглядел на меня.

— Я пока в этой бирже мало смыслю, — ответил я.

— Отрицаете?

— Что?

— Деньги-с.

— Я не отрицаю деньги, но… но, мне кажется, сначала идея, а потом деньги.

— То есть, позвольте-с… вот человек состоит, так сказать, при собственном капитале…

— Сначала высшая идея, а потом деньги, а без высшей идеи с деньгами общество провалится.

Не знаю, зачем я стал было горячиться. Он посмотрел на меня несколько тупо, как будто запутавшись, но вдруг всё лицо его раздвинулось в веселейшую и хитрейшую улыбку:

— Версилов-то, а? Ведь тяпнул-таки, тяпнул! Присудили вчера, а?

Я вдруг и неожиданно увидал, что он уж давно знает, кто я такой, и, может быть, очень многое еще знает. Не понимаю только, зачем я вдруг покраснел и глупейшим образом смотрел, не отводя от него глаз. Он видимо торжествовал, он весело смотрел на меня, точно в чем-то

хитрейшим образом поймал и уличил меня.

— Нет-с, — поднял он вверх обе брови, — это вы меня спросите про господина Версилова! Что я вам говорил сейчас насчет основательности? Полтора года назад, из-за этого ребенка, он бы мог усовершенствованное дельце завершить — да-с, а он шлепнулся, да-с.

— Из-за какого ребенка?

— Из-за грудного-с, которого и теперь на стороне выкармливает, только ничего не возьмет чрез это… потому…

— Какой грудной ребенок? Что такое?

— Конечно, его ребенок, его собственный-с, от mademoiselle Лидии Ахмаковой… «Прелестная дева ласкала меня…»* Фосфорные-то спички — а?

— Что за вздор, что за дичь! У него никогда не было ребенка от Ахмаковой!

— Бона! Да я-то где был? Я ведь и доктор и акушер-с. Фамилия моя Стебельков*, не слыхали? Правда, я и тогда уже не практиковал давно, но практический совет в практическом деле я мог подать.

— Вы акушер… принимали ребенка у Ахмаковой?

— Нет-с, я ничего не принимал у Ахмаковой. Там, в форштадте*, был доктор Гранц, обремененный семейством, по полталера ему платили, такое там у них положение на докторов, и никто-то его вдобавок не знал, так вот он тут был вместо меня… Я же его и посоветовал, для мрака неизвестности. Вы следите? А я только практический совет один дал, по вопросу Версилова-с, Андрея Петровича, по вопросу секретнейшему-с, глаз на глаз. Но Андрей Петрович двух зайцев предпочел.

Я слушал в глубочайшем изумлении.

— За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, говорит народная, или, вернее, простонародная пословица. Я же говорю так: исключения, беспрерывно повторяющиеся, обращаются в общее правило. За другим зайцем, то есть, в переводе на русский язык, за другой дамой погнался — и результатов никаких. Уж если что схватил, то сего и держись. Где надо убыстрять дело, он там мямлит. Версилов — ведь это «бабий пророк-с»* — вот как его молодой князь Сокольский тогда при мне красиво обозначил. Нет, вы ко мне приходите! Если вы хотите про Версилова много узнать, вы ко мне приходите.

Он видимо любовался на мой раскрытый от удивления рот.

Никогда и ничего не слыхивал я до сих пор про грудного ребенка. И вот в этот миг вдруг хлопнула дверь у соседок и кто-то быстро вошел в их комнату.

— Версилов живет в Семеновском полку, в Можайской улице, дом Литвиновой, номер семнадцать[*], сама была в адресном! — громко прокричал раздраженный женский голос; каждое слово было нам слышно. Стебельков вскинул бровями и поднял над головою палец.

— Мы о нем здесь, а он уж и там… Вот они, исключения-то, беспрерывно повторяющиеся! Quand on parle d'une corde[*]…[31]

Он быстро, с прискоком присел на диване и стал прислушиваться к той двери, к которой был приставлен диван.

Ужасно поражен был и я. Я сообразил, что это, вероятно, та самая молодая женщина прокричала, которая давеча убежала в таком волнении. Но каким же образом и тут Версилов? Вдруг раздался опять давешний визг, неистовый, визг озверевшего от гнева человека, которому чего-то не дают или которого от чего-то удерживают. Разница с давешним была лишь та, что крики и взвизги продолжались еще дольше. Слышалась борьба, какие-то слова, частые, быстрые: «Не хочу, не хочу, отдайте, сейчас отдайте!» — или что-то в этом роде — не могу совершенно припомнить. Затем, как и давеча, кто-то стремительно бросился к дверям и отворил их. Обе соседки выскочили в коридор, одна, как и давеча, очевидно удерживая другую. Стебельков, уже давно вскочивший с дивана и с наслаждением прислушивавшийся, так и сиганул к дверям и тотчас преоткровенно выскочил в коридор прямо к соседкам. Разумеется, я тоже подбежал к дверям. Но его появление в коридоре было ведром холодной воды: соседки быстро скрылись и с шумом захлопнули за собою дверь. Стебельков прыгнул было за ними, но приостановился, подняв палец, улыбаясь и соображая; на этот раз в улыбке его я разглядел что-то чрезвычайно скверное, темное и зловещее. Увидав хозяйку, стоявшую опять у своих дверей, он скорыми цыпочками побежал к ней через коридор; прошушукав с нею минуты две и, конечно, получив сведения, он уже осанисто и решительно воротился в комнату, взял со стола свой цилиндр, мельком взглянулся в зеркало, взъерошил волосы и с самоуверенным достоинством, даже не поглядев на меня, отправился к соседкам. Мгновение он прислушивался у двери, подставив ухо и победительно подмигивая через коридор хозяйке, которая грозила ему пальцем и покачивала головой, как бы

выговаривая: «Ох шалун, шалун!» Наконец с решительным, но деликатнейшим видом, даже как бы сгорбившись от деликатности, постучал костями пальцев к соседкам. Послышался голос:

— Кто там?

— Не позволите ли войти по важнейшему делу? — громко и осанисто произнес Стебельков.

Помедлили, но все-таки отворили, сначала чуть-чуть, на четверть; но Стебельков тотчас же крепко ухватился за ручку замка и уж не дал бы затворить опять. Начался разговор, Стебельков заговорил громко, всё порываясь в комнату; я не помню слов, но он говорил про Версилова, что может сообщить, всё разъяснить — «нет-с, вы меня спросите», «нет-с, вы ко мне приходите» — в этом роде. Его очень скоро впустили. Я воротился к дивану и стал было подслушивать, но всего не мог разобрать, слышал только, что часто упоминали про Версилова. По интонации голоса я догадывался, что Стебельков уже овладел разговором, говорит уже не вкрадчиво, а властно и развалившись, вроде как давеча со мной: «вы следите?», «теперь извольте вникнуть» и проч. Впрочем, с женщинами он должен быть необыкновенно любезен. Уже раза два раздался его громкий хохот и, наверно, совсем неуместно, потому что рядом с его голосом, а иногда и побеждая его голос, раздавались голоса обеих женщин, вовсе не выражавшие веселости, и преимущественно молодой женщины, той, которая давеча визжала: она говорила много, нервно, быстро, очевидно что-то обличая и жалуясь, ища суда и судьи. Но Стебельков не отставал, возвышал речь всё больше и больше и хохотал всё чаще и чаще; эти люди слушать других не умеют. Я скоро сошел с дивана, потому что подслушивать показалось мне стыдно, и перебрался на мое старое место, у окна, на плетеном стуле. Я был убежден, что Васин считает этого господина ни во что, но что объяви я то же мнение, и он тотчас же с серьезным достоинством заступится и назидательно заметит, что это «человек практический, из людей теперешних деловых, и которого нельзя судить с наших общих и отвлеченных точек зрения». В то мгновение, впрочем, помню, я был как-то весь нравственно разбит, сердце у меня билось и я несомненно чего-то ждал. Прошло минут десять, и вдруг, в самой середине одного раскатистого взрыва хохота, кто-то, точь-в-точь как давеча, прянул со стула, затем раздались крики обеих женщин, слышно было, как вскочил и Стебельков, что он что-то

заговорил уже другим голосом, точно оправдывался, точно упрашивая, чтоб его дослушали… Но его не дослушали; раздались гневные крики: «Вон! вы негодяй, вы бесстыдник!» Одним словом, ясно было, что его выталкивают. Я отворил дверь как раз в ту минуту, когда он выпрыгнул в коридор от соседок и, кажется, буквально, то есть руками, выпихнутый ими. Увидав меня, он вдруг закричал, на меня указывая:

— Вот сын Версилова! Если не верите мне, то вот сын его, его собственный сын! Пожалуйте! — И он властно схватил меня за руку.

— Это сын его, родной его сын! — повторял он, подводя меня к дамам и не прибавляя, впрочем, ничего больше для разъяснения.

Молодая женщина стояла в коридоре, пожилая — на шаг сзади ее в дверях. Я запомнил только, что эта бедная девушка была недурна собой, лет двадцати, но худа и болезненного вида, рыжеватая и с лица как бы несколько похожая на мою сестру; эта черта мне мелькнула и уцелела в моей памяти; только Лиза никогда не бывала и, уж конечно, никогда и не могла быть в таком гневном исступлении, в котором стояла передо мной эта особа: губы ее были белы, светло-серые глаза сверкали, она вся дрожала от негодования. Помню тоже, что сам я был в чрезвычайно глупом и недостойном положении, потому что решительно не нашелся, что сказать, по милости этого нахала.

— Что ж такое, что сын! Если он с вами, то он негодяй. Если вы сын Версилова, — обратилась она вдруг ко мне, — то передайте от меня вашему отцу, что он негодяй, что он недостойный бесстыдник, что мне денег его не надо… Нате, нате, нате, передайте сейчас ему эти деньги!

Она быстро вырвала из кармана несколько кредиток, но пожилая (то есть ее мать, как оказалось после) схватила ее за руку:

— Оля, да ведь, может, и неправда, может, они и не сын его!

Оля быстро посмотрела на нее, сообразила, посмотрела на меня презрительно и повернулась назад в комнату, но прежде чем захлопнуть дверь, стоя на пороге, еще раз прокричала в исступлении Стебелькову:

— Вон!

И даже топнула на него ногой. Затем дверь захлопнулась и уже заперлась на замок. Стебельков, всё еще держа меня за плечо, поднял палец и, раздвинув рот в длинную раздумчивую улыбку, уперся в меня вопросительным взглядом.

— Я нахожу ваш поступок со мной смешным и недостойным, — пробормотал я в негодовании.

Но он меня и не слушал, хотя и не сводил с меня глаз.

— Это бы надо ис-сле-довать! — проговорил он раздумчиво.

— Но, однако, как вы смели вытянуть меня? Кто это такое? Что это за женщина? Вы схватили меня за плечо и подвели, — что тут такое?

— Э, черт! Лишенная невинности какая-то… «часто повторяющееся исключение» — вы следите?

И он уперся было мне в грудь пальцем.

— Э, черт! — отпихнул я его палец.

Но он вдруг, и совсем неожиданно, засмеялся тихо, неслышно, долго, весело. Наконец надел свою шляпу и, с быстро переменившимся и уже мрачным лицом, заметил, нахмурив брови:

— А хозяйку надо бы научить… надо бы их выгнать из квартиры — вот что, и как можно скорей, а то они тут… Вот увидите! Вот помяните мое слово, увидите! Э, черт! — развеселился он вдруг опять, — вы ведь Гришу дождетесь?

— Нет, не дождусь, — отвечал я решительно.

— Ну и всё едино…

И не прибавив более ни звука, он повернулся, вышел и направился вниз по лестнице, не удостоив даже и взгляда очевидно поджидавшую разъяснения и известий хозяйку Я тоже взял шляпу и, попросив хозяйку передать, что был я Долгорукий, побежал по лестнице.

III

Я только потерял время. Выйдя, я тотчас пустился отыскивать квартиру; но я был рассеян, пробродил несколько часов по улицам и хоть зашел в пять или шесть квартир от жильцов, но уверен, что мимо двадцати прошел, не заметив их. К еще пущей досаде, я и не воображал, что нанимать квартиры так трудно. Везде комнаты, как васинская, и даже гораздо хуже, а цены огромные, то есть не по моему расчету. Я прямо требовал угла, чтоб только повернуться, и мне презрительно давали знать, что в таком случае надо идти «в углы». Кроме того, везде множество странных жильцов, с которыми я уж по одному виду их не мог бы ужиться рядом; даже заплатил бы, чтоб не жить рядом. Какие-то господа без сюртуков, в одних жилетах, с растрепанными бородами, развязные и любопытные. В одной крошечной комнате сидело их

человек десять за картами и за пивом, а рядом мне предлагали комнату. В других местах я сам на расспросы хозяев отвечал так нелепо, что на меня глядели с удивлением, а в одной квартире так даже поссорился. Впрочем, не описывать же всех этих ничтожностей; я только хочу сказать, что, устав ужасно, я поел чего-то в одной кухмистерской уже почти когда смерклось. У меня разрешилось окончательно, что я пойду, отдам сейчас сам и один Версилову письмо о наследстве (без всяких объяснений), захвачу сверху мои вещи в чемодан и узел и перееду на ночь хоть в гостиницу. В конце Обуховского проспекта, у Триумфальных ворот, я знал, есть постоялые дворы[*], где можно достать даже особую комнатку за тридцать копеек; на одну ночь я решился пожертвовать, только чтоб не ночевать у Версилова. И вот, проходя уже мимо Технологического института, мне вдруг почему-то вздумалось зайти к Татьяне Павловне, которая жила тут же напротив Технологического. Собственно, предлогом зайти было всё то же письмо о наследстве, но непреодолимое мое побуждение зайти, конечно, имело другие причины, которых я, впрочем, не сумею и теперь разъяснить: тут была какая-то путаница в уме о «грудном ребенке», «об исключениях, входящих в общее правило». Хотелось ли мне рассказать, или порисоваться, или подраться, или даже заплакать — не знаю, только я поднялся к Татьяне Павловне. Я был у ней доселе всего лишь один раз, в начале моего приезда из Москвы, по какому-то поручению от матери, и помню: зайдя и передав порученное, ушел через минуту, даже и не присев, а она и не попросила.

Я позвонил, и мне тотчас отворила кухарка и молча впустила меня в комнаты. Именно нужны все эти подробности, чтоб можно было понять, каким образом могло произойти такое сумасшедшее приключение, имевшее такое огромное влияние на всё последующее. И во-первых, о кухарке. Это была злобная и курносая чухонка и, кажется, ненавидевшая свою хозяйку, Татьяну Павловну, а та, напротив, расстаться с ней не могла по какому-то пристрастию, вроде как у старых дев к старым мокроносым моськам или вечно спящим кошкам. Чухонка или злилась и грубила, или, поссорившись, молчала по неделям, тем наказывая барыню. Должно быть, я попал в такой молчальный день, потому что она даже на вопрос мой: «Дома ли барыня?» — который я положительно помню, что задал ей, — не ответила и молча прошла в свою кухню. Я после этого, естественно уверенный, что барыня дома,

прошел в комнату и, не найдя никого, стал ждать, полагая, что Татьяна Павловна сейчас выйдет из спальни; иначе зачем бы впустила меня кухарка? Я не садился и ждал минуты две-три; почти уже смеркалось, и темная квартирка Татьяны Павловны казалась еще неприветливее от бесконечного, везде развешанного ситца. Два слова про эту скверную квартиренку, чтоб понять местность, на которой произошло дело. Татьяна Павловна, по характеру своему, упрямому и повелительному, и вследствие старых помещичьих пристрастий не могла бы ужиться в меблированной комнате от жильцов и нанимала эту пародию на квартиру, чтоб только быть особняком и сама себе госпожой. Эти две комнаты были точь-в-точь две канареечные клетки, одна к другой приставленные, одна другой меньше, в третьем этаже и окнами на двор. Входя в квартиру, вы прямо вступали в узенький коридорчик, аршина в полтора шириною, налево вышеозначенные две канареечные клетки, а прямо по коридорчику, в глубине, вход в крошечную кухню. Полторы кубических сажени необходимого для человека на двенадцать часов воздуху, может быть, в этих комнатках и было, но вряд ли больше. Были они до безобразия низки, но, что глупее всего, окна, двери, мебель — всё, всё было обвешано или убрано ситцем, прекрасным французским ситцем, и отделано фестончиками; но от этого комната казалась еще вдвое темнее и походила на внутренность дорожной кареты. В той комнатке, где я ждал, еще можно было повернуться, хотя всё было загромождено мебелью, и, кстати, мебелью весьма недурною: тут были разные столики, с наборной работой, с бронзовой отделкой, ящики, изящный и даже богатый туалет. Но следующая комнатка, откуда я ждал ее выхода, спальня, густо отделенная от этой комнаты занавесью, состояла, как оказалось после, буквально из одной кровати. Все эти подробности необходимы, чтобы понять ту глупость, которую я сделал.

Итак, я ждал и не сомневался, как раздался звонок. Я слышал, как неторопливыми шагами прошла по коридорчику кухарка и молча, точь-в-точь как и давеча меня, впустила вошедших. Это были две дамы, и обе громко говорили, но каково же было мое изумление, когда я по голосу узнал в одной Татьяну Павловну, а в другой — именно ту женщину, которую всего менее приготовлен был теперь встретить, да еще при такой обстановке! Ошибаться я не мог: я слышал этот звучный, сильный, металлический голос вчера, правда всего три минуты, но он остался в моей душе. Да, это была «вчерашняя женщина». Что мне было

делать? Я вовсе не читателю задаю этот вопрос, я только представляю себе эту тогдашнюю минуту, и совершенно не в силах даже и теперь объяснить, каким образом случилось, что я вдруг бросился за занавеску и очутился в спальне Татьяны Павловны. Короче, я спрятался и едва успел вскочить, как они вошли. Почему я не пошел к ним навстречу, а спрятался, — не знаю; всё случилось нечаянно, в высшей степени безотчетно.

Вскочив в спальню и наткнувшись на кровать, я тотчас заметил, что есть дверь из спальни в кухню, стало быть был исход из беды и можно было убежать совсем, но — о ужас! — дверь была заперта на замок, а в щелке ключа не было. В отчаянии я опустился на кровать; мне ясно представилось, что, стало быть, я теперь буду подслушивать, а уже по первым фразам, по первым звукам разговора я догадался, что разговор их секретный и щекотливый. О, конечно, честный и благородный человек должен был встать, даже и теперь, выйти и громко сказать: «Я здесь, подождите!» — и, несмотря на смешное положение свое, пройти мимо; но я не встал и не вышел; не посмел, подлейшим образом струсил.

— Милая моя вы, Катерина Николаевна, глубоко вы меня огорчаете, — умоляла Татьяна Павловна, — успокойтесь вы раз навсегда, не к вашему это даже характеру. Везде, где вы, там и радость, и вдруг теперь… Да уж в меня-то вы, я думаю, продолжаете верить: ведь знаете, как я вам предана. Ведь уж не меньше, как и Андрею Петровичу, к которому опять-таки вечной преданности моей не скрываю… Ну так поверьте же мне, честью клянусь вам, нет этого документа в руках у него, а может быть, и совсем ни у кого нет; да и не способен он на такие пронырства, грех вам и подозревать. Сами вы оба только сочинили себе эту вражду…

— Документ есть, а он способен на всё, И что ж, вхожу вчера, и первая встреча — ce petit espion,[32] которого он князю навязал.

— Эх, ce petit espion. Во-первых, вовсе и не espion, потому что это я, я его настояла к князю поместить, а то он в Москве помешался бы или помер с голоду, — вот как его аттестовали оттуда; и главное, этот грубый мальчишка даже совсем дурачок, где ему быть шпионом?

— Да, какой-то дурачок, что, впрочем, не мешает ему стать мерзавцем. Я только была в досаде, а то бы умерла вчера со смеху: побледнел, подбежал, расшаркивается, по-французски заговорил. А в

Москве Марья Ивановна меня о нем, как о гении, уверяла. Что несчастное письмо это цело и где-то находится в самом опасном месте — это я, главное, по лицу этой Марьи Ивановны заключила.

— Красавица вы моя! Да ведь вы сами же говорите, что у ней нет ничего!

— То-то и есть, что есть: она только лжет, и какая это, я вам скажу, искусница! Еще до Москвы у меня всё еще оставалась надежда, что не осталось никаких бумаг, но тут, тут…

— Ах, милая, напротив, это, говорят, доброе и рассудительное существо, ее покойник выше всех своих племянниц ценил. Правда, я ее не так знаю, но — вы бы ее обольстили, моя красавица! Ведь победить вам ничего не стоит, ведь я же старуха — вот влюблена же в вас и сейчас вас целовать примусь… Ну что бы стоило вам ее обольстить!

— Обольщала, Татьяна Павловна, пробовала, в восторг даже ее привела, да хитра уж и она очень… Нет, тут целый характер, и особый, московский… И представьте, посоветовала мне обратиться к одному здешнему, Крафту, бывшему помощнику у Андроникова, авось, дескать, он что знает. О Крафте этом я уже имею понятие и даже мельком помню его; но как сказала она мне про этого Крафта, тут только я и уверилась, что ей не просто неизвестно, а что она лжет и всё знает.

— Да почему же, почему же? А ведь, пожалуй, что и можно бы у него справиться! Этот немец, Крафт, не болтун и, я помню, пречестный — право, расспросить бы его! Только его, кажется, теперь в Петербурге нет…

— О, вернулся еще вчера, я сейчас у него была… Я именно и пришла к вам в такой тревоге, у меня руки-ноги дрожат, я хотела вас попросить, ангел мой Татьяна Павловна, так как вы всех знаете, нельзя ли узнать хоть в бумагах его, потому что непременно теперь от него остались бумаги, так к кому ж они теперь от него пойдут? Пожалуй, опять в чьи-нибудь опасные руки попадут? Я вашего совета прибежала спросить.

— Да про какие вы это бумаги? — не понимала Татьяна Павловна, — да ведь вы же говорите, что сейчас сами были у Крафта?

— Была, была, сейчас была, да он застрелился! Вчера еще вечером.

Я вскочил с кровати. Я мог высидеть, когда меня называли шпионом и идиотом; и чем дальше они уходили в своем разговоре, тем менее мне казалось возможным появиться. Это было бы невообразимо!

Я решил в душе высидеть, замирая, пока Татьяна Павловна выпроводит гостью (если на мое счастье сама не войдет раньше зачем-нибудь в спальню), а потом, как уйдет Ахмакова, пусть тогда мы хоть подеремся с Татьяной Павловной!.. Но вдруг теперь, когда я, услышав о Крафте, вскочил с кровати, меня всего обхватило как судорогой. Не думая ни о чем, не рассуждая и не воображая, я шагнул, поднял портьеру и очутился перед ними обеими. Еще было достаточно светло для того, чтоб меня разглядеть, бледного и дрожащего… Обе вскрикнули. Да как и не вскрикнуть?

— Крафт? — пробормотал я, обращаясь к Ахмаковой, — застрелился? Вчера? На закате солнца?

— Где ты был? Откуда ты? — взвизгнула Татьяна Павловна и буквально вцепилась мне в плечо, — ты шпионил? Ты подслушивал?

— Что я вам сейчас говорила? — встала с дивана Катерина Николаевна, указывая ей на меня.

Я вышел из себя.

— Ложь, вздор! — прервал я ее неистово, — вы сейчас называли меня шпионом, о боже! Стоит ли не только шпионить, но даже и жить на свете подле таких, как вы! Великодушный человек кончает самоубийством, Крафт застрелился — из-за идеи, из-за Гекубы[*]… Впрочем, где вам знать про Гекубу!.. А тут — живи между ваших интриг, валандайся около вашей лжи, обманов, подкопов… Довольно!

— Дайте ему в щеку! Дайте ему в щеку! — прокричала Татьяна Павловна, а так как Катерина Николаевна хоть и смотрела на меня (я помню всё до черточки), не сводя глаз, но не двигалась с места, то Татьяна Павловна, еще мгновение, и наверно бы сама исполнила свой совет, так что я невольно поднял руку, чтоб защитить лицо; вот из-за этого-то движения ей и показалось, что я

сам замахиваюсь.

— Ну, ударь, ударь! Докажи, что хам от роду! Ты сильнее женщин, чего ж церемониться!

— Довольно клеветы, довольно! — закричал я. — Ни когда я не поднимал руки на женщину! Бесстыдница вы, Татьяна Павловна, вы всегда меня презирали. О, с людьми надо обращаться не уважая их! Вы смеетесь, Катерина Николаевна, вероятно, над моей фигурой; да, бог не дал мне фигуры, как у ваших адъютантов. И однако же, я чувствую себя не униженным перед вами, а, напротив, возвышенным… Ну, всё равно,

как бы ни выразиться, но только я не виноват! Я попал сюда нечаянно, Татьяна Павловна; виновата одна ваша чухонка или, лучше сказать, ваше к ней пристрастие: зачем она мне на мой вопрос не ответила и прямо меня сюда привела? А потом, согласитесь сами, выскочить из спальни женщины мне уже показалось до того монстрюозным, что я решился скорее молча выносить ваши плевки, но не показываться… Вы опять смеетесь, Катерина Николаевна?

— Пошел вон, пошел вон, иди вон! — прокричала Татьяна Павловна, почти толкая меня. — Не считайте ни во что его вранье, Катерина Николаевна: я вам сказала, что оттуда его за помешанного аттестовали!

— За помешанного? Оттуда? Кто бы это такой и откуда? Всё равно, довольно. Катерина Николаевна! клянусь вам всем, что есть святого, разговор этот и всё, что я слышал, останется между нами… Чем я виноват, что узнал ваши секреты? Тем более что я кончаю мои занятия с вашим отцом завтра же, так что насчет документа, который вы разыскиваете, можете быть спокойны!

— Что это?.. Про какой документ говорите вы? — смутилась Катерина Николаевна, и даже до того, что побледнела, или, может быть, так мне показалось. Я понял, что слишком уже много сказал.

Я быстро вышел; они молча проводили меня глазами, и в высшей степени удивление было в их взгляде. Одним словом, я задал загадку…

Глава девятая

I

Я спешил домой и — чудное дело — я был очень доволен собою. Так, конечно, не говорят с женщинами, да еще с такими женщинами, — вернее сказать, с такою женщиной, потому что Татьяну Павловну я не считал. Может быть, никак нельзя сказать в лицо женщине такого разряда: «Наплевать на ваши интриги», но я сказал это и был именно этим-то и доволен. Не говоря о другом, я по крайней мере был уверен, что этим тоном затер всё смешное, бывшее в моем положении. Но очень много думать об этом было некогда: у меня в голове сидел Крафт. Не то чтоб он меня так уж очень мучил, но все-таки я был потрясен до

основания; и даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастии, то есть когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и проч., даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне другому, чрезвычайно цельному ощущению, именно горю, сожалению о Крафте, то есть сожалению ли, не знаю, но какому-то весьма сильному и доброму чувству. И этим я был тоже доволен. Удивительно, как много посторонних мыслей способно мелькнуть в уме, именно когда весь потрясен каким-нибудь колоссальным известием, которое, по-настоящему, должно бы было, кажется, задавить другие чувства и разогнать все посторонние мысли, особенно мелкие; а мелкие-то, напротив, и лезут. Помню еще, что меня всего охватила мало-помалу довольно чувствительная нервная дрожь, которая и продолжалась несколько минут, и даже всё время, пока я был дома и объяснялся с Версиловым.

Объяснение это последовало при странных и необыкновенных обстоятельствах. Я уже упоминал, что мы жили в особом флигеле на дворе; эта квартира была помечена тринадцатым номером. Еще не войдя в ворота, я услышал женский голос, спрашивавший у кого-то громко, с нетерпением и раздражением: «Где квартира номер тринадцать?» Это спрашивала дама, тут же близ ворот, отворив дверь в мелочную лавочку; но ей там, кажется, ничего не ответили или даже прогнали, и она сходила с крылечка вниз, с надрывом и злобой.

— Да где же здесь дворник? — прокричала она, топнув ногой. Я давно уже узнал этот голос.

— Я иду в квартиру номер тринадцать, — подошел я к ней, — кого угодно?

— Я уже целый час ищу дворника, у всех спрашиваю, по всем лестницам взбиралась.

— Это на дворе. Вы меня не узнаете? Но она уже узнала меня.

— Вам Версилова; вы имеете до него дело, и я то же, — продолжал я, — я пришел с ним распроститься на веки. Пойдемте.

— Вы его сын?

— Это ничего не значит. Впрочем, положим, что сын, хотя я Долгорукий, я незаконнорожденный. У этого господина бездна незаконнорожденных детей. Когда требуют совесть и честь, и родной сын уходит из дому. Это еще в Библии. К тому же он получил

наследство, а я не хочу разделять его и иду с трудами рук моих. Когда надо, великодушный жертвует даже жизнью; Крафт застрелился, Крафт, из-за идеи, представьте, молодой человек, подавал надежды… Сюда, сюда! Мы в отдельном флигеле. А это еще в Библии дети от отцов уходят и свое гнездо основывают[*]…Коли идея влечет… коли есть идея! Идея главное, в идее всё…

Я ей болтал в этом роде всё время, пока мы взбирались к нам. Читатель, вероятно, замечает, что я себя не очень щажу и отлично, где надо, аттестую: я хочу выучиться говорить правду. Версилов был дома. Я вошел не сбросив пальто, она тоже. Одета она была ужасно жидко: на темном платьишке болтался сверху лоскуточек чего-то, долженствовавший изображать плащ или мантилью; на голове у ней была старая, облупленная шляпка-матроска, очень ее не красившая. Когда мы вошли в залу, мать сидела на своем обычном месте за работой, а сестра вышла поглядеть из своей комнаты и остановилась в дверях. Версилов, по обыкновению, ничего не делал и поднялся нам навстречу; он уставился на меня строгим, вопросительным взглядом.

— Я тут ни при чем, — поспешил я отмахнуться и стал в сторонке, — я встретил эту особу лишь у ворот; она вас разыскивала, и никто не мог ей указать. Я же по своему собственному делу, которое буду иметь удовольствие объяснить после них…

Версилов все-таки продолжал меня любопытно разглядывать.

— Позвольте, — нетерпеливо начала девушка; Версилов обратился к ней. — Я долго думала, почему вам вздумалось оставить у меня вчера деньги… Я… одним словом… Вот ваши деньги! — почти взвизгнула она, как давеча, и бросила пачку кредиток на стол, — я вас в адресном столе должна была разыскивать, а то бы раньше принесла. Слушайте, вы! — повернулась она вдруг к матери, которая вся побледнела, — я не хочу вас оскорблять, вы имеете честный вид и, может быть, это даже ваша дочь. Я не знаю, жена ли вы ему, но знайте, что этот господин вырезает газетные объявления, где на последние деньги публикуются гувернантки и учительницы, и ходит по этим несчастным, отыскивая бесчестной поживы и втягивая их в беду деньгами. Я не понимаю, как я могла взять от него вчера деньги! Он имел такой честный вид!.. Прочь, ни одного слова! Вы негодяй, милостивый государь! Если б вы даже были и с честными намерениями, то я не хочу вашей милостыни. Ни слова, ни слова! О, как я рада, что обличила вас теперь перед вашими

женщинами! Будьте вы прокляты!

Она быстро выбежала, но с порога повернулась на одно мгновение, чтоб только крикнуть:

— Вы, говорят, наследство получили!

И затем исчезла как тень. Напоминаю еще раз: это была исступленная. Версилов был глубоко поражен: он стоял как бы задумавшись и что-то соображая; наконец вдруг повернулся ко мне:

— Ты ее совсем не знаешь?

— Случайно давеча видел, как она бесновалась в коридоре у Васина, визжала и проклинала вас; но в разговоры не вступал и ничего не знаю, а теперь встретил у ворот. Вероятно, это та самая вчерашняя учительница, «дающая уроки из арифметики»?

— Это та самая. Раз в жизни сделал доброе дело и… А впрочем, что у тебя?

— Вот это письмо, — ответил я. — Объяснять считаю ненужным: оно идет от Крафта, а тому досталось от покойного Андроникова. По содержанию узнаете. Прибавлю, что никто в целом мире не знает теперь об этом письме, кроме меня, потому что Крафт, передав мне вчера это письмо, только что я вышел от него, застрелился…

Пока я говорил, запыхавшись и торопясь, он взял письмо в руки и, держа его в левой руке на отлете, внимательно следил за мной. Когда я объявил о самоубийстве Крафта, я с особым вниманием всмотрелся в его лицо, чтоб увидеть эффект. И что же? — известие не произвело ни малейшего впечатления: даже хоть бы брови поднял! Напротив, видя, что я остановился, вытащил свой лорнет, никогда не оставлявший его и висевший на черной ленте, поднес письмо к свечке и, взглянув на подпись, пристально стал разбирать его. Не могу выразить, как я был даже обижен этим высокомерным бесчувствием. Он очень хорошо должен был знать Крафта; к тому же все-таки такое необыкновенное известие! Наконец, мне, натурально, хотелось, чтоб оно производило эффект. Подождав с полминуты и зная, что письмо длинно, я повернулся и вышел. Чемодан мой был давно готов, оставалось упрятать лишь несколько вещей в узел. Я думал о матери и что так и не подошел к ней. Через десять минут, когда уже я был совсем готов и хотел идти за извозчиком, вошла в мою светелку сестра.

— Вот мама посылает тебе твои шестьдесят рублей и опять просит извинить ее за то, что сказала про них Андрею Петровичу, да еще

двадцать рублей. Ты дал вчера за содержание свое пятьдесят; мама говорит, что больше тридцати с тебя никак нельзя взять, потому что пятидесяти на тебя не вышло, и двадцать рублей посылает сдачи.

— Ну и спасибо, если только она говорит правду. Прощай, сестра, еду!

— Куда ты теперь?

— Пока на постоялый двор, чтоб только не ночевать в том доме. Скажи маме, что я люблю ее.

— Она это знает. Она знает, что ты и Андрея Петровича тоже любишь. Как тебе не стыдно, что ты эту несчастную привел!

— Клянусь тебе, не я: я ее у ворот встретил.

— Нет, это ты привел.

— Уверяю тебя…

— Подумай, спроси себя и увидишь, что и ты был, причиною.

— Я только очень рад был, что осрамили Версилова. Вообрази, у него грудной ребенок от Лидии Ахмаковой… впрочем, что ж я тебе говорю…

— У него? Грудной ребенок? Но это не его ребенок! Откуда ты слышал такую неправду?

— Ну, где тебе знать.

— Мне-то не знать? Да я же и нянчила этого ребенка в Луге. Слушай, брат: я давно вижу, что ты совсем ни про что не знаешь, а между тем оскорбляешь Андрея Петровича, ну и маму тоже.

— Если он прав, то я буду виноват, вот и все, а вас я не меньше люблю. Отчего ты так покраснела, сестра? Ну вот еще пуще теперь! Ну хорошо, а все-таки я этого князька на дуэль вызову за пощечину Версилову в Эмсе. Если Версилов был прав с Ахмаковой, так тем паче.

— Брат, опомнись, что ты!

— Благо в суде теперь дело кончено… Ну вот, теперь побледнела.

— Да князь и не пойдет с тобой, — улыбнулась сквозь испуг бледною улыбкой Лиза.

— Тогда я публично осрамлю его. Что с тобой, Лиза?

Она до того побледнела, что не могла стоять на ногах и опустилась на диван.

— Лиза! — послышался снизу зов матери.

Она оправилась и встала; она ласково мне улыбалась.

— Брат, оставь эти пустяки или пережди до времени, пока многое

узнаешь: ты ужасно как мало знаешь.

— Я буду помнить, Лиза, что ты побледнела, когда услышала, что я пойду на дуэль!

— Да, да, вспомни и об этом! — улыбнулась она еще раз на прощанье и сошла вниз.

Я призвал извозчика и с его помощью вытащил из квартиры мои вещи. Никто из домашних не противоречил мне и не остановил меня. Я не зашел проститься с матерью, чтоб не встретиться с Версиловым. Когда я уже уселся на извозчика, у меня вдруг мелькнула мысль.

— На Фонтанку, к Семеновскому мосту, — скомандовал я внезапно и отправился опять к Васину.

II

Мне вдруг подумалось, что Васин уже знает о Крафте и, может быть, во сто раз больше меня; точно так и вышло. Васин тотчас же и обязательно мне сообщил все подробности, без большого, впрочем, жару; я заключил, что он утомился, да и впрямь так было. Он сам был утром у Крафта. Крафт застрелился из револьвера (из того самого) вчера, уже в полные сумерки, что явствовало из его дневника[*]. Последняя отметка сделана была в дневнике перед самым выстрелом, и он замечает в ней, что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы; свечку же зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар[*]. «А зажечь, чтоб пред выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу», — странно прибавил он чуть не в последней строчке. Этот предсмертный дневник свой он затеял еще третьего дня, только что воротился в Петербург, еще до визита к Дергачеву; после же моего ухода вписывал в него каждые четверть часа; самые же последние три-четыре заметки записывал в каждые пять минут. Я громко удивился тому, что Васин, имея этот дневник столько времени перед глазами (ему дали прочитать его), не снял копии, тем более что было не более листа кругом и заметки всё короткие, — «хотя бы последнюю-то страничку!» Васин с улыбкою заметил мне, что он и так помнит, притом заметки без всякой системы, о всем, что на ум взбредет. Я стал было убеждать, что это-то в данном случае и драгоценно, но бросил и стал приставать, чтоб он что-нибудь припомнил, и он припомнил несколько строк, примерно

за час до выстрела, о том, «что его знобит»; «что он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановила его[*]». Всё почти в этом роде», — заключил Васин.

— И это вы называете пустяками! — воскликнул я.

— Где же я называл? Я только не снял копии. Но хоть и не пустяки, а дневник действительно довольно обыкновенный, или, вернее, естественный, то есть именно такой, какой должен быть в этом случае…

— Но ведь последние мысли, последние мысли!

— Последние мысли иногда бывают чрезвычайно ничтожны. Один такой же самоубийца именно жалуется в таком же своем дневнике, что в такой важный час хоть бы одна «высшая мысль» посетила его, а, напротив, всё такие мелкие и пустые[*].

— И о том, что знобит, тоже пустая мысль?

— То есть вы, собственно, про озноб или про кровоизлияние? Между тем факт известен, что очень многие из тех, которые в силах думать о своей предстоящей смерти, самовольной или нет, весьма часто наклонны заботиться о благообразии вида, в каком останется их труп. В этом смысле и Крафт побоялся излишнего кровоизлияния.

— Я не знаю, известен ли этот факт… и так ли это, — пробормотал я, — но я удивляюсь, что вы считаете это все так естественным, а между тем давно ли Крафт говорил, волновался, сидел между нами? Неужто вам хоть не жаль его?

— О, конечно жалко, и это совсем другое дело; но во всяком случае сам Крафт изобразил смерть свою в виде логического вывода. Оказывается, что всё, что говорили вчера у Дергачева о нем, справедливо: после него осталась вот этакая тетрадь ученых выводов о том, что русские — порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии[*] и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить. Если хотите, тут характернее всего то, что можно сделать логический вывод какой угодно, но взять и застрелиться вследствие вывода — это, конечно, не всегда бывает.

— По крайней мере надобно отдать честь характеру.

— Может быть, и не одному этому, — уклончиво заметил Васин, но ясно, что он подразумевал глупость или слабость рассудка. Меня всё это раздражало.

— Вы сами говорили вчера про чувства, Васин.

— Не отрицаю и теперь; но ввиду совершившегося факта что-то до того представляется в нем грубо ошибочным, что суровый взгляд на дело поневоле как-то вытесняет даже и самую жалость.

— Знаете что, я по вашим глазам еще давеча догадался, что вы будете хулить Крафта, и, чтобы не слышать хулы, положил не добиваться вашего мнения; но вы его сами высказали, и я поневоле принужден согласиться с вами; а между тем я недоволен вами! Мне жаль Крафта.

— Знаете, мы далеко зашли…

— Да, да, — перебил я, — но утешительно по крайней мере то, что всегда, в таких случаях, оставшиеся в живых, судьи покойного, могут сказать про себя: «хоть и застрелился человек, достойный всякого сожаления и снисхождения, но всё же остались мы, а стало быть, тужить много нечего».

— Да, разумеется, если с такой точки… Ах, да вы, кажется, пошутили! И преумно. Я в это время пью чай и сейчас прикажу, вы, вероятно, сделаете компанию.

И он вышел, обмерив глазами мой чемодан и узел.

Мне действительно захотелось было сказать что-нибудь позлее, в отместку за Крафта; я и сказал как удалось; но любопытно, что он принял было сначала мою мысль о том, что «остались такие, как мы», за серьезную. Но так или нет, а все-таки он во всем был правее меня, даже в чувствах. Сознался я в этом без всякого неудовольствия, но решительно почувствовал, что не люблю его.

Когда внесли чай, я объяснил ему, что попрошу его гостеприимства всего только на одну ночь и что если нельзя, то пусть скажет, и я перееду на постоялый двор. Затем вкратце изложил мои причины, выставив прямо и просто, что поссорился с Версиловым окончательно, не вдаваясь при этом в подробности. Васин выслушал внимательно, но без всякого волнения. Вообще, он отвечал только на вопросы, хотя отвечал радушно и в достаточной полноте. Про письмо же, с которым я приходил к нему давеча просить совета, я совсем умолчал; а давешнее посещение мое объяснил как простой визит. Дав слово Версилову, что письмо это, кроме меня, никому не будет известно, я почел уже себя не вправе объявлять о нем кому бы то ни было. Мне особенно почему-то противно стало сообщать о иных делах Васину. О иных, но не о других; мне все-таки удалось заинтересовать его рассказами о давешних сценах

в коридоре и у соседок, кончившихся в квартире Версилова. Он выслушал чрезвычайно внимательно, особенно о Стебелькове. О том, как Стебельков расспрашивал про Дергачева, он заставил повторить два раза и даже задумался; впрочем, все-таки под конец усмехнулся. Мне вдруг в это мгновение показалось, что Васина ничто и никогда не может поставить в затруднение; впрочем, первая мысль об этом, я помню, представилась мне в весьма лестной для него форме.

— Вообще, я не мог многого извлечь из того, что говорил господин Стебельков, — заключил я о Стебелькове, — он как-то сбивчиво говорит… и как будто в нем что-то такое легкомысленное…

Васин тотчас же сделал серьезный вид.

— Он действительно даром слова не владеет, но только с первого взгляда; ему удавалось делать чрезвычайно меткие замечания; и вообще — это более люди дела, аферы, чем обобщающей мысли; их надо с этой точки судить…

Точь-в-точь как я угадал давеча.

— Однако ж он ужасно набунтовал у ваших соседок, и бог знает чем бы могло кончиться.

О соседках Васин сообщил, что живут они здесь недели с три и откуда-то приехали из провинции; что комнатка у них чрезвычайно маленькая, и по всему видно, что они очень бедны; что они сидят и чего-то ждут. Он не знал, что молодая публиковалась в газетах как учительница, но слышал, что к ним приходил Версилов; это было в его отсутствие, а ему передала хозяйка. Соседки, напротив, всех чуждаются, и даже самой хозяйки. В последние самые дни и он стал замечать, что у них действительно что-то неладно, но таких сцен, как сегодня, не было. Все эти наши толки о соседках я припоминаю ввиду последствий; у самих же соседок за дверью в это время царствовала мертвая тишина. С особенным интересом выслушал Васин, что Стебельков предполагал необходимым поговорить насчет соседок с хозяйкой и что повторил два раза: «Вот увидите, вот увидите!»

— И увидите, — прибавил Васин, — что ему пришло это в голову недаром; у него на этот счет презоркий взгляд.

— Что ж, по-вашему, посоветовать хозяйке их выгнать?

— Нет, я не про то, чтоб выгнать, а чтобы не вышло какой истории… Впрочем, все этакие истории, так или этак, но кончаются… Оставим это.

Насчет же посещения соседок Версиловым он решительно отказался дать заключение.

— Всё может быть; человек почувствовал в кармане у себя деньги… Впрочем, вероятно и то, что он просто подал милостыню; это — в его преданиях, а может быть, и в наклонностях.

Я рассказал, что Стебельков болтал давеча про «грудного ребенка».

— Стебельков, в этом случае, совершенно ошибается, — с особенною серьезностью и с особенным ударением произнес Васин (и это я слишком запомнил).

— Стебельков, — продолжал он, — слишком вверяется иногда своему практическому здравомыслию, а потому и спешит сделать вывод сообразно с своей логикой, нередко весьма проницательной; между тем происшествие может иметь на деле гораздо более фантастический и неожиданный колорит, взяв во внимание действующих лиц. Так случилось и тут: зная дело отчасти, он заключил, что ребенок принадлежит Версилову; и однако, ребенок не от Версилова.

Я пристал к нему, и вот что узнал, к большому моему удивлению: ребенок был от князя Сергея Сокольского. Лидия Ахмакова, вследствие ли болезни или просто по фантастичности характера, действовала иногда как помешанная. Она увлеклась князем еще до Версилова, а князь «не затруднился принять ее любовь», выразился Васин. Связь продолжалась мгновение: они, как уже известно, поссорились, и Лидия прогнала от себя князя, «чему, кажется, тот был рад».

— Это была очень странная девушка, — прибавил Васин, — очень даже может быть, что она не всегда была в совершенном рассудке. Но, уезжая в Париж, князь со всем не знал, в каком положении оставил свою жертву, не знал до самого конца, до своего возвращения. Версилов, сделавшись другом молодой особы, предложил брак с собой именно ввиду обозначившегося обстоятельства (которого, кажется, и родители не подозревали почти до конца). Влюбленная девушка была в восторге и в предложении Версилова «видела не одно только его самопожертвование», которое тоже, впрочем, ценила. Впрочем, уж конечно, он сумел это сделать, — прибавил Васин. — Ребенок (девочка) родился за месяц или за шесть недель раньше сроку, был помещен где-то в Германии же, но потом Версиловым взят обратно и теперь где-то в России, может быть в Петербурге.

— А фосфорные спички?

— Про это я ничего не знаю, — заключил Васин. — Лидия Ахмакова умерла недели две спустя после своего разрешения; что тут случилось — не знаю. Князь, только лишь возвратясь из Парижа, узнал, что был ребенок, и, кажется, сначала не поверил, что от него… Вообще, эту историю со всех сторон держат в секрете даже до сих пор.

— Но каков же этот князь! — вскричал я в негодовании. — Каков поступок с больной девушкой!

— Она не была тогда еще так больна… Притом она сама прогнала его… Правда, он, может быть, излишне поспешил воспользоваться своей отставкой.

— Вы оправдываете такого подлеца?

— Нет, я только не называю его подлецом. Тут много другого, кроме прямой подлости. Вообще это дело довольно обыкновенное.

— Скажите, Васин, вы знали его коротко? Мне особенно хотелось бы довериться вашему мнению, ввиду одного очень касающегося меня обстоятельства.

Но тут Васин отвечал как-то слишком уж сдержанно. Князя он знал, но при каких обстоятельствах с ним познакомился — с видимым намерением умолчал. Далее сообщил, что по характеру своему он достоин некоторого снисхождения. «Он полон честных наклонностей и впечатлителен, но не обладает ни рассудком, ни силою воли, чтобы достаточно управлять своими желаниями». Это — человек необразованный; множество идей и явлений ему не по силам, а между тем он на них бросается. Он, например, будет вам навязчиво утверждать в таком роде: «Я князь и происхожу от Рюрика; но почему мне не быть сапожным подмастерьем, если надо заработывать хлеб, а к другому занятию я не способен? На вывеске будет: „Сапожник князь такой-то“ — даже благородно». «Скажет и сделает — вот ведь главное, — прибавил Васин, — а между тем тут совсем не сила убеждения, а лишь одна самая легкомысленная впечатлительность. Зато потом несомненно придет и раскаяние, и тогда он всегда готов на какую-нибудь совершенно обратную крайность; в том и вся жизнь. В наш век много людей попались впросак таким образом, — заключил Васин, — именно тем, что родились в наше время».

Я невольно задумался.

— Правда ли, что он прежде из полка был выгнан? — справился я.

— Я не знаю, выгнан ли, но он оставил полк в самом деле по

неприятностям. Вам известно, что он прошлого года осенью, именно будучи в отставке, месяца два или три прожил в Луге?

— Я… я знаю, что вы тогда жили в Луге.

— Да, некоторое время и я. Князь тоже был знаком и с Лизаветой Макаровной.

— Да? Не знал я. Признаюсь, я так мало разговаривал с сестрой… Но неужели он был принят в доме у моей матери? — вскричал я.

— О нет: он был слишком отдаленно знаком, через третий дом.

— Да бишь, что мне говорила сестра про этого ребенка? Разве и ребенок был в Луге?

— Некоторое время.

— А теперь где?

— Непременно в Петербурге.

— Никогда в жизни не поверю, — вскричал я в чрезвычайном волнении, — чтобы мать моя хоть чем-нибудь участвовала в этой истории с этой Лидией!

— В этой истории, кроме всех этих интриг, которых я не берусь разбирать, собственно роль Версилова не имела в себе ничего особенно предосудительного, — заметил Васин, снисходительно улыбаясь. Ему, кажется, становилось тяжело со мной говорить, но он только не показы вал вида.

— Никогда, никогда не поверю, чтобы женщина, — вскричал я опять, — могла уступить своего мужа другой женщине, этому я не поверю!… Клянусь, что моя мать в том не участвовала!

— Кажется, однако, не противоречила?

— Я бы из гордости одной на ее месте не противоречил!

— С моей стороны, я совершенно отказываюсь судить в этаком деле, — заключил Васин.

Действительно, Васин, при всем своем уме, может быть, ничего не смыслил в женщинах, так что целый цикл идей и явлений оставался ему неизвестен. Я замолчал. Васин временно служил в одном акционерном обществе, и я знал, что он брал себе занятия на дом. На мой настойчивый вопрос он сознался, что у него есть и теперь занятие — счеты, и я с жаром попросил его со мной не церемониться. Это, кажется, доставило ему удовольствие; но прежде чем сесть за бумаги, он принялся устраивать мне на диване постель. Первоначально уступил мне кровать, но когда я не согласился, то, кажется, тоже остался

доволен. У хозяйки достали подушку и одеяло; Васин был чрезвычайно вежлив и любезен, но мне как-то тяжело было глядеть, что он так из-за меня хлопочет. Мне больше понравилось, когда я раз, недели три тому, заночевал нечаянно на Петербургской у Ефима. Помню, как он стряпал мне тогда постель, тоже на диване и потихоньку от тетки, предполагая почему-то, что та рассердится, узнав, что к нему ходят ночевать товарищи. Мы очень смеялись, вместо простыни постлали рубашку, а вместо подушки сложили пальто. Помню, как Зверев, окончив работу с любовью щелкнул по дивану и проговорил мне:

— Vous dormirez comme un petit roi.[33]

И глупая веселость его и французская фраза, которая шла к нему как к корове седло, сделали то, что я с чрезвычайным удовольствием выспался тогда у этого шута. Что же до Васина, то я чрезвычайно был рад, когда он уселся наконец ко мне спиной за свою работу. Я развалился на диване и, смотря ему в спину, продумал долго и о многом.

III

Да и было о чем. На душе моей было очень смутно, а целого не было; но некоторые ощущения выдавались очень определенно, хотя ни одно не увлекало меня за собою вполне вследствие их обилия. Всё как-то мелькало без связи и очереди, а самому мне, помню, совсем не хотелось останавливаться на чем-нибудь или заводить очередь. Даже идея о Крафте неприметно отошла на второй план. Всего более волновало меня мое собственное положение, что вот уже я «порвал», и чемодан мой со мной, и я не дома, и начал совсем всё новое. Точно до сих пор все мои намерения и приготовления были в шутку, а только «теперь вдруг и, главное, *внезапно,* всё началось уже в самом деле». Эта идея бодрила меня и, как ни смутно было на душе моей от многого, веселила меня. Но… но были и другие ощущения; одному из них особенно хотелось выделиться перед прочими и овладеть душой моей, и, странно, это ощущение тоже бодрило меня, как будто вызывало на что-то ужасно веселое. А началось, однако, со страху: я боялся, уже давно, с самого давеча, что в жару и врасплох слишком проговорился Ахмаковой про документ. «Да, я слишком много сказал, — думал я, —

и, пожалуй, они о чем-нибудь догадаются… беда! Разумеется, они мне не дадут покоя, если станут подозревать, но… пусть! Пожалуй, и не найдут меня — спрячусь! А что, если и в самом деле начнут за мною бегать…» И вот мне начало припоминаться до последней черточки и с нарастающим удовольствием, как я стоял давеча перед Катериной Николаевной и как ее дерзкие, но удивленные ужасно глаза смотрели на меня в упор. Я, и выйдя, оставил ее в этом удивлении, припомнил я; «глаза ее, однако, не совсем черные… ресницы лишь очень черны, оттого и глаза кажутся так темны…»

И вдруг, помню, мне стало ужасно омерзительно вспоминать… и досадно и тошно, и на них и на себя. Я в чем-то упрекал себя и старался думать о другом. «Почему у меня нет ни малейшего негодования на Версилова за историю с соседкой?» — пришло мне вдруг в голову. С моей стороны, я твердо был убежден, что он сыграл тут любовную роль и приходил с тем, чтоб повеселиться, но собственно это не возмущало меня. Мне даже казалось, что иначе его и представить нельзя, и хоть я и в самом деле был рад, что его осрамили, но не винил его. Мне не то было важно; мне важно было то, что он так озлобленно посмотрел на меня, когда я вошел с соседкой, так посмотрел, как никогда. «Наконец-то и он посмотрел на меня *серьезно!»* — подумал я с замиранием сердца. О, если б я не любил его, я бы не обрадовался так его ненависти!

Наконец я задремал и совсем заснул. Помню лишь сквозь сон, как Васин, кончив занятие, аккуратно убрался и, пристально посмотрев на мой диван, разделся и потушил свечу. Был первый час пополуночи.

IV

Почти ровно через два часа я вскочил спросонья как полоумный и сел на моем диване. Из-за двери к соседкам раздавались страшные крики, плач и вой. Наша дверь отворена была настежь, а в коридоре, уже освещенном, кричали и бегали люди. Я кликнул было Васина, но догадался, что его уже нет на постели. Не зная, где найти спички, я нашарил мое платье и стал торопясь в темноте одеваться. К соседкам, очевидно, сбежались и хозяйка, а может быть, и жильцы. Вопил, впрочем, один голос, именно пожилой соседки, а вчерашний молодой голос, который я слишком хорошо запомнил, — совсем молчал; помню,

что мне это, с первой мысли, пришло тогда в голову. Не успел я еще одеться, как поспешно вошел Васин; мигом, знакомой рукой, отыскал спички и осветил комнату. Он был в одном белье, в халате и в туфлях и тотчас принялся одеваться.

— Что случилось? — крикнул я ему.

— Пренеприятное и прехлопотливое дело! — ответил он почти злобно, — эта молодая соседка, про которую вы рассказывали, у себя в комнате повесилась.

Я так и закричал. Передать не могу, до какой степени заныла душа моя! Мы выбежали в коридор. Признаюсь, я не осмелился войти к соседкам и уже потом только увидел несчастную, уже когда ее сняли, да и тут, правда, с некоторого расстояния, накрытую простыней, из-за которой выставлялись две узенькие подошвы ее башмаков. Так и не заглянул почему-то в лицо. Мать была в страшном положении; с нею была наша хозяйка, довольно мало, впрочем, испуганная. Все жильцы квартиры толпились тут же. Их было немного: всего один пожилой моряк, всегда очень ворчливый и требовательный и который, однако, теперь совсем притих, и какие-то приезжие из Тверской губернии, старик и старуха, муж и жена, довольно почтенные и чиновные люди. Не стану описывать всей этой остальной ночи, хлопот, а потом и официальных визитов; вплоть до рассвета я буквально дрожал мелкою дрожью и считал обязанностью не ложиться, хотя, впрочем, ничего не делал. Да и все имели чрезвычайно бодрый вид, даже какой-то особенно ободренный. Васин даже ездил куда-то. Хозяйка оказалась довольно почтенною женщиной, гораздо лучше, чем я предполагал ее. Я убедил ее (и вменяю себе это в честь), что мать оставить нельзя так, одну с трупом дочери, и что хоть до завтра пусть бы она ее перевела в свою комнату. Та тотчас согласилась, и как ни билась и ни плакала мать, отказываясь оставить труп, однако все-таки наконец перешла к хозяйке, которая тотчас же велела поставить самоварчик. После этого и жильцы разошлись по своим комнатам и затворились, но я все-таки ни за что не лег и долго просидел у хозяйки, которая даже рада была лишнему человеку, да еще с своей стороны могущему кое-что сообщить по делу. Самовар очень пригодился, и вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических; даже мать выкушала две чашечки, конечно после чрезвычайных просьб и почти насилия. А

между тем, искренно говорю, никогда я не видел более жестокого и прямого горя, как смотря на эту несчастную. После первых взрывов рыданий и истерики она даже с охотой начала говорить, и рассказ ее я выслушал жадно. Есть несчастные, особенно из женщин, которым даже необходимо дать как можно больше говорить в таких случаях. Кроме того, есть характеры, так сказать, слишком уж обшарканные горем, долго всю жизнь терпевшие, претерпевшие чрезвычайно много и большого горя, и постоянного по мелочам и которых ничем уже не удивишь, никакими внезапными катастрофами и, главное, которые даже перед гробом любимейшего существа не забудут ни единого из столь дорого доставшихся правил искательного обхождения с людьми. И я не осуждаю; тут не пошлость эгоизма и не грубость развития; в этих сердцах, может быть, найдется даже больше золота, чем у благороднейших на вид героинь, но привычка долгого принижения, инстинкт самосохранения, долгая запуганность и придавленность берут наконец свое. Бедная самоубийца не походила в этом на маменьку. Лицом, впрочем, обе были, кажется, одна на другую похожи, хотя покойница положительно была недурна собой. Мать же была еще не очень старая женщина, лет под пятьдесят всего, такая же белокурая, но с ввалившимися глазами и щеками и с желтыми, большими и неровными зубами. Да и всё в ней отзывалось какой-то желтизной: кожа на лице и руках походила на пергамент; темненькое платье ее от ветхости тоже совсем пожелтело, а один ноготь, на указательном пальце правой руки, не знаю почему, был залеплен желтым воском тщательно и аккуратно.

Рассказ бедной женщины был в иных местах и бессвязен. Расскажу, как сам понял и что сам запомнил.

Они приехали из Москвы. Она уже давно вдовеет, «однако же надворная советница», муж служил, ничего почти не оставил, «кроме двухсот рублей, однако, пенсиону. Ну что двести рублей?» Взрастила, однако же, Олю и обучила в гимназии… «И ведь как училась-то, как училась; серебряную медаль при выпуске получила…» (Тут, разумеется, долгие слезы). Был у покойника мужа потерян на одном здешнем петербургском купце капитал, почти в четыре тысячи. Вдруг этот купец опять разбогател, «у меня документы, стала советоваться, говорят: ищите, непременно всё получите…» «Я и начала, купец стал соглашаться; поезжайте, говорят мне, сами. Собрались мы с Олей,

приехали тому назад уже месяц. Средства у нас какие; взяли мы эту комнатку, потому что самая маленькая из всех, да и в честном, сами видим, доме, а это нам пуще всего: женщины мы неопытные, всякий-то нас обидит. Ну, вам внесли за один месяц, туда-сюда, Петербург-от кусается, отказывается совсем наш купец. „Знать вас не знаю, ведать не ведаю“, а документ у меня неисправен, сама это понимаю. Вот и советуют мне: сходите к знаменитому адвокату; он профессором был, не просто адвокат, а юрист, так чтоб уж он наверно сказал, что делать. Понесла я к нему последние пятнадцать рублей; вышел адвокат и трех минут меня не слушал: „Вижу, говорит, знаю, говорит, захочет, говорит, отдаст купец, не захочет — не отдаст, а дело начнете — сами приплатиться можете, всего лучше помиритесь“. Еще из Евангелия тут же пошутил: „Миритесь, говорит, пока на пути, дондеже не заплатите последний кодрант“[*],— провожает меня, смеется. Пропали мои пятнадцать рублей! Прихожу к Оле, сидим друг против дружки, заплакала я. Она не плачет, гордая такая сидит, негодует. И всё-то она у меня такая была, во всю жизнь, даже маленькая, никогда-то не охала, никогда-то не плакала, а сидит, грозно смотрит, даже мне жутко смотреть на нее. И верите ли тому: боялась я ее, совсем-таки боялась, давно боялась; и хочу иной раз заныть, да не смею при ней. Сходила я к купцу в последний раз, расплакалась у него вволю: „Хорошо, говорит“, — не слушает даже. Меж тем, признаться вам должна, так как мы на долгое-то время не рассчитывали, то давно уж без денег сидим. Стала я из платьишка помаленьку таскать: что заложим, тем и живем. Всё-то с себя заложили; стала она мне свое последнее бельишко отдавать, и заплакала я тут горькой слезой. Топнула она ногой, вскочила, побежала сама к купцу. Вдовец он; поговорил с ней: „Приходите, говорит, послезавтра в пять часов, может, что и скажу“. Пришла она, повеселела: „Вот, говорит, может, что и скажет“. Ну, рада и я, а только как-то на сердце у меня захолохнуло: что-то, думаю, будет, а расспрашивать ее не смею. Послезавтра возвращается она от купца, бледная, дрожит вся, бросилась на кровать — поняла я всё и спрашивать не смею, Что ж бы вы думали: вынес он ей, разбойник, пятнадцать. Рублей, а коли, „говорит, полную честность встречу, то сорок рублев и еще донесу“. Так и сказал ей в глаза, не постыдился. Кинулась она тут, рассказывала мне, на него, да отпихнул он ее и в другой комнате даже на замок от нее затворился. А меж тем у нас, признаюсь вам по

истинной совести, почти кушать нечего. Снесли мы куцавейку, на заячьем меху была, продали, пошла она в газету и вот тут-то публиковалась: приготовляет, дескать, изо всех наук и из арифметики: „Хоть по тридцати копеек, говорит, будут платить“. И стала я на нее, матушка, под самый конец даже ужасаться: ничего-то она не говорит со мной, сидит по целым часам у окна, смотрит на крышу дома напротив да вдруг крикнет: „Хоть бы белье стирать, хоть бы землю копать!“ — только одно слово какое-нибудь этакое и крикнет, топнет ногою. И никого-то у нас здесь знакомых таких, пойти совсем не к кому: „Что с нами будет? — думаю“. А с ней всё боюсь говорить. Спит это она однажды днем, проснулась, открыла глаза, смотрит на меня; я сижу на сундуке, тоже смотрю на нее; встала она молча, подошла ко мне, обняла меня крепко-крепко, и вот тут мы обе не утерпели и заплакали, сидим и плачем и друг дружку из рук не выпускаем. В первый раз так с нею было во всю ее жизнь. Только этак мы друг с дружкой сидим, а ваша Настасья входит и говорит: „Какая-то вас там барыня спрашивает, осведомляется“. Всего это четыре дня тому назад было. Входит барыня: видим, одета уж очень хорошо, говорит-то хоть и по-русски, но немецкого как будто выговору: „Вы, говорит, публиковались в газете, что уроки даете?“ Так мы ей обрадовались тогда, посадили ее, смеется так она ласково: „Не ко мне, говорит, а у племянницы моей дети маленькие; коли угодно, пожалуйте к нам, там и сговоримся“. Адрес дала, у Вознесенского моста*, номер такой-то и квартира номер такой-то. Ушла. Отправилась Олечка, в тот же день побежала, что ж — возвратилась через два часа, истерика с ней, бьется. Рассказала потом: „Спрашиваю, говорит, у дворника: где квартира номер такой-то?“ Дворник, говорит, и поглядел на меня: „А вам чего, говорит, в той квартире надоть?“ Так странно это сказал, так, что уж тут можно б было спохватиться. А она у меня такая властная была, нетерпеливая, расспросов этих и грубостей не переносила. „Ступайте“, — говорит, ткнул ей пальцем на лестницу, а сам повернулся, в свою каморку ушел. Что ж бы вы думали? Входит это она, спрашивает, и набежали тотчас со всех сторон женщины: „Пожалуйте, пожалуйте!“ — всё женщины, смеются, бросились, нарумяненные, скверные, на фортепьянах играют, тащат ее; я было, говорит, от них вон, да уж не пускают". Оробела тут она, ноги подкосились, не пускают, да и только, ласково говорят, уговаривают, портеру раскупорили, подают, потчуют. Вскочила это она,

кричит благим матом, дрожит: „Пустите, пустите!“ Бросилась к дверям, двери держат, она вопит; тут подскочила давешняя, что приходила к нам, ударила мою Олю два раза в щеку и вытолкнула в дверь: „Не стоишь, говорит, ты, шкура, в благородном доме быть!“ А другая кричит ей на лестницу: „Ты сама к нам приходила проситься, благо есть нечего, а мы на такую харю и глядеть-то не стали!“ Всю ночь эту она в лихорадке пролежала, бредила, а наутро глаза сверкают у ней, встанет, ходит: „В суд, говорит, на нее, в суд!“ Я молчу: ну что, думаю, тут в суде возьмешь, чем докажешь? Ходят она, руки ломает, слезы у ней текут, а губы сжала, недвижимы. И потемнел у ней весь лик с той самой минуты и до самого конца. На третий день легче ей стало, молчит, как будто успокоилась. Вот тут-то в четыре часа пополудни и пожаловал к нам господин Версилов.

И вот прямо скажу: понять не могу до сих пор, каким это образом тогда Оля, такая недоверчивая, с первого почти слова начала его слушать? Пуще всего обеих нас привлекло тогда, что был у него такой серьезный вид, строгий даже, говорит тихо, обстоятельно и всё так вежливо, — куды вежливо, почтительно даже, — а меж тем никакого такого исканья в нем не видно: прямо видно, что пришел человек от чистого сердца. „Я, говорит, ваше объявление в газете прочел, вы, говорит, не так, сударыня, его написали, так что даже повредить себе тем самым можете“. И стал он объяснять, признаться, не поняла я, про арифметику тут что-то, только Оля, смотрю, покраснела и вся словно оживилась, слушает, в разговор вступила так охотно (да "И умный же человек, должно быть!), слышу, даже благодарит его. Расспросил ее про всё так обстоятельно, и видно, что в Москве подолгу живал, и директрису гимназии, оказалось, лично знает. „Уроки я вам, говорит, найду непременно, потому что я со многими здесь знаком и многих влиятельных даже лиц просить могу, так что если даже пожелаете постоянного места, то и то можно иметь в виду… а покамест простите, говорит, меня за один прямой к вам вопрос: не могу ли я сейчас быть вам чем полезным? Не я вам, говорит, а вы мне, напротив, тем самым сделаете удовольствие, коли допустите пользу оказать вам какую ни есть. Пусть это будет, говорит, за вами долг, и как только получите место, то в самое короткое время можете со мной поквитаться. Я же, верьте чести моей, если б сам когда потом впал в такую же нужду, а вы, напротив, были бы всем обеспечены, — то прямо бы к вам пришел за

малою помощью, жену бы и дочь мою прислал“…То есть не припомню я вам всех его слов, только я тут прослезилась, потому вижу, и у Оли вздрогнули от благодарности губки: „Если и принимаю, — отвечает она ему, — то потому, что доверяюсь честному и гуманному человеку, который бы мог быть моим отцом“… Прекрасно она тут так сказала ему, коротко и благородно: „гуманному, говорит, человеку“. Он тотчас встал: „Непременно, непременно, говорит, доставлю вам уроки и место; с сего же дня займусь, потому что вы к тому совсем достаточный имеете аттестат“… А я и забыла сказать, что он с самого начала, как вошел, все ее документы из гимназии осмотрел, показала она ему, и сам ее в разных предметах экзаменовал… „Ведь он меня, маменька, — говорит мне потом Оля, — из предметов экзаменовал, и какой он, говорит, умный, в кои-то веки с таким развитым и образованным человеком поговоришь“… И вся-то она так и сияет. Деньги шестьдесят рублей на столе лежат: „Уберите, говорит, маменька: место получим, первым долгом как можно скорей отдадим, докажем, что мы честные, а что мы деликатные, то он уже видел это“. Потом помолчала, вижу, так она глубоко дышит: „Знаете, — говорит вдруг мне, — маменька, кабы мы были грубые, то мы бы от него, может, по гордости нашей, и не приняли, а что мы теперь приняли, то тем самым только деликатность нашу доказали ему, что во всем ему доверяем, как почтенному седому человеку, не правда ли?“ Я сначала не так поняла да говорю: „Почему, Оля, от благородного и богатого человека благодеяния не принять, коли он сверх того доброй души человек?“ Нахмурилась она на меня: „Нет, говорит, маменька, это не то, не благодеяние нужно, а «гуманность» его, говорит, дорога. А деньги так даже лучше бы было нам и совсем не брать, маменька: коли уж он место обещался достать, то и того достаточно… хоть мы и нуждаемся“. — „Ну, говорю, Оля, нужды-то наши таковы, что отказаться никак нельзя“, — усмехнулась даже я. Ну, рада я про себя, только она мне через час и ввернула: „Вы, говорит, маменька, деньги-то подождите тратить“, — решительно так сказала. „Что же? — говорю“. — „Так, говорит“, — оборвала и замолчала. На весь вечер примолкла; только ночью во втором часу просыпаюсь я, слышу, Оля ворочается на кровати: „Не спите, вы, маменька?“ — „Нет, говорю, не сплю“. — „Знаете, говорит, ведь он меня оскорбить хотел?“ — „Что ты, что ты? — говорю“. — „Непременно, говорит, так: это подлый человек, не смейте, говорит, ни одной копейки его денег

тратить“. Я было стала ей говорить, всплакнула даже тут же на постели, — отвернулась она к стене: „Молчите, говорят, дайте мне спать!“ Наутро смотрю на нее, ходит, на себя непохожа; и вот, верьте не верьте мне, перед судом божиим скажу: не в своем уме она тогда была! С самого того разу, как ее в этом подлом доме оскорбили, помутилось у ней сердце… и ум. Смотрю я на нее в то утро и сумневаюсь на нее; страшно мне; не буду, думаю, противоречить ей ни в одном слове. „Он, говорит, маменька, адреса-то своего так и не оставил“. — „Грех тебе, говорю, Оля: сама его вчера слышала, сама потом хвалила, сама благодарными слезами заплакать готова была“. Только я это сказала — взвизгнула она, топнула: „Подлых, говорит, вы чувств женщина, старого вы, говорит, воспитания на крепостном праве!“… И уж что тут не говорила, схватила шляпку, выбежала, я кричу ей вслед: что с ней, думаю, куда побежала? А она бегала в адресный стол, узнала, где господин Версилов живет, пришла: „Сегодня же, говорит, сейчас отнесу ему деньги и в лицо шваркну; он меня, говорит, оскорбить хотел, как Сафронов (это купец-то наш); только Сафронов оскорбил как грубый мужик, а этот как хитрый иезуит“. А тут вдруг на беду и постучался этот вчерашний господин: „Слышу, говорят про Версилова, могу сообщить“. Как услыхала она про Версилова, так на него и накинулась, в исступлении вся, говорит-говорит, смотрю я на нее и дивлюсь: ни с кем она, молчаливая такая, так не говорит, а тут еще с незнакомым совсем человеком? Щеки у ней разгорелись, глаза сверкают… А он-то как раз: „Совершенная, говорит, ваша правда, сударыня. Версилов, говорит, это точь-в-точь как генералы здешние, которых в газетах описывают; разоденется генерал во все ордена и пойдет по всем гувернанткам, что в газетах публикуются, и ходит и что надо находит; а коли не найдет чего надо, посидит, поговорит, наобещает с три короба и уйдет, — все-таки развлечение себе доставил“. Расхохоталась даже Оля, только злобно так, а господин-то этот, смотрю, за руку ее берет, руку к сердцу притягивает: „Я, говорит, сударыня, и сам при собственном капитале состою, и всегда бы мог прекрасной девице предложить, но лучше, говорит, я прежде у ней только миленькую ручку поцелую…“ — и тянет, вижу, целовать руку. Как вскочит она, но тут уж и я вместе с ней, прогнали мы его обе. Вот перед вечером выхватила у меня Оля деньги, побежала, приходит обратно: „Я, говорит, маменька, бесчестному человеку отмстила!“ — „Ах, Оля, Оля, говорю, может,

счастья своего мы лишились, благородного, благодетельного человека ты оскорбила!“ Заплакала я с досады на нее, не вытерпела. Кричит она на меня: „Не хочу, кричит, не хочу! Будь он самый честный человек, и тогда его милостыни не хочу! Чтоб и жалел кто-нибудь меня, и того не хочу!“ Легла я, и в мысли у меня ничего не было. Сколько я раз на этот гвоздь у вас в стене присматривалась, что от зеркала у вас остался, — невдомек мне, совсем невдомек, ни вчера, ни прежде, и не думала я этого не гадала вовсе, и от Оли не ожидала совсем. Сплю-то я обыкновенно крепко, храплю, кровь это у меня к голове приливает, а иной раз подступит к сердцу, закричу во сне, так что Оля уж ночью разбудит меня: „Что это вы, говорит, маменька, как крепко спите, и разбудить вас, когда надо, нельзя“. — „Ой, говорю, Оля, крепко, ой крепко“. Вот как я, надо быть, захрапела это вчера, так тут она выждала, и уж не опасаясь, и поднялась. Ремень-то этот от чемодана, длинный, всё на виду торчал, весь месяц, еще утром вчера думала: „Прибрать его наконец, чтоб не валялся“. А стул, должно быть, ногой потом отпихнула, а чтобы он не застучал, так юбку свою сбоку подложила. И должно быть, я долго-долго спустя, целый час али больше спустя, проснулась: „Оля! — зову, — Оля!“ Сразу померещилось мне что-то, кличу ее. Али что не слышно мне дыханья ее с постели стало, али в темноте-то разглядела, пожалуй, что как будто кровать пуста, — только встала я вдруг, хвать рукой: нет никого на кровати, и подушка холодная. Так и упало у меня сердце, стою на месте как без чувств, ум помутился. „Вышла, думаю, она“, — шагнула это я, ан у кровати, смотрю, в углу, у двери, как будто она сама и стоит. Я стою, молчу, гляжу на нее, а она из темноты точно тоже глядит на меня, не шелохнется… „Только зачем же, думаю, она на стул встала?“ — „Оля, — шепчу я, робею сама, — Оля, слышишь ты?“ Только вдруг как будто во мне всё озарилось, шагнула я, кинула обе руки вперед, прямо на нее, обхватила, а она у меня в руках качается, хватаю, а она качается, понимаю я всё и не хочу понимать… Хочу крикнуть, а крику-то нет… Ах, думаю! Упала на пол с размаха, тут и закричала…»

· · · Васин, — сказал я наутро, часу уже в шестом, — если б не ваш Стебельков, не случилось бы, может, этого.

— Кто знает, наверно бы случилось. Тут нельзя так судить, тут и без того было готово… Правда, этот Стебельков иногда…

Он не договорил и очень неприятно поморщился. Часу в седьмом

он опять уехал; он всё хлопотал. Я остался наконец один-одинехонек. Уже рассвело. Голова у меня слегка кружилась. Мне мерещился Версилов: рассказ этой дамы выдвигал его совсем в другом свете. Чтоб удобнее обдумать, я прилег на постель Васина так, как был, одетый и в сапогах, на минутку, совсем без намерения спать — и вдруг заснул, даже не помню, как и случилось. Я проспал почти четыре часа; никто-то не разбудил меня.

Глава десятая

I

Я проснулся около половины одиннадцатого и долго не верил глазам своим: на диване, на котором я вчера заснул, сидела моя мать, а рядом с нею — несчастная соседка, мать самоубийцы. Они обе держали друг дружку за руки, разговаривали шепотом, вероятно, чтоб не разбудить меня, и обе плакали. Я встал с постели и прямо кинулся целовать маму. Она так вся и засияла, поцеловала меня и перекрестила три раза правой рукой. Мы не успели сказать и слова: отворилась дверь, и вошли Версилов и Васин. Мама тотчас же встала и увела с собой соседку. Васин подал мне руку, а Версилов не сказал мне ни слова и опустился в кресло. Он и мама, по-видимому, были здесь уже некоторое время. Лицо его было нахмурено и озабочено.

— Всего больше желаю, — расстановочно начал он Васину, очевидно продолжая начатый разговор, — что не успел устроить всё это вчера же вечером, и — наверно не вышло бы тогда этого страшного дела! Да и время было: восьми часов еще не было. Только что убежала она вчера от нас, я тотчас же положил было в мыслях идти за ней следом сюда и переубедить ее, но это непредвиденное и неотложное дело, которое, впрочем, я весьма бы мог отложить до сегодня… на неделю даже, — это досадное дело всему помешало и всё испортило. Сойдется же ведь этак!

— Может быть, и не успели бы убедить; тут и без вашего слишком, кажется, нагорело и накипело, — вскользь заметил Васин.

— Нет, успел бы, успел бы наверно. И ведь была мысль в голове послать вместо себя Софью Андреевну. Мелькнула, но только

мелькнула. Софья Андреевна одна бы ее победила, и несчастная осталась бы в живых. Нет, никогда больше не сунусь… с «добрыми делами»… И всего-то раз в жизни высунулся! А я-то думал, что всё еще не отстал от поколения и понимаю современную молодежь. Да, старье наше старится чуть не раньше, чем созреет. Кстати, ведь действительно ужасно много есть современных людей, которые, по привычке, всё еще считают себя молодым поколением, потому что всего вчера еще таким были, а между тем и не замечают, что уже на фербанте[*].

— Тут вышло недоразумение, и недоразумение слишком ясное, — благоразумно заметил Васин. — Мать ее говорит, что после жестокого оскорбления в публичном доме она как бы потеряла рассудок. Прибавьте обстановку, первоначальное оскорбление от купца… всё это могло случиться точно так же и в прежнее время, и нисколько, по-моему, не характеризует особенно собственно теперешнюю молодежь.

— Нетерпелива немного она, теперешняя молодежь, кроме, разумеется, и малого понимания действительности, которое хоть и свойственно всякой молодежи во всякое время, но нынешней как-то особенно… Скажите, а что тут напроворил господин Стебельков?

— Господин Стебельков, — ввязался я вдруг, — причиной всему. Не было бы его, ничего бы не вышло; он подлил масла в огонь.

Версилов выслушал, но не взглянул на меня. Васин нахмурился.

— Упрекаю себя тоже в одном смешном обстоятельстве, — продолжал Версилов, не торопясь и по-прежнему растягивая слова, — кажется, я, по скверному моему обычаю, позволил себе тогда с нею некоторого рода веселость, легкомысленный смешок этот — одним словом, был недостаточно резок, сух и мрачен, три качества, которые, кажется, также в чрезвычайной цене у современного молодого поколения… Одним словом, дал ей повод принять меня за странствующего селадона.[*]

— Совершенно напротив, — резко ввязался я опять, — мать особенно утверждает, что вы произвели великолепное впечатление именно серьезностью, строгостью даже, искренностью, — ее собственные слова. Покойница сама вас, как вы ушли, хвалила в этом смысле.

— Д-да? — промямлил Версилов, мельком взглянув наконец на меня. — Возьмите же эту бумажку, она ведь к делу необходима, — протянул он крошечный кусочек Васину. Тот взял и, видя, что я смотрю

с любопытством, подал мне прочесть. Это была записка, две неровные строчки, нацарапанные карандашом и, может быть, в темноте:

«Маменька, милая, простите меня за то, что я прекратила мой жизненный дебют. Огорчавшая вас Оля».

— Это нашли только утром, — объяснил Васин.

— Какая странная записка! — воскликнул я в удивлении.

— Чем странная? — спросил Васин.

— Разве можно в такую минуту писать юмористическими выражениями?

Васин глядел вопросительно.

— Да и юмор странный, — продолжал я, — гимназический условный язык между товарищами… Ну кто может в такую минуту и в такой записке к несчастной матери, — а мать она ведь, оказывается, любила же, — написать: «прекратила мой жизненный дебют»!

— Почему же нельзя написать? — всё еще не понимал Васин.

— Тут ровно никакого и нет юмора, — заметил наконец Версилов, — выражение, конечно, неподходящее, со всем не того тона, и действительно могло зародиться в гимназическом или там каком-нибудь условно товарищеском, как ты сказал, языке али из фельетонов каких-нибудь, но покойница употребляла его в этой ужасной записке совершенно простодушно и серьезно.

— Этого быть не может, она кончила курс и вышла с серебряной медалью.

— Серебряная медаль тут ничего не значит. Нынче многие так кончают курс.

— Опять на молодежь, — улыбнулся Васин.

— Нисколько, — ответил ему Версилов, вставая с места и взяв шляпу, — если нынешнее поколение не столь литературно, то, без сомнения, обладает… другими достоинствами, — прибавил он с необыкновенной серьезностью. — Притом «многие» — не «все», и вот вас, например, я не обвиняю же в плохом литературном развитии, а вы тоже еще молодой человек.

— Да и Васин ничего не нашел дурного в «дебюте»! — не утерпел я, чтоб не заметить.

Версилов молча протянул руку Васину; тот тоже схватил фуражку, чтоб вместе с ним выйти, и крикнул мне: «До свиданья». Версилов вышел, меня не заметив. Мне тоже нечего было время терять: во что бы

ни стало надо было бежать искать квартиру, — теперь нужнее чем когда-нибудь! Мамы уже не было у хозяйки, она ушла и увела с собой и соседку. Я вышел на улицу как-то особенно бодро… Какое-то новое и большое ощущение нарождалось в душе. К тому же как нарочно и всё способствовало: я необыкновенно скоро напал на случай и нашел квартиру совсем подходящую; про квартиру эту потом, а теперь окончу о главном.

Был всего второй час в начале, когда я вернулся опять к Васину за моим чемоданом и как раз опять застал его дома. Увидав меня, он с веселым и искренним видом воскликнул:

— Как я рад, что вы застали меня, я сейчас было уходил! Я могу вам сообщить один факт, который, кажется, очень вас заинтересует.

— Уверен заранее! — вскричал я.

— Ба! какой у вас бодрый вид. Скажите, вы не знали ничего о некотором письме, сохранявшемся у Крафта и доставшемся вчера Версилову, именно нечто по поводу выигранного им наследства? В письме этом завещатель разъясняет волю свою в смысле, обратном вчерашнему решению суда. Письмо еще давно писано. Одним словом, я не знаю, что именно в точности, но не знаете ли чего-нибудь вы?

— Как не знать. Крафт третьего дня для того и повел меня к себе… от тех господ, чтоб передать мне это письмо, а я вчера передал Версилову.

— Да? Так я и подумал. Вообразите же, то дело, про которое давеча здесь говорил Версилов, — что помешало ему вчера вечером прийти сюда убедить эту девушку, — это дело вышло именно через это письмо. Версилов прямо, вчера же вечером, отправился к адвокату князя Сокольского, передал ему это письмо и отказался от всего выигранного им наследства. В настоящую минуту этот отказ уже облечен в законную форму. Версилов не дарит, но признает в этом акте полное право князей.

Я остолбенел, но я был в восхищении. По-настоящему, я совершенно был убежден, что Версилов истребит письмо, мало того, хоть я говорил Крафту про то, что это было бы неблагородно, и хоть и сам повторял это про себя в трактире, и что «я приехал к чистому человеку, а не к этому», — но еще более про себя, то есть в самом нутре души, я считал, что иначе и поступить нельзя, как похерив документ совершенно. То есть я считал это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и винил Версилова, то винил бы только нарочно, для виду, то

есть для сохранения над ним возвышенного моего положения. Но, услыхав теперь о подвиге Версилова, я пришел в восторг искренний, полный, с раскаянием и стыдом осуждая мой цинизм и мое равнодушие к добродетели, и мигом, возвысив Версилова над собою бесконечно, я чуть не обнял Васина.

— Каков человек! Каков человек! Кто бы это сделал? — восклицал я в упоении.

— Я с вами согласен, что очень многие этого бы не сделали… и что, бесспорно, поступок чрезвычайно бескорыстен…

— «Но»?.. договаривайте, Васин, у вас есть «но»?

— Да, конечно, есть и «но»; поступок Версилова, по-моему, немного скор и немного не так прямодушен, — улыбнулся Васин.

— Не прямодушен?

— Да. Тут есть некоторый как бы «пьедестал». Потому что, во всяком случае, можно было бы сделать то же самое, не обижая себя. Если не половина, то всё же несомненно некоторая часть наследства могла бы и теперь следовать Версилову, даже при самом щекотливом взгляде на дело, тем более что документ не имел решительного значения, а процесс им уже выигран. Такого мнения держится и сам адвокат противной стороны; я сейчас только с ним говорил. Поступок остался бы не менее прекрасным, но единственно из прихоти гордости случилось иначе. Главное, господин Версилов погорячился и — излишне поторопился; ведь он сам же сказал давеча, что мог бы отложить на целую неделю…

— Знаете что, Васин? Я не могу не согласиться с вами, но… я так люблю лучше, мне так нравится лучше!

— Впрочем, это дело вкуса. Вы сами вызвали меня, я бы промолчал.

— Даже если тут и «пьедестал», то и тогда лучше, — продолжал я, — пьедестал хоть и пьедестал, но сам по себе он очень ценная вещь. Этот «пьедестал» ведь всё тот же «идеал», и вряд ли лучше, что в иной теперешней душе его нет; хоть с маленьким даже уродством, да пусть он есть! И наверно, вы сами думаете так, Васин, голубчик мой Васин, милый мой Васин! Одним словом, я, конечно, зарапортовался, но вы ведь меня понимаете же. На то вы Васин; и, во всяком случае, я обнимаю вас и целую, Васин!

— С радости?

— С большой радости! Ибо сей человек «был мертв и ожил, пропадал и нашелся»[*]! Васин, я дрянной мальчишка и вас не стою. Я именно потому сознаюсь, что в иные минуты бываю совсем другой, выше и глубже. Я за то, что третьего дня вас расхвалил в глаза (а расхвалил только за то, что меня унизили и придавили), я за то вас целых два дня ненавидел! Я дал слово, в ту же ночь, к вам не ходить никогда и пришел к вам вчера поутру только со зла, понимаете вы: *со зла.* Я сидел здесь на стуле один и критиковал вашу комнату, и вас, и каждую книгу вашу, и хозяйку вашу, старался унизить вас и смеяться над вами…

— Это не надо бы говорить…

— Вчера вечером, заключив из одной вашей фразы, что вы не понимаете женщины, я был рад, что мог вас на этом поймать. Давеча, поймав вас на «дебюте», — опять таки ужасно был рад, и всё из-за того, что сам вас тогда расхвалил…

— Да еще же бы нет! — вскричал наконец Васин (он всё продолжал улыбаться, нисколько не удивляясь на меня), — да это так ведь и бывает всегда, почти со всеми, и первым даже делом; только в этом никто не признается, да и не надо совсем признаваться, потому что, во всяком случае, это пройдет и из этого ничего не будет.

— Неужели у всех этак? Все такие? И вы, говоря это, спокойны? Да ведь с таким взглядом жить нельзя!

— А по-вашему:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман?[*]

— Но ведь это же верно, — вскричал я, — в этих двух стихах святая аксиома!

— Не знаю; не берусь решать, верны ли эти два стиха иль нет. Должно быть, истина, как и всегда, где-нибудь лежит посредине: то есть в одном случае святая истина, а в другом — ложь. Я только знаю наверно одно: что еще надолго эта мысль останется одним из самых главных спорных пунктов между людьми. Во всяком случае, я замечаю, что вам теперь танцевать хочется. Что ж, и потанцуйте: моцион полезен, а на меня как раз сегодня утром ужасно много дела взвалили… да и

опоздал же я с вами!

— Еду, еду, убираюсь! Одно только слово, — прокричал я, уже схватив чемодан, — если я сейчас к вам опять «кинулся на шею», то единственно потому, что, когда я вошел, вы с таким искренним удовольствием сообщили мне этот факт и «обрадовались», что я успел вас застать, и это после давешнего «дебюта»; этим искренним удовольствием вы разом перевернули мое «юное сердце» опять в вашу сторону. Ну, прощайте, прощайте, постараюсь как можно дольше не приходить и знаю, что вам это будет чрезвычайно приятно, что вижу даже по вашим глазам, а обоим нам даже будет выгодно…

Так болтая и чуть не захлебываясь от моей радостной болтовни, я вытащил чемодан и отправился с ним на квартиру. Мне, главное, ужасно нравилось то, что Версилов так несомненно на меня давеча сердился, говорить и глядеть не хотел. Перевезя чемодан, я тотчас же полетел к моему старику князю. Признаюсь, эти два дня мне было без него даже немножко тяжело. Да и про Версилова он наверно уже слышал.

II

Я так и знал, что он мне ужасно обрадуется, и, клянусь, я даже и без Версилова зашел бы к нему сегодня. Меня только пугала вчера и давеча мысль, что встречу, пожалуй, как-нибудь Катерину Николаевну; но теперь я уж ничего не боялся.

Он стал обнимать меня с радости.

— Версилов-то! Слышали? — начал я прямо с главного.

— Cher enfant, друг ты мой милый, это до того возвышенно, это до того благородно, — одним словом, даже на Кильяна (этого чиновника внизу) произвело потрясающее впечатление! Это неблагоразумно с его стороны, но это блеск, это подвиг! Идеал ценить надо!

— Не правда ли? Не правда ли? В этом мы с вами всегда сходились.

— Милый ты мой, мы с тобой всегда сходились. Где ты был? Я непременно хотел сам к тебе ехать, но не знал, где тебя найти… Потому что всё же не мог же я к Версилову… Хотя теперь, после всего этого… Знаешь, друг мой: вот этим-то он, мне кажется, и женщин побеждал, вот

этими-то чертами, это несомненно…

— Кстати, чтоб не забыть, я именно для вас берег. Вчера один недостойнейший гороховый шут, ругая мне в глаза Версилова, выразился про него, что он — «бабий пророк»; каково выражение, собственно выражение? Я для вас берег…

— «Бабий пророк»! Mais… c'est charmant![34] Ха-ха! Но это так идет к нему, то есть это вовсе не идет — тьфу!.. Но это так метко… то есть это вовсе не метко, но…

— Да ничего, ничего, не конфузьтесь, смотрите только как на бонмо!

— Бонмо великолепное, и, знаешь, оно имеет глубочайший смысл… Совершенно верная идея! То есть, веришь ли… Одним словом, я тебе сообщу один крошечный секрет. Заметил ты тогда эту Олимпиаду? Веришь ли, что у ней болит немножко по Андрею Петровичу сердце, и до того, что она даже, кажется, что-то питает…

— Питает! Вот ей, не угодно ли этого? — вскричал я, в негодовании показывая кукиш.

— Mon cher, не кричи, это всё так, и ты, пожалуй, прав, с твоей точки. Кстати, друг мой, что это случилось с тобой прошлый раз при Катерине Николаевне? Ты качался… я думал, ты упадешь, и хотел броситься тебя поддержать.

— Об этом не теперь. Ну, одним словом, я просто сконфузился, по одной причине…

— Ты и теперь покраснел.

— Ну, а вам надо сейчас же и размазать. Вы знаете, что она во вражде с Версиловым… ну и там всё это, ну вот и я взволновался: эх, оставим, после!

— И оставим, и оставим, я и сам рад всё это оставить… Одним словом, я чрезвычайно перед ней виноват, и даже, помнишь, роптал тогда при тебе… Забудь это, друг мой; она тоже изменит свое о тебе мнение, я это слишком предчувствую… А вот и князь Сережа!

Вошел молодой и красивый офицер. Я жадно посмотрел на него, я его никогда еще не видал. То есть я говорю красивый, как и все про него точно так же говорили, но что-то было в этом молодом и красивом лице не совсем привлекательное. Я именно замечаю это, как впечатление самого первого мгновения, первого на него моего взгляда, оставшееся во мне на всё время. Он был сухощав, прекрасного роста, темно-рус, с

свежим лицом, немного, впрочем, желтоватым, и с решительным взглядом. Прекрасные темные глаза его смотрели несколько сурово, даже и когда он был совсем спокоен. Но решительный взгляд его именно отталкивал потому, что как-то чувствовалось почему-то, что решимость эта ему слишком недорого стоила. Впрочем, не умею выразиться… Конечно, лицо его способно было вдруг изменяться с сурового на удивительно ласковое, кроткое и нежное выражение, и, главное, при несомненном простодушии превращения. Это-то простодушие и привлекало. Замечу еще черту: несмотря на ласковость и простодушие, никогда это лицо не становилось веселым; даже когда князь хохотал от всего сердца, вы все-таки чувствовали, что настоящей, светлой, легкой веселости как будто никогда не было в его сердце… Впрочем, чрезвычайно трудно так описывать лицо. Не умею я этого вовсе. Старый князь тотчас же бросился нас знакомить, по глупой своей привычке.

— Это мой юный друг, Аркадий Андреевич (опять Андреевич!) Долгорукий.

Молодой князь тотчас повернулся ко мне с удвоенно вежливым выражением лица; но видно было, что имя мое совсем ему незнакомо.

— Это… родственник Андрея Петровича, — пробормотал мой досадный князь. (Как досадны бывают иногда эти старички, с их привычками!) Молодой князь тотчас же догадался.

— Ах! Я так давно слышал… — быстро проговорил он, — я имел чрезвычайное удовольствие познакомиться прошлого года в Луге с сестрицей вашей Лизаветой Макаровной… Она тоже мне про вас говорила…

Я даже удивился: на лице его сияло решительно искреннее удовольствие.

— Позвольте, князь, — пролепетал я, отводя назад обе мои руки, — я вам должен сказать искренно, — и рад, что говорю при милом нашем князе, — что я даже желал с вами встретиться, и еще недавно желал, всего только вчера, но совсем уже с другими целями. Я это прямо говорю, как бы вы ни удивлялись. Короче, я хотел вас вызвать за оскорбление, сделанное вами, полтора года назад, в Эмсе, Версилову. И хоть вы, конечно, может быть, и не пошли бы на мой вызов, потому что я всего лишь гимназист и несовершеннолетний подросток, однако я всё бы сделал вызов, как бы вы там ни приняли и что бы вы там ни

сделали… и, признаюсь, даже и теперь тех же целей.

Старый князь передавал мне потом, что мне удалось это высказать чрезвычайно благородно.

Искренняя скорбь выразилась в лице князя.

— Вы мне только не дали договорить, — внушительно ответил он. — Если я обратился к вам с словами от всей души, то причиною тому были именно теперешние, настоящие чувства мои к Андрею Петровичу. Мне жаль, что не могу вам сейчас сообщить всех обстоятельств; но уверяю вас честью, я давным-давно уже смотрю на мой несчастный поступок в Эмсе с глубочайшим раскаянием. Собираясь в Петербург, я решился дать всевозможные удовлетворения Андрею Петровичу, то есть прямо, буквально, просить у него прощения, в той самой форме, в какой он сам назначит. Высшие и могущественные влияния были причиною перемены в моем взгляде. То, что мы были в тяжбе, не повлияло бы на мое решение нимало. Вчерашний же поступок его со мной, так сказать, потряс мою душу, и даже в эту минуту, верите ли, я как бы еще не шел в себя. И вот я должен сообщить вам — я именно к князю приехал, чтоб ему сообщить об одном чрезвычайном обстоятельстве: три часа назад, то есть это ровно в то время, когда они составляли с адвокатом этот акт, явился ко мне уполномоченный Андрея Петровича и передал мне от него вызов… формальный вызов из-за истории в Эмсе…

— Он вас вызвал? — вскричал я и почувствовал, что глаза мои загорелись и кровь залила мне лицо.

— Да, вызвал; я тотчас же принял вызов, но решил, еще раньше встречи, послать ему письмо, в котором излагаю мой взгляд на мой поступок и всё мое раскаяние в этой ужасной ошибке… потому что это была только ошибка— несчастная, роковая ошибка! Замечу вам, что мое положение в полку заставляло меня таким образом рисковать: за такое письмо перед встречей я подвергал себя общественному мнению… вы понимаете? Но несмотря да же на это, я решился, и только не успел письма отправить, потому что час спустя после вызова получил от него опять записку, в которой он просит меня извинить его, что обеспокоил, и забыть о вызове и прибавляет, что раскаивается в этом «минутном порыве малодушия и эгоизма», — его собственные слова. Таким образом, он уже совершенно облегчает мне теперь шаг с письмом. Я еще его не отослал, но именно приехал сказать кое-что об

этом князю… И поверьте, я сам выстрадал от упреков моей совести гораздо больше, чем, может быть, кто-нибудь… Довольно ли вам этого объяснения, Аркадий Макарович, по крайней мере теперь, пока? Сделаете ли вы мне честь поверить вполне моей искренности?

Я был совершенно побежден; я видел несомненное прямодушие, которого в высшей степени не ожидал. Да и ничего подобного я не ожидал. Я что-то пробормотал в ответ и прямо протянул ему мои обе руки; он с радостью потряс их в своих руках. Затем отвел князя и минут с пять говорил с ним в его спальне.

— Если бы вы захотели мне сделать особенное удовольствие, — громко и открыто обратился он ко мне, выходя от князя, — то поедемте сейчас со мною, и я вам покажу письмо, которое сейчас посылаю к Андрею Петровичу, а вместе и его письмо ко мне.

Я согласился с чрезвычайною охотой. Мой князь захлопотал, провожая меня, и тоже вызывал меня на минутку в свою спальню.

— Mon ami, как я рад, как я рад… Мы обо всем этом после. Кстати, вот тут в портфеле у меня два письма: одно нужно завезти и объясниться лично, другое в банк — и там тоже…

И тут он мне поручил два будто бы неотложные дела и требующие будто бы необыкновенного труда и внимания. Предстояло съездить и действительно подать, расписаться и проч.

— Ах вы, хитрец! — вскричал я, принимая письма, — клянусь, ведь всё это — вздор и никакого тут дела нет, а эти два поручения вы нарочно выдумали, чтоб уверить меня, что я служу и не даром деньги беру!

— Mon enfant, клянусь тебе, что в этом ты ошибаешься: это два самые неотложные дела… Cher enfant! — вскричал он вдруг, ужасно умилившись, — милый мой юноша! (Он положил мне обе руки на голову). Благословляю тебя и твой жребий… будем всегда чисты сердцем, как и сегодня… добры и прекрасны, как можно больше… будем любить всё прекрасное… во всех его разнообразных формах… Ну, enfin… enfin rendons grâce… et je te bénis![35]

Он не докончил и захныкал над моей головой. Признаюсь, почти заплакал и я; по крайней мере искренно и с удовольствием обнял моего чудака. Мы очень поцеловались.

III

Князь Сережа (то есть князь Сергей Петрович, так и буду его называть) привез меня в щегольской пролетке на свою квартиру, и первым делом я удивился великолепию его квартиры. То есть не то что великолепию, но квартира эта была как у самых «порядочных людей»: высокие, большие, светлые комнаты (я видел две, остальные были притворены) и мебель — опять-таки хоть и не бог знает какой Versailles[36] или Renaissanse[*],[37] но мягкая, комфортная, обильная, на самую широкую ногу; ковры, резное дерево и статуэтки. Между тем про них все говорили, что они нищие, что у них ровно ничего. Я мельком слышал, однако, что этот князь и везде задавал пыли, где только мог, — и здесь, и в Москве, и в прежнем полку, и в Париже, — что он даже игрок и что у него долги. На мне был перемятый сюртук, и вдобавок в пуху, потому что я так и спал не раздевшись, а рубашке приходился уже четвертый день. Впрочем, сюртук мой был еще не совсем скверен, но, попав к князю, я вспомнил о предложении Версилова сшить себе платье.

— Вообразите, я по поводу одной самоубийцы всю ночь проспал одевшись, — заметил я с рассеянным видом, и так как он тотчас же выразил внимание, то вкратце и *рассказал.* Но его, очевидно, занимало больше всего его письмо. Главное, мне странно было, что он не только не улыбнулся, но даже самого маленького вида не показал в этом смысле, когда я давеча прямо так и объявил, что хотел вызвать его на дуэль. Хоть я бы и сумел заставить его не смеяться, но все-таки это было странно от человека такого сорта. Мы уселись друг против друга посреди комнаты за огромным его письменным столом, и он мне передал на просмотр уже готовое и переписанное набело письмо его к Версилову. Документ этот был очень похож на всё то, что он мне давеча высказал у моего князя; написано даже горячо. Это видимое прямодушие его и готовность ко всему хорошему я, правда, еще не знал, как принять окончательно, но начинал уже поддаваться, потому, в сущности, почему же мне было не верить? Каков бы ни был человек и что бы о нем ни рассказывали, но он всё же мог быть с хорошими наклонностями. Я посмотрел тоже и последнюю записочку Версилова в семь строк — отказ от вызова. Хоть он и действительно прописал в ней

про свое «малодушие» и про свой «эгоизм», но вся, в целом, записка эта как бы отличалась каким-то высокомерием… или, лучше, во всем поступке этом выяснялось какое-то пренебрежение. Я, впрочем, не высказал этого.

— Вы, однако, как смотрите на этот отказ, — спросил я, — ведь не считаете же вы, что он струсил?

— Конечно нет, — улыбнулся князь, но как-то очень серьезной улыбкой, и вообще он становился всё более и более озабочен, — я слишком знаю, что этот человек мужествен. Тут, конечно, особый взгляд… свое собственное расположение идей…

— Без сомнения, — прервал я горячо. — Некто Васин говорит, что в поступке его с этим письмом и с отказом от наследства заключается «пьедестал»… По-моему, такие вещи не делаются для показу, а соответствуют чему-то основному, внутреннему.

— Я очень хорошо знаю господина Васина, — заметил князь.

— Ах да, вы должны были видеть его в Луге.

Мы вдруг взглянули друг на друга, и, вспоминаю, я, кажется, капельку покраснел. По крайней мере он перебил разговор. Мне, впрочем, очень хотелось разговориться. Мысль об одной вчерашней встрече моей соблазняла меня задать ему кой-какие вопросы, но только я не знал, как приступить. И вообще я был как-то очень не по себе. Поражала меня тоже его удивительная благовоспитанность, вежливость, непринужденность манер — одним словом, весь этот лоск ихнего тона, который они принимают чуть не с колыбели. В письме его я начитал две прегрубые грамматические ошибки. И вообще при таких встречах я никогда не принижаюсь, а становлюсь усиленно резок, что иногда, может быть, и дурно. Но в настоящем случае тому особенно способствовала еще и мысль, что я в пуху, так что я несколько даже сплошал и влез в фамильярность… Я потихоньку заметил, что князь иногда очень пристально меня оглядывал.

— Скажите, князь, — вылетел я вдруг с вопросом, — не находите вы смешным внутри себя, что я, такой еще «молокосос», хотел вас вызвать на дуэль, да еще за чужую обиду?

— За обиду отца очень можно обидеться. Нет, не нахожу смешным.

— А мне так кажется, что это ужасно смешно… на иной взгляд… то есть, разумеется, не на собственный мой. Тем более что я Долгорукий, а не Версилов. А если вы говорите мне неправду или чтоб

как-нибудь смягчить из приличий светского лоска, то, стало быть, вы меня и во всем остальном обманываете?

— Нет, не нахожу смешным, — повторил он ужасно серьезно, — не можете же вы не ощущать в себе крови своего отца?.. Правда, вы еще молоды, потому что… не знаю… кажется, не достигшему совершенных лет нельзя драться, а от него еще нельзя принять вызов… по правилам… Но, если хотите, тут одно только может быть серьезное возражение: если вы делаете вызов без ведома обиженного, за обиду которого вы вызываете, то тем самым выражаете как бы некоторое собственное неуважение ваше к нему, не правда ли?

Разговор наш вдруг прервал лакеи, который вошел о чем-то доложить. Завидев его, князь, кажется, ожидавший его, встал, не докончив речи, и быстро подошел к нему, так что тот доложил уже вполголоса, и я, конечно, не слыхал о чем.

— Извините меня, — обратился ко мне князь, — я через минуту буду.

И вышел. Я остался один; ходил по комнате и думал. Странно, он мне и нравился и ужасно не нравился. Было что-то такое, чего бы я и сам не сумел назвать, но что-то отталкивающее. «Если он ни капли не смеется надо мной, то, без сомнения, он ужасно прямодушен; но если б он надо мной смеялся, то… может быть, казался бы мне тогда умнее…» — странно как-то подумал я. Я подошел к столу и еще раз прочел письмо к Версилову. Завлекшись, даже забыл о времени, и когда очнулся, то вдруг заметил, что князева минутка, бесспорно, продолжается уже целую четверть часа. Это меня немножко взволновало; я еще раз прошелся взад и вперед, наконец взял шляпу и, помню, решился выйти, с тем чтоб, встретив кого-нибудь, послать за князем, а когда он придет, то прямо проститься с ним, уверив, что у меня дела и ждать больше не могу. Мне казалось, что так будет всего приличнее, потому что меня капельку мучила мысль, что он, оставляя меня так надолго, поступает со мной небрежно.

Обе затворенные двери в эту комнату приходились по обоим концам одной и той же стены. Забыв, в которую дверь мы вошли, а пуще в рассеянности, я отворил одну из них, и вдруг, в длинной и узкой комнате, увидел сидевшую на диване — сестру мою Лизу. Кроме нее, никого не было, и она, конечно, кого-то ждала. Но не успел я даже удивиться, как вдруг услышал голос князя, с кем-то громко

говорившего и возвращавшегося в кабинет. Я быстро притворил дверь, и вошедший из другой двери князь ничего не заметил. Помню, он стал извиняться и что-то проговорил про какую-то Анну Федоровну… Но я был так смущен и поражен, что ничего почти не разобрал, а пролепетал только, что мне необходимо домой, затем настойчиво и быстро вышел. Благовоспитанный князь, конечно, с любопытством должен был смотреть на мои приемы. Он проводил меня в самую переднюю и всё говорил, а я не отвечал и не глядел на него.

IV

Выйдя на улицу, я повернул налево и пошел куда попало. В голове у меня ничего не вязалось. Шел я тихо и, кажется, прошел очень много, шагов пятьсот, как вдруг почувствовал, что меня слегка ударили по плечу. Обернулся и увидел Лизу: она догнала меня и слегка ударила зонтиком. Что-то ужасно веселое, а на капельку и лукавое, было в ее сияющем взгляде.

— Ну как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так тебя сегодня и не встретила! — Она немного задыхалась от скорой ходьбы.

— Как ты задохлась.

— Ужасно бежала, тебя догоняла.

— Лиза, ведь это тебя я сейчас встретил?

— Где это?

— У князя… у князя Сокольского…

— Нет, не меня, нет, меня ты не встретил…

Я замолчал, и мы прошли шагов десять. Лиза страшно расхохоталась:

— Меня, меня, конечно меня! Послушай, ведь ты же меня сам видел, ведь ты же мне глядел в глаза, и я тебе глядела в глаза, так как же ты спрашиваешь, меня ли ты встретил? Ну характер! А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в глаза глядел, ты ужасно смешно глядел.

Она хохотала ужасно. Я почувствовал, как вся тоска сразу оставила мое сердце.

— Да как же, скажи, ты там очутилась?

— У Анны Федоровны.

— У какой Анны Федоровны?

— У Столбеевой. Когда мы в Луге жили, я у ней по целым дням сиживала; она и маму у себя принимала и к нам даже ходила. А она ни к кому почти там не ходила. Андрею Петровичу она дальняя родственница, и князьям Сокольским родственница: она князю какая-то бабушка.

— Так она у князя живет?

— Нет, князь у ней живет.

— Так чья же квартира?

— Ее квартира, вся квартира ее уже целый год. Князь только что приехал, у ней и остановился. Да и она сама всего только четыре дня в Петербурге.

— Ну… знаешь что, Лиза, бог с ней с квартирой, и с ней самой…

— Нет, она прекрасная…

— И пусть, и книги ей в руки. Мы сами прекрасные! Смотри, какой день, смотри, как хорошо! Какая ты сегодня красавица, Лиза. А впрочем, ты ужасный ребенок.

— Аркадий, скажи, та девушка-то, вчерашняя-то.

— Ах, как жаль, Лиза, ах, как жаль!

— Ах, как жаль! Какой жребий! Знаешь, даже грешно, что мы идем такие веселые, а ее душа где-нибудь теперь летит во мраке, в каком-нибудь бездонном мраке, согрешившая, и с своей обидой… Аркадий, кто в ее грехе виноват? Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти, и как это грешно! Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце! Мама говорит, что грешно бояться… Аркадий, знаешь ли ты хорошо маму?

— Еще мало, Лиза, мало знаю.

— Ах, какое это существо; ты ее должен, должен узнать! Ее нужно особенно понимать…

— Да ведь вот же и тебя не знал, а ведь знаю же теперь всю. Всю в одну минуту узнал. Ты, Лиза, хоть и боишься смерти, а, должно быть, гордая, смелая, мужественная. Лучше меня, гораздо лучше меня! Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ах, Лиза! Пусть приходит, когда надо, смерть, а пока жить, жить! О той несчастной пожалеем, а жизнь все-таки благословим, так ли? Так ли? У меня есть «идея», Лиза. Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов отказался от наследства?

— Как не знать! Мы уже с мамой целовались.

— Ты не знаешь души моей, Лиза, ты не знаешь, что значил для меня человек этот…

— Ну вот не знать, всё знаю!

— Всё знаешь? Ну да, еще бы! Ты умна; ты умнее Васина. Ты и мама — у вас глаза проницающие, гуманные, то есть взгляды, а не глаза, я вру… Я дурен во многом, Лиза.

— Тебя нужно в руки взять, вот и кончено!

— Возьми, Лиза. Как хорошо на тебя смотреть сего дня. Да знаешь ли, что ты прехорошенькая? Никогда еще я не видал твоих глаз… Только теперь в первый раз увидел… Где ты их взяла сегодня, Лиза? Где купила? Что заплатила? Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею как на вздор; но с тобой не вздор… Хочешь, станем друзьями? Ты понимаешь, что я хочу сказать?..

— Очень понимаю.

— И знаешь, без уговору, без контракту, — просто будем друзьями!

— Да, просто, просто, но только один уговор: если когда-нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если сделаемся сами злы, дурны, если даже забудем всё это, — то не забудем никогда этого дня и вот этого самого часа! Дадим слово такое себе. Дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот шли с тобой оба рука в руку, и так смеялись, и так нам весело было… Да? Ведь да?

— Да, Лиза, да, и клянусь; но, Лиза, я как будто тебя в первый раз слушаю… Лиза, ты много читала?

— До сих пор еще не спросил! Только вчера в первый раз, как я в слове оговорилась, удостоили обратить внимание, милостивый государь, господин мудрец.

— А что ж ты сама со мной не заговаривала, коли я был такой дурак?

— А я всё ждала, что поумнеешь. Я выглядела вас всего с самого начала, Аркадий Макарович, и как выглядела, то и стала так думать: «Ведь он придет же, ведь уж наверно кончит тем, что придет», — ну, и положила вам лучше эту честь самому предоставить, чтоб вы первый-то сделали шаг: «Нет, думаю, походи-ка теперь за мной!»

— Ах ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо: смеялась ты надо мной в этот месяц или нет?

— Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий! И знаешь,

я, может быть, за то тебя всего больше и любила в этот месяц, что ты вот этакий чудак. Но ты во многом недурной чудак, — это чтоб ты не возгордился. Да знаешь ли, кто еще над тобой смеялся? Мама смеялась, мама со мной вместе: «Экий, шепчем, чудак, ведь этакий чудак!» А ты-то сидишь и думаешь в это время, что мы сидим и тебя трепещем.

— Лиза, что ты думаешь про Версилова?

— Я очень много об нем думаю; но знаешь, мы теперь об нем не будем говорить. Об нем сегодня не надо; ведь так?

— Совершенно так! Нет, ты ужасно умна, Лиза! Ты непременно умнее меня. Вот подожди, Лиза, кончу это всё и тогда, может, я кое-что и скажу тебе…

— Чего ты нахмурился?

— Нет, я не нахмурился, Лиза, а я так… Видишь, Лиза, лучше прямо: у меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотного в душе пальцами дотрагиваются… или, лучше сказать, если часто иные чувства выпускать наружу, чтоб все любовались, так ведь это стыдно, не правда ли? Так что я иногда лучше люблю хмуриться и молчать: ты умна, ты должна понять.

— Да мало того, я и сама такая же; я тебя во всем поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая же?

— Ах, Лиза! Как бы только подольше прожить на свете! А? Что ты сказала?

— Нет, я ничего не сказала.

— Ты смотришь?

— Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя.

Я довел ее почти вплоть до дому и дал ей мой адрес. Прощаясь, я поцеловал ее в первый раз еще в жизни…

V

И всё бы это было хорошо, но одно только было нехорошо: одна тяжелая идея билась во мне с самой ночи и не выходила из ума. Это то, что когда я встретился вчера вечером у наших ворот с той несчастной, то сказал ей, что я сам ухожу из дому, из гнезда, что уходят от злых и основывают свое гнездо и что у Версилова много незаконнорожденных. Такие слова, про отца от сына, уж конечно, утвердили в ней все ее

подозрения на Версилова и на то, что он ее оскорбил. Я обвинял Стебелькова, а ведь, может быть, я-то, главное, и подлил масла в огонь. Эта мысль ужасна, ужасна и теперь… Но тогда, в то утро, я хоть и начинал уже мучиться, но мне все-таки казалось, что это вздор: «Э, тут и без меня „нагорело и накипело“, — повторял я по временам, — э, ничего, пройдет! Поправлюсь! Я это чем-нибудь наверстаю… каким-нибудь добрым поступком… Мне еще пятьдесят лет впереди!»

А идея все-таки билась.

Часть вторая

Глава первая

I

Перелетаю пространство почти в два месяца; пусть читатель не беспокоится: всё будет ясно из дальнейшего изложения. Резко отмечаю день пятнадцатого ноября — день слишком для меня памятный по многим причинам. И во-первых, никто бы меня не узнал, кто видел меня назад два месяца; по крайней мере снаружи, то есть и узнал бы, но ничего бы не разобрал. Я одет франтом — это первое. Тот «добросовестный француз и со вкусом», которого хотел когда-то отрекомендовать мне Версилов, не только сшил уж мне весь костюм, но уж и забракован мною: мне шьют уже другие портные, повыше, первейшие, и даже я имею у них счет. У меня бывает счет и в одном знатном ресторане, но я еще тут боюсь, и, чуть деньги, сейчас плачу, хотя и знаю, что это — моветон и что я себя тем компрометирую. На Невском француз парикмахер со мной на короткой ноге и, когда я у него причесываюсь, рассказывает мне анекдоты. И, признаюсь, я практикуюсь с ним по-французски. Хоть я и знаю язык, и даже порядочно, но в большом обществе как-то всё еще боюсь начинать; да и выговор у меня, должно быть, далеко не парижский. У меня Матвей, лихач, рысак, и является к моим услугам, когда я назначу. У него светло-гнедой жеребец (я не люблю серых). Есть, впрочем, и беспорядки: пятнадцатое ноября, и уже три дня как стала зима, а шуба у меня старая, енотовая, версиловский обносок: продать — стоит рублей двадцать пять. Надо завести новую, а карманы пусты, и, кроме того, надо припасти денег сегодня же на вечер, и это во что бы ни стало, — иначе я «несчастен и погиб»; это — собственные мои тогдашние изречения. О низость! Что ж, откуда вдруг эти тысячи, эти рысаки и Борели? Как мог я так вдруг всё забыть и так измениться? Позор! Читатель, я начинаю теперь историю моего стыда и позора, и ничто в жизни не может для меня быть постыднее этих воспоминаний!

Так говорю, как судья, и знаю, что я виновен. В том вихре, в котором я тогда закружился, я хоть был и один, без руководителя и советника, но, клянусь, и тогда уже сам сознавал свое падение, а потому неизвиним. А между тем все эти два месяца я был почти счастлив — зачем почти? Я был слишком счастлив! И даже до того, что сознание позора, мелькавшее минутами (частыми минутами!) от которого содрогалась душа моя, — это-то сознание— поверят ли? — пьянило меня еще более: «А что ж, падать так падать; да не упаду же, выеду! У меня звезда!» Я шел по тоненькому мостику из щепок, без перил, над пропастью, и мне весело было, что я так иду; даже заглядывал в пропасть. Был риск и было весело. А «идея»? «Идея» — потом, идея ждала; всё, что было, — «было лишь уклонением в сторону»: «почему ж не повеселить себя?» Вот тем-то и скверна «моя идея», повторю еще раз, что допускает решительно все уклонения; была бы она не так тверда и радикальна, то я бы, может быть, и побоялся уклониться.

А пока я всё еще продолжал занимать мою квартиренку, занимать, но не жить в ней; там лежал мой чемодан, сак и иные вещи; главная же резиденция моя была у князя Сергея Сокольского. Я у него сидел, я у него и спал, и так по целым даже неделям… Как это случилось, об этом сейчас, а пока скажу об этой моей квартиренке. Она уже была мне дорога: сюда ко мне пришел Версилов, сам, в первый раз после тогдашней ссоры, и потом приходил много раз. Повторяю, это время было страшным позором, но и огромным счастьем… Да и всё тогда так удавалось и так улыбалось! «И к чему все эти прежние хмурости, — думал я в иные упоительные минуты, — к чему эти старые больные надрывы, мое одинокое и угрюмое детство, мои глупые мечты под одеялом, клятвы, расчеты и даже „идея“? Я всё это напредставил и выдумал, а оказывается, что в мире совсем не то; мне вот так радостно и легко: у меня отец — Версилов, у меня друг — князь Сережа, у меня и еще»… но об еще — оставим. Увы, всё делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. Довольно.

II

Он пришел ко мне в первый раз на третий день после нашего

тогдашнего разрыва. Меня не было дома, и он остался ждать. Когда я вошел в мою крошечную каморку, то хоть и ждал его все эти три дня, но у меня как бы заволоклись глаза и так стукнуло сердце, что я даже приостановился в дверях. К счастью, он сидел с моим хозяином, который, чтоб не было скучно гостю ждать, нашел нужным немедленно познакомиться и о чем-то ему с жаром начал рассказывать. Это был титулярный советник, лет уже сорока, очень рябой, очень бедный, обремененный больной в чахотке женой и больным ребенком; характера чрезвычайно сообщительного и смирного, впрочем довольно и деликатный. Я обрадовался его присутствию, и он даже выручил, потому что что ж бы я сказал Версилову? Я знал, серьезно знал, все эти три дня, что Версилов придет сам, первый, — точь-в-точь как я хотел того, потому что ни за что на свете не пошел бы к нему первый, и не по строптивости, а именно по любви к нему, по какой-то ревности любви, — не умею я этого выразить. Да и вообще красноречия читатель у меня не найдет. Но хоть я и ждал его все эти три дня и представлял себе почти беспрерывно, как он войдет, а все-таки никак не мог вообразить наперед, хоть и воображал из всех сил, о чем мы с ним вдруг заговорим после всего, что произошло.

— А, вот и ты, — протянул он мне руку дружески и не вставая с места. — Присядь-ка к нам; Петр Ипполитович рассказывает преинтересную историю об этом камне, близ Павловских казарм[*]…или тут где-то…

— Да, я знаю камень, — ответил я поскорее, опускаясь на стул рядом с ними. Они сидели у стола. Вся комната была ровно в две сажени в квадрате. Я тяжело перевел дыхание.

Искра удовольствия мелькнула в глазах Версилова: кажется, он сомневался и думал, что я захочу делать жесты. Он успокоился.

— Вы уж начните сначала, Петр Ипполитович. — Они уже величали друг друга по имени-отчеству.

— То есть это при покойном государе еще вышло-с, — обратился ко мне Петр Ипполитович, нервно и с некоторым мучением, как бы страдая вперед за успех эффекта, — ведь вы знаете этот камень, — глупый камень на улице, к чему, зачем, только лишь мешает, так ли-с? Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень. Наконец государю не понравилось, и действительно: целая гора, стоит гора на улице, портит улицу: «Чтоб не было камня!» Ну, сказал, чтоб не было, —

понимаете, что значит «чтоб не было»? Покойника-то помните?[*] Что делать с камнем? Все потеряли голову; тут Дума[*], а главное, тут не помню уж кто именно, но один из самых первых тогдашних вельмож, на которого было возложено. Вот этот вельможа и слушает: говорят, пятнадцать тысяч будет стоить, не меньше, и серебром-с (потому что ассигнации это при покойном государе только обратили на серебро).[*] «Как пятнадцать тысяч, что за дичь!» Сначала англичане рельсы подвести хотели, поставить на рельсы и отвезти паром; но ведь чего же бы это стоило? Железных-то дорог тогда еще не было, только вот Царскосельская ходила[*]…

— Ну вот, распилить можно было, — начал я хмуриться; мне ужасно стало досадно и стыдно перед Версиловым; но он слушал с видимым удовольствием. Я понимал, что и он рад был хозяину, потому что тоже стыдился со мной, я видел это; мне, помню, было даже это как бы трогательно от него.

— Именно распилить-с, именно вот на эту идею и напали, и именно Монферан; он ведь тогда Исаакиевский собор строил.[*] Распилить, говорит, а потом свезти. Да-с, да чего оно будет стоить?

— Ничего не стоит, просто распилить да и вывезти.

— Нет, позвольте, ведь тут нужно ставить машину, паровую-с, и притом куда свезти? И притом такую гору? Десять тысяч, говорят, менее не обойдется, десять или двенадцать тысяч.

— Послушайте, Петр Ипполитович, ведь это — вздор, это было не так… — Но в это время Версилов мне подмигнул незаметно, и в этом подмигивании я увидел такое деликатное сострадание к хозяину, даже страдание за него, что мне это ужасно понравилось, и я рассмеялся.

— Ну, вот, вот, — обрадовался хозяин, ничего не заметивший и ужасно боявшийся, как и всегда эти рассказчики, что его станут сбивать вопросами, — только как раз подходит один мещанин, и еще молодой, ну, знаете, русский человек, бородка клином, в долгополом кафтане, и чуть ли не хмельной немножко… впрочем, нет, не хмельной-с. Только стоит этот мещанин, как они это сговариваются, англичане да Монферан, а это лицо, которому поручено-то, тут же в коляске подъехал, слушает и сердится: как это так решают и не могут решить; и вдруг замечает в отдалении, этот мещанинишка стоит и фальшиво этак улыбается, то есть не фальшиво, я не так, а как бы это…

— Насмешливо, — осторожно поддакнул Версилов.

— Насмешливо-с, то есть немножко насмешливо, этакая добрая русская улыбка такая, знаете; ну, лицу, конечно, под досадную руку, знаете: «Ты здесь, борода, чего дожидаешься? Кто таков?» — «Да вот, говорит, камушек смотрю, ваша светлость». Именно, кажется, светлость; да чуть ли это не князь Суворов был, Италийский, потомок полководца-то[*]…Впрочем, нет, не Суворов, и как жаль, что забыл, кто именно, только, знаете, хоть и светлость, а чистый этакий русский человек, русский этакий тип, патриот, развитое русское сердце; ну, догадался: «Что ж, ты, что ли, говорит, свезешь камень: чего ухмыляешься?» — «На агличан больше, ваша светлость, слишком уж несоразмерную цену берут-с, потому что русский кошель толст, а им дома есть нечего. Сто рубликов определите, ваша светлость, — завтра же к вечеру сведем камушек». Ну, можете представить подобное предложение. Англичане, разумеется, съесть хотят; Монферан смеется; только этот светлейший, русское-то сердце: «Дать, говорит, ему сто рублей! Да неужто, говорит, свезешь?» — «Завтра к вечеру потрафим, ваша светлость». — «Да как ты сделаешь?» — «Это уж, если не обидно вашей светлости, — наш секрет-с», — говорит, и, знаете, русским этаким языком. Понравилось: «Э, дать ему всё, что потребует!» Ну и оставили; что ж бы, вы думали, он сделал?

Хозяин приостановился и стал обводить нас умиленным взглядом.

— Не знаю, — улыбался Версилов; я очень хмурился.

— А вот как он сделал-с, — проговорил хозяин с таким торжеством, как будто он сам это сделал, — нанял он мужичков с заступами, простых этаких русских, и стал копать у самого камня, у самого края, яму; всю ночь копали, огромную выкопали, ровно в рост камню и так только на вершок еще поглубже, а как выкопали, велел он, помаленьку и осторожно, подкапывать землю уж из-под самого камня. Ну, натурально, как подкопали, камню-то не на чем стоять, равновесие-то и покачнулось; а как покачнулось равновесие, они камушек-то с другой стороны уже руками понаперли, этак на ура, по-русски: камень-то и бух в яму! Тут же лопатками засыпали, трамбовкой утрамбовали, камушками замостили, — гладко, исчез камушек!

— Представьте себе! — сказал Версилов.

— То есть народу-то, народу-то тут набежало, видимо-невидимо; англичане эти тут же, давно догадались, злятся. Монферан приехал: это, говорит, по-мужицки, слишком, говорит, просто. Да ведь в том-то и

штука, что просто, а вы-то не догадались, дураки вы этакие! Так это я вам скажу, этот начальник-то, государственное-то лицо, только ахнул, обнял его, поцеловал: «Да откуда ты был такой, говорит?» — «А из Ярославской губернии, ваше сиятельство, мы, собственно, по нашему рукомеслу портные, а летом в столицу фруктом приходим торговать-с». Ну, дошло до начальства; начальство велело ему медаль повесить; так и ходил с медалью на шее, да опился потом, говорят; знаете, русский человек, не удержится! Оттого-то вот нас до сих пор иностранцы и заедают, да-с, вот-с!

— Да, конечно, русский ум… — начал было Версилов. Но тут рассказчика, к счастью его, кликнула больная хозяйка, и он убежал, а то бы я не выдержал. Версилов смеялся.

— Милый ты мой, он меня целый час перед тобой веселил. Этот камень… это всё, что есть самого патриотически-непорядочного между подобными рассказами*, но как его перебить? ведь ты видел, он тает от удовольствия. Да и, кроме того, этот камень, кажется, и теперь стоит, если только не ошибаюсь, и вовсе не зарыт в яму…

— Ах, боже мой! — вскричал я, — да ведь и вправду. Как же он смел!..

— Что ты? Да ты, кажется, совсем в негодовании, полно. А это он действительно смешал: я слышал какой-то в этом роде рассказ о камне еще во времена моего детства, только, разумеется, не так и не про этот камень. Помилуй: «дошло до начальства». Да у него вся душа пела в ту минуту, когда он «дошел до начальства». В этой жалкой среде и нельзя без подобных анекдотов. Их у них множество, главное — от их невоздержности. Ничему не учились, ничего точно не знают, ну, а кроме карт и производств захочется поговорить о чем-нибудь общечеловеческом, поэтическом… Что он, кто такой, этот Петр Ипполитович?

— Беднейшее существо, и даже несчастный.

— Ну вот видишь, даже, может, и в карты не играет! Повторяю, рассказывая эту дребедень, он удовлетворяет своей любви к ближнему: ведь он и нас хотел осчастливить. Чувство патриотизма тоже удовлетворено; например, еще анекдот есть у них, что Завьялову англичане миллион давали с тем только, чтоб он клейма не клал на свои изделия…*

— Ах, боже мой, этот анекдот я слышал.

— Кто этого не слышал, и он совершенно даже знает, рассказывая, что ты это наверно уж слышал, но все-таки рассказывает, *нарочно* воображая, что ты не слыхал. Видение шведского короля — это уж у них, кажется, устарело; но в моей юности его с засосом повторяли и с таинственным шепотом*, точно так же, как и о том, что в начале столетия кто-то будто бы стоял в сенате на коленях перед сенаторами*. Про коменданта Башуцкого тоже много было анекдотов, как монумент увезли.* Они придворные анекдоты ужасно любят; например, рассказы про министра прошлого царствования Чернышева*, каким об разом он, семидесятилетний старик, так подделывал свою наружность, что казался тридцатилетним, и до того, что покойный государь удивлялся на выходах…

— И это я слышал.

— Кто не слыхал? Все эти анекдоты — верх непорядочности; но знай, что этот тип непорядочного гораздо глубже и дальше распространен, чем мы думаем. Желание соврать, с целью осчастливить своего ближнего, ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем этою невоздержанностью сердец наших. Только у нас в другом роде рассказы; что у нас об одной Америке рассказывают, так это — страсть, и государственные даже люди! Я и сам, признаюсь, принадлежу к этому непорядочному типу и всю жизнь страдал от того…

— Про Чернышева я сам рассказывал несколько раз.

— Уж и сам рассказывал?

— Тут есть, кроме меня, еще жилец чиновник, тоже рябой, и уже старик, но тот ужасный прозаик, и чуть Петр Ипполитович заговорит, тотчас начнет его сбивать и противоречить. И до того довел, что тот у него как раб прислуживает и угождает ему, только чтоб тот слушал.

— Это — уж другой тип непорядочного и даже, может быть, омерзительнее первого. Первый — весь восторг! «Да ты дай только соврать — посмотри, как хорошо выйдет». Второй — весь хандра и проза: «Не дам соврать, где, когда, в котором году»? — одним словом, человек без сердца. Друг мой, дай всегда немного соврать человеку — это невинно. Даже много дай соврать. Во-первых, это покажет твою деликатность, а во-вторых, за это тебе тоже дадут соврать — две огромных выгоды — разом. Oue diable![38] надобно любить своего ближнего. Но мне пора. Ты премило устроился, — прибавил он,

подымаясь со стула. — Расскажу Софье Андреевне и сестре твоей, что заходил и застал тебя в добром здоровье. До свиданья, мой милый.

Как, неужели все? Да мне вовсе не о том было нужно; я ждал другого, *главного,* хотя совершенно понимал, что и нельзя было иначе. Я со свечой стал провожать его на лестницу; подскочил было хозяин, но я, потихоньку от Версилова, схватил его изо всей силы за руку и свирепо оттолкнул. Он поглядел было с изумленней, но мигом стушевался.

— Эти лестницы… — мямлил Версилов, растягивая слова, видимо чтоб сказать что-нибудь и видимо боясь, чтоб я не сказал чего-нибудь, — эти лестницы, — я отвык, а у тебя третий этаж, а впрочем, я теперь найду дорогу… Не беспокойся, мой милый, еще простудишься.

Но я не уходил. Мы спускались уже по второй лестнице.

— Я вас ждал все эти три дня, — вырвалось у меня внезапно, как бы само собой; я задыхался.

— Спасибо, мой милый.

— Я знал, что вы непременно придете.

— А я знал, что ты знаешь, что я непременно приду. Спасибо, мой милый.

Он примолк. Мы уже дошли до выходной двери, а я всё шел за ним. Он отворил дверь; быстро ворвавшийся ветер потушил мою свечу. Тут я вдруг схватил его за руку; была совершенная темнота. Он вздрогнул, но молчал. Я припал к руке его и вдруг жадно стал ее целовать, несколько раз, много раз.

— Милый мой мальчик, да за что ты меня так любишь? — проговорил он, но уже совсем другим голосом. Голос его задрожал, и что-то зазвенело в нем совсем новое, точно и не он говорил.

Я хотел было что-то ответить, но не смог и побежал наверх. Он же всё ждал на месте, и только лишь когда я добежал до квартиры, я услышал, как отворилась и с шумом захлопнулась наружная дверь внизу. Мимо хозяина, который опять зачем-то подвернулся, я проскользнул в мою комнату, задвинулся на защелку и, не зажигая свечки, бросился на мою кровать, лицом в подушку, и — плакал, плакал. В первый раз заплакал с самого Тушара! Рыданья рвались из меня с такой силою, и я был так счастлив… но что описывать!

Я записал это теперь не стыдясь, потому что, может быть, всё это было и хорошо, несмотря на всю нелепость.

III

Но уж и досталось же ему от меня за это! Я стал страшным деспотом. Само собою, об этой сцене потому у нас и помину не было. Напротив, мы встретились с ним на третий же день как ни в чем не бывало — мало того: я был почти груб в этот второй вечер, а он тоже как будто сух. Случилось это опять у меня; я почему-то всё еще не пошел к нему сам, несмотря на желание увидеть мать.

Говорили мы во всё это время, то есть во все эти два месяца, лишь о самых отвлеченных предметах. И вот этому я удивляюсь: мы только и делали, что говорили об отвлеченных предметах, — конечно, общечеловеческих и самых необходимых, но нимало не касавшихся насущного. Между тем многое, очень многое из насущного надо было определить и уяснить, и даже настоятельно, но об этом-то мы и молчали. Я даже ничего о матери и о Лизе не говорил и… ну и, наконец, о себе самом, о всей моей истории. От стыда ли это всё было или от какой-то юношеской глупости — не знаю. Полагаю, что от глупости, потому что стыд все-таки можно было перескочить. А деспотировал я его ужасно, и даже въезжал неоднократно в нахальство, и даже против сердца: это всё как-то само собою неудержимо делалось, сам себя не мог удержать. Его же тон был по-прежнему с тонкой насмешкой, хотя и чрезвычайно всегда ласковый, несмотря ни на что. Поражало меня тоже, что он больше любил сам приходить ко мне, так что я наконец ужасно редко стал ходить к маме, в неделю раз, не больше, особенно в самое последнее время, когда я уж совсем завертелся. Он приходил всё по вечерам, сидел у меня и болтал; тоже очень любил болтать и с хозяином; последнее меня бесило от такого человека, как он. Приходило мне тоже на мысль: неужели ему не к кому ходить, кроме меня? Но я знал наверно, что у него были знакомства; в последнее время он даже возобновил многие прежние сношения в светском кругу, в последний год им оставленные; но, кажется, он не особенно соблазнялся ими и многое возобновил лишь официально, более же любил ходить ко мне. Трогало меня иногда очень, что он, входя по вечерам, почти каждый раз как будто робел, отворяя дверь, и в первую минуту всегда странным беспокойством заглядывал мне в глаза: «не помешаю ли, дескать? скажи — я уйду». Даже говорил это иногда. Раз, например, именно в последнее время, он вошел, когда уже я был совсем одет в только что

полученный от портного костюм и хотел ехать к «князю Сереже», чтоб с тем отправиться куда следует (куда — объясню потом). Он же, войдя, сел, вероятно не заметив, что я собираюсь; на него минутами нападала чрезвычайно странная рассеянность. Как нарочно, он заговорил о хозяине; я вспылил:

— Э, черт с ним, с хозяином!

— Ах, милый мой, — вдруг поднялся он с места, — да ты, кажется, собираешься со двора, а я тебе помешал… Прости, пожалуйста.

И он смиренно заторопился выходить. Вот это-то смирение предо мной от такого человека, от такого светского и независимого человека, у которого так много было своего, разом воскрешало в моем сердце всю мою нежность к нему и всю мою в нем уверенность. Но если он так любил меня, то почему же он не остановил меня тогда во время моего позора? Скажи он тогда слово — и я бы, может быть, удержался. Впрочем, может быть, нет. Но видел же он это франтовство, это фанфаронство, этого Матвея (я даже раз хотел довезти его на моих санях, но он не сел, и даже несколько раз это было, что он не хотел садиться), ведь видел же, что у меня деньги сыплются, — и ни слова, ни слова, даже не полюбопытствовал! Это меня до сих пор удивляет, даже теперь. А я, разумеется, нисколько тогда перед ним не церемонился и всё наружу выказывал, хотя, конечно, ни слова тоже не говорил в объяснение. Он не спрашивал, я и не говорил.

Впрочем, раза два-три мы как бы заговаривали и об насущном. Я спросил его раз однажды, вначале, вскоре после отказа от наследства: чем же он жить теперь будет?

— Как-нибудь, друг мой, — проговорил он с чрезвычайным спокойствием.

Теперь я знаю, что даже крошечный капитал Татьяны Павловны, тысяч в пять, наполовину был затрачен на Версилова, в эти последние два года.

В другой раз мы как-то заговорили о маме:

— Друг мой, — сказал он вдруг грустно, — я часто говорил Софье Андреевне, в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце: «Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мной; а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью».

Впрочем, помню, в тот вечер он был особенно откровенен:

— Хоть бы я был слабохарактерною ничтожностью и страдал этим

сознаньем! А то ведь нет, я ведь знаю, что я бесконечно силен, и чем, как ты думаешь? А вот именно этою непосредственною силою уживчивости с чем бы то ни было, столь свойственною всем умным русским людям нашего поколения. Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака. Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время — и уж конечно не по моей воле. Но тем не менее знаю, что это бесчестно, главное потому, что уж слишком благоразумно. Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю: хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела; но любить жизнь такому, как я, — подло. В последнее время началось что-то новое, и Крафты не уживаются, а застреливаются. Но ведь ясно, что Крафты глупы; ну а мы умны — стало быть, и тут никак нельзя вывести параллели, и вопрос все-таки остается открытым. И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрадная. А впрочем… а впрочем, вопрос все-таки остается открытым.

Он говорил с грустью, и все-таки я не знал, искренно или нет. Была в нем всегда какая-то складка, которую он ни за что не хотел оставить.

IV

Я тогда его засыпал вопросами, я бросался на него, как голодный на хлеб. Он всегда отвечал мне с готовностью и прямодушно, но в конце концов всегда сводил на самые общие афоризмы, так что, в сущности, ничего нельзя было вытянуть. А между тем все эти вопросы меня тревожили всю мою жизнь, и, признаюсь откровенно, я еще в Москве отдалял их решение именно до свидания нашего в Петербурге. Я даже прямо это заявил ему, и он не рассмеялся надо мной — напротив, помню, пожал мне руку. Из всеобщей политики и из социальных вопросов я почти ничего не мог из него извлечь, а эти-то вопросы, ввиду моей «идеи», всего более меня и тревожили. О таких как Дергачев, я вырвал у него раз заметку, «что они ниже всякой критики», но в то же время он странно прибавил, что «оставляет за собою право не придавать своему мнению никакого значения». О том, как кончатся современные государства и мир и чем вновь обновится социальный мир, он ужасно

долго отмалчивался, но наконец я таки вымучил из него однажды несколько слов:

— Я думаю, что всё это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно, — проговорил он раз. — Просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицитов», un beau matin[39] запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем до единого обновиться во всеобщем банкрутстве. Между тем весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкрутства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское царство; а засим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не захотят участвовать в окислении… Начнется борьба, и, после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе*…

— Да неужели всё это так материально; неужели только от одних финансов кончится нынешний мир?

— О, разумеется, я взял лишь один уголок картины, но ведь и этот уголок связан со всем, так сказать, неразрывными узами.

— Что же делать?

— Ах, боже мой, да ты не торопись: это всё не так скоро. Вообще же, ничего не делать всего лучше; по крайней мере спокоен совестью, что ни в чем не участвовал.

— Э, полноте, говорите дело. Я хочу знать, что именно мне делать и как мне жить?

— Что тебе делать, мой милый? Будь честен, никогда не лги, не пожелай дому ближнего своего, одним словом, прочти десять заповедей*: там всё это навеки написано.

— Полноте, полноте, всё это так старо и притом — одни слова; а нужно дело.

— Ну, уж если очень одолеет скука, постарайся полюбить кого-нибудь или что-нибудь или даже просто привязаться к чему-нибудь.

— Вы только смеетесь! И притом, что я один-то сделаю с вашими

десятью заповедями?

— А ты их исполни, несмотря на все твои вопросы и сомнения, и будешь человеком великим.

— Никому не известным.

— Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным.*

— Да вы решительно смеетесь!

— Ну, если уж ты так принимаешь к сердцу, то всего лучше постарайся поскорее специализироваться, займись постройками или адвокатством и тогда, занявшись уже настоящим и серьезным делом, успокоишься и забудешь о пустяках.

Я промолчал; ну что тут можно было извлечь? И однако же, после каждого из подобных разговоров я еще более волновался, чем прежде. Кроме того, я видел ясно, что в нем всегда как бы оставалась какая-то тайна; это-то и привлекало меня к нему всё больше и больше.

— Слушайте, — прервал я его однажды, — я всегда подозревал, что вы говорите всё это только так, со злобы и от страдания, но втайне, про себя, вы-то и есть фанатик какой-нибудь высшей идеи'и только скрываете или стыдитесь признаться.

— Спасибо тебе, мой милый.

— Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого; но я только вашего мнения ищу: вы скажете, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам! Ну, в чем же великая мысль?

— Ну, обратить камни в хлебы — вот великая мысль.

— Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая великая?

— Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: «Ну вот я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым.

— Вы раз говорили про «женевские идеи»; я не понял, что такое «женевские идеи»?

— Женевские идеи — это добродетель без Христа*, мой друг, теперешние идеи или, лучше сказать, идея всей теперешней цивилизации. Одним словом, это — одна из тех длинных историй, которые очень скучно начинать, и гораздо будет лучше, если мы с тобой поговорим о другом, а еще лучше, если помолчим о другом.

— Вам бы всё молчать!

— Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво.

— Красиво?

— Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего.

— Да так говорить, как мы с вами, конечно, всё равно что молчать. Черт с этакой красотой, а пуще всего черт с этакой выгодой!

— Милый мой, — сказал он мне вдруг, несколько из меняя тон, даже с чувством и с какою-то особенною настойчивостью, — милый мой, я вовсе не хочу прельстить тебя какою-нибудь буржуазною добродетелью взамен твоих идеалов, не твержу тебе, что «счастье лучше богатырства»; напротив, богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье. Таким образом, это между нами решено. Я именно и уважаю тебя за то, что ты смог, в наше прокислое время, завести в душе своей какую-то там «свою идею» (не беспокойся, я очень запомнил). Но все-таки нельзя же не подумать и о мере, потому что тебе теперь именно хочется звонкой жизни, что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всей России, пронестись громовою тучей и оставить всех в страхе и в восхищении, а самому скрыться в Северо-Американские Штаты. Ведь, наверно, что-нибудь в этом роде в душе твоей, а потому я и считаю нужным тебя предостеречь, потому что искренно полюбил тебя, мой милый.

Что мог я извлечь и из этого? Тут было только беспокойство обо мне, об моей материальной участи; сказывался отец с своими прозаическими, хотя и добрыми, чувствами, но того ли мне надо было ввиду идей, за которые каждый честный отец должен бы послать сына своего хоть на смерть, как древний Гораций своих сыновей за идею Рима?[*]

Я приставал к нему часто с религией, но тут туману было пуще всего. На вопрос: что мне делать в этом смысле? — он отвечал самым глупым образом, как маленькому: «Надо веровать в бога, мой милый».

— Ну, а если я не верю всему этому? — вскричал я раз в раздражении.

— И прекрасно, мой милый.

— Как прекрасно?

— Самый превосходный признак, мой друг; самый даже благонадежный, потому что наш русский атеист, если только он

вправду атеист и чуть-чуть с умом, — самый лучший человек в целом мире и всегда наклонен приласкать бога, потому что непременно добр, а добр потому, что безмерно доволен тем, что он — атеист. Атеисты наши — люди почтенные и в высшей степени благо надежные, так сказать, опора отечества…

Это, конечно, было что-нибудь, но я хотел не того; однажды только он высказался, но только так странно, что удивил меня больше всего, особенно ввиду всех этих католичеств и вериг, про которые я об нем слышал.

— Милый мой, — сказал он мне однажды, не дома, а как-то на улице, после длинного разговора; я провожал его. — Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же, должно. И потому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо). Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности, «памятуя, что и ты человек». Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по при роде своей низки и любят любить из страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на «строптивых» как на мышей, делать им добро и проходить мимо, — немножко гордо, но верно[*]. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тут-то они и скверны. О милый мой, я судя по себе сказал это! Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя, честен он или бесчестен — это всё равно. Любить своего ближнего и не презирать его — невозможно. По-моему, человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала, и «любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей (другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь) и которого, поэтому, никогда и не будет на самом деле.

— Никогда не будет?

— Друг мой, я согласен, что это было бы глуповато, но тут не моя вина; а так как при мироздании со мной не справлялись, то я и оставлю за собою право иметь на этот счет свое мнение.

— Как же вас называют после этого христианином, — вскричал я, — монахом с веригами, проповедником? не понимаю!

— А кто меня так называет?

Я рассказал ему; он выслушал очень внимательно, но разговор прекратил.

Никак не запомню, по какому поводу был у нас этот памятный для меня разговор; но он даже раздражился, чего с ним почти никогда не случалось. Говорил страстно и без насмешки, как бы и не мне говорил. Но я опять-таки не поверил ему: не мог же он с таким, как я, говорить о таких вещах серьезно?

Глава вторая

I

В это утро, пятнадцатого ноября, я именно застал его у «князя Сережи». Я же и свел его с князем, но у них и без меня было довольно пунктов соединения (я говорю об этих прежних историях за границей и проч.). Кроме того, князь дал ему слово выделить ему из наследства по крайней мере одну треть, что составило бы тысяч двадцать непременно. Мне, помню, ужасно тогда было странно, что он выделяет всего треть, а не целую половину; но я смолчал. Это обещание выделить князь дал тогда сам собой; Версилов ни полсловечком не участвовал, не заикнулся; князь сам выскочил, а Версилов только молча допустил и ни разу потом не упомянул, даже и виду не показал, что сколько-нибудь помнит об обещании. Замечу кстати, что князь вначале был им решительно очарован, в особенности речами его, даже приходил в восторг и несколько раз мне высказывался. Он иногда восклицал наедине со мной и почти с отчаянием про себя, что он — «так необразован, что он на такой ложной дороге!..» О, мы были еще тогда так дружны!.. Я и Версилову всё старался внушать тогда о князе одно хорошее, защищал его недостатки, хотя и видел их сам; но Версилов отмалчивался или улыбался.

— Если в нем недостатки, то в нем по крайней мере столько же достоинств, сколько и недостатков! — воскликнул я раз наедине Версилову.

— Боже, как ты ему льстишь, — засмеялся он.

— Чем льщу? — не понял было я.

— Столько же достоинств! Да ведь его мощи явятся, если столько

достоинств, сколько у него недостатков!

Но, конечно, это было не мнение. Вообще о князе он как-то избегал тогда говорить, как и вообще о всем насущном; но о князе особенно. Я подозревал уже и тогда, что он заходит к князю и без меня и что у них есть особые сношения, но я допускал это. Не ревновал тоже и к тому, что он говорил с ним как бы серьезнее, чем со мной, более, так сказать, положительно и менее пускал насмешки; но я был так тогда счастлив, что это мне даже нравилось. Я извинял еще и тем, что князь был немного ограничен, а потому любил в слове точность, а иных острот даже вовсе не понимал. И вот в последнее время он как-то стал эмансипироваться. Чувства его к Версилову как будто начали даже изменяться. Чуткий Версилов это заметил. Предупрежу тоже, что князь в то же время и ко мне изменился, даже слишком видимо; оставались лишь какие-то мертвые формы первоначальной нашей, почти горячей, дружбы. Между тем я все-таки продолжал к нему ходить; впрочем, как бы я и мог не ходить, затянувшись во всё это. О, как я был тогда неискусен, и неужели лишь одна глупость сердца может довести человека до такого неумения и унижения? Я брал у него деньги и думал, что это ничего, что так и надо. Впрочем, не так; я и тогда знал, что так не надо, но — я просто мало думал об этом. Не из-за денег я ходил, хоть мне и ужасно нужны были деньги. Я знал, что я не из-за денег хожу, но понимал, что каждый день прихожу брать деньги. Но я был в вихре, и, кроме всего этого, совсем другое тогда было в душе моей, — пело в душе моей!

Когда я вошел, часов в одиннадцать утра, то застал Версилова уже доканчивавшего какую-то длинную тираду; князь слушал, шагая по комнате, а Версилов сидел. Князь казался в некотором волнении. Версилов почти всегда мог приводить его в волнение. Князь был чрезвычайно восприимчивое существо, до наивности, заставлявшей меня во многих случаях смотреть на него свысока. Но повторяю, в последние дни в нем явилось что-то злобно оскаливающееся. Он приостановился, увидя меня, и как бы что-то передернулось в его лице. Я знал про себя, чем объяснить эту тень неудовольствия в это утро, но не ожидал, что до такой степени передернется лицо его. Мне известно было, что у него накопились разные беспокойства, но гадко было то, что я знал лишь десятую долю их — остальное было для меня тогда крепким секретом. Потому это было гадко и глупо, что я часто лез

утешать его, давать советы и даже свысока усмехался над слабостью его выходить из себя «из-за таких пустяков». Он отмалчивался; но невозможно, чтоб не ненавидел меня в те минуты ужасно: я был в слишком фальшивом положении и даже не подозревал того. О, свидетельствуюсь богом, что главного не подозревал!

Он, однако, вежливо протянул мне руку, Версилов кивнул головою, не прерывая речи. Я разлегся на диване. И что за тон был тогда у меня, что за приемы! Я даже еще пуще финтил, его знакомых третировал, как своих… Ох, если б была возможность всё теперь переделать, как бы я сумел держать себя иначе!

Два слова, чтоб не забыть: князь жил тогда в той же квартире, но занимал ее уже почти всю; хозяйка квартиры, Столбеева, пробыла лишь с месяц и опять куда-то уехала.

II

Они говорили о дворянстве. Замечу, что эта идея очень волновала иногда князя, несмотря на весь его вид прогрессизма, и я даже подозреваю, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи: ценя свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затянулся в долги. Версилов несколько раз намекал ему, что не в том состоит княжество, и хотел насадить в его сердце более высшую мысль; но князь под конец как бы стал обижаться, что его учат. По-видимому, что-то в этом роде было и в это утро, но я не застал начала. Слова Версилова показались мне сначала ретроградными, но потом он поправился.

— Слово «честь» значит долг, — говорил он (я передаю лишь смысл и сколько запомню). — Когда в государстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда имеет свою честь и свое исповедание чести, которое может быть и неправильным, но всегда почти служит связью и крепит землю; полезно нравственно, но более политически. Но терпят рабы, то есть все не принадлежащие к сословию. Чтоб не терпели — сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это прекрасно. Но по всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнениях прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм

заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и всё распадалось на свободу лиц. Освобожденные, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном*, а не в прежнем смысле привилегированной касты. В этом новом или, лучше, обновленном виде могло бы удержаться сословие.

Князь оскалил зубы:

— Это какое же будет тогда дворянство? Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство.

Повторяю, князь был ужасно необразован. Я даже повернулся с досады на диване, хоть и не совсем был согласен с Версиловым. Версилов слишком понял, что князь показывает зубы:

— Я не знаю, в каком смысле вы сказали про масонство, — ответил он, — впрочем, если даже русский князь отрекается от такой идеи, то, разумеется, еще не наступило ей время. Идея чести и просвещения, как завет всякого, кто хочет присоединиться к сословию, незамкнутому и обновляемому беспрерывно, — конечно утопия, но почему же невозможная? Если живет эта мысль хотя лишь в немногих головах, то она еще не погибла, а светит, как огненная точка в глубокой тьме.

— Вы любите употреблять слова: «высшая мысль», «великая мысль», «скрепляющая идея» и проч.; я бы желал знать, что, собственно, вы подразумеваете под словом «великая мысль»?

— Право, не знаю, как вам ответить на это, мой милый князь, — тонко усмехнулся Версилов. — Если я признаюсь вам, что и сам не умею ответить, то это будет вернее. Великая мысль — это чаще всего чувство, которое слишком иногда подолгу остается без определения. Знаю только, что это всегда было то, из чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, а, напротив, нескучная и веселая;

так что высшая идея, из которой она истекает, решительно необходима, к всеобщей досаде, разумеется.

— Почему к досаде?

— Потому, что жить с идеями скучно, а без идей всегда весело.

Князь съел пилюлю.

— А что же такое эта живая жизнь, по-вашему? (Он видимо злился).

— Тоже не знаю, князь; знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая.

— Я хотел только сказать, что ваша идея о дворянстве есть в то же время и отрицание дворянства, — сказал князь.

— Ну если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало.

— Всё это ужасно темно и неясно. Если говорить, то, по-моему, надо развить…

Князь сморщил лоб и мельком взглянул на стенные часы. Версилов встал и захватил свою шляпу.

— Развить? — сказал он, — нет, уж лучше не развивать, и к тому же страсть моя — говорить без развития. Право, так. И вот еще странность: случись, что я начну развивать мысль, в которую верую, и почти всегда так выходит, что в конце изложения я сам перестаю веровать в излагаемое; боюсь подвергнуться и теперь. До свидания, дорогой князь: у вас я всегда непростительно разболтаюсь.

Он вышел; князь вежливо проводил его, но мне было обидно.

— Чего вы-то нахохлились? — вдруг выпалил он, не глядя и проходя мимо к конторке.

— Я к тому нахохлился, — начал я с дрожью в голосе, — что, находя в вас такую странную перемену тона ко мне и даже к Версилову, я… Конечно, Версилов, может быть, начал несколько ретроградно, но потом он поправился и… в его словах, может быть, заключалась глубокая мысль, но вы просто не поняли и…

— Я просто не хочу, чтоб меня выскакивали учить и считали за мальчишку! — отрезал он почти с гневом.

— Князь, такие слова…

— Пожалуйста, без театральных жестов — сделайте одолжение. Я знаю, что то, что я делаю, — подло, что я — мот, игрок, может быть, вор… да, вор, потому что я проигрываю деньги семейства, но я вовсе не хочу надо мной судей. Не хочу и не допускаю. Я — сам себе суд. И к чему двусмысленности? Если он мне хотел высказать, то и говори прямо, а не пророчь сумбур туманный. Но, чтоб сказать это мне, надо право иметь, надо самому быть честным…

— Во-первых, я не застал начала и не знаю, о чем вы говорили, а во-вторых, чем же бесчестен Версилов, позвольте вас это спросить?

— Довольно, прошу вас, довольно. Вы вчера просили триста рублей, вот они… — Он положил передо мной на стол деньги, а сам сел в кресло, нервно отклонился на спинку и забросил одну ногу за другую. Я остановился в смущении.

— Я не знаю… — пробормотал я, — хоть я вас и просил… и хоть мне и очень нужны деньги теперь, но ввиду такого тона…

— Оставьте тон. Если я сказал что-нибудь резкое, то извините меня. Уверяю вас, что мне не до того. Выслушайте дело: я получил письмо из Москвы; брат Саша, еще ребенок, он, вы знаете, умер четыре дня назад. Отец мой, как вам тоже известно, вот уже два года в параличе, а теперь ему, пишут, хуже, слова не может вымолвить и не узнает. Они обрадовались там наследству и хотят везти за границу; но мне пишет доктор, что он вряд ли и две недели проживет. Стало быть, остаемся мать, сестра и я, и стало быть, теперь я один почти… Ну, одним словом, я— один… Это наследство… Это наследство — о, может, лучше б было, если б оно не приходило вовсе! Но вот что именно я вам хотел сообщить: я обещал из этого наследства Андрею Петровичу minimum двадцать тысяч… А между тем, представьте, за формальностями до сих пор ничего нельзя было сделать. Я даже… мы то есть… то есть отец еще не введен даже и во владение этим имением. Между тем я потерял в последние три недели столько денег, и этот мерзавец Стебельков берет такие проценты… Я вам отдал теперь почти последние…

— О князь, если так…

— Я не к тому, не к тому. Стебельков принесет сего дня наверно, и на перехватку довольно будет, но черт его знает этого Стебелькова! Я умолял его достать мне десять тысяч, чтобы хоть десять тысяч я мог отдать Андрею Петровичу. Мое обещание ему выделить треть меня

мучит, истязует. Я дал слово и должен сдержать. И, клянусь вам, я рвусь освободиться от обязательств хоть с этой стороны. Мне они тяжелы, тяжелы, невыносимы! Эта тяготеющая на мне связь… Я не могу видеть Андрея Петровича, потому что не могу глядеть ему прямо в глаза… зачем же он злоупотребляет?

— Чем он злоупотребляет, князь? — остановился я перед ним в изумлении. — Разве он когда вам хоть намекал?

— О нет, и я ценю, но я сам себе намекал. И, наконец, я всё больше и больше втягиваюсь… этот Стебельков…

— Послушайте, князь, успокойтесь, пожалуйста; я вижу, что вы чем дальше, тем больше в волнении, а между тем всё это, может быть, лишь мираж. О, я затянулся и сам, непростительно, подло; но ведь я знаю, что это только временное… и только бы мне отыграть известную цифру, и тогда скажите, я вам должен с этими тремя стами до двух тысяч пятисот, так ли?

— Я с вас, кажется, не спрашиваю, — вдруг оскалился князь.

— Вы говорите: Версилову десять тысяч. Если я беру у вас теперь, то, конечно, эти деньги пойдут в зачет двадцати тысяч Версилова; я иначе не допускаю. Но… но я наверно и сам отдам… Да неужели же вы думаете, что Версилов к вам ходит за деньгами?

— Для меня легче было б если б он ходил ко мне за деньгами, — загадочно промолвил князь.

— Вы говорите об какой-то «тяготеющей связи»… Если это с Версиловым и со мной, то это, ей-богу, обидно. И наконец, вы говорите: зачем он сам не таков, каким быть учит, — вот ваша логика! И во-первых, это — не логика, позвольте мне это вам доложить, потому что если б он был и не таков, то все-таки мог бы проповедовать истину… И наконец, что это за слово «проповедует»? Вы говорите: пророк. Скажите, это вы его назвали «бабьим пророком» в Германии?

— Нет, не я.

— Мне Стебельков говорил, что вы.

— Он солгал. Я — не мастер давать насмешливые прозвища. Но если кто проповедует честь, то будь и сам честен — вот моя логика, и если неправильна, то всё равно. Я хочу, чтоб было так, и будет так. И никто, никто не смей приходить судить меня ко мне в дом и считать меня за младенца! Довольно, — вскричал он, махнув на меня рукой, чтоб я не продолжал. — А, наконец!

Отворилась дверь, и вошел Стебельков.

III

Он был всё тот же, так же щеголевато одет, так же выставлял грудь вперед, так же глупо смотрел в глаза, так же воображал, что хитрит, и был очень доволен собой. Но на этот раз, входя, он как-то странно осмотрелся; что-то особенно осторожное и проницательное было в его взгляде, как будто он что-то хотел угадать по нашим физиономиям. Мигом, впрочем, он успокоился, и самоуверенная улыбка засияла на губах его, та «просительно-наглая» улыбка, которая все-таки была невыразимо гадка для меня.

Я знал давно, что он очень мучил князя. Он уже раз или два приходил при мне. Я… я тоже имел с ним одно сношение в этот последний месяц, но на этот раз я, по одному случаю, немного удивился его приходу.

— Сейчас, — сказал ему князь, не поздоровавшись с ним, и, обратясь к нам спиной, стал вынимать из конторки нужные бумаги и счеты. Что до меня, я был решительно обижен последними словами князя; намек на бесчестность Версилова был так ясен (и так удивителен!), что нельзя было оставить его без радикального разъяснения. Но при Стебелькове невозможно было. Я разлегся опять на диване и развернул лежавшую передо мной книгу.

— Белинский, вторая часть! Это — новость; просветиться желаете? — крикнул я князю, и, кажется, очень выделанно.

Он был очень занят и спешил, но на слова мои вдруг обернулся.

— Я вас прошу, оставьте эту книгу в покое, — резко проговорил он.

Это выходило уже из границ, и, главное — при Стебелькове! Как нарочно, Стебельков хитро и гадко осклабился и украдкой кивнул мне на князя. Я отворотился от этого глупца.

— Не сердитесь, князь; уступаю вас самому главному человеку, а пока стушевываюсь…

Я решился быть развязным.

— Это я-то — главный человек? — подхватил Стебельков, весело показывая сам на себя пальцем.

— Да, вы-то; вы самый главный человек и есть, и сами это знаете.

— Нет-с, позвольте. На свете везде второй человек. Я — второй человек. Есть первый человек, и есть второй человек. Первый человек сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек — второй человек. Так или не так?

— Может, и так, только я вас, по обыкновению, не понимаю.

— Позвольте. Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и всё взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так?

Замечу, между прочим, что в том, что он заговорил со мной про французскую революцию, я увидел какую-то еще прежнюю хитрость его, меня очень забавлявшую: он всё еще продолжал считать меня за какого-то революционера и во все разы, как меня встречал, находил необходимым заговорить о чем-нибудь в этом роде.

— Пойдемте, — сказал князь, и оба они вышли в другую комнату. Оставшись один, я окончательно решился отдать ему назад его триста рублей, как только уйдет Стебельков. Мне эти деньги были до крайности нужны, но я решился.

Они оставались там минут десять совсем не слышно и вдруг громко заговорили. Заговорили оба, но князь вдруг закричал, как бы в сильном раздражении, доходившем до бешенства. Он иногда бывал очень вспыльчив, так что даже я спускал ему. Но в эту самую минуту вошел лакей с докладом; я указал ему на их комнату, и там мигом всё затихло. Князь быстро вышел с озабоченным лицом, но с улыбкой; лакей побежал, и через полминуты вошел к князю гость.

Это был один важный гость, с аксельбантами и вензелем[*], господин лет не более тридцати, великосветской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, что князь Сергей Петрович к высшему петербургскому свету всё еще не принадлежал настоящим образом, несмотря на всё страстное желание свое (о желании я знал), а потому он ужасно должен был ценить такое посещение. Знакомство это, как мне известно было, только что завязалось, после больших стараний князя; гость отдавал теперь визит, но, к несчастию, накрыл хозяина врасплох. Я видел, с каким мучением и с каким потерянным взглядом обернулся было князь на миг к Стебелькову; но Стебельков вынес взгляд как ни в чем не бывало и, нисколько не думая стушевываться, развязно сел на

диван и начал рукой ерошить свои волосы, вероятно в знак независимости. Он сделал даже какую-то важную мину, одним словом, решительно был невозможен. Что до меня, разумеется, я и тогда уже умел себя держать и, конечно, не осрамил бы никого, но каково же было мое изумление, когда я поймал тот же потерянный, жалкий и злобный взгляд князя и на мне: он стыдился, стало быть, нас обоих и меня равнял с Стебельковым. Эта идея привела меня в бешенство; я разлегся еще больше и стал перебирать книгу с таким видом, как будто до меня ничего не касается. Напротив, Стебельков выпучил глаза, выгнулся вперед и начал вслушиваться в их разговор, полагая, вероятно, что это и вежливо и любезно. Гость раз-другой глянул на Стебелькова; впрочем, и на меня тоже.

Они заговорили о семейных новостях; этот господин когда-то знал мать князя, происходившую из известной фамилии. Сколько я мог заключить, гость, несмотря на любезность и кажущееся простодушие тона, был очень чопорен и, конечно, ценил себя настолько, что визит свой мог считать за большую честь даже кому бы то ни было. Если б князь был один, то есть без нас, я уверен, он был достойнее и находчивее; теперь же что-то особенно дрожавшее в улыбке его, может быть слишком уж любезной, какая-то странная рассеянность выдавали его.

Еще пяти минут они не сидели, как вдруг еще доложили гостя, и, как нарочно, тоже из компрометирующих. Этого я знал хорошо и слышал о нем много, хотя он меня совсем не знал. Это был еще очень молодой человек, впрочем лет уже двадцати трех, прелестно одетый, хорошего дома и красавчик собой, но — несомненно дурного общества. В прошлом году он еще служил в одном из виднейших кавалерийских гвардейских полков, но принужден был сам подать в отставку, и все знали из каких причин. Об нем родные публиковали даже в газетах, что не отвечают за его долги, но он продолжал еще и теперь свой кутеж, доставая деньги по десяти процентов в месяц, страшно играя в игорных обществах и проматываясь на одну известную француженку. Дело в том, что с неделю назад ему удалось выиграть в один вечер тысяч двенадцать, и он торжествовал. С князем он был на дружеской ноге: они часто вместе и заодно играли; но князь даже вздрогнул, завидев его, я заметил это с своего места: этот мальчик был всюду как у себя дома, говорил громко и весело, не стесняясь ничем и всё, что на ум придет, и,

уж разумеется, ему и в голову не могло прийти, что наш хозяин так дрожит перед своим важным гостем за свое общество.

Войдя, он прервал их разговор и тотчас начал рассказывать о вчерашней игре, даже еще и не садясь.

— Вы, кажется, тоже были, — оборотился он с третьей фразы к важному гостю, приняв того за кого-то из своих, но, тотчас же разглядев, крикнул:

— Ах, извините, а я вас было принял тоже за вчерашнего!

— Алексей Владимирович Дарзан, Ипполит Александрович Нащокин, — поспешно познакомил их князь; этого мальчика все-таки можно было рекомендовать: фамилия была хорошая и известная, но нас он давеча не отрекомендовал, и мы продолжали сидеть по своим углам. Я решительно не хотел повертывать к ним головы; но Стебельков при виде молодого человека стал радостно осклабляться и видимо угрожал заговорить. Всё это мне становилось даже забавно.

Я вас в прошлом году часто у графини Веригиной встречал, — сказал Дарзан.

— Я вас помню, но вы были тогда, кажется, в военном, — ласково ответил Нащокин.

— Да, в военном, но благодаря… А, Стебельков, уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благодаря вот этим господчикам я и не в военном, — указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно засмеялся и Стебельков, вероятно приняв за любезность. Князь покраснел и поскорее обратился с каким-то вопросом к Нащокину, а Дарзан, подойдя к Стебелькову, заговорил с ним о чем-то очень горячо, но уже вполголоса.

— Вам, кажется, очень знакома была за границей Катерина Николаевна Ахмакова? — спросил гость князя.

— О да, я знал…

— Кажется, здесь будет скоро одна новость. Говорят, она выходит замуж за барона Бьоринга.

— Это верно! — крикнул Дарзан.

— Вы… наверно это знаете? — спросил князь Нащокина, с видимым волнением и особенным ударением выговаривая свой вопрос.

— Мне говорили; и об этом, кажется, уже говорят; наверно, впрочем, не знаю.

— О, наверно! — подошел к ним Дарзан, — мне вчера Дубасов

говорил; он всегда такие новости первый знает. Да и князю следовало бы знать…

Нащокин переждал Дарзана и опять обратился к князю:

— Она редко стала бывать в свете.

— Последний месяц ее отец был болен, — как-то сухо заметил князь.

— Ас похождениями, кажется, барыня! — брякнул вдруг Дарзан.

Я поднял голову и выпрямился.

— Я имею удовольствие лично знать Катерину Николаевну и беру на себя долг заверить, что все скандальные слухи — одна ложь и срам… и выдуманы теми… которые кружились, да не успели.

Так глупо оборвав, я замолчал, всё еще смотря на всех с разгоревшимся лицом и выпрямившись. Все ко мне обернулись, но вдруг захихикал Стебельков; осклабился тоже и пораженный было Дарзан.

— Аркадий Макарович Долгорукий, — указал на меня князь Дарзану.

— Ах, поверьте, *князь,* — открыто и добродушно обратился ко мне Дарзан, — я не от себя говорю; если были толки, то не я их распустил.

— О, я не вам! — быстро ответил я, но уж Стебельков непозволительно рассмеялся, и именно, как объяснилось после, тому, что Дарзан назвал меня князем. Адская моя фамилия и тут подгадила. Даже и теперь краснею от мысли, что я, от стыда конечно, не посмел в ту минуту поднять эту глупость и не заявил вслух, что я — просто Долгорукий. Это случилось еще в первый раз в моей жизни. Дарзан в недоумении глядел на меня и на смеющегося Стебелькова.

— Ах да! какую это хорошенькую я сейчас встретил у вас на лестнице, востренькая и светленькая? — спросил он вдруг князя.

— Право, не знаю какую, — ответил тот быстро, по краснев.

— Кому же знать? — засмеялся Дарзан.

— Впрочем, это… это могла быть… — замялся как-то князь.

— Это… вот именно их сестрица была, Лизавета Макаровна! — указал вдруг на меня Стебельков. — Потому я их тоже давеча встретил…

— Ах, в самом деле! — подхватил князь, но на этот раз с чрезвычайно солидною и серьезною миной в лице, — это, должно быть, Лизавета Макаровна, короткая знакомая Анны Федоровны Столбеевой,

у которой я теперь живу. Она, верно, посещала сегодня Дарью Онисимовну, тоже близкую знакомую Анны Федоровны, на которую та, уезжая, оставила дом…

Это всё точно так и было. Эта Дарья Онисимовна была мать бедной Оли, о которой я уже рассказывал и которую Татьяна Павловна приютила наконец у Столбеевой. Я отлично знал, что Лиза у Столбеевой бывала и изредка посещала потом бедную Дарью Онисимовну, которую все у нас очень полюбили; но тогда, вдруг, после этого, впрочем, чрезвычайно дельного заявления князя и особенно после глупой выходки Стебелькова, а может быть и потому, что меня сейчас назвали князем, я вдруг от всего этого весь покраснел. К счастью, в эту самую минуту встал Нащокин, чтоб уходить; он протянул руку и Дарзану. В мгновение, когда мы остались одни с Стебельковым, тот вдруг закивал мне на Дарзана, стоявшего к нам спиною, в дверях; я показал Стебелькову кулак.

Через минуту отправился и Дарзан, условившись с князем непременно встретиться завтра в каком-то уже намеченном у них месте — в игорном доме разумеется. Выходя, он крикнул что-то Стебелькову и слегка поклонился и мне. Чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху:

— Этот барчонок следующую штучку на прошлой не деле отколол: дал вексель, а бланк надписал фальшивый на Аверьянова. Векселек-то в этом виде и существует, только это не принято! Уголовное. Восемь тысяч.

— И наверно этот вексель у вас? — зверски взглянул я на него.

— У меня банк-с, у меня mont de piété,[40] а не вексель. Слыхали, что такое mont de piété в Париже? хлеб и благодеяние бедным;* у меня mont de piété…

Князь грубо и злобно остановил его:

— Вы чего тут? Зачем вы сидели?

— А! — быстро закивал глазами Стебельков, — а то? Разве не то?

— Нет-нет-нет, не то, — закричал и топнул князь, — я сказал!

— А ну, если так… так и так. Только это — не так…

Он круто повернулся и, наклоня голову и выгнув спину, вдруг вышел. Князь прокричал ему вслед уже в дверях:

— Знайте, сударь, что я вас нисколько не боюсь!

Он был очень раздражен, хотел было сесть, но, взглянув на меня, не

сел. Взгляд его как будто и мне тоже проговорил: «Ты тоже зачем торчишь?»

— Я, князь, — начал было я…

— Мне, право, некогда, Аркадий Макарович, я сейчас еду.

— Одну минутку, князь, мне очень важное; и, во-первых, возьмите назад ваши триста.

— Это еще что такое?

Он ходил, но приостановился.

— То такое, что после всего, что было… и то, что вы говорили про Версилова, что он бесчестен, и, наконец, ваш тон во всё остальное время… Одним словом, я никак не могу принять.

— Вы, однако же, *принимали* целый месяц.

Он вдруг сел на стул. Я стоял у стола и одной рукой трепал книгу Белинского, а в другой держал шляпу.

— Были другие чувства, князь… И наконец, я бы никогда не довел до известной цифры… Эта игра… Одним словом, я не могу!

— Вы просто ничем не ознаменовали себя, а потому и беситесь; я бы попросил вас оставить эту книгу в покое.

— Что это значит: «не ознаменовали себя»? И наконец, вы при ваших гостях почти сравняли — меня с Стебельковым.

— А, вот разгадка! — едко осклабился он. — К тому же вы сконфузились, что Дарзан вас назвал князем.

Он злобно засмеялся. Я вспыхнул:

— Я даже не понимаю… ваше княжество я не возьму и даром…

— Я знаю ваш характер. Как смешно вы крикнули в защиту Ахмаковой… Оставьте книгу!

— Что это значит? — вскричал я тоже.

— О-ставь-те книгу! — завопил он вдруг, свирепо выпрямившись в кресле, точно готовый броситься.

— Это уж сверх всяких границ, — проговорил я и быстро вышел из комнаты. Но я еще не прошел до конца залы, как он крикнул мне из дверей кабинета:

— Андрей Макарович, воротитесь! Во-ро-ти-тесь! Во-ро-ти-тесь сейчас!

Я не слушал и шел. Он быстрыми шагами догнал меня, схватил за руку и потащил в кабинет. Я не сопротивлялся!

— Возьмите! — говорил он, бледный от волнения, подавая

брошенные мной триста рублей. — Возьмите непременно… иначе мы… непременно!

— Князь, как могу я взять?

— Ну, я у вас прошу прощенья, хотите? Ну, простите меня!..

— Князь, я вас всегда любил, и если вы меня тоже…

— Я — тоже; возьмите…

Я взял. Губы его дрожали.

— Я понимаю, князь, что вы взбешены этим мерзавцем… но я не иначе, князь, возьму, как если мы поцелуемся, как в прежних размолвках…

Говоря это, я тоже дрожал.

— Ну вот нежности, — пробормотал князь, смущенно улыбаясь, но нагнулся и поцеловал меня. Я вздрогнул: в лице его в миг поцелуя я решительно прочел отвращение.

— По крайней мере деньги-то вам принес?..

— Э, всё равно.

— Я для вас же…

— Принес, принес

— Князь, мы были друзьями… и, наконец, Версилов…

— Ну да, да, хорошо!

— И, наконец, я право не знаю окончательно, эти триста…

Я держал их в руках

— Берите, бе-ри-те! — усмехнулся он опять, но в улыбке было что-то очень недоброе.

Я взял.

Глава третья

I

Я взял потому, что любил его. Кто не поверит, тому я отвечу, что в ту минуту по крайней мере, когда я брал у него эти деньги, я был твердо уверен, что если захочу, то слишком могу достать и из другого источника. А потому, стало быть, взял не из крайности, а из деликатности, чтоб только его не обидеть. Увы, я так тогда рассуждал! Но все-таки мне было очень тяжело выходя от него: я видел

необычайную перемену ко мне в это утро; такого тона никогда еще не было; а против Версилова это был уж решительный бунт. Стебельков, конечно, чем-нибудь досадил ему очень давеча, но он начал еще и до Стебелькова. Повторю еще раз: перемену против первоначального можно было заметить и во все последние дни, но не так, не до такой степени — вот что главное.

Могло повлиять и глупое известие об этом флигель-адъютанте бароне Бьоринге… Я тоже вышел в волнении, но… То-то и есть, что тогда сияло совсем другое, и я так много пропускал мимо глаз легкомысленно: спешил пропускать, гнал всё мрачное и обращался к сияющему…

Еще не было часу пополудни. От князя на моем Матвее я отправился прямо — поверят ли к кому? — к Стебелькову! То-то и есть, что он давеча удивил меня не столько приходом своим к князю (так как он и обещал ему быть), сколько тем, что он хоть и подмигивал мне по своей глупой привычке, но вовсе не на ту тему, на которую я ожидал. Вчера вечером я получил от него по городской почте записку, довольно для меня загадочную, в которой он очень просил побывать к нему именно сегодня, во втором часу, и «что он может сообщить мне вещи для меня неожиданные». И вот о письме этом, сейчас, там у князя, он даже и виду не подал. Какие могли быть тайны между Стебельковым и мною? Такая идея была даже смешна; но ввиду всего происшедшего я теперь, отправляясь к нему, был даже в маленьком волнении. Я, конечно, обращался к нему раз, недели две тому, за деньгами, и он давал, но почему-то мы тогда разошлись, и я сам не взял: он что-то тогда забормотал неясно, по своему обыкновению, и мне показалось, что он хотел что-то предложить, какие-то особые условия; а так как я третировал его решительно свысока во все разы, как встречал у князя, то гордо прервал всякую мысль об особенных условиях и вышел, несмотря на то что он гнался за мной до дверей; я тогда взял у князя.

Стебельков жил совершенным особняком, и жил зажиточно: квартира из четырех прекрасных комнат, хорошая мебель, мужская и женская прислуга и какая-то экономка, довольно, впрочем, пожилая. Я вошел в гневе.

— Послушайте, батюшка, — начал я еще из дверей, — что значит, во-первых, эта записка? Я не допускаю переписки между мною и вами. И почему вы не объявили то, что вам надо, давеча прямо у князя: я был

к вашим услугам.

— А вы зачем давеча тоже молчали и не спросили? — раздвинул он рот в самодовольнейшую улыбку.

— Потому что не я к вам имею надобность, а вы ко мне имеете надобность, — крикнул я, вдруг разгорячившись.

— А зачем же вы ко мне прибыли, коли так? — чуть не подскочил он на месте от удовольствия. Я мигом повернулся и хотел было выйти, но он ухватил меня за плечо.

— Нет, нет, я шутил. Дело важное; сами увидите.

Я сел. Признаюсь, мне было любопытно. Мы уселись у края большого письменного стола, один против другого. Он хитро улыбнулся и поднял было палец.

— Пожалуйста, без ваших хитростей и без пальцев, и главное — без всяких аллегорий, а прямо к делу, не то я сейчас уйду! — крикнул я опять в гневе.

— Вы… горды! — произнес он с каким-то глупым укором, качнувшись ко мне в креслах и подняв кверху все свои морщины на лбу своем.

— Так и надо с вами!

— Вы… у князя брали сегодня деньги, триста рублей; у меня есть деньги. Мои деньги лучше.

— Откуда вы знаете, что я брал? — ужасно удивился я. — Неужто ж он про это вам сам сказал?

— Он мне сказал; не беспокойтесь, так, мимо речи, к слову вышло, к одному только слову, не нарочно. Он мне сказал. А можно было у него не брать. Так или не так?

— Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые.

— У меня mont de piété, а я не деру. Я для приятелей только держу, а другим не даю. Для других mont de piété…

Этот mont de piété был самая обыкновенная ссуда денег под залоги, на чье-то имя, в другой квартире, и процветавшее.

— А приятелям я большие суммы даю.

— Что ж, князь вам разве такой приятель?

— При-я-тель; но… он задает турусы[*]. А он не смеет задавать турусы.

— Что ж, он так у вас в руках? Много должен?

— Он… много должен.

— Он вам заплатит; у него наследство…

— Это — не его наследство; он деньги должен и еще другое должен. Мало наследства. Я вам дам без процентов.

— Тоже как «приятелю»? Чем же это я заслужил? — засмеялся я.

— Вы заслужите. — Он опять рванулся ко мне всем корпусом и поднял было палец.

— Стебельков! без пальцев, иначе уйду.

— Слушайте… он может жениться на Анне Андреевне! — И он адски прищурил свой левый глаз.

— Послушайте, Стебельков, разговор принимает до того скандальный характер… Как вы смеете упоминать имя Анны Андреевны?

— Не сердитесь.

— Я только скрепя сердце слушаю, потому что ясно вижу какую-то тут проделку и хочу узнать… Но я могу не выдержать, Стебельков?

— Не сердитесь, не гордитесь. Немножко не гордитесь и выслушайте; а потом опять гордитесь. Про Анну Андреевну ведь знаете? Про то, что князь может жениться… ведь знаете?

— Об этой идее я, конечно, слышал, и знаю всё, но я никогда не говорил с князем об этой идее. Я знаю только, что эта идея родилась в уме старого князя Сокольского, который и теперь болен; но я никогда ничего не говорил и том не участвовал. Объявляя вам об этом единственно для объяснения, позволю вас спросить, во-первых: для чего вы-то со мной об этом заговорили? А во-вторых, неужели князь с *вами* о таких вещах говорит?

— Не он со мной говорит; он не хочет со мной говорить, а я с ним говорю, а он не хочет слушать. Давеча кричал.

— Еще бы! Я одобряю его.

— Старичок, князь Сокольский, за Анной Андреевной много даст; она угодила. Тогда жених князь Сокольский мне все деньги отдаст. И неденежный долг тоже отдаст. Наверно отдаст! А теперь ему нечем отдать.

— Я-то, я-то зачем вам нужен?

— Для главного вопроса: вы знакомы; вы везде там знакомы. Вы можете всё узнать.

— Ах, черт… что узнать?

— Хочет ли князь, хочет ли Анна Андреевна, хочет ли старый

князь. Узнать наверно.

— И вы смеете мне предлагать быть вашим шпионом, и это — за деньги! — вскочил я в негодовании.

— Не гордитесь, не гордитесь. Еще только немножко не гордитесь, минут пять всего. — Он опять посадил меня. Он видимо не боялся моих жестов и возгласов; но я решился дослушать.

— Мне нужно скоро узнать, скоро узнать, потому… потому, может, скоро будет и поздно. Видели, как давеча он пилюлю съел, когда офицер про барона с Ахмаковой заговорил?

Я решительно унижался, что слушал долее, но любопытство мое было непобедимо завлечено.

— Слушайте, вы… негодный вы человек! — сказал я решительно. — Если я здесь сижу и слушаю и допускаю говорить о таких лицах… и даже сам отвечаю, то вовсе не потому, что допускаю вам это право. Я просто вижу какую-то подлость… И, во-первых, какие надежды может иметь князь на Катерину Николаевну?

— Никаких, но он бесится.

— Это неправда!

— Бесится. Теперь, стало быть, Ахмакова — пас. Он тут плиэ проиграл.* Теперь у него одна Анна Андреевна. Я вам две тысячи дам… без процентов и без векселя.

Выговорив это, он решительно и важно откинулся на спинку стула и выпучил на меня глаза. Я тоже глядел во все глаза.

— На вас платье с Большой Миллионной; надо денег, надо деньги; у меня деньги лучше, чем у него. Я больше, чем две тысячи, дам…

— Да за что? За что, черт возьми?

Я топнул ногой. Он нагнулся ко мне и проговорил выразительно:

— За то, чтоб вы не мешали.

— Да я и без того не касаюсь, — крикнул я.

— Я знаю, что вы молчите; это хорошо.

— Я не нуждаюсь в вашем одобрении. Я очень желаю этого сам с моей стороны, но считаю это не моим делом, и что мне это даже неприлично.

— Вот видите, вот видите, неприлично! — поднял он палец.

— Что вот видите?

— Неприлично… Хе! — и он вдруг засмеялся. — Я понимаю, понимаю, что вам неприлично, но… мешать не будете? — подмигнул

он; но в этом подмигивании было уж что-то столь нахальное, даже насмешливое, низкое! Именно он во мне предполагал какую-то низость и на эту низость рассчитывал… Это ясно было, но я никак не понимал, в чем дело.

— Анна Андреевна — вам тоже сестра-с, — произнес он внушительно.

— Об этом вы не смеете говорить. И вообще об Анне Андреевне вы не смеете говорить.

— Не гордитесь, одну только еще минутку! Слушайте: он деньги получит и всех обеспечит, — веско сказал Стебельков, — всех, *всех*, вы следите?

— Так вы думаете, что я возьму у него деньги?

— Теперь берете же?

— Я беру свои!

— Какие свои?

— Это — деньги версиловские: он должен Версилову двадцать тысяч.

— Так Версилову, а не вам.

— Версилов — мой отец.

— Нет, вы — Долгорукий, а не Версилов.

— Это всё равно!

Действительно, я мог тогда так рассуждать! Я знал, что не всё равно, я не был так глуп, но я опять-таки из «деликатности» так тогда рассуждал.

— Довольно! — крикнул я. — Я ничего ровно не понимаю. И как вы смели призывать меня за такими пустяками?

— Неужто вправду не понимаете? Вы — нарочно иль нет? — медленно проговорил Стебельков, пронзительно и с какою-то недоверчивою улыбкой в меня вглядываясь.

— Божусь, не понимаю!

— Я говорю: он может всех обеспечить, *всех*, только не мешайте и не отговаривайте…

— Вы, должно быть, с ума сошли! Что вы выехали с этим «всех»? Версилова, что ли, он обеспечит?

— Не вы одни есть, и не Версилов… тут и еще есть. А Анна Андреевна вам такая же сестра, *как и Лизавета Макаровна!*

Я смотрел, выпуча глаза. Вдруг что-то даже меня сожалеющее

мелькнуло в его гадком взгляде:

— Не понимаете, так и лучше! Это хорошо, очень хорошо, что не понимаете. Это похвально… если действительно только не понимаете.

Я совершенно взбесился:

— У-бир-райтесь вы с вашими пустяками, помешанный вы человек! — крикнул я, схватив шляпу.

— Это — не пустяки! Так идет? А знаете, вы опять придете.

— Нет, — отрезал я на пороге.

— Придете, и тогда… тогда другой разговор. Будет главный разговор. Две тысячи, помните!

II

Он произвел на меня такое грязное и смутное впечатление, что, выйдя, я даже старался не думать и только отплевался. Идея о том, что князь мог говорить с ним обо мне и об этих деньгах, уколола меня как булавкой. «Выиграю и отдам сегодня же», — подумал я решительно.

Как ни был глуп и косноязычен Стебельков, но я видел яркого подлеца, во всем его блеске, а главное, без какой-то интриги тут не могло обойтись. Только некогда мне было вникать тогда ни в какие интриги, и это-то было главною причиною моей куриной слепоты! Я с беспокойством посмотрел на часы, но не было еще и двух; стало быть, еще можно было сделать один визит, иначе я бы пропал до трех часов от волнения. Я поехал к Анне Андреевне Версиловой, моей сестре. С ней я давно уже сошелся у моего старичка князя, именно во время его болезни. Идея о том, что я уже дня три-четыре не видал его, мучила мою совесть; но именно Анна Андреевна меня выручила: князь чрезвычайно как пристрастился к ней и называл даже мне ее своим ангелом-хранителем. Кстати, мысль выдать ее за князя Сергея Петровича действительно родилась в голове моего старичка, и он даже не раз выражал мне ее, конечно по секрету. Я передал эту идею Версилову, заметив и прежде, что из всего насущного, к которому Версилов был столь равнодушен, он, однако, всегда как-то особенно интересовался, когда я передавал ему что-нибудь о встречах моих с Анной Андреевной. Версилов пробормотал мне тогда, что Анна Андреевна слишком умна и может обойтись в таком щекотливом деле и

без посторонних советов. Разумеется, Стебельков был прав, что старик даст ей приданое, но как он-то смел рассчитывать тут на что-нибудь? Давеча князь крикнул ему вслед, что не боится его вовсе: уж и в самом деле не говорил ли Стебельков ему в кабинете об Анне Андреевне; воображаю, как бы я был взбешен на его месте.

У Анны Андреевны в последнее время я бывал даже довольно часто. Но тут всегда случалась одна странность: всегда было сама назначит, чтоб я приехал, и уж наверно ждет меня, но, чуть я войду, она непременно сделает вид, что я вошел неожиданно и нечаянно; эту черту я в ней заметил, но все-таки я к ней привязался. Она жила у Фанариотовой, своей бабушки, конечно как ее воспитанница (Версилов ничего не давал на их содержание), — но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в «Пиковой даме» воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже и в одной квартире с Фанариотовыми, но в отдельных двух комнатах, так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из Фанариотовых. Она имела право принимать к себе, кого хотела, и употреблять всё свое время, как ей было угодно. Правда, ей был уже двадцать третий год. В свет она, в последний год, почти прекратила ездить, хотя Фанариотова и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось в Анне Андреевне, что я всегда встречал ее в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немногоречива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне Версилова, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть, и я очень полюбил в ее лице эту особенность. У ней я никогда не называл Версилова по фамилии, а непременно Андреем Петровичем, и это как-то так само собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у фанариотовых, должно быть, как-то стыдились Версилова; я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил, хотя опять-таки не знаю, можно ли тут употребить слово «стыдились»; что-то в этом роде, однако же, было. Я заговаривал с нею

и о князе Сергее Петровиче, и она очень слушала и, мне казалось, интересовалась этими сведениями; но как-то всегда так случалось, что я сам сообщал их, а она никогда не расспрашивала. О возможности между ними брака я никогда не смел с нею заговорить, хотя часто желал, потому что мне самому эта идея отчасти нравилась. Но в ее комнате я ужасно о многом переставал как-то сметь говорить, и, наоборот, мне было ужасно хорошо в ее комнате. Любил я тоже очень, что она очень образована и много читала, и даже дельных книг; гораздо более моего читала.

Она сама позвала меня к себе в первый раз. Я понимал и тогда, что она, может быть, рассчитывала иногда кой о чем у меня выведать. О, тогда многие могли выведать от меня очень многое! «Но что ж из того, — думал я, — ведь не для этого одного она меня у себя принимает»; одним словом, я даже был рад, что мог быть ей полезным и… и когда я сидел с ней, мне всегда казалось про себя, что это сестра моя сидит подле меня, хоть, однако, про наше родство мы еще ни разу с ней не говорили, ни словом, ни даже намеком, как будто его и не было вовсе. Сидя у ней, мне казалось как-то совсем и немыслимым заговорить про это, и, право, глядя на нее, мне приходила иногда в голову нелепая мысль: что она, может быть, и не знает совсем про это родство, — до того она так держала себя со мной.

III

Войдя, я вдруг застал у ней Лизу. Меня это почти поразило. Мне очень хорошо было известно, что они и прежде виделись; произошло это у «грудного ребенка». Об этой фантазии гордой и стыдливой Анны Андреевны увидать этого ребенка и о встрече там с Лизой я, может быть, потом расскажу, если будет место; но всё же я никак не ожидал, чтоб Анна Андреевна когда-нибудь пригласила Лизу к себе. Это меня приятно поразило. Не подав виду, разумеется, я, поздоровавшись с Анной Андреевной и горячо пожав руку Лизе, уселся подле нее. Обе занимались *делом:* на столе и на коленях у них лежало дорогое выездное платье Анны Андреевны, но старое, то есть три раза надеванное и которое она желала как-нибудь переделать. Лиза была большая «мастерица» на этот счет и со вкусом, а потому и происходил

торжественный совет «мудрых женщин». Я вспомнил Версилова и рассмеялся; да и весь я был в сияющем расположении духа.

— Вы очень сегодня веселы, и это очень приятно, — промолвила Анна Андреевна, важно и раздельно выговаривая слова. Голос ее был густой и звучный контральт, но она всегда произносила спокойно и тихо, всегда несколько опустив свои длинные ресницы и с чуть-чуть мелькавшей улыбкой на ее бледном лице.

— Лиза знает, как я неприятен, когда невесел, — ответил я весело.

— Может быть, и Анна Андреевна про то знает, — кольнула меня шаловливая Лиза. Милая! Если б я знал, что тогда было у нее на душе!

— Что вы теперь делаете? — спросила Анна Андреевна. (Замечу, что она именно даже просила меня побывать к ней сегодня).

— Я теперь здесь сижу и спрашиваю себя: почему мне всегда приятнее вас находить за книгой, чем за рукодельем? Нет, право, рукоделье к вам почему-то нейдет. В этом смысле я в Андрея Петровича.

— Всё еще не решили поступить в университет?

— Я слишком благодарен, что вы не забываете наших разговоров: это значит, что вы обо мне иногда думаете; но… насчет университета я еще не составил понятия, притом же у меня свои цели.

— То есть у него свой секрет, — заметила Лиза.

— Оставь шутки, Лиза. Один умный человек выразился на днях, что во всем этом прогрессивном движении нашем за последние двадцать лет мы прежде всего доказали, что грязно необразованы. Тут, конечно, и про наших университетских было сказано.

— Ну, верно, папа сказал; ты ужасно часто повторяешь его мысли, — заметила Лиза.

— Лиза, точно ты не предполагаешь во мне собственного ума.

— В наше время полезно вслушиваться в слова умных людей и запоминать их, — слегка заступилась за меня Анна Андреевна.

— Именно, Анна Андреевна, — подхватил я с жаром. — Кто не мыслит о настоящей минуте России, тот не гражданин! Я смотрю на Россию, может быть, с странной точки: мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж конечно потому, что то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести: сумеем ли? Так же ли по вкусу нам свобода окажется? — вот вопрос.

Лиза быстро взглянула на Анну Андреевну, а та тотчас потупилась и начала что-то искать около себя; я видел, что Лиза изо всей силы крепилась, но вдруг как-то нечаянно наши взгляды встретились, и она прыснула со смеху; я вспыхнул:

— Лиза, ты непостижима!

— Прости меня! — сказала она вдруг, перестав смеяться и почти с грустью. — У меня бог знает что в голове…

И точно слезы задрожали вдруг в ее голосе. Мне стало ужасно стыдно: я взял ее руку и крепко поцеловал.

— Вы очень добрый, — мягко заметила мне Анна Андреевна, увидав, что я целую руку Лизы.

— Я пуще всего рад тому, Лиза, что на этот раз встречаю тебя смеющуюся, — сказал я. — Верите ли, Анна Андреевна, в последние дни она каждый раз встречала меня каким-то странным взглядом, а во взгляде как бы вопросом: «Что, не узнал ли чего? Всё ли благополучно?» Право, с нею что-то в этом роде.

Анна Андреевна медленно и зорко на нее поглядела, Лиза потупилась. Я, впрочем, очень хорошо видел, что они обе гораздо более и ближе знакомы, чем мог я предположить, входя давеча; эта мысль была мне приятна.

— Вы сказали сейчас, что я добрый; вы не поверите, как я весь изменяюсь у вас к лучшему и как мне приятно быть у вас, Анна Андреевна, — сказал я с чувством.

— А я очень рада, что вы именно теперь так говорите, — с значением ответила она мне. Я должен сказать, что она никогда не заговаривала со мной о моей беспорядочной жизни и об омуте, в который я окунулся, хотя, я знал это, она обо всем этом не только знала, но даже стороной расспрашивала. Так что теперь это было вроде первого намека, и — сердце мое еще более повернулось к ней.

— Что наш больной? — спросил я.

— О, ему гораздо легче: он ходит, и вчера и сегодня ездил кататься. А разве вы и сегодня не заходили к нему? Он вас очень ждет.

— Я виноват пред ним, но теперь вы его навещаете и меня вполне заменили: он — большой изменник и меня на вас променял.

Она сделала очень серьезную мину, так как очень может быть, что шутка моя была тривиальна.

— Я был давеча у князя Сергея Петровича, — забормотал я, — и

я… Кстати, Лиза, ты ведь заходила давеча к Дарье Онисимовне?

— Да, была, — как-то коротко ответила она, не подымая головы. — Да ведь ты, кажется, каждый день ходишь к больному князю? — спросила она как-то вдруг, чтобы что-нибудь сказать, может быть.

— Да, я к нему хожу, только не дохожу, — усмехнулся я. — Я вхожу и поворачиваю налево.

— Даже князь заметил, что вы очень часто заходите к Катерине Николаевне. Он вчера говорил и смеялся, — сказала Анна Андреевна.

— Чему же, чему же смеялся?

— Он шутил, вы знаете. Он говорил, что, напротив, молодая и прекрасная женщина на молодого человека в вашем возрасте всегда производит лишь впечатление негодования и гнева… — засмеялась вдруг Анна Андреевна.

— Послушайте… знаете, что это он ужасно метко сказал, — вскричал я, — наверно, это не он, а вы сказали ему?

— Почему же? Нет, это он.

— Ну, а если эта красавица обратит на него внимание, несмотря на то что он так ничтожен, стоит в углу и злится, потому что «маленький», и вдруг предпочтет его всей толпе окружающих ее обожателей, что тогда? — спросил я вдруг с самым смелым и вызывающим видом. Сердце моё застучало.

— Тогда ты тут так и пропадешь перед нею, — рассмеялась Лиза.

— Пропаду? — вскричал я. — Нет, я не пропаду. Кажется, не пропаду. Если женщина станет поперек моей дороги, то она должна идти за мной. Мою дорогу не прерывают безнаказанно…

Лиза как-то говорила мне раз, мельком, вспоминая уже долго спустя, что я произнес тогда эту фразу ужасно странно, серьезно и как бы вдруг задумавшись; но в то же время «так смешно, что не было возможности выдержать»; действительно, Анна Андреевна опять рассмеялась.

— Смейтесь, смейтесь надо мною! — воскликнул я в упоении, потому что весь этот разговор и направление его мне ужасно нравились, — от вас мне это только удовольствие. Я люблю ваш смех, Анна Андреевна! У вас есть черта: вы молчите и вдруг рассмеетесь, в один миг, так что за миг даже и не угадать по лицу. Я знал в Москве одну даму, отдаленно, я смотрел из угла: она была почти так же прекрасна собою, как вы, но она не умела так же смеяться, и лицо ее,

такое же привлекательное, как у вас, — теряло привлекательность; у вас же ужасно привлекает… именно этою способностью… Я вам давно хотел высказать.

Когда я выговорил про даму, что «она была прекрасна собою, как вы», то я тут схитрил: я сделал вид, что у меня вырвалось нечаянно, так что как будто я и не заметил; я очень знал, что *такая* «вырвавшаяся» похвала оценится выше женщиной, чем какой угодно вылощенный комплимент. И как ни покраснела Анна Андреевна, а я знал, что ей это приятно. Да и даму эту я выдумал: никакой я не знал в Москве; я только чтоб похвалить Анну Андреевну и сделать ей удовольствие.

— Вправду можно подумать, — прелестно усмехнулась она, — что вы в последние дни находились под влиянием какой-нибудь прекрасной женщины.

Я как будто летел куда-то… Мне даже хотелось бы им что-нибудь открыть… но удержался.

— А кстати, как недавно еще вы выражались о Катерине Николавне совсем враждебно.

— Если я выражался как-нибудь дурно, — засверкал я глазами, — то виною тому была монстрюозная* клевета на нее, что она — враг Андрею Петровичу; клевета и на него в том, что будто он любил ее, делал ей предложение и подобные нелепости. Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она, будто бы еще при жизни мужа, обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда овдовеет, а потом не сдержала слова. Но я знаю из первых рук, что всё это не так, а была лишь шутка. Я из первых рук знаю. Раз там, за границей, в одну шутливую минуту, она действительно сказала князю: «может быть», в будущем; но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова? Я слишком знаю, что князь, с своей стороны, никакой цены не может придавать такому обещанию, да и не намерен он вовсе, — прибавил я, спохватившись. — У него, кажется, совсем другие идеи, — ввернул я хитро. — Давеча у него Нащокин говорил, что будто бы Катерина Николавна замуж выходит за барона Бьоринга: поверьте, что он перенес это известие как нельзя лучше, будьте уверены.

— У него был Нащокин? — вдруг, веско и как бы удивившись, спросила Анна Андреевна.

— О да; кажется, это из таких порядочных людей…

— И Нащокин говорил с ним об этой свадьбе с Бьорингом? —

очень заинтересовалась вдруг Анна Андреевна.

— Не о свадьбе, а так, о возможности, как слух; он говорил, что в свете будто бы такой слух; что до меня, я уверен, что вздор.

Анна Андреевна подумала и наклонилась к своему шитью.

— Я князя Сергея Петровича люблю, — прибавил я вдруг с жаром. — У него есть свои недостатки, бесспорно, я вам говорил уже, именно некоторая одноидейность… но и недостатки его свидетельствуют тоже о благородной душе, не правда ли? Мы с ним, например, сегодня чуть не поссорились за одну идею: его убеждение, что если говоришь о благородстве, то будь сам благороден, не то всё, что ты скажешь, — ложь. Ну, логично ли это? А между тем это же свидетельствует и о высоких требованиях чести в душе его, долга, справедливости, не правда ли?.. Ах, боже мой, который это час? — вдруг вскричал я, нечаянно взглянув на циферблат часов на камине.

— Без десяти минут три, — спокойно произнесла она, взглянув на часы. Всё время, пока я говорил о князе, она слушала меня потупившись, с какою-то хитренькою, но милою усмешкой: она знала, для чего я так хвалю его. Лиза слушала, наклонив голову над работой, и давно уже не ввязывалась в разговор.

Я вскочил как обожженный.

— Вы куда-нибудь опоздали?

— Да… нет… впрочем, опоздал, но я сейчас. Одно только слово, Анна Андреевна, — начал я в волнении, — я не могу не высказать вам сегодня! Я хочу вам признаться, что я уже несколько раз благословлял вашу доброту и ту деликатность, с которою вы пригласили меня бывать у вас… На меня знакомство с вами имело самое сильное впечатление. В вашей комнате я как бы очищаюсь душой и выхожу от вас лучшим, чем я есть. Это верно. Когда я сижу с вами рядом, то не только не могу говорить о дурном, но и мыслей дурных иметь не могу; они исчезают при вас, и, вспоминая мельком о чем-нибудь дурном подле вас, я тотчас же стыжусь этого дурного, робею и краснею в душе. И знаете, мне особенно было приятно встретить у вас сегодня сестру мою… Это свидетельствует о таком вашем благородстве… о таком прекрасном отношении… Одним словом, вы высказали что-то такое *братское*, если уж позволите разбить этот лед, что я…

Пока я говорил, она подымалась с места и всё более и более краснела; но вдруг как бы испугалась чего-то, какой-то черты, которую

не надо бы перескакивать, и быстро перебила меня:

— Поверьте, что я сумею оценить всем сердцем ваши чувства… Я их и без слов поняла… и уже давно…

Она приостановилась в смущении, пожимая мне руку. Вдруг Лиза незаметно дернула меня за рукав. Я простился и вышел; но в другой же комнате догнала меня Лиза.

IV

— Лиза, зачем ты меня дернула за рукав? — спросил я.

— Она — скверная, она хитрая, она не стоит… Она тебя держит, чтоб от тебя выведать, — быстрым злобным ропотом прошептала она. Никогда еще я не видывал у ней такого лица.

— Лиза, бог с тобой, она — такая прелестная девушка!

— Ну, так я — скверная.

— Что с тобой?

— Я очень дурная. Она, может быть, самая прелестная девушка, а я дурная. Довольно, оставь. Слушай: мама просит тебя о том, «чего сама сказать не смеет», так и сказала. Голубчик Аркадий! перестань играть, милый, молю тебя… мама тоже…

— Лиза, я сам знаю, но… Я знаю, что это — жалкое малодушие, но… это — только пустяки и больше ничего! Видишь, я задолжал, как дурак, и хочу выиграть, только чтоб отдать. Выиграть можно, потому что я играл без расчета, на ура, как дурак, а теперь за каждый рубль дрожать буду… Не я буду, если не выиграю! Я не пристрастился; это не главное, это только мимолетное, уверяю тебя! Я слишком силен, чтоб не прекратить, когда хочу. Отдам деньги, и тогда ваш нераздельно, и маме скажи, что не выйду от вас…

— Эти триста рублей давеча чего тебе стоили!

— Почему ты знаешь? — вздрогнул я.

— Дарья Онисимовна давеча всё слышала…

Но в эту минуту Лиза вдруг толкнула меня за портьеру, и мы оба очутились за занавесью, в так называемом «фонаре», то есть в круглой маленькой комнатке из окон. Не успел я опомниться, как услышал знакомый голос, звон шпор и угадал знакомую походку.

— Князь Сережа, — прошептал я.

— Он, — прошептала она.

— Чего ты так испугалась?

— Так; я ни за что не хочу, чтоб он меня встретил…

— Tiens,[41] да уж не волочится ли он за тобой? — усмехнулся я, — я б ему тогда задал. Куда ты?

— Выйдем; я с тобой.

— Ты разве уж там простилась?

— Простилась; моя шубка в передней…

Мы вышли; на лестнице меня поразила одна идея:

— Знаешь, Лиза, он, может быть, приехал сделать ей предложение!

— Н-нет… он не сделает предложения… — твердо и медленно проговорила она тихим голосом.

— Ты не знаешь, Лиза, я хоть с ним давеча и поссорился, — если уж тебе пересказывали, — но, ей-богу, я люблю его искренно и желаю ему тут удачи. Мы давеча помирились. Когда мы счастливы, мы так добры… Видишь, в нем много прекрасных наклонностей… и гуманность есть… Зачатки по крайней мере… а у такой твердой и умной девушки в руках, как Версилова, он совсем бы выровнялся и стал бы счастлив. Жаль, что некогда… да проедем вместе немного, я бы тебе сообщил кое— что…

— Нет, поезжай, мне не туда. Обедать придешь?

— Приду, приду, как обещал. Слушай, Лиза: один поганец — одним словом, одно мерзейшее существо, ну, Стебельков, если знаешь, имеет на его дела страшное влияние… векселя… ну, одним словом, держит его в руках и до того его припер, а тот до того унизился, что уж другого исхода, как в предложении Анне Андреевне, оба не видят. Ее по-настоящему надо бы предупредить; впрочем, вздор, она и сама поправит потом все дела. А что, откажет она ему, как ты думаешь?

— Прощай, некогда, — оборвала Лиза, и в мимолетном взгляде ее я увидал вдруг столько ненависти, что тут же вскрикнул в испуге:

— Лиза, милая, за что ты?

— Я не на тебя; не играй только…

— Ах, ты про игру, не буду.

— Ты сейчас сказал: «когда мы в счастье», так ты очень счастлив?

— Ужасно, Лиза, ужасно! Боже мой, да уж три часа, больше!.. Прощай, Лизок. Лизочка, милая, скажи: разве можно заставлять женщину ждать себя? Позволительно это?

— Это при свидании, что ли? — чуть-чуть улыбнулась Лиза какою-то мертвенькою, дрожащею улыбкой.

— Дай свою ручку на счастье.

— На счастье? Мою руку? Ни за что не дам!

И она быстро удалилась. И главное, так серьезно вскрикнула. Я бросился в мои сани.

Да, да, это-то «счастье» и было тогда главною причиною, что я, как слепой крот, ничего, кроме себя, не понимал и не видел!

Глава четвертая

I

Теперь я боюсь и рассказывать. Всё это было давно; но всё это и теперь для меня как мираж. Как могла бы *такая* женщина назначить свидание такому гнусному тогдашнему мальчишке, каким был я? — вот что было с первого взгляда! Когда я, оставив Лизу, помчался и у меня застучало сердце, я прямо подумал, что я сошел с ума: идея о *назначенном* свидании показалась мне вдруг такою яркою нелепостью, что не было возможности верить. И что же, я совсем не сомневался; даже так: чем ярче казалась нелепость, тем пуще я верил.

То, что пробило уже три часа, меня беспокоило: «Если мне дано свидание, то как же я опаздываю на свидание», — думал я. Мелькали тоже глупые вопросы, вроде таких: «Что мне теперь лучше, смелость или робость?». Но всё это только мелькало, потому что в сердце было главное, и такое, что я определить не мог. Накануне сказано было так: «Завтра я в три часа буду у Татьяны Павловны» — вот и всё. Но, во-первых, я и у ней, в ее комнате, всегда был принят наедине, и она могла сказать мне всё что угодно, и не переселяясь к Татьяне Павловне; стало быть, зачем же назначать другое место у Татьяны Павловны? И опять вопрос: Татьяна Павловна будет дома или не дома? Если это — свидание, то, значит, Татьяны Павловны не будет дома. А как этого достигнуть, не объяснив всего заранее Татьяне Павловне? Значит, и Татьяна Павловна в секрете? Эта мысль казалась мне дикою и как-то нецеломудренною, почти грубою.

И, наконец, она просто-запросто могла захотеть побывать у

Татьяны Павловны и сообщила мне вчера безо всякой цели, а я навообразил. Да и сказано было так мельком, небрежно, спокойно и после весьма скучного сеанса, потому что во всё время, как я у ней был вчера, я почему-то был как сбитый с толку: сидел, мямлил и не знал, что сказать, злился и робел ужасно, а она куда-то собиралась, как вышло после, и видимо была рада, когда я стал уходить. Все эти рассуждения толпились в моей голове. Я решил наконец, что войду, позвоню, отворит кухарка, и я спрошу: «Дома Татьяна Павловна?» Коли нет дома, значит «свидание». Но я не сомневался, не сомневался!

Я взбежал на лестницу и — на лестнице, перед дверью, весь мой страх пропал: «Ну пускай, — думал я — поскорей бы только!» Кухарка отворила и с гнусной своей флегмой прогнусила, что Татьяны Павловны нет. «А нет ли другого кого, не ждет ли кто Татьяну Павловну?» — хотел было я спросить, но не спросил: «лучше сам увижу», и, пробормотав кухарке, что я подожду, сбросил шубу и отворил дверь…

Катерина Николавна сидела у окна и «дожидалась Татьяну Павловну».

— Ее нет? — вдруг спросила она меня как бы с заботой и досадой, только что меня увидала. И голос и лицо до того не соответствовали моим ожиданиям, что я так и завяз на пороге.

— Кого нет? — пробормотал я.

— Татьяны Павловны! Ведь я же вас просила вчера передать, что буду у ней в три часа?

— Я… я и не видал ее вовсе.

— Вы забыли?

Я сел как убитый. Так вот что оказывалось! И, главное, всё было так ясно, как дважды два, а я — я всё еще упорно верил.

— Я и не помню, что вы просили ей передать. Да вы и не просили: вы просто сказали, что будете в три часа, — оборвал я нетерпеливо. Я не глядел на нее.

— Ах! — вдруг вскричала она, — так если вы забыли сказать, а сами знали, что я буду здесь, так вы-то сюда зачем приехали?

Я поднял голову: ни насмешки, ни гнева в ее лице, а была лишь ее светлая, веселая улыбка и какая-то усиленная шаловливость в выражении лица, — ее всегдашнее выражение, впрочем, — шаловливость почти детская. «Вот видишь, я тебя поймала всего; ну, что ты теперь скажешь?» — как бы говорило всё ее лицо.

Я не хотел отвечать и опять потупился. Молчание продолжалось с полминуты.

— Вы теперь от папа? — вдруг спросила она.

— Я теперь от Анны Андреевны, а у князя Николая Ивановича вовсе не был… и вы это знали, — вдруг прибавил я.

— С вами ничего не случилось у Анны Андреевны?

— То есть что я имею теперь сумасшедший вид? Нет, я и до Анны Андреевны имел сумасшедший вид.

— И у ней не поумнели?

— Нет, не поумнел. Я там, кроме того, слышал, что вы выходите замуж за барона Бьоринга.

— Это она вам сказала? — вдруг заинтересовалась она.

— Нет, это я ей передал, а слышал, как говорил давеча Нащокин князю Сергею Петровичу у него в гостях.

Я всё не подымал на нее глаз: поглядеть на нее значило облиться светом, радостью, счастьем, а я не хотел быть счастливым. Жало негодования вонзилось в мое сердце, и в один миг я принял огромное решение. Затем я вдруг начал говорить, едва помню о чем. Я задыхался и как-то бормотал, но глядел я уже смело. Сердце у меня стучало. Я заговорил о чем-то ни к чему не относящемся, впрочем, может быть, и складно. Она сначала было слушала с своей ровной, терпеливой улыбкой, никогда не покидавшей ее лица, но мало-помалу удивление, а потом даже испуг мелькнули в ее пристальном взгляде. Улыбка всё еще не покидала ее, но и улыбка подчас как бы вздрагивала.

— Что с вами? — спросил я вдруг, заметив, что она вся вздрогнула.

— Я вас боюсь, — ответила она мне почти тревожно.

— Почему вы не уезжаете? Вот, как теперь Татьяны Павловны нет, и вы знаете, что не будет, то, стало быть, вам надо встать и уехать?

— Я хотела подождать, но теперь… в самом деле… Она было приподнялась.

— Нет, нет, сядьте, — остановил я ее, — вот вы опять вздрогнули, но вы и в страхе улыбаетесь… У вас всегда улыбка. Вот вы теперь совсем улыбнулись…

— Вы в бреду?

— В бреду.

— Я боюсь… — прошептала она опять.

— Чего?

— Что вы стену ломать начнете… — опять улыбнулась она, но уже в самом деле оробев.

— Я не могу выносить вашу улыбку!..

И я опять заговорил. Я весь как бы летел. Меня как бы что-то толкало. Я никогда, никогда так не говорил с нею, а всегда робел. Я и теперь робел ужасно, но говорил; помню, я заговорил о ее лице.

— Я не могу больше выносить вашу улыбку! — вскричал я вдруг, — зачем я представлял вас грозной, великолепной и с ехидными светскими словами еще в Москве? Да, в Москве; мы об вас еще там говорили с Марьей Ивановной и представляли вас, какая вы должны быть… Помните Марью Ивановну? Вы у ней были. Когда я ехал сюда, вы всю ночь снились мне в вагоне. Я здесь до вашего приезда глядел целый месяц на ваш портрет у вашего отца в кабинете и ничего не угадал. Выражение вашего лица есть детская шаловливость и бесконечное простодушие — вот! Я ужасно дивился на это всё время, как к вам ходил. О, и вы умеете смотреть гордо и раздавливать взглядом: я помню, как вы посмотрели на меня у вашего отца, когда приехали тогда из Москвы… Я вас тогда видел, а между тем спроси меня тогда, как я вышел: какая вы? — и я бы не сказал. Даже росту вашего бы не сказал. Я как увидал вас, так и ослеп. Ваш портрет совсем на вас не похож: у вас глаза не темные, а светлые, и только от длинных ресниц кажутся темными. Вы полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское, лицо деревенской красавицы, — не обижайтесь, ведь это хорошо, это лучше — круглое, румяное, ясное, смелое, смеющееся и… застенчивое лицо! Право, застенчивое. Застенчивое у Катерины Николаевны Ахмаковой! Застенчивое и целомудренное, клянусь! Больше чем целомудренное — детское! — вот ваше лицо! Я всё время был поражен и всё время спрашивал себя: та ли это женщина? Я теперь знаю, что вы очень умны, но ведь сначала я думал, что вы простоваты. У вас ум веселый, но без всяких прикрас… Еще я люблю, что с вас не сходит улыбка: это — мой рай! Еще люблю ваше спокойствие, вашу тихость и то, что вы выговариваете слова плавно, спокойно и почти лениво, — именно эту лениво сть люблю. Кажется, подломись под вами мост, вы и тут что-нибудь плавно и мерно скажете… Я воображал вас верхом гордости и страстей, а вы все два месяца говорили со мной как студент с студентом… Я никогда не

воображал, что у вас такой лоб: он немного низок, как у статуй, но бел и нежен, как мрамор, под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка легкая, красоты вы необычайной, а гордости нет никакой. Я ведь только теперь поверил, всё не верил!

Она с большими открытыми глазами слушала всю эту дикую тираду; она видела, что я сам дрожу. Несколько раз она приподымала с милым, опасливым жестом свою гантированную* ручку, чтоб остановить меня, но каждый раз отнимала ее в недоумении и страхе назад. Иногда даже быстро отшатывалась вся назад. Два-три раза улыбка опять просвечивалась было на ее лице; одно время она очень покраснела, но под конец решительно испугалась и стала бледнеть. Только что я приостановился, она протянула было руку и как бы просящим, но все-таки плавным голосом промолвила:

— Этак нельзя говорить…этак невозможно говорить…

И вдруг поднялась с места, неторопливо захватывая свой шейный платок и свою соболью муфту.

— Вы идете? — вскричал я.

— Я решительно вас боюсь… вы злоупотребляете… — протянула она как бы с сожалением и упреком.

— Послушайте, я, ей-богу, стену не буду ломать.

— Да вы уж начали, — не удержалась она и улыбнулась. — Я даже не знаю, пустите ли вы меня пройти? — И кажется, она впрямь опасалась, что я ее не пущу.

— Я вам сам дверь отворю, идите, но знайте: я принял одно огромное решение; и если вы захотите дать свет моей душе, то воротитесь, сядьте и выслушайте только два слова. Но если не хотите, то уйдите, и я вам сам дверь отворю!

Она посмотрела на меня и села на место.

— С каким бы негодованием вышла иная, а вы сели! — вскричал я в упоении.

— Вы никогда так прежде не позволяли себе говорить.

— Я всегда робел прежде. Я и теперь вошел, не зная, что говорить. Вы думаете, я теперь не робею? Я робею. Но я вдруг принял огромное решение и почувствовал, что его выполню. А как принял это решение, то сейчас и сошел с ума и стал всё это говорить… Выслушайте, вот мои два слова: шпион я ваш или нет? Ответьте мне — вот вопрос!

Краска быстро залила ее лицо.

— Не отвечайте еще, Катерина Николавна, а выслушайте всё и потом скажите всю правду.

Я разом сломал все заборы и полетел в пространство.

II

— Два месяца назад я здесь стоял за портьерой…

вы знаете… а вы говорили с Татьяной Павловной про письмо. Я выскочил и, вне себя, проговорился. Вы тотчас поняли, что я что-то знаю… вы не могли не понять… вы искали важный документ и опасались за него… Подождите, Катерина Николавна, удерживайтесь еще говорить. Объявляю вам, что ваши подозрения были основательны: этот документ существует… то есть был… я его видел; это — ваше письмо к Андроникову, так ли?

— Вы видели это письмо? — быстро спросила она, в смущении и волнении. — Где вы его видели?

— Я видел… я видел у Крафта… вот у того, который застрелился…

— В самом деле? Вы сами видели? Что ж с ним сталось?

— Крафт его разорвал.

— При вас, вы видели?

— При мне. Он разорвал, вероятно, перед смертью… Я ведь не знал тогда, что он застрелится…

— Так оно уничтожено, слава богу! — проговорила она медленно, вздохнув, и перекрестилась.

Я не солгал ей. То есть я и солгал, потому что документ был у меня и никогда у Крафта, но это была лишь мелочь, а в самом главном я не солгал, потому что в ту минуту, когда лгал, то дал себе слово сжечь это письмо в тот же вечер. Клянусь, если б оно было у меня в ту минуту в кармане, я бы вынул и отдал ей; но его со мною не было, оно было на квартире. Впрочем, может быть, и не отдал бы, потому что мне было бы очень стыдно признаться ей тогда, что оно у меня и что я сторожил ее так долго, ждал и не отдавал. Всё одно: сжег бы дома, во всяком случае, и не солгал! Я был чист в ту минуту, клянусь.

— А коли так, — продолжал я почти вне себя, — то скажите мне: для того ли вы привлекали меня, ласкали меня, принимали меня, что подозревали во мне знание о документе,? Постойте, Катерина

Николаевна, еще минутку не говорите, а дайте мне всё докончить: я всё время, как к вам ходил, всё это время подозревал, что вы для того только и ласкали меня, чтоб из меня выпытать это письмо, довести меня до того, чтоб я признался… Постойте, еще минуту: я подозревал, но я страдал. Двоедушие ваше было для меня невыносимо, потому что… потому что я нашел в вас благороднейшее существо! Я прямо говорю, я прямо говорю: я был вам враг, но я нашел в вас благороднейшее существо! Всё было побеждено разом. Но двоедушие, то есть подозрение в двоедушии, томило… Теперь должно всё решиться, всё объясниться, такое время пришло; но постойте еще немного, не говорите, узнайте, как я смотрю сам на всё это, именно сейчас, в теперешнюю минуту; прямо говорю: если это и так было, то я не рассержусь… то есть я хотел сказать — не обижусь, потому что это так естественно, я ведь понимаю. Что ж тут может быть неестественного и дурного? Вы мучаетесь документом, вы подозреваете, что такой-то всё знает; что ж, вы очень могли желать, чтоб такой-то высказался… Тут ничего нет дурного, ровно ничего. Искренно говорю. Но все-таки надо, чтобы вы теперь мне что-нибудь сказали… признались (простите это слово). Мне надо правду. Почему-то так надо! Итак, скажите: для того ли вы обласкали меня, чтоб выпытать у меня документ… Катерина Николаевна?

Я говорил как будто падал, и лоб мой горел. Она слушала меня уже без тревоги, напротив, чувство было в лице; но она смотрела как-то застенчиво, как будто стыдясь.

— Для того, — проговорила она медленно и вполголоса. — Простите меня, я была виновата, — прибавила она вдруг, слегка приподымая ко мне руки. Я никак не ожидал этого. Я всего ожидал, но только не этих двух слов; даже от нее, которую знал уже.

— И вы говорите мне: «виновата»! Так прямо: «виновата»? — вскричал я.

— О, я уже давно стала чувствовать, что пред вами виновата… и даже рада теперь, что вышло наружу…

— Давно чувствовали? Для чего же вы не говорили прежде?

— Да я не умела как и сказать, — улыбнулась она, — то есть я и сумела бы, — улыбнулась она опять, — но как-то становилось всё совестно… потому что я действительно вначале вас только для этого «привлекала», как вы выразились, ну а потом мне очень скоро стало

противно… и надоело мне всё это притворство, уверяю вас! — прибавила она с горьким чувством, — да и все эти хлопоты тоже!

— И почему, почему бы вам не спросить тогда прямехоньким образом? Так бы и сказали: «Ведь ты знаешь про письмо, чего же ты притворяешься?» И я бы вам тотчас всё сказал, тотчас признался!

— Да я вас… боялась немного. Признаюсь, я тоже вам и не доверяла. Да и вправду: если я хитрила, то ведь и вы тоже, — прибавила она, усмехнувшись.

— Да, да, я был недостоин! — вскричал я пораженный. — О, вы еще не знаете всех бездн моего падения!

— Ну уж и бездн! Узнаю ваш слог, — тихо улыбнулась она. — Это письмо, — прибавила она грустно, — было самым грустным и легкомысленным поступком моей жизни. Сознание об этом поступке было мне всегдашним укором. Под влиянием обстоятельств и опасений я усумнилась в моем милом, великодушном отце. Зная, что это письмо могло попасть… в руки злых людей… имея полные основания так думать (с жаром произнесла она), я трепетала, что им воспользуются, покажут папа… а на него это могло произвести чрезвычайное впечатление… в его положении… на здоровье его… и он бы меня разлюбил… Да, — прибавила она, смотря мне ясно в глаза и, вероятно, поймав на лету что-то в моем взгляде, — да, я боялась тоже и за участь мою: я боялась, что он… под влиянием своей болезни… мог лишить меня и своих милостей… Это чувство тоже входило, но я, наверно, и тут перед ним виновата: он так добр и великодушен, что, конечно, бы меня простил. Вот и всё, что было. А что я так поступила с вами, то так не надо было, — кончила она, опять вдруг застыдившись. — Вы меня привели в стыд.

— Нет, вам нечего стыдиться! — вскричал я.

— Я действительно рассчитывала… на вашу пылкость… и сознаюсь в этом, — вымолвила она потупившись.

— Катерина Николаевна! Кто, кто, скажите, заставляет вас делать такие признания мне вслух? — вскрикнул я, как опьянелый, — ну что бы вам стоило встать и в отборнейших выражениях, самым тонким образом доказать мне, как дважды два, что хоть оно и было, но все-таки ничего не было, — понимаете, как обыкновенно умеют у вас в высшем свете обращаться с правдой? Ведь я глуп и груб, я бы вам тотчас поверил, я бы всему поверил от вас, что бы вы ни сказали! Ведь вам бы

ничего не стоило так поступить? Ведь не боитесь же вы меня в самом деле? Как могли вы так добровольно унизиться перед выскочкой, перед жалким подростком?

— В этом по крайней мере я не унизилась перед вами, — промолвила она с чрезвычайным достоинством, по-видимому не поняв мое восклицание.

— О, напротив, напротив! я только это и кричу!..

— Ах, это было так дурно и так легкомысленно с моей стороны! — воскликнула она, приподнимая к лицу свою руку и как бы стараясь закрыться рукой, — мне стыдно было еще вчера, а потому я и была так не по себе, когда вы у меня сидели… Вся правда в том, — прибавила она, — что теперь обстоятельства мои вдруг так сошлись, что мне необходимо надо было узнать наконец всю правду об участи этого несчастного письма, а то я было уж стала забывать о нем… потому что я вовсе не из этого только принимала вас у себя, — прибавила она вдруг.

Сердце мое задрожало.

— Конечно нет, — улыбнулась она тонкой улыбкой, — конечно нет! Я… Вы очень метко заметили это давеча, Аркадий Макарович, что мы часто с вами говорили как студент с студентом. Уверяю вас, что мне очень скучно бывает иногда в людях; особенно стало это после заграницы и всех этих наших семейных несчастий… Я даже мало теперь и бываю где-нибудь, и не от одной только лени. Мне часто хочется уехать в деревню. Я бы там перечла мои любимые книги, которые уж давно отложила, а всё никак не сберусь прочесть. Я вам про это уж говорила. Помните, вы смеялись, что я читаю русские газеты, по две газеты в день?

— Я не смеялся…

— Конечно, потому что и вас это так же волновало, а я вам давно призналась: я русская и Россию люблю. Вы помните, мы всё с вами читали «факты», как вы это называли (улыбнулась она). Вы хоть и очень часто бываете какой-то… странный, но вы иногда так оживлялись, что всегда умели сказать меткое слово, и интересовались именно тем, что меня интересовало. Когда вы бываете «студентом», вы, право, бываете милы и оригинальны. Вот другие роли вам, кажется, мало идут, — прибавила она с прелестной, хитрой усмешкой. — Вы помните, мы иногда по целым часам говорили про одни только цифры, считали и примеривали, заботились о том, сколько школ у нас, куда

направляется просвещение. Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями… хотелось узнать, куда это всё стремится и что с нами самими, наконец, будет[*]. Я в вас встретила искренность. В свете с нами, с женщинами, так никогда не говорят, а на прошлой неделе заговорила было с князем — вым о Бисмарке, потому что очень интересовалась, а сама неумела решить, и вообразите, он сел подле и начал мне рассказывать, даже очень подробно, но всё с какой-то иронией и с тою именно нестерпимою для меня снисходительностью, с которою обыкновенно говорят «великие мужи» с нами, женщинами, если те сунутся «не в свое дело»… А помните, как мы о Бисмарке с вами чуть не поссорились? Вы мне доказывали, что у вас есть своя идея «гораздо почище» Бисмарковой, — засмеялась вдруг она. — Я в жизни встретила лишь двух людей, которые со мной говорили вполне серьезно: покойного мужа, очень, очень умного и… бла-го-родного человека, — произнесла она внушительно, — и еще — вы сами знаете кого…

— Версилова! — вскричал я. Я чуть дышал над каждым ее словом.

— Да; я очень любила его слушать, я стала с ним под конец вполне… слишком, может быть, откровенною, но тогда-то он мне и не поверил!

— Не поверил?

— Да, ведь и никто никогда мне не верил.

— Но Версилов, Версилов!

— Он не просто не поверил, — промолвила она, опустив глаза и странно как-то улыбнувшись, — а счел, что во мне «все пороки».

— Которых у вас нет ни одного!

— Нет, есть некоторые и у меня.

— Версилов не любил вас, оттого и не понял вас, — вскричал я, сверкая глазами.

Что-то передернулось в ее лице.

— Оставьте об этом и никогда не говорите мне об… этом человеке… — прибавила она горячо и с сильною настойчивостью. — Но довольно; пора. (Она встала, чтоб уходить). — Что ж, прощаете вы меня или нет? — проговорила она, явно смотря на меня.

— Мне… вас… простить! Послушайте, Катерина Николаевна, и не рассердитесь! правда, что вы выходите замуж?

— Это еще совсем не решено, — проговорила она, как бы

испугавшись чего-то, в смущении.

— Хороший он человек? Простите, простите мне этот вопрос!

— Да, очень хороший…

— Не отвечайте больше, не удостоивайте меня ответом! Я ведь знаю, что такие вопросы от меня невозможны! Я хотел лишь знать, достоин он или нет, но я про него узнаю сам.

— Ах, послушайте! — с испугом проговорила она.

— Нет, не буду, не буду. Я пройду мимо… Но вот что только скажу: дай вам бог всякого счастия, всякого, какое сами выберете… за то, что вы сами дали мне теперь столько счастья, в один этот час! Вы теперь отпечатались в душе моей вечно. Я приобрел сокровище: мысль о вашем совершенстве. Я подозревал коварство, грубое кокетство и был несчастен… потому что не мог с вами соединить эту мысль… в последние дни я думал день и ночь; и вдруг всё становится ясно как день! Входя сюда, я думал, что унесу иезуитство, хитрость, выведывающую змею, а нашел честь, славу, студента!.. Вы смеетесь? Пусть, пусть! Ведь вы — святая, вы не можете смеяться над тем, что священно…

— О нет, я тому только, что у вас такие ужасные слова… Ну, что такое «выведывающая змея»? — засмеялась она.

— У вас вырвалось сегодня одно драгоценное слово, — продолжал я в восторге. — Как могли вы только выговорить предо мной, «что рассчитывали на мою пылкость»? Ну пусть вы святая и признаетесь даже в этом, потому что вообразили в себе какую-то вину и хотели себя казнить… Хотя, впрочем, никакой вины не было, потому что если и было что, то от вас всё свято! Но все-таки вы могли не сказать именно этого слова, этого выражения!.. Такое неестественное даже чистосердечие показывает лишь высшее ваше целомудрие, уважение ко мне, веру в меня, — бессвязно восклицал я. — О, не краснейте, не краснейте!.. И кто, кто мог клеветать и говорить, что вы — страстная женщина? О, простите: я вижу мучительное выражение на вашем лице; простите исступленному подростку его неуклюжие слова! Да и в словах ли, в выражениях ли теперь дело? Не выше ли вы всех выражений?.. Версилов раз говорил, что Отелло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал![*].. Я это понял, потому что и мне сегодня возвратили мой идеал!

— Вы меня слишком хвалите: я не стою того, — произнесла она с

чувством. — Помните, что я говорила вам про ваши глаза? — прибавила она шутливо.

— Что у меня не глаза, а вместо глаз два микроскопа, что я каждую муху преувеличиваю в верблюда! Нет-с, тут не верблюд!.. Как, вы уходите?

Она стояла среди комнаты, с муфтой и с шалью в руке.

— Нет, я подожду, когда вы выйдете, а сама выйду потом. Я еще напишу два слова Татьяне Павловне.

— Я сейчас уйду, сейчас, но еще раз: будьте счастливы, одни или с тем, кого выберете, и дай вам бог! А мне — мне нужен лишь идеал!

— Милый, добрый Аркадий Макарович, поверьте, что я об вас… Про вас отец мой говорит всегда: «милый, добрый мальчик!» Поверьте, я буду помнить всегда ваши рассказы о бедном мальчике, оставленном в чужих людях, и об уединенных его мечтах… Я слишком понимаю, как сложилась душа ваша… Но теперь хоть мы и студенты, — прибавила она с просящей и стыдливой улыбкой, пожимая руку мою, — но нам нельзя уже более видеться как прежде и, и… верно, вы это понимаете?

— Нельзя?

— Нельзя, долго нельзя… в этом уж я виновата… Я вижу, что это теперь совсем невозможно… Мы будем встречаться иногда у папа…

«Вы боитесь „пылкости“ моих чувств, вы не верите мне?» — хотел было я вскричать; но она вдруг так предо мной застыдилась, что слова мои сами не выговорились.

— Скажите, — вдруг остановила она меня уже совсем у дверей, — вы сами видели, что… то письмо… разорвано? Вы хорошо это запомнили? Почему вы тогда узнали, что это было то самое письмо к Андроникову?

— Крафт мне рассказал его содержание и даже показал мне его… Прощайте! Когда я бывал у вас в кабинете, то робел при вас, а когда вы уходили, я готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ваша нога[*]…— проговорил я вдруг безотчетно, сам не зная как и для чего, и, не взглянув на нее, быстро вышел.

Я пустился домой; в моей душе был восторг. Всё мелькало в уме, как вихрь, а сердце было полно. Подъезжая к дому мамы, я вспомнил вдруг о Лизиной неблагодарности к Анне Андреевне, об ее жестоком, чудовищном слове давеча, и у меня вдруг заныло за них всех сердце! «Как у них у всех жестко на сердце! Да и Лиза, что с ней?» — подумал

я, став на крыльцо.

Я отпустил Матвея и велел приехать за мной, ко мне на квартиру в девять часов.

Глава пятая

I

К обеду я опоздал, но они еще не садились и ждали меня. Может быть, потому, что я вообще у них редко обедал, сделаны были даже кой-какие особые прибавления: явились на закуску сардины и проч. Но к удивлению моему и к горю, я застал всех чем-то как бы озабоченными, нахмуренными: Лиза едва улыбнулась, меня завидя, а мама видимо беспокоилась; Версилов улыбался, но с натуги. «Уж не поссорились ли?» — подумалось мне. Впрочем, сначала всё шло хорошо: Версилов только поморщился немного на суп с клецками и очень сгримасничал, когда подали зразы:

— Стоит только предупредить, что желудок мой такого-то кушанья не выносит, чтоб оно на другой же день и явилось, — вырвалось у него в досаде.

— Да ведь что ж, Андрей Петрович, придумать-то? Никак не придумаешь нового-то кушанья никакого, — робко ответила мама.

— Твоя мать — совершенная противоположность иным нашим газетам, у которых что ново, то и хорошо, — хотел было сострить Версилов поигривее и подружелюбнее; но у него как-то не вышло, и он только пуще испугал маму, которая, разумеется, ничего не поняла в сравнении ее с газетами и озиралась с недоумением. В эту минуту вошла Татьяна Павловна и, объявив, что уж отобедала, уселась подле мамы на диване.

Я всё еще не успел приобрести расположения этой особы; даже, напротив, она еще пуще стала на меня нападать за всё про всё. Особенно усилилось ее неудовольствие на меня за последнее время: она видеть не могла моего франтовского платья, а Лиза передавала мне, что с ней почти случился припадок, когда она узнала, что у меня лихач-извозчик. Я кончил тем, что по возможности стал избегать с ней встречи. Два месяца назад, после отдачи наследства, я было забежал к

ней поболтать о поступке Версилова, но не встретил ни малейшего сочувствия; напротив, она была страшно обозлена: ей очень не понравилось, что отдано всё, а не половина; мне же она резко тогда заметила:

— Бьюсь об заклад, ты уверен, что он и деньги отдал и на дуэль вызывал, единственно чтоб поправиться в мнении Аркадия Макаровича.

И ведь почти она угадала: в сущности я что-то в этом роде тогда действительно чувствовал.

Я тотчас понял, только что она вошла, что она непременно на меня накинется; даже был немножко уверен, что она, собственно, для этого и пришла, а потому я стал вдруг необыкновенно развязен; да и ничего мне это не стоило, потому что я всё еще, с давешнего, продолжал быть в радости и в сиянии. Замечу раз навсегда, что развязность никогда в жизни не шла ко мне, то есть не была мне к лицу, а, напротив, всегда покрывала меня позором. Так случилось и теперь: я мигом проврался; без всякого дурного чувства, а чисто из легкомыслия; заметив, что Лиза ужасно скучна, я вдруг брякнул, даже и не подумав о том, что говорю:

— В кои-то веки я здесь обедаю, и вот ты, Лиза, как нарочно, такая скучная!

— У меня голова болит, — ответила Лиза.

— Ах, боже мой, — вцепилась Татьяна Павловна, — что ж, что больна? Аркадий Макарович изволил приехать обедать, должна плясать и веселиться.

— Вы решительно — несчастье моей жизни, Татьяна Павловна; никогда не буду при вас сюда ездить! — и я с искренней досадой хлопнул ладонью по столу; мама вздрогнула, а Версилов странно посмотрел на меня. Я вдруг рассмеялся и попросил у них прощения.

— Татьяна Павловна, беру слово о несчастье назад, — обратился я к ней, продолжая развязничать.

— Нет, нет, — отрезала она, — мне гораздо лестнее быть твоим несчастьем, чем наоборот, будь уверен.

— Милый мой, надо уметь переносить маленькие несчастия жизни, — промямлил, улыбаясь, Версилов, — без несчастий и жить не стоит.

— Знаете, вы — страшный иногда ретроград, — воскликнул я, нервно смеясь.

— Друг мой, это наплевать.

— Нет, не наплевать! Зачем вы ослу не говорите прямо, когда он — осел?

— Уж ты не про себя ли? Я, во-первых, судить никого не хочу и не могу.

— Почему не хотите, почему не можете?

— И лень, и претит. Одна умная женщина мне сказала однажды, что я не имею права других судить потому, что «страдать не умею», а чтобы стать судьей других, надо выстрадать себе право на суд. Немного высокопарно, но в применении ко мне, может, и правда, так что я даже с охотой покорился суждению.

— Да неужто ж это Татьяна Павловна вам сказала? — воскликнул я.

— А ты почему узнал? — с некоторым удивлением взглянул Версилов.

— Да я по лицу Татьяны Павловны угадал: она вдруг так дернулась.

Я угадал случайно. Фраза эта действительно, как оказалось потом, высказана была Татьяной Павловной Версилову накануне в горячем разговоре. Да и вообще, повторяю, я с моими радостями и экспансивностями налетел на них всех вовсе не вовремя: у каждого из них было свое, и очень тяжелое.

— Ничего я не понимаю, потому что всё это так отвлеченно; и вот черта: ужасно как вы любите отвлеченно говорить, Андрей Петрович; это — эгоистическая черта; отвлеченно любят говорить одни только эгоисты.

— Неглупо сказано, но ты не приставай.

— Нет, позвольте, — лез я с экспансивностями, — что значит «выстрадать право на суд»? Кто честен, тот и судья — вот моя мысль.

— Немного же ты в таком случае наберешь судей.

— Одного уж я знаю.

— Кого это?

— Он теперь сидит и говорит со мной.

Версилов странно усмехнулся, нагнулся к самому моему уху и, взяв меня за плечо, прошептал мне: «Он тебе всё лжет».

Я до сих пор не понимаю, что у него тогда была за мысль, но очевидно он в ту минуту был в какой-то чрезвычайной тревоге (вследствие одного известия, как сообразил я после). Но это слово «он

тебе всё лжет» было так неожиданно и так серьезно сказано и с таким странным, вовсе не шутливым выражением, что я весь как-то нервно вздрогнул, почти испугался и дико поглядел на него; но Версилов поспешил рассмеяться.

— Ну и слава богу! — сказала мама, испугавшись тому, что он шептал мне на ухо, — а то я было подумала… Ты, Аркаша, на нас не сердись; умные-то люди и без нас с тобой будут, а вот кто тебя любить-то станет, коли нас друг у дружки не будет?

— Тем-то и безнравственна родственная любовь, мама, что она — не заслуженная. Любовь надо заслужить.

— Пока-то еще заслужишь, а здесь тебя и ни за что любят.

Все вдруг рассмеялись.

— Ну, мама, вы, может, и не хотели выстрелить, а птицу убили! — вскричал я, тоже рассмеявшись.

— А ты уж и в самом деле вообразил, что тебя есть за что любить, — набросилась опять Татьяна Павловна, — мало того, что даром тебя любят, тебя сквозь отвращенье они любят!

— Ан вот нет! — весело вскричал я, — знаете ли, кто, может быть, сказал мне сегодня, что меня любит?

— Хохоча над тобой, сказал! — вдруг как-то неестественно злобно подхватила Татьяна Павловна, как будто именно от меня и ждала этих слов. — Да деликатный человек, а особенно женщина, из-за одной только душевной грязи твоей в омерзение придет. У тебя пробор на голове, белье тонкое, платье у француза сшито, а ведь всё это — грязь! Тебя кто обшил, тебя кто кормит, тебе кто деньги, чтоб на рулетках играть, дает? Вспомни, у кого ты брать не стыдишься?

Мама до того вся вспыхнула, что я никогда еще не видал такого стыда на ее лице. Меня всего передернуло:

— Если я трачу, то трачу свои деньги и отчетом никому не обязан, — отрезал было я, весь покраснев.

— Чьи свои? Какие свои?

— Не мои, так Андрей Петровичевы. Он мне не откажет… Я брал у князя в зачет его долга Андрею Петровичу…

— Друг мой, — проговорил вдруг твердо Версилов, — там моих денег ни копейки нет.

Фраза была ужасно значительна. Я осекся на месте. О, разумеется, припоминая всё тогдашнее, парадоксальное и бесшабашное настроение

мое, я конечно бы вывернулся каким-нибудь «благороднейшим» порывом, или трескучим словечком, или чем-нибудь, но вдруг я заметил в нахмуренном лице Лизы какое-то злобное, обвиняющее выражение, несправедливое выражение, почти насмешку, и точно бес меня дернул:

— Вы, сударыня, — обратился я вдруг к ней, — кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Онисимовну? Так не угодно ли вам передать ему самой вот эти триста рублей, за которые вы меня сегодня уж так пилили!

Я вынул деньги и протянул ей. Ну поверят ли, что низкие слова эти были сказаны тогда без всякой цели, то есть без малейшего намека на что-нибудь. Да и намека такого не могло быть, потому что в ту минуту я ровнешенько ничего не знал. Может быть, у меня было лишь желание чем-нибудь кольнуть ее, сравнительно ужасно невинным, вроде того, что вот, дескать, барышня, а не в свое дело мешается, так вот не угодно ли, если уж непременно вмешаться хотите, самой встретиться с этим князем, с молодым человеком, с петербургским офицером, и ему передать, «если уж так захотели ввязываться в дела молодых людей». Но каково было мое изумление, когда вдруг встала мама и, подняв передо мной палец и грозя мне, крикнула:

— Не смей! Не смей!

Ничего подобного этому я не мог от нее представить и сам вскочил с места, не то что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, что случилось что-то тяжелое. Но мама не долго выдержала: закрыв руками лицо, она быстро вышла из комнаты. Лиза, даже не глянув в мою сторону, вышла вслед за нею. Татьяна Павловна с полминуты смотрела на меня молча:

— Да неужто ты в самом деле что-нибудь хотел сморозить? — загадочно воскликнула она, с глубочайшим удивлением смотря на меня, но, не дождавшись моего ответа, тоже побежала к ним. Версилов с неприязненным, почти злобным видом встал из-за стола и взял в углу свою шляпу.

— Я полагаю, что ты вовсе не так глуп, а только невинен, — промямлил он мне насмешливо. — Если придут, скажи, чтоб меня не ждали к пирожному: я немножко пройдусь.

Я остался один; сначала мне было странно, потом обидно, а потом я ясно увидел, что я виноват. Впрочем, я не знал, в чем, собственно, я виноват, а только что-то почувствовал. Я сидел у окна и ждал. Прождав

минут десять, я тоже взял шляпу и пошел наверх, в мою бывшую светелку. Я знал, что они там, то есть мама и Лиза, и что Татьяна Павловна уже ушла. Так я их и нашел обеих вместе на моем диване, об чем-то шептавшихся. При моем появлении обе тотчас же перестали шептаться. К удивлению моему, они на меня не сердились; мама по крайней мере мне улыбнулась.

— Я, мама, виноват… — начал было я.

— Ну, ну, ничего, — перебила мама, — а вот любите только друг дружку и никогда не ссорьтесь, то и бог счастья пошлет.

— Он, мама, никогда меня не обидит, я вам это говорю! — убежденно и с чувством проговорила Лиза.

— Если б не эта только Татьяна Павловна, ничего бы не вышло, — вскричал я, — скверная она!

— Видите, мама? Слышите? — указала ей на меня Лиза.

— Я вот что вам скажу обеим, — провозгласил я, — если в свете гадко, то гадок только я, а всё остальное — прелесть!

— Аркаша, не рассердись, милый, а кабы ты в самом деле перестал…

— Это играть? Играть? Перестану, мама; сегодня в последний раз еду, особенно после того, как Андрей Петрович сам и вслух объявил, что его денег там нет ни копейки. Вы не поверите, как я краснею… Я, впрочем, должен с ним объясниться… Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал… неловкое слово… мамочка, я врал: я хочу искренно веровать, я только фанфаронил, и очень люблю Христа…

У нас в прошлый раз действительно вышел разговор в этом роде; мама была очень огорчена и встревожена. Выслушав меня теперь, она улыбнулась мне как ребенку:

— Христос, Аркаша, всё простит: и хулу твою простит, и хуже твоего простит. Христос — отец, Христос не нуждается и сиять будет даже в самой глубокой тьме…

Я с ними простился и вышел, подумывая о шансах увидеться сегодня с Версиловым; мне очень надо было переговорить с ним, а давеча нельзя было. Я сильно подозревал, что он дожидается у меня на квартире. Пошел я пешком; с тепла принялось слегка морозить, и пройтись было очень приятно.

II

Я жил близ Вознесенского моста, в огромном доме[*], на Дворе. Почти входя в ворота, я столкнулся с выходившим от меня Версиловым.

— По моему обычаю, дошел, гуляя, до твоей квартиры и даже подождал тебя у Петра Ипполитовича, но соскучился. Они там у тебя вечно ссорятся, а сегодня жена у него даже слегла и плачет. Посмотрел и пошел.

Мне почему-то стало досадно.

— Вы, верно, только ко мне одному и ходите, и, кроме меня да Петра Ипполитовича, у вас никого нет во всем Петербурге?

— Друг мой… да ведь всё равно.

— Куда же теперь-то?

— Нет, уж я к тебе не вернусь. Если хочешь — пройдемся, славный вечер.

— Если б вместо отвлеченных рассуждений вы говорили со мной по-человечески и, например, хоть намекнули мне только об этой проклятой игре, я бы, может, не втянулся как дурак, — сказал я вдруг.

— Ты раскаиваешься? Это хорошо, — ответил он, цедя слова, — я и всегда подозревал, что у тебя игра — не главное дело, а лишь вре-менное уклонение… Ты прав, мой друг, игра — свинство, и к тому же можно проиграться.

— И чужие деньги проигрывать.

— А ты проиграл и чужие?

— Ваши проиграл. Я брал у князя за ваш счет. Конечно, это — страшная нелепость и глупость с моей стороны… считать ваши деньги своими, но я всё хотел отыграться.

— Предупреждаю тебя еще раз, мой милый, что там моих денег нет. Я знаю, этот молодой человек сам в тисках, и я на нем ничего не считаю, несмотря на его обещания.

— В таком случае, я в вдвое худшем положении… я в комическом положении! И с какой стати ему мне давать, а мне у него брать после этого?

— Это — уж твое дело… А действительно, нет ни малейшей стати тебе брать у него, а?

— Кроме товарищества…

— Нет, кроме товарищества? Нет ли чего такого, из-за чего бы ты находил возможным брать у него, а? Ну, там по каким бы то ни было соображениям?

— По каким это соображениям? Я не понимаю.

— И тем лучше, что не понимаешь, и, признаюсь, мой друг, я был в этом уверен. Brisons-la, mon cher,[42] и постарайся как-нибудь не играть.

— Если б вы мне зараньше сказали! Вы и теперь мне говорите точно мямлите.

— Если б я зараньше сказал, то мы бы с тобой только рассорились, и ты меня не с такой бы охотою пускал к себе по вечерам. И знай, мой милый, что все эти спасительные заранее советы — всё это есть только вторжение на чужой счет в чужую совесть. Я достаточно вскакивал в совесть других и в конце концов вынес одни щелчки и насмешки. На щелчки и насмешки, конечно, наплевать, но главное в том, что этим маневром ничего и не достигнешь: никто тебя не послушается, как ни вторгайся… и все тебя разлюбят.

— Я рад, что вы со мной начали говорить не об отвлеченностях. Я вас еще об одном хочу спросить, давно хочу, но всё как-то с вами нельзя было. Хорошо, что мы на улице. Помните, в тот вечер у вас, в последний вечер, два месяца назад, как мы сидели с вами у меня «в гробе» и я расспрашивал вас о маме и о Макаре Ивановиче, — помните ли, как я был с вами тогда «развязен»? Можно ли было позволить пащенку-сыну в таких терминах говорить про мать? И что ж? вы ни одним словечком не подали виду: напротив, сами «распахнулись», а тем и меня еще пуще развязали.

— Друг ты мой, мне слишком приятно от тебя слышать… такие чувства… Да, я помню очень, я действительно ждал тогда появления краски в твоем лице, и если сам поддавал, то, может быть, именно чтоб довести тебя до предела…

— И только обманули меня тогда и еще пуще замутили чистый источник в душе моей! Да, я — жалкий подросток и сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку дороги, и я бы догадался и тотчас вскочил на правый путь. Но вы только меня тогда разозлили.

— Cher enfant, я всегда предчувствовал, что мы, так или иначе, а с тобой сойдемся: эта «краска» в твоем лице пришла же теперь к тебе сама собой и без моих указаний, а это, клянусь, для тебя же лучше… Ты, мой милый, я замечаю, в последнее время много приобрел… неужто в обществе этого князька?

— Не хвалите меня, я этого не люблю. Не оставляйте в моем сердце

тяжелого подозрения, что вы хвалите из иезуитства, во вред истине, чтоб не переставать нравиться. А в последнее время… видите ли… я к женщинам ездил. Я очень хорошо принят, например, у Анны Андреевны, вы знаете?

— Я это знаю от нее же, мой друг. Да, она — премилая и умная. Mais brisons-la, mon cher. Мне сегодня как-то до странности гадко — хандра, что ли? Приписываю геморрою. Что дома? Ничего? Ты там, разумеется, примирился, и были объятия? Cela va sans dire.[43] Грустно как-то к ним иногда бывает возвращаться, даже после самой скверной прогулки. Право, иной раз лишний крюк по дождю сделаю, чтоб только подольше не возвращаться в эти недра… И скучища же, скучища, о боже!

— Мама…

— Твоя мать — совершеннейшее и прелестнейшее существо, mais…[44] Одним словом, я их, вероятно, не стою. Кстати, что у них там сегодня? Они за последние дни все до единой какие-то такие… Я, знаешь, всегда стараюсь игнорировать, но там что-то у них сегодня завязалось… Ты ничего не заметил?

— Ничего не знаю решительно и даже не заметил бы совсем, если б не эта проклятая Татьяна Павловна, которая не может не полезть кусаться. Вы правы: там что-то есть. Давеча я Лизу застал у Анны Андреевны; она и там еще была какая-то… даже удивила меня. Ведь вы знаете, что она принята у Анны Андреевны?

— Знаю, мой друг. А ты… ты когда же был давеча у Анны Андреевны, в котором именно часу то есть? Это мне надо для одного факта.

— От двух до трех. И представьте, когда я выходил, приезжал князь…

Тут я рассказал ему весь мой визит до чрезвычайной подробности. Он всё выслушал молча; о возможности сватовства князя к Анне Андреевне не промолвил ни слова; на восторженные похвалы мои Анне Андреевне промямлил опять, что «она — милая».

— Я ее чрезвычайно успел удивить сегодня, сообщив ей самую свежеиспеченную светскую новость о том, что Катерина Николаевна Ахмакова выходит за барона Бьоринга, — сказал я вдруг, как будто вдруг что-то сорвалось у меня.

— Да? Представь же себе, она мне эту самую «новость» сообщила

еще давеча, раньше полудня, то есть гораздо раньше, чем ты мог удивить ее.

— Что вы? — так и остановился я на месте, — а откуда ж она узнать могла? А впрочем, что ж я? разумеется, она могла узнать раньше моего, но ведь представьте себе: она выслушала от меня, как совершенную новость! Впрочем… впрочем, что ж я? да здравствует широкость! Надо широко допускать характеры, так ли? Я бы, например, тотчас всё разболтал, а она запрет в табакерку… И пусть, и пусть, тем не менее она — прелестнейшее существо и превосходнейший характер!

— О, без сомнения, каждый по-своему! И что оригинальнее всего: эти превосходные характеры умеют иногда чрезвычайно своеобразно озадачивать; вообрази, Анна Андреевна вдруг огорошивает меня сегодня вопросом: «Люблю ли я Катерину Николаевну Ахмакову или нет?»

— Какой дикий и невероятный вопрос! — вскричал я, опять ошеломленный. У меня даже замутилось в глазах. Никогда еще я не заговаривал с ним об этой теме, и — вот он сам…

— Чем же она формулировала?

— Ничем, мой друг, совершенно ничем; табакерка заперлась тотчас же и еще пуще, и, главное, заметь, ни я не допускал никогда даже возможности подобных со мной разговоров, ни она… Впрочем, ты сам говоришь, что ее знаешь, а потому можешь представить, как к ней идет подобный вопрос… Уж не знаешь ли ты чего?

— Я так же озадачен, как и вы. Любопытство какое-нибудь, может быть, шутка?

— О, напротив, самый серьезный вопрос, и не вопрос, а почти, так сказать, запрос, и очевидно для самых чрезвычайных и категорических причин. Не будешь ли у ней? Не узнаешь ли чего? Я бы тебя даже просил, видишь ли…

— Но возможность, главное — возможность только предположить вашу любовь к Катерине Николаевне! Простите, я всё еще не выхожу из остолбенения. Я никогда, никогда не дозволял себе говорить с вами на эту или на подобную тему…

— И благоразумно делал, мой милый.

— Ваши бывшие интриги и ваши сношения — уж конечно, эта тема между нами неприлична, и даже было бы глупо с моей стороны; но я, именно за последнее время, за последние дни, несколько раз

восклицал про себя: что, если б вы любили хоть когда-нибудь эту женщину, хоть минутку? — о, никогда бы вы не сделали такой страшной ошибки на ее счет в вашем мнении о ней, как та, которая потом вышла! О том, что вышло, — про то я знаю: о вашей обоюдной вражде и о вашем отвращении, так сказать, обоюдном друг от друга я знаю, слышал, слишком слышал, еще в Москве слышал; но ведь именно тут прежде всего выпрыгивает наружу факт ожесточенного отвращения, ожесточенность неприязни, именно *нелюбви*, а Анна Андреевна вдруг задает вам: «Любите ли?» Неужели она так плохо рансеньирована[*]? Дикое что-то! Она смеялась, уверяю вас, смеялась!

— Но я замечаю, мой милый, — послышалось вдруг что-то нервное и задушевное в его голосе, до сердца проницающее, что ужасно редко бывало с ним, — я замечаю, что ты и сам слишком горячо говоришь об этом. Ты сказал сейчас, что ездишь к женщинам… мне, конечно, тебя расспрашивать как-то… на эту тему, как ты выразился… Но и «эта женщина» не состоит ли тоже в списке недавних друзей твоих?

— Эта женщина… — задрожал вдруг мой голос, — слушайте, Андрей Петрович, слушайте: эта женщина есть то, что вы давеча у этого князя говорили про «живую жизнь», — помните? Вы говорили, что эта «живая жизнь» есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на вас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтоб это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем… Ну вот, с таким взглядом вы встретили и женщину-идеал и в совершенстве, в идеале признали — «все пороки»! Вот вам!

Читатель может судить, в каком я был исступлении.

— «Все пороки»! Ого! Эту фразу я знаю! — воскликнул Версилов. — И если уж до того дошло, что тебе сообщена такая фраза, то уж не поздравить ли тебя с чем? Это означает такую интимность между вами, что, может быть, придется даже похвалить тебя за скромность и тайну, к которой способен редкий молодой человек…

В его голосе сверкал милый, дружественный, ласкающий смех… что-то вызывающее и милое было в его словах, в его светлом лице, насколько я мог заметить ночью. Он был в удивительном возбуждении. Я весь засверкал поневоле.

— Скромность, тайна! О нет, нет! — восклицал я, краснея и в то же время сжимая его руку, которую как-то успел схватить и, не замечая

того, не выпускал ее. — Нет, ни за что!.. Одним словом, меня поздравлять не с чем, и тут никогда, никогда не может ничего случиться, — задыхался я и летел, и мне так хотелось лететь, мне так было это приятно, — знаете… ну уж пусть будет так однажды, один маленький разочек! Видите, голубчик, славный мой папа, — вы позволите мне вас назвать папой, — не только отцу с сыном, но и всякому нельзя говорить с третьим лицом о своих отношениях к женщине, даже самых чистейших! Даже чем чище, тем тут больше должно положить запрету! Это претит, это грубо, одним словом — конфидент невозможен! Но ведь если нет ничего, ничего совершенно, то ведь тогда можно говорить, можно?

— Как сердце велит.

— Нескромный, очень нескромный вопрос: ведь вы, в вашу жизнь, знавали женщин, имели связи?.. Я вообще, вообще, я не в частности! — краснел я и захлебывался от восторга.

— Положим, бывали грехи.

— Так вот что — случай, а вы мне его разъясните, как более опытный человек: вдруг женщина говорит, прощаясь с вами, этак нечаянно, сама смотрит в сторону: «Я завтра в три часа буду там-то»… ну, положим, у Татьяны Павловны, — сорвался я и полетел окончательно. Сердце у меня стукнуло и остановилось; я даже говорить приостановился, не мог. Он ужасно слушал.

— И вот, завтра я в три часа у Татьяны Павловны, вхожу и рассуждаю так: «Отворит кухарка, — вы знаете ее кухарку? — я и спрошу первым словом: дома Татьяна Павловна? И если кухарка скажет, что нет дома Татьяны Павловны, а что ее какая-то гостья сидит и ждет», — что я тогда должен заключить, скажите, если вы… Одним словом, если вы…

— Просто-запросто, что тебе назначено было свидание. Но, стало быть, это было? И было сегодня? Да?

— О нет, нет, нет, ничего, ничего! Это было, но было не то; свидание, но не для того, и я это прежде всего заявляю, чтоб не быть подлецом, было, но…

— Друг мой, всё это начинает становиться до того любопытным, что я предлагаю…

— Сам давал по десяти и по двадцати пяти просителям. На крючок! Только несколько копеек, умоляет пору чик, просит бывший поручик![*]

— загородила нам вдруг дорогу высокая фигура просителя; может быть действительно отставного поручика. Любопытнее всего, что он весьма даже хорошо был одет для своей профессии, а между тем протягивал руку.

III

Этот мизернейший анекдот о ничтожном поручике я нарочно не хочу пропустить, так как весь Версилов вспоминается мне теперь не иначе как со всеми мельчайшими подробностями обстановки тогдашней роковой для него минуты. Роковой, а я и не знал того!

— Если вы, сударь, не отстанете, то я немедленно позову полицию, — вдруг как-то неестественно возвысил голос Версилов, останавливаясь пред поручиком.

Я бы никогда не мог вообразить такого гнева от такого философа и из-за такой ничтожной причины. И заметьте, что мы прервали разговор на самом интереснейшем для него месте, о чем он и сам заявил.

— Так неужто у вас и пятелтышки нет? — грубо прокричал поручик, махнув рукой, — да у какой же теперь канальи есть пятелтынный! Ракальи! Подлецы! Сам в бобрах, а из-за пятелтынного государственный вопрос делает!

— Городовой! — крикнул Версилов.

Но кричать и не надо было: городовой как раз стоял на углу и сам слышал брань поручика.

— Я вас прошу быть свидетелем оскорбления, а вас прошу пожаловать в участок, — проговорил Версилов.

— Э-э, мне всё равно, решительно ничего не докажете! Преимущественно ума не докажете!

— Не упускайте, городовой, и проводите нас, — настоятельно заключил Версилов.

— Да неужто мы в участок? Черт с ним! — прошептал я ему.

— Непременно, мой милый. Эта бесшабашность на наших улицах начинает надоедать до безобразия*, и если б каждый исполнял свой долг, то вышло бы всем полезнее. C'est comique, mais c'est ce que nous ferons.[45]

Шагов сотню поручик очень горячился, бодрился и храбрился; он

уверял, что «так нельзя», что тут «из пятелтышки» и проч., и проч. Но наконец начал что-то шептать городовому. Городовой., человек рассудительный и видимо враг уличных нервностей, кажется, был на его стороне, но лишь в известном смысле. Он бормотал ему вполголоса на его вопросы, что «теперь уж нельзя», что «дело вышло» и что «если б, например, вы извинились, а господин согласился принять извинение, то тогда разве…»

— Ну, па-а-слушайте, милостивый государь, ну, куда мы идем? Я вас спрашиваю: куда мы стремимся и в чем тут остроумие? — громко прокричал поручик. — Если человек несчастный в своих неудачах соглашается принесть извинение… если, наконец, вам надо его унижение… Черт возьми, да не в гостиной же мы, а на улице! Для улицы и этого извинения достаточно…

Версилов остановился и вдруг расхохотался; я даже было подумал, что всю эту историю он вел для забавы, но это было не так.

— Совершенно вас извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со способностями. Действуйте так и в гостиной — скоро и для гостиной этого будет совершенно достаточно, а пока вот вам два двугривенных, выпейте и закусите; извините, городовой, за беспокойство, поблагодарил бы и вас за труд, но вы теперь на такой благородной ноге… Милый мой, — обратился он ко мне, — тут есть одна харчевня, в сущности страшный клоак, но там можно чаю напиться, и я б тебе предложил… вот тут сейчас, пойдем же.

Повторяю, я еще не видал его в таком возбуждении, хотя лицо его было весело и сияло светом; но я заметил, что когда он вынимал из портмоне два двугривенных, чтоб отдать офицеру, то у него дрожали руки, а пальцы совсем не слушались, так что он наконец попросил меня вынуть и дать поручику; я забыть этого не могу.

Привел он меня в маленький трактир на канаве[*], внизу. Публики было мало. Играл расстроенный сиплый органчик, пахло засаленными салфетками; мы уселись в углу.

— Ты, может быть, не знаешь? я люблю иногда от скуки… от ужасной душевной скуки… заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из «Лючии»[*], эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из биллиардной — всё это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим. Ну, так что ж, мой милый? этот сын Марса остановил

нас на самом, кажется, интересном месте… А вот и чай; я люблю здесь чай… Представь, Петр Ипполитович вдруг сейчас стал там уверять этого другого рябого постояльца, что в английском парламенте, в прошлом столетии, нарочно назначена была комиссия из юристов, чтоб рассмотреть весь процесс Христа перед первосвященником и Пилатом, единственно чтоб узнать, как теперь это будет по нашим законам, и что всё было произведено со всею торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим… ну и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор… Удивительно что такое! Тот дурак жилец стал спорить, обозлился и рассорился и объявил, что завтра съезжает… хозяйка расплакалась, потому что теряет доход… Mais passons.[46]В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь старый московский анекдот à la Петр Ипполитович? Поет в московском трактире соловей, входит купец «ндраву моему не препятствуй[*]»: «Что стоит соловей?» — «Сто рублей». — «Зажарить и подать!» Зажарили и подали. «Отрежь на гривенник». Я Петру Ипполитовичу рассказывал раз, но он не поверил, и даже с негодованием…

Он много еще говорил. Привожу эти отрывки для образчика. Он беспрерывно меня перебивал, чуть лишь я раскрывал рот, чтоб начать мой рассказ, и начинал говорить совершенно какой-нибудь особенный и не идущий вздор; говорил возбужденно, весело; смеялся бог знает чему и даже хихикал, чего я от него никогда не видывал. Он залпом выпил стакан чаю и налил новый. Теперь мне понятно: он походил тогда на человека, получившего дорогое, любопытное и долго ожидаемое письмо и которое тот положил перед собой и нарочно не распечатывает, напротив, долго вертит в руках, осматривает конверт, печать, идет распорядиться в другую комнату, отдаляет, одним словом, интереснейшую минуту, зная, что она ни за что не уйдет от него, и всё это для большей полноты наслаждения.

Я, разумеется, всё рассказал ему, всё с самого начала, рассказывал, может быть, около часу. Да и как могло быть иначе; я жаждал говорить еще давеча. Я начал с самой первой нашей встречи, тогда у князя, по ее приезде из Москвы; потом рассказал, как всё это шло постепенно. Я не пропустил ничего, да и не мог пропустить: он сам наводил, он угадывал, он подсказывал. Мгновениями мне казалось, что происходит что-то фантастическое, что он где-нибудь там сидел или стоял за дверьми, каждый раз, во все эти два месяца: он знал вперед каждый мой жест,

каждое мое чувство. Я ощущал необъятное наслаждение в этой исповеди ему, потому что видел в нем такую задушевную мягкость, такую глубокую психологическую тонкость, такую удивительную способность угадывать с четверть слова. Он выслушивал нежно, как женщина. Главное, он сумел сделать так, что я ничего не стыдился; иногда он вдруг останавливал меня на какой-нибудь подробности; часто останавливал и нервно повторял: «Не забывай мелочей, главное — не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она важнее». И в этом роде он несколько раз перебивал меня. О, разумеется, я начал сначала свысока, к ней свысока, но быстро свел на истину. Я искренно рассказал ему, что готов был бросаться целовать то место на полу, где стояла ее нога. Всего краше, всего светлее было то, что он в высшей степени понял, что «можно страдать страхом по документу» и в то же время оставаться чистым и безупречным существом, каким она сегодня передо мной открылась. Он в высшей степени понял слово «студент». Но когда я уже оканчивал, то заметил, что сквозь добрую улыбку его начало по временам проскакивать что-то уж слишком нетерпеливое в его взгляде, что-то как бы рассеянное и резкое. Когда я дошел до «документа», то подумал про себя: «Сказать ему настоящую правду или не сказать?» — и не сказал, несмотря на весь мой восторг. Это я отмечаю здесь для памяти на всю мою жизнь. Я ему объяснил дело так же, как и ей, то есть Крафтом. Глаза его загорелись. Странная складка мелькнула на лбу, очень мрачная складка.

— Ты твердо помнишь, мой милый, об этом письме, что Крафт его сжег на свечке? Ты не ошибаешься?

— Не ошибаюсь, — подтвердил я.

— Дело в том, что эта грамотка слишком важна для нее, и, будь только она у тебя сегодня в руках, то ты бы сегодня же мог… — Но что «мог», он не договорил. — А что, у тебя нет ее теперь в руках?

Я весь вздрогнул внутри, но не снаружи. Снаружи я ничем не выдал себя, не смигнул; но я всё еще не хотел верить вопросу.

— Как нет в руках? *Теперь* в руках? Да ведь если Крафт ее тогда сжег?

— Да? — устремил он на меня огневой, неподвижный взгляд, памятный мне взгляд. Впрочем, он улыбался, но всё добродушие его, вся женственность выражения, бывшая досела, вдруг исчезли. Настало что-то неопределенное и расстроенное; он всё более и более становился

рассеян. Владей он тогда собой более, именно так, как до той минуты владел, он не сделал бы мне этого вопроса о документе; если же сделал, то наверно потому, что сам был в исступлении. Впрочем, я говорю лишь теперь; но тогда я не так скоро вникнул в перемену, происшедшую с ним: я всё еще продолжал лететь, а в душе была всё та же музыка. Но рассказ был кончен; я смотрел на него.

— Удивительное дело, — проговорил он вдруг, когда я уже высказал всё до последней запятой, — престранное дело, мой друг: ты говоришь, что был там от трех до четырех и что Татьяны Павловны не было дома?

— Ровно от трех до половины пятого.

— Ну, представь же себе, я заходил к Татьяне Павловне ровнешенько в половину четвертого, минута в минуту, и она встретила меня в кухне: я ведь почти всегда к ней хожу через черный ход.

— Как, она встретила вас в кухне? — вскричал я, отшатнувшись от изумления.

— Да, и объявила мне, что не может принять меня; я у ней пробыл минуты две, а заходил лишь позвать ее обедать.

— Может быть, она только что откуда-нибудь воротилась?

— Не знаю; впрочем — конечно нет. Она была в своей распашной кофте. Это было ровнешенько в половине четвертого.

— Но… Татьяна Павловна не сказала вам, что я тут?

— Нет, она мне не сказала, что ты тут… Иначе я бы знал и тебя об этом не спрашивал.

— Послушайте, это очень важно…

— Да… с какой точки судя; и ты даже побледнел, мой милый; а впрочем, что же так уж важно-то?

— Меня осмеяли как ребенка!

— Просто «побоялась твоей пылкости», как сама она тебе выразилась, — ну, и заручилась Татьяной Павловной.

— Но боже, какая это была проделка! Послушайте, она дала мне всё это высказать при третьем лице, при Татьяне Павловне; та, стало быть, всё слышала, что я давеча говорил! Это… это ужасно даже вообразить!

— C'est selon, mon cher.[47] И притом же ты сам давеча упомянул о «широкости» взгляда на женщину вообще и воскликнул: «Да здравствует широкость!»

— Если б я был Отелло, а вы — Яго, то вы не могли бы лучше[*]… впрочем, я хохочу! Не может быть никакого Отелло, потому что нет никаких подобных отношений. Да и как не хохотать! Пусть! Я все-таки верю в то, что бесконечно меня выше, и не теряю моего идеала!.. Если это — шутка с ее стороны, то я прощаю. Шутка с жалким подростком — пусть! Да ведь и не рядил же я себя ни во что, а студент — студент все-таки был и остался, несмотря ни на что, в душе ее был, в сердце ее был, существует и будет существовать! Довольно! Послушайте, как вы думаете: поехать мне к ней сейчас, чтобы всю правду узнать, или нет?

Я говорил «хохочу», а у меня были слезы на глазах.

— Что ж? съезди, мой друг, если хочешь.

— Я как будто измарался душой, что вам всё это пересказал. Не сердитесь, голубчик, но об женщине, я повторяю это, — об женщине нельзя сообщать третьему лицу; конфидент не поймет. Ангел и тот не поймет. Если женщину уважаешь — не бери конфидента, если себя уважаешь — не бери конфидента! Я теперь не уважаю себя. До свиданья; не прощу себя…

— Полно, мой милый, ты преувеличиваешь. Сам же ты говоришь, что «ничего не было».

Мы вышли на канаву и стали прощаться.

— Да неужто ты никогда меня не поцелуешь задушевно, по-детски, как сын отца? — проговорил он мне с странною дрожью в голосе. Я горячо поцеловал его[*].

— Милый… будь всегда так же чист душой, как теперь.

Никогда в жизни я еще не целовал его, никогда бы я не мог вообразить, что он сам захочет.

Глава шестая

I

«Разумеется, ехать! — решил было я, поспешая домой, — сейчас же ехать. Весьма вероятно, что застану ее дома одну; одну или с кем-нибудь — всё равно: можно вызвать. Она меня примет; удивится, но примет. А не примет, то я настою, чтоб приняла, пошлю сказать, что

крайне нужно. Она подумает, что что-нибудь о документе, и примет. И узнаю всё об Татьяне. А там… а там что ж? Если я не прав, я ей заслужу, а если я прав, а она виновата, то ведь тогда уж конец всему! Во всяком случае — конец всему! Что ж я проигрываю? Ничего не проигрываю. Ехать! Ехать!»

И вот, никогда не забуду и с гордостью вспомяну, что я *не* поехал! Это никому не будет известно, так и умрет, но довольно и того, что это мне известно и что я в такую минуту был способен на благороднейшее мгновение! «Это искушение, а я пройду мимо его, — решил я наконец, одумавшись, — меня пугали фактом, а я не поверил и не потерял веру в ее чистоту! И зачем ехать, о чем справляться? Почему она так непременно должна была верить в меня, как я в нее, в мою „чистоту“, не побояться „пылкости“ и не заручиться Татьяной? Я еще не заслужил этого в ее глазах. Пусть, пусть она не знает, что я заслуживаю, что я не соблазняюсь „искушениями“, что я не верю злым на нее наветам: зато я сам это знаю и буду себя уважать за это. Уважать свое чувство. О да, она допустила меня высказаться при Татьяне, она допустила Татьяну, она знала, что тут сидит и подслушивает Татьяна (потому что та не могла не подслушивать), она знала, что та надо мной смеется, — это ужасно, ужасно! Но… но ведь — если невозможно было этого избежать? Что ж она могла сделать в давешнем положении и как же ее за это винить? Ведь налгал же я ей давеча сам про Крафта, ведь обманул же и я ее, потому что невозможно было тоже этого избежать, и я невольно, невинно налгал. Боже мой! — воскликнул я вдруг, мучительно краснея, — а сам-то, сам-то что я сейчас сделал: разве я не потащил ее перед ту же Татьяну, разве я не рассказал же сейчас всё Версилову? Впрочем, что ж я? тут — разница. Тут было только о документе; я, в сущности, сообщил Версилову лишь о документе, потому что и не было больше чем сообщать, и не могло быть. Не я ли первый предуведомил его и кричал, что „не могло быть“? Это — человек понимающий. Гм… Но какая же, однако, ненависть в его сердце к этой женщине даже доселе! И какая же, должно быть, драма произошла тогда между ними и из-за чего? Конечно, из самолюбия! *Версилов ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен!»*

Да, эта последняя мысль вырвалась у меня тогда, и я даже не заметил ее. Вот какие мысли, последовательно одна за другой,

пронеслись тогда в моей голове, и я был чистосердечен тогда с собой: я не лукавил, не обманывал сам себя; и если чего не осмыслил тогда в ту минуту, то потому лишь, что ума недостало, а не из иезуитства пред самим собой.

Я воротился домой в ужасно возбужденном и, не знаю почему, в ужасно веселом состоянии духа, хотя в очень смутном. Но я боялся анализировать и всеми силами старался развлечься. Тотчас же я пошел к хозяйке: действительно, между мужем и ею шел страшный разрыв. Это была очень чахоточная чиновница, может быть и добрая, но, как все чахоточные, чрезвычайно капризная. Я тотчас их начал мирить, сходил к жильцу, очень грубому, рябому дураку, чрезвычайно самолюбивому чиновнику, служившему в одном банке, Червякову, которого я очень сам не любил, но с которым жил, однако же, ладно, потому что имел низость часто подтрунивать вместе с ним над Петром Ипполитовичем. Я тотчас уговорил его не переезжать, да он и сам не решился бы в самом-то деле переехать. Кончилось тем, что хозяйку я успокоил окончательно и, сверх того, сумел отлично поправить ей под головой подушку. «Никогда-то вот не сумеет этак Петр Ипполитович», — злорадно заключила она. Затем возился на кухне с ее горчишниками к собственноручно изготовил ей два превосходных горчишника. Бедный Петр Ипполитович только смотрел на меня и завидовал, но я ему не дал и прикоснуться и был награжден буквально слезами ее благодарности. И вот, помню, мне вдруг это всё надоело, и я вдруг догадался, что я вовсе не по доброте души ухаживал за больной, а так, по чему-то, по чему-то совсем другому.

Я нервно ждал Матвея: в этот вечер я решил в последний раз испытать счастье и… и, кроме счастья, ощущал ужасную потребность играть; иначе бы было невыносимо. Если б никуда не ехать, я бы, может быть, не утерпел и поехал к ней. Матвей должен был скоро явиться, но вдруг отворилась дверь и вошла неожиданная гостья, Дарья Онисимовна. Я поморщился и удивился. Она знала мою квартиру потому, что раз когда-то, по поручению мамы, заходила ко мне. Я ее посадил и стал глядеть на нее вопросительно. Она ничего не говорила, смотрела мне только прямо в глаза и приниженно улыбалась.

— Вы не от Лизы ли? — вздумалось мне спросить.

— Нет, я так-с.

Я предупредил ее, что сейчас уеду; она опять ответила, что «она

так» и сейчас сама уйдет. Мне стало почему-то вдруг ее жалко. Замечу, что от всех нас, от мамы и особенно от Татьяны Павловны, она видела много участья, но, пристроив ее у Столбеевой, все наши как-то стали ее забывать, кроме разве Лизы, часто навещавшей ее. Причиной тому, кажется, была она сама, потому что обладала способностью отдаляться и стушевываться, несмотря на всю свою приниженность и заискивающие улыбки. Мне же лично очень не нравились эти улыбки ее и то, что она всегда видимо подделывала лицо, и я даже подумал о ней однажды, что не долго же она погрустила о своей Оле. Но в этот раз мне почему-то стало жалко ее.

И вот, вдруг она, ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдруг, бросив обе руки вперед, обхватила меня за талью, а лицом наклонилась к моим коленям. Она схватила мою руку, я думал было, что целовать, но она приложила ее к глазам, и горячие слезы струей полились на нее. Она вся тряслась от рыданий, но плакала тихо. У меня защемило сердце, несмотря на то что мне стало как бы и досадно. Но она совершенно доверчиво обнимала меня, нисколько не боясь, что я рассержусь, несмотря на то что сейчас же пред сим так боязливо и раболепно мне улыбалась. Я ее начал просить успокоиться.

— Батюшка, голубчик, не знаю, что делать с собой. Как сумерки, так я и не выношу; как сумерки, так и перестаю выносить, так меня и потянет на улицу, в мрак. И тянет, главное, мечтание. Мечта такая зародилась в уме, что — вот-вот я как выйду, так вдруг и встречу ее на улице. Хожу и как будто вижу ее. То есть это другие ходят, а я сзади нарочно иду да и думаю: не она ли, вот-вот, думаю, это Оля моя и есть? И думаю, и думаю. Одурела под конец, только о народ толкаюсь, тошно. Точно пьяная толкаюсь, иные бранятся. Я уж таю про себя и ни к кому не хожу. Да и куда придешь — еще тошней. Проходила сейчас мимо вас, подумала: «Дай зайду к нему; он всех добрее, и тогда был при том». Батюшка, простите вы меня, бесполезную; я уйду сейчас

и пойду…

Она вдруг поднялась и заторопилась. Тут как раз прибыл Матвей; я посадил ее с собой в сани и по дороге завез ее к ней домой, на квартиру Столбеевой.

II

В самое последнее время я стал ездить на рулетку Зерщикова[*]. До того же времени ездил дома в три, всё с князем, который «вводил» меня в эти места. В одном из этих домов преимущественно шел банк и играли на очень значительные деньги. Но там я не полюбил: я видел, что там хорошо при больших деньгах и, кроме того, туда слишком много приезжало нахальных людей и «гремящей» молодежи из высшего света. Это-то князь и любил; любил он и играть, но любил и якшаться с этими сорванцами. Я заметил, что на этих вечерах он хоть и входил иногда со мной вместе рядом, но от меня как-то, в течение вечера, отдалялся и ни с кем «из своих» меня не знакомил. Я же смотрел совершенным дикарем и даже иногда до того, что, случалось, обращал на себя тем внимание. За игорным столом приходилось даже иногда говорить кой с кем; но раз я попробовал на другой день, тут же в комнатах, раскланяться с одним господчиком, с которым не только говорил, но даже и смеялся накануне, сидя рядом, и даже две карты ему угадал, и что ж — он совершенно не узнал меня. То есть хуже: посмотрел как бы с выделанным недоумением и прошел мимо улыбнувшись. Таким образом, я скоро там бросил и пристрастился ездить в один клоак — иначе не умею назвать. Это была рулетка, довольно ничтожная, мелкая, содержимая одной содержанкой, хотя та в залу сама и не являлась. Там было ужасно нараспашку, и хотя бывали и офицеры, и богачи купцы, но всё происходило с грязнотцой, что многих, впрочем, и привлекало. Кроме того, там мне часто везло. Но я и тут бросил после одной омерзительной истории, случившейся раз в самом разгаре игры и окончившейся дракой каких-то двух игроков, и стал ездить к Зерщикову, к которому опять-таки ввел меня князь. Это был отставной штабс-ротмистр, и тон на его вечерах был весьма сносный, военный, щекотливо-раздражительный к соблюдению форм чести, краткий и деловой. Шутников, например, и больших кутил там не появлялось. Кроме того, ответный банк был очень даже нешуточный. Играли же в банк и в рулетку. До сего вечера, пятнадцатого ноября, я побывал там всего раза два, и Зерщиков, кажется, уже знал меня в лицо; но знакомых я еще никого не имел. Как нарочно, и князь с Дарзаном явились в этот вечер уже около полуночи, воротясь с того банка светских сорванцов, который я бросил: таким образом, в этот вечер я был как незнакомый в чужой толпе.

Если б у меня был читатель и прочел всё то, что я уже написал о

моих приключениях, то, нет сомнения, ему нечего было бы объяснять, что я решительно не создан для какого бы то ни было общества. Главное, я никак не умею держать себя в обществе. Когда я куда вхожу, где много народу, мне всегда чувствуется, что все взгляды меня электризуют. Меня решительно начинает коробить, коробить физически, даже в таких местах, как в театре, а уж не говорю в частных домах. На всех этих рулетках и сборищах я решительно не умел приобрести себе никакой осанки: то сижу и упрекаю себя за излишнюю мягкость и вежливость, то вдруг встану и сделаю какую-нибудь грубость. А между тем какие негодяи, сравнительно со мной, умели там держать себя с удивительной осанкой — и вот это-то и бесило меня пуще всего, так что я всё больше и больше терял хладнокровие. Скажу прямо, не только теперь, но и тогда уже мне всё это общество, да и самый выигрыш, если уж всё говорить, — стало, наконец, отвратительно и мучительно. Решительно — мучительно. Я, конечно, испытывал наслаждение чрезвычайное, но наслаждение это проходило чрез мучение; всё это, то есть эти люди, игра и, главное, я сам вместе с ними, казалось мне страшно грязным. «Только что выиграю и тотчас на всё плюну!» — каждый раз говорил я себе, засыпая на рассвете у себя на квартире после ночной игры. И опять-таки этот выигрыш: взять уж то, что я вовсе не любил деньги. То есть я не стану повторять гнусной казенщины, обыкновенной в этих объяснениях, что я играл, дескать, для игры, для ощущений, для наслаждений риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша. Мне деньги были нужны ужасно, и хоть это был и не мой путь, не моя идея, но так или этак, а я тогда все-таки решил попробовать, в виде опыта, и этим путем. Тут всё сбивала меня одна сильная мысль: «Ведь уж ты вывел, что миллионщиком можешь стать непременно, лишь имея соответственно сильный характер; ведь уж ты пробы делал характеру; так покажи себя и здесь: неужели у рулетки нужно больше характеру, чем для твоей идеи?» — вот что я повторял себе. А так как я и до сих пор держусь убеждения, что в азартной игре, при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчета, невозможно не одолеть грубость слепого случая и не выиграть, — то, естественно, я должен был тогда всё более и более раздражаться, видя, что поминутно не выдерживаю характера и увлекаюсь, как совершенный мальчишка. «Я, могший выдержать голод, я не могу выдержать себя на такой глупости!» — вот что дразнило меня.

К тому же сознание, что у меня, во мне, как бы я ни казался смешон и унижен, лежит то сокровище силы, которое заставит их всех когда-нибудь изменить обо мне мнение, это сознание — уже с самых почти детских униженных лет моих — составляло тогда единственный источник жизни моей, мой свет и мое достоинство, мое оружие и мое утешение, иначе я бы, может быть, убил себя еще ребенком. А потому, мог ли я не быть раздражен на себя, видя, в какое жалкое существо обращаюсь я за игорным столом? Вот почему я уж и не мог отстать от игры: теперь я всё это ясно вижу. Кроме этого, главного, страдало и мелочное самолюбие: проигрыш унижал меня перед князем, перед Версиловым, хотя тот ничего не удостоивал говорить, перед всеми, даже перед Татьяной, — так мне казалось, чувствовалось. Наконец, сделаю и еще признание: я уже тогда развратился; мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от Матвея, от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого. Я сознавал это и тогда, но только отмахивался рукой; теперь же, записывая, краснею.

III

Прибыв один и очутившись в незнакомой толпе, я сначала пристроился в уголке стола и начал ставить мелкими кушами и так просидел часа два, не шевельнувшись. В эти два часа шла страшная бурда — ни то ни се. Я пропускал удивительные шансы и старался не злиться, а взять хладнокровием и уверенностью. Кончилось тем, что за все два часа я не проиграл и не выиграл: из трехсот рублей проиграл рублей десять — пятнадцать. Этот ничтожный результат обозлил меня, и к тому же случилась пренеприятная гадость. Я знаю, что за этими рулетками случаются иногда воры, то есть не то что с улицы, а просто из известных игроков. Я, например, уверен, что известный игрок Афердов — вор; он и теперь фигурирует по городу: я еще недавно встретил его на паре собственных пони, но он — вор и украл у меня. Но об этом история еще впереди; в этот же вечер случилась лишь прелюдия: я сидел все эти два часа на углу стола, а подле меня, слева, помещался всё время один гниленький франтик, я думаю, из жидков; он, впрочем, где-то участвует, что-то даже пишет и печатает. В самую

последнюю минуту я вдруг выиграл двадцать рублей. Две красные кредитки лежали передо мной, и вдруг, я вижу, этот жиденок протягивает руку и преспокойно тащит одну мою кредитку. Я было остановил его, но он, с самым наглым видом и нисколько не возвышая голоса, вдруг объявляет мне, что это — его выигрыш, что он сейчас сам поставил и взял; он даже не захотел и продолжать разговора и отвернулся. Как нарочно, я был в ту секунду в преглупом состоянии духа: я замыслил большую идею и, плюнув, быстро встал и отошел, не захотев даже спорить и подарив ему красненькую. Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла вперед. И вот это-то и было моей огромной ошибкой, которая и отразилась в последствиях: три-четыре игрока подле нас заметили наше препинание и, увидя, что я так легко отступился, вероятно, приняли меня самого за такого. Было ровно двенадцать часов; я прошел в следующую комнату, подумал, сообразил о новом плане и, воротясь, разменял у банка мои кредитки на полуимпериалы.* У меня очутилось их сорок с лишком штук. Я разделил их на десять частей и решил поставить десять ставок сряду на zéro*,[48] каждую в четыре полуимпериала, одну за другой. «Выиграю — мое счастье, проставлю — тем лучше; никогда уже более не буду играть». Замечу, что во все эти два часа zéro ни разу не выходило, так что под конец никто уже на zéro и не ставил.

Я ставил стоя, молча, нахмурясь и стиснув зубы. На третьей же ставке. Зерщиков громко объявил zéro, не выходившее весь день. Мне отсчитали сто сорок полуимпериалов золотом. У меня оставалось еще семь ставок,

я стал продолжать, а между тем всё кругом меня завертелось и заплясало.

— Переходите сюда! — крикнул я через весь стол одному игроку, с которым давеча сидел рядом, одному седому усачу, с багровым лицом и во фраке, который уже несколько часов с невыразимым терпением ставил маленькими кушами и проигрывал ставку за ставкой, — переходите сюда! Здесь счастье!

— Вы это мне? — с каким-то угрожающим удивлением откликнулся усач с конца стола.

— Да, вам! Там дотла проиграетесь!

— Не ваше это дело, и прошу мне не мешать!

Но я уже никак не мог выдержать. Напротив меня, через стол, сидел один пожилой офицер. Глядя на мой куш, он пробормотал своему соседу:

— Странно: zéro. Нет, я на zéro не решусь.

— Решайтесь, полковник! — крикнул я, ставя новый куш.

— Прошу оставить и меня в покое-с, без ваших советов, — резко отрезал он мне. — Вы очень здесь кричите.

— Я вам добрый же совет подаю; ну, хотите пари, что сейчас же выйдет опять zéro: десять золотых, вот, я ставлю, угодно?

И я выставил десять полуимпериалов.

— Десять золотых, пари? это я могу, — промолвил он сухо и строго. — Держу против вас, что не выйдет zéro.

— Десять луидоров, полковник.

— Каких же десять луидоров?

— Десять полуимпериалов, полковник, а в высоком слоге — луидоров.

— Так вы так и говорите, что полуимпериалов, а не извольте шутить со мной.

Я, разумеется, не надеялся выиграть пари: было тридцать шесть шансов против одного, что zéro не выйдет; но я предложил, во-первых, потому, что форсил, а во-вторых, потому, что хотелось чем-то всех привлечь к себе. Я слишком видел, что меня никто здесь почему-то не любит и что мне с особенным удовольствием дают это знать. Рулетка завертелась — и каково же было всеобщее изумление, когда вдруг вышло опять zéro! Даже всеобщий крик раздался. Тут слава выигрыша совершенно меня отуманила. Мне опять отсчитали сто сорок полуимпериалов. Зерщиков спросил меня, не хочу ли я получить часть кредитками, но я что-то промычал ему, потому что буквально уже не мог спокойно и обстоятельно изъясняться. Голова у меня кружилась и ноги слабели. Я вдруг почувствовал, что страшно сейчас пойду рисковать; кроме того, мне хотелось еще что-нибудь предпринять, предложить еще какое-нибудь пари, отсчитать кому-нибудь несколько тысяч. Машинально сгребал я ладонью мою кучку кредиток и золотых и не мог собраться их сосчитать. В эту минуту я вдруг заметил сзади меня князя и Дарзана: они только что вернулись с своего банка и, как узнал я после, проигравшись там в пух.

— А, Дарзан, — крикнул я ему, — вот где счастье! Ставьте на zéro!

— Проигрался, нет денег, — ответил он сухо; князь же решительно как будто не заметил и не узнал меня.

— Вот деньги! — крикнул я, показывая на свою золотую кучу, — сколько надо?

— Черт возьми! — крикнул Дарзан, весь покраснев, — я, кажется, не просил у вас денег.

— Вас зовут, — дернул меня за рукав Зерщиков. Звал меня уже несколько раз и почти с бранью полковник, проигравший мне пари десять империалов.

— Извольте принять! — крикнул он весь багровый от гнева, — я не обязан стоять над вами; а то после скажете, что не получили. Сосчитайте.

— Верю, верю, полковник, верю без счету; только, пожалуйста, так на меня не кричите и не сердитесь, — и я сгреб кучку его золота рукой.

— Милостивый государь, я вас прошу, суйтесь с вашими восторгами к кому другому, а не ко мне, — резко закричал полковник. — Я с вами вместе свиней не пас!

— Странно пускать таких, — кто такой? — юноша какой-то, — раздавались вполголоса восклицания.

Но я не слушал, я ставил зря и уже не на zéro. Я поставил целую пачку радужных на восемнадцать первых.

— Едем, Дарзан, — послышался сзади голос князя.

— Домой? — обернулся я к ним. — Постойте меня, вместе выйдем, я — шабаш.

Моя ставка выиграла; это был крупный выигрыш.

— Баста! — крикнул я и дрожащими руками начал загребать и сыпать золото в карманы, не считая и как-то нелепо уминая пальцами кучки кредиток, которые все вместе хотел засунуть в боковой карман. Вдруг пухлая рука перстнем Афердова, сидевшего сейчас от меня направо и тоже ставившего на большие куши, легла на три радужных мои кредитки и накрыла их ладонью.

— Позвольте-с, это — не ваше, — строго и раздельно отчеканил он, довольно, впрочем, мягким голосом.

Вот это-то и была та прелюдия, которой потом, через несколько дней, суждено было иметь такие последствия. Теперь же, честью клянусь, что эти три сторублевые были мои, но, к моей злой судьбе, тогда я хоть и был уверен в том, что они мои, но всё же у меня

оставалась одна десятая доля и сомнения, а для честного человека это — всё; а я — честный человек. Главное, я тогда еще не знал наверно, что Афердов — вор; я тогда еще и фамилию его не знал, так что в ту минуту действительно мог подумать, что я ошибся и что эти три сторублевые не были в числе тех, которые мне сейчас отсчитали. Я всё время не считал мою кучу денег и только пригребал руками, а перед Афердовым тоже всё время лежали деньги, и как раз сейчас подле моих, но в порядке и сосчитанные. Наконец, Афердова здесь знали, его считали за богача, к нему обращались с уважением: всё это и на меня повлияло, и я опять не протестовал. Ужасная ошибка! Главное свинство заключалось в том, что я был в восторге.

— Чрезвычайно жаль, что я наверно не помню; но мне ужасно кажется, что это — мои, — проговорил я с дрожащими от негодования губами. Слова эти тотчас же вызвали ропот.

— Чтоб говорить такие вещи, то надо *наверно* помнить, а вы сами изволили провозгласить, что помните *не* наверно, — проговорил нестерпимо свысока Афердов.

— Да кто такой? — да как позволять это? — раздалось было несколько восклицаний.

— Это с ними не в первый раз; давеча там с Рехбергом вышла тоже история из-за десятирублевой, — раздался подле чей-то подленький голос.

— Ну, довольно же, довольно! — восклицал я, — я не протестую, берите! Князь… где же князь и Дарзан? Ушли? Господа, вы не видали, куда ушли князь и Дарзан? — и, подхватив наконец все мои деньги, а несколько полуимпериалов так и не успев засунуть в карман и держа в горсти, я пустился догонять князя и Дарзана. Читатель, кажется, видит, что я не щажу себя и припоминаю в эту минуту всего себя тогдашнего, до последней гадости, чтоб было понятно, что потом могло выйти.

Князь и Дарзан уже спустились с лестницы, не обращая ни малейшего внимания на мой зов и крики. Я уже догнал их, но остановился на секунду перед швейцаром и сунул ему в руку три полуимпериала, черт знает зачем; он поглядел на меня с недоумением и даже не поблагодарил. Но мне было всё равно, и если бы тут был и Матвей, то я наверно бы отвалил ему целую горсть золотых, да так и хотел, кажется, сделать, но, выбежав на крыльцо, вдруг вспомнил, что я его еще давеча отпустил домой. В эту минуту князю подали его рысака,

и он сел в сани.

— Я с вами, князь, и к вам! — крикнул я, схватил полость и отмахнул ее, чтоб влезть в его сани; но вдруг, мимо меня, в сани вскочил Дарзан, и кучер, вырвав у меня полость, запахнул господ.

— Черт возьми! — крикнул я в исступлении. Выходило, что будто бы я для Дарзана и отстегивал полость, как лакей.

— Домой! — крикнул князь.

— Стой! — заревел я, хватаясь за сани, но лошадь дернула, и я покатился в снег. Дне показалось даже, что они засмеялись. Вскочив, я мигом схватил подвернувшегося извозчика и полетел к князю, понукая каждую секунду мою клячу.

IV

Как нарочно, кляча тащила неестественно долго, хоть я и обещал целый рубль. Извозчик только стегал и, конечно, настегал ее на рубль. Сердце мое замирало; я начинал что-то заговаривать с извозчиком, но у меня даже не выговаривались слова, и я бормотал какой-то вздор. Вот в каком положении я вбежал к князю. Он только что воротился; он завез Дарзана и был один. Бледный и злой, шагал он по кабинету. Повторю еще раз: страшно проигрался. На меня он посмотрел с каким-то рассеянным недоумением.

— Вы опять! — проговорил он, нахмурившись.

— А чтоб с вами покончить, сударь! — проговорил я задыхаясь. — Как вы смели со мной так поступить?

Он глядел вопросительно.

— Если вы ехали с Дарзаном, то могли мне так ответить, что едете с Дарзаном, а вы дернули лошадь, и я…

— Ах да, вы, кажется, упали в снег, — и он засмеялся мне в глаза.

— На это отвечают вызовом, а потому мы сначала кончим счеты…

И я дрожащею рукой пустился вынимать мои деньги и класть их на диван, на мраморный столик и даже в какую-то раскрытую книгу, кучками, пригоршнями, пачками; несколько монет покатилось на ковер.

— Ах да, вы, кажется, выиграли?., то-то и заметно по вашему тону.

Никогда еще не говорил он со мной так дерзко. Я был очень бледен.

— Тут… я не знаю сколько… надо бы сосчитать. Я вам должен до трех тысяч… или сколько?.. больше или меньше?

— Я вас, кажется, не вынуждаю платить.

— Нет-с, я сам хочу заплатить, и вы должны знать почему. Я знаю, что в этой пачке радужных — тысяча рублей, вот! — И я стал было дрожащими руками считать, но бросил. — Всё равно, я знаю, что тысяча. Ну, так вот, эту тысячу я беру себе, а всё остальное, вот эти кучи, возьмите за долг, за часть долга: тут, я думаю, до двух тысяч или, пожалуй, больше!

— А тысячу-то все-таки себе оставляете? — оскалился князь.

— А вам надо? В таком случае… я хотел было… я думал было, что вы не захотите… но, если надо — то вот…

— Нет, не надо, — презрительно отвернулся он от меня и опять зашагал по комнате.

— И черт знает, что вам вздумалось отдавать? — повернулся он вдруг ко мне с страшным вызовом в лице.

— Я отдаю, чтоб потребовать у вас отчета! — завопил я в свою очередь.

— Убирайтесь вы прочь с вашими вечными словами и жестами! — затопал он вдруг на меня, как бы в исступлении. — Я вас обоих давно хотел выгнать, вас и вашего Версилова.

— Вы с ума сошли! — крикнул я. Да и было похоже на то.

— Вы меня измучили оба трескучими вашими фразами и всё фразами, фразами, фразами! Об чести, например! Тьфу! Я давно хотел порвать… Я рад, рад, что пришла минута. Я считал себя связанным и краснел, что принужден принимать вас… обоих! А теперь не считаю себя связанным ничем, ничем, знайте это! Ваш Версилов подбивал меня напасть на Ахмакову и осрамить ее… Не смейте же после того говорить у меня о чести. Потому что вы — люди бесчестные… оба, оба; а вы разве не стыдились у меня брать мои деньги?

В глазах моих потемнело.

— Я брал у вас как товарищ, — начал я ужасно тихо, — вы предлагали сами, и я поверил вашему расположению…

— Я вам — не товарищ! Я вам давал, да не для того, а вы сами знаете для чего.

— Я брал в зачет версиловских; конечно, это глупо, но я…

— Вы не могли брать в зачет версиловских без его позволения, и я

не мог вам давать его деньги без его позволения… Я вам свои давал; и вы знали; знали и брали; а я терпел ненавистную комедию в своем доме!

— Что такое я знал? Какая комедия? За что же вы мне давали?

— Pour vos beaux yeux, mon cousin![49] — захохотал он мне прямо в глаза.

— К черту! — завопил я, — возьмите всё, вот вам и эта тысяча! Теперь — квиты, и завтра…

И я бросил в него этой пачкой радужных, которую оставил было себе для разживы. Пачка попала ему прямо жилет и шлепнулась на пол. Он быстро, огромными тремя шагами, подступил ко мне в упор.

— Посмеете ли вы сказать, — свирепо и раздельно, как по складам, проговорил он, — что, брав мои деньги весь месяц, вы не знали, что ваша сестра от меня беременна?

— Что? Как! — вскричал я, и вдруг мои ноги ослабели, и я бессильно опустился на диван. Он мне сам говорил потом, что я побледнел буквально как платок. Ум замешался во мне. Помню, мы всё смотрели молча друг другу в лицо. Как будто испуг прошел по его лицу; он вдруг наклонился, схватил меня за плечи и стал меня поддерживать. Я слишком помню его неподвижную улыбку; в ней были недоверчивость и удивление. Да, он никак не ожидал такого эффекта своих слов, потому что был убежден в моей виновности.

Кончилось обмороком, но на одну лишь минуту; я опомнился, приподнялся на ноги, глядел на него и соображал — и вдруг вся истина открылась столь долго спавшему уму моему! Если б мне сказали заранее и спросили: «Что бы я сделал с ним в ту минуту?» — я бы наверно ответил, что растерзал бы его на части. Но вышло совсем иное, и совсем не по моей воле: я вдруг закрыл лицо обеими руками и горько, навзрыд, заплакал. Само так вышло! В молодом человеке сказался вдруг маленький ребенок. Маленький ребенок, значит, жил еще тогда в душе моей на целую половину. Я упал на диван и всхлипывал. «Лиза! Лиза! Бедная, несчастная!» Князь вдруг и совершенно поверил.

— Боже, как я виноват перед вами! — вскричал он с глубокою горестью. — О, как гнусно я думал об вас в моей мнительности… Простите меня, Аркадий Макарович!

Я вдруг вскочил, хотел ему что-то сказать, стал перед ним, но, не сказав ничего, выбежал из комнаты и из квартиры. Я прибрел домой пешком и едва помню путь. Я бросился на мою кровать, лицом в

подушку, в темноте, и думал-думал. В такие минуты стройно и последовательно никогда не думается. Ум и воображение мое как бы срывались с нитки, и, помню, я начинал даже мечтать о совершенно постороннем и даже бог знает о чем. Но горе и беда вдруг опять припоминались с болью и с нытьем, и я опять ломал руки и восклицал: «Лиза, Лиза!» — и опять плакал. Не помню, как заснул, но спал крепко, сладко.

Глава седьмая

I

Я проснулся утром часов в восемь, мигом запер мою дверь, сел к окну и стал думать. Так просидел до десяти часов. Служанка два раза стучалась ко мне, но я прогонял ее. Наконец, уже в одиннадцатом часу, опять постучались. Я было закричал опять, но это была Лиза. С нею вошла и служанка, принесла мне кофей и расположилась затоплять печку. Прогнать служанку было невозможно, и всё время, пока Фекла накладывала дров и раздувала огонь, я всё ходил большими шагами по моей маленькой комнате, не начиная разговора и даже стараясь не глядеть на Лизу. Служанка действовала с невыразимою медленностью, и это нарочно, как все служанки в таких случаях, когда приметят, что они господам мешают при них говорить. Лиза села на стул у окна и следила за мною.

— У тебя кофей простынет, — сказала она вдруг.

Я поглядел на нее: ни малейшего смущения, полное спокойствие, а на губах так даже улыбка.

— Вот женщины! — не вытерпел я и вскинул плечами. Наконец служанка затопила печку и принялась было прибирать, но я с жаром выгнал ее и наконец-то запер дверь.

— Скажи мне, пожалуйста, зачем ты опять запер дверь? — спросила Лиза.

Я стал перед нею:

— Лиза, мог ли я подумать, что ты так обманешь меня! — воскликнул я вдруг, совсем даже не думая, что так начну, и не слезы на этот раз, а почти злобное какое-то чувство укололо вдруг мое сердце,

так что я даже не ожидал того сам. Лиза покраснела, но не ответила, только продолжала смотреть мне прямо в глаза.

— Постой, Лиза, постой, о, как я был глуп! Но глуп ли? Все намеки сошлись только вчера в одну кучу, а до тех пор откуда я мог узнать? Из того, что ты ходила к Столбеевой и к этой… Дарье Онисимовне? Но я тебя за солнце считал, Лиза, и как могло бы мне прийти что-нибудь в голову? Помнишь, как я тебя встретил тогда, два месяца назад, у *него* на квартире, и как мы с тобой шли тогда по солнцу и радовались… тогда уже было? Было?

Она ответила утвердительным наклонением головы.

— Так ты уж и тогда меня обманывала! Тут не от глупости моей, Лиза, тут, скорее, мой эгоизм, а — не глупость причиною, мой эгоизм сердца и — и, пожалуй, уверенность в святость. О, я всегда был уверен, что все вы бесконечно выше меня и — вот! Наконец, вчера, в один день сроку я не успел и сообразить, несмотря на все намеки… Да и не тем совсем я был вчера занят!

Тут я вдруг вспомнил о Катерине Николавне, и что-то опять мучительно, как булавкой, кольнуло меня в сердце, и я весь покраснел. Я, естественно, не мог быть в ту минуту добрым.

— Да в чем ты оправдываешься? Ты, Аркадий, кажется, в чем-то спешишь оправдаться, так в чем же? — тихо и кротко спросила Лиза, но очень твердым и убежденным голосом.

— Как в чем? Да мне-то что теперь делать? — вот хоть бы этот вопрос! А ты говоришь: «в чем же?» Я не знаю, как поступить! Я не знаю, как в этих случаях поступают братья… Я знаю, что заставляют жениться с пистолетом в руке… Поступлю, как надо честному человеку! А я вот и не знаю, как тут надо поступить честному человеку!.. Почему? Потому что мы — не дворяне, а он — князь и делает там свою карьеру; он нас, честных-то людей, и слушать не станет. Мы — даже и не братья с тобой, а незаконнорожденные какие-то, без фамилии, дети дворового; а князья разве женятся на дворовых? О, гадость! И, сверх того, ты сидишь и на меня теперь удивляешься.

— Я верю, что ты мучишься, — покраснела опять Лиза, — но ты торопишься и сам себя мучаешь.

— Торопишься? Да неужели же я недостаточно опоздал, по-твоему! Тебе ли, тебе ли, Лиза, мне так говорить? — увлекся я наконец полным негодованием. — А сколько я вынес позору, и как этот князь

должен был меня презирать! О, мне теперь всё ясно, и вся эта картина передо мной: он вполне вообразил, что я уже давно догадался о его связи с тобой, но молчу или даже подымаю нос и похваляюсь «честью» — вот что он даже мог обо мне подумать! И за сестру, за позор сестры беру деньги! Вот что ему было омерзительно видеть, и я его оправдываю вполне: каждый день видать и принимать подлеца, потому что он — ей брат, да еще говорит о чести… это сердце иссохнет, хоть бы и его сердце! И ты всё это допустила, ты не предупредила меня! Он до того презирал меня, что говорил обо мне Стебелькову и сам сказал мне вчера, что хотел нас обоих с Версиловым выгнать. А Стебельков-то! «Анна Андреевна ведь — такая же вам сестрица, как и Лизавета Макаровна», да еще кричит мне вслед: «Мои деньги лучше». А я-то, я-то нахально разваливался у *него* на диванах и лез, как ровня, к его знакомым, черт бы их взял! И ты всё это допустила! Пожалуй, и Дарзан теперь знает, судя по крайней мере по тону его вчера вечером… Все, все знают, кроме меня!

— Никто ничего не знает, никому из знакомых он не говорил и *не мог* сказать, — прервала меня Лиза, — а про Стебелькова этого я знаю только, что Стебельков его мучит и что Стебельков этот мог разве лишь догадаться… А о тебе я ему несколько раз говорила, и он вполне мне верил, что тебе ничего не известно, и вот только не знаю, почему и как это у вас вчера вышло.

— О, по крайней мере я с ним вчера расплатился, и хоть это с сердца долой! Лиза, знает мама? Да как не знать: вчера-то, вчера-то она поднялась на меня!.. Ах, Лиза! Да неужто ты решительно во всем себя считаешь правой, так-таки ни капли не винишь себя? Я не знаю, как это судят по-теперешнему и каких ты мыслей, то есть насчет меня, мамы, брата, отца… Знает Версилов?

— Мама ему ничего не говорила; он не спрашивает; верно, не хочет спрашивать.

— Знает, да не хочет знать, это — так, это на него похоже! Ну, пусть ты осмеиваешь роль брата, глупого брата, когда он говорит о пистолетах, но мать, мать? Неужели ты не подумала, Лиза, что это — маме укор? Я всю ночь об этом промучился; первая мысль мамы теперь: «Это — потому, что я тоже была виновата, а какова мать — такова и дочь!»

— О, как это злобно и жестоко ты сказал! — вскричала Лиза с

прорвавшимися из глаз слезами, встала и быстро пошла к двери.

— Стой, стой! — обхватил я ее, посадил опять и сел подле нее, не отнимая руки.

— Я так и думала, что всё так и будет, когда шла сюда, и тебе непременно понадобится, чтоб я непременно сама повинилась. Изволь, винюсь. Я только из гордости сейчас молчала, не говорила, а вас и маму мне гораздо больше, чем себя самое, жаль… — Она не договорила и вдруг горячо заплакала.

— Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я — тебе не судья. Лиза, что мама? Скажи, давно она знает? — Я думаю, что давно: но я сама сказала ей недавно, когда *это* случилось, — тихо проговорила она, опустив глаза.

— Что ж она?

— Она сказала: «носи!» — еще тише проговорила Лиза.

— Ах, Лиза, да, «носи»! Не сделай чего над собой, упаси тебя боже!

— Не сделаю, — твердо ответила она и вновь подняла на меня глаза.

— Будь спокоен, — прибавила она, — тут совсем не то.

— Лиза, милая, я вижу только, что я тут ничего не знаю, но зато теперь только узнал, как тебя люблю. Одного только не понимаю, Лиза; всё мне тут ясно, одного только совсем не пойму: за что ты его полюбила? Как ты могла такого полюбить? Вот вопрос!

— И, верно, тоже об этом мучился ночью? — тихо улыбнулась Лиза.

— Стой, Лиза, это — глупый вопрос, и ты смеешься; смейся, но ведь невозможно же не удивляться: ты и *он* — вы такие противоположности! Он — я его изучил — он мрачный, мнительный, может быть, он очень добрый, пусть его, но зато в высшей степени склонный прежде всего во всем видеть злое (в этом, впрочем, совершенно как я!). Он страстно уважает благородство — это я до пускаю, это вижу, но только, кажется, в идеале. О, он склонен к раскаянью, он всю жизнь беспрерывно клянет себя и раскаивается, но зато никогда и не исправляется, впрочем, это тоже, может быть, как я. Тысяча предрассудков и ложных мыслей и — никаких мыслей! Ищет большого подвига и пакостит по мелочам. Прости, Лиза, я, впрочем, — дурак: говоря это, я тебя обижаю и знаю это; я это понимаю…

— Портрет бы верен, — улыбнулась Лиза, — но ты слишком на него зол за меня, а потому и ничего не верно. Он с самого начала был к тебе недоверчив, и ты не мог его всего видеть, а со мной еще с Луги… Он только и видел одну меня, с самой Луги. Да, он мнительный и болезненный и без меня с ума бы сошел; и если меня оставит, то сойдет с ума или застрелится; кажется, он это понял и знает, — прибавила Лиза как бы про себя и задумчиво. — Да, он слаб беспрерывно, но этакие-то слабые способны когда-нибудь и на чрезвычайно сильное дело… Как ты странно сказал про пистолет, Аркадий: ничего тут этого не надо, и я знаю сама, что будет. Не я за ним хожу, а он за мною ходит. Мама плачет, говорит: «Если за него выйдешь, несчастна будешь, любить перестанет». Я этому не верю; несчастна, может, буду, а любить он не перестанет. Я не потому всё не давала ему согласия, а по другой причине. Я ему уже два месяца не даю согласия, но сегодня я сказала ему: *да*, выйду за тебя. Аркаша, знаешь, он вчера (глаза ее засияли, и она вдруг обхватила мне обеими руками шею) — он вчера приехал к Анне Андреевне и прямо, со всей откровенностью сказал ей, что не может любить ее… Да, он объяснился совсем, и эта мысль теперь кончена! Он никогда в этой мысли не участвовал, это всё намечтал князь Николай Иванович, да напирали на него эти мучители, Стебельков и другой один… Вот я и сказала ему за это сегодня: *да*. Милый Аркадий, он очень зовет тебя, и не обижайся после вчерашнего: он сегодня не так здоров и весь день дома. Он взаправду нездоров, Аркадий: не подумай, что отговорка. Он меня нарочно прислал и просил передать, что «нуждается» в тебе, что ему много надо сказать тебе, а у тебя здесь, на этой квартире, будет неловко. Ну, прощай! Ах, Аркадий, стыдно мне только говорить, а я шла сюда и ужасно боялась, что ты меня разлюбил, всё крестилась дорогою, а ты — такой добрый, милый! Не забуду тебе этого никогда! Я к маме. А ты его полюби хоть немножко, а?

Я горячо ее обнял и сказал ей:

— Я, Лиза, думаю, что ты — крепкий характер. Да, я верю, что не ты за ним ходишь, а он за тобой ходит, только все-таки…

— Только все-таки «за что ты его полюбила — вот вопрос!» — подхватила, вдруг усмехнувшись шаловливо, как прежде, Лиза и ужасно похоже на меня произнесла «вот вопрос!». И при этом, совершенно как я делаю при этой фразе, подняла указательный палец перед глазами. Мы

расцеловались, но, когда она вышла, у меня опять защемило сердце.

II

Замечу здесь лишь для себя: были, например, мгновения, по уходе Лизы, когда самые неожиданные мысли целой толпой приходили мне в голову, и я даже был ими очень доволен. «Ну, что я хлопочу, — думал я, — мне-то что? У всех так или почти. Что ж такое, что с Лизой это случилось? Что я „честь семейства“, что ли, должен спасти?» Отмечаю все эти подлости, чтоб показать, до какой степени я еще не укреплен был в разумении зла и добра. Спасало лишь чувство: я знал, что Лиза несчастна, что мама несчастна, и знал это чувством, когда вспоминал про них, а потому и чувствовал, что всё, что случилось, должно быть нехорошо.

Теперь предупрежу, что события с этого дня до самой катастрофы моей болезни пустились с такою быстротой, что мне, припоминая теперь, даже самому удивительно, как мог я устоять перед ними, как не задавила меня судьба. Они обессилили мой ум и даже чувства, и если б я под конец, не устояв, совершил преступление (а преступление чуть-чуть не совершилось), то присяжные, весьма может быть, оправдали бы меня. Но постараюсь описать в строгом порядке, хотя предупреждаю, что тогда в мыслях моих мало было порядка. События налегли, как ветер, и мысли мои закрутились в уме, как осенние сухие листья. Так как я весь состоял из чужих мыслей, то где мне было взять своих, когда они потребовались для самостоятельного решения? Руководителя же совсем не было.

К князю я решил пойти вечером, чтобы обо всем переговорить на полной свободе, а до вечера оставался дома. Но в сумерки получил по городской почте опять записку от Стебелькова, в три строки, с настоятельною и «убедительнейшею» просьбою посетить его завтра утром часов в одиннадцать для «самоважнейших дел, и сами увидите, что за делом». Обдумав, я решил поступить судя по обстоятельствам, так как до завтра было еще далеко.

Было уже восемь часов; я бы давно пошел, но всё поджидал Версилова: хотелось ему многое выразить, и сердце у меня горело. Но Версилов не приходил и не пришел. К маме и к Лизе мне показываться

пока нельзя было, да и Версилова, чувствовалось мне, наверно весь день там не было. Я пошел пешком, и мне уже на пути пришло в голову заглянуть во вчерашний трактир на канаве. Как раз Версилов сидел на вчерашнем своем месте.

— Я так и думал, что ты сюда придешь, — странно улыбнувшись и странно посмотрев на меня, сказал он. Улыбка его была недобрая, и такой я уже давно не видал на его лице.

Я присел к столику и рассказал ему сначала всё фактами о князе и о Лизе и о вчерашней сцене моей у князя после рулетки; не забыл и о выигрыше на рулетке. Он выслушал очень внимательно и переспросил о решении князя жениться на Лизе.

— Pauvre enfant,[50] может быть, она ничего тем не выиграет. Но, вероятно, не состоится… хотя он способен…

— Скажите мне как другу: ведь вы это знали, предчувствовали?

— Друг мой, что я тут мог? Всё это — дело чувства и чужой совести, хотя бы и со стороны этой бедненькой девочки. Повторю тебе: я достаточно в оно время вскакивал в совесть других — самый неудобный маневр! В не счастье помочь не откажусь, насколько сил хватит и если сам разберу. А ты, мой милый, ты таки всё время ничего и не подозревал?

— Но как могли вы, — вскричал я, весь вспыхнув, — как могли вы, подозревая даже хоть на каплю, что я знаю о связи Лизы с князем, и видя, что я в то же время беру у князя деньги, — как могли вы говорить со мной, сидеть со мной, протягивать мне руку, — мне, которого вы же должны были считать за подлеца, потому что, бьюсь об заклад, вы наверно подозревали, что я знаю всё и беру у князя за сестру деньги зазнамо!

— Опять-таки — дело совести, — усмехнулся он. — И почему ты знаешь, — с каким-то загадочным чувством внятно прибавил он, — почему ты знаешь, не боялся ли и я, как ты вчера при другом случае, свой «идеал» потерять и, вместо моего пылкого и честного мальчика, негодяя встретить? Опасаясь, отдалял минуту. Почему не предположить во мне, вместо лености или коварства, чего-нибудь более невинного, ну, хоть глупого, но поблагороднее. Que diable![51] я слишком часто бываю глуп и без благородства. Что бы пользы мне в тебе, если б у тебя уж такие наклонности были? Уговаривать и исправлять в таких случаях низко; ты бы потерял в моих глазах всякую цену, хотя бы и

исправленный…

— А Лизу жалеете, жалеете?

— Очень жалею, мой милый. С чего ты взял, что я так бесчувствен? Напротив, постараюсь всеми силами… Ну, а ты *как*, как *твои* дела?

— Оставим мои дела; у меня теперь нет *моих* дел. Слушайте, почему вы сомневаетесь, что он женится? Он вчера был у Анны Андреевны и положительно отказался… ну, то есть от той глупой мысли… вот что зародилась у князя Николая Ивановича, — сосватать их. Он отказался положительно.

— Да? Когда же это было? И от кого ты именно слышал? — с любопытством осведомился он. Я рассказал всё, что знал.

— Гм… — произнес он раздумчиво и как бы соображая про себя, — стало быть, это происходило ровно за какой-нибудь час… до одного другого объяснения. Гм… ну да, конечно, подобное объяснение могло у них произойти… хотя мне, однако, известно, что там до сих пор ничего никогда не было сказано или сделано ни с той, ни с другой стороны… Да, конечно, достаточно двух слов, чтоб объясниться. Но вот что, — странно усмехнулся он вдруг, — я тебя, конечно, заинтересую сейчас одним чрезвычайным даже известием: если б твой князь и сделал вчера свое предложение Анне Андреевне (чего я, подозревая о Лизе, всеми бы силами моими не допустил, entre nous soit dit),[52] то Анна Андреевна наверно и во всяком случае ему тотчас бы отказала. Ты, кажется, очень любишь Анну Андреевну, уважаешь и ценишь ее? Это очень мило с твоей стороны, а потому, вероятно, и порадуешься за нее: она, мой милый, выходит замуж, и, судя по ее характеру, кажется, выйдет наверно, а я — ну, я, уж конечно, благословлю.

— Замуж выходит? За кого же? — вскричал я, ужасно удивленный.

— А угадай. Мучить не буду: за князя Николая Ивановича, за твоего милого старичка.

Я глядел во все глаза.

— Должно быть, она давно эту идею питала и, уж конечно, художественно обработала ее со всех сторон, — лениво и раздельно продолжал он. — Я полагаю, это произошло ровно час спустя после посещения «князя Сережи». (Вот ведь некстати-то расскакался!) Она просто пришла к князю Николаю Ивановичу и сделала ему предложение.

— Как «сделала ему предложение»? То есть он сделал ей

предложение?

— Ну где ему! Она, она сама. То-то и есть, что он в полном восторге. Он, говорят, теперь всё сидит и удивляется, как это ему самому не пришло в голову. Я слышал, он даже прихворнул… тоже от восторга, должно быть.

— Послушайте, вы так насмешливо говорите… Я почти не могу поверить. Да и как она могла предложить? что она сказала?

— Будь уверен, мой друг, что я искренно радуюсь, — ответил он, вдруг приняв удивительно серьезную мину, — он стар, конечно, но жениться может, по всем законам и обычаям, а она — тут опять-таки дело чужой совести, то, что уже я тебе повторял, мой друг. Впрочем, она слишком компетентна, чтоб иметь свой взгляд и свое решение. А собственно о подробностях и какими словами она выражалась, то не сумею тебе передать, мой друг. Но уж конечно, она-то сумела, да так, может быть, как мы с тобою и не придумали бы. Лучше всего во всем этом то, что тут никакого скандала, все très comme il faut[53] в глазах света. Конечно, слишком ясно, что она захотела себе положения в свете, но ведь она же и стоит того. Всё это, друг мой, — совершенно светская вещь. А предложи ла она, должно быть, великолепно и изящно. Это — строгий тип, мой друг, девушка-монашенка, как ты ее раз определил; «спокойная девица», как я ее давно уже называю. Она ведь — почти что его воспитанница, ты знаешь, и уже не раз видела его доброту к себе. Она уверяла меня уже давно, что его «так уважает и так ценит, так жалеет и симпатизирует ему», ну и всё прочее, так что я даже отчасти был подготовлен. Мне о всем этом сообщил сегодня утром, от ее лица и по ее просьбе, сын мой, а ее брат Андрей Андреевич, с которым ты, кажется, незнаком и с которым я вижусь аккуратно раз в полгода. Он почтительно апробует шаг ее.

— Так это уже гласно? Боже, как я изумлен!

— Нет, это совсем еще не гласно, до некоторого времени… я там не знаю, вообще я в стороне совершенно. Но всё это верно.

— Но теперь Катерина Николаевна… Как вы думаете, эта закуска Бьорингу не понравится?

— Этого я уж не знаю… что, собственно, тут ему не понравится; но поверь, что Анна Андреевна и в этом смысле — в высшей степени порядочный человек. А каково, однако, Анна-то Андреевна! Как раз справилась перед тем у меня вчера утром: «Люблю ли я или нет

госпожу вдову Ахмакову?» Помнишь, я тебе с удивлением вчера передавал: нельзя же бы ей выйти за отца, если б я женился на дочери? Понимаешь теперь?

— Ах, в самом деле! — вскричал я. — Но неужто же в самом деле Анна Андреевна могла предположить, что вы… могли бы желать жениться на Катерине Николаевне?

— Видно, что так, мой друг, а впрочем… а впрочем, тебе, кажется, пора туда, куда ты идешь. У меня, видишь ли, всё голова болит. Прикажу «Лючию». Я люблю торжественность скуки, а впрочем, я уже говорил тебе это… Повторяюсь непростительно… Впрочем, может быть, и уйду отсюда. Я люблю тебя, мой милый, но прощай; когда у меня голова болит или зубы, я всегда жажду уединения.

На лице его показалась какая-то мучительная складка; верю теперь, что у него болела тогда голова, особенно голова…

— До завтра, — сказал я.

— Что такое до завтра и что будет завтра? — криво усмехнулся он.

— Приду к вам, или вы ко мне.

— Нет, я к тебе не приду, а ты ко мне прибежишь…

В лице его было что-то слишком уж недоброе, но мне было даже не до него: такое происшествие!

III

Князь был действительно нездоров и сидел дома один с обвязанной мокрым полотенцем головой. Он очень ждал меня; но не голова одна у него болела, а скорее он весь был болен нравственно. Предупреждаю опять: во всё это последнее время, и вплоть до катастрофы, мне как-то пришлось встречаться сплошь с людьми, до того возбужденными, что все они были чуть не помешанные, так что я сам поневоле должен был как бы заразиться. Я, признаюсь, пришел с дурными чувствами, да и стыдно мне было очень того, что я вчера перед ним расплакался. Да и все-таки они так ловко с Лизой сумели меня обмануть, что я не мог же не видеть в себе глупца. Словом, когда я вошел к нему, в душе моей звучали фальшивые струны. Но всё это напускное и фальшивое соскочило быстро. Я должен отдать ему справедливость: как скоро падала и разбивалась его мнительность, то он уже отдавался

окончательно; в нем сказывались черты почти младенческой ласковости, доверчивости и любви. Он со слезами поцеловал меня и тотчас же начал говорить о деле… Да, я действительно был ему очень нужен: в словах его и в течении идей было чрезвычайно много беспорядка.

Он совершенно твердо заявил мне о своем намерении жениться на Лизе, и как можно скорей. «То, что она не дворянка, поверьте, не смущало меня ни минуты, — сказал он мне, — мой дед женат был на дворовой девушке, певице на собственном крепостном театре одного соседа-помещика. Конечно, мое семейство питало насчет меня своего рода надежды, но им придется теперь уступить, да и борьбы никакой не будет. Я хочу разорвать, разорвать со всем теперешним окончательно! Всё другое, всё по-новому! Я не понимаю, за что меня полюбила ваша сестра; но, уж конечно, я без нее, может быть, не жил бы теперь на свете. Клянусь вам от глубины души, что я смотрю теперь на встречу мою с ней в Луге как на перст провидения. Я думаю, она полюбила меня за „беспредельность моего падения“… впрочем, поймете ли вы это, Аркадий Макарович?»

— Совершенно! — произнес я в высшей степени убежденным голосом. Я сидел в креслах перед столом, а он ходил по комнате.

— Я должен вам рассказать весь этот факт нашей встречи без утайки. Началось с моей душевной тайны, которую она одна только и узнала, потому что одной только ей я и решился поверить. И никто до сих пор не знает. В Лугу тогда я попал с отчаянием в душе и жил у Столбеевой, не знаю зачем, может быть, искал полнейшего уединения. Я тогда только что оставил службу в — м полку. В полк этот я поступил, воротясь из-за границы, после той встречи за границей с Андреем Петровичем. У меня были тогда деньги, я в полку мотал, жил открыто; но офицеры-товарищи меня не любили, хотя старался не оскорблять. И признаюсь вам, что меня никто никогда не любил. Там был один корнет, Степанов какой-то, признаюсь вам, чрезвычайно пустой, ничтожный даже как бы забитый, одним словом, ничем не отличавшийся. Бесспорно, впрочем, честный. Он ко мне повадился я с ним не церемонился, он просиживал у меня в углу молча по целым дням, но с достоинством, хотя не мешал мне вовсе. Раз я рассказал ему один текущий анекдот, в который приплел много вздору, о том, что дочь полковника ко мне неравнодушна и что полковник, рассчитывая на

меня, конечно, сделает всё, что я пожелаю… Одним словом, я опускаю подробности, но из всего этого вышла потом пресложная и прегнусная сплетня. Вышла не от Степанова, а от моего денщика, который всё подслушал и запомнил, потому что тут был один смешной анекдот, компрометировавший молодую особу. Вот этот денщик и указал на допросе у офицеров, когда вышла сплетня, на Степанова, то есть что я этому Степанову рассказывал. Степанов был поставлен в такое положение, что никак не мог отречься, что слышал; это было делом чести. А так как я на две трети в анекдоте этом налгал, то офицеры были возмущены, и полковой командир, собрав нас к себе, вынужден был объясниться. Вот тут-то и был задан при всех Степанову вопрос: слышал он или нет? И тот показал всю правду. Ну-с, что же я тогда сделал, я, тысячелетний князь? Я отрекся и в глаза Степанову сказал, что он солгал, учтивым образом, то есть в том смысле, что он «не так понял», и проч… Я опять-таки опускаю подробности, но выгода моего положения была та, что так как Степанов ко мне учащал, то я, не без некоторого вероятия, мог выставить дело в таком виде, что он будто бы стакнулся с моим денщиком из некоторых выгод. Степанов только молча поглядел на меня и пожал плечами. Я помню его взгляд и никогда его не забуду. Затем он немедленно подал было в отставку, но, как вы думаете, что вышло? Офицеры, все до единого, разом, сделали ему визит и уговорили его не подавать. Через две недели вышел и я из полка: меня никто не выгонял, никто не приглашал выйти, я выставил семейный предлог для отставки. Тем дело и кончилось. Сначала я был совершенно ничего и даже на них сердился; жил в Луге, познакомился с Лизаветой Макаровной, но потом, еще месяц спустя, я уже смотрел на мой револьвер и подумывал о смерти. Я смотрю на каждое дело мрачно, Аркадий Макарович. Я приготовил письмо в полк командиру и товарищам, с полным сознанием во лжи моей, восстановляя честь Степанова. Написав письмо, я задал себе задачу: «послать и жить или послать и умереть?» Я бы не разрешил этого вопроса. Случай, слепой случай, после одного быстрого и странного разговора с Лизаветой Макаровной, вдруг сблизил меня с нею. А до того она ходила к Столбеевой; мы встречались, раскланивались и даже редко говорили. Я вдруг всё открыл ей. Вот тогда-то она и подала мне руку.

— Как же она решила вопрос?

— Я не послал письма. Она решила не посылать. Она мотивировала

так: если пошлю письмо, то, конечно, сделаю благородный поступок, достаточный, чтоб смыть всю грязь и даже гораздо больше, но вынесу ли его сам? Ее мнение было то, что и никто бы не вынес, потому что будущность тогда погибла и уже воскресение к новой жизни невозможно. И к тому же, добро бы пострадал Степанов; но ведь он же был оправдан обществом офицеров и без того. Одним словом — парадокс; но она удержала меня, и я ей отдался вполне.

— Она решила по-иезуитски, но по-женски! — вскричал я, — она уже тогда вас любила!

— Это-то и возродило меня к новой жизни. Я дал себе слово переделать себя, переломить жизнь, заслужить перед собой и перед нею, и — вот у нас чем кончилось! Кончилось тем, что мы с вами ездили здесь на рулетки, играли в банк; я не выдержал перед наследством, обрадовался карьере, всем этим людям, рысакам… я мучил Лизу — позор!

Он потер себе лоб рукой и прошелся по комнате.

— Нас с вами постигла обоюдная русская судьба, Аркадий Макарович: вы не знаете, что делать, и я не знаю, что делать. Выскочи русский человек чуть-чуть из казенной, узаконенной для него обычаем колеи — и он сейчас же не знает, что делать. В колее всё ясно: доход, чин, положение в свете, экипаж, визиты, служба, жена — а чуть что и — что я такое? Лист, гонимый ветром. Я не знаю, что делать! Эти два месяца я стремился удержаться в колее, полюбил колею, втянулся в колею. Вы еще не знаете глубины моего здешнего падения: я любил Лизу, искренно любил и в то же время думал об Ахмаковой!

— Неужели? — с болью вскричал я. — Кстати, князь, что вы сказали мне вчера про Версилова, что он подбивал вас на какую-то подлость против Катерины Николаевны?

— Я, может быть, преувеличил и так же виноват моей мнительности перед ним, как и перед вами. Оставьте это. Что, неужели вы думаете, что во всё это время, самой Луги может быть, я не питал высокого идеала жизни? Клянусь вам, он не покидал меня и был передо мной постоянно, не потеряв нисколько в душе моей своей красоты. Я помнил клятву, данную Лизавете Макаровне, возродиться. Андрей Петрович, говоря вчера здесь о дворянстве, не сказал мне ничего нового, будьте уверены. Мой идеал поставлен твердо: несколько десятков десятин земли (и только несколько десятков, потому что у

меня не остается уже почти ничего от наследства); затем полный, полнейший разрыв со светом и с карьерой; сельский дом, семья и сам — пахарь или вроде того. О, в нашем роде это — не новость: брат моего отца пахал собственноручно, дед тоже. Мы — всего только тысячелетние князья и благородны, как Роганы[*], но мы — нищие. И вот этому я бы и научил и моих детей: «Помни всегда всю жизнь, что ты — дворянин, что в жилах твоих течет святая кровь русских князей, но не стыдись того, что отец твой сам пахал землю: это он делал *по-княжески*». Я бы не оставил им состояния, кроме этого клочка земли, но зато бы дал высшее образование, это уж взял бы обязанностью. О, тут помогла бы Лиза. Лиза, дети, работа, о, как мы мечтали обо всем этом с нею, здесь мечтали, вот тут, в этих комнатах, и что же? я в то же время думал об Ахмаковой, не любя этой особы вовсе, и о возможности светского, богатого брака! И только после известия, привезенного вчера Нащокиным, об этом Бьоринге, я и решил отправиться к Анне Андреевне.

— Но ведь вы же ездили отказаться? Ведь вот уже честный поступок, я думаю?

— Вы думаете? — остановился он передо мной, — нет, вы еще не знаете моей природы! Или… или я тут, сам не знаю чего-нибудь: потому что тут, должно быть, не одна природа. Я вас искренно люблю, Аркадий Макарович, и, кроме того, я глубоко виноват перед вами за все эти два месяца, а потому я хочу, чтобы вы, как брат Лизы, всё это узнали: я ездил к Анне Андреевне с тем, чтоб сделать ей предложение, а не отказываться.

— Может ли быть? Но Лиза говорила…

— Я обманул Лизу.

— Позвольте: вы сделали формальное предложение, и Анна Андреевна отказала вам? Так ли? Так ли? Подробности для меня чрезвычайно важны, князь.

— Нет, я предложения не делал совсем, но лишь потому, что не успел; она сама предупредила меня, — не в прямых, конечно, словах, но, однако же, в слишком прозрачных и ясных дала мне «деликатно» понять, что идея эта впредь невозможна.

— Значит, всё равно что не делали предложения и гордость ваша не пострадала!

— Неужели вы можете так рассуждать! А суд собственной совести,

а Лиза, которую я обманул и… хотел бросить, стало быть? А обет, данный себе и всему роду моих предков, — возродиться и выкупить все прежние подлости! Умоляю вас, не говорите ей про это. Может быть, она этого одного не в состоянии была бы простить мне! Я со вчерашнего болен. А главное, кажется, теперь уже всё кончено и последний из князей Сокольских отправится в каторгу. Бедная Лиза! Я очень ждал вас весь день, Аркадий Макарович, чтоб открыть вам, как брату Лизы, то, чего она еще не знает. Я — уголовный преступник и участвую в подделке фальшивых акций — ской железной дороги.*

— Это что еще! Как в каторгу? — вскочил я, в ужасе смотря на него. Лицо его выражало глубочайшую, мрачную, безысходную горесть.

— Сядьте, — сказал он и сам сел в кресла напротив. — Во-первых, узнайте факт: год с лишком назад, вот в то самое лето Эмса, Лидии и Катерины Николавны, и потом Парижа, именно в то время, когда я отправился на два месяца в Париж, в Париже мне недостало, разумеется, денег. Тут как раз подвернулся Стебельков, которого я, впрочем, и прежде знал. Он дал мне денег и обещал еще дать, но просил и с своей стороны помочь ему: ему нужен был артист, рисовальщик, гравер, литограф и прочее, химик и техник, и — с известными целями. О целях он высказался даже с первого раза довольно прозрачно. И что ж? он знал мой характер — меня всё это только рассмешило. Дело в том, что мне еще со школьной скамьи был знаком один, в настоящее время русский эмигрант, не русского, впрочем, происхождения и проживающий где-то в Гамбурге. В России он раз уже был замешан в одной истории по подделке бумаг. Вот на этого-то человека и рассчитывал Стебельков, но потребовалась к нему рекомендации, и он обратился ко мне. Я дал ему две строки тотчас забыл о них. Потом он еще и еще раз встречался

мной, и я получил от него тогда всего до трех тысяч… Обо всем этом деле я буквально забыл. Здесь я брал всё время у него деньги под векселя и залоги, и он извивался передо мною как раб, и вдруг вчера я узнаю от него в первый раз, что я — уголовный преступник.

— Когда, вчера?

— А вот вчера, когда мы утром кричали с ним в кабинете перед приездом Нащокина. Он в первый раз и совершенно уже ясно осмелился заговорить со мной об Анне Андреевне. Я поднял руку, чтоб ударить его, но он вдруг встал и объявил мне, что я с ним солидарен и чтоб я

помнил, что я — его участник и такой же мошенник, как он, — одним словом, хоть не эти слова, но эта мысль.

— Вздор какой, но ведь это мечта?

— Нет, это — не мечта. Он был у меня сегодня и объяснил подробнее. Акции эти давно в ходу и еще будут пущены в ход, но, кажется, где-то уж начали попадаться. Конечно, я в стороне, но «ведь, однако же, вы тогда изволили дать это письмецо-с», — вот что мне сказал Стебельков.

— Так ведь вы же не знали, для чего, или знали?

— Знал, — отвечал тихо князь и потупил глаза. — То есть, видите ли, и знал и не знал. Я смеялся, мне было весело. Я ни о чем тогда не думал, тем более что мне было совсем не надо фальшивых акций и что не я собирался их делать. Но, однако же, эти три тысячи, которые он мне тогда дал, он даже их и на счет потом не поставил, а я допустил это. А впрочем, почем вы знаете, может быть, и я был фальшивый монетчик? Я не мог не знать, я — не маленький; я знал, но мне было весело, и я помог подлецам каторжникам… и помог за деньги! Стало быть, и я фальшивый монетчик!

— О, вы преувеличиваете; вы виноваты, но вы преувеличиваете!

— Тут, главное, есть один Жибельский, еще молодой человек, по судейской части, нечто вроде помощника аблакатишки. В этих акциях он тут — тоже какой-то участник, ездил потом от того господина в Гамбурге ко мне, с пустяками разумеется, и я даже сам не знал, для чего, об акциях и помину не было… Но, однако же, у него уцелело моей руки два документа, всё записки по две строчки, и, уж конечно, они тоже свидетельствуют; это я сегодня хорошо понял. Стебельков объясняет, что этот Жибельский мешает всему: он что-то там украл, чьи-то деньги, казенные кажется, но намерен еще украсть и затем эмигрировать; так вот ему надобно восемь тысяч, не меньше, в виде вспомоществования на эмиграцию. Моя часть из наследства удовлетворяет Стебелькова, но Стебельков говорит, что надо удовлетворить и Жибельского… Одним словом, отказаться от моей части в наследстве и еще десять тысяч — вот их последнее слово. И тогда мне воротят мои две записки. Они — сообща, это ясно.

— Явная нелепость! Ведь если они донесут на вас, то себя предадут! Они ни за что не донесут.

— Понимаю. Они совсем и не грозят донести; они говорят только:

«Мы, конечно, не донесем, но, в случае если, дело откроется, то»… вот что они говорят, и всё; но я думаю, что этого довольно! Дело не в том: что бы там ни вышло и хотя бы эти записки были у меня теперь же в кармане, но быть солидарным с этими мошенниками, быть их товарищем вечно, вечно! Лгать России, лгать детям, лгать Лизе, лгать своей совести!..

— Лиза знает?

— Нет, всего она не знает. Она не перенесла бы в своем положении. Я теперь ношу мундир моего полка и при встрече с каждым солдатом моего полка, каждую секунду, сознаю в себе, что я не смею носить этот мундир.

— Слушайте, — вскричал я вдруг, — тут нечего разговаривать; у вас один-единственный путь спасения: идите к князю Николаю Ивановичу, возьмите у него десять тысяч, попросите, не открывая ничего, призовите потом этих двух мошенников, разделайтесь окончательно и вы купите назад ваши записки… и дело с концом! Всё дело с концом, и ступайте пахать! Прочь фантазии, и доверьтесь жизни!

— Я об этом думал, — сказал он твердо. — Я весь день сегодня решался и наконец решил. Я ждал только вас; я поеду. Знаете ли, что я никогда в моей жизни не брал ни копейки у князя Николая Ивановича. Он добр к нашему семейству и даже… принимал участие, но собственно я, я лично, я никогда не брал денег. Но теперь я решился… Заметьте, наш род Сокольских старше, чем род князя Николая Ивановича: они — младшая линия, даже побочная, почти спорная… Наши предки были в вражде. В начале петровской реформы мой прапрадед, тоже Петр, был и остался раскольником и скитался в костромских лесах. Этот князь Петр во второй раз тоже на недворянке был женат… Вот тогда-то и выдвинулись эти другие Сокольские, но я… о чем же я это говорю?

Он был очень утомлен, почти как бы заговаривался.

— Успокойтесь же, — встал я, захватывая шляпу, — лягте спать, это — первое. А князь Николай Иванович ни за что не откажет, особенно теперь на радостях. Вы знаете тамошнюю-то историю? Неужто нет? Я слышал дикую вещь, что он женится; это — секрет, но не от вас, разумеется.

И я всё рассказал ему, уже стоя со шляпой в руке. Он ничего не знал. Он быстро осведомился о подробностях, преимущественно времени, места и о степени достоверности. Я, конечно, не скрыл, что

это, по рассказам, произошло тотчас вслед за его вчерашним визитом к Анне Андреевне. Не могу выразить, какое болезненное впечатление произвело на него это известие; лицо его исказилось, как бы перекосилось, кривая улыбка судорожно стянула губы; под конец он ужасно побледнел и глубоко задумался, потупив глаза. Я вдруг слишком ясно увидел, что самолюбие его было страшно поражено вчерашним отказом Анны Андреевны. Может быть, ему слишком уж ярко, при болезненном настроении его, представилась в эту минуту вчерашняя смешная и унизительная роль его перед этой девицей, в согласии которой, как оказывалось теперь, он был всё время так спокойно уверен. И, наконец, может быть, мысль, что сделал такую подлость перед Лизой и так задаром! Любопытно то, за кого эти светские франты почитают друг друга и на каких это основаниях могут они уважать друг друга; ведь этот князь мог же предположить, что Анна Андреевна уже знает о связи его с Лизой, в сущности с ее сестрой, а если не знает, то когда-нибудь уж наверно узнает; и вот он «не сомневался в ее решении»!

— И неужели же вы могли подумать, — гордо и заносчиво вскинул он вдруг на меня глаза, — что я, я способен ехать теперь, после такого сообщения, к князю Николаю Ивановичу и у него просить денег! У него, жениха той невесты, которая мне только что отказала, — какое нищенство, какое лакейство! Нет, теперь всё погибло, и если помощь этого старика была моей последней надеждой, то пусть гибнет и эта надежда!

Я с ним про себя в душе моей согласился; но на действительность надо было смотреть все-таки шире: старичок князь разве был человек, жених? У меня закипело несколько идей в голове. Я и без того, впрочем, решил давеча, что завтра непременно навещу старика. Теперь же я постарался смягчить впечатление и уложить бедного князя спать: «Выспитесь, и идеи будут светлее, сами увидите!» Он горячо пожал мою руку, но уже не целовался. Я дал ему слово, что приду к нему завтра вечером, и «поговорим, поговорим: слишком много накопилось об чем говорить». На эти слова мои он как-то фатально улыбнулся.

Глава восьмая

I

Всю ту ночь снилась мне рулетка, игра, золото, расчеты. Я всё что-то рассчитывал, будто бы за игорным столом, какую-то ставку, какой-то шанс, и это давило меня как кошмар всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущий день, несмотря на все чрезвычайные впечатления мои, я поминутно вспоминал о выигрыше у Зерщикова. Я подавлял мысль, но впечатление не мог подавить и вздрагивал при одном воспоминании. Этот выигрыш укусил мое сердце. Неужели я рожден игроком? По крайней мере — наверное, что с качествами игрока. Даже и теперь, когда всё это пишу, я минутами люблю думать об игре! Мне случается целые часы проводить иногда, сидя молча, в игорных расчетах в уме и в мечтах о том, как это всё идет, как я ставлю и беру. Да, во мне много разных «качеств», и душа у меня неспокойная.

В десять часов я намеревался отправиться к Стебелькову, и пешком. Матвея я отправил домой, только что тот явился. Пока пил кофей, старался обдуматься. Почему-то я был доволен; вникнув мгновенно в себя, догадался, что доволен, главное, тем, что «буду сегодня в доме князя Николая Ивановича». Но день этот в жизни моей был роковой и неожиданный и как раз начался сюрпризом.

Ровно в десять часов отворилась наотмашь моя дверь и влетела — Татьяна Павловна. Я всего мог ожидать, только не ее посещения, и вскочил перед ней в испуге. Лицо ее было свирепо, жесты беспорядочны, и, спросить ее она бы сама, может, не сказала: зачем вбежала ко мне? Предупрежу заранее: она только что получила одно чрезвычайное, подавившее ее известие и была под самым первым впечатлением его. А известие задевало и меня. Впрочем, она пробыла у меня полминуты, ну, положим, всю минуту, только уж не более. Она так и вцепилась в меня.

— Так ты вот как! — стала она передо мной, вся изогнувшись вперед. — Ах ты, пащенок! Что ты это наделал? Аль еще не знаешь? Кофей пьет! Ах ты, болтушка, ах ты, мельница, ах ты, любовник из бумажки… да таких розгами секут, розгами, розгами!

— Татьяна Павловна, что случилось? Что сделалось? Мама?..

— Узнаешь! — грозно вскричала она и выбежала из комнаты, — только я ее и видел. Я конечно бы погнался за ней, но меня остановила одна мысль, и не мысль, а какое-то темное беспокойство: я

предчувствовал, что «любовник из бумажки» было в криках ее главным словом. Конечно, я бы ничего не угадал сам, но я быстро вышел, чтоб, поскорее кончив с Стебельковым, направиться к князю Николаю Ивановичу. «Там — всему ключ!» — подумал я инстинктивно.

Удивительно каким образом, но Стебельков уже всё знал об Анне Андреевне, и даже в подробностях; не описываю его разговора и жестов, но он был в восторге, в исступлении восторга от «художественности подвига».

— Вот это — особа-с! Нет-с, вот это — так особа! — восклицал он. — Нет-с, это не по-нашему; мы вот сидим да и ничего, а тут захотелось испить водицы в настоящем источнике — и испила. Это… это — древняя статуя! Это — древняя статуя Минервы-с, только ходит и современное платье носит!

Я попросил его перейти к делу; всё дело, как я и предугадал вполне, заключалось лишь в том, чтоб склонить и уговорить князя ехать просить окончательной помощи у князя Николая Ивановича. «Не то ведь ему очень, очень плохо может быть, и не по моей уж воле; так иль не так?»

Он заглядывал мне в глаза, но, кажется, не предполагал, что мне что-нибудь более вчерашнего известно. Да и не мог предположить: само собою разумеется, что я ни словом, ни намеком не выдал, что знаю «об акциях». Объяснялись мы недолго, он тотчас же стал обещать мне денег, «и значительное, значительное, только способствуйте, чтоб князь поехал. Дело спешное, очень спешное, в том-то и сила, что слишком уж спешное!»

Спорить и пререкаться с ним, как вчера, я не захотел и встал выходить, на всякий случай бросив ему, что я «постараюсь». Но вдруг он меня удивил невыразимо: я уже направлялся к двери, как он, внезапно, ласково обхватив мою талию рукой, начал говорить мне… самые непонятные вещи.

Опускаю подробности и не привожу всю нить разговора, чтоб не утомлять. Смысл в том, что он сделал мне предложение «познакомить его с господином Дергачевым, так как вы там бываете!»

Я мгновенно притих, всеми силами стараясь не выдать себя каким-нибудь жестом. Тотчас, впрочем, ответил, что вовсе там незнаком, а если был, то всего один раз случайно.

— Но если были *допущены* раз, то уже можете прийти и в другой,

так или не так?

Я прямо, но очень хладнокровно спросил его, для чего ему это нужно? И вот до сих пор не могу понять, каким образом до такой степени может доходить наивность иного человека, по-видимому не глупого и «делового», как определил его Васин? Он совершенно прямо объяснил мне, что у Дергачева, по подозрениям его, «наверно что-нибудь из запрещенного, из запрещенного строго, а потому, исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду». И он, улыбаясь, подмигнул мне левым глазом.

Я ничего ровно не ответил утвердительно, но прикинулся, что обдумываю, и «обещал подумать», а затем поскорее ушел. Дела усложнялись: я полетел к Васину и как раз застал его дома.

— А, и вы — тоже! — загадочно проговорил он, завидев меня.

Не подымая его фразы, я прямо приступил к делу и рассказал. Он был видимо поражен, хотя нисколько не потерял хладнокровия. Он всё подробно переспросил.

— Очень могло быть, что вы не так поняли?

— Нет; уж понял верно, смысл совершенно прямой.

— Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен, — прибавил он искренно. — Да, действительно, если так всё было, то он полагал, что вы не можете устоять против известной суммы.

— И к тому же ему слишком известно мое положение: всё играл, я вел себя дурно, Васин.

— Я об этом слышал.

— Всего загадочнее для меня то, что он знает же про вас что и вы там бываете, — рискнул я спросить.

— Он слишком знает, — совершенно просто ответил Васин, — что я там ни при чем. Да и вся эта молодежь больше болтуны и ничего больше; вы, впрочем, сами лучше всех это можете помнить.

Мне показалось, что он как будто мне в чем-то не доверял.

— Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен.

— Я слышал, что дела господина Стебелькова не сколько порасстроились, — попробовал я еще спросить, — по крайней мере я слышал про одни акции…

— Про какие акции вы слышали?

Я нарочно заметил об «акциях», но, уж разумеется, не для того, чтоб рассказать ему вчерашний секрет князя. Мне только захотелось

сделать намек и посмотреть по лицу, по глазам, знает ли он что-нибудь про акции? Я достиг цели: по неуловимому и мгновенному движению в лице его я догадался, что ему, может быть, и тут кое-что известно. Я не ответил на его вопрос: «какие акции», а промолчал; а он, любопытно это, так и не продолжал об этом.

— Как здоровье Лизаветы Макаровны? — осведомился он с участием.

— Она здорова. Сестра моя всегда вас уважала… Удовольствие блеснуло в его глазах: я давно уже

угадал, что он неравнодушен к Лизе.

— У меня на днях был князь Сергей Петрович, — вдруг сообщил он.

— Когда? — вскричал я.

— Ровно четыре дня тому.

— Не вчера?

— Нет, не вчера. — Он вопросительно посмотрел на меня.

— Потом я, может быть, вам сообщу подробнее об этой нашей встрече, но теперь нахожу нужным предупредить вас, — загадочно проговорил Васин, — что он показался мне тогда как бы в ненормальном состоянии духа и… ума даже. Впрочем, я и еще имел один визит, — вдруг улыбнулся он, — сейчас перед вами, и тоже принужден был заключить об не совсем нормальном состоянии посетителя.

— Князь был сейчас?

— Нет, не князь, я теперь не про князя. У меня был сейчас Андрей Петрович Версилов и… вы ничего не знаете? Не случилось с ним ничего такого?

— Может быть, и случилось, но что именно у вас-то с ним произошло? — торопливо спросил я.

— Конечно, я должен бы был тут сохранить секрет. Мы как-то странно разговариваем с вами, слишком секретно, — опять улыбнулся он. — Андрей Петрович, впрочем, не заказывал мне секрета. Но вы — сын его, и так как я знаю ваши к нему чувства, то на этот раз даже, кажется, хорошо сделаю, если вас предупрежу. Вообрази те, он приходил ко мне с вопросом: «Если на случай, на днях, очень скоро, ему бы потребовалось драться на дуэли, то согласился ль бы я взять роль его секунданта?» Я, разумеется, вполне отказал ему.

Я был бесконечно изумлен; эта новость была всех беспокойнее: что-то вышло, что-то произошло, что-то непременно случилось, чего я еще не знаю! Я вдруг мельком вспомнил, как Версилов промолвил мне вчера: «Не я к тебе приду, а ты ко мне прибежишь». Я полетел к князю Николаю Ивановичу, еще более предчувствуя, что там разгадка. Васин, прощаясь, еще раз поблагодарил меня.

Старик князь сидел перед камином, окутав пледом свои ноги. Он встретил меня каким-то даже вопросительным взглядом, точно удивившись, что я пришел, а между тем сам же, чуть не каждый день, присылал звать меня. Впрочем, поздоровался ласково, но на первые вопросы мои отвечал как бы несколько брезгливо и ужасно как-то рассеянно. По временам как бы что-то соображал и пристально вглядывался в меня, как бы что-то забыв и припоминая нечто такое, что несомненно долженствовало относиться ко мне. Я прямо сказал, что слышал уже все и очень рад. Приветливая и добрая улыбка тотчас показалась на губах его, и он оживился; осторожность и недоверчивость его разом соскочили, точно он и забыл о них. Да и конечно забыл.

— Друг ты мой милый, я так и знал, что первый придешь, и, знаешь, я вчера еще это про тебя подумал: «Кто обрадуется? Он обрадуется». Ну, а больше-то никто; но это ничего. Люди — злые языки, но это ничтожно… Cher enfant, всё это так возвышенно и так прелестно… Но ведь ты ее знаешь сам слишком хорошо. А об тебе Анна Андреевна даже высоких мыслей. Это, это — строгое и прелестное лицо, лицо из английского кипсека[*]. Это — прелестнейшая английская гравюра, какая только может быть… Третьего года у меня была целая коллекция этих гравюр… Я всегда, всегда имел это намерение, всегда: я удивляюсь только, как я об этом никогда не думал.

— Вы, сколько я помню, всегда так любили и отличали Анну Андреевну.

— Друг мой, мы никому не хотим вредить. Жизнь с друзьями, с родными, с милыми сердцу — это рай. Все — поэты… Одним словом, еще с доисторических времен это известно. Знаешь, мы летом сначала в Соден, а потом в Бад-Гаштейн[*]. Но как ты давно, однако же, не был, мой друг; да что с тобою? Я тебя ожидал. И не правда ли, как много, много прошло с тех пор. Жаль только, что я неспокоен; как только остаюсь один, то и неспокоен. Вот потому-то мне и нельзя одному оставаться, не правда ли? Это ведь дважды два. Я это тотчас же понял с

первых же слов ее. О друг мой, она сказала всего только два слова, но это… это было вроде великолепнейшего стихотворения. А впрочем, ведь ты ей — брат, почти брат, не правда ли? Мой милый, недаром же я так любил тебя! Клянусь, я всё это предчувствовал. Я поцеловал у нее ручку и заплакал.

Он вынул платок, как бы опять собираясь заплакать. Он был сильно потрясен и, кажется, в одном из самых своих дурных «состояний», в каких я мог его запомнить за всё время нашего знакомства. Обыкновенно и даже почти всегда он бывал несравненно свежее и бодрее.

— Я бы всех простил, друг мой, — лепетал он далее. — Мне хочется всех простить, и я давно уже ни на кого не сержусь. Искусство, la poésie dans la vie,[54] вспоможение несчастным и она, библейская красота. Quelle charmante personne, a? Les chants de Salomon[*]…non, ce n'est pas, c'est David qui mettait une jeune belle dans son lit pour se chauffer dans sa vieillesse.[*] Enfin David, Salomon,[55] всё это кружится у меня в голове — кавардак какой-то. Всякая вещь, cher enfant, может быть и величественна, и в то же время смешна. Cette jeune belle de la vieillesse de David — c'est tout un poème,[56] а у Поль де Кока вышла бы из этого какая-нибудь scène de bassinoire[*],[57] и мы бы все смеялись. У Поль де Кока нет ни меры, ни вкуса, хотя он с талантом… Катерина Николаевна улыбается… Я сказал, что мы не будем мешать. Мы начали наш роман, и пусть нам дадут его докончить. Пусть это — мечта, но пусть не отымают у нас эту мечту.

— То есть как же мечта, князь?

— Мечта? Как мечта? Ну пусть мечта, только пусть дадут нам умереть с этой мечтой.

— О князь, к чему умирать? Жить, теперь только и жить!

— А я что же говорю? Я только это и твержу. Я решительно не знаю, для чего жизнь так коротка. Чтоб не наскучить, конечно, ибо жизнь есть тоже художественное произведение самого творца, в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения. Краткость есть первое условие художественности. Но если кому не скучно, тем бы и дать пожить подольше.

— Скажите, князь, это уже гласно?

— Нет! мой милый, отнюдь нет; мы все так и уговорились. Это семейно, семейно и семейно. Пока я лишь открылся вполне Катерине

Николавне, потому что считаю себя перед нею виновным. О, Катерина Николавна — ангел, она ангел!

— Да, да!

— Да? И ты — «да»? А я думал, что ты-то ей и враг. Ах да, кстати, она ведь просила не принимать тебя более. И представь себе, когда ты вошел, я это вдруг позабыл.

— Что вы говорите? — вскочил я, — за что? Когда? (Предчувствие не обмануло меня; да, я именно в этом роде предчувствовал с самой Татьяны!)

— Вчера, мой милый, вчера, я даже не понимаю, как ты теперь прошел, ибо приняты меры. Как ты вошел?

— Я просто вошел.

— Вероятнее всего. Если б ты с хитростью вошел, они бы наверно тебя изловили, а так как ты просто вошел, то они тебя и пропустили. Простота, mon cher, это в сущности высочайшая хитрость.

— Я ничего не понимаю, стало быть, и вы решили не принимать меня?

— Нет, мой друг, я сказал, что я в стороне… То есть я дал полное согласие. И будь уверен, мой милый мальчик, что я тебя слишком люблю. Но Катерина Николаевна слишком, слишком настоятельно потребовала… А, да вот!

В эту минуту вдруг показалась в дверях Катерина Николаевна. Она была одета как для выезда и, как и прежде это бывало, зашла к отцу поцеловать его. Увидя меня, она остановилась, смутилась, быстро повернулась и вышла.

— Voilà![58] — вскричал пораженный и ужасно взволнованный князь.

— Это недоразумение! — вскричал я, — это какая-то одна минута… Я… я сейчас к вам, князь!

И я выбежал вслед за Катериной Николаевной.

Затем всё, что последовало, совершилось так быстро, что я не только не мог сообразиться, но даже и чуть-чуть приготовиться, как вести себя. Если б я мог приготовиться, я бы, конечно, вел себя иначе! Но я потерялся как маленький мальчик. Я было бросился в ее комнаты, но лакей на дороге сказал мне, что Катерина Николаевна уже вышла и садится в карету. Я бросился сломя голову на парадную лестницу. Катерина Николаевна сходила вниз, в своей шубе, и рядом с ней шел

или, лучше сказать, вел ее высокий стройный офицер, в форме, без шинели, с саблей; шинель нес за ним лакей. Это был барон, полковник, лет тридцати пяти, щеголеватый тип офицера, сухощавый, с немного слишком продолговатым лицом, с рыжеватыми усами и даже ресницами. Лицо его было хоть и совсем некрасиво, но с резкой и вызывающей физиономией. Я описываю наскоро, как заметил в ту минуту. Перед тем же я его никогда не видал. Я бежал за ними по лестнице без шляпы и без шубы. Катерина Николаевна меня заметила первая и быстро прошептала ему что-то. Он повернул было голову, но тотчас же кивнул слуге и швейцару. Слуга шагнул было ко мне у самой уже выходной двери, но я отвел его рукой и выскочил вслед за ними на крыльцо. Бьоринг усаживал Катерину Николаеву в карету.

— Катерина Николавна! Катерина Николавна! — восклицал я бессмысленно (как дурак! Как дурак! О, я всё припоминаю, я был без шляпы!).

Бьоринг свирепо повернулся было опять к слуге и что-то крикнул ему громко, одно или два слова, я не разобрал. Я почувствовал, что кто-то схватил было меня за локоть. В эту минуту карета тронулась; я крикнул было опять и бросился за каретой. Катерина Николавна, я видел это, выглядывала в окно кареты и, кажется, была в большом беспокойстве. Но в быстром движении моем, когда я бросился, я вдруг сильно толкнул, совсем о том не думая, Бьоринга и, кажется, очень больно наступил ему на ногу. Он слегка вскрикнул, скрежетнул зубами и, сильною рукою схватив меня за плечо, злобно оттолкнул, так что я отлетел шага на три. В это мгновение ему подали шинель, он накинул, сел в сани и из саней еще раз грозно крикнул, указывая на меня лакеям и швейцару. Тут они меня схватили и удержали: один слуга набросил на меня шубу, другой подал шляпу, и — я уж не помню, что они тут говорили; они что-то говорили, а я стоял и их слушал, ничего не понимая. Но вдруг бросил их и побежал.

III

Ничего не разбирая и наталкиваясь на народ, добежал я наконец до квартиры Татьяны Павловны, даже не догадавшись нанять дорогой извозчика. Бьоринг оттолкнул меня при ней! Конечно, я отдавил ему

ногу, и он инстинктивно оттолкнул меня как человек, которому наступили на мозоль (а может, я и впрямь раздавил ему мозоль!). Но она видела, и видела, что меня хватают слуги, и это всё при ней, при ней! Когда я вбежал к Татьяне Павловне, то в первую минуту не мог ничего говорить и нижняя челюсть моя тряслась как в лихорадке. Да я и был в лихорадке и сверх того плакал… О, я был так оскорблен!

— А! Что? Вытолкали? И поделом, и поделом! — проговорила Татьяна Павловна; я молча опустился на диван и глядел на нее.

— Да что с ним? — оглядела она меня пристально. — На выпей стакан, выпей воду, выпей! Говори, что ты еще там накуролесил?

Я пробормотал, что меня выгнали, а Бьоринг толкнул на улице.

— Понимать-то можешь что-нибудь али еще нет? На вот, прочти, полюбуйся. — И, взяв со стола записку, она подала ее мне, а сама стала передо мной в ожидании. Я сейчас узнал руку Версилова, было всего несколько строк: это была записка к Катерине Николавне. Я вздрогнул, и понимание мгновенно воротилось ко мне во всей силе. Вот содержание этой ужасной, безобразной, нелепой, разбойнической записки, слово в слово:

«Милостивая государыня,

Катерина Николаевна,

Как вы ни развратны, по природе вашей и по искусству вашему, но всё же я думал, что вы сдержите ваши страсти и не посягнете по крайней мере на детей. Но вы и этого не устыдились. Уведомляю вас, что известный вам документ наверно не сожжен на свечке и никогда не был у Крафта, так что вы ничего тут не выиграете. А потому и не развращайте напрасно юношу. Пощадите его, он еще несовершеннолетний, почти мальчик, не развит и умственно и физически, что ж вам в нем проку? Я беру в нем участие, а потому и рискнул написать вам, хоть и не надеюсь на успех. Честь имею предупредить, что копию с сего одновременно посылаю к барону Бьорингу.

А. Версилов».

Я бледнел, читая, но потом вдруг вспыхнул, и губы мои затряслись от негодования.

— Это он про меня! Это про то, что я открыл ему третьего дня! — вскричал я в ярости.

— То-то и есть, что открыл! — вырвала у меня записку Татьяна

Павловна.

— Но… я не то, совсем не то говорил! О боже, что она может обо мне теперь подумать! Но ведь это сумасшедший? Ведь он сумасшедший… Я вчера его видел. Когда письмо было послано?

— Вчера днем послано, вечером пришло, а сегодня она мне передала лично.

— Но я его видел вчера сам, он сумасшедший! Так не мог написать Версилов, это писал сумасшедший! Кто может написать так женщине?

— А вот такие сумасшедшие в ярости и пишут, когда от ревности да от злобы ослепнут и оглохнут, а кровь в яд-мышьяк обратится… А ты еще не знал про него, каков он есть! Вот его и прихлопнут теперь за это, так что только мокренько будет. Сам под секиру лезет! Да лучше поди ночью на Николаевскую дорогу, положи голову на рельсы, вот и оттяпали бы ее ему, коли тяжело стало носить! Тебя-то что дернуло говорить ему! Тебя-то что дергало его дразнить? Похвалиться вздумал?

— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — хлопнул я себя по голове рукой, — и за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала? Что такое у них за сношения были, что такие письма можно писать?

— Не-на-висть! — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна.

Кровь ударила мне опять в лицо: я вдруг как бы что-то понял совсем уже новое; я глядел на нее вопросительно изо всех сил.

— Убирайся ты от меня! — взвизгнула она, быстро отвернувшись и махнув на меня рукой. — Довольно я с вами со всеми возилась! Полно теперь! Хоть провалитесь вы все сквозь землю!.. Только твою мать одну еще жалко…

Я, разумеется, побежал к Версилову. Но такое коварство! такое коварство!

IV

Версилов был не один. Объясню заранее: отослав вчера такое письмо к Катерине Николаевне и действительно (один только бог знает зачем) послав копию с него барону Бьорингу, он, естественно, сегодня же, в течение дня, должен был ожидать и известных «последствий»

своего поступка, а потому и принял своего рода меры: с утра еще он перевел маму и Лизу (которая, как я узнал потом, воротившись еще утром, расхворалась и лежала в постели) наверх, «в гроб», а комнаты, и особенно наша «гостиная», были усиленно прибраны и выметены. И действительно, в два часа пополудни пожаловал к нему один барон Р., полковник, военный, господин лет сорока, немецкого происхождения, высокий, сухой и с виду очень сильный физически человек, тоже рыжеватый, как и Бьоринг и немного только плешивый. Это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе, всё людей с сильнейшим баронским гонором, совершенно без состояния, живущих одним жалованьем и чрезвычайных служак и фрунтовиков. Я не застал начала их объяснения; оба были очень оживлены, да и как не быть. Версилов сидел на диване перед столом, а барон в креслах сбоку. Версилов был бледен, но говорил сдержанно и цедя слова, барон же возвышал голос и видимо наклонен был к порывистым жестам, сдерживался через силу, но смотрел строго, высокомерно и даже презрительно, хотя и не без некоторого удивления. Завидев меня, он нахмурился, но Версилов почти мне обрадовался:

— Здравствуй, мой милый. Барон, это вот и есть тот самый очень молодой человек, об котором упомянуто было в записке, и поверьте, он не помешает, а даже может понадобиться. (Барон презрительно оглядел меня). — Милый мой, — прибавил мне Версилов, — я даже рад, что ты пришел, а потому посиди в углу, прошу тебя, пока мы кончим с бароном. Не беспокойтесь, барон, он только посидит в углу.

Мне было всё равно, потому что я решился, и, кроме того, всё это меня поражало; я сел молча в угол, как можно более в угол, и просидел, не смигнув и не пошевельнувшись, до конца объяснения…

— Еще раз вам повторяю, барон, — твердо отчеканивая слова, говорил Версилов, — что Катерину Николаевну Ахмакову, которой я написал это недостойное и болезненное письмо, я считаю не только наиблагороднейшим существом, но и верхом всех совершенств!

— Такое опровержение своих же слов, как я уже вам заметил, похоже на подтверждение их вновь, — промычал барон. — Ваши слова решительно непочтительны.

— И однако, всего будет вернее, если вы их примете в точном смысле. Я, видите ли, страдаю припадками и… Разными расстройствами, и даже лечусь, а потому и случилось, что в одну из

подобных минут…

— Эти объяснения никак не могут входить. Еще и еще раз говорю вам, что вы упорно продолжаете ошибаться, может быть, хотите нарочно ошибаться. Я уже предупредил вас с самого начала, что весь вопрос относительно этой дамы, то есть о письме вашем, собственно, к генеральше Ахмаковой долженствует, при нашем теперешнем объяснении, быть устранен окончательно; вы же всё возвращаетесь. Барон Бьоринг просил меня и поручил мне особенно привести в ясность, собственно, лишь то, что тут до одного лишь его касается, то есть ваше дерзкое сообщение этой «копии», а потом вашу приписку, что «вы готовы отвечать за это чем и как угодно».

— Но, кажется, последнее уже ясно без разъяснений.

— Понимаю, слышал. Вы даже не просите извинения, а продолжаете лишь настаивать, что «готовы отвечать чем и как угодно». Но это слишком будет дешево. А потому я уже теперь нахожу себя вправе, в видах оборота, который вы упорно хотите придать объяснению, высказать вам с своей стороны всё уже без стеснения, то есть: я пришел к заключению, что барону Бьорингу никаким образом нельзя иметь с вами дела… на равных основаниях.

— Такое решение, конечно, одно из самых выгодных для друга вашего, барона Бьоринга, и, признаюсь, вы меня нисколько не удивили: я ожидал того.

Замечу в скобках: мне слишком было видно с первых слов, с первого взгляда, что Версилов даже ищет взрыва, вызывает и дразнит этого раздражительного барона и слишком, может быть, испытывает его терпение. Барона покоробило.

— Я слышал, что вы можете быть остроумным, но остроумие еще не ум.

— Чрезвычайно глубокое замечание, полковник.

— Я не спрашивал похвал ваших, — вскрикнул барон, — и не переливать из пустого приехал! Извольте выслушать: барон Бьоринг был в большом сомнении, получив письмо ваше, потому что оно свидетельствовало о сумасшедшем доме. И, конечно, могли быть тотчас же найдены средства, чтоб вас… успокоить. Но для вас, по некоторым особым соображениям, было сделано снисхождение и об вас были наведены справки: оказалось, что хотя вы и принадлежали к хорошему обществу и когда-то служили в гвардии, но из общества исключены и

репутация ваша более чем сомнительна. Однако, несмотря и на это, я прибыл сюда, чтоб удостовериться лично, и вот, сверх всего, вы еще позволяете себе играть словами и сами засвидетельствовали о себе, что подвержены припадкам. Довольно! Положение барона Бьоринга и его репутация не могут снисходить в этом деле… Одним словом, милостивый государь, я уполномочен вам объяснить, что если за сим последует повторение или хоть что-нибудь похожее на прежний поступок, то найдены будут немедленно средства вас усмирить, весьма скорые и верные, могу вас уверить. Мы живем не в лесу, а благоустроенном государстве!

— Вы так в этом уверены, мой добрый барон Р.?

— Черт возьми, — вдруг встал барон, — вы меня слишком испытываете доказать вам сейчас, что я не очень-то «добрый ваш барон Р.».

— Ах, еще раз предупреждаю вас, — поднялся и Версилов, — что здесь недалеко моя жена и дочь… а потому я бы вас просил говорить не столь громко, потому что ваши крики до них долетают.

— Ваша жена… черт… Если я сидел и говорил теперь с вами, то единственно с целью разъяснить это гнусное дело, — с прежним гневом и нисколько не понижая голоса продолжал барон. — Довольно! — вскричал он яростно, — вы не только исключены из круга порядочных людей, но вы — маньяк, настоящий помешанный маньяк, и так вас аттестовали! Вы снисхождения недостойны, и объявляю вам, что сегодня же насчет вас будут приняты меры и вас позовут в одно такое место, где вам сумеют возвратить рассудок… и вывезут из города!

Он быстрыми и большими шагами вышел из комнаты. Версилов не провожал его. Он стоял, глядел на меня рассеянно и как бы меня не замечая; вдруг он улыбнулся, тряхнул волосами и, взяв шляпу, направился тоже к дверям. Я схватил его за руку.

— Ах да, и ты тут? Ты… слышал? — остановился он передо мной.

— Как могли вы это сделать? Как могли вы так исказить, так опозорить!.. С таким коварством!

Он смотрел пристально, но улыбка его раздвигалась всё более и более и решительно переходила в смех.

— Да ведь меня же опозорили… при ней! при ней! Меня осмеяли в ее глазах, а он… толкнул меня! — вскричал я вне себя.

— Неужели? Ах, бедный мальчик, как мне тебя жаль… Так тебя

там ос-ме-яли!

— Вы смеетесь, вы смеетесь надо мной! Вам смешно!

Он быстро вырвал из моей руки свою руку, надел Шляпу и, смеясь, смеясь уже настоящим смехом, вышел из квартиры. Что мне было догонять его, зачем? Я всё понял и — всё потерял в одну минуту! Вдруг я увидел маму; она сошла сверху и робко оглядывалась.

— Ушел?

Я молча обнял ее, а она меня, крепко, крепко, так и прижалась ко мне.

— Мама, родная, неужто вам можно оставаться? Пойдемте сейчас, я вас укрою, я буду работать для вас как каторжный, для вас и для Лизы… Бросимте их всех, всех и уйдем. Будем одни. Мама, помните, как вы ко мне к Тушару приходили и как я вас признать не хотел?

— Помню, родной, я всю жизнь перед тобой виновата, я тебя родила, а тебя не знала.

— Он виноват в этом, мама, это он во всем виноват; он нас никогда не любил.

— Нет, любил.

— Пойдемте, мама.

— Куда я от него пойду, что он, счастлив, что ли?

— Где Лиза?

— Лежит; пришла — прихворнула; боюсь я. Что они, очень на него там сердятся? Что с ним теперь сделают? Куда он пошел? Что этот офицер тут грозил?

— Ничего ему не будет, мама, никогда ему ничего не бывает, никогда ничего с ним не случится и не может случиться. Это такой человек! Вот Татьяна Павловна, ее спросите, коли не верите, вот она. (Татьяна Павловна вдруг вошла в комнату). Прощайте, мама. Я к вам сейчас, и когда приду, опять спрошу то же самое…

Я выбежал; я не мог видеть кого бы то ни было, не только Татьяну Павловну, а мама меня мучила. Я хотел быть один, один.

V

Но я не прошел и улицы, как почувствовал, что не могу ходить, бессмысленно наталкиваясь на этот народ, чужой и безучастный; но

куда же деться? Кому я нужен и — что мне теперь нужно? Я машинально прибрел к князю Сергею Петровичу, вовсе о нем не думая. Его не было дома. Я сказал Петру (человеку его), что буду ждать в кабинете (как и множество раз это делалось). Кабинет его была большая, очень высокая комната, загроможденная мебелью. Я забрел в самый темный угол, сел на диван и, положив локти на стол, подпер обеими руками голову. Да, вот вопрос: «Что мне теперь нужно?» Если я и мог тогда формулировать этот вопрос, то всего менее мог на него ответить.

Но я не мог ни думать толком, ни спрашивать. Я уже предуведомил выше, что, под конец этих дней, я был «раздавлен событиями»; я теперь сидел, и всё как хаос вертелось в уме моем. «Да, я в нем всё проглядел и ничего не уразумел, — мерещилось мне минутами. — Он засмеялся сейчас мне в глаза: это не надо мной; тут всё Бьоринг, а не я. Третьего дня за обедом уж он всё знал и был мрачен. Он подхватил у меня мою глупую исповедь в трактире и исказил всё насчет всякой правды, только зачем ему было правды? Он ни полслову сам не верит из того, что ей написал. Ему надо было только оскорбить, бессмысленно оскорбить, не зная даже для чего, придравшись к предлогу, а предлог дал я… Поступок бешеной собаки! Убить, что ли, он теперь хочет Бьоринга? Для чего? Его сердце знает для чего! А я ничего не знаю, что в его сердце… Нет, нет, и теперь не знаю. Неужели до такой страсти ее любит? или до такой страсти ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то? Что это я сказал маме, что с ним „ничего не может сделаться“; что я этим хотел сказать? Потерял я его или не потерял?»

«…Она видела, как меня толкали… Она тоже смеялась или нет? Я бы смеялся! Шпиона били, шпиона!..»

«Что значит (мелькнуло мне вдруг), что значит, что он включил в это гадкое письмо, что документ вовсе не сожжен, а существует?..»

«Он не убьет Бьоринга, а наверно теперь в трактире сидит и слушает „Лючию“! А может, после „Лючии“ пойдет и убьет Бьоринга. Бьоринг толкнул меня, ведь почти ударил; ударил ли? Бьоринг даже и с Версиловым драться брезгает, так разве пойдет со мной? Может быть, мне надо будет убить его завтра из револьвера, выждав на улице…» И вот эту мысль провел я в уме совсем машинально, не останавливаясь на ней нисколько.

Минутами мне как бы мечталось, что вот сейчас отворится дверь,

войдет Катерина Николаевна, подаст мне руку, и мы оба рассмеемся… О, студент мой милый! Это мне мерещилось, то есть желалось, уж когда очень стемнело в комнате. «Да давно ли это было, что я стоял перед ней, прощался с ней, а она подавала мне руку и смеялась? Как могло случиться, что в такое короткое время вышло такое ужасное расстояние! Просто пойти к ней и объясниться сейчас же, сию минуту, просто, просто! Господи, как это так вдруг совсем новый мир начался! Да, новый мир, совсем, совсем новый… А Лиза, а князь, это еще старые… Вот я здесь теперь у князя. И мама, — как могла она жить с ним, коли так? Я бы мог, я всё смогу, но она? Теперь что же будет?» И вот, как в вихре, фигуры Лизы, Анны Андреевны, Стебелькова, князя, Афердова, всех, бесследно замелькали в моем больном мозгу. Но мысли становились всё бесформеннее и неуловимее; я рад был, когда удавалось осмыслить какую-нибудь и ухватиться за нее.

«У меня есть „идея“! — подумал было я вдруг, — да так ли? Не наизусть ли я затвердил? Моя идея — это мрак и уединение, а разве теперь уж возможно уползти назад в прежний мрак? Ах, боже мой, я ведь не сжег „документ“! Я так и забыл его сжечь третьего дня. Ворочусь и сожгу на свечке, именно на свечке; не знаю только, то ли я теперь думаю…»

Давно смерклось, и Петр принес свечи. Он постоял надо мной и спросил, кушал ли я? Я только махнул рукой. Однако спустя час он принес мне чаю, и я с жадностью выпил большую чашку. Потом я осведомился, который час? Было половина девятого, и я даже не удивился, что сижу уже пять часов.

— Я к вам уже раза три входил, — сказал Петр, — да вы, кажется, спали.

Я же не помнил, что он входил. Не знаю почему, но вдруг ужасно испугавшись, что я «спал», я встал и начал ходить по комнате, чтоб опять не «заснуть». Наконец, сильно начала болеть голова. Ровно в десять часов вошел князь, и я удивился тому, что я ждал его; я о нем совсем забыл, совсем.

— Вы здесь, а я заезжал к вам, за вами, — сказал он мне. Лицо его было мрачно и строго, ни малейшей улыбки. В глазах неподвижная идея.

— Я бился весь день и употребил все меры, — продолжал он сосредоточенно, — всё рушилось, а в будущем ужас… (NB. Он так и не

был у князя Николая Ивановича). Я видел Жибельского, это человек невозможный. Видите: сначала надо иметь деньги, а потом мы увидим. А если и с деньгами не удастся, тогда… Но я сегодня решился об этом не думать. Добудем сегодня только деньги, а завтра всё увидим. Ваш третьегодняшний выигрыш еще цел до копейки. Там без трех рублей три тысячи. За вычетом вашего долга, вам остается сдачи триста сорок рублей. Возьмите их и еще семьсот, чтоб была тысяча, а я возьму остальные две. Затем сядем у Зерщикова на двух разных концах и попробуем выиграть десять тысяч — может, что-нибудь сделаем, не выиграем — тогда… Впрочем, только это и остается.

Он фатально посмотрел на меня.

— Да, да! — вскричал я вдруг, точно воскресая, — едем! Я только вас и ждал…

Замечу, что я ни одного мгновения не думал в эти часы о рулетке.

— А подлость? А низость поступка? — спросил вдруг князь.

— Это что мы на рулетку-то! Да это всё! — вскричал я, — деньги всё! Это только мы с вами святые, а Бьоринг продал же себя. Анна Андреевна продала же себя, а Версилов — слышали вы, что Версилов маньяк? Маньяк! Маньяк!

— Вы здоровы, Аркадий Макарович? У вас какие-то странные глаза.

— Это вы, чтоб без меня уехать? Да я от вас теперь не отстану. Недаром мне всю ночь игра снилась. Едем, едем! — вскрикивал я, точно вдруг нашел всему разгадку.

— Ну так едем, хоть вы и в лихорадке, а там…

Он не договорил. Тяжелое, ужасное было у него лицо. Мы уже выходили.

— Знаете ли, — сказал он вдруг, приостановившись в дверях, — что есть и еще один выход из беды, кроме игры?

— Какой?

— Княжеский!

— Что же? Что же?

— Потом узнаете что. Знайте только, что я уже его недостоин, потому что опоздал. Едем, а вы попомните мое слово. Попробуем выход лакейский… И разве я не знаю, что я сознательно, с полной волей, еду и действую как лакей!

VI

Я полетел на рулетку, как будто в ней сосредоточилось всё мое спасение, весь выход, а между тем, как сказал уже, до приезда князя я об ней и не думал. Да и играть ехал я не для себя, а на деньги князя для князя же; осмыслить не могу, что влекло меня, но влекло непреоборимо. О, никогда эти люди, эти лица, эти крупёры[*], эти игорные крики, вся эта подлая зала у Зерщикова, никогда не казалось мне всё это так омерзительно, так мрачно, так грубо и грустно, как в этот раз! Я слишком помню скорбь и грусть, по временам хватавшую меня за сердце во все эти часы у стола. Но для чего я не уезжал? Для чего выносил, точно принял на себя жребий, жертву, подвиг? Скажу лишь одно: вряд ли я могу сказать про себя тогдашнего, что был в здравом рассудке. А между тем никогда еще не играл я так разумно, как в этот вечер. Я был молчалив и сосредоточен, внимателен и расчетлив ужасно; я был терпелив и скуп и в то же время решителен в решительные минуты. Я поместился опять у zéro, то есть опять между Зерщиковым и Афердовым, который всегда усаживался подле Зерщикова справа; мне претило это место, но мне непременно хотелось ставить на zéro, а все остальные места у zéro были заняты. Мы играли уже с лишком час; наконец я увидел с своего места, что князь вдруг встал и, бледный, перешел к нам и остановился передо мной напротив, через стол: он всё проиграл и молча смотрел на мою игру, впрочем, вероятно, ничего в ней не понимая и даже не думая уже об игре. К этому времени я только что стал выигрывать, и Зерщиков отсчитал мне деньги. Вдруг Афердов, молча, в моих глазах, самым наглым образом, взял и присоединил к своей, лежавшей перед ним куче денег, одну из моих сторублевых. Я вскрикнул и схватил его за руку. Тут со мной произошло нечто мною неожиданное: я точно сорвался с цепи; точно все ужасы и обиды этого дня вдруг сосредоточились в этом одном мгновении, в этом исчезновении сторублевой. Точно всё накопившееся и сдавленное во мне ждало только этого мига, чтобы прорваться.

— Это — вор: он украл у меня сейчас сторублевую! — восклицал я, озираясь кругом, вне себя.

Не описываю поднявшейся суматохи; такая история была здесь совершенною новостью. У Зерщикова вели себя пристойно, и игра у

него тем славилась. Но я не помнил себя. Среди шума и криков вдруг послышался голос Зерщикова:

— И однако же, денег нет, а они здесь лежали! Четыреста рублей! разом вышла и другая история: пропали деньги в банке, под носом у Зерщикова, пачка в четыреста рублей. Зерщиков указывал место, где они лежали, «сейчас только лежали», и это место оказывалось прямо подле меня, соприкасалось со мной, с тем местом, где лежали мои деньги, то есть гораздо, значит, ближе ко мне, чем к Афердову.

— Вор здесь! Это он опять украл, обыщите его! — восклицал я, указывая на Афердова.

— Это — всё потому, — раздался чей-то громовый и внушительный голос среди общих криков, — что входят неизвестно какие. Пускают нерекомендованных! Кто его ввел? Кто он такой?

— Долгорукий какой-то.

— Князь Долгорукий?

— Его князь Сокольский ввел, — закричал кто-то.

— Слышите, князь, — вопил я ему через стол в исступлении, — они меня же вором считают, тогда как меня же здесь сейчас обокрали! Скажите же им, скажите им обо мне!

И вот тут произошло нечто самое ужасное изо всего, что случилось во весь день… даже из всей моей жизни: князь отрекся. Я видел, как он пожал плечами и в ответ на сыпавшиеся вопросы резко и ясно выговорил:

— Я ни за кого не отвечаю. Прошу оставить меня в покое.

Между тем Афердов стоял среди толпы и громко требовал, чтоб его обыскали. Он выворачивал сам свои карманы. Но на требование его отвечали криками: «Нет, нет, вор известен!» Два призванные лакея схватили меня сзади за руки.

— Я не дам себя обыскивать, не позволю! — кричал я вырываясь.

Но меня увлекли в соседнюю комнату, там, среди толпы, меня обыскали всего до последней складки. Я кричал и рвался.

— Сбросил, должно быть, надо на полу искать, — решил кто-то.

— Где ж теперь искать на полу!

— Под стол, должно быть, как-нибудь успел забросить!

— Конечно, след простыл…

Меня вывели, но я как-то успел стать в дверях и с бессмысленной яростию прокричать на всю залу:

— Рулетка запрещена полицией. Сегодня же донесу на всех вас!

Меня свели вниз, одели и… отворили передо мною дверь на улицу.

Глава девятая

I

День закончился катастрофой, но оставалась ночь, и вот что я запомнил из этой ночи.

Я думаю, был первый час в начале, когда я очутился на улице. Ночь была ясная, тихая и морозная. Я почти бежал, страшно торопился, но — совсем не домой. «Зачем домой? разве теперь может быть дом? В доме живут, я завтра проснусь, чтоб жить, — а разве это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсем нельзя». И вот я брел по улицам, совсем не разбирая, куда иду, да и не знаю, хотел ли куда добежать? Мне было очень жарко, и я поминутно распахивал тяжелую енотовую мою шубу. «Теперь уже никакое действие, казалось мне в ту минуту, не может иметь никакой цели». И странно: мне всё казалось, что всё кругом, даже воздух, которым я дышу, был как будто с иной планеты, точно я вдруг очутился на Луне. Всё это — город, прохожие, тротуар, по которому я бежал, — всё это было уже *не мое*. «Вот это — Дворцовая площадь, вот это — Исаакий, — мерещилось мне, — но теперь мне до них никакого дела»; всё как-то отчудилось, всё это стало вдруг *не мое*. «У меня мама, Лиза — ну что ж, что мне теперь Лиза и мать? Всё кончилось, всё разом кончилось, кроме одного: того, что я — вор навечно».

«Чем доказать, что я — не вор? Разве это теперь возможно? Уехать в Америку? Ну, что ж этим докажешь? Версилов первый поверит, что я украл! „Идея“? Какая „идея“? Что теперь „идея“? Через пятьдесят лет, через сто лет я буду идти, и всегда найдется человек, который скажет, указывая на меня: „Вот это — вор“. Он начал с того „свою идею“, что украл деньги с рулетки…»

Была ли во мне злоба? Не знаю, может быть, была. Странно, во мне всегда была, и, может быть, с самого первого детства, такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня неутолимое

желание пассивно подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желаниям обидчика: «Нате, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь!» Тушар бил меня и хотел показать, что я — лакей, а не сенаторский сын, и вот я тотчас же сам вошел тогда в роль лакея. Я не только подавал ему одеваться, но я сам схватывал щетку и начинал счищать с него последние пылинки, вовсе уже без его просьбы или приказания, сам гнался иногда за ним со щеткой, в пылу лакейского усердия, чтоб смахнуть какую-нибудь последнюю соринку с его фрака, так что он сам уже останавливал меня иногда: «Довольно, довольно, Аркадий, довольно». Он придет, бывало, снимет верхнее платье — а я его вычищу, бережно сложу и накрою клетчатым шелковым платочком. Я знаю, что товарищи смеются и презирают меня за это, отлично знаю, но мне это-то и любо: «Коли захотели, чтоб я был лакей, ну так вот я и лакей, хам — так хам и есть». Пассивную ненависть и подпольную злобу в этом роде я мог продолжать годами. И что же? У Зерщикова я крикнул на всю залу, в совершенном исступлении: «Донесу на всех, рулетка запрещена полицией!» И вот клянусь, что и тут было нечто как бы подобное: меня унизили, обыскали, огласили вором, убили — «ну так знайте же все, что вы угадали, я — не только вор, но я — и доносчик!» Припоминая теперь, я именно так подвожу и объясняю; тогда же было вовсе не до анализа, крикнул я тогда без намерения, даже за секунду не знал, что так крикну: само крикнулось — уж *черта* такая в душе была.

Когда я бежал, несомненно начинался уже бред, но я очень вспоминаю, что действовал сознательно. А между тем твердо говорю, что целый цикл идей и заключений был для меня тогда уже невозможен; я даже и в те минуты чувствовал про себя сам, что «одни мысли я могу иметь, а других я уже никак не могу иметь». Равно и некоторые решения мои, хотя и при ясном сознании, могли не иметь в себе тогда ни малейшей логики. Мало того, я очень хорошо помню, что я мог в иные минуты вполне сознавать нелепость иного решения и в то же время с полным сознанием тут же приступить к его исполнению. Да, преступление навертывалось в ту ночь и только случайно не совершилось.

Мне мелькнуло вдруг тогда словцо Татьяны Павловны о Версилове: «Пошел бы на Николаевскую дорогу и положил бы голову на рельсы: там бы ему ее и оттяпали». Эта мысль на мгновение овладела

всеми моими чувствами, но я мигом и с болью прогнал ее: «Положить голову на рельсы и умереть, а завтра скажут: это оттого он сделал, что украл, сделал от стыда, — нет, ни за что!» И вот в это мгновение, помню, я ощутил вдруг один миг страшной злобы. «Что ж? — пронеслось в уме моем, — оправдаться уж никак нельзя, начать новую жизнь тоже невозможно, а потому — покориться, стать лакеем, собакой, козявкой, доносчиком, настоящим уже доносчиком, а самому потихоньку приготовляться и когда-нибудь — всё вдруг взорвать на воздух, всё уничтожить, всех, и виноватых и невиноватых, и тут вдруг все узнают, что это — тот самый, которого назвали вором… а там уж и убить себя».

Не помню, как я забежал в переулок, где-то близко от Конногвардейского бульвара.* В переулке этом с обеих сторон, почти на сотню шагов, шли высокие каменные стены — заборы задних дворов. За одной стеной слева я увидел огромный склад дров, длинный склад, точно на дровяном дворе, и с лишком на сажень превышавший стену. Я вдруг остановился и начал обдумывать. В кармане со мной были восковые спички в маленькой серебряной спичечнице. Повторяю, я вполне отчетливо сознавал тогда то, что обдумывал и что хотел сделать, и так припоминаю и теперь, но для чего я хотел это сделать — не знаю, совсем не знаю. Помню только, что мне очень вдруг захотелось. «Взлезть на забор очень можно», — рассуждал я; как раз тут в двух шагах очутились в стене ворота, должно быть наглухо запертые по целым месяцам. «Став на уступ внизу, — раздумывал я далее, — можно, схватившись за верх ворот, взлезть на самую стену — и никто не приметит, никого нет, тишина! А там я усядусь на верху стены и отлично зажгу дрова, даже не сходя вниз можно, потому что дрова почти соприкасаются со стеной. От холода еще сильнее будуть гореть, стоит только рукой достать одно березовое полено… да и незачем совсем доставать полено: можно прямо, сидя на стене, содрать рукой с березового полена бересту и на спичке зажечь ее, зажечь и пропихнуть в дрова — вот и пожар. А я соскочу вниз и уйду; даже и бежать не надо, потому что долго еще не заметят…» Так я это всё рассудил и — вдруг совсем решился. Я ощутил чрезвычайное удовольствие, наслаждение и полез. Я лазить умел отличает гимнастика была моею специальностью еще в гимназии, но я был в калошах, и дело оказалось труднее. Однако ж я успел-таки уцепиться рукой за один едва ощущаемый выступ вверху

и приподнялся, другую руку замахнул было, чтоб ухватиться уже за верх стены, но тут вдруг оборвался и навзничь полетел вниз. Полагаю, что я стукнулся о землю затылком и, должно быть, минуту или две пролежал без сознания. Очнувшись, я машинально запахнул на себе шубу, вдруг ощутив нестерпимый холод, и, еще плохо сознавая, что делаю, пополз в угол ворот и там присел, съежившись и скорчившись, в углублении между воротами и выступом стены. Мысли мои мешались, и, вероятно, я очень быстро задремал. Как сквозь сон теперь вспоминаю, что вдруг раздался в ушах моих густой, тяжелый колокольный звон, и я с наслаждением стал к нему прислушиваться.

Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный, плавный звон, и я вдруг различил, что это ведь — звон знакомый, что звонят у Николы, в красной церкви напротив Тушара, — в старинной московской церкви, которую я так помню, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчатой, многоглавой и «в столпах», — и что теперь только что минула святая неделя* и на тощих березках в палисаднике тушаровского дома уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи* в нашу классную комнату, а у меня, в моей маленькой комнатке налево, куда Тушар отвел меня еще год назад от «графских и сенаторских детей», сидит гостья. Да, у меня, безродного, вдруг очутилась гостья — в первый раз с того времени, как я у Тушара. Я тотчас узнал эту гостью, как только она вошла: это была мама, хотя с того времени, как она меня причащала в деревенском храме и голубок пролетел через купол, я не видал уж ее ни разу. Мы сидели вдвоем, и я странно к ней приглядывался. Потом, уже спустя много лет, я узнал, что она тогда, оставшись без Версилова, уехавшего вдруг за границу, прибыла в Москву на свои жалкие средства *самовольно,* почти украдкой от тех, которым поручено было тогда о ней попечение, и это единственно чтоб со мной повидаться. Странно было и то, что, войдя и поговорив с Тушаром, она ни слова не сказала мне самому, что она — моя мать. Она сидела подле меня, и, помню, я даже удивлялся, что она мало так говорит. С ней был узелок, и она развязала его: в нем оказалось шесть апельсинов, несколько пряников и два обыкновенных французских хлеба. Я обиделся на французские хлебы и с ущемленным видом ответил, что здесь у нас «пища» очень хорошая и нам каждый

день дают к чаю по целой французской булке.

— Всё равно, голубчик, я ведь так по простоте подумала: «Может, их там, в школе-то, худо кормят», не взыщи, родной.

— И Антонине Васильевне (жене Тушара) обидно станет-с. Товарищи тоже будут надо мною смеяться…

— Не примешь, что ли, может, и скушаешь?

— Пожалуй, оставьте-с…

А к гостинцам я даже не притронулся; апельсины и пряники лежали передо мной на столике, а я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства. Кто знает, может быть, мне очень хотелось тоже не скрыть от нее, что визит ее меня даже перед товарищами стыдит; хоть капельку показать ей это, чтоб поняла: «Вот, дескать, ты меня срамишь и даже сама не понимаешь того». О, я уже тогда бегал со щеткой за Тушаром смахивать с него пылинки! Представлял я тоже себе, сколько перенесу я от мальчишек насмешек, только что она уйдет, а может, и от самого Тушара, — и ни малейшего доброго чувства не было к ней в моем сердце. Искоса только я оглядывал ее темненькое старенькое платьице, довольно грубые, почти рабочие руки, совсем уж грубые ее башмаки и сильно похудевшее лицо; морщинки уже прорезывались у нее на лбу, хотя Антонина Васильевна и сказала мне потом, вечером, по ее уходе: «Должно быть, ваша maman была когда-то очень недурна собой».

Так мы сидели, и вдруг Агафья вошла с подносом, на котором была чашка кофею. Было время послеобеденное, и Тушары всегда в этот час пили у себя в своей гостиной кофей. Но мама поблагодарила и чашку не взяла: как узнал я после, она совсем тогда не пила кофею, производившего у ней сердцебиение. Дело в том, что визит ее и дозволение ей меня видеть Тушары внутри себя, видимо, считали чрезвычайным с их стороны снисхождением, так что посланная маме чашка кофею была, так сказать, уже подвигом гуманности, сравнительно говоря, приносившим чрезвычайную честь их цивилизованным чувствам и европейским понятиям. А мама-то как нарочно и отказалась.

Меня позвали к Тушару, и он велел мне взять все мои тетрадки и книги и показать маме: «чтоб она видела, сколько успели вы приобрести в моем заведении». Тут Антонина Васильевна, съежив губки, обидчиво и насмешливо процедила мне с своей стороны:

— Кажется, вашей maman не понравился наш кофей.

Я набрал тетрадок и понес их к дожидавшейся маме мимо столпившихся в классной и подглядывавших нас с мамой «графских и сенаторских детей». И вот, мне даже понравилось исполнить приказание Тушара в буквальной точности. Я методически стал развертывать мои тетрадки и объяснять: «Вот это — уроки из французской грамматики, вот это — упражнение под диктант, вот тут спряжение вспомогательных глаголов avoir и être, вот тут по географии, описание главных городов Европы и всех частей света» и т. д., и т. д. Я с полчаса или больше объяснял ровным, маленьким голоском, благонравно потупив глазки. Я знал, что мама ничего не понимает в науках, может быть, даже писать не умеет, но тут-то моя роль мне и нравилась. Но утомить ее я не смог, — она всё слушала, не прерывая меня, с чрезвычайным вниманием и даже благоговением, так что мне самому наконец наскучило, и я перестал; взгляд ее был, впрочем, грустный, и что-то жалкое было в ее лице.

Она поднялась наконец уходить; вдруг вошел сам Тушар и с дурацки-важным видом спросил ее: довольна ли она успехами своего сына? Мама начала бессвязно бормотать и благодарить; подошла и Антонина Васильевна. Мама стала просить их обоих «не оставить сиротки, всё равно он что сиротка теперь, окажите благодеяние ваше…» — и она со слезами на глазах поклонилась им обоим, каждому раздельно, каждому глубоким поклоном, именно как кланяются «из простых», когда приходят просить о чем-нибудь важных господ. Тушары этого даже не ожидали, а Антонина Васильевна, видимо, была смягчена и, конечно, тут же изменила свое заключение насчет чашки кофею. Тушар, с усиленною важностию, гуманно ответил, что он «детей не рознит, что все здесь — его дети, а он — их отец, что я у него почти на одной ноге с сенаторскими и графскими детьми, и что это надо ценить», и проч., и проч. Мама только кланялась, но, впрочем, конфузилась, наконец обернулась ко мне и со слезами, блеснувшими на глазах, проговорила: «Прощай, голубчик!»

И поцеловала меня, то есть я позволил себя поцеловать. Ей видимо хотелось бы еще и еще поцеловать меня, обнять, прижать, но совестно ли стало ей самой при людях, али от чего-то другого горько, али уж догадалась она, что я ее устыдился, но только она поспешно, поклонившись еще раз Тушарам, направилась выходить. Я стоял.

— Mais suivez donc votre mère, — проговорила Антонина Васильевна, — il n'a pas de coeur cet enfant![59]

Тушар в ответ ей пожал плечами, что, конечно, означало: «недаром же, дескать, я третирую его как лакея».

Я послушно спустился за мамой; мы вышли на крыльцо. Я знал, что они все там смотрят теперь из окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубоко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, густой колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она повернулась ко мне и — не выдержала, положила мне обе руки на голову, и заплакала над моей головой.

— Маменька, полноте-с… стыдно… ведь они из окошка теперь это видят-с…

Она вскинулась и заторопилась:

— Ну, господи… ну, господь с тобой… ну, храни тебя ангелы небесные, пречестная мать, Николай-угодник… Господи, господи! — скороговоркой повторяла она, всё крестя меня, всё стараясь чаще и побольше положить крестов, — голубчик ты мой, милый ты мой! Да постой, голубчик…

Она поспешно сунула руку в карман и вынула платочек, синенький клетчатый платочек с крепко завязанным на кончике узелочком и стала развязывать узелок… но он не развязывался…

— Ну, всё равно, возьми и с платочком, чистенький, пригодится, может, четыре двугривенных тут, может, понадобятся, прости, голубчик, больше-то как раз сама не имею… прости, голубчик.

Я принял платочек, хотел было заметить, что нам «от господина Тушара и Антонины Васильевны очень хорошее положено содержание и мы ни в чем не нуждаемся», но удержался и взял платочек.

Еще раз перекрестила, еще раз прошептала какую-то молитву и вдруг — и вдруг поклонилась и мне точно так же, как наверху Тушарам, — глубоким, медленным, длинным поклоном — никогда не забуду я этого! Так я и вздрогнул и сам не знал отчего. Что она хотела сказать этим поклоном: «вину ли свою передо мной признала?» — как придумалось мне раз уже очень долго спустя — не знаю. Но тогда мне тотчас же еще пуще стало стыдно, что «сверху они оттудова смотрят, а Ламберт так, пожалуй, и бить начнет».

Она наконец ушла. Апельсины и пряники поели еще до моего прихода сенаторские и графские дети, а четыре двугривенных у меня

тотчас же отнял Ламберт; на них накупили они в кондитерской пирожков и шоколаду и даже меня не попотчевали.

Прошли целые полгода, и наступил уже ветреный и ненастный октябрь. Я про маму совсем забыл. О, тогда ненависть, глухая ненависть ко всему уже проникла в мое сердце, совсем напитала его; я хоть и обчищал щеткой Тушара по-прежнему, но уже ненавидел его изо всех сил и каждый день всё больше и больше. И вот тогда, как-то раз в грустные вечерние сумерки, стал я однажды перебирать для чего-то в моем ящике и вдруг, в уголку, увидал синенький батистовый платочек ее; он так и лежал с тех пор, как я его тогда сунул. Я вынул его и осмотрел даже с некоторым любопытством; кончик платка сохранял еще вполне след бывшего узелка и даже ясно отпечатавшийся кругленький оттиск монетки; я, впрочем, положил платок на место и задвинул ящик. Это было под праздник, и загудел колокол ко всенощной. Воспитанники уже с после обеда разъехались по домам, но на этот раз Ламберт остался на воскресенье, не знаю, почему за ним не прислали. Он хоть и продолжал меня тогда бить, как и прежде, но уже очень много мне сообщал и во мне нуждался. Мы проговорили весь вечер о лепажевских пистолетах, которых ни тот, ни другой из нас не видал, о черкесских шашках и о том, как они рубят, о том, как хорошо было бы завести шайку разбойников, и под конец Ламберт перешел к любимым своим разговорам на известную гадкую тему, и хоть я и дивился про себя, но очень любил слушать. Этот же раз мне стало вдруг нестерпимо, и я сказал ему, что у меня болит голова. В десять часов мы легли спать; я завернулся с головой в одеяло и из-под подушки вытянул синенький платочек: я для чего-то опять сходил, час тому назад, за ним в ящик и, только что постлали наши постели, сунул его под подушку. Я тотчас прижал его к моему лицу и вдруг стал его целовать. «Мама, мама», — шептал я, вспоминая, и всю грудь мою сжимало, как в тисках. Я закрывал глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил ей: «Стыдно, смотрят». «Мамочка, мама, раз-то в жизни была ты у меня… Мамочка, где ты теперь, гостья ты моя далекая? Помнишь ли ты теперь своего бедного мальчика, к которому приходила… Покажись ты мне хоть разочек теперь, приснись ты мне хоть во сне только, чтоб только я сказал тебе, как люблю тебя, только чтоб обнять мне тебя и поцеловать твои синенькие глазки, сказать тебе, что я совсем тебя уж теперь не

стыжусь, и что я тебя и тогда любил, и что сердце мое ныло тогда, а я только сидел как лакей. Не узнаешь ты, мама, никогда, как я тебя тогда любил! Мамочка, где ты теперь, слышишь ли ты меня? Мама, мама, а помнишь голубочка в деревне?..»

— Ах черт… Чего он! — ворчит с своей кровати Ламберт, — постой, я тебе! Спать не дает… — Он вскакивает наконец с постели, подбегает ко мне и начинает рвать с меня одеяло, но я крепко-крепко держусь за одеяло, в которое укутался с головой.

— Хнычешь, чего ты хнычешь, дурак, духгак! Вот тебе! — и он бьет меня, он больно ударяет меня кулаком в спину, в бок, всё больней и больней, и… и я вдруг открываю глаза…

Уже сильно рассветает, иглистый мороз сверкает на снегу, на стене… Я сижу, скорчившись, еле живой, окоченев в моей шубе, а кто-то стоит надо мной, будит меня, громко ругая и больно ударяя меня в бок носком правой ноги. Приподымаюсь, смотрю: человек в богатой медвежьей шубе, в собольей шапке, с черными глазами, с черными как смоль щегольскими бакенами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо как маска[*]…Он очень близко наклонился ко мне, и морозный пар вылетает из его рта с каждым его дыханием:

— Замерзла, пьяная харя, духгак! Как собака замерзнешь, вставай! Вставай!

— Ламберт! — кричу я.

— Кто ты такой?

— Долгорукий!

— Какой такой черт Долгорукий?

— *Просто* Долгорукий!.. Тушар… Вот тот, которому ты вилку в бок в трактире всадил!..

— Га-а-а! — вскрикивает он, улыбаясь какой-то длинной, вспоминающей улыбкой (да неужто же он позабыл меня!). — Га! Так это ты, ты!

Он поднимает меня, ставит на ноги; я еле стою, еле двигаюсь, он ведет меня, придерживая рукой. Он заглядывает мне в глаза, как бы соображая и припоминая и слушая меня изо всех сил, а я лепечу тоже изо всех сил, беспрерывно, без умолку, и так рад, так рад, что говорю, и рад тому, что это — Ламберт. Показался ли он почему-нибудь мне «спасением» моим, или потому я бросился к нему в ту минуту, что

принял его за человека совсем из другого мира, — не знаю, — не рассуждал я тогда, — но я бросился к нему не рассуждая. Что говорил я тогда, я совсем не помню, и вряд ли складно хоть сколько-нибудь, вряд ли даже слова выговаривал ясно; но он очень слушал. Он схватил первого попавшегося извозчика, и через несколько минут я сидел уже в тепле, в его комнате.

III

У всякого человека, кто бы он ни был, наверно, сохраняется какое-нибудь воспоминание о чем-нибудь таком, с ним случившемся, на что он смотрит или наклонен смотреть, как на нечто фантастическое, необычайное, выходящее из ряда, почти чудесное, будет ли то — сон, встреча, гадание, предчувствие или что-нибудь в этом роде. Я до сих пор наклонен смотреть на эту встречу мою с Ламбертом как на нечто даже пророческое… судя по крайней мере по обстоятельствам и последствиям встречи. Всё это произошло, впрочем, по крайней мере с одной стороны, в высшей степени натурально: он просто возвращался с одного ночного своего занятия (какого — объяснится потом), полупьяный, и в переулке, остановясь у ворот на одну минуту, увидел меня. Был же он в Петербурге всего только еще несколько дней.

Комната, в которой я очутился, была небольшой, весьма нехитро меблированный нумер обыкновенного петербургского шамбр-гарни* средней руки. Сам Ламберт был, впрочем, превосходно и богато одет. На полу валялись два чемодана, наполовину лишь разобранные. Угол комнаты был загорожен ширмами, закрывавшими кровать.

— Alphonsine*![60]— крикнул Ламберт.

— Présente![61] — откликнулся из-за ширм дребезжащий женский голос с парижским акцентом, и не более как через две минуты выскочила mademoiselle Alphonsine, наскоро одетая, в распашонке, только что с постели, — странное какое-то существо, высокого роста и сухощавая, как щепка, девица, брюнетка, с длинной талией, с длинным лицом, с прыгающими глазами и с ввалившимися щеками, — страшно износившееся существо!

— Скорей! (я перевожу, а он ей говорил по-французски), у них там уж должен быть самовар; живо кипятку, красного вина и сахару, стакан

сюда, скорей, он замерз, это — мой приятель… проспал ночь на снегу.

— Malheureux![62]— вскричала было она, с театральным жестом всплеснув руками.

— Но-но! — прикрикнул на нее Ламберт, словно на собачонку, и пригрозил пальцем; она тотчас оставила жесты и побежала исполнять приказание.

Он меня осмотрел и ощупал; попробовал мой пульс, пощупал лоб, виски. «Странно, — ворчал он, — как ты не замерз… впрочем, ты весь был закрыт шубой, с головой, как в меховой норе сидел…»

Горячий стакан явился, я выхлебнул его с жадностью, и он оживил меня тотчас же; я опять залепетал; я полулежал в углу на диване и всё говорил, — я захлебывался говоря, — но что именно и как я рассказывал, опять-таки совсем почти не помню; мгновениями и даже целыми промежутками совсем забыл. Повторю: понял ли он что тогда из моих рассказов — не знаю; но об одном я догадался потом уже ясно, а именно: он успел понять меня ровно настолько, чтоб вывести заключение, что встречей со мной ему пренебрегать не следует… Потом объясню в своем месте, какой он мог иметь тут расчет.

Я не только был оживлен ужасно, но минутами, кажется, весел. Припоминаю солнце, вдруг ответившее комнату, когда подняли шторы, и затрещавшую печку, которую кто-то затопил, — кто и как — не запомню. Памятна мне тоже черная крошечная болонка, которую держала mademoiselle Alphonsine в руках, кокетливо прижимая ее к своему сердцу. Эта болонка как-то уж очень меня развлекала, так даже, что я переставал рассказывать и раза два потянулся к ней, но Ламберт махнул рукой, и Альфонсина с своей болонкой мигом стушевалась за ширмы.

Сам он очень молчал, сидел напротив меня и, сильно наклонившись ко мне, слушал не отрываясь; порой улыбался длинной, долгой улыбкой, скалил зубы и прищуривал глаза, как бы усиленно соображая и желая угадать. Я сохранил ясное воспоминание лишь о том, что когда рассказывал ему о «документе», то никак не мог понятливо выразиться и толком связать рассказ, и по лицу его слишком видел, что он никак не может понять меня, но что ему очень бы хотелось понять, так что даже он рискнул остановить меня вопросом, что было опасно, потому что я тотчас, чуть перебивали меня, сам перебивал тему и забывал, о чем говорил. Сколько времени мы

просидели и проговорили так — я не знаю и даже сообразить не могу. Он вдруг встал и позвал Альфонсину:

— Ему надо покой; может, надо будет доктора. Что спросит — всё исполнять, то есть… vous comprenez, ma fille? vous avez l'argent,[63] нет? Вот! — И он вынул ей десятирублевую. Он стал с ней шептаться: Vous comprenez! vous comprenez! — повторял он ей, грозя пальцем и строго хмуря брови. Я видел, что она страшно перед ним трепетала.

— Я приду, а ты всего лучше выспись, — улыбнулся он мне и взял шапку.

— Mais vous n'avez pas dormi du tout, Maurice![64]— патетически прокричала было Альфонсина.

— Taisez-vous, je dormirai après[65]— и он вышел.

— Sauvée![66]— патетически прошептала она, показав мне вслед ему рукой. — Monsieur, monsieur! — задекламировала она тотчас же, став в позу среди комнаты, — jamais homme ne fut si cruel, si Bismark, que cet être, qui regarde une femme comme une saleté de hasard. Une femme, qu'est-ce que ça dans notre époque? «Tue-la!» — voilà le dernier mot de l'Académie française!..*[67]

Я выпучил на нее глаза; у меня в глазах двоилось, мне мерещились уже две Альфонсины… Вдруг я заметил, что она плачет, вздрогнул и сообразил, что она уже очень давно мне говорит, а я, стало быть, в это время спал или был без памяти.

— …Hélas! de quoi m'aurait servi de le découvrir plutôt, — восклицала она, — et n'aurais-je pas autant gagné à tenir ma honte cachée toute ma vie? Peut-être, n'est-il pas honnête à une demoiselle de s'expliquer si librement devant monsieur, mais enfin je vous avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, oh, ce serait de lui plonger au cœur mon couteau, mais en détournant les yeux, de peur que son regard exécrable ne fît trembler mon bras et ne glaçât mon courage! Il a assassiné ce pope russe, monsieur, il lui arracha sa barde rousse pour la vendre à un artiste en cheveux au pont des Maréchaux*, tout près de la Maison de monsieur Andrieux* — hautes nouveautés, articles de Paris, linge, chemises, vous savez, n'est-ce pas?.. Oh, monsieur, quand l'amitié rassemble à table épouse, enfants, sœurs, amis, quand une vive allégresse enflamme mon cœur, je vous le demande, monsieur: est-il bonheur préférable à celui dont tout jouit? Mais il rit, monsieur, ce monstre exécrable et inconcevable et si ce n'était pas par l'entremise de monsieur Andrieux, jamais, oh, jamais je ne serais… Mais

quoi, monsieur, qu'avez vous, monsieur?[68]

Она бросилась ко мне: со мной, кажется, был озноб, а может, и обморок. Не могу выразить, какое тяжелое, болезненное впечатление производило на меня это полусумасшедшее существо. Может быть, она вообразила, что ей велено развлекать меня: по крайней мере она не отходила от меня ни на миг. Может быть, она когда-нибудь была на сцене; она страшно декламировала, вертелась, говорила без умолку, а я уже давно молчал. Всё, что я мог понять из ее рассказов, было то, что она как-то тесно связана с каким-то «la Maison de monsieur Andrieux — hautes nouveautés, articles de Paris, etc.»,[69] и даже произошла, может быть, из la Maison de monsieur Andrieux, но она была как-то отторгнута навеки от monsieur Andrieux, par ce monstre furieux et inconcevable,[70] и вот в том-то и заключалась трагедия… Она рыдала, но мне казалось, что это только так, для порядка, и что она вовсе не плачет; порой мне чудилось, что она вдруг вся, как скелет, рассыплется; она выговаривала слова каким-то раздавленным, дребезжащим голосом; слово préférable, например, она произносила préfé-a-able и на слоге *a* словно блеяла как овца. Раз очнувшись, я увидел, что она делает среди комнаты пируэт, но она не танцевала, а относился этот пируэт как-то тоже к рассказу, а она только изображала в лицах. Вдруг она бросилась и раскрыла маленькое, старенькое расстроенное фортепьянце, бывшее в комнате, забренчала и запела… Кажется, я минут на десять или более забылся совсем, заснул, но взвизгнула болонка, и я очнулся: сознание вдруг на мгновение воротилось ко мне вполне и осветило меня всем своим светом; я вскочил в ужасе.

«Ламберт, я у Ламберта!» — подумал я и, схватив шапку, бросился к моей шубе.

— Où allez-vous, monsieur?[71] — прокричала зоркая Альфонсина.

— Я хочу прочь, я хочу выйти! Пустите меня, не держите меня…

— Oui, monsieur! — изо всех сил подтвердила Альфонсина и бросилась сама отворить мне дверь в коридор. — Mais ce n'est pas loin, monsieur, c'est pas loin du tout, ça ne vaut pas la peine de mettre votre chouba, c'est ici près, monsieur![72] — восклицала она на весь коридор. Выбежав из комнаты, я повернул направо.

— Par ici, monsieur, c'est par ici![73] — восклицала она изо всех сил, уцепившись за мою шубу своими длинными костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мне налево по коридору куда-то, куда я вовсе не

хотел идти. Я вырвался и побежал к выходным дверям на лестницу.

— Il s'en va, il s'en va![74]— гналась за мною Альфонсина, крича своим разорванным голосом, — mais il me tuera, monsieur, il me tuera![75] — Но я уже выскочил на лестницу и, несмотря на то, что она даже и по лестнице гналась за мной, успел-таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на первого извозчика. Я дал адрес мамы…

IV

Но сознание, блеснув на миг, быстро потухло. Я еще помню чуть-чуть, как довезли меня и ввели к маме, но там я почти тотчас же впал в совершенное уже беспамятство. На другой день, как рассказывали мне потом (да и сам я это, впрочем, запомнил), рассудок мой опять было на мгновение прояснился. Я запомнил себя в комнате Версилова, на его диване; помню вокруг меня лица Версилова, мамы, Лизы, помню очень, как Версилов говорил мне о Зерщикове, о князе, показывал мне какое-то письмо, успокоивал меня. Они рассказывали потом, что я с ужасом всё спрашивал про какого-то Ламберта и всё слышал лай какой-то болонки. Но слабый свет сознания скоро померк: к вечеру этого второго дня я уже был в полной горячке. Но предупрежу события и объясню вперед.

Когда я в тот вечер выбежал от Зерщикова и когда там всё несколько успокоилось, Зерщиков, приступив к игре, вдруг заявил громогласно, что произошла печальная ошибка: пропавшие деньги, четыреста рублей, отыскались в куче других денег и счеты банка оказались совершенно верными. Тогда князь, остававшийся в зале, приступил к Зершикову и потребовал настоятельно, чтоб тот заявил публично о моей невинности и, кроме того, принес бы мне извинение в форме письма. Зерщиков, с своей стороны, нашел требование достойным уважения и дал слово, при всех, завтра же отправить мне объяснительное и извинительное письмо. Князь сообщил ему адрес Версилова, и действительно Версилов на другой же день получил лично от Зерщикова письмо на мое имя и с лишком тысячу триста рублей, принадлежавших мне и забытых мною на рулетке денег. Таким образом, дело у Зерщикова было покончено; радостное это известие сильно способствовало моему выздоровлению, когда я очнулся от

беспамятства.

Князь, воротившись с игры, написал в ту же ночь два письма — одно мне, а другое в тот прежний его полк, в котором была у него история с корнетом Степановым. Оба письма он отправил в следующее же утро. Засим написал рапорт по начальству и с этим рапортом в руках, рано утром, явился сам к командиру своего полка и заявил ему, что он, «уголовный преступник, участник в подделке — х акций, отдается в руки правосудия и просит над собою суда». При сем вручил и рапорт, в котором всё это изложено было письменно. Его арестовали.

Вот то письмо его ко мне, которое он написал в ту ночь, слово в слово:

«Бесценный Аркадий Макарович,

Испробовав „выход“ лакейский, я потерял тем самым право утешить хоть сколько-нибудь мою душу мыслью, что смог и я наконец решиться на подвиг справедливый. Я виновен перед отечеством и перед родом моим и за это сам, последний в роде, казню себя. Не понимаю, как мог я схватиться за низкую мысль о самосохранении и некоторое время мечтать откупиться от них деньгами? Всё же сам, перед своею совестью, я оставался бы навеки преступником. Люди же эти, если б и возвратили мне компрометирующие меня записки, не оставили бы меня ни за что во всю жизнь! Что же оставалось: жить с ними, быть с ними заодно во всю жизнь — вот участь, меня ожидавшая! Я не мог принять ее и нашел в себе наконец настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтоб поступить так, как поступаю теперь.

Я написал письмо в прежний полк к прежним товарищам и оправдал Степанова. В поступке этом нет и не может быть никакого искупительного подвига: это всё — лишь предсмертное завещание завтрашнего мертвеца. Так надо смотреть.

Простите мне, что я отвернулся от вас в игорном доме; это — потому, что в ту минуту я был в вас не уверен. Теперь, когда я — уже человек мертвый, я могу делать даже такие признания… с того света.

Бедная Лиза! Она ничего не знала об этом решении; пусть не клянет меня, а обсудит сама. Я же не могу оправдываться и даже не нахожу слов, чтоб объяснить ей хоть что-нибудь. Узнайте тоже, Аркадий Макарович, что вчера, поутру, когда она приходила ко мне в последний раз, я открыл ей мой обман и признался, что ездил к Анне Андреевне с намерением сделать той предложение. Я не мог оставить

это на моей совести перед последним, задуманным уже решением, видя ее любовь, и открыл ей. Она простила, всё простила, но я не поверил ей; это — не прощение; на ее месте я бы не мог простить.

Попомните меня.

Ваш несчастный последний князь *Сокольский»*. Я пролежал в беспамятстве ровно девять дней.

Часть третья

Глава первая

I

Теперь — совсем о другом.

Я всё возвещаю: «о другом, о другом», а сам всё продолжаю строчить об одном себе. Между тем я уже тысячу раз объявлял, что вовсе не хочу себя описывать; да и твердо не хотел, начиная записки: я слишком понимаю, что я нисколько не надобен читателю. Я описываю и хочу описать других, а не себя, а если всё сам подвертываюсь, то это — только грустная ошибка, потому что никак нельзя миновать, как бы я ни желал того. Главное, мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда. Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если б можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если б не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком. Это слишком очевидно; и если б только представить кто мог, как надоели мне все эти извинения и предисловия, которые я вынужден втискивать поминутно даже в самую средину моих записок!

К делу.

После девятидневного беспамятства я очнулся тогда возрожденный, но не исправленный; возрождение мое было, впрочем, глупое, разумеется если брать в обширном смысле, и, может быть, если б это теперь, то было бы не так. Идея, то есть чувство, состояло опять лишь в том (как и тысячу раз прежде), чтоб уйти от них совсем, но уже непременно уйти, а не так, как прежде, когда я тысячу раз задавал себе эту же тему и всё не мог исполнить. Мстить я не хотел никому, и даю в том честное слово, — хотя был всеми обижен. Уходить я собирался без отвращения, без проклятий, но я хотел собственной силы, и уже настоящей, не зависимой ни от кого из них и в целом мире; а я-то уже чуть было не примирился со всем на свете! Записываю эту тогдашнюю

грезу мою не как мысль, а как неотразимое тогдашнее ощущение. Я его еще не хотел формулировать, пока был в постели. Больной и без сил, лежа в версиловской комнате, которую они отвели для меня, я с болью сознавал, на какой низкой степени бессилия я находился: валялась на постели какая-то соломинка, а не человек, и не по болезни только, — и как мне это было обидно! И вот из самой глубины существа моего из всех сил стал подыматься протест, и я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова. Я не помню даже времени в целой жизни моей, когда бы я был полон более надменных ощущений, как в те первые дни моего выздоровления, то есть когда валялась соломинка на постели.

Но пока я молчал и даже решился ничего не обдумывать! Я всё заглядывал в их лица, стараясь по ним угадать, всё, что мне надо было. Видно было, что и они не желали ни расспрашивать, ни любопытствовать, а говорили со мной совсем о постороннем. Мне это нравилось и в то же время огорчало меня; не буду объяснять это противоречие. Лизу я видел реже, чем маму, хотя она заходила ко мне каждый день, даже по два раза. Из отрывков их разговора и из всего их вида я заключил, что у Лизы накопилось страшно много хлопот и что она даже часто дома не бывает из-за своих дел: уже в одной этой идее о возможности «своих дел» как бы заключалось для меня нечто обидное; впрочем, всё это были лишь больные, чисто физиологические ощущения, которые не стоит описывать. Татьяна Павловна тоже приходила ко мне чуть не ежедневно, и хоть была вовсе не нежна со мной, но по крайней мере не ругалась по-прежнему, что до крайности меня раздосадовало, так что я ей просто высказал: «Вы, Татьяна Павловна, когда не ругаетесь, прескучная». — «Ну, так и не приду к тебе», — оторвала она и ушла. А я был рад, что хоть одну прогнал.

Всего больше я мучил маму и на нее раздражался. У меня явился страшный аппетит, и я очень ворчал, что опаздывало кушанье (а оно никогда не опаздывало). Мама не знала, как угодить. Раз она принесла мне супу и стала, по обыкновению, сама кормить меня, а я всё ворчал, пока ел. И вдруг мне стало досадно, что я ворчу: «Ее-то одну, может быть, я и люблю, а ее же и мучаю». Но злость не унималась, и я от злости вдруг расплакался, а она, бедненькая, подумала, что я от умиления заплакал, нагнулась ко мне и стала целовать. Я скрепился и кое-как вытерпел и действительно в ту секунду ее ненавидел. Но маму я

всегда любил, и тогда любил, и вовсе не ненавидел, а было то, что всегда бывает: кого больше любишь, того первого и оскорбляешь.

Ненавидел же я в те первые дни только одного доктора. Доктор этот был молодой человек и с заносчивым видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда «средина» и «улица». Я долго терпел, но наконец вдруг прорвался и заявил ему при всех наших, что он напрасно таскается, что я вылечусь совсем без него, что он, имея вид реалиста, сам весь исполнен одних предрассудков и не понимает, что медицина еще никогда никого не вылечила; что, наконец, по всей вероятности, он грубо необразован, «как и все теперь у нас техники и специалисты, которые в последнее время так подняли у нас нос». Доктор очень обиделся (уж этим одним доказал, что он такое), однако же продолжал бывать. Я заявил наконец Версилову, что если доктор не перестанет ходить, то я наговорю ему что-нибудь уже в десять раз неприятнее. Версилов заметил только, что и вдвое неприятнее нельзя уже было сказать против того, что было высказано, а не то что в десять раз. Я был рад, что он это заметил.

Вот человек, однако! Я говорю про Версилова. Он, он только и был всему причиной — и что же: на него одного я тогда не злился. Не одна его манера со мной меня подкупила. Я думаю, мы тогда взаимно почувствовали, что обязаны друг другу многими объяснениями… и что именно потому всего лучше никогда не объясняться. Чрезвычайно приятно, когда в подобных положениях жизни натолкнешься на умного человека! Я уже сообщал во второй части моего рассказа, забегая вперед, что он очень кратко и ясно передал мне о письме ко мне арестованного князя, о Зерщикове, о его объяснении в мою пользу и проч., и проч. Так как я решился молчать, то сделал ему, со всею сухостью, лишь два-три самых кратких вопроса; он ответил на них ясно и точно, но совершенно без лишних слов и, что всего лучше, без лишних чувств. Лишних-то чувств я тогда и боялся.

О Ламберте я молчу, но читатель, конечно, догадался, что я о нем слишком думал. В бреду я несколько раз говорил о Ламберте; но, очнувшись от бреда и приглядываясь, я скоро сообразил, что о Ламберте всё осталось в тайне и что они ничего не знают, не исключая и Версилова. Тогда я обрадовался и страх мой прошел, но я ошибался, как

и узнал потом, к моему удивлению: он во время моей болезни уже заходил, но Версилов умолчал мне об этом, и я заключил, что для Ламберта я уже канул в вечность. Тем не менее я часто думал о нем; мало того: думал не только без отвращения, не только с любопытством, но даже с участием, как бы предчувствуя тут что-то новое и выходное, соответствующее зарождавшимся во мне новым чувствам и планам. Одним словом, я положил обдумать Ламберта прежде всего, когда решусь начать думать. Внесу одну странность: я совершенно забыл, где он живет и в какой всё это улице тогда происходило. Комнату, Альфонсину, собачонку, коридор — всё запомнил; хоть сейчас нарисовать; а где это всё происходило, то есть в какой улице и в каком доме — совершенно забыл. И что страннее всего, догадался о том лишь на третий или на четвертый день моего полного сознания, когда давно уже начал заботиться о Ламберте.

Итак, вот каковы были мои первые ощущения по воскресении моем. Я отметил лишь самое поверхностное, и вероятнее всего, что не умел отметить главного. В самом деле, может быть, всё главное именно тогда-то и определилось и сформулировалось в моем сердце; ведь не всё же я досадовал и злился за то только, что мне не несут бульону. О, я помню, как бывало мне тогда грустно и как я тосковал иногда в те минуты, особенно когда оставался подолгу один. Они же, как нарочно, скоро поняли, что мне тяжело с ними и что их участие меня раздражает, и стали оставлять меня всё чаще и чаще одного: излишняя тонкость догадливости.

II

На четвертый день моего сознания я лежал, в третьем часу пополудни, на моей постели, и никого со мной не было. День был ясный, и я знал, что в четвертом часу, когда солнце будет закатываться, то косой красный луч его ударит прямо в угол моей стены и ярким пятном осветит это место. Я знал это по прежним дням, и то, что это непременно сбудется через час, а главное то, что я знал об этом вперед, как дважды два, разозлило меня до злобы. Я судорожно повернулся всем телом и вдруг, среди глубокой тишины, ясно услышал слова: «Господи, Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас». Слова

произнеслись полушепотом, за ними следовал глубокий вздох всею грудью, и затем всё опять совершенно стихло. Я быстро приподнял голову.

Я уже и прежде, то есть накануне, и даже еще с третьего дня, стал замечать что-то такое особенное в этих наших трех комнатах внизу. В той комнатке, через залу, где прежде помещались мама и Лиза, очевидно был теперь кто-то другой. Я уже не раз слышал какие-то звуки и днем и по ночам, но всё лишь мгновениями, самыми краткими, и тишина восстановлялась тотчас же полная, на несколько часов, так что я и не обращал внимания. Накануне мне пришла было мысль, что там Версилов, тем более что он скоро затем вошел ко мне, хотя я знал, притом наверно, из их же разговоров, что Версилов, на время моей болезни, переехал куда-то в другую квартиру, в которой и ночует. Про маму же с Лизой мне давно уже стало известно, что они обе (для моего же спокойствия, думал я) перебрались наверх, в бывший мой «гроб», и даже подумал раз про себя: «Как это могли они там вдвоем поместиться?» И вдруг теперь оказывается, что в ихней прежней комнате живет какой-то человек и что человек этот — совсем не Версилов. С легкостью, которую я и не предполагал в себе (воображая до сих пор, что я совершенно бессилен), спустил я с постели ноги, сунул их в туфли, накинул серый, мерлушечий халат, лежавший подле (и пожертвованный для меня Версиловым), и отправился через нашу гостиную в бывшую спальню мамы. То, что я там увидел, сбило меня совсем с толку; я никак не предполагал ничего подобного и остановился как вкопанный на пороге.

Там сидел седой-преседой старик, с большой, ужасно белой бородой, и ясно было, что он давно уже там сидит. Он сидел не на постели, а на маминой скамеечке и только спиной опирался на кровать. Впрочем, он до того держал себя прямо, что, казалось, ему и не надо совсем никакой опоры, хотя, очевидно, был болен. На нем был, сверх рубашки, крытый меховой тулупчик, колена же его были прикрыты маминым пледом, а ноги в туфлях. Росту он, как угадывалось, был большого, широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продолговатым лицом, с густейшими волосами, но не очень длинными, лет же ему казалось за семьдесят. Подле него на столике, рукой достать, лежали три или четыре книги и серебряные очки. У меня хоть и ни малейшей мысли не было его

встретить, но я в тот же миг угадал, кто он такой, только всё еще сообразить не мог, каким это образом он просидел эти все дни, почти рядом со мной, так тихо, что я до сих пор ничего не расслышал.

Он не шевельнулся, меня увидев, но пристально и молча глядел на меня, так же как я на него, с тою разницею, что я глядел с непомерным удивлением, а он без малейшего. Напротив, как бы рассмотрев меня всего, до последней черты, в эти пять или десять секунд молчания, он вдруг улыбнулся и даже тихо и неслышно засмеялся, и хоть смех прошел скоро, но светлый, веселый след его остался в его лице и, главное, в глазах, очень голубых, лучистых, больших, но с опустившимися и припухшими от старости веками, и окруженных бесчисленными крошечными морщинками. Этот смех его всего более на меня подействовал.

Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть. Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого, даже и умного, во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я не знаю, отчего это происходит: я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большею частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего: это — дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя к лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера: тогда и смех такого человека, весьма вероятно, мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности, а где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех — это веселость, а где в людях в наш век веселость, и умеют ли люди веселиться? (О веселости в наш век — это замечание Версилова, и я его запомнил). Веселость человека — это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только с самым высшим и с

самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек — значит хороший человек. Примечайте притом все оттенки: надо, например, чтобы смех человека ни в каком случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе — значит несомненно тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, — то знайте, что в человеке том нет настоящего собственного достоинства, по крайней мере вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата, и всё благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, — или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно впоследствии изменится к худшему, займется «полезным», а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждения и увлечения молодости.

Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уж и готовы выйти за избранного человека, но всё еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно. И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка: одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо — оттого-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся — это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское и до невероятности привлекательное мелькнуло и в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему.

III

— Садись, присядь, ноги-то небось не стоят еще, — приветливо пригласил он меня, указав мне на место подле себя и всё продолжая смотреть мне в лицо тем же лучистым взглядом. Я сел подле него и сказал:

— Я вас знаю, вы — Макар Иванович.

— Так, голубчик. Вот и прекрасно, что встал. Ты — юноша, прекрасно тебе. Старцу к могиле, а юноше жить.

— А вы больны?

— Болен, друг, ногами пуще; до порога еще донесли ноженьки, а как вот тут сел, и распухли. Это у меня с прошлого самого четверга, как стали градусы (NB. то есть стал мороз). Мазал я их доселе мазью, видишь; третьего года мне Лихтен, доктор, Едмунд Карлыч, в Москве прописал, и помогала мазь, ух помогала; ну, а вот теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложило. А вот со вчерашнего и спина, ажно собаки едят… По ночам-то и не сплю.

— Как это вас здесь совсем не слышно? — перебил я. Он посмотрел на меня, как бы что-то соображая.

— Только ты мать не буди, — прибавил он, как бы вдруг что-то припомнив. — Она тут всю ночь подле суетилась, да неслышно так, словно муха; а теперь, я знаю, прилегла. Ох, худо больному старцу, — вздохнул он, — за что, кажись, только душа зацепилась, а всё держится, а всё свету рада; и кажись, если б всю-то жизнь опять сызнова начинать, и того бы, пожалуй, не убоялась душа; хотя, может, и греховна такая мысль.

— Почему греховна?

— Мечта она, эта мысль, а старцу надо отходить благолепно. Опять, оно если с ропотом али с недовольством встречаешь смерть, то сие есть великий грех. Ну а если от веселия духовного жизнь возлюбил, то, полагаю, и бог простит, хоша бы и старцу. Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет: тайна тут, превосходящая ум человеческий. Старец же должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к снопу, и восполнивши тайну свою.

— Вы всё говорите «тайну»; что такое «восполнивши тайну

свою»? — спросил я и оглянулся на дверь. Я рад был что мы одни и что кругом стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко светило в окно перед закатом. Он говорил несколько высокопарно и неточно, но очень искренно и с каким-то сильным возбуждением, точно и в самом деле был так рад моему приходу. Но я заметил в нем несомненно лихорадочное состояние, и даже сильное. Я тоже был больной, тоже в лихорадке, с той минуты, как вошел к нему.

— Тайна что? Всё есть тайна, друг, во всем тайна божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи — всё одна эта тайна, одинаковая. А всех большая тайна — в том, что душу человека на том свете ожидает. Вот так-то, друг!

— Я не знаю, в каком вы смысле… Я, конечно, не для того, чтоб вас дразнить, и, поверьте, что в бога верую; но все эти тайны давно открыты умом, а что еще не открыто, то будет открыто всё, совершенно наверно и, может быть, в самый короткий срок. Ботаника совершенно знает, как растет дерево, физиолог и анатом знают даже, почему поет птица, или скоро узнают, а что до звезд, то они не только все сосчитаны, но всякое движение их вычислено с самою минутною точностью, так что можно предсказать, даже за тысячу лет вперед, минута в минуту, появление какой-нибудь кометы… а теперь так даже и состав отдаленнейших звезд стал известен. Вы возьмите микроскоп — это такое стекло увеличительное, что увеличивает предметы в мильон раз, — и рассмотрите в него каплю воды, и вы увидите там целый новый мир, целую жизнь живых существ, а между тем это тоже была тайна, а вот открыли же.

— Слышал я про это, голубчик, неоднократно слышал от людей. Что говорить, дело великое и славное; всё предано человеку волею божиею; недаром бог вдунул в него дыхание жизни: «Живи и познай»[*].

— Ну, это — общие места. Однако вы — не враг науки, не клерикал[*]? То есть я не знаю, поймете ли вы…

— Нет, голубчик, сызмлада науку почитал, и хоть сам не смыслен, но на то не ропщу: не мне, так другому досталось. Оно тем, может, и лучше, потому что всякому свое. Потому, друг милый, что не всякому и наука впрок. Все-то невоздержны, всякий-то хочет всю вселенну удивить[*], а я-то, может, и пуще всех, коли б был искусен. А будучи теперь весьма не искусен, как могу превозноситься, когда сам ничего не

знаю? Ты же млад и востер, и таков удел тебе вышел, ты и учись. Всё познай, чтобы, когда повстречаешь безбожника али озорника, чтоб ты мог перед ним ответить, а он чтоб тебя неистовыми словесами не забросал и мысли твои незрелые чтобы не смутил. А сткло это я еще и не так давно видел.

Он перевел дух и вздохнул. Решительно, я доставил ему чрезвычайное удовольствие моим приходом. Жажда сообщительности была болезненная. Кроме того, я решительно не ошибусь, утверждая, что он смотрел на меня минутами с какою-то необыкновенною даже любовью: он ласкательно клал ладонь на мою руку, гладил меня по плечу… ну, а минутами, надо признаться, совсем как бы забывал обо мне, точно один сидел, и хотя с жаром продолжал говорить, но как бы куда-то на воздух.

— Есть, друг, — продолжал он, — в Геннадиевой пустыни один великого ума человек.* Роду он благородного, и чином подполковник, и великое богатство имеет. В мире живши, обязаться браком не захотел; заключился же от свету вот уже десятый год, возлюбив тихие и безмолвные пристанища и чувства свои от мирских сует успокоив. Соблюдает весь устав монастырский, а постричься не хочет. И книг, друг мой, у него столько, что я и не видывал еще столько ни у кого, — сам говорил мне, что на восемь тысяч рублей. Петром Валерьянычем звать. Много он меня в разное время поучал, а любил я его слушать чрезмерно. Говорю это я ему раз: «Как это вы, сударь, да при таком великом вашем уме и проживая вот уже десять лет в монастырском послушании и в совершенном отсечении воли своей, — как это вы честного пострижения не примете, чтоб уж быть еще совершенее?» А он мне на то: «Что ты, старик, об уме моем говоришь; а может, ум мой меня же заполонил, а не я его остепенил. И что о послушании моем рассуждаешь: может, я давно уже меру себе потерял. И что об отсечении воли моей толкуешь? Я вот денег моих сей же час решусь, и чины отдам, и кавалерию всю сей же час на стол сложу, а от трубки табаку, вот уже десятый год бьюсь, отстать не могу. Какой же я после этого инок, и какое же отсечение воли во мне прославляешь?» И удивился я тогда смирению сему. Ну так вот, прошлого лета, в Петровки*, зашел я опять в ту пустынь — привел господь — и вижу, в келий его стоит эта самая вещь — микроскоп, — за большие деньги из-за границы выписал. «Постой, говорит, старик, покажу я тебе дело

удивительное, потому ты сего еще никогда не видывал. Видишь каплю воды, как слеза чиста, ну так посмотри, что в ней есть, и увидишь, что механики скоро все тайны божий разыщут, ни одной нам с тобой не оставят», — так и сказал это, запомнил я. А я в этот микроскоп, еще тридцать пять лет перед тем, смотрел у Александра Владимировича Малгасова, господина нашего, дядюшки Андрея Петровичева по матери, от которого вотчина и отошла потом, по смерти его, к Андрею Петровичу. Барин был важный, большой генерал, и большую псовую охоту содержал, и я многие годы при нем выжил тогда в ловчих. Вот тогда и поставил он тоже этот микроскоп, тоже привез с собой, и повелел всей дворне одному за другим подходить, как мужскому, так и женскому полу, и смотреть, и тоже показывали блоху и вошь, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. И уж потеха была: подходить боятся, да и барина боятся — вспыльчив был. Одни так и смотреть-то не умеют, щурят глаз, а ничего не видят; другие страшатся и кричат, а староста Савин Макаров глаза обеими руками закрыл да и кричит: «Что хошь со мной делайте — нейду!» Пустого смеху тут много вышло. Петру Валерьянычу я, однако, не признался, что еще допреж сего, с лишком тридцать пять лет тому, это самое чудо видел, потому вижу от великого удовольствия показывает человек, и стал я, напротив, дивиться и ужасаться. Дал он мне срок и спрашивает: «Ну, что, старик, теперь скажешь?» А я восклонился и говорю ему: «Рече господь: да будет свет, и бысть свет», а он вдруг мне на то: «А не бысть ли тьма?» И так странно сказал сие, даже не усмехнулся. Удивился я на него тогда, а он словно даже осердился, примолк.

— Просто-запросто ваш Петр Валерьяныч в монастыре ест кутью и кладет поклоны, а в бога не верует, и вы под такую минуту попали — вот и всё, — сказал я, — и сверх того, человек довольно смешной: ведь уж, наверно, он раз десять прежде того микроскоп видел, что ж он так с ума сошел в одиннадцатый-то раз? Впечатлительность какая-то нервная… в монастыре выработал.

— Человек чистый и ума высокого, — внушительно произнес старик, — и не безбожник он. В ём ума гущина, а сердце неспокойное. Таковых людей очень много теперь пошло из господского и из ученого звания. И вот что еще скажу: сам казнит себя человек. А ты их обходи и им не досаждай, а перед ночным сном их поминай на молитве, ибо таковые бога ищут. Ты молишься ли перед сном-то?

— Нет, считаю это пустою обрядностью. Я должен вам, впрочем, признаться, что мне ваш Петр Валерьяныч нравится: не сено по крайней мере, а всё же человек, несколько похожий на одного близкого нам обоим человечка, которого мы оба знаем.

Старик обратил внимание лишь на первую фразу моего ответа:

— Напрасно, друг, не молишься; хорошо оно, сердцу весело, и пред сном, и восстав от сна, и пробудясь в ночи. Это я тебе скажу. Летом же, в июле месяце, поспешали мы в Богородский монастырь к празднику. Чем ближе подходили к месту, тем пуще приставал народ, и сошлось наконец нас чуть не два ста человек, всё спешивших лобызать святые и целокупные мощи великих обоих чудотворцев Аникия и Григория.* Заночевали, брате, мы в поле, и проснулся я заутра рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не выглянуло. Восклонился я, милый, главой, обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная! Тихо всё, воздух легкий; травка растет — расти, травка божия, птичка поет — пой, птичка божия, ребеночек у женщины на руках пискнул — господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик! И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, всё сие в себе заключил… Склонился я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете, милый! Я вот, кабы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно сердцу и дивно; и страх сей к веселию сердца: «Всё в тебе, господи, и я сам в тебе и приими меня!» Не ропщи, вьюнош: тем еще прекрасней оно, что тайна, — прибавил он умиленно.

— «Тем даже Прекрасней оно, что тайна…» Это я запомню, эти слова. Вы ужасно неточно выражаетесь, но я понимаю… Меня поражает, что вы гораздо более знаете и понимаете, чем можете выразить; только вы как будто в бреду… — вырвалось у меня, смотря на его лихорадочные глаза и на побледневшее лицо. Но он, кажется, и не слышал моих слов.

— Знаешь ли ты, милый вьюнош, — начал он опять, как бы продолжая прежнюю речь, — знаешь ли ты, что есть предел памяти человека на сей земле? Предел памяти человеку положен лишь во сто лет. Сто лет по смерти его еще могут запомнить дети его али внуки его, еще видевшие лицо его, а затем хоть и может продолжаться память его, но лишь устная, мысленная, ибо прейдут все видевшие живой лик его. И зарастет его могилка на кладбище травкой, облупится на ней бел камушек и забудут его все люди и самое потомство его, забудут потом

самое имя его, ибо лишь немногие в памяти людей остаются — ну и пусть! И пусть забудут, милые, а я вас и из могилки люблю. Слышу, деточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родных отчих могилках в родительский день; живите пока на солнышке, радуйтесь, а я за вас бога помолю, в сонном видении к вам сойду… всё равно и по смерти любовь!..

Главное, я сам был в такой же, как и он, лихорадке; вместо того чтобы уйти или уговорить его успокоиться, а может, и положить его на кровать, потому что он был совсем как в бреду, я вдруг схватил его за руку и, нагнувшись к нему и сжимая его руку, проговорил взволнованным шепотом и со слезами в душе:

— Я вам рад. Я, может быть, вас давно ожидал. Я их никого не люблю: у них нет благообразия… Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду…

Но, к счастию, вдруг вошла мама, а то бы я не знаю чем кончил. Она вошла с только что проснувшимся и встревоженным лицом, в руках у ней была стклянка и столовая ложка; увидя нас, она воскликнула:

— Так и знала! Хинное-то лекарство и опоздала дать вовремя, весь в лихорадке! Проспала я, Макар Иванович, голубчик!

Я встал и вышел. Она все-таки дала ему лекарство и уложила в постель. Я тоже улегся в свою, но в большом волнении. Я воротился с великим любопытством и изо всех сил думал об этой встрече. Чего я тогда ждал от нее — не знаю. Конечно, я рассуждал бессвязно, и в уме моем мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. Я лежал лицом к стене и вдруг в углу увидел яркое, светлое пятно заходящего солнца, то самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал давеча, и вот помню, вся душа моя как бы взыграла и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту сладкую минуту и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы… Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов; но в ту самую светлую надежду я верю и теперь — вот что я хотел теперь записать и припомнить. Конечно, я и тогда твердо знал, что не пойду странствовать с Макаром Ивановичем и что сам не знаю, в чем состояло это новое стремление, меня захватившее, но одно слово я уже произнес, хотя и в бреду: «В них нет благообразия!» — «Конечно, думал я в исступлении, с этой минуты я ищу „благообразия“, а у них его нет, и за то я оставлю их».

Что-то зашелестило сзади меня, я обернулся: стояла мама, склонясь надо мной и с робким любопытством заглядывая мне в глаза. Я вдруг взял ее за руку.

— А что же вы, мама, мне про нашего дорогого гостя ничего не сказали? — спросил я вдруг, сам почти не ожидая, что так скажу. Всё беспокойство разом исчезло с лица ее, и на нем вспыхнула как бы радость, но она мне ничего не ответила, кроме одного только слова:

— Лизу тоже не забудь, Лизу; ты Лизу забыл.

Она выговорила это скороговоркой, покраснев, и хотела было поскорее уйти, потому что тоже страх как не любила размазывать чувства и на этот счет была вся в меня, то есть застенчива и целомудренна; к тому же, разумеется, не хотела бы начинать со мной на тему о Макаре Ивановиче; довольно было и того, что мы могли сказать, обменявшись взглядами. Но я, именно ненавидевший всякую размазню чувств, я-то и остановил ее насильно за руку: я сладко глядел ей в глаза, тихо и нежно смеялся, а другой ладонью гладил ее милое лицо, ее впалые щеки. Она пригнулась и прижалась своим лбом к моему.

— Ну, Христос с тобой, — сказала она вдруг, восклонившись и вся сияя, — выздоравливай. Зачту это тебе. Болен он, очень болен… В жизни волен бог… Ах, что это я сказала, да быть же того не может!..

Она ушла. Очень уж почитала она всю жизнь свою, во страхе, и трепете, и благоговении, законного мужа своего и странника Макара Ивановича, великодушно и раз навсегда ее простившего.

Глава вторая

I

А Лизу я не «забыл», мама ошиблась. Чуткая мать видела, что между братом и сестрой как бы охлаждение, но дело было не в нелюбви, а скорее в ревности. Объясню, ввиду дальнейшего, в двух словах.

В бедной Лизе, с самого ареста князя, явилась какая-то заносчивая гордость, какое-то недоступное высокомерие, почти нестерпимое; но всякий в доме понял истину и то, как она страдала, а если дулся и хмурился вначале я на ее манеру с нами, то единственно по моей мелочной раздражительности, в десять раз усиленной болезнию, — вот

как я думаю об этом теперь. Любить же Лизу я не переставал вовсе, а, напротив, любил еще более, только не хотел подходить первый, понимая, впрочем, что и сама она не подойдет первая ни за что.

Дело в том, что, как только обнаружилось всё о князе, тотчас после его ареста, те Лиза, первым делом, поспешила стать в такое положение относительно нас и всех, кого угодно, что как будто и мысли не хотела допустить, что ее можно сожалеть или в чем-нибудь утешать, а князя оправдывать. Напротив, — стараясь нисколько не объясняться и ни с кем не спорить, — она как будто беспрерывно гордилась поступком своего несчастного жениха как высшим геройством. Она как будто говорила всем нам поминутно (повторяю: не произнося ни слова): «Ведь вы никто так не сделаете, ведь вы не предадите себя из-за требований чести и долга; ведь у вас ни у кого нет такой чуткой и чистой совести? А что до его поступков, то у кого нет дурных поступков на душе? Только все их прячут, а этот человек пожелал скорее погубить себя, чем оставаться недостойным в собственных глазах своих». Вот что выражал, по-видимому, каждый жест ее. Не знаю, но я точно бы так же поступил на ее месте. Не знаю тоже, те ли же мысли были у нее на душе, то есть про себя; подозреваю, что нет. Другой, ясной половиной своего рассудка она непременно должна была прозревать всю ничтожность своего «героя»; ибо кто ж не согласится теперь, что этот несчастный и даже великодушный человек в своем роде был в то же время в высшей степени ничтожным человеком? Даже самая эта заносчивость и как бы накидчивость ее на всех нас, эта беспрерывная подозрительность ее, что мы думаем об нем иначе, — давала отчасти угадывать, что в тайниках ее сердца могло сложиться и другое суждение о несчастном ее друге. Но спешу прибавить, однако же, от себя, что, на мой взгляд, она была хоть наполовину, да права; ей даже было простительнее всех нас колебаться в окончательном выводе. Я сам признаюсь от всей души моей, что и до сих пор, когда уже всё прошло, совершенно не знаю, как и во что окончательно оценить этого несчастного, задавшего нам всем такую задачу.

Тем не менее в доме от нее начался было чуть не маленький ад. Лиза, столь сильно любившая, должна была очень страдать. По характеру своему она предпочла страдать молча. Характер ее был похож на мой, то есть самовластный и гордый, и я всегда думал, и тогда и теперь, что она полюбила князя из самовластия, именно за то, что в

нем не было характера и что он вполне, с первого слова и часа, подчинился ей. Это как-то само собою в сердце делается, безо всякого предварительного расчета; но такая любовь, сильная к слабому, бывает иногда несравненно сильнее и мучительнее, чем любовь равных характеров, потому что невольно берешь на себя ответственность за своего слабого друга. Я по крайней мере так думаю. Все наши, с самого начала, окружили ее самыми нежными заботами, особенно мама; но она не смягчилась, не откликнулась на участие и как бы отвергла всякую помощь. С мамой еще говорила вначале, но с каждым днем становилась скупее на слова, отрывистее и даже жестче. С Версиловым сначала советовалась, но вскоре избрала в советники и помощники Васина, как с удивлением узнал я после… Она ходила к Васину каждый день, ходила тоже по судам, по начальству князя, ходила к адвокатам, к прокурору; под конец ее почти совсем не бывало по целым дням дома. Разумеется, каждый день, раза по два, посещала и князя, который был заключен в тюрьме, в дворянском отделении, но свидания эти, как я вполне убедился впоследствии, бывали очень для Лизы тягостны. Разумеется, кто ж третий может вполне узнать дела двух любящихся? Но мне известно, что князь глубоко оскорблял ее поминутно, и чем, например? Странное дело: беспрерывною ревностью. Впрочем, об этом впоследствии; но прибавлю к этому одну мысль: трудно решить, кто из них кого мучил более. Гордившаяся между нами своим героем, Лиза относилась, может быть, совершенно иначе к нему глаз на глаз, как я подозреваю твердо, по некоторым данным, о которых, впрочем, тоже впоследствии.

Итак, что до чувств и отношении моих к Лизе, то все, что было наружу, была лишь напускная, ревнивая ложь с обеих сторон, но никогда мы оба не любили друг друга сильнее, как в это время. Прибавлю еще, что к Макару Ивановичу, с самого появления его у нас, Лиза, после первого удивления и любопытства, стала почему-то относиться почти пренебрежительно, даже высокомерно. Она как бы нарочно не обращала на него ни малейшего внимания.

Дав себе слово «молчать», как объяснил я в предыдущей главе, я, конечно, в теории, то есть в мечтах моих, думал сдержать мое слово. О, с Версиловым я, например, скорее бы заговорил о зоологии или о римских императорах, чем, например, об *ней* или об той, например, важнейшей строчке в письме его к ней, где он уведомлял ее, что

«документ не сожжен, а жив и явится», — строчке, о которой я немедленно начал про себя опять думать, только что успел опомниться и прийти в рассудок после горячки. Но увы! с первых шагов на практике, и почти еще до шагов, я догадался, до какой степени трудно и невозможно удерживать себя в подобных предрешениях: на другой же день после первого знакомства моего с Макаром Ивановичем я был страшно взволнован одним неожиданным обстоятельством.

II

Взволнован я был неожиданным посещением Настасьи Егоровны, матери покойной Оли. От мамы я уже слышал, что она раза два заходила во время моей болезни и что очень интересовалась моим здоровьем. Для меня ли собственно заходила эта «добрая женщина», как выражалась всегда о ней мама, или просто посещала маму, по заведенному прежде порядку, — я не спросил. Мама рассказывала мне всегда обо всем домашнем, обыкновенно когда приходила с супом кормить меня (когда я еще не мог сам есть), чтобы развлечь меня; я же при этом упорно старался показать каждый раз, что мало интересуюсь всеми этими сведениями, а потому и про Настасью Егоровну не расспросил подробнее, даже промолчал совсем.

Это было часов около одиннадцати; я только что хотел было встать с кровати и перейти в кресло к столу, как она вошла. Я нарочно остался в постели. Мама чем-то очень была занята наверху и не сошла при ее приходе, так что мы вдруг очутились с нею наедине. Она уселась против меня, у стенки на стуле, улыбаясь и не говоря ни слова. Я предчувствовал молчанку; да и вообще приход ее произвел на меня самое раздражительное впечатление. Я даже не кивнул ей головой и прямо смотрел ей в глаза; но она тоже прямо смотрела на меня.

— Вам теперь на квартире, после князя, одной-то скучно? — спросил я вдруг, потеряв терпение.

— Нет-с, я теперь не на той квартире. Я теперь через Анну Андреевну за ребеночком ихним надзираю.

— За чьим ребеночком?

— За Андреем Петровичевым, — произнесла она конфиденциальным шепотом, оглянувшись на дверь.

— Да ведь там Татьяна Павловна…

— И Татьяна Павловна, и Анна Андреевна, они обе-с, и Лизавета Макаровна тоже, и маменька ваша… все-с. Все принимают участие. Татьяна Павловна и Анна Андреевна в большой теперь дружбе к друг-дружке-с.

Новость. Она очень оживилась, говоря. Я с ненавистью глядел на нее.

— Вы очень оживились после последнего разу, как ко мне приходили.

— Ах, да-с.

— Потолстели, кажется?

Она поглядела странно:

— Я их очень полюбила-с, очень-с.

— Кого это?

— Да Анну Андреевну. Очень-с. Такая благородная девица и при таком рассудке…

— Вот как. Что ж она, как теперь?

— Оне очень спокойны-с, очень.

— Она и всегда была спокойна.

— Всегда-с.

— Если вы с сплетнями, — вскричал я вдруг, не вытерпев, — то знайте, что я ни во что не мешаюсь, я решился бросить… всё, всех, мне всё равно — я уйду!..

Я замолчал, потому что опомнился. Мне унизительно стало как бы объяснять ей мои новые цели. Она же выслушала меня без удивления и без волнения, но последовал опять молчок. Вдруг она встала, подошла к дверям и выглянула в соседнюю комнату. Убедившись, что там нет никого и что мы одни, она преспокойно воротилась и села на прежнее место.

— Это вы хорошо! — засмеялся я вдруг.

— Вы вашу-то квартиру, у чиновников, за собой оставите-с? — спросила она вдруг, немного ко мне нагнувшись и понизив голос, точно это был самый главный вопрос, за которым она и пришла.

— Квартиру? Не знаю. Может, и съеду… Почем я знаю?

— А хозяева так очень ждуть вас; чиновник тот в большом нетерпении и супруга его. Андрей Петрович удостоверил их, что вы наверно воротитесь.

— Да вам зачем?

— Анна Андреевна тоже желала узнать; очень были довольны, узнамши, что вы остаетесь.

— А она почему так наверно знает, что я на той квартире непременно останусь?

Я хотел было прибавить: «И зачем это ей?» — но удержался расспрашивать из гордости.

— Да и господин Ламберт то же самое им подтвердили.

— Что-о-о?

— Господин Ламберт-с. Они Андрею Петровичу тоже изо всех сил подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну в том удостоверили.

Меня как бы всего сотрясло. Что за чудеса! Так Ламберт уже знает Версилова, Ламберт проник до Версилова, — Ламберт и Анна Андреевна, — он проник и до нее! Жар охватил меня, но я промолчал. Страшный прилив гордости залил всю мою душу, гордости или не знаю чего. Но я как бы сказал себе вдруг в ту минуту: «Если спрошу хоть одно слово в объяснение, то опять ввяжусь в этот мир и никогда не порешу с ним». Ненависть загорелась в моем сердце. Я изо всех сил решился молчать и лежал неподвижно; она тоже примолкла на целую минуту.

— Что князь Николай Иванович? — спросил я вдруг, как бы потеряв рассудок. Дело в том, что я спросил решительно, чтобы перебить тему, и вновь, нечаянно, сделал самый капитальный вопрос, сам как сумасшедший возвращаясь опять в тот мир, из которого с такою судорогой только что решился бежать.

— Они в Царском Селе-с. Захворали немного, а в городе эти теперешние горячки пошли, все и посоветовали им переехать в Царское, в собственный ихний тамошний дом, для хорошего воздуху-с.

Я не ответил.

— Анна Андреевна и генеральша их каждые три дня навещают, вместе и ездят-с.

Анна Андреевна и генеральша (то есть она) — приятельницы! Вместе ездят! Я молчал.

— Так дружны они обе стали-с, и Анна Андреевна о Катерине Николаевне до того хорошо отзываются…

Я всё молчал.

— А Катерина Николаевна опять в свет «ударилась», праздник за праздником, совсем блистает; говорят, все даже придворные влюблены в нее… а с господином Бьорингом всё совсем оставили, и не бывать свадьбе; все про то утверждают… с того самого будто бы разу.

То есть с письма Версилова. Я весь задрожал, но не проговорил ни слова.

— Анна Андреевна уж как сожалеют про князя Сергея Петровича, и Катерина Николаевна тоже-с, и все про него говорят, что его оправдают, а того, Стебелькова, осудят…

Я ненавистно поглядел на нее. Она встала и вдруг нагнулась ко мне.

— Анна Андреевна особенно приказали узнать про ваше здоровье, — проговорила она совсем шепотом, — и очень приказали просить побывать к ней, только что вы выходить начнете. Прощайте-с. Выздоравливайте-с, а я так и скажу…

Она ушла. Я присел на кровати, холодный пот выступил у меня на лбу, но я чувствовал не испуг: непостижимое для меня и безобразное известие о Ламберте и его происках вовсе, например, не наполнило меня ужасом, судя по страху, может быть безотчетному, с которым я вспоминал и в болезни и в первые дни выздоровления о моей с ним встрече в тогдашнюю ночь. Напротив, в то смутное первое мгновение на кровати, сейчас по уходе Настасьи Егоровны, я даже и не останавливался на Ламберте, но… меня захватила пуще всего весть о *ней*, о разрыве ее с Бьорингом и о счастье ее в свете, о праздниках, об успехе, о «блеске». «Блестят-с», — слышалось мне словцо Настасьи Егоровны. И я вдруг почувствовал, что не мог с моими силами отбиться от этого круговорота, хоть я и сумел скрепиться, молчать и не расспрашивать Настасью Егоровну после ее чудных рассказов! Непомерная жажда этой жизни, *их* жизнь захватила весь мой дух и… и еще какая-то другая сладостная жажда, которую ощущал до счастья и до мучительной боли. Мысли же мои как-то вертелись, но я давал им вертеться. «Что тут рассуждать!» — чувствовалось мне. «Однако даже мама смолчала мне, что Ламберт приходил, — думал я бессвязными отрывками, — это Версилов велел молчать… Умру, а не спрошу Версилова о Ламберте!» — «Версилов, — мелькало у меня опять, — Версилов и Ламберт, о, сколько у них нового! Молодец Версилов! Напугал немца — Бьоринга, тем письмом; он оклеветал ее; la calomnie…

il en reste toujours quelque chose,*[76] и придворный немец испугался скандала — ха-ха… вот ей и урок!» — «Ламберт… уж не проник ли и к ней Ламберт? Еще бы! Отчего ж ей и с ним не „связаться“?»

Тут вдруг я бросил думать всю эту бессмыслицу и в отчаянии упал головой на подушку. «Да не будет же!» — воскликнул я с внезапною решимостью, вскочил с постели, надел туфли, халат и прямо отправился в комнату Макара Ивановича, точно там был отвод всем наваждениям, спасение, якорь, на котором я удержусь.

В самом деле, могло быть, что я эту мысль тогда почувствовал всеми силами моей души; для чего же иначе было мне тогда так неудержимо и вдруг вскочить с места и в таком нравственном состоянии кинуться к Макару Ивановичу?

III

Но у Макара Ивановича я, совсем не ожидая того, застал людей — маму и доктора. Так как я почему-то непременно представил себе, идя, что застану старика одного, как и вчера, то и остановился на пороге в тупом недоумении. Но не успел я нахмуриться, как тотчас же подошел и Версилов, а за ним вдруг и Лиза… Все, значит, собрались зачем-то у Макара Ивановича и «как раз когда не надо»!

— О здоровье вашем пришел узнать, — проговорил я, прямо подходя к Макару Ивановичу.

— Спасибо, милый, ждал тебя: знал, что придешь! Ночкой-то о тебе думал.

Он ласково смотрел мне в глаза, и мне видимо было, что он меня чуть не лучше всех любит, но я мигом и невольно заметил, что лицо его хоть и было веселое, но что болезнь сделала-таки в ночь успехи. Доктор перед тем только что весьма серьезно осмотрел его. Я узнал потом, что этот доктор (вот тот самый молодой человек, с которым я поссорился и который с самого прибытия Макара Ивановича лечил его) весьма внимательно относился к пациенту и — не умею я только говорить их медицинским языком — предполагал в нем целое осложнение разных болезней. Макар Иванович, как я с первого взгляда заметил, состоял уже с ним в теснейших приятельских отношениях; мне это в тот же миг не понравилось; а впрочем, и я, конечно, был очень скверен в ту минуту.

— В самом деле, Александр Семенович, как сегодня наш дорогой больной? — осведомился Версилов. Если б я не был так потрясен, то мне первым делом было бы ужасно любопытно проследить и за отношениями Версилова к этому старику, о чем я уже вчера думал. Меня всего более поразило теперь чрезвычайно мягкое и приятное выражение в лице Версилова; в нем было что-то совершенно искреннее. Я как-то уж заметил, кажется, что у Версилова лицо становилось удивительно прекрасным, когда он чуть-чуть только становился простодушным.

— Да вот мы всё ссоримся, — ответил доктор.

— С Макаром-то Ивановичем? Не поверю: с ним нельзя ссориться.

— Да не слушается; по ночам не спит…

— Да перестань уж ты, Александр Семенович, полно браниться, — рассмеялся Макар Иванович. — Ну что, батюшка, Андрей Петрович, как с нашей барышней поступили? Вот она целое утро клокчет, беспокоится, — прибавил он, показывая на маму.

— Ах, Андрей Петрович, — воскликнула действительно с чрезвычайным беспокойством мама, — расскажи уж поскорей, не томи: чем ее, бедную, порешили?

— Осудили нашу барышню!

— Ах! — вскрикнула мама.

— Да не в Сибирь, успокойся, — к пятнадцати рублям штрафу всего; комедия вышла!

Он сел, сел и доктор. Это они говорили про Татьяну Павловну, и я еще совсем не знал ничего об этой истории. Я сидел налево от Макара Ивановича, а Лиза уселась напротив меня направо; у ней, видимо, было какое-то свое, особое сегодняшнее горе, с которым она и пришла к маме; выражение лица ее было беспокойное и раздраженное. В ту минуту мы как-то переглянулись, и я вдруг подумал про себя: «Оба мы опозоренные, и мне надо сделать к ней первый шаг». Сердце мое вдруг к ней смягчилось. Версилов между тем начал рассказывать об утрешнем приключении.

Дело в том, что у Татьяны Павловны был в то утро в мировом суде процесс с ее кухаркою. Дело в высшей степени пустое; я упоминал уже о том, что злобная чухонка иногда, озлясь, молчала даже по неделям, не отвечая ни слова своей барыне на ее вопросы; упоминал тоже и о слабости к ней Татьяны Павловны, всё от нее переносившей и ни за что

не хотевшей прогнать ее раз навсегда. Все эти психологические капризы старых дев и барынь, на мои глаза, в высшей степени достойны презрения, а отнюдь не внимания, и если я решаюсь упомянуть здесь об этой истории, то единственно потому, что этой кухарке потом, в дальнейшем течении моего рассказа, суждено сыграть некоторую немалую и роковую роль. И вот, выйдя наконец из терпения перед упрямой чухонкой, не отвечавшей ей ничего уже несколько дней, Татьяна Павловна вдруг ее наконец ударила, чего прежде никогда не случалось. Чухонка и тут не произнесла даже ни малейшего звука, но в тот же день вошла в сообщение с жившим по той же черной лестнице, где-то в углу внизу, отставным мичманом Осетровым, занимавшимся хождением по разного рода делам и, разумеется, возбуждением подобного рода дел в судах, из борьбы за существование. Кончилось тем, что Татьяну Павловну позвали к мировому судье, а Версилову пришлось почему-то показывать при разбирательстве дела в качестве свидетеля.

Рассказал это всё Версилов необыкновенно весело и шутливо, так что даже мама рассмеялась; он представил в лицах и Татьяну Павловну, и мичмана, и кухарку. Кухарка с самого начала объявила суду, что хочет штраф деньгами, «а то барыню как посадят, кому ж я готовить-то буду?» На вопросы судьи Татьяна Павловна отвечала с великим высокомерием, не удостоивая даже оправдываться; напротив, заключила словами: «Прибила и еще прибью», за что немедленно была оштрафована за дерзкие ответы суду тремя рублями. Мичман, долговязый и худощавый молодой человек, начал было длинную речь в защиту своей клиентки, но позорно сбился и насмешил всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Павловну присудили заплатить обиженной Марье пятнадцать рублей. Та, не откладывая, тут же вынула портмоне и стала отдавать деньги, причем тотчас подвернулся мичман и протянул было руку получить, но Татьяна Павловна почти ударом отбила его руку в сторону и обратилась к Марье. «Полноте, барыня, стоит беспокоиться, припишите-с к счету, а я уж с этим сама расплачусь». — «Видишь, Марья, какого долговязого взяла себе!» — показала Татьяна Павловна на мичмана, страшно обрадовавшись, что Марья наконец заговорила. «А уж и впрямь долговязый, барыня, — лукаво ответила Марья, — котлетки-то с горошком сегодня приказывали, давеча недослышала, сюда

торопилась?» — «Ах нет, с капустой, Марья, да, пожалуйста, не сожги, как вчера». — «Да уж постараюсь сегодня особо, сударыня; пожалуйте ручку-с», — и поцеловала в знак примирения барыне ручку. Одним словом, развеселила всю залу.

— Экая ведь какая! — покачала головой мама, очень довольная и сведением и рассказом Андрея Петровича, но украдкой с беспокойством поглядывая на Лизу.

— Характерная барышня сызмлада была, — усмехнулся Макар Иванович.

— Желчь и праздность, — отозвался доктор.

— Это я-то характерная, это я-то желчь и праздность? — вошла вдруг к нам Татьяна Павловна, по-видимому очень довольная собой, — уж тебе-то, Александр Семенович, не говорить бы вздору; еще десяти лет от роду был, меня знал, какова я праздная, а от желчи сам целый год лечишь, вылечить не можешь, так это тебе же в стыд. Ну, довольно вам надо мной издеваться; спасибо, Андрей Петрович, что потрудился в суд прийти. Ну, что ты, Макарушка, тебя только и зашла проведать, не этого (она указала на меня, но тут же дружелюбно ударила меня по плечу рукой; я никогда еще не видывал ее в таком веселейшем расположении духа).

— Ну, что? — заключила она, вдруг обратившись к доктору и озабоченно нахмурившись.

— Да вот не хочет лечь в постель, а так, сидя, только себя изнуряет.

— Да я только так посижу маненько, с людьми-то, — пробормотал Макар Иванович с просящим, как у ребенка, лицом.

— Да уж любим мы это, любим; любим в кружке поболтать, когда около нас соберутся; знаю Макарушку, — *сказала* Татьяна Павловна.

— Да и прыткий, ух какой, — улыбнулся опять старик, обращаясь к доктору, — и в речь не даешься; ты погоди, дай сказать: лягу, голубчик, слышал, а по-нашему это вот что: «Коли ляжешь, так, пожалуй, уж и не встанешь», — вот что, друг, у меня за хребтом стоит.

— Ну да, так я и знал, народные предрассудки: «лягу, дескать, да, чего доброго, уж и не встану» — вот чего очень часто боятся в народе и предпочитают лучше проходить болезнь на ногах, чем лечь в больницу.[*] А вас, Макар Иванович, просто тоска берет, тоска по волюшке да по большой дорожке — вот и вся болезнь; отвыкли подолгу на месте жить. Ведь вы — так называемый странник? Ну, а бродяжество в нашем

народе почти обращается в страсть. Это я не раз заметил за народом. Наш народ — бродяга по преимуществу.

— Так Макар — бродяга, по-твоему? — подхватила Татьяна Павловна.

— О, я не в том смысле; я употребил слово в его общем смысле. Ну, там религиозный бродяга, ну, набожный, а все-таки бродяга. В хорошем, почтенном смысле, но бродяга… Я с медицинской точки…

— Уверяю вас, — обратился я вдруг к доктору, — что бродяги — скорее мы с вами, и все, сколько здесь ни есть, а не этот старик, у которого нам с вами еще поучиться, потому что у него есть твердое в жизни, а у нас, сколько нас ни есть, ничего твердого в жизни… Впрочем, где вам это понять.

Я, видно, резко проговорил, но я с тем и пришел. Я, собственно, не знаю, для чего продолжал сидеть, и был как в безумии.

— Ты чего? — подозрительно глянула на меня Татьяна Павловна, — что, ты как его нашел, Макар Иванович? — указала она на меня пальцем.

— Благослови его бог, востер, — проговорил старик с серьезным видом; но при слове «востер» почти все рассмеялись. Я кое-как скрепился; всех же пуще смеялся доктор. Довольно худо было то, что я не знал тогда об их предварительном уговоре. Версилов, доктор и Татьяна Павловна еще дня за три уговорились всеми силами отвлекать маму от дурных предчувствий и опасений за Макара Ивановича, который был гораздо больнее и безнадежнее, чем я тогда подозревал. Вот почему все шутили и старались смеяться. Только доктор был глуп и, естественно, не умел шутить: оттого всё потом и вышло. Если б я тоже знал об их уговоре, то не наделал бы того, что вышло. Лиза тоже ничего не знала.

Я сидел и слушал краем уха; они говорили и смеялись, а у меня в голове была Настасья Егоровна с ее известиями, и я не мог от нее отмахнуться; мне всё представлялось, как она сидит и смотрит, осторожно встает и заглядывает в другую комнату. Наконец они все вдруг рассмеялись: Татьяна Павловна, совсем не знаю по какому поводу, вдруг назвала доктора безбожником: «Ну уж все вы, докторишки — безбожники!..»

— Макар Иванович! — вскричал доктор, преглупо притворяясь, что обижен и ищет суда, — безбожник я или нет?

— Ты-то безбожник? Нет, ты — не безбожник, — степенно ответил старик, пристально посмотрев на него, — нет, слава богу! — покачал он головой, — ты — человек веселый.

— А кто веселый, тот уж не безбожник? — иронически заметил доктор.

— Это в своем роде — мысль, — заметил Версилов, но совсем не смеясь.

— Это — сильная мысль! — воскликнул я невольно, поразившись идеей. Доктор же оглядывался вопросительно.

— Ученых людей этих, профессоров этих самых (вероятно, перед тем говорили что-нибудь о профессорах), — начал Макар Иванович, слегка потупившись, — я сначала ух боялся: не смел я пред ними, ибо паче всего опасался безбожника. Душа во мне, мыслю, едина; ежели ее погублю, то сыскать другой не могу*; ну а потом ободрился: «Что же, думаю, не боги же они, а такие, как и мы, подобострастные нам, человеки». Да и любопытство было большое: «Узнаю, что, мол, есть такое безбожие?» Только, друг, потом и самое любопытство это прошло.

Он примолк, но намереваясь продолжать всё с тою же тихою и степенною улыбкою. Есть простодушие, которое доверяется всем и каждому, не подозревая насмешки. Такие люди всегда ограниченны, ибо готовы выложить из сердца всё самое драгоценное пред первым встречным. Но в Макаре Ивановиче, мне казалось, было что-то другое и что-то другое движет его говорить, а не одна только невинность простодушия: как бы выглядывал пропагандист. Я с удовольствием поймал некоторую, как бы даже лукавую усмешку, обращенную им к доктору, а может быть и к Версилову. Разговор был, очевидно, продолжением их прежних споров за неделю; но в нем, к несчастью, проскочило опять то самое роковое словцо, которое так электризовало меня вчера и свело меня на одну выходку о которой я до сих пор сожалею.

— Безбожника человека, — сосредоточенно продолжал старик, — я, может, и теперь побоюсь; только вот что, друг Александр Семенович: безбожника-то я совсем не стречал ни разу, а стречал заместо его суетливого — вот как лучше объявить его надо. Всякие это люди; не сообразишь, какие люди; и большие и малые, и глупые и ученые, и даже из самого простого звания бывают, и всё суета. Ибо читают и толкуют

весь свой век, насытившись сладости книжной, а сами всё в недоумении пребывают и ничего разрешить не могут. Иной весь раскидался, самого себя перестал замечать. Иной паче камене ожесточен, а в сердце его бродят мечты; а другой бесчувствен и легкомыслен и лишь бы ему насмешку свою отсмеять. Иной из книг выбрал одни лишь цветочки, да и то по своему мнению; сам же суетлив и в нем предрешения нет. Вот что скажу опять: скуки много. Малый человек и нуждается, хлебца нет, ребяток сохранить нечем, на вострой соломке спит, а всё в нем сердце веселое, легкое; и грешит и грубит, а всё сердце легкое. А большой человек опивается, объедается, на золотой куче сидит, а всё в сердце у него одна тоска. Иной все науки прошел — и всё тоска. И мыслю так, что чем больше ума прибывает, тем больше и скуки. Да и то взять: учат с тех пор, как мир стоит, а чему же они научили доброму, чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище? И еще скажу: благообразия не имеют, даже не хотят сего; все погибли, и только каждый хвалит свою погибель, а обратиться к единой истине не помыслит; а жить без бога — одна лишь мука. И выходит, что чем освещаемся, то самое и проклинаем, а и сами того не ведаем. Да и что толку: невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И бога отвергнет, так идолу поклонится деревянному, али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это всё, а не безбожники, вот как объявить их следует. Ну, а и безбожнику как не быть? Есть такие, что и впрямь безбожники, только те много пострашней этих будут, потому что с именем божиим на устах приходят. Слышал неоднократно, но не стречал *я* их вовсе. Есть, друг, такие, и так думаю, что и должны быть они.

— Есть, Макар Иванович, — вдруг подтвердил Версилов, — есть такие и «должны быть они».

— Непременно есть и «должны быть они»! — вырвалось у меня неудержимо и с жаром, не знаю почему; но меня увлек тон Версилова и пленила как бы какая-то идея в слове «должны быть они». Разговор этот был для меня совсем неожиданностью. Но в эту минуту вдруг случилось нечто тоже совсем неожиданное.

IV

День был чрезвычайно ясный; стору у Макара Ивановича не поднимали обыкновенно во весь день, по приказанию доктора; но на окне была не стора, а занавеска, так что самый верх окна был все-таки не закрыт; это потому, что старик тяготился, не видя совсем, при прежней сторе, солнца. И вот как раз мы досидели до того момента, когда солнечный луч вдруг прямо ударил в лицо Макара Ивановича. За разговором он не обратил сначала внимания, но машинально, во время речи, несколько раз отклонял в сторону голову, потому что яркий луч сильно беспокоил и раздражал его больные глаза. Мама, стоявшая подле него, уже несколько раз взглядывала на окно с беспокойством; просто надо бы было чем-нибудь заслонить окно совсем, но, чтоб не помешать разговору, она вздумала попробовать оттащить скамеечку, на которой сидел Макар Иванович, вправо в сторону: всего-то надо было подвинуть вершка на три, много на четверть. Она уже несколько раз наклонялась и схватывалась за скамейку, но оттащить не могла; скамейка, с сидящим на ней Макаром Ивановичем, не трогалась. Чувствуя ее усилия, но в жару разговора, совсем бессознательно, Макар Иванович несколько раз пробовал было приподняться, но ноги его не слушались. Мама, однако, все-таки продолжала напрягаться и дергать, и вот наконец всё это ужасно озлило Лизу. Мне запомнилось несколько ее сверкающих, раздраженных взглядов, но только я, в первое мгновение, не знал, чему приписать их, да вдобавок был отвлечен разговором. И вот вдруг резко послышался ее почти окрик на Макара Ивановича:

— Да приподымитесь хоть немножко: видите, как трудно маме!

Старик быстро взглянул на нее, разом вникнул и мигом поспешил было приподняться, но ничего не вышло: приподнялся вершка на два и опять упал на скамейку.

— Не могу, голубчик, — ответил он как бы жалобно Лизе, и как-то весь послушно смотря на нее.

— Рассказывать по целой книге можете, а пошевелиться не в силах?

— Лиза! — крикнула было Татьяна Павловна. Макар Иванович опять сделал чрезвычайное усилие.

— Возьмите костыль, подле лежит, с костылем приподыметесь! — еще раз отрезала Лиза.

— А и впрямь, — сказал старик и тотчас же поспешно схватился за костыль.

— Просто надо приподнять его! — встал Версилов; двинулся и доктор, вскочила и Татьяна Павловна, но они не успели и подойти, как Макар Иванович, изо всех сил опершись на костыль, вдруг приподнялся и с радостным торжеством стал на месте, озираясь кругом.

— А и поднялся! — проговорил он чуть не с гордостью, радостно усмехаясь, — вот и спасибо, милая, научила уму, а я-то думал, что совсем уж не служат ноженьки…

Но он простоял недолго, не успел и проговорить, как вдруг костыль его, на который он упирался всею тяжестью тела, как-то скользнул по ковру, и так как «ноженьки» почти совсем не держали его, то и грохнулся он со всей высоты на пол. Это почти ужасно было видеть, я помню. Все ахнули и бросились его поднимать, но, слава богу, он не разбился; он только грузно, со звуком, стукнулся об пол обоими коленями, но успел-таки уставить перед собою правую руку и на ней удержаться. Его подняли и посадили на кровать. Он очень побледнел, не от испуга, а от сотрясения. (Доктор находил в нем, сверх всего другого, и болезнь сердца). Мама же была вне себя от испуга. И вдруг Макар Иванович, всё еще бледный, с трясущимся телом и как бы еще не опомнившись, повернулся к Лизе и почти нежным, тихим голосом проговорил ей:

— Нет, милая, знать и впрямь не стоят ноженьки!

Не могу выразить моего тогдашнего впечатления. Дело в том, что в словах бедного старика не прозвучало ни малейшей жалобы или укора; напротив, прямо видно было, что он решительно не заметил, с самого начала, ничего злобного в словах Лизы, а окрик ее на себя принял как за нечто должное, то есть что так и следовало его «распечь» за вину его. Всё это ужасно подействовало и на Лизу. В минуту падения она вскочила, как и все, и стояла, вся помертвев и, конечно, страдая, потому что была всему причиною, но услышав такие слова, она вдруг, почти в мгновение, вся вспыхнула краской стыда и раскаяния.

— Довольно! — скомандовала вдруг Татьяна Павловна, — всё от разговоров! Пора по местам; чему быть доброму, когда сам доктор болтовню завел!

— Именно, — подхватил Александр Семенович, суетившийся около больного. — Виноват, Татьяна Павловна, ему надо покой!

Но Татьяна Павловна не слушала: она с полминуты молча и в упор наблюдала Лизу.

— Поди сюда, Лиза, и поцелуй меня, старую дуру, если только хочешь, — проговорила она неожиданно.

И она поцеловала ее, не знаю за что, но именно так надо было сделать; так что я чуть не бросился сам целовать Татьяну Павловну. Именно не давить надо было Лизу укором, а встретить радостью и поздравлением новое прекрасное чувство, которое несомненно должно было в ней зародиться. Но, вместо всех этих чувств, я вдруг встал и начал, твердо отчеканивая слова:

— Макар Иванович, вы опять употребили слово «благообразие», а я как раз вчера и все дни этим словом мучился… да и всю жизнь мою мучился, только прежде не знал о чем. Это совпадение слов я считаю роковым, почти чудесным… Объявляю это в вашем присутствии…

Но меня мигом остановили. Повторяю: я не знал об их уговоре насчет мамы и Макара Ивановича; меня же по прежним делам, уж конечно, они считали способным на всякий скандал в этом роде.

— Унять, унять его! — озверела совсем Татьяна Павловна. Мама затрепетала. Макар Иванович, видя всеобщий испуг, тоже испугался.

— Аркадий, полно! — строго крикнул Версилов.

— Для меня, господа, — возвысил я еще пуще голос, — для меня видеть вас всех подле этого младенца (я указал на Макара) — есть безобразие. Тут одна лишь святая — это мама, но и она…

— Вы его испугаете! — настойчиво проговорил доктор.

— Я знаю, что я — враг всему миру, — пролепетал было я (или что-то в этом роде), но, оглянувшись еще раз я с вызовом посмотрел на Версилова.

— Аркадий! — крикнул он опять, — такая же точно сцена уже была однажды здесь между нами. Умоляю тебя, воздержись теперь!

Не могу выразить того, с каким сильным чувством он выговорил это. Чрезвычайная грусть, искренняя, полнейшая, выразилась в чертах его. Удивительнее всего было то, что он смотрел как виноватый: я был судья, а он — преступник. Всё это доконало меня.

— Да! — вскричал я ему в ответ, — такая же точно сцена уже была, когда я хоронил Версилова и вырывал его из сердца… Но затем последовало воскресение из мертвых, а теперь… теперь уже без рассвета! но… но вы увидите все здесь, на что я способен! даже и не ожидаете того, что я могу доказать!

Сказав это, я бросился в мою комнату. Версилов побежал за

мной…

V

Со мной случился рецидив болезни; произошел сильнейший лихорадочный припадок, а к ночи бред. Но не всё был бред: были бесчисленные сны, целой вереницей и без меры, из которых один сон или отрывок сна я на всю жизнь запомнил. Сообщаю без всяких объяснений; это было пророчество, и пропустить не могу.

Я вдруг очутился, с каким-то великим и гордым намерением в сердце, в большой и высокой комнате; но не у Татьяны Павловны: я очень хорошо помню комнату; замечаю это, забегая вперед. Но хотя я и один, но беспрерывно чувствую, с беспокойством и мукой, что я совсем не один, что меня ждут и что ждут от меня чего-то. Где-то за дверями сидят люди и ждут того, что я сделаю. Ощущение нестерпимое: «О, если б я был один!» И вдруг входит она. Она смотрит робко, она ужасно боится, она засматривает в мои глаза. *В руках моих документ.* Она улыбается, чтоб пленить меня, она ластится ко мне; мне жалко, но я начинаю чувствовать отвращение. Вдруг она закрывает лицо руками. Я бросаю «документ» на стол в невыразимом презрении: «Не просите, нате, мне от вас ничего не надо! Мщу за все мое поругание презрением!» Я выхожу из комнаты, захлебываясь от непомерной гордости. Но в дверях, в темноте, схватывает меня Ламберт: «Духгак, духгак! — шепчет он, изо всех сил удерживая меня за руку, — она на Васильевском острове благородный пансион для девчонок должна открывать» (NB. то есть чтоб прокормиться, если отец, узнав от меня про документ, лишит ее наследства и прогонит из дому. Я вписываю слова Ламберта буквально, как приснились).

«Аркадий Макарович ищет „благообразия“», — слышится голосок Анны Андреевны, где-то подле, тут же на лестнице; но не похвала, а нестерпимая насмешка прозвучала в ее словах. Я возвращаюсь в комнату с Ламбертом. Но, увидев Ламберта, ома вдруг начинает хохотать. Первое впечатление мое — страшный испуг, такой испуг, что я останавливаюсь и не хочу подходить. Я смотрю на нее и не верю; точно она вдруг сняла маску с лица: те же черты, но как будто каждая черточка лица исказилась непомерною наглостью. «Выкуп, барыня,

выкуп!» — кричит Ламберт, и оба еще пуще хохочут, а сердце мое замирает: «О, неужели эта бесстыжая женщина — та самая, от одного взгляда которой кипело добродетелью мое сердце?»

«Вот на что они способны, эти гордецы, в ихнем высшем свете, за деньги!» — восклицает Ламберт. Но бесстыдница не смущается даже этим; она хохочет именно над тем, что я так испуган. О, она готова на выкуп, это я вижу и… и что со мной? Я уже не чувствую ни жалости, ни омерзения; я дрожу, как никогда… Меня охватывает новое чувство, невыразимое, которого я еще вовсе не знал никогда, и сильное, как весь мир… О, я уже не в силах уйти теперь ни за что! О, как мне нравится, что это так бесстыдно! Я схватываю ее за руки, прикосновение рук ее мучительно сотрясает меня, и я приближаю мои губы к ее наглым, алым, дрожащим от смеха и зовущим меня губам.

О, прочь это низкое воспоминание! Проклятый сон! Клянусь, что до этого мерзостного сна не было в моем уме даже хоть чего-нибудь похожего на эту позорную мысль! Даже невольной какой-нибудь в этом роде мечты не было (хотя я и хранил «документ» зашитым в кармане и хватался иногда за карман с странной усмешкой). Откудова же это всё явилось совсем готовое? Это оттого, что во мне была душа паука![*] Это значит, что всё уже давно зародилось и лежало в развратном сердце моем, в *желании* моем лежало, но сердце еще стыдилось наяву, и ум не смел еще представить что-нибудь подобное сознательно. А во сне душа сама всё представила и выложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной картине и — в пророческой форме. И неужели *это* я им хотел *доказать*, выбегая поутру от Макара Ивановича? Но довольно: до времени ничего об этом! Этот сон, мне приснившийся, есть одно из самых странных приключении моей жизни.

Глава третья

I

Через три дня я встал поутру с постели и вдруг почувствовал, ступив на ноги, что больше не слягу. Я всецело ощутил близость выздоровления. Все эти маленькие подробности, может быть, и не

стоило бы вписывать, но тогда наступило несколько дней, в которые хотя и не произошло ничего особенного, но которые все остались в моей памяти как нечто отрадное и спокойное, а это — редкость в моих воспоминаниях. Душевного состояния моего не буду пока формулировать; если б читатель узнал, в чем оно состояло, то конечно бы не поверил. Лучше потом всё объяснится из фактов. А пока лишь скажу одно: пусть читатель помнит *душу паука*. И это у того, который хотел уйти от них и от всего света во имя «благообразия»! Жажда благообразия была в высшей мере, и уж конечно так, но каким образом она могла сочетаться с другими, уж бог знает какими, жаждами — это для меня тайна. Да и всегда было тайною, и я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и всё совершенно искренно. Широкость ли это особенная в Русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость — вот вопрос!

Но оставим. Так или этак, а наступило затишье. И просто понял, что выздороветь надо во что бы ни стало и как можно скорее, чтобы как можно скорее начать действовать, а потому решился жить гигиенически и слушаясь доктора (кто бы он ни был), а бурные намерения, с чрезвычайным благоразумием (плод широкости), отложил до дня выхода, то есть до выздоровления. Каким образом могли сочетаться все мирные впечатления и наслаждения затишьем с мучительно сладкими и тревожными биениями сердца при предчувствии близких бурных решений — не знаю, но всё опять отношу к «широкости». Но прежнего недавнего беспокойства во мне уже не было; я отложил всё до срока, уже не трепеща перед будущим, как еще недавно, но как богач, уверенный в своих средствах и силах. Надменности и вызова ожидавшей меня судьбе прибывало всё больше и больше, и отчасти, полагаю, от действительного уже выздоровления и от быстро возвращавшихся жизненных сил. Вот эти-то несколько дней окончательного и даже действительного выздоровления я и вспоминаю теперь с полным удовольствием.

О, они мне всё простили, то есть ту выходку, и это — те самые люди, которых я в глаза обозвал безобразными! Это я люблю в людях, это я называю умом сердца; по крайней мере это меня тотчас же привлекало, разумеется до известной меры. С Версиловым, например,

мы продолжали говорить, как самые добрые знакомые, но до известной меры: чуть слишком проскакивала экспансивность (а она проскакивала), и мы тотчас же сдерживались оба, как бы капельку стыдясь чего-то. Есть случаи, в которых победитель не может не стыдиться своего побежденного, и именно за то, что одержал над ним верх. Победитель был очевидно — я; я и стыдился.

В то утро, то есть когда я встал с постели после рецидива болезни, он зашел ко мне, и тут я в первый раз узнал от него об их общем тогдашнем соглашении насчет мамы и Макара Ивановича; причем он заметил, что хоть старику и легче, но доктор за него положительно не отвечает. Я от всего сердца дал ему и мое обещание вести себя впредь осторожнее. Когда Версилов передавал мне всё это, я, в первый раз тогда, вдруг заметил, что он и сам чрезвычайно искренно занят этим стариком, то есть гораздо более, чем я бы мог ожидать от человека, как он, и что он смотрит на него как на существо, ему и самому почему-то особенно дорогое, а не из-за одной только мамы. Меня это сразу заинтересовало, почти удивило, и, признаюсь, без Версилова я бы многое пропустил без внимания и не оценил в этом старике, оставившем одно из самых прочных и оригинальных воспоминаний в моем сердце.

Версилов как бы боялся за мои отношения к Макару Ивановичу, то есть не доверял ни моему уму, ни такту, а потому чрезвычайно был доволен потом, когда разглядел, что и я умею иногда понять, как надо отнестись к человеку совершенно иных понятий и воззрений, одним словом, умею быть, когда надо, и уступчивым и широким. Признаюсь тоже (не унижая себя, я думаю), что в этом существе из народа я нашел и нечто совершенно для меня новое относительно иных чувств и воззрений, нечто мне не известное, нечто гораздо более ясное и утешительное, чем как я сам понимал эти вещи прежде. Тем не менее возможности не было не выходить иногда просто из себя от иных решительных предрассудков, которым он веровал с самым возмутительным спокойствием и непоколебимостью. Но тут, конечно, виною была лишь его необразованность; душа же его была довольно хорошо организована, и так даже, что я не встречал еще в людях ничего лучшего в этом роде.

II

Прежде всего привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия; предчувствовалось почти безгрешное сердце. Было «веселие» сердца, а потому и «благообразие». Словцо «веселие» он очень любил и часто употреблял. Правда, находила иногда на него какая-то как бы болезненная восторженность, какая-то как бы болезненность умиления, — отчасти, полагаю, и оттого, что лихорадка, по-настоящему говоря, не покидала его во всё время; но благообразию это не мешало. Были и контрасты: рядом с удивительным простодушием, иногда совершенно не примечавшим иронии (часто к досаде моей), уживалась в нем и какая-то хитрая тонкость, всего чаще в полемических сшибках. А полемику он любил, но иногда лишь и своеобразно. Видно было, что он много исходил по России, много переслушал, но, повторяю, больше всего он любил умиление, а потому и всё на него наводящее, да и сам любил рассказывать умилительные вещи. Вообще рассказывать очень любил. Много я от него переслушал и о собственных его странствиях, и разных легенд из жизни самых древнейших «подвижников». Незнаком я с этим, но думаю, что он много перевирал из этих легенд, усвоив их большею частью из изустных же рассказов простонародья. Просто невозможно было допустить иных вещей. Но рядом с очевидными переделками или просто с враньем всегда мелькало какое-то удивительное целое, полное народного чувства и всегда умилительное… Я запомнил, например, из этих рассказов один длинный рассказ — «Житие Марии Египетской[*]». О «житии» этом, да почти и о всех подобных, я не имел до того времени никакого понятия. Я прямо говорю: это почти нельзя было вынести без слов, и не от умиления, а от какого-то странного восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная степь со львами, в которой скиталась святая. Впрочем, об этом я не хочу говорить, да и не компетентен.

Кроме умиления, нравились мне в нем и некоторые чрезвычайно оригинальные иногда воззрения на некоторые весьма еще спорные вещи в современной действительности. Рассказывал он раз, например, одну недавнюю историю об одном отпускном солдате; этого происшествия он почти был свидетелем. Воротился один солдат на родину со службы, опять к мужикам, и не понравилось ему жить опять с мужиками, да и сам он мужикам не понравился. Сбился человек, запил и ограбил где-то

и кого-то; улик крепких не было, но схватили, однако, и стали судить. В суде адвокат совсем уже было его оправдал — нет улик, да и только, как вдруг тот слушал-слушал, да вдруг встал и перервал адвоката: «Нет, ты постой говорить», да всё и рассказал, «до последней соринки»; повинился во всем, с плачем и с раскаяньем. Присяжные пошли, заперлись судить, да вдруг все и выходят: «Нет, не виновен». Все закричали, зарадовались, а солдат, как стоял, так ни с места, точно в столб обратился, не понимает ничего; не понял ничего и из того, что председатель сказал ему в увещание, отпуская' на волю. Пошел солдат опять на волю и всё не верит себе. Стал тосковать, задумался, не ест не пьет, с людьми не говорит, а на пятый день взял да и повесился. «Вот каково с грехом-то на душе жить!» — заключил Макар Иванович. Рассказ этот, конечно, пустой, и таких бездна теперь во всех газетах, но мне понравился в нем тон, а пуще всего иные словечки, решительно с новою мыслью. Говоря, например, о том, как солдат, возвратясь в деревню, не понравился мужикам, Макар Иванович выразился: «А солдат известно что: солдат — *„мужик порченый“*». Говоря потом об адвокате, чуть не выигравшем дело, он тоже выразился: «А адвокат известно что: адвокат — *„нанятаясовесть“*». Оба эти выражения он высказал, совсем не трудясь над ними и себе неприметно, а меж тем в этих двух выражениях — целое особое воззрение на оба предмета, и хоть, уж конечно, не всего народа, так все-таки Макар Ивановичево, собственное и не заимствованное! Эти предрешения в народе насчет иных тем поистине иногда чудесны по своей оригинальности.

— А как вы, Макар Иванович, смотрите на грех самоубийства? — спросил я его по тому же поводу.

— Самоубийство есть самый великий грех человеческий, — ответил он, вздохнув, — но судья тут — един лишь господь, ибо ему лишь известно всё, всякий предел и всякая мера. Нам же беспременно надо молиться о таковом грешнике. Каждый раз, как услышишь о таковом грехе, то, отходя ко сну, помолись за сего грешника умиленно; хотя бы только воздохни о нем к богу; даже хотя бы ты и не знал его вовсе, — тем доходнее твоя молитва будет о нем.

— А поможет ему молитва моя, коли он уже осужден?

— А почем ты знаешь? Многие, ох многие не веруют и оглушают сим людей несведущих; ты же не слушай, ибо сами не знают, куда бредут. Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину

доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь: «Помилуй, господи Иисусе, и всех тех, за кого некому помолиться». Вельми доходна молитва сия и приятна. Тоже и о всех грешниках, еще живущих: «Господи, ими же сам веси судьбами спаси всех нераскаянных», — это тоже молитва хорошая.

Я обещал ему, что помолюсь, чувствуя, что обещанием этим доставлю ему чрезмерное удовольствие. И действительно, радость засияла в его лице; но спешу прибавить, что в подобных случаях он никогда не относился ко мне свысока, то есть вроде как бы старец к какому-нибудь подростку; напротив, весьма часто любил самого меня слушать, даже заслушивался, на разные темы, полагая, что имеет дело, хоть и с «вьюношем», как он выражался в высоком слоге (он очень хорошо знал, что надо выговаривать «юноша», а не «вьюнош»), но понимая вместе и то, что этот «вьюнош» безмерно выше его по образованию. Любил он, например, очень часто говорить о пустынножительстве и ставил «пустыню» несравненно выше «странствий». Я горячо возражал ему, напирая на эгоизм этих людей, бросающих мир и пользу, которую бы могли принести человечеству, единственно для эгоистической идеи своего спасения. Он сначала не понимал, подозреваю даже, что и совсем не понял; но пустыню очень защищал: «Сначала жалко себя, конечно (то есть когда поселишься в пустыне), — ну а потом каждый день всё больше радуешься, а потом уже и бога узришь». Тут я развил перед ним полную картину полезной деятельности ученого, медика или вообще друга человечества в мире и привел его в сущий восторг, потому что и сам говорил горячо; он поминутно поддакивал мне: «Так, милый, так, благослови тебя бог, по истине мыслишь»; но когда я кончил, он все-таки не совсем согласился: «Так-то оно так, — вздохнул он глубоко, — да много ли таких, что выдержат и не развлекутся? Деньги хоть не бог, а всё же полбога — великое искушение; а тут и женский пол, а тут и самомнение и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким. То ли в пустыне? В пустыне человек укрепляет себя даже на всякий подвиг. Друг! Да и что в мире? — воскликнул он с чрезмерным чувством. — Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку да посей на камушке; когда желт песочек у тебя на камушке том взойдет, тогда и мечта твоя в мире сбудется, — вот как у нас говорится. То ли у Христа: „Поди и раздай твое богатство

и стань всем слуга“[*]. И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью. Уж не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь! Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил! Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен, и сам уж не знает, какую забаву выдумать; тогда же дни и часы твои умножатся как бы в тысячу раз, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую в веселии сердца ощутишь. Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг токмо, а будешь с самим богом лицом к лицу; и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печаля, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай…»

Вот эти-то восторженные выходки чрезвычайно, кажется, любил Версилов. В этот раз он тут же был в комнате.

— Макар Иванович! — прервал я его вдруг, сам разгорячась без всякой меры (я помню тот вечер), — да ведь вы коммунизм, решительный коммунизм, коли так, проповедуете!

И так как он решительно ничего не знал про коммунистическое учение, да и самое слово в первый раз услыхал, то я тут же стал ему излагать всё, что знал на эту тему. Признаюсь, я знал мало и сбивчиво, да и теперь не совсем компетентен; но что знал, то изложил с величайшим жаром, несмотря ни на что. До сих пор вспоминаю с удовольствием о чрезвычайном впечатлении, которое я произвел на старика. Это было даже не впечатление, а почти потрясение. При сем он страшно интересовался историческими подробностями: «Где? Как? Кто устроил? Кто сказал?» Кстати, я заметил, что это — вообще свойство простонародья: он не удовольствуется общей идеей, если очень заинтересуется, но непременно начнет требовать самых твердых и точных подробностей. Я таки в подробностях сбивался, и так как тут был Версилов, то немного стыдился его, а оттого еще пуще горячился. Кончилось тем, что Макар Иванович, в умилении, под конец только повторял к каждому слову: «Так, так!», но уже видимо не понимая и потеряв нитку. Мне стало досадно, но Версилов вдруг прервал разговор, встал и объявил, что пора идти спать. Мы тогда все были в сборе, и было поздно. Когда он через несколько минут заглянул в мою комнату, я тотчас спросил его: как он глядит на Макара Ивановича вообще и что

он об нем думает? Версилов весело усмехнулся (но вовсе не над моими ошибками в коммунизме — напротив, об них не упомянул). Повторяю опять: он решительно как бы прилепился к Макару Ивановичу, и я часто ловил на лице его чрезвычайно привлекательную улыбку, когда он слушал старика. Впрочем, улыбка вовсе не помешала критике.

— Макар Иванович прежде всего — не мужик, а дворовый человек, — произнес он с большою охотою, — бывший дворовый человек и бывший слуга, родившийся слугою и от слуги. Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной жизни своих господ в былое время. Заметь, что Макар Иванович до сих пор всего больше интересуется событиями из господской и высшей жизни. Ты еще не знаешь, докакой степени интересуется он иными событиями в России за последнее время. Знаешь ли, что он великий политик? Его медом не корми, а расскажи, где кто воюет и будем ли мы воевать. В прежнее время я доводил его подобными разговорами до блаженства. Науку уважает очень и из всех наук любит больше астрономию. При всем том выработал в себе нечто столь независимое, чего уже ни за что в нем не передвинешь. Убеждения есть, и твердые, и довольно ясные… и истинные. При совершенном невежестве, он вдруг способен изумить неожиданным знакомством с иными понятиями, которых бы в нем и не предполагал. Хвалит пустыню с восторгом, но ни в пустыню, ни в монастырь ни за что не пойдет, потому что в высшей степени «бродяга», как мило назвал его Александр Семенович, на которого ты напрасно, мимоходом сказать, сердишься. Ну что ж еще, наконец: несколько художник, много своих слов, но есть и не свои. Несколько хром в логическом изложении, подчас очень отвлеченен; с порывами сентиментальности, но совершенно народной, или, лучше сказать, с порывами того самого общенародного умиления, которое так широко вносит народ наш в свое религиозное чувство. Про чистосердечие и незлобивость его опускаю: не нам с тобой начинать на эту тему…

III

Чтобы закончить с характеристикой Макара Ивановича, передам какой-нибудь из его рассказов, собственно уже из частной жизни.

Характер этих рассказов был странный, вернее то, что не было в них никакого общего характера; нравоучения какого-нибудь или общего направления нельзя было выжать, разве то, что все более или менее были умилительны. Но были и не умилительные, были даже совсем веселые, были даже насмешки над иными монахами из беспутных, так что он прямо вредил своей идее, рассказывая, — о чем я и заметил ему: но он не понял, что я хотел сказать. Иногда трудно было сообразить, что его так побуждает рассказывать, так что я подчас даже дивился на такое многоглаголание и приписывал отчасти старчеству и болезненному состоянию.

— Он — не то, что прежде, — шепнул мне раз Версилов— он прежде был не совсем таков. Он скоро умрет, гораздо скорее, чем мы думаем, и надо быть готовым.

Я забыл сказать, что у нас установилось нечто вроде «вечеров». Кроме мамы, не отходившей от Макара Ивановича, всегда по вечерам в его комнатку приходил Версилов: всегда приходил я, да и негде мне было и быть; в последние дни почти всегда заходила Лиза, хоть и попозже других, и всегда почти сидела молча. Бывала Татьяна Павловна, и хоть редко, да бывал и доктор. С доктором я, как-то вдруг так вышло, сошелся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я наконец разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для франтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность естественно входит в ремесло доктора, и доказал ему это. Подходила, наконец, часто к дверям из своей кухни Лукерья и, стоя за дверью, слушала, как рассказывает Макар Иванович. Версилов вызвал ее раз из-за дверей и пригласил сесть вместе с нами. Мне это понравилось; но с этого разу она уже перестала подходить к дверям. Свои нравы!

Помещаю один из рассказов, без выбору, единственно потому, что он мне полнее запомнился. Это — одна история об одном купце, и я думаю, что таких историй, в наших городах и городишках, случается тысячами, лишь бы уметь смотреть. Желающие могут обойти рассказ, тем более что я рассказываю его слогом.

IV

«А было у нас в городе Афимьевском[*], скажу теперь, вот како чудо. Жил купец, Скотобойников прозывался, Максим Иванович, и не было его богаче по всей округе. Ситцевую фабрику построил и рабочих несколько сот содержал; и возмнил о себе безмерно. И надо так сказать, что уже всё ходило по его знаку, и само начальство ни в чем не препятствовало, и архимандрит[*] за ревность благодарил: много на монастырь жертвовал и, когда стих находил, очень о душе своей воздыхал и о будущем веке озабочен был немало. Вдов был и бездетен; про супругу-то его был слух, что усахарил он ее будто еще на первом году и что смолоду ручкам любил волю давать; только давно уж перед тем это было; снова же обязаться браком не захотел. Слаб был тоже и выпить, и, когда наступал ему срок, то хмельной по городу бежит нагишом и вопит; город не знатный, а всё зазорно. Когда же переставал срок, становился сердит, и всё, что он рассудит, то и хорошо, и всё, что повелит, то и прекрасно. А народ рассчитывал произвольно; возьмет счеты, наденет очки: „Тебе, Фома, сколько?“ —„С рождества не брал, Максим Иванович, тридцать девять рублев моих есть“. — „Ух сколько денег! Это много тебе; ты и весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет: десять рублей с костей долой, а двадцать девять получай“. И молчит человек; да и никто не смеет пикнуть, все молчат.

„Я, говорит, знаю, сколько ему следует дать. С здешним народом по-другому нельзя. Здешний народ развратен; без меня б они все здесь с голоду перемерли, сколько их тут ни есть. Опять сказать, народ здешний — вор, на что взглянет, то и тянет, никакого в нем мужества нет. Опять взять и то, что он — пьяница; разочти его, он в кабак снесет, и сидит в кабаке наг — ни ниточки, выходит голешенек. Опять же он — и подлец: сядет супротив кабака на камушек и пошел причитать: «Матушка моя родимая, и зачем же ты меня, такого горького пьяницу, на свет произвела? А и лучше б ты меня, такого горького пьяницу, на роду придавила!» Так разве это — человек? Это — зверь, а не человек; его, перво-наперво, образить следует, а потом уж ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать“.

Вот так говорил Максим Иванович об народе афимьевском; хоть худо он это говорил, а всё ж и правда была: народ был стомчивый, не

выдерживал.

Жил в этом же городе и другой купец, да и помер; человек был молодой и легкомысленный, прогорел и всего капиталу решился. Бился в последний год, как рыба на песке, да урок житию его приспел. С Максим Ивановичем всё время не ладил и кругом ему должен остался. В последний час еще Максима Ивановича проклинал. И оставил по себе вдову еще молодую, да с ней вместе и пятерых детей. И одинокой-то вдовице оставаться после супруга, подобно как бесприютной ластовице, — не малое испытание, а не то что с пятерыми младенцами, которых пропитать нечем; последнее именьишко, дом деревянный, Максим Иванович за долг отбирал. И поставила она их всех рядком у церковной паперти; старшему мальчику восемь годков, а остальные все девочки погодки, все мал малой меньше; старшенькая четырех годков, а младшая еще на руках, грудь сосет. Кончилась обедня, вышел Максим Иванович, и все деточки, все-то рядком стали перед ним на коленки — научила она их перед тем, и ручки перед собой ладошками как один сложили, а сама за ними, с пятым ребенком на руках, земно при всех людях ему поклонилась: „Батюшка, Максим Иванович, помилуй сирот, не отымай последнего куска, не выгоняй из родного гнезда!“ И все, кто тут ни был, все прослезились — так уж хорошо она их научила. Думала: „При людях-то возгордится и простит, отдаст дом сиротам“, только не так оно вышло. Стал Максим Иванович: „Ты, говорит, молодая вдова, мужа хочешь, а не о сиротах плачешь. Покойник-то меня на смертном одре проклинал“ — и прошел мимо и не отдал дом. „Чего ихним дурачествам подражать (то есть поблажать)? Окажи благодеяние, еще пуще станут костить; всё сие ничтоже успевает, а лишь паче молва бывает“. А молва-то ходила и впрямь, что будто он к сей вдовице, еще к девице, лет десять перед тем подсылал и большим капиталом жертвовал (красива уж очень была), забывая, что грех сей всё едино что храм божий разорить; да ничего тогда не успел. А мерзостей этих самых, и по городу, и по всей даже губернии, производил немало, и даже всякую меру в сем случае потерял.

Возопила мать со птенцами, выгнал сирот из дому, и не по злобе токмо, а и сам не знает иной раз человек, по какому побуждению стоит на своем. Ну, помогали сперва, а потом пошла наниматься в работу. Да только какой у нас, окромя фабрики, заработок; там полы вымоет, там в огороде выполет, там баньку, вытопит, да с ребеночком-то на руках и

взвоет; а четверо прочих тут же по улице в рубашонках бегают. Когда на коленки их у паперти ставила, всё еще в башмачонках были, каких ни есть, да в салопчиках, всё как ни есть, а купецкие дети; а тут уж пошли бегать и босенькие: на ребенке одежонка горит, известно. Ну, а деткам что: было бы солнышко, радуются, гибели не чувствуют, словно птички, голосочки их что колокольчики. Думает вдова: „Станет зима, и куда я вас тогда подеваю; хоть бы вас к тому сроку бог прибрал!“ Только не дождалась до зимы. Есть по нашему месту такой на детей кашель, коклюш, что с одного на другого переходит. Перво-наперво померла грудная девочка, а за ней заболели и прочие, и всех-то четырех девочек, в ту же осень, одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улице лошади раздавили. Что же ты думаешь? Похоронила да и взвыла; то проклинала, а как бог прибрал, жалко стало. Материнское сердце!

Остался у ней в живых один лишь старшенький мальчик, и уж не надышит она над ним, трепещет. Слабенький был и нежный и личиком миловидный, как девочка. И свела она его на фабрику, к крестному его отцу, управляющему, а сама в нянюшки к чиновнику нанялась. Только бегает мальчик раз на дворе, а тут вдруг и подъехал на паре Максим Иванович, да как раз выпимши; а мальчик-то с лестницы прямо на него, незвначай то есть, посклизнулся, да прямо об него стукнулся, как он с дрожек сходил, и обеими руками ему прямо в живот. Схватил он его за волосенки, завопил: „Чей такой? Лозы! Высечь его, говорит, тот же час при мне“. Помертвел мальчик, стали сечь, закричал. „Так ты еще и кричишь? секи ж его, пока кричать перестанет!“ Мало ли, много ли секли, не перестал кричать, пока не омертвел вовсе. Тут и бросили сечь, испугались, не дышит мальчик, лежит в бесчувствии. Сказывали потом, что немного и секли, да уж пуглив был очень. Испугался было и Максим Иванович: „Чей такой!“— спросил; сказали ему. „Ишь ведь! снести его к матери; чего он тут на фабрике шлялся?“ Два дня потом молчал и опять спросил: „А что мальчик?“ А с мальчиком вышло худо: заболел, у матери в угле лежит, та и место по тому случаю у чиновников бросила, и вышло у него воспаление в легких. „Ишь ведь! — произнес, — и с чего, кажись? Диви б его больно секли: самое лишь малое пристрастие произвели. Я и над всеми прочими такие точно побои произносил; сходило без всяких таких пустяков“. Ждал было он, что мать пойдет жаловаться, и, возгордясь, молчал; только где уж, не посмела мать жаловаться. И послал он ей тогда от себя пятнадцать

рублей и лекаря от себя; и не то чтоб побоявшись чего, а так, задумался. А тут скоро и срок ему подошел, запил недели на три.

Миновала зима, и на самое светло Христово воскресенье, в самый великий день, спрашивает Максим Иванович опять: „А что тот самый мальчик?“ А всю зиму молчал не спрашивал. И говорят ему: „Выздоровел, у матери, а та всё поденно уходит“. И поехал Максим Иванович того же дня ко вдове, в дом не вошел, а вызвал воротам, сам на дрожках сидит: „Вот что, говорит, честная вдова, хочу я твоему сыну чтобы истинным благодетелем быть и беспредельные милости ему оказать: беру его отселе к себе, в самый мой дом. И ежели вмале мне угодит, то достаточный капитал ему отпишу; а совсем ежели угодит, то и всего состояния нашего могу его, по смерти, преемником утвердить, равно как родного бы сына с тем, однако, чтобы ваша милость, окромя великих праздников, в дом не жаловали. Коли складно по-вашему, так завтра утром приводи мальчика, не всё ему в *бабки* играть“. И, сказав, уехал, мать оставив как бы в безумии. Прослышали люди, говорят ей: „Возрастет малый, сам попрекать тебя станет, что лишила его такой судьбы“. Ночь-то над ним поплакала, а поутру отвела дитя. А мальчик ни жив ни мертв.

Одел его Максим Иванович как барчонка, и учителя нанял, и с того самого часу за книгу засадил; и так дошло, что и с глаз его не спускает, всё при себе. Чуть мальчик зазевается, он уж и кричит: „За книгу! учись: я тебя человеком сделать хочу“. А мальчик хилый, с того самого разу, после побоев-то, кашлять стал. „У меня ль не житье! — дивится Максим Иванович, — у матери босой бегал, корки жевал, чего ж он еще пуще прежнего хил?“ А учитель и говорит: „Всякому мальчику, говорит, надо и порезвиться, не всё учиться; ему моцион необходим“, и вывел ему всё резоном. Максим Иванович подумал: „Это ты правду говоришь“. А был тот учитель Петр Степанович, царство ему небесное, как бы словно юродивый; пил уж оченно, так даже, что и слишком, и по тому самому его давно уже от всякого места отставили и жил по городу всё одно что милостыней, а ума был великого и в науках тверд. „Мне бы не здесь быть, — сам говорил про себя, — мне в университете профессором только быть, а здесь я в грязь погружен и «самые одежды мои возгнушались мною»[*]“. Сел Максим Иванович и кричит мальчику: „Резвись!“ — а тот перед ним еле дышит. И до того дошло, что самого голосу его ребенок не мог снести — так весь и затрепещется. А Максим-

то Иванович всё пуще удивляется: „Ни он такой, ни он этакой; я его из грязи взял, в драдедам[*] одел; на нем полсапожки матерчатые, рубашка с вышивкой, как генеральского сына держу, чего ж он ко мне не привержен? Чего как волчонок молчит?“ И хоть давно уж все перестали удивляться на Максима Ивановича, но тут опять задивились: из себя вышел человек; к этакому малому ребенку пристал, отступиться не может. „Жив не желаю быть, а характер в нем искореню. Меня отец его, на смертном одре, уже святого причастья вкусив, проклинал; это у него отцовский характер“. И ведь даже ни разу лозы не употребил (с того разу боялся). Запугал он его, вот что. Без лозы запугал.

И случилось дело. Только он раз вышел, а мальчик вскочил из-за книги да на стул: пред тем на шифонерку мяч забросил, так чтоб мячик ему достать, да об фарфоровую лампу на шифонерке рукавом и зацепил; лампа-то грохнулась, да на пол, да вдребезги, ажно по всему дому зазвенело, а вещь дорогая — фарфор саксонский. А тут вдруг Максим Иванович из третьей комнаты услышал и завопил. Бросился ребенок бежать куда глаза глядят с перепугу, выбежал на террасу, да через сад, да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной там бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, сплеснул руками, у самого того места, где паром пристает, да ужаснулся, что ли, перед водой — стал как вкопанный. А место это широкое, река быстрая, барки проходят; на той стороне лавки, площадь, храм божий златыми главами сияет. И как раз тут на перевоз поспешала с дочкой полковница Ферзинг — полк стоял пехотный. Дочка, тоже ребеночек лет восьми, идет в беленьком платьице, смотрит на мальчика и смеется, а в руках таку малую кошелочку деревенскую несет, а в кошелочке ежика. „Смотрите, говорит, маменька, как мальчик смотрит на моего ежика“. — „Нет, — говорит полковница, — а он испугался чего-то. — Чего вы так испугались, хорошенький мальчик?“ (Так всё это потом и рассказывали). „И какой, говорит, это хорошенький мальчик, и как хорошо одет; чей вы, говорит, мальчик?“ А он никогда еще ежика не видывал, подступил, и смотрит, и уже забыл — детский возраст! „Что это, говорит, у вас такое?“ — „А это, — говорит барышня, — у нас ежик, мы сейчас у деревенского мужика купили: он в лесу нашел“. — „Как же это, говорит, такой ежик?“ — и уж смеется, и стал он его тыкать пальчиком, а ежик-то щетинится, а девочка-то рада на мальчика: „Мы, говорит, его домой несем и хотим приучать“. — „Ах,

говорит, подарите мне вашего ежика!“ И так он это ее умильно попросил, и только что выговорит, как вдруг Максим-то Иванович над ним сверху: „А! Вот ты где! Держи его!“ (До того озверел, что сам без шапки из дому погнался за ним). Мальчик, как вспомнил про всё, вскрикнул, бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в небеса (видели, видели!) — да бух в воду! Ну, закричали, бросились с парома, стали ловить, да водой отнесло, река быстрая, а как вытащили, уж и захлебнулся, — мертвенький. Грудкой-то слаб был, не стерпел воды, да и много ль такому надо? И вот на памяти людской еще не было в тех местах, чтобы такой малый робеночек на свою жизнь посягнул! Такой грех! И что может сия малая душка на том свете господу богу сказать!

Над тем самым, с тех пор, Максим Иванович и задумался. И переменился человек, что узнать нельзя. Больно уж тогда опечалился. Стал было пить, много пил, да бросил — не помогло. Бросил и на фабрику ездить, никого не слушает. Говорят ему что — молчит али рукой махнет. Так проходил он месяца с два, а потом стал сам с собой говорить. Ходит и сам с собой говорит. Сгорела подгородная деревнюшка Васькова, выгорело девять домов; поехал Максим Иванович взглянуть. Обступили его погорельцы, взвыли — обещал помочь и приказ отдал, а потом призвал управляющего и всё отменил: „Не надоть, говорит, ничего давать“ — и не сказал за что. „В попрание меня, говорит, отдал господь всем людям, яко же некоего изверга, то уж пусть так и будет. Как ветер, говорит, развеялась слава моя“. Приехал к нему сам архимандрит, старец был строгий и в монастыре общежитие ввел. „Ты чего?“ — говорит, строго так. „А я вот чего“, — и раскрыл ему Максим Иванович книгу и указал место:

„А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучине морстей“[*] (Матф. 18, 6).

— Да, — сказал архимандрит, — хоть и не о том сие прямо сказано, а всё же соприкасается. Беда, коли мерку свою потеряет человек, — пропадет тот человек. А ты возмнил.

А Максим Иванович сидит, словно столбняк на него нашел. Архимандрит глядел-глядел.

— Слушай, говорит, и запомни. Сказано: „Слова отчаянного летят на ветер“. И еще то вспомни, что и ангелы божий несовершенны, а

совершен и безгрешен токмо един бог наш Иисус Христос, ему же ангелы служат. Да и не хотел же ты смерти сего младенца, а только был безрассуден. Только вот что, говорит, мне даже чудесно: мало ль ты, говорит, еще горших бесчинств произносил, мало ль по миру людей пустил, мало ль растлил, мало ль погубил, — всё одно как бы убиением? И не его ли сестры еще прежде того все перемерли, все четыре младенчика, почти что на глазах твоих? Чего ж тебя так сей единый смутил? Ведь о прежних всех, полагаю, не то что сожалеть, а и думать забыл? Почему же так устрашился младенца сего, в коем и не весьма повинен?

— Во сне мне снится, — изрек Максим Иванович.

— И что же?

Но ничего более не открыл, сидит, молчит. Удивился архимандрит да с тем и отъехал: ничего уж тут не поделаешь.

И послал Максим Иванович за учителем, за Петром Степановичем; с самого того случая не видались.

— Помнишь ты? — говорит.

— Помню, — говорит.

— Ты, говорит, здесь масляной краской в трактир картины мазал и с архиреева портрета копию снимал. Можешь ты мне написать краской картину одну?

— Я, говорит, всё могу; я, говорит, всякий талант имею и всё могу.

— Напиши же ты мне картину самую большую, во всю стену, и напиши на ней перво-наперво реку, и спуск, и перевоз, и чтоб все люди, какие были тогда, все тут были. И чтоб полковница и девочка были, и тот самый ежик. Да и другой берег весь мне спиши, чтоб виден был, как есть: и церковь, и площадь, и лавки, и где извозчики стоят, — всё, как есть, спиши. И тут у перевоза мальчика, над самой рекой, на том самом месте, и беспременно, чтобы два кулачка вот так к груди прижал, к обоим сосочкам. Беспременно это. И раскрой ты перед ним с той стороны, над церковью, небо, и чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его. Можешь потрафить аль нет?

— Я всё могу.

— Я не то чтоб такого Трифона, как ты, я и первейшего живописца из Москвы могу выписать, али хоша бы из самого Лондона, да ты его лик помнишь. Если выйдет не схож али мало схож, то дам тебе всего пятьдесят рублей, а если выйдет совсем похож, то дам двести рублей.

Помни глазки голубенькие… Да чтобы самая-самая большая картина вышла.

Изготовились; стал писать Петр Степанович, да вдруг и приходит:

— Нет, говорит, в таком виде нельзя писать.

— Что так?

— Потому что грех сей, самоубивство, есть самый великий из всех грехов. То как же ангели его будут стречать после такого греха?

— Да ведь он — младенец, ему не вменимо.

— Нет, не младенец, а уже отрок: восьми уже лет был, когда сие совершилось. Всё же он хотя некий ответ должен дать.

Еще пуще ужаснулся Максим Иванович.

— А я, — говорит Петр Степанович, — вот как придумал: небо открывать не станем и ангелов писать нечего; а спущу я с неба, как бы в встречу ему, луч; такой один светлый луч: всё равно как бы нечто и выйдет.

Так и пустили луч. И видел я сам потом, уже спустя, картину сию, и этот луч самый, и реку — во всю стену вытянул, вся синяя; и отрок милый тут же, обе ручки к грудкам прижал, и маленькую барышню, и ежика — всё потрафил. Только Максим Иванович тогда никому картину не открыл, а запер ее в кабинете на ключ от всех глаз. А уж как рвались по городу, чтоб повидать: всех гнать велел. Большой разговор пошел. А Петр Степанович словно из себя тогда вышел: „Я, говорит, теперь уже всё могу; мне, говорит, только в Санкт-Петербурге при дворе состоять“. Любезнейший был человек, а превозноситься любил беспримерно. И постигла его участь: как получил все двести рублей, начал тотчас же пить и всем деньги показывать, похваляясь; и убил его пьяного ночью наш мещанин, с которым и пил, и деньги ограбил; всё сие наутро и объяснилось.

А кончилось всё так, что и теперь там напреж всего вспоминают. Вдруг приезжает Максим Иванович к той самой вдове: нанимала на краю у мещанки в избушке. На сей раз уже во двор вошел; стал пред ней да и поклонился в землю. А та с тех разов больна была, еле двигалась. „Матушка, возопил, честная вдовица, выйди за меня, изверга, замуж, дай жить на свете!“ Та глядит ни жива ни мертва. „Хочу, говорит, чтоб у нас еще мальчик родился, и ежели родится он, тогда, значит, тот мальчик простил нас обоих: и тебя и меня. Мне так мальчик велел“. Видит она, что не в уме человек, а как бы в исступлении, да всё же не

утерпела.

— Пустяки это всё, — отвечает ему, — и одно малодушие. Через то самое малодушие я всех моих птенцов истеряла. Я и видеть-то вас перед собой не могу, а не то чтобы такую вековеченскую муку принять.

Отъехал Максим Иванович, да не унялся. Загрохотал весь город от такого чуда. А Максим Иванович свах заслал. Выписал из губернии двух своих теток, по мещанству жили. Тетки не тетки, всё же родственницы, честь, значит; стали те ее склонять, принялись улещать, из избы не выходят. Заслал и из городских, и по купечеству, и протопопшу соборную, и из чиновниц; обступили ее всем городом, а та даже гнушается: „Если б, говорит, сироты мои ожили, а теперь на что? Да я перед сиротками моими какой грех приму!“ Склонил и архимандрита, подул и тот в ухо*: „Ты, говорит, в нем нового человека воззвать можешь“. Ужаснулась она. А люди-то на нее удивляются: „Уж и как же это можно, чтоб от такого счастья отказываться!“ И вот чем же он ее в конце покорил: „Всё же он, говорит, самоубивец, и не младенец, а уже отрок, и по летам ко святому причастью его уже прямо допустить нельзя было, а стало быть, всё же он хотя бы некий ответ должен дать. Если же вступишь со мной в супружество, то великое обещание даю: выстрою новый храм токмо на вечный помин души его“. Против сего не устояла и согласилась. Так и повенчались.

И вышло всем на удивление. Стали они жить с самого первого дня в великом и нелицемерном согласии, опасно соблюдая свое супружество, и как единая душа в двух телесах. Зачала она в ту же зиму, и стали они посещать храмы божий и трепетать гнева господня. Были в трех монастырях и внимали пророчествам. Он же соорудил обещанный храм и выстроил в городе больницу и богадельню. Отделил капитал на вдов и сирот. И воспомнил всех, кого обидел, и возжелал возвратить; деньги же стал выдавать безмерно, так что уже супруга и архимандрит придержали за руки, ибо „довольно, говорят, и сего“. Послушался Максим Иванович: „Я, говорит, в тот раз Фому обсчитал“. Ну, Фоме отдали. А Фома так даже заплакал: „Я, говорит, я и так… Многим и без того довольны и вечно обязаны богу молить“. Всех, стало быть, проникло оно, и, значит, правду говорят, что хорошим примером будет жив человек. А народ там добрый.

Фабрикой сама супруга стала орудовать, и так, что теперь вспоминают. Пить не перестал, но стала она его и эти самые дни

соблюдать, а потом и лечить. Речь его стала степенная, и даже самый глас изменился. Стал жалостлив беспримерно, даже к скотам: увидал из окна, как мужик стегал лошадь по голове безобразно, и тотчас выслал и купил у него лошадь за вдвое цены. И получил дар слезный: кто бы с ним ни заговорил, так и зальется слезами. Когда же приспело время ее, внял наконец господь их молитвам и послал им сына, и стал Максим Иванович, еще в первый раз с тех пор, светел; много милостыни роздал, много долгов простил, на крестины созвал весь город. Созвал он это город, а на другой день, как ночь, вышел. Видит супруга, что с ним нечто сталось, и поднесла к нему новорожденного: „Простил, говорит, нас отрок, внял слезам и молитвам за него нашим“. А о сем предмете, надо так сказать, они во весь год ни разу не сказали слова, а лишь оба про себя содержали. И поглядел на нее Максим Иванович мрачно, как ночь: „Подожди, говорит: он, почитай, весь год не приходил, а в сию ночь опять приснился“. „Тут-то в первый раз проник и в мое сердце ужас, после сих странных слов“, — припоминала потом.

И не напрасно приснился отрок. Только что Максим Иванович о сем изрек, почти, так сказать, в самую ту минуту приключилось с новорожденным нечто: вдруг захворал. И болело дитя восемь дней, молились неустанно, и докторов призывали, и выписали из Москвы самого первого доктора по чугунке. Прибыл доктор, рассердился. „Я, говорит, самый первый доктор, меня вся Москва ожидает“. Прописал капель и уехал поспешно. Восемьсот рублей увез. А ребеночек к вечеру помер.

И что же за сим? Отписал Максим Иванович всё имущество любезной супруге, выдал ей все капиталы и документы, завершил всё правильно и законным порядком, а затем стал перед ней и поклонился ей до земли: „Отпусти ты меня, бесценная супруга моя, душу мою спасти, пока можно. Ежели время мое без успеха душе проведу, то назад уже не возвращусь. Был я тверд и жесток, и тягости налагал, но мню, что за скорби и странствия предстоящие не оставит без воздаяния господь, ибо оставить всё сие есть немалый крест и немалая скорбь“. И унимала его супруга со многими слезами: „Ты мне един теперь на земле, на кого же останусь? Я, говорит, за год в сердце милость нажила“. И увещевали всем городом целый месяц, и молили его, и положили силой стеречь. Но не послушал их и ночью скрытно вышел, и уже более не возвращался. А, слышно, подвизается в странствиях и

терпении даже до сегодня, а супругу милую извещает ежегодно…»

Глава четвертая

I

Теперь приступлю к окончательной катастрофе, завершающей мои записки. Но чтоб продолжать дальше, я должен предварительно забежать вперед и объяснить нечто, о чем я совсем в то время не знал, когда действовал, но о чем узнал и что разъяснил себе вполне уже гораздо позже, то есть тогда, когда всё уже кончилось. Иначе не сумею быть ясным, так как пришлось бы всё писать загадками. И потому сделаю прямое и простое разъяснение, жертвуя так называемою художественностью, и сделаю так, как бы и не я писал, без участия моего сердца, а вроде как бы entrefilet[77] в газетах.

Дело в том, что товарищ моего детства Ламберт очень, и даже прямо, мог бы быть причислен к тем мерзким шайкам мелких пройдох, которые сообщаются взаимно ради того, что называют теперь шантажом и на что подыскивают теперь в своде законов определения и наказания. Шайка, в которой участвовал Ламберт, завелась еще в Москве и уже наделала там довольно проказ (впоследствии она была отчасти обнаружена). Я слышал потом, что в Москве у них, некоторое время, был чрезвычайно опытный и неглупый руководитель и уже пожилой человек. Пускались они в свои предприятия и всею шайкою и по частям. Производили же, рядом с самыми грязненькими и нецензурными вещами (о которых, впрочем, известия уже являлись в газетах), — и довольно сложные и даже хитрые предприятия под руководством их шефа. Об некоторых я потом узнал, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характер их приемов состоял в том, чтоб разузнать кой-какие секреты людей, иногда честнейших и довольно высокопоставленных; затем они являлись к этим лицам и грозили обнаружить документы (которых иногда совсем у них не было) и за молчание требовали выкуп. Есть вещи и не грешные, совсем не преступные, но обнаружения которых испугается даже порядочный и твердый человек. Били они большею частию на семейные

тайны. Чтоб указать, как ловко действовал иногда их шеф, расскажу, безо всяких подробностей и в трех только строках, об одной их проделке. В одном весьма честном доме случилось действительно и грешное и преступное дело; а именно жена одного известного и уважаемого человека вошла в тайную любовную связь с одним молодым и богатым офицером. Они это пронюхали и поступили так: прямо дали знать молодому человеку, что уведомят мужа. Доказательств у них не было ни малейших, и молодой человек про это знал отлично, да и сами они от него не таились; но вся ловкость приема и вся хитрость расчета состояла в этом случае лишь в том соображении, что уведомленный муж и без всяких доказательств поступит точно так же и сделает те же самые шаги, как если б получил самые математические доказательства. Они били тут на знание характера этого человека и на знание его семейных обстоятельств. Главное то, что в шайке участвовал один молодой человек из самого порядочного круга и которому удалось предварительно достать сведения. С любовника они содрали очень недурную сумму, и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны.

Ламберт хоть и участвовал, но всецело к той московской шайке не принадлежал; войдя же во вкус, начал помаленьку и в виде пробы действовать от себя. Скажу заранее: он на это был не совсем способен. Был он весьма неглуп и расчетлив, но горяч и, сверх того, простодушен или, лучше сказать, наивен, то есть не знал ни людей, ни общества. Он, например, вовсе, кажется, не понимал значения того московского шефа и полагал, что направлять и организировать такие предприятия очень легко. Наконец, он предполагал чуть не всех такими же подлецами, как сам. Или, например, раз вообразив, что такой-то человек боится или должен бояться потому-то и потому-то, он уже и не сомневался в том, что тот действительно боится, как в аксиоме. Не умею я это выразить; впоследствии разъясню яснее фактами, но, по-моему, он был довольно грубо развит, а в иные добрые, благородные чувства не то что не верил, но даже, может быть, не имел о них и понятия.

Прибыл он в Петербург, потому что давно уже помышлял о Петербурге как о поприще более широком, чем Москва, и еще потому, что в Москве он где-то и как-то попал впросак и его кто-то разыскивал с самыми дурными на его счет намерениями. Прибыв в Петербург, тотчас же вошел в сообщение с одним прежним товарищем, но поле нашел

скудное, дела мелкие. Знакомство потом разрослось, но ничего не составлялось. «Народ здесь дрянной, тут одни мальчишки», — говорил он мне сам потом. И вот, в одно прекрасное утро, на рассвете, он вдруг находит меня замерзавшего под забором и прямо нападает на след «богатейшего», по его мнению, «дела».

Всё дело оказалось в моем вранье, когда я оттаял тогда у него на квартире. О, я был тогда как в бреду! Но из слов моих все-таки выступило ясно, что я из всех моих обид того рокового дня всего более запомнил и держал на сердце лишь обиду от Бьоринга и от *нее:* иначе я бы не бредил об этом одном у Ламберта, а бредил бы, например, и о Зерщикове; между тем оказалось лишь первое, как узнал я впоследствии от самого Ламберта. И к тому же я был в восторге и на Ламберта и на Альфонсину смотрел в то ужасное утро как на каких-то освободителей и спасителей. Когда потом, выздоравливая, я соображал, еще лежа в постели: что бы мог узнать Ламберт из моего вранья и до какой именно степени я ему проврался? — то ни разу не приходило ко мне даже подозрения, что он мог так много тогда узнать! О, конечно, судя по угрызениям совести, я уже и тогда подозревал, что, должно быть, насказал много лишнего, но, повторяю, никак не мог предположить, что до такой степени! Надеялся тоже и рассчитывал на то, что я и выговаривать слова тогда у него не в силах был ясно, об чем у меня осталось твердое воспоминание, а между тем оказалось на деле, что я и выговаривал тогда гораздо яснее, чем потом предполагал и чем надеялся. Но главное то, что всё это обнаружилось лишь потом и долго спустя, а в том-то и заключалась моя беда.

Из моего бреда, вранья, лепета, восторгов и проч. он узнал, во-первых, почти все фамилии в точности, и даже иные адресы. Во-вторых, составил довольно приблизительное понятие о значении этих лиц (старого князя, ее, Бьоринга, Анны Андреевны и даже Версилова); третье: узнал, что я оскорблен и грожусь отмстить, и, наконец, четвертое, главнейшее: узнал, что существует такой документ, таинственный и спрятанный, такое письмо, которое если показать полусумасшедшему старику князю, то он, прочтя его и узнав, что собственная дочь считает его сумасшедшим и уже «советовалась с юристами» о том, как бы его засадить, — или сойдет с ума окончательно, или прогонит ее из дому и лишит наследства, или женится на одной mademoiselle Версиловой, на которой уже хочет

жениться и чего ему не позволяют. Одним словом, Ламберт очень многое понял; без сомнения, ужасно много оставалось темного, но шантажный искусник все-таки попал на верный след. Когда я убежал потом от Альфонсины, он немедленно разыскал мой адрес (самым простым средством: в адресном столе); потом немедленно сделал надлежащие справки, из коих узнал, что все эти лица, о которых я ему врал, существуют действительно. Тогда он прямо приступил к первому шагу.

Главнейшее состояло в том, что существует *документ*, и что обладатель его — я, и что этот документ имеет высокую ценность; в этом Ламберт не сомневался. Здесь опускаю одно обстоятельство, о котором лучше будет сказать впоследствии и в своем месте, но упомяну лишь о том, что обстоятельство это наиглавнейше утвердило Ламберта в убеждении о действительном существовании и, глазное, о ценности документа. (Обстоятельство роковое, предупреждаю вперед, которого я-то уж никак вообразить не мог не только тогда, но даже до самого конца всей истории, когда всё вдруг рушилось и разъяснилось само собой). Итак, убежденный в главном, он, первым шагом, поехал к Анне Андреевне.

А между тем для меня до сих пор задача: как мог он, Ламберт, профильтроваться и присосаться к такой неприступной и высшей особе, как Анна Андреевна? Правда, он взял справки, но что же из этого? Правда, он был одет прекрасно, говорил по-парижски и носил французскую фамилию, но ведь не могла же Анна Андреевна не разглядеть в нем тотчас же мошенника? Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда. Но неужели так?

Я никогда не мог узнать подробностей их свидания, но много раз потом представлял себе в воображении эту сцену. Вероятнее всего, что Ламберт, с первого слова и жеста, разыграл перед нею моего друга детства, трепещущего за любимого и милого товарища. Но, уж конечно, в это же первое свидание сумел очень ясно намекнуть и на то, что у меня «документ», дать знать, что это — тайна, что один только он, Ламберт, обладает этой тайной и что я собираюсь отмстить этим документом генеральше Ахмаковой, и проч., и проч. Главное, мог разъяснить ей, как можно точнее, значение и ценность этой бумажки. Что же до Анны Андреевны, то она именно находилась в таком положении, что не могла не уцепиться за известие о чем-нибудь в этом

роде, не могла не выслушать с чрезвычайным вниманием и… не могла не пойти на удочку — «из борьбы за существование»[*]. У ней именно как раз к тому времени сократили ее жениха и увезли под опеку в Царское, да еще взяли и ее самое под опеку. И вдруг такая находка: тут уж пойдут не *бабьи* нашептывания на ухо, не слезные жалобы, не наговоры и сплетни, а тут письмо, манускрипт, то есть математическое доказательство коварства намерений его дочки и всех тех, которые его от нее отнимают, и что, стало быть, надо спасаться, хотя бы бегством, всё к ней же, всё к той же Анне Андреевне, и обвенчаться с нею хоть в двадцать четыре часа; не то как раз конфискуют в сумасшедший дом.

А может быть и то, что Ламберт совсем не хитрил с этою девицею, даже ни минуты, а так-таки и брякнул с первого слова: «Mademoiselle, или оставайтесь старой девой, или становитесь княгиней и миллионщицей: вот документ, а я его у подростка выкраду и вам передам… за вексель от вас в тридцать тысяч». Я даже думаю, что именно так и было. О, он всех считал такими же подлецами, как сам; повторяю, в нем было какое-то простодушие подлеца, невинность подлеца… Так или этак, а весьма может быть, что и Анна Андреевна, даже и при таком приступе, не смутилась ни на минуту, а отлично сумела сдержать себя и выслушать шантажника, говорившего своим слогом — и всё из «широкости». Ну, разумеется, сперва покраснела немножко, а там скрепилась и выслушала. И как воображу эту неприступную, гордую, действительно достойную девушку, и с таким умом, рука в руку с Ламбертом, то… вот то-то с умом! Русский ум, таких размеров, до широкости охотник; да еще женский, да еще при таких обстоятельствах!

Теперь сделаю резюме: ко дню и часу моего выхода после болезни Ламберт стоял на следующих двух точках (это-то уж я теперь наверно знаю): первое, взять с Анны Андреевны за документ вексель не менее как в тридцать тысяч и затем помочь ей напугать князя, похитить его и ним вдруг обвенчать ее — одним словом, в этом роде.

Тут даже составлен был целый план; ждали только моей помощи, то есть самого документа.

Второй проект: изменить Анне Андреевне, бросить ее и продать бумагу генеральше Ахмаковой, если будет выгоднее. Тут рассчитывалось и на Бьоринга. Но к генеральше Ламберт еще не являлся, а только ее выследил. Тоже ждал меня.

О, я ему был нужен, то есть не я, а документ! Насчет меня у него составились тоже два плана. Первый состоял в том, что если уж нельзя иначе, то действовать со мной вместе и взять меня в половину, предварительно овладев мною и нравственно и физически. Но второй план улыбался ему гораздо больше; он состоял в том, чтоб надуть меня как мальчишку и выкрасть у меня документ или даже просто отнять его у меня силой. Это план был излюблен и взлелеян в мечтах его. Повторяю: было одно такое обстоятельство, через которое он почти не сомневался в успехе второго плана, но, как сказал уже я, объясню это после. Во всяком случае, ждал меня с судорожным нетерпением: всё от меня зависело, все шаги и на что решиться.

И надо ему отдать справедливость: до времени он себя выдержал, несмотря на горячность. Он не являлся ко мне на дом во время болезни — раз только приходил и виделся с Версиловым; он не тревожил, не пугал меня, сохранил передо мной ко дню и часу моего выхода вид самой полной независимости. Насчет же того, что я мог передать, или сообщить, или уничтожить документ, то в этом он был спокоен. Из моих слов у него он мог заключить, как я сам дорожу тайной и как боюсь, чтобы кто не узнал про документ. А что я приду к нему первому, а не к кому другому, в первый же день по выздоровлении, то и в этом он не сомневался нимало: Настасья Егоровна приходила ко мне отчасти по его приказанию, и он знал, что любопытство и страх уже возбуждены, что я не выдержу… Да к тому же он взял все меры, мог знать даже день моего выхода, так что я никак не мог от него отвернуться, если б даже захотел того.

Но если ждал меня Ламберт, то еще пуще, может быть, ждала меня Анна Андреевна. Прямо скажу: Ламберт отчасти мог быть и прав, готовясь ей изменить, и вина была на ее стороне. Несмотря на несомненное их соглашение (в какой форме, не знаю, но в котором не сомневаюсь), — Анна Андреевна до самой последней минуты была с ним не вполне откровенна. Не раскрылась на всю распашку. Она намекнула ему на все согласия с своей стороны и на все обещания — но только лишь намекнула; выслушала, может быть, весь его план до подробностей, но одобрила лишь молчанием. Я имею твердые данные так заключить, а причина всему та, что — *ждала меня*. Она лучше хотела иметь дело со мной, чем с мерзавцем Ламбертом, — вот несомненный для меня факт! Это я понимаю; но ошибка ее состояла в

том, что это понял наконец и Ламберт. А ему слишком было бы невыгодно, если б она, мимо его, выманила у меня документ и вошла бы со мной в соглашение. К тому же в то время он уже был уверен в крепости «дела». Другой бы на его месте трусил и всё бы еще сомневался; но Ламберт был молод, дерзок, с нетерпеливейшей жаждой наживы, мало знал людей и несомненно предполагал их всех подлыми; такой усумниться не мог, тем более что уже выпытал у Анны Андреевны все главнейшие подтверждения.

Последнее словечко и важнейшее: знал ли что-нибудь к тому дню Версилов и участвовал ли уже тогда в каких-нибудь хоть отдаленных планах с Ламбертом? Нет, нет и нет, *тогда* еще нет, хотя, может быть, уже было закинуто роковое словцо… Но довольно, довольно, я слишком забегаю вперед.

Ну, а я-то что же? Знал ли я что-нибудь и что я знал ко дню выхода? Начиная это entrefilet, я уведомил, что ничего не знал ко дню выхода, что узнал обо всем слишком позже и даже тогда, когда уже всё совершилось. Это правда, но так ли вполне? Нет, не так; я уже знал кое-что несомненно, знал даже слишком много, но как? Пусть читатель вспомнит про *сон!* Если уж мог быть такой сон, если уж мог он вырваться из моего сердца и так формулироваться, то, значит, я страшно много — не знал, а *предчувствовал* из того самого, что сейчас разъяснил и что в самом деле узнал лишь тогда, «когда уже всё кончилось». Знания не было, но сердце билось от предчувствий, и злые духи уже овладели моими снами. И вот к этакому человеку я рвался, вполне зная, что это за человек, и предчувствуя даже подробности! И зачем я рвался? Представьте: мне теперь, вот в эту самую минуту, как я пишу, кажется, что я уже тогда знал во всех подробностях, зачем я рвался к нему, тогда как, опять-таки, я еще ничего не знал. Может быть, читатель это поймет. А теперь — к делу, и факт за фактом.

II

Началось с того, что еще за два дня до моего выхода Лиза воротилась ввечеру вся в тревоге. Она была страшно оскорблена; и действительно, с нею случилось нечто нестерпимое.

Я упомянул уже о ее сношениях с Васиным. Она пошла к нему не

потому лишь, чтоб показать нам, что в нас не нуждается, а и потому, что действительно ценила Васина. Знакомство их началось еще с Луги, и мне всегда казалось, что Васин был к ней неравнодушен. В несчастии, ее поразившем, она естественно могла пожелать совета от ума твердого, спокойного, всегда возвышенного, который предполагала в Васине. К тому же женщины небольшие мастерицы в оценке мужских умов, если человек им нравится, и парадоксы с удовольствием принимают за строгие выводы, если те согласны с их собственными желаниями. В Васине Лиза любила симпатию к своему положению и, как показалось ей с первых разов, симпатию и к князю. Подозревая притом его чувства к себе, она не могла не оценить в нем симпатии к его сопернику. Князь же, которому она сама передала, что ходит иногда советоваться к Васину, принял это известие с чрезвычайным беспокойством с самого первого раза; он стал ревновать ее. Лиза была этим оскорблена, так что нарочно уже продолжала сношения с Васиным. Князь примолк, но был мрачен. Лиза же сама мне потом призналась (очень долго спустя), что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться; он был спокоен, и именно это-то вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов, но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока и нисколько перед нею не конфузясь, — не конфузясь, чем дальше, тем больше, — что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к ее положению. Раз она поблагодарила его за то, что он постоянно ко мне бдагодушен и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной как с ровней (то есть передала ему мои же слова). Он ей ответил:

— Это не так и не оттого. Это оттого, что я не вижу в нем никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы.

— Как, неужели не видите различий?

— О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разнятся, но в моих глазах различий не существует, потому что различия людей до меня не касаются; для меня все равны и всё равно, а потому я со всеми одинаково добр.

— И вам так не скучно?

— Нет; я всегда доволен собой.

— И вы ничего не желаете?

— Как не желать? но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золотом платье и я как есть — это всё равно; золотое платье ничего не прибавит Васину. Куски не соблазняют меня: могут ли места или почести стоить того места, которого я стою?

Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. Впрочем, тут нельзя так судить, а надо знать обстоятельства, при которых высказано.

Мало-помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю он относится снисходительно, может, потому лишь, что для него все равны и «не существует различий», а вовсе не из симпатии к ней. Но под конец он как-то видимо стал терять свое равнодушие и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования, а просто лишь логически выводил о всей ничтожности ее героя; но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю «неразумность» ее любви, всю упрямую насильственность этой любви. «Вы в своих чувствах заблудились, а заблуждения, раз сознанные, должны быть непременно исправлены».

Это было как раз в тот день; Лиза в негодовании встала с места, чтоб уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? — с самым благородным видом, и даже с чувством, предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла.

Предложить измену несчастному потому, что этот несчастный «не стоит» ее, и, главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине, — вот ум этих людей! Я называю это страшною теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордился своим поступком хотя бы потому, например, что знал уже о ее беременности. Со слезами негодования она поспешила к князю, и тот, — тот даже перещеголял Васина: кажется бы, мог убедиться после рассказа, что уже ревновать теперь нечего; но тут-то он и сошел с ума. Впрочем, ревнивые все таковы! Он сделал ей страшную сцену и оскорбил ее так, что она было решилась порвать с ним тут же все отношения.

Она пришла, однако же, домой еще сдерживаясь, но маме не могла

не признаться. О, в тот вечер они сошлись опять совершенно как прежде: лед был разбит; обе, разумеется, наплакались, по их обыкновению, обнявшись, и Лиза, по-видимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечер у Макара Ивановича она просидела, не говоря ни слова, но и не покидая комнаты. Она очень слушала, что он говорил. С того разу с скамейкой она стала к нему чрезвычайно и как-то робко почтительна, хотя всё оставалась неразговорчивою.

Но в этот раз Макар Иванович как-то неожиданно и удивительно повернул разговор; замечу, что Версилов и доктор очень нахмуренно разговаривали поутру о его здоровье. Замечу тоже, что у нас в доме уже несколько дней как приготовлялись справлять день рождения мамы, приходившийся ровно через пять дней, и часто говорили об этом. Макар Иванович по поводу этого дня почему-то вдруг ударился в воспоминания и припомнил детство мамы и то время, когда она еще «на ножках не стояла». «У меня с рук не сходила, — вспоминал старик, — бывало, и ходить учу, поставлю в уголок шага за три да и зову ее, а она-то ко мне колыхается через комнату, и не боится, смеется, а добежит до меня, бросится и за шею обымет. Сказки я тебе потом рассказывал, Софья Андреевна; до сказок ты у меня большая была охотница; часа по два на коленях у меня сидит — слушает. В избе-то дивятся: „Ишь к Макару как привязалась“. А то унесу тебя в лес, отыщу малиновый куст, посажу у малины, а сам тебе свистульки из дерева режу. Нагуляемся и назад домой на руках несу — спит младенчик. А то раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было»[*].

— Это я помню, — сказала мама.

— Неужто помнишь?

— Многое помню. Как только себя в жизни запомнила, с тех пор любовь и милость вашу над собой увидела, — проникнутым голосом проговорила она и вся вдруг вспыхнула.

Макар Иванович переждал немного:

— Простите, детки, отхожу. Ныне урок житию моему приспел. В старости обрел утешение от всех скорбей; спасибо вам, милые.

— Полноте, Макар Иванович, голубчик, — воскликнул, несколько встревожась, Версилов, — мне доктор давеча говорил, что вам несравненно легче…

Мама прислушивалась испуганно.

— Ну что он знает, твой Александр Семеныч, — улыбнулся Макар Иванович, — милый он человек, а и не более. Полноте, други, али думаете, что я помирать боюсь? Было у меня сегодня, после утренней молитвы, такое в сердце чувство, что уж более отсюда не выйду; сказано было. Ну и что же, да будет благословенно имя господне; только на вас еще на всех наглядеться хочется. И Иов многострадальный, глядя на новых своих детушек, утешался, а забыл ли прежних, и мог ли забыть их — невозможно сие![*] Только с годами печаль как бы с радостью вместе смешивается, в воздыхание светлое преобразуется. Так-то в мире: всякая душа и испытуема и утешна. Положил я, детки, вам словечко сказать одно, небольшое, — продолжал он с тихой, прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду, и обратился вдруг ко мне: — Ты, милый, церкви святой ревнуй, и аще позовет время — и умри за нее; да подожди, не пугайся, не сейчас, — усмехнулся он. — Теперь ты, может быть, о сем и не думаешь, потом, может, подумаешь. Только вот что еще: что благое делать замыслишь, то делай для бога, а не зависти ради. Дела же своего твердо держись и не сдавай через всякое малодушие; делай же постепенно, не бросаясь и не кидаясь; ну, вот и всё, что тебе надо. Разве только молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно. Я это так только, авось когда припомнишь. Хотел было я и вам, Андрей Петрович, сударь, кой-что сказать, да бог и без меня ваше сердце найдет. Да и давно уж мы с вами о сем прекратили, с тех пор как сия стрела сердце мое пронзила. Ныне же, отходя, лишь напомню… о чем тогда пообещали… Он почти прошептал последние слова, потупившись.

— Макар Иванович! — смущенно проговорил Версилов встал со стула.

— Ну, ну, не смущайтесь, сударь, я только так напомнил… А виновен в сем деле богу всех больше я; ибо, хоть и господин мой были, но всё же не должен был я слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишком, ибо весь твой грех — мой, а в тебе, так мыслю, и разуменье-то вряд ли тогда было, а пожалуй, и в вас тоже, сударь, вкупе с нею, — улыбнулся он с задрожавшими от какой-то боли губами, — и хоть мог бы я тогда поучить тебя, супруга моя, даже жезлом, да и должен был, но жалко стало, как предо мной упала в слезах и ничего не потаила… ноги мои целовала. Не в укор тебе воспомнил сие, возлюбленная, а лишь в напоминание Андрею

Петровичу… ибо сами, сударь, помните дворянское обещание ваше, а венцом всё прикрывается… При детках говорю, сударь-батюшка…

Он был чрезвычайно взволнован и смотрел на Версилова, как бы ожидая от него подтвердительного слова. Повторяю, всё это было так неожиданно, что я сидел без движения. Версилов был взволнован даже не меньше его: он молча подошел к маме и крепко обнял ее; затем мама подошла, и тоже молча, к Макару Ивановичу и поклонилась ему в ноги.

Одним словом, сцена вышла потрясающая; в комнате на сей раз были мы только все свои, даже Татьяны Павловны не было. Лиза как-то выпрямилась вся на месте и молча слушала; вдруг встала и твердо сказала Макару Ивановичу:

— Благословите и меня, Макар Иванович, на большую муку. Завтра решится вся судьба моя… а вы сегодня обо мне помолитесь.

И вышла из комнаты. Я знаю, что Макару Ивановичу уже известно было о ней всё от мамы. Но я в первый раз еще в этот вечер увидал Версилова и маму вместе; до сих пор я видел подле него лишь рабу его. Страшно много еще не знал я и не приметил в этом человеке, которого уже осудил, а потому воротился к себе смущенный. И надо так сказать, что именно к этому времени сгустились все недоумения мои о нем; никогда еще не представлялся он мне столь таинственным и неразгаданным, как в то именно время; но об этом-то и вся история, которую пишу; всё в свое время.

«Однако, — подумал я тогда про себя, уже ложась спать, — выходит, что он дал Макару Ивановичу свое „дворянское слово“ обвенчаться с мамой в случае ее вдовства. Он об этом умолчал, когда рассказывал мне прежде о Макаре Ивановиче».

Назавтра Лиза не была весь день дома, а возвратясь уже довольно поздно, прошла прямо к Макару Ивановичу. Я было не хотел входить, чтоб не мешать им, но, вскоре заметив, что там уж и мама и Версилов, вошел. Лиза сидела подле старика и плакала на его плече, а тот, с печальным лицом, молча гладил ее по головке.

Версилов объяснил мне (уже потом у меня), что князь настоял на своем и положил обвенчаться с Лизой при первой возможности, еще до решения суда. Лизе трудно было решиться, хотя не решиться она уже почти не имела права. Да и Макар Иванович «приказывал» венчаться. Разумеется, всё бы это обошлось потом само собой и обвенчалась бы она несомненно к сама без приказаний и колебаний, но в настоящую

минуту она так была оскорблена тем, кого любила, и так унижена была этою любовью даже в собственных глазах своих, что решиться ей было трудно. Но, кроме оскорбления, примешалось и новое обстоятельство, которого я и подозревать не мог.

— Ты слышал, вся эта молодежь с Петербургской вчера арестована? — прибавил вдруг Версилов.

— Как? Дергачев? — вскричал я.

— Да; и Васин тоже.

Я был поражен, особенно услышав о Васине.

— Да разве он в чем-нибудь замешан? Боже мой, что с ними теперь будет? И как нарочно в то самое время, как Лиза так обвинила Васина!.. Как вы думаете, что с ними может быть? Тут Стебельков! Клянусь вам, тут Стебельков!

— Оставим, — сказал Версилов, странно посмотрев на меня (именно так, как смотрят на человека непонимающего и неугадывающего), — кто знает, что у них там есть, и кто может знать, что с ними будет? Я не про то: я слышал, ты завтра хотел бы выйти. Не зайдешь ли к князю Сергею Петровичу?

— Первым делом; хоть, признаюсь, мне это очень тяжело. А что, вам не надо ли передать чего?

— Нет, ничего. Я сам увижусь. Мне жаль Лизу. И что может посоветовать ей Макар Иванович? Он сам ничего не смыслит ни в людях, ни в жизни. Вот что еще, мой милый (он меня давно не называл «мой милый»), тут есть тоже… некоторые молодые люди… из которых один твой бывший товарищ, Ламберт… Мне кажется, всё это — большие мерзавцы… Я только, чтоб предупредить тебя… Впрочем, конечно, всё это твое дело, и я понимаю, что не имею права…

— Андрей Петрович, — схватил я его за руку, не подумав и почти в вдохновении, как часто со мною случается (дело было почти в темноте), — Андрей Петрович, я молчал, — ведь вы видели это, — я всё молчал до сих пор, знаете для чего? Для того, чтоб избегнуть ваших тайн. Я прямо положил их не знать никогда. Я — трус, я боюсь, что ваши тайны вырвут вас из моего сердца уже совсем, а я не хочу этого. А коли так, то зачем бы и вам знать мои секреты? Пусть бы и вам всё равно, куда бы я ни пошел! Не так ли?

— Ты прав, но ни слова более, умоляю тебя! — проговорил он и вышел от меня. Таким образом, мы нечаянно и капельку объяснились.

Но он только прибавил к моему волнению перед новым завтрашним шагом в жизни, так что я всю ночь спал, беспрерывно просыпаясь; но мне было хорошо.

III

На другой день я вышел из дому, хоть и в десять часов дня, но изо всех сил постарался уйти потихоньку, не простившись и не сказавшись; так сказать, ускользнул. Для чего так сделал — не знаю, но если б даже мама подглядела, что я выхожу, и заговорила со мной, то я бы ответил ей какой-нибудь злостью. Когда я очутился на улице и дохнул уличного холодного воздуху, то так и вздрогнул от сильнейшего ощущения — почти животного и которое я назвал бы *плотоядным.* Для чего я шел, куда я шел? Это было совершенно неопределенно и в то же время *плотоядно.* И страшно мне было и радостно — всё вместе.

«А опачкаюсь я или не опачкаюсь сегодня?» — молодцевато подумал я про себя, хотя слишком знал, что раз сделанный сегодняшний шаг будет уже решительным и непоправимым на всю жизнь. Но нечего говорить загадками.

Я прямо пришел в тюрьму князя. Я уже три дня как имел от Татьяны Павловны письмецо к смотрителю, и тот принял меня прекрасно. Не знаю, хороший ли он человек, и это, я думаю, лишнее; но свидание мое с князем он допустил и устроил в своей комнате, любезно уступив ее нам. Комната была как комната — обыкновенная комната на казенной квартире у чиновника известной руки, — это тоже, я думаю, лишнее описывать. Таким образом, с князем мы остались одни.

Он вышел ко мне в каком-то полувоенном домашнем костюме, но в чистейшем белье, в щеголеватом галстухе, вымытый и причесанный, вместе с тем ужасно похудевший и пожелтевший. Эту желтизну я заметил даже в глазах его. Одним словом, он так переменился на вид, что я остановился даже в недоумении.

— Как вы изменились! — вскричал я.

— Это ничего! Садитесь, голубчик, — полуфатски показал он мне на кресло, и сам сел напротив. — Перейдем к главному: видите, мой милый Алексей Макарович…

— Аркадий, — поправил я.

— Что? Ах да; ну-ну, всё равно. Ах да! — сообразил он вдруг, — извините, голубчик, перейдем к главному…

Одним словом, он ужасно торопился к чему-то перейти. Он был весь чем-то проникнут, с ног до головы, какою-то главнейшею идеей, которую желал формулировать и мне изложить. Он говорил ужасно много и скоро, с напряжением и страданием разъясняя и жестикулируя, но в первые минуты я решительно ничего не понимал.

— Короче сказать (он уже десять раз перед тем употребил слово «короче сказать»), короче сказать, — заключил он, — если я вас, Аркадий Макарович, потревожил и так настоятельно позвал вчера через Лизу, то хоть это и пожар, но так как сущность решения должна быть чрезвычайная и окончательная, то мы…

— Позвольте, князь, — перебил я, — вы звали меня вчера? — Мне Лиза ровно ничего не передавала.

— Как! — вскричал он, вдруг останавливаясь в чрезвычайном недоумении, даже почти в испуге.

— Она мне ровно ничего не передавала. Она вечером вчера пришла такая расстроенная, что не успела даже сказать со мной слова.

Князь вскочил со стула.

— Неужели вы вправду, Аркадий Макарович? В таком случае это… это…

— Да что ж тут, однако, такого? Чего вы так беспокоитесь? Просто забыла, или что-нибудь…

Он сел, но на него нашел как бы столбняк. Казалось, известие о том, что Лиза мне ничего не передала, просто придавило его. Он быстро вдруг заговорил и замахал руками, но опять ужасно трудно было понять.

— Постойте! — проговорил он вдруг, умолкая и подымая кверху палец, — постойте, это… это… если только не ошибусь… это — штуки-с!.. — пробормотал он с улыбкою маньяка, — и значит, что…

— Это ровно ничего не значит! — перебил я, — и не понимаю только, почему такое пустое обстоятельство вас так мучит… Ах, князь, с тех пор, с той самой ночи, — помните…

— С какой ночи и что? — капризно крикнул он, явно досадуя, что я перебил.

— У Зерщикова, где мы виделись в последний раз, ну вот перед вашим письмом? Вы тогда тоже были в ужасном волнении, но тогда и

теперь — это такая разница, что я даже ужасаюсь на вас… Или вы не помните?

— Ах да, — произнес он голосом светского человека, и как бы вдруг припомнив, — ах да! Тот вечер… Я слышал… Ну как ваше здоровье и как вы теперь сами после всего этого, Аркадий Макарович?.. Но, однако, перейдем к главному. Я, видите ли, собственно преследую три цели; три задачи передо мной, и я…

Он быстро заговорил опять о своем «главном». Я понял наконец, что вижу перед собой человека, которому сейчас же надо бы приложить по крайней мере полотенце с уксусом к голове, если не отворить кровь. Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможного исхода; насчет того еще, что навестил его сам командир полка и что-то долго ему отсоветовал, но он не послушался; насчет записки, им только что и куда-то поданной; насчет прокурора; о том, что его, наверно, сошлют, по лишении прав, куда-нибудь в северную полосу России; о возможности колонизоваться и выслужиться в Ташкенте; о том, что научит своего сына (будущего, от Лизы) тому-то и передаст ему то-то, «в глуши, в Архангельске, в Холмогорах[*]». «Если я пожелал вашего мнения, Аркадий Макарович, то поверьте, я так дорожу чувством… Если б вы знали, если б вы знали, Аркадий Макарович, милый мой, брат мой, что значит мне Лиза, что значила она мне здесь, теперь, всё это время!» — вскричал он вдруг, схватываясь обеими руками за голову.

— Сергей Петрович, неужели вы ее погубите и увезете с собой? В Холмогоры! — вырвалось у меня вдруг неудержимо. Жребий Лизы с этим маньяком на весь век — вдруг ясно и как бы в первый раз предстал моему сознанию. Он поглядел на меня, снова встал, шагнул, повернулся и сел опять, всё придерживая голову руками.

— Мне всё пауки снятся! — сказал он вдруг.[*]

— Вы в ужасном волнении, я бы вам советовал, князь, лечь и сейчас же потребовать доктора.

— Нет, позвольте, это потом. Я, главное, просил вас к себе, чтоб разъяснить вам насчет венчания. Венчание, вы знаете, произойдет здесь же в церкви, я уже говорил. На всё это дано согласие, и они даже поощряют… Что же до Лизы, то…

— Князь, помилуйте Лизу, милый, — вскричал я, — не мучьте ее по крайней мере хоть теперь, не ревнуйте!

— Как! — вскричал он, смотря на меня почти вытаращенными глазами в упор и скосив всё лицо в какую-то длинную, бессмысленно-вопросительную улыбку. Видно было, что слово «не ревнуйте» почему-то страшно его поразило.

— Простите, князь, я нечаянно. О князь, в последнее время я узнал одного старика, моего названого отца… О, если б вы его видели, вы бы спокойнее… Лиза тоже так ценит его.

— Ах да, Лиза… ах да, это — ваш отец? Или… pardon, mon cher,[78] что-то такое… Я помню… она передавала… старичок… Я уверен, я уверен. Я тоже знал одного старичка… Mais passons,[79] главное, чтоб уяснить всю суть момента, надо…

Я встал, чтоб уйти. Мне больно было смотреть на него.

— Я не понимаю! — строго и важно произнес он, видя, что я встаю уходить.

— Мне больно смотреть на вас, — сказал я.

— Аркадий Макарович, одно слово, еще одно, слово! — ухватил он меня вдруг за плечи совсем с другим видом и жестом и усадил в кресло. — Вы слышали про этих, понимаете? — наклонился он ко мне.

— Ах да, Дергачев. Тут, наверно, Стебельков! — вскричал я, не удержавшись.

— Да, Стебельков и… вы не знаете?

Он осекся и опять уставился в меня с теми же вытаращенными глазами и с тою же длинною, судорожною, бессмысленно-вопрошающей улыбкой, раздвигавшейся всё более и более. Лицо его постепенно бледнело. Что-то вдруг как бы сотрясло меня: я вспомнил вчерашний взгляд Версилова, когда он передавал мне об аресте Васина.

— О, неужели? — вскричал я испуганно.

— Видите, Аркадий Макарович, я затем вас и звал, чтоб объяснить… я хотел… — быстро зашептал было он.

— Это вы донесли на Васина! — вскричал я.

— Нет; видите ли, там была рукопись. Васин перед самым последним днем передал Лизе… сохранить. А та оставила мне здесь проглядеть, а потом случилось, что они поссорились на другой день…

— Вы представили по начальству рукопись!

— Аркадий Макарович, Аркадий Макарович!

— Итак, вы, — вскричал я, вскакивая и отчеканивая слова, — вы, без всякого иного побуждения, без всякой другой цели, а единственно

потому, что несчастный Васин — *ваш соперник*, единственно только из ревности, вы передали *вверенную Лизе рукопись*… передали кому? Кому? Прокурору?

Но он не успел ответить, да и вряд ли бы что ответил, потому что стоял передо мной как истукан всё с тою же болезненною улыбкой и неподвижным взглядом; но вдруг отворилась дверь, и вошла Лиза. Она почти обмерла, увидев нас вместе.

— Ты здесь? Так ты здесь? — вскричала она с исказившимся вдруг лицом и хватая меня за руки, — так ты… *знаешь?*

Но она уже прочла в лице моем, что я «знаю». Я быстро неудержимо обнял ее, крепко, крепко! И в первый раз только я постиг в ту минуту, во всей силе, какое безвыходное, бесконечное горе без рассвета легло навек над всей судьбой этой… добровольной искательницы мучений!

— Да разве можно с ним говорить теперь? — оторвалась она вдруг от меня. — Разве можно с ним быть? Зачем ты здесь? Посмотри на него, посмотри! И разве можно, можно судить его?

Бесконечное страдание, и сострадание были в лице ее когда она, восклицая, указывала на несчастного. Он сидел в кресле, закрыв лицо руками. И она была права: это был человек в белой горячке[*] и безответственный; и, может быть, еще три дня тому уже безответственный. Его в то же утро положили в больницу, а к вечеру у него уже было воспаление в мозгу.

IV

От князя, оставив его тогда с Лизою, я, около часу пополудни, заехал на прежнюю мою квартиру. Я забыл сказать, что день был сырой, тусклый, с начинавшеюся оттепелью и с теплым ветром, способным расстроить нервы даже у слона. Хозяин встретил меня обрадовавшись, заметавшись и закидавшись, чего я страх не люблю именно в такие минуты. Я обошелся сухо и прямо прошел к себе, но он последовал за мной, и хоть не смел расспрашивать, но любопытство так и сияло в глазах его, притом смотрел как уже имеющий даже какое-то право быть любопытным. Я должен был обойтись вежливо для своей же выгоды; но хотя мне слишком необходимо было кое-что узнать (и я знал, что

узнаю), но всё же было противно начать расспросы. Я осведомился о здоровье жены его, и мы сходили к ней. Та встретила меня хоть и внимательно, но с чрезвычайно деловым и неразговорчивым видом; это меня несколько примирило. Короче, я узнал в тот раз весьма чудные вещи.

Ну, разумеется, был Ламберт, но потом он приходил еще два раза и «осмотрел все комнаты», говоря, что, может, наймет. Приходила несколько раз Настасья Егоровна, эта уж бог знает зачем. «Очень тоже любопытствовала», — прибавил хозяин, но я не утешил его, не спросил, о чем она любопытствовала. Вообще, я не расспрашивал, а говорил лишь он, а я делал вид, что роюсь в моем чемодане (в котором почти ничего и не оставалось). Но всего досаднее было, что он тоже вздумал играть в таинственность и, заметив, что я удерживаюсь от расспросов, почел тоже обязанностью стать отрывочнее, почти загадочным.

— Барышня тоже бывала, — прибавил он, странно смотря на меня.

— Какая барышня?

— Анна Андреевна; два раза была; с моей женой ознакомилась. Очень милая особа, очень приятная. Такое знакомство даже слишком можно оценить, Аркадий Макарович… — И выговорив, он даже сделал ко мне шаг: очень уж ему хотелось, чтоб я что-то понял.

— Неужели два раза? — удивился я.

— Во второй раз вместе с братцем приезжала.

«Это с Ламбертом», — подумалось мне вдруг невольно.

— Нет-с, не с господином Ламбертом, — так и угадал он сразу, точно впрыгнул в мою душу своими глазами, — а с ихним братцем, действительным, молодым господином Версиловым. Камер-юнкер ведь, кажется?

Я был очень смущен; он смотрел, ужасно ласково улыбаясь.

— Ах, вот еще кто был, вас спрашивал — эта мамзель, француженка, мамзель Альфонсина де Вердень. Ах как поет хорошо и декламирует тоже прекрасно в стихах! Потихоньку к князю Николаю Ивановичу тогда проезжала, в Царское, собачку, говорит, ему продать редкую, черненькую, вся в кулачок…

Я попросил его оставить меня одного, отговорившись головною болью. Он мигом удовлетворил меня, даже не докончив фразы, и не только без малейшей обидчивости, но почти с удовольствием, таинственно помахав рукой и как бы выговаривая: «Понимаю-с,

понимаю-с», и хоть не проговорил этого, но зато из комнаты вышел на цыпочках, доставил себе это удовольствие. Есть очень досадные люди на свете.

Я просидел один, обдумывая часа полтора; не обдумывая, впрочем, а лишь задумавшись. Хоть я был и смущен, но зато нимало не удивлен. Я даже ждал еще пуще чего-нибудь, еще больших чудес. «Может, они теперь уж и натворили их», — подумал я. Я твердо и давно был уверен, еще дома, что машина у них заведена и в полном ходу. «Меня только им недостает, вот что», — подумал я опять, с каким-то раздражительным и приятным самодовольством. Что они ждут меня изо всех сил и что-то в моей квартире затевают устроить — было ясно как день. «Уж не свадьбу ли старого князя? на него целая облава. Только позволю ли я, господа, вот что-с?» — заключил я опять с надменным удовольствием.

«Раз начну и тотчас опять в водоворот затянусь, как щепка. Свободен ли я теперь, сейчас, или уж не свободен? Могу ли я еще, воротясь сегодня вечером к маме, сказать себе, как во все эти дни: „Я сам по себе“?».

Вот эссенция моих вопросов или, лучше сказать, биений сердца моего, в те полтора часа, которые я просидел тогда в углу на кровати, локтями в колена, а ладонями подпирая голову. Но ведь я знал, я знал уже и тогда, что все эти вопросы — совершенный вздор, а что влечет меня лишь она, — она и она одна! Наконец-то выговорил это прямо и прописал пером на бумаге, ибо даже теперь, когда пишу, год спустя, не знаю еще, как назвать тогдашнее чувство мое по имени!

О, мне было жаль Лизу, и в сердце моем была самая нелицемерная боль! Уж одно бы это чувство боли за нее могло бы, кажется, смирить или стереть во мне, хоть на время, *плотоядность* (опять поминаю это слово). Но меня влекло безмерное любопытство, и какой-то страх, и еще какое-то чувство — не знаю какое; но знаю и знал уже и тогда, что оно было недоброе. Может быть, я стремился пасть к *ее* ногам, а может быть, хотел бы предать ее на все муки и что-то «поскорей, поскорей» доказать ей. Никакая боль и никакое сострадание к Лизе не могли уже остановить меня. Ну мог ли я встать и уйти домой… к Макару Ивановичу?

«А разве нельзя только пойти к ним, разузнать от них обо всем и вдруг уйти от них навсегда, пройдя безвредно мимо чудес и чудовищ?»

В три часа, схватившись и сообразив, что почти опоздал, я

поскорее вышел, схватил извозчика и полетел к Анне Андреевне.

Глава пятая

I

Анна Андреевна, лишь только обо мне доложили, бросила свое шитье и поспешно вышла встретить меня в первую свою комнату — чего прежде никогда не случалось. Она протянула мне обе руки и быстро покраснела. Молча провела она меня к себе, подсела опять к своему рукоделью, меня посадила подле; но за шитье уже не принималась, а всё с тем же горячим участием продолжала меня разглядывать, не говоря ни слова.

— Вы ко мне присылали Настасью Егоровну, — начал прямо, несколько тяготясь таким уж слишком эффектным участием, хотя оно мне было приятно.

Она вдруг заговорила, не ответив на мой вопрос.

— Я всё слышала, я всё знаю. Эта ужасная ночь… О, сколько вы должны были выстрадать! Правда ли, правда ли, что вас нашли уже без чувств, на морозе?

— Это вам… Ламберт… — пробормотал я, краснея.

— Я от него тогда же всё узнала; но я ждала вас. О, он пришел ко мне испуганный! На вашей квартире… там, где вы лежали больной, его не хотели к вам допустить… и странно встретили… Я, право, не знаю, как это было, но он рассказал мне всё об той ночи: он говорил, что вы, даже едва очнувшись, упоминали уже ему обо мне и… об вашей преданности ко мне. Я была тронута до слез, Аркадий Макарович, и даже не знаю, чем заслужила такое горячее участие с вашей стороны, и еще в таком положении, в каком вы были сами! Скажите, господин Ламберт— ваш товарищ детства?

— Да, но этот случай… я признаюсь, был неосторожен и, может быть, насказал ему тогда слишком много.

— О, об этой черной, ужасной интриге я узнала бы и без него! Я всегда, всегда предчувствовала, что они вас доведут до этого. Скажите, правда ли, что Бьоринг осмелился поднять на вас руку?

Она говорила так, как будто чрез одного Бьоринга и чрез *нее я* и

очутился под забором. А ведь она права, подумалось мне, но я вспыхнул:

— Если б он на меня поднял руку, то не ушел бы ненаказанный, и я бы не сидел теперь перед вами, не отомстив, — ответил я с жаром. Главное, мне показалось, что она хочет меня для чего-то раздразнить, против кого— то возбудить (впрочем, известно — против кого); и все таки я поддался.

— Если вы говорите, что вы предвидели, что меня доведут *до этого,* то со стороны Катерины Николаевны, разумеется, было лишь недоумение… хотя правда и то, что она слишком уж скоро променяла свои добрые чувства ко мне на это недоумение…

— То-то и есть, что уж слишком скоро! — подхватила Анна Андреевна с каким-то даже восторгом сочувствия. — О. если б вы знали, какая там теперь интрига! Конечно, Аркадий Макарович, вам трудно теперь понять всю щекотливость моего положения, — произнесла она, покраснев и потупившись. — С тех пор, в то самое утро, как мы с вами в последний раз виделись, я сделала тот шаг, который не всякий способен понять и разобрать так, как бы понял его человек с вашим незараженным еще умом, с вашим любящим, неиспорченным, свежим сердцем. Будьте уверены, друг мой, что я способна оценить вашу ко мне преданность и заплачу вам вечною благодарностью. В свете, конечно, подымут на меня камень и подняли уже. Но если б даже они были правы, с своей гнусной точки зрения, то кто бы мог, кто бы смел из них даже и тогда осудить меня? Я оставлена отцом моим с детства; мы, Версиловы, древний, высокий русский род, мы — проходимцы, и я ем чужой хлеб из милости. Не естественно ли мне было обратиться к тому, кто еще с детства заменял мне отца, чьи милости я видела на себе столько лет? Мои чувства к нему видит и судит один только бог, и я не допускаю светского суда над собою в сделанном мною шаге! Когда же тут, сверх того, самая коварная, самая мрачная интрига и доверчивого, великодушного отца сговорилась погубить его же собственная дочь, то разве это можно снести? Нет, пусть сгублю даже репутацию мою, но спасу его! Я готова жить у него просто в няньках, быть его сторожем, сиделкой, но не дам восторжествовать холодному, светскому, мерзкому расчету!

Она говорила с необыкновенным одушевлением, очень может быть, что наполовину напускным, но все-таки искренним, потому что

видно было, до какой степени затянулась она вся в это дело. О, я чувствовал, что она лжет (хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно) и что она теперь дурная; но удивительно, как бывает с женщинами: этот вид порядочности, эти высшие формы, эта недоступность светской высоты и гордого целомудрия — всё это сбило меня с толку, и я стал соглашаться с нею во всем, то есть пока у ней сидел; по крайней мере — не решился противоречить. О, мужчина в решительном нравственном рабстве у женщины, особенно если великодушен! Такая женщина может убедить в чем угодно великодушного. «Она и Ламберт — боже мой!» — думал я, в недоумении смотря на нее. Впрочем, скажу всё: я даже до сих пор не умею судить ее; чувства ее действительно мог видеть один только бог, а человек к тому же — такая сложная машина, что ничего не разберешь в иных случаях, и вдобавок к тому же, если этот человек — женщина.

— Анна Андреевна, чего именно вы от меня ждете? — просил я, однако, довольно решительно.

— Как? Что значит ваш вопрос, Аркадий Макарович?

— Мне кажется по всему… и по некоторым другим соображениям… — разъяснял я путаясь, — что вы присылали ко мне, чего-то от меня ожидая; так чего же именно?

Не отвечая на вопрос, она мигом заговорила опять, так же скоро и одушевленно:

— Но я не могу, я слишком горда, чтоб входить в объяснения и сделки с неизвестными лицами, как господин Ламберт! Я ждала вас, а не господина Ламберта. Мое положение — крайнее, ужасное, Аркадий Макарович! Я обязана хитрить, окруженная происками этой женщины, — а это мне нестерпимо. Я унижаюсь почти до интриги и ждала вас как спасителя. Нельзя винить меня за то, что я жадно смотрю кругом себя, чтоб отыскать хоть одного друга, а потому я и не могла не обрадоваться другу: тот, кто мог даже в ту ночь, почти замерзая, вспоминать обо мне и повторять одно только мое имя, тот, уж конечно, мне предан. Так думала я всё это время, а потому на вас и надеялась.

Она с нетерпеливым вопросом смотрела мне в глаза. И вот у меня опять недостало духу разуверить ее и объяснить ей прямо, что Ламберт ее обманул и что я вовсе не говорил тогда ему, что уж так ей особенно предан, и вовсе не вспоминал «одно только ее имя». Таким образом, молчанием моим я как бы подтвердил ложь Ламберта. О, она ведь и

сама, я уверен, слишком хорошо понимала, что Ламберт преувеличил и даже просто налгал ей, единственно чтоб иметь благовидный предлог явиться к ней и завязать с нею сношения; если же смотрела мне в глаза, как уверенная в истине моих слов и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмею отказаться, так сказать, из деликатности и по моей молодости. А впрочем, прав я в этой догадке или не прав — не знаю. Может быть, я ужасно развращен.

— За меня заступится брат мой, — произнесла она вдруг с жаром, видя, что я не хочу ответить.

— Мне сказали, что вы были с ним у меня на квартире, — пробормотал я в смущении.

— Да ведь несчастному князю Николаю Ивановичу почти и некуда спастись теперь от всей этой интриги или, лучше сказать, от родной своей дочери, кроме как на вашу квартиру, то есть на квартиру друга; ведь вправе же он считать вас по крайней мере хоть другом!.. И тогда, если вы только захотите что-нибудь сделать в его пользу, то сделайте это — если только можете, если только в вас есть великодушие и смелость… и, наконец, если и вправду вы *что-то можете сделать.* О, это не для меня, не для меня, а для несчастного старика, который один только любил вас искренно, который успел к вам привязаться сердцем, как к своему сыну, и тоскует о вас даже до сих пор! Себе же я ничего не жду, даже от вас, — если даже родной отец сыграл со мною такую коварную, такую злобную выходку!

— Мне кажется, Андрей Петрович… — начал было я.

— Андрей Петрович, — прервала она с горькой усмешкой, — Андрей Петрович на мой прямой вопрос ответил мне тогда честным словом, что никогда не имел ни малейших намерений на Катерину Николаевну, чему я вполне и поверила, делая шаг мой; а между тем оказалось, что он спокоен лишь до первого известия о каком-нибудь господине Бьоринге.

— Тут не то! — вскричал я, — было мгновение, когда и я было поверил его любви к этой женщине, но это не то… Да если б даже и то, то ведь, кажется, теперь он уже мог бы быть совершенно спокоен… за отставкой этого господина.

— Какого господина?

— Бьоринга.

— Кто же вам сказал об отставке? Может быть, никогда этот

господин не был в такой силе, — язвительно усмехнулась она; мне даже показалось, что она посмотрела и на меня насмешливо.

— Мне говорила Настасья Егоровна, — пробормотал я в смущении, которое не в силах был скрыть и которое она слишком заметила.

— Настасья Егоровна — очень милая особа, и, уж конечно, я не могу ей запретить любить меня, но она не имеет никаких средств знать о том, что до нее не касается.

Сердце мое заныло; и так как она именно рассчитывала возжечь мое негодование, то негодование вскипело во мне, но не *к той* женщине, а пока лишь к самой Анне Андреевне. Я встал с места.

— Как честный человек, я должен предупредить вас, Анна Андреевна, что ожидания ваши… насчет меня… могут оказаться в высшей степени напрасными…

— Я ожидаю, что вы за меня заступитесь, — твердо поглядела она на меня, — за меня, всеми оставленную… за вашу сестру, если хотите того, Аркадий Макарович!

Еще мгновение, и она бы заплакала.

— Ну, так лучше не ожидайте, потому что, «может быть», ничего не будет, — пролепетал я с невыразимо тягостным чувством.

— Как понимать мне ваши слова? — проговорила она как-то слишком уж опасливо.

— А так, что я уйду от вас всех, и — баста! — вдруг воскликнул я почти в ярости, — а *документ* — разорву. Прощайте!

Я поклонился ей и вышел молча, в то же время почти не смея взглянуть на нее; но не сошел еще с лестницы, как догнала меня Настасья Егоровна с сложенным вдвое полулистом почтовой бумаги. Откуда взялась Настасья Егоровна и где она сидела, когда я говорил с Анной Андреевной, — даже понять не могу. Она не сказала ни словечка, а только отдала бумажку и убежала назад. Я развернул листок: на нем четко и ясно был написан адрес Ламберта, а заготовлен был, очевидно, еще за несколько дней. Я вдруг вспомнил, что когда была у меня тогда Настасья Егоровна, то я проговорился ей, что не знаю, где живет Ламберт, но в том только смысле, что «не знаю и знать не хочу». Но адрес Ламберта в настоящую минуту я уже знал через Лизу, которую нарочно попросил справиться в адресном столе. Выходка Анны Андреевны показалась мне слишком уж решительною, даже циническою: несмотря на мой отказ содействовать ей, она, как бы не

веря мне ни на грош, прямо посылала меня к Ламберту. Мне слишком ясно стало, что она узнала уже всё о документе — и от кого же как не от Ламберта, к которому потому и посылала меня сговариваться?

«Решительно они все до единого принимают меня за мальчишку без воли и без характера, с которым всё можно сделать!» — подумал я с негодованием.

II

Тем не менее я все-таки пошел к Ламберту. Где же было мне справиться с тогдашним моим любопытством? Ламберт, как оказалось, жил очень далеко, в Косом переулке, у Летнего сада, впрочем всё в тех же нумерах; но тогда, когда я бежал от него, я до того не заметил дороги и расстояния, что, получив, дня четыре тому назад, его адрес от Лизы, даже удивился и почти не поверил, что он там живет. У дверей в нумера, в третьем этаже, еще подымаясь по лестнице, я заметил двух молодых людей я подумал, что они позвонили раньше меня и ждали, когда отворят. Пока я подымался, они оба, обернувшись спиной к дверям, тщательно меня рассматривали. «Тут нумера, и они, конечно, к другим жильцам», — нахмурился я, подходя к ним. Мне было бы очень неприятно застать у Ламберта кого-нибудь. Стараясь не глядеть на них, я протянул руку к звонку.

— Атанде! — крикнул мне один.

— Пожалуйста, подождите звонить, — звонким и нежным голоском и несколько протягивая слова проговорил другой молодой человек. — Мы вот кончим и тогда позвоним все вместе, хотите?

Я остановился. Оба были еще очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух; они делали тут у дверей что-то странное, и я с удивлением старался вникнуть. Тот, кто крикнул «атанде», был малый очень высокого роста, вершков десяти[*], не меньше, худощавый и испитой, но очень мускулистый, с очень небольшой, по росту, головой и с странным, каким-то комически мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной и излишней решимостью. Он был одет очень скверно: в старую шинель на вате, с вылезшим маленьким енотовым воротником, и не по росту

короткую — очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху: руки, без перчаток, были грязные, а длинные ногти — в трауре. Напротив, товарищ его был одет щегольски, судя по легкой ильковой шубе[*], по изящной шляпе и по светлым свежим перчаткам на тоненьких его пальчиках; ростом он был с меня, но с чрезвычайно милым выражением на своем свежем и молоденьком личике.

Длинный парень стаскивал с себя галстух — совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесемку, а миловидный мальчик, вынув из кармана другой, новенький черный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьезным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч.

— Нет, это нельзя, если такая грязная рубашка, — проговорил надевавший, — не только не будет эффекта, но покажется еще грязней. Ведь я тебе сказал, чтоб ты воротнички надел. Я не умею… вы не сумеете? — обратился он вдруг ко мне.

— Чего? — спросил я.

— А вот, знаете, повязать ему галстух. Видите ли, надобно как-нибудь так, чтобы не видно было его грязной рубашки, а то пропадет весь эффект, как хотите. Я нарочно ему галстух у Филиппа-парикмахера сейчас купил, за рубль.

— Это ты — тот рубль? — пробормотал длинный.

— Да, тот; у меня теперь ни копейки. Так не умеете? В таком случае надо будет попросить Альфонсинку.

— К Ламберту? — резко спросил меня вдруг длинный.

— К Ламберту, — ответил я с не меньшею решимостью, смотря ему в глаза.

— Dolgorowky? — повторил он тем же тоном и тем же голосом.

— Нет, не Коровкин, — так же резко ответил я, расслышав ошибочно.

— Dolgorowky?! — почти прокричал, повторяя, длинный и надвигаясь на меня почти с угрозой. Товарищ его расхохотался.

— Он говорит Dolgorowky, а не Коровкин, — пояснил он мне. — Знаете, французы в «Journal des Débats»[*] часто коверкают русские фамилии…

— В «Indépendance»[*],— промычал длинный.

— …Ну всё равно и в «Indépendance». Долгорукого, например, пишут Dolgorowky — я сам читал, а В-ва всегда comte Wallonieff.

— Doboyny! — крикнул длинный.

— Да, вот тоже есть еще какой-то Doboyny; я сам читал, и мы оба смеялись: какая-то русская madame Doboyny, за границей… только, видишь ли, чего же всех-то поминать? — обернулся он вдруг к длинному.

— Извините, вы — господин Долгорукий?

— Да, я — Долгорукий, а вы почему знаете? Длинный вдруг шепнул что-то миловидному мальчику, тот нахмурился и сделал отрицательный жест; но длинный вдруг обратился ко мне:

— Monseigneur le prince, vous n'avez pas de rouble d'argent, pour nous, pas deux, mais un seul, voulez-vous?[80]

— Ах, какой ты скверный, — крикнул мальчик.

— Nous vous rendons,[81]— заключил длинный, грубо и неловко выговаривая французские слова.

— Он, знаете, — циник, — усмехнулся мне мальчик, — и вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собою по-французски, а сами не умеют…

— Dans les wagons,[82]— пояснил длинный.

— Ну да, и в вагонах; ах, какой ты скучный! нечего пояснять-то. Вот тоже охота прикидываться дураком.

Я между тем вынул рубль и протянул длинному.

— Nous vous rendons, — проговорил тот, спрятал рубль и, вдруг повернувшись к дверям, с совершенно неподвижным и серьезным лицом, принялся колотить в них концом своего огромного грубого сапога и, главное, без малейшего раздражения.

— Ах, опять ты подерешься с Ламбертом! — с беспокойством заметил мальчик. — Позвоните уж вы лучше!

Я позвонил, но длинный все-таки продолжал колотить сапогом.

— Ah, sacré…[83]— послышался вдруг голос Ламберта из-за дверей, и он быстро отпер.

— Dites donc, voulez-vous que je vous casse la tête, mon ami![84]— крикнул он длинному.

— Mon ami, voilà Dolgorowky, l'autre mon ami,[85]— важно и серьезно проговорил длинный, в упор смотря на покрасневшего от

злости Ламберта. Тот, лишь увидел меня, тотчас же как бы весь преобразился.

— Это ты, Аркадий! Наконец-то! Ну, так ты здоров же, здоров наконец?

Он схватил меня за руки, крепко сжимая их; одним словом, он был в таком искреннем восхищении, что мне мигом стало ужасно приятно, и я даже полюбил его.

— К тебе первому!

— Alphonsine! — закричал Ламберт. Та мигом выпрыгнула из-за ширм.

— Le voilà![86]

— C'est lui![87] — воскликнула Альфонсина, всплеснув руками и вновь распахнув их, бросилась было меня обнимать, но Ламберт меня защитил.

— Но-но-но, тубо! — крикнул он на нее, как на собачонку. — Видишь, Аркадий: нас сегодня несколько парней сговорились пообедать у татар. Я уж тебя не выпущу, поезжай с нами. Пообедаем; я этих тотчас же в шею — и тогда наболтаемся. Да входи, входи! Мы ведь сейчас и выходим, минутку только постоять…

Я вошел и стал посреди той комнаты, оглядываясь и припоминая. Ламберт за ширмами наскоро переодевался. Длинный и его товарищ прошли тоже вслед за нами, несмотря на слова Ламберта. Мы все стояли.

— Mademoiselle Alphonsine, voulez-vous me baiser?[88] — промычал длинный.

— Mademoiselle Alphonsine, — подвинулся было младший, показывая ей галстучек, но она свирепо накинулась на обоих.

— Ah, le petit vilain![89]— крикнула она младшему, — ne m'approchez pas, ne me salissez pas, et vous, le grand dadais, je vous flanque à la porte tous les deux, savez-vous cela![90]

Младший, несмотря на то что она презрительно и брезгливо от него отмахивалась, как бы в самом деле боясь об него запачкаться (чего я никак не понимал, потому что он был такой хорошенький и оказался так хорошо одет, когда сбросил шубу), — младший настойчиво стал просить ее повязать своему длинному другу галстух, а предварительно повязать ему чистые воротнички из Ламбертовых. Та чуть не кинулась бить их от негодования при таком предложении, но Ламберт,

вслушавшись, крикнул ей из-за ширм, чтоб она не задерживала и сделала, что просят, «а то не отстанут», прибавил он, и Альфонсина мигом схватила воротничок и стала повязывать длинному галстух, без малейшей уже брезгливости. Тот, точно так же как на лестнице, вытянул перед ней шею, пока та повязывала.

— Mademoiselle Alphonsine, avez-vous vendu votre bologne?[91] — спросил он.

— Qu'est que ça, ma bologne?[92]

Младший объяснил, что «ma bologne» означает болонку.

— Tiens, quel est ce baragouin?[93]

— Je parle comme une dame russe sur les eaux minérales,[94] — заметил le grand dadais,[95] всё еще с протянутой шеей.

— Qu'est que ça qu'une dame russe sur les eaux minérales et… où est donc votre jolie montre, que Lambert vous a donné?[96] — обратилась она вдруг к младшему.

— Как, опять нет часов? — раздражительно отозвался Ламберт из-за ширм.

— Проели! — промычал le grand dadais.

— Я их продал за восемь рублей: ведь они — серебряные, позолоченные, а вы сказали, что золотые. Этакие теперь и в магазине — только шестнадцать рублей, — ответил младший Ламберту, оправдываясь с неохотой.

— Этому надо положить конец! — еще раздражитель нее продолжал Ламберт. — Я вам, молодой мой друг, не для того покупаю платье и даю прекрасные вещи, чтоб вы на вашего длинного друга тратили… Какой это галстух вы еще купили?

— Это — только рубль; это не на ваши. У него совсем не было галстуха, и ему надо еще купить шляпу.

— Вздор! — уже действительно озлился Ламберт, — я ему достаточно дал и на шляпу, а он тотчас устриц и шампанского. От него пахнет; он неряха; его нельзя брать никуда. Как я его повезу обедать?

— На извозчике, — промычал dadais. — Nous avons un rouble d'argent que nous avons prêté chez notre nouvel ami.[97]

— Не давай им, Аркадий, ничего! — опять крикнул Ламберт.

— Позвольте, Ламберт; я прямо требую от вас сейчас же десять рублей, — рассердился вдруг мальчик, так что даже весь покраснел и

оттого стал почти вдвое лучше, — и не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас Долгорукому. Я требую десять рублей, чтоб сейчас отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу — вот сами увидите.

Ламберт вышел *из-за* ширм.

— Вот три желтых бумажки, три рубля, и больше ничего до самого вторника, и не сметь… не то…

Le grand dadais так и вырвал у него деньги.

— Dolgorowky, вот рубль, nous vous rendons avec beaucoup de grâce. [98] Петя, ехать! — крикнул он товарищу, и затем вдруг, подняв две бумажки вверх и махая ими и в упор смотря на Ламберта, завопил из всей силы: — Ohé, Lambert! où est Lambert, as-tu vu Lambert?*[99]

— Не сметь, не сметь! — завопил и Ламберт в ужаснейшем гневе; я видел, что во всем этом было что-то прежнее, чего я не знал вовсе, и глядел с удивлением. Но длинный нисколько не испугался Ламбертова гнева; на против, завопил еще сильнее. «Ohé, Lambert!» и т. д. С этим криком вышли и на лестницу. Ламберт погнался было за ними, но, однако, воротился.

— Э, я их скоро пр-рогоню в шею! Больше стоят, чем дают… Пойдем, Аркадий! Я опоздал. Там меня ждет один тоже… нужный человек… Скотина тоже… Это всё — скоты! Шу-ше-хга, шу-шехга! — прокричал он вновь и почти скрежетнул зубами; но вдруг окончательно опомнился. — Я рад, что та хоть наконец пришел. Alphonsine, ни шагу из дому! Идем.

У крыльца ждал его лихач-рысак. Мы сели; но даже и во весь путь он все-таки не мог прийти в себя от какой-то ярости на этих молодых людей и успокоиться, Я дивился, что это так серьезно, и тому еще, что они так к Ламберту непочтительны, а он чуть ли даже не трусит перед ними. Мне, по въевшемуся в меня старому впечатлению с детства, всё казалось, что все должны бояться Ламберта, так что, несмотря на всю мою независимость, я, наверно, в ту минуту и сам трусил Ламберта.

— Я тебе говорю, это — всё ужасная шушехга, — не унимался Ламберт. — Веришь: этот высокий, мерзкий, мучил меня, три дня тому, в хорошем обществе. Стоит передо мной и кричит: «Ohé, Lambert!» В хорошем обществе! Все смеются и знают, что это, чтоб я денег дал, — можешь представить. Я дал. О, это — мерзавцы! Веришь, он был юнкер в полку и выгнан, и, можешь представить, он образованный; он получил

воспитание в хорошем доме, можешь представить! У него есть мысли, он бы мог… Э, черт! И он силен, как Еркул[*] (Hercule). Он полезен, только мало. И можешь видеть: он рук не моет. Я его рекомендовал одной госпоже, старой знатной барыне, что он раскаивается и хочет убить себя от совести, а он пришел к ней, сел и засвистал. А этот другой, хорошенький, — один генеральский сын; семейство стыдится его, я его из суда вытянул, я его спас, а он вот как платит. Здесь нет народу! Я их в шею, в шею!

— Они знают мое имя; ты им обо мне говорил?

— Имел глупость. Пожалуйста, за обедом посиди, скрепи себя… Туда придет еще одна страшная каналья. Вот это — так уж страшная каналья, и ужасно хитер; здесь все ракальи; здесь нет ни одного честного человека! Ну да мы кончим — и тогда… Что ты любишь кушать? Ну да всё равно, там хорошо кормят. Я плачу, ты не беспокойся. Это хорошо, что ты хорошо одет. Я тебе могу дать денег. Всегда приходи. Представь, я их здесь поил-кормил, каждый день кулебяка; эти часы, что он продал, — это во второй раз. Этот маленький, Тришатов, — ты видел, Альфонсина гнушается даже глядеть на него и запрещает ему подходить близко, — и вдруг он в ресторане, при офицерах: «Хочу бекасов». Я дал бекасов! Только я отомщу.

— Помнишь, Ламберт, как мы с тобой в Москве ехали в трактир, и ты меня в трактире вилкой пырнул, и как у тебя были тогда пятьсот рублей?

— Да, помню! Э, черт, помню! Я тебя люблю… Ты этому верь. Тебя никто не любит, а я люблю; только один я, ты помни… Тот, что придет туда, рябой — это хитрейшая каналья; не отвечай ему, если заговорит, ничего, а коль начнет спрашивать, отвечай вздор, молчи…

По крайней мере он из-за своего волнения ни о чем меня дорогой не расспрашивал. Мне стало даже оскорбительно, что он так уверен во мне и даже не подозревает во мне недоверчивости; мне казалось, что в нем глупая мысль, что он мне смеет по-прежнему приказывать. «И к тому же он ужасно необразован», — подумал я, вступая в ресторан.

III

В этом ресторане, в Морской, я и прежде бывал, во время моего гнусненького падения и разврата, а потому впечатление от этих комнат, от этих лакеев, приглядывавшихся ко мне и узнававших во мне знакомого посетителя, наконец, впечатление от этой загадочной компании друзей Ламберта, в которой я так вдруг очутился и как будто уже принадлежа к ней нераздельно, а главное — темное предчувствие, что я добровольно иду на какие-то гадости и несомненно кончу дурным делом, — всё это как бы вдруг пронзило меня. Было мгновение, что я едва не ушел; но мгновение это прошло, и я остался.

Тот «рябой», которого почему-то так боялся Ламберт, уже ждал нас. Это был человечек с одной из тех глупо-деловых наружностей, которых тип я так ненавижу чуть ли не с моего детства; лет сорока пяти, среднего роста, с проседью, с выбритым до гадости лицом и с маленькими правильными седенькими подстриженными бакенбардами, в виде двух колбасок, по обеим щекам чрезвычайно плоского и злого лица. Разумеется, он был скучен, серьезен, неразговорчив и даже, по обыкновению всех этих людишек, почему-то надменен. Он оглядел меня очень внимательно, но не сказал ни слова, а Ламберт так был глуп, что, сажая нас за одним столом, не счел нужным нас перезнакомить, и, стало быть, тот меня мог принять за одного из сопровождавших Ламберта шантажников. С молодыми этими людьми (прибывшими почти одновременно с нами) он тоже не сказал ничего во весь обед, но видно было, однако, что знал их коротко. Говорил он о чем-то лишь с Ламбертом, да и то почти шепотом, да и то говорил почти один Ламберт, а рябой лишь отделывался отрывочными, сердитыми и ультиматными словами. Он держал себя высокомерно, был зол и насмешлив тогда как Ламберт, напротив, был в большом возбуждении и, видимо, всё его уговаривал, вероятно склоняя на какое-то предприятие. Раз я протянул руку к бутылке с красным вином; рябой вдруг взял бутылку хересу и подал мне, до тех пор не сказав со мною

слова.

— Попробуйте этого, — сказал он, протягивая мне бутылку. Тут я вдруг догадался, что и ему должно уже быть известно обо мне всё на свете — и история моя, и имя мое, и, может быть, то, в чем рассчитывал на меня Ламберт. Мысль, что он примет меня за служащего у Ламберта, взбесила меня опять, а в лице Ламберта выразилось сильнейшее и глупейшее беспокойство, чуть только тот заговорил со мной. Рябой это

заметил и засмеялся. «Решительно Ламберт от всех зависит», — подумал я, ненавидя его в ту минуту от всей души. Таким образом, мы хотя и просидели весь обед за одним столом, но были разделены на две группы: рябой с Ламбертом, ближе к окну, один против другого, и я рядом с засаленным Андреевым, а напротив меня — Тришатов. Ламберт спешил с кушаньями, поминутно торопя слугу подавать. Когда подали шампанское, он вдруг протянул ко мне свой бокал.

— За твое здоровье, чокнемся! — проговорил он, прерывая свой разговор с рябым.

— А вы мне позволите с вами чокнуться? — протянул мне через стол свой бокал хорошенький Тришатов. До шампанского он был как-то очень задумчив и молчалив. Dadais же совсем ничего не говорил, но молча и много ел.

— С удовольствием, — ответил я Тришатову. Мы чокнулись и выпили.

— А я за ваше здоровье не стану пить, — обернулся ко мне вдруг dadais, — не потому, что желаю вашей смерти, а потому, чтоб вы здесь сегодня больше не пили. — Он проговорил это мрачно и веско.

— С вас довольно и трех бокалов. Вы, я вижу, смотрите на мой немытый кулак? — продолжал он, выставляя свой кулак на стол. — Я его не мою и так немытым и отдаю внаем Ламберту для раздробления чужих голов в щекотливых для Ламберта случаях. — И, проговорив он вдруг стукнул кулаком об стол с такой силой, что подскочили все тарелки и рюмки. Кроме нас, обедали в этой комнате еще на четырех столах, всё офицеры и разные осанистого вида господа. Ресторан этот модный; все на мгновение прервали разговоры и посмотрели в наш угол; да кажется, мы и давно уже возбуждали некоторое любопытство. Ламберт весь покраснел.

— Га, он опять начинает! Я вас, кажется, просил, Николай Семенович, вести себя, — проговорил он яростным шепотом Андрееву. Тот оглядел его длинным и медленным взглядом:

— Я не хочу, чтоб мой новый друг Dolgorowky пил здесь сегодня много вина.

Ламберт еще пуще вспыхнул. Рябой прислушивался молча, но с видимым удовольствием. Ему выходка Андреева почему-то понравилась. Я только один не понимал, для чего бы это мне не пить вина.

— Это он, чтоб только получить деньги! Вы получите еще семь рублей, слышите, после обеда — только дайте дообедать, не срамите, — проскрежетал ему Ламберт.

— Ага! — победоносно промычал dadais. Это уже со всем восхитило рябого, и он злобно захихикал.

— Послушай, ты уж очень… — с беспокойством и почти с страданием проговорил своему другу Тришатов, видимо желая сдержать его. Андреев замолк, но не на долго; не таков был расчет его. От нас через стол, шагах в пяти, обедали два господина и оживленно разговаривали. Оба были чрезвычайно щекотливого вида средних лет господа. Один высокий и очень толстый, другой — тоже очень толстый, но маленький. Говорили они по-польски о теперешних парижских событиях. Dadais уже давно на них любопытно поглядывал и прислушивался. Маленький поляк, очевидно, показался ему фигурой комическою, и он тотчас возненавидел его по примеру всех желчных и печеночных людей, у которых это всегда вдруг происходит безо всякого даже повода. Вдруг маленький поляк произнес имя депутата Мадье де Монжо[*], но, по привычке очень многих поляков, выговорил его по-польски, то есть с ударением на предпоследнем слоге, и вышло не Мадь*е* де Монж*о*, а М*а*дье де М*о*нжо. Того только и надо было dadais. Он повернулся к полякам и, важно выпрямившись, раздельно и громко, вдруг произнес, как бы обращаясь с вопросом:

— М*а*дье де М*о*нжо?

Поляки свирепо обернулись к нему.

— Что вам надо? — грозно крикнул большой толстый поляк по-русски. Dadais выждал.

— М*а*дье де М*о*нжо? — повторил он вдруг опять на всю залу, не давая более никаких объяснений, точно так же как давеча глупо повторял мне у двери, надвигаясь на меня: Dolgorowky? Поляки вскочили с места, Ламберт выскочил из-за стола, бросился было к Андрееву, но, оставив его, подскочил к полякам и принялся униженно извиняться перед ними.

— Это — шуты, пане, это — шуты! — презрительно повторял маленький поляк, весь красный, как морковь, от негодования. — Скоро нельзя будет приходить! — В зале тоже зашевелились, тоже раздавался ропот, но больше смех.

— Выходите… пожалуйста… пойдемте! — бормотал, совсем

потерявшись, Ламберт, усиливаясь как-нибудь вы вести Андреева из комнаты. Тот, пытливо обозрев Ламберта и догадавшись, что он уже теперь даст денег, согласился за ним последовать. Вероятно, он уже не раз подобным бесстыдным приемом выбивал из Ламберта деньги. Тришатов хотел было тоже побежать за ними, но посмотрел на меня и остался.

— Ах как скверно! — проговорил он, закрывая глаза своими тоненькими пальчиками.

— Скверно очень-с, — прошептал на этот раз уже с разозленным видом рябой. Между тем Ламберт возвратился почти совсем бледный и что-то, оживленно жестикулируя, начал шептать рябому. Тот между тем приказал лакею поскорей подавать кофе; он слушал брезгливо; ему, видимо, хотелось поскорее уйти. И однако, вся история была простым лишь школьничеством. Тришатов с чашкою кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною рядом.

— Я его очень люблю, — начал он мне с таким откровенным видом, как будто всегда со мной об этом говорил.

— Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и всё у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется — это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный — это всё одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или всё равно — можно делать и доброе, и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать — и только. Но поверьте, что это он — только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет: он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче… И к тому же такой большой и сильный и вдруг — так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а сам я — такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите! Пустите вы меня к себе, Долгорукий, если я к вам когда приду?

— О, приходите, я вас даже люблю.

— За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, что ж я? вы лучше не пейте. Это он вам правду сказал, что вам

нельзя больше пить, — мигнул он мне вдруг значительно, — а я все-таки выпью. Мне уж теперь ничего, а я, верите ли, ни в чем себя удержать не могу. Вот скажите мне, что мне уж больше не обедать по ресторанам, и я на всё готов, чтобы только обедать. О, мы искренно хотим быть честными, уверяю вас, но только мы всё откладываем.

А годы идут — и всё лучшие годы![*]

А он, я ужасно боюсь, — повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются; почем знать — может, много таких, как мы? Я, например, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем необходимые. Послушайте, любите вы музыку? я ужасно люблю. Я вам сыграю что-нибудь, когда к вам приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из «Фауста»[*]. Я очень люблю эту тему. Я всё создаю сцену в соборе, так, в голове только, воображаю. Готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен, и знаете — хоры средневековые, чтоб так и слышался пятнадцатый век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно:

Dies irae, dies illa![*[100]]

И вдруг — голос дьявола, песня дьявола. Он невидим, одна лишь песня, рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем совсем другое — как-нибудь так это сделать. Песня длинная, неустанная, это — тенор, непременно тенор. Начинает тихо, нежно: «Помнишь, Гретхен, как ты, еще невинная, еще ребенком, приходила с твоей мамой в этот собор и лепетала молитвы по старой книге?» Но песня всё сильнее, всё страстнее, стремительнее; ноты выше: в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!» Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики — знаете, когда судорога от слез в груди, — а песня сатаны всё не умолкает, всё глубже вонзается в душу, как острие, всё выше — и вдруг обрывается почти криком: «Конец

всему, проклята!» Гретхен падает на колена, сжимает перед собой руки — и вот тут ее молитва, что-нибудь очень краткое, полуречитатив, но наивное, безо всякой отделки, что-нибудь в высшей степени средневековое, четыре стиха, всего только четыре стиха — у Страделлы есть несколько таких нот* — и с последней нотой обморок! Смятение. Ее подымают, несут — и тут вдруг громовый хор. Это — как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, подавляющий, что-нибудь вроде нашего «Дори-но-си-ма чин-ми»*,— так, чтоб всё потряслось на основаниях, — и всё переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас: «Hossanna!» как бы крик всей вселенной, а ее несут, несут, и вот тут опустить занавес! Нет, знаете, если б я мог, я бы что-нибудь сделал! Только я ничего уж теперь не могу, а только всё мечтаю. Я всё мечтаю, всё мечтаю; вся моя жизнь обратилась в одну мечту, я и ночью мечтаю. Ах, Долгорукий, читали вы Диккенса «Лавку древностей»?*

— Читал; что же?

— Помните вы… Постойте, я еще бокал выпью, — помните вы там одно место в конце, когда они — сумасшедший этот старик и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его, после фантастического их бегства и странствий, приютились наконец где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора, и эта девочка какую-то тут должность получила, собор посетителям показывала… И вот раз закатывается солнце, и этот ребенок на паперти собора, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка — солнце, как мысль божия, а собор, как мысль человеческая… не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только бог такие первые мысли от детей любит… А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот старик, дед, глядит на нее остановившимся взглядом… Знаете, тут нет ничего такого, в этой картинке у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы ввек не забудете, и это осталось во всей Европе — отчего? Вот прекрасное! Тут невинность! Э! не знаю, что тут, только хорошо. Я всё в гимназии романы читал. Знаете, у меня сестра в деревне, только годом старше меня… О, теперь там уже всё продано и уже нет деревни! Мы сидели с ней на террасе, под нашими старыми липами, и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем также добрыми, что и мы будем

прекрасными, — я тогда в университет готовился и… Ах, Долгорукий, знаете, у каждого есть свои воспоминания!..

И вдруг он склонил свою хорошенькую головку мне на плечо и — заплакал. Мне стало очень, очень его жалко. Правда, он выпил много вина, но он так искренно и так братски со мной говорил и с таким чувством… Вдруг, в это мгновение, с улицы раздался крик и сильные удары пальцами к нам в окно (тут окна цельные, большие и в первом нижнем этаже, так что можно стучать пальцами с улицы). Это был выведенный Андреев.

— Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? — раздался дикий крик его с улицы.

— Ах, да он ведь здесь! Так он не ушел? — воскликнул, срываясь с места, мой мальчик.

— Счет! — проскрежетал Ламберт прислуге. У него даже руки тряслись от злобы, когда он стал рассчитываться, но рябой не позволил ему за себя заплатить.

— Почему же? Ведь я вас приглашал, вы приняли приглашение?

— Нет, уж позвольте, — вынул свой портмоне рябой и, рассчитав свою долю, уплатил особо.

— Вы меня обижаете, Семен Сидорыч!

— Так уж я хочу-с, — отрезал Семен Сидорович и, взяв шляпу, не простившись ни с кем, пошел один из залы. Ламберт бросил деньги слуге и торопливо выбежал вслед за ним, даже позабыв в своем смущении обо мне. Мы с Тришатовым вышли после всех. Андреев как верста стоял у подъезда и ждал Тришатова.

— Негодяй! — не утерпел было Ламберт.

— Но-но! — рыкнул на него Андреев и одним взмахом руки сбил с него круглую шляпу, которая покатилась по тротуару. Ламберт унизительно бросился поднимать ее.

— Vingt cinq roubles![101] — указал Андреев Тришатову на кредитку, которую еще давеча сорвал с Ламберта.

— Полно, — крикнул ему Тришатов. — Чего ты всё буянишь… И за что ты содрал с него двадцать пять? С него только семь следовало.

— За что содрал? Он обещал обедать отдельно, с афинскими женщинами, а вместо женщин подал рябого, и, кроме того, я не доел и промерз на морозе непременно на восемнадцать рублей. Семь рублей за ним оставалось — вот тебе ровно и двадцать пять.

— Убир-райтесь к черту оба! — завопил Ламберт, — я вас прогоняю обоих, и я вас в бараний рог…

— Ламберт, я вас прогоняю, и я вас в бараний рог! — крикнул Андреев. — Adieu, mon prince,[102] не пейте больше вина! Петя, марш! Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? — рявкнул он в последний раз, удаляясь огромными шагами.

— Так я приду к вам, можно? — пролепетал мне на скоро Тришатов, спеша за своим другом.

Мы остались одни с Ламбертом.

— Ну… пойдем! — выговорил он, как бы с трудом переводя дыхание и как бы даже ошалев.

— Куда я пойду? Никуда я с тобой не пойду! — поспешил я крикнуть с вызовом.

— Как не пойдешь? — пугливо встрепенулся он, очнувшись разом. — Да я только и ждал, что мы одни останемся!

— Да куда идти-то? — Признаюсь, у меня тоже капельку звенело в голове от трех бокалов и двух рюмок хересу.

— Сюда, вот сюда, видишь?

— Да тут свежие устрицы, видишь, написано. Тут так скверно пахнет…

— Это потому, что ты после обеда, а это — милютинская лавка;* мы устриц есть не будем, а я тебе дам шампанского…

— Не хочу! Ты меня опоить хочешь.

— Это тебе они сказали; они над тобой смеялись. Ты веришь мерзавцам!

— Нет, Тришатов — не мерзавец. А я и сам умею быть осторожным — вот что!

— Что, у тебя есть свой характер?

— Да, у меня есть характер, побольше, чем у тебя, потому что ты в рабстве у первого встречного. Ты нас осрамил, ты у поляков, как лакей, прощения просил. Знать, тебя часто били в трактирах?

— Да ведь нам надо же говорить, духгак! — вскричал он с тем презрительным нетерпением, которое чуть не говорило: «И ты туда же?» — Да ты боишься, что ли? Друг ты мне или нет?

— Я — тебе не друг, а ты — мошенник. Пойдем, чтоб только доказать тебе, что я тебя не боюсь. Ах, как скверно пахнет, сыром пахнет! Экая гадость!

Глава шестая

I

Я еще раз прошу вспомнить, что у меня несколько звенело в голове; если б не это, я бы говорил и поступал иначе. В этой лавке, в задней комнате, действительно можно было есть устрицы, и мы уселись за накрытый скверной, грязной скатертью столик. Ламберт приказал подать шампанского; бокал с холодным золотого цвета вином очутился предо мною и соблазнительно глядел на меня; но мне было досадно.

— Видишь, Ламберт, мне, главное, обидно, что ты думаешь, что можешь мне и теперь повелевать, как у Тушара, тогда как ты у всех здешних сам в рабстве.

— Духгак! Э, чокнемся!

— Ты даже и притворяться не удостоиваешь передо мной; хоть бы скрывал, что хочешь меня опоить.

— Ты врешь, и ты пьян. Надо еще пить, и будешь веселее. Бери же бокал, бери же!

— Да что за «бери же»? Я уйду, вот и кончено.

И я действительно было привстал. Он ужасно рассердился:

— Это тебе Тришатов нашептал на меня: я видел — вы там шептались. Ты — духгак после этого. Альфонсина так даже гнушается, что он к ней подходит близко… Он мерзкий. Это я тебе расскажу, какой он.

— Ты это уж говорил. У тебя всё — одна Альфонсина; ты ужасно узок.

— Узок? — не понимал он, — они теперь перешли к рябому. Вот что! Вот почему я их прогнал. Они бесчестные. Этот рябой злодей и их развратит. А я требовал, чтобы они всегда вели себя благородно.

Я сел, как-то машинально взял бокал и отпил глоток.

— Я несравненно выше тебя, по образованию, — сказал я. Но он уж слишком был рад, что я сел, и тотчас подлил мне еще вина.

— А ведь ты их боишься? — продолжал я дразнить его (и уж наверно был тогда гаже его самого). — Андреев сбил с тебя шляпу, а ты ему двадцать пять рублей за то дал.

— Я дал, но он мне заплатит. Они бунтуются, но я их сверну…

— Тебя очень волнует рябой. А знаешь, мне кажется, что я только один у тебя теперь и остался. Все твои надежды только во мне одном теперь заключаются, — а?

— Да, Аркашка, это — так: ты один мне друг и остался; вот это хорошо ты сказал! — хлопнул он меня по плечу.

Что было делать с таким грубым человеком; он был совершенно неразвит и насмешку принял за похвалу.

— Ты бы мог меня избавить от худых вещей, если б был добрый товарищ, Аркадий, — продолжал он, ласково смотря на меня.

— Чем бы я мог тебя избавить?

— Сам знаешь — чем. Ты без меня как духгак и наверно будешь глуп, а я бы тебе дал тридцать тысяч, и мы бы взяли пополам, и ты сам знаешь — как. Ну кто ты такой, посмотри: у тебя ничего нет — ни имени, ни фамилии, а тут сразу куш; а имея такие деньги, можешь знаешь как начать карьеру!

Я просто удивился на такой прием. Я решительно предполагал, что он будет хитрить, а он со мной так прямо, так по-мальчишнически прямо начал. Я решился слушать его из широкости и… из ужасного любопытства.

— Видишь, Ламберт: ты не поймешь этого, но я соглашаюсь слушать тебя, потому что я широк, — твердо заявил я и опять хлебнул из бокала. Ламберт тотчас подлил.

— Вот что, Аркадий: если бы мне осмелился такой, как Бьоринг, наговорить ругательств и ударить при даме, которую я обожаю, то я б и не знаю что сделал! А ты стерпел, и я гнушаюсь тобой: ты — тряпка!

— Как ты смеешь сказать, что меня ударил Бьоринг! — вскричал я, краснея, — это я его скорее ударил, а не он меня.

— Нет, это он тебя ударил, а не ты его.

— Врешь, еще я ему ногу отдавил!

— Но он тебя отбил рукой и велел лакеям тащить… а она сидела и глядела из кареты и смеялась на тебя, — она знает, что у тебя нет отца и что тебя можно обидеть.

— Я не знаю, Ламберт, между нами мальчишнический разговор, которого я стыжусь. Ты это чтоб раздразнить меня, и так грубо и открыто, как с шестнадцатилетним каким-то. Ты сговорился с Анной Андреевной! — вскричал я, дрожа от злости и машинально всё хлебая вино.

— Анна Андреевна — шельма! Она надует и тебя, и меня, и весь свет! Я тебя ждал, потому что ты лучше можешь докончить с той.

— С какою той?

— С madame Ахмаковой. Я всё знаю. Ты мне сам сказал, что она того письма, которое у тебя, боится…

— Какое письмо… врешь ты… Ты видел ее? — бормотал я в смущении.

— Я ее видел. Она хороша собой. Très belle;[103] и у тебя вкус.

— Знаю, что ты видел; только ты с нею не смел говорить, и я хочу, чтобы и об ней ты не смел говорить.

— Ты еще маленький, а она над тобою смеется — вот что! У нас была одна такая добродетель в Москве: ух как нос подымала! а затрепетала, когда пригрозили, что всё расскажем, и тотчас послушалась; а мы взяли и то и другое: и деньги и то — понимаешь что? Теперь она опять в свете недоступная — фу ты, черт, как высоко летает, и карета какая, а коли б ты видел, в каком это было чулане! Ты еще не жил; если б ты знал, каких чуланов они не побоятся…

— Я это думал, — пробормотал я неудержимо.

— Они развращены до конца ногтей; ты не знаешь, на что они способны! Альфонсина жила в одном таком доме, так она гнушалась.

— Я об этом думал, — подтвердил я опять.

— А тебя бьют, а ты жалеешь…

— Ламберт, ты — мерзавец, ты — проклятый! — вскричал я, вдруг как-то сообразив и затрепетав. — Я видел всё это во сне, ты стоял и Анна Андреевна… О, ты — проклятый! Неужели ты думал, что я — такой подлец? Я ведь и видел потому во сне, что так и знал, что ты это скажешь. И наконец, всё это не может быть так просто, чтоб ты мне про всё это так прямо и просто говорил!

— Ишь рассердился! Те-те-те! — протянул Ламберт, смеясь и торжествуя. — Ну, брат Аркашка, теперь я всё узнал, что мне надо. Для того-то и ждал тебя. Слушай, ты, стало быть, ее любишь, а Бьорингу отмстить хочешь — вот что мне надо было узнать. Я всё время это так и подозревал, когда тебя здесь ждал. Ceci posé, cela change la question.[104] И тем лучше, потому что она сама тебя любит. Так ты и женись, нимало не медля, это лучше. Да иначе и нельзя тебе, ты на самом верном остановился. А затем знай, Аркадий, что у тебя есть друг, это я, которого ты можешь верхом оседлать. Вот этот друг тебе и поможет и

женит тебя: из-под земли всё достану, Аркаша! А ты уж подари за то потом старому товарищу тридцать тысячек за труды, а? А я помогу, не сомневайся. Я во всех этих делах все тонкости знаю, и тебе всё приданое дадут, и ты — богач с карьерой!

У меня хоть и кружилась голова, но я с изумлением смотрел на Ламберта. Он был серьезен, то есть не то что серьезен, но в возможность женить меня, я видел ясно, он и сам совсем верил и даже принимал идею с восторгом. Разумеется, я видел тоже, что он ловит меня, как мальчишку (наверное — видел тогда же); но мысль о браке с нею до того пронзила меня всего, что я хоть и удивлялся на Ламберта, как это он может верить в такую фантазию, но в то же время сам стремительно в нее уверовал, ни на миг не утрачивая, однако, сознания, что это, конечно, ни за что не может осуществиться. Как-то всё это уложилось вместе.

— Да разве это возможно? — пролепетал я.

— Зачем нет? Ты ей покажешь документ — она струсит и пойдет за тебя, чтобы не потерять деньги.

Я решился не останавливать Ламберта на его подлостях, потому что он до того простодушно выкладывал их предо мной, что даже и не подозревал, что я вдруг могу возмутиться; но я промямлил, однако, что не хотел бы жениться только силой.

— Я ни за что не захочу силой; как ты можешь быть так подл, чтобы предположить во мне это?

— Эвона! Да она сама пойдет: это — не ты, а она сама испугается и пойдет. А пойдет она еще потому, что тебя любит, — спохватился Ламберт.

— Ты это врешь. Ты надо мной смеешься. Почему ты знаешь, что она меня любит?

— Непременно. Я знаю. И Анна Андреевна это полагает. Это я тебе серьезно и правду говорю, что Анна Андреевна полагает. И потом еще я расскажу тебе, когда придешь ко мне, одну вещь, и ты увидишь, что любит. Альфонсина была в Царском; она там тоже узнавала…

— Что ж она там могла узнать?

— А вот пойдем ко мне: она тебе расскажет сама, и тебе будет приятно. Да и чем ты хуже кого? Ты красив, ты воспитан…

— Да, я воспитан, — прошептал я, едва переводя дух. Сердце мое колотилось и, конечно, не от одного вина.

— Ты красив. Ты одет хорошо.

— Да, я одет хорошо.

— И ты добрый…

— Да, я добрый.

— Почему же ей не согласиться? А Бьоринг все-таки не возьмет без денег, а ты можешь ее лишить денег — вот она и испугается; ты женишься и тем отмстишь Бьорингу. Ведь ты мне сам тогда в ту ночь говорил, после морозу, что она в тебя влюблена.

— Я тебе это разве говорил? Я, верно, не так говорил.

— Нет, так.

— Это я в бреду. Верно, я тебе тогда и про документ сказал?

— Да, ты сказал, что у тебя есть такое письмо; я и подумал: как же он, коли есть такое письмо, свое теряет?

— Это всё — фантазия, и я вовсе не так глуп, чтобы этому поверить, — бормотал я. — Во-первых, разница в летах, а во-вторых, у меня нет никакой фамилии.

— Да уж пойдет; нельзя не пойти, когда столько денег пропадет, — это я устрою. А к тому ж тебя любит. Ты знаешь, этот старый князь к тебе совсем расположен; ты чрез его покровительство знаешь какие связи можешь завязать; а что до того, что у тебя нет фамилии, так нынче этого ничего не надо: раз ты тяпнешь деньги — и пойдешь, и пойдешь, и чрез десять лет будешь таким миллионером, что вся Россия затрещит, так какое тебе тогда надо имя? В Австрии можно барона купить. А как женишься, тогда в руки возьми. Надо их хорошенько. Женщина, если полюбит, то любит, чтобы ее в кулаке держать. Женщина любит в мужчине характер. А ты как испугаешь ее письмом, то с того часа и покажешь ей характер. «А, скажет, он такой молодой, а у него есть характер».

Я сидел как ошалелый. Ни с кем другим никогда я бы не упал до такого глупого разговора. Но тут какая-то сладостная жажда тянула вести его. К тому же Ламберт был так глуп и подл, что стыдиться его нельзя было.

— Нет, знаешь, Ламберт, — вдруг сказал я, — как хочешь, а тут много вздору; я потому с тобой говорил, что мы товарищи и нам нечего стыдиться; но с другим я бы ни за что не унизился. И, главное, почему ты так утверждаешь, что она меня любит? Это ты хорошо сейчас сказал про капитал; но видишь, Ламберт, ты не знаешь высшего света: у них

всё это на самых патриархальных, родовых, так сказать, отношениях, так что теперь, пока она еще не знает моих способностей и до чего я в жизни могу достигнуть — ей все-таки теперь будет стыдно. Но я не скрою от тебя, Ламберт, что тут действительно есть один пункт, который может подать надежду. Видишь: она может за меня выйти из благодарности, потому что я ее избавлю тогда от ненависти одного человека. А она его боится, этого человека.

— Ах, ты это про твоего отца? А что, он очень ее любит? — с необыкновенным любопытством встрепенулся вдруг Ламберт.

— О нет! — вскричал я, — и как ты страшен и в то же время глуп, Ламберт! Ну мог ли бы я, если б он любил ее, хотеть тут жениться? Ведь все-таки — сын и отец, это ведь уж стыдно будет. Он маму любит, маму, и я видел, как он обнимал ее, и я прежде сам думал, что он любит Катерину Николаевну, но теперь узнал ясно, что он, может, ее когда-то любил, но теперь давно ненавидит… и хочет мстить, и она боится, потому что я тебе скажу, Ламберт, он ужасно страшен, когда начнет мстить. Он почти сумасшедшим становится. Он когда на нее злится, то на всё лезет. Это вражда в старом роде из-за возвышенных принципов. В наше время — наплевать на все общие принципы; в наше время не общие принципы, а одни только частные случаи. Ах, Ламберт, ты ничего не понимаешь: ты глуп, как палец; я говорю тебе теперь об этих принципах, а ты, верно, ничего не понимаешь. Ты ужасно необразован. Помнишь, ты меня бил? Я теперь сильнее тебя — знаешь ты это?

— Аркашка, пойдем ко мне! Мы просидим вечер и выпьем еще одну бутылку, а Альфонсина споет с гитарой.

— Нет, не пойду. Слушай, Ламберт, у меня есть «идея». Если не удастся и не женюсь, то я уйду в идею; а у тебя нет идеи.

— Хорошо, хорошо, ты расскажешь, пойдем.

— Не пойду! — встал я, — не хочу и не пойду. Я к тебе приду, но ты — подлец. Я тебе дам тридцать тысяч — пусть, но я тебя чище и выше… Я ведь вижу, что ты меня обмануть во всем хочешь. А об ней я запрещаю тебе даже и думать: она выше всех, и твои планы — это такая низость, что я даже удивляюсь тебе, Ламберт. Я жениться хочу — это дело другое, но мне не надобен капитал, я презираю капитал. Я сам не возьму, если б она давала мне свой капитал на коленях… А жениться, жениться, это — дело другое. И знаешь, это ты хорошо сказал, чтобы в кулаке держать. Любить, страстно любить, со всем великодушием,

какое в мужчине и какого никогда не может быть в женщине, но и деспотировать — это хорошо. Потому что, знаешь что, Ламберт, — женщина любит деспотизм. Ты, Ламберт, женщину знаешь. Но ты удивительно глуп во всем остальном. И, знаешь, Ламберт, ты не совсем такой мерзкий, как кажешься, ты — простой. Я тебя люблю. Ах, Ламберт, зачем ты такой плут? Тог да бы мы так весело стали жить! Знаешь, Тришатов — милый.

Все эти последние бессвязные фразы я пролепетал уже на улице. О, я всё это припоминаю до мелочи, чтоб читатель видел, что, при всех восторгах и при всех клятвах и обещаниях возродиться к лучшему и искать благообразия, я мог тогда так легко упасть и в такую грязь! И клянусь, если б я не уверен был вполне и совершенно, что теперь я уже совсем не тот и что уже выработал себе характер практическою жизнью, то я бы ни за что не признался во всем этом читателю.

Мы вышли из лавки, и Ламберт меня поддерживал, слегка обнявши рукой. Вдруг я посмотрел на него и увидел почти то же самое выражение его пристального, разглядывающего, страшно внимательного и в высшей степени трезвого взгляда, как и тогда, в то утро, когда я замерзал и когда он вел меня, точно так же обняв рукой, к извозчику и вслушивался, и ушами и глазами, в мой бессвязный лепет. У пьянеющих людей, но еще не опьяневших совсем, бывают вдруг мгновения самого полного отрезвления.

— Ни за что к тебе не пойду! — твердо и связно проговорил я, насмешливо смотря на него и отстраняя его рукой.

— Ну, полно, я велю Альфонсине чаю, полно!

Он ужасно был уверен, что я не вырвусь; он обнимал и придерживал меня с наслаждением, как жертвочку, а уж я-то, конечно, был ему нужен, именно в тот вечер и в таком состоянии! Потом это всё объяснится — зачем.

— Не пойду! — повторил я. — Извозчик!

Как раз подскочил извозчик, и я прыгнул в сани.

— Куда ты? Что ты! — завопил Ламберт, в ужаснейшем страхе, хватая меня за шубу.

— И не смей за мной! — вскричал я, — не догоняй. — В этот миг как раз тронул извозчик, и шуба моя вырвалась из рук Ламберта.

— Всё равно придешь! — закричал он мне вслед злым голосом.

— Приду, коль захочу, — моя воля! — обернулся я к нему из саней.

II

Он не преследовал, конечно, потому, что под рукой не случилось другого извозчика, и я успел скрыться из глаз его. Я же доехал лишь до Сенной, а там встал и отпустил сани. Мне ужасно захотелось пройтись пешком. Ни усталости, ни большой опьянелости я не чувствовал, а была лишь одна только бодрость; был прилив сил, была необыкновенная способность на всякое предприятие и бесчисленные приятные мысли в голове.

Сердце усиленно и веско билось — я слышал каждый удар. И всё так мне было мило, всё так легко. Проходя мимо гауптвахты* на Сенной, мне ужасно захотелось подойти к часовому и поцеловаться с ним. Была оттепель, площадь почернела и запахла, но мне очень нравилась и площадь.

«Я теперь на Обуховский проспект, — думал я, — а потом поверну налево и выйду в Семеновский полк, сделаю крюку, это прекрасно, всё прекрасно. Шуба у меня нараспашку — а что ж ее никто не снимает, где ж воры? На Сенной, говорят, воры; пусть подойдут, я, может, и отдам им шубу. На что мне шуба? Шуба — собственность. La propriété c'est le vol.*[105] А впрочем, какой вздор и как всё хорошо. Это хорошо, что оттепель. Зачем мороз? Совсем не надо морозу. Хорошо и вздор нести. Что, бишь, я сказал Ламберту про принципы? Я сказал, что нет общих принципов, а есть только частные случаи; это я соврал, архисоврал! И нарочно, чтоб пофорсить. Стыдно немножко, а впрочем — ничего, заглажу. Не стыдитесь, не терзайте себя, Аркадий Макарович. Аркадий Макарович, вы мне нравитесь. Вы мне очень даже нравитесь, молодой мой друг. Жаль, что вы — маленький плутишка… и… и… ах да… ах!»

Я вдруг остановился, и всё сердце мое опять заныло в упоении:

«Господи! Что это он сказал? Он сказал, что она — меня любит. О, он — мошенник, он много тут налгал; это для того, чтоб я к нему поехал ночевать. А может, и нет. Он сказал, что и Анна Андреевна так думает… Ба! Да ему могла и Настасья Егоровна тут что-нибудь разузнать: та везде шныряет. И зачем я не поехал к нему? я бы всё узнал! Гм! у него план, и я всё это до последней черты предчувствовал. Сон. Широко задумано, господин Ламберт, только врете вы, не так это будет. А может, и так! А может, и так! И разве он может женить меня?

А может, и может. Он наивен и верит. Он глуп и дерзок, как все деловые люди. Глупость и дерзость, соединясь вместе, — великая сила. А признайтесь, что вы таки боялись Ламберта, Аркадий Макарович! И на что ему честные люди? Так серьезно и говорит: ни одного здесь честного человека! Да ты-то сам — кто? Э, что ж я! Разве честные люди подлецам не нужны? В плутовстве честные люди еще пуще, чем везде, нужны. Ха-ха! Этого только вы не знали до сих пор, Аркадий Макарович, с вашей полной невинностью. Господи! Что, если он вправду женит меня?»

Я опять приостановился. Я должен здесь признаться в одной глупости (так как это уже давно прошло), я должен признаться, что я уже давно пред тем хотел жениться — то есть не хотел и этого бы никогда не случилось (да и не случится впредь, даю слово), но я уже не раз и давно уже перед тем мечтал о том, как хорошо бы жениться — то есть ужасно много раз, особенно засыпая, каждый раз на ночь. Это началось у меня еще по шестнадцатому году. У меня был в гимназии товарищ, ровесник мне, Лавровский — и такой милый, тихий, хорошенький мальчик, впрочем ничем другим не отличавшийся. Я с ним никогда почти не разговаривал. Вдруг мы как-то сидели рядом одни, и он был очень задумчив, и вдруг он мне: «Ах, Долгорукий, как вы думаете, вот бы теперь жениться; право, когда ж и жениться, как не теперь; теперь бы самое лучшее время, и, однако, никак нельзя!» И так он откровенно это сказал. И я вдруг всем сердцем с этим согласился, потому что сам уж грезил о чем-то. Потом мы несколько дней сряду сходились и всё об этом говорили, как бы в секрете, впрочем только об этом. А потом, не знаю, как это произошло, но мы разошлись и перестали говорить. Вот с тех-то пор я и стал мечтать. Об этом, конечно, не стоило бы вспоминать, но мне хотелось только указать, как это издалека иногда идет…

«Тут одно только серьезное возражение, — всё мечтал я, продолжая идти. — О, конечно, ничтожная разница в наших летах не составит препятствия, но вот что: она — такая аристократка, а я — просто Долгорукий! Страшно скверно! Гм! Версилов разве не мог бы, женясь на маме, просить правительство о позволении усыновить меня… за заслуги, так сказать, отца… Он ведь служил, стало быть, были и заслуги; он был мировым посредником… О, черт возьми, какая гадость!»

Я вдруг воскликнул это и вдруг, в третий раз, остановился, но уже как бы раздавленный на месте. Всё мучительное чувство унижения от сознания, что я мог пожелать такого позору, как перемена фамилии усыновлением, эта измена всему моему детству — всё это почти в один миг уничтожило всё прежнее расположение, и вся радость моя разлетелась как дым. «Нет, этого я никому не перескажу, — подумал я, страшно покраснев, — это я потому так унизился, что я… влюблен и глуп. Нет, если в чем прав Ламберт, так в том, что нынче всех этих дурачеств не требуется вовсе, а что нынче в наш век главное — сам человек, а потом его деньги. То есть не деньги, а его могущество. С таким капиталом я брошусь в „идею“, и вся Россия затрещит через десять лет, и я всем отомщу. А с ней церемониться нечего, тут опять прав Ламберт. Струсит и просто пойдет. Простейшим и пошлейшим образом согласится и пойдет. „Ты не знаешь, ты не знаешь, в каком это чулане происходило!“ — припоминались мне давешние слова Ламберта. И это так, — подтверждал я, — Ламберт прав во всем, в тысячу раз правее меня, и Версилова, и всех этих идеалистов! Он — реалист. Она увидит, что у меня есть характер, и скажет: „А у него есть характер!“ Ламберт — подлец, и ему только бы тридцать тысяч с меня сорвать, а все-таки он у меня один только друг и есть. Другой дружбы нет и не может быть, это всё выдумали непрактические люди. А ее я даже и не унижаю; разве я ее унижаю? Ничуть: все женщины таковы! Женщина разве бывает без подлости? Потому-то над ней и нужен мужчина, потому-то она и создана существом подчиненным. Женщина — порок и соблазн, а мужчина — благородство и великодушие. Так и будет во веки веков. А что я собираюсь употребить „документ“ — так это ничего. Это не помешает ни благородству, ни великодушию. Шиллеров в чистом состоянии не бывает — их выдумали. Ничего, коль с грязнотцой, если цель великолепна! Потом всё омоется, всё загладится. А теперь это — только широкость, это — только жизнь, это — только жизненная правда — вот как это теперь называется!»

О, опять повторю: да простят мне, что я привожу весь этот тогдашний хмельной бред до последней строчки. Конечно, это только эссенция тогдашних мыслей, но, мне кажется, я этими самыми словами и говорил. Я должен был привести их, потому что я сел писать, чтоб судить себя. А что же судить, как не это? Разве в жизни может быть что-нибудь серьезнее? Вино же не оправдывало. In vino veritas[*].[106]

Так мечтая и весь закопавшись в фантазию, я и не заметил, что дошел наконец до дому, то есть до маминой квартиры. Даже не заметил, как вошел в квартиру; но только что я вступил в нашу крошечную переднюю, как уже сразу понял, что у нас произошло нечто необычайное. В комнатах говорили громко, вскрикивали, а мама, слышно было, плакала. В дверях меня чуть не сбила с ног Лукерья, стремительно пробежавшая из комнаты Макара Ивановича в кухню. Я сбросил шубу и вошел к Макару Ивановичу, потому что там все столпились.

Там стояли Версилов и мама. Мама лежала у него в объятиях, а он крепко прижимал ее к сердцу. Макар Иванович сидел, по обыкновению, на своей скамеечке, но как бы в каком-то бессилии, так что Лиза с усилием придерживала его руками за плечо, чтобы он не упал; и даже ясно было, что он всё клонится, чтобы упасть. Я стремительно шагнул ближе, вздрогнул и догадался: старик был мертв.

Он только что умер, за минуту какую-нибудь до моего прихода. За десять минут он еще чувствовал себя как всегда. С ним была тогда одна Лиза; она сидела у него и рассказывала ему о своем горе, а он, как вчера, гладил ее по голове. Вдруг он весь затрепетал (рассказывала Лиза), хотел было привстать, хотел было вскрикнуть и молча стал падать на левую сторону. «Разрыв сердца!» — говорил Версилов. Лиза закричала на весь дом, и вот тут-то они все и сбежались — и всё это за минуту какую-нибудь до моего прихода.

— Аркадий! — крикнул мне Версилов, — мигом беги к Татьяне Павловне. Она непременно должна быть дома. Проси немедленно. Возьми извозчика. Скорей, умоляю тебя!

Его глаза сверкали — это я ясно помню. В лице его я не заметил чего-нибудь вроде чистой жалости, слез — плакали лишь мама, Лиза да Лукерья. Напротив, и это я очень хорошо запомнил, в лице его поражало какое-то необыкновенное возбуждение, почти восторг. Я побежал за Татьяной Павловной.

Путь, как известно из прежнего, тут не длинный. Я извозчика не взял, а пробежал всю дорогу не останавливаясь. В уме моем было смутно и даже тоже почти что-то восторженное. Я понимал, что совершилось нечто радикальное. Опьянение же совершенно исчезло во мне, до последней капли, а вместе с ним и все неблагородные мысли, когда я позвонил к Татьяне Павловне.

Чухонка отперла: «Нет дома!» — и хотела тотчас запереть.

— Как нет дома? — ворвался я в переднюю силой, — да быть же не может! Макар Иванович умер!

— Что-о! — раздался вдруг крик Татьяны Павловны сквозь запертую дверь в ее гостиную.

— Умер! Макар Иванович умер! Андрей Петрович просит вас сию минуту прийти!

— Да ты врешь!..

Задвижка щелкнула, но дверь отворилась только на вершок: «Что такое, рассказывай!»

— Я сам не знаю, я только что пришел, а он уже мертв. Андрей Петрович говорит: разрыв сердца!

— Сейчас, сию минуту. Беги, скажи, что буду: ступай же, ступай же, ступай! Ну, чего еще стал?

Но я ясно видел сквозь приотворенную дверь, что кто-то вдруг вышел из-за портьеры, за которой помещалась кровать Татьяны Павловны, и стал в глубине комнаты, за Татьяной Павловной. Машинально, инстинктивно я схватился за замок и уже не дал затворить дверь.

— Аркадий Макарович! Неужели правда, что он умер? — раздался знакомый мне тихий, плавный, металлический голос, от которого всё так и задрожало в душе моей разом: в вопросе слышалось что-то проникнувшее и взволновавшее *ее* душу.

— А коли так, — бросила вдруг дверь Татьяна Павловна, — коли так — так и улаживайтесь, как хотите, сами. Сами захотели!

Она стремительно выбежала из квартиры, накидывая на бегу платок и шубку, и пустилась по лестнице. Мы остались одни. Я сбросил шубу, шагнул и затворил за собою дверь. Она стояла предо мной как тогда, в то свидание, с светлым лицом, с светлым взглядом, и, как тогда, протягивала мне обе руки. Меня точно подкосило, и я буквально упал к ее ногам.

III

Я начал было плакать, не знаю с чего; не помню, как она усадила меня подле себя, помню только, в бесценном воспоминании моем, как

мы сидели рядом, рука в руку, и стремительно разговаривали: она расспрашивала про старика и про смерть его, а я ей об нем рассказывал — так что можно было подумать, что я плакал о Макаре Ивановиче, тогда как это было бы верх нелепости; и я знаю, что она ни за что бы не могла предположить во мне такой совсем уж малолетней пошлости. Наконец я вдруг спохватился, и мне стало стыдно. Теперь я полагаю, что плакал тогда единственно от восторга, и думаю, что она это очень хорошо поняла сама, так что насчет этого воспоминания я спокоен.

Мне вдруг показалось очень странным, что она всё так расспрашивала про Макара Ивановича.

— Да вы разве знали его? — спросил я в удивлении.

— Давно. Я его никогда не видала, но в жизни моей он тоже играл роль. Мне много передавал о нем в свое время тот человек, которого я боюсь. Вы знаете — какой человек.

— Я только знаю теперь, что «тот человек» гораздо был ближе к душе вашей, чем вы это мне прежде открыли, — сказал я, сам не зная, что хотел этим выразить, но как бы с укоризной и весь нахмурясь.

— Вы говорите, он целовал сейчас вашу мать? Обнимал ее? Вы это видели сами? — не слушала она меня и продолжала расспрашивать.

— Да, видел; и поверьте, всё это было в высшей степени искренно и великодушно! — поспешил я подтвердить, видя ее радость.

— Дай ему бог! — перекрестилась она. — Теперь он развязан. Этот прекрасный старик только связывал его жизнь. Со смертью его в нем опять воскреснет долг и… достоинство, как воскресали уже раз. О, он прежде всего — великодушный, он успокоит сердце вашей матери, которую любит больше всего на земле, и успокоится наконец сам, да и, слава богу, — пора.

— Он вам очень дорог?

— Да, очень дорог, хотя и не в том смысле, в каком бы он сам желал и в каком вы спрашиваете.

— Да вы теперь-то за него или за себя боитесь? — спросил я вдруг.

— Ну, это — мудреные вопросы, оставим их.

— Оставим конечно; только ничего я этого не знал, слишком многого, может быть; но пусть, вы правы, теперь всё по-новому, и если кто воскрес, то я первый. Я перед вами низок мыслями, Катерина Николаевна, и, может быть, не более часу назад я совершил низость против вас и делом, но знайте, я вот сижу подле вас и не чувствую

никакого угрызения. Потому что всё теперь исчезло и всё по-новому, а того человека, который час назад замышлял против вас низость, я не знаю и знать не хочу!

— Очнитесь, — улыбнулась она, — вы как будто немножко в бреду.

— И разве можно судить себя подле вас?.. — продолжал я, — будь честный, будь низкий — вы всё равно, как солнце, недосягаемы… Скажите, как это вы могли выйти ко мне, после всего, что было? Да если б вы знали, что было час назад, только час? И какой сон сбылся?

— Всё, должно быть, знаю, — тихо улыбнулась она, — вы только что хотели мне в чем-нибудь отмстить, поклялись меня погубить и наверно убили бы или прибили тут же всякого, который осмелился бы сказать обо мне при вас хоть одно худое слово.

О, она улыбалась и шутила; но это лишь по чрезмерной ее доброте, потому что вся душа ее в ту минуту была полна, как сообразил я после, такой собственной огромной заботы и такого сильного и могущественного ощущения, что разговаривать со мной и отвечать на мои пустенькие, раздражительные вопросы она могла лишь вроде как когда отвечают маленькому ребенку на какой-нибудь его детский неотвязный вопрос, чтоб отвязаться. Я это вдруг понял, и мне стало стыдно, но я уже не мог отвязаться.

— Нет, — вскричал я, не владея собой, — нет, я не убил того, который говорил об вас худо, а напротив, я же его и поддержал!

— О, ради бога, не надо, не нужно, не рассказывайте ничего, — протянула она вдруг руку, чтобы остановить меня, и даже с каким-то страданием в лице, но я уже вскочил с места и стал перед нею, чтоб высказать всё, и, если б высказал, не случилось бы того, что вышло после, потому что наверно кончилось бы тем, что я бы сознался во всем и возвратил ей документ. Но она вдруг засмеялась:

— Не надо, не надо ничего, никаких подробностей! все ваши преступления я сама знаю: бьюсь об заклад, вы хотели на мне жениться, или вроде того, и только что сговаривались об этом с каким-нибудь из ваших помощников, ваших прежних школьных друзей… Ах, да ведь я, кажется, угадала! — вскричала она, серьезно всматриваясь в мое лицо.

— Как… как вы могли угадать? — пролепетал было я, как дурак, страшно пораженный.

— Ну вот еще! Но довольно, довольно! я вам прощаю, только

перестаньте об этом, — махнула она опять рукой, уже с видимым нетерпением. — Я — сама мечтательница, и если б вы знали, к каким средствам в мечтах прибегаю в минуты, когда во мне удержу нет! Довольно, вы меня всё сбиваете. Я очень рада, что Татьяна Павловна ушла; мне очень хотелось вас видеть, а при ней нельзя было бы так, как теперь, говорить. Мне кажется, я перед вами виновата в том, что тогда случилось. Да? Ведь да?

— Вы виноваты? Но тогда я предал вас *ему*, и — что могли вы обо мне подумать! Я об этом думал всё это время, все эти дни, с тех пор, каждую минуту, думал и ощущал. (Я ей не солгал).

— Напрасно так себя мучили, я тогда же слишком поняла, как это всё вышло; просто вы проговорились ему тогда в радости, что в меня влюблены и что я… ну, и что я вас слушаю. На то вам и двадцать лет. Ведь вы его любите больше всего мира, ищете в нем друга, идеал? Я слишком это поняла, но уже было поздно; о да, я сама была тогда виновата: мне надо было вас позвать тогда же и вас успокоить, но мне стало досадно; и я попросила не принимать вас в дом; вот и вышла та сцена у подъезда, а потом та ночь. И знаете, я всё это время, как и вы, мечтала с вами увидеться потихоньку, только не знала, как бы это устроить. И как вы думаете, чего я боялась больше всего? Того, что вы поверите его наговорам обо мне.

— Никогда! — вскричал я.

— Я ценю наши бывшие встречи; мне в вас дорог юноша, и даже, может быть, эта самая искренность… Я ведь — пресерьезный характер. Я — самый серьезный и нахмуренный характер из всех современных женщин, знайте это… ха-ха-ха! Мы еще наговоримся, а теперь я немного не по себе, я взволнована и… кажется, у меня истерика. Но наконец-то, наконец-то даст *он* и мне жить на свете!

Это восклицание вырвалось нечаянно; я это тотчас понял и не захотел подымать, но я весь задрожал.

— Он знает, что я простила ему! — воскликнула она вдруг опять, как бы сама с собою.

— Неужели вы могли простить ему то письмо? И как он мог бы узнать про то, что вы ему простили? — воскликнул я, уже не сдержавшись.

— Как он узнал? О, он знает, — продолжала она отвечать мне, но с таким видом, как будто и забыв про меня и точно говоря с собою. — Он

теперь очнулся. Да и как ему не знать, что я его простила, коли он знает наизусть мою душу? Ведь знает же он, что я сама немножко в его роде.

— Вы?

— Ну да, это ему известно. О, я — не страстная, я — спокойная: но я тоже хотела бы, как и он, чтоб все были хороши… Ведь полюбил же он меня за что-нибудь.

— Как же он говорил, что в вас все пороки?

— Это он только говорил; у него про себя есть другой секрет. А не правда ли, что письмо свое он ужасно смешно написал?

— Смешно?! (Я слушал ее из всех сил; полагаю, что действительно она была как в истерике и… высказывалась, может быть, вовсе не для меня; но я не мог удержаться, чтоб не расспрашивать).

— О да, смешно, и как бы я смеялась, если б… если б не боялась. Я, впрочем, не такая уж трусиха, не подумайте; но от этого письма я ту ночь не спала, оно писано как бы какою-то больною кровью… и после такого письма что ж еще остается? Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна… Ах, послушайте! — вскинулась она вдруг, — ступайте к нему! Он теперь один, он не может быть всё там, и наверно ушел куда-нибудь один: отыщите его скорей, непременно скорей, бегите к нему, покажите, что вы — любящий сын его, докажите, что вы — милый, добрый мальчик, мой студент, которого я… О, дай вам бог счастья! Я никого не люблю, да это и лучше; но я желаю всем счастья, всем, и ему первому, и пусть он узнает про это… даже сейчас же, мне было бы очень приятно…

Она встала и вдруг исчезла за портьеру; на лице ее в то мгновение блистали слезы (истерические, после смеха). Я остался один, взволнованный и смущенный. Положительно я не знал, чему приписать такое в ней волнение, которого я никогда бы в ней и не предположил. Что-то как бы сжалось в моем сердце.

Я прождал пять минут, наконец — десять; глубокая тишина вдруг поразила меня, и я решился выглянуть из дверей и окликнуть. На мой оклик появилась Марья и объявила мне самым спокойным тоном, что барыня давным-давно оделась и вышла через черный ход.

Глава седьмая

I

Этого только недоставало. Я захватил мою шубу и, накидывая ее на ходу, побежал вон с мыслью: «Она велела идти к нему, а где я его достану?»

Но, мимо всего другого, я поражен был вопросом: «Почему она думает, что теперь что-то настало и что он даст ей покой? Конечно — потому, что он женится на маме, но что ж она? Радуется ли тому, что он женится на маме, или, напротив, она оттого и несчастна? Оттого-то и в истерике? Почему я этого не могу разрешить?»

Отмечаю эту вторую мелькнувшую тогда мысль буквально, для памяти: она — важная. Этот вечер был роковой. И вот, пожалуй, поневоле поверишь предопределению: не прошел я и ста шагов по направлению к маминой квартире, как вдруг столкнулся с тем, кого искал. Он схватил меня за плечо и остановил.

— Это — ты! — вскрикнул он радостно и в то же время как бы в величайшем удивлении. — Вообрази, я был у тебя, — быстро заговорил он, — искал тебя, спрашивал тебя — ты мне нужен теперь один только во всей вселенной! Твой чиновник врал мне бог знает что; но тебя не было, и я ушел, даже забыв попросить передать тебе, чтоб ты немедля ко мне прибежал — и что же? я все-таки шел в непоколебимой уверенности, что судьба не может не послать тебя теперь, когда ты мне всего нужнее, и вот ты первый и встречаешься! Идем ко мне: ты никогда не бывал у меня.

Одним словом, мы оба друг друга искали, и с нами, с каждым, случилось как бы нечто схожее. Мы пошли очень торопясь.

Дорогой он промолвил лишь несколько коротеньких фраз о том, что оставил маму с Татьяной Павловной, и проч. Он вел меня, держа за руку. Жил он от тех мест недалеко, и мы скоро пришли. Я действительно никогда еще у него не бывал. Это была небольшая квартира в три комнаты, которую он нанимал (или, вернее, нанимала Татьяна Павловна) единственно для того «грудного ребенка». Квартира эта и прежде всегда была под надзором Татьяны Павловны, и в ней помещалась нянька с ребенком (а теперь и Настасья Егоровна); но всегда была и комната для Версилова, именно — первая, входная, довольно просторная и довольно хорошо и мягко меблированная, вроде кабинета для книжных и письменных занятий. Действительно, на столе,

в шкафу и на этажерках было много книг (которых в маминой квартире почти совсем не было); были исписанные бумаги, были связанные пачки с письмами — одним словом, всё глядело как давно уже обжитой угол, и я знаю, что Версилов и прежде (хотя и довольно редко) переселялся по временам на эту квартиру совсем и оставался в ней даже по целым неделям. Первое, что остановило мое внимание, был висевший над письменным столом, в великолепной резной дорогого дерева раме, мамин портрет — фотография, снятая, конечно, за границей, и, судя по необыкновенному размеру ее, очень дорогая вещь. Я не знал и ничего не слыхал об этом портрете прежде, и что, главное, поразило меня — это необыкновенное в фотографии сходство, так сказать, духовное сходство, — одним словом, как будто это был настоящий портрет из руки художника, а не механический оттиск. Я, как вошел, тотчас же и невольно остановился перед ним.

— Не правда ли? не правда ли? — повторил вдруг надо мной Версилов.

То есть «не правда ли, как похож?» Я оглянулся на него и был поражен выражением его лица. Он был несколько бледен, но с горячим, напряженным взглядом, сиявшим как бы счастием и силой: такого выражения я еще не знал у него вовсе.

— Я не знал, что вы так любите маму! — отрезал я вдруг сам в восторге.

Он блаженно, улыбнулся, хотя в улыбке его и отразилось как бы что-то страдальческое или, лучше сказать, что-то гуманное, высшее… не умею я этого высказать; но высокоразвитые люди, как мне кажется, не могут иметь торжественно и победоносно счастливых лиц. Не ответив мне, он снял портрет с колец обеими руками, приблизил к себе, поцеловал его, затем тихо повесил опять на стену.

— Заметь, — сказал он, — фотографические снимки чрезвычайно редко выходят похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же застает человека как есть, и весьма возможно, что Наполеон, в иную минуту, вышел бы глупым, а Бисмарк — нежным. Здесь же, в этом портрете, солнце, как нарочно,

застало Соню в ее главном мгновении — стыдливой, кроткой любви и несколько дикого, пугливого ее целомудрия. Да и счастлива же как была она тогда, когда наконец убедилась, что я так жажду иметь ее портрет! Этот снимок сделан хоть и не так давно, а всё же она была тогда моложе и лучше собою; а между тем уж и тогда были эти впалые щеки, эти морщинки на лбу, эта пугливая робость взгляда, как бы нарастающая у ней теперь с годами — чем дальше, тем больше. Веришь ли, милый? я почти и представить теперь ее не могу с другим лицом, а ведь была же и она когда-то молода и прелестна! Русские женщины дурнеют быстро, красота их только мелькнет, и, право, это не от одних только этнографических особенностей типа, а и оттого еще, что они умеют любить беззаветно. Русская женщина всё разом отдает, коль полюбит, — и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономничать не умеют, про запас не прячут, и красота их быстро уходит в того, кого любят. Эти впалые щеки — это тоже в меня ушедшая красота, в мою коротенькую потеху. Ты рад, что я любил твою маму, и даже не верил, может быть, что я любил ее? Да, друг мой, я ее очень любил, но, кроме зла, ей ничего не сделал… Вот тут еще есть и другой портрет— посмотри и на него.

Он взял со стола и мне подал. Это тоже была фотография, несравненно меньшего размера, в тоненьком, овальном, деревянном ободочке — лицо девушки, худое и чахоточное и, при всем том, прекрасное; задумчивое и в то же время до странности лишенное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие болезненное впечатление: похоже было на то, что существом этим вдруг овладела какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.

— Это… это — та девушка, на которой вы хотели там жениться и которая умерла в чахотке… *ее* падчерица? — проговорил я несколько робко.

— Да, хотел жениться, умерла в чахотке, *ее* падчерица. Я знал, что ты знаешь… все эти сплетни. Впрочем, кроме сплетен, ты тут ничего и не мог бы узнать. Оставь портрет, мой друг, это бедная сумасшедшая и ничего больше.

— Совсем сумасшедшая?

— Или идиотка; впрочем, я думаю, что и сумасшедшая. У нее был ребенок от князя Сергея Петровича (по сумасшествию, а не по любви;

это — один из подлейших поступков князя Сергея Петровича); ребенок теперь здесь, в той комнате, и я давно хотел тебе показать его. Князь Сергей Петрович не смел сюда приходить и смотреть на ребенка; это был мой с ним уговор еще за границей. Я взял его к себе, с позволения твоей мамы. С позволения твоей мамы хотел тогда и жениться на этой… несчастной…

— Разве такое позволение возможно? — промолвил я с горячностью.

— О да! она мне позволила: ревнуют к женщинам, а это была не женщина.

— Не женщина для всех, кроме мамы! В жизнь не поверю, чтоб мама не ревновала! — вскричал я.

— И ты прав. Я догадался о том, когда уже было всё кончено, то есть когда она дала позволение. Но оставь об этом. Дело не сладилось за смертью Лидии, да, может, если б и осталась в живых, то не сладилось бы, а маму я и теперь не пускаю к ребенку. Это — лишь эпизод. Милый мой, я давно тебя ждал сюда. Я давно мечтал, как мы здесь сойдемся; знаешь ли, как давно? — уже два года мечтал.

Он искренно и правдиво посмотрел на меня, с беззаветною горячностью сердца. Я схватил его за руку:

— Зачем вы медлили, зачем давно не звали? Если б вы знали, что было… и чего бы не было, если б давно меня кликнули!..

В это мгновение внесли самовар, а Настасья Егоровна вдруг внесла ребенка, спящего.

— Посмотри на него, — сказал Версилов, — я его люблю и велел принести теперь нарочно, чтоб ты тоже посмотрел на него. Ну, и унесите его опять, Настасья Егоровна. Садись к самовару. Я буду воображать, что мы вечно с тобой так жили и каждый вечер сходились, не разлучаясь. Дай мне посмотреть на тебя: сядь вот так, чтоб я твое лицо видел. Как я его люблю, твое лицо! Как я воображал себе твое лицо, еще когда ждал тебя из Москвы! Ты спрашиваешь: зачем давно за тобой не послал? Подожди, это ты, может быть, и поймешь теперь.

— Но неужели только смерть этого старика вам теперь развязала язык? это странно…

Но если я и вымолвил это, то смотрел я с любовью. Говорили мы как два друга, в высшем и полном смысле слова. Он привел меня сюда, чтобы что-то мне выяснить, рассказать, оправдать; а между тем уже всё

было, раньше слов, разъяснено и оправдано. Что бы я ни услышал от него теперь — результат уже был достигнут, и мы оба со счастием знали про это и так и смотрели друг на друга.

— Не то что смерть этого старика, — ответил он, — не одна смерть; есть и другое, что попало теперь в одну точку… Да благословит бог это мгновение и нашу жизнь, впредь и надолго! Милый мой, поговорим. Я всё разбиваюсь, развлекаюсь, хочу говорить об одном, а ударяюсь в тысячу боковых подробностей. Это всегда бывает, когда сердце полно… Но поговорим; время пришло, а я давно влюблен в тебя, мальчик…

Он откинулся в своих креслах и еще раз оглядел меня.

— Как это странно! Как это странно слышать! — повторял я, утопая в восторге.

И вот, помню, в лице его вдруг мелькнула его обычная складка — как бы грусти и насмешки вместе, столь мне знакомая. Он скрепился и как бы с некоторою натугою начал.

II

Вот что, Аркадий: если б я и позвал тебя раньше, то что бы сказал тебе? В этом вопросе весь мой ответ.

— То есть вы хотите сказать, что вы теперь — мамин муж и мой отец, а тогда… Вы насчет социального положения не знали бы, что сказать мне прежде? Так ли?

— Не об одном этом, милый, не знал бы, что тебе сказать: тут о многом пришлось бы молчать. Тут даже многое смешно и унизительно тем, что похоже на фокус; право, на самый балаганный фокус. Ну где же прежде нам было бы понять друг друга, когда я и сам-то понял себя самого — лишь сегодня, в пять часов пополудни, ровно за два часа до смерти Макара Ивановича. Ты глядишь на меня с неприятным недоумением? Не беспокойся: я разъясню фокус; но то, что я сказал, вполне справедливо: вся жизнь в странствии и недоумениях, и вдруг — разрешение их такого-то числа, в пять часов пополудни! Даже обидно, не правда ли? В недавнюю еще старину я и впрямь бы обиделся.

Я слушал действительно с болезненным недоумением; сильно выступала прежняя версиловская складка, которую я не желал бы

встретить в тот вечер, после таких уже сказанных слов. Вдруг я воскликнул:

— Боже мой! Вы получили что-нибудь от нее… в пять часов, сегодня?

Он посмотрел на меня пристально и, видимо, пораженный моим восклицанием, а может, и выражением моим: «от нее».

— Ты всё узнаешь, — сказал он, с задумчивою улыб кой, — и, уж конечно, я, что надо, не потаю от тебя, потому что затем тебя и привел; но теперь пока это всё отложим. Видишь, друг мой, я давно уже знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я наметил этих задумывающихся еще с моей школы и заключил тогда, что всё это потому, что они слишком рано завидуют. Заметь, однако, что я и сам был из задумывающихся детей, но… извини, мой милый, я удивительно как рассеян. Я хотел только выразить, как постоянно я боялся здесь за тебя почти всё это время. Я всегда воображал тебя одним из тех маленьких, но сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей. Беда этим существам, оставленным на одни свои силы и грезы и с страстной, слишком ранней и почти мстительной жаждой благообразия, именно — «мстительной». Но довольно, милый: я опять уклонился… Я еще прежде, чем начал любить тебя, уже воображал тебя и твои уединенные, одичавшие мечты… Но довольно; я, собственно, забыл, о чем стал говорить. Впрочем, всё же надо было это высказать. А прежде, прежде что бы я мог тебе сказать? Теперь я вижу твой взгляд на мне и знаю, что на меня смотрит мой *сын*; а я ведь даже вчера еще не мог поверить, что буду когда-нибудь, как сегодня, сидеть и говорить с моим мальчиком.

Он действительно становился очень рассеян, а вместе с тем как бы чем-то растроган.

— Мне теперь не нужно мечтать и грезить, мне теперь довольно и вас! Я пойду за вами! — проговорил я, отдаваясь ему всей душой.

— За мной? А мои странствия как раз кончились и как раз сегодня: ты опоздал, мой милый. Сегодня — финал последнего акта, и занавес опускается. Этот последний акт долго длился. Начался он очень давно — тогда, когда я побежал в последний раз за границу. Я тогда бросил всё, и знай, мой милый, что я тогда разженился с твоей мамой и ей сам заявил про это. Это ты должен знать. Я объяснил ей тогда, что уезжаю

навек, что она меня больше никогда не увидит. Всего хуже, что я забыл даже оставить ей тогда денег. Об тебе тоже не подумал ни минуты. Я уехал с тем, чтоб остаться в Европе, мой милый, и не возвращаться домой никогда. Я эмигрировал.

— К Герцену? Участвовать в заграничной пропаганде? Вы, наверно, всю жизнь участвовали в каком-нибудь заговоре? — вскричал я, не сдерживаясь.

— Нет, мой друг, я ни в каком заговоре не участвовал. А у тебя так даже глаза засверкали; я люблю твои восклицания, мой милый. Нет, я просто уехал тогда от тоски, от внезапной тоски. Это была тоска русского дворянина — право, не умею лучше выразиться. Дворянская тоска и ничего больше.

— Крепостное право… освобождение народа? — пробормотал было я, задыхаясь.

— Крепостничество? Ты думаешь, я стосковался по крепостничеству? Не мог вынести освобождения народа? О нет, мой друг, да мы-то и были освободителями. Я эмигрировал без всякой злобы. Я только что был мировым посредником и бился из всех сил; бился бескорыстно и уехал даже и не потому, что мало получил за мой либерализм. Мы и все тогда ничего не получили, то есть опять-таки такие, как я. Я уехал скорее в гордости, чем в раскаянии, и, поверь тому, весьма далекий от мысли, что настало мне время кончить жизнь скромным сапожником. Je suis gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme![107] Но мне все-таки было грустно. Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действительно, может быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее. Мы — носители идеи, мой милый!.. Друг мой, я говорю в какой-то странной надежде, что ты поймешь всю эту белиберду. Я призвал тебя по капризу сердца: мне уже давно мечталось, как я что-нибудь скажу тебе… тебе, именно тебе! А впрочем… впрочем…

— Нет, говорите, — вскричал я, — я вижу на вашем лице опять искренность… Что же, Европа воскресила ли вас тогда? Да и что такое ваша «дворянская тоска»? Простите, голубчик, я еще не понимаю.

— Воскресила ли меня Европа? Но я сам тогда ехал ее хоронить!

— Хоронить? — повторил я в удивлении. Он улыбнулся.

— Друг Аркадий, теперь душа моя умилилась, и я возмутился духом. Я никогда не забуду моих тогдашних первых мгновений в

Европе. Я и прежде живал в Европе, но тогда было время особенное, и никогда я не въезжал туда с такою безотрадною грустью и… с такою любовью, как в то время. Я расскажу тебе одно из первых тогдашних впечатлений моих, один мой тогдашний сон, действительный сон. Это случилось еще в Германии. Я только что выехал из Дрездена и в рассеянности проехал станцию[*], с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня тотчас высадили; был третий час пополудни, день ясный. Это был маленький немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать: следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда особенно не спешил. Я скитался, друг мой, я скитался. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и обставлена клумбами цветов, как всегда у них. Мне дали тесную комнатку, и так как я всю ночь был в дороге, то и заснул после обеда, в четыре часа по полудни.

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал таких. В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу — «Асис и Галатея»; я же называл ее всегда «Золотым веком»[*], сам не знаю почему. Я уж и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось: точно так, как и в картине, — уголок Греческого архипелага, причем и время как бы перешло за три тысячи лет назад; голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми… О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей… Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть! И всё это ощущение я

как будто прожил в этом сне; скалы, и море, и косые лучи заходящего солнца — всё это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была всечеловеческая любовь. Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот — это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества! Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри[*]; я и без того знал, что всё прейдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли; но я, как русский европеец, не мог допустить того. Да, они только что сожгли тогда Тюильри[*]…О, не беспокойся, я знаю, что это было «логично», и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире: я скитался один. Не про себя лично я говорю — я про русскую мысль говорю. Там была брань и логика; там француз был всего только французом, а немец всего только немцем, и это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю; стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец своей Германии, как в то именно время! Тогда во всей Европе не было ни одного европейца! Только я один, между всеми петролейщиками[*], мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка; и только я один, между всеми консерваторами-отмстителями, мог сказать отмстителям, что Тюильри — хоть и преступление, но всё же логика. И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем.* Я не про себя говорю — я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой друг, я скитался и твердо знал, что мне надо молчать и скитаться. Но всё же мне было грустно. Я, мальчик мой, не могу не уважать моего дворянства. Ты, кажется, смеешься?

— Нет, не смеюсь, — проговорил я проникнутым голо сом, — вовсе не смеюсь: вы потрясли мое сердце вашим видением золотого века, и будьте уверены, что я начинаю вас понимать. Но более всего я

рад тому, что вы так себя уважаете. Я спешу вам заявить это. Никогда я не ожидал от вас этого!

— Я уже сказал тебе, что люблю твои восклицания, милый, — улыбнулся он опять на мое наивное восклицание и, встав с кресла, начал, не примечая того, ходить взад и вперед по комнате. Я тоже привстал. Он продолжал говорить своим странным языком, но с глубочайшим проникновением мыслью.

III

— Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало.

Я слушал с напряжением. Выступало убеждение, направление всей жизни. Эти «тысяча человек» так рельефно выдавали его! Я чувствовал, что экспансивность его со мной шла из какого-то внешнего потрясения. Он говорил мне все эти горячие речи, любя меня; но причина, почему он стал вдруг говорить и почему так пожелал именно со мной говорить, мне всё еще оставалась неизвестною.

— Я эмигрировал, — продолжал он, — и мне ничего было не жаль назади. Всё, что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока в ней был; выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею. Но, служа так, я служил ей гораздо больше, чем если б я был всего только русским, подобно тому как француз был тогда всего только французом, а немец — немцем. В Европе этого пока еще не поймут. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они несвободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен.

Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем лишь условием, что останется наиболее французом; равно — англичанин и немец. Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет — как нигде. Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. Я — пионер этой мысли. Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня так испугала, и даже не Тюильри, а всё, что должно последовать. Им еще долго суждено драться, потому что они — еще слишком немцы и слишком французы и не кончили свое дело еще в этих ролях. А до тех пор мне жаль разрушения. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милей, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! у них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями… Там консерватор всего только борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде, чем достигнуть царствия божия.

Признаюсь, я слушал в большом смущении: даже тон его речи пугал меня, хоть я не мог не поразиться мыслями. Я болезненно боялся лжи. Вдруг я заметил ему строгим голосом:

— Вы сказали сейчас: «царствие божие». Я слышал, вы проповедовали там бога, носили вериги?

— О веригах моих оставь, — улыбнулся он, — это совсем другое. Я тогда еще ничего не проповедовал, но о боге их тосковал, это — правда. Они объявили тогда атеизм… одна кучка из них, но это ведь всё равно; это лишь первые скакуны, но это был первый *исполнительный* шаг[*] — вот что важно. Тут опять их логика; но ведь в логике и всегда тоска. Я был другой культуры, и сердце мое не допускало того. Эта неблагодарность, с которою они расставались с идеей, эти свистки и комки грязи мне были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочем, действительность и всегда отзывается сапогом, даже при самом ярком стремлении к идеалу, и я, конечно, это должен был знать; но всё же я был другого типа человек; я был свободен в выборе, а они нет — и я плакал, за них плакал, плакал по старой идее, и, может быть, плакал настоящими слезами, без красного слова.

— Вы так сильно веровали в бога? — спросил я недоверчиво.

— Друг мой, это — вопрос, может быть, лишний. Положим, я и не очень веровал, но всё же я не мог не тосковать по идее. Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без бога и возможно ли это когда-нибудь. Сердце мое решало всегда, что невозможно; но некоторый период, пожалуй, возможен… Для меня даже сомнений нет, что он настанет; но тут я представлял себе всегда другую картину…

— Какую?

Правда, он уже прежде объявил, что он счастлив; конечно, в словах его было много восторженности; так я и принимаю многое из того, что он тогда высказал. Всего, без сомнения, не решусь, уважая этого человека, передать теперь на бумаге из того, что мы тогда переговорили; но несколько штрихов странной картины, которую я успел-таки от него выманить, я здесь приведу. Главное, меня всегда и всё время прежде мучили эти «вериги», и к желал их разъяснить — потому и настаивал. Несколько фантастических и чрезвычайно странных идей, им тогда высказанных, остались в моем сердце навеки.

— Я представляю себе, мой милый, — начал он с задумчивою улыбкою, — что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до

сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — всё, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем всё свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, — но всё равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, всё так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть…[*]

Милый мой, — прервал он вдруг с улыбкой, — всё это — фантазия, даже самая невероятная; но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю: вера моя невелика, я — деист[*], философский деист, как вся наша тысяча, так я полагаю, но… но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на

Балтийском море».[*] Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения…

Оставим это, друг мой; а «вериги» мои — вздор; не беспокойся об них. Да еще вот что: ты знаешь, что я на язык стыдлив и трезв; если разговорился теперь, то это… от разных чувств и потому что — с тобой; другому я никому и никогда не скажу. Это прибавляю, чтобы тебя успокоить.

Но я был даже растроган; лжи, которой я опасался, не было, и я особенно рад был тому, что уже мне ясно стало, что он действительно тосковал и страдал и действительно, несомненно, много любил — а это было мне дороже всего. Я с увлечением ему высказал это.

— Но знаете, — прибавил вдруг я, — мне кажется, что все-таки, несмотря на всю вашу тоску, вы должны были быть чрезвычайно тогда счастливы?

Он весело рассмеялся.

— Ты сегодня особенно меток на замечания, — сказал он. — Ну да, я был счастлив, да и мог ли я быть несчастлив с такой тоской? Нет свободнее и счастливее русского европейского скитальца из нашей тысячи. Это я, право, не смеясь говорю, и тут много серьезного. Да я за тоску мою не взял бы никакого другого счастья. В этом смысле я всегда был счастлив, мой милый, всю жизнь мою. И от счастья полюбил тогда твою маму в первый раз в моей жизни.

— Как в первый раз в жизни?

— Именно — так. Скитаясь и тоскуя, я вдруг полюбил ее, как никогда прежде, и тотчас послал за нею.

— О, расскажите мне и про это, расскажите мне про маму!

— Да я затем и призвал тебя, и знаешь, — улыбнулся он весело, — я уж боялся, что ты простил мне маму за Герцена или за какой-нибудь там заговоришко…

Глава восьмая

I

Так как мы проговорили тогда весь вечер и просидели до ночи, то я и не привожу всех речей, но передам лишь то, что объяснило мне наконец один загадочный пункт в его жизни.

Начну с того, что для меня и сомнения нет, что он любил маму, и если бросил ее и «разженился» с ней, уезжая, то, конечно, потому, что слишком заскучал или что-нибудь в этом роде, что, впрочем, бывает и со всеми на свете, но что объяснить всегда трудно. За границей, после долгого, впрочем, времени, он вдруг полюбил опять маму заочно, то есть в мыслях, и послал за нею. Скажут, пожалуй, «заблажил», но я скажу иное: по-моему, тут было всё, что только может быть серьезного в жизни человеческой, несмотря на видимое брандахлыстничанье, которое я, пожалуй, отчасти допускаю. Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только на ряду, но и несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности по постройке железных дорог. Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство, без всяких фокусов; а любовь его к маме за нечто совершенно неоспоримое, хотя, может быть, немного и фантастическое. За границей, в «тоске и счастии», и, прибавлю, в самом строгом монашеском одиночестве (это особое сведение я уже получил потом через Татьяну Павловну), он вдруг вспомнил о маме — и именно вспомнил ее «впалые щеки», и тотчас послал за нею.

— Друг мой, — вырвалось у него, между прочим, — я вдруг сознал, что мое служение идее вовсе не освобождает меня, как нравственно-разумное существо, от обязанности сделать в продолжение моей жизни хоть одного человека счастливым практически.

— Неужели такая книжная мысль была всему причиной? — спросил я с недоумением.

— Это — не книжная мысль. А впрочем, — пожалуй. Тут всё, однако же, вместе: ведь я же любил твою маму в самом деле, искренно, не книжно. Не любил бы так — не послал бы за нею, а «осчастливил» бы какого-нибудь подвернувшегося немца или немку, если уж выдумал эту идею. А осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека; подобно тому, как я поставил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево в своей жизни ввиду обезлесения России; впрочем, одного-то дерева мало будет, можно бы приказать сажать и каждый год по

дереву. Высший и развитой человек, преследуя высшую мысль, отвлекается иногда совсем от насущного, становится смешон, капризен и холоден, даже просто скажу тебе — глуп, и не только в практической жизни, но под конец даже глуп и в своих теориях. Таким образом, обязанность заняться практикой и осчастливить хоть одно насущное существо в самом деле всё бы поправила и освежила бы самого благотворителя. Как теория, это — очень смешно; но, если б это вошло в практику и обратилось в обычай, то было бы вовсе не глупо. Я это испытал на себе: лишь только я начал развивать эту идею о новой заповеди — и сначала, разумеется, шутя, я вдруг начал понимать всю степень моей, таившейся во мне, любви к твоей матери. До тех пор я совсем не понимал, что люблю ее. Пока жил с нею, я только тешился ею, пока она была хороша, а потом капризничал. Я в Германии только понял, что люблю ее. Началось с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и видеть без боли в сердце — буквальной боли, настоящей, физической. Есть больные воспоминания, мой милый, причиняющие действительную боль; они есть почти у каждого, но только люди их забывают; но случается, что вдруг потом припоминают, даже только какую-нибудь черту, и уж потом отвязаться не могут. Я стал припоминать тысячи подробностей моей жизни с Соней; под конец они сами припоминались и лезли массами и чуть не замучили меня, пока я ее ждал. Пуще всего меня мучило воспоминание о ее вечной приниженности передо мной и о том, что она вечно считала себя безмерно ниже меня во всех отношениях — вообрази себе — даже в физическом. Она стыдилась и вспыхивала, когда я иногда смотрел на ее руки и пальцы, которые у ней совсем не аристократические. Да и не пальцев одних, она всего стыдилась в себе, несмотря на то что я любил ее красоту. Она и всегда была со мной стыдлива до дикости, но то худо, что в стыдливости этой всегда проскакивал как бы какой-то испуг. Одним словом, она считала себя предо мной за что-то ничтожное или даже почти неприличное. Право, иной раз, вначале, я иногда подумывал, что она всё еще считает меня за своего барина и боится, но это было совсем не то. А между тем, клянусь, она более чем кто-нибудь способна понимать мои недостатки, да и в жизни моей я не встречал с таким тонким и догадливым сердцем женщины. О, как она была несчастна, когда я требовал от нее вначале, когда она еще была так хороша, чтобы она рядилась. Тут было и самолюбие и еще какое-то

другое оскорблявшееся чувство: она понимала, что никогда ей не быть барыней и что в чужом костюме она будет только смешна. Она, как женщина, не хотела быть смешною в своем платье и поняла, что каждая женщина должна иметь *свой* костюм, чего тысячи и сотни тысяч женщин никогда не поймут — только бы одеться по моде. Насмешливого взгляда моего она боялась — вот что! Но особенно грустно мне было припоминать ее глубоко удивленные взгляды, которые я часто заставал на себе во всё наше время: в них сказывалось совершенное понимание своей судьбы и ожидавшего ее будущего, так что мне самому даже бывало тяжело от этих взглядов, хотя, признаюсь, я в разговоры с ней тогда не пускался и третировал всё это как-то свысока. И, знаешь, ведь она не всегда была такая пугливая и дикая, как теперь; и теперь случается, что вдруг развеселится и похорошеет, как двадцатилетняя; а тогда, смолоду, она очень иногда любила поболтать и посмеяться, конечно, в своей компании — с девушками, с приживалками; и как вздрагивала она, когда я внезапно заставал ее иногда смеющеюся, как быстро краснела и пугливо смотрела на меня! Раз, уже незадолго до отъезда моего за границу, то есть почти накануне того, как я с ней разженился, я вошел в ее комнату и застал ее одну, за столиком, без всякой работы, облокотившуюся на столик рукой и в глубокой задумчивости. С ней никогда почти не случалось, чтоб она так сидела без работы. В то время я уже давно перестал ласкать ее. Мне удалось подойти очень тихо, на цыпочках, и вдруг обнять и поцеловать ее… Она вскочила — и никогда не забуду этого восторга, этого счастья в лице ее, и вдруг это всё сменилось быстрой краской, и глаза ее сверкнули. Знаешь ли, что я прочел в этом сверкнувшем взгляде? «Милостыню ты мне подал — вот что!» Она истерически зарыдала под предлогом, что я ее испугал, но я даже тогда задумался. И вообще все такие воспоминания — претяжелая вещь, мой друг. Это подобно, как у великих художников в их поэмах бывают иногда такие *больные* сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются, — например, последний монолог Отелло у Шекспира[*], Евгений у ног Татьяны[*], или встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой, в холодную ночь, у колодца, в «Misérables»[108] Виктора Гюго[*]; это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана. О, как я ждал Соню и как хотелось мне поскорей обнять ее! Я с судорожным нетерпением мечтал о целой новой программе жизни; я мечтал постепенно, методическим усилием,

разрушить в душе ее этот постоянный ее страх предо мной, растолковать ей ее собственную цену и всё, чем она даже выше меня. О, я слишком знал и тогда, что я всегда начинал любить твою маму, чуть только мы с ней разлучались, и всегда вдруг холодел к ней, когда опять с ней сходились; но тут было не то, тогда было не то.

Я был удивлен: «*Аона?*» — мелькнул во мне вопрос.

— Ну что ж, как вы встретились тогда с мамой? — спросил я осторожно.

— Тогда? Да я тогда с ней вовсе и не встретился. Она едва до Кенигсберга тогда доехала, да там и осталась, а я был на Рейне. Я не поехал к ней, а ей велел оставаться и ждать. Мы свиделись уже гораздо спустя, о, долго спустя, когда я поехал к ней просить позволения жениться…

II

Здесь передам уже сущность дела, то есть только то, что сам мог усвоить; да и он мне начал передавать бессвязно. Речь его вдруг стала в десять раз бессвязнее и беспорядочнее, только что он дошел до этого места.

Он встретил Катерину Николаевну внезапно, именно тогда, когда ждал маму, в самую нетерпеливую минуту ожидания. Все они были тогда на Рейне, на водах, и все лечились. Муж Катерины Николаевны уже почти умирал, по крайней мере уже обречен был на смерть докторами. С первой встречи она поразила его, как бы заколдовала чем-то. Это был фатум. Замечательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтоб он хоть раз употребил тогда в рассказе своем слово «любовь» и то, что он был «влюблен». Слово «фатум» я помню.

И, уж конечно, это был фатум. Он *не захотел* его, «не захотел любить». Не знаю, смогу ли передать это ясно; но только вся душа его была возмущена именно от факта, что с ним это могло случиться. Всё-де, что было в нем свободного, разом уничтожалось пред этой встречей, и человек навеки приковывался к женщине, которой совсем до него не было дела. Он не пожелал этого рабства страсти. Скажу теперь прямо: Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины, — тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Это — тип простой и

прямодушной женщины в высшей степени. Я слышал, то есть я знаю наверно, что тем-то она и была неотразима в свете, когда в нем появлялась (она почасту удалялась из него совсем). Версилов, разумеется, не поверил тогда, при первой встрече с нею, что она — такая, а именно поверил обратному, то есть что она — притворщица и иезуитка. Здесь приведу, забегая вперед, ее собственное суждение о нем: она утверждала, что он и не мог о ней подумать иначе, «потому что идеалист, стукнувшись лбом об действительность, всегда, прежде других, наклонен предположить всякую мерзость». Я не знаю, справедливо ли это вообще об идеалистах, но о нем, конечно, было справедливо вполне. Впишу здесь, пожалуй, и собственное мое суждение, мелькнувшее у меня в уме, пока я тогда его слушал: я подумал, что любил он маму более, так сказать, гуманною и общечеловеческою любовью, чем простою любовью, которою вообще любят женщин, и чуть только встретил женщину, которую полюбил этою простою любовью, то тотчас же и не захотел этой любви — вероятнее всего с непривычки. Впрочем, может быть, это — мысль неверная; ему я, конечно, не высказал. Было бы неделикатно; да и клянусь, он был в таком состоянии, что его почти надо было щадить: он был взволнован; в иных местах рассказа иногда просто обрывал и молчал по нескольку минут, расхаживая с злым лицом по комнате.

Она скоро проникла тогда в его тайну; о, может быть, и кокетничала с ним нарочно: даже самые светлые женщины бывают подлы в этих случаях, и это — их непреоборимый инстинкт. Кончилось у них ожесточительным разрывом, и он, кажется, хотел убить ее; он испугал ее и убил бы, может быть; «но всё это обратилось вдруг в ненависть». Потом наступил один странный период: он вдруг задался одною странною мыслью умучить себя дисциплиной, «вот той самой, которую употребляют монахи. Ты постепенно и методической практикой одолеваешь свою волю, начиная с самых смешных и мелких вещей, а кончаешь совершенным одолением воли своей и становишься свободным». Он прибавил, что у монахов это — дело серьезное, потому что тысячелетним опытом возведено в науку. Но всего замечательнее, что этой идеей о «дисциплине» он задался тогда вовсе не для того, чтоб избавиться от Катерины Николаевны, а в самой полной уверенности, что он не только уже не любит ее, но даже в высшей степени ненавидит. Он до того поверил своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал

влюбиться и жениться на ее падчерице, обманутой князем, совершенно уверил себя в своей новой любви и неотразимо влюбил в себя бедную идиотку, доставив ей этою любовью, в последние месяцы ее жизни, совершенное счастье. Почему он, вместо нее, не вспомнил тогда о маме, всё ждавшей его в Кенигсберге, — осталось для меня невыясненным… Напротив, об маме он вдруг и совсем забыл, даже денег не выслал на прожиток, так что спасла ее тогда Татьяна Павловна; и вдруг, однако, поехал к маме «спросить ее позволения» жениться на той девице, под тем предлогом, что «такая невеста — не женщина». О, может быть, всё это — лишь портрет «книжного человека», как выразилась про него потом Катерина Николаевна; но почему же, однако, эти «бумажные люди» (если уж правда, что они — бумажные) способны, однако, столь настоящим образом мучиться и доходить до таких трагедий? Впрочем, чем, тогда, в тот вечер, я думал несколько иначе, и меня потрясла одна мысль:

— Вам всё развитие ваше, вся душа ваша досталась страданием и боем всей жизни вашей — а ей всё ее совершенство досталось даром. Тут неравенство… Женщина этим возмутительна. — Я проговорил вовсе не с тем, чтоб подольститься к нему, а с жаром и даже с негодованием.

— Совершенство? Ее совершенство? Да в ней нет никаких совершенств! — проговорил он вдруг, чуть не в удивлении на мои слова. — Это — самая ординарная женщина, это — даже дрянная женщина… Но она обязана иметь все совершенства![*]

— Почему же обязана?

— Потому что, имея такую власть, она обязана иметь все совершенства! — злобно вскрикнул он.

— Грустнее всего то, что вы и теперь так измучены! — вырвалось у меня вдруг невольно.

— Теперь? Измучен? — повторил он опять мои слова, останавливаясь передо мной, как бы в каком-то недоумении. И вот вдруг тихая, длинная, вдумчивая улыбка озарила его лицо, и он поднял перед собой палец, как бы соображая. Затем, уже совсем опомнившись, схватил со стола распечатанное письмо и бросил его передо мною:

— На, читай! Ты непременно должен всё узнать… и зачем ты так много дал мне перерыть в этой старой дребедени!.. Я только осквернил и озлобил сердце!..

Не могу выразить моего удивления. Письмо это было от *нее к* нему, сегодняшнее, полученное им около пяти часов пополудни. Я прочел его, почти дрожа от волнения. Оно было невелико, но написано до того прямо и искренно, что я, читая, как будто видел ее самое перед собою и слышал ее слова. Она в высшей степени правдиво (а потому почти трогательно) признавалась ему в своем страхе и затем просто умоляла его «оставить ее в покое». В заключение уведомляла, что теперь положительно выходит за Бьоринга. До этого случая она никогда не писала к нему.

И вот что я понял тогда из его объяснений:

Только что он, давеча, прочел это письмо, как вдруг ощутил в себе самое неожиданное явление: в первый раз, в эти роковые два года, он не почувствовал ни малейшей к ней ненависти и ни малейшего сотрясения, подобно тому как недавно еще «сошел с ума» при одном только слухе о Бьоринге. «Напротив, я ей послал благословение от всего сердца», — проговорил он мне с глубоким чувством. Я выслушал эти слова с восхищением. Значит, всё, что было в нем страсти, муки, исчезло разом, само собою, как сон, как двухлетнее наваждение. Еще не веря себе, он поспешил было давеча к маме — и что же: он вошел именно в ту минуту, когда она стала *свободною* и завещавший ее ему вчера старик умер. Вот эти-то два совпадения и потрясли его душу. Немного спустя он бросился искать меня — и эту столь скорую мысль его обо мне я никогда не забуду.

Да и не забуду окончания того вечера. Этот человек весь и вдруг преобразился опять. Мы просидели до глубокой ночи. О том, как подействовало всё это «известие» на меня, — расскажу потом, в своем месте, а теперь — лишь несколько заключительных слов о нем. Соображая теперь, понимаю, что на меня всего обаятельнее подействовало тогда его как бы смирение передо мной, его такая правдивая искренность передо мной, таким мальчиком! «Это был чад, но благословение и ему! — вскричал он. — Без этого ослепления я бы, может, никогда не отыскал в моем сердце так всецело и навеки единственную царицу мою, мою страдалицу — твою мать». Эти восторженные слова его, вырвавшиеся неудержимо, особенно отмечаю ввиду дальнейшего. Но тогда он захватил и победил мою душу.

Помню, мы стали под конец ужасно веселы. Он велел принести шампанского, и мы выпили за маму и за «будущее». О, он так полон

был жизнию и так собирался жить! Но веселы мы стали вдруг ужасно не от вина: мы выпили всего по два бокала. Я не знаю отчего, но под конец мы смеялись почти неудержимо. Мы стали говорить совсем о постороннем; он пустился рассказывать анекдоты, я ему тоже. И смех и анекдоты наши были в высшей степени не злобны и не насмешливы, но нам было весело. Он всё не хотел меня отпускать: «Посиди, посиди еще!» — повторял он, и я оставался. Даже вышел провожать меня; вечер был прелестный, слегка подморозило.

— Скажите: вы *ей* уже послали ответ? — спросил я вдруг совсем нечаянно, в последний раз пожимая его руку на перекрестке.

— Нет еще, нет, и это всё равно. Приходи завтра, приходи раньше… Да вот что еще: брось Ламберта со всем, а «документ» разорви, и скорей. Прощай!

Сказав это, он вдруг ушел; я же остался, стоя на месте и до того в смущении, что не решился воротить его. Выражение «документ» особенно потрясло меня: от кого же бы он узнал, и в таких точных выражениях, как не от Ламберта? Я воротился домой в большом смущении. Да и как же могло случиться, мелькнуло во мне вдруг, чтоб такое «двухлетнее наваждение» исчезло как сон, как чад, как видение?

Глава девятая

I

Но проснулся я наутро свежее и душевнее. Я даже упрекнул себя, невольно и сердечно, за некоторую легкость и как бы высокомерие, с которыми, как припоминалось мне, выслушивал вчера некоторые места его «исповеди». Если отчасти она была в беспорядке, если некоторые откровения были несколько как бы чадны и даже нескладны, то разве он готовился к ораторской речи, зазвав меня вчера к себе? Он только сделал мне великую честь, обратившись ко мне, как к единственному другу в такое мгновение, и этого я никогда ему не забуду. Напротив, его исповедь была «трогательна», как бы ни смеялись надо мной за это выражение, и если мелькало иногда циническое или даже что-то как будто смешное, то я был слишком широк, чтоб не понять и не допустить реализма — не марая, впрочем, идеала. Главное, я наконец постиг этого

человека, и даже мне было отчасти жаль и как бы досадно, что всё это оказалось так просто: этого человека я всегда ставил в сердце моем на чрезвычайную высоту, в облака, и непременно одевал его судьбу во что-то таинственное, так что естественно до сих пор желал, чтобы ларчик открывался похитрее. Впрочем, в встрече его *с нею* и в двухлетних страданиях его было много и сложного: «он не захотел фатума жизни; ему нужна была свобода, а не рабство фатума; через рабство фатума он принужден был оскорбить маму, которая просидела в Кенигсберге…» К тому же этого человека, во всяком случае, я считал проповедником: он носил в сердце золотой век и знал будущее об атеизме; и вот встреча с нею всё надломила, всё извратила! О, я ей не изменил, но все-таки я взял его сторону. Мама, например, рассуждал я, ничему бы не помешала в судьбе его, даже брак его с мамой. Это я понимал; это — совсем не то, что встреча *с тою.* Правда, мама всё равно не дала бы ему спокойствия, но это даже тем бы и лучше: таких людей надо судить иначе, и пусть такова и будет их жизнь всегда; и это — вовсе не безобразие; напротив, безобразием было бы то, если б они успокоились или вообще стали бы похожими на всех средних людей. Похвалы его дворянству и слова его: «Je mourrai gentilhomme»[109]— нимало меня не смущали: я осмыслил, какой это был gentilhomme; это был тип, отдающий всё и становящийся провозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли «всесоединения идей». И хотя бы это всё было даже и вздором, то есть «всесоединение идей» (что, конечно, немыслимо), то все-таки уж одно то хорошо, что он всю жизнь поклонялся идее, а не глупому золотому тельцу. Боже мой! Да замыслив мою «идею», я, я сам — разве я поклонился золотому тельцу, разве мне денег тогда надо было? Клянусь, мне надо было лишь идею! Клянусь, что ни одного стула, ни одного дивана не обил бы я себе бархатом и ел бы, имея сто миллионов, ту же тарелку супу с говядиной, как и теперь!

Я одевался и спешил к нему неудержимо. Прибавлю: насчет вчерашней выходки его о «документе» я тоже был впятеро спокойнее, чем вчера. Во-первых, я надеялся с ним объясниться, а во-вторых, что же в том, что Ламберт профильтровался и к нему и об чем-то там поговорил с ним? Но главная радость моя была в одном чрезвычайном ощущении: это была мысль, что он уже «не любил *ее»;* в это я уверовал ужасно и чувствовал, что с сердца моего как бы кто-то столкнул страшный камень. Помню даже промелькнувшую тогда одну догадку:

именно безобразие и бессмыслица той последней яростной вспышки его при известии о Бьоринге и отсылка оскорбительного тогдашнего письма; именно эта крайность и могла служить как бы пророчеством и предтечей самой радикальной перемены в чувствах его и близкого возвращения его к здравому смыслу; это должно было быть почти как в болезни, думал я, и он именно должен был прийти к противоположной точке — медицинский эпизод и больше ничего! Мысль эта делала меня счастливым.

«И пусть, пусть *она* располагает, как хочет, судьбой своей, пусть выходит за своего Бьоринга, сколько хочет, но только пусть он, мой отец, мой друг, более не любит ее», — восклицал я. Впрочем, тут была некоторая тайна моих собственных чувств, но о которых я здесь, в записках моих, размазывать не желаю.

Вот и довольно. А теперь весь последовавший ужас и всю махинацию фактов передам уже безо всяких рассуждений.

II

В десять часов, только что я собрался уходить, — к нему, разумеется, — появилась Настасья Егоровна. Я радостно спросил ее: «Не от него ли?» — и с досадой услышал, что вовсе не от него, а от Анны Андреевны и что она, Настасья Егоровна, «чем свет ушла с квартиры».

— С какой же квартиры?

— Да с той самой, с вчерашней. Ведь квартира вчерашняя, при младенце-то, на мое имя теперь взята, а платит Татьяна Павловна…

— Э, ну мне всё равно! — прервал я с досадой. — Он-то по крайней мере дома? Застану я его?

И, к удивлению моему, я услышал от нее, что он еще раньше ее со двора ушел; значит, она — «чем свет», а он еще раньше.

— Ну, так теперь воротился?

— Нет-с, уж наверно не воротился, да и не воротится, может, и совсем, — проговорила она, смотря на меня тем самым вострым и вороватым глазом и точно так же не спуская его с меня, как в то уже описанное мною посещение, когда я лежал больной. Меня, главное, взорвало, что тут опять выступали их какие-то тайны и глупости и что

эти люди, видимо, не могли обойтись без тайн и без хитростей.

— Почему вы сказали: наверно не воротится? Что вы подразумеваете? Он к маме пошел — вот и всё!

— Н-не знаю-с.

— Да вы-то сами зачем пожаловали?

Она объявила мне, что теперь она от Анны Андреевны и что та зовет меня и непременно ждет меня сей же час, а то «поздно будет». Это опять загадочное словцо вывело меня уже из себя:

— Почему поздно? Не хочу я идти и не пойду! Не дам я мной опять овладеть! Наплевать на Ламберта — так и скажите ей, и что если она пришлет ко мне своего Ламберта, то я его выгоню в толчки — так и передайте ей!

Настасья Егоровна испугалась ужасно.

— Ах нет-с, — шагнула она ко мне, складывая руки ладошками и как бы умоляя меня, — вы уж повремените так спешить. Тут дело важное, для вас самих очень важное, для них тоже, и для Андрея Петровича, и для маменьки вашей, для всех… Вы уж посетите Анну Андреевну тотчас же, потому что они никак не могут более дожидаться… уж это я вас уверяю честью… а потом я решение примете.

Я глядел на нее с изумлением и отвращением.

— Вздор, ничего не будет, не приду! — вскричал я упрямо и с злорадством, — теперь — всё по-новому! да и можете ли вы это понять? Прощайте, Настасья Егоровна, нарочно не пойду, нарочно не буду вас расспрашивать. Вы меня только сбиваете с толку. Не хочу я проникать в ваши загадки.

Но так как она не уходила и всё стояла, то я, схватив шубу и шапку, вышел сам, оставив ее среди комнаты. В комнате же моей не было никаких писем и бумаг, да я и прежде никогда почти не запирал комнату, уходя. Но я не успел еще дойти до выходной двери, как с лестницы сбежал за мною, без шляпы и в вицмундире, хозяин мой, Петр Ипполитович.

— Аркадий Макарович! Аркадий Макарович!

— Вам что еще?

— А вы ничего не прикажете, уходя?

— Ничего.

Он смотрел на меня вонзающимся взглядом и с видимым

беспокойством:

— Насчет квартиры, например-с?

— Что такое насчет квартиры? Ведь я вам в срок прислал деньги?

— Да нет-с, я не про деньги, — улыбнулся он вдруг длинной улыбкой и всё продолжая вонзаться в меня взглядом.

— Да что с вами со всеми? — крикнул я наконец, почти совсем озверев, — вам-то еще чего?

Он подождал еще несколько секунд, всё еще как бы чего-то от меня ожидая.

— Ну, значит, после прикажете… коли уж теперь стих не таков, — пробормотал он, еще длиннее ухмыляясь, — ступайте-с, а я и сам в должность.

Он убежал к себе по лестнице. Конечно, всё это могло навести на размышления. Я нарочно не опускаю ни малейшей черты из всей этой тогдашней мелкой бессмыслицы, потому что каждая черточка вошла потом в окончательный букет, где и нашла свое место, в чем и уверится читатель. А что тогда они действительно сбивали меня с толку, то это — правда. Если я был так взволнован и раздражен, то именно заслышав опять в их словах этот столь надоевший мне тон интриг и загадок и напомнивший мне старое. Но продолжаю.

Дома Версилова не оказалось, и ушел он действительно чем свет. «Конечно — к маме», — стоял я упорно на своем. Няньку, довольно глупую бабу, я не расспрашивал, а кроме нее, в квартире никого не было. Я побежал к маме и, признаюсь, в таком беспокойстве, что на полдороге схватил извозчика. У *мамы его со вчерашнего вечера не было*. С мамой были лишь Татьяна Павловна и Лиза. Лиза, только что я вошел, стала собираться уходить.

Они все сидели наверху, в моем «гробе». В гостиной же нашей, внизу, лежал на столе Макар Иванович, а над ним какой-то старик мерно читал Псалтирь. Я теперь ничего уже не буду описывать из не прямо касающегося к делу, но замечу лишь, что гроб, который уже успели сделать, стоявший тут же в комнате, был не простой, хотя и черный, но обитый бархатом, а покров на покойнике был из дорогих — пышность не по старцу и не по убеждениям его; но таково было настоятельное желание мамы и Татьяны Павловны вкупе.

Разумеется, я не ожидал их встретить веселыми; но та особенная давящая тоска, с заботой и беспокойством, которую я прочел в их

глазах, сразу поразила меня, и я мигом заключил, что «тут, верно, не один покойник причиною». Всё это, повторяю, я отлично запомнил.

Несмотря на всё, я нежно обнял маму и тотчас спросил *о нем.* Во взгляде мамы мигом сверкнуло тревожное любопытство. Я наскоро упомянул, что мы с ним вчера провели весь вечер до глубокой ночи, но что сегодня его нет дома, еще с рассвета, тогда как он меня сам пригласил еще вчера, расставаясь, прийти сегодня как можно раньше. Мама ничего не ответила, а Татьяна Павловна, улучив минуту, погрозила мне пальцем.

— Прощай, брат, — вдруг отрезала Лиза, быстро выходя из комнаты. Я, разумеется, догнал ее, но она остановилась у самой выходной двери.

— Я так и думала, что ты догадаешься сойти, — проговорила она быстрым шепотом.

— Лиза, что тут такое?

— А я и сама не знаю, только много чего-то. Наверно, развязка «вечной истории». Он не приходил, а они имеют какие-то о нем сведения. Тебе не расскажут, не беспокойся, а ты не расспрашивай, коли умен; но мама убита. Я тоже ни о чем не расспрашивала. Прощай.

Она отворила дверь.

— Лиза, а у тебя у самой нет ли чего? — выскочил я за нею в сени. Ее ужасно убитый, отчаянный вид пронзил мое сердце. Она посмотрела не то что злобно, а даже почти как-то ожесточенно, желчно усмехнулась и махнула рукой.

— Кабы умер — так и слава бы богу! — бросила она мне с лестницы и ушла. Это она сказала так про князя Сергея Петровича, а тот в то время лежал в горячке и беспамятстве. «Вечная история! Какая вечная история?» — с вызовом подумал я, и вот мне вдруг захотелось непременно рассказать им хоть часть вчерашних моих впечатлений от его ночной исповеди, да и самую исповедь. «Они что-то о нем теперь думают дурное — так пусть же узнают всё!» — пролетело в моей голове.

Я помню, что мне удалось как-то очень ловко начать рассказывать. Мигом на лицах их обнаружилось страшное любопытство. На этот раз и Татьяна Павловна так и впилась в меня глазами; но мама была сдержаннее; она была очень серьезна, но легкая, прекрасная, хоть и совсем какая-то безнадежная улыбка промелькнула-таки в лице ее и не

сходила почти во всё время рассказа. Я, конечно, говорил хорошо, хотя и знал, что для них почти непонятно. К удивлению моему, Татьяна Павловна не придиралась, не настаивала на точности, не закидывала крючков, по своему обыкновению, как всегда, когда я начинал что-нибудь говорить. Она только сжимала изредка губы и щурила глаза, как бы вникая с усилием. По временам мне даже казалось, что они всё понимают, но этого почти быть не могло. Я, например, говорил об его убеждениях, но, главное, о его вчерашнем восторге, о восторге к маме, о любви его к маме, о том, что он целовал ее портрет… Слушая это, они быстро и молча переглядывались, а мама вся вспыхнула, хотя обе продолжали молчать. Затем… затем я, конечно, не мог, *при маме*, коснуться до главного пункта, то есть до встречи *с нею* и всего прочего, а главное, до *ее* вчерашнего письма к нему, и о нравственном «воскресении» его после письма; а это-то и было главным, так что все его вчерашние чувства, которыми я думал так обрадовать маму, естественно, остались непонятными, хотя, конечно, не по моей вине, потому что я все, что можно было рассказать, рассказал прекрасно. Кончил я совершенно в недоумении; их молчание не прерывалось, и мне стало очень тяжело с ними.

— Верно, он теперь воротился, а может, сидит у меня и ждет, — сказал я и встал уходить.

— Сходи, сходи! — твердо поддакнула Татьяна Павловна.

— Внизу-то был? — полушепотом спросила меня мама, прощаясь.

— Был, поклонился ему и помолился о нем. Какой спокойный, благообразный лик у него, мама! Спасибо вам, мама, что не пожалели ему на гроб. Мне сначала это странно показалось, но тотчас же подумал, что и сам то же бы сделал.

— В церковь-то завтра придешь? — спросила она, и у ней задрожали губы.

— Что вы, мама? — удивился я, — я и сегодня на панихиду приду, и еще приду; и… к тому же завтра — день вашего рожденья, мама, милый друг мой! Не дожил он трех дней только!

Я вышел в болезненном удивлении: как же это задавать такие вопросы — приду я или нет на отпевание в церковь? И, значит, если так обо мне — то что же они о *нем* тогда думают?

Я знал, что за мной погонится Татьяна Павловна, и нарочно приостановился в выходных дверях; но она, догнав меня, протолкнула

меня рукой на самую лестницу, вышла за мной и притворила за собою дверь.

— Татьяна Павловна, значит, вы Андрея Петровича ни сегодня, ни завтра даже не ждете? Я испуган…

— Молчи. Много важности, что ты испуган. Говори: чего ты там не договорил, когда про вчерашнюю ахинею рассказывал?

Я не нашел нужным скрывать и, почти в раздражении на Версилова, передал всё о вчерашнем письме к нему Катерины Николаевны и об эффекте письма, то есть о воскресении его в новую жизнь. К удивлению моему, факт письма ее нимало не удивил, и я догадался, что она уже о нем знала.

— Да ты врешь?

— Нет, не вру.

— Ишь ведь, — ядовито улыбнулась она, как бы раздумывая, — воскрес! Станется от него и это! А правда, что он портрет целовал?

— Правда, Татьяна Павловна.

— С чувством целовал, не притворялся?

— Притворялся? Разве он когда притворяется? Стыдно вам, Татьяна Павловна; грубая у вас душа, женская.

Я проговорил это с жаром, но она как бы не слыхала меня: она что-то как бы опять соображала, несмотря на сильный холод на лестнице. Я-то был в шубе, а она в одном платье.

— Поручила бы я тебе одно дело, да жаль, что уж очень ты глуп, — проговорила она с презрением и как бы с досадой. — Слушай, сходи-ка ты к Анне Андреевне и посмотри, что у ней там делается… Да нет, не ходи; олух — так олух и есть! Ступай, марш, чего стал верстой?

— Ан вот и не пойду к Анне Андреевне! А Анна Андреевна и сама меня присылала звать.

— Сама? Настасью Егоровну? — быстро повернулась она ко мне; она уже было уходила и отворила даже дверь, но опять захлопнула ее.

— Ни за что не пойду к Анне Андреевне! — повторил я с злобным наслаждением, — потому не пойду, что назвали меня сейчас олухом, тогда как я никогда еще не был так проницателен, как сегодня. Все ваши дела на ладонке вижу; а к Анне Андреевне все-таки не пойду!

— Так я и знала! — воскликнула она, но опять-таки вовсе не на мои слова, а продолжая обдумывать свое. — Оплетут теперь *ее* всю и мертвой петлей затянут!

— Анну Андреевну?

— Дурак!

— Так про кого же вы? Так уж не про Катерину ли Николаевну? Какой мертвой петлей? — Я ужасно испугался. Какая-то смутная, но ужасная идея прошла через всю душу мою. Татьяна пронзительно поглядела на меня.

— Ты-то чего там? — спросила она вдруг. — Ты-то там в чем участвуешь? Слышала я что-то и про тебя — ой, смотри!

— Слушайте, Татьяна Павловна: я вам сообщу одну страшную тайну, но только не сейчас, теперь нет времени, а завтра наедине, но зато скажите мне теперь всю правду, и что это за мертвая петля… потому что я весь дрожу…

— А наплевать мне на твою дрожь! — воскликнула она. — Какую еще рассказать хочешь завтра тайну? Да уж ты впрямь не знаешь ли чего? — впилась она в меня вопросительным взглядом. — Ведь сам же ей поклялся тогда, что письмо Крафта сожег?

— Татьяна Павловна, повторяю вам, не мучьте меня, — продолжал я свое, в свою очередь не отвечая ей на вопрос, потому что был вне себя, — смотрите, Татьяна Павловна, чрез то, что вы от меня скрываете, может выйти еще что-нибудь хуже… ведь он вчера был в полном, в полнейшем воскресении!

— Э, убирайся, шут! Сам-то небось тоже, как воробей, влюблен — отец с сыном в один предмет! Фу, безобразники!

Она скрылась, с негодованием хлопнув дверью. В бешенстве от наглого, бесстыдного цинизма самых последних ее слов, — цинизма, на который способна лишь женщина, я выбежал глубоко оскорбленный. Но не буду описывать смутных ощущений моих, как уже и дал слово; буду продолжать лишь фактами, которые теперь всё разрешат. Разумеется, я пробежал мимоходом опять к нему и опять от няньки услышал, что он не бывал вовсе.

— И совсем не придет?

— А бог их ведает.

III

Фактами, фактами!.. Но понимает ли что-нибудь читатель? Помню,

как меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали мне ничего осмыслить, так что под конец того дня у меня совсем голова сбилась с толку. А потому двумя-тремя словами забегу вперед!

Все муки мои состояли вот в чем: если вчера он воскрес и *ее* разлюбил, то в таком случае где бы он долженствовал быть сегодня? Ответ: прежде всего — у меня, с которым вчера обнимался, а потом сейчас же у мамы, которой портрет он вчера целовал. И вот, вместо этих двух натуральных шагов, его вдруг «чем свет» нету дома и он куда-то пропал, а Настасья Егоровна бредит почему-то, что «вряд ли и воротится». Мало того: Лиза уверяет о какой-то развязке «вечной истории» и о том, что у мамы о нем имеются некоторые сведения, и уже позднейшие; сверх того, там несомненно знают и про письмо Катерины Николаевны (это я сам приметил) и все-таки не верят его «воскресению в новую жизнь», хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна над словом «воскресение» ехидно острит. Но если всё это — так, то, значит, с ним опять случился за ночь переворот, опять кризис, и это — после вчерашнего-то восторга, умиления, пафоса! Значит, всё это «воскресение» лопнуло, как надутый пузырь, и он, может быть, теперь опять толчется где-нибудь в том же бешенстве, как тогда после известия о Бьоринге! Спрашивается, что же будет с мамой, со мной, со всеми нами и… и — что же будет, наконец, с *нею?* Про какую «мертвую петлю» проболталась Татьяна, посылая меня к Анне Андреевне? Значит, там-то и есть эта «мертвая петля» — у Анны Андреевны! Почему же у Анны Андреевны? Разумеется, я побегу к Анне Андреевне; это я нарочно, с досады лишь сказал, что не пойду; я сейчас побегу. Но что такое говорила Татьяна про «документ»? И не он ли сам сказал мне вчера: «Сожги документ»?

Вот были мысли мои, вот что давило меня тоже мертвой петлей; но, главное, мне надо было *его.* С ним бы я тотчас же всё порешил — я это чувствовал; мы поняли бы один другого с двух слов! Я бы схватил его за руки, сжал их; я бы нашел в моем сердце горячие слова, — мечталось мне неотразимо. О, я бы покорил безумие!.. Но где он? Где он? И вот нужно же было в такую минуту подвернуться Ламберту, когда я так был разгорячен! Не доходя нескольких шагов до моего дома, я вдруг встретил Ламберта; он радостно завопил, меня увидав, и схватил меня за руку:

— Як тебе уже тхэтий раз… Enfin![110] Пойдем завтракать!

— Стой! Ты у меня был? Там нет Андрея Петровича?

— Нет там никого. Оставь их всех! Ты, духгак, вчера рассердился; ты был пьян, а я имею тебе говорить важное; я сегодня слышал прелестные вести про то, что мы вчера говорили…

— Ламберт, — перебил я, задыхаясь и торопясь и по неволе несколько декламируя, — если я остановился с тобою, то единственно затем, чтобы навсегда с тобою покончить.

Я уже говорил тебе вчера, но ты всё не понимаешь Ламберт, ты — ребенок и глуп, как француз. Ты всё думаешь, что ты как у Тушара и что я так же глуп, как у Тушара… Но я не так же глуп, как у Тушара… Я вчера был пьян, но не от вина, а потому, что был и без того возбужден; а если я поддакивал тому, что ты молол, то потому, что я хитрил, чтоб выведать твои мысли. Я тебя обманывал, а ты обрадовался и поверил и молол. Знай, что жениться на ней, это — такой вздор, которому гимназист приготовительного класса не поверит. Можно ли подумать, чтоб я поверил? а ты поверил! Ты потому поверил, что ты не принят в высшем обществе и ничего не знаешь, как у них в высшем свете делается. Это не так просто у них в высшем свете делается, и это невозможно, чтоб так просто — взяла да и вышла замуж… Теперь скажу тебе ясно, чего тебе хочется: тебе хочется зазвать меня, чтоб опоить и чтоб я выдал тебе документ и пошел с тобою на какое-то мошенничество против Катерины Николаевны! Так врешь же! не приду к тебе никогда, и знай тоже, что завтра же или уж непременно послезавтра бумага эта будет в ее собственных руках, потому что документ этот принадлежит ей, потому что ею написан, и я сам передам ей лично, и, если хочешь знать где, так знай, что через Татьяну Павловну, ее знакомую, в квартире Татьяны Павловны, при Татьяне Павловне передам и за документ не возьму с нее ничего… А теперь от меня — марш навсегда, не то… не то, Ламберт, я обойдусь не столь учтиво…

Окончив это, я весь дрожал мелкою дрожью. Самое главное дело и самая скверная привычка в жизни, вредящая всему в каждом деле, это… это если зарисуешься. Черт меня дернул разгорячиться перед ним до того, что я, кончая речь и с наслаждением отчеканивая слова и возвышая всё более и более голос, вошел вдруг в такой жар, что всунул эту совсем ненужную подробность о том, что передам документ через Татьяну Павловну и у нее на квартире! Но мне так вдруг захотелось

тогда его огорошить! Когда я брякнул так прямо о документе и вдруг увидел его глупый испуг, мне вдруг захотелось еще пуще придавить его точностью подробностей. И вот эта-то бабья хвастливая болтовня и была потом причиною ужасных несчастий, потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ее квартиру тотчас же засела в уме его, как у мошенника и практического человека на малые дела; в высших и важных делах он ничтожен и ничего не смыслит, но на эти мелочи у него все-таки есть чутье. Умолчи я про Татьяну Павловну — не случилось бы больших бед. Однако, выслушав меня, он в первую минуту потерялся ужасно.

— Слушай, — пробормотал он, — Альфонсина… Альфонсина споет… Альфонсина была у *ней;* слушай: я имею письмо, почти письмо, где Ахмакова говорит про тебя, мне рябой достал, помнишь рябого — и вот увидишь, вот увидишь, пойдем!

— Лжешь, покажи письмо!

— Оно дома, у Альфонсины, пойдем!

Разумеется, он врал и бредил, трепеща, чтобы я не убежал от него; но я вдруг бросил его среди улицы, и когда он хотел было за мной следовать, то я остановился и погрозил ему кулаком. Но он уже стоял в раздумье — и дал мне уйти: у него уже, может быть, замелькал в голове новый план. Но для меня сюрпризы и встречи не кончились… И как вспомню весь этот несчастный день, то всё кажется, что все эти сюрпризы и нечаянности точно тогда сговорились вместе и так и посыпались разом на мою голову из какого-то проклятого рога изобилия. Едва я отворил дверь в квартиру, как столкнулся, еще в передней, с одним молодым человеком высокого роста, с продолговатым и бледным лицом, важной и «изящной» наружности и в великолепной шубе. У него был на носу пенсне; но он тотчас же, как завидел меня, стянул его с носа (очевидно, для учтивости) и, вежливо приподняв рукой свой цилиндр, но, впрочем, не останавливаясь, проговорил мне, изящно улыбаясь: «На, bonsoir»[111]— и прошел мимо на лестницу. Мы оба узнали друг друга тотчас же, хотя видел я его всего только мельком один раз в моей жизни, в Москве. Это был брат Анны Андреевны, камер-юнкер, молодой Версилов, сын Версилова, а стало быть, почти и мой брат. Его провожала хозяйка (хозяин всё еще не возвращался со службы). Когда он вышел, я так на нее и накинулся:

— Что он тут делал? Он в моей комнате был?

— Совсем не в вашей комнате. Он приходил ко мне… — быстро и сухо отрезала она и повернулась к себе.

— Нет, этак нельзя! — закричал я, — извольте отвечать: зачем он приходил?

— Ах, боже мой! так вам всё и рассказывать, зачем люди ходят. Мы, кажется, тоже свой расчет можем иметь. Молодой человек, может, денег занять захотел, у меня адрес узнавал. Может, я ему еще с прошлого раза пообещала…

— Когда с прошлого раза?

— Ах, боже мой! да ведь не впервой же он приходит! Она ушла. Главное, я понял, что тут тон изменяется: они со мной начинали говорить грубо. Ясно было, что это — опять секрет; секреты накоплялись с каждым шагом, с каждым часом. В первый раз молодой Версилов приезжал с сестрой, с Анной Андреевной, когда я был болен; про это я слишком хорошо помнил, равно и то, что Анна Андреевна уже закинула мне вчера удивительное словечко, что, может быть, старый князь остановится на моей квартире… но всё это было так сбито и так уродливо, что я почти ничего не мог на этот счет придумать. Хлопнув себя по лбу и даже не присев отдохнуть, я побежал к Анне Андреевне: ее не оказалось дома, а от швейцара получил ответ, что «поехали в Царское; завтра только разве около этого времени будут».

«Она — в Царское и, уж разумеется, к старому князю, а брат ее осматривает мою квартиру! Нет, этого не будет! — проскрежетал я, — а если тут и в самом деле какая-нибудь мертвая петля, то я защищу „бедную женщину“!»

От Анны Андреевны я домой не вернулся, потому что в воспаленной голове моей вдруг промелькнуло воспоминание о трактире на канаве, в который Андрей Петрович имел обыкновение заходить в иные мрачные свои часы. Обрадовавшись догадке, я мигом побежал туда; был уже четвертый час и смеркалось. В трактире известили, что он приходил: «Побывали немного и ушли, а может, и еще придут». Я вдруг изо всей силы решился ожидать его и велел подать себе обедать; по крайней мере являлась надежда.

Я съел обед, съел даже лишнее, чтобы иметь право как можно дольше оставаться, и просидел, я думаю, часа четыре. Не описываю мою грусть и лихорадочное нетерпение; точно всё во мне внутри сотрясалось и дрожало. Этот орган, эти посетители — о, вся эта тоска

отпечатлелась в душе моей, быть может, на всю жизнь! Не описываю и мыслей, подымавшихся в голове, как туча сухих листьев осенью, после налетевшего вихря; право, что-то было на это похожее, и, признаюсь, я чувствовал, что по временам мне начинает изменять рассудок.

Но что мучило меня до боли (мимоходом, разумеется, сбоку, мимо главного мучения) — это было одно неотвязчивое, ядовитое впечатление — неотвязчивое, как ядовитая, осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около вас, мешает вам и вдруг пребольно укусит. Это было лишь воспоминание, одно происшествие, о котором я еще никому на свете не сказывал. Вот в чем дело, ибо надобно же и это где-нибудь рассказать.

IV

Когда в Москве уже было решено, что я отправлюсь в Петербург, то мне дано было знать чрез Николая Семеновича, чтобы я ожидал присылки денег на выезд. От кого придут деньги — я не справлялся; я знал, что от Версилова, а так как я день и ночь мечтал тогда, с замиранием сердца и с высокомерными планами, о встрече с Версиловым, то о нем вслух совсем перестал говорить, даже с Марьей Ивановной. Напомню, впрочем, что у меня были и свои деньги на выезд; но я все-таки положил ждать; между прочим, предполагал, что деньги придут через почту.

Вдруг однажды Николай Семенович, возвратясь домой, объявил мне (по своему обыкновению, кратко и не размазывая), чтобы я сходил завтра на Мясницкую, в одиннадцать часов утра, в дом и квартиру князя В-ского, и что там приехавший из Петербурга камер-юнкер Версилов, сын Андрея Петровича, и остановившийся у товарища своего по лицею, князя В-ского, вручит мне присланную для переезда сумму. Казалось бы, дело весьма простое: Андрей Петрович весьма мог поручить своему сыну эту комиссию вместо отсылки через почту; но известие это меня как-то неестественно придавило и испугало. Сомнений не было, что Версилов хотел свести меня с своим сыном, моим братом; таким образом, обрисовывались намерения и чувства человека, о котором мечтал я; но представлялся громадный для меня вопрос: как же буду и как же должен я вести себя в этой совсем неожиданной встрече, и не

потеряет ли в чем-нибудь собственное мое достоинство?

На другой день, ровно в одиннадцать часов, я явился в квартиру князя В-ского, холостую, но, как угадывалось мне, пышно меблированную, с лакеями в ливреях. Я остановился в передней. Из внутренних комнат долетали звуки громкого разговора и смеха: у князя, кроме камер-юнкера гостя, были и еще посетители. Я велел лакею о себе доложить, и, кажется, в немного гордых выражениях: по крайней мере, уходя докладывать, он посмотрел на меня странно, мне показалось, даже не так почтительно, как бы следовало. К удивлению моему, он что-то уж очень долго докладывал, минут с пять, а между тем оттуда всё раздавались тот же смех и те же отзвуки разговора.

Я, разумеется, ожидал стоя, очень хорошо зная, что мне, как «такому же барину», неприлично и невозможно сесть в передней, где были лакеи. Сам же я, своей волей, без особого приглашения, ни за что не хотел шагнуть в залу, из гордости; из утонченной гордости, может быть, но так следовало. К удивлению моему, оставшиеся лакеи (двое) осмелились при мне сесть. Я отвернулся, чтобы не заметить этого, и, однако ж, начал дрожать всем телом, и вдруг, обернувшись и шагнув к одному лакею, *велел* ему «тотчас же» пойти доложить еще раз. Несмотря на мой строгий взгляд и чрезвычайное мое возбуждение, лакей лениво посмотрел на меня, не вставая, и уже другой за него ответил:

— Доложено, не беспокойтесь!

Я решил прождать еще только одну минуту или по возможности даже менее минуты, а там — *непременно уйти*. Главное, я был одет весьма прилично: платье и пальто все-таки были новые, а белье совершенно свежее, о чем позаботилась нарочно для этого случая сама Марья Ивановна. Но про этих лакеев я уже гораздо позже и уже в Петербурге *наверно* узнал, что они, чрез приехавшего с Версиловым слугу, узнали еще накануне, что «придет, дескать, такой-то, побочный брат и студент». Про это я теперь знаю наверное.

Минута прошла. Странное это ощущение, когда решаешься и не можешь решиться. «Уйти или нет, уйти или нет?» — повторял я каждую секунду почти в ознобе; вдруг показался уходивший докладывать слуга. В руках у него, между пальцами, болтались четыре красных кредитки, сорок рублей.

— Вот-с, извольте получить сорок рублей!

Я вскипел. Это была такая обида! Я всю прошлую ночь мечтал об устроенной Версиловым встрече двух братьев; я всю ночь грезил в лихорадке, как я должен держать себя и не уронить — не уронить всего цикла идей, которые выжил в уединении моем и которыми мог гордиться даже в каком угодно кругу. Я мечтал, как я буду благороден, горд и грустен, может быть, даже в обществе князя В-ского, и таким образом прямо буду введен в этот свет — о, я не щажу себя, и пусть, и пусть: так и надо записать это в таких точно подробностях! И вдруг — сорок рублей через лакея, в переднюю, да еще после десяти минут ожидания, да еще прямо из рук, из лакейских пальцев, а не на тарелке, не в конверте!

Я до того закричал на лакея, что он вздрогнул и отшатнулся; я немедленно велел ему отнести деньги назад и чтобы «барин его сам принес» — одним словом, требование мое было, конечно, бессвязное и, уж конечно, непонятное для лакея. Однако ж я так закричал, что он пошел. Вдобавок, в зале, кажется, мой крик услышали, и говор и смех вдруг затихли.

Почти тотчас же я заслышал шаги, важные, неспешные, мягкие, и высокая фигура красивого и надменного молодого человека (тогда он мне показался еще бледнее я худощавее, чем в сегодняшнюю встречу) показалась на пороге в переднюю — даже на аршин не доходя до порога. Он был в великолепном красном шелковом халате и в туфлях, и с пенсне на носу. Не проговорив ни слова, он направил на меня пенсне и стал рассматривать. Я, как зверь, шагнул к нему один шаг и стал с вызовом, смотря на него в упор. Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего секунд десять; вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его, и, однако ж, самая язвительная, тем именно и язвительная, что почти неприметная; он молча повернулся и пошел опять в комнаты, так же не торопясь, так же тихо и плавно, как и пришел. О, эти обидчики еще с детства, еще в семействах своих выучиваются матерями своими обижать! Разумеется, я потерялся… О, зачем я тогда потерялся!

Почти в то же мгновение появился опять тот же лакей с теми же кредитками в руках:

— Извольте получить, это — вам из Петербурга, а принять вас самих не могут; «в другое время разве как-нибудь, когда им будет свободнее». — Я почувствовал, что эти последние слова он уже от себя

прибавил. Но потерянность моя всё еще продолжалась; я принял деньги и пошел к дверям; именно от потерянности принял, потому что надо было не принять; но лакей, уж конечно желая уязвить меня, позволил себе одну самую лакейскую выходку: он вдруг усиленно распахнул предо мною дверь и, держа ее настежь, проговорил важно и с ударением, когда я проходил мимо:

— Пожалуйте-с!

— Подлец! — заревел я на него и вдруг замахнулся, но не опустил руки, — и твой барин подлец! Доложи ему это сейчас! — прибавил я и быстро вышел на лестницу.

— Это вы так не смеете! Это если б я барину тотчас доложил, то вас сию же минуту при записке можно в участок препроводить. А замахиваться руками не смеете…

Я спускался с лестницы. Лестница была парадная, вся открытая, и сверху меня можно было видеть всего, пока я спускался по красному ковру. Все три лакея вышли и стали наверху над перилами. Я, конечно, решился молчать: браниться с лакеями было невозможно. Я сошел всю лестницу, не прибавляя шагу и даже, кажется, замедлив шаг.

О, пусть есть философы (и позор на них!), которые скажут, что всё это — пустяки, раздражение молокососа, — пусть, но для меня это была рана, — рана, которая и до сих пор не зажила, даже до самой теперешней минуты, когда я это пишу и когда уже всё кончено и даже отомщено. О, клянусь! я не злопамятен и не мстителен. Без сомнения, я всегда, даже до болезни, желаю ото мстить, когда меня обидят, но клянусь, — лишь одним великодушием. Пусть я отплачу ему великодушием, но с тем, чтобы это он почувствовал, чтобы он это понял — и я отмщен! Кстати прибавлю: я не мстителен, но я злопамятен, хотя и великодушен: бывает ли так с другими? Тогда же, о, тогда я пришел с великодушными чувствами, может быть смешными, но пусть: лучше пусть смешными, да великодушными, чем не смешными, да подлыми, обыденными, серединными! Про эту встречу с «братом» я никому не открывал, даже Марье Ивановне, даже в Петербурге Лизе; эта встреча была всё равно что полученная позорно пощечина. И вот вдруг этот господин встречается, когда я всего менее его ожидал встретить; он улыбается мне, снимает шляпу и совершенно дружески говорит: «Bonsoir». Конечно, было о чем подумать… Но рана открылась!

V

Просидев часа четыре с лишком в трактире, я вдруг выбежал, как в припадке, — разумеется, опять к Версилову и, разумеется, опять не застал дома: не приходил вовсе; нянька была скучна и вдруг попросила меня прислать Настасью Егоровну; о, до того ли мне было! Я забежал и к маме, но не вошел, а вызвал Лукерью в сени; от нее узнал, что он не был и что Лизы тоже нет дома. Я видел, что Лукерья тоже хотела бы что-то спросить и, может быть, тоже что-нибудь мне поручить; но до того ли мне было! Оставалась последняя надежда, что он заходил ко мне; но уже этому я не верил.

Я уже предуведомил, что почти терял рассудок. И вот в моей комнате я вдруг застаю Альфонсинку и моего хозяина. Правда, они выходили, и у Петра Ипполитовича в руках была свеча.

— Это — что! — почти бессмысленно завопил я на хозяина, — как вы смели ввести эту шельму в мою комнату?

— Tiens! — вскричала Альфонсинка, — et les amis?[112]

— Вон! — заревел я.

— Mais c'est un ours![113] — выпорхнула она в коридор, притворяясь испуганною, и вмиг скрылась к хозяйке. Петр Ипполитович, всё еще со свечой в руках, подошел ко мне с строгим видом:

— Позвольте вам заметить, Аркадий Макарович, что вы слишком разгорячились; как ни уважаем мы вас, а мамзель Альфонсина не шельма, а даже совсем напротив, находится в гостях, и не у вас, а у моей жены, с которою уже несколько времени как обоюдно знакомы.

— А как вы смели ввести ее в мою комнату? — повторил я, схватив себя за голову, которая почти вдруг ужасно заболела.

— А случайно-с. Это я входил, чтоб затворить форточку, которую я же и отворил для свежего воздуха; а так как мы продолжали с Альфонсиной Карловной прежний разговор, то среди разговора она и зашла в вашу комнату, единственно сопровождая меня.

— Неправда, Альфонсинка — шпион, Ламберт — шпион! Может быть, вы сами — тоже шпион! А Альфонсинка приходила у меня что-нибудь украсть.

— Это уж как вам будет угодно. Сегодня вы одно изволите говорить, а завтра другое. А квартиру мою я сдал на некоторое время, а

сам с женой переберусь в каморку; так что Альфонсина Карловна теперь — почти такая же здесь жилица, как и вы-с.

— Вы Ламберту сдали квартиру? — вскричал я в испуге.

— Нет-с, не Ламберту, — улыбнулся он давешней длинной улыбкой, в которой, впрочем, видна была уже твердость взамен утреннего недоумения, — полагаю, что сами изволите знать кому, а только напрасно делаете вид, что не знаете, единственно для красы-с, а потому и сердитесь. Покойной ночи-с!

— Да, да, оставьте, оставьте меня в покое! — замахал я руками чуть не плача, так что он вдруг с удивлением посмотрел на меня; однако же вышел. Я насадил на дверь крючок и повалился на мою кровать ничком в подушку. И вот так прошел для меня этот первый ужасный день из этих трех роковых последних дней, которыми завершаются мои записки.

Глава десятая

I

Но я опять, предупреждая ход событий, нахожу нужным разъяснить читателю хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так много случайностей, что, не разъяснив их вперед, нельзя разобрать. Тут дело состояло в этой самой «мертвой петле», о которой проговорилась Татьяна Павловна. Состояла же эта петля в том, что Анна Андреевна рискнула наконец на самый дерзкий шаг, который только можно было представить в ее положении. Подлинно — характер! Хотя старый князь, под предлогом здоровья, и был тогда своевременно конфискован в Царское Село, так что известие о его браке с Анной Андреевной не могло распространиться в свете и было на время потушено, так сказать, в самом зародыше, но, однако же, слабый старичок, с которым всё можно было сделать, ни за что на свете не согласился бы отстать от своей идеи и изменить Анне Андреевне, сделавшей ему предложение. На этот счет он был рыцарем; так что рано или поздно он вдруг мог встать и приступить к исполнению своего намерения с неудержимою силой, что весьма и весьма случается именно с слабыми характерами, ибо у них есть такая черта, до которой не

надобно доводить их. К тому же он совершенно сознавал всю щекотливость положения Анны Андреевны, которую уважал безмерно, сознавал возможность светских слухов, насмешек, худой на ее счет молвы. Смиряло и останавливало его пока лишь то, что Катерина Николаевна ни разу, ни словом, ни намеком не позволила себе заикнуться в его присутствии об Анне Андреевне с дурной стороны или обнаружить хоть что-нибудь против намерения его вступить с нею в брак. Напротив, она высказывала чрезвычайное радушие и внимание к невесте отца своего. Таким образом, Анна Андреевна поставлена была в чрезвычайно неловкое положение, тонко понимая своим женским чутьем, что малейшим наговором на Катерину Николаевну, перед которой князь тоже благоговел, а теперь даже более, чем всегда, и именно потому, что она так благодушно и почтительно позволила ему жениться, — малейшим наговором на нее она оскорбила бы все его нежные чувства и возбудила бы в нем к себе недоверие и даже, пожалуй, негодование. Таким образом, на этом поле пока и шла битва: обе соперницы как бы соперничали одна перед другой в деликатности и терпении, и князь в конце концов уже не знал, которой из них более удивляться, и, по обыкновению всех слабых, но нежных сердцем людей, кончил тем, что начал страдать и винить во всем одного себя. Тоска его, говорят, дошла до болезни; нервы его и впрямь расстроились, и вместо поправки здоровья в Царском он, как уверяли, готов уже был слечь в постель.

Здесь замечу в скобках о том, о чем узнал очень долго спустя: будто бы Бьоринг прямо предлагал Катерине Николаевне отвезти старика за границу, склонив его к тому как-нибудь обманом, объявив между тем негласно в свете, что он совершенно лишился рассудка, а за границей уже достать свидетельство об этом врачей. Но этого-то и не захотела Катерина Николаевна ни за что; так по крайней мере потом утверждали. Она будто бы с негодованием отвергнула этот проект. Всё это — только самый отдаленный слух, но я ему верю.

И вот, когда дело, так сказать, дошло до последней безвыходности, Анна Андреевна вдруг через Ламберта узнает, что существует такое письмо, в котором дочь уже советовалась с юристом о средствах объявить отца сумасшедшим. Мстительный и гордый ум ее был возбужден в высочайшей степени. Вспоминая прежние разговоры со мной и сообразив множество мельчайших обстоятельств, она не могла

усомниться в верности известия. Тогда в этом твердом, непреклонном женском сердце неотразимо созрел план удара. План состоял в том, чтобы вдруг, без всяких подходов и наговоров, разом объявить всё князю, испугать его, потрясти его, указать, что его неминуемо ожидает сумасшедший дом, и когда он упрется, придет в негодование, станет не верить, то показать ему письмо дочери: «дескать, уж было раз намерение объявить сумасшедшим; так теперь, чтоб помешать браку, и подавно может быть». Затем взять испуганного и убитого старика и перевезти в Петербург — *прямо на мою квартиру*.

Это был ужасный риск, но она твердо надеялась на свое могущество. Здесь, отступая на миг от рассказа, сообщу, забегая очень вперед, что она не обманулась в эффекте удара; мало того, эффект превзошел все ее ожидания. Известие об этом письме подействовало на старого князя, может быть, в несколько раз сильнее, чем она сама и мы все предполагали. Я и не знал никогда до этого времени, что князю уже было нечто известно об этом письме еще прежде; но, по обычаю всех слабых и робких людей, он не поверил слуху и отмахивался от него из всех сил, чтобы остаться спокойным; мало того, винил себя в неблагородстве своего легковерия. Прибавлю тоже, что факт существования письма подействовал также и на Катерину Николаевну несравненно сильнее, чем я сам тогда ожидал… Одним словом, эта бумага оказалась гораздо важнее, чем я сам, носивший ее в кармане, предполагал. Но тут я уже слишком забежал вперед.

Но зачем же, спросят, ко мне на квартиру? Зачем перевозить князя в жалкие наши каморки и, может быть, испугать его нашею жалкою обстановкой? Если уж нельзя было в его дом (так как там разом могли всему помешать), то почему не на особую «богатую» квартиру, как предлагал Ламберт? Но тут-то и заключался весь риск чрезвычайного шага Анны Андреевны.

Главное состояло в том, чтобы тотчас же по прибытии князя предъявить ему документ; но я не выдавал документа ни за что. А так как времени терять уже было нельзя, то, надеясь на свое могущество, Анна Андреевна и решилась начать дело и без документа, но с тем, чтобы князя прямо доставить ко мне — для чего? А для того именно, чтоб тем же самым шагом накрыть и меня, так сказать, по пословице, одним камнем убить двух воробьев. Она рассчитывала подействовать и на меня толчком, сотрясением, нечаянностью. Она размышляла, что,

увидя у себя старика, увидя его испуг, беспомощность и услышав их общие просьбы, я сдамся и предъявлю документ! Признаюсь — расчет был хитрый и умный, психологический, мало того — она чуть было не добилась успеха… что же до старика, то Анна Андреевна тем и увлекла его тогда, тем и заставила поверить себе, хотя бы на слово, что прямо объявила ему, что везет его *ко мне*. Всё это я узнал впоследствии. Даже одно только известие о том, что документ этот у меня, уничтожило в робком сердце его последние сомнения в достоверности факта — до такой степени он любил и уважал меня!

Замечу еще, что сама Анна Андреевна ни на минуту не сомневалась, что документ еще у меня и что я его из рук еще не выпустил. Главное, она понимала превратно мой характер и цинически рассчитывала на мою невинность, простосердечие, даже на чувствительность; а с другой стороны, полагала, что я, если б даже и решился передать письмо, например, Катерине Николаевне, то не иначе как при особых каких-нибудь обстоятельствах, и вот эти-то обстоятельства она и спешила предупредить нечаянностью, наскоком, ударом.

А наконец, во всем этом удостоверил ее и Ламберт. Я уже сказал, что положение Ламберта в это время было самое критическое: ему, предателю, из всей силы желалось бы сманить меня от Анны Андреевны, чтобы вместе с ним продать документ Ахмаковой, что он находил почему-то выгоднее. Но так как и я ни за что не выдавал документа до последней минуты, то он и решил в крайнем случае содействовать даже и Анне Андреевне, чтоб не лишиться всякой выгоды, а потому из всех сил лез к ней с своими услугами, до самого последнего часу, и я знаю, что предлагал даже достать, если понадобится, и священника… Но Анна Андреевна с презрительной усмешкой попросила его не упоминать об этом. Ламберт ей казался ужасно грубым и возбуждал в ней полное отвращение; но из осторожности она все-таки принимала его услуги, которые состояли, например, в шпионстве. Кстати, не знаю наверно даже до сего дня, подкупили они Петра Ипполитовича, моего хозяина, или нет, и получил ли он от них хоть сколько-нибудь тогда за услуги или просто пошел в их общество для радостей интриги; но только и он был за мной шпионом, и жена его — это я знаю наверно.

Читатель поймет теперь, что я, хоть и был отчасти предуведомлен,

но уж никак не мог угадать, что завтра или послезавтра найду старого князя у себя на квартире и в такой обстановке. Да и не мог бы я никак вообразить такой дерзости от Анны Андреевны! На словах можно было говорить и намекать об чем угодно; но решиться, приступить и в самом деле исполнить — нет, это, я вам скажу, — характер!

II

Продолжаю.

Проснулся я наутро поздно, а спал необыкновенно крепко и без снов, о чем припоминаю с удивлением, так что, проснувшись, почувствовал себя опять необыкновенно бодрым нравственно, точно и не было всего вчерашнего дня. К маме я положил не заезжать, а прямо отправиться в кладбищенскую церковь, с тем чтобы потом, после церемонии, возвратясь в мамину квартиру, не отходить уже от нее во весь день. Я твердо был уверен, что во всяком случае встречу его сегодня у мамы, рано ли, поздно ли — но непременно.

Ни Альфонсинки, ни хозяина уже давно не было дома. Хозяйку я ни о чем не хотел расспрашивать, да и вообще положил прекратить с ними всякие сношения и даже съехать как можно скорей с квартиры; а потому, только что принесли мне кофей, я заперся опять на крючок. Но вдруг постучали в мою дверь; к удивлению моему, оказался Тришатов.

Я тотчас отворил ему и, обрадовавшись, просил войти, но он не хотел войти.

— Я только два слова с порогу… или уж войти, потому что, кажется, здесь надо говорить шепотом; только я у вас не сяду. Вы смотрите на мое скверное пальто: это — Ламберт отобрал шубу.

В самом деле он был в дрянном, старом и не по росту длинном пальто. Он стоял передо мной какой-то сумрачный и грустный, руки в карманах и не снимая шляпы.

— Я не сяду, я не сяду. Слушайте, Долгорукий, я не знаю ничего подробно, но знаю, что Ламберт готовит против вас какое-то предательство, близкое и неминуемое, — и это наверно. А потому берегитесь. Мне проговорился рябой. — помните рябого? Но ничего не сказал, в чем дело, так что более я ничего не могу сказать. Я только пришел предуведомить — прощайте.

— Да сядьте же, милый Тришатов! я хоть и спешу, но я так рад вам… — вскричал было я.

— Не сяду, не сяду; а то, что вы рады мне, буду помнить. Э, Долгорукий, что других обманывать: я сознательно, своей волей согласился на всякую скверность и на такую низость, что стыдно и произнести у вас. Мы теперь у рябого… Прощайте. Я не стою, чтоб сесть у вас.

— Полноте, Тришатов, милый…

— Нет, видите, Долгорукий, я перед всеми дерзок и начну теперь кутить. Мне скоро сошьют шубу еще лучше, и я буду на рысаках ездить. Но я буду знать про себя, что я все-таки у вас не сел, потому что сам себя так осудил, потому что перед вами низок. Это все-таки мне будет приятно припомнить, когда я буду бесчестно кутить. Прощайте, ну, прощайте. И руки вам не даю; ведь Альфонсинка же не берет моей руки. И, пожалуйста, не догоняйте меня, да и ко мне не ходите; у нас контракт.

Странный мальчик повернулся и вышел. Мне только было некогда, но я положил непременно разыскать его вскорости, только что улажу наши дела.

Затем не стану описывать всего этого утра, хотя и много бы можно было припомнить. Версилова в церкви на похоронах не было, да, кажется, по их виду, можно было еще до выноса заключить, что в церковь его и не ждали. Мама благоговейно молилась и, по-видимому, вся отдалась молитве. У гроба были только Татьяна Павловна и Лиза. Но ничего, ничего не описываю. После погребения все воротились и сели за стол, и опять-таки по виду их я заключил, что и к столу его, вероятно, не ждали. Когда встали из-за стола, я подошел к маме, горячо обнял ее и поздравил с днем ее рождения; за мной сделала то же самое Лиза.

— Слушай, брат, — шепнула мне украдкой Лиза, — они его ждут.

— Угадываю, Лиза, вижу.

— Он наверно придет.

Значит, имеют точные сведения, подумал я, но не расспрашивал. Хоть не описываю чувств моих, но вся эта загадка, несмотря на всю бодрость мою, вдруг опять навалилась камнем на мое сердце. Мы все уселись, в гостиной за круглым столом, вокруг мамы. О, как мне нравилось года быть с нею и смотреть на нее! Мам вдруг попросила,

чтоб я прочел что-нибудь из Евангелия. Я прочел главу от Луки. Она не плакала и даже была не очень печальна, но никогда лицо ее не казалось мне столь осмысленным духовно. В тихом взгляде ее светилась идея, но никак я не мог заметить, чтоб она чего-нибудь ждала в тревоге. Разговор не умолкал; стали многое припоминать о покойном, много рассказала о нем и Татьяна Павловна, чего я совершенно не знал прежде. И вообще если б записать, то нашлось бы много любопытного. Даже Татьяна Павловна совсем как бы изменила свои обычный вид: была очень тиха, очень ласкова, а главное, тоже очень спокойна, хотя и много говорила, чтобы развлечь маму. Но одну подробность я слишком запомнил: мама сидела на диване, а влево от дивана, на особом круглом столике, лежал как бы приготовленный к чему-то образ — древняя икона, без ризы, но лишь с венчиками на главах святых, которых изображено было двое. Образ этот принадлежал Макару Ивановичу — об этом я знал и знал тоже, что покойник никогда не расставался с этою иконой и считал ее чудотворною. Татьяна Павловна несколько раз на нее взглядывала.

— Слушай Софья, — сказала она вдруг, переменяя разговор, — чем иконе лежать — не поставить ли ее на столе же, прислоня к стене, и не зажечь ли пред ней лампадку?

— Нет, лучше так, как теперь, — сказала мама.

— А и впрямь. А то много торжества покажется…

Я тогда ничего не понял, но дело состояло в том, что этот образ давно уже завещан был Макаром Ивановичем, на словах, Андрею Петровичу, и мама готовилась теперь передать его.

Было уже пять часов пополудни; наш разговор продолжался, и вдруг я заметил в лице мамы как бы содрогание; она быстро выпрямилась и стала прислушиваться, тогда как говорившая в то время Татьяна Павловна продолжала говорить, ничего не замечая. Я тотчас обернулся к двери и миг спустя увидел в дверях Андрея Петровича. Он прошел не с крыльца, а с черной лестницы, через кухню и коридор, и одна мама из всех нас заслышала шаги его. Теперь опишу всю последовавшую безумную сцену, жест за жестом, слово за словом; она была коротка.

Во-первых, в лице его я, с первого взгляда по крайней мере, не заметил ни малейшей перемены. Одет он был как всегда, то есть почти щеголевато. В руках его был небольшой, но дорогой букет свежих цветов. Он подошел и с улыбкой подал его маме; та было посмотрела с

пугливым недоумением, но приняла букет, и вдруг краска слегка оживила ее бледные щеки, а в глазах сверкнула радость.

— Я так и знал, что ты так примешь, Соня, — проговорил он. Так как мы все встали при входе его, то он, подойдя к столу, взял кресло Лизы, стоявшее слева подле мамы, и, не замечая, что занимает чужое место, сел на него. Таким образом, прямо очутился подле столика, на котором лежал образ.

— Здравствуйте все. Соня, я непременно хотел принести тебе сегодня этот букет, в день твоего рождения, а потому и не явился на погребение, чтоб не прийти к мертвому с букетом; да ты и сама меня не ждала к погребению, я знаю. Старик, верно, не посердится на эти цветы, потому что сам же завещал нам радость, не прав да ли? Я думаю, он здесь где-нибудь в комнате.

Мама странно поглядела на него; Татьяну Павловну как будто передернуло.

— Кто это здесь в комнате? — спросила она.

— Покойник. Оставим. Вы знаете, что не вполне верующий человек во все эти чудеса всегда наиболее склонен к предрассудкам… Но я лучше буду про букет: как я его донес — не понимаю. Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой.

Мама вздрогнула.

— Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слишком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Наш мороз и цветы — какая противоположность! Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош. Соня, я хоть и исчезну теперь опять, но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь — так кто же будет лечить меня от испуга, где же взять ангела, как Соню?.. Что это у вас за образ? А, покойников, помню. Он у него родовой, дедовский; он весь век с ним не расставался; знаю, помню, он мне его завещал; очень припоминаю… и, кажется, раскольничий[*]…дайте-ка взглянуть.

Он взял икону в руку, поднес к свече и пристально оглядел ее, но, продержав лишь несколько секунд, положил на стол, уже перед собою. Я дивился, но все эти странные речи его произнесены были так внезапно, что я не мог еще ничего осмыслить. Помню только, что болезненный испуг проникал в мое сердце. Испуг мамы переходил в недоумение и сострадание; она прежде всего видела в нем лишь

несчастного; случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как и теперь. Лиза стала вдруг очень почему-то бледна и странно кивнула мне на него головой. Но более всех испугана была Татьяна Павловна.

— Да что с вами, голубчик Андрей Петрович? — выговорила она осторожно.

— Право, не знаю, милая Татьяна Павловна, что со мной. Не беспокойтесь, я еще помню, что вы — Татьяна Павловна и что вы — милая. Я, однако, зашел лишь на минуту; я хотел бы сказать Соне что-нибудь хорошее и ищу такого слова, хотя сердце полно слов, которых не умею высказать; право, всё таких каких-то странных слов. Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — оглядел он нас всех с ужасно серьезным лицом и с самою искреннею сообщительностью. — Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите. Я знал однажды одного доктора, который на похоронах своего отца, в церкви, вдруг засвистал. Право, я боялся прийти сегодня на похороны, потому что мне с чего-то пришло в голову непременное убеждение, что я вдруг засвищу или захохочу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил… И, право, не знаю, почему мне всё припоминается сегодня этот доктор; до того припоминается, что не отвязаться. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ (он взял его и вертел в руках), и знаешь, мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины — ни больше ни меньше.

Главное, он проговорил всё это без всякого вида притворства или даже какой-нибудь выходки; он совсем просто говорил, но это было тем ужаснее; и, кажется, он действительно ужасно чего-то боялся; я вдруг заметил, что его руки слегка дрожат.

— Андрей Петрович! — вскрикнула мама, всплеснув руками.

— Оставь, оставь образ, Андрей Петрович, оставь, положи! — вскочила Татьяна Павловна, — разденься и ляг. Аркадий, за доктором!

— Однако… однако как вы засуетились? — проговорил он тихо, обводя нас всех пристальным взглядом. Затем вдруг положил оба локтя

на стол и подпер голову руками:

— Я вас пугаю, но вот что, друзья мои: потешьте меня каплю, сядьте опять и станьте все спокойнее — на одну хоть минуту! Соня, я вовсе не об этом пришел говорить; я пришел что-то сообщить, но совсем другое. Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, как уже не сколько раз от тебя отправлялся… Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять — в этом смысле ты неминуема. К кому же мне и прийти, когда всё кончится? Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу: какой ты мне враг, какой ты мне враг! Не подумай, что с тем, чтоб разбить этот образ, потому что, знаешь ли что, Соня, мне все-таки ведь хочется разбить…

Когда Татьяна Павловна перед тем вскрикнула: «Оставь образ!» — то выхватила икону из его рук и держала в своей руке. Вдруг он, с последним словом своим, стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, из всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска… Он вдруг обернулся к нам, и его бледное лицо вдруг всё покраснело, почти побагровело, и каждая черточка в лице его задрожала и заходила:

— Не прими за аллегорию, Соня, я не наследство Макара разбил, я только так, чтоб разбить… А все-таки к тебе вернусь, к последнему ангелу! А впрочем, прими хоть и за аллегорию; ведь это непременно было так!..

И он вдруг поспешно вышел из комнаты, опять через кухню (где оставалась шуба и шапка). Я не описываю подробно, что сталось с мамой: смертельно испуганная, она стояла, подняв и сложив над собою руки, и вдруг закричала ему вслед:

— Андрей Петрович, воротись хоть проститься-то, милый!

— Придет, Софья, придет! Не беспокойся! — вся дрожа в ужасном припадке злобы, злобы зверской, прокричала Татьяна. — Ведь слышала, сам обещал воротиться! дай ему, блажнику, еще раз, последний, погулять-то. Состарится — кто ж его тогда, в самом деле, безногого-то нянчить будет, кроме тебя, старой няньки? Так ведь прямо сам и объявляет, не стыдится…

Что до нас, то Лиза была в обмороке. Я было хотел бежать за ним, но бросился к маме. Я обнял ее и держал в своих объятиях. Лукерья прибежала со стаканом воды для Лизы. Но мама скоро очнулась; она опустилась на диван, закрыла лицо руками и заплакала.

— Однако, однако… однако догони-ка его! — закричала вдруг изо всей силы Татьяна Павловна, как бы опомнившись. — Ступай… ступай… догони, не отставай от него ни шагу, ступай, ступай! — отдергивала она меня изо всех сил от мамы, — ах, да побегу же я сама!

— Аркаша, ах, побеги за ним поскорей! — крикнула вдруг и мама.

Я выбежал сломя голову тоже через кухню и через двор, но его уже нигде не было. Вдали по тротуару чернелись в темноте прохожие; я пустился догонять их и, нагоняя, засматривал каждому в лицо, пробегая мимо. Так добежал я до перекрестка.

«На сумасшедших не сердятся, — мелькнуло у меня вдруг в голове, — а Татьяна озверела на него от злости; значит, он — вовсе не сумасшедший…» О, мне всё казалось, что это была *аллегория* и что ему непременно хотелось с чем-то покончить, как с этим образом, и показать это нам, маме, всем. Но и «двойник» был тоже несомненно подле него; в этом не было никакого сомнения…

III

Его, однако, нигде не оказывалось, и не к нему же было бежать; трудно было представить, чтоб он так просто отправился домой. Вдруг одна мысль заблестела предо мною, и я стремглав бросился к Анне Андреевне.

Анна Андреевна уже воротилась, и меня тотчас же допустили. Я вошел, сдерживая себя по возможности. Не садясь, я прямо рассказал ей сейчас происшедшую сцену, то есть именно о «двойнике». Никогда не забуду и не прошу ей того жадного, но безжалостно спокойного и самоуверенного любопытства, с которым она меня выслушала, тоже не садясь.

— Где он? Вы, может быть, знаете? — заключил я настойчиво. — К вам меня вчера посылала Татьяна Павловна…

— Я вас призывала еще вчера. Вчера он был в Царском, был и у меня. А теперь (она взглянула на часы), теперь семь часов… Значит, наверно у себя дома.

— Я вижу, что вы всё знаете — так говорите, говорите! — вскричал я.

— Знаю многое, но всего не знаю. Конечно, от вас скрывать

нечего… — обмерила она меня странным взглядом, улыбаясь и как бы соображая. — Вчера утром он сделал Катерине Николаевне, в ответ на письмо ее, формальное предложение выйти за него замуж.

— Это — неправда! — вытаращил я глаза.

— Письмо прошло через мои руки; я сама ей и отвезла его, нераспечатанное. В этот раз он поступил «по-рыцарски» и от меня ничего не потаил.

— Анна Андреевна, я ничего не понимаю!

— Конечно, трудно понять, но это — вроде игрока, который бросает на стол последний червонец, а в кармане держит уже приготовленный револьвер, — вот смысл его предложения. Девять из десяти шансов, что она его предложение не примет; но на одну десятую шансов, стало быть, он всё же рассчитывал, и, признаюсь, это очень любопытно, по-моему, впрочем… впрочем, тут могло быть исступление, тот же «двойник», как вы сейчас так хорошо сказали.

— И вы смеетесь? И разве я могу поверить, что письмо было передано через вас? Ведь вы — невеста отца ее? Пощадите меня, Анна Андреевна!

— Он просил меня пожертвовать своей судьбой его счастию, а впрочем, не просил по-настоящему: это всё довольно молчаливо обделалось, я только в глазах его всё прочитала. Ах, боже мой, да чего же больше: ведь ездил же он в Кенигсберг, к вашей матушке, проситься у ней жениться на падчерице madame Ахмаковой? Ведь это очень сходно с тем, что он избрал меня вчера своим уполномоченным и конфидентом.

Она была несколько бледна. Но ее спокойствие было только усилением сарказма. О, я простил ей многое в ту минуту, когда постепенно осмыслил дело. С минуту я обдумывал; она молчала и ждала.

— Знаете ли, — усмехнулся я вдруг, — вы передали письмо потому, что для вас не было никакого риску, потому что браку не бывать, но ведь он? Она, наконец? Разумеется, она отвернется от его предложения, и тогда… что тогда может случиться? Где он теперь, Анна Андреевна? — вскричал я. — Тут каждая минута дорога, каждую минуту может быть беда!

— Он у себя дома, я вам сказала. В своем вчерашнем письме к Катерине Николаевне, которое я передала, он просил у ней, *во всяком*

случае, свидания у себя на квартире, сегодня, ровно в семь часов вечера. Та дала обещание.

— Она к нему на квартиру? Как это можно?

— Почему же? Квартира эта принадлежит Настасье Егоровне: они оба очень могли у ней встретиться как ее гости…

— Но она боится его… он может убить ее!

Анна Андреевна только улыбнулась.

— Катерина Николаевна, несмотря на весь свой страх, который я в ней сама приметила, всегда питала, еще с прежнего времени, некоторое благоговение и удивление к благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича. На этот раз она доверилась ему, чтобы покончить с ним навсегда. В письме же своем он дал ей самое торжественное, самое рыцарское слово, что опасаться ей нечего… Одним словом, я не помню выражений письма, но она доверилась… так сказать, для последнего разу… и, так сказать, отвечая самыми геройскими чувствами. Тут могла быть некоторая рыцарская борьба с обеих сторон.

— А двойник, двойник! — воскликнул я. — Да ведь он с ума сошел!

— Давая вчера свое слово явиться на свидание, Катерина Николаевна, вероятно, не предполагала возможности такого случая.

Я вдруг повернулся и бросился бежать… К нему, к ним, разумеется! Но из залы еще воротился на одну секунду.

— Да вам, может быть, того и надо, чтобы он убил ее! — вскричал я и выбежал из дому.

Несмотря на то что я весь дрожал, как в припадке, я вошел в квартиру тихо, через кухню, и шепотом попросил вызвать ко мне Настасью Егоровну, но та сама тотчас же вышла и молча впилась в меня ужасно вопросительным взглядом.

— Они-с, их нет дома-с.

Но я прямо и точно, быстрым шепотом изложил, что всё знаю от Анны Андреевны, да и сам сейчас от Анны Андреевны.

— Настасья Егоровна, где они?

— Они в зале-с; там же, где вы сидели третьего дня, за столом…

— Настасья Егоровна, пустите меня туда!

— Как это возможно-с?

— Не туда, а в комнату рядом. Настасья Егоровна, Анна

Андреевна, может, сама того хочет. Кабы не хотела, не сказала бы мне, что они здесь. Они меня не услышат… она сама того хочет…

— А как не хочет? — не спускала с меня впившегося взгляда своего Настасья Егоровна.

— Настасья Егоровна, я вашу Олю помню… пропустите меня.

У нее вдруг затряслись губы и подбородок:

— Голубчик, вот за Олю разве… за чувство твое… Не покинь ты Анну Андреевну, голубчик! Не покинешь, а? не покинешь?

— Не покину!

— Дай же мне свое великое слово, что не вбежишь к ним и не закричишь, коли я тебя там поставлю?

— Честью моею клянусь, Настасья Егоровна!

Она взяла меня за сюртук, провела в темную комнату, смежную с той, где они сидели, подвела чуть слышно по мягкому ковру к дверям, поставила у самых спущенных портьер и, подняв крошечный уголок портьеры, показала мне их обоих.

Я остался, она ушла. Разумеется, остался. Я понимал, что я подслушиваю, подслушиваю чужую тайну, но я остался. Еще бы не остаться — а двойник? Ведь уж он разбил в моих глазах образ?

IV

Они сидели друг против друга за тем же столом, за которым мы с ним вчера пили вино* за его «воскресение»; я мог вполне видеть их лица. Она была в простом черном платье, прекрасная и, по-видимому, спокойная, как всегда. Говорил он, а она с чрезвычайным и предупредительным вниманием его слушала. Может быть, в ней и видна была некоторая робость. Он же был страшно возбужден. Я пришел уже к начатому разговору, а потому некоторое время ничего не понимал. Помню, она вдруг спросила:

— И я была причиною?

— Нет, это я был причиною, — ответил он, — а вы только без вины виноваты. Вы знаете, что бывают без вины виноватыми? Это — самые непростительные вины и всегда почти несут наказание, — прибавил он, странно засмеявшись. — А я и впрямь думал минуту, что вас со всем забыл и над глупой страстью моей совсем смеюсь… но вы это знаете. А,

однако же, что мне до того человека, за которого вы выходите? Я сделал вам вчера предложение, простите за это, это — нелепость, а между тем заменить ее совсем нечем… что ж бы я мог сделать, кроме этой нелепости? Я не знаю…

Он потерянно рассмеялся при этом слове, вдруг подняв на нее глаза; до того же времени говорил, как бы смотря в сторону. Если б я был на ее месте, я бы испугался этого смеха, я это почувствовал. Он вдруг встал со стула.

— Скажите, как могли вы согласиться прийти сюда? — спросил он вдруг, как бы вспомнив о главном. — Мое приглашение и мое всё письмо — нелепость… По стойте, я еще могу угадать, каким образом вышло, что вы согласились прийти, но — зачем вы пришли — вот вопрос? Неужто вы из одного только страху пришли?

— Я чтоб видеть вас пришла, — произнесла она, присматриваясь к нему с робкою осторожностью. Оба с полминуты молчали. Версилов опустился опять на стул и кротким, но проникнутым, почти дрожавшим голосом начал:

— Я вас ужасно давно не видал, Катерина Николаевна, так давно, что почти уж и возможным не считал когда-нибудь сидеть, как теперь, подле вас, вглядываться в ваше лицо и слушать ваш голос… Два года мы не видались, два года не говорили. Говорить-то я с вами уж никогда не думал. Ну, пусть, что прошло — то прошло, а что есть — то завтра исчезнет как дым, — пусть это! Я согласен, потому что опять-таки этого заменить нечем, но не уходите теперь даром, — вдруг прибавил он, почти умоляя, — если уж подали милостыню — пришли, то не уходите даром: ответьте мне на один вопрос!

— На какой вопрос?

— Ведь мы никогда не увидимся и — что вам? Скажи те мне правду раз навек, на один вопрос, который никогда не задают умные люди: любили вы меня хоть когда-нибудь, или я… ошибся?

Она вспыхнула.

— Любила, — проговорила она.

Так я и ждал, что она это скажет — о, правдивая, о, искренняя, о, честная!

— А теперь? — продолжал он.

— Теперь не люблю.

— И смеетесь?

— Нет, я потому сейчас усмехнулась, нечаянно, потому что я так и знала, что вы спросите: «А теперь?» А потому улыбнулась… потому что, когда что угадываешь, то всегда усмехнешься…

Мне было даже странно; я еще никогда не видал ее такою осторожною, даже почти робкою и так конфузящеюся. Он пожирал ее глазами.

— Я знаю, что вы меня не любите… и — совсем не любите?

— Может быть, совсем не люблю. Я вас не люблю, — прибавила она твердо и уже не улыбаясь и не краснея. — Да, я любила вас, но недолго. Я очень скоро вас тогда разлюбила…

— Я знаю, знаю, вы увидали, что тут не то, что вам надо, но… что же вам надо? Объясните мне это еще раз…

— Разве я это уже когда-нибудь вам объясняла? Что мне надо? Да я — самая обыкновенная женщина; я — спокойная женщина, я люблю… я люблю веселых людей.

— Веселых?

— Видите, как я даже не умею говорить с вами. Мне кажется, если б вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила, — опять робко улыбнулась она. Самая полная искренность сверкнула в ее ответе, и неужели она не могла понять, что ответ ее есть самая окончательная формула их отношений, всё объясняющая и разрешающая. О, как он должен был понять это! Но он смотрел на нее и странно улыбался.

— Бьоринг — человек веселый? — продолжал он спрашивать.

— Он не должен вас беспокоить совсем, — ответила она с некоторою поспешностью. — Я выхожу за него потому только, что мне за ним будет всего спокойнее. Вся душа моя останется при мне.

— Вы, говорят, опять полюбили общество, свет?

— Не общество. Я знаю, что в нашем обществе та кой же беспорядок, как и везде; но снаружи формы еще красивы, так что, если жить, чтоб только проходить мимо, то уж лучше тут, чем где-нибудь.

— Я часто стал слышать слово «беспорядок»; вы тогда тоже испугались моего беспорядка, вериг, идей, глупостей?

— Нет, это было не совсем то…

— Что же? Ради бога, говорите всё прямо.

— Ну, я вам скажу это прямо, потому что считаю вас за величайший ум… Мне всегда казалось в вас что-то смешное.

Выговорив это, она вдруг вспыхнула, как бы сознав, что сделала

чрезвычайную неосторожность.

— Вот за то, что вы мне это сказали, я вам много могу простить, — странно проговорил он.

— Я не договорила, — заторопилась она, всё краснея, — это я смешна… уж тем, что говорю с вами как дура.

— Нет, вы не смешны, а вы — только развратная, светская женщина! — побледнел он ужасно. — Я давеча тоже не договорил, когда вас спрашивал, зачем вы пришли. Хотите, договорю? Тут существует одно письмо, один документ, и вы ужасно его боитесь, потому что отец ваш, с этим письмом в руках, может вас проклясть при жизни и законно лишить наследства в завещании. Вы боитесь этого письма и — вы пришли за этим письмом, — проговорил он, почти весь дрожа и даже чуть не стуча зубами. Она выслушала его с тоскливым и болезненным выражением лица.

— Я знаю, что вы можете мне сделать множество неприятностей, — проговорила она, как бы отмахиваясь от его слов, — но я пришла не столько затем, чтобы уговорить вас меня не преследовать, сколько, чтоб вас самого видеть. Я даже очень желала вас встретить уже давно, сама… Но я встретила вас такого же, как и прежде, — вдруг прибавила она, как бы увлеченная особенною и решительною мыслью и даже каким-то странным и внезапным чувством.

— А вы надеялись увидеть другого? Это — после письма-то моего о вашем разврате? Скажите, вы шли сюда без всякого страху?

— Я пришла потому, что вас прежде любила; но, знаете, прошу вас, не угрожайте мне, пожалуйста, ничем, пока мы теперь вместе, не напоминайте мне дурных моих мыслей и чувств. Если б вы могли заговорить со мной о чем-нибудь другом, я бы очень была рада. Пусть угрозы — потом, а теперь бы другое… Я, право, пришла, чтоб вас минуту видеть и слышать. Ну а если не можете, то убейте меня прямо, но только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами, — заключила она, в странном ожидании смотря на него, точно и впрямь предполагая, что он может убить ее Он встал опять со стула и, горячим взглядом смотря на нее, проговорил твердо:

— Вы уйдете отсюда без малейшего оскорбления.

— Ах да, ваше честное слово! — улыбнулась она.

— Нет, не потому только, что дано честное слово в письме, а

потому, что я хочу и буду думать о вас всю ночь…

— Мучить себя?

— Я воображаю вас, когда я один, всегда. Я только и делаю, что с вами разговариваю. Я ухожу в трущобы и берлоги, и, как контраст, вы сейчас являетесь предо мною. Но вы всегда смеетесь надо мною, как и теперь… — он проговорил это как бы вне себя.

— Никогда, никогда не смеялась я над вами! — воскликнула она проникнутым голосом и как бы с величайшим состраданием, изобразившимся на лице ее. — Если я пришла, то я из всех сил старалась сделать это так, чтоб вам ни за что не было обидно, — прибавила она вдруг. — Я пришла сюда, чтоб сказать вам, что я почти вас люблю… Простите, я, может, не так сказала, — прибавила она торопливо.

Он засмеялся:

— Зачем вы не умеете притворяться? Зачем вы — такая простушка, зачем вы — не такая, как все… Ну как сказать человеку, которого прогоняешь: «почти люблю вас»?

— Я только не умела выразиться, — заторопилась она, — это я не так сказала; это потому, что я при вас всегда стыдилась и не умела говорить с первой нашей встречи. А если я не так сказала словами, что «почти вас люблю», то ведь в мысли это было почти так — вот потому я и сказала, хотя и люблю я вас такою… ну, такою *общею* любовью, которою всех любишь и в которой всегда не стыдно признаться…

Он молча, не спуская с нее своего горячего взгляда, прислушивался.

— Я, конечно, вас обижаю, — продолжал он как бы вне себя. — Это в самом деле, должно быть, то, что называют страстью… Я одно знаю, что я при вас кончен; без вас тоже. Всё равно без вас или при вас, где бы вы ни были, вы всё при мне. Знаю тоже, что я могу вас очень ненавидеть, больше, чем любить… Впрочем, я давно ни об чем не думаю — мне всё равно. Мне жаль только, что я полюбил такую, как вы…

Голос его прерывался; он продолжал, как бы задыхаясь.

— Чего вам? вам дико, что я так говорю? — улыбнулся он бледной улыбкой. — Я думаю, что если б только это могло вас прельстить, то я бы простоял где-нибудь тридцать лет столпником на одной ноге… Я вижу: вам меня жаль; ваше лицо говорит: «Я бы полюбила тебя, если б

могла, но я не могу»… Да? Ничего, у меня нет гордости. Я готов, как нищий, принять от вас всякую милостыню — слышите, всякую… У нищего какая же гордость?

Она встала и подошла к нему.

— Друг мой! — проговорила она, прикасаясь рукой к его плечу и с невыразимым чувством в лице, — я не могу слышать таких слов! Я буду думать о вас всю мою жизнь как о драгоценнейшем человеке, как о величайшем сердце, как о чем-то священном из всего, что могу уважать и любить. Андрей Петрович, поймите мои слова: ведь за что-нибудь я пришла же теперь, милый, и прежде и теперь милый, человек! Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Расстанемтесь же как друзья, и вы будете самою серьезнейшею и самою милою моею мыслью во всю мою жизнь!

— «Расстанемтесь, и тогда буду любить вас», буду любить — только расстанемтесь. Слушайте, — произнес он, совсем бледный, — подайте мне еще милостыню; не любите меня, не живите со мной, будем никогда не видаться; я буду ваш раб — если позовете, и тотчас исчезну — если не захотите ни видеть, ни слышать меня, только… *только не выходите ни за кого замуж!*

У меня сердце сжалось до боли, когда я услышал такие слова. Эта наивно унизительная просьба была тем жалчее, тем сильнее пронзала сердце, что была так обнаженна и невозможна. Да, конечно, он просил милостыню! Ну мог ли он думать, что она согласится? Меж тем он унижался до пробы: он попробовал попросить! Эту последнюю степень упадка духа было невыносимо видеть. Все черты лица ее как бы вдруг исказились от боли; но прежде чем она успела сказать слово, он вдруг опомнился.

— Я вас *истреблю!* — проговорил он вдруг странным, искаженным, не своим каким-то голосом.

Но ответила она ему тоже странно, тоже совсем каким-то не своим, неожиданным голосом:

— Подай я вам милостыню, — сказала она вдруг твердо, — и вы отмстите мне за нее потом еще пуще, чем теперь грозите, потому что никогда не забудете, что стояли предо мною таким нищим… Не могу я слышать от вас угроз! — заключила она почти с негодованием, чуть не с вызовом посмотрев на него.

— «От вас угроз», то есть — от такого нищего! Я пошутил, —

проговорил он тихо, улыбаясь. — Я вам ничего не сделаю, не бойтесь, уходите… и тот документ из всех сил постараюсь прислать — только идите, идите! Я вам написал глупое письмо, а вы на глупое письмо отозвались и пришли — мы сквитались. Вам сюда, — указал он на дверь (она хотела было пройти через ту комнату, в которой я стоял за портьерой).

— Простите меня, если можете, — остановилась она в дверях.

— Ну что, если мы встретимся когда-нибудь совсем друзьями и будем вспоминать и об этой сцене с светлым смехом? — проговорил он вдруг; но все черты лица его дрожали, как у человека, одержимого припадком.

— О, дай бог! — вскричала она, сложив пред собою руки, но пугливо всматриваясь в его лицо и как бы угадывая, что он хотел сказать.

— Ступайте. Много в нас ума-то в обоих, но вы… О, вы — моего пошиба человек! я написал сумасшедшее письмо, а вы согласились прийти, чтоб сказать, что «почти меня любите». Нет, мы с вами — одного безумия люди! Будьте всегда такая безумная, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями — это я вам пророчу, клянусь вам!

— И вот тогда я вас полюблю непременно, потому что и теперь это чувствую! — не утерпела в ней женщина и бросила ему с порога эти последние слова.

Она вышла. Я поспешно и неслышно прошел в кухню и, почти не взглянув на Настасью Егоровну, ожидавшую меня, пустился через черную лестницу и двор на улицу. Но я успел только увидать, как она села в извозчичью карету, ожидавшую ее у крыльца. Я побежал по улице.

Глава одиннадцатая

I

Я прибежал к Ламберту. О, как ни желал бы я придать логический вид и отыскать хоть малейший здравый смысл в моих поступках в тот вечер и во всю ту ночь, но даже и теперь, когда могу уже всё сообразить, я никак не в силах представить дело в надлежащей ясной

связи. Тут было чувство или, лучше сказать, целый хаос чувств, среди которых я, естественно, должен был заблудиться. Правда, тут было одно главнейшее чувство, меня подавлявшее и над всем командовавшее, но… признаваться ли в нем? Тем более что я не уверен…

Вбежал я к Ламберту, разумеется, вне себя. Я даже испугал было его и Альфонсинку. Я всегда замечал, что даже самые забулдыжные, самые потерянные французы чрезмерно привержены в своем домашнем быту к некоторого рода буржуазному порядку, к некоторого рода самому прозаическому, обыденно-обрядному образу раз навсегда заведенной жизни. Впрочем, Ламберт очень скоро понял, что нечто случилось, и пришел в восторг, видя наконец меня у себя, *обладая* наконец мною. А он об этом только и думал, день и ночь, эти дни! О, как я ему был нужен! И вот, когда уже он потерял всю надежду, я вдруг являюсь сам, да еще в таком безумии — именно в том виде, в каком ему было надо.

— Ламберт, вина! — закричал я, — давай пить, давай буянить. Альфонсина, где ваша гитара?

Сцену я не описываю — лишнее. Мы пили, и я всё ему рассказал, всё. Он выслушал жадно. Я прямо, и сам первый, предложил ему заговор, пожар. Во-первых, мы должны были зазвать Катерину Николаевну к нам письмом…

— Это можно, — поддакивал Ламберт, схватывая каждое мое слово.

Во-вторых, для убедительности, послать в письме всю копию с ее «документа», так чтобы она могла прямо видеть, что ее не обманывают.

— Так и должно, так и надо! — поддакивал Ламберт, беспрерывно переглядываясь с Альфонсинкой.

В-третьих, зазвать ее должен был сам Ламберт, от себя, вроде как бы от неизвестного, приехавшего из Москвы, а я должен был привезти Версилова…

— И Версилова можно, — поддакивал Ламберт.

— Должно, а не можно! — вскричал я, — необходимо! Для него-то всё и делается! — объяснил я, прихлебывая из стакана глоток за глотком. (Мы пили все трое, и, кажется, я один выпил всю бутылку шампанского, а они только делали вид). — Мы будем сидеть с Версиловым в другой комнате (Ламберт, надо достать другую комнату!) — и, когда вдруг она согласится на всё — и на выкуп

деньгами, и на *другой* выкуп, потому что они все — подлые, тогда мы с Версиловым выйдем и уличим ее в том, какая она подлая, а Версилов, увидав, какая она мерзкая, разом вылечится, а ее выгонит пинками. Но тут надо еще Бьоринга, чтобы и тот посмотрел на нее! — прибавил я в исступлении.

— Нет, Бьоринга не надо, — заметил было Ламберт.

— Надо, надо! — завопил я опять, — ты ничего не понимаешь, Ламберт, потому что ты глуп! Напротив, пусть пойдет скандал в высшем свете — этим мы отмстим и высшему свету и ей, и пусть она будет наказана! Ламберт, она даст тебе вексель… Мне денег не надо — я на деньги наплюю, а ты нагнешься и подберешь их к себе в карман с моими плевками, но зато я ее сокрушу!

— Да, да, — всё поддакивал Ламберт, — это ты — так… — Он всё переглядывался с Альфонсинкой.

— Ламберт! Она страшно благоговеет перед Версиловым; я сейчас убедился, — лепетал я ему.

— Это хорошо, что ты всё подсмотрел: я никогда не предполагал, что ты — такой шпион и что в тебе столько ума! — он сказал это, чтобы ко мне подольститься.

— Врешь, француз, я — не шпион, но во мне много ума! А знаешь, Ламберт, она ведь его любит! — продолжал я, стараясь из всех сил высказаться. — Но она за него не выйдет, потому что Бьоринг — гвардеец, а Версилов — всего только великодушный человек и друг человечества, по-ихнему, лицо комическое и ничего больше! О, она понимает эту страсть и наслаждается ею, кокетничает, завлекает, но не выйдет! Это — женщина, это — змея! Всякая женщина — змея, и всякая змея — женщина! Его надо излечить; с него надо сорвать пелену: пусть увидит, какова она, и излечится. Я его приведу к тебе, Ламберт!

— Так и надо, — всё подтверждал Ламберт, подливая мне каждую минуту.

Главное, он так и трепетал, чтобы чем-нибудь не рассердить меня, чтобы не противоречить мне и чтобы я больше пил. Это было так грубо и очевидно, что даже я тогда не мог не заметить. Но я и сам ни за что уже не мог уйти; я всё пил и говорил, и мне страшно хотелось окончательно высказаться. Когда Ламберт пошел за другою бутылкой, Альфонсинка сыграла на гитаре какой-то испанский мотив; я чуть не расплакался.

— Ламберт, знаешь ли ты всё! — восклицал я в глубоком чувстве. — Этого человека надо непременно спасти, потому что кругом его… колдовство. Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками… потому что это бывает. Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок, как мертвая петля, как болезнь, и — чуть достиг удовлетворения — тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги[*], Ламберт, читал ее?

— Нет, не помню; роман? — пробормотал Ламберт.

— О, ты ничего не знаешь, Ламберт! Ты страшно, страшно необразован… но я плюю. Всё равно. О, он любит маму; он целовал ее портрет; он прогонит ту на другое утро, а сам придет к маме; но уже будет поздно, а потому надо спасти теперь…

Под конец я стал горько плакать, но всё продолжал говорить и ужасно много выпил. Характернейшая черта состояла в том, что Ламберт, во весь вечер, ни разу не спросил про «документ», то есть: где же, дескать, он? То есть чтобы я его показал, выложил на стол. Чего бы, кажется, натуральнее спросить про это, уговариваясь действовать? Еще черта: мы только говорили, что надо это сделать, что мы «это» непременно сделаем, но о том, где это будет, как и когда — об этом мы не сказали тоже ни слова! Он только мне поддакивал да переглядывался с Альфонсинкой — больше ничего! Конечно, я тогда ничего не мог сообразить, но я все-таки это запомнил.

Кончил я тем, что заснул у него на диване, не раздеваясь. Проспал я очень долго и проснулся очень поздно. Вспоминаю, что, пробудясь, я некоторое время лежал на диване как ошеломленный, стараясь сообразить и припомнить и притворяясь, что всё еще сплю. Но в комнате Ламберта уже не оказалось: он ушел. Был уже десятый час; трещала затопленная печка, точь-в-точь как тогда, когда я, после той ночи, очутился в первый раз у Ламберта. Но за ширмами сторожила меня Альфонсинка: я это тотчас заметил, потому что она раза два выглянула и приглядывалась, но я каждый раз закрывал глаза и делал вид, что всё еще сплю. Я делал так оттого, что был придавлен и что мне надо было осмыслить мое положение. Я с ужасом чувствовал всю нелепость и всю мерзость моей ночной исповеди Ламберту, моего уговора с ним, моей ошибки, что я прибежал к нему! Но, слава богу,

документ всё еще оставался при мне, всё так же зашитый в моем боковом кармане; я ощупал его рукой — там! Значит, стоило только сейчас вскочить и убежать, а стыдиться потом Ламберта нечего было: Ламберт того не стоил.

Но стыдился я сам и себя самого! Я сам был судьею себе, и — о боже, что было в душе моей! Но не стану описывать этого адского, нестерпимого чувства и этого сознания грязи и мерзости. Но всё же я должен признаться, потому что, кажется, пришло тому время. В записках моих это должно быть отмечено. Итак, пусть же знают, что не для того я хотел ее опозорить и собирался быть свидетелем того, как она даст выкуп Ламберту (о, низость!), — не для того, чтобы спасти безумного Версилова и возвратить его маме, а для того… что, может быть, сам был влюблен в нее, влюблен и ревновал! К кому ревновал: к Бьорингу, к Версилову? Ко всем тем, на которых она на бале будет смотреть и с которыми будет говорить, тогда как я буду стоять в углу, стыдясь самого себя?.. О, безобразие!

Одним словом, я не знаю, к кому я ее ревновал; но я чувствовал только и убедился в вчерашний вечер, как дважды два, что она для меня пропала, что эта женщина меня оттолкнет и осмеет за фальшь и за нелепость! Она — правдивая и честная, а я — я шпион и с документами!

Всё это я таил с тех самых пор в моем сердце, а теперь пришло время и — я подвожу итог. Но опять-таки и в последний раз: я, может быть, на целую половину или даже на семьдесят пять процентов налгал на себя! В ту ночь я ненавидел ее, как исступленный, а потом как разбушевавшийся пьяный. Я сказал уже, что это был хаос чувств и ощущений, в котором я сам ничего разобрать не мог. Но, всё равно, их надо было высказать, потому что хоть часть этих чувств да была же наверно.

С неудержимым отвращением и с неудержимым намерением всё загладить я вдруг вскочил с дивана; но только что я вскочил, мигом выскочила Альфонсинка. Я схватил шубу и шапку и велел ей передать Ламберту, что я вчера бредил, что я оклеветал женщину, что я нарочно шутил и чтоб Ламберт не смел больше никогда приходить ко мне… Всё это я высказал кое-как, через пень колоду, торопясь, по-французски, и, разумеется, страшно неясно, но, к удивлению моему, Альфонсинка всё поняла ужасно; но что всего удивительнее, даже чему-то как бы обрадовалась.

— Oui, oui, — поддакивала она мне, — c'est une honte! Une dame… Oh, vous êtes généreux, vous! Soyez tranquille, je ferai voir raison à Lambert…[114]

Так что я даже в ту минуту должен был бы стать в недоумении, видя такой неожиданный переворот в ее чувствах, а стало быть, пожалуй, и в Ламбертовых. Я, однако же, вышел молча; на душе моей было смутно, и рассуждая я плохо! О, потом я всё обсудил, но тогда уже было поздно! О, какая адская вышла тут махинация! Остановлюсь здесь и объясню ее всю вперед, так как иначе читателю было бы невозможно понять.

Дело состояло в том, что еще в первое свидание мое с Ламбертом, вот тогда, как я оттаивал у него на квартире, я пробормотал ему, как дурак, что документ зашит у меня в кармане. Тогда я вдруг на некоторое время заснул у него на диване в углу, и Ламберт тогда же немедленно ощупал мне карман и убедился, что в нем действительно зашита бумажка. Потом он несколько раз убеждался, что бумажка еще тут: так, например, во время нашего обеда у татар, я помню, как он нарочно несколько раз обнимал меня за талию. Поняв наконец, какой важности эта бумага, он составил свой совершенно особый план, которого я вовсе и не предполагал у него. Я, как дурак, всё время воображал, что он так упорно зовет меня к себе, единственно чтоб склонить меня войти с ним в компанию и действовать не иначе как вместе. Но увы! он звал меня совеем для другого! Он звал меня, чтоб опоить меня замертво, и когда я растянусь без чувств и захраплю, то взрезать мой карман и овладеть документом. Точь-в-точь таким образом они с Альфонсинкой в ту ночь и поступили; Альфонсинка и взрезывала карман. Достав письмо, *ее письмо*, мой московский документ, они взяли такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное место кармана и зашили снова как ни в чем не бывало, так что я ничего не мог заметить. Альфонсинка же и зашивала. А я-то, я-то до самого почти конца, еще целых полтора дня, — я всё еще продолжал думать, что я — обладатель тайны и что участь Катерины Николаевны всё еще в моих руках!

Последнее слово: эта кража документа была всему причиною, всем остальным несчастиям!

II

Наступили последние сутки моих записок, и я — на конце конца!

Было, я думаю, около половины одиннадцатого, когда я, возбужденный и, сколько помню, как-то странно рассеянный, но с окончательным решением в сердце, добрел до своей квартиры. Я не торопился, я знал уже, как поступлю. И вдруг, едва только я вступил в наш коридор, как тотчас же понял, что стряслась новая беда и произошло необыкновенное усложнение дела: старый князь, только что привезенный из Царского Села, находился в нашей квартире, а при нем была Анна Андреевна!

Они поместили его не в моей комнате, а в двух хозяйских, рядом с моей. Еще накануне, как оказалось, произведены были в этих комнатах некоторые изменения и украшения, впрочем самые легкие. Хозяин перешел с своей женой в каморку капризного рябого жильца, о котором я уже упоминал прежде, а рябой жилец был на это время конфискован — уж не знаю куда.

Меня встретил хозяин, тотчас же шмыгнувший в мою комнату. Он смотрел не так решительно, как вчера, но был в необыкновенно возбужденном состоянии, так сказать, на высоте события. Я ничего не сказал ему, но, отойдя в угол и взявшись за голову руками, так простоял с минуту. Он сначала подумал было, что я «представляюсь», но под конец не вытерпел и испугался.

— Разве что не так? — пробормотал он. — Я вот ждал вас спросить, — прибавил он, видя, что я не отвечаю, — не прикажете ли растворить вот эту самую дверь, для прямого сообщения с княжескими покоями… чем через коридор? — Он указывал боковую, всегда запертую дверь, сообщавшуюся с его хозяйскими комнатами, а теперь, стало быть, с помещением князя.

— Вот что, Петр Ипполитович, — обратился я к нему с строгим видом, — прошу вас покорнейше пойти и при гласить сейчас сюда ко мне Анну Андреевну для переговоров. Давно они здесь?

— Да уже почти что час будет.

— Так сходите.

Он сходил и принес ответ странный, что Анна Андреевна и князь Николай Иванович с нетерпением ожидают меня к себе; Анна Андреевна, значит, не захотела пожаловать. Я оправил и почистил мой смявшийся за ночь сюртук, умылся, причесался, всё это не торопясь, и, понимая, как надобно быть осторожным, отправился к старику.

Князь сидел на диване за круглым столом, а Анна Андреевна в другом углу, у другого накрытого скатертью стола, на котором кипел вычищенный как никогда хозяйский самовар, приготовляла ему чай. Я вошел с тем же строгим видом в лице, и старичок, мигом заметив это, так и вздрогнул, и улыбка быстро сменилась в лице его решительно испугом; но я тотчас же не выдержал, засмеялся и протянул ему руки; бедный так и бросился в мои объятия.

Без сомнения, я тотчас же понял, с кем имею дело. Во-первых, мне стало ясно, как дважды два, что из старика, даже почти еще бодрого и все-таки хоть сколько-нибудь разумного и хоть с каким-нибудь да характером, они, за это время, пока мы с ним не виделись, сделали какую-то мумию, какого-то совершенного ребенка, пугливого и недоверчивого. Прибавлю: он совершенно знал, зачем его сюда привезли, и всё случилось точно так, как я объяснил выше, забегая вперед. Его прямо вдруг поразили, разбили, раздавили известием о предательстве его дочери и о сумасшедшем доме. Он дал себя увезти, едва сознавая от страха, что делает. Ему сказали, что я — обладатель тайны и что у меня ключ к окончательному решению. Скажу вперед: вот этого-то окончательного решения и ключа он и пугался пуще всего на свете. Он ждал, что я так и войду к нему с каким-то приговором на лбу и с бумагой в руках, и страшно был рад, что я покамест готов смеяться и болтать совсем о другом. Когда мы обнялись, он заплакал. Признаюсь, капельку заплакал и я; но мне вдруг стало его очень жалко… Маленькая Альфонсинкина собачонка заливалась тоненьким, как колокольчик, лаем и рвалась на меня с дивана. С этой крошечной собачкой он уже не расставался с тех пор, как приобрел ее, даже спал вместе с нею.

— Oh, je disais qu'il a du coeur![115] — воскликнул он, указывая на меня Анне Андреевне.

— Но как же вы поздоровели, князь, какой у вас прекрасный, свежий, здоровый вид! — заметил я. Увы! всё было наоборот: это была мумия, а я так только сказал, чтоб его ободрить.

— N'est-ce pas, n'est-ce pas?[116] — радостно повторял он. — О, я удивительно поправился здоровьем.

— Однако кушайте ваш чай, и если дадите и мне чашку, то и я выпью с вами.

— И чудесно! «Будем пить и наслаждаться…» или как это там, есть

такие стихи.* Анна Андреевна, дайте ему чаю, il prend toujours par les sentiments…[117] дайте нам чаю, милая.

Анна Андреевна подала чаю, но вдруг обратилась ко мне и начала с чрезвычайною торжественностью.

— Аркадий Макарович, мы оба, я и благодетель мой, князь Николай Иванович, приютились у вас. Я считаю, что мы приехали к вам, к вам одному, и оба просим у вас убежища. Вспомните, что почти вся судьба этого святого, этого благороднейшего и обиженного человека в руках ваших… Мы ждем решения от вашего правдивого сердца!

Но она не могла докончить; князь пришел в ужас и почти задрожал от испуга:

— Après, après, n'est-ce pas? Chère amie![118] — повторял он, подымая к ней руки.

Не могу выразить, как неприятно подействовала и на меня ее выходка. Я ничего не ответил и удовольствовался лишь холодным и важным поклоном; затем сел за стол и даже нарочно заговорил о другом, о каких-то глупостях, начал смеяться и острить… Старик был видимо мне благодарен и восторженно развеселился. Но его веселие, хотя и восторженное, видимо было какое-то непрочное и моментально могло смениться совершенным упадком духа; это было ясно с первого взгляда.

— Cher enfant, я слышал, ты был болен… Ах, pardon! ты, я слышал, всё время занимался спиритизмом?

— И не думал, — улыбнулся я.

— Нет? А кто же мне говорил про спи-ри-тизм?

— Это вам здешний чиновник, Петр Ипполитович, давеча говорил, — объяснила Анна Андреевна. — Он очень веселый человек и знает множество анекдотов; хотите, я позову?

— Oui, oui, il est charmant…[119] знает анекдоты, но лучше позовем потом. Мы позовем его, и он нам всё расскажет; mais après. Представь, давеча стол накрывают, а он и говорит: не беспокойтесь, не улетит, мы — не спириты. Неужто у спиритов столы летают?

— Право, не знаю; говорят, подымаются на всех ножках.

— Mais c'est terrible ce que tu dis,[120] — поглядел он на меня испуганно.

— О, не беспокойтесь, это ведь — вздор.

— Я и сам говорю. Настасья Степановна Саломеева… ты ведь знаешь ее… ах да, ты не знаешь ее… представь себе, она тоже верит в спиритизм и, представьте себе, chère enfant, — повернулся он к Анне Андреевне, — я ей и говорю: в министерствах ведь тоже столы стоят, и на них по восьми пар чиновничьих рук лежат, всё бумаги пишут, — так отчего ж там-то столы не пляшут? Вообрази, вдруг запляшут! бунт столов в министерстве финансов или народного просвещения — этого недоставало!

— Какие вы по-прежнему милые вещи говорите, князь, — воскликнул я, стараясь искренно рассмеяться.

— N'est-ce pas? je ne parle pas trop, mais je dis bien.[121]

— Я приведу Петра Ипполитовича, — встала Анна Андреевна. Удовольствие засияло в лице ее: судя по тому, что я так ласков к старику, она обрадовалась. Но лишь только она вышла, вдруг всё лицо старика изменилось мгновенно. Он торопливо взглянул на дверь, огляделся кругом и, нагнувшись ко мне с дивана, зашептал мне испуганным голосом:

— Cher ami! О, если б я мог видеть их обеих здесь вместе! О, cher enfant!

— Князь, успокойтесь…

— Да, да, но… мы их помирим, n'est-ce pas? Тут пустая мелкая ссора двух достойнейших женщин, n'est-ce pas? Я только на тебя одного и надеюсь… Мы это здесь всё приведем в порядок; и какая здесь странная квартира, — оглядывался он почти боязливо, — и знаешь, этот хозяин… у него такое лицо… Скажи, он не опасен?

— Хозяин? О нет, чем же он может быть опасен?

— C'est ça[122]. Тем лучше. Il semble qu'il est bête, ce gentilhomme.[123] Cher enfant, ради Христа, не говори Анне Андреевне, что я здесь всего боюсь; я всё здесь похвалил с первого шагу, и хозяина похвалил. Послушай, ты знаешь историю о фон Зоне* — помнишь?

— Так что же?

— Rien, rien du tout… Mais je suis libre ici, n'est-ce pas?[124] Как ты думаешь, здесь ничего не может со мной случиться… в таком же роде?

— Но уверяю же вас, голубчик… помилуйте!

— Mon ami! Mon enfant! — воскликнул он вдруг, складывая перед собою руки и уже вполне не скрывая своего испуга, — если у тебя в самом деле что-то есть… документы… одним словом — если у тебя

есть что мне сказать, то не говори; ради бога, ничего не говори; лучше не говори совсем… как можно дольше не говори…

Он хотел броситься обнимать меня; слезы текли по его лицу; не могу выразить, как сжалось у меня сердце: бедный старик был похож на жалкого, слабого, испуганного ребенка, которого выкрали из родного гнезда какие-то цыгане и увели к чужим людям. Но обняться нам не дали: отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна, но не с хозяином, а с братом своим, камер-юнкером. Эта новость ошеломила меня; я встал и направился к двери.

— Аркадий Макарович, позвольте вас познакомить, — громко проговорила Анна Андреевна, так что я невольно должен был остановиться.

— Я *слишком* знаком уже с вашим братцем, — отчеканил я, особенно ударяя на слово слишком.

— Ах, тут ужасная ошибка! и я так ви-но-ват, милый Анд… Андрей Макарович, — начал мямлить молодой человек, подходя ко мне с необыкновенно развязным видом и захватив мою руку, которую я не в состоянии был отнять, — во всем виноват мой Степан; он так глупо тогда доложил, что я принял вас за другого — это в Москве, — пояснил он сестре, — потом я стремился к вам изо всей силы, чтоб разыскать и разъяснить, но заболел, вот спросите ее… Cher prince, nous devons être amis même par droit de naissance…[125]

И дерзкий молодой человек осмелился даже обхватить меня одной рукой за плечо, что было уже верхом фамильярности. Я отстранился, но, сконфузившись, предпочел скорее уйти, не сказав ни слова. Войдя к себе, я сел на кровать в раздумье и в волнении. Интрига душила меня, но не мог же я так прямо огорошить и подкосить Анну Андреевну. Я вдруг почувствовал, что и она мне тоже дорога и что положение ее ужасно.

III

Как я и ожидал того, она сама вошла в мою комнату, оставив князя с братом, который начал пересказывать князю какие-то светские сплетни, самые свежие и новоиспеченные, чем мигом и развеселил впечатлительного старичка. Я молча и с вопросительным видом

приподнялся с кровати.

— Я вам сказала всё, Аркадий Макарович, — прямо начала она, — наша судьба в ваших руках.

— Но ведь и я вас предупредил, что не могу… Самые святые обязанности мешают мне исполнить то, на что вы рассчитываете…

— Да? Это — ваш ответ? Ну, пусть я погибну, а старик? Как вы рассчитываете: ведь он к вечеру сойдет с ума!

— Нет, он сойдет с ума, если я ему покажу письмо дочери, в котором та советуется с адвокатом о том, как объявить отца сумасшедшим! — воскликнул я с жаром. — Вот чего он не вынесет. Знайте, что он не верит письму этому, он мне уже говорил!

Я прилгнул, что он мне говорил; но это было кстати.

— Говорил уже? Так я и думала! В таком случае я погибла; он о сю пору уж плакал и просился домой.

— Сообщите мне, в чем, собственно, заключается ваш план? — спросил я настойчиво.

Она покраснела, так сказать, от уязвленной надменности, однако скрепилась:

— С этим письмом его дочери в руках мы оправданы в глазах света. Я тотчас же пошлю к князю В-му и к Борису Михайловичу Пелищеву, его друзьям с детства; оба — почтенные влиятельные в свете лица, и, я знаю это, они уже два года назад с негодованием отнеслись к некоторым поступкам его безжалостной и жадной дочери. Они, конечно, помирят его с дочерью, по моей просьбе, и я сама на том настою; но зато положение дел совершенно изменится. Кроме того, тогда и родственники мои, Фанариотовы, как я рассчитываю, решатся поддержать мои права. Но для меня прежде всего его счастие; пусть он поймет наконец и оценит: кто действительно ему предан? Без сомнения, я всего более рассчитываю на ваше влияние, Аркадий Макарович: вы так его любите… Да кто его и любит-то, кроме нас с вами? Он только и говорил что об вас в последние дни; он тосковал об вас, вы — «молодой его друг»… Само собою, что всю жизнь потом благодарность моя не будет иметь границ…

Это уж она сулила мне награду — денег, может быть. Я резко прервал ее:

— Что бы вы ни говорили, я не могу, — произнес я с видом непоколебимого решения, — я могу только заплатить вам такою же

искренностью и объяснить вам мои последние намерения: я передам, в самом непродолжительном времени, это роковое письмо Катерине Николаев не в руки, но с тем, чтоб из всего, теперь случившегося, не делать скандала и чтоб она дала заранее слово, что не помешает вашему счастью. Вот всё, что я могу сделать.

— Это невозможно! — проговорила она, вся покраснев. Одна мысль о том, что Катерина Николаевна будет ее *щадить,* привела ее в негодование.

— Я не переменю решения, Анна Андреевна.

— Может быть, перемените.

— Обратитесь к Ламберту!

— Аркадий Макарович, вы не знаете, какие могут выйти несчастия через ваше упрямство, — проговорила она сурово и ожесточенно.

— Несчастия выйдут — это наверно… у меня кружится голова. Довольно мне с вами: я решился — и кончено. Только, ради бога, прошу вас — не приводите ко мне вашего брата.

— Но он именно желает загладить…

— Ничего не надо заглаживать! не нуждаюсь, не хочу, не хочу! — восклицал я, схватив себя за голову. (О, может быть, я поступил тогда с нею слишком свысока!) — Скажите, однако, где будет ночевать сегодня князь? Неужели здесь?

— Он будет ночевать здесь, у вас и с вами.

— К вечеру же я съеду на другую квартиру!

И вслед за этими беспощадными словами я схватил шапку и стал надевать шубу. Анна Андреевна молча и сурово наблюдала меня. Мне жаль было, — о, мне жаль было эту гордую девушку! Но я выбежал из квартиры, не оставив ей ни слова в надежду.

IV

Постараюсь сократить. Решение мое было принято неизменно, и я прямо отправился к Татьяне Павловне. Увы! могло бы быть предупреждено большое несчастие, если б я ее застал тогда дома; но, как нарочно, в этот день меня особенно преследовала неудача. Я, конечно, зашел и к маме, во-первых, чтоб проведать бедную маму, а во-вторых, рассчитывая почти наверно встретить там Татьяну Павловну; но

и там ее не было; она только что куда-то ушла, а мама лежала больная, и с ней оставалась одна Лиза. Лиза попросила меня не входить и не будить мамы: «Всю ночь не спала, мучилась; слава богу, что хоть теперь заснула». Я обнял Лизу и сказал ей только два слова о том, что принял огромное и роковое решение и сейчас его исполню. Она выслушала без особого удивления, как самые обыкновенные слова. О, они все привыкли тогда к моим беспрерывным «последним решениям» и потом малодушным отменам их. Но теперь — теперь было дело другое! Я зашел, однако же, в трактир на канаве и посидел там, чтоб выждать и чтоб уж наверно застать Татьяну Павловну. Впрочем, объясню, зачем мне так вдруг понадобилась эта женщина. Дело в том, что я хотел ее тотчас послать к Катерине Николаевне, чтоб попросить ту в ее квартиру и при Татьяне же Павловне возвратить документ, объяснив всё и раз навсегда… Одним словом, я хотел только должного; я хотел оправдать себя раз навсегда. Порешив с этим пунктом, я непременно, и уже настоятельно, положил замолвить тут же несколько слов в пользу Анны Андреевны и, если возможно, взяв Катерину Николаевну и Татьяну Павловну (как свидетельницу), привезти их ко мне, то есть к князю, там помирить враждующих женщин, воскресить князя и… и… одним словом, по крайней мере тут, в этой кучке, сегодня же, сделать всех счастливыми, так что оставались бы лишь один Версилов и мама. Я не мог сомневаться в успехе: Катерина Николаевна, из благодарности за возвращение письма, за которое я не спросил бы с нее ничего, не могла мне отказать в такой просьбе. Увы! Я всё еще воображал, что обладаю документом. О, в каком глупом и недостойном был я положении, сам того не ведая!

Уже сильно смерклось и было уже около четырех часов, когда я опять наведался к Татьяне Павловне. Марья ответила грубо, что «не приходила». Я очень припоминаю теперь странный взгляд исподлобья Марьи; но, разумеется, тогда мне еще ничего не могло зайти в голову. Напротив, меня вдруг кольнула другая мысль: в досаде и в некотором унынии спускаясь с лестницы от Татьяны Павловны, я вспомнил бедного князя, простиравшего ко мне давеча руки, — и я вдруг больно укорил себя за то, что я его бросил, может быть, даже из личной досады. Я с беспокойством начал представлять себе, что в мое отсутствие могло произойти у них даже что-нибудь очень нехорошее, и поспешно направился домой. Дома, однако, произошли лишь следующие

обстоятельства.

Анна Андреевна, выйдя давеча от меня во гневе, еще не потеряла духа. Надобно передать, что она еще с утра посылала к Ламберту, затем послала к нему еще раз, и так как Ламберта всё не оказывалось дома, то послала наконец своего брата искать его. Бедная, видя мое сопротивление, возложила на Ламберта и на влияние его на меня свою последнюю надежду. Она ждала Ламберта с нетерпением и только дивилась, что он, не отходивший от нее и юливший около нее до сегодня, вдруг ее совсем бросил и сам исчез. Увы! ей и в голову не могло зайти, что Ламберт, обладая теперь документом, принял уже совсем другие решения, а потому, конечно, скрывается и даже нарочно от нее прячется.

Таким образом, в беспокойстве и с возраставшей тревогой в душе, Анна Андреевна почти не в силах была развлекать старика; а между тем беспокойство его возросло до угрожающих размеров. Он задавал странные и пугливые вопросы, стал даже на нее посматривать подозрительно и несколько раз начинал плакать. Молодой Версилов просидел тогда недолго. После него Анна Андреевна привела наконец Петра Ипполитовича, на которого так надеялась, но этот совсем не понравился, даже произвел отвращение. Вообще на Петра Ипполитовича князь почему-то смотрел всё с более и более возраставшею недоверчивостью и подозрительностью. А хозяин, как нарочно, пустился опять толковать о спиритизме и о каких-то фокусах, которые будто бы сам видел в представлении, а именно как один приезжий шарлатан, будто бы при всей публике, отрезывал человеческие головы, так что кровь лилась, и все видели, и потом приставлял их опять к шее, и что будто бы они прирастали, тоже при всей публике, и что будто бы всё это произошло в пятьдесят девятом году. Князь так испугался, а вместе с тем пришел почему-то в такое негодование, что Анна Андреевна принуждена была немедленно удалить рассказчика. К счастью, прибыл обед, нарочно заказанный накануне где-то поблизости (через Ламберта и Альфонсинку) у одного замечательного француза-повара, жившего без места и искавшего поместиться в аристократическом доме или в клубе. Обед с шампанским чрезвычайно развеселил старика; он кушал много и очень шутил. После обеда, конечно, отяжелел, и ему захотелось спать, а так как он всегда спал после обеда, то Анна Андреевна и приготовила ему

постель. Засыпая, он всё целовал у ней руки, говорил, что она — его рай, надежда, гурия, «золотой цветок», одним словом, пустился было в самые восточные выражения. Наконец заснул, и вот тут-то я и вернулся.

Анна Андреевна торопливо вошла ко мне, сложила передо мной руки и сказала, что «уже не для нее, а для князя, умоляет меня не уходить и, когда он проснется, пойти к нему. Без вас он погибнет, с ним случится нервный удар; я боюсь, что он не вынесет еще до ночи…» Она прибавила, что самой ей непременно надо будет отлучиться, «может быть, даже на два часа, и что князя, стало быть, она оставляет на одного меня». Я с жаром дал ей слово, что останусь до вечера и что, когда он проснется, употреблю все усилия, чтоб развлечь его.

— А я исполню свой долг! — заключила она энергически.

Она ушла. Прибавлю, забегая вперед: она сама поехала отыскивать Ламберта; это была последняя надежда ее; сверх того, побывала у брата и у родных Фанариотовых; понятно, в каком состоянии духа должна была она вернуться.

Князь проснулся примерно через час по ее уходе. Я услышал через стену его стон и тотчас побежал к нему; застал же его сидящим на кровати, в халате, но до того испуганного уединением, светом одинокой лампы и чужой комнатой, что, когда я вошел, он вздрогнул, привскочил и закричал. Я бросился к нему, и когда он разглядел, что это я, то со слезами радости начал меня обнимать.

— А мне сказали, что ты куда-то переехал на другую квартиру, испугался и убежал.

— Кто вам мог сказать это?

— Кто мог? Видишь, я, может быть, это сам выдумал, а может быть, кто и сказал. Представь, я сейчас сон видел: входит старик с бородой и с образом, с расколотым надвое образом, и вдруг говорит: «Так расколется жизнь твоя!»

— Ах, боже мой, вы, наверно, уже слышали от кого-нибудь, что Версилов разбил вчера образ?

— N'est-ce pas? Слышал, слышал! Я от Настасьи Егоровны еще давеча утром слышал. Она сюда перевозила мой чамодан и собачку.

— Ну, вот и приснилось.

— Ну, всё равно; и представь, этот старик всё мне грозил пальцем. Где же Анна Андреевна?

— Она сейчас воротится.

— Откуда? Она тоже уехала? — болезненно воскликнул он.

— Нет, нет, она сейчас тут будет и просила меня у вас посидеть.

— Oui, прийти. Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил; «как невзначай и как проворно!»* Я всегда предрекал ему, что он этим самым кончит. Друг мой, постой…

Он вдруг схватил меня рукой за сюртук и притянул к себе.

— Хозяин давеча, — зашептал он, — приносит вдруг фотографии, гадкие женские фотографии, всё голых женщин в разных восточных видах, и начинает вдруг показывать мне в стекло… Я, видишь ли, хвалил скрепя сердце, но так ведь точно они гадких женщин приводили к тому несчастному, с тем чтоб потом тем удобнее опоить его…

— Это вы всё о фон Зоне, да полноте же, князь! Хозяин — дурак и ничего больше!

— Дурак и ничего больше! C'est mon opinion![126] Друг мой, если можешь, то спаси меня отсюдова! — сложил он вдруг предо мною руки.

— Князь, всё, что только могу! Я весь ваш… Милый князь, подождите, и я, может быть, всё улажу!

— N'est-ce pas? Мы возьмем да и убежим, а чемодан оставим для виду, так что он и подумает, что мы воротимся.

— Куда убежим? а Анна Андреевна?

— Нет, нет, вместе с Анной Андреевной… Oh, mon cher, у меня в голове какая-то каша… Постой: там, в саке направо, портрет Кати; я сунул его давеча потихоньку, чтоб Анна Андреевна и особенно чтоб эта Настасья Егоровна не приметили; вынь, ради бога, поскорее, поосторожнее, смотри, чтоб нас не застали… Да нельзя ли насадить на дверь крючок?

Действительно, я отыскал в саке фотографический, в овальной рамке, портрет Катерины Николаевны. Он взял его в руку, поднес к свету, и слезы вдруг потекли по его желтым, худым щекам.

— C'est un ange, c'est un ange du ciel![127] — восклицал он. — Всю жизнь я был перед ней виноват… и вот теперь! Chère enfant, я не верю ничему, ничему не верю! Друг мой, скажи мне: ну можно ли представить, что меня хотят засадить в сумасшедший дом? Je dis des choses charmantes et tout le monde rit…[128] и вдруг этого-то человека — везут в сумасшедший дом?

— Никогда этого не было! — вскричал я. — Это — ошибка. Я знаю ее чувства!

— И ты тоже знаешь ее чувства? Ну и прекрасно! Друг мой, ты воскресил меня. Что же они мне про тебя наговорили? Друг мой, позови сюда Катю, и пусть они обе при мне поцелуются, и я повезу их домой, а хозяина мы прогоним!

Он встал, сложил предо мною руки и вдруг стал предо мной на колени.

— Cher, — зашептал он в каком-то безумном уже страхе, весь дрожа как лист, — друг мой, скажи мне всю правду: куда меня теперь денут?

— Боже! — вскричал я, подымая его и сажая на кровать, — да вы и мне, наконец, не верите; вы думаете, что и я в заговоре? Да я вас здесь никому тронуть пальцем не дам!

— C'est ça, не давай, — пролепетал он, крепко ухватив меня за локти обеими руками и продолжая дрожать. — Не давай меня никому! И не лги мне сам ничего… потому что неужто же меня отсюда отвезут? Послушай, этот хозяин, Ипполит, или как его, он… не доктор?

— Какой доктор?

— Это… это — не сумасшедший дом, вот здесь, в этой комнате?

Но в это мгновение вдруг отворилась дверь, и вошла Анна Андреевна. Должно быть, она подслушивала у двери и, не вытерпев, отворила слишком внезапно, — и князь, вздрагивавший при каждом скрипе, вскрикнул и бросился ничком в подушку. С ним произошло наконец что-то вроде припадка, разрешившегося рыданиями.

— Вот — плоды вашего дела, — проговорил я ей, указывая на старика.

— Нет, это — плоды вашего дела! — резко возвысила она голос. — В последний раз обращаюсь к вам, Аркадий Макарович, — хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвовать «безумными и детскими любовными мечтами вашими», чтоб спасти *родную* вашу сестру?

— Я спасу вас всех, но только так, как я вам сказал давеча! Я бегу опять; может быть, через час здесь будет сама Катерина Николаевна! Я всех примирю, и все будут счастливы! — воскликнул я почти в вдохновении.

— Приведи, приведи ее сюда, — встрепенулся князь. — Поведите меня к ней! я хочу Катю, я хочу видеть Катю и благословить ее! — восклицал он, воздымая руки и порываясь с постели.

— Видите, — указал я на него Анне Андреевне, — слышите, что он говорит: теперь уж во всяком случае никакой «документ» вам не поможет.

— Вижу, но он еще помог бы оправдать мой поступок во мнении света, а теперь — я опозорена! Довольно; совесть моя чиста. Я оставлена всеми, даже родным братом моим, испугавшимся неуспеха… Но я исполню свой долг и останусь подле этого несчастного, его нянькой, сиделкой!

Но времени терять было нечего, я выбежал из комнаты.

— Я возвращусь через час и возвращусь не один! — прокричал я с порога.

Глава двенадцатая

I

Наконец-то я застал Татьяну Павловну! Я разом изложил ей всё — всё о документе и всё, до последней нитки, о том, что у нас теперь на квартире. Хотя она и сама слишком понимала эти события и могла бы с двух слов схватить дело, однако изложение заняло у нас, я думаю, минут десять. Говорил я один, говорил всю правду и не стыдился. Она молча и неподвижно, выпрямившись как спица, сидела на своем стуле, сжав губы, не спуская с меня глаз и слушая из всех сил. Но когда я кончил, вдруг вскочила со стула, и до того стремительно, что вскочил и я.

— Ах, пащенок! Так это письмо в самом деле у тебя было зашито, и зашивала дура Марья Ивановна! Ах вы, мерзавцы-безобразники! Так ты с тем, чтоб покорять сердца, сюда ехал, высший свет побеждать, Черту Ивановичу отмстить за то, что побочный сын, захотел?

— Татьяна Павловна, — вскричал я, — не смейте браниться! Может быть, вы-то, с вашею бранью, с самого начала и были причиною моего здешнего ожесточения. да, я — побочный сын и, может быть, действительно хотел отмстить за то, что побочный сын, и действительно, может быть, какому-то Черту Ивановичу, потому что сам черт тут не найдет виноватого; но вспомните, что я отверг союз с мерзавцами и победил свои страсти! Я молча положу перед него

документ и уйду, даже не дождавшись от нее слова; вы будете сами свидетельницей!

— Давай, давай письмо сейчас, клади сейчас сюда письмо на стол! Да ты лжешь, может быть?

— Оно в моем кармане зашито; сама Марья Ивановна зашивала; а здесь, как сшили новый сюртук, я вынул из старого и сам перешил в этот новый сюртук; вот оно здесь, пощупайте, не лгу-с!

— Давай его, вынимай его! — буянила Татьяна Павловна.

— Ни за что-с, это повторяю вам; я положу его перед нею при вас и уйду, не дождавшись единого слова; но надобно, чтоб она знала и видела своими глазами, что это я, я сам, передаю ей, добровольно, без принуждения и без награды.

— Опять красоваться? Влюблен, пащенок?

— Говорите пакости сколько вам угодно: пусть, я заслужил, но я не обижаюсь. О, пусть я покажусь ей мелким мальчишкой, который стерег ее и замышлял заговор; но пусть она сознается, что я покорил самого себя, а счастье *ее* поставил выше всего на свете! Ничего, Татьяна Павловна, ничего! Я кричу себе: кураж и надежда! Пусть это первый мой шаг вступления на поприще, но зато он хорошо кончился, благородно кончился! И что ж, что я ее люблю, — продолжал я вдохновенно и сверкая глазами, — я не стыжусь этого: мама — ангел небесный, а *она* — царица земная! Версилов вернется к маме, а перед нею мне стыдиться нечего; ведь я слышал же, что они там с Версиловым говорили, я стоял за портьерой… О, мы все трое — «одного безумия люди»! Да вы знаете ли, чье это словечко: «одного безумия люди»? Это — его словечко, Андрей Петровичево! Да знаете ли, что нас здесь, может быть, и больше, чем трое, одного-то безумия? Да бьюсь же об заклад, что и вы, четвертая, — этого же безумия человек! Хотите, скажу: бьюсь об заклад, что вы сами были влюблены всю жизнь в Андрея Петровича, а может быть, и теперь продолжаете…

Повторяю, я был в вдохновении и в каком-то счастье, но я не успел договорить: она вдруг как-то неестественно быстро схватила меня рукой за волосы и раза два качнула меня изо всей силы книзу… потом вдруг бросила и ушла в угол, стала лицом к углу и закрыла лицо платком.

— Пащенок! Не смей мне больше этого никогда говорить! — проговорила она плача.

Это всё было так неожиданно, что я был, естественно, ошеломлен.

Я стоял и смотрел на нее, не зная еще, что сделаю.

— Фу, дурак! Поди сюда, поцелуй меня, дуру! — проговорила она вдруг, плача и смеясь, — и не смей, не смей никогда мне это повторить… А я тебя люблю и всю жизнь любила… дурака.

Я ее поцеловал. Скажу в скобках: с этих-то пор я с Татьяной Павловной и стал другом.

— Ах да! Да что ж это я! — воскликнула она вдруг, ударяя себя по лбу, — да что ты говоришь: старик князь у вас на квартире? Да правда ли?

— Уверяю вас.

— Ах боже мой! Ох, тошно мне! — закружилась и заметалась она по комнате. — И они там с ним распоряжаются! Эх, грозы-то нет на дураков! И с самого с утра? Ай да Анна Андреевна! Ай да монашенка! А ведь та-то, Милитриса-то, ничего-то ведь и не ведает!

— Какая Милитриса?

— Да царица-то земная, идеал-то! Эх, да что ж теперь делать?

— Татьяна Павловна! — вскричал я опомнившись, — мы говорили глупости, а забыли главное: я именно прибежал за Катериной Николаевной, и меня все опять там ждут.

И я объяснил, что я передам документ лишь с тем, что она даст слово немедленно примириться с Анной Андреевной и даже согласиться на брак ее…

— И прекрасно, — перебила Татьяна Павловна, — и я тоже ей сто раз повторяла. Ведь он умрет же до брака-то — всё равно не женится, а если деньги оставит ей в завещании, Анне-то, так ведь они же и без того уже вписаны туда и оставлены…

— Неужели Катерине Николаевне только денег жаль?

— Нет, она всё боялась, что документ у ней, у Анны-то, и я тоже. Мы ее и сторожили. Дочери-то не хотелось старика потрясти, а немчурке, Бьорингу, правда, и денег жалко было.

— И после этого она может выходить за Бьоринга?

— Да что ж с дурой поделаешь? Сказано — дура, так дура и будет вовеки. Спокойствие, видишь, какое-то он ей доставит: «Надо ведь, говорит, за кого-нибудь выходить, так за него будто всего ей способнее будет»; а вот и увидим, как там ей будет способнее. Хватит себя потом по бокам руками, а уж поздно будет.

— Так вы-то чего же допускаете? Ведь вы любите же ее; ведь вы в

глаза же ей говорили, что влюблены в нее?

— И влюблена, и больше, чем вас всех, люблю, вместе взятых, а все-таки она — дура бессмысленная!

— Да сбегайте же за ней теперь, и мы всё порешим и сами повезем ее к отцу.

— Да нельзя, нельзя дурачок! То-то вот и есть! Ах, что делать! Ах, тошно мне! — заметалась она опять, захватив, однако, рукою плед. — Э-эх, кабы ты раньше четырьмя часами пришел, а теперь — восьмой, и она еще давеча к Пелищевым обедать отправилась, а потом с ними в оперу.

— Господи, так в оперу нельзя ли сбегать… да нет, нельзя! Так что ж теперь с стариком будет? Ведь он, пожалуй, ночью помрет!

— Слушай, не ходи туда, ступай к маме, ночуй там, а завтра рано…

— Нет, ни за что старика не оставлю, что бы ни вышло.

— И не оставляй; это — ты хорошо. А я, знаешь… побегу-ка я, однако, к ней и оставлю записку… знаешь… я напишу нашими словами (она поймет!), что документ тут и чтоб она завтра ровно в десять часов утра была у меня — ровнешенько! Не беспокойся, явится, меня-то уж послушается: тут всё разом и сладим. А ты беги туда и финти пред стариком что есть мочи, уложи его спать, авось вытянет до утра-то! Анну тоже не пугай; люблю ведь я и ее; ты к ней несправедлив, потому что понимать тут не можешь: она обижена, она с детства была обижена; ох, навалились вы все на меня! Да не забудь, скажи ей от меня, что за это дело я сама взялась, сама, и от всего моего седрца, и чтоб она была спокойна, и что гордости ее ущербу не будет… Ведь мы с ней в последние-то дни совсем разбранились, расплевались — изругались! Ну, беги… да постой, покажи-ка опять карман… да прав да ли, правда ли? Ох, правда ли?! Да отдай ты мне это письмо хоть на ночь, чего тебе? Оставь, не съем. Ведь, пожалуй, за ночь-то из рук выпустишь… мненье переменишь?

— Ни за что! — вскрикнул я, — нате, щупайте, смотрити, а ни за что вам не оставлю!

— Вижу, что бумажка, — щупала она пальцами. — Э-эх, ну хорошо, ступай, а я к ней, может, и в театр махну, это ты хорошо сказал! Да беги же, беги!

— Татьяна Павловна, постойте, что мама?

— Жива.

— А Андрей Петрович?

Она махнула рукой.

— Очнется!

Я побежал ободренный, обнадеженный, хоть удалось и не так, как я рассчитывал. Но увы, судьба определила иначе, и меня ожидало другое — подлинно есть фатум на свете!

II

Еще с лестницы я заслышал в нашей квартире шум, и дверь в нее оказалась отпертою. В коридоре стоял незнакомый лакей в ливрее. Петр Ипполитович и жена его, оба чем-то перепуганные, находились тоже в коридоре и чего-то ждали. Дверь к князю была отворена, и там раздавался громовый голос, который я тотчас признал, — голос Бьоринга. Я не успел еще шагнуть двух шагов, как вдруг увидал, что князя, заплаканного, трепещущего, выводили в коридор Бьоринг и спутник его, барон Р., — тот самый, который являлся к Версилову для переговоров. Князь рыдал в голос, обнимал и целовал Бьоринга. Кричал же Бьоринг на Анну Андреевну, которая вышла было тоже в коридор за князем; он ей грозил и, кажется, топал ногами — одним словом, сказался грубый солдат-немец, несмотря на весь «свой высший свет». Потом обнаружилось, что ему почему-то взбрело тогда в голову, что уж Анна Андреевна виновата в чем-то даже уголовном и теперь несомненно должна отвечать за свой поступок даже перед судом. По незнанию дела, он его преувеличил, как бывает со многими, а потому уже стал считать себя вправе быть в высшей степени бесцеремонным. Главное, он не успел еще вникнуть: известили его обо всем анонимно, как оказалось после (и об чем я упомяну потом), и он налетел еще в том состоянии взбесившегося господина, в котором даже и остроумнейшие люди этой национальности готовы иногда драться, как сапожники. Анна Андреевна встретила весь этот наскок в высшей степени с достоинством, но я не застал того. Я видел только, что, выведя старика в коридор, Бьоринг вдруг оставил его на руках барона Р. и, стремительно обернувшись к Анне Андреевне, прокричал ей, вероятно отвечая на какое-нибудь ее замечание:

— Вы — интриганка! Вам нужны его деньги! С этой минуты вы

опозорили себя в обществе и будете отвечать перед судом!..

— Это вы эксплуатируете несчастного больного и довели его до безумия… а кричите на меня потому, что я — женщина и меня некому защитить…

— Ах да! вы — невеста его, невеста! — злобно и неистово захохотал Бьоринг.

— Барон, барон… Chère enfant, je vous aime,[129] — проплакнул князь, простирая руки к Анне Андреевне.

— Идите, князь, идите: против вас был заговор и, может быть, даже на жизнь вашу! — прокричал Бьоринг.

— Oui, oui, je comprends, j'ai compris au commencement…[130]

— Князь, — возвысила было голос Анна Андреевна, — вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять!

— Прочь! — крикнул вдруг на нее Бьоринг.

Этого я не мог снести.

— Мерзавец! — завопил я на него. — Анна Андреевна, я — ваш защитник!

Тут я подробно не стану и не могу описывать. Сцена вышла ужасная и низкая, а я вдруг как бы потерял рассудок. Кажется, я подскочил и ударил его, по крайней мере сильно толкнул. Он тоже ударил меня из всей силы по голове, так что я упал на пол. Опомнившись, я пустился уже за ними на лестницу; помню, что у меня из носу текла кровь. У подъезда их ждала карета, и, пока князя сажали, я подбежал к карете и, несмотря на отталкивавшего меня лакея, опять бросился на Бьоринга. Тут не помню, как очутилась полиция. Бьоринг схватил меня за шиворот и грозно велел городовому отвести меня в участок. Я кричал, что и он должен идти вместе, чтоб вместе составить акт, и что меня не смеют взять, почти что с моей квартиры. Но так как дело было на улице, а не в квартире, и так как я кричал, бранился и дрался, как пьяный и так как Бьоринг был в своем мундире, то городовой и взял меня. Но тут уж я пришел в полное исступление и, сопротивляясь из всех сил, кажется, ударил и городового! Затем, помню, их вдруг явилось двое, и меня повели. Едва помню, как привели меня в какую-то дымную, закуренную комнату, со множеством разных людей, стоявших и сидевших, ждавших и писавших; я продолжал и здесь кричать, я требовал акта. Но дело уже состояло не в одном акте, а усложнилось буйством и бунтом против полицейской власти. Да и был я

в слишком безобразном виде. Кто-то вдруг грозно закричал на меня. Городовой меж тем обвинял меня в драке, рассказал о полковнике…

— Как фамилия? — крикнул мне кто-то.

— Долгорукий, — проревел я.

— Князь Долгорукий?

Вне себя, я ответил каким-то весьма скверным ругательством, а затем… затем помню, что меня потащили в какую-то темную каморку «для вытрезвления». О, я не протестую. Вся публика прочла еще как-то недавно в газетах жалобу какого-то господина, просидевшего всю ночь под арестом, связанного, и тоже в комнате для вытрезвления, но тот, кажется, был даже и не виноват; я же был виновен. Я повалился на нары в сообществе каких-то двух бесчувственно спавших людей. У меня болела голова, стучало в висках, стучало сердце. Должно быть, я обеспамятел и, кажется, бредил. Помню только, что проснулся среди глубокой ночи и присел на нарах. Я разом припомнил всё и всё осмыслил и, положив локти в колени, руками подперев голову, погрузился в глубокое размышление.

О! я не стану описывать мои чувства, да и некогда мне, но отмечу лишь одно: может быть, никогда не переживал я более отрадных мгновений в душе моей, как в те минуты раздумья среди глубокой ночи, на нарах, под арестом. Это может показаться странным читателю, некоторым щелкоперством, желанием блеснуть оригинальностью — и, однако же, это всё было так, как я говорю. Это была одна из тех минут, которые, может быть, случаются и у каждого, но приходят лишь раз какой-нибудь в жизни. В такую минуту решают судьбу свою, определяют воззрение и говорят себе раз на всю жизнь: «Вот где правда и вот куда идти, чтоб достать ее». Да, те мгновения были светом души моей. Оскорбленный надменным Бьорингом и завтра же надеясь быть оскорбленным тою великосветскою женщиной, я слишком знал, что могу им ужасно отмстить, но я решил, что не буду мстить. Я решил, несмотря на всё искушение, что не обнаружу документа, не сделаю его известным уже целому свету (как уже и вертелось в уме моем); я повторял себе, что завтра же положу перед нею это письмо и, если надо, вместо благодарности вынесу даже насмешливую ее улыбку, но все-таки не скажу ни слова и уйду от нее навсегда… Впрочем, нечего распространяться. Обо всем же том, что произойдет со мной завтра здесь, как меня поставят перед начальством и что со мной сделают, — я

почти и думать забыл. Я перекрестился с любовью, лег на нары и заснул ясным, детским сном.

Проснулся я поздно, когда уже рассвело. В комнате я уже был один. Я сел и стал молча дожидаться, долго, около часу; должно быть, было уже около девяти часов, когда меня вдруг позвали. Я бы мог войти в более глубокие подробности, но не стоит, ибо всё это теперь постороннее; мне же только бы досказать главное. Отмечу лишь, что, к величайшему моему удивлению, со мной обошлись неожиданно вежливо: меня что-то спросили, я им что-то ответил, и мне тотчас же позволили уйти. Я вышел молча, и во взглядах их с удовольствием прочел даже некоторое удивление к человеку, умевшему даже в таком положении не потерять своего достоинства. Если б я не заметил этого, то я бы не записал. У выхода ждала меня Татьяна Павловна. В двух словах объясню, почему это так легко мне тогда сошло с рук.

Рано утром, еще, может быть, в восемь часов, Татьяна Павловна прилетела в мою квартиру, то есть к Петру Ипполитовичу, всё еще надеясь застать там князя, и вдруг узнала о всех вчерашних ужасах, а главное, о том, что я был арестован. Мигом бросилась она к Катерине Николаевне (которая еще вчера, возвратясь из театра, свиделась с привезенным к ней отцом ее), разбудила ее, напугала и потребовала, чтоб меня немедленно освободили. С запиской от нее она тотчас же полетела к Бьорингу и немедленно вытребовала от него другую записку, к «кому следует», с убедительнейшею просьбою самого Бьоринга немедленно освободить меня, «арестованного по недоразумению». С этой запиской она и прибыла в участок, и просьба его была уважена.

III

Затем продолжаю о главном.

Татьяна Павловна, подхватив меня, посадила на извозчика и привезла к себе, немедленно приказала самовар и сама отмыла и отчистила меня у себя в кухне. В кухне же громко сказала мне, что в половине двенадцатого к ней будет сама Катерина Николаевна — как еще давеча они условились обе — для свидания со мной. Вот тут-то и услышала Марья. Через несколько минут она подала самовар, а еще через две минуты, когда Татьяна Павловна вдруг ее кликнула, она не

отозвалась: оказалось, что она зачем-то вышла. Это я прошу очень заметить читателя; было же тогда, я полагаю, без четверти десять часов. Хоть Татьяна Павловна и рассердилась на ее исчезновение без спросу, но подумала лишь, что она вышла в лавочку, и тут же пока забыла об этом. Да и не до того нам было; мы говорили без умолку, потому что было о чем, так что я, например, на исчезновение Марьи совсем почти и не обратил внимания; прошу читателя и это запомнить.

Само собою, я был как в чаду; я излагал свои чувства, а главное — мы ждали Катерину Николаевну, и мысль, что через час я с нею наконец встречусь, и еще в такое решительное мгновение в моей жизни, приводила меня в трепет и дрожь. Наконец, когда я выпил две чашки, Татьяна Павловна вдруг встала, взяла со стола ножницы и сказала:

— Подавай карман, надо вынуть письмо — не при ней же взрезывать!

— Да! — воскликнул я и расстегнул сюртук.

— Что это у тебя тут напутано? Кто зашивал?

— Сам, сам, Татьяна Павловна.

— Ну и видно, что сам. Ну, вот оно…

Письмо вынули; старый пакет был тот же самый, а в нем торчала пустая бумажка.

— Это — что ж?.. — воскликнула Татьяна Павловна, перевертывая ее. — Что с тобой?

Но я стоял уже без языка, бледный… и вдруг в бессилии опустился на стул; право, со мной чуть не случился обморок.

— Да что тут еще! — завопила Татьяна Павловна. — Где ж твоя записка?

— Ламберт! — вскочил я вдруг, догадавшись и ударив себя по лбу.

Торопясь и задыхаясь, я ей всё объяснил — и ночь у Ламберта, и наш тогдашний заговор; впрочем, я ей еще вчера признался об этом заговоре.

— Украли! Украли! — кричал я, топоча по полу и схватив себя за волосы.

— Беда! — решила вдруг Татьяна Павловна, поняв, в чем дело. — Который час?

Было около одиннадцати.

— Эх, нету Марьи!.. Марья, Марья!

— Что вам, барыня? — вдруг отозвалась Марья из кухни.

— Ты здесь? Да что ж теперь делать! Полечу я к ней… Эх ты, рохля, рохля!

— А я — к Ламберту! — завопил я, — и задушу его, если надо!

— Барыня! — пропищала вдруг из кухни Марья, — тут какая-то вас очень спрашивает…

Но она еще не успела договорить, как «какая-то» стремительно, с криком и воплем ворвалась сама из кухни. Это была Альфонсинка. Не стану описывать сцены в полной подробности; сцена была — обман и подделка, но должно заметить, что сыграла ее Альфонсинка великолепно. С плачем раскаяния и с неистовыми жестами она затрещала (по-французски, разумеется), что письмо она тогда взрезала сама, что оно теперь у Ламберта и что Ламберт вместе с «этим разбойником», cet homme noir,[131] хотят зазвать Madame la générale[132] и застрелить ее, сейчас, через час… что она узнала всё это от них и что вдруг ужасно испугалась, потому что у них увидела пистолет, le pistolet, и теперь бросилась сюда к нам, чтоб мы шли, спасли, предупредили… Cet homme noir…

Одним словом, всё это было чрезвычайно правдоподобно, даже самая глупость некоторых Альфонсинкиных разъяснений усиливала правдоподобие.

— Какой homme noir? — прокричала Татьяна Павловна.

— Tiens, j'ai oublié son nom… Un homme affreux… Tiens, Versiloff. [133]

— Версилов, быть не может! — завопил я.

— Ах нет, может! — взвизгнула Татьяна Павловна. — Да говори ты, матушка, не прыгая, руками-то не махай; что ж они там хотят? Растолкуй, матушка, толком: не поверю же я, что они стрелять в нее хотят?

«Матушка» растолковала так (NB: всё была ложь, предупреждаю опять): Versiloff будет сидеть за дверью, а Ламберт, как она войдет, покажет ей cette lettre, тут Versîloff выскочит, и они ее… Oh, ils feront leur vengeance![134] Что она, Альфонсинка, боится беды, потому что сама участвовала, а cette dame, la générale, непременно приедет, «сейчас, сейчас», потому что они послали ей с письма копию, и та тотчас увидит, что у них в самом деле есть это письмо, и поедет к ним, а написал ей письмо один Ламберт, а про Версилова она не знает; а Ламберт рекомендовался как приехавший из Москвы, от одной московской

дамы, une dame de Moscou (NB. Марья Ивановна!).

— Ах, тошно мне! Ах, тошно мне! — восклицала Татьяна Павловна.

— Sauvez-la, sauvez-la![135] — кричала Альфонсинка.

Уж конечно, в этом сумасшедшем известии даже с первого взгляда заключалось нечто несообразное, но обдумывать было некогда, потому что в сущности всё было ужасно правдоподобно. Можно еще было предположить, и с чрезвычайною вероятностью, что Катерина Николаевна, получив приглашение Ламберта, заедет сначала к нам, к Татьяне Павловне, чтоб разъяснить дело; но зато ведь этого могло и не случиться и она прямо могла проехать к ним, а уж тогда — она пропала! Трудно было тоже поверить, чтоб она так и бросилась к неизвестному ей Ламберту по первому зову; но опять и это могло почему-нибудь так случиться, например, увидя копию и удостоверившись, что у них в самом деле письмо ее, а тогда — всё та же беда! Главное, времени у нас не оставалось ни капли, даже чтоб рассудить.

— А Версилов ее зарежет! Если он унизил себя до Ламберта, то он ее зарежет! Тут двойник! — вскричал я.

— Ах, этот «двойник»! — ломала руки Татьяна Павловна. — Ну, нечего тут, — решилась она вдруг, — бери шапку, шубу и — вместе марш. Вези нас, матушка, прямо к ним. Ах, далеко! Марья, Марья, если Катерина Николаевна приедет, то скажи, что я сейчас буду и чтоб села и ждала меня, а если не захочет ждать, то запри дверь и не выпускай ее силой. Скажи, что я так велела! Сто рублей тебе, Марья, если сослужишь службу.

Мы выбежали на лестницу. Без сомнения, лучше нельзя было и придумать, потому что, во всяком случае, главная беда была в квартире Ламберта, а если в самом деле Катерина Николаевна приехала бы раньше к Татьяне Павловне, то Марья всегда могла ее задержать. И однако, Татьяна Павловна, уже подозвав извозчика, вдруг переменила решение.

— Ступай ты с ней! — велела она мне, оставляя меня с Альфонсинкой, — и там умри, если надо, понимаешь? А я сейчас за тобой, а прежде махну-ка я к ней, авось застану, потому что, как хочешь, а мне подозрительно!

И она полетела к Катерине Николаевне. Мы же с Альфонсинкой пустились к Ламберту. Я погонял извозчика и на лету продолжал

расспрашивать Альфонсинку, но Альфонсинка больше отделывалась восклицаниями, а наконец и слезами. Но нас всех хранил бог и уберег, когда всё уже висело на ниточке. Мы не проехали еще и четверти дороги, как вдруг я услышал за собой крик: меня звали по имени. Я оглянулся — нас на извозчике догонял Тришатов.

— Куда? — кричал он испуганно, — и с ней, с Альфонсинкой!

— Тришатов! — крикнул я ему, — правду вы сказа ли — беда! еду к подлецу Ламберту! Поедем вместе, всё больше людей!

— Воротитесь, воротитесь сейчас! — прокричал Тришатов. — Ламберт обманывает, и Альфонсинка обманывает. Меня рябой послал; их дома нет: я встретил сейчас Версилова и Ламберта; они проехали к Татьяне Павловне… они теперь там…

Я остановил извозчика и перескочил к Тришатову. До сих пор не понимаю, каким образом я мог так вдруг решиться, но я вдруг поверил и вдруг решился. Альфонсинка завопила ужасно, но мы ее бросили, и уж не знаю, поворотила ли она за нами, или отправилась домой, но уж я ее больше не видал.

На извозчике Тришатов, кое-как и задыхаясь, сообщил мне, что есть какая-то махинация, что Ламберт согласился было с рябым, но что рябой изменил ему в последнее мгновение и сам послал сейчас Тришатова к Татьяне Павловне уведомить ее, чтоб Ламберту и Альфонсинке не верить. Тришатов прибавил, что больше он ничего не знает, потому что рябой ему ничего больше не сообщил, потому что не успел, что он сам торопился куда-то и что всё было наскоро. «Я увидел, — продолжал Тришатов, — что вы едете, и погнался за вами». Конечно, было ясно, что этот рябой тоже знает всё, потому что послал Тришатова прямо к Татьяне Павловне; но это уж была новая загадка.

Но, чтоб не вышло путаницы, я, прежде чем описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и уже в последний раз забегу вперед.

IV

Украв тогда письмо, Ламберт тотчас же соединился с Версиловым. О том, как мог Версилов совокупиться с Ламбертом, — я пока и говорить не буду: это — потом; главное — тут был «двойник»! Но, совокупившись с Версиловым, Ламберту предстояло как можно хитрее

заманить Катерину Николаевну. Версилов прямо утверждал ему, что она не придет. Но у Ламберта еще с тех самых пор, как я тогда, третьего дня вечером, встретил его на улице и, зарисовавшись, объявил ему, что возвращу ей письмо в квартире Татьяны Павловны и при Татьяне Павловне, — у Ламберта, с той самой минуты, над квартирой Татьяны Павловны устроилось нечто вроде шпионства, а именно — подкуплена была Марья. Марье он подарил двадцать рублей, и потом, через день, когда совершилась кража документа, вторично посетил Марью и уже тут договорился с нею радикально и обещал ей за услугу двести рублей.

Вот почему Марья, как услышала давеча, что в половине двенадцатого Катерина Николаевна будет у Татьяны Павловны и что буду тут и я, то тотчас же бросилась из дому и на извозчике прискакала с этим известием к Ламберту. Именно про это-то она и должна была сообщить Ламберту — в том и заключалась услуга. Как раз у Ламберта в ту минуту находился и Версилов. В один миг Версилов выдумал эту адскую комбинацию. Говорят, что сумасшедшие в иные минуты ужасно бывают хитры.

Комбинация состояла в том, чтоб выманить нас обоих, Татьяну и меня, из квартиры во что бы ни стало, хоть на четверть только часа, но до приезда Катерины Николаевны. Затем — ждать на улице и, только что мы с Татьяной Павловной выйдем, вбежать в квартиру, которую отворит им Марья, и ждать Катерину Николаевну. Альфонсинка же той порой должна была из всех сил задерживать нас где хочет и как хочет. Катерина же Николаевна должна была прибыть, как обещала, в половине двенадцатого, стало быть — непременно вдвое раньше, чем мы могли воротиться. (Само собою, что Катерина Николаевна никакого приглашения от Ламберта не получала и что Альфонсинка налгала, и вот эту-то штуку и выдумал Версилов, во всех подробностях, а Альфонсинка только разыграла роль испуганной предательницы). Разумеется, они рисковали, но рассудили они верно: «Сойдется — хорошо, не сойдется — еще ничего не потеряно, потому что документ все-таки в руках». Но оно сошлось, да и не могло не сойтись, потому что мы никак не могли не побежать за Альфонсинкой уже по одному только предположению: «А ну как это всё правда!» Опять повторяю: рассудить было некогда.

V

Мы вбежали с Тришатовым в кухню и застали Марью в испуге. Она была поражена тем, что когда пропустила Ламберта и Версилова, то вдруг как-то приметила в руках у Ламберта — револьвер. Хоть она и взяла деньги, но револьвер вовсе не входил в ее расчеты. Она была в недоуменье и, чуть завидела меня, так ко мне и бросилась:

— Генеральша пришла, а у них пистолет!

— Тришатов, постойте здесь в кухне, — распорядился я, — а чуть я крикну, бегите изо всех сил ко мне на помощь.

Марья отворила мне дверь в коридорчик, и я скользнул в спальню Татьяны Павловны — в ту самую каморку, в которой могла поместиться одна лишь только кровать Татьяны Павловны и в которой я уже раз нечаянно подслушивал. Я сел на кровать и тотчас отыскал себе щелку в портьере.

Но в комнате уже был шум и говорили громко; замечу, что Катерина Николаевна вошла в квартиру ровно минуту спустя после них. Шум и говор я заслышал еще из кухни; кричал Ламберт. Она сидела на диване, а он стоял перед нею и кричал как дурак. Теперь я знаю, почему он так глупо потерялся: он торопился и боялся, чтоб их не накрыли; потом я объясню, кого именно он боялся. Письмо было у него в руках. Но Версилова в комнате не было; я приготовился броситься при первой опасности. Передаю лишь смысл речей, может быть, многое и не так припоминаю, но тогда я был в слишком большом волнении, чтобы запомнить до последней точности.

— Это письмо стоит тридцать тысяч рублей, а вы удивляетесь! Оно сто тысяч стоит, а я только тридцать прошу! — громко и страшно горячась, проговорил Ламберт.

Катерина Николаевна хоть и видимо была испугана, но смотрела на него с каким-то презрительным удивлением.

— Я вижу, что здесь устроена какая-то западня, и ничего не понимаю, — сказала она, — но если только это письмо в самом деле у вас…

— Да вот оно, сами видите! Разве не то? В тридцать тысяч вексель, и ни копейки меньше! — перебил ее Ламберт.

— У меня нет денег.

— Напишите вексель — вот бумага. Затем пойдете и достанете денег, а я буду ждать, но неделю — не больше. Деньги принесете — отдам вексель и тогда и письмо отдам.

— Вы говорите со мной таким странным тоном. Вы ошибаетесь. У вас сегодня же отберут этот документ, если я поеду и пожалуюсь.

— Кому? Ха-ха-ха! А скандал, а письмо покажем князю! Где отберут? Я не держу документов в квартире. Я покажу князю через третье лицо. Не упрямьтесь, барыня, благодарите, что я еще не много прошу, другой бы, кроме того, попросил еще услуг… знаете каких… в которых ни одна хорошенькая женщина не отказывает, при стеснительных обстоятельствах, вот каких… Хе-хе-хе! Vous êtes belle, vous![136]

Катерина Николаевна стремительно встала с места, вся покраснела и — плюнула ему в лицо. Затем быстро направилась было к двери. Вот тут-то дурак Ламберт и выхватил револьвер. Он слепо, как ограниченный дурак, верил в эффект документа, то есть — главное — не разглядел, с кем имеет дело, именно потому, как я сказал уже, что считал всех с такими же подлыми чувствами, как и он сам. Он с первого слова раздражил ее грубостью, тогда как она, может быть, и не уклонилась бы войти в денежную сделку.

— Ни с места! — завопил он, рассвирепев от плевка, схватив ее за плечо и показывая револьвер, — разумеется для одной лишь острастки. — Она вскрикнула и опустилась на диван. Я ринулся в комнату; но в ту же минуту из двери в коридор выбежал и Версилов. (Он там стоял и выжидал). Не успел я мигнуть, как он выхватил револьвер у Ламберта и из всей силы ударил его револьвером по голове. Ламберт зашатался и *упал* без чувств; кровь хлынула из его головы на ковер.

Она же, увидав Версилова, побледнела вдруг как полотно; несколько мгновений смотрела на него неподвижно, в невыразимом ужасе, и вдруг упала в обморок. Он бросился к ней. Всё это теперь передо мной как бы мелькает. Я помню, как с испугом увидел я тогда его красное, почти багровое лицо и налившиеся кровью глаза. Думаю, что он хоть и заметил меня в комнате, но меня как бы не узнал. Он схватил ее, бесчувственную, с неимоверною силою поднял ее к себе на руки, как перышко, и бессмысленно стал носить ее по комнате, как ребенка. Комната была крошечная, но он слонялся из угла в угол, видимо не понимая, зачем это делает. В один какой-нибудь миг он лишился тогда рассудка. Он всё смотрел на ее лицо. Я бежал за ним и, главное, боялся револьвера, который он так и забыл в своей правой руке

и держал его возле самой ее головы. Но он оттолкнул меня раз локтем, другой раз ногой. Я хотел было крикнуть Тришатову, но боялся раздражить сумасшедшего. Наконец я вдруг раздвинул портьеру и стал умолять его положить ее на кровать. Он подошел и положил, а сам стал над нею, пристально с минуту смотрел ей в лицо и вдруг, нагнувшись, поцеловал ее два раза в ее бледные губы. О, я понял наконец, что это был человек уже совершенно вне себя. Вдруг он замахнулся на нее револьвером, но, как бы догадавшись, обернул револьвер и навел его ей в лицо. Я мгновенно, изо всей силы, схватил его за руку и закричал Тришатову. Помню: мы оба боролись с ним, но он успел вырвать свою руку и выстрелить в себя. Он хотел застрелить ее, а потом себя. Но когда мы не дали ее, то уткнул револьвер себе прямо в сердце, но я успел оттолкнуть его руку кверху, и пуля попала ему в плечо. В это мгновение с криком ворвалась Татьяна Павловна; но он уже лежал на ковре без чувств, рядом с Ламбертом.

Глава тринадцатая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I

Теперь этой сцене минуло почти уже полгода, и многое утекло с тех пор, многое совсем изменилось, а для меня давно уже наступила новая жизнь… Но развяжу и я читателя.

Для меня по крайней мере первым вопросом, и тогда и еще долго спустя, было: как мог Версилов соединиться с таким, как Ламберт, и какую цель он имел тогда в виду? Мало-помалу я пришел к некоторому разъяснению: по-моему, Версилов в те мгновения, то есть в тот весь последний день и накануне, не мог иметь ровно никакой твердой цели и даже, я думаю, совсем тут и не рассуждал, а был под влиянием какого-то вихря чувств. Впрочем, настоящего сумасшествия я не допускаю вовсе, тем более что он — и теперь вовсе не сумасшедший. Но «двойника» допускаю несомненно. Что такое, собственно, двойник? Двойник, по крайней мере по одной медицинской книге одного

эксперта, которую я потом нарочно прочел, двойник — это есть не что иное, как первая ступень некоторого серьезного уже расстройства души, которое может повести к довольно худому концу. Да и сам Версилов в сцене у мамы разъяснил нам это тогдашнее «раздвоение» его чувств и воли с страшною искренностью. Но опять-таки повторю: та сцена у мамы, тот расколотый образ хоть бесспорно произошли под влиянием настоящего двойника, но мне всегда с тех пор мерещилось, что отчасти тут и некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их правам и к их суду, и вот он, пополам с двойником, и разбил этот образ! «Так, дескать, расколются и ваши ожидания!» Одним словом, если и был двойник, то была и просто блажь… Но всё это — только моя догадка; решить же наверно — трудно.

Правда, несмотря на обожание Катерины Николаевны, в нем всегда коренилось самое искреннее и глубочайшее неверие в ее нравственные достоинства. Я наверно думаю, что он так и ждал тогда за дверью ее унижения перед Ламбертом. Но хотел ли он того, если даже и ждал? Опять-таки повторяю: я твердо верю, что он ничего не хотел и даже не рассуждал. Ему просто хотелось быть тут, выскочить потом, сказать ей что-нибудь, а может быть — может быть, и оскорбить, может быть, и убить ее… Всё могло случиться тогда; но только, придя с Ламбертом, он ничего не знал из того, что случится. Прибавлю, что револьвер был Ламбертов, а сам он пришел безоружный. Увидя же ее гордое достоинство, а главное, не стерпев подлеца Ламберта, грозившего ей, он выскочил — и уж затем потерял рассудок. Хотел ли он ее застрелить в то мгновение? По-моему, сам не знал того, но наверно бы застрелил, если б мы не оттолкнули его руку.

Рана его оказалась несмертельною и зажила, но пролежал он довольно долго — у мамы, разумеется. Теперь, когда я пишу эти строки, — на дворе весна, половина мая, день прелестный, и у нас отворены окна. Мама сидит около него; он гладит рукой ее щеки и волосы и с умилением засматривает ей в глаза. О, это — только половина прежнего Версилова; от мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Он даже получил «дар слезный», как выразился незабвенный Макар Иванович в своей повести о купце; впрочем, мне кажется, что Версилов проживет долго. С нами он теперь совсем простодушен и искренен, как дитя, не теряя, впрочем, ни меры, ни

сдержанности и не говоря лишнего. Весь ум его и весь нравственный склад его остались при нем, хотя всё, что было в нем идеального, еще сильнее выступило вперед. Я прямо скажу, что никогда столько не любил его, как теперь, и мне жаль, что не имею ни времени, ни места, чтобы поболее поговорить о нем. Впрочем, расскажу один недавний анекдот (а их много): к великому посту он уже выздоровел и на шестой неделе объявил, что будет говеть. Не говел он лет тридцать, я думаю, или более. Мама была рада; стали готовить постное кушанье, довольно, однако, дорогое и утонченное. Я слышал из другой комнаты, как он в понедельник и во вторник напевал про себя: «Се жених грядет» — и восторгался и напевом и стихом. В эти два дня он несколько раз прекрасно говорил о религии; но в среду говенье вдруг прекратилось. Что-тоего вдруг раздражило, какой-то «забавный контраст», как он выразился смеясь. Что-то не понравилось ему в наружности священника, в обстановке; но только он воротился и вдруг сказал с тихою улыбкою: «Друзья мои, я очень люблю бога, но — я к этому не способен». В тот же день за обедом уже подали ростбиф. Но я знаю, что мама часто и теперь садится подле него и тихим голосом, с тихой улыбкой, начинает с ним заговаривать иногда о самых отвлеченных вещах: теперь она вдруг как-то *осмелилась* перед ним, но как это случилось — не знаю. Она садится около него и говорит ему, всего чаще шепотом. Он слушает с улыбкою, гладит ее волосы, целует ее руки, и самое полное счастье светится на лице его. С ним бывают иногда и припадки, почти истерические. Он берет тогда ее фотографию, ту самую, которую он в тот вечер целовал, смотрит на нее со слезами, целует, вспоминает, подзывает нас всех к себе, но говорит в такие минуты мало… О Катерине Николаевне он как будто совершенно забыл и имени ее ни разу не упомянул. О браке с мамой тоже еще ничего у нас не сказано. Хотели было на лето везти его за границу; но Татьяна Павловна настояла, чтоб не возить, да и он сам не захотел. Летом они проживут на даче, где-то в деревне, в Петербургском уезде. Кстати, мы все пока живем на средства Татьяны Павловны. Одно прибавлю: мне страшно грустно, что, в течение этих записок, я часто позволял себе относиться об этом человеке непочтительно и свысока. Но я писал, слишком воображая себя таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые описывал. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого, именно

процессом припоминания и записывания. От многого отрекаюсь, что написал, особенно от тона некоторых фраз и страниц, но не вычеркну и не поправлю ни единого слова.

Я сказал, что о Катерине Николаевне он не говорит ни единого слова; но я даже думаю, что, может быть, и совсем излечился. О Катерине Николаевне говорим иногда лишь я да Татьяна Павловна, да и то по секрету. Теперь Катерина Николаевна за границей; я виделся с нею перед отъездом и был у ней несколько раз. Из-за границы я уже получил от нее два письма и отвечал на них. Но о содержании наших писем и о том, о чем мы переговорили, прощаясь перед отъездом, я умолчу: это уже другая история, совсем *новая* история, и даже, может быть, вся она еще в будущем. Я даже и с Татьяной Павловной о некоторых вещах умалчиваю; но довольно. Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужем и путешествует с Пелищевыми. Отец ее скончался, и она — богатейшая из вдов. В настоящую минуту она в Париже. Разрыв ее с Бьорингом произошел быстро и как бы сам собой, то есть в высшей степени натурально. Впрочем, расскажу об этом.

В утро той страшной сцены рябой, тот самый, к которому перешли Тришатов и друг его, успел известить Бьоринга о предстоящем злоумышлении. Это случилось таким образом: Ламберт все-таки склонил его к участию вместе и, овладев тогда документом, сообщил ему все подробности и все обстоятельства предприятия, а наконец, и самый последний момент их плана, то есть когда Версилов выдумал комбинацию об обмане Татьяны Павловны. Но в решительное мгновение рябой предпочел изменить Ламберту, будучи благоразумнее их всех и предвидя в проектах их возможность уголовщины. Главное же: он почитал благодарность Бьоринга гораздо вернее фантастического плана неумелого, но горячего Ламберта и почти помешанного от страсти Версилова. Всё это я узнал потом от Тришатова. Кстати, я не знаю и не понимаю отношений Ламберта к рябому и почему Ламберт не мог без него обойтись. Но гораздо любопытнее для меня вопрос: зачем нужен был Ламберту Версилов, тогда как Ламберт, имея уже в руках документ, совершенно бы мог обойтись без его помощи? Ответ мне теперь ясен: Версилов нужен был ему, во-первых, по знанию обстоятельств, а главное, Версилов был нужен ему, в случае переполоха или какой беды, чтобы свалить на него всю ответственность. А так как денег Версилову было не надо, то Ламберт и почел его помощь даже

весьма не лишнею. Но Бьоринг не поспел тогда вовремя. Он прибыл уже через час после выстрела, когда квартира Татьяны Павловны представляла уже совсем другой вид. А именно: минут пять спустя после того как Версилов упал на ковер окровавленный, приподнялся и встал Ламберт, которого мы все считали убитым. Он с удивлением осмотрелся, вдруг быстро сообразил и вышел в кухню, не говоря ни слова, там надел свою шубу и исчез навсегда. «Документ» он оставил на столе. Я слышал, что он даже не был и болен, а лишь немного похворал; удар револьвером ошеломил его и вызвал кровь, не произведя более никакой беды. Меж тем Тришатов уже убежал за доктором; но еще до доктора очнулся и Версилов, а еще до Версилова Татьяна Павловна, приведя в чувство Катерину Николаевну, успела отвезти ее к ней домой. Таким образом, когда вбежал к нам Бьоринг, то в квартире Татьяны Павловны находились лишь я, доктор, больной Версилов и мама, еще больная, но прибывшая к нему вне себя и за которой сбегал тот же Тришатов. Бьоринг посмотрел с недоумением и, как только узнал, что Катерина Николаевна уже уехала, тотчас отправился к ней, не сказав у нас ни слова.

Он был смущен; он ясно видел, что теперь скандал и огласка почти неминуемы. Большого скандала, однако же, не произошло, а вышли лишь слухи. Скрыть выстрела не удалось — это правда; но вся главная история, в главной сущности своей, осталась почти неизвестною; следствие определило только, что некто В., влюбленный человек, притом семейный и почти пятидесятилетний, в исступлении страсти и объясняя свою страсть особе, достойной высшего уважения, но совсем не разделявшей его чувств, сделал, в припадке безумия, в себя выстрел. Ничего больше не вышло наружу, и в таком виде известие проникло темными слухами и в газеты, без собственных имен, с начальными лишь буквами фамилий. По крайней мере я знаю, что Ламберта, например, совсем не обеспокоили. Тем не менее Бьоринг, знавший истину, испугался. Вот тут-то, как нарочно, ему вдруг удалось узнать о происходившем свидании, глаз на глаз, Катерины Николаевны с влюбленным в нее Версиловым, еще за два дня до той катастрофы. Это его взорвало, и он, довольно неосторожно, позволил себе заметить Катерине Николаевне, что после этого его уже не удивляет, что с ней могут происходить такие фантастические истории. Катерина Николаевна тут же и отказала ему, без гнева, но и без колебаний. Всё

предрассудочное мнение ее о каком-то благоразумии брака с этим человеком исчезло как дым. Может быть, она уже и давно перед тем его разгадала, а может быть, после испытанного потрясения, вдруг изменились некоторые ее взгляды и чувства. Но тут я опять умолкаю. Прибавлю только, что Ламберт исчез в Москву, и я слышал, что там в чем-то попался. А Тришатова я давно уже, почти с тех самых пор, выпустил из виду, как ни стараюсь отыскать его след даже и теперь. Он исчез после смерти своего друга «le grand dadais»:[137] тот застрелился.

II

Я упомянул о смерти старого князя Николая Ивановича. Добрый, симпатичный старик этот умер скоро после происшествия, впрочем, однако, целый месяц спустя — умер ночью, в постели, от нервного удара. Я с того самого дня, который он прожил на моей квартире, не видал его более. Рассказывали про него, что будто бы он стал в этот месяц несравненно разумнее, даже суровее, не пугался более, не плакал и даже совсем ни разу не произнес во всё это время ни единого слова об Анне Андреевне. Вся любовь его обратилась к дочери. Катерина Николаевна как-то раз, за неделю до его смерти, предложила было ему призвать меня, для развлечения, но он даже нахмурился: факт этот сообщаю без всяких объяснений. Имение его оказалось в порядке, и, кроме того, оказался весьма значительный капитал. До трети этого капитала пришлось, по завещанию старика, разделить бесчисленным его крестницам; но чрезвычайно странно показалось для всех, что об Анне Андреевне в завещании этом не упоминалось вовсе: ее имя было пропущено. Но вот что, однако же, мне известно как достовернейший факт: за несколько лишь дней до смерти старик, призвав дочь и друзей своих, Пелищева и князя В-го, велел Катерине Николаевне, в возможном случае близкой кончины его, непременно выделить из этого капитала Анне Андреевне шестьдесят тысяч рублей. Высказал он свою волю точно, ясно и кратко, не позволив себе ни единого восклицания и ни единого пояснения. По смерти его и когда уже выяснились дела, Катерина Николаевна уведомила Анну Андреевну, через своего поверенного, о том, что та может получить эти шестьдесят тысяч когда захочет; но Анна Андреевна сухо, без лишних слов отклонила

предложение: она отказалась получить деньги, несмотря на все уверения, что такова была действительно воля князя. Деньги и теперь еще лежат, ее ожидая, и теперь еще Катерина Николаевна надеется, что она переменит решение; но этого не случится, и я знаю про то наверно, потому что я теперь — один из самых близких знакомых и друзей Анны Андреевны. Отказ ее наделал некоторого шуму, и об этом заговорили. Тетка ее, Фанариотова, раздосадованная было сначала ее скандалом с старым князем, вдруг переменила мнение и, после отказа ее от денег, торжественно заявила ей свое уважение. Зато брат ее рассорился с нею за это окончательно. Но хоть я и часто бываю у Анны Андреевны, но не скажу, чтоб мы пускались в большие интимности; о старом не упоминаем вовсе; она принимает меня к себе очень охотно, но говорит со мной как-то отвлеченно. Между прочим, она твердо заявила мне, что непременно пойдет в монастырь; это было недавно; но я ей не верю и считаю лишь за горькое слово.

Но, горькое, настоящее горькое слово предстоит мне сказать в особенности о сестре моей Лизе. Вот тут — так несчастье, да и что такое все мои неудачи перед ее горькой судьбой! Началось с того, что князь Сергей Петрович не выздоровел и, не дождавшись суда, умер в больнице. Скончался он еще раньше князя Николая Ивановича. Лиза осталась одна, с будущим своим ребенком. Она не плакала и с виду была даже спокойна; сделалась кротка, смиренна; но вся прежняя горячность ее сердца как будто разом куда-то в ней схоронилась. Она смиренно помогала маме, ходила за больным Андреем Петровичем, но стала ужасно неразговорчива, ни на кого и ни на что даже не взглядывала, как будто ей всё равно, как будто она лишь проходит мимо. Когда Версилову сделалось легче, она начала много спать. Я приносил было ей книги, но она не читала их; она стала страшно худеть. Я как-то не осмеливался начать утешать ее, хотя часто приходил именно с этим намерением; но в присутствии ее мне как-то не подходилось к ней, да и слов таких не оказывалось у меня, чтобы заговорить об этом. Так продолжалось до одного страшного случая: она упала с нашей лестницы, не высоко, всего с трех ступенек, но она выкинула, и болезнь ее продолжалась почти всю зиму. Теперь она уже встала с постели, но здоровью ее надолго нанесен удар. Она по-прежнему молчалива с нами и задумчива, но с мамой начала понемногу говорить. Все эти последние дни стояло яркое, высокое, весеннее солнце, и я всё припоминал про

себя то солнечное утро, когда мы, прошлою осенью, шли с нею по улице, оба радуясь и надеясь и любя друг друга. Увы, что сталось после того? Я не жалуюсь, для меня наступила новая жизнь, но она? Ее будущее — загадка, а теперь я и взглянуть на нее не могу без боли.

Недели три назад я, однако ж, успел заинтересовать ее известием о Васине. Он был наконец освобожден и выпущен совсем на свободу. Этот благоразумный человек дал, говорят, самые точные изъяснения и самые интересные сообщения, которые вполне оправдали его во мнении людей, от которых зависела его участь. Да и пресловутая рукопись его оказалась не более как переводом с французского, так сказать материалом, который он собирал единственно для себя, намереваясь составить потом из него одну полезную статью для журнала. Он отправился теперь в — ю губернию, а отчим его, Стебельков, и доселе продолжает сидеть в тюрьме по своему делу, которое, как я слышал, чем далее, тем более разрастается и усложняется. Лиза выслушала об Васине с странною улыбкою и заметила даже, что с ним непременно должно было так случиться. Но она была, видимо, довольна — конечно, тем, что вмешательство покойного князя Сергея Петровича не повредило Васину. Про Дергачева же и других я здесь ничего не имею сообщить.

Я кончил. Может быть, иному читателю захотелось бы узнать: куда ж это девалась моя «идея» и что такое та новая, начинавшаяся для меня теперь жизнь, о которой я так загадочно возвещаю? Но эта новая жизнь, этот новый, открывшийся передо мною путь и есть моя же «идея», та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что ее уже и узнать нельзя. Но в «Записки» мои всё это войти уже не может, потому что это — уже совсем другое. Старая жизнь отошла совсем, а новая едва начинается. Но прибавлю, однако, необходимое: Татьяна Павловна, искренний и любимый друг мой, пристает ко мне чуть не каждый день с увещаниями непременно и как можно скорее поступить в университет: «Потом, как кончишь учение, тогда и выдумывай, а теперь доучись». Признаюсь, я задумываюсь о ее предложении, но совершенно не знаю, чем решу. Между прочим, я возразил ей, что я даже и не имею теперь права учиться, потому что должен трудиться, чтобы содержать маму и Лизу; но она предлагает на то свои деньги и уверяет, что их достанет на всё время моего университета. Я решился наконец спросить совета у одного человека. Рассмотрев кругом меня, я выбрал этого человека

тщательно и критически. Это — Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марьи Ивановны. Не то чтобы я так нуждался в чьем-нибудь совете; но мне просто и неудержимо захотелось услышать мнение этого совершенно постороннего и даже несколько холодного эгоиста, но бесспорно умного человека, Я послал ему всю мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывал еще ее никому, и в особенности Татьяне Павловне. Посланная рукопись прибыла ко мне обратно через две недели и при довольно длинном письме. Из письма этого сделаю лишь несколько выдержек, находя в них некоторый общий взгляд и как бы нечто разъяснительное. Вот эти выдержки.

III

«…И никогда не могли вы, незабвенный Аркадий Макарович, употребить с большею пользою ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши „Записки“! Вы дали себе, так сказать, сознательный отчет о первых, бурных и рискованных, шагах ваших на жизненном поприще. Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом „перевоспитать себя“, как выразились сами. Собственно критических заметок, разумеется, не позволю себе ни малейших: хотя каждая страница наводит на размышления… например, то обстоятельство, что вы так долго и так упорно держали у себя „документ“ — в высшей степени характеристично… Но это — лишь одна заметка из сотен, которую я разрешил себе. Весьма ценю тоже, что вы решились мне сообщить, и, по-видимому, мне одному, „тайну вашей идеи“, по собственному вашему выражению. Но в просьбе вашей сообщить мое мнение собственно об этой идее должен вам решительно отказать: во-первых, на письме не уместится, а во-вторых — и сам не готов к ответу, и мне надо еще это переварить. Замечу лишь, что „идея“ ваша отличается оригинальностью, тогда как молодые люди текущего поколения набрасываются большею частию на идеи не выдуманные, а предварительно данные, и запас их весьма невелик, а часто и опасен. Ваша, например, „идея“ уберегла вас, по крайней мере на время, от идей гг. Дергачева и комп., без сомнения не столь оригинальных, как ваша. А наконец, я в высшей степени согласен с мнением многоуважаемейшей

Татьяны Павловны, которую хотя и знавал лично, но не в состоянии был доселе оценить в той мере, как она того заслуживает. Мысль ее о поступлении вашем в университет в высшей степени для вас благотворна. Наука и жизнь несомненно раскроют, в три-четыре года, еще шире горизонты мыслей и стремлений ваших, а если и после университета пожелаете снова обратиться к вашей „идее“, то ничто не помешает тому.

Теперь позвольте мне самому, и уже без вашей просьбы, изложить вам откровенно несколько мыслей и впечатлений, пришедших мне в ум и душу при чтении столь откровенных записок ваших. Да, я согласен с Андреем Петровичем, что за вас и за *уединенную* юность вашу действительно можно было опасаться. И таких, как вы, юношей немало, и способности их действительно всегда угрожают развиться к худшему — или в молчалинское подобострастие, или в затаенное желание беспорядка. Но это желание беспорядка — и даже чаще всего — происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и „благообразия“ (употребляю ваше слово)? Юность чиста уже потому, что она — юность. Может быть, в этих, столь ранних, порывах безумия заключается именно эта жажда порядка и это искание истины, и кто ж виноват, что некоторые современные молодые люди видят эту истину и этот порядок в таких глупеньких и смешных вещах, что не понимаешь даже, как могли они им поверить! Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали впоследствии к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. И если, например, и сознавали, в начале дороги, всю беспорядочность и случайность свою, всё отсутствие благородного в их хотя бы семейной обстановке, отсутствие родового предания и красивых законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым приучались его ценить. Ныне уже несколько иначе — именно потому, что примкнуть почти не к чему.

Разъясню сравнением или, так сказать, уподоблением. Если бы я был русским романистом и имел талант, то непременно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного

воздействия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я — совершенно не дворянин, что впрочем, вам и самим известно. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в „Преданиях русского семейства“.* и, поверьте, что тут действительно всё, что у нас было доселе красивого. По крайней мере тут всё, что было у нас хотя сколько-нибудь завершенного. Я не потому говорю, что так уже безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия.

Там хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь, да свой, наконец, порядок! В том заключалась надежда и, так сказать, отдых: хоть что-нибудь наконец построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже двести лет всё ничего не выходит.*

Не обвините в славянофильстве; это — я лишь так, от мизантропии, ибо тяжело на сердце! Ныне, с недавнего времени, происходит у нас нечто совсем обратное изображенному выше. Уже не сор прирастает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, еще хотели бы верить их дети. Мало того, с увлечением не скрывают от детей своих свою алчную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой. Не про истинных прогрессистов я говорю, милейший Аркадий Макарович, а про тот лишь сброд, оказавшийся бесчисленным, про который сказано: „Grattez le russe et vous verrez le tartare“.*[138] И поверьте, что истинных либералов, истинных и великодушных друзей человечества у нас вовсе не так много, как это нам вдруг показалось.

Но всё это — философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романистка в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в другом роде, как в историческом*,

ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то, по владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за собою. О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем. Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это — мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средневысшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской, — этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде.* Даже должен явиться каким-нибудь чудаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле. Еще далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! роман ли только окажется тогда невозможным? Чем далеко ходить, прибегну к вашей же рукописи. Взгляните, например, на оба семейства господина Версилова (на сей раз позвольте уж мне быть вполне откровенным). Во-первых, про самого Андрея Петровича я не распространяюсь; но, однако, он — всё же из родоначальников. Это — дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато и отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории*. Но довольно о нем самом; вот, однако же, его родовое семейство: про сына его и говорить не стану, да и не стоит он этой чести. Те, у кого есть глаза, знают заранее, до чего дойдут у нас подобные сорванцы, а кстати и других доведут. Но вот его дочь, Анна Андреевна, — и чем же не с характером девица? Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании* — разумеется, не предрекая ничего уголовного, что было бы уже несправедливым с моей стороны. Скажите мне теперь, Аркадий

Макарович, что семейство это — явление случайное, и я возрадуюсь духом. Но, напротив, не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимою силою переходят массами в семейства *случайные* и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе. Тип этого случайного семейства указываете отчасти и вы в вашей рукописи. Да, Аркадий Макарович, вы — *член случайного семейства,* в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детство и отрочество.*

Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства!

Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, — еще дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недосмотры. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и… ошибаться.

Но такие „Записки“, как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины — беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. Вот тогда-то и понадобятся подобные „Записки“, как ваши, и дадут материал — были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность… Уцелеют по крайней мере хотя некоторые верные черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени, — дознание, не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения…»

Приложение

Подросток. Часть II, гл. IX

(отрывок черновой рукописи, не вошедший в текст романа)

Я ощутил чрезвычайное удовольствие — «Зажечь, зажечь непременно, пусть горят!» И весьма может быть, что я бы это и исполнил, но внезапно был отвлечен совсем неожиданной встречей.

Присматриваясь, как мне влезть по воротам, я вдруг в правом углу ворот, в глубине выступа заметил какую-то темную массу: что-то лежало или сидело скорчившись, «меньше человека, больше собаки», — мелькнуло во мне. Я нагнулся и дотронулся рукой.

Это был ребенок, девочка, лет девяти или десяти, она сидела сжавшись и скорчившись. Глаза были закрыты. «Замерзла!» — проговорил я и, схватив ее обеими руками за плечи, стал подымать. Я приподнял ее, но не удержал, и она, как деревянная колода, шлепнулась опять в снег, но от сотрясения, должно быть, открыла глаза. «А, не успела заснуть!» — вскричал я. Она глядела на меня прямо, большими глазами, но, кажется, ничего не понимала. Это было худенькое, стянутое холодом, посиневшее личико ребенка с странно большими, как показалось мне тогда, глазами, с сплюснутым носом и с чрезвычайно большим ртом, при очень маленьком подбородке. В лице ее были пятна, вроде болячек. Всё это я мельком запомнил. Она видимо ничего не понимала и вдруг опять закрыла глаза. Я схватил ее опять за руки и изо всех сил стал подымать, наконец поставил и начал трясти за плечи: несколько раз она обнаруживала стремление опять присесть и скорчиться, но наконец вдруг сама стала на ноги, и любопытство сверкнуло в ее взгляде. Она проснулась. Я не ошибся: ей было не более десяти лет, но она была очень дурно и мало одета, в каком-то стареньком, изорванном нанковом в полоску капотишке, с торчавшей клочьями из дыр ватой, служившем, может быть, третий год, судя по коротким рукавам, даже не прикрывавшим маленьких, сине-багряных от холода рук. На ногах ее, впрочем, были толстые башмаки сверх толстых шерстяных чулков. И я помню, что я нарочно оглядел ее ноги и ее всю: не отморозила ли чего-нибудь? На шее ее было надето длинное суровое полотенце, концы которого выходили на оба плеча, а к каждому

концу были привязаны или пришиты по плетеной из древесной коры продолговатой формы корзинке, вроде футляра для бутылки, а из каждой корзинки действительно торчало по бутылке. Это приспособление я уже знал прежде; мальчишек и девочек действительно посылают из артелей с таким снарядом в кабаки за вином, а корзинка тут, чтоб ребятишки не разбили бутылки. Как это могло случиться? почему девчонка со своими бутылками стоймя заснула в дороге? Она долго ничего не понимала на мои вопросы: где она живет и куда ее доставить, и только всё глядела на меня своими большими черными глазенками, но взгляд ее становился всё вострее и вострее. Наконец вдруг шевельнулись ее губы, и она прошептала:

— Озябла! — выговорила она быстро и, не то что жалуясь, а как-то бессмысленно, точно выпалила, и не «озябла», а как-то: «аззьябла!», резко ударяя на я и при этом ни на миг не переставая

смотреть мне в глаза.

— Ты замерзнешь, — повторил я, — где ты живешь? Пойдем я доведу, пойдем! — повторял я всё настойчивее.

— Аззьябла! — выпалила она вдруг опять.

Я взял ее за руку и потащил, она пошла. Я стал уговаривать, вынул из жилетного кармана двугривенный и дал ей, не знаю для чего. Она вдруг, точно одумалась, повернулась и быстро пошла по направлению к бульвару, я за ней. Переулок был маленький, и мы скоро вышли на бульвар, она перебежала его поперек, перешла на противуположный тротуар и, пройдя несколько домов, стала перед одними воротами и проговорила:

— Вот!

Я достучался дворника, он вышел заспанный, увидел девочку и, что-то грубо проговорив, пропустил нас. Девочка перешла большой двор, потом через подворотню вошла на другой и в самом заднем углу, показав на окна подвального этажа и на крылечко, вдруг проговорила:

— Не пойду.

Я схватил ее за руку и, придерживая, чтоб она не упала, стал стучать в окна. Я стучал долго, наконец послышалось чье-то ругательство, а за ним вдруг женский голос прокричал:

— Это ведь Аришка, светы мои, это ведь Аришка!

Я ступил на крылечко, две ступеньки которого шли вниз, а не вверх [и потащил Аришу, которая не очень сопротивлялась], дверь

отворилась, и я шагнул куда-то вниз, в комнату. Душный, сырой мефитический воздух обхватил меня.

— Да кто такой, да кто вы такой, эй, кто такой? — закричала женщина, заметив меня.

— Я девочку вашу привел, она замерзла! — прокричал я.

— Где она, шельма, где… враг(?), — ухватила ее женщина, и я слышал в темноте, как начала ее таскать за волосы.

Девочка молчала. Вдруг блеснул свет, кто-то зажег свечу. Это была довольно большая комната-изба с русской печью в углу с деревянным тесовым столом и с двумя такими же стульями в другом углу, с лавками по двум стенам, с двумя малыми окнами во двор, с грязным полом, с платьем и разной домашней рухлядью, развешанными по стенам. В избе этой спало, должно быть, человек семь или восемь, и, кажется, все были пьяны, а размещались на лавках, на печке и даже на полу. Вздул огонь какой-то в рубахе, а поверх рубахи в сюртуке, уже седой и плотный человек. Он был пьяненек, но серьезен и важен. Разглядев, что женщина, таская, свалила девочку на пол, он сипло крикнул:

— Бутылки-то не разбей!

Баба перестала бить, и сняла с шеи у девочки бутылки, девочка вскочила, выпрямилась и [как зверек], дико оглядываясь, вдруг проговорила опять, как даве:

— Аз-зьябла!

В это мгновение сполз с лавки какой-то парень, очень пьяный и хромой. Он был в одном белье и босой. Подковыляв прямо к девочке, он молча поднял руку и изо всей силы и стремительно, не крикнув, опустил на нее кулак. Девочка свалилась как подрезанная, а обидчик покачнулся, замычал, и сам упал на пол. Он был очень пьян.

— Ишь ведь, — прошептал седой, — эк нарезался!

Я вскрикнул и бросился к девочке, но она вскочила сама; я не помню хорошо, что со мной тогда сталось. Я плакал навзрыд и кричал им, что ведь этак нельзя, она замерзла, за что? за что? Я ломал руки, просил, умолял. Стали просыпаться, две-три головы поднялись с нар, раздались голоса; седой стоял передо мной, держа огарок в руке и с пьяною важностью осматривал меня. Только баба была, кажется, очень мало пьяна, и очень, кажется, на меня дивилась.

— Да вы чего же так, — проговорила она вдруг, — да ведь это изверг как есть, вы не знаете, ведь она как не захочет, так поленом

колоти не прошибешь, ее с одиннадцатого часу послала, не хотела идти, не пойду, да и вот тебе. Где она была до сего часу, сука? А намедни ребенку в спину булавку воткнула — не захотела таскать. Мать померла, ничья она теперь, да хоть бы сдохла проклятая, на руках сидит.

— Так у ней и матери нет, одна она, сирота, — завопил я и вдруг, не знаю, что со мной сделалось, но весь в слезах, я припал к Арише, обхватил ее и стал целовать ее.

Я хоть и описываю подробно, но стараюсь сочинять по оставшемуся впечатлению. Может, я многого не помню, да и тогда не заметил. Помню только, что Ариша быстро, как кошка, взобралась на печку и скорчившись в углу, смотрела оттуда на меня любопытно-дикими, как у зверька, глазенками. Очень, может, простыла.

— Из каких такой? — проговорил кто-то.

— А пьяный, может?

Женщина молчала, но смотрела пристально, наконец седой подошел ко мне вплоть.

— Вам тут нечего… одно ваше безобразие, тут ночь, теперь спать надоть, вот бог, а вот и порог.

Он надвинулся на меня и попер меня к дверям. Я вдруг вспомнил всё *мое* и вдруг на себя удивился: «Да что же это я, что мне тут!» — мелькнуло у меня в голове. Затем повернулся и поскорее выбежал.

Очень торопясь и заботясь, отыскал я дворника и, как выскочил на улицу, тотчас же перебежал тротуар и вышел опять в тот самый переулок. Дойдя до тех глухих ворот я запахнулся в шубу и присел на снег, в тот самый угол, в котором сидела девочка: «Что же, — подумал я, — тут и засну, как Ариша». Я вспомнил тут, что когда-то читал в газетах, что один извозчик, стоя с своей лошадью в одну морозную ночь, так же заснул в армяке и замерз.

«Извозчики — неженки, под армяками носят тулупы, а вот, однако же, замерз. Стало быть, можно заснуть и замерзнуть и в шубе. Что же, и я буду сидеть, и засну, и замерзну. Всё умерло, так и я умру».

И действительно, я очень скоро задремал, мысли во мне смешались совсем, и я только слышал всё возраставший колокольный звон, наслаждение и полез. Я полез.

Примечания

В настоящем томе печатаются рассказ „Вечный муж“ (1870) — один из шедевров психологического искусства писателя — и роман „Подросток“ (1875) — второй (после „Бесов“) из романов Достоевского, работа над которыми была начата в качестве реализации зародившегося у него в конце 60-х годов замысла романического цикла „Атеизм“ (позднее получившего название „Житие Великого Грешника“). Как и в процессе работы над „Бесами“, идея „Подростка“ преобразовалась под пером романиста в замысел самостоятельного романа об эпохе общественного и нравственного „беспорядка“ (какой представлялась писателю эпоха 70-х годов). Позднее, в январском выпуске „Дневника писателя“ за 1876 г., Достоевский охарактеризовал свой роман о процессе трудного умственного и нравственного созревания молодого человека, поставленного судьбой на распутье между старой и новой Россией и вместе с тем — между дворянством и народом, между уходящим в прошлое миром „красивых“ и прочных форм жизни „средневысшего“ дворянского слоя и современным „хаосом“ (который предстает перед взором художника лишенным „руководящей нити“), — как первую пробу разработки волновавшей его в последние годы жизни темы о „теперешних русских детях <…> и теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношениях“, — темы, к которой он несколько лет спустя вернулся в своем последнем романе „Братья Карамазовы“ (1879–1880).

Текст „Вечного мужа“ подготовлен Т. П. Голованової, романа „Подросток“ — Г. Я. Галаган.

Послесловие и примечания к „Вечному мужу“ составлены Г. М. Фридлендером (с использованием разысканий и материалов И. З. Сермана); послесловие к „Подростку“ написано Г. Я. Галаган при участии А. В. Архиповой (§ 13) и К. М. Азадовского (§ 14); А. В. Архиповой составлены также примечания к этому роману. Редактор тома И. Д. Якубович. Редакционно-техническая подготовка тома к печати и подбор иллюстраций осуществлены С. А. Ипатовой.

Тексты черновых материалов и писем, не вошедших в настоящее собрание сочинений, цитируются по изданию: *Достоевский Ф. М.* Полн.

собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990; римской цифрой обозначается том, а арабской — страницы этого издания.

Вечный муж

Впервые опубликовано в журнале „Заря“ (1870. № 1. Отд. 1. С. 1–79; № 2. Отд. 2. С. 3–82; с подписями: Ф. Достоевский и Федор Достоевский).

17 сентября 1868 г. А. Н. Майков писал Достоевскому: „В Петербурге давно уж чувствовалась потребность нового журнала, русского. Таковой наконец является, издатель, положим, человек неизвестный (я-то его знаю) Кашпирев<…> но редактор вам известный Страхов <…>. А пока мне поручено просить Вас быть сотрудником…“. [139] Майков просил у Достоевского разрешения дать его имя для списка сотрудников журнала. 26 октября (7 ноября) Достоевский отвечал: „Ужасно я порадовался известию о новом журнале. Я никогда не слыхал ничего о Кашпиреве, но я очень рад, что наконец-то Николай Николаевич находит достойное его занятие; именно ему надо быть редактором <…> стать душой всего журнала <…> Желательно бы очень, чтоб журнал был непременно *русского духа,* как мы с Вами это понимаем, хотя, положим, и не чисто славянофильский“ (XXVIII, кн. 2, 322). Далее Достоевский пишет, что „быть участником журнала, разумеется, согласен от всей души“. В тот же день в письме к своей племяннице С. А. Ивановой Достоевский сообщал о „Заре“: „Предприятие, кажется, серьезное и прекрасное“ (XXVIII, кн. 2, 319). Как выяснилось впоследствии, „Заря“ только частично ответила ожиданиям Достоевского; журнал, по его мнению, слишком мало считался с интересами читателей, был слишком академичен, далек от злободневных общественных и литературных вопросов.

Несмотря на согласие Достоевского участвовать в „Заре“; переданное через Майкова, его имя не попало в список сотрудников, перечисленных в первых объявлениях об издании журнала. Объясняя причину этого, Н. Н. Страхов писал 24 ноября 1868 г.: „Без Вашего разрешения я не мог поставить Вашего имени; все собирался писать к Вам и догнал до того, что уже некогда было дожидаться. Но мы непременно воспользуемся Вашим дозволением (в письме к Майкову) и выставим при следующем объявлении в газетах“.[140]

В начале 1869 г. Страхов от имени редакции обратился к Достоевскому: „Напишите Вы нам что-нибудь — покорно просим и

Кашпирев, и Данилевский <…> и Градовский, и я. Нужно ли Вам говорить, что в «Заре» Вам так же развязаны руки, как во «Времени»?“. [141]

В ответном письме от 26 февраля (10 марта) 1869 г. Достоевский обещал „к 1-му сентября нынешнего года, т. е. через полгода, доставить в редакцию «Зари» повесть, т. е. роман“. „Он будет, — писал Достоевский, — величиною в «Бедных людей» или в 10 печатных листов; не думаю, чтобы меньше; может быть, несколько больше <…> Идея романа меня сильно увлекает <…> мне хочется произвести опять эффект; а обратить на себя внимание в «Заре» мне еще выгоднее, чем в «Русском вестнике»“ (XXIX, кн. 1, 20–21). В письме к С. А. Ивановой от 8 (20) марта 1869 г. Достоевский пояснял, что для создания повести в „Зарю“ он хочет использовать свободное время, которое у него остается до начала работы над романом, обещанным „Русскому вестнику“ („Бесы“): повесть „будет готова в четыре месяца и возьмет у меня именно то только время, которое я и назначил себе для гулянья, для отдыха после 14 месяцев работы“ (XXIX, кн. 1, 26). Называя будущую вещь то романом, то повестью, Достоевский просил Страхова, чтобы редакция немедленно выслала ему тысячу рублей. Достоевский хотел, чтобы роман был напечатан в осенних номерах журнала этого года. Но „Заря“ не могла выслать деньги немедленно, и соглашение не состоялось. Поэтому работу над повестью Достоевский не начинал. В письме к Н. Н. Страхову от 18 (30) марта 1869 г. он выдвинул другое предложение: „… представить «Заре» *вместо прежних* условий“ „небольшой“ рассказ „листа в 2 печатных, может быть, несколько более (в „Заре“, может быть, займет листа 3 или даже 3[142]$/_2$). Этот рассказ я еще думал написать четыре года назад, в год смерти брата, в ответ на слова Ап(оллона) Григорьева, похвалившего мои «Записки из подполья» и сказавшего мне тогда: «Ты в этом роде и пиши». Но это не «Записки из подполья»; это совершенно другое по форме, хотя сущность — та же моя всегдашняя сущность <…> Этот рассказ я могу написать очень скоро, — так как нет ни одной строчки и ни одного слова, неясного для меня в этом рассказе. Притом же много уже и *записано* (хотя еще ничего не написано)" (XXIX, кн. 1, 32. Ср.: Там же, 9, 492–494). За него Достоевский просил вперед 300 рублей; из них 125 немедленно, а остальные 175 рублей — через месяц. Новые условия были „Зарей“ приняты. Отвечая Достоевскому, Страхов просил его 27

марта 1869 г.: „Когда определите заглавие Вашей повести, то напишите — мы заранее объявим об этой радости“.[143]

Переезд из Флоренции в Дрезден и другие обстоятельства помешали Достоевскому написать „рассказ“ до первого сентября; не было определено и название. Поэтому редакция, перечисляя в „Заре“ (1869, № 10) произведения, „уже приобретенные для журнала“, включила „повесть Ф. М. Достоевского“, не указывая ее заглавия. К работе над повестью Достоевский, вероятно, приступил лишь в Дрездене в конце августа, о чем он пишет 14 (26) августа Страхову. Но в письме к Майкову в тот же день говорится лишь, что „надо садиться писать — в «Зарю»“. Достоевский предполагает что „через месяц или недель через пять“ отправит повесть. Однако работа не была начата ни тогда, ни позднее: Достоевский писал Ивановой 29 августа (10 сентября) 1869 г.: „… я взял 300 рублей весной из «Зари» с тем, чтобы нынешнего года выслать туда повесть, не менее как в два листа. Между тем я еще ничего не начинал <…> во Флоренции нельзя было работать в такую жару; контрактуя же себя, я именно рассчитывал, что еще весной выеду из Флоренции в Германию, где и примусь сейчас за работу“ (XXIX, кн. 1, 52, 58).

В письме к Майкову от 17 (29) сентября Достоевский снова уведомлял: „…сижу в настоящую минуту за повестью в «Зарю» и довел работу до половины <…> повесть будет объемом в 3[144]/$_2$ листа «Русского вестника» (т. е. чуть ли не в 5 листов „Зари“). Это *minimum"*. К 27 октября (8 ноября) „две трети повести уже написано и переписано окончательно“. Объем ее становился все больше: „… будет не в 3/2 листа, как я первоначально писал Кашпиреву (впрочем, назначая только *minimum* числа листов, а не *maximum)*, — будет, может быть, листов в шесть или в 7 печати «Русского вестника»“ (XXIX, кн. 1, 62, 72).

Достоевский просил Майкова убедить Кашпирева напечатать повесть в ноябрьской или декабрьской книжке 1869 г. Майков просьбу Достоевского выполнил. Однако ноябрьская и декабрьская книжки „Зари“ были уже готовы, да и отослан „Вечный муж“ в редакцию был только 5 (17) декабря. В письме к С. А. Ивановой уже после отправки рукописи (14 (26) декабря) Достоевский подвел итоги своей работе: „Я был занят, писал мою проклятую повесть в «Зарю». Начал поздно, а кончил всего неделю назад. Писал, кажется, ровно три месяца и написал одиннадцать печатных листов minimum. Можете себе представить,

какая это была каторжная работа! тем более что я возненавидел эту мерзкую повесть с самого начала. Думал написать, самое большее, листа три, но представились сами собой подробности и вышло одиннадцать“ (XXIX, кн. 1, 88).

В работе над „Вечным мужем“ Достоевский воспользовался своими старыми сибирскими воспоминаниями о романе А. Е. Врангеля с Екатериной Иосифовной Гернгросс, женою начальника Алтайского горного округа А. Р. Гернгросса. Достоевский не воспроизвел буквально всех обстоятельств романа своего друга с Е. И. Гернгросс, трансформировав и переосмыслив образы главных героев. Достоевскому требовался муж-ревнивец, муж смешной и третируемый, излюбленный персонаж европейской комедии еще со времен Мольера (упоминаемого в черновых материалах к „Вечному мужу“). Образ его Достоевский строил на основании иных жизненных наблюдений. А. Н. Майков, прочитав уже напечатанного в журнале „Вечного мужа“, написал Достоевскому, что „узнал историю Яновского и его характер“. В ответном письме от 25 марта (6 апреля) 1870 г. Достоевский категорически возражал Майкову (XXIX, кн. 1, 119, 433). Однако воспоминания А. И. Шуберт и другие эпистолярные и мемуарные материалы подтверждают догадку Майкова. Другим материалом для „Вечного мужа“ послужили собственные впечатления писателя. Как указала А. Г. Достоевская, „в лице семейства Захлебининых Федор Михайлович изобразил семью своей родной сестры Веры Михайловны Ивановой. В этой семье, когда я с нею познакомилась, было три взрослых барышни, а у тех было много подруг“.[145]

Как отметила Н. Н. Соломина, „… в образе Трусоцкого есть сходство с А. П. Карепиным“.[146] Племянник Ивановых и Достоевских, этот молодой врач, по воспоминаниям М. А. Ивановой, „отличался многими странностями <…> Карепин не был женат, но все время мечтал об идеальной невесте, которой должно быть не больше шестнадцати-семнадцати лет и которую он заранее ревновал ко всем. Он <…> говорил о том, что его жена будет далека от всех современных идей о женском равноправии и труде“. В „Вечном муже“ мечты Карепина о женитьбе на шестнадцатилетней девушке воспроизведены в эпизоде сватовства Трусоцкого к Наде. Участие Вельчанинова в играх молодежи и „заговор“ против Трусоцкого напоминают высмеивание Карепина молодыми Ивановыми во главе с Достоевским: „Достоевский

заявил ему (Карепину. — *Ред.*) однажды, что правительство поощряет бегство жен от мужей в Петербург для обучения шитью на швейных машинках и для жен-беглянок организованы особые поезда. Карепин верил, сердился, выходил из себя и готов был чуть ли не драться за будущую невесту“.[147] Прототипом Александра Лобова, счастливого соперника Трусоцкого в борьбе за руку и сердце Нади, послужил, по словам А. Г. Достоевской, пасынок писателя П. А. Исаев (1848–1900).

Теме переживаний обманутого мужа был посвящен ранний рассказ Достоевского „Чужая жена и муж под кроватью“ (1848; наст. изд. Т. 2). В то время Достоевский, следуя господствующей литературной традиции, изобразил фигуру обманутого мужа в полуводевильном, комическом освещении. Теперь же, возвращаясь к некоторым приемам своих ранних петербургских повестей (ср. фамилии героев со „значением“ — Трусоцкий,

Вельчанинов, Лобов), Достоевский дает новый, сложный психологический поворот развития темы.

В разработке темы ревности и характера обманутого мужа Достоевский мог отталкиваться от некоторых сюжетных положений и психологических ходов мольеровских комедий „Школа жен“ (1665) и „Школа мужей“ (1666), а также от „Провинциалки“ (1851) Тургенева и „Госпожи Бовари“ (1857) Г. Флобера. Достоевский проследил смешение трагического и комического, пошлости и высокого в сознании и поступках Трусоцкого, показал сложную диалектику тирана и жертвы, связанную с темой „подполья“.

Тему обманутого мужа в традиционном для французской литературы XIX в. варианте Достоевский воспроизвел в названии одной из глав „Вечного мужа“ („Жена, муж и любовник“). Этой формулой пользовался, в частности, популярный в России в 1830-1860-х годах Поль де Кок, автор романа „Жена, муж и любовник“ („La femme, le mari et l'amant“, 1830; рус. пер. 1833–1834). В „Зимних заметках о летних впечатлениях“ (1863) Достоевский воспользовался названием этого романа Поль де Кока для иронической характеристики современной французской буржуазной семьи: „…заглавия романов, как например «Жена, муж и любовник», уже невозможны при теперешних обстоятельствах, потому что любовников нет и не может быть. И будь их в Париже так же много, как песку морского (а их там, может, и больше), все-таки их там нет и не может быть, потому что так решено и

подписано, потому что все блестит добродетелями“ (см.: наст. изд. Т. 4. С. 423). Идея новой художественно-психологической трактовки образа рогоносца могла быть подсказана Достоевскому именно романом Флобера, который он, по совету Тургенева, прочел в 1867 г. Здесь писатель мог найти мотив, которым воспользовался как исходным сюжетным пунктом для своей повести. Шарль Бовари после смерти жены узнает из сохраненных ею писем о ее изменах, спивается и гибнет. Трусоцкий после смерти Натальи Васильевны из ее переписки узнает, что был обманутым мужем и считал своим ребенком чужую дочь.

С одноактной комедией И. С. Тургенева „Провинциалка“ (1851) Достоевский познакомился, вероятно, еще в Сибири (см. об этом: наст изд. Т. 2. С. 581). По-иному фабула „Провинциалки“ отозвалась в „Вечном муже“. При перечитывании „Провинциалки“ (переизданной в седьмой части сочинений Тургенева в 1869) Достоевского вновь заинтересовала, по-видимому, основная ситуация и два главных характера комедии — Ступендьев, покорный обманутый муж, и жена его, двадцативосьмилетняя Дарья Ивановна, командующая мужем и искусно покоряющая стареющего столичного ловеласа. Передвинув исходную ситуацию в прошлое, Достоевский в „Вечном муже“ передал Трусоцкому черты тургеневского Ступендьева — его робость перед женой, соединенную со стремлением показать окружающим, что, подчиняясь ей, он действует по собственной воле. Однако „своего“ обманутого мужа Достоевский делает жертвой ревности к умершей жене, переписку которой с любовниками он обнаружил лишь после ее смерти, причем испытание это в „Вечном муже“ выпадает на долю слабого и „смирного“ человека и тем самым становится трагикомическим.[148]

В „Идиоте“ Рогожин, побратавшийся с Мышкиным, нападает на него с ножом в руках. Трусоцкий, недавно обнимавшийся и целовавшийся с Вельчаниновым, даже поцеловавший ему руку, пытается зарезать его бритвой. Ревность, оскорбленное доверие преображают добродушного и покорного „вечного мужа“ (как в насмешку называл его Вельчанинов) превращают его в мстителя. Но и еще раньше „хищник“ Вельчанинов и „жертва“ Трусоцкий как бы меняются местами. Вельчанинов, который привык снисходительно и свысока относиться к Трусоцкому, неожиданно встретившись с ним после смерти Натальи Васильевны, чувствует, что Трусоцкий играет им:

постепенно муж „выбалтывает“, что именно известно ему о любовных связях покойной жены и об ее отношениях с Вельчаниновым. Так Трусоцкий, мстя, устраивает для Вельчанинова изощренную нравственную пытку, чувствуя свое превосходство над человеком, когда-то его грубо обманувшим. Вельчанинов, всю жизнь подчинивший удовлетворению своих эгоистических страстей, оказывается нравственно униженным и опозоренным.

Разработанную в „Вечном муже“ диалектику хищника и жертвы, смирения и гордости можно рассматривать как своеобразную художественную полемику с идеей Н. Н. Страхова: здесь проблема „хищного“ типа становится предметом обсуждения героев повести. Трусоцкий говорит Вельчанинову, что он читал в „журнале“, в „отделении критики“, о „хищном“ и „смирном“, но „тогда и не понял“. Далее между ними возникает спор на тему — кого же можно считать „хищным типом“ Здесь имеется в виду „Статья вторая и последняя“ Страхова о „Войне и мире“ Л. Н. Толстого.[149] Излагая в ней взгляды А. А. Григорьева на Пушкина и на значение пушкинского образа Ивана Петровича Белкина для русской литературы, Страхов писал: „Григорьев показал, что к чужим типам, господствовавшим в нашей литературе, принадлежит почти все то, что носит на себе печать *героического,* — типы блестящие или мрачные, но во всяком случае сильные, страстные, или, как выражался наш критик, *хищные.* Русская же натура, наш душевный тип явился в искусстве прежде всего в типах *простых и смирных,* по-видимому чуждых всего героического, как Иван Петрович Белкин, Максим Максимыч у Лермонтова и пр. Наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами, стремление найти между ними правильные отношения, — то развенчивание, то превознесение одного из двух типов, хищного или смирного“ (с. 232). В отличие от Страхова Достоевский считает, что между „хищным“ и „смирным“ типом нет жестких границ и что возможно превращение „смирного“ типа в „хищный“.

Особо важное место в рассказе занимает характерная для Достоевского тема страдающего ребенка — Лизы, дочери Трусоцкого.

В главах повести, посвященных визиту Трусоцкого и Вельчанинова к Захлебининым, психологически переосмыслен один из эпизодов рассказа М. Е. Салтыкова-Щедрина „Для детского возраста“, напечатанного в „Современнике“ (1863. № 1–2) и перепечатанного в

сборнике „Невинные рассказы“ (1863). Возраст Нади Захлебининой и героини рассказа Щедрина Нади Лопатниковой одинаков — обеим по пятнадцати лет. Против Трусоцкого молодежь создает „заговор“ и отваживает его от общих игр; у Щедрина по предложению обиженной Нади все девицы, собравшиеся на елку, отказываются „принимать сегодня“ Кобыльникова в свое „общество“. Один из юных гостей распускает слух, что у Кобыльникова „живот болит“: „Кобыльников слышит эту клевету и останавливается; он бодро стоит у стены и бравирует; но, несмотря на это, уничтожить действие клеветы уже невозможно. Между девицами ходит шепот: «Бедняжка!» Наденька краснеет и отворачивается; очевидно, ей стыдно и больно до слез“.[150] В „Вечном муже“ сходный мотив появляется в измененном виде. Гости решают, что Павел Павлович забыл носовой платок и что у него насморк: „Платок забыл! <…> Maman, Павел Павлович опять платок носовой забыл, maman, у Павла Павловича опять насморк! — раздавались голоса“ (см. с. 94). Трусоцкому, так же как Кобыльникову у Щедрина, никак не удается убедить хозяев и гостей, что он здоров.

Мотивами щедринского рассказа, как и основной ситуацией „Провинциалки“, Достоевский воспользовался, усложнив их психологически. Комическое положение Трусоцкого в обществе молодежи подготавливает трагический эпизод его покушения на убийство Вельчанинова.

Сохранившиеся подготовительные материалы к „Вечному мужу“ (IX, 289–316) содержат первоначальный план повести. По-видимому, он относится к тому этапу работы, когда Достоевский предполагал ограничиться объемом в 3[151]/$_2$ печатных листа „Русского вестника“ (или соответственно 5 печатных листов „Зари“). По этому плану Трусоцкий в первый приход к Вельчанинову рассказывает о беременности жены „8 лет назад в Твери“, когда Вельчанинов оттуда уехал, и о своей дочери (в действительности дочери Вельчанинова). Далее действие должно было развиваться быстро. Трусоцкий говорит Вельчанинову о другом любовнике своей жены (здесь она названа Анной Ивановной), умершем только что, и об оставленных ею письмах, из которых он узнал об изменах и о настоящем отце ее дочери. Вельчанинов идет смотреть дочь, поселяет ее и Трусоцкого у себя, затем отвозит ее к „знакомым“. Дочь заболевает и умирает. Трусоцкий объявляет о своем намерении жениться, ночью хочет зарезать

Вельчанинова, но тот его связывает. Трусоцкий уходит, заявляя, что решил „повеситься в номере“. Однако, встретив „молодого человека“ (роль которого в этом плане неясна), Вельчанинов узнает, что Трусоцкий уехал. Через „два года“, как и в окончательном тексте повести, происходит встреча „в вагоне“, у Трусоцкого новая жена, „великолепная дама“, и при ней „гусар“.

В окончательном тексте название города (Тверь) было заменено начальной буквой; Анна Ивановна стала Натальей Васильевной. Сохранена хронология событий жизни автора в Твери в 1859 г. Приурочение событий, составивших предысторию взаимоотношений мужа и любовника, к этому городу, очевидно, было вызвано желанием Достоевского сделать менее явной „сибирскую“ фактическую ее основу — историю Врангеля и Е. И. Гернгросс.

Ряд набросков связного текста (в том числе начало его) дан от первого лица. Но постепенно начинает преобладать сочетание авторского рассказа с несобственно-прямой речью. В связи с этим меняется функция Трусоцкого в развитии основного конфликта и содержания повести в целом. Трусоцкий, который вначале высказывался пространно на самые различные темы, лишился многих реплик. Он стал персонажем по преимуществу действующим, большая же часть рассуждений, приписанных ему, была передана Вельчанинову. Отброшен был и ряд литературных ассоциаций в речах Трусоцкого. Из них сохранен лишь разговор по поводу статьи о „хищном“ типе (ср.: IX, 293). Тема самоубийства Трусоцкого, в окончательном тексте возникающая только в рассказе Лизы, в подготовительных материалах варьируется многократно, она возникает вновь в тот момент, когда Трусоцкий узнает о внезапной смерти одного из любовников своей жены, „сановника“, месть которому была целью его приезда в Петербург. Он говорит Вельчанинову: „Эта цель меня от веревки отвлекла. А теперь не отвлекает“ (IX, 299).

Трусоцкому принадлежало здесь и определение „вечный муж“, в окончательном тексте переданное Вельчанинову (которому здесь Достоевский преимущественно приписал способность к самоанализу и рефлексии). В первоначальной редакции последнего эпизода Достоевский наделил Вельчанинова и некоторыми дорогими ему мыслями, близкими его философии жизни. Как символ ее в памяти Вельчанинова возникают начальные строки любимого Достоевским

стихотворения Ф. И. Тютчева „Эти бедные селенья…“ (1855. IX, 306). В дефинитивный текст цитата эта и рассуждения Вельчанинова не вошли; их высокий лиризм не совмещался с образом светского фата и жуира.

Кольцевое построение повести (Трусоцкий снова женат и опять в рабстве у жены) возникло, когда Достоевский решил, что новый брак будет через два года после основной драмы, а не в ее середине, как намечалось в некоторых вариантах плана. Появление семейства Захлебининых в повести позволило ввести в действие мотив юношеской фронды, „заговора“ молодежи против Трусоцкого, противопоставить иронически изображенную легкость решения проблем любви и брака у „нигилистов“ трагической неразрешимости их в действительной жизни.

Из отдельных мест предварительной программы рассказа и черновых набросков к нему особенного внимания заслуживают фрагменты, отражающие постепенное созревание авторской концепции характера Трусоцкого. Вот они: 1) „В ЧЕЛОВЕКЕ ЭТОМ ВИДНА БЫЛА РОЛЬ И МАСКА, НО ОН ДО ТОГО БЫЛ НАГЛ, ЧТО ИНОГДА СОВСЕМ И НЕ ЗАБОТИЛСЯ О ТОМ, ЧТО РОЛЬ НА НЕМ ВИДЯТ И ЧТО МАСКА СВАЛИВАЕТСЯ“ (IX, 315); 2) „NB. (П<авел> П<авлови>ч гораздо в ином свете). Этот человек, с своей прячущейся и мстительной душой, с своей полнотой жизни с своими правами жить и занимать место, со своим стыдом и со своею радостию, с своей страшной трагедией в душе и злодейством (Лиза)#8220; (IX, 307).

Наконец, существенный интерес для понимания общей гуманистической идеи рассказа представляют следующие рассуждения Вельчанинова о Трусоцком, которые предназначались для финальной сцены в вагоне:

*„**Résumé***

Вагон. «Это подпольное существо и уродливое, но существо это есть человек, с своими радостями и горем и своим понятием об счастье и об жизни. Зачем я врезался в его жизнь? Зачем покраснели мы друг перед другом, зачем смотрели друг на друга ядовитым взглядом, когда все дано на счастье и когда жизнь так коротка? О, как коротка! как коротка, господи, как коротка!»“ (IX, 305).

Когда повесть получила свое название — неясно. В объявлении, помещенном в октябрьском номере „Зари“ 1869 г., оно не было

приведено. Очевидно, Достоевский остановился на нем перед самой отправкой повести в Петербург. Впервые в печати название повести появилось в объявлении „Зари“ в газете „Московские ведомости“ (1870, 24 янв. № 19).

Первым откликнулся на „Вечного мужа“ Н. Н. Страхов. 14 февраля 1870 г. он сообщал: „Ваша повесть производит весьма живое впечатление и будет иметь несомненный успех. По-моему, это одна из самых обработанных Ваших вещей, — а по теме — одна из интереснейших и глубочайших, какие только Вы писали: я говорю о характере Трусоцкого; большинство едва ли поймет, но читают и будут читать с жадностью“.[152] Достоевский отвечал ему 26 февраля (10 марта) 1870 г.: „С жадностию прочел тоже Ваши несколько строк одобрения о моем рассказе. Это мне и лестно и приятно; читателям как Вы я бы и всегда желал угодить, или, лучше — только им-то и желаю угодить“ (XXIX, кн. 1, 108). Через месяц, 17 марта 1870 г., Страхов с удовлетворением сообщал Достоевскому: „Предсказание мое сбылось. Ваш «Вечный муж» пользуется великим вниманием и читается нарасхват“, а 16 апреля он высказал свое окончательное суждение о повести Достоевского: „Ваш «Вечный муж», конечно, лучше всего явившегося в нынешнем году…“.[153] Несмотря на отрицательный отзыв А. Н. Майкова, написавшего Достоевскому по поводу „Вечного мужа“, что „во всем создании есть раздвоенность интереса трагического и комического; всего рельефнее это выражается в сцене с урыльником: не знаешь, какому впечатлению отдаться“,[154] он остался доволен приемом, который получила повесть. С. А. Ивановой он писал 7 (19) мая 1870 г.: „Я получил чрезвычайные похвалы из «Зари» за повестушку, которую у них напечатал. В журнальных разборах („Голос“, „Петербургские) ведомости“ и проч.) — тоже были ко мне вежливы" (XXIX, кн. 1, 123). „Журнальными разборами“ Достоевский назвал критические отзывы газет, из которых полностью положительной можно считать только рецензию в „Голосе“: „Что может быть обыкновеннее истории человека, который женится; женившись, он становится совершенным рабом своей жены и добродушно, сам того не замечая, носит длинные рога; овдовев же, спешит вновь жениться, на новое рабство и новые рога; что может быть, повторяем, обыкновеннее этой истории? А между тем — такова уже особенность таланта г. Достоевского — он рассказывает эту обыкновенную историю со всеми

ее реальными и вседневными, по-видимому, ничтожнейшими подробностями таким образом, что воображение читателя постоянно возбуждено, и какая-то таинственность, какая-то тайна кроется во всех этих кажущихся пошлостях жизни“.[155]

Рецензент „С.-Петербургских ведомостей“ В. П. Буренин высказал противоположное мнение: „В наше время повести этого рода потеряли всякий кредит и нравятся разве только особенным любителям болезненной «фальшивой психологии». «Вечный муж» начат очень ловко, хотя по всем правилам рутины; таинственностью, которая, потомив воображение читателя на двадцати страницах, благополучно разъясняется на двадцать первой. После таинственности следуют «нервические» диалоги двух главных действующих лиц, в которых автор играет психологическими мотивами с искусством, хорошо изученным не только им самим, но даже и читателями его прежних произведений. Затем выступает на сцену одно из любимейших лиц г. Достоевского — преждевременно развитый болезненный ребенок-девочка, и вокруг этого лица устраивается драма по обычному рецепту“; только „местами“, по мнению Буренина, Достоевский обнаруживает „свое, конечно, немалое дарование в полной силе“.[156]

Рецензент „С.-Петербургских ведомостей“, так же как Майков в цитированном выше письме к Достоевскому, выразил характерную черту отношения тогдашней русской критики к Достоевскому — непонимание сложности художественно-психологических мотивировок поведения его персонажей. Только Страхов остался верен своему отношению к „Вечному мужу“ и через год привел эту повесть в числе доказательств художественного прогресса русской литературы: „Наша литература ведь не пустяк. Она нынче *процветает* в полном смысле этого слова; она процветает, ширится и развертывается, тогда как, например, литература французская, немецкая, английская — или падают, или находятся в застое <…> Большею частию наши писатели даже не останавливаются в своем развитии, а продолжают делать все новые и новые шаги до тех пор, пока пишут. Так Тургенев вырос безмерно в сравнении с тем, чего ожидал от него Белинский. Так Лев Толстой поднимался еще правильнее и неуклоннее и взошел еще выше. Так Достоевский, несмотря на колебания, все еще продолжает подыматься, и для русского критика ясно, что, например, в повести «Вечный муж» этот писатель, работающий так давно, сделал новый шаг

в развитии своих идей“.[157]

Подросток

Впервые опубликовано в журнале „Отечественные записки“ (1875, № 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12). Отдельным изданием роман вышел в начале 1876 г.

1

„Подросток“ был начат в феврале 1874 г. и закончен в ноябре 1875 г. В „Отечественных записках“ печатался по предложению Н. А. Некрасова, сделанному в апреле 1874 г. Произвол М. Н. Каткова при публикации „Бесов“ в „Русском вестнике“ (изъятие главы „У Тихона“), обострение расхождений с издателем „Гражданина“ В. П. Мещерским (см. об этом: XVII, 261–264), внимательное отношение к таланту Достоевского в статьях критика „Отечественных записок“ Н. К. Михайловского о „Бесах“ (несмотря на всю резкость его полемики с Достоевским-мыслителем) способствовали усилению интереса писателя к кругу „Отечественных записок“.

Еще более важны были результаты осмысления Достоевским фактов текущей действительности — русской (утверждение буржуазного пути развития) и европейской (Парижская коммуна). „Дневник писателя“ за 1873 г. свидетельствует о значительных изменениях в идеологических построениях писателя. В условиях разложения старых устоев (в том числе и в среде народа) он был вынужден признать роль интеллигенции: она, по его мнению, должна объединиться и помочь народу найти себя.[158]

В сфере пристального внимания Достоевского находится в этот период и молодая Россия, те духовные процессы, которые она переживает. Верность петрашевцев своей идее, столь высоко оцененная в последней главе „Дневника писателя“ за 1873 г., выдвигается Достоевским в подготовительных материалах к „Подростку“ как своего рода эталон всякого „настоящего нигилиста“: „Наши нигилисты? Да разве это чистый тип, что-нибудь выравнявшееся и установившееся? Ничуть! Я их предчувствовал еще раньше их появления, и, признаюсь, они обманули мои ожидания. Настоящий нигилист не может, не

должен, не смеет ни с чем из существующего примириться. На сделки он не смеет идти ни под каким видом, да и знать должен, что никакая сделка решительно невозможна" (XVI, 285). К „настоящим нигилистам“ предъявляются определенные, реальные и жесткие требования — значит, их бытие, неизбежность его признается.

В августе 1875 г., работая над третьей частью „Подростка“, Достоевский вступает в полемику с Р. А. Фадеевым, автором книги „Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)“ (СПб., 1874). Отдавая должное двум центральным мыслям книги Фадеева — идее объединения духовных сил и признанию главенствующей роли дворянства — и в то же время переосмысляя их принципиально, Достоевский развертывает полемику с ним по двум направлениям. В центре первого — критика положения Фадеева об укрупнении землевладений, могущем привести к уничтожению дворянства, дворянского духа, так как именно в мелких владениях — „старые знатные роды и дух дворянства“ (XXI, 271). В центре второго — реабилитация нравственных достоинств русских последователей Фурье: [159] „Ростислав Фадеев и Фурье. Нет, я за Фурье… Я даже отчасти потерпел за Фурье наказание… и давно отказался от Фурье, но я все-таки заступлюсь. Мне жалко, что генерал-мыслитель трактует бедного социалиста столь свысока. Т. е. все-то эти ученые и юноши, все-то эти веровавшие в Фурье, все такие дураки, что стоило бы им прийти только к Ростиславу Фадееву, чтоб тотчас поумнеть. Верно, тут что-нибудь другое, или Фурье и его последователи не до такой степени все сплошь дураки, или генерал-мыслитель уж слишком умен. Вероятнее, что первое“ (XXI, 265). Защита этических принципов петрашевцев при анализе книги, посвященной современному положению России, соотносилась в сознании Достоевского с общественно-философскими и политическими исканиями 70-х годов. Черновые записи к „Подростку“, сделанные в августе 1874 г., позволяют увидеть и реальную основу для такого соотнесения.

Вопросы об историческом значении России, о Востоке и Западе, об отношении личности и общества в настоящем и будущем строе человечества приобретали в период усиленного развития капитализма в России особо острое значение: росло желание объективнее исследовать потенциальные возможности различных слоев русского общества и характерные для них умонастроения. Не случайным представляется то,

что именно в этот период Достоевский делает „первую пробу“ в осуществлении своего давнего замысла об „отцах и детях“. „Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении <…> Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка», — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своём, любуется им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих…" (XXII, 7–8) — так писал Достоевский о романе „Подросток“ в первой главе „Дневника писателя“ за 1876 г.

Интерпретация писателем темы „отцов и детей“, оценка роли дворянства в период всеобщего разложения старых устоев оказались во многом близки концепции „Отечественных записок“ начала 70-х годов (при всем несходстве позиций Достоевского и журнала Некрасова-Щедрина в целом).

Еще летом 1869 г. Достоевским был задуман роман о „детстве“ героя (IX, 125). Отрывочные записи, сделанные во Флоренции, получили дальнейшее развитие в декабре 1869-январе 1870 г. в плане неосуществленной эпопеи „Житие великого грешника“. „Подросток“ вбирает в себя ряд мотивов первой части „Жития…“, связанной с детством и юностью героя.[160] На одной из стадий работы Достоевский обдумывает подзаголовок к роману: „Исповедь великого грешника, писанная для себя“.

Работа над „Подростком“ определялась многими фактами текущей действительности, врывавшимися на страницы сначала черновиков романа, а затем и в его окончательный текст. Материалы, печатавшиеся в русских периодических изданиях начала второго пореформенного десятилетия, оказались во многом сродни „летописи ужасных преступлений“, свидетельствовавшей о нравственной болезни всех

слоев общества. Сообщения „Гражданина“, „Русского мира“, „Голоса“, „Московских ведомостей“, „Нового времени“, „С.-Петербургских ведомостей“, „Судебного вестника“ и т. д. говорили об эпидемии убийств и самоубийств, совершавшихся в среде и дворян, и купцов, и крестьян, и рабочих (см. об этом: XVII, 260–261). Темой газетных сообщений становятся денежные махинации в игорных домах, подделка акций, нашедшая широкий круг приверженцев идея самоутверждения с помощью денег (об этом см. ниже, с. 737–740, 756).

В ходе работы над „Подростком“ можно выделить несколько стадий. Каждая из них знаменуется перераспределением нагрузок между наметившимися действующими лицами, существенными изменениями в сюжетной канве. Центральная мысль романа, оформившаяся уже в период работы над „Дневником писателя“ за 1873 г., определяется сразу как идея поисков „добра“ и „зла“, „руководящей нити поведения“ в период „разложения, захватившего все слои и все возрасты».

О „вавилонском столпотворении“, поразившем его в мире западной буржуазной цивилизации, Достоевский писал еще в 1863 г. в „Зимних заметках о летних впечатлениях“ (см.: наст. изд. Т. 4. С. 414–422) Теперь это ощущение и эту характеристику он с болью вынужден связать и с Россией.

Среди ранних набросков романа есть следующая авторская ремарка, сопровождающая диалог героев: „Главное: во всем идея разложения ибо все врозь и никаких не остается связей не только в русском семействе, но даже просто между людьми. Даже дети врозь“. „— Столпотворение вавилонское, — говорит ОН. — Ну вот мы, русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не понимаем друг друга. Общество химически разлагается

— Ну нет, народ.

— *Народ тоже"* (XVI, 16; курсив наш. — *Г. Г.*).

В статье „Два лагеря теоретиков“ (1862), вскрывая крайности общественно-философских воззрений западников и славянофилов (отрицание народности западниками; слепая идеализация допетровской Руси, неприятие общечеловеческих ценностей, вошедших в сознание „высшего культурного слоя“, — славянофилами), Достоевский говорил о необходимости обновления русской общественной жизни. Источник такого обновления он видел в народе, стимулы — в проведенной

крестьянской реформе и последующих намечавшихся преобразованиях земства, суда, просвещения. Деятельность на посту редактора „Гражданина“ десять лет спустя Достоевский начинает с выяснения общих закономерностей „текущей жизни“, постоянно свидетельствующей об отсутствии какого бы то ни было „обновления“. Уже в первом номере „Гражданина“ помещается рецензия на книгу А. А. Головачева „Десять лет реформ“ (СПб., 1872) Давая высокую оценку „замечательному труду“ Головачева, автор рецензии подчеркивает: „… все реформы последнего десятилетия, за исключением одной или двух, страдают отсутствием единства, недостатком общих *руководящих начал*, часто совершенно несогласны одна с другою не только по духу и основным своим началам, но иногда и противоречат одна другой в частностях и по буквальному смыслу отдельных постановлений <…> вместо ожидаемой пользы некоторые реформы приносили лишь вред“ (курсив наш. — *Г. Г.*). В номере четвертом „Гражданин“ вновь обращается к анализу той же книги. Отмечая спорность ряда положений, рецензент разделяет мысль Головачева о необходимости „общих начал“, которые отсутствуют в русском обществе. В сентябре 1873 г. Н. Н. Страхов, один из ведущих критиков „Гражданина“, писал: „«Век без идеалов» — таков приговор нашему времени <…> Такие мнения стоят того, чтобы на них остановиться <…> Они, без сомнения, составляют выражение того чувства, которое давно знакомо многим и не раз было выражаемо, но которому суждено все больше и больше распространяться, — чувства, что люди потеряли *руководящую нить* своего прогресса, что в наше время происходит крушение старых начал жизни и не видно нарождения новых“.[161] С этим восприятием общего состояния России после десятилетних преобразований перекликаются высказывания критиков и демократического, и народнического лагеря. В частности, М. Е. Салтыков-Щедрин еще в 1872 г. в „Дневнике провинциала“ писал о том, что „потребность страстной руководящей мысли заменена хладным пережевыванием азбучных истин“. Полугодом позднее на отсутствие „общих руководящих понятий“ указывал Н. В. Шелгунов в „Заметках провинциального философа“.[162] Близкие впечатления от общественно-политических и экономических процессов того времени отразились и в романе Л. Толстого „Анна Каренина“ Передавая размышления своего героя на эту тему, Толстой замечал: „…у нас теперь, когда все это переворотилось и только

укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России“.[163]

Нельзя не отметить прямых перекличек всех этих оценок современного состояния общества представителями столь разных идеологических кругов с записями Достоевского к роману „Подросток“ с первых шагов работы над замыслом. В августе 1874 г. Достоевский пишет: „Нет у нас в России ни одной руководящей идеи“ (XVI, 44). Тогда же: „…во *всем:* отсутствие и потеря общей идеи (в это царствование от реформ). Всё врознь“ (XVI, 50). Четко формулируется эта оценка в августовской разработке одного из диалогов между героями в качестве основной темы: „Недостаток обшей, руководящей идеи, затронувшей все образования и все развития <…> Потеряна эта связь, эта руководящая нить…“ (XVI, 68). И почти к этому же времени относится запись: „Вся идея романа — это провести, что теперь беспорядок всеобщий <…> в обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому нет)“ (XVI, 80). Следует отметить также, что об *отсутствии* „руководящей великой идеи“ говорится еще в черновиках к „Бесам“ (см.: XI, 110). Но существенно то, что в 1870 г. она высказывается Кармазиновым в разговоре с младшим Верховенским и в отличие от периода „Подростка“ не может рассматриваться как выражение идейно-эстетического кредо Достоевского.

Соотнося искания героя романа с философской интерпретацией действительности, характерной для периода подведения итогов первого пореформенного десятилетия, Достоевский пишет в августе 1874 г.: „Он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа“ (XVI, 71)

2

Понятие „беспорядок“ употребляется Достоевским и в „Идиоте“, и в „Бесах“. Русская историческая действительность 60-х годов узаконивает „бесправильность, отрицание долга <…> бесстрашие перед преступлением, эгоизм“ (XVI, 53). В „Подростке“ понятие „беспорядок“ вносится Версиловым в сознание Аркадия еще в период оформления замысла (XVI, 101). В это время слово „беспорядок“ — и один из

возможных вариантов заглавия романа.

В первых набросках к роману намечаются темы, разработка которых содержит в себе максимальные возможности для реализации намеченной идеи. Основной сюжетный контур целого ряда тем — „случайное семейство“ (тот же контур ощутим уже в „Игроке“ и „Идиоте“): мать, вышедшая вторично замуж, сведенные дети, их страдания; зло, смерть матери и протест детей; добро, боец за правду, его одиночество. С представлением о нем соотносится образ школьного учителя, возникающий рядом с протестующими и уходящими из семьи детьми. Он сам „взрослый ребенок и лишь проникнут сильнейшим живым и страдальческим чувством любви к детям“ (XVI, 6). Разница между ним и детьми лишь в жизненном опыте и степени выстраданности права на соучастие. Одновременно в связи с идеями коммунизма, которые проповедует герой, возникает тема „искушения дьявола“. В своих истоках образ школьного учителя восходит и к князю Мышкину — „положительно прекрасному человеку“, — и к „идеальному учителю“ — герою неосуществленного замысла „Зависть“. Причастен он отдельными гранями своей личности (ОН и дети) и к будущему Алеше Карамазову.

Одновременно возникает образ „замученного ребенка“. Смерть его ассоциируется у Достоевского с финалом возможной фантастической поэмы-романа: „…будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок. Споры, беззаконие. Смерть“ (XVI, 5).[164] Мелькает фигура застрелившегося человека. Рядом с ним — то „бес вроде Фауста“, то молодой человек, прежний товарищ.

Все эти наброски уже в начальный период работы подчиняются главенствующей мысли: „РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ, И О ГЕРОЕ-РЕБЕНКЕ“ (XVI, 5). Это намерение настолько овладевает воображением Достоевского, что весной 1874 г. он обращается к А. Ф. Кони с просьбой познакомить его с арестантским отделением малолетних в тюремном замке.[165] Его просьба имела реальные причины. 12 апреля в записной тетради сделана следующая запись: „Заговор детей составить свою детскую империю. Споры детей о республике и монархии. Дети заводят сношения с детьми-преступниками в тюремном замке. Дети — поджигатели и губители поездов. Дети обращают черта. Дети — развратники и атеисты.

Ламберт. Andrieux“ (XVI, 6).

24 марта 1874 г. в подготовительных материалах к роману упоминается воспитатель малолетних преступников Гасабов. За три дня до указанной даты в „С.-Петербургских ведомостях“ от 21 марта была напечатана большая статья Е. И. Гасабова „Из записок воспитателя малолетних преступников“, в которой описывался повседневный быт детей в тюремном замке, анализировались характеры малолетних преступников и говорилось о роли воспитателя в определении судьбы этих детей.

Давая сжатые зарисовки различных типов „детей-арестантов“, „детей-преступников“ и говоря о причинах их заключения в тюремный замок (подробнее об этом см.: XVII, 266–267), Гасабов упоминает об одном „питомце“, помещенном в тюремный замок за „кражу бриллиантов“. Именно мотив необоснованного обвинения Подростка в краже бриллиантов проходит через все подготовительные материалы, трансформируясь уже на последней стадии работы в обвинение в краже денег на рулетке у Зерщикова.

Новый период в работе над замыслом знаменуется появлением „хищного типа“.[166] „ОН“ организует весь материал набросков. Все действующие лица с ним соотносятся. Все события призваны показать разные ипостаси его личности. Рождению этого образа способствовала полемика Достоевского с рецензией В. Г. Авсеенко на роман Е. Салиаса „Пугачевцы“.[167] Противопоставляя свое принципиальное несогласие с философской трактовкой „хищного типа“ в романе Салиаса и анализом этого типа в рецензии Авсеенко, Достоевский пишет: „…у полнейшего хищника было бы даже и раскаяние, и все-таки продолжение всех грехов и страстей. Не понимают они хищного типа. NB. Иметь в виду настоящий хищный тип в моем романе 1875 года. Это будет уже настоящий героический тип, выше публики и ее живой жизни <…> Страстность и огромная широкость. Самая подлая грубость с самым утонченным великодушием. И между тем, тем и сила этот характер, что эту бесконечную широкость преудобно выносит, так что ищет, наконец, груза и не находит. И обаятелен, и отвратителен (красный жучок, Ставрогин)“ (XVI, 7). 4 мая делается запись: „Думать о хищном типе“, и с этого дня начинается регулярная работа над романом. „Хищный тип“ погружается в атмосферу действия. Он сносит пощечину, втайне мстит, выносит сильные впечатления, вступает в отношения с Княгиней.

Атеизм определяется как главная сущность его характера. Фиксируется мысль о каком-то процессе, возле которого можно „попитаться“. Мелькают действующие лица: Княгиня, Князь, „подлячишка“ Жеромский, адвокат, „молодой человек (NB. Великий грешник)“, который после целого ряда падений вдруг поднимается духом и достигает высших пределов в своем нравственном развитии, наконец — Ламберт.

В Эмсе, куда Достоевский приезжает 12(24) июня, продолжается разработка характера „хищного типа“. Уясняется его „широкость“, позволяющая вести две деятельности одновременно. Одна из них олицетворяет добро, другая — зло в его крайних проявлениях (ложь, разврат, преступление). Это — в сфере его общений с другими. Чем определяется полярность характера его поступков? Свободен ли он в их выборе? Оказывается, что наедине с собой он смотрит на совершаемое им „с высокомерием и унынием“ (XVI, 8). Его широкость не есть свобода. „Уныние“ — следствие отчаяния и обреченности на эту двойственность поступков. „Высокомерие“ — противостояние этой обреченности. Со страстью он бороться не только не хочет, но и „не может“ (XVI, 8). Необходимость принять решение отдаляет. Делает зло — и раскаивается. Выясняется возможность пределов колебаний „хищного типа“ в сторону зла и добра, исследуется беспричинная прихотливость этих колебаний. Одновременно ставится задача: „Соединить роман: дети с этим, натуральнее“ (XVI, 8). И с этого момента начинается сведение разных планов в один, оформление единого сюжета, первый вариант которого вырисовывается к 11(23) июля.

Этот сюжет еще далек от окончательного, хотя с последним его связывают и тема „случайного семейства“, и мотивы странствий, пощечины, отказа от дуэли, отданного наследства, подкинутого младенца, документа как средства шантажа Княгини, рубки образов. Именно в этот период в сферу размышлений героев вторгаются и такие нравственно-психологические комплексы, как „право на бесчестье“ и „право на страдание“. Пройдя через все подготовительные материалы, они во многом определяют расстановку действующих лиц в художественной структуре романа.

В этот же период идет уяснение социальной родословной „хищного типа“: ОН — то „праздный человек (прежний помещик, выкупные,

заграница)“ (XVI, 10); то — „дурного рода, сын какого-то чиновника, но высший и известный человек по образованию. ОН, может быть, стыдится того, что дурного рода, и страдает“ (XVI, 12); то- „кандидат на судебные должности“ (там же); то — главный управляющий делами Князя. Авторские характеристики героя переплетаются с его самохарактеристиками. Отрывочные монологи перерастают в сцены исповедального характера. ОН наделяется „целым архивом выжитого“ (XVI, 20), который дает право на внимание других. ОН говорит о себе уже в самый начальный период работы как о носителе „великой идеи“ или „великой мысли“, неподвластной формулировке, являющейся в чувстве, во впечатлении. Здесь Достоевский делает помету: „«великая мысль» — это ЕГО частное техническое выражение; условиться на этот счет с читателем“ (XVI, 20). Безграничность собственных колебаний в сторону зла и добра ЕГО мучит. ОН страдает от своей „живучести“. Рядом с ним — женщина, страстно влюбленная в него, с дочерью-подростком Лизой; по другому, более позднему варианту она — жена ЕГО. У него связь с вдовой-княгиней, пленившейся его христианской проповедью (по другому варианту — с женой Князя). ОН обольщает падчерицу. Мать ревнует, мучается и умирает, перед смертью влюбляясь в князя Голицына, который связан и с княгиней. Девочка вешается. И здесь вступает в силу философско-психологическая проблематика „Исповеди Ставрогина“, „жучок“ — как символ „ловушки“, „клетки“, из которой нет выхода для личности, вступившей на путь своеволия, мотивирующей собственные поступки перед самим собой отсутствием границ между добром и злом. „Неотразимость раскаяния и невозможность жить после жучка <…> ЕГО губит сразу совершенно неотразимо бессознательное жизненное впечатление жалости, и ОН гибнет как муха“ (XVI, 9). В этом факте гибели — нечто качественно новое по сравнению с нравственно-психологическим состоянием Ставрогина в аналогичной ситуации. Искомый ИМ груз оказался существующим. ЕГО живучесть, мучающая его, обрывается. Смерть как свидетельство духовной жизни — здесь („Подросток“) и жизнь как свидетельство духовной смерти — там („Бесы“). Проблема исповеди как средства спасения от нравственной гибели в акте публичного покаяния здесь пока еще не возникает.

Идущее из „Исповеди Ставрогина“ символическое понятие „жучок“ проходит через все черновые записи к роману, характеризуя

переломный этап в духовной жизни ЕГО. Первоначально этот период мыслится Достоевским как завершающий жизненные метания героя и связывается то с самоубийством падчерицы, то — жены, позднее — пасынка. С появлением на страницах черновиков Макара Долгорукого понятие „жучок“ следует почти всегда за мотивом „рубки образов“, хронологически и фактически связанной теперь со смертью Макара. Существенная запись, сделанная в августе 1875 г.: „*Из жучка* взять: об самоответственности, если сознал, и об золотом веке“ (XVI, 412). Эта запись свидетельствует о том, что за понятием „жучок“ стоит „Исповедь Ставрогина“ воспринимаемая Достоевским как резервный идейно-художественный источник, существующий отдельно от напечатанного текста „Бесов“. Вместе с тем центральная проблематика главы „У Тихона“ — обреченность попыток самосовершенствования, невозможность смирения гордости и в конечном счете возрождения для человека, оторванного от „почвы“, — остается ведущей при разработке одного из основных характеров в романе „Подросток“.

Качественно иная ступень жизненных потенций героя, его способность совершать праведные подвиги, требует рассредоточения с его поступков, несущих зло. Они — главная сущность его характера, но не вся сущность. Это — „картина АТЕИСТА“ (XVI, 10), но атеиста, который способен творить добро. Его „тайные добрые деяния“ становятся известны „детской империи“. Один героический мальчик поражается ими и становится его „обожателем“. Главный же подвиг его связан с отношением к жене (по другим вариантам — к невесте) мелькнувшего в первых набросках школьного учителя, „любителя детей“ — Федора Федоровича. Он — младший брат ЕГО 27-ми лет. Тема „случайного семейства“ подспудно направляет развитие сюжета. Рождается мысль: не сделать ли их братьями сводными? Федор Федорович — лицо деятельное, отдавшее себя на службу людям, социалист и фанатик, „весь — вера“. Его необычайная нравственная высота, близость к народу, психологический строй, характер, отрешенность от обычных человеческих страстей, ряд биографических черт (женитьба „по уговору“, отношения жены его с героем, с которыми и связан „праведный“ подвиг героя) роднят Федора Федоровича с Макаром Долгоруким, появляющимся на страницах черновиков спустя два месяца, уже в тот период работы над романом, когда образ Федора Федоровича из замысла будет устранен. Он — идеологический

противник ЕГО, оппонент. Значительная часть записей этого периода представляет собою пробные наброски диалогов между братьями. Здесь следует отметить, что на протяжении очень короткого промежутка времени образ Федора Федоровича претерпевает сложную эволюцию. Первоначально он, подобно старшему брату — атеист. Но в отличие от старшего у него есть вера — вера в революцию, он жаждет гибели современного ему общества ради будущего всеобщего обновления. Он — идеальный герой, но в отличие от князя Мышкина мыслящий атеистически. Атеист втайне (в коммунизм не верящий) и проповедник христианства въяве, старший брат пытается разрушить систему убеждений младшего, проповедника коммунизма. И здесь выступает на первый план та „идея-чувство“, которая станет внутренней опорой противостояния Подростка в его споре с дергачевцами в окончательном тексте романа. Путь опровержения ЕГО Федор Федорович называет „только словами“ и уходит спокойный. И вот здесь его свобода выбора подвергается испытанию. Отказавшись разделить христианские проповеди ЕГО, Федор Федорович поражается „подкинутым младенцем“. Истины Христа становятся для него очевидными и в то же время соотносимыми с идеями социализма. Душа и сознание его оказываются подвластны лишь живому и непосредственному ощущению действительности. „Коммунизм“ и христианство сливаются для него воедино: Федор Федорович видит в НЕМ лишь самоутверждение в добре и зле, самопризнание „права на бесчестье“, безверие в нравственное возрождение человека. Для Федора Федоровича возможность совершенствования очевидна даже в тех, с кем связаны „кровь и пожары (драгоценности Тюильри)“. Он говорит: „Я полагаю, что у тех, которые жгут, кровью обливает сердце“ (XVI, 15).

А. С. Долинин первый высказал предположение о связи замысла „Подростка“ с разделами статей Н. К. Михайловского,[168] где речь идет о том, что „социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его“. С размышлениями Достоевского на эту тему в статье „Две заметки редактора“ и главах „Смятенный вид“ и „Одна из современных фальшей“ в „Дневнике писателя“ за 1873 г. перекликается и попытка соединить в одной личности социализм и проповедь христианства. Образ Федора Федоровича исчезает со страниц черновиков задолго до оформления основных сюжетных линий.

Проблема же соотношения социализма и атеизма остается и далее в сфере пристального внимания Достоевского. Именно ею определяется один из аспектов идейно-художественного исследования в романе темы долгушинцев. Она присутствует и в исповеди Версилова, особенно широко — в черновых набросках его исповедальных монологов.

Уже давно исследователи обратили внимание на то, что изложенная Достоевским в письме к А. Н. Майкову от 11 декабря 1868 г. биография героя „Атеизма“ в ряде моментов совпадает с биографией будущего Версилова,[169] как в конечном ее виде, так и в тех вариантах, которые претерпела она в ходе работы: возраст (45 лет), странствия по Европе, вериги, неоднократные встречи и диалоги с новым поколением (в черновиках — с Васиным, Крафтом и др.).[170] Но мотив „рубки образов“, который возникает одновременно с характеристикой атеизма ЕГО, кардинально меняет концепцию замысла 1868 г. и делает Версилова антиподом героя „Атеизма“. Разрушение личности, которое символизируется этим поступком Версилова, имеет свою аналогию в главе „У Тихона“ („Бесы“). И Ставрогин, и Версилов не могут быть либо „холодны“, либо „горячи“. Ни тот, ни другой не могут переступить „предпоследнюю верхнюю ступень до совершеннейшей веры“ (теоретически существует проблема выбора — „там перешагнет ли ее, нет ли“, — говорит Тихон Ставрогину). Ставрогин (в варианте „Исповеди“) ломает распятие после чтения исповеди Тихоном и осознания того, что акт публичного покаяния признан Тихоном несостоятельным. Оно обречено, потому что выливается в подвиг-вызов, а не подвиг-смирение. Ставрогин вынужден признать правоту „проклятого психолога“, но смириться с этим не может. Сломанное распятие — ложное самоутверждение, символизирующее свободу выбора и воли, желание доказать самому себе способность стать „холодным“, объективно свидетельствующее о духовной гибели героя и предопределяющее финал романа. Между „Бесами“ и „Подростком“ лежит „Дневник писателя“ 1873 г. И в нем Достоевский пытается исследовать мотив „рубки образов“, но в качественно ином варианте.[171] Герой главы „Влас“ приходит „за страданием“ в келью к старцу, исповедуясь в страшном грехе — он поднял руку на образ божий. На пути самоутверждения, желая выиграть в споре „кто дерзостнее“, он „по гордости“ дал клятву пойти на любую дерзость и был поставлен перед необходимостью выстрелить в

сооруженное им самим подобие распятия, которое в сознании его за секунду до выстрела обернулось образом. Здесь крестьянин ставится перед дилеммой, которая была поставлена перед дворянином в „Бесах“. У крестьянина — духовная победа, у дворянина — духовное поражение. В „Подростке“ дворянин вновь подвергается такому же испытанию: Версилов разбивает икону, завещанную ему крестьянином Макаром Долгоруким. Мотив „рубки образов“ возникает в черновиках к „Подростку“ одновременно с первыми записями о „хищном типе“, во многом родственном Ставрогину. С появлением в начале сентября на страницах рукописей Макара икона связывается с ним: делается его собственностью и дарится им Версилову. В своем безграничном своеволии[172] брак с Софьей Андреевной Версилов может рассматривать лишь как свободно принятое решение. „Рубка образов“ для него — не только символ, но и следствие его внутренней раздвоенности, „подвиг гордости“, влекущий за собой духовную, нравственную смерть.[173] Такова идейно-художественная реализация одного из главных аспектов замысла „Атеизм“ в разных ее вариантах. Эволюцию, которую претерпевает образ Федора Федоровича от атеизма к христианству, можно рассматривать, по-видимому, как попытку позитивного решения этого аспекта указанного замысла.[174]

Мотив „рубки образов“ и родственные с ним ситуации в сюжете „Исповеди Ставрогина“ и главе „Влас“ „Дневника писателя“ за 1873 г. имеют, возможно, определенную связь с фактом, приведенным в статье Д. И — ва [Д. Г. Извекова] „Один из малоизвестных литературных противников Феофана Прокоповича“.[175] Статья воспроизводит полемику Дмитрия Кантемира с Феофаном Прокоповичем по поводу „Первого учения отрокам“, или Катехизиса Прокоповича, написанного им в 1720 г. по распоряжению Петра I и отвечавшего петровским народнообразовательной и церковной реформам. Возражения Кантемира определяются мыслью об ответственности отцов за нравственное становление детей. В центре полемики — отношение „отцов“ и „отроков“ к христианской иконе. Не подрывая иконопочитания, Прокопович в своем толковании второй заповеди десятословия допускает ряд насмешливых суждений об иконе. Кантемир „защищает от нападок Феофана принятые и устоявшиеся от напоров времени традиции и обряды старой Руси“, приводит развернутую аргументацию в защиту иконопочитания,

неприкосновенности иконы и „видимого изображения“ креста. Страстность полемики Кантемира, как отмечает автор статьи в „Заре“, во многом объяснялась широко распространившимися тогда протестантскими воззрениями на иконы. В качестве примера крайнего выражения таких воззрений и приводится „рубка образа“ в Успенском соборе одним из русских еретиков петровского времени. Внимание, которое уделял Достоевский журналу „Заря“ (см. его письма к Н. Н. Страхову за 1870 г. — XXIX, кн. 1, 101, 107–111, 124–125), и необычность (если не исключительность) мотива „рубки образов“ делает факт знакомства писателя с указанной статьей в большой степени вероятным.

3

Почти одновременно с решением сделать ЕГО и Федора Федоровича братьями появляется мысль о третьем брате, почти мальчике. В будущем он окажется связанным с Ламбертом, впоследствии по планам этого же периода — „воскресает в высший подвиг“ (XVI, 21). Тематический стержень романа формулируется так: „…один брат — атеист. Отчаяние. Другой — весь фанатик. Третий — будущее поколение, живая сила, новые люди. Перенес Lambert'a. (И — новейшее поколение — дети)“ (XVI, 16). Третий брат слушает диалоги старших, наблюдает за поступками ЕГО, видит несоответствие ЕГО действий и слов. В мальчике — жажда идеала, который он хочет видеть в старшем брате. Поступки последнего разбивают веру мальчика, и он дает ЕМУ пощечину. Вслед за этим начинается их сближение. Младший брат делается объектом исповедей ЕГО. Именно в этот период рождается первый монолог младшего брата, проницающего в самую суть характера будущего Версилова: „Я видел, что это что-то не то, но в то же время в каждой выходке ЕГО, хоть и измышленной, было столько страдания надорванного и прожитого, что я не мог отстать от НЕГО или стать к НЕМУ равнодушным“ (XVI, 21). Этот монолог вступает в полемику с прямым авторским утверждением. „Итак, — констатирует автор, — один брат — атеист <…> Другой — весь фанатик“. Младший брат возражает' „Я всегда подозревал, что <…> ОН-то и есть фанатик“ (XVI, 16, 21) В одном из набросков намечается характер

взаимоотношений между НИМ и младшим братом, близкий к окончательной сюжетной схеме Версилов — Ахмакова — Подросток — Ламберт: „Обоих замешать в одну и ту же интригу (с Княгиней). М<олодой> челов<ек> парализует ЕГО злодеяния. ОН, некоторое время, сходится с Ламбертом“ (XVI, 21) Проводится параллельно-контрастное сравнение их жизненных путей „В конце ОН погибает от жучка, а младший воскресает в высший подвиг“ В авторском сознании младший брат стремительно завоевывает свои права. И одна из следующих записей — от 11 (23) июля 1874 г. — открывается выделенными прописью словами: „ГЕРОЙ — не ОН, а МАЛЬЧИК“. А ниже добавлено: „ОН же только АКСЕССУАР, но какой зато аксессуар!!“ (XVI, 24).

Раздвижение рамок замысла романа в июньский период было столь широко, что Достоевский писал Анне Григорьевне 24 июня / 6 июля: „…мучусь над планом. Обилие плана — вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединились 4 романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток. Но еще время есть“ (XXIX, кн. 1, 338).

11 (23) июля 1874 г. открывается новая, третья стадия в работе над замыслом романа. Он получает заглавие „Подросток“. В центре — два сведенных *брата.* Идет разработка идеологического стержня образа Подростка и дальнейшее развитие психологических мотивировок разнонаправленных устремлений ЕГО. Внимание писателя иногда сосредоточивается только на „хищном типе“. Тогда Достоевский помечает для себя — „ПОДРОСТКУ ПОБОЛЬШЕ РОЛИ“ (XVI, 29) — и делает будущего Аркадия заинтересованным и активным наблюдателем подвигов старшего брата („и даже воинственных“, в их числе — снесения пощечины) и преступлений (раздирание рта ребенку-пасынку, обольщение падчерицы — Лизы, самоубийства ее, связи с Княгиней и т. д.). Подросток выслушивает теоретические рассуждения ЕГО о непризнании в добродетели чего-либо натурального при одновременной усиленной проповеди христианства. Свобода выбора в добре и зле, сама осмысленность ее связывается ИМ с эсхатологическими учениями и ставится в зависимость от проблемы бессмертия души. В период, когда ЕГО внутренний хаос и разлад достигают наивысшей точки, сознаваемую несвободу воли ОН оправдывает также личным волевым решением, свидетельствующим о

его всесилии: „Теперь я только играю с дьяволом, но не возьмет он меня“. Не случайно тема „искушения дьявола“ настойчиво повторяется между описаниями метаний героя и его диалогов с Подростком. Первоначально она лишь фиксируется перед пространным изложением внутреннего разлада героя. Затем развивается в противопоставлении идеалов Бога и Сатаны. Наконец следует запись: „Объяснение ЕГО: искушение Христово. 40 дней в пустыне. (Глава)“ (XVI, 38). Изложение героем евангельской притчи об искушении Христа планируется в сюжетной канве романа в непосредственной близости от трагического финала и проходит через все черновики. В начале октября Достоевский собирается даже посвятить этой теме отдельную главу.

В последующих черновых набросках июля месяца происходит, с одной стороны, смягчение образа ЕГО, некоторый отход от прежнего ставрогинского варианта (хотя он по-прежнему жесток с Лизой, которая не хочет ему покориться, раздирает рот пасынку); с другой — стремительно расширяется сфера диалогов ЕГО и Подростка (который должен по планам „заступить ЕГО место на земле“). Проблемы бесконечности нравственного совершенствования, духовной опустошенности в России, неопределенности положительного идеала, одиночества носителей „великой идеи“, судеб дворянства и роли его в период „всеобщего разложения“, будущего России и человечества — развиваются в ЕГО монологах почти в соответствии с окончательным текстом. Характер этих монологов, их тяготение к форме исповеди все больше свидетельствует о существенном разрыве в жизненном опыте и различиях в идейно-психологических платформах братьев. И, по-видимому, не случайна запись от 18 (30) июля: „Встреча отца с приехавшим к нему из Москвы сыном, не выдержавшим классического экзамена. Отец хохочет, зовет сына чушкой, смеется над классицизмом, учит его бесчинствовать и проч.“ (XVI, 35). Это свидетельствует об уже рождающемся намерении поставить в центр романа отца и сына. Из черновой сюжетной схемы замысла на этой стадии образ Федора Федоровича выпадает.

Необходимо отметить, что в рукописях июньского периода Подросток ведет дневник. В этом обстоятельстве нельзя не видеть истоков (хотя и чисто формальных) проблемы повествования, которая вскоре встанет перед Достоевским, — вести рассказ от Я Подростка или от автора.

Перед отъездом из Эмса, подводя итоги сделанному, Достоевский пишет жене 20 июля (1 августа): „Приготовил я здесь 2 плана романов и не знаю, на который решиться. Если в августе вполне устроимся, то в конце августа примусь писать“ (XXIX, кн. 1, 360).

Первая запись по возвращении в Россию сделана в Старой Руссе и датирована 4 августа. В выборе плана романа колебаний нет. В центр ставятся ОН и Подросток. И совсем вскоре проблематика романа определяется так: „Отцы и дети“ (XVI, 45). А сын с его идеей Ротшильда рассматривается как явление новое, идеалист, „неожиданное следствие нигилизма“.

4

Аркадию Долгорукому 19 лет. Автор называет его Подростком. Так воспринимают его все действующие лица. В черновиках Аркадий говорит: „Все считают меня подростком“ (XVI, 218). Он возражает против этого: „Какой я подросток! Разве растут в девятнадцать лет?“ (XVI, 209); и одновременно апеллирует к „сану юности незащищенного подростка“ (XVI, 327). Аркадии ставится в обстоятельства, которые делают проблему выбора возможной и неизбежной.[176] Возможность — в его юности, незавершенности процесса становления. Неизбежность — в том состоянии уже начавшегося распада его личности, морального и психического, который отмечает критическая сторона сознания самого героя (он чувствует в себе „душу паука“). Неизбежность и в авторской предрешенности.

Девятнадцатилетний возраст Аркадия в период описываемых им событий подчеркивается Достоевским уже в первых набросках к роману (XVI, 59, 71 и др.). Существенно при этом, что, соотнося понятие „подросток“ с девятнадцатью годами Аркадия, Достоевский отмечает несоответствие между возрастом героя и традиционным толкованием возрастных границ определения „подросток“.[177] „Я бы назвал его подростком, если б не минуло ему 19-ти лет“ (XVI, 77). Обосновывая для себя право называть героя „подростком“, Достоевский продолжает: „В самом деле, растут ли после 19 лет?“. И отвечает: „Если не физически, так нравственно“ (там же). Характерно и следующее замечание Достоевского: „То, что его так запросто выписали, выслав

ему деньги, из Москвы тетки, — объясняется его 19-ю годами: и церемониться нечего, и разговаривать не стоит“ (XVI, 59).

Здесь важно отметить то качественное отличие, которое разделяет 19-летнего Аркадия, участника событий, и 20-летнего Аркадия-повествователя. В подготовительных материалах оно определяется Достоевским неделю спустя после решения сделать Подростка центральным героем: „ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он *ищет руководящую нить поведения, добра и зла,* чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа“ (XVI, 51; курсив наш. — *Г. Г.).* Вопросы о том, „что добро“ и „что зло“, определяют характер взаимоотношений Аркадия с отцом на всех стадиях эволюции характера последнего: „ОН, видимо, жалеет его (Аркадия. — *Г. Г.),* иногда и хочет отвести от зла и даже указывает, что вот это зло, а не добро“ (там же). Искания Подростка определяются Достоевским так: „О том, как он учится нигилизму, узнает, что добро, зло…“. В окончательном тексте романа, анализируя сложную гамму чувств, переполнивших его после открытия связи Лизы с князем Сережей, Аркадий объясняет: „Отмечаю <…>, чтоб показать, до какой степени я еще не укреплен был в разумении зла и добра“ (427). Обретение знаний о добре и зле и есть то новое качество, с которым вступает Подросток в 21-й год своей жизни, в период написания „исповеди“. Об этом обретении, отделяющем 19-летнего Аркадия от 20-летнего, Достоевский неоднократно говорит в записях середины августа 1874 г.: „Кончается вопросом Подростка: где правда в жизни? (которой он и ищет во всё продолжение романа). И когда на последней странице он похоронил ЕГО, посетил Долгушина и проч., то грустная торжественная мысль: «Вступаю в жизнь». Гимн — быть правым человеком. «Знаю, нашел, что добро и зло», — говорит он“. Несколько ниже Достоевский вновь повторяет: „Не забыть последние строки романа: «Теперь знаю: нашел, чего искал, что добро и зло»“ (XVI, 63).

Возможно, что мысль Достоевского об обретении знаний о добре и зле на грани 20-летнего возраста, а потому и сам выбор возраста Аркадия (19 лет — участник событий, 20 лет — повествователь) в той или иной мере восходят к аналогичному ветхозаветному представлению.

Двадцать лет как исходный возраст зрелости в Библии отмечается

неоднократно (см., например, Четвертую книгу Моисея, гл. 1,ст. 4, 19,21, 23, 25, 27, 29 и т. д.; гл. 32, ст. 12 и т. д.). Критерий же человеческой зрелости в источниках Ветхого завета связывается с обретением знания „что добро, что зло“. „Люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше, знающие добро и зло, не увидят земли, о которой я клялся…“ (Числа, гл. 32, ст. 12). От людей „двадцати лет и выше“ отделяются дети, „которые не знают, что добро, что зло“, „все малолетние, ничего не смыслящие“ (гл. 14, ст. 20–24). По-видимому, аналогичные ассоциации связывают с тем же возрастом и образ Алеши Карамазова, представляя которого читателю в главе „Старцы“ (перед поступлением Алеши в монастырь), Достоевский пишет: „Алеша был <…> девятнадцатилетний подросток“.[178] В период событий, описываемых в „Братьях Карамазовых“, вышедшему из монастыря Алеше —20 лет. При всем различии той идеологической функции, которую выполняют Аркадий и Алеша в художественной структуре обоих романов об „отцах и детях“, об определенной генетической связи между этими образами говорит упоминаемая Достоевским в черновиках к „Подростку“ „Легенда об Алексее человеке божием", производящая на Аркадия „поражающее“ впечатление. Как известно, житие Алексея человека божия и народный стих на эту тему явились поэтической основой, на которой строился образ Алеши Карамазова.[179]

Сочетание понятия „подросток“ со своими девятнадцатью годами сам Аркадий объясняет так: „Хотя я не подросток, потому что мне тогда было уже 19 лет, но я назвал подростком потому, что меня многие тогда (прошлого года) этим именем звали“ (XVI, 151). Необходимо сказать, что понятиям „подрастать“, „подрастающее поколение“, „подросток“, „состояние подрастания“ — в статьях газетно-журнальной периодики начала 1870-х годов часто придавалось акцентное звучание. Еще в 1870 г. в журнале „Заря“ (№ 6, 9) были опубликованы статьи „По случаю глухой поры“ и „По случаю бессилия мысли и силы жизни“, посвященные подрастающему поколению. Это понятие неоднократно выделяется в статьях курсивом. Сам же автор выбирает псевдоним „Подрастающий“. В № 31 „Гражданина“ за 1873 г. подростки рассматриваются как „поколение, которое в школы не запихаешь“. Употребляется понятие „подросток“ и в очерке М. Е. Салтыкова-Щедрина „Между делом“, посвященным молодому поколению.[180]

Понятие „подросток“ для характеристики молодого поколения до

21 года (возраст совершеннолетия) использует Р. Фадеев в книге „Русское общество в настоящем и будущем. (Чем нам быть?)“. „Вестник Европы“ (1874. № 8) печатает очерк Вас. И. Немировича-Данченко „Соловки: Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами“. Одна из глав этого очерка названа „Монашек-подросток“. Широкая распространенность производных от понятий „расти“, „подрастать“ обусловила тот иронический тон, который чувствуется по отношению к ним в статье Д. Л. Мордовцева „Земство и его деяния“, опубликованной в „Отечественных записках“ (1874. № 9); „…мы видим в себе некоторые несомненные признаки возмужалости, а во мнении других все еще считаемся недорослком или только подросточком. Между тем наш исторический подросток умеет уже сам строить себе железные дороги, и притом с такими экономическими и финансовыми фокусами, до которых, пожалуй, не могли бы додуматься наши западные старшие братцы; наш подросток умеет вести земские дела, и притом так искусно, что на земские деньги устраивает земские банки для иностранцев на началах самого широкого непотизма и заставляет мужичков платить «железные подушные» в пользу разных концессионеров и строителей железных дорог; подросток умеет вести судебные процессы с присяжными заседателями и защитниками такой неотразимой диалектики, которая заставляет присяжных верить, что дважды два — стеариновая свечка, что Непенин — добрый малый и что система Коперника — ложь…“. Представляется, что именно „текущая действительность“ обусловила закрепление за Аркадием Долгоруким возрастного определения „подросток“.

Непосредственным поводом размышлений Достоевского на тему поисков „детьми“ (вне строгой возрастной границы) „добра и зла“ послужила во многом статья Н. К. Михайловского о „Бесах“.[181] Интерпретируя позицию Достоевского, критик писал: „…воззрения Достоевского- Шатова сводятся к следующему. Веками сложилась русская почва и русская правда, сложились известные понятия *о добре и зле*. Петровский переворот разделил народ на две части, из которых одна, меньшая, чем далее, тем более теряла смысл русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась этим движением <…> По мере удаления от народной правды, народных понятий *о добре и эле* образованные citoyens du monde теряли всякое чутье в различении добра и зла, потому что вне народных преданий нет почвы для такого

различения, на него не способны ни разум, ни наука".[182] И здесь же Михайловский добавлял: „Г-н Достоевский справедливо говорит, что барство извращает понятия о добре и зле, но с Петра ли оно началось?“.[183] К этим суждениям Михайловского Достоевский обратился первоначально в заключительной главе „Дневника писателя“ за 1873 г. „Одна из современных фальшей“, где дал трактовку „добра“ и „зла“ как понятий исторически развивающихся и изложил свое понимание их социально-этической сущности во времена „переходные“, „времена потрясений в жизни людей, сомнений, отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях“ (XXI, 131). „Начало зла“ — в замене настоящего образования „нахальным отрицанием с чужого голоса“, в господстве „материальных побуждений“ над „высшей идеей“, в воспитании „без почвы“, вне „естественной правды“, „в неуважении или равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу“, „в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца под непременным условием неуважения к самому себе как русскому человеку!“ (XXI, 132). Начало добра — в „возврате к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного“ (XXI, 134).

Раскрытая в главе сущность понятий „добро“ и „зло“ в „переходное“ время и стала объектом идейно-художественной реализации в работе над замыслом романа „Подросток“ сразу же после принятого 23 июля 1874 г. решения сделать героем романа не ЕГО, а мальчика. Несколько дней спустя Достоевский так определяет сюжетную линию героя-мальчика: „О том, как он учится нигилизму и прочему, узнает, что добро, что зло“ (XVI, 39). Неделей позднее начинается разработка диалогов (Подростка с НИМ и Васиным), раскрывающих путь этого „узнавания“, и черновых вариантов исповеди Версилова, во многом также восходящей к указанной проблематике последней главы „Дневника писателя“ за 1873 г.

Тесная связь главы „Одна из современных фальшей“ с романом „Подросток“ в том, что основным поводом для написания этой главы и причиной важнейшего изменения замысла романа (герой не ОН, а мальчик) явился один и тот же факт текущей действительности — дело долгушинцев, расследование которого за 11 месяцев прошло три стадии: арест, следствие, открытый процесс. Все участники кружка Долгушина были арестованы под Москвой, в Москве и других городах

России осенью 1873 г. — с сентября по декабрь (см. ниже, с. 740–746).

Следствие продолжалось всю зиму и весну 1874 г. Материалов о ходе следствия в печати не появлялось. Первые записи к роману „Подросток“ относятся к февралю — марту 1874 г. Колебания в выборе плана романа, как нам уже известно, прекращаются после записи, сделанной 23 июля, — „герой не ОН, а мальчик“. Именно в это время Достоевскому становятся известны материалы первых отчетов о процессе долгушинцев, подтвердившие правоту его полемики с „Русским миром“, состоявшейся на полгода ранее (см. об этом: XVII, 277–278): большинство членов кружка Долгушина принадлежали к „учащейся молодежи“ (подробнее см. ниже, с. 741). Открытый процесс над долгушинцами начался в Петербурге 9 июля. Находившийся в Эмсе Достоевский внимательно следил за русской прессой. Знакомство писателя с первыми отчетами о процессе могло произойти по ряду источников, но существенно, что 30 июля, делая набросок диалога ЕГО и мальчика, писатель вспоминает как давно ему известную корреспонденцию „Русского мира“ от 12 июля 1874 г. о „студенте университета, бросающемся ночью на всех женщин с похабщиной“ (XVI, 39). Отчеты о процессе помещались в „Русском мире“ ежедневно начиная с 11 июля. До 23 июля русские газеты несомненно должны были дойти до Эмса. Сделанная Достоевским в этот день запись о герое-мальчике, не выдержавшем экзамен из классических языков (т. е. „недоразвитке“, по терминологии „Русского мира“), подростке, который „учится нигилизму, ищет, что добро, что зло“, находится, на наш взгляд, в прямой связи с начавшимся процессом долгушинцев и свидетельствует о возвращении писателя к проблематике главы „Одна из современных фальшей“, основным поводом для написания которой послужил арест участников кружка долгушинцев осенью 1873 г.

5

Спустя месяц после решения сделать Аркадия героем Достоевский так формулирует заглавие будущего романа: „ПОДРОСТОК. ИСПОВЕДЬ ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА, ПИСАННАЯ ДЛЯ СЕБЯ“ (XVI, 48).

Именно на этой стадии работы перед Достоевским возникает

проблема повествования — писать от *автора* или от Я (Подростка).[184] Достоевский приходит к решению лишь в конце октября, когда появляются записи: „Окончательно: ОТ Я“ (XVI, 105); „От Я — решено и подписано“ (XVI, 129); „таким образом, от Я само собою решилось“ (XVI, 136). В системе аргументации Достоевского сделать Подростка автором повествования преобладают два мотива. Во-первых, настойчивое желание поставить в центр романа Подростка: „… если от *автора*, то не будет ли Подросток второстепенным лицом, а ОН главным?“; „Если от автора, то роль Подростка совсем исчезает“ (XVI, 115); „Если от автора, то необычайно трудно будет выставить перед читателем причину: почему Подросток герой? и оправдать это“ (XVI, 129); „Обдумывать рассказ от Я <…> Лучше справлюсь с лицом, с личностью, с сущностью личности“ (XVI, 86). Во-вторых, стремление к компактности романа: „Если от Я, то будет, несомненно, больше единства и менее *того*, в чем упрекал меня Страхов, т. е. во множестве лиц и сюжетов“ (XVI, 87); „Фактическое изложение от Я Подростка неоспоримо сократит растянутость романа, если сумею“ (XVI, 91). Одновременны многочисленные записи о том, возможно ли выразить в повествовании Подростка всю сложность социально-философской проблематики романа: „Выдержит ли это Я читатель на 35 листах? И главное, основные мысли романа — могут ли быть натурально и в полноте выражены 20-летним писателем?" (XVI, 98) Ниже: „Если от Я, то придется меньше пускаться в развитие идей которых Подросток, естественно, не может передать так, как они были высказаны, а передает только суть даём“ (XVI, 98). Варьируется временной период, отделяющий события романа от времени их изложения: год, 3 месяца, 5 лет, 4 года, наконец, опять год. По одному из планов, в руках Подростка посмертные воспоминания отца, по другому — собственный дневник, в котором собраны факты и слухи.

Принятие формы от Я должно было повлиять на характер повествования: преобладание фактического изложения над аналитическим. Важна следующая помета Достоевского: „Подросток пишет, что в объяснениях фактов от себя он непременно ошибется, а потому, по возможности, хочет ограничиться лишь фактами“ (XVI, 91). Становится первостепенной проблема соотношения „действия“ и „рассказа“. Именно ее стремится разрешить Достоевский при составлении планов и программ каждой из трех частей романа в период

начала работы над их связными черновыми автографами. Через все подготовительные рукописи проходит забота о „слоге“ и „тоне“ „Подростка“. „Подросток“ — единственный роман Достоевского, последовательно выдержанный как повествование от первого лица. Объяснение этого Я. О. Зунделович видит в намерении Достоевского „выдержать непосредственность изображения труднейшего объекта — «смутного времени» — без рационалистического вмешательства «заинтересованного автора»“.[185] Е. И. Семенов связывает решение Достоевского с нечеткостью, противоречивостью общественной позиции Достоевского середины 70-х годов, „стремлением скрыться за рассказчика, уйти от ответов на многие неясные вопросы“.

Решение сосредоточить проблематику романа вокруг темы „отцов и детей“ повлекло за собой смещение акцентов в том нравственно-психологическом комплексе ЕГО, который был обозначен как „хищный тип“ Исходная доминанта характера остается прежней: ОН занят „высшей идеей“ и „химическим своим разложением“ (XVI, 52). Но в его самовосприятие вторгается элемент нравственной оценки: ЕГО „считают величайшим подлецом; все улики против НЕГО. Из презрения к НЕМУ от НЕГО отказываются все, кого ОН любит. Жена бросает ЕГО и уходит к другому; ОН не может оправдаться, да и не хочет компрометировать кого-то <…> Оказывается, что ОН невинен“ (XVI, 52). Одновременно все действующие лица — Подросток, мачеха, тетки, Ст(арый) Князь — теряются перед ЕГО открытой проповедью христианства и столь же явным творением зла. И в поисках разгадки этой двойственности вынуждены признать невозможность однолинейной трактовки ЕГО поступков.

Появляются записи о „мечтателе“ и „органической“ связи его с фабулой романа. Мелькает запись: „Может быть, это сам ОН и есть“ (XVI, 49). С начала августа качества „хищного типа“ перемещаются к другому образу, женскому: „*Идея романа.* Хищный тип — женский, Лиза, а не ОН <…> вывесть Лизу великаншей, Сатаной, подавляющею Подростка <…> Конец Лизы должен быть торжествен и ужасен, как колокольный звон“ (XVI, 57, 61). Или: „Лиза никому не должна, все ей должны. (Иначе как в беспрерывном счастье не соглашаюсь жить) Хищный тип <…> Лиза — полный нравственный беспорядок“ (XVI, 65, 81). Определяются отношения ее ко всем действующим лицам романа Она в связи с НИМ, Молодым Князем; то притягивает, то отталкивает

Подростка; убеждает Подростка, что мачеха на содержании у Старого Князя; предлагает ЕМУ отравить жену; становится организатором заговора против Княгини.

Образ жены ЕГО, мачехи Подростка, на этой стадии работы противостоит ЕМУ и Лизе. Мачеха наделяется душевной тонкостью, умом, проницательностью, предваряющей во многом кроткую мудрость мамы, Софьи Андреевны. Из сюжета устраняется ее связь с Молодым Князем. Подросток видит в мачехе „великий“ характер. ОН женится на ней, чтобы „смирить свою природу чистотой и подчинить ее добру“ (XVI, 114).

Пристальное внимание Достоевского сосредоточивается на разработке сюжетного узла, который получает заглавие „Заговор против Княгини“. Помимо анализа психологических мотивировок каждого из участников заговора, для Достоевского важно уяснить, с одной стороны, конфликт между НИМ и Княгиней, возникший до начала действия, с другой — интерпретацию этого конфликта действующими лицами. Конфликт этот Достоевский называет „Эмской историей“, интерпретацию его — „легендой“. С „легендой“ Подросток знакомится еще в Москве. В Петербурге почти все, с кем Подросток сталкивается, пытаются „разъяснить“ эту „легенду“, осложняя ее новыми элементами вымысла. Отделение правды от вымысла в толковании конфликта, приближение к пониманию сущности ЕГО является одной из главных задач, стоящих перед Аркадием в момент приезда в Петербург. Конфликт должен объяснить суть ЕГО двойственности. Поэтому по мере превращения ЕГО в „высшего современного человека“, сочетающего в себе жажду идеала и отсутствие всякой веры, Достоевский неоднократно обращается к „Эмской истории“, уточняя каждый раз конкретные психологические детали.

Отец героя ощущает „проклятие косности на всем нравственном мире“ (XVI, 258). Однако сознательная воля оставляет в нем ощущение необходимости „смирения“ и самосовершенствования. При полном безверии он встает на этот путь, надеясь обрести нечто неведомое ему в данный момент. Так, в частности, объясняются психологически „вериги“ Версилова. Встреча с Княгиней не только сметает обретенное на пути совершенствования, но свидетельствует о полной бесплодности устремлений ЕГО к „смирению“. В первоначальном наброске „Эмской истории“ Княгиня прогоняет ЕГО с „позором“, обнаружив в

„проповеднике христианства“, „руководителе и конфиденте“ желание „совратить“ ее. Встреча ЕГО с Княгиней рассматривается Достоевским как встреча с „действительностью“, заставляющей героя упасть „ужасно, страшно, немощно“. Встреча оставляет в герое „навеки два чувства“: 1) „… мысль о необузданности и неподчиняемости своей природы каким-либо убеждениям <…> 2) чрезвычайное уважение к Княгине, к ее мнению, и с тайною ненавистью к такому высочайшему благородству“ (XVI, 113, 114). Способный на „нечистые поступки“, ОН хочет, „чтоб и все были так же нечисты, как ОН“ (XVI, 114). В „легенде“ воспроизводится лишь факт их разрыва, осложненный ЕГО последующими поступками (женитьба на „мачехе“, отношения с Лизой, снесение пощечины и т. д.). В дальнейшем в сюжет „легенды“ вводится ряд новых действующих лиц, удаленность же ее от истины остается прежней. В то же время анализ сущности конфликта „Эмской истории“ (ведомый лишь автору) углубляется. Княгиня делается единственным человеком, который не преклонился перед НИМ, не подчинился ЕМУ. Она уличает ЕГО в том, что за искренность в исповеди он потребует уважения, признания себя „высшим человеком“ (XVI, 353), определяет сущность ЕГО натуры как „безобразие“ и предугадывает следствие ЕГО признаний: „Вы мне страшно отмстите за унижение этой исповеди“ (XVI, 407).[186] Первоначальная разработка характера Княгини вступает в диссонанс с той ролью которую она призвана сыграть в метаниях Версилова. В тексте черновых набросков (особенно после введения в сюжет Макара Долгорукого) она — „Мессалина“, в связи с Молодым Князем, покупает у Ламберта документ, оскорбляет Лизу и т. д. Эта „сниженность“ облика Княгини Достоевского беспокоит. В начале ноября, в период работы над связкой рукописью первой части романа, он пишет: „NB! Для поднятия уровня тона, забот и убиваний Подростка, следящего за НИМ с волнением, мучающегося ЕГО лицом, необходимо *поднять трагичнее* и тон происшествий и обвинений, тяготеющих на НЕМ от общества. На НЕМ тяготеют многие легенды и католичество; *но надо:* поднять и лицо Княгини. Сделать ее тоже гордою и фантастичною“ (XVI, 196). С этой записи в разработке ее характера наступает перелом, обусловивший появление следующих слов в оценке, данной Катериной Николаевной Ахмаковой современному обществу: „В нем во всем ложь, фальшь, обман и высший беспорядок. Ни один из этих людей не выдержит пробы: полная безнравственность, полный

цинизм у всякого…“ (XVI, 354).

6

Обращение к проблеме поколений таило в себе максимальные возможности для идейно-художественного исследования того „химического разложения“, которое постигло общество и человеческую душу. Еще в „Зимних заметках о летних впечатлениях“ писатель активно защищает, „несмотря на весь его нигилизм“, „беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца)“, лишенного и тени „личного негодования, личной раздражительности“, негодующего не потому, что ему плохо в мире, а потому, что мир плох.[187] Базаров и вся художественная структура романа, по замыслу Тургенева, должны были свидетельствовать о несостоятельности „дворянства“ как „передового класса“. Авторская интерпретация „Отцов и детей“, судя по ответным письмам Тургенева Достоевскому, в существе своем Достоевским разделялась.[188] В историческом аспекте проблема поколений в сознании Достоевского претерпела в 60-х — начале 70-х годов следующую эволюцию: 1) благообразие и несостоятельность отцов (лучшие представители дворянства) и неблагообразие детей (при их „великом сердце“ — интерпретация Тургенева); 2) несостоятельность отцов и безобразие детей — „Бесы“; 3) „неблагообразие“ отцов (тоже лучшие представители дворянства, но беспокойные и тоскующие носители „великой идеи“) и „неблагообразие“ детей — „Подросток“. Эта третья стадия осмысления проблемы очевидна уже в „Дневнике писателя“ за 1873 г. Если в период „Бесов“ концепция поколений Достоевского созвучна той интерпретации проблемы „отцов и детей“, которую дал Н. Н. Страхов в рецензии на книгу А. Станкевича „Тимофей Николаевич Грановский“,[189] то в период „Подростка“ эта концепция во многом перекликается со страховским анализом темы поколений на страницах „Гражданина“. В 1869 г. Страхов пишет с взаимном непонимании, взаимной розни западников „чистых“ — либералов-идеалистов 1840-х годов, оторванных от русских верований и традиций, и их „нечистых“ последователей, нигилистов, при непосредственной духовной преемственности. Четыре года спустя в статье „Нечто о характере нашего времени. (Несколько слов по поводу

одной журнальной статьи)“[190] Страхов делит „чистых“ западников на две группы — западников „последовательных“ и „непоследовательных“, „умеренных“. Водоразделом между ними служит признание или непризнание „разложения старых начал в Европе“, которое „после 1848 года все чаще и яснее сознается самою Европою“ и о котором „веско сказано у Герцена, Прудона, Ренана, Карлейля“. Западники „последовательные“ непременно приходят, по Страхову, к „большему или меньшему нигилизму“, повторяя в себе духовное состояние Европы. Западники „непоследовательные“ — „староверы“ и „медлители“, „западники на манер сороковых годов“. Они не имеют „жара и смелости нигилистов“, но стараются опереться на обширные и основательные познания. „Они упорно отвергают нигилизм, упорно преклоняются перед Западом и, несмотря на то, их мысли и убеждения остаются на степени очень смутных надежд и стремлений. Они любят, как говорится, *все прекрасное и высокое*, но поражены бывают странным бессилием, непреодолимым раздумьем в самых существенных вопросах. Голоса этих людей иногда раздаются очень громко, но ничего целого и связного не выходит из этих отдельных умных речей“. Далее Страхов сопоставляет пассивность защитников того, „что обыкновенно называется идеалами“ (т. е. пассивность западников непоследовательных), активному энтузиазму „противников идеалов“, молодому поколению нигилистов. Разделяя понятия „цель человеческого стремления“ (которая „может быть очень ничтожна и бессодержательна“) и само „стремление“ (которое может отличаться „большим благородством; чистым сердечным увлечением“), он говорит о начале 1870-х годов как о периоде небывалого распространения „идеализма“ при одновременной утрате идеалами их „действительного“, истинного содержания. Таким образом, пассивности западников „непоследовательных“ Страхов в 1873 г. противопоставляет то позитивное начало нигилизма, которое год спустя Версилов определит как действенную верность своей идее и о котором „вступающий в жизнь“ Аркадий говорит: „Дергачев… разве это не благородно? Они заблуждались, они мелко понимали, но они жертвовали собой на общее великое дело“ (XVI, 360). В авторской же формулировке центральной проблематики романа есть ремарка: „Если есть убеждения страстные — то только разрушительные (социализм). Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось“ (XVI, 80).

В черновиках понятие „идеалист“ рассматривается как „новое явление“, „неожиданное следствие нигилизма“, а нигилизм как „*чуть не последняя степень идеализма*“ (XVI, 79). Рассуждая о „новом поколении“, Версилов замечает: „…это плоды банкрутства старого поколения. Мы ничего не передали новому в назидание, ни одной твердой мысли. А сами всю жизнь болели жаждою великих идей. Ну что бы я, наприм(ер), передал?“ (XVI, 282). Неоднократно называя себя в черновиках „одним из прежнего поколения“, „одним из старых людей“ (XVI, 53, 76 и др.).[191] ОН (будущий Версилов) говорит об ушедшем в прошлое энтузиазме, ревностном кипении делать добро, служить отечеству, великим идеям, всему „прекрасному и высокому“ (XVI, 153). В настоящем-ОН лишь „носитель великой идеи“. Его жизнеспособность проявляется только в сфере разговоров. Тематика же их определяется раскрытием того противостояния между „целью человеческого стремления“ и характером „самого стремления“, о котором писал Страхов в статье 1873 г. „Нечто о характере нашего времени“. „Великая идея“ ЕГО и идеалы социализма — в центре всех диалогов черновых записей первой половины августа. Достоевский еще в Эмсе узнал о процессе долгушинцев. И хотя детально писатель знакомится с ним лишь в августе, уже с конца июля в замысел романа вторгаются мотивы, связаные с будущей темой кружка Дергачева: оформляется образ Крафта, Подростка сводят с кем-то „вроде Долгушинцев“, толкующих о „нормальном человеке“ и социализме. Идею социализма, интерпретируемую как „превращение камней в хлебы“, в диалогах с Подростком ОН называет „великой“, но „второстепенной“. В окончательном тексте первой главы второй части романа Версиловым дается лишь краткое обоснование этой оценки. В черновиках же тема первого искушения Христа в широкой философско-исторической трактовке и развернутая аргументация против сведения „великой идеи“ к „комфорту“ почти с полным текстуальным совпадением повторяется дважды: в записях первой половины августа и начала марта, перед непосредственной работой над связным черновым автографом второй части.

В тех же пластах черновиков, где речь идет о „превращении камней в хлебы“ как идее „второстепенной“, ОН излагает Подростку свое „credo“. Эти записи также дважды — в начале августа и в марте — почти текстуально повторяются. В окончательном тексте Версилов

развивает их содержание в диалоге с молодым князем. Раскрывая свое понятие „великой идеи“, Достоевский писал в „Дневнике писателя“ за 1876 г. (декабрьский выпуск, глава „Голословные утверждения“): „Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле *лишь одна* и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее одной вытекают".* С бессмертием души ассоциировались у Достоевского возможность интенсивного и безграничного нравственного совершенствования, максимальный, потенциал жизни духовной. Обоснования будущего Версилова полностью соответствуют той аргументации против идеи „превращения камней в хлебы“, которую Достоевский дает в известном письме к В. А. Алексееву от 7 июня 1876 г. Развивая свою аргументацию *против,* ОН сталкивается с вопросом Подростка: „Что же спасет мир?“ — и отвечает: „Красота“ (XVI, 43). И вот здесь начинается разрушение воздвигнутых ИМ обоснований. Вслед за ответом — „Красота“ — следует авторская ремарка: „Но всегда с насмешкой“. За этой насмешкой героя-атеиста скрыто знание уже сказанного Достоевским в черновиках „Идиота“: „Мир красотой спасется. Два образчика красоты“ (IX, 222). В ней ощутим душевный хаос Ставрогина, находившего „совпадения красоты“ „в обоих полюсах“— добре и зле. Нельзя не видеть в этой насмешке и связи с позднейшими словами Мити Карамазова: „Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы — сердца людей“. Следует учесть также, что в сознании ЕГО построена аргументация не только *против,* но и *за:* „ОН доказал Подростку ненатуральность социализма“. И рядом: „ОН <…> сбивает <…> Подростка великостью идеи социализма“ (XVI, 46). Вспомним и то, что в июльских черновых записях одновременно с темой „искушения Христа“ возникает мотив „игры с дьяволом“. В указанном письме идее превращения „камней в хлебы“ также противопоставляется идеал жизни духовной, идеал Красоты, из которых истекает „вся жизнь“. И раскрывает ее Достоевский так: „труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего“. Факты эти подтверждают сделанное еще Д. С. Мережковским наблюдение, что от образа Версилова тянутся нити к поэме о Великом инквизиторе.[192] Материалы же черновиков к „Подростку“, разрабатывающие проблематику „идеи великой“ и идей

„второстепенных“, представляют первый развернутый автокомментарий к соответствующему кругу идей писателя.

Обратимся теперь к фактам, обусловившим столь пристальное внимание Достоевского к указанной проблематике в период 1874–1875 гг.

Диалоги ЕГО и Подростка, являясь непосредственными откликами на идейную борьбу эпохи, восходят к полемике между А. И. Герценом и В. С. Печериным о роли „материальной цивилизации“ в развитии общества. Эта полемика отражена в их переписке 1853 г.[193] Падение духовной жизни в современном ему буржуазном обществе В. С. Печерин связывал с „тиранством материальной цивилизации“. Возражая ему, Герцен говорил о всесилии научного знания в избавлении человечества от страданий. „И чего же бояться, — писал он. — Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой?“.[194] В черновиках к „Подростку“ ОН, будущий Версилов, говорит: „Телеги, подвозящие хлеб человечеству. Это — великая идея, но второстепенная и только в данный момент великая. Ведь я знаю, что если я обращу камни в хлебы и накормлю человечество, человек тотчас же спросит: «Ну вот, я наелся; теперь что же делать?»“ (XVI, 78). Эта же мысль развивается в одном из поздних черновых вариантов исповеди Версилова: „Общество основывается на началах нравственных: на мясе, на экономической идее, на претворении камней в хлебы — ничего не основывается, и деятель надувает пока одних дураков“ (XVI, 431). Возвращению Достоевского к спору Герцена с Печериным в 1874 г. способствовала полемика между Н. К. Михайловским и Н. Н. Страховым о значении „общего материального благосостояния“. В № 9 „Отечественных записок“ за 1872 г. Михайловский поместил отзыв о рецензии Страхова на книгу Э. Ренана „La réforme intellectuelle et morale“ (Paris, 1872),[195] в которой писал: „Ренан сам не знает, с чем он борется. В числе атрибутов политического материализма он желает видеть стремление наделить всех и каждого материальным благосостоянием. Он полагает, и г. Страхов с ним соглашается, что здесь играет главную роль зависть. Не говоря уже о том, что все желающие равномерного распределения материального благосостояния желают и равномерного распределения духовных благ и наслаждений; не говоря о том, что странно называть завистью желание снабдить соседа тем, чего у него нет; не говоря обо всем этом, — разве желание

наделить всех и каждого материальным благосостоянием не способно составить идеал, вызвать высокие чувства, великие мысли?».[196] Н. Н. Страхов вернулся к проблематике полемической работы Михайловского в пространной статье „Заметки о текущей литературе“, опубликованной в редактировавшемся Достоевским „Гражданине“. На приведенную выдержку из работы Михайловского (Страхов ее цитирует) он отвечал: „Мы скажем решительно: нет, мысль о благосостоянии не способна составить идеал, не может вызвать высокие чувства и великие мысли. К этому способны и это могут делать только идеи чисто нравственные, т. е. такие, вся цель которых заключается в нравственном усовершенствовании человека, в возвышении достоинства его жизни <…> Идея благосостояния сама по себе совершенно бессильна и получает силу только тогда, когда возбуждает собою другие идеи, например идеи сострадания, самоотвержения, любви или же, наоборот, идеи злобы, зависти, мести <…> она никогда не будет главною двигающею идеею…“ и подчеркивал: „На первый взгляд это идея прекрасная; без сомнения, всякий желал бы ее осуществления; но сказать, что выше ее не должно быть никакого принципа, что она есть главная идея, — вот что мы считаем и неверным и вредным“.[197]

Факт знакомства Достоевского как редактора „Гражданина“ со статьей Страхова сомнений не вызывает. О размышлении же писателя над работой Михайловского свидетельствует набросок из подготовительных материалов к „Подростку“: „Ренан славянофил. Крестьяне смотрят на пышную свадьбу своего господина и радуются, Михайловский и Толстой негодуют на мужиков на том основании, что пышность свадьбы их господина нисколько не увеличивает их благосостояния <…> Почему? <…> потому, что задались ложною мыслию, что счастье заключается в материальном благосостоянии, а не в обилии добрых чувств, присущих человеку“ (XVI, 169). Эта запись восходит к следующему месту работы Михайловского: „… он (Страхов. — *Г. Г.*) называет Ренана французским славянофилом. «Политическое честолюбие, — говорит г. Страхов, — совершенно чуждо русскому народу; охотно жертвуя всем для государства, он не ищет непременного участия в управлении государством <…> Житейский материализм, понимание собственности и удовольствий как главных вещей в жизни противны коренным нравам русского народа, его несколько аскетическому настроению…». Главная мысль г.

Страхова состоит в том, что Россия гарантирована от политического материализма особенностями русского народа, который не способен «завидовать», глядя «на свадебную кавалькаду молодого господина»“. [198] Помимо совпадения проблематики спора Герцена — Печерина и Михайловского-Страхова существенно то, что и Михайловский, и Страхов используют понятия „высшая мысль“, „великая мысль“. Уже отмечалось, что понятие „великая идея“ формулируется Достоевским в черновиках к „Бесам“. Страхов заимствует у Достоевского это понятие, используя его в своих работах 1872–1873 гг. и в полемике с Михайловским для обозначения идеи „главной“, качественно отличной от идей других, тоже „прекрасных“, но только „на первый взгляд“. Интерпретация этих понятий в черновиках к „Подростку“, постоянное соотнесение Достоевским „великой идеи“ и идеи „второстепенной“, кажущейся „великой“ только в данный момент, свидетельствует о связи полемики Михайловского-Страхова с оформлением замысла романа „Подросток“. Следует отметить, что понятие „великая идея“ (противопоставляемое — „второстепенной“) употребляется Достоевским и в XVI главе „Дневника писателя“ за 1873 г.

Таким образом, уже в начальный период работы над „Подростком“ „великая идея“ Версилова оформляется как идея полемическая. Нравственно-психологический комплекс, который она олицетворяет, с наибольшей полнотой развертывается в черновых записях июля — августа 1874 г. У истоков полемики стоят Герцен и Михайловский. Этим, возможно, объясняется то беспокойство, о котором пишет Достоевский в письме к А. Г. Достоевской от 14 (26) июля 1874 г.: „Мне бы хотелось написать что-нибудь из ряду вон. Но одна идея, что «Отечественные записки» не решатся напечатать иных моих мнений, отнимает почти у меня руки“ (XXII, кн. 1, 354).

В рассуждениях ЕГО „великая идея“ выступает как источник „живой жизни“. Объяснение Версиловым этого понятия Подростку (в черновиках) и молодому князю Сокольскому (в окончательном тексте):, …. это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто" (XIII, 178). Но есть в определении ее и два важных для нас оценочных качества: она — „не умственная и не сочиненная“. В черновиках к ним добавлено: „и не сделанная“ (XIV, 79). Здесь намечается то русло, по которому пойдет в

черновиках полемика ЕГО с дергачевцами, с одной стороны, и идеей Ротшильда — с другой.

На протяжении всех черновиков и в окончательном тексте романа Версилов говорит о себе как о „носителе высшей идеи“. Вместе с тем в подготовительных записях дважды — и опять в августе и марте — ответ ЕГО на восторженное признание носителем „высшей идеи“ Достоевский сопровождает очень важной ремаркой: „ОН нагибается к уху и шепчет: «ОН лжет»“ (XIV, 38, 285). Этот автокомментарий героя, как и насмешка, которой сопровождается его рассуждение о красоте, свидетельствуют об очевидной недоступности для него „живой жизни“. Именно поэтому он так и стремится прорваться к ней. Недоступность „живой жизни“ для Версилова Достоевский связывает с оторванностью героя от „почвы“, от коренных верований и преданий, исторически восходящей к периоду петровских преобразований. Версилов сознает это и сам: „Я исковеркан, дитя века, и ношу на себе проклятие века, развратен и развратным родился, ибо русские вот уже два столетия рождаются развратными“ (XIV, 407). Жажда идеала и отсутствие веры, рождающие безмерную гордость и безмерное презрение к себе, обусловливают тщетность попыток героя „смирить“ себя. Самосовершенствование при столкновении с действительностью оборачивается требованием подчинения, признания за собою права называться высшим человеком, т. е. оборачивается „безобразием“. Так определяет в черновиках к роману трагическую несостоятельность героя Ахмакова, и потому Версилов воспринимает свои отношения с ней как „фатум“.

Понятие „живая жизнь“ впервые употребляется в „Записках из подполья“,[199] в заключительной части их, когда в Парадоксалисте обнаруживаются черты затравленного человека, озлобленность и мстительность которого являются лишь внешней позой, доставляющей ему самому внутренние страдания:,… мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу…" (Наст. изд. Т. 4. С. 540). В этих словах ощутима связь с позднейшим диалогом Версилова и князя Сокольского: „…высшая идея, из которой она (живая жизнь. — *Г Г.*) истекает, решительно

необходима, к всеобщей досаде, разумеется.

— Почему к досаде?

— Потому что жить с идеями скучно, а без идей всегда весело“(с. 351).

При всей парадоксальности исповеди антигероя в первой части „Записок из подполья“ художественная структура повести в целом обусловливает противопоставление „живой жизни“ логичности, рассудочности, математичности рационалистических теорий, которые „нивелируют и устраняют индивидуальность“.[200] В „Преступлении и наказании“ „живой процесс жизни“, „живая душа“ противопоставляются Разумихиным логическим, математическим построениям (см.: Наст. изд. Т. 6. С. 242). При восприятии дергачевцев (и, в частности, Васина) как равноправных оппонентов Версилов оценивает их идеи исходя из этого понимания „живой жизни“. Его развенчание „идеи Ротшильда“, ощутимое на протяжении всех подготовительных материалов, основано на доказательстве ее жизнеспособности лишь в сфере головной.

Понятие „живая жизнь“ В. Л. Комарович связывал с традицией старших славянофилов, употреблявших слово „живой“ в смысле „истинно сущий“.[201] Термины „живое знание“, „живознание“ неоднократно встречаются в таких, например, работах А. С. Хомякова, как „Второе письмо о философии к Ю. С. Самарину“ и „Разговор в Подмосковной“.[202] Понятие „живая жизнь“ в смысле истинная, „горячая“ употребляется и И. В. Киреевским в статье „Жизнь Стефенса“.[203] В более ранней его статье „Девятнадцатый век“ указывается и источник понятия „живое знание“ — натурфилософия Шеллинга. „Шеллинг, — пишет Киреевский, — который первый создал систему тожества, теперь сам открывает новую цель и прокладывает новую дорогу для философии. Истинное познание, говорит он, познание положительное, живое, составляющее конечную цель всех требований нашего ума, не заключается в логическом развитии необходимых законов нашего разума. Оно вне школьно-логического процесса, и потому живое; оно выше понятия вечной необходимости, и потому положительное; оно существеннее математической отвлеченности, и потому индивидуально-определенное, историческое“.[204] К Шеллингу восходит, по-видимому, понятие „живая жизнь“ и у Герцена. Оно употребляется Герценом в письме к Б. Н. Чичерину, написанном в

1859 г. („Былое и думы“, глава „Н. Х. Кетчер“). „Живая жизнь“ противопоставляется Герценом теоретической доктрине, в которую „все временное, преходящее, лица, события, поколения <…> входят уже очищенные от живой жизни, вроде гербария логических теней“.[205] Термин „живая жизнь“ в герценовской трактовке находится в прямой связи с мыслью его о роли научного знания в избавлении человечества от страданий, высказанной в споре с Печериным (см. об этом выше, с. 729). В связи с этим следует отметить, что в черновых набросках к „Бесам“, относящихся к июлю 1870 г., Ставрогин говорит о спорах об „источниках живой жизни“ между правыми, полагающими, что „христианство не падет в виде лютеранства“, и левыми, считающими науку способной „дать живую жизнь человечеству и самый законченный нравственный идеал“ (XI, 179). Это дает возможность предположить, что понятие „живая жизнь“ в своем движении от „Записок из подполья“ к „Подростку“ полемически соотносилось Достоевским с герценовским осмыслением этого понятия.

Рассуждения ЕГО о „великой идее“, социализме и нигилизме, об общем благе и единичном добре совпадают по времени с первыми набросками социальной характеристики героя. ОН — помещик и сын помещика (но не внук); был женат (сведения о первой жене теряются); учился в русских и германских университетах; в Крымскую кампанию служил (но не долго и где-то, где не дрались), вышел в отставку, затем был мировым посредником первого призыва (всегда действовал дельно и толково). В биографию героя вводится период скитаний за границей. Одновременно делается помета: „Женевские идеи сгубили“ (XIV, 42). Далее добавляется: „Поминает Герцена, знал Белинского“ (XIV, 50). Так в родословную духовных исканий ЕГО входят 40-е годы. Личность ЕГО получает определенные социально-философские корни. Со средины августа появляются записи: „один из прежнего поколения“, „один из старых людей“ (XIV, 53 и др.), свидетельствующие о связи личности героя с проблематикой соответствующих глав „Дневника писателя“ за 1873 г

О поколении 1840-х годов, о Белинском, Герцене, Грановском, Чаадаеве Достоевский много размышлял еще в период оформления замысла „Житие великого грешника“ (1868–1869), затем — во время работы над „Бесами“ и „Дневником писателя“ (1873). В числе реальных исторических лиц, на которых ориентировался Достоевский, создавая

образ Версилова, находились Чаадаев, Герцен, Печерин. Для Достоевского были важны и их принадлежность к дворянскому классу, и характер отношения к нему. Версилов — высший культурный тип, духовный аристократ, оторванный от коренных русских верований, и трагический скиталец, наделенный способностью всемирного боления, носитель русской мысли о примирении идей, объединяющей все частные идеи западных народов. Любовь к России и вера в ее историческую миссию сочетаются у него с привязанностью к Европе, к старым чужим камням, осколкам святых чудес. Считая Парижскую коммуну („Тюильри“) ошибкой, преступлением, он не может не видеть в ней логики. Таков Версилов в окончательном тексте романа.

Исповедь Версилова имеет в подготовительных материалах ряд вариантов. Они развивают отдельные аспекты, синтезированные в окончательном тексте его монолога (подробнее см. об этом: XVII, 334–336). В начальный период работы Достоевский, по гипотезе Долинина, ориентировался на историческую личность П. Я. Чаадаева (1794–1856) и на его философско-исторические концепции, развитые в первом философическом письме и „Апологии сумасшедшего“. В своем восприятии личности Чаадаева писатель основывался на характере отношения его к католицизму. В деятельном начале католичества Чаадаев видел преимущество перед христианством православным, обреченным, с его точки зрения, на „летаргию“; это деятельное начало католицизма дало благотворный толчок развитию западных народов. Имея в виду это утверждение Чаадаева, еще в „Зимних заметках о летних впечатлениях“ (1862) Достоевский писал: „…только разве один Чаадаев так смело, а подчас и слепо <…> негодовал на многое наше родное и, по-видимому, презирал всё русское“ (Наст. изд. Т. 4. С. 393). О „католической ограниченности“ Версилова, его сочувствии идее Крафта о „второстепенности России“, неверии в „самодеятельность русских как народа“, „презрении к родной земле“ неоднократно говорится в начальный период работы над замыслом романа. С Чаадаевым связывается также ряд биографических и портретных деталей образа Версилова.[206]

Другой исторической личностью, с которой в какой-то мере генетически соотнесен образ Версилова уже в начальный период его становления, является В. С. Печерин (1807–1885). В шестой книге „Полярной звезды“, вышедшей в 1861 г., была опубликована глава

„Былого и дум“ Герцена „Pater V. Petcherine“, в которой подробно рассказывается об общественно-философских исканиях Печерина, ученого и поэта; о его скитаниях по Европе, разочарованиях в ней; о принятии католичества и вступлении в орден, близкий к иезуитам. Существенное место в указанной главе „Былого и дум“ занимает полемика между Герценом и Печериным о роли материальной цивилизации, нашедшая прямой отклик в „Подростке“, особенно в подготовительных материалах к роману (см. об этом выше, с. 729).

Центральной фигурой в литературной генеалогии Версилова является А. И. Герцен. Черновые записи и окончательный текст романа позволяют говорить о совпадении ряда мыслей Версилова с проблематикой книг Герцена „Письма из Франции и Италии“ (1847–1852) и „С того берега“ (1849). Из системы философских и социально-политических идей Герцена Достоевский берет по преимуществу комплекс идей конца 1840-х — начала 1850-х годов, идей периода разочарования писателя в европейской буржуазной демократии (после июньских расстрелов 1848 г.), периода пессимизма и скептицизма. Герцена позднее спасла воскресшая вера во всемирно-историческую роль России. Наделяя Версилова „герценовским“ отношением к Европе, Достоевский пользуется в качестве исторического фона франко-прусской войной (кончившейся разгромом Франции) и сожжением Тюильри в период Парижской коммуны. На интерпретацию взглядов Герцена в романе, как выяснил Долинин, значительное воздействие оказала книга Н. Н. Страхова „Борьба с Западом“, разделы о Герцене из которой были первоначально опубликованы в „Заре“ (№ 3, 4, 11) за 1870 г. С ними Достоевский был хорошо знаком.[207] „Внутренний“ путь Версилова — „бегство“ за границу, скитания, крушение веры в буржуазную Европу. Затем — внезапно охватившая его любовь к матери Подростка, олицетворяющей „Россию, святую Русь“. Все это, как и способность „общечеловеческого боления“, присущая Версилову, соотносится с исповедью Герцена в названных произведениях и с истолкованием их Страховым, считавшим наиболее глубокими чертами личности автора „Былого и дум“ пессимизм и способность „всемирного боления за всех“ (см. также: XVII, 289–290).[208] В галерее лиц 1840-х годов, стоявших у истоков образа Версилова, находился, по-видимому, и литературный персонаж — герой первого романа И. С. Тургенева — Рудин, „странник и скиталец“. Так называет себя Рудин в разговоре с

Лежневым в конце романа: „Рассказать вам всё, что со мною случилось? <…> Всего рассказать нельзя и не стоит… Маялся я много, скитался не одним телом — душой скитался. В чем и в ком я не разочаровался, бог мой! С кем не сближался!“. Эта самохарактеристика не только разделяется Лежневым, но и определяется как человеческая миссия Рудина: „…почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение…“.[209] В черновых материалах к „Подростку“, относящихся к февралю 1875 г., Достоевский пишет: „Узнать о Рудине“ (XVI, 263). Но значительно раньше, в конце марта — апреле 1874 г., Достоевский знакомится с трактовкой Рудина, данной Н. К. Михайловским.[210] Большая часть статьи Михайловского посвящена сравнительному анализу людей 1840-х и 1860-х годов, выяснению причин их „вражды“: „С чего все эти Рудины (Рудин — типичнейшая из фигур сороковых годов) более или менее жестко третируют людей шестидесятых годов, идущих ведь отчасти по их стопам, по крайней мере в генеалогическом смысле, людей, может быть, даже именно ими, Рудиными, вдохновленных?“. Поводом для обращения к этой теме послужила книга М. В. Авдеева „Наше общество (1820–1870) в героях и героинях литературы“ (СПб., 1874. Ч. 1–2). В полемике с Авдеевым Михайловский берет под защиту „детей“, „нигилистов“, в которых видит стремление к „победе идеи народа над отвлеченными категориями цивилизации“. Обвиняя „отцов“, которым „дороги памятники прошлого“, за их желание сохранить эти памятники так, „как они остались, целиком, без урезок“, Михайловский вместе с тем отрицает общественную бесполезность „отцов“. Рисуя общественно-философский портрет человека 1840-х годов, он пишет: „Это был средней руки дворянин, человек достаточно обеспеченный, чтобы получить более или менее правильное в школьном смысле, воспитание, т. е. кончить курс в гимназии и в университете, русском или немецком, а затем еще, может быть, проживать вне государственной службы. Человек в некоторых отношениях весьма тонко и, так сказать, чутко развитый, способный и к ухищреннейшему самогрызению, и анализу лишних людей, и к бужению других пламенным красноречием Рудина, и к наслаждению прекрасным и истинным <…> Не имея, собственно говоря, никаких преданий, стыдясь и презирая прошлое, не имея ничего общего с настоящим, не имея причин веровать особенно сильно в

будущее своего отечества, они, естественно, должны были искать наслаждение в сферах отвлеченной истины и отвлеченной красоты“. Эта характеристика свидетельствует об элементах общности в восприятии типа „человека 40-х годов“ Михайловским и Достоевским (периода „Подростка“). Ощутима эта связь и в трактовке русского „скитальца“. Защищая Рудина, Михайловский продолжает: „Русский человек, вообще говоря, в среднем выводе, гораздо шире европейца. Не приспособившись окончательно к той или другой частной колее, он способен к очень широкому размаху. Но зато и требования он ставит своим лучшим людям безумно широкие. Что делал всю жизнь какой-нибудь Прудон? — «Разговаривал», бил набат, будил совесть, будил мысль — больше ничего <…> Но Европа его все-таки никогда не забудет. А мы оплевали своего Рудина за то, что он непрактичен и только разговаривает! <…> Что Рудин был не бездушный фразер, этого и доказывать нечего, это доказала его смерть <…> Слово этого человека, слабого, но искреннего, грешного, но способного вдохновляться великими идеями и вдохновлять ими других, — было весьма осязательным делом“. В этой же статье Михайловский приводит выражение „citoyen du monde civilisé“,[211] употребленное и Достоевским в черновом автографе исповеди Версилова. Следует отметить, что именно к Рудину обращается Достоевский, защищая русского „скитальца“, наделенного свойством „всемирного боления“, в своей полемике с А. К. Градовским по поводу Пушкинской речи.

Подготовительные материалы свидетельствуют, что в сфере размышлений Достоевского в период работы над образом Версилова находился и другой литературный персонаж — Чацкий. Сравнение Версилова с грибоедовским героем (наметившееся в черновиках) сохранено и в окончательном тексте. Характеристика Версилова здесь отчасти перекликается с той трактовкой героя „Горя от ума“, которая была дана Достоевским в „Зимних заметках о летних впечатлениях“: „Это фразер, говорун, но сердечный фразер, совестливо тоскующий о своей бесполезности“ (Наст. изд. Т. 4. С. 407). Л. М. Розенблюм проследила связь образа Версилова и с интерпретацией Чацкого Достоевским в записной тетради за 1880 г.[212]

В одной из первоначальных характеристик Версилова упоминается имя друга Достоевского, казахского просветителя и известного этнографа Чокана Чингисовича Валиханова (1835–1865): „… всё

рассказывает, как закаливался (страшное простодушие, Валиханов, обаяние)“ (XVI, 43). Достоевский познакомился с Валихановым в Семипалатинске в 1856 г., в 1860 г. они вновь встретились в Петербурге. Валиханов становится членом кружка братьев Достоевских. Именно о нем, человеке большой душевной чистоты, обаятельного простодушия, глубокого ума и безграничной фантазии, Достоевский писал А. Е. Врангелю 31 октября 1859 г.: „Валиханов премилый и презамечательный человек <…> Я его очень люблю и очень им интересуюсь“ (XXVIII, кн. 1, 371). Прослеживая эволюцию, которую претерпел Валиханов на грани 60-х годов, А. С. Долинин показывает, что в воображении Достоевского в период, когда первоначальный образ Версилова смягчается, возникает „поздний“ Валиханов, несмотря на „гусарские разговоры“ и „темные страсти“, сохранивший душевное обаяние и простодушие.[213]

7

Существо „идеи Ротшильда“ было изложено Достоевским еще в записи от 11(23) июля 1874 г., когда было принято решение сделать Подростка героем романа (см.: XVI, 24). „Идея“ оформляется у Аркадия до приезда в Петербург. Трактовка ее в основном соответствует окончательному тексту: истоки — в разного рода ущемлениях, социальных и нравственных, испытанных в детские годы мечтательной и „бесконечно“, „колоссально“ самолюбивой личностью; цель — в обретении могущества и полной свободы. Путь осуществления ее приемлет даже и „злодейства“. Как и в основном тексте, однако, отмечаются внутренние колебания Подростка в ощущении идеи, чувство уязвимости ее (этической или логической — еще неизвестно). Но в отличие от окончательного текста на этой стадии работы идея Ротшильда выносится Подростком за пределы собственного индивидуального сознания и обретает жизнь в диалогах со старшим братом. Сначала Подросток „проговаривается“ о своей тайне, затем излагает идею ЕМУ с „*усиленным* азартом и с *раздраженною* самонадеянностью“ (XVI, 30). Следует отметить, что в период всей подготовительной работы над романом, вплоть до создания связного чернового автографа первой части, Достоевского беспокоит мысль:

каким образом вывести идею Ротшильда из индивидуального сознания героя? Знакомство ЕГО с идеей Подростка вдруг и сразу ставит младшего брата в ЕГО сознании на иную качественную ступень и открывает перспективу для анализа проблемы свободы в разных ее аспектах (см. об этом: XVII, 293–295).

Вопрос о роли идеи Ротшильда в художественной структуре романа, авторской ее оценке, а следовательно, и об организационном принципе сюжета „Подростка“ до сих пор трактуется в научной литературе по-разному. Ряд исследователей считает, что идея героя отодвигается из поля его (и авторского) зрения на второй план, и мотивирует этим обстоятельством композиционную неслаженность, рыхлость романа.[214] Н. Савченко рассматривает „документ“, письмо Ахматовой, которое находится в руках Подростка и делает его „властелином и господином“ чужих судеб, в качестве „материального эквивалента“ идеи Ротшильда. Композиция романа, по мнению Савченко, обусловливается авторским заданием — развенчать идею Подростка, показать несостоятельность ее путем сопоставления с „документом“.[215] Е. Семенов исследует отличие идеи Ротшильда от идеологических построений других героев Достоевского, состоящее в ее „локальности“, ограниченности преимущественно сословными рамками: идея Подростка не затрагивает всеобщих принципов бытия, лишена общезначимости, которая свойственна, например, идеям Раскольникова и Ивана Карамазова. Организующий фактор сюжета исследователь видит в столкновении стремления героя утвердить себя в мире (т. е. стремление реализовать идею) с его нравственными исканиями.[216]

Черновые материалы романа свидетельствуют, что уже по первоначальному замыслу *осуществление* идеи Ротшильда не должно было стать организующим стержнем романа: „ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа“ (XVI, 51). В соответствии с этой конструктивной мыслью автор неоднократно говорит о крахе идеи Ротшильда в сюжете романа. Подросток „поражен“, „раздавлен“, он перенес „погром“, „копление <…> богатства бросил“ (XVI, 48). Останавливаясь на обдумываемом финале, Достоевский пишет: „Он (Подросток. — *Г.Г.*) <…> собирается

с духом и мыслями и готовится переменить на новую жизнь. Гимн всякой травке и солнцу“ (XVI, 48). Последний мотив, столь часто повторяющийся в той части рукописи, где идет разработка образа Макара, возникает, таким образом, еще в первоначальный период работы и связан несомненно с темой „живой жизни“ Версилова. Здесь же продолжается обдумывание сюжетной линии Подростка, устанавливается последовательность событий его биографии в Москве и первых шагов в Петербурге. Уточняются психологические обоснования отдельных действий Подростка (союз с Ламбертом), уясняется роль мотива отданного наследства (противостояние иным по своему этическому наполнению поступкам отца).

Последовательно и настойчиво Достоевский стремится сопоставить идею героя с событиями реального романного времени: „Подросток попадает в действительную жизнь из моря идеализма (своя *идея).* Все элементы нашего общества обступили его разом. *Своя идея не выдержала и разом поколебалась“* (XVI, 128). Идея мыслится как нечто отдельное, качественно разнородное с импульсивными устремлениями и действиями героя: „Первая мысль об идее *отмстить.* Свою идею на время отложил. №. *Свою идею* он только *вначале* принял горячо, а потом за *недосугом* отлагает“ (XVI, 97).

По мере приближения к работе над связным черновым автографом первой части романа друг за другом следуют записи, противопоставляющие „идею“ и „документ“. 14 октября: „… на заговор он решился отнюдь не из идеи, а из страсти“ (XVI, 176). В двадцатых числах октября: „Смысл письма потрясает его, ибо он видит, что Княгиня в его руках и что он ее властелин. Между тем он уже порешил, что бросит всё и уйдет в скорлупу" (XVI, 198). Несколько позднее: „И к чему Ахмакова, к чему документ, зачем я хотел спасать Версилова от врагов его, — я только этим изменял идее“ (XVI, 220). 2 ноября: „… в фабуле должна быть неуклонно главная идея: стремление к *поджогу* Подростка, как совращение от своей идеи“ (XVI, 223). И вскоре в наброске под заглавием „Общее главнейшее“ — объяснение тех нравственно-психологических мотивов, которые толкали Подростка к „поджогу“: „Вся эта история есть рассказ о том, почему я отдалил идею? Потому, что увлекся идеей, страстным долгом реабилитировать ЕГО, имея документ“ (XVI, 230). И ниже — повторение: „реабилитировать ЕГО через документ“. „При входе в мой роман, в

котором я действительно познал этого человека, а может быть, и самого себя, я хочу рассказать мою идею“ (XVI, 237) — так сопоставляются Подростком его идея и нравственный идеал, желание утвердиться в котором поглощает его в момент приезда в Петербург не меньше, чем его тайна.

Об этом свидетельствуют и окончательный текст, и черновики. Показательна, например, запись от 14 октября: „…Подросток предчувствует, что ЕГО идея — выше, гордее и благороднее, чем его. В чем же состоит ЕГО идея? *Весь роман угадывает“* (XVI, 175; курсив наш. — *Г.Г.).* „… вот человек, по котором так долго билось мое сердце“, — говорит Аркадий об отце. „ОН был оклеветан и опозорен, все эти жалкие люди не стоили ЕГО подошвы“ (XVI, 236). Все поступки отца соотносятся Аркадием с „легендой“ о нем („Эмской историей“), ставшей известной еще в Москве, и подвергаются нравственной оценке. Определяя главную идею второй части романа, Достоевский пишет: „… во всё время кутежа и исступления Подростка и затменья он должен страстно и в волнении следить за отцом, примиряться, отчаиваться, жить в его характере и в его пертурбациях. Ибо поразил отец раз навеки <…> Он следит за каждым ЕГО шагом“ (XVI, 225, 230). ОН возвращает наследство. „… это страшно повлияло на Подростка, и он решил: никогда и ни за что не пользоваться документом против Княгини. *ЭТО НИЗКО!“* (XVI, 231). В столкновениях Подростка с отцом важен сам процесс узнавания. Тайна, заключенная в личности отца, безусловная истинность и глубина его страдания делают этот процесс узнавания бесконечным и то и дело ставят Подростка в тупик, заставляя переоценивать поступки отца.

Нравственный аспект в самооценке героем своей идеи присутствует на самых начальных стадиях ее художественной разработки: „Неужели моя идея запретит мне делать добро? Неужели она вредна для других?“ (XVI, 107). Наличие этого аспекта в окончательном тексте очевидно из двух анекдотов, рассказанных Подростком в заключение пятой главы первой части романа.

Черновые наброски свидетельствуют также, что с самого начала Достоевский сознательно ограничивает сферу „жизни“ идеи рядом сцен лишь первой части романа: „ЗАДАЧА. Чтоб к концу 1-й части читатель предчувствовал важность окончания (идеи) и дальнейшего развития мысли романа и интригу“ (XVI, 93). Этическая оценка поступков (своих

и чужих) трансформирует личность героя, а следовательно, и идею самоутверждения.

В своих истоках идея Подростка восходит к ряду предшествующих произведений Достоевского. Хотя и без той философской нагрузки, которую несет в „Подростке“, она определяет тему повести „Господин Прохарчин“ (1846), образ титулярного советника Соловьева, который вводится в фельетон „Петербургские сновидения в стихах и прозе“ (1861), присутствует в „Идиоте“ (Ганя) и неосуществленных замыслах 1866–1869 гг. (<Ростовщик>, <Роман о князе и ростовщике>, „Житие великого грешника“).[217]

Идея Подростка имеет и свою литературную традицию, восходящую прежде всего к Пушкину („Скупой рыцарь“, „Пиковая дама“) и Герцену (глава „Былого и дум“ „Деньги и полиция. — Император Джемс Ротшильд и банкир Николай Романов. — Полиция и деньги“) (подробнее об этом см.: XVII, 297–299).[218]

Генезис „идеи Ротшильда“ в „Подростке“ А. С. Долинин связывал и со статьей Н. К. Михайловского о „Бесах“, в которой критик, обращаясь к Достоевскому, писал: „В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла <…> рисуйте фанатиков собственной персоны <…> богатства для богатства“. Также по мнению А. С. Долинина, „идея“ Аркадия подготовила некоторые грани того „психологического портрета“ Н. А. Некрасова „как человека частного“, который был дан Достоевским в некрологе поэта в „Дневнике писателя“ за 1877 г.[219]

Философское наполнение тема „Ротшильда“, „царя иудейского“, получает уже в „Идиоте“ в связи с переосмыслением работы Г. Гейне „К истории религии и философии в Германии“, опубликованной в журнале Достоевского „Эпоха“ (1864. № 1–3), где иронически соотнесены Христос и Ротшильд. Публикация была сделана в сокращении. В полном тексте работы (несомненно известном Достоевскому) присутствовала „язвительная параллель“ между „царем иудейским“ Ротшильдом и Христом, нашедшая своеобразную художественную интерпретацию в образах Гани Иволгина и князя Мышкина[220] (см. также: XVII, 298–299).

8

Важнейший момент в становлении замысла романа — знакомство Достоевского с материалами процесса долгушинцев. Узнал о нем писатель еще в Эмсе (см. об этом выше, с. 722–723). 11 августа 1874 г. он писал из Старой Руссы В. Ф. Пуцыковичу: „Две недели назад, в бытность мою проездом в Петербурге, когда Вы так обязательно обещали мне собрать по газетам процесс Долгушина и К°,— я не успел зайти к Вам за газетами, буквально не имея минуты времени. Сим же спешу предуведомить, что на днях зайдет к Вам в редакцию одна дама, которую я просил об этом, и если процесс у Вас уже был для меня собран, то не откажите вручить №№. Князь советовал мне читать по «Московским ведомостям», да и сам я знаю, почему там интереснее. Итак, прошу убедительнейше, или по «Московским» или, если уж нельзя, то по «Голосу». №№ эти мне капитально нужны для того литературного дела, которым я теперь занят" (XXIX, кн. 1. С. 361).

Дело долгушинцев слушалось в Сенате с 9 по 15 июля 1874 г. Они обвинялись „в составлении преступных воззваний, в напечатании и распространении их с целью возбуждения населения к бунту“.[221] Материалы процесса почти без изменений публиковались в ряде газет. В том числе в „Правительственном вестнике“, „Московских ведомостях“, „Голосе“. Часть из обвиняемых уже привлекалась к следствию по делу С. Г. Нечаева (кружок „сибиряков“).[222] Это обстоятельство отмечалось в материалах процесса дважды. Пятеро из обвиняемых были осуждены на каторжные работы (от пяти до десяти лет) с лишением всех прав. Среди них техник А. В. Долгушин, организатор кружка, автор прокламаций „Русскому народу“ и „К интеллигентным людям“,[223] инженер Л. А. Дмоховский (дворянин),[224] которого прокурор назвал „главным идейным вдохновителем кружка“; участвовавшие в печатании и распространении прокламаций бывшие студенты И. И. Папин и Н. А. Плотников и, наконец, учитель Д. И. Гамов (дворянин), также распространявший прокламации. Обвиняемый бывший крестьянин Ананий Васильев в процессе следствия получил нервное заболевание и вскоре после процесса сошел с ума. Учительница А. Я. Ободовская и гражданская жена Дмоховского — Сахарова, сын священника И. Ф. Авессаломов (у него были

обнаружены единичные экземпляры прокламаций), Э. Э. Циммерман (за помощью к нему обращался Ананий Васильев), В. Сидорацкий и А. С. Чиков[225] — были отданы под арест от трех дней до пяти месяцев. Все публиковавшиеся в газетах сведения о социальном происхождении, образовании, семейном положении, возрасте долгушинцев были детально изучены Достоевским. В сфере его внимания — внешний вид обвиняемых, район Петербурга, где собирался кружок в первый период своего существования, описание комнаты Долгушина, в которой проходили собрания кружка уже под Москвой. Все эти материалы были использованы Достоевским в 3-й главе первой части романа. Прототипы ряда дергачевцев (Долгушин — Дергачев, Папин — Тихомиров, Ананий Васильев-крестьянин Тверской губернии, работавший у Дергачева), бытовые и иконографические реалии, почерпнутые Достоевским из материалов процесса, восстановлены А. С. Долининым.[226]

Третья прокламация долгушинцев называлась „Как должно жить по закону природы и правды“. Она являлась переложением брошюры В. В. Берви-Флеровского „О мученике Николае и как должен жить человек по закону природы и правды“. Тема прокламации связана с вопросом „о нормальном человеке“. Этот вопрос и был одним из центральных в прениях долгушинцев. В отчете процесса приводятся следующие слова А. Д. Долгушиной: „Иногда <…> собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов, из которых главнейший был вопрос о «нормальном человеке». При этом разбирались потребности человека с его физиологической стороны, и мы пришли к тому убеждению, что бедность и невежество суть главнейшие причины, почему большинство не удовлетворяет своим физиологическим потребностям“.[227] Именно эту идею о „нормальном человеке“ Достоевский и берет из всей системы общественно-философских воззрений долгушинцев, делая ее в окончательном тексте центральным пунктом спора Подростка с кружком Дергачева.[228] Истоки этого спора восходят к „Запискам из подполья“, где Достоевский развернул полемику с теорией „разумного эгоизма“ Чернышевского и другими деятелями демократического лагеря „шестидесятников“, считавшими себя единомышленниками Чернышевского (см.: V, 379–382). Оформляются характер полемики Аркадия Долгорукого и ее тема уже в последний период работы над первой частью романа. В подготовительных материалах тема о несовместимости „срединной

выгоды“, „разумности“, с одной стороны, и „полноты личности“ — с другой, затрагивается в одном из диалогов Подростка с Версиловым. К тому же времени относится запись Достоевского: „Стараться жить по закону природы и правды“ (XVI, 208).

Необходимо отметить также, что в книге В. В. Берви-Флеровского „Положение рабочего класса в России“, вышедшей еще в 1869 г., значительное место занимает вопрос о роли „материальных средств“, „материального благосостояния“ в истории развития человечества. Берви-Флеровский пишет о том, что счастье человека пропорционально не массе материальных благ, принадлежащих ему, а „массе физических и интеллектуальных сил, которыми он обладает“ (с. 460). Периоды цивилизации, когда люди стремятся к накоплению материальных средств, Флеровский определяет как „уродливые“. Вся эта проблематика его работы подробно изложена в рецензии Д. Анфовского (Н. В. Берга), опубликованной в „Заре“ (1870. № 1. С. 142–177). Интерес к полемике Герцена и Печерина о роли „материальной цивилизации“ в развитии общества, о котором свидетельствуют роман „Идиот“ и черновые записи к „Бесам“, должен был обусловить внимание Достоевского и к указанной рецензии на книгу Берви-Флеровского. Критика Берви-Флеровским стремления к „материальному благосостоянию“ как проявления уродливой стороны личности сливается с критикой Достоевским идей „второстепенных“. Упоминание в процессе долгушинцев имени Берви-Флеровского как автора прокламаций — в период оформления „великой идеи“ Версилова (противостоящей идеям „второстепенным“ — см. об этом выше, с. 728) — могло в значительной степени обусловить то внимание Достоевского к выяснению позитивных сторон идей долгушинцев, которое столь очевидно в августовских черновых записях.

В окончательном тексте на стене в квартире Дергачева Подросток читает слова Гиппократа (эпиграф к „Разбойникам“ Шиллера), фигурировавшие в материалах процесса: „Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!“ („Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо, чего не исцеляет железо, исцеляет огонь!“). Цитата эта появляется в черновиках в августе, в начальный период становления темы долгушинцев. И в окружающем контексте она выполняет — по сравнению с окончательным текстом — противоположную идейно-художественную функцию: „Разговор

нигилистов (в восторге): „Quae medicamenta non sanant“ и т. д., а потому пустить красного петуха повсеместно по городам и деревням, с того и начать. Вот как я понимаю *(говорит это шпион, ему возражают)"* (XVI, 80; курсив наш. — *Г.Г.).* О необходимости пожаров говорит провокатор, но с ним не соглашаются. Достоевского привлекает самоотверженность нового поколения, его преданность идее в атмосфере „всеобщего разложения“.

Отмечая возрастающую в новой общественной ситуации роль интеллигенции, Достоевский много раз говорил в „Дневнике писателя“ за 1873 г. о том, что ее представители обязаны помочь народу „найти себя“, обязаны „поддержать его“. Это должны сделать *„все наши передовые умы,* — пишет Достоевский в главе „Мечты и грезы“, — *наши литераторы, наши социалисты, наше духовенство* и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестию своего долга народу" (курсив наш. — *Г.Г.).* Достоевский не приемлет пути, предлагаемого долгушинцами для устранения беспорядка, считает их идею „второстепенной“, но высокие нравственные стимулы их бескомпромиссного служения своему делу для него очевидны. В период подготовки к печати первой части романа, в конце ноября 1874 г., писатель соотносит искания долгушинцев с „живой жизнью“, с искомым и недоступным для Версилова гармоническим идеалом: „Васин про своих <…> они движутся живой силой. Они нужны для беспрерывного доказательства, что живая жизнь (сила) вне центра. Пусть они и слабы, и ничтожны, но они для непрестанности примера нужны (необходимы). Не перестают и не иссякают. Не смущайтесь их ничтожеством: потом, когда до настоящего дела дойдет, явятся и ум, и знание“ (XVI, 233). Этическая сущность „правды“ долгушинцев в истоках своих объективно совпадала — в ряде своих положений — с сущностью христианского учения, хотя долгушинцы и были противниками христианства. Идея искренней и глубокой любви к человечеству, „религия равенства“ как истоки и цель их стремлений проходят через все прокламации долгушинцев. Содержание прокламаций, излагавшееся в газетных материалах процесса, давало об этом достаточно отчетливое представление.[229] В газетных отчетах Достоевский мог почерпнуть и другие факты для размышлений над волновавшей его темой о соотношении социализма и атеизма. У подсудимых И. Папина и Д. Гамова при обыске были обнаружены

Евангелия. Экземпляр Папина был испещрен пометами. Значительная часть отмеченных текстов была использована в прокламациях „Русскому народу“ и „Как должно жить по закону природы и правды“.[230] В газетном отчете были приведены номера глав и текстов Евангелия от Матфея, вошедших в прокламацию. Часть их цитировалась. Указывалось также более 50 текстов, отмеченных Папиным, но в прокламации не вошедших.[231] Выделенные евангельские сюжеты связаны преимущественно с темами „искушения дьявола“ (гл. 4), „бесплодной смоковницы“ (гл. 3) и „нагорной проповеди“, трактующей о неизбежности страданий в борьбе за правду и необходимости перенесения их (гл. 5). Именно эти темы оказываются в центре внимания Достоевского в первой половине августа 1874 г., когда в подготовительных материалах появляются неоднократные свидетельства его знакомства (хотя еще и не детального) с процессом долгушинцев. „Искушение дьявола“ и обоснование „второстепенности“ идеи социализма — суть диалогов Версилова с Подростком.

В этот период проблема „отцов и детей“ оформляется в качестве центральной. Знаменательна и следующая запись Достоевского: „ОН, например, атеист, а вдруг толкует Подростку нагорную проповедь, но не решает ничем“ (XVI, 43). В записях более поздних тема „искушения дьявола“ возникает в диалоге Версилова с дергачевцем Васиным (XVI, 104), а мотивы „нагорной проповеди“ ощутимы в словах Версилова о том, что „настоящий нигилист не может, не должен, не смеет ни с чем из существующего примириться. На сделки он не смеет идти ни под каким видом да и знать должен, что никакая сделка решительно невозможна“ (XVI, 285).

По первоначальному замыслу, долгушинцам отводилась одна из конструктивных ролей в идейно-художественной структуре романа. В черновых записях с дергачевцами сталкивается ряд действующих лиц: ОН, Подросток, Лиза (в августовских набросках ей 18 лет), Княгиня. В первых же записях действия Подростка у Дергачева относятся к „вопросам“ „главным“ (XVI, 59), упоминается о разговоре Подростка с „коммунистами“ (XVI, 62). По планам середины августа, он посещает дергачевцев в один из первых вечеров после приезда в Петербург. Размышления Подростка о них должно и завершать роман. По одному из вариантов, на Аркадия падает подозрение в предательстве. Подозрение снимается. Но Подросток „был обижен подозрением и с

оскорбленной душой со всех сторон не знал, к кому пойти. (Муки)“ (XVI, 64). По ряду набросков, его вместе с дергачевцами арестуют. В архитектонике романа этого периода в качестве главных выделяются сюжетные узлы, в которых ОН и дергачевец Васин выступают как равноценные и уважающие друг друга оппоненты идеи Подростка. Васин — „идеальный нигилист“ — наследует от „идеального“ школьного учителя первоначальных набросков к роману „спокойствие и холодность“. Он не верит в немедленную осуществимость революции (и в этом своем убеждении восходит к теоретическим высказываниям П. Л. Лаврова):[232] „…хоть революция и ни к чему теперь у нас не послужит, но все-таки, так как иначе заниматься нечем, *надо* заниматься революцией. Выгоды прямой — никакой, разве та, что *идея* поддерживается, примеры указываются и получается беспрерывный опыт для будущих революционеров“ (XVI, 65–66). Васин — „старший в тайном обществе“. Другие участники общества во многом с ним не согласны, „а иные враги и даже подозревают ЕГО“ (XVI, 84). Их расхождения, в частности — в анализе этической стороны французской революции в период якобинской диктатуры, в оценке „хождения в народ“ и характера „обращений к народу“. Подросток делается заинтересованным свидетелем их диспута: он „не с ними“, но „самый ярый социалист“ производит на Аркадия „наиболее впечатление прекрасного“ (XVI, 65).

Неоднократно разрабатывается в этот период сцена свидания Васина и ЕГО, будущего Версилова. Проблематика их диалогов (о „всеобщем распаде“, беспорядке, „великой идее“) побуждает ЕГО отделить истинный нигилизм („всегда связанный с социализмом“) от нигилятины („Нигилятина. Это — Ламберт“). Явственны симпатии ЕГО к „беспредельной“, „сумасшедшей“ вере „истинных нигилистов“. Характеризуя социализм как убеждение „разрушительное“ (XVI, 77, 80, 81 и др.), а потому — как явление „нравственного беспорядка“, ОН не может не признать его единственным „страстным убеждением“ своего времени.

Существенно, что в отличие от „Бесов“, где нигилисты отрицают заслуги своих „отцов“ (западников 40-х годов), Васина Версилов „интересует“, он видит в Версилове личность „сильную“ и „гордую“, способную „задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить“ (с. 194). Мнение Васина о Версилове, высказанное

Подростку в самом начале романа, оказывается самым проницательным из всех суждений об отце, выслушанных Подростком до исповеди Версилова. Существенно и то, что в набросках к роману, относящихся к августу — ноябрю 1874 г., Васин и Версилов выступают как равноправные оппоненты „идеи“ Подростка.

Особо следует отметить, что в подготовительных записях к роману дважды упоминается имя петрашевца Н. А. Спешнева. Один раз с его именем ассоциируется образ молодого человека, бывшего на сходке у Долгушина, богатого помещика, проповедовавшего в целях революции необходимость считаться с техникой. О нем говорится: „Отчасти Спешнев“. Другой раз — в разработке психологического рисунка характера Версилова: „ОН только отвечает чрезвычайно радушно на все вопросы Подростка, а сам прималчивает (Спешнев)“[233] (XVI, 259). Это соотнесение с одним и тем же историческим лицом носителя „идеи великой“ и идеи „второстепенной“ представляется существенным: оно свидетельствует об определенных изменениях в мироощущении Достоевского середины 70-х годов.

9

Теоретическая жизнь идеи требует вынесения последней за пределы сознания носителя. Уже отмечалось, что эта проблема встала перед Достоевским одновременно с изложением идеи Подростка. В окончательном тексте Версилов ее проницательно угадывает: идея Аркадия „носилась в воздухе“, была идеей времени. Характерен следующий диалог о ней в черновиках: „Это не ново, или, может быть, план состоит в способе?“ — замечает ОН. „Нет, и в способах ничего нет“, — отвечает Подросток. Тем не менее в период работы над замыслом романа в августе Достоевский разрабатывает ряд вариантов раскрытия Подростком своей „тайны“. Адресатами его исповеди делаются то Лиза (она еще сводная сестра его), то ОН, то Васин. Признания Аркадия каждый раз сопровождаются немедленным раскаянием в том, что „выдал идею“, „раскрыл тайну“, дал возможность овладеть собственной личностью другим. Затем эти варианты отвергаются. И уже в черновых набросках сентября идея Подростка угадывается и дергачевцем Васиным и ИМ.

В августовских записях идея Ротшильда объединяет в сознании Подростка систему „аргументации против“, выдвигаемую Версиловым и Васиным. В окончательном тексте романа идея Аркадия дискредитируется сцеплением фактов и идеологических моментов, связанных с образами Версилова и Макара. В подготовительных материалах фигура Макара Долгорукого появляется лишь в сентябре, и это знаменует начало нового, четвертого периода работы над сюжетом романа. В набросках, сделанных в течение сентября и октября, идею Подростка колеблют и Версилов, и Васин, и Макар.

Идея Ротшильда для НЕГО — свидетельство индивидуальности Подростка. Он видит в нем личность, способную противостоять, бороться. А „богатырство“ ОН считает выше „счастья“ (XVI, 183). Потому в идее сына ОН видит „занятное“, „хорошее“. Но одновременно говорит ему: „Этой идеей ты можешь тоже свидетельствовать о нравственном беспорядке. Ты хочешь удалиться в *свою* нору от всех и берешь к тому меры“ (XVI, 81). Затем начинается дискредитация идеи: „наживать деньги бесчестно… Ну, ты купил дешевле, перепродал дороже — два раза обманул“; „ОН говорит Подростку в final'e в тоске, что идея его об уединении ниже по гордости, полному прощению, не мщению. К тому же в Ротшильде подленькая мысль о самообеспечении“ (XVI, 107); ОН „высоко осуждает <…> Ротшильда. Зовет его на вериги“ (XVI, 182). Записи подобного рода неоднократны. Васин также признает в Подростке личность и, говоря о неправильном, с его точки зрения, приложении сил, зовет Подростка к себе, к дергачевцам. Для Аркадия неприемлемо предложение Васина. Но мнение его об идее Ротшильда небезразлично для Подростка: „Васин говорит Подростку о безнравственности конечной цели его своей идеи, животное удовлетворение и проч.“ (XVI, 156); „ОН его разочаровывает насчет Ротшильда и Васин.“ (XVI, 97); Подросток „страдает от сомнений в продолжение романа, то от аргументов Васина, то от ЕГО“ (XVI, 10S).

Этот нравственный критерий, применяемый при оценке идеи Ротшильда, а следовательно, и личности ее носителя, его реальных и возможных поступков, ощущается Подростком. Степень активности его при этом обусловлена чувством правоты оппонентов: носитель „идеи“ в своей повседневной жизни часто оставляет „свои обязанности человека“ (XVI, 158), *„в своей идее,* хоть и нравится еще уединенное мщение, но мирится и со всяким падением“, „проповедует *внутри себя,* при каждом

приключении своем, что разврат, даже подлость, даже пошлость, даже трусость — лучше, для своей же идеи лучше“ (XVI, 158–159). 14 октября, подводя итоги почти четырехмесячному идейно-художественному испытанию „идеи“ Подростка, Достоевский пишет: „Подросток берется из Москвы весь проникнутый *идеею* и верный *ей.* Он вооружен ею и едет на борьбу и знает это. Он уже пожертвовал ей кой-чем: именно отчуждением трехлетним, укреплением характера и коплением, и отказом от высшего образования, нарочно для идеи. В Петербурге *его идея* подвергается ущербу и потрясениям от многих причин, именно: 1) от столкновения с людьми и от того, что не утерпел и обнаружил идею: *стыд за нее;* 2) социализм пошатнул верование: хочет и идею и остаться благородным; 3) свысока отношение ЕГО к идее <…> 4) столкновение с жизнью, сластолюбие, честолюбие, не свое общество, Молодой Князь <…> Всё рушится через обиды, которые вновь возвращают его к своей идее, но уже не теоретически, а взаправду, озлобленного и желающего отомстить <…> 5) отношение к Княгине, честолюбие, страсть и заговор <…> Но на заговор он решился отнюдь не из идеи, а из страсти; 6) Макар Иванов и те. Потрясающее впечатление, но не уничтожающее идею“ (XVI, 175–176).

Материалы конца октября содержат ряд записей с повторяющимся заглавием: „Вот моя идея так, как она мне тогда представлялась“ (XVI, 213); „Своя идея так, как я ее понимал тогда“ (XVI, 218, 219); „Своя идея“ (XVI, 222). Завершающее оформление образа „идеи“ происходит с позиций ретроспективных, когда герою уже очевидна нравственная ее несостоятельность. В окончательном тексте романа Аркадий, говоря об идее, почти всегда указывает на эту ее эволюцию: им проводится четкое различие между идеей „тогда“ и идеей „теперь“. Здесь же параллельное сопоставление аргументов ЕГО и Васина, обнажающих этическую несостоятельность идеи Подростка, отсутствует. Васин из страстного оппонента ЕГО и частого собеседника Подростка превращается в фигуру почти эпизодическую. Но испытание ротшильдовской идеи системой аргументации дергачевцев остается, хотя и приобретает другую форму. Присутствие на собрании дергачевцев не колеблет идею Аркадия в собственном его сознании. Свою идею-чувство герой противопоставляет умонастроениям дергачевцев. Важно здесь и другое. На собрании дергачевцев излагается не только суть их идей и идеи Аркадия, но обнажается и характер обоснования — „математичность“.

В художественной системе Достоевского начиная с „Записок из подполья“ „математичность“ идеи героя есть свидетельство ее несостоятельности, обреченности, оторванности от „живой жизни“. „Вера и математические доказательства — две вещи несовместимые“, — писал Достоевский вскоре после окончания „Подростка“, в мартовском выпуске „Дневника писателя“ за 1876 г. А именно „выдуманность“ („я выдумал мою идею“), „математичность“ („докажу, что достижение моей цели обеспечено математически“) стояли у истоков идеи Ротшильда.

В черновиках тезис Крафта о „второстепенности“ России, обсуждаемый дергачевцами, излагается не как тезис, доказанный „математически“, а как „вера всецело“, „полное убеждение“, господствующая мысль, „которой подчиняются ваш ум и сердце“, „которая засела в сердце в виде чувства“ (XVI, 209–210). На этой стадии работы термин „идея-чувство“ еще отсутствует. С ним ассоциируются определения, которые употребляет Крафт. Обоснование для своей „господствующей мысли“ он видит во всеобщем хаосе, беспорядке, царящем в России: „…прежде был хоть *скверный, но порядок*, теперь никакого <…> Хуже того, что есть, никогда не было <…> это непоправимо“ (XVI, 206). При этом Крафт почти дословно повторяет слова ЕГО из предшествующих набросков: „В это царствование от реформ пропала общая идея и всякая общая связь. Прежде хоть какая-нибудь, да была, теперь никакой. Все врознь. Был хоть гаденький порядок, но был порядок. Теперь полный беспорядок во всем“ (XVI, 185–186). Решение Достоевского устранить из сюжета нравственное опровержение идеи Подростка Васиным сопровождалось существенной перестройкой образа Крафта и всей сцены собрания дергачевцев.

В окончательном тексте тема долгушинцев не находит того широкого воплощения, которое намеревался уделить ей Достоевский, судя по черновым наброскам. Уже в период работы над третьей частью романа Достоевский писал: „К чему служат Васин и Дергачев в романе? Ответ: как аксессуар, выдающий фигуру Подростка, и как повод к *окончательному разговору* Подростка с НИМ“ (XVI, 395). То есть как повод к центральной исповеди Версилова.

О неподвластности человеческой природы законам математики Достоевский говорил еще в „Зимних заметках о летних впечатлениях“, „Записках из подполья“, „Крокодиле“. В „Преступлении и наказании“

он развенчивает нравственную „казуистику“ Раскольникова, покоящуюся на математических построениях.[234] А в 1871 г. романист вновь сталкивается с математическими „выкладками“, вызывающими определенные ассоциации с нравственной „казуистикой“ Раскольникова, в материалах процесса по „нечаевскому делу“. Обвиняемый П. Г. Успенский оправдывал убийство студента И. Иванова следованием логической необходимости: „…наша цель была — достижение общего блага. Я поясню мою мысль примером: у больного делается ампутация какого-нибудь члена для того, чтобы сохранить и исцелить организм. Таким образом объясняется то действие, которое было совершено над Ивановым; он мог погубить всю организацию, и вред, который мог нанести этим, можно вычислить математически. Если нас 80 человек и если взять только год заключения каждого из нас по меньшей мере, то выйдет 80 лет заключения за одного человека, а если заключение увеличить до 5 лет, то выходит 400 лет и т. д…“.[235]

Еще до „нечаевского процесса“ в русской периодике развернулась полемика вокруг проблемы о применении „методов математических“ в науках нравственных, экономических и социальных. Причиной полемики послужило обсуждение позитивной философии Огюста Конта (подробнее об этом см.: XVII, 378–379).[236] В 1870 г. в эту полемику включился Н. К. Михайловский (см. там же), показавший несостоятельность намерений перестроить общественную науку при помощи „математики“, невозможность приложения последней к сферам социальной и физиологической. Развенчание Достоевским „математических“ построений Подростка, изображение несостоятельности „математических“ доказательств в области физиологии (Крафт с его идеей „второстепенности“ России) свидетельствуют о возможном знакомстве Достоевского с полемикой 1869–1871 гг. вокруг позитивной философии О. Конта. Мысль Достоевского о неприложимости „математических“ приемов к наукам нравственным и социологическим объективно совпадает с точкой зрения Н. К. Михайловского. Но важно отметить, что носителем идеи „второстепенности“ России, основанной на математических доказательствах, делается в романе участник кружка Дергачева. Это обстоятельство могло сыграть известную роль в заявлении, сделанном Михайловским сразу же после знакомства с третьей главой первой части романа, где излагается „математическая идея“ Крафта: „…сцена у

Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер. Будь роман на этом именно мотиве построен, «Отечественные записки» принуждены были бы отказаться от чести видеть на своих страницах произведение г-на Достоевского, даже если бы он был гениальный писатель“.[237] С 5 февраля до середины февраля 1875 г. Достоевский находился в Петербурге, где читал корректуру второй половины первой части романа (см. письма его к А. Г. Достоевской от 6, 7 и 12 февраля 1875 г. — XXIX, кн. 2, 8-12). В это время он неоднократно бывал в редакции „Отечественных записок“. Там, по-видимому, и состоялся разговор о месте, которое займет тема дергачевцев в романе, позволивший Михайловскому уже в февральском номере журнала выступить с приведенным выше заявлением.

10

В конце августа 1874 г. идейно-психологическая разработка характеров и сюжетных узлов, общая структура романа в целом представляется Достоевскому столь продуманной, что 1 сентября он делает подробный набросок плана первой части, излагает последовательность сюжетных коллизий второй и приступает к разработке развернутых диалогов начальной главы первой части. Содержание ее определяется так: „Что такое мой отец?“. В августе же рядом с записью, излагающей „суть романа“, Достоевский делает помету: „Обдумать всё это pro и contra“ (XVI, 86).

С записи, датированной 8 сентября, в разработке сюжета происходят существенные изменения — намечается сюжетный каркас, во многом соответствующий окончательному тексту. Подросток, Лиза (уже не „хищный тип“, а „ангельский“), 8-летний болезненный мальчик делаются незаконными детьми ЕГО. Мачеха становится их матерью (см. также: XII, 6, 368). Она олицетворяет „русский тип (огромный характер)“. ЕМУ 50 лет. ОН женится на молодой родственнице Старого Князя (по другим планам — собирается жениться). Одновременно у НЕГО любовь-ненависть к Княгине, дочери Старого Князя (ей 26 лет). У Лизы роман с Молодым Князем. В отличие от основного текста в финале романа несколько смертей: умирают мать, Лиза, маленький мальчик, по ряду вариантов — Молодой Князь. ОН сходит с ума (по

другому плану — вешается в монастыре). Кардинальные изменения в сюжете романа связаны с появлением нового действующего лица — странника Макара Иванова. Макар — „христианин православный, высшая противоположность ЕМУ“ (XVI, 247), символ „исконной народной правды“. Он- „муж на подставу“, мать Подростка — жена его. Макар неожиданно „является“ в Петербург и умирает в случайном семействе Версилова. Большая часть пространной записи от 8 сентября представляет собою короткие и бессистемно расположенные высказывания странника Макара, перемежающиеся ветхозаветными, евангельскими и апокрифическими сюжетами. Часть из них Макаром толкуется. Здесь же — обрывочные диалоги Макара с НИМ (о назначении России), Подростком (о неизбежности роста чувства вины на пути совершенствования), Лизой (о всепрощении). Истина Макара — в проповеди равенства нравственного. Самосовершенствование он трактует как „великий подвиг“, который каждому надо начинать с себя. В исповедальных монологах ЕГО о матери и Макаре раздвигаются границы частного. „Смирение и кротость“ матери соединены в ЕГО рассказах с „настоящей силой духа“ и твердостью, готовностью идти на муки за то, что „считается у них святым“. Обобщающее местоимение *у них* Достоевский вписывает над строкой, и в следующей ниже характеристике Макара дается обобщенный народный образ, противостоящий ЕМУ, оторванному от коренных русских верований.

В главе „Дневника писателя“ за 1873 г. „Одна из современных фальшей“, имеющей столь большое значение для становления замысла романа (см. выше, с. 722), Достоевский писал о том, что трудности на пути познания „добра“ и „зла“, „возврата к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного“ — не одинаковы для всех. Сложнее они для тех представителей русских семейств, в которых разрыв с народом „преемствен и наследствен еще с отцов и дедов“. Сделав Подростка сыном дворянина и крестьянки и навсегда связав семейство Версилова с Макаром, Достоевский в известной мере „облегчает“ герою познание того, „что добро“ и „что зло“.

Вскоре после введения в сюжет Макара в подготовительных материалах появляется следующий набросок, концентрирующий всю основную проблематику романа: „В романе все элементы. Цивилизованный и отчаянный, бездеятельный и скептический, высшей интеллигенции — ОН. Древняя святая Русь — Макаровы. Святое,

хорошее в новой Руси — тетки. Захудалый род-М<олодой> К<нязь> (скептик и проч.). Высшее общество — смешной и отвлеченно-идеальный типы. Молод<ое> поколение — Подросток, лишь с инстинктом, ничего не знающий. Васин — безвыходно-идеальный. Ламберт — мясо, материя, ужас — проч.“ (XVI, 128). Основной литературный источник, на который ориентировался Достоевский при работе над образом Макара, — некрасовский „Влас“, самый же характер ориентации освещен А. С. Долининым и В. А. Тунимановым.[238] Последний проанализировал также биографические воспоминания писателя, которые вбирает в себя личность народного странника в „Подростке“ (стародубовский старовер из „Записок из Мертвого дома“, мужик Марей, поразивший детское воображение Достоевского). В подготовительных материалах Достоевский говорит о связи образа Макара с толстовским Платоном Каратаевым. В „Дневнике писателя“ за 1877 г. проблематика, воплощаемая в образе Макара, ощутимым образом сказывается в интерпретации Достоевским личности Левина в „Анне Карениной“ и его отношении к народу. Отмечалась не раз тесная духовная связь Макара с Тихоном („Бесы“) и Зосимой, в ранних черновых набросках именуемым тоже Макаром („Братья Карамазовы“). [239]

Макар воплощает в себе, по замыслу Достоевского, лучшие, исторически сложившиеся черты русского народа. И „как народ, — замечает Достоевский в подготовительных материалах, — принадлежит к дворянству“ (XVI, 433). Не случайно писатель наделяет его княжеской фамилией — Долгорукий. Версилов, специально останавливаясь на „генеалогии“ Макара, говорит Подростку: „Заметь, что Макар Иванович до сих пор всего больше интересуется событиями из господской и высшей жизни“ (с. 516). В рассуждениях молодого Сокольского в подготовительных материалах есть существенный момент, не отраженный в основном тексте. Сознавая собственное „разложение“, он „поражается“ личностью Макара, говорит о необходимости начинать изменения с себя и добавляет: „Тогда я *настоящим князем буду*“ (XVI, 242; курсив наш. — *Г.Г.)*. Древняя княжеская фамилия — Сокольский — отнюдь не вводит его в круг „истинного“, „настоящего“ дворянства, той „тысячи“, о которой столь часто говорит Версилов.

Здесь важно отметить, что на грани 70-х годов появились работы, освещающие историю рода Долгоруких. Этой теме большое внимание

уделяет С. М. Соловьев в своей „Истории России с древнейших времен“ (СПб., 1869. Т. 19).[240] В 1870 г. публикуется работа „Судьба князей Долгоруких при императрице Анне“ в журнале „Заря“ (№ 6. С. 152–170; № 7. С. 171–193). Этой публикации предшествовало обширное исследование, изданное под редакцией В. Долгорукого, „Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутияские“ (СПб., 1869). Через год после выхода этой книги ее редактор, князь В. А. Долгорукий, оказался на скамье подсудимых, скомпрометировав тем самым историю своего рода. В библиотеке Пушкинского Дома сохранился экземпляр указанной книги со следующей автографической надписью князя А. Б. Лобанова-Ростовского, адресованной владельцу работы о роде Долгоруких: „Краткая биография автора купленной тобою книги: Князь Всеволод Алексеевич Долгорукий, 23 лет (сын № 195), решением СПбургского окружного суда, состоявшимся 27 февраля 1870 г., за участие в мошенничестве на сумму менее 300 р. приговорен к лишению всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к заключению в тюрьме на полтора месяца; на приговор этот 29 октября того же года последовало высочайшее разрешение по окончанию тюремного содержания Долгорукого выслать из столицы для приписки к какому-нибудь мещанскому обществу в одной из внутренних губерний". Датирован автограф январем 1871 г. Отчетов об этом процессе в петербургских газетах обнаружить не удалось. Но сам факт пребывания на скамье подсудимых за мелкое мошенничество потомка древнейшего княжеского рода Долгоруких должен был стать предметом широкой устной гласности. Мог быть он известен и Достоевскому. Во всяком случае история князя В. А. Долгорукого подтверждает характерность тех симптомов „разложения“ в среде дворянства, о которых свидетельствует Достоевский образом молодого Сокольского. Симптоматично и то, что именно княжеской фамилией — Долгорукий, скомпрометированной одним из ее реальных носителей, наделяется в романе герой, олицетворяющий все лучшее в русском народе.

Так же, как и Версилов, Макар — странник, высший „бродяга“, но в отличие от Версилова, оторванного от „почвы“, олицетворяющего „безобразие“, „обособленность“, Макар — символический образ „благообразия“,[241] всепримиримости, всеотзывчивости. В нем живет многовековый опыт страдания русского народа. Другая черта „всякого

русского“, по Достоевскому, — отрицание. Спасением на пути от отрицания к самоотрицанию является страдание. Смирение же представляет ту плодотворную почву, на которой очищающий опыт страдания совершает в человеке духовную революцию, приводит его к нравственному возрождению. В подготовительных материалах Макар говорит: „Смирение — сила. Смирением всё победишь“ (XVI, 346). Эту мысль он иллюстрирует не только собственной жизнью, но многочисленными притчами, анекдотами, сказами (в окончательном тексте сохраняется лишь история о купце Скотобойникове из города Афимьевского). Макар воплощает в себе лучшие этические, культурные идеалы и нравственные критерии народа. Этим объясняет Туниманов многочисленные упоминания Макаром „дорогих Достоевскому фигур“ — Нила Сорского, Парфения, Власа.[242] Причастен Макар и к старообрядчеству. Не случайно его святыней выбирается древний чудотворный старообрядческий образ.

Сюжетные изменения, зафиксированные в подготовительных материалах после появления Макара, представляются Достоевскому столь существенными, что он считает необходимым соотнести замысел романа на этой стадии с романом „*прежним*“ (XVI, 121) и составляет план всего романа „событие за событием“. В последующей работе большое внимание уделяется разработке отношений между Версиловым и Макаром (почти всегда при этом Подросток выступает заинтересованным наблюдателем). Важное место занимает и выяснение характера восприятия идей Макара Подростком. „Случайное семейство“ уже давно тесно связало Версилова с Макаром. Версилов и дорожит этой связью, и тяготится ею. Как носитель высшей русской культурной мысли, сознающий свою оторванность от „почвы“, от вековых русских традиций, он стремится прорваться к ним. Черновые наброски психологического состояния Версилова в день смерти Макара содержат неоднократные свидетельства его признания правоты идей Макара: „Макар прав в своей идее“ (XVI, 352); „Он… «Воскрес Версилов!» Благообразие. Рассказывает о милостыне. Макар прав в своей идее“ (XVI, 358). Но эти записи вклиниваются в разрабатываемые параллельно сцены „рубки образов“ и свидания с Княгиней, которые со всей очевидностью свидетельствуют об обреченности героя на трагическое одиночество. Версилов способен лишь на „подвиг гордости“. В этом подвиге „фальшь идеалиста“, „ходули, натянутость“,

„безобразие“ (XVI, 355–356). „Подвиг смирения“ — за пределами его возможностей.

В окончательном тексте романа Подросток, потрясенный обликом и рассказами Макара, говорит: „Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду“. Но тут же Аркадий-повествователь добавляет: „Конечно, я и тогда твердо знал, что не пойду странствовать с Макаром Ивановичем и что сам не знаю, в чем состоит это новое стремление, меня захватившее“ (с. 490). В подготовительных материалах соотнесение Подростком собственной идеи с идеей Макара продолжается вплоть до начала работы над связным черновым автографом третьей части романа. Появление Макара обусловливает неожиданное „прозрение“ Аркадия. В уже привычных ему людях (как и в самом себе) он вдруг видит „ряженых“. „Тут были *все элементы общества,* и мне казалось, что мы, *как ряженые,* все не понимаем друг друга, а между тем говорим на одном языке, в одном государстве и все даже одной семьи“ (XVI, 129–130; курсив наш. — *Г.Г.).* Термин „ряженый“ как олицетворение неподлинной человеческой сущности используется Достоевским в одноименной главе „Дневника писателя“ за 1873 г. Стремление прорваться к реальности, к истинному смыслу лиц и событий определяет и все метания Подростка по приезде в Петербург. В подготовительных материалах он постоянно задает себе вопросы: „Что этот день мне дал?“ (XVI, 213); „Где начало и конец Версилова?“ (XVI, 209) и т. п. Разрушением „легенды“ об отце и открытием действительности (насколько это возможно) является вся вторая половина романа.

Одновременно с введением понятия „ряженый“ в сознание Аркадия с героем связывается тема „мечтательства“. Впервые в подготовительных материалах к „Подростку“ эта тема появилась в период отхода ЕГО от „хищного типа“ и тогда же была соотнесена с НИМ. В характеристику Аркадия, сделанную сразу после появления Макара, включается текст: „ПОДРОСТОК ДИЧАЕТ И МРАЧНЕЕТ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ“ (XVI, 126). За этим текстом в черновиках следуют зачеркнутые Достоевским два варианта одной и той же фразы: „Мечтатель. Самоубийство“; „Мечтатель. Мысль о самоубийстве“. Двумя страницами ранее в тексте подготовительных материалов сохраняется помета: „Подросток думает о самоубийстве“ (XVI, 125). В 20-х числах сентября и в октябрьских записях тема мечтательства

возникает вновь: „…я без мечтательности не мог и дня прожить, да и не понимаю, как можно прожить без нее каждому человеку. Наверное, все люди мечтают. И кто думает, что она делу вредит, тот дела не знает“ (XVI, 152). Несколько позднее: „…верен своему главному характеру мечтательности“ (XVI, 195). Это — очевидная защита мечтательности в диалоге Подростка с Васиным. В черновом наброске собрания дергачевцев Подростку возражают: „…вы теоретики и свою идею в дело не прилагаете, а только мечтаете. Ну-с, а мы люди дела“ (XVI, 208). Выше уже отмечалось противопоставление Достоевским пассивности носителей „великой идеи“ активности нигилистов. Теперь, сделав мечтательность доминантной чертой личности Подростка, Достоевский обнажает ее „парализующий“ характер: „Мечты, книги, сад, луч, жизнь, мечтательность всё съела“ (XVI, 187). Мечтательность мешает Аркадию сбросить с других покров „ряжености“. Он не только понимает это, но и связывает истоки мечтательности, „парализующей“ волю, с отцом, носителем „великой идеи“: „Если я мечтаю, мечтатель, то кто меня таким сделал. Это ОН меня таким сделал“ (XVI, 212). И почти к этому же времени относится помета Достоевского: „…сократить о мечтательности“ (XVI, 179). Мечтательность в Подростке остается, но перестает быть чертой доминантной. А вместо неоднократно зафиксированных мыслей о самоубийстве Подростка в подготовительные материалы сразу вторгается мотив противоположный — активное желание прожить „три жизни“ (XVI, 191). Мотив этот проводится и через весь окончательный текст.

Мысль о самоубийстве Подростка лишь мелькает как возможный вариант сюжетного поворота. Устраняя ее, Достоевский сосредоточивает внимание на восприятии Подростком истин, излагаемых Макаром. Существенна запись: „Поражающее впечатление, но не уничтожающее идею“. Значительно позднее, уже в подготовительных набросках к третьей части романа, Достоевский повторяет: „…воспоминание о Макаре, колоссальная роль“ (XVI, 353). Автор подчеркивает также, что поступки Аркадия в третьей части романа определяются двумя полярными мотивами: идеей самосовершенствования и жаждой прославиться, чтобы „отомстить за позор“. Перед Аркадием встает проблема выбора: „Мысль идти паломником, страдать от всех, и любить всех, или мрак идеи“ (XVI, 343). Рассматривается как возможный вариант „борьба“ Подростка с

идеями Макара и Версилова: „…несмотря на Макара и Версилова, возбуждается мрачное чувство. <…> идея мести и ревности и борьба с идеями Макара и Версилова“ (XVI, 340, 341).

Идеи Макара и Версилова объединяются в сознании Подростка как противостоящие его собственной идее, разрушающие ее. Общее в этом соучастии — нравственная дискредитация „идеи Ротшильда“, постоянно усиливающая „тоску по идеалу“. В окончательном тексте романа каких бы то ни было завершенных и окончательных определений того, в чем видит истину Подросток, уже вступивший на путь „знания добра и зла“, — не дается. Но качественное перерождение его идеи настойчиво подчеркивается Достоевским на протяжении всего основного текста. Свидетельство этого перерождения — противопоставление идеи „тогда“ и идеи „теперь“. Отделяет их друг от друга год перенесенных испытаний.

С первых октябрьских записей в сюжет романа вводятся „законные“ дети Версилова — „семейство родовое“. Дочь его в соответствии с окончательным текстом „сватает себя за Старого Князя“. Появляется учительница Оля, подготавливающая детей в учебные заведения и дающая „уроки арифметики“. Разрабатывается эпизод ее самоубийства. Но основное внимание Достоевского вновь сосредоточивается на Версилове и главным образом на негативных чертах его личности (в окончательном тексте они в значительной степени смягчаются). Версилов „самовластно поставил себя над миром“ (XVI, 164). Других „ненавидит именно за непреклонение перед ним“; другие для него — „мыши“, „ничтожества“, не могущие ни понять, ни оскорбить его. Погрешим он „только в глазах своей совести“ (XVI, 158). Все это сочетается с „презрением к своей земле“. Вопрос о земном рае для него проблематичен, хотя именно в записях этого периода начинает разрабатываться мечта Версилова о „золотом веке“.[243] Само понятие „золотой век“ приходит в роман „Подросток“ из „Исповеди Ставрогина“. Следует отметить также, что тема „золотого века“ как периода „единой мировой жизни“ присутствует в статье Д. Анфовского (Н. В. Берга), опубликованной в „Заре“ (1870. № 1. С. 142–177) и представляющей разбор книги В. В. Берви-Флеровского „Положение рабочего класса в России“ (СПб., 1869). Статья эта озаглавлена „Скорое наступление золотого века“. Мысль Берви-Флеровского о возможности „золотого века“, о наступлении всеобщего равенства рассматривается

Бергом-Анфовским как мысль фантастическая, не учитывающая той огромной нравственной работы, которую должны проделать многие поколения людей и без которой „всеобщая мировая жизнь“ невозможна. Насмешливо-иронический тон, характерный для работы Н. В. Берга в целом, вызвал у Достоевского желание защитить поэтический идеал „золотого века“, мысль об изображении которого присутствовала уже в черновиках к „Преступлению и наказанию“[244] (см. также: XVII, 313).

Тема „золотого века“ у Достоевского генетически в истоках своих восходит к идеалам утопического социализма, к идеям его юности, но факт актуальности ее звучания в общественно-философских исканиях начала 1870-х годов свидетельствует о тесном переплетении „исторической“ и „текущей“ действительности в художественной ткани романа.

11

На стадии работы, предваряющей близкий переход к написанию связного чернового текста (октябрь 1874 г.), Достоевский отмечает для себя: „В ходе романа держать непременно два правила: *1-е правило.* Избегнуть ту ошибку в «Идиоте» и «Бесах», что второстепенные происшествия (многие) изображались в виде недосказанном, намёчном, романическом, тянулись через долгое пространство, в действии и сценах, но без малейших объяснений, в угадках и намеках, вместо того чтобы *прямо объяснить истину* <…> тем самым затемнялась главная цель <…> Стараться избегать и второстепенностям отводить место незначительное, совсем короче, а действие совокупить лишь около героя. 2-е правило в том, что герой — Подросток. А остальные всё второстепенность, даже ОН — второстепенность. Поэма в Подростке и в идее его или, лучше сказать, — в Подростке единственно как в носителе и изобретателе *своей идеи*“ (XVI, 175).

В набросках этого периода появляются отчим Васина (будущий Стебельков), жених Княгини (будущий Бьоринг), Колосов. Идет разработка сюжетной линии Колосова: характер отношений с Молодым Князем в прошлом и настоящем, история с подделкой акций.

В основу этой сюжетной коллизии был положен материал процесса о подделке акций Тамбово-Козловской железной дороги, слушавшегося

в Петербургском окружном суде в феврале 1874 г.[245] и тогда же привлекшего внимание Достоевского. В качестве обвиняемых выступали на суде врач-акушер Колосов (выдавший себя за тайного агента III Отделения), библиотекарь Военно-медицинской академии (по происхождению дворянин) Никитин и компаньон Колосова (или его служащий?) А. Ярошевич. Отец последнего устроил в Брюсселе на деньги Колосова типографию, где и были напечатаны поддельные акции Тамбово-Козловской железной дороги, привезенные затем обвиняемыми в Россию. Подробный анализ газетных отчетов позволил А. С. Долинину установить несомненную связь образа Стебелькова (первоначально фигурировавшего в подготовительных материалах под фамилией Колосов) с обвиняемым Колосовым и назвать одним из прототипов князя Сокольского — обвиняемого Никитина[246] (подробнее см.: XVII, 314–315).

Работа над образами, с которыми окажется связанной история „позора“ Подростка (князь Сокольский, Стебельков, Ламберт), идет параллельно с созданием связного автографа первой части романа.

Подавляющая часть набросков, предваряющих окончательный текст второй и третьей частей романа, связана с образом Макара (его благообразие противопоставляется идеям Подростка и Версилова, метаниям Лизы) и окончательной разработкой исповеди Версилова (уясняются ее конструктивная роль в сюжете романа и события, которые должны следовать до и после нее, имеющие, по определению Достоевского, „разъяснительный“ характер).

В этот же период в черновых набросках появляется тема „Ильи и Эноха“ (устраненная из окончательного текста): „Чувство беспорядка <…> Пришел — опять к Макару. Об Илье и Энохе. Горячий разговор с Версиловым о коммунизме и Христе, и о Макаре“ (XVI, 351, 352); „Важная страница. *Илья* и *Энох* <…> Во время Макаровых прений об Илье и Энохе. О том, что будущий антихрист будет пленять красотой. Помутятся источники нравственности в сердцах людей, зеленая трава иссохнет“ (XVI, 361, 363). Эта тема определяется как основная в диалогах Версилова и Подростка: „…говорили же они только об *Илье* и *Энохе*, коммунизме, христианстве и о Макаре“ (XVI, 363). В письме к жене от 10 (22) июня 1875 г. Достоевский отмечал: „Читаю об *Илье* и *Энохе* (это прекрасно) “ (XXIX кн. 2, 43). Сюжет обличения антихриста Ильей и Энохом и убиение последних антихристом, широко

распространенный в кругу апокрифических сказаний и народных стихах, находился в сфере пристального внимания Достоевского и позднее, в пору создания „Братьев Карамазовых“.[247] Присутствие темы „Ильи и Эноха“ в подготовительных материалах к „Подростку“ вместе с той интерпретацией „великой идеи“ Версилова, которая наиболее четко дана в записях августа 1874 г., свидетельствует, что именно в период создания указанного романа во многом подготавливается идейно-психологическая проблематика поэмы „Великий инквизитор“.

Появление печатных отзывов на опубликованную первую часть романа во многом предопределило появление в подготовительных материалах к „Подростку“ записи от 22 марта 1875 г., озаглавленной „Для предисловия“. Центральная проблематика этого наброска — обоснование темы „подполья“: „Факты. Проходят мимо. Не замечают. *Нет граждан*, и никто не хочет понатужиться и заставить себя думать и замечать. Я не мог оторваться, и все крики критиков, что я изображаю ненастоящую жизнь, не разубедили меня. Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, — и всё прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно. Талантливые писатели наши, высокохудожественно изображавшие жизнь средне-высшего круга (семейного), — Толстой, Гончаров думали, что изображали жизнь большинства, — по-моему, они-то и изображали жизнь исключений. Напротив, их жизнь есть жизнь исключений, а моя есть жизнь общего правила. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастнее; правда будет за мною. Я верю в это <…> Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Как герои, начиная с Сильвио и Героя нашего времени до князя Болконского и Левина, суть только представители мелкого самолюбия, которое «нехорошо», «дурно воспитаны», могут исправиться потому, что есть прекрасные примеры (Сакс в „Полиньке Сакс“, тот немец в „Обломове“, Пьер Безухов, откупщик в „Мертвых душах“). Но это потому, что они выражали не более как поэмы мелкого самолюбия. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и

исправляться! <…> Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. *«Нет ничего святого»"* (XVI, 329, 330).

Вместо задуманного ответа своим оппонентам в предисловии к отдельному изданию романа Достоевский написал заключение к журнальной публикации „Подростка“ — полемическую авторецензию на роман, где одновременно во многом разъяснил свою позицию гражданина и русского романиста. Имея в виду письмо Николая Семеновича, Достоевский сделал следующую запись в подготовительных материалах второй половины августа 1875 г.: „В финале Подросток: «Я давал читать мои записки одному человеку, и вот что он сказал мне» (и тут привести мнение автора, то есть мое собственное)“ (XVI, 409; подробнее об этом см.: XVII, 336–337).

Отдельное издание романа вышло в свет в начале 1876 г. с устранением ряда опечаток и незначительной стилистической правкой. Однако и в издании 1876 г. одно из действующих лиц — мать самоубийцы Оли — именуется в первой части Дарьей Онисимовной, а в третьей — Настасьей Егоровной. В настоящем издании это противоречие не устранено. Почти одновременно публикуется и первая глава „Дневника писателя“ за 1876 г., где Достоевский называет только что вышедший роман „первой пробой“ замысла об „отцах и детях“ и еще раз говорит о важности темы „случайного семейства“. Взаимоотношения сменяющих друг друга поколений в общефилософском плане рассматриваются писателем как проблема исторического развития человечества. Тема „отцов и детей“ активно вторгается в публицистику Достоевского. Частный, казалось бы, случай — дело Кронеберга, обвиняемого в истязании семилетней дочери, — делается объектом философско-этического исследования во второй главе февральского выпуска „Дневника писателя“ за 1876 г. Анализ этого дела и других подобных ему (например, дело Джунковских и т. д.) находит впоследствии отражение в „Братьях Карамазовых“. „Историю Кронеберга“ Достоевский намеревался ввести и в роман „Отцы и дети“, задуманный в том же 1876 г. В набросках к этому замыслу, оставшемуся незавершенным, проблема ответственности отцов за нравственное становление детей определяется в качестве главной. Одновременно в этих набросках развивается тема жизни („памяти“) в будущих поколениях той исторической роли, которую сыграли отцы в утверждении правды и добра.

От замысла романа о „детстве“ героя — через публицистику 70-х годов — к „Братьям Карамазовым“ — таков был длительный и сложный путь становления и развития замысла об „отцах и детях“, рассматриваемого Достоевским в свете общего движения человеческой истории.

12

В сфере внимания Достоевского в период создания „Подростка“ находились многие явления русской и мировой литературы.

Уже в ранних набросках к роману неоднократны ассоциации с произведениями Пушкина. Черновой пласт материалов к „Подростку“ говорит о постоянной ориентации на Пушкина в форме повествования (соотношение рассказа и действия). К 12 августа 1874 г. относится запись: „Исповедь необычайно сжата (учиться у Пушкина) <…> СЖАТЕЕ, КАК МОЖНО СЖАТЕЕ“. 8 сентября Достоевский отмечает: „Форма, форма! (простой рассказ à la Пушкин)“. Через несколько дней — снова: „à la Pouchkine — рассказ обо всех лицах *второстепенно. Первостепенно* лишь о Подростке“. В конце сентябри — октябре сделаны следующие записи: „Писать по порядку, короче, à la Пушкин“; „короче писать. (Подражать Пушкину)“; „Совершенно быстрым рассказом, по-пушкински“ (XVI, 47, 122, 127, 156, 172, 260). Художественная структура „Повестей Белкина“ рассматривается Достоевским в качестве образца в решении проблемы „герой и сюжет“: „NB. Вообще в лице Подростка выразить всю теплоту и гуманность романа, все теплые места (Ив. П. Белкин), заставить читателя полюбить его“ (XVI, 48).

Связывая идею Аркадия со „Скупым рыцарем“, Достоевский противопоставляет гордую и независимую Анну Андреевну Лизе из „Пиковой дамы“, характеризуемую Пушкиным как „несчастное создание“. С именем Пушкина ассоциируются в исповеди Версилова (черновые варианты) и письме Николая Семеновича (окончательный текст) сюжеты романов из жизни русских дворян (в „преданиях русского семейства“), героем которых является „высший культурный тип“, причастный к тому благообразию, которого так ищут и Версилов и Подросток.[248]

Замысел „Подростка“ — своеобразного воспитательного романа[249] — в сознании Достоевского был соотнесен во многом с трилогией Л. Толстого.

Характер восприятия окружающих Аркадием Долгоруким и Николенькой Иртеньевым имеет общую особенность. В исповеди героя Достоевского утверждается важность отношения человека к „разряду“ людей „понимающих“ или „непонимающих“. В наследии Толстого способность „понимания“ или „непонимания“ является важнейшей нравственно-эстетической категорией.[250] В обращении „К читателям“ („Четыре эпохи развития“) Толстой так определял различие между этими понятиями (выделяя их курсивом), ставшими главными в восприятии окружающих Николенькой Иртеньевым в тексте трилогии: „…главное, чтобы вы были человеком *понимающим*, одним из тех людей, с которыми, когда познакомишься, видишь, что не нужно толковать свои чувства и свое направление, а видишь, что он понимает меня, что всякий звук в моей душе отзовется в его. Трудно, и даже мне кажется невозможным, разделять людей на умных, глупых, добрых, злых, но *понимающий и непонимающий* — это для меня такая резкая черта, которую я невольно провожу между всеми людьми, которых знаю“.[251] Объяснение этих понятий, разделяющих, по мнению Толстого, „весь род человеческий на два разряда“,[252] представляется ему столь важным, что он возвращается к ним неоднократно: „… понимающий и непонимающий человек, это вещи так противоположные, что никогда не могут слиться одна с другою, и их легко различить. Пониманием я называю ту способность, которая способствует нам понимать мгновенно те тонкости в людских отношениях, которые не могут быть постигнуты умом. Понимание не есть ум, потому что хотя посредством ума можно дойти до сознания тех же отношений, какие познает *понимание*, но это сознание не будет мгновенно и поэтому не будет иметь приложения <…> Сталкиваясь с различными людьми, я убедился окончательно, что, несмотря на чрезвычайную разницу в прошедшем с многими людьми, некоторые сейчас понимали, другие, как ни часто я с ними сходился, всегда оставались непонимающими“.[253]

Этот критерий человеческого „понимания“ и „непонимания“ существен и очевиден и в „Войне и мире“. Именно неспособность „понимания“ окружающих во многом предопределяет причины

духовных кризисов Андрея Болконского (его служба в комиссии Сперанского) и Пьера Безухова (разочарование в масонстве). В способности же человеческого „понимания“ — предпосылки их духовного возрождения (Андрей — Наташа, Пьер — Платон Каратаев). Сами понятия — человек „понимающий“ и „непонимающий“ — употребляются Толстым в романе именно в том значении, которое было раскрыто им в „Четырех эпохах развития“. Неоднократны в „Войне и мире“ противопоставления людей „понимающих“ и „непонимающих“.

В тексте „Подростка“ герой дважды подчеркивает важность для него этих качеств — и оба раза, вспоминая свои диалоги с Версиловым. В человеке „понимающем“ Аркадий видит способность интуитивно почувствовать суть происходящего и мотивы, обусловившие ту или иную форму и степень отклонения в диалоге (явном или „неслышном“) от истины. Здесь важно также подчеркнуть, что категория „добра“ отнюдь не заключает в себе обязательной способности „понимания“, а категория „зла“ — „непонимания“. В характеристике, данной Версилову год спустя после свершившихся событий, когда размах колебаний отца в сторону „добра“ и „зла“ стал для Аркадия очевиден, он так определяет кажущееся ему самым существенным человеческое качество Версилова: „Это — человек *понимающий“* (409; курсив наш. — *Г.Г.).* Принципиально важно для Подростка, чтобы *отец* также увидел в нем эту способность понимания. В одном из диалогов с Версиловым (еще до его исповеди) Аркадий с болью и *обидой* замечает, что отец смотрит на него „именно так, как смотрят на человека *непонимающего и неугадывающего“* (с. 540; курсив наш. — *Г.Г.*).

Эта общность нравственно-эстетического принципа, существенным образом отразившегося в художественной структуре романа Достоевского и произведений Толстого, тем более интересна, что и толстовская трилогия, и „Война и мир“ в период создания „Подростка“ находились в сфере пристального внимания Достоевского.

Критерий человеческого „понимания“ и „непонимания“ чрезвычайно важен и в эстетике Лермонтова. В черновиках к „Подростку“ неоднократны записи о Печорине, которого Достоевский называет „уродливейшим калекой“ (XVI, 415). А в наброске характеристики Версилова пишет: „ОН. Про современную литературу отзывается, что данные ею типы довольно грубы — Чацкий, Печорин, Обломов и проч. Много тонкого ушло незамеченным. *Понимания* мало

было“ (XVI, 238; курсив наш. — *Г.Г.*).

Характеристики, даваемые Печориным в „Герое нашего времени“ Грушницкому, доктору Вернеру и Вере, пропускаются им через единый критерий: способность понимания или непонимания именно в том смысле, который столь детально раскрыт Толстым в приведенных выше отрывках из „Четырех эпох развития“. Печорин о Грушницком: „Он закидывал вас словами <…> Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, ко которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи <…> Он не знает людей и их слабых струн“.[254] О докторе Вернере: „Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа <…> Мы отличили в толпе друг друга <…> Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история, видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку“.[255] О Вере: „Это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями“. И как следствие: „Она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть!“.[256]

Но если для Толстого и его героя каждый человек „понимающий“ — несомненное свидетельство возможности человеческого единения и каждый новый „понимающий“ человек, встреченный героем на этом пути к людям, — стимул для дальнейшего движения, для героя Лермонтова способность „понимания“ — лишь свидетельство обреченности до конца „осушить чашу страданий“.[257] Возможно, именно в русле этих крайних по своему этическому наполнению выводов лежат истоки расхождений Достоевского с Лермонтовым и солидарности с Толстым в одном из важных положений их эстетических концепций.

В черновом автографе третьей части романа „Подросток“ Достоевский делает запись для памяти: „NB. Справки в *книгах* о Ростовых и проч.“. Здесь же писатель замечает: „О, у него широко взято, все эпохи дворянства. Не одни лишь встречи, но вся эпоха <…> реальность картин придает изумительную прелесть описанию, тут, рядом с представителями талантов, чести и долга, — столько открыто негодяев, смешных ничтожностей, дураков. В высших типах своих историк выставляет с тонкостью и остроумием историю

перевоплощения разных европейских идей в лицах русского дворянства: тут и масоны, тут и перевоплощение пушкинского Сильвио, взятого из Байрона, тут и зачатки декабристов“ (XVII, 155, 143).

Особый интерес представляет то внимание, которое проявляет Достоевский в период создания романа о герое, делающем „первые шаги в жизни“, — к молодому поколению „Войны и мира“, к теме „отцов и детей“. Записи Достоевского в черновом автографе полемичны по отношению к Толстому: „О, это не герои: это милые дети, у которых прекрасные, милые отцы, кушающие в клубе, хлебосольничающие по Москве, старшие дети их в гусарах или студенты в Университете, из имеющих свой экипаж“ (XVII, 143). В этих же записях Достоевский отмечает, что Толстой проследил судьбу своих героев с „детства и отрочества“. Понятия эти выносятся писателем за пределы повестей Толстого с одноименным заглавием и превращаются в особую тему. Именно о теме „детства и отрочества“ в „Войне и мире“ пишет Достоевский и в „Дневнике писателя“ за 1877 г.: „Где вы найдете теперь такие «Детства и отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например нам *свою* эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь *не более лишь как исторические картины давно прошедшего…* Современное русское семейство становится все более и более *случайным* семейством“ (июль — август, глава первая).

Три героя „Войны и мира“ (в первой части), выполняющие различную философскую и эстетическую роль в художественной структуре романа, вступают в двадцатилетний возраст. Двадцать лет Пьеру Безухову, Николаю Ростову, Борису Друбецкому. Толстой, описывая встречу Ростова и Друбецкого на войне, замечает: „Они полгода не видались почти; и в том возрасте, когда молодые люди делают *первые шаги на пути жизни*, *оба* нашли друг в друге огромные перемены, совершенно новые отражения тех обществ, в которых они сделали свои *первые шаги жизни*“.[258]

На фоне общей характеристики молодого поколения „Войны и мира“ Достоевский выделяет Пьера Безухова, которого, по мнению писателя, Толстой „твердо вел весь роман, несмотря на масонство“. Но предваряет эту характеристику полемическим утверждением: „Не пощадил Лев Толстой даже своего Пьера“.

Столь внимательное отношение Достоевского к одному из центральных героев „Войны и мира“ объясняется, возможно, рядом „особенностей“ биографии Пьера Безухова. Двадцатилетний Пьер в отличие от других героев Толстого в определенном смысле — член семейства „случайного“. Он незаконный сын екатерининского вельможи, у которого, по словам Анны Павловны Шерер, были „только незаконные дети“.[259] Оба романа открываются приездом героев в Петербург, где каждый из них должен „осмотреться“, сделать „первые шаги в жизни“. Но детство их и эти „первые шаги“ не одинаковы. Пансион Тушара у Подростка — жизнь за границей с 10 до 20 лет с гувернером-аббатом у героя Толстого. Мечта о миллионе у Аркадия — неожиданное многомиллионное отцовское наследство у Пьера. Теоретическая жизнь „идеи Ротшильда“ в сознании Аркадия (и ее логическое разрушение Версиловым и Макаром) — практическая дискредитация зла, приносимого миллионами, в жизни Пьера.

О миллионах в отличие от Аркадия Долгорукого Пьер не мечтал: „случайность“ его рождения не повлекла за собой социальных и нравственных ущемлений, испытанных в детстве Подростком. Но неожиданно „свалившееся“ на него богатство кардинально изменило его жизнь, приведя в итоге к первому духовному кризису» Здесь следует отметить также, что о возможном (а впоследствии ставшем реальным) зле, которое должны были принести Пьеру неожиданно обретенные миллионы, Толстой считает необходимым сказать сразу же после получения героем наследства. Это столь важное для судьбы Пьера предвидение автор вкладывает в уста княжны Марьи, с юности мечтавшей стать странницей. Относясь к Пьеру как к человеку „прекрасного сердца“, она тем не менее писала Жюли Карагиной: „Такому молодому быть отягощенным таким огромным состоянием — через сколько искушений надо будет пройти ему! Если б у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, — я желаю быть беднее самого бедного из нищих“.[260]

Незаконный сын графа Безухова, встречаемый в свое первое появление в петербургском обществе поклоном, „относящимся к людям самой низшей иерархии“, сделавшись наследником огромного состояния, становится „центром какого-то важного общего движения“,[261] попадает в ложное нравственное положение. Деньги обрекают его на нравственный плен — брак с Элен; свобода обретается путем отдачи

жене подавляющей части своего состояния. Нравственная несвобода, пришедшая к Пьеру с миллионами, связывается в сознании героя (уже после дуэли с Долоховым и разрыва с женой) с темой „добра и зла“: „Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь, что смерть?.. И зачем нужны эти деньги? Точно на один волос могут прибавить <…> счастья, спокойствия души, эти деньги?“.[262]

Восходящая к просветительскому учению о „естественной нравственности“ проблематика „добра“ и „зла“ связывалась Толстым с центральной для него темой нравственного совершенствования человека и выливалась в конечном счете, как и у Достоевского, в поиски путей к другим людям, к установлению „всеобщей мировой гармонии“.

Именно на „добро“ сознательно ориентируется самопознающий и совершенствующий себя герой трилогии Толстого. В „Севастопольских рассказах“ подчеркивается неясность границы между „добром“ и „злом“, наполненными реальным жизненным содержанием. А в эпилоге „Севастополя в мае“ Толстой так формулирует центральную проблему рассказа и главную задачу собственных духовных исканий: „Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать?“.[263]

Означенная проблематика „Войны и мира“ находилась в русле размышлений Достоевского о герое, ищущем, и что добро", „что зло“. Но „культурному типу“, созданному Толстым и олицетворяющему „благообразие“ (в понимании Достоевского), писатель противопоставляет другой „культурный тип“, стремящийся к „благообразию“, но никогда не способный достичь его. В этой неспособности обрести „благообразие“ Достоевский и видит симптоматичную для эпохи черту человека, сознание которого историческими обстоятельствами обречено отстаивать себя в „хаосе понятий“. Интерпретацию этого качественного отличия своего „культурного типа“ Достоевский излагает в наброске „Для предисловия“ в мартовских черновых записях 1875 г. к „Подростку“. Болконский, Безухов и Левин рассматриваются здесь Достоевским как герои „мелкого самолюбия“: они способны духовно переродиться под влиянием положительного примера либо под воздействием исключительной ситуации. Трагизм подполья исключает для героя Достоевского возможность такого коренного духовного изменения.

Перерождение Пьера Безухова под влиянием Платона Каратаева соотносится Достоевским с невозможностью духовной революции в Версилове, несмотря на огромное влияние на него идей Макара. По мысли Достоевского, Толстой не должен был дать Пьеру обрести „благообразие“ даже на короткий момент.[264]

На страницах подготовительных материалов к „Подростку“ наряду с Пушкиным и Л. Толстым мы встречаемся с именами Карамзина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Шекспира, Сервантеса, Лесажа, Руссо, Гете, Гейне, Гюго, Диккенса и т. д.[265] Характер внимания Достоевского к духовным исканиям и обретениям прошлого и современности определялся замыслом романа о герое, стремящемся постичь, что есть добро и что — зло.

13

Печатая роман „Подросток“ в „Отечественных записках“, Достоевский заранее ждал выражений неодобрения со стороны литераторов, близких „Русскому вестнику“. Приехав в Петербург из Старой Руссы в феврале 1875 г., т. е. в дни, когда печаталось окончание первой части, Достоевский чутко следит за реакцией на роман своих литературных друзей. В письмах к жене от 6 и 12 февраля он отмечает изменившееся отношение А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова, которые намеренно не говорят с ним о романе, „видимо, не желая меня огорчать“ (письмо от 6 февраля). Впрочем, Страхов тогда же высказал свое общее мнение: „«Подросток» ему не совсем нравится, — сообщал Достоевский жене 8 февраля 1875 г. — Он хвалит реализм, но находит несимпатичным, а потому скучноватым“. После появления конца первой части в февральском номере „Отечественных записок“ Страхов писал Достоевскому 21 марта 1875 г., что эта часть „имела большой успех, читалась как нельзя усерднее“. Особенно положительно оценил он „эпизод повесившейся девушки“, „разговор с сестрою“ (т. е. конец 1-й части) и изображение характера Подростка. („Смешение в Подростке добра и зла и даже доброты и злобы — очень живая черта и глубокий предмет)“.[266]

Очень близко к сердцу принимает Достоевский и отзывы о „Подростке“, исходящие от редакции „Отечественных записок“. По

приезде в Петербург он сообщает жене: „Вчера первым делом заехал к Некрасову, он ждал меня ужасно, потому что дело не ждет; не описываю всего, но он принял меня чрезвычайно дружески и радушно. Романом он ужасно доволен, хотя 2-й части еще не читал (имеется в виду окончание первой части, которое должно было печататься в февральском номере журнала. — *А.А.)*, но передает отзыв Салтыкова, который читал, и тот очень хвалит“ (письмо от 6 февраля 1875 г.). А в письме А. Г. Достоевской от 9 февраля с радостью сообщает, что накануне у него был Некрасов. „Он пришел, «чтоб выразить свой восторг по прочтении конца первой части» (которого он еще не читал, ибо перечитывает весь номер лишь в окончательной корректуре перед началом печатания книги). «Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе». «И какая, батюшка, у Вас свежесть (ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой). Такой свежести, в наши лета, уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и прежде у него читал, только в прежнем лучше» (это Некрасов говорит). Сцену самоубийства и рассказ он находит «верхом совершенства». И вообрази: ему нравятся тоже первые две главы. «Всех слабее, говорит, у вас восьмая глава» (это та самая, где он спрятался у Татьяны Павловны), «тут много происшествий чисто внешних» — и что же? Когда я сам перечитывал корректуру, то всего более не понравилась мне самому эта восьмая глава, и я многое из нее выбросил. Вообще Некрасов доволен ужасно“. Сообщив далее о решении денежных и организационных вопросов, Достоевский заключает: „Одним словом, в результате то, что мною в «Отеч(ественных) записках» дорожат чрезмерно и что Некрасов хочет начать совсем дружеские отношения“.

Позднейших отзывов Некрасова о „Подростке“ до нас не дошло, но сохранился отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина: в письме Н. А. Некрасову от 3 (15) июня 1875 г., характеризуя майский номер „Отечественных записок“, он заметил, что художественный отдел журнала вообще плох, а „роман Достоевского просто сумасшедший“.[267] Напрашивается вывод, что, печатая роман Достоевского, руководители „Отечественных записок“ испытывали противоречивые чувства. Они были рады видеть на страницах журнала произведение одного из крупнейших современных писателей, но вместе с тем боялись упреков в отходе журнала от его направления. Эти сомнения выразились в особом

отступлении Н. К. Михайловского в статье „Буря в стакане педагогической воды“ (из серии „Записки профана“), напечатанной в том же январском номере „Отечественных записок“, что и первые главы „Подростка“. Критик заявляет здесь, что „Отечественные записки“, как и всякий другой журнал, не могут, разумеется, брать на себя полную ответственность за все в них печатаемое. Причина в том, что журнал издается в очень неблагоприятных условиях. С одной стороны, цензурные притеснения, с другой — недостаток материала, который бы отвечал требованиям редакции. Однако и направление мысли автора все же не может „опускаться из виду“. „Например, с этой же книжки «Отечественных записок» начинается печатание романа г. Достоевского «Подросток». В нем читатель найдет <…> сцену у Дергачева, где молодые люди ведут какой-то странный политический разговор. В сцене есть некоторые подробности, весьма напоминающие недавнее дело (например, присутствие в обществе молодого крестьянина, слова: „надо жить по закону природы и правды“ и т. п.).[268] Я уже говорил однажды, именно по поводу «Бесов», о странной и прискорбной мании г. Достоевского делать из преступных деяний молодых людей, немедленно после их раскрытия, исследования и наказания, тему для своих романов.[269] Повторять все это тяжело и не нужно. Скажу только, что редакция «Отечественных записок» в общем разделяет мой взгляд на манию г. Достоевского. И тем не менее «Подросток» печатается в «Отечественных записках». Почему? Во-первых, потому, что г. Достоевский есть один из наших талантливейших беллетристов, во-вторых, потому, что сцена у Дергачева со всеми ее подробностями имеет чисто эпизодический характер".[270] Как отметил А. С. Долинин, смысл этих слов заключается в том, что Достоевский „стоит того, чтобы за него бороться, предоставив ему возможность не быть столь связанным с «Русским вестником» Каткова“.[271] И все-таки редакция „Отечественных записок“, публикуя роман, ждала не меньше, чем Достоевский, печатных выпадов и обвинений. И они не заставили себя ждать.

Первым печатным откликом явилась статья В. Г. Авсеенко „Очерки текущей литературы. Новогодняя книжка «Отечественных записок». Чем отличается роман г. Достоевского, написанный для этого журнала, от других его романов, написанных для «Русского вестника». Нечто о плевках, пощечинах и т. п. предметах“ (подпись: А. О.).[272] Уже из

заглавия статьи видно, что близкий „Русскому вестнику“ Авсеенко преследовал цель не объективно разобрать и проанализировать новое произведение Достоевского, но принизить его, а заодно затронуть и редакцию „Отечественных записок“. Первая часть романа не закончилась печатанием, а Авсеенко делает выводы, что новый роман — одно из самых слабых, неудавшихся произведений Достоевского. Начав с обвинения „Отечественных записок“ в отсутствии направления, в беспринципности и угождении требованиям публики (в угоду которой журнал печатает чуждого ему по духу, но известного писателя Достоевского), Авсеенко выражает сомнение в том, что, как заявлено в „Записках профана“ Михайловского, сцена у Дергачева — лишь побочный эпизод. По его мнению, „герой романа изображен именно с теми чертами, с какими фигурируют в уголовной летописи герои наших последних политических процессов, и по самому характеру повествования «Подросток», очевидно, вышел прямо из «Бесов»“. Связь нового романа с „Бесами“ подчеркивается Авсеенко: „Автор снова вводит читателя в душное и мрачное подполье, где копошатся недоучившиеся маньяки, жалкие выскребки интеллигенции, безвольная и бездольная жалочь, люди, «съеденные идеей», спившиеся фразеры и тому подобная тля, возможная только при условиях подпольного, трущобного существования“. Все недостатки художественной манеры Достоевского особенно заметны в „Подростке“. Это „бесконечные разговоры между лицами одного и того же типа, выражающимися одним и тем же языком, отсутствие всякого действия, за исключением расточаемых на все стороны пощечин, невыясненность и, так сказать, недействительность большей части лиц“. Кроме того, Авсеенко обвиняет Достоевского в безнравственности. Раньше этот порок проявлялся в меньшей степени „благодаря тому, что редакция «Русского вестника», где прежде печатался г. Достоевский, делала в его романах значительные опущения (Авсеенко намекает на то, что по требованию Каткова из текста „Бесов“ была исключена глава „У Тихона“. — *А.Л.).* Новая редакция, вероятно, оказалась менее взыскательною, и нынче г. Достоевский является в своем собственном, неисправленном виде… И об этом нельзя не пожалеть". Авсеенко заявляет о полном равенстве между Аркадием Долгоруким и „бесами“ вроде Шигалева и Петра Верховенского и утверждает, что политический элемент в романе будет ведущим.

После выхода февральской книжки „Отечественных записок“, где был опубликован конец первой части „Подростка“, Авсеенко вернулся к роману, посвятив новую статью в основном разбору эпизода, содержащего рассказ о самоубийстве Оли.[273] И снова упрек в безнравственности романа, являющейся следствием безнравственности его автора: „Читатель продолжает чувствовать себя в нестерпимой атмосфере грязного и мрачного подполья. Его обступает какая-то дикая, каторжная жизнь, где на каждом шагу имеют место явления, присущие острогу или дому терпимости, — явления, изображаемые с тем отпечатком искренности, от которого под конец несказанно гадко становится на душе“. Главное обвинение по адресу Достоевского — в отрыве от действительной жизни.

Иной позиции придерживается либерально-народнический критик А. М. Скабичевский, который посвятил первой части „Подростка“ большую статью: „Мысли по поводу текущей литературы. Нечто о романах г. Ф. Достоевского вообще. «Подросток», роман г. Ф. Достоевского, часть первая“.[274] По словам Достоевского, Страхов так пересказал ему основное содержание этой статьи: „В ней не то что хвалят, но говорят, что до сих пор многие принимали типы Достоевского отчасти за фантастические, но, кажется, пора разубедиться и признать, что они глубоко реальные и проч. в этом роде" (письмо А. Г. Достоевской от 8 февраля 1875 г.). Действительно, Скабичевский признает, „что никогда романы г. Ф. Достоевского не были столь современны, как именно в настоящее время“. Вместе с тем Скабичевский говорит об искажении писателем действительности, так как он берет за основу явления, редко встречающиеся в реальной жизни. Достоевский не просто показывает страдания и патологические болезненные состояния человеческой души, но и читателя заставляет участвовать „в галлюцинациях <…> героев и переживать вместе с ними все их нравственные муки“. Причина этого, по мнению критика, в нарушении норм и законов искусства, иными словами, в натурализме. „Вообразите, что искусство не ограничивалось бы только тем, чтобы представить перед вами на сцене грозу как можно натуральнее и заставить вас почувствовать всю прелесть этой картины, но поставило бы себе целью произвести над вашими головами настоящую грозу и заставить вас подвергнуться всем ее неприятностям. Представьте себе, что на сцене герои драмы убивали бы друг друга в самом деле, а в

представлении сражения над вашими головами свистели бы пули. Очевидно, что вам было бы не до эстетических восторгов и вы бежали бы из театра <…> Как хотите, а это не искусство, — делает вывод Скабичевский, — иначе следует назвать искусством всякое такое действие, которое имеет своей целью произвести сильное впечатление на ваши нервы, так что даже и трение пробкой по стеклу будет тоже искусством, потому что способно довести до истерики иного нервного человека“. Однако „слишком односторонними“ романы Достоевского теперь уже не могут казаться, так как в современной жизни произошли такие изменения, вследствие которых исключительность героев и ситуаций Достоевского все больше становится чуть ли не нормой. Скабичевский говорит о распространившейся эпидемии самоубийств, в том числе самоубийств патологических, вызванных не объективными, но субъективными причинами. Все это отражается в романах Достоевского, и патологические свойства их „делаются не случайными свойствами, зависящими от одного только склада личности писателя, а стоят в связи с целою сериею условий нашей жизни“. Общественный подъем 60-х годов был очень кратким, и вот снова воскресли Рудины „во всей своей прежней красе“. Поэтому именно теперь романы Достоевского „приобретают вполне современное значение“: „полусумасшедшие герои этих романов“ — „разошедшиеся сами с собой“ люди, которые стремятся отгородиться от мира, „выйти из обычной колеи, прослыть необыкновенными существами“. Таков и Аркадий Долгорукий, характер которого, мечты и поведение верно изображены автором. „Все это весьма естественно, и в дурно воспитанных подростках нередко создаются подобного рода колоссальные замыслы вроде приобретения ротшильдовского богатства или завоевания целого света, так что замысел нового романа г. Достоевского весьма оригинален и недурен“.

Из всех печатных откликов на опубликование первой части романа наиболее сочувственным был разбор „Подростка“ Вс. С. Соловьевым в „С.-Петербургских ведомостях“. Критик касается романа в двух обзорах „Наши журналы“, посвященных январской и февральской книжкам „Отечественных записок“.[275] Отзывы Вс. С. Соловьева отличаются тактичностью и явным сочувствием таланту Достоевского. Он отмечает его психологический анализ, преимущественное внимание к мрачным, болезненным явлениям, порожденным действительностью. Вместе с тем

критик отмечает своеобразие Достоевского в ряду других писателей, трудность его восприятия читателем. „Г-н Достоевский, несмотря на бесспорный и выходящий из ряду талант, признаваемый за ним даже его литературными врагами, не может назваться любимцем русской читающей публики, значительная часть которой просто-напросто боится его романов“.[276] Соловьев отмечает мастерскую характеристику Аркадия Долгорукого, подчеркивая не только его изломанность и озлобленность, вызванные социальными причинами (происхождение, воспитание), но и доброту, юношескую непосредственность и резкость, подчас производящую комическое впечатление (сцены со старым князем). Критик вообще отмечает, что Достоевскому удаются не только трагические сцены, но что он мастер юмора, — в этом отношении его можно сравнить с Диккенсом. Хотя роман еще только начал печататься, Соловьев считает, что это глубокое и значительное произведение и всякий серьезный читатель непременно должен следить „за художником, глубокий талант которого рисует перед ним большую, животрепещущую картину, полную света и тени, полную горя, любви и страдания“.

Критические выступления столичных газет повлияли на первые провинциальные отклики о романе. Так, обозреватель „Одесского вестника“ С. Т. Герцо-Виноградский в своих „Литературных и общественных заметках“ под псевдонимом Z. Z. — Z. дважды обратился к „Подростку“.[277] Его отзыв во многом сходен с выступлениями Авсеенко. Герцо-Виноградский говорит о „нравственном безобразии“ Аркадия Долгорукого, подчеркивает связь „Подростка“ с „Бесами“. Во второй статье обозреватель „Одесского вестника“ говорит о незнании Достоевским подлинной жизни. „Читая «Бесов», «Подростка», вы точно попадаете в неведомый вам мир, где действующие лица не имеют ничего общего с обыкновенными людьми; ходят вверх ногами, едят носом, пьют ушами; это какие-то исчадия, выродки, аномалии, психические нелепости“. Подобно большинству критиков Герцо-Виноградский останавливается на эпизоде с Олей. Но и этот эпизод, по его словам, показывает отсутствие глубины и мысли в Достоевском. Ему не удалось здесь ни объяснить психологию самоубийцы, ни показать подлинные причины самоубийства. Утверждая, что талант Достоевского, который прежде был „певцом униженных и оскорбленных“, падает, так как после „Записок из

Мертвого дома“ писатель пошел по ложному пути, Герцо-Виноградский повторяет уже высказывавшееся в русской критике мнение об отречении Достоевского 70-х годов от его прежних прогрессивных взглядов.[278]

В полемику с „Одесским вестником“ по поводу „Подростка“ вступил „Новороссийский телеграф“, анонимный обозреватель которого поместил очень сочувственный отзыв о романе в № 43 от 22 февраля 1875 г. Он не видит в новом романе Достоевского „поклепа на молодое поколение“, однако анализ образов Аркадия Долгорукого и особенно Версилова[279] и матери Подростка показывает, что в этом произведении он прежде всего усматривает обличительный роман на социальную тему, бичующий пороки высших классов общества.

Большинство критических откликов на первую часть романа, как враждебных, так и сочувственных, не удовлетворили Достоевского. Он еще раз убедился в том, что современная критика не понимает его эстетических позиций. Писатель собирался ответить своим критикам и с этой целью 22 марта 1875 г. набросал программу будущего предисловия к роману (см.: XVI, 329–330). Здесь он возражает на некоторые их конкретные замечания. Таково, например, возражение Скабичевскому, упрекавшему Достоевского в натурализме: „Говорили, что я изображал гром настоящий, дождь настоящий, как на сцене. Где же? Неужели Раскольников, Ст(епан) Трофимович (главные герои моих романов) подают к этому толки?“. Другое возражение адресовано Герцо-Виноградскому: „Говорят, что Оля недостаточно объяснила, для чего она повесилась. Но я для глупцов не пишу“. Главные же упреки Авсеенко, Герцо-Виноградского и отчасти Скабичевского в искажении действительности, в выдуманности и фантастичности героев, в одностороннем изображении исключительно патологических, болезненных ситуаций Достоевский считает несостоятельными. Он утверждает, наоборот, что именно он в отличие от Толстого, Гончарова и других „талантливых писателей наших“, изображавших жизнь „средне-высшего круга“, то есть „жизнь исключений“, показывает „жизнь общего правила“. И еще один упрек критики, упрек в исключительном внимании ко всему больному и уродливому, вызывает резкое возражение Достоевского. „Подполье, подполье, поэт подполья, — фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки, это моя слава, ибо тут правда“ (XVI, 330).

Предисловие осталось наброском, однако Достоевский позднее не раз возвращался к проблемам, затронутым в нем, полемизируя со своими критиками. Так, резкое выступление Достоевского против Авсеенко в апрельском выпуске „Дневника писателя“ на 1876 г. (гл. 1) было по сути одним из ответов на критику первой части „Подростка“, хотя прошлогоднее обозрение Авсеенко в „Русском мире“ в „Дневнике писателя“ и не упомянуто.

Последующие части „Подростка“ публиковались с перерывами, нерегулярно и, возможно, потому не привлекли особого внимания критики. Отдельные упоминания о печатающемся еще романе содержались в некоторых статьях и частной переписке. Так, дважды (и оба раза сочувственно) вспомнил о „Подростке“ Вс. Соловьев, после того как он начал сотрудничать в „Русском мире“. Первый раз в обзоре „Русские журналы“, написанном не без воздействия идей „Подростка“, Вс. Соловьев назвал Достоевского „мыслящим наблюдателем“, относящимся к окружающей жизни „с чувством глубокого сострадания“, „говорящим с нами именно о том, о чем нужно, и именно тем тоном, каким нужно“.[280] И упомянув о романе, „окончание <…> которого должно на днях выйти в последней книге «Отечественных записок»“, Соловьев замечает: „В течение года толки газетных критиков не были особенно благоприятны этому роману; но дело в том, что на романиста пока нападали только за внешнюю сторону его произведения да указывали на некоторые подробности этого, во всяком случае глубоко задуманного и многое затрагивающего романа. Мы думаем, что, перечтя его с начала до конца, следует отнестись к нему иначе“.[281]

24 января 1876 г. Вс. Соловьев снова вернулся к „Подростку“ в статье „Современная литература“, вступив в полемику с „Иллюстрированной газетой“, где 3 января 1876 г. были опубликованы „Петербургские письма“, содержащие резкий выпад по адресу Достоевского и его последнего романа.

Вс. Соловьев был единственным критиком, который высоко оценил „Подростка“ еще до окончания публикации романа.

Почти в то же время высказал свое мнение о романе Достоевского И. С. Тургенев. В письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину из Парижа от 25 ноября (7 декабря) 1875 г., упоминая о еще незавершенном в то время романе Э. Гонкура „La fille Elisa“ („Девка Элиза“, 1877), он замечает: „Во всяком случае это не «Подросток» Достоевского. Получив

последнюю (ноябрьскую) книжку «О<течественных> з<аписок>», я заглянул было в этот хаос: боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое ковырянье!!“.[282] Резкость суждения Тургенева, возможно, была вызвана его обидой на Достоевского за „Бесы“ (см.: XII, 225–226), но надо учитывать и расхождение эстетических идеалов писателей и их художественной манеры.

Некоторые читательские отзывы современников о романе „Подросток“ приведены в публикации Л. Р. Ланского „Достоевский в неизданной переписке современников“.[283]

После окончания публикации „Подростка“ в декабре 1875 г. хлынула новая волна критических откликов, касающихся теперь всего произведения в целом. Все же надо сказать, что „Подросток“ привлек меньше внимания, чем другие романы Достоевского, в частности „Бесы“, он не вызвал большой дискуссии в тогдашней критике и не повлек за собой значительных критических выступлений.

Из всех откликов 1876 г. наиболее серьезным по тону и глубоким по мысли был разбор „Подростка“ в статье П. Н. Ткачева „Литературное попурри“ (подпись: П. Никитин).[284] Анализу „Подростка“ посвящены в ней главы VII–X. После двух статей о „Бесах“, в которых высказано резко отрицательное отношение к роману (см.: XII, 260–261), Ткачев снова обратился к творчеству Достоевского. И здесь, как отметил А. С. Долинин, улавливается иное отношение к писателю, и прежде всего иной тон.[285] Ткачев называет Достоевского „одним из замечательнейших и <…> одним из первокласснейших художников нашего времени“.[286] Однако вслед за этой общей высокой оценкой критик высказывает и ряд оговорок, зачастую сводящих ее на нет. Ткачев повторяет характеристики, уже ставшие общим местом в критических статьях о Достоевском: „…почти все действующие лица в его произведениях являются людьми односторонними, не вполне нормальными, весьма сильно смахивающими на пациентов из сумасшедшего дома“.[287] „Автор не в состоянии создать целостного, всесторонне гармонически развитого художественного характера“, — продолжает Ткачев и приходит к общему выводу: „…значение г. Достоевского как художника с чисто эстетической точки зрения очень и “очень невелико".[288] (Здесь Ткачев повторяет эстетическую оценку

таланта Достоевского, данную в 1861 г. Н. А. Добролюбовым в его статье „Забитые люди“).

И все же романы Достоевского, по Ткачеву, представляют большой интерес с точки зрения общественной. Ткачев верно почувствовал особенность Достоевского — через преувеличение, „сгущение“ показать черты и явления, в своем „неразбавленном“ виде непонятные широкому читателю, однако счел это художественным недостатком.

В разборе „Подростка“ Ткачев не касается образов Версилова, Макара Долгорукого и целого ряда важных проблем. Критик сосредоточивается исключительно на характеристике Аркадия Долгорукого и его ротшильдовской „идеи“.

Исходя из положений статьи Добролюбова „Забитые люди“, Ткачев утверждает, что в раннем своем творчестве 40-60-х годов (от „Бедных людей“ до „Униженных и оскорбленных“) Достоевский показал „ту группу явлений“, то „душевное состояние“, которое по преимуществу характеризует русских интеллигентных забитых людей, пришибленных судьбою и обстоятельствами". Эти забитые люди делятся на два типа: кроткие, безропотные и озлобленные, ожесточенные. Течение времени и развитие жизни привело к развитию типа забитого человека: условия его не изменились, выхода из создавшегося положения он не нашел, однако бессмысленное ожесточение ничего не давало, и забитые люди стали задумываться. „Явился спрос на мысль“. Так появились „идейные забитые люди“ — дети „ожесточенных забитых людей“. Достоевский прекрасно уловил этот новый тип, показав его в „Преступлении и наказании“ (Раскольников) и в „Подростке“. Ткачев считает, что с точки зрения анализа души „идейного забитого человека“ „Подросток“ глубже и значительнее, чем даже „Преступление и наказание“. „И мне кажется, — замечает критик, — последний роман г. Достоевского имеет почти такое же значение для оценки идейных забитых людей, какое имел его первый роман („Бедные люди“) для оценки людей типа Девушкиных, Голядкиных и им подобных". „Идейные забитые люди“ молоды и неопытны, и потому „в жизнь им, действительно, пришлось вступать какими-то неоперившимися подростками“. Мечты их изменились, идеи стали совершенно отличны от умонастроений их отцов. Но вот это-то отличие Достоевский и не сумел показать. Он „говорит о содержании этих идей или чересчур двусмысленно, или… или чересчур уж глупо“.[289] Ткачева, без сомнения, не устраивает

отношение Достоевского к ведущим идеям современной молодежи, идеям революционного переустройства современного общества. И не такой идеей наделяет он своего героя — Аркадия Долгорукого.

По мнению критика, в романе Достоевского есть один существенный художественный просчет: идея Подростка, содержание ее нетипичны для современных идейных людей. Идея эта порождена своей средой, „которая живет мыслью о наживе“, „идея Подростка вполне гармонирует“ с ее „интересами, привычками и потребностями“. А „существенная особенность «идеи» реальных подростков в том именно и состоит, что она находится, обыкновенно, в резком противоречии с интересами и потребностями, унаследованными ими от породившей их среды. Автор проглядел этот факт“. И потому общий вывод, который Ткачев делает о романе „Подросток“, не в пользу Достоевского. Осуждая Достоевского за его идейную, общественную позицию, и считая, что она закономерно ведет к художественным просчетам, Ткачев все-таки увидел в романе „Подросток“ знамение времени, а в Достоевском писателя, способного уловить существенные явления жизни.[290]

Этот серьезный подход к роману вызвал протест со стороны М. А. Антоновича, который после закрытия „Современника“ начал сотрудничать в газете „Тифлисский вестник“. 2 сентября 1876 г. в „Тифлисском вестнике“ была напечатана его статья из цикла: „Заметки о журналах“, посвященная „Подростку“. В ней Антонович главным образом полемизировал с Ткачевым, с его анализом романа. Антонович утверждал, что Никитин (Ткачев) принял за новый тип плод фантазии Достоевского. „Подросток — это ненормальный человек и даже психически расстроенный; ему пришла в голову не идея, не мысль, не проект, а просто мечта сделаться богачом <…> И такого-то субъекта критик-реалист произвел в сан идейного человека, поставил его бесконечно выше каких-то безыдейных людей“. Антонович считает, что в таком случае к идейным людям можно отнести Чичикова, так как он тоже мечтал обогатиться и был гораздо энергичнее и деятельнее Подростка.

Новое выступление Скабичевского „Мысли по поводу текущей литературы. О г. Достоевском вообще и о романе его «Подросток»“,[291] как и первая его статья о „Подростке“, содержит внешне объективную, а по существу очень ограниченную характеристику Достоевского.

Рассуждая о стремлении писателя показывать „факты болезненного раздвоения“ личности, Скабичевский утверждает, что подобное двойничество свойственно и самому Достоевскому как писателю. В нем сидят два „двойника“, похожих, но вместе с тем и противоположных один другому. Один из них, „раздражительный“ и „желчный“, впадает то в „резонерство“, то в „мрачный скептицизм“ или „мистический бред“. Это слабый художник, очень „небрежно“, „неумело“ строящий сюжеты своих романов. „Тяжелый и нестройный слог“, любовь к длиннотам делают непонятными многие его сцены. Зато второй двойник Достоевского — „гениальный писатель, которого следует поставить не только на одном ряду с первостепенными русскими художниками, но и в числе самых первейших гениев Европы нынешнего столетия“. Его образы имеют глубокое современное значение, это писатель-гуманист, проникнутый „глубокой любовью к человечеству“, несмотря на то что изображает „мрачные и ужасные явления жизни“. При всем своем общечеловеческом значении этот писатель вполне народен „в высшем смысле усвоения существенных черт духа и характера русского народа“.

Однако, замечает Скабичевский, первый из двух двойников гораздо плодовитее второго. Если первый напишет целый роман, то второму в этом романе принадлежит всего „пять — десять страничек“, какой-нибудь вставной эпизод. Так получилось и в „Подростке“. „Весь роман в своем полном составе не стоит медного гроша“, — заявляет критик. Все основные герои, сюжет, бесконечные рассуждения (о „случайных семействах“), самая „идея“ Подростка — все это мусор, „изверженный мрачным двойником г. Достоевского“. Но в романе, по мнению Скабичевского, есть два эпизода, написанные „вторым двойником“, за которые все остальное можно „простить“ Достоевскому. Это рассказ о самоубийце Оле и воспоминания Подростка о свидании с матерью в пансионе Тушара. Высокая оценка этих эпизодов объясняется тем, что Скабичевский искал в романе прежде всего прямых социальных обличений и не принимал того, в чем их не находил. Так же с социальных позиций, как обличительный роман рассматривался „Подросток“ Н. Гребцовым[292] и критиком педагогического журнала „Детский сад“, посвятившим разбор свой идеям воспитания, формирования характера Аркадия Долгорукого.

Отдельные краткие характеристики романа содержались в

обзорных статьях, подводящих литературные итоги 1876 г. „Подросток“ в них был признан вторым по значению, после „Анны Карениной“ Л. Толстого, русским романом из вышедших в этом году.

Особое место среди откликов на „Подростка“ занимают суждения Н. К. Михайловского, высказанные в цикле очерков „Вперемежку“, которые начали печататься в „Отечественных записках“ с января 1876 г. Значение этих очерков далеко выходит за пределы истолкования романа Достоевского,[293] однако внешним поводом для появления записок Григория Александровича Темкина (героя очерков „Вперемежку“) послужило чтение „Подростка“. Прочитав эпилог романа (письмо Николая Семеновича), Темкин — Михайловский никак не мог согласиться, что „красивый тип“, „законченные формы чести и долга“ есть лишь достояние дворянства. С этой мыслью романа он и вступает в полемику в своих очерках. Михайловского возмущает, что Николай Семенович, „совершенно не дворянин“, „болеет сердцем о «красивом типе» старого русского дворянства“ и уверен, „что нигде, кроме среды «культурных русских людей», не существуют законченные понятия чести и долга“.[294] Не согласен он и с тем, будто современные молодые люди отрываются от красивого типа „с веселой торопливостью“. „Кстати о Николае Семеновиче. Я слышал мнение, будто его устами говорил сам г-н Достоевский. Это, конечно, — совсем пустяки, — не без иронии замечает Михайловский. — Г-н Достоевский не в таких летах и не такого закала человек, чтобы быстро менять свои взгляды. Он еще очень недавно чрезвычайно энергически заявлял, что «Власы спасут себя и нас» (имеется в виду статья „Влас“ в „Дневнике писателя“ за 1873 г. — *А.А.)*. У спасителей должны же быть определенные формы чести и долга, иначе они никого не спасут. А вы помните, что говорил Николай Семенович: по части долга и чести «кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде не начато». Ясно, что Николай Семенович и г-н Достоевский — два совсем разные лица. Николай Семенович — просто преданный дворовый, а г-н Достоевский, может быть, даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только начали, то есть начали вырабатывать формы чести и долга, и начали именно покаянием".[295] Основная задача Михайловского в очерках „Вперемежку“ заключается в том, чтобы показать, как вырабатываются „формы чести и долга“ в молодых дворянах, „кающихся дворянах“, как он их называет, которые оторвались от своего класса, но отнюдь не „с

веселой торопливостью“. „О нет, поверьте, — говорит герой Михайловского о себе, — что много душевной муки и горечи пережил я прежде, чем оторваться и покаяться <…> А оторвался я единственно потому, что не нашел ни законченных форм чести и долга, ни красивого типа, если я только верно понимаю, что хотел этими последними словами сказать Николай Семенович“.[296] В трагической судьбе современного молодого поколения Михайловский находит много поэтического и прекрасного, а революционеров-разночинцев и примыкающих к ним „кающихся дворян“ считает носителями подлинных чести и долга.

Хотя анализ „Подростка“ ни в коей мере не является задачей автора „Вперемежку“, упоминается роман в очерках неоднократно. Рассказ о детстве Аркадия Долгорукого, о том, как фамилия его у всех ассоциировалась с княжеским титулом, вызвал воспоминания Темкина о своем детстве, годах учения, школьных прозвищах и товарище Темкина Нибуше, незаконном сыне „древнего красивого типа“ — Шубина. Нибуш, чья жизнь была не легче, чем жизнь Аркадия Долгорукого, стал революционером, и его облик окружен в очерках ореолом нравственной красоты. В истории отношений Нибуша к Соне, сестре героя, обманутой либеральствующим эстетом Башкиным, есть не только намеренное „перевертывание“ обычной сюжетной схемы „антинигилистических“ романов, но, возможно, и поправка, говоря словами Михайловского, — „передвижечка“ по отношению к одной из сюжетных линий „Подростка“: Лиза — князь Сокольский — Васин. Герои Михайловского, конечно, лишены противоречивости героев Достоевского: Башкин в отличие от Сокольского не мучается никакими угрызениями совести; Соня ведет себя решительно и последовательно, окончательно разорвав с Башкиным и не испытывая к нему ничего, кроме презрения; Нибуш в отличие от рационалиста Васина характеризуется скромностью, глубоким благородством, искренностью и экспансивностью. Михайловского не удовлетворяли как антинигилистические романы, так и схематичные романы о „новых людях“. Идеям „Подростка“ он также не мог сочувствовать. Однако видел в этом романе значительное и серьезное художественное произведение, с автором которого спорил „на равных“.[297]

Михайловский первый обратил пристальное внимание на „Заключение“ „Подростка“ и на рассуждение о дворянстве, в нем

содержащееся. Впоследствии, вероятно, не без влияния Михайловского, „Письмо“ Николая Семеновича стало восприниматься изолированно от романа как самостоятельное публицистическое высказывание. Некоторые положения из „Заключения“ были использованы Н. Н. Златовратским в повести „Золотые сердца“ (1876). Одна из героинь, Катя, дочь помещика и крепостной, названа „дитя «случайной семьи»“.[298] Другое действующее лицо той же повести, Петр Петрович Морозов, случайный помещик из разночинцев, человек, знающий сельское хозяйство и умеющий вести его, но совершенно равнодушный ко всем выгодам и доходам, на упрек своего собеседника-дворянина в равнодушии к судьбе своей родины, к культурному наследию, выработанному прошлыми поколениями дворянства, возражает: „Вместо ответа я бы спросил: помешали ли эти культурные традиции спустить «с веселой торопливостью» выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков? Помогли ли они удержать оранжереи, парки, фруктовые сады, английские фермы и тому подобные культурные насаждения?“.[299]

Здесь формула Достоевского, вероятно, воспринятая Златовратским из очерков Михайловского, уже изменила свое содержание и обозначает не нравственное, идейное, а экономическое перерождение дворянского класса.

Еще дальше в субъективном истолковании идей „Подростка“ пошел Гл. И. Успенский в очерках „Из разговора с приятелями“.[300] В этом произведении Успенского нашла отражение тема „благообразия“ и „неблагообразия“ русской жизни, поставленная в „Подростке“, а в одной из глав журнальной редакции очерков прямо упоминается Достоевский, который, как кажется Успенскому, слишком высоко оценил дворянство, сделав его носителем жизненного „благообразия“. „Вопреки уверениям г-на Достоевского, — пишет Гл. Успенский, — который в одном из своих романов сказал, что «благообразие» вообще встречается на Руси в привилегированном сословии, я думаю как раз наоборот: оно всё целиком сосредоточено в нашем крестьянстве… не забывай, что интеллигенцию я исключаю…“.[301] Такая интерпретация мыслей Достоевского не вполне точна. В „Подростке“ говорится о „законченных красивых формах“, о „завершенности“, о выработанных „формах чести и долга“, принадлежавших русскому дворянству в прошлом, но вовсе не о „благообразии“, которого ищет Аркадий

Долгорукий и которого, по Достоевскому, современное дворянство лишено. Носителем же этического благообразия является в романе Макар Долгорукий, крестьянин, и в этом отношении между идеалами Гл. Успенского и Достоевского были возможны точки соприкосновения, хотя положительный герой Достоевского провел свою жизнь не вблизи „ржаного поля“ (как крестьяне Успенского), а странствуя по святым местам.[302]

Идеи „Подростка“, таким образом, оставили след в современной Достоевскому демократической литературе, хотя и были этой литературой часто субъективно интерпретированы. Не соглашаясь с Достоевским по целому ряду основных идеологических вопросов, писатели демократического направления ставили своей задачей полемизировать с ним, а не проникать в скрытый смысл его образов. Отсюда неизбежные упрощения. Возможно, что такой односторонний подход к Достоевскому оказал влияние и на стоявшего на противоположных политических позициях консерватора К. Н. Леонтьева, который обратился к тем же мыслям писателя спустя десять лет после его смерти в статье „Достоевский о русском дворянстве“.[303] К. Леонтьев истолковал „Заключение“ „Подростка“ близко по смыслу к Гл. Успенскому, хотя и совершенно иначе оценил его. Вспоминая эпилог „Подростка“ и цитируя письмо Николая Семеновича о красивом типе, о законченных формах „чести и долга“ русского дворянства, К. Леонтьев с удовлетворением замечает, что это, по-видимому, мысли самого Достоевского и что столь „благоприятный для дворян общий вывод“ поразил его своей „*неожиданностью*“ именно в этом романе. Подробности романа, как признается К. Леонтьев, производили на него „отрицательное, местами даже до болезненности тягостное и отвратительное впечатление“,[304] и прежде всего тем, что все изображенные в „Подростке“ дворяне (Старый Князь, сын Версилова, Сережа Сокольский) — люди отталкивающие. Что касается Версилова, то он поражает своей изломанностью, ненормальностью, неестественностью. И в этом смысле он подобен другим героям Достоевского, которые все резко отличаются от героев Толстого, Тургенева, Писемского, Островского и других, даже более мелких писателей. Все названные писатели „отражали“ действительность, герои их были похожи на людей, которых мы встречаем в жизни; Достоевский же „преломлял“ жизнь „сообразно своему личному устроенью“, его

герои ни на кого не похожи, таких людей мы в жизни не встречаем. Поэтому и „совокупность“ дворян, изображенных Достоевским, не соответствует „реальной совокупности“ русского дворянства. И тем не менее общий вывод Достоевского о дворянстве, общая высокая (как представляется К. Леонтьеву) оценка его чрезвычайно важна. Так как Достоевский для К. Леонтьева не столько художник, сколько моралист и публицист, то публицистические высказывания в „Заключении“ „Подростка“ воспринимаются Леонтьевым как рассуждение, противостоящее всему роману и содержащее наиболее правильные и значительные мысли автора. Рассуждая о русском дворянстве как публицист, Достоевский, по мнению К. Леонтьева, приходит к выводу о необходимости для России существования этого класса. А раз так, то он должен был бы говорить и о необходимости „юридических оград“, „привилегий“, „прав на власть“. Если же Достоевский нигде ничего об этом не говорит, то, как считает К. Леонтьев, „это ничего не значит; не успел, случайно не додумался, не дожил, наконец <…> до чего мы дожили“. И уже совсем публицистическим пассажем от собственного лица, но как бы и от лица „додумавшегося“ наконец Достоевского заканчивает К. Леонтьев эту статью: „Хотите вы сохранить надолго *известный тип социального развития?* Хотите, — так оградите и среду его от вторжения незваных и неизбранных и самих его членов от невольного выпадения из этой среды, в которой держаться им уже не будет никакой охоты, не будет ни идеальных поводов, ни вещественных выгод“.[305] Очевидно, что Достоевский не разделял позиции К. Леонтьева. Рассуждения Версилова о русском дворянстве говорят об ином отношении к проблеме, и напрасно К. Леонтьев навязывал Достоевскому взгляды людей, желающих „сохранить надолго известный тип социального развития“.

В эстетической оценке романа отклик К. Н. Леонтьева не отличается принципиально от других выступлений современной роману критики. Здесь те же рассуждения о крайнем субъективизме Достоевского, о изломанности н психопатичности его героев. Современная Достоевскому критика в основной своей массе не восприняла глубины и сложности романа. Наиболее важные для самого Достоевского мысли и образы (рассуждения Макара Долгорукова, „исповедь“ Версилова) критика оставила без внимания. Единодушное сопротивление современных Достоевскому литераторов вызывала самая

художественная манера писателя — это стремление к изображению наиболее острых и напряженных ситуаций, обостренных конфликтов, к драматургическому заострению фабулы. Скабичевский утверждал, что все явления могут существовать в художественном произведении лишь в тех пропорциях, в каких они существуют в реальной жизни. „Художник прежде всего должен помнить, что он во всем должен соблюдать строгую меру. Он может изображать душевнобольных в таком лишь количестве и в таком виде, в каких они являются в жизни, среди людей, находящихся в здравом уме“.[306] Почти то же говорит и Ткачев: „Художественная правда, как и правда научная, есть не что иное, как правильное обобщение частных единичных явлений…“. Особенность же таланта Достоевского „в том-то именно и состоит, что он всегда склонен исключительное, анормальное, временное, переходящее, случайное возводить в нечто постоянное, нормальное, преобладающее“.[307]

Расхождение Достоевского с большинством современных литераторов по основным эстетическим вопросам, в частности по вопросу о типическом,[308] привело к тому, что романы Достоевского, в том числе „Подросток“, не воспринимались многими современниками как значительное художественное явление. Слишком отличались они от привычного для русской литературы того времени типа романа, выработанного Тургеневым, Гончаровым, Л. Толстым.

Так как наиболее дорогие Достоевскому образы и мысли романа не были отмечены критикой, Достоевский вернулся к некоторым из них в „Дневнике писателя“, считая нужным дать необходимые пояснения читателю.

Так, в январском выпуске „Дневника“ за 1876 г. (глава первая) писатель говорит о замысле „Подростка“, о характере Аркадия Долгорукого, как он задуман автором, и о „случайных семействах“. К тем же вопросам (о формировании детской души, о влиянии семьи на нее) возвращается Достоевский в январском выпуске „Дневника“ за 1877 г. (глава вторая), а в июльско-августовском выпуске (глава первая) снова говорит о случайных семействах в связи с анализом романов и повестей Льва Толстого (т. е. излагает вопросы, уже поставленные в эпилоге „Подростка“).

Другая группа вопросов, требовавшая, по мнению Достоевского, пояснения, связана с образом Версилова и его исповедью, на которую

никто из критиков не обратил внимания. В мартовском выпуске „Дневника“ за 1876 г. (глава вторая) Достоевский вспоминает Версилова и цитирует то место его исповеди, где говорится об атеизме будущего общества. А в июньском выпуске он снова пишет о русских европейцах, которые призваны служить „не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству“ (глава первая). Эта дорогая Достоевскому мысль, вложенная в уста русского европейца Версилова, находит свое завершение в речи на пушкинском празднике. Говоря здесь о типе „несчастного скитальца в родной земле <…> исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем“, Достоевский имел в виду не только Алеко и Онегина, но и их духовного потомка — Версилова, которому, как и всякому „русскому скитальцу“, „необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться“ („Дневник писателя“ за 1880 г. Глава вторая).

14

Первый иностранный перевод „Подростка“ — немецкий — вышел в, 1886 г. в Лейпциге под названием „Молодое поколение“. В том же году (под заголовком „Мой родной отец“) роман в адаптированном виде печатается в одном из бельгийских ежемесячников, а год спустя, под названием „Молодая Россия“, выходит на шведском языке.[309] Эти первые переводы „Подростка“ почти не вызвали откликов в периодической печати. Даже в Германии, стране, где больше других интересовались в те годы Достоевским и часто переиздавали его произведения, перевод „Подростка“ прошел почти незамеченным.[310] Новое издание было осуществлено там лишь в 1905 г.[311] Из ранних ценителей романа в литературах немецкого языка следует выделить Г. Гессе и Ф. Кафку.

Г. Гессе опубликовал в связи с выходом в 1915 г. третьего немецкого перевода статью о „Подростке“, где высоко оценил многочисленные проявления в романе „психологического ясновидения“ Достоевского, его искусство диалога, содержащиеся в „Подростке“ „откровения о русском человеке“. При огромной художественной силе „Подростка“ две особенности отличают его, по мнению Гессе, от других

„больших“ романов Достоевского: то, что действие в „Подростке“ совершается в семейном домашнем кругу, и „иронический“ тон изложения.[312] Влияние „Подростка“ ощутимо в романе Г. Гессе „Демиан“ (1919). О Кафке его друг и биограф М. Брод сообщает: „Среди произведений Достоевского он особенно ценил роман «Подросток», только что выпущенный издательством Лангена. Он с энтузиазмом читал мне отрывок о нищенстве и обогащении“.[313]

Несколько больший резонанс „Подросток“ вызвал во Франции, где впервые был переведен в 1902 г.[314] До этого Франция была слабее осведомлена о творчестве Достоевского, чем Германия. М. де Вогюэ, авторитет которого как специалиста в области русской литературы долгое время был во Франции непререкаемым, в книге „Русский роман“ (1886) ограничивается в отношении „Подростка“ лишь брошенным вскользь замечанием о том, что роман этот, по его мнению, значительно уступает своим старшим братьям. Перевод романа на французский язык критика встречает с некоторым скептицизмом. Рецензентка ежемесячника „Меркюр де Франс“ Рашильда (псевдоним М. Эймери, в замужестве Валетт, известной в то время писательницы, близкой по духу к натуралистической школе — ее учителями были Гюисманс и братья Гонкуры), называет книгу „слишком громоздкой“.[315] Постоянный рецензент журнала „Ревю блё“ Ж. Эрнест-Шарль отозвался о „Подростке“ как о произведении хаотическом и беспорядочном (подобное мнение во Франции довольно распространено до наших дней). „Это — огромная, необъятная книга, — писал он. — В ней множество всевозможных идей и мнений. Все хаотически перемешано настолько, что даже невозможно уяснить себе, о чем этот роман. Что предполагал создать Достоевский? То ли он собирался изучить характер молодого человека, находящегося в том возрасте, когда вступают в активную жизнь, когда больше мечутся, нежели действуют? То ли он хотел изобразить нравственную участь молодого поколения русских людей в тот момент, когда в России, как и во всем мире, множество перемен? Или же он пытался проследить внутренний распад российских семейств в тот час, когда все слои и классы смешались и нанесли друг другу ущерб? Какой он хотел написать роман — философский, религиозный или нравственный? Или же он просто решил запечатлеть сложную жизненную драму со всеми ее перипетиями? На все эти вопросы невозможно ответить точно. Любой из этих замыслов живет в

его книге; но все они присутствуют в ней одновременно, тесня друг друга. Все в ней перепутано, и само действие беспорядочно и бессвязно, труднопостигаемо. Оно вызывает в нас растерянность. Таковы и герои книги…“.[316] Эрнест-Шарль утверждал, что Достоевский, автор „Подростка“, находился под влиянием французской литературы, и говорил об явной, с его точки зрения, общности характеров Аркадия Долгорукого и Жюльена Сореля.[317] О хаотичности романа писал и М. Арно („Ревю бланш“), который, впрочем, добавлял, что „книга эта написана со страстью и ее надо читать на одном дыхании“.[318] „Подросток“ оказался последним из романов Достоевского, переведенных в странах английского языка. Э. Скайлер (Schuyler), один из первых популяризаторов русской литературы в Соединенных Штатах, дал краткий отзыв о нем уже в год выхода романа в свет на русском языке (1875). В этом отзыве, опубликованном в журнале „Атенеум“, Скайлер, отмечая „истинно великий талант“ Достоевского, упрекал русского писателя в том, что он „придал слишком много значения отдельным эпизодам, беспорядочно изложил основной сюжет и чрезмерно растянул все свои доводы“.[319] Подобная оценка „Подростка“ сохранялась как в Западной Европе, так и в Америке весьма долго.[320]

Неудивительно поэтому, что впервые опубликованный в 1916 г. перевод романа на английский язык (осуществленный Констанцией Гарнетт)[321] долгое время переиздавался сравнительно редко.[322]

Перелом в восприятии „Подростка“ за рубежом обозначился лишь в 1920-х годах. Непонятый и недооцененный западноевропейской критикой XIX в., этот роман Достоевского, как и все наследие русского писателя в целом, обретает новое значение для читателей и критики в эпоху общего кризиса капитализма, когда в большинстве буржуазных стран все более заметным становится упадок унаследованных, традиционных общественных и культурных ценностей и одновременно ширится разочарование в них молодого поколения, в результате чего, с одной стороны, среди молодежи усиливается нравственное разложение, а с другой — возрастают настроения протеста и углубляются духовные искания, что ведет в литературе к своеобразному возрождению и обновлению традиций „воспитательного“ романа.

Рост интереса к „Подростку“, обусловленный этой исторической обстановкой, разнообразное восприятие и трансформация его

проблематики получили отражение в таких известных романах XX в., как „Фальшивомонетчики“ А. Жида (1925),[323] „Дело Маурициуса“ Я. Вассермана (1928), романы о молодежи Л. Франка, „Волк среди волков“ Г. Фаллады (1937; в первой половине этого романа образ ночного Берлина периода инфляции 1920-х годов с его игорными домами создан под сильнейшим воздействием „Игрока“ и „Подростка“ Достоевского), „Подросток былых времен“ Ф. Мориака (1967) и др.

Естественно, что в этой обстановке волна новых переводов из Достоевского в Западной Европе, обозначившаяся с конца 10-х — начала 20-х годов нашего века, коснулась и „Подростка“.[324] Больше других стран в XX столетии „Подросток“ переводился и переиздавался в Германии.

В 1945 г. переводы романа выходят в Норвегии, в 1946–1949 гг. — в Турции, в 1948 г. — в Китае (китайский переводчик-известный исследователь русской литературы Гэн Цзи-чжи), в 1958 г. — в Израиле, в 1961 г. — в Румынии, в 1964 г. — в Финляндии, в 1965 г. — в Дании.[325] Известный австрийский художник Аксель Лескошек делает интересные иллюстрации (ксилографии) к первому изданию романа в Бразилии (Рио-де-Жанейро, 1960). Во всех странах растет место, уделяемое „Подростку“ в статьях и монографиях о Достоевском; появляются и первые специальные исследования о нем за рубежом. В 1956 г. Доминика Дезанти, представляя читателям газеты „Юманите“ роман „Подросток“, уже говорит о нем как об одном из „наиболее характерных произведений Достоевского“.[326]

---

notes

Примечания

1

Здесь: повеса *(франц.).*

2

Здесь: Честь не позволяет? *(франц.).*

З

мой милый *(франц.)*

4

дорогое дитя *(франц)*

5

Мое бедное дитя! *(франц.)*

6

Кстати! *(франц.)*

7

Не правда ли? *(франц.).*

8

А между тем… Я-то знаю женщин! *(франц.).*

9

они очаровательны *(франц.)*.

10

я знаю всё, но не знаю ничего хорошего *(франц.)*

11

Но что за мысль! *(франц.).*

12

Дорогое дитя, я люблю боженьку. *(франц.).*

13

это было глупо *(франц.)*.

14

Место жительства *(франц.)*.

15

Вот еще идея! *(франц.).*

16

из области неведомого *(франц.)*.

17

Эта мерзкая история!.. *(франц.)*

18

Ах, да! *(франц.).*

19

«Чего не исцеляют лекарства — исцеляет железо, чего не исцеляет железо — исцеляет огонь!» *(лат.)*

20

строго необходимое *(франц.)*

21

ненависти в любви *(франц.)*

22

непременное условие *(лат)*

23

Во всем мире и в других местах *(итал.)*.

24

все жанры… *(франц.).*

25

Этот *(франц.)*

26

Мы всегда возвращаемся *(франц.)*.

27

Так *(лат.)*.

понимаешь? *(франц.).*

29

Вот, друг мой *(франц.).*

30

откровенно, без обиняков *(франц.)*.

31

Когда говорят о веревке… *(франц.).*

32

этот маленький шпион *(франц.)*.

33

Вы будете спать, как маленький король *(франц.)*.

34

Но… это очаровательно! *(франц.).*

35

а теперь… теперь вознесем хвалу… и я благословляю тебя! *(франц).*

36

Версаль *(франц.)*.

37

Ренессанс *(франц.)*.

38

Черт возьми! *(франц.).*

39

в одно прекрасное утро *(франц.)*.

ломбард, ссудная касса *(франц.)*.

41

Вот как *(франц.)*.

42

Оставим это, мой милый *(франц.)*.

43

Это само собой разумеется *(франц.)*.

но *(франц.).*

45

Это смешно, но так мы и сделаем *(франц.)*.

46

Но оставим это *(франц.)*.

47

Это смотря как, милый мой *(франц.)*.

48

ноль *(франц.).*

49

За ваши прекрасные глаза, мой кузен! *(франц.)*.

50

Бедное дитя *(франц.).*

51

Черт возьми! *(франц.).*

52

между нами говоря *(франц.).*

53

очень прилично *(франц.)*.

поэзия в жизни *(франц.).*

55

Какая очаровательная особа, а? Песни Соломона… нет, это не Соломон, это Давид, который укладывал на свое ложе юную красавицу, чтобы согреть свою старость. Впрочем, Давид, Соломон *(франц.).*

56

Эта юная красавица старого Давида — это же целая поэма *(франц.)*.

57

Здесь: альковная сцена *(франц.).*

58

Ну вот! *(франц.)*.

59

Проводите же мать… что за бессердечный мальчик! *(франц.)*.

60

Альфонсина! *(франц.).*

61

Я здесь! *(франц.).*

62

Несчастный! *(франц.).*

63

вы понимаете, милая моя? у вас есть деньги? *(франц.).*

64

Но вы же совсем не спали, Морис! *(франц.).*

65

Замолчите, потом посплю *(франц.)*.

66

Спасена! *(франц.).*

67

Сударь, сударь! никогда еще мужчина не был так жесток, не был таким Бисмарком, как это существо, которое смотрит на женщину как на что-то никчемное и грязное. Что такое женщина в наше время? «Убей ее!» — вот последнее слово Французской академии! *(франц.).*

68

…Увы! какую пользу принесло бы мне это открытие, сделай я его раньше, и не лучше ли было бы скрывать мой позор всю жизнь? Быть может, непристойно девице так откровенно говорить с мужчиной, но, признаюсь вам, если бы мне было дозволено иметь какие-то желания, я хотела бы одного: вонзить ему в сердце нож, но только отвернувшись, из страха, что от его отвратительного взгляда задрожит моя рука и замрет мое мужество. Он убил того русского попа, сударь, вырвал его рыжую бороду и продал парикмахеру на Кузнецком мосту, совсем рядом с магазином господина Андрие, — вы, конечно, знаете: парижские новинки, модные изделия, белье, сорочки… О, сударь, когда дружба собирает за столом супругу, детей, сестер, друзей, когда живая

69

магазином господина Андрие — последние новинки, парижские изделия и т. д. *(франц.).*

70

от господина Андрие этим ужасным и непостижимым чудовищем… *(франц.).*

71

Куда вы, сударь? *(франц.)*.

72

Да, сударь! Но это недалеко, сударь, это совсем недалеко, не стоит надевать шубу, это совсем рядом! *(франц.).*

73

Сюда, сударь, вот сюда! *(франц.).*

74

Он уходит, уходит! *(франц.).*

75

но ведь он убьет меня, сударь, убьет! *(франц.).*

клевета… от нее всегда что-нибудь да остается *(франц.).*

77

заметка *(франц.)*.

78

простите, мой дорогой *(франц.)*,

79

Но оставим это *(франц.)*.

80

Князь, у вас нет ли для нас рубля серебром, не двух, а одного, идет? *(франц.).*

81

Мы вам вернем *(франц.).*

82

В вагонах *(франц.)*.

83

А, проклятый… *(франц.).*

84

Послушайте, друг мой, вы что, хотите, чтобы я проломил вам голову! *(франц.).*

85

Друг мой, вот Долгоровкий, другой мой друг *(франц.)*.

86

Вот он! *(франц.).*

87

Это он! *(франц.).*

88

Мадемуазель Альфонсина, поцелуйте меня *(франц.)*.

89

А, гадкий мальчишка! *(франц.).*

90

Не подходите ко мне, вы меня запачкаете, и вы тоже, верзила; а то, знаете, я вас обоих тут же выставлю за дверь! *(франц.).*

91

Мадемуазель Альфонсина, вы продали вашу болонку? *(искаж. франц.).*

92

Что это такое, моя bologne? *(франц.).*

93

Что за страшный жаргон? *(франц.).*

94

Я говорю как русская дама на минеральных водах *(искаж. франц.).*

95

верзила *(франц.)*.

96

Что такое русская дама на минеральных водах… и где же красивые часы, что вам подарил Ламберт? *(франц.).*

97

У нас есть рубль серебром, который мы заняли у нашего нового друга *(искаж. франц.).*

возвращаем вам с большой благодарностью *(франц.).*

99

Эй, Ламберт! Где Ламберт, ты не видел Ламберта? *(франц.)*.

100

День гнева, день оный! *(лат.).*

101

Двадцать пять рублей! *(франц.):*

102

Прощайте, князь *(франц.)*.

103

Очень хороша *(франц.)*.

104

Раз так, то это меняет дело *(франц.)*.

105

Собственность есть кража *(франц.).*

106

Истина в вине *(лат.)*.

107

Я прежде всего дворянин и дворянином умру! *(франц.).*

108

Отверженных» *(франц.).*

109

«Я умру дворянином» *(франц.)*.

110

Наконец-то! *(франц.).*

111

А, добрый вечер *(франц.)*.

112

Вот вы! А ваши друзья? *(франц.)*.

113

Да это настоящий медведь! *(франц.).*

114

Да, да… это позор! Даму… О, как вы благородны! Не беспокойтесь, я сумею образумить Ламберта… *(франц.).*

115

Я же говорил, что он великодушный юноша! *(франц.)*.

116

Не правда ли, не правда ли? *(франц.).*

117

он всегда берет чувствами...*(франц.)*.

118

Потом, потом, не правда ли? Моя дорогая! *(франц.)*.

119

Да, да, он очень мил… *(франц.).*

120

Но ведь то, что ты говоришь, ужасно *(франц.)*.

121

Не правда ли? я говорю не слишком много, но хорошо *(франц.)*.

122

Да, конечно *(франц.)*.

123

Он, кажется, глуп, это дворянин *(франц.)*.

124

Ничего, ничего… Но я здесь свободен, не правда ли? *(франц.).*

125

Дорогой князь, мы должны быть друзьями хотя бы по праву рождения… *(франц.).*

126

Это мое мнение! *(франц.).*

127

Это ангел, ангел небесный! *(франц.)*.

128

Я говорю прелестные вещи, и все хохочут… *(франц.).*

129

Дорогое дитя, я люблю вас *(франц.).*

130

Да, да, понимаю, я сразу понял...*(франц.)*.

этим черным человеком *(франц.)*.

132

генеральшу *(франц.)*

133

Ах, я забыла, как же его зовут… Ужасный человек… Да, Версилов *(франц.).*

134

О, они совершат свое мщение! *(франц.).*

135

Спасите ее, спасите! *(франц.).*

136

Вы же красивая женщина! *(франц.).*

137

верзилы *(франц.)*.

138

«Поскребите русского и вы увидите татарина» *(франц.).*

139

Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л. 1930. Т. 2. С. 429.

140

Шестидесятые годы. М.; Л. 1940. С. 260.

141

Там же. С. 261.

142

Там же. С. 263.

143

Там же. С. 263.

144

Там же. С. 263.

145

Творчество Достоевского. 1821–1881 — 1921. Одесса, 1921. С. 31. Ср.: Достоевский в воспоминаниях современников. М., I964. Т. 1. С. 362–366, 371, 379, 435.

146

Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 435.

147

Там же. С. 365–367.

148

См. о связи „Провинциалки“ и „Вечного мужа“ и о проблеме „хищного“ и „смирного“ типа в этом рассказе в соотношении с идеями А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова в статьях: *Серман И. З.* 1) „Провинциалка“ Тургенева и „Вечный муж“ Достоевского // Тургеневский сборник. М.; Л., 1966. Вып. 2. С. 109–111; 2) Достоевский и Ап. Григорьев. // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 140–142.

149

Заря. 1869. № 2. Отд. 4. С. 207–252.

150

Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. М., 1965. Т. 3. С. 85–87.

151

Салтыков-Щедрин М. Е. Полн. собр. соч. М., 1965. Т. 3. С. 85–87.

152

Шестидесятые годы. С. 265.

153

Там. же. С. 266, 267.

154

Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1934. Т. 3. С. 474.

155

Голос. 1870. 20 марта. № 79.

156

С.-Петербургские ведомости. 1870. 31 янв. № 31.

157

Заря. 1871. № 2. Отд. 2. С. 1–2.

158

Подробнее об этом см.: *Семенов Е. И.* У истоков романа „Подросток“ // Рус. лит. 1973. № 3. С. 107–116.

159

Подробнее о характере полемики Достоевского с автором книги „Русское общество в настоящем и будущем…“ см.: *Семенов Е. И.* Роман Достоевского „Подросток“: Проблематика и жанр. Л., 1979. С. 19–35.

160

Подробнее об этом см.: *Комарович В. Л.* Генезис романа „Подросток“ // Литературная мысль: Альманах. Л., 1925. Кн. 3. С. 366–386; *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 35–37; *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского. М., 1981. С. 197–199 и др.

161

Гражданин. 1873. 3 сент. № 36.

162

Неделя. 1874. 17 февр. № 7.

163

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1934. Т. 18. С. 346.

164

А. С. Долинин не без основания считает, что этот план восходит к „бессмысленному бреду“ Раскольникова: началась мировая катастрофа, „целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали <…> Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями <…> кололись и резались, кусали и ели друг друга <…> Оставили самые обыкновенные ремесла <…>остановилось земледелие <…> Начались пожары, начался голод. Все и всё погибло…“ (Наст. изд. Т. 5. С. 516). Указанная запись связана, возможно, и с рецензией Н. Н. Страхова (Заря. 1871. № 10–11. Отд. 2.С. 1-37) на следующие работы о Парижской коммуне: *Сарсе Франциск*, Осада Парижа: 1870–1871. Впечатления и воспоминания. (Перевод с пятого французского издания). СПб., 1871; Красные клубы во время осады Парижа / Соч. Молинари. Пер. с французского. СПб., 1871;Черная книга Парижской коммуны. Разоблачение „Интернационала“. Пер. с французского. СПб., 1871; La Révolution plébéienne: Lettresà Junius. Bruxelles, 1871. В обширном анализе этих работ неоднократно говорится о „потоках крови, горах трупов, городах в пламени“, о пожарах в Париже, „сожжении Тюильри“, разрушении памятников искусства, „грабеже церквей“. Здесь же Страхов обосновывает мысль о „невозможности измерять достоинство учения числом голов, его принимающих“. Сходная трактовка идей западноевропейского социализма нашла отражение в „Бесах“ (см.: Наст. изд. Т. 7. С. 728).

165

Ответное письмо Кони от 7 мая см.: *Кони А. Ф.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. 8. С. 38.— Тюремный замок Достоевский посетил лишь 27 декабря 1875 г. (см.: Там же. С. 352).

166

Термин А. А. Григорьева (см.: *Григорьев А. А.* Литературная критика. М „1967. С. 512–541). В № 2 „Зари“ за 1863 г. идея Григорьева о характерах „хищных“ и „смирных“ была изложена Н. Н. Страховым. Год спустя, полемизируя с Григорьевым и Страховым в повести „Вечный муж“, Достоевский обращается к образу „хищного типа“ (см.: *Серман И. З.* Достоевский и Ап. Григорьев // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 140–142).

167

Рус. вестн. 1874. № 4.

168

Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. 2. С. 160; № 2. Отд. 2. С. 332–334.

169

Фамилия героя — Версилов — восходит, по-видимому, к роду потомственных дворян Версиловых, проживавших в Старой Руссе. За несколько лет до приезда Достоевского в Старую Руссу там жил помещик Андрей Павлович Версилов, о котором писатель слышал от своих старорусских знакомых (см.: *Рейнус Л. М.* Достоевский в Старой Руссе. Л., 1969. С. 28). Следует отметить также, что в списке потомственных дворян Старой Руссы, помещенном в книге М. И. Полянского „Иллюстрированный историко-статистический очерк г. Старой Руссы и старорусского уезда“ (Новгород, 1885. Отд. 2. С. 82), значатся пять Версиловых — пять сыновей А. П. Версилова.

170

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 45–47 и др.

171

Д. С. Мережковский первый сравнил указанную сцену из „Дневника писателя“ за 1873 г. и „рубку образов“ Версиловым, справедливо сопоставив „одинаковость кощунства“, совершившегося в „бессознательной стихии“ и в „сознании русского народа“ *(Мережковский Д. С.* Л. Толстой и Достоевский: Религия. СПб., 1909. Т. 2, ч. 2, С. 95).

172

О „своеволии“ „оторванных от почвы“ героев Достоевского, приводящем к отрицанию свободы, см.: *Бердяев Н. А.* 1) Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Рус. мысль. 1918. № 3–6. Отд. 2. С. 39–61; 2) Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. См. также: *Walicki A.* Dostojewski a idea wolnoëci // Slavia Orientalis. 1958. 7, N 2. S. 3-57.

173

О символическом значении мотива „рубки образов“ в романе „Подросток“ см.: *Walicki A.* V kregu konserwatywnej utopii: Struktura i przemiany rosyjskiego slawianofilstwa. Warszawa, 1964. S. 446.

174

О соотношении понятий „атеизм и нравственность“, „вера и нравственность“ и о роли их в художественной структуре произведений Достоевского см., в частности, в кн.: *Jackson R. L.* Dostoevsky's quest for form: A study of his philosophy of art. New Haven;London, 1966. 274 p.

175

Заря. 1870. № 8.

176

О духовном потенциале Аркадия, сознательно названного Подрост ком, см.: *Бурсов Б. И.* „Подросток“ — роман воспитания // Аврора. 1971. № 11. С. 64–71.

177

В толковых словарях „подростковый“ возраст ограничивается пределом 16–17 лет. Совершеннолетие же по законам Российского законодательства прошлого века относилось к 21 году. Следует отметить, что проблема совершеннолетия рассматривалась в статье И. Мечникова „Возраст вступления в брак“, опубликованной в № 1 „Вестника Европы“ за 1874 г.

178

Интересно отметить, что в „Вечном муже“, говоря Александру Лобову о невозможности женитьбы в 19 лет, Вельчанинов замечает: „… человек девятнадцати лет даже и за себя самого — отвечать не может“ (Наст. том. С. 112).

179

См. об этом: *Ветловская В. Е.* Литературные и фольклорные источники „Братьев Карамазовых“ // Достоевский и русские писатели. М., 1971. С. 325–354.

180

Отеч. зап. 1873. № 11. Отд. 2. С. 194.

181

Там же. № 2. Отд. 2. С. 314–343.

182

Там же. С. 333; курсив наш. — *Г. Г.*

183

Там же. С. 334.

184

О родстве романа „Подросток“ с произведениями летописного жанра см.: *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 322–323.

185

См.: *Зунделович Я. О.* Романы Достоевского: Статьи. Ташкент, 1963. С. 141–179.

186

Ср. с финалом „Исповеди“ Ставрогина, где герой, не вынеся проницательности Тихона, мстит ему оскорблением: „Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга. «Проклятый психолог!» — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи“ (Наст. изд. Т. 7. С. 664).

187

См. об этом: *Тюнькин К. И.* Базаров глазами Достоевского // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 108–119.

188

Подробно о восприятии этого романа Достоевским и эволюции отношения писателя к Тургеневу в 60-х — начале 70-х годов см.: *Долинин А. С.* Тургенев в „Бесах“ // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 119–138; *Фридлендер Г. М.* К спорам об „Отцах и детях“ // Рус. лит. 1959. № 2. С. 131–148; *Манн Ю,* Базаров и другие// Новый мир. 1968. № 1. С. 236–255 и др.

189

Заря. 1869. № 7. См. также: Наст. изд. Т. 7. С. 682–684.

190

Гражданин. 1873. 3 сент. № 36: По поводу статьи А. [В. Г. Авсеенко] „Практический нигилизм“ (Рус. вестн. 1873. № 7. С. 389–427).

191

Ср. главу „Старые люди“ в „Дневнике писателя“ за 1873 г.

192

Мережковский Д. С. Л.Толстой и Достоевский: Религия. Т. 2, ч. 2. С. 86.

193

О знакомстве Достоевского с этой перепиской А. И. Герцена и В. С. Печерина и отражении ее в романах „Идиот“ и „Бесы“ см. в комментариях к этим романам (Наст. изд. Т. 6. С. 834; Т. 7. С. 704–705).

194

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 11. С. 402.

195

Рецензия Страхова „Ренан и его последняя книга“ была опубликована в издании: Гражданин: Сборник. СПб., 1872. Ч. 1. С. 87–138.

196

Отеч. зап. 1872. № 9. Отд. 2. С. 132.

197

Гражданин. 1873. 30 апр. № 18. С. 547–548.

198

Отеч. зап. 1872. № 9. Отд. 2. С. 133.

199

В сентябре 1864 г. это понятие Достоевский употребляет также в записной тетради для характеристики личности, оторванной от „почвы“: „… цивилизация есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о боге тому свидетельствует!…) Свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и всё сознает“ (XX, 192).

200

Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 116; см. также: *Назиров Р. Г.* Творческие принципы Ф. М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 60–61.

201

См.: *Комарович В. Л.* Роман Достоевского „Подросток“ как художественное единство // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Сб. 2. С. 33.

202

См.: *Хомяков А. С.* Соч.: В 4 т. М., 1861. Т. 1. С. 331, 539.— Этот том Хомякова имелся в библиотеке Достоевского (см.: *Гроссман Л. П.* Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. Одесса, 1919. С. 157).

203

См.: *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч.: В 2 т М., 1861. Т. 2. С. 96.

204

Там же. С. 68–69.

205

См.: *Герцен. А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 11. С. 251.

206

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 112–126.

207

См. письмо Достоевского Страхову от 24 марта 1870 г. (XXIX, кн. 1 С. 113).

208

Подробнее об этом и о характере отношения Достоевского к Герцену см.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 104–112, 215–230; *Лищинер С. Д.* Герцен и Достоевский: Диалектика духовных исканий // Рус. лит. 1972. № 2. С. 37–61 и др.

209

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.; Л., 1963. Т. 6. С. 356, 367.

210

См.: Отеч. зап. 1874. № 3. Отд. 2. С. 203–207.

гражданин цивилизованного мира *(франц.*).

212

См.: *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского… М., 1981. С. 43–44. См. также: *Медведева И.* „Горе от ума“ А. С. Грибоедова. М., 1971. С. 95–98; *Вигилянский В.* Грибоедовские типы // Вопросы лит. 1973. № 2. С. 274–277; *Архипова А. В.* Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 237–246.

213

См. об этом подробнее: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 168–171; *Мануйлов В. А.* Друг Ф. М. Достоевского Чокан Валиханов // Тр. Ленингр. библ. ин-та. 1959. Т. 5. С. 343–369.

214

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 62–80 и др.

215

См.: *Савченко Н.* Как построен роман Достоевского „Подросток“ // Рус. лит. 1964. № 4. С. 41–57.

216

См.: *Семенов Е. И.* Роман Достоевского „Подросток“. С. 60–70.

217

Необходимо отметить, что брат Ф. М. Достоевского — М. М. Достоевский в конце 1840-х-начале 1850-х годов работал над романом „Деньги“, оставшимся незавершенным (подробнее об этом см.: *Нечаева В.С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „Время“: 1861–1863. М., 1972. С. 22–24).

218

См. также: *Бем А.* 1) Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского//Slavia. 1929. Т. 1, ч. 1. С. 62–86; 2) „Скупой рыцарь“ Пушкина в творчестве Достоевского // Пушкинский сборник. Прага, 1929.

219

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 69–75.

220

См.: *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. М.; Л., 1964. С. 286–288.

221

См.: Голос. 1874. 10 июля. № 189.— О долгушинцах как предшественниках массового „хождения в народ“ см.: *Шишко Л. Э.* Собр. соч. М., 1918. Т. 4. С. 202–205; *Кункль А. А.* Долгушинцы. М., 1931; *Левин Ш. М.* Общественное движение в России в 60-70-е годы XIX века. М., 1958; *Итенберг Б. С.* Движение революционного народничества. М., 1965. С. 158–172; *Филиппов Р. В.* Из истории народнического движения на первом этапе „хождения в народ“ (1863–1874). Петрозаводск, 1967; *Базанов В. Г.* „Хождение в народ“ и книги для народа: 1873–1875//Агитационная литература русских революционных народников. Потаенные произведения 1873–1875 гг. Л., 1970. С. 6–73.

222

Факт повторного привлечения к судебному процессу А. В. Долгушина в Петербурге широко обсуждался. В агентурном докладе от 19 июля 1874 г. отмечалось, например: „Молодые люди либерального направления были заинтересованы более всего участью Долгушина, которого они считают абсолютно великой личностью, и потому опасались за него приговора в форме вечного заточения. Ныне надеются, что человек, раз уже сидевший по нечаевскому делу на скамье подсудимых и решившийся во имя идеи снова быть на ней, должен обладать и обладает такой энергией, которая не оставит его никогда, и что даже в отдаленной Сибири в кругу каторжников он всецело предастся служению своему делу…“ *(Кункль А. А.* Долгушинцы. С. 183).

223

За подписью „М.В.“ [В. П. Мещерский?] в „Гражданине“ (1874. 15 июля. № 28) была опубликована статья „По поводу дела о прокламациях“, в которой отмечалось: „Совпадение производящегося в Сенате дела о составлении прокламаций для *русского народа и для интеллигентных людей* с нынешним именно состоянием интеллигентного общества в России есть явление весьма любопытное, неизбежно наводящее на размышления“.

224

Факт наличия дворян среди обвиняемых по делу долгушинцев подчеркивался в „Гражданине“ (1874. 22 июля. № 29).

225

Интересно высказывание долгушинца А. С. Чикова в связи с собственным рукописным сочинением „Письма о рациональном мировоззрении в России в лице Флеровского и Миртова (посвящены памяти Петрашевского и учителю наших молодых поколений Чернышевскому) “ Чиков заявил: „Протесты 14 декабря 1825 г. и 49 г. (Петрашевский), начала 60-х гг. (Михайлов, Чернышевский и др.), 4 апр. 1866 г., нечаевское дело 1869 г. я признаю естественным последствием давления *деспотизма.* Причем, попытки Каракозова и Нечаева я признаю сумасбродными и нерациональными“ *(Кункль А. Д.* Долгушинцы. С. 131).

226

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 87–92.

227

Голос. 1874. 13 июля. № 192.

228

Возможно, здесь сыграло свою роль и упоминание в материалах процесса имени Н. Г. Чернышевского — его работы были обнаружены у подсудимого Э. Э. Циммермана (см.: Голос. 1874. 17 июля. № 196). В газетных отчетах имя Чернышевского встречается всего один раз. В ходе же дознания и следствия было установлено, что кроме Циммермана работы Чернышевского имелись у Долгушина, Гамова, Чикова, Плотникова (см.: *Кункль А. А.* Долгушинцы. С. 45, 130, 131, 142).

229

См.: Голос. 1874. 10 июля. № 189.

230

Факт „ссылок на священное писание“ в текстах прокламаций был отмечен в „Гражданине“ (1874. 15 июля. № 28).

231

См.: Голос. 1874. 17 июля. № 196.

232

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 82,

233

А. С. Долинин считает возможным соотнести с реальным фактом биографии Спешнева и деятельность Версилова в качестве мирового посредника первого призыва (см.: Литературное наследство. М., 1965. Т. 77. С. 469–470). Об одной из самых ярких фигур среди петрашевцев, Н. А. Спешневе, отношении Достоевского к нему и отражении его личности в творчестве писателя см.: *Долинин А. С.* Достоевский среди петрашевцев // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 512–545.

234

См. также: *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. С. 150–166.

235

Правительственный вестн. 1871. 10 июля. № 163.

236

См. также: *Белопольский В. Н.* Достоевский и философская мысль его эпохи. Ростов-на-Дону, 1987. С. 112–116.

237

Отеч. зап. 1875. № 1. Отд. 2. С. 157–158.

238

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 126–133; *Туниманов В. А.* Достоевский и Некрасов // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 33–66.

239

См., например: *Плетнев Р.* Сердцем мудрые. (О старцах у Достоевского) //О Достоевском: Сб. статей. Прага, 1929. Сб. 1. С. 73–92; *Зандер Л. А.* Тайна добра (Проблема добра в творчестве Достоевского). Париж, 1960.

240

В 60-70-х годах Достоевский с большим вниманием читал работы С. М. Соловьева. В библиотеке Достоевского имелась книга Соловьева „История России с древнейших времен“ (2-е изд. М., 1854. Т. 1.). Неоднократны упоминания об „Истории“ Соловьева в черновиках к „Бесам“ и „Подростку“. В „Идиоте“ Рогожин читает его „Историю России“. Эту книгу Соловьева Достоевский рекомендует для чтения юношеству (см.: *Гроссман Л. П.* Библиотека Достоевского. С. 151).

241

Как установлено Е. И. Семеновым, термин „благообразие“ восходит к „Войне и миру“ Л. Н. Толстого, но переосмыслен в „Подростке“: понятие „благообразие“ „заключает в себе утопию нравственной гармонии, но не может указать Подростку пути практического преобразования мира“ (см.: *Семенов Е. И.* Роман Ф. М. Достоевского „Подросток“: Проблематика и жанр. Автореф. дис. канд. филол. наук. Л., 1973. С. 11.

242

См.: *Туниманов В. А.* Достоевский и Некрасов. С. 54.

243

Об этом мотиве исповеди Версилова см. также: *Комарович В. Л.* 1) „Мировая гармония“ Достоевского//Атеней. 1924. Кн. 1–2. С. 112–142; 2) Юность Достоевского//Былое. 1924. № 23. С. 3–43; *Туниманов В. А.* Сатира и утопия („Бобок“, „Сон смешного человека“ Ф. М. Достоевского) // Рус. лит. 1965. № 4. С. 70–87; *Долинин А. С.* Золотой век//Нева. 1971. № 11. С. 179–186.

244

См. об этом: *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. С. 35–40.

245

См., например: Голос. 1874. 15–23 февр. № 46–54.— Обвинителем на процессе выступал А. Ф. Кони. Материалы процесса публиковались в ряде петербургских и московских газет.

246

См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 142–149.

247

См.: *Ветловская В. Е.* Достоевский и поэтический мир Древней Руси. (Литературные и фольклорные источники „Братьев Карамазовых“) // Тр. Отд. древнерусской литературы ИРЛИ АН СССР. Л., 1974. Т. 28. С. 296–307.

248

Об отношении Достоевского к Пушкину подробнее см.: *Бем А.* Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского//Slavia. 1929. Ч. 1. С. 82–100.

249

См.: *Бем А. Л.* Художественная полемика с Толстым (К пониманию „Подростка“) //О Достоевском: Сб. статей. Прага, 1936. Вып. 3 С. 209–220.

250

См.: *Галаган Г. Я.* Этические и эстетические искания молодого Л. Толстого//Рус. лит. 1974. № 1. С. 139–149.

251

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 1. С. 208.

252

Там же.

253

Там же. С. 153–154.

254

Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1956. Т. 6. С. 263.

255

Там же. С. 268, 270.

256

Там же. С. 280.

257

Там же. С. 322.

258

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 289 (курсив наш. — *Г.Г.*).

259

Там же. С. 45.

260

Там же. С. 114.

261

Там же. С. 245.

262

Там же. Т. 10. С. 65.

263

Там же. Т. 4. С. 59.

264

О других аспектах сходства и различия в восприятии действительности героями Достоевского и Л. Толстого см.: *Бурсов Б. И.* 1) Толстой и Достоевский // Вопросы лит. 1964. № 7. С. 66–92; 2) „Подросток“ — роман воспитания; *Пушкарева В. С.* Детство в романе Ф. М. Достоевского „Подросток“ и в первой повести Л. Н. Толстого // Филологический сб.: Статьи и материалы. Л., 1970. С. 113–132; *Фридлендер Г. М.* Достоевский и Толстой // Достоевский и его время. С. 67–87, и др.

265

Подробнее об этом см.: *Долинин А. С* Последние романы Достоевского. С. 176–186; *Комарович В. Л.* Достоевский и Гейне // Современный мир. 1916. № 10. С. 97–107: *Бем А. Л.* Гюго и Достоевский: Литературный обзор//Slavia. 1937. Т. 15, ч. 1, С. 73–86; *Катарский И.* Диккенс в России: Середина XIX века. М., 1966. С. 357–401 и др.

266

Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л., 1940. С. 274.

267

Салтыков-Щедрин. М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1976. Т. 18, кн. 2. С. 185.

268

Намек на политический процесс долгушинцев (см. ниже, с. 783–784).

269

См. статью Н. К. Михайловского „Литературные и журнальные заметки. Февраль 1873 г.“ (Отеч. зап. 1873. № 2. Отд. 2. С. 321–324). См. также: XII, 264–265.

270

Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1896. Т. 3. С. 301–302.

271

Долинин А. С. Последние романы Достоевского (ср. выше, с. 749). С. 93.

272

Рус. мир. 1875. 29 янв. № 27.

273

См.: *А. О. [В. Г. Авсеенко]*. Очерки текущей литературы. Еще о „Подростке“ г. Достоевского//Рус. мир. 1875. 27 февр. № 55.

274

Биржевые ведомости. 1875. 6 февр. № 35. (Подпись: Заурядный читатель).

275

Санктпетербургские ведомости. 1875. 1 февр. и 1 марта. № 32 и 58 (Подпись: Sine Ira).

276

Там же. № 32.

277

Одесский вестн. 1875. 13 февр. и 13 марта. № 36 и 58.

278

Ср. статью П. Н. Ткачева о „Бесах“: „Больные люди“ (Дело. 1873. № 3).

279

О Версилове сказано, что это был „развратный молодой человек, которому казалось, что ничто так не пристойно молодому барину, как согрешить с миловидной дворовой вертушкой“.

280

Рус. мир. 1875. 24 дек. № 262.

281

Там же.

282

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л.: 1966. Т. 11. С. 164.

283

См.: Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 441.

284

Дело. 1876. № 4–8.

285

Долинин А. С. Последние романы Достоевского. С. 205.

286

Ткачев П. Н. Избр. соч. на социально-политические темы: В 4 т. М., 1932. Т. 4. С. 59.

287

Там же. С. 60.

288

Там же. С. 61.

289

Там же. С. 64, 66, 67, 69.

290

Там же. С. 72, 85–86.

291

Биржевые ведомости. 1876. 9 янв. № 8. (Подпись: Заурядный читатель).

292

См.: Киевский телеграф. 1876. 14 янв. № 6.

293

См. об этом: *Вялый Г. А.* Н. К. Михайловский-беллетрист// Русская литература и народничество. Л., 1971. С. 100–124. (Учен. зап. ЛГУ. № 349. Сер. филол. наук. Вып. 74).

Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1896. Т. 4. С. 220.

295

Там же. С. 221–222.

296

Там же. С. 221.

297

О сложном отношении Михайловского к Достоевскому см. в книге Л. М. Розенблюм „Творческие дневники Достоевского“ (С. 117–140).

298

Златовратский Н. Н. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 5. С. 79.

299

Там же. С. 19–20.

300

Отеч. зап. 1883. Кн. 2. С. 539–576.

301

Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 8. С. 568.

302

См. об этом: *Туниманов В. А.* Достоевский и Глеб Успенский // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Вып. 1. С. 30–57

303

Гражданин. 1891. № 204–206.

304

Там же. № 204.

305

Там же. № 206.

306

Биржевые ведомости. 1875. № 35.

307

Ткачев П. Н. Избр. соч. Т. 4. С. 61.

308

Ср. письма И. А. Гончарова к Достоевскому от 11 и 14 февраля 1874 г. *(Гончаров И. А.* Собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 459–460), а также письма Достоевского к А. Н. Майкову от 11(23) декабря 1868 г. и Н. Н. Страхову от 26 февраля (10 марта) 1869 г.

309

Junger Nachwuchs: Roman von F. M. Dostojewskij/ Nach dem russischen Original übers von W. Stein. Leipzig, 1886; Mon père naturel / Par Th. Dostojevsky. Adaption inéd. par M. Michel Delines // L'indépendance belge. 1886. Juin — Oct.; Det unga Ryssland/Tidsskildr. af F. M. Dostojewskij. Stockholm, 1887.

310

Немногочисленные суждения о романе, появившиеся в печати, были поверхностными. Так, К. Блейбтроу, видный представитель раннего немецкого натурализма, в своем программном сочинении „Революция литературы“ скептически отзывается о „Подростке“ *(Bleibtrou. C.* Revolution der Literatur. Leipzig, 1886. S. XIX–XX).

311

Dostojevski F. Ein Werdender / Deutsch von Korfiz Holm. Miinchen, 1905.

312

Hesse H. Der Jungling // *Hesse H.* Schriften für Literatur. Frankfurt a. M., 1972. Bd 2. S. 315–320.

313

Brod M. Franz Kafka: Eine Biographie. Frankfurt a. M.; Hamburg, 1966. S. 46.

314

Dostoevski F. Un adolescent: Roman inéd. / Trad. par J. W Bienstock et F. Fénéon. Paris, 1902.

315

Rachilde à propos „Un adolescent“ // Mercure de France. 1902. T. 43. Sept. № 153. P. 748.

316

Ernest-Charles J. Un adolescent par Dostoevsky // La rev. bleue. 20 sept. См. также: *Ernest-Charles J.* Les samedis litéraires. Paris, P. 332–333.

317

Ibid.

318

Arnaud M. Dostoevski. Un adolescent // La rev. blanche. 1902. T. 29. 1 sept. № 222. P. 69–70.

319

Цит. по: *Phelps G.* The Pussian novel in English fiction. London, 1956. P. 150.

320

См., например: *Carr E. H.* Dostoevsky. 1821–1881: A new biography / Pref. by D. S. Mirsky. Boston, 1931. P. 255; *Rosen N.* Breaking out the underground: The „failure“ of „A raw youth“ // Modem fiction studies. 1958. Vol. 4. N 3. P. 225–239; *Wilson C.* The outsider. New York. 1967. P. 168.

321

Dostoevsky F. A raw youth: A novel in three parts / From the Russian by C. Garnett. New York, 1916.— Сводка откликов, появившихся в английской и американской периодической печати, дана в кн.: *Muhnic H.* Dostoevsky's English reputation (1881–1935) // Smith College studies in modern languages. Northhamtpton, Mass. 1939. Vol. 20. № 3–4. P. 71–72.

322

В 1947 и 1961 гг. В 1950 г. „Подросток“ в том же переводе издается в Австралии.

323

А. Жид перевел на французский язык также отрывок из „Подростка“.

Например, на чешском языке „Подросток“ впервые выходит в 1916 г., на венгерском — в 1922 г., на испанском — в 1923 г., на итальянском — в 1924 г.

325

Ранее в статье „Достоевский — пророк“ Отто Гельстед (Arbeiderbladet. 1941. 1 jan. S. 4) специально подчеркивал, что переводчик Ейнер Томассен перевел на датский язык все большие романы Достоевского, кроме „Подростка“.

326

Desanti Dominique. „L'adolescent“ de Dostoievski // Humanité Dimanche. 1956. 4 mars. № 388. P. 9.

comments

Комментарии

1

Квартира его была где-то у Большого театра… — Санкт-Петербургский Большой театр находился с 1783 по 1885 г. у Театральной площади, на месте нынешней Консерватории.

2

…давно уже, например, жаловался на потерю памяти при встречах, за это на него обижались… — По воспоминаниям А. Г. Достоевской, „все это случалось с Федором Михайловичем: он до того забывал лица знакомых ему людей, что иногда не узнавал даже моего брата, которого искренне любил. Его беспамятство создало ему много врагов, принимавших за личную обиду то, что он их не узнавал. Самые недавние события совершенно им забывались, между тем он отлично помнил давно прошедшее и изумлял своих родных яркостью своих воспоминаний» *(Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 60).

3

…у Полицейского моста… — Мост через реку Мойку (ныне Народный мост).

4

…на углу Подьяческой и Мещанской… — Улицы эти не пересекаются. Но конец Большой Мещанской (ныне ул. Плеханова) и начало Большой Подъяческой отделены друг от друга лишь Екатерининским каналом (ныне канал Грибоедова).

5

…*отправляясь к Смольному монастырю.* — Имеется в виду построенный Растрелли Смольный (Воскресенский) монастырь на берегу Невы, недалеко от Смольного института благородных девиц.

6

Штоф — плотная шелковая ткань, обычно с разводами.

7

…в Покровской гостинице… — Имеется в виду постоялый двор Новикова близ Покровской площади (ныне площадь Тургенева).

8

…„*хлыстовская богородица*“… — Члены секты хлыстов на своих радениях доводили себя до состояния экстаза хороводной пляской и пением. „Богородицами“ назывались руководительницы этой секты.

9

Масака — темно-красный цвет. А. Г. Достоевская писала: „Федор Михайлович часто упоминал о цвете «масака», но, на мои вопросы, никогда не мог определить, какой это цвет. По всей вероятности — темно-лиловый, так как гробы обивались тогда преимущественно темно-лиловым бархатом“ *(Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. *С.* 60).

10

Нет великого Патрокла, Жив презрительный Ферсит! — цитата из баллады Ф. Шиллера „Торжество победителей“ (1803) в переводе В. А. Жуковского (1828).

11

Конфидент (франц. confident) — доверенное лицо.

12

…хотя нынче, в судах, много облегчающих обстоятельств подводят. — В судах присяжных после судебной реформы 1864 г.

13

„Это Лиза послала мне, это она говорит со мной“, — подумалось ему. — По свидетельству А. Г. Достоевской, „подобное ощущение испытал Федор Михайлович, когда в 1868 году пришел в первый раз после похорон своей дочери Сони на ее могилку. «Соня послала мне это спокойствие», — сказал он мне“ (см.: *Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. С. 60–61).

14

Так тут ведь свежим яблочком пахнет-с! — Эти слова повторяет старый князь Сокольский в „Подростке“ (см. с. 166).

15

…*гриб съел.* — Попал в глупое положение, не получил ожидаемого.

16

…„*будущий двигатель*“… — „Двигателями“ прогресса в радикальной публицистике 1860-х годов именовались передовые деятели, революционеры.

17

— 101. *Когда в час веселый откроешь ты губки — Хочу целовать, целовать, целовать!* — Имеется в виду романс М. И. Глинки на слова А. Мицкевича (в переводе С. Голицына). Перевод этот был опубликован в альманахе „Новоселье“ (СПб., 1834. Ч. 2). Достоевский слышал пение Глинки на литературно-музыкальном вечере у С. Ф. Дурова и А. И. Пальма 21 апреля 1849 г. Об этом вечере см.: *Глинка М.* Записки. Л., 1953. С. 207–208. А. Г. Достоевская вспоминала: „Федор Михайлович несколько раз рассказывал при мне о том поразительном впечатлении, которое произвел на него этот романс в исполнении самого Глинки, которого он встретил в молодости“ (см.: *Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. С. 64).

18

„Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с“… — перефразированный афоризм французского моралиста Л. Вовенарга (1715–1747) (см.: *Вовенарг Люк де Клапье де*. Введение в познание человеческого разума. Фрагменты. Критические замечания. Размышления и максимы. Л., 1988. С. 168).

19

Сюркуп (франц. surcoupe) — термин карточной игры; здесь: привлечь к ответственности, арестовать.

20

…„*у Кобыльникова живот болит*“, — *помните у Щедрина?* — См. выше, с. 701.

21

— 119. *Припадки эти — „еще тарелочку-с“*. — Описание припадка Вельчанинова совпадает с записью Достоевского от 4 сентября 1869 г.: „Припадок в Дрездене. Очень скоро после припадка, еще в постели, мучительное, буквально невыносимое давление в груди. Чувствуется, что можно умереть от него. Прошло от припарок (сухих, гретые тарелки и полотенца с горячей золой) в полчаса“ (XXVII, 100).

22

Квазимодо — персонаж романа В. Гюго „Собор Парижской богоматери“ (1830), имя которого стало нарицательным для обозначения урода (ср. с. 126–127: „Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о «воскресении в новую жизнь» — посредством невинности мадемуазель Захлебининой!“). В последнем случае Достоевский, возможно, пародирует основную мысль собственного предисловия к публикации перевода „Собора Парижской богоматери“ (1862), где говорилось, что, основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия" — „восстановление погибшего человека“ (XX, 28).

23

Моветон (франц. mauvais ton) — невоспитанный человек.

24

…в наш век в России не знаешь, кого уважать. — Аналогичную мысль высказывает Коля Иволгин в романе „Идиот“ (см.: наст, изд Т. 6. С. 138).

25

…в вагоне одной из вновь открывшихся наших железных дорог. — Железная дорога от Кременчуга до Одессы была построена в 1865–1869 гг.

26

Благочинный — лицо православной церкви, осуществлявшее надзор за деятельностью определенных церковных приходов.

27

…он прожил в свою жизнь три состояния — Теперь у него, разумеется, ни копейки… — А. С. Долинин высказал предположение, что биография Версилова в этом, как и в некоторых других отношениях, сходна с биографией Петра Яковлевича Чаадаева (1794–1856), материалы о котором Достоевский мог почерпнуть из воспоминаний М. Жихарева „Петр Яковлевич Чаадаев“ (см.: Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 120–121). В частности, Жихарев писал, что Чаадаев растратил три богатых наследства и в конце жизни едва ли не впал в нужду (Вестн. Европы. 1871. № 9. С. 10–11).

Подобный мотив в биографии героя встречается у Достоевского и раньше. Герой повести „Вечный муж“ Вельчанинов в свою жизнь промотал два состояния, „из которых каждое было значительное“ (см. С. 9.).

28

Начетчик — знаток и толкователь богословских книг.

29

…только что прочел „Антона Горемыку“ и „Полиньку Сакс“…— „Антон Горемыка“ — повесть Д. В. Григоровича (1822–1899), впервые напечатанная в „Современнике“ (1847. № 6). „Полинька Сакс“ — повесть А. В. Дружинина (1824–1864), которая появилась также в „Современнике“ (1847. № 12). „Антон Горемыка“ посвящен тяжелой жизни крепостного крестьянина; повесть Дружинина, проникнутая идеями Жорж Санд, ставила вопрос о правах женщин. Обе повести были высоко оценены Белинским в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“. Белинский писал о первой повести: „Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа вся вертится на пропаже мужицкой лошаденки; несмотря на то, что Антон — мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое, в полном значении этого слова. Это повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные“. И там же критик замечал о повести Дружинина: „Многое в этой повести отзывается незрелостью мысли, преувеличением, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, в повести так много истины, так много душевной теплоты и верного сознательного понимания действительности, так много таланта, и в таланте так много самобытности, что повесть тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер героини повести, — видно, что автор хорошо знает русскую женщину“ *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 347). В письме Боткину от 2–6 декабря 1847 г. критик так характеризовал „Полиньку Сакс“: „Эта повесть мне очень понравилась. Герой чересчур идеализирован и уж слишком напоминает сандовского Жака, есть положения довольно натянутые, местами пахнет мелодрамою, всё юно и незрело, — и, несмотря на то, хорошо, дельно, да еще как!“. В том же письме о повести Григоровича сказано: „Ни одна русская повесть не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет в истязает целую вотчину — законное наследие его благородных предков“ (там же. Т. 12. С. 444, 445). Таким образом, по замыслу автора, Версилов в молодости как либеральный

дворянин- „западник“ 1840-х годов до некоторой степени, подобно всему своему поколению, был воспитан на идеях Белинского.

30

…хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. — В главе седьмой третьей части говорится о том, что Аркадий увидел сделанный за границей портрет своей молодой матери в кабинете Версилова. См. с. 587.

31

…сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров… — Достоевский не раз писал об огромном количестве оправдательных приговоров, которые выносили суды присяжных заведомым преступникам, и большую долю ответственности за это возлагал на адвокатов, заботившихся, по мнению писателя, не столько об установлении истины, сколько о поддержании своего престижа. Ср., например, очерк „Среда“ из „Дневника писателя“ за 1873 г.

32

…жили — в переулке, в Семеновском полку. — Район Петербурга между р. Фонтанкой, Обводным каналом и тогдашним Обуховским (теперь Московским) проспектом, где находились казармы Семеновского полка.

33

Бонмо (франц. bon mot) — острое, умное слово.

34

Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам; открыто! — Фру-фру — здесь то же, что турнюр *(франц.* tournure) — модная в 70-80-х годах XIX в. принадлежность женского платья в виде подушечки, подкладывавшейся под платье сзади ниже талии для придания фигуре пышности. Фру-фру *(франц.* froufrou) — шелест (шелкового платья); Аркадий употребляет это выражение иносказательно. Бельфам (*франц.* belle — прелестная, femme — женщина) — здесь: соблазнительная женщина. Ср. рассуждения Аркадия о модах с разговором двух губернских дам в „Мертвых душах“ Гоголя: „Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам“ *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1951. Т. 6. С. 181).

35

У меня был в прежнем пансионишке, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт. — В воспоминания Аркадия Долгорукого о своих детских годах в Москве Достоевский внес автобиографические элементы, перешедшие в роман из „Жития великого грешника“ (наст. изд. Т. 10). Имя содержателя пансиона Тушара восходит к Сушарду, принявшему фамилию Драшусова. В московском пансионе Н. И. Драшусова Достоевский был приходящим учеником. (См.: *Достоевский А. М.* Воспоминания. Л., 1930. С. 65; *Федоров Г. А.* Драшусовы и „пансионишко Тушара“ //Лит. газ. 1974. 17 июля. № 29). Ламберт, первоначально появляющийся в „Житии великого грешника“ как соученик героя-мальчика, толкающий его на дурной путь (см. подробнее: IX, 519–520), по-видимому, также восходит к реальному прототипу. Среди учеников московского пансиона Л. И. Чермака, который посещал Достоевский в 1834–1837 гг., числился „Ламберт Евгений, иностранец“. См.: *Федоров Г. А.* Пансион Л. И. Чермака в 1834–1837 гг. // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Вып. 1. С. 248.

36

Конфирмация — первое причастие; обряд приобщения юношей и девушек к церкви у католиков и протестантов.

37

У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем). — Первоначально в романе намечалась сюжетная линия, связанная с богатой невестой, прозванной „Подушкой“ (см.: XVI, 135–136 и 144–145). В окончательном тексте романа эта линия не получила развития.

38

…когда Джемс Ротшильд — узнал — об убийстве герцога Беррийского — нажил несколько миллионов… — Джемс Ротшильд (1792–1868) — парижский банкир, основал банкирский дом Ротшильдов, который расцвел после падения Наполеона I в связи с государственными займами Бурбонов. Герцог Беррийский (1778–1820) — второй сын Карла X, кандидат на французский престол. 13 февраля 1820 г. был убит в подъезде театра рабочим Лувелем. Однако его убийство не отразилось на финансовой деятельности Ротшильда, который в действительности разбогател благодаря своевременному получению известия о поражении Наполеона I при Ватерлоо (1815).

39

…это тоже было в двух шагах. — Прототип Дергачева — А. В. Долгушин жил на Петербургской стороне, в доме Мерк. См. отчет о судебном деле долгушинцев: Голос. 1874. 10 июля. № 189.

40

…всё ли еще он держит намерение бежать в Америку? — Среди молодежи 60-70-х годов было распространено стремление переселиться в Америку, с чем связывались нередко разного рода радикальные и социалистические утопические идеи. Тема эта подробно развита Достоевским в „Бесах“ (см.: наст. изд. Т. 7. С. 133–134).

41

Во всех четырех окнах были спущены шторы. — В следствии по делу Долгушина и его товарищей отмечалось, что в квартире, где печатались прокламации, „окна <…> как на улицу, так и во двор, за исключением кухни, постоянно были завешаны“ (Голос. 1874. 10 и 15 июля. № 198, 194).

42

Это был техник и имел в Петербурге занятие… — А. В. Долгушин, прототип Дергачева, заведовал мастерской жестяных изделий (см.: Голос. 1874. 10 июля. № 189).

43

„Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat — ignis sanat!“ — Изречение одного из основателей медицины, древнегреческого врача Гиппократа (460–356 до н. э.). Слова эти (взятые Ф. Шиллером эпиграфом к „Разбойникам“) наряду с другими изречениями на английском, итальянском и французском языках были написаны на стенах комнаты в подмосковной даче Долгушина, где печатались прокламации. См. протокол следствия, опубликованный в „Голосе“ (1874. 17 июля. № 196).

44

Дергачеву было двадцать пять лет, и он был женат. — Прототипу Дергачева — А. В. Долгушину — во время суда над ним также было 25 лет, и он тоже был женат (см.: Голос. 1874. 10 июля. № 189).

45

…жена его — ушла теперь кормить ребенка. — Как показала во время следствия жена Долгушина, она „не могла бывать на каждом из этих вечеров“, где обсуждались политические и нравственные вопросы, „потому что кормила ребенка“ (см.: Голос. 1874. 13 июля. № 192).

46

…оставались еще две дамы — одна — лет двадцати — а другая лет тридцати… — По делу Долгушина привлекались две женщины: Сахарова, бывшая горничная, а затем гражданская жена одного из главных обвиняемых — Дмоховского, и Ободовская — дочь состоятельных родителей, уехавшая работать учительницей в Новгородскую губернию (см.: Голос. 1874. 19 июля. № 198).

47

Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой… — В показании одного из свидетелей по делу Долгушина о его внешности сказано так: „…молодой, с черною бородкой, невысокого роста“ (см.: Голос. 1874. 15 июля. № 194).

48

…одного высокого смуглого человека — лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того… — По делу Долгушина привлекался сельский учитель Гамов, 26-ти лет (см.: Голос. 1874. 11 июля. № 190).

49

…молодого парня моих лет, в русской поддевке — Он и оказался потом из крестьян. — По делу Долгушина привлекался крестьянин А. Васильев, 18 лет, один из работников мастерской Верещагина, которой заведовал Долгушин.

50

— *Подожди, Тихомиров…* — В следственном деле долгушинцев упоминается фамилия Тихомиров; ее называет жена Долгушина как имя близкого знакомого, который часто бывал у них (см.: Голос. 1874. 13 июля. № 192). К следствию по делу долгушинцев Тихомиров не привлекался.

51

Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный — которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. — Весьма вероятно, что одним из прототипов Крафта был соученик А. Ф. Кони по Московскому университету мировой судья Крамер, покончивший с собой, так как ему представлялось, что у русского народа нет исторической будущности. В дневнике, начатом за неделю до смерти, Крамер писал, что русский народ послужит лишь удобрением для более свежих народов, которые придут, вероятно, с Востока. „Но я люблю, — писал он, — этот народ, и его печальное будущее меня угнетает, рисуя мне всякую общественную работу бесполезной в своем конечном результате“. Предсмертный дневник Крамера попал к А. Ф. Кони, который разбирал дело о самоубийстве своего бывшего товарища. Кони, вероятно, и рассказал об этом Достоевскому, так как некоторые детали из предсмертного дневника Крамера использованы при создании образа Крафта (см. ниже, примеч. к с. 296). Кони рассказывает о Крамере в своих воспоминаниях „На жизненном пути“, (т. 3, ч. 1). Создавая образ Крафта, Достоевский пользовался и другими источниками. В теории Крафта об отсутствии самостоятельного значения России нашли, в частности, отражение взгляды П. Я. Чаадаева, высказанные им в „Философических письмах“ (1829–1831), первое из которых, напечатанное в 1835 г. в „Телескопе“, привело к закрытию журнала и высылке его редактора Н. И. Надеждина (1804–1856) в Усть-Сысольск. В письме Чаадаев пишет: „Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?“ (Соч. и письма П. Я. Чаадаева / Под ред. М. Гершензона. М., 1914. Т. 2. С. 113). И далее: „Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда

ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь“ *(Чаадаев П. Я.* 1-е философическое письмо (1829) // Там же. С. 116–117).

52

Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу — нечего делать! — Ср. замечание Достоевского в „Зимних заметках о летних впечатлениях“: „…не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела“ (наст. изд. Т. 4. С. 407).

53

— *Надо жить по закону природы и правды…* — Слова жены Дергачева — вариация заглавия нелегальной прокламации, вышедшей из кружка долгушинцев: „Как должно жить по закону природы и правды“. См. выше: С. 741–742.

54

— *Зачем же так секретно?* — Цитата из комедии А. С. Грибоедова „Горе от ума“ (д. III, явл. 3). Реплика Чацкого в ответ на слова Молчалива: „Не смею моего сужденья произнесть“. Оппонент Аркадия Долгорукого намекает на сходство его с Молчаливым и следующей своей репликой: „У вас?“. В „Горе от ума“ эта реплика Чацкого находится в таком контексте:

Молчалин
Нет-с, свой талант у всех…
Чацкий
У вас?
Молчалин
Два-с:
Умеренность и аккуратность.

55

Фискальные поборы — налоги в пользу государственной казны (лат. fiscus — государственная казна, fiscalis — казенный).

56

…когда Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней… — Эта мысль Подростка связана с теорией так называемой тепловой смерти вселенной, возникшей в 60-х годах XIX в. в связи с открытиями английского физика У. Томсона (1824–1907) и немецкого физика Р. Клаузиуса (1822–1888) в области термодинамики. В начале 1850-х годов они сформулировали 2-й закон термодинамики и установили, что все виды энергии переходят в тепловую и что последняя равномерно распределяется между всеми телами природы; происходящее при этом выравнивание температуры ведет к невозможности дальнейшего превращения тепловой энергии в другие ее виды. Отсюда вывод Клаузиуса (1865) о предстоящей тепловой смерти вселенной, произведший сильное впечатление на современников. Отзвуки этой теории сказались в описании одного из вариантов кончины мира в научно-популярной книге К. Фламмариона „История неба“ (франц. изд. — 1873; русский перевод 1875 г. был в библиотеке Достоевского. См.: *Гроссман Л. П.* Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 161). „Солнце охлаждается. Унося Землю и планеты по ледяным пустыням пространства, оно медленно теряет свою теплоту и свой свет <…> Солнце сделается красным, затем черным, и планетная система будет не что иное, как собрание черных шаров, вращающихся вокруг такого же черного шара“ *(Фламмарион К.* История неба. СПб., 1875. С. 523–524). Достоевский мог познакомиться с книгой Фламмариона до выхода в свет ее русского перевода. Теория тепловой смерти вселенной, видимо, глубоко волновала Достоевского. Подтверждением этого является неоднократное упоминание о грядущей гибели вселенной в черновых записях к „Подростку“ (см.: XVI, 70).

57

…если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? — Аркадий выступает здесь против фурьеризма, сторонники которого проектировали будущую разумную жизнь трудящихся людей как жизнь в общественных производственно-потребительских ассоциациях (фалангах), которые, по учению Ш. Фурье (1772–1837), должны стать ячейками нового общественного устройства. Позиция Аркадия здесь отчасти совпадает с позицией героя „Записок из подполья“ (наст. изд. Т. 4. С. 465–470).

58

…(все тогда находились за границей, в Эмсе)… — Эмс, или Бад-Эмс, — курортный город в Германии. В Эмсе Достоевский лечился летом 1874 г., и там же началась интенсивная работа над „Подростком“, Впоследствии Достоевский ездил в Эмс для лечения в 1875 и 1876 гг.

59

Это была болезненная девушка, лет семнадцати — чрезвычайной красоты, а вместе с тем и фантастичности. — В эпизоде увлечения Лидии Ахмаковой Версиловым есть, по мнению Долинина, перекличка с одним из эпизодов биографии Чаадаева (см.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 122–123). М. Жихарев писал о любви к нему молодой девушки, которую это чувство свело в могилу (см.: Вести. Европы. 1871. № 9. С. 15). Отметим, однако, что образ болезненной девушки (чахоточной или увечной), влюбленной в героя, который жалеет ее, присутствует в ряде произведений Достоевского. Ср.: „Преступление и наказание“ (наст. изд. Т. 6. С. 166, 177), „Бесы“ (Марья Лебядкина), замысел романа о князе и ростовщике (IX, 122–125).

60

— *Живите больше, — как бы вырвалось у него.* — Слова Крафта восходят к „Сибирской тетради“, запись 83 (ср. наст. изд. Т. 3. С. 546).

61

Мне встретился маленький мальчик. — он с чего-то вдруг меня испугался и побежал дальше, — Сюжетный мотив о взаимоотношениях Подростка и маленького его сводного брата, который убегал из дому и которого Подросток искал на темных улицах ночью, разрабатывался в подготовительных материалах к роману, но не вошел в окончательный текст (ср.: XVI, 30, 43, 63, 64, 94, 110). Данный эпизод, видимо, — рудимент намечавшегося сюжета.

62

В войну с Европой поступил опять в военную службу, но в Крым не попал… — Имеется в виду Крымская война 1853–1856 гг. между Россией и коалицией Англии, Франции, Турции и Сардинии, возникшая в результате столкновения экономических и политических интересов этих стран на Ближнем Востоке. Центральным событием войны стала героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся с октября 1854 по сентябрь 1855 г

63

…вступил в мировые посредники первого призыва.. — Мировые посредники — должность для лиц дворянского звания, учрежденная в России для осуществления на местах крестьянской реформы 1861 г Мировые посредники первого призыва (1861–1863), на которых выпала основная работа по размежеванию земель и составлению „уставных грамот“ (актов, определявших хозяйственное устройство крестьян и отношение их с помещиком в период до выкупа), в ряде случаев выступали с критикой правительственной реформы, добиваясь ее пересмотра на более демократических началах. 13 мировых посредников Тверской губернии были за это арестованы, заключены в Петропавловскую крепость и преданы суду. Намек на это событие есть в романе „Бесы“ (наст. изд. Т. 7. С. 200). В дальнейшем (институт мировых посредников просуществовал до 1874 г.) мировые посредники перестали играть сколько-нибудь значительную роль в жизни крестьян, да и на должность эту стали назначать угодных правительству реакционно настроенных помещиков и чиновников (см.: *Корнилов А. А.* Деятельность мировых посредников//Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем М., 1911. Т. 5. С. 237–252).

64

Фатер (нем. Vater — отец) — здесь: отец семейства, обыватель

65

„У меня-то украдут? Да я сам боюсь, у кого б не украсть“. — слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца. — Выражение это взято из „Сибирской тетради“, запись 16 (см.: IV, 235).

66

Факторство — исполнение чужих поручений, комиссия.

67

…этих наших Кокоревых, Поляковых, Губониных. — Фамилии русских капиталистов, которые были богачами в первом поколении, выйдя из социальных „низов“. Василий Александрович Кокорев (1817–1889) — происходил из мещан Костромской губернии, старообрядец, самоучка — стал миллионером, разбогатев на винных откупах. Самуил Соломонович Поляков (1837–1888) — железнодорожный деятель, капиталист, происходил также из мещанского семейства, составил себе большое состояние в период строительства железных дорог и раздачи железнодорожных концессий. Петр Ионович Губонин (1825–1894) — известный железнодорожный деятель.

68

Незадолго до французской революции явился в Париже некто Лоу… — Джон Лоу (1671–1729) — англичанин, бежавший из Англии в Париж. Здесь в 1716 г. основал с разрешения правительства банк, выпустивший необеспеченные банковые билеты. В 1720 г. предприятие Лоу обанкротилось, а сам он скрылся. Так как свой банк Лоу передал государству, то банкротство это оказалось государственным банкротством и вызвало общественный скандал.

69

Но были любимые… Впрочем, не приводить же их здесь. — Содержание мечтаний — „идей“ Подростка подробнее раскрыто в подготовительных материалах к роману (см.: XVI, 34, 35, 49, 93, 221).

70

…но вот подле меня Талейран, Пирон… — Шарль-Морис Талейран Перигор (1754–1838) — выдающийся французский дипломат, мастер тонкой дипломатической игры, возглавлявший внешнюю политику Франции, несмотря на смену правительственных режимов, при Наполеоне и Луи-Филиппе. Алексис Пирон (1689–1773) — французский поэт, автор стихотворений, комедий, комических опер. О Пироне сохранилось много анекдотов, ему приписывались острые злые эпиграммы, пользовавшиеся большой популярностью.

71

…*с меня довольно / Сего сознанья.* — Цитата из монолога Барона в трагедии Пушкина „Скупой рыцарь“ (1830). О значении трагедии Пушкина и образа Скупого рыцаря для „ротшильдовской“ идеи Аркадия Долгорукого см. выше, с. 740.

72

— 224…*как мог согласиться Джемс Ротшильд стать бароном!* — Джемс Ротшильд (см. примеч. к с. 181), как и его братья, получил баронский титул в 1822 г.

73

Писали, что один заграничный граф или барон на одной венской железной дороге надевал одному тамошнему банкиру, при публике, на ноги туфли, а тот был так ординарен, что допустил это. — Близкий случай описан в очерке В. П. Мещерского (1839–1914) «Заграничные дорожные эскизы» (Рус. вест. 1871. № 10. С. 637–699). Мещерский рассказывает, что на пути в Вену в железнодорожный вагон, в котором ехали русские путешественники, сел какой-то „весьма важный господин“, а „какой-то щеголь австриец, сидевший с нами, вскочил с своего места и, начав раскланиваться преподобострастно с входившим магнатом, явно изъявил ему готовность обратиться в подушку или даже уничтожиться вовсе, лишь бы влезавшему почтенному господину было удобно“. Важный господин „оказался евреем. Еврей этот был банкир NN, а щеголь „оказался барон N, из хорошей австрийской фамилии“. Банкир „принимал услуги барона как самое естественное проявление поклонения своей особе“ (там же. С. 651, 652).

74

Одно сознание о том, что в руках моих были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, кормило бы меня в моей пустыне. — Намек на библейскую легенду о пророке Илие, который во время жестокой многолетней засухи по повелению бога жил возле Иордана, причем ворон каждый день приносил ему хлеб и мясо (3-я книга Царств, гл. 17, ст. 4–6).

75

Бисмарк Отто фон (1815–1898) — Немецкий политический деятель, с 1862 г. канцлер, объединивший Германию.

76

…я заметил в вагоне одного плюгавенького молодого человека… — В подготовительных материалах к роману эпизод с „дураком в вагоне“ подробно разрабатывался (ср. XVI, 47, 59, 71, 109 и др.). В окончательном тексте эпизод этот значительно изменился.

77

…мы ходили с ним вдвоем — тотчас же приставали к ней. — Основанием для этого эпизода послужила заметка в „Русском мире“ (№ 188) от 12 июля 1874 г., которая нашла отражение в черновых материалах к роману (см. XVI, 39). Автор письма в газету сообщал, что вечером повстречался с пьяным, который „кидался на всех проходивших женщин и ругал их самыми площадными словами“. Автор письма позвал городового, тогда пьяный „как-то сразу несколько отрезвился и просил пустить его и «не делать скандала», потому что он — студент университета“.

78

…Жан-Жак Руссо признается в своей „Исповеди“ — проходивших женщин. — Руссо рассказывает об этом в книге третьей первой части „Исповеди“. См.: *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 82–83.

79

…на стене висела превосходная большая гравюра дрезденской Мадонны… — Имеется в виду Сикстинская Мадонна Рафаэля (1483–1520), написанная в 1515–1519 г.г. для бенедектинского монастыря св. Сикста в Пьяченце, где была главным алтарным образом. В 1754 г. приобретена для саксонского курфюрста Фридриха-Августа II и до сих пор хранится в Дрезденской галерее. Одно из любимых живописных произведений Достоевского. Фотографию с картины Рафаэля Достоевский долго, но тщетно пытался купить во время своих заграничных поездок. Она была подарена ему в 1879 г. С. А. Толстой, вдовой поэта А. К. Толстого, и висела в кабинете писателя (см.: *Достоевская А.* Г. Воспоминания. М., 1971. С. 355). Сейчас эта фотография хранится в музее Достоевского в Москве.

80

…дорогая фотография, в огромном размере, литых бронзовых ворот флорентийского собора. — Имеются в виду ворота Баптистерия Сан-Джиованнь, крестильни при знаменитом соборе Сайта Мария дель Фиоре (XIII в.) во Флоренции. А. Г. Достоевская отмечала в „Воспоминаниях“, что, живя во Флоренции, Достоевский восхищался собором и особенно воротами Баптистерия. „Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей, если возможно, в натуральную их величину, и повесит у себя в кабинете, чтобы на них любоваться“ (там же. С. 184).

81

Это *одна из „женевских идей“ конца прошлого столетия*. — Имеются в виду идеи, восходящие к общественно-политическим и моральным взглядам Жан-Жака Руссо (1712–1778), женевца по происхождению, которого Достоевский считал одним из предтеч современных ему демократических и социалистических учений. Ср. ниже, примеч. к с. 345.

82

Учительница подготовляет во все учебные заведения — и дает уроки арифметики“… — Подобных безграмотно составленных объявлений много печаталось в тогдашних газетах, особенно в „Голосе“. Возможно, что моделью для Достоевского послужило объявление, напечатанное здесь 30 сентября 1874 г.: „Приготовляю в военные гимназии и в военно-учебные заведения и даю уроки по математике“ (Голос. 1874. № 270).

83

…у Елисеева и у Балле. — Имена владельцев больших магазинов продовольственных товаров в Москве и Петербурге.

84

Я в пустыню удаляюсь… — Первая строка популярной песни, опубликованной впервые в сб. „Новый российский песенник, или Собрание любовных, хороводных, пастушьих, плясовых, театральных, цыганских, малороссийских, казацких, святочных, простонародных и в настоящую войну на поражение неприятелей и на разные другие случаи сочиненных… песен“ (СПб., 1790. Ч. 1. С. 16). Перепечатывалась позднее во многих песенниках. Приписывается М. В. Зубовой (ум. 1799), известной исполнительнице песен. См.: Песни и романсы русских поэтов / Вступит, статья, подгот. текста и примеч. В. Е. Гусева. М.; Л., 1965. С. 196, 991.

85

— Друг мой, а это будет… не скучно? Ты знаешь: tous les genres… — Tous les genres sont bons hors le genre ennuyeux (Все жанры хороши, кроме скучного, *франц.)* — фраза Вольтера (1694–1778) из его предисловия к комедии „Блудный сын“ (1738), ставшая крылатой.

86

…*цвета сольферино…* *(итал.* solferino) — лилово-красного цвета.

87

…с алансонскими кружевами… — кружева, производившиеся на знаменитой в свое время кружевной фабрике во французском городе Алансоне в Нормандии.

88

Невеста-девушка смышляла жениха. — Первая строка басни И. А. Крылова „Разборчивая невеста“ (1806).

89

…он тебя до университета довел и что чрез него ты права получил. — Окончивший гимназию имел право поступать в университет (другие учебные заведения этого права не давали) и во все прочие высшие учебные заведения, а также имел предпочтительное право перед не учившимися в гимназии поступать на государственную службу с производством в первый чин по выслуге определенных сроков.

90

Nous revenons toujours… — Намек на французскую пословицу: On revient toujours, à ses premiers amours (Всегда возвращаются к своей первой любви).

91

…осуждали чины — деревни и даже ломбард… — Ломбарды возникли в России в XVIII в. как учреждения, находившиеся под контролем правительства, в целях борьбы с частными ростовщиками, взимавшими громадные проценты. Однако существовавшие в России сельские и городские ссудные кассы брали очень высокие проценты, гораздо выше официально дозволенных и по существу являлись эксплуататорскими учреждениями.

92

А может быть, таковы требования прекрасного и высокого в самом деле, я этого во всю жизнь не мог разрешить. — Формула „высокое и прекрасное“, широко распространенная в конце XVIII в. и в романтической эстетике 1820-1830-х годов, во второй половине XIX в. употребляется иронически. Формула эта восходит к И. Канту (1724–1804) и Э. Бёрку (1729–1797), которые посвятили анализу понятий „прекрасное“ и „высокое“ свои эстетические трактаты. В „Дневнике писателя“ за 1876 г. Достоевский писал, вспоминая 1837 г.: „Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии“ (Дневник писателя на 1876. Январь. Гл. 3, подгл. 1).

93

…если б он закричал на весь двор, завыл, сей уездный Урия, — ну что бы тогда было со мной, с таким малорослым Давидом… — Версилов иронически переосмысляет один из библейских сюжетов. Царь Давид увидел однажды Вирсавию, жену Урии хеттеянина, и соблазнил ее. Догадавшийся об этом Урия не хотел идти в свой дом, несмотря на старания Давида задобрить его. Тогда царь повелел своему военачальнику Иоаву во время сражения с аммонитянами поставить Урию в наиболее опасное место. Иоав исполнил повеление царя, и Урия был убит в сражении. Тогда Давид взял его вдову себе в жены. „И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах господа“ (2-я книга Царств, гл. 11, ст 27).

94

…буквально пошел сбирать на построение божьего храма… — Перефразированное выражение из стихотворения Н. А. Некрасова „Влас“ (1854):

> И сбирать на построение
> Храма божьего пошел…

Ср. след, примеч.

95

Смуглолиц, высок и прям… — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова „Влас“. В „Дневнике писателя“ за 1873 г. Достоевский разбирает это стихотворение в специальной статье „Влас“. Черты некрасовского Власа сказались на обрисовке образа Макара Долгорукого. Однако сложные и противоречивые черты Власа (сочетание богоборчества, бунта, проявившегося в его грехе, и стремления к страданию и очищению), вообще характерные для многих героев Достоевского, не находят отражения в Макаре, ставшем воплощением тихого, кроткого и светлого начала. (См.: *Туниманов В. А.* Достоевский и Некрасов // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 53–59). Влияние Власа, сюжетной схемы его характера больше сказалось на образе купца Скотобойникова, историю которого рассказывает Макар Долгорукий (см: с. 517–528).

96

…пушкинского Германна из „Пиковой дамы“ (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!)… — Образ Германна (как и вся повесть Пушкина „Пиковая дама“) оказал сильное воздействие на ряд произведений Достоевского (см.: *Бем А.* Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского//Slavia. 1929. Т. 8, вып. 1, С. 82–100; вып. 2. С. 297–311). Характер петербургского героя Пушкина, одержимого фантастической идеей разбогатеть, нашел отражение и в „Подростке“.

97

„А что, как разлетится этот туман — не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город… — Образ призрачного Петербурга, который, казалось, „тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу“, впервые возникает у Достоевского в рассказе „Слабое сердце“ (1848) (наст. изд. Т. 2. С. 88) и затем переходит в фельетон 1861 г. „Петербургские сновидения в стихах и прозе“. Сходные мотивы имеются в черновых набросках к „Дневнику писателя“ за 1876 г., „Я часто спрашиваю себя: как без переворота можно согласиться бросить такие дворцы — кстати, что будет с Петербургом, если бросят. Уцелеют немцы, множество домов без поддержки, без штукатурки, дырья в окнах, а посреди памятник Петра“ (XXIII, 199).

Мысль о том, что Петербург — город искусственно созданный, не „органичный“ для России, а потому обреченный на гибель, была распространенной среди славянофильски настроенной части общества и нашла отражение в некоторых поэтических произведениях 1830-х годов — М. А. Дмитриева, В. С. Печерина и др. См.: Поэты 1820-1830-х годов. Л., 1972. Т. 2. С. 60, 477–482, 736.

98

…а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» — Имеется в виду памятник Петру I работы Э. Фальконе, названный Пушкиным Медным всадником. Достоевский использует символику пушкинской поэмы:

> О мощный властелин судьбы!
> Не так ли ты над самой бездной,
> На высоте, уздой железной
> Россию поднял на дыбы?

Однако оценка деятельности Петра и ее результатов у Достоевского отлична от пушкинской. Ср. ниже, примеч. к с. 690.

99

Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп. — Мысль, характерная для литературно-теоретических взглядов Достоевского и неоднократно им высказывавшаяся. См.: Письмо А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г.; письмо Н. Н. Страхову от 26 февраля (10 марта) 1869 г. Сходную мысль развивает Достоевский и в рассуждении об отношении искусства к действительности в октябрьском выпуске „Дневника писателя“ за 1876 г. (гл. 1, подглавка 3; „Два самоубийства“). Говоря о видимости жизненных явлений и их скрытой сущности, которая должна быть предметом исследования для настоящего художника, Достоевский отмечает, что эта скрытая сущность, „концы и начала“ — „это всё еще пока для человека фантастическое“.

100

У Васина, на Фонтанке у Семеновского моста… — Семеновский мост через Фонтанку по Гороховой улице (ныне ул. Дзержинского). Васин жил в районе, застроенном большими доходными домами, которые были заселены небогатым людом.

101

— *Бресто-граевские-то ведь не шлепнулись, а?* — Речь идет об акционерном обществе Бресто-Граевской железной дороги (дорога от Бреста до польского местечка Граево, важного железнодорожного пункта на пути между Россией и Германией), основанном в начале 70-х годов. Объявления общества (о перевозках, выручке, погашении облигаций, собраниях акционеров и т. д.) печатались в ряде газет 1873–1874 гг. Судя по этим объявлениям, акционерное общество увеличивало свой капитал, на что и намекает Стебельков.

102

„Прелестная дева ласкала меня…“ — строка из стихотворения А. С. Пушкина „Черная шаль“ (1820).

103

Я ведь и доктор и акушер-с. Фамилия моя Стебельков… — О прототипе Стебелькова враче-гинекологе Колосове см. выше, с. 755–756.

104

Форштадт (нем. Vorstadt) — предместье.

105

Версилов — ведь это „бабий пророк-с“… — Ироническое прозвище Версилова, возможно, восходит к оценке П. Я. Чаадаева его идейными противниками. Переход Чаадаева в католичество, его философские и богословские высказывания и писания, огромный успех его проповеди у женщин, по предположению А. С. Долинина, сказались в образе Версилова (*Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 121–123). Д. В. Давыдов в „Современной песне“ (1830-е гг.) дал такой портрет П. Я. Чаадаева:

Старых барынь духовник
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.
Все кричат ему привет
С оханьем и писком,
А он важно им в ответ:
„Dominas vobiscum“

(Господь с вами *(лат.)*)

Характеристика Версилова, данная старым князем Сокольским, во многом совпадает с этой характеристикой Чаадаева.

106

— Версилов живет в Семеновском полку, в Можайской улице, дом Литвиновой, номер семнадцать… — Можайская улица расположена в бывшей Московской части, между Обводным каналом и Загородным проспектом. Неподалеку были расположены казармы Семеновского полка. Район этот находился на границе между кварталами, в которых жили состоятельные люди (часть Загородного проспекта, примыкавшая к Владимирской площади), и районами с беспорядочной застройкой деревянными домами, где жили ремесленники и мастеровые. См.: *Михневич Вл.* Петербург весь на ладони. СПб., 1874. С. 60.

107

Quand on parle d'une corde… — Оборот, характерный для ряда французских пословиц. Например: Quand on parle du loup, on en voit la queue (Когда заговорят о волке, тотчас увидят его хвост). Или: Quand on parle du soleil, on en voit les rayons (Когда заговорят о солнце, сразу видят его лучи).

108

В конце Обуховского проспекта, у Триумфальных ворот, я знал, есть постоялые дворы… — Московские триумфальные ворота, сооруженные в 1838 г. по проекту архитектора В. П. Стасова, находились не на Обуховском проспекте, а на Царскосельском, являвшемся продолжением Обуховского (ныне оба они составляют Московский проспект). В то время возле Московских триумфальных ворот была граница города, здесь находилась Московская застава, район, где жили рабочие и городская беднота.

109

…Крафт застрелился — из-за идеи, из-за Гекубы… — Намек на слова Гамлета об актере, читающем монолог о страданиях Гекубы:

> Его лице от силы их бледнеет,
> В глазах слеза, дрожит и млеет голос,
> В чертах лица отчаянье и ужас,
> И весь состав его покорен мысли.
> И всё из ничего! Из-за Гекубы!
> Что он Гекубе, что она ему,
> Что плачет он об ней?

(Пер. А. Кронеберга)

110

А это еще в Библии дети от отцов уходят и свое гнездо основывают… — Аркадий имеет в виду изречение из книги Бытия, повторенное и в ряде мест Нового завета: „Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей…“ (Бытие, гл. 2, ст. 24).

111

Крафт застрелился — в полные сумерки, что явствовало из его дневника. — В эпизоде самоубийства Крафта, записывавшего в последние часы и минуты жизни свои ощущения, Достоевским использован материал, помещенный в № 46 „Гражданина“ от 18 ноября 1874 г. В разделе „Из текущей жизни“ там было перепечатано сообщение из „Тифлисского вестника“ о самоубийстве в Пятигорске некоего А. Ц-ва. Найденный мертвым в своей постели, в полусидячем положении, он держал в руке карандаш и открытую книгу, а сбоку лежали часы и листы бумаги, исписанные им перед смертью. Самоубийца принял опиум и через каждые 5-10 минут записывал свои ощущения. Об использовании Достоевским этого предсмертного дневника см.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 139–140.

112

…он замечает — что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы; свечку же зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар. — В предсмертном дневнике пятигорского самоубийцы говорилось: „Пишу на память и, чтоб не онеметь и не забыть потушить свечу и тем не сделать пожара, тушу свечу“ (Гражданин. 1874. № 46. С. 1140).

113

…он, чтобы согреться, думал было выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановила ег“ о. — Эта деталь заимствована из предсмертного дневника Крамера (см. выше, примеч. к с. 185), в котором была такая запись: „Скоро 12 часов! Всё готово. У меня легкий озноб, и я немного зеваю, но совершенно спокоен. Хотел выпить коньяку, но вино, говорят, усиливает кровотечение, а я и без того здесь напачкаю“ (О Достоевском: Сб. статей. Прага, 1929. Вып. 1. С. 141).

114

Один такой же самоубийца именно жалуется в таком же своем дневнике — всё такие мелкие и пустые. — В дневнике пятигорского самоубийцы А. Ц-ва (см. выше) записано, что его знобит, тошнит и почему-то „начинает сильно чесаться нос“ (Гражданин. 1874. № 46. С. 1140).

115

…на основании френологии, краниологии… — Френология *(греч.* phren, phrenos — ум, разум) — теория о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека, не подтвержденная дальнейшим развитием науки. Краниология (греч. kranion — череп) — раздел антропологии и зоологии, изучающий черепа людей и животных.

116

Еще из Евангелия тут же пошутил: „Миритесь, говорит, пока на пути, дондеже не заплатите последний кодрант“… — Неточная цитата из Нагорной проповеди, где говорится: „Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта“ (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 25–26).

117

Адрес дала, у Вознесенского моста… — Вознесенский мост по Вознесенскому проспекту (ныне пр. Майорова) через Екатерининский (ныне Грибоедова) канал. Расположен в бывшей Спасской части Петербурга. В этом районе, согласно статистическим данным за 1872 г., было больше всего публичных домов (46 из 117). См.: *Михневич Вл.* Петербург весь на ладони. С. 300.

118

…и не замечают, что уже на фербанте. — Здесь: уже не у дел *(нем.* verbannten — изгонять, ссылать).

119

…принять меня за странствующего селадона. — Селадон — имя героя пасторального романа французского писателя Оноре д'Юрфе (1568–1625) „Астрея“ (1610–1619), ставшее нарицательным как обозначение волокиты.

120

Ибо сей человек „был мертв и ожил, пропадал и нашелся“! — В Евангелии от Луки (гл. 15, ст. 24) слова эти говорит отец о возвратившемся к нему сыне. Аркадий же говорит это о своем отце, переосмысляя таким образом евангельскую притчу.

121

Тьмы низких истин мне дороже// Нас возвышающий обман… — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина „Герой“ (1830).

122

…не бог знает какой Versailles или Renaissance… — имеются в виду старинные стили изящной мебели, которые возникли во Франции и Италии и высоко ценились в XIX в.

123

…об этом камне, близ Павловских казарм… — Павловские казармы — казармы лейб-гвардии Павловского полка на углу Миллионной улицы (ныне ул. Халтурина) и Царицына луга (или Марсова поля). Здание сохранилось.

124

Покойника-то помните? — Имеется в виду император Николай I, умерший в 1855 г.

125

…*тут Дума*… — Городская дума — орган городского управления; до введения городского положения 1870 г. городская дума заведовала городским хозяйством. Во всех расходах и доходах она обязана была давать отчет губернатору.

126

…ассигнации это при покойном Государе только обратили на серебро). — В 1839–1843 гг. в России была проведена денежная реформа; при этом обесценившиеся к тому времени ассигнации (бумажные деньги) были изъяты из обращения.

127

…только вот Царскосельская ходила… — Первая железная дорога в России, связывавшая Петербург с Царским Селом (ныне г. Пушкин), открыта в 1838 г.

128

…Монферан; он ведь тогда Исаакиевский собор строил. — Огюст-Рикар де Монферан (1786–1858), архитектор, француз по происхождению, работал в России с 1816 г. Руководил с 1818 г. строительством Исаакиевского собора в Петербурге. По его проекту воздвигнута также Александровская колонна и несколько частных домов.

129

…да чуть ли это не князь Суворов был, Италийский, потомок полководца-то… — Вероятно, имеется в виду внук генералиссимуса А. В. Суворова — А. А. Суворов (1804–1882), бывший с 1861 г. петербургским генерал-губернатором. Однако в происшествии, о котором рассказывал Петр Ипполитович, А. А. Суворов не мог принимать участия в качестве облеченного властью лица, так как само происшествие это могло происходить в царствование Николая I и до постройки Николаевской железной дороги, открытой в 1851 г.

130

Этот камень… это всё, что есть самого патриотически-непорядочного между подобными рассказами… — Анекдот, рассказанный Петром Ипполитовичем, восходит к книжке В. И. Даля „Два-сорока бывальщинок для крестьян“ (СПб., 1862. Ч. 2). В статье „Русская сметливость“ (с. 49–60) среди других историй приводится и рассказ о том, как во время одного строительства „простой работник“ предложил убрать в сутки большой камень, который всем мешал. История, приведенная Далем, легла в основу рассказа Л. Н. Толстого „Как мужик убрал камень“, вошедшего во вторую книгу его „Азбуки“ (1872). Даль и Л. Толстой использовали это происшествие, чтобы показать сметливость простого русского человека. Достоевский же иронически воспринимает материал, который обычно призван был в книжках „для народа“ воспитывать казенный патриотизм и национальную гордость. Ср. ироническое отношение Достоевского к другим тогдашним книжкам для народного чтения, проявившееся в повести „Село Степанчиково и его обитатели“ (наст. изд. Т. 3. С. 42 и 523) и статье „Книжность и грамотность“.

131

…Завьялову англичане миллион давали с тем только, чтоб он клейма не клал на свои изделия… — Завьялов был известен в середине XIX в. своими ножевыми изделиями. Источник упоминаемого Версиловым анекдота обнаружить не удалось.

132

Видение шведского короля — это уж у них, кажется, устарело; но в моей юности его с засосом повторяли и с таинственным шепотом… — Легенда о видении шведского короля Карла XI (1655–1697), отца Карла XII, изложена в очерке Проспера Мериме „Видение Карла XI“, включенном в его книгу „Мозаика“, вышедшую в Париже в июне 1833 г. (см.: *Мериме Проспер.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1963. Т. 1. С. 362–369). Очерк Мериме был тогда же переведен на русский язык и опубликован в „Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»“ (1833. 30 дек. № 104). Без указания на источник рассказ о видении Карла XI изложен близко к тексту Мериме в романе Н. И. Греча „Черная женщина“ (см.: *Греч Н.* Соч. СПб., 1838. Ч. 1. С. 63–71), откуда, вероятно, он перешел в разряд ходячих анекдотов, распространившихся в 1840-х годах. В легенде рассказывается о видении, явившемся королю Карлу XI, чтобы предсказать гибель будущего короля Густава III (1746–1792) от руки заговорщика Анкарстрема и казнь последнего. Анекдот, восходящий к роману Греча, рассчитанному на невзыскательного читателя, Версилов объединяет с другими анекдотами, почерпнутыми из подобных же источников (литературное окружение Греча и Булгарина, массовая литература для народа с казенно-патриотическим уклоном и т. п.).

133

…о том, что в начале столетия кто-то будто бы стоял в сенате на коленях перед сенаторами. — Вероятно, имеется в виду устная легенда, содержащая искаженное представление о заговоре и восстании декабристов. Легенда эта записана только в XX в. (в Сибири), но в первой половине XIX в., видимо, имела широкое распространение и нашла отражение в исторической песне „Царя требуют в сенат“, записанной во множестве вариантов в конце XIX–XX в. Согласно легенде, Николая I ночью вызвали в сенат заговорщики. Царь намекнул брату Константину, чтобы тот выручил его. Когда Константин подъехал к сенату, вооруженная охрана не хотела его пускать, говоря, что царя здесь нет. Лишь один из солдат дал понять великому князю, что брат его тут. С трудом проникнув в здание сената и взломав несколько запертых дверей, Константин увидел Николая, стоявшего на коленях перед сенаторами, которые требовали от царя подписать отречение. Константин спас брата.

Достоевский мог слышать эту легенду в устной передаче или еще в молодые годы, или в Сибири, где она была широко распространена. См.: *Косованов А.* Заговор декабристов в сибирских песнях и преданиях // Сибирские огни. 1925. № 6. с. 122–126; *Ончуков Н.* Песни и легенды о декабристах // Звенья. М.; Л. 1935 Т. 5. С. 11–43; Исторические песни XIX века. Л., 1973. С. 128–148 и 234–236.

134

Про коменданта Башуцкого тоже много было анекдотов, как монумент увезли. — Павел Яковлевич Башуцкий (1771–1836) был комендантом Петербурга при Александре I и Николае I. О его необразованности и глупости сохранилось много анекдотов. Анекдот, о котором упоминает Версилов, приводится Вл. Бурнашевым в его „Клубе анекдотистов и каламбуристов (из „Воспоминаний“ и из „Памятной книжки“ петербургского старожила)", печатавшемся в „Биржевых ведомостях“. Однажды при Александре I над Башуцким, шедшим к царю с ежедневным докладом, подшутил А. Л. Нарышкин, сказавший, что ночью переодетые шведские агенты похитили монумент Петра Великого и увезли его на корабле. Башуцкий поверил, испугался и „повинился“ перед царем, что не доглядел (см.: Биржевые ведомости. 1873. 2 сент. № 234). Упоминая анекдот, восходящий к воспоминаниям Бурнашева, Достоевский критически характеризует уровень всей группы анекдотов, перечисленных Версиловым, так как имя Вл. П. Бурнашева как автора воспоминаний было достаточно скомпрометировано в тогдашней печати. См., например, статью „Литературные и общественные курьезы“ (Голос. 1873. 4 янв. № 4), где среди прочих „курьезов“ упомянуты „Воспоминания“ „петербургского старожила“ Бурнашева, настолько изобилующие ошибками, неточностями и искажениями фактов, что „вместо старой поговорки «лжет, как календарь», можно смело предложить новую: «лжет, как г. Бурнашев»“. Редактируемый Достоевским „Гражданин“ также поместил на эту тему заметку „Современная хлестаковщина“ (№ 3. 15 янв. С. 87–88) за подписью „Давнишний обыватель Петербурга“, где отмечался низкопробный характер „Воспоминаний“ Бурнашева, старого сотрудника Греча и Булгарина.

135

…рассказы про министра прошлого царствования Чернышева… — князь Александр Иванович Чернышев (1785–1857), участник войн с Наполеоном, в правление Николая I занимал видные государственные посты: с 1848 г. — председатель Государственного совета, в 1832–1852 гг. — военный министр. О нем как об одном из возможных прототипов старого князя в повести „Дядюшкин сон“ см.: Наст. изд. Т. 2. С. 581.

136

Впрочем, посмотри в Апокалипсисе… — Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, — новозаветная книга, которая многократно привлекала внимание Достоевского. (См.: „Идиот“, ч. 2, гл. 2; ч. 3, гл. 4; „Бесы“, ч. 3, гл. 7 и др.). Совет Версилова Аркадию узнать о будущем „лике мира сего“ из Апокалипсиса в данном случае звучит иронически.

137

…прочти десять заповедей… — Имеются в виду десять библейских заповедей, изложенных в Ветхом завете (Исход, гл. 20, ст. 1—17) и затем варьируемых в Евангелии (Матфей, гл. 5, ст. 21–43 и др.).

138

— *Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным.* — Выражение, восходящее к словам Евангелия: „Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным“ (Марк, гл. 4, ст. 22).

139

— *Женевские идеи — это добродетель без Христа…* — В подготовительных материалах к роману (XVI, 281) Достоевский говорит, что „женевские идеи“ (ср. выше, примеч. к с. 238) — это „теперешние французские идеи“, связывая учение Руссо с идеями его последователей: социалистов и деятелей Коммуны. Социально-экономическое равенство людей, отрицание религии и христианской этики, стремление ко всеобщему обеспечению и довольству — таково, в интерпретации Достоевского, главное зерно этих идей.

140

…каждый честный отец должен бы послать сына своего хоть на смерть, как древний Гораций своих сыновей за идею Рима? — По древнеримской легенде, три брата из римского патрицианского рода Горациев решили спор между Римом и Альба-Лонгой об их первенстве своим поединком с тремя братьями Куриациями, представителями Альба-Лонги. Двое Горациев пали в битве, третий вернулся в Рим победителем. Легенда эта легла в основу трагедии Пьера Корнеля „Гораций“ (1640), в которой старый Гораций, отец трех братьев, выступает как носитель идеи патриотизма и гражданского долга.

141

Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на „строптивых“ как на мышей, делать им добро и проходить мимо, — немножко гордо, но верно. — Отыскать источник этого рассуждения в Коране не удалось. Возможно, оно-результат контаминации мыслей и образов из пушкинских „Подражаний Корану“ (1824). Слово „строптивые“ взято оттуда же:

> С небесной книги список дан
> Тебе, пророк, не для строптивых:
> Спокойно возвещай Коран,
> Не понуждая нечестивых.

Ср. также использование выражения „дрожащая тварь“ из „Подражаний Корану“ в „Преступлении и наказании“ (ч. 4, гл. 4 и ч. 5, гл. 4). Образ „дрожащей твари“ был вытеснен в сознании Достоевского другим, возможно, также не без воздействия произведений Пушкина. В „Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы“ (1830) упоминается „Жизни мышья беготня“; в „Скупом рыцаре“ Альбер говорит:

> …пускай отца заставят
> Меня держать как сына, не как мышь,
> Рожденную в подполье.

Об использовании Достоевским этих образов см.: *Бем А.* Достоевский — гениальный читатель// О Достоевском. Прага, 1933. Вып. 2. С. 17.

142

…сословие само собою обращается лишь в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном… — Представление, что дворяне должны быть „лучшими людьми“, свойственно было самому Достоевскому. В письме брату Андрею Михайловичу от 10 марта 1876 г. он говорит: „…семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и средины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся *лучших* людей. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления *в лучшие люди* (в буквальном, самом *высшем* смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения“. Ср. развитие этих мыслей в „Дневнике писателя“ за 1876 г. (октябрь, гл. 2 „Лучшие люди“ и „О том же“).

143

…важный гость, с аксельбантами и вензелем… — Аксельбанты — наплечные шнуры с металлическими наконечниками — принадлежность военного мундира адъютантов, офицеров генерального штаба (к которым, видимо, и принадлежал Нащокин) и некоторых других родов войск. Вензель — начальные буквы имени и цифра, указывающая, какому из царей одного имени вензель принадлежит. Царский вензель, или вензелевое изображение, „жаловался“ царем в знак особой милости отдельным лицам или учреждениям. Ношение вензеля указывало на близость этого лица ко двору и императору.

144

Слыхали, что такое mont de piété в Париже? хлеб и благодеяние бедным… — Mont de piété *(франц.)* или monte de pieta *(итал.)* — ссудная касса; впервые возникли в Италии в XV в. как человеколюбивые кредитные учреждения для выдачи ссуд бедным без процентов или с небольшим процентом, но под заклад вещей. В Париже mont de piété основан в 1777 г., затем подобные учреждения открылись в других европейских странах, многие из них находились под контролем правительства. Проценты, взимаемые в mont de piété (4–7%), ниже, чем у частных ростовщиков, которые брали до 80%. В 1869 г. врач-акушер Колосов, прототип Стебелькова, организовал ссудную кассу, названную им mont de piété. См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 143–144.

145

…*он задает турусы.* — Турусы — пустая болтовня, вранье, вздор.

146

…*Ахмакова — пас. Он тут плиэ проиграл.* — Пас — карточный термин; означает отказ от участия в игре. Плиэ — выражение, которым пользуются в азартной игре; означает увеличение ставки на гнутую карту *(франц.* plié — согнутый, сложенный).

147

Монстрюозная — чудовищная *(франц.* monstre — чудовище, урод).

148

Гантированная — в перчатке (от *франц.* le gant — перчатка).

149

…мы всё с вами читали „факты“, как вы это называли — говорили про одни только цифры, считали и примеривали — Мы считали убийства и уголовные дела, сравнивали с хорошими известиями… хотелось узнать, куда это всё стремится и что с нами самими, наконец, будет. — Внимание Достоевского к конкретному факту, событию, происшествию и к совокупности таких фактов как отражению основных закономерностей и тенденций русской жизни сказывалось во всем творчестве писателя. Мечтал он и о периодическом издании, в котором бы публиковались фактические сведения различного характера и тем самым создавалась беспристрастная картина современного состояния русского общества. О плане подобного издания говорит Шатову Лиза Тушина в „Бесах“ (Ч. 1, гл. 4, § 2). Став редактором „Гражданина“ в 1873 г., Достоевский намеревался превратить его в подобное издание, о чем свидетельствует редакционная заметка „Желание“, помещенная в № 1.

150

…Отелло не для того убил Дездемону, а потом убил себя, что ревновал, а потому, что у него отняли его идеал!.. — Трактовка трагедии Шекспира „Отелло“ (1604) как трагедии обманутого доверия восходит к известному замечанию Пушкина, записанному в „Table-talk“: „Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив“ *(Пушкин А. С.* Собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 157). Подобное толкование трагедии со ссылкой на Пушкина дает Достоевский и в „Братьях Карамазовых“ (ч. 3, кн. 8, гл. 3).

151

…я готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ваша нога… — По мнению Долинина (Последние романы Достоевского. С. 99–100), в отношении Аркадия к Ахмаковой многое напоминает любовь юного героя „Исповеди“ Руссо к г-же де Варане. В частности, в книге третьей части первой Руссо, рассказывая о своих чувствах к г-же де Варане, говорит: „Сколько раз целовал я свою постель, при мысли о том, что она спала на ней, занавески, всю мебель в моей комнате — при мысли о том, что они принадлежали ей и ее прекрасная рука касалась их, даже пол, на котором я простирался, — при мысли, что она по нему ступала“ *(Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч.: В 3 т. М., 1961. Т. 3. С. 100).

152

Я жил близ Вознесенского моста, в огромном доме… — Район, где жил Аркадий, — так называемая Спасская часть — наиболее населенная часть Петербурга; здесь жили преимущественно торговцы и ремесленники. Спасская часть была застроена большими доходными домами. „Здания отличаются громадностию, но великолепие и изящество в строениях замечается редко“ *(Михневич Вл.* Петербург весь на ладони. С. 59).

153

Рансеньирована (франц. renseigner) — осведомлена.

154

— Сам давал по десяти и по двадцати пяти просителям. — просит бывший поручик! — Образ поручика, просящего милостыню и уверяющего, что „сам давал по пятнадцати целковых нуждавшимся“, впервые появляется в фельетоне „Петербургские сновидения в стихах и прозе“ (1861), затем в романе „Идиот“. В усложненном виде образ пьяного просящего поручика возникает в 1870 г. (Роман о Князе и Ростовщике): „Поручик, просящий благородной милостыни, отец Хромоножки, был друг покойному убитому капитану, одной роты, вместе пьянствовали, поклялся, что найдет убийц. Фразер“ IX, 123). От него, по-видимому, с одной стороны, — путь к капитану Лебядкину („Бесы“), с другой — к образу „просящего по 20 коп. поручика“, упоминаемому в подготовительных материалах к „Подростку“ (см.: XVI, 94). В окончательном тексте остался лишь незначительный эпизод с поручиком. Ряд его черт переходит к Петру Ипполитовичу, хозяину квартиры Подростка. Позднее образ спившегося капитана, который „останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность“, промелькнет в „Сне смешного человека“ (1877).

155

Эта бесшабашность на наших улицах начинает надоедать добезобразия… — Возможно, на эпизод с пьяным поручиком повлияли некоторые детали заметки в „Русском мире“ от 12 июля 1874 г. (ср. выше, примеч. к с. 227).

156

Канава — Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова).

157

…эта заикающаяся ария из „Лючии“… — „Лючия ди Ламермур“ — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797–1848).

158

ндраву моему не препятствуй“… — распространенное выражение, характеризующее самодурство невежественных купцов. Употреблено в „Сценах из купеческого быта“ (1861) И. Ф. Горбунова *(Горбунов И. Ф.* Избранное. М.; Л., 1965. С. 230). Использовано Достоевским уже в „Униженных и оскорбленных“ (см.: Наст. изд. Т. 4. С. 134).

159

— Если бы я был Отелло, а вы — Яго, то вы не могли бы лучше… — Аркадий намекает на то, что, подобно Яго, разбившему идеал Отелло, Версилов отнимает идеал у своего сына. См. также примеч. к с. 388.

160

Я горячо поцеловал его. — Мотив братания или поцелуя двух соперников именно в тот момент, когда ревность одного из них достигает своего апогея, встречается и в других произведениях Достоевского. Ср. в „Идиоте“ сцену, когда Рогожин предлагает Мышкину обменяться крестами, заканчивающуюся объятием соперников (см.: Ч. 2, гл. 4), а также в „Вечном муже“ эпизод поцелуя Трусоцкого и Вельчанинова (см.: Наст. т. С. 50–60).

161

…я стал ездить на рулетку Зерщикова. — Как выяснил А. С. Долинин, прототипом штабс-ротмистра Зерщикова был отставной штабс-ротмистр Колемин, который был предан суду по обвинению „в устройстве и содержании заведения для запрещенной игры в рулетку“ (*Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 150–152). Фамилия Зерщиков (первоначально Сурдинский или Зверинский — см. XVI, 86), по предположению А. Бема, образована от слова „зеро“, так как Подросток выигрывает у него на зеро (см.: *Бем А.* Личные имена у Достоевского // Сборникъ въ честь на проф. Л. Милетичъ… София, 1933. С. 417).

162

…разменял у банка мои кредитки на полуимпериалы. — Кредитки, или кредитные билеты, — беспроцентные долговые обязательства банка, заменяющие деньги; полуимпериал — золотая монета в пять рублей (империал —10 рублей, а с 1897 г. — 15 рублей).

163

Zéro (франц. — нуль) — нулевое очко, отделение на рулетке с нулевым обозначением.

164

Роганы (Rohan) — древний бретонский княжеский род, который вел свое происхождение от королей и герцогов Бретани.

165

…участвую в подделке фальшивых акций — ской железной дороги. — Об использовании в романе уголовного дела 1874 г. о подделке акций Тамбово-Козловской железной дороги см. выше, с. 755.

166

Кипсек (англ., keepsake) — название, употреблявшееся для обозначения альбомов с гравированными иллюстрациями.

167

…мы летом сначала в Соден, а потом в Бад-Гаштейн. — Соден — курортный город с минеральными источниками в Германии, близ Франкфурта-на-Майне. Бад-Гаштейн — курорт в Австрии в живописной долине Гаштейн.

168

…— Имеется в виду входящая в Ветхий завет книга Песни песней Соломона, содержащая образцы древней любовной лирики.

169

…c'est David qui mettait une jeune belle dans son lit pour sechauffer dans sa vieillesse. — Намек на библейскую легенду о том, как к престарелому царю Давиду слуги привели молодую красавицу Ависагу, сунамитянку, „чтоб она предстала царю, и ходила за ним, и лежала с ним, — и будет тепло господину нашему царю“. „Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему; но царь не познал ее“ (3-я книга Царств, гл. 1, ст. 2, 4).

170

…а у Поль де Кока вышла бы из этого какая-нибудь scène de bassinoire… — Поль де Кок (1794–1871), французский писатель, автор широко популярных романов, описывающих быт и нравы представителей среднего сословия.

171

Крупёры. — крупье *(франц.* croupier) — банкомет, банкодержатель в игорном доме, который следит за игрой, выдает ее участникам их выигрыш и забирает проигранные ставки.

172

…я забежал в переулок, где-то близко от Конногвардейского бульвара. — Конногвардейский бульвар — ныне бульвар Профсоюзов.

173

Святая неделя — пасхальная неделя.

174

…уже трепещут новорожденные зелененькие листочки. Яркое предвечернее солнце льет косые свои лучи… — Существенные для Достоевского символическое образы молодых зеленых листочков и косых лучей заходящего солнца, олицетворяющих жизнь и гармонию в природе и мире, возникают здесь не случайно. Они предваряют появление мамы, образ которой тем самым окружается светлым и примиряющим ореолом. О символическом использовании Достоевским образа заходящего солнца и его косых лучей см. ниже, в примеч. к с.593. Ср. также в „Братьях Карамазовых“ рассуждение Ивана о „зеленых клейких листочках“ как символе жизни (Ч. 2, кн. 5, гл. 3).

175

…с черными как смоль щегольскими бакенами, с горбатым носом, с белыми оскаленными на меня зубами, белый, румяный, лицо как маска… — Портрет Ламберта в сниженном виде повторяет некоторые детали портрета Ставрогина в „Бесах“: „…волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску…“ (наст. изд. Т. 7. С. 42).

176

Шамбр-гарни (франц. chambres garnies) — меблированные комнаты.

177

Alphonsine — имя сообщницы Ламберта, в прошлом модистки или актрисы, возможно, дано ей Достоевским по аналогии с именем известной в 1870-х годах в Петербурге французской шансонетки Альфонсины. Имя ее часто встречалось в газетах и употреблялось как нарицательное.

178

„Tue-la!“ — voilà le dernier mot de l'Académie française!.. — Выражение „Tue-la!“ принадлежит А. Дюма-сыну (1824–1895), восходит к его памфлету „Мужчина-женщина“, посвященному нравам буржуазной семьи, и относится к „неверной“ жене (см.: *Dumas A.* (fils). L'homme — femme. Paris, 1872. P. 176). Книга эта упомянута Достоевским в записной тетради 1874 г. Выражение получило иронический отклик среди писателей и публицистов во Франции и в России. В статье „Парижский конгресс по женскому вопросу“, напечатанной в „Отечественных записках“, о „Мужчине-женщине“ Дюма сказано: „Во Франции брошюра Дюма выдержала 35 изданий и породила целую массу других, разошедшихся если не в таком громадном, то все-таки весьма значительном количестве <…> Знаменитое изречение: tue-ia — осмеивалось в печати и на сцене; оно пародировалось на все лады: и в серьезных пьесах и в буффонадах и вызывало всегда смех и рукоплескания“ (Отеч. зап. 1873. № 5. Отд. 2. С. 94). В феврале 1875 г. Дюма-сын был принят в члены Французской академии. В статье Э. Золя, посвященной этому событию и напечатанной в „Вестнике Европы“ (за подписью „Э“), дается критический анализ творчества писателя, в том числе и его памфлета „Его «Убей ее!» неподражаемо. Написав страниц тридцать мистической галиматьи о прелюбодейной жене, он кричит обманутому мужу: «Убей ее!» (Вестн. Европы. 1875. № 3. С. 442). Эти же слова иронически цитирует Н. К. Михайловский в „Записках профана“, XVI (Отеч. зап. 1875. № 9). Статьи Золя и Михайловского печатались, когда Достоевский работал над 2-й и 3-й частями „Подростка“. Возглас Альфонсины — отклик на последние события: прием Дюма во Французскую академию. Но здесь характерный для Достоевского анахронизм: действие „Подростка“ происходит не позднее 1874 г., а Дюма стал академиком в феврале 1875 г.

179

…*au pont des Maréchaux*… — Речь идет о Кузнецком мосте, улице в Москве, знаменитой магазинами мод.

180

…la Maison de monsieur Andrieux… — Имя Andrieux („M-me Andrieux“) часто упоминается в подготовительных материалах к роману как имя содержательницы публичного дома.

181

…недаром бог вдунул в него дыхание жизни: „Живи и познай“. — В Библии (Бытие, гл. 2, ст. 7) так говорится о сотворении богом человека: „И создал господь бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою“. Макар вольно пересказывает это место Библии, трактуя способность человека к познанию как божью благодать.

182

Клерикал — сторонник клерикализма, т. е. политического направления, ставящего целью усиление влияния церкви и духовенства в жизни страны.

183

…всякий-то хочет всю вселенну удивить… — Это и некоторые другие выражения в речи Макара Долгорукого („А будучи теперь весьма не искусен, как могу превозноситься, когда сам ничего не знаю?“; „обязаться браком не захотел“; „возлюбив плохие и безмолвные пристанища и чувства свои от мирских сует успокоив“; „в совершенном отсечении воли своей“) восходят к книге „Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженика Святой горы Афонской инока Парфения“ (М., 1856). Достоевский высоко ценил высокий и вместе с тем простодушный слог этой книги и перечитывал ее во время работы над „Подростком“. О работе Достоевского над материалом „Сказания“ инока Парфения и использовании его стилистических приемов для создания образа Макара см.: *Якубович И. Д.* К характеристике стилизации в „Подростке“ // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978. Вып. 3. С. 136–143.

184

…в Геннадиевой пустыни один великого ума человек. — Может быть, имеется в виду монастырь, основанный Геннадием Любимоградским (или Костромским) в 1565 г. на Сурском озере в Костромской губернии.

185

Петровки — Петров день, церковный праздник святых Петра и Павла, 29 июня по старому стилю.

186

…поспешали мы в Богородский монастырь — лобызать святые и целокупные мощи великих обоих чудотворцев Аникия и Григория. — Трудно сказать, о каком монастыре говорит Долгорукий: монастырей с таким названием было много. Ефимьевский Богородский монастырь упомянут в „Бесах“ (прототип старца Тихона — Тихон Задонский — жил в Задонском Богородицком монастыре Воронежской губернии). В монастыре Лопатове Богородицком (иначе он назывался Кадницкий, или Григориев Пельшемский), основанном св. Григорием в 1426 г., хранились мощи его основателя Григория Пельшемского. Мощи св. Иоанникия (Аникия) вместе с мощами св. Антония находились в Заоникневом Владимирской богородицы монастыре, основанном ок. 1588 г. Оба эти монастыря находились в Вологодской епархии — Лопатов в 7 верстах от г. Кадникова, Заоникиев в 14 верстах от Вологды (*Строев П.* Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877; *Суворов Н.* Владимирская Заоникиева пустынь. Вологда, 1888).

187

…la calomnie… il en reste toujours quelque chose… — измененная цитата из комедии Бомарше (1732–1799) „Севильский цирюльник“ (1775): „Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose“ (Клевещите, клевещите, всегда что-нибудь да останется) — акт II, сц. 8).

188

…вот чего очень часто боятся в народе и предпочитают лучше проходить болезнь на ногах, чем лечь в больницу. — Повторение мысли, высказанной в „Записках из Мертвого дома“: „Простолюдин скорее несколько лет сряду, страдая самою тяжелою болезнию, будет лечиться у знахарки или своими домашними, простонародными лекарствами <… > чем пойдет к доктору или ляжет в госпиталь“ (наст. изд. Т. 3. С. 371).

189

Душа во мне, мыслю, едина; ежели — другой не могу… — Это и другие выражения („не боги же они, а такие, как и мы, подобострастные нам, человеки“; „насытившись сладости книжной“; „паче камене ожесточен“; „Иной из книг выбрал одни лишь цветочки, да и то по своему мнению“, „чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище“; „жить без бога одна лишь мука“; „И бога отвергнет, так идолу поклонится“) восходят к рассуждениям инока Парфения в его „Сказании о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле“. См. примеч. к с. 486.

190

Это оттого, что во мне была душа паука! — Паук у Достоевского — часто символ сладострастия и падения человеческой личности. Ср. анализ „Египетских ночей“ Пушкина в статье „Ответ «Русскому вестнику»“ (1861), где Клеопатра уподобляется „страшному гаду“, самке паука. Сходные моменты есть в характеристике князя Валковского в „Униженных и оскорбленных“ (наст. изд. Т. 4. С. 235) и героя „Записок из подполья“ (там же. С. 517).

191

Мария Египетская — христианская подвижница, жившая в VI в.

192

То ли у Христа: „Поди и раздай твое богатство и стань всем слуга“. — В евангелиях рассказывается о богатом юноше, который спросил у Христа: „Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную“, на что он получил ответ: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах“ (Матфей, гл. 19, ст. 16 и 21).

193

…в городе Афимьевском… — В описании города Афимьевского отразились многие черты Старой Руссы (см.: *Рейнус Л. М.* Достоевский в Старой Руссе. Л., 1969. С. 30).

194

Архимандрит — высшее звание, даваемое настоятелям важнейших монастырей.

195

…*„самые одежды мои возгнушались мною“*… — Цитата из Библии. Иов говорит о невозможности человеку оправдаться перед всесильным богом: „Хотя бы я омылся и снежною водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои“ (Книга Иова, гл. 9, ст. 30–31).

196

Драдедам — легкое сукно, полусукно.

197

„А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в мя. уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучинеморстей“ („А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской). — Цитата из Евангелия (Матфей, гл. 18, ст. 6). Эти же слова в романе „Бесы“ приводит Ставрогин, исповедуясь старцу Тихону в своем преступлении. См. главу „У Тихона“ (наст. изд. Т. 7. С. 661).

198

…*подул и тот в ухо…* — наговорил, нашептал.

199

Что же до Анны Андреевны, то она — не могла не пойти на удочку — „из борьбы, за существование“. — Борьба за существование — выражение, восходящее к труду Ч. Дарвина „Происхождение видов путем естественного отбора“ (1859; рус. пер. 1865), получило широкое распространение в социологической, политической, художественной литературе и стало ходячим выражением. Достоевский в данном случае употребляет его иронически.

200

— 538. *А то раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было“*. — Сходный эпизод рассказан Достоевским в очерке „Мужик Марей“ („Дневник писателя“ за 1876 г., февраль, гл. 1), что сближает образы Макара Долгорукого и мужика Марея, воплощавшего, с точки зрения Достоевского, главные черты русского крестьянина: „светлую любовь“ и „глубокое и просвещенное человеческое чувство“.

201

И Иов многострадальный, глядя на новых своих детушек, утешался, а забыл ли прежних, и мог ли забыть их — невозможно сие! — В Библии (книга Иова) рассказывается о праведнике Иове, которому бог, чтобы проверить глубину и искренность его веры, посылал различные испытания, в том числе и смерть его детей. Слова Макара Ивановича указывают на его несогласие с библейской трактовкой переживаний Иова. По его мнению, Иов не мог забыть прежнее и не был утешен. (Так и Макар Иванович не мог забыть свое горе: измену любимой жены). Возможно, здесь сказался и духовный опыт самого Достоевского: воспоминание о страданиях, вызванных смертью его первого ребенка, дочери Сони, умершей 12 мая 1868 г. в возрасте трех месяцев. 22 июня (4 июля) 1868 г. Достоевский писал А. Н. Майкову: „Никогда я не был более несчастен, как во всё это последнее время <…> Чем дальше идет время, тем язвительнее воспоминание и тем ярче представляется мне образ покойной Сони. Есть минуты, которых выносить нельзя <…> Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться! Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его; где любви найду; мне нужно Соню“.

202

…в глуши, в Архангельске, в Холмогорах“. — В бредовых фантазиях князя Сокольского о воспитании будущего сына — наследника древнего рода — Холмогоры возникают, вероятно, по ассоциации с биографией М. В. Ломоносова, который родился близ Холмогор.

203

— *Мне всё пауки снятся! — сказал он вдруг.* — Паук у Достоевского ассоциируется не только с образом сладострастника (ср. выше, примеч. к с. 509), но и с разложением, гибелью человеческой души. О пауках говорит Свидригайлов („Преступление и наказание“) незадолго до самоубийства. Рассуждая о загробной жизни, он замечает: „А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде“ (наст. изд. Т. 5. С. 272).

204

Белая горячка — психическое заболевание, результат сильной степени алкоголизма. Достоевский ошибочно считал ее заболеванием, связанным с нервным перенапряжением. Ср. заболевание Ивана Карамазова в „Братьях Карамазовых“.

205

…малый очень высокого роста, вершков десяти… — По установившейся традиции, в XIX в. рост обозначался вершками, которые отмерялись сверх двух аршин. Следовательно, рост Андреева был два аршина (71 см X2=142 см) десять вершков (4,45 см X 10=44,5 см); всего около 186 см.

206

Ильковая шуба — шуба из илька — американского хоря.

207

„Journal des Débats“ (франц. „Газета мнений“) — газета, основанная в Париже в 1789 г. Печатала правительственные известия и официальные сообщения, в том числе о прибытии во Францию иностранных лиц.

208

„*Indépendance*“. („Indépendance Belge“) — бельгийская газета, выходившая в Брюсселе с 1830 по 1937 г.

209

Ohé, Lambert! où. est Lambert, as-tu vu Lambert? — Андреев дразнит Ламберта, пользуясь ходячим выражением. Это выражение Достоевский использовал уже ранее в качестве эпиграфа к повести „Крокодил“ (наст. изд. Т. 4. С. 551). О происхождении и распространении его см.: *Алексеев М. П.* Об одном эпиграфе у Достоевского// Проблемы теории и истории литературы: Сб. статей, посвященный памяти профессора А. Н. Соколова. М., 1971. С. 367–372; также: *Орнатская Т. И.* „Крокодил“. „Подросток“. (Дополнение к комментарию) // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1987. Вып. 7. С. 169–171.

210

Еркул — Геракл.

211

Мадье де Монжо Ноэль-Франсуа-Альфред (1814–1892) — французский государственный деятель, противник Наполеона III, после 1871 г. — член Национального собрания. Во время работы Достоевского над третьей частью „Подростка“ (конец 1874 г.) имя Мадье де Монжо не раз встречалось в газетах.

212

А годы идут — и всё лучшие годы! — Неточная цитата из стихотворения Лермонтова „И скучно и грустно“ (1840). У Лермонтова: „А годы проходят — все лучшие годы!“.

213

Если б я сочинял оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из „Фауста“. — Тришатов использует материал двух сцен из 1-й части трагедии Гете (1749–1832) „Фауст“ — „В соборе“ и „Тюрьма“. Из 1-й сцены взят почти весь текст: монолог Злого духа, обращенный к Гретхен, реплики тоскующей Гретхен, восклицание хора. Финал же сцены, разрабатываемой Тришатовым, восходит к заключительной сцене 1-й части („Тюрьма“), когда Гретхен, покинутая Фаустом и Мефистофелем, находит прощение на небесах:

Мефистофель
Она
Осуждена.
Голос свыше
Нет, спасена.

(*Пер. Н. Вронченко*)

214

Dies irae, dies illa! — Начальные слова католического реквиема, изображающего Страшный суд; исполняется в храме во время обряда отпевания.

215

…у Страделлы есть несколько таких нот… — Алессандро Страделли — итальянский композитор и певец, живший во второй половине XVII в., автор опер и духовных ораторий.

216

…„*Дори-но-си-ма чин-ми*“… — Слова из Херувимской песни — молитвы, исполняемой во время литургии в православной церкви: „Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми“, т. е. чтобы нам поднять Царя всех, невидимо носимого с торжеством ангельскими чинами (Краткий православный молитвослов. М., 1955. С. 43).

217

…читали вы Диккенса „Лавку древностей“? — Достоевский по-своему истолковывает сцену из третьей главы романа Ч. Диккенса (1812–1870) „Лавка древностей“ (1840; неточный рус. пер. 1843). У Диккенса Нелли, посетившая деревенскую церковь, ушла оттуда успокоенная и примиренная: „Она взяла Библию с полки, прочитала несколько страниц, потом опустила книгу на колени и стала думать о грядущих весенних днях, о веселой летней поре, о косых лучах солнца, которые тронут эти спящие фигуры, о листьях, которые будут трепетать в окнах <…> о пении птиц, о распускающихся на воле почках и бутонах, о легком ветерке, который залетит сюда и осторожно шелохнет ветхие хоругви у нее над головой“ *(Диккенс Чарльз.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 7. С. 452. Пер. Н. Волжиной). Вместо этого у Достоевского — девочка на паперти, „облитая последними лучами“, с „удивленной душой“ перед неразрешимой загадкой жизни и смерти. Несколько сентиментальная сцена Диккенса звучит трагически у Достоевского. См.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского. С. 182–184. См. также: *Дурылин С.* Об одном символе у Достоевского // Достоевский. М., 1928. С. 178–192.

218

Милютинская лавка — лавка, расположенная в так называемом Милютином ряду, торговых зданиях на Невском проспекте, выстроенных в 1735 г. графом А. Я. Милютиным, основателем и владельцем ряда фабрик и торговых заведений. В XIX в. в Милютином ряду было несколько лавок, в которых продавались крепкие напитки и были специальные комнаты для закусок. Здание не сохранилось.

219

Проходя мимо гауптвахты на Сенной… — Здание гауптвахты на Сенной площади (ныне пл. Мира; здание сохранилось) играло некоторую роль в биографии Достоевского. Здесь писатель, будучи редактором „Гражданина“, отбывал двое суток заключения (21 и 22 марта 1874 г.), к которому был приговорен окружным судом. См. об этом: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 253, 257, 258.

220

La propriété c'est le vol. — Фраза одного из вождей жирондистов Ж.-П. Бриссо, ставшая крылатой благодаря французскому экономисту и социологу Пьеру-Жозефу Прудону (1809–1865), автору сочинения „Что такое собственность?“ (1840).

221

In vino veritas. — Источник этого крылатого выражения — Плиний Старший (23–79). См.: „Naturalis historiae“ („Естественная история“, Кн. 14, гл. 14).

222

Я только что выехал из Дрездена и в рассеянности проехал станцию… — Весь последующий эпизод (остановка в маленькой гостинице, сон, видение „золотого века“, навеянное картиной Клода Лоррена) восходит к роману „Бесы“. Он содержался в пропущенной в печатном тексте романа главе „У Тихона“ как эпизод исповеди Ставрогина (см.: наст. изд. Т. 7. С. 753).

223

В Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу — „Асис и Галатея“; я же называл ее всегда „Золотым веком“… — Клод Лоррен (Желле, 1600–1682), французский художник-пейзажист, был одним из любимых художников Достоевского. По свидетельству А. Г. Достоевской, во время пребывания в Дрездене Достоевский постоянно посещал галерею и „непременно шел в каждое свое посещение, минуя другие сокровища“, к пейзажам К. Лоррена. „Эти ландшафты, — говорит А. Г. Достоевская, — мой муж называл «золотым веком»“ *(Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 150). Позднее лорреновский пейзаж нашел отражение в „Сне смешного человека“ (Ср.: *Дурылин С.* Об одном символе у Достоевского. С. 178–192).

224

…слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри… — Имеется в виду франко-прусская война 1870–1871 гг., закончившаяся тяжелым поражением Франции и ее оккупацией немецкими войсками, а также последовавшие за этим события Парижской Коммуны. См. также след, примеч.

225

Да, они только что сожгли тогда Тюильри… — Во время жестоких уличных боев парижских коммунаров с войсками правительства Тьера 21–27 мая 1871 г. многие общественные здания Парижа погибли от пожаров и бомб, в том числе дворец Тюильри, бывшая резиденция французских королей, часть архитектурного комплекса Лувра. В официальной печати (русской и иностранной) гибель Тюильри тенденциозно изображалась как результат варварских действий поджигателей-коммунаров. Подобные суждения могли опираться на высказывания известного экономиста Г. Молинари (1819–1912), который писал о коммунарах, цитируя одного „оратора“: „Что нам бояться бомб? Говорят, что они сожгут все произведения искусства, музеи и храмы! Но, граждане, республика должна стоять выше искусства <…> Пускай сгорит Лувр с его картинами Рубенса и Микельанджело; мы не будем сожалеть о них; лишь бы республика восторжествовала“ *(Молинари.* Красные клубы во время осады Парижа. СПб., 1871. С. 153). Представители демократической и народнической литературы стремились снять с коммунаров это обвинение. Во время печатания „Подростка“ в „Отечественных записках“ в 1875 г. у Достоевского происходил спор с Н. К. Михайловским по этому вопросу. В записной тетради 1875–1876 гг. сохранилась запись об этом споре: „(Михайловскому). Мне рассказывали компетентные люди, что Тюильри сожжено частным образом, каким-то шалуном, подобравшим шайку, без ведома коммунаров. Но что же бы это значило?.. Не лишайте исторического факта его величавости, страх (разрыв с историей, разрыв навеки, и это при падении коммунаров). Это коммуна, раненная насмерть, поднявшая голову и крикнувшая в последний раз: вот так исчезнете не только вы, но и следы ваши и история ваша. А вы хотите непременно их сделать невинными вроде героев Августа Коцебу. Разве они могут *происходить?* Они должны приходить самостоятельно со всем новым“ (XXIV, 81).

226

Петролейщики — поджигатели *(франц.* pétrole — керосин).

227

Они объявили тогда атеизм… — это был первый исполнительный шаг… — Парижская коммуна — первое революционное правительство рабочих, соединявшее в себе законодательную и исполнительную власть, декретом от 3 апреля 1871 г. провозгласила отделение церкви от государства.

228

Я представляю — любовь и грусть… — Этот текст, названный Достоевским в записной тетради 1875–1876 гг. „Атеизм“, был приведен в „Дневнике писателя“ за 1876 г. (Март, гл. 2, подгл. 1).

229

Деизм — религиозно-философское учение, допускающее существование бога лишь как первопричины мира и отрицающее существование личного бога (теизм), его вмешательство в жизнь природы и общества.

230

…я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, „Христа на Балтийском море“. — Речь идет о стихотворении Г. Гейне (1797–1856) „Мир“ (цикл „Северное море“, „Книга песен“). На русском языке оно было полностью впервые опубликовано в переводе М. В. Прахова в 1872 г. в литературном сборнике „Гражданин“ (приложении к одноименной газете). Как показал В. Комарович *(Комарович В.* Достоевский и Гейне // Современный мир. 1916. № 10. С. 102–103), между стихотворением в переводе Прахова и описанием Версилова есть словесные совпадения. Образ Христа, явившегося утратившим веру людям, не раз волновал воображение Достоевского. Он нашел отражение уже в черновиках „Преступления и наказания“, а затем в главе „Великий инквизитор“ в „Братьях Карамазовых“.

231

…последний монолог Отелло у Шекспира… — Возможно, имеется в виду предпоследний монолог Отелло (д. V, сц. 2), после того как он убеждается, что убитая им Дездемона невинна.

232

…Евгений у ног Татьяны… — Имеется в виду заключительный эпизод романа Пушкина „Евгений Онегин“. На связь образов Онегина и Версилова обратил внимание А. С. Долинин (см.: Литературное наследство. М., 1965. Т. 77. С. 503). Последнее свидание Онегина с Татьяной вызывает ассоциации с последним разговором Версилова с Ахмаковой (см.: С. 640–646).

233

…встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой, в холодную ночь, у колодца, в „Misérables“ Виктора Гюго… — Эпизод из романа В. Гюго (1802–1885) „Отверженные“ (1862) — встреча девочки Козетты и беглого каторжника Жана Вальжана в лесу (ч. 2, кн. 3, гл. 5). Роман „Отверженные“, одно из любимых произведений Достоевского, писатель перечитал незадолго до начала работы над „Подростком“, во время своего двухдневного заключения в марте 1874 г. (ср. примеч. к с. 576–577). См.: *Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 258–259.

234

Но она обязана иметь все совершенства! — Все совершенства — выражение из романа Пушкина „Евгений Онегин“ (письмо Онегина к Татьяне):

Внимать вам долго, понимать
Душой всё ваше совершенство…

В Пушкинской речи Достоевский неточно цитирует это место, приближаясь к фразеологии Версилова: „Не узнал он ее и потом в Петербурге <…> когда, по его же словам <…> постигал душой все ее совершенства“. Это дает основание говорить о возможных ассоциациях в образах Ахмаковой и пушкинской Татьяны. Ср. примеч. к с. 603.

235

Он у него родовой, дедовский — и, кажется, раскольничий… — Принадлежность Макару раскольничьего образа указывает не на связь странника с расколом, а лишь на древность его иконы. Ср. в „Братьях Карамазовых“: в келье старца Зосимы икона богородицы, „писанная, вероятно еще задолго до раскола“ (XIV, 37).

236

…за тем же столом, за которым мы с ним вчера пили вино… — Ошибка Достоевского: разговор Аркадия с Версиловым происходил не накануне, а за день до этого, т. е. следовало бы написать не „вчера“, а „позавчера“.

237

Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками — желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги… — Упоминание библейской легенды об Ависаге и царе Давиде (см. примеч. к с. 445) здесь очевидно неуместно и является неосознанной или сознательной ошибкой Достоевского (как указание на нетвердое знание Ветхого завета Аркадием Долгоруким). Здесь подразумевается другая библейская легенда, рассказанная во 2-й книге Царств (гл. 13). Сын Давида Амнон воспылал темной страстью к своей единокровной сестре Фамари, сестре Авессалома, и обманом овладел ею. „Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди“ (2-я книга Царств, гл. 13, ст. 15). Отмечено Анной Ахматовой, по свидетельству А. Наймана. См.: *Найман Анатолий.* Рассказы о Анне Ахматовой // Новый мир. 1989. № 1. С. 183.

238

„Будем пить и наслаждаться…“ или как это там, есть такие стихи. — Точное происхождение цитаты не установлено. Скорее всего это перефразированное выражение, восходящее к образам, широко распространенным в „легкой“ поэзии конца XVIII — начала XIX в. Ближе всего это выражение к стихам К. Н. Батюшкова „Веселый час“ (1806–1810):

Жизнью дай лишь насладиться
Полной чашей радость пить…

239

…ты знаешь историю о фон Зоне… — В конце 1869 г. в Москве в публичном доме был убит чиновник фон Зон. Имя его упомянуто в рукописях набросков 1869 г., в подготовительных материалах к „Бесам“ (см.: IX, 124, 498; XI, 67, 78) и в „Братьях Карамазовых“ (ч. 1, кн. 2, гл. 8).

240

…*„как невзначай и как проворно!“* — неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова „Горе от ума“, где Хлестова говорит о Чацком: „С ума сошел! прошу покорно! Да невзначай! да как проворно!“ (д. III, явл. 21). Цитата эта подтверждает намеченную в романе параллель: Версилов — Чацкий. Ср. эпизод в главе шестой первой части (с. 246–248). Об этом см.: *Бем А. Л.* „Горе от ума“ в творчестве Достоевского // У истоков творчества Достоевского. Прага, 1936. С. 30–33; *Архипова А. В.* Дворянская революционность в восприятии Ф. М. Достоевского // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 237–246. Чацкий несколько раз упоминается в подготовительных материалах к „Подростку“ (см.: XVI, 34, 181, 187, 277, 417).

241

Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в „Преданиях русского семейства“… — См.: „Евгений Онегин“, гл. 3, строфы XIII–XIV. Пушкин так говорит здесь о своих возможных будущих замыслах:

Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

242

…не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже двести лет всё ничего не выходит. — Имеется в виду период, наступивший после петровских реформ. В „Преступлении и наказании“ Разумихин говорит: „А мы чуть не двести лет как от всякого дела отучены“ (наст. изд. Т. 5. С. 141). В записной тетради 1872–1875 гг. есть также запись: „Наше Петром Великим отученное от всякого дела общество“ (XXI, 256). Критическое отношение к реформам Петра Достоевский высказывал неоднократно. В объявлении о подписке на журнал „Время“ (1860) он писал, что народ не принял этих реформ, „отшатнулся“ от них.

243

„Grattez le russe et vous verrez le tartare“. — Крылатая фраза эта приписывалась разным историческим лицам: Жозефу де Местру, Наполеону I, принцу де Линю.

244

…не мог бы писать в другом роде, как в историческом…; ср. также: „…в картине, изображавшей русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской…“ —Намек на роман Л. Н. Толстого „Война и мир“.

245

Внук тех героев — уже не мог бы быть изображен в современном типе своем иначе, как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде. — Имеется в виду Левин, герой романа Л. Н. Толстого „Анна Каренина“.

246

Петербургский период русской истории. — Период, начавшийся после реформ Петра I.

247

Лицо в размерах матушки игуменьи Митрофании… — Игуменья Владычне-Покровского монастыря в Серпухове Митрофания (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен, фрейлина императорского двора) занималась подлогами денежных документов (подделки векселей, завещаний и т. п.) в пользу своего монастыря. В начале 1873 г. подлоги ее раскрылись, она была привезена в Петербург, где велось следствие. Возбудил дело против Митрофании А. Ф. Кони, который в своих воспоминаниях дал ей такую характеристику: „Это была женщина обширного ума, чисто мужского и делового склада, во многих отношениях шедшего в разрез с традиционными и рутинными взглядами, господствовавшими в той среде, в узких рамках которой ей приходилось вращаться <…> Самые ее преступления <…> несмотря на всю предосудительность ее образа действий, не содержали, однако, в себе элемента личной корысти, а являлись результатом страстного и неразборчивого на средства желания ее поддержать, укрепить и расширить созданную ею <…> общину“ *(Кони А. Ф.* На жизненном пути. СПб., 1912. Т. 1. С. 45). Процесс игуменьи Митрофании вызвал огромный интерес и много печатных откликов. Так, в „Голосе“ от 4 июня 1874 г. в статье „Московские заметки“ сообщалось: „…такого процесса, каков процесс преподобной игуменьи Митрофании, еще не было, да, пожалуй, и не будет ни ныне, ни присно, ни во веки веков, а потому любители сильных ощущений и эффектных судейских mises en scènes, с архиереями и игуменьями в качестве свидетелей, с целым полком других свидетелей, с целым архивом письменных доказательств, с целым арсеналом улик pro и contra, с целою литературой „за и против“, с мильонами в основании, с „мученицей“ во главе и со стотысячными адвокатскими гонорариями в придачу — такого процесса мы не видывали…“. Судебное разбирательство дела игуменьи Митрофании происходило в Московском окружном суде 5-18 октября 1874 г. Отчеты о нем печатали многие газеты.

248

…в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь различные от ваших детство и отрочество. — Намек на повести Л. Толстого „Детство“ и „Отрочество“.